This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

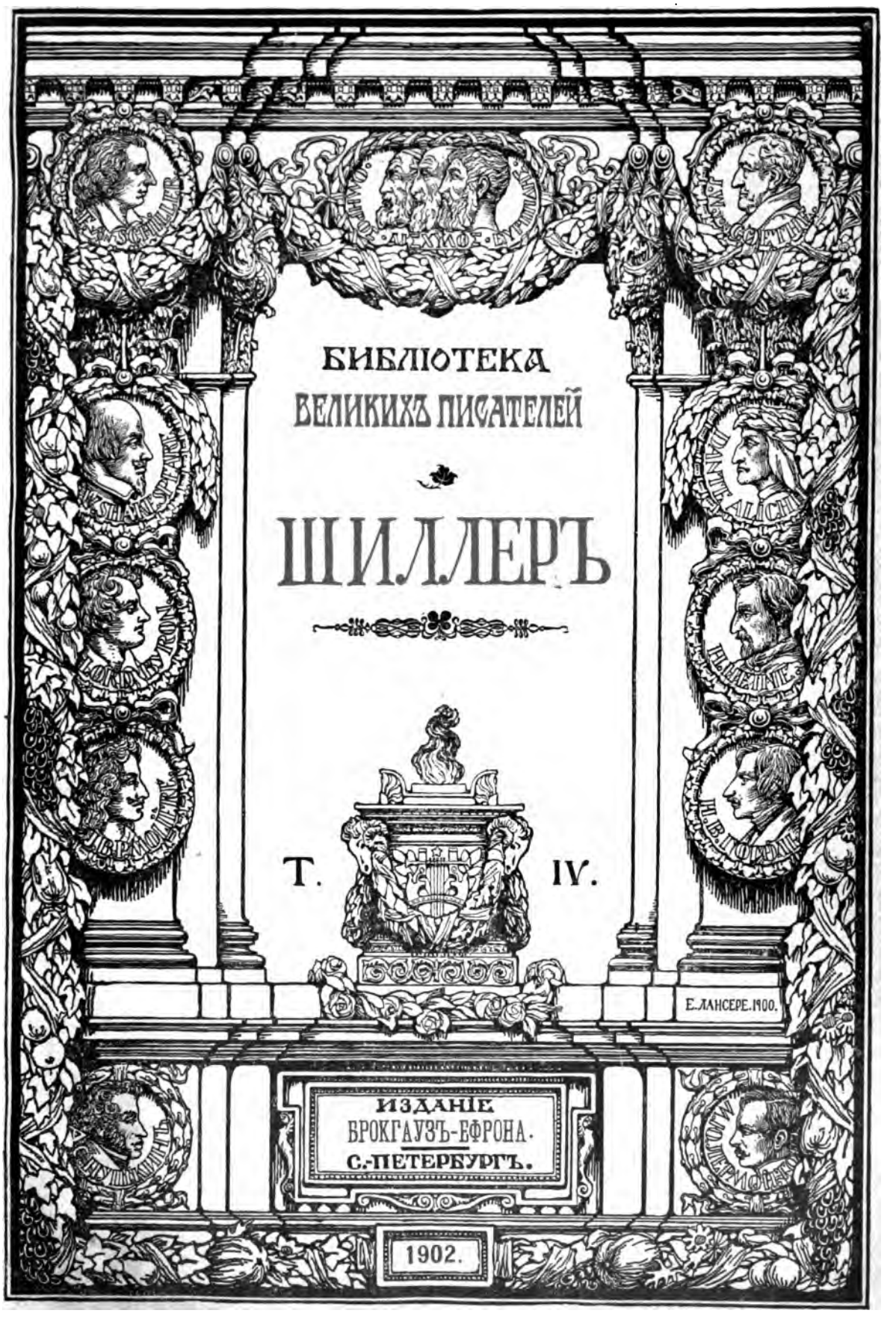
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PT
2476
R7A1
1901
t.4


БИБЛІОТЕКА
ВЕЛИКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
ШИЛЛЕРЪ
Т. IV.
Е. ЛАНСЕРЕ. 1900.
ИЗДАНІЕ
БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНА.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1902.

Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Прачешный пер., № 6.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ 10 Августа 1901 года.

ИСТОРІЯ
ТРИДЦАТИЛѢТНЕЙ ВОЙНЫ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ъ начала религіозной войны въ Германіи вплоть до Мюнстерскаго мира въ политическомъ мірѣ Европы едвали можно указать какое либо значительное и выдающееся событіе, въ которомъ важнѣйшее участіе не принадлежало бы реформаціи. Всѣ міровыя событія, относящіяся къ этой эпохѣ, находятся въ связи съ религіозной реформой или даже ведутъ свое начало отъ нея, и не было ни одного большого или малаго государства, которое въ большей или меньшей степени, косвенно или непосредственно не испытало бы на себѣ ея вліянія.

Почти все употребленіе, какое испанскій домъ дѣлалъ изъ своихъ громадныхъ политическихъ силъ, было направлено противъ новыхъ воззрѣній или ихъ приверженцевъ. Реформація была причиной междуусобія, которое потрясало основы Франціи въ продолженіе четырехъ бурныхъ правленій, внесло иноземное оружіе въ самыя нѣдра этой страны и въ теченіе цѣлаго полувѣка дѣлало ее ареной прискорбнѣйшаго разложенія. Реформація сдѣлала испанское иго невыносимымъ для нидерландцевъ и пробудила въ этомъ народѣ стремленіе и смѣлость сбросить его съ себя, а также въ значительной степени дала ему и силы для этого подвига. Все злое, что предпринималъ Филиппъ II противъ королевы англійской Елизаветы, было местью за то, что она защищала отъ него его протестантскихъ подданныхъ и стала во главѣ религіозной партіи, которую онъ стремился стереть съ лица земли. Церковный расколъ имѣлъ въ Германіи слѣдствіемъ продолжительный политическій разрывъ, который, правда, отдалъ эту страну въ жертву вѣковой смутѣ, но зато воздвигъ непреодолимый оплотъ противъ надвигавшагося на нее политическаго угнетенія. Реформація была одной изъ важнѣйшихъ причинъ, по которымъ сѣверныя державы, Данія и Швеція, впервые вошли въ систему европейскихъ государствъ, такъ какъ союзъ протестантскихъ государствъ былъ усиленъ ихъ участіемъ и такъ какъ союзъ этотъ сталъ необходимъ для нихъ самихъ. Государства, ранѣе едва существовавшія другъ для друга, подъ вліяніемъ реформаціи стали тѣсно сближаться между собою и начали объединяться въ новой политической симпатіи. Подобно тому какъ граждане вслѣдствіе реформаціи стали въ новыя отношенія къ своимъ согражданамъ, а повелители къ своимъ подданнымъ, такъ стали въ новыя взаимоотношенія и цѣлыя государства. Правда, страшно и тяжко было первое проявленіе этой всеобщей политической симпатіи— опустошительная тридцатилѣтняя война, которая отъ глубины Богемскаго лѣса до устья Шельды, отъ береговъ По до прибрежья Балтійскаго моря дѣлала безлюд-

ными цѣлыя страны, истребляла жатвы, обращала въ пепелъ города и деревни; война, въ которой нашли гибель многія тысячи воиновъ, которая на цѣлую половину столѣтія погасила вспыхнувшую въ Германіи искру культуры и едва зародившіеся добрые нравы возвратила къ прежней варварской дикости. Но свободная и непорабощенная вышла Европа изъ этой страшной войны, въ которой она впервые познала себя какъ цѣлокупную общину государствъ; и одного этого взаимнаго участія государствъ, впервые зародившагося, собственно, въ эту войну, было бы достаточно, чтобы примирить гуманнаго всечеловѣка съ ея ужасами. Рука прилежанія незамѣтно загладила всѣ пагубные слѣды этой войны; но благодѣянія, сопровождавшія ее, остались вовѣки вѣковъ. Та самая всеобщая симпатія государствъ, которая сообщила толчокъ въ Богеміи цѣлой половинѣ Европы, охраняетъ теперь миръ, положившій конецъ этой войнѣ. Подобно тому, какъ пламя опустошенія, вырвавшись изъ нѣдръ Богеміи, Моравіи и Австріи,—охватило Германію, Францію, половину Европы, точно такъ же факелъ культуры, зажженный въ послѣднихъ государствахъ, освѣтитъ эти страны.

Все это было дѣломъ религіи. Она одна могла сдѣлать возможнымъ случившееся, но все это было сдѣлано далеко не для нея и совсѣмъ не изъ-за нея. Если бы вскорѣ не присоединились къ ней частные интересы и государственная выгода, то никогда голосъ богослововъ и народа не встрѣтилъ-бы въ государяхъ такой готовности, никогда новое ученіе не нашло-бы столь многочисленныхъ, столь мужественныхъ и стойкихъ поборниковъ. Наибольшая доля участія въ церковномъ переворотѣ принадлежитъ безспорно всепобѣждающей мощи истины или того, что смѣшивали съ истиной. Злоупотребленія старой церкви, безсмыслица многихъ ея ученій, неумѣренность ея требованій несомнѣнно должны были возмутить душу, уже охваченную чаяніемъ лучшаго свѣта, должны были склонить ее къ новой вѣрѣ. Прелесть независимости, разсчетъ на богатую добычу отъ церковныхъ имуществъ должны были стать для государей соблазномъ перемѣнить вѣру и въ немалой степени усилить въ нихъ вѣсъ внутренняго убѣжденія; но лишь соображенія политическія могли понудить ихъ къ этому. Если-бы Карлъ V, чрезмѣрно упоенный своимъ счастьемъ, не позволилъ себѣ наложить руку на политическую свободу нѣмецкихъ сословій, то едва-ли протестантскій союзъ всталъ бы съ оружіемъ въ рукахъ на защиту религіозной свободы. Если-бы не властолюбіе Гизовъ, едва ли кальвинистамъ во Франціи пришлось-бы видѣть Конде или Колиньи своими главами; если-бы не требованіе десятаго и двадцатаго пфенига, св. престолъ никогда не потерялъ бы Соединенныхъ Нидерландовъ. Государи воевали для самозащиты или ради увеличенія своихъ владѣній; религіозный энтузіазмъ набиралъ имъ арміи и открывалъ имъ сокровищницы ихъ народовъ. Масса, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда ее собирала подъ ихъ знамена не просто надежда на добычу, вѣрила, что проливаетъ кровь за истину; на самомъ дѣлѣ она проливала ее изъ за выгоды государей.

И счастье для народовъ, что на этотъ разъ выгода государей шла рука объ руку съ ихъ выгодой. Лишь этому случайному обстоятельству обязаны они своимъ освобожденіемъ отъ папства. Счастье государей, что ихъ подданный, сражаясь за ихъ интересы, тѣмъ самымъ боролся и за свои. Въ эпоху, о которой идетъ рѣчь, въ Европѣ не было государя на столько самодержавнаго, чтобы онъ, преслѣдуя свои политическія цѣли, имѣлъ возможность не считаться съ доброй волей своихъ подданныхъ. А между тѣмъ, какъ трудно было склонить эту добрую волю народовъ къ своимъ политическимъ цѣлямъ и привести ее въ дѣйствіе. Убѣдительнѣйшія доказательства, заимствованныя изъ области государственныхъ соображеній, оставляютъ подданнаго холоднымъ; онъ рѣдко понимаетъ ихъ и еще рѣже интересуется ими. Въ этомъ случаѣ умѣлому политику остается одно: связать интересы кабинета съ какими либо иными интересами, болѣе близкими народу, и если такихъ интересовъ нѣтъ на-лицо, то создать ихъ.

Въ такомъ именно положеніи находилось большинство государей, вставшихъ на защиту реформаціи. По своеобразному стеченію обстоятельствъ, церковный расколъ совпалъ съ двумя политическими явленіями, безъ которыхъ ему, вѣроятно, пришлось бы принять совсѣмъ иное направленіе.

Это были: неожиданно возросшее могущество австрійскаго дома, ставшее угрозой для европейской свободы, и ревностная преданность этого дома старой религіи. Первое возбудило государей, второе вооружило ихъ народы.

Освобожденіе отъ чуждой юрисдикціи въ

ихъ государствахъ, пріобрѣтеніе высшей власти въ дѣлахъ духовныхъ, сокращеніе постояннаго отлива денегъ въ Римъ, разсчетъ на богатую добычу отъ духовныхъ имуществъ,—таковы были выгоды, одинаково соблазнительныя для всякаго государя; почему, можно спросить, не подѣйствовали онѣ такимъ же образомъ на государей австрійскаго дома? Что мѣшало этому дому, а особенно нѣмецкой линіи его, обратить вниманіе на настоятельныя требованія столь многихъ своихъ подданныхъ и по примѣру другихъ улучшить свое положеніе на счетъ беззащитнаго духовенства? Едва-ли вѣроятно, что убѣжденіе въ непогрѣшимости римской церкви играло въ набожной стойкости этого дома большую роль, чѣмъ та, которую убѣжденіе въ противоположномъ съиграло въ отпаденіи протестантскихъ государей. Много побудительныхъ причинъ соединилось для того, чтобы сдѣлать австрійскихъ государей опорой папства. Испанія и Италія, откуда австрійская держава черпала значительную долю своей мощи, были преданы папскому престолу съ слѣпымъ повиновеніемъ, которое особенно отличало испанцевъ еще во времена готскаго владычества. Ничтожнѣйшее сближеніе съ ненавистными ученіями Лютера и Кальвина должно было невозвратимо оторвать отъ повелителя Испаніи сердца его подданныхъ; разрывъ съ папствомъ могъ ему стоить этого королевства. Испанскій король долженъ былъ оставаться католическимъ государемъ или сойти съ трона. То же самое обязательство возлагали на него и итальянскія владѣнія, къ которымъ онъ, пожалуй, вынужденъ былъ относиться еще болѣе осторожно, чѣмъ къ своимъ испанцамъ, потому что они гораздо менѣе терпѣливо сносили иноземное иго и очень легко могли свергнуть его съ себя. Къ послѣднему присоединялось то обстоятельство, что въ этихъ странахъ Франція являлась его соперникомъ и папа сосѣдомъ—достаточно важныя препятствія объявить себя сторонникомъ партіи, стремившейся къ уничтоженію авторитета папы; достаточно важныя основанія связать себя съ послѣднимъ дѣятельнѣйшею преданностью старой религіи.

Эти общія причины, которыя должны были имѣть одинаковое значеніе для каждаго испанскаго монарха, находили у каждаго поддержку еще въ особыхъ мотивахъ. Карлъ V имѣлъ въ Италіи опаснаго соперника въ лицѣ короля французскаго, которому эта страна бросилась-бы въ объятія въ тотъ самый моментъ, какъ Карлъ былъ-бы заподозрѣнъ въ склонности къ ереси. Тѣ именно проекты, которые Карлъ преслѣдовалъ съ особеннымъ жаромъ, могли возбудить недовѣріе въ католикахъ и прекращенія съ церковью. Когда Карлу V пришлось выбирать между обѣими религіозными партіями, новая вѣра не успѣла еще пріобрѣсти его уваженіе; къ тому-же тогда были еще довольно основательны надежды на полюбовное примиреніе церквей. Въ его сынѣ и наолѣдникѣ Филиппѣ II монашеское воспитаніе въ соединеніи съ деспотическимъ, мрачнымъ характеромъ выросло въ непримиримую ненависть ко всякимъ новшествамъ въ дѣлахъ религіи, что едва-ли могло быть смягчено тѣмъ обстоятельствомъ, что его злѣйшіе политическіе противники были въ то же время врагами его религіи. Такъ какъ его европейскія владѣнія, разсѣянныя среди столь многихъ чужихъ государствъ, были повсюду открыты воздѣйствію чужихъ воззрѣній, то онъ, разумѣется, не могъ смотрѣть равнодушно на успѣхи реформаціи въ другихъ странахъ, и его ближайшіе государственные интересы заставляли его стать на сторону старой церкви, для того, чтобы заглушить самые источники еретической заразы. Такимъ образомъ естественный ходъ вещей ставилъ этого государя во главѣ католичества и союза, заключеннаго папистами противъ сторонниковъ нововведеній. То, что соблюдалось во время долгихъ и дѣятельныхъ правленій Карла V и Филиппа II, осталось закономъ и для слѣдующихъ, и чѣмъ болѣе усиливался расколъ въ лонѣ церкви, тѣмъ крѣпче должна была Испанія держаться католицизма.

Нѣмецкая линія австрійскаго дома была какъ будто свободнѣе; но если многія изъ этихъ препятствій были для нея не существенны, то ее связывали другія отношенія. Корона священной римской имперіи, совершенно немыслимая на протестантѣ (ибо какъ могъ отступникъ отъ римской церкви носить римскую императорскую корону?), связывала преемника Фердинанда I съ папскимъ престоломъ; самъ Фердинандъ по религіознымъ соображеніямъ былъ искренно преданъ этому престолу. Къ тому-же нѣмецко-австрійскіе государи не были достаточно сильны, чтобы обойтись безъ испанской поддержки, которой они неминуемо лишились бы, благопріятствуя новой религіи. Съ другой стороны, ихъ императорскій санъ заставлялъ ихъ встать на защиту нѣмецкой имперской системы, которая была осно-

Карлъ V ѣдетъ по полю сраженія подъ Мюльбергомъ.

Картина Тиціана. (Мадридъ, музей дель-Прадо).

вой ихъ сана и которую стремилась разрушить протестантская половина имперіи. Если прибавить къ этому равнодушіе протестантовъ къ стѣсненному положенію императоровъ и къ общимъ опасностямъ имперіи, ихъ насильственное вмѣшательство въ мірскіе интересы церкви и ихъ враждебное поведеніе тамъ, гдѣ они чувствовали себя сильнѣе, то легко понять, какимъ образомъ взаимодѣйствіе столь многихъ причинъ удержало императоровъ на сторонѣ папства и какъ ихъ собственные интересы должны были вполнѣ отождествиться съ интересами католической религіи. Такъ какъ, быть можетъ, вся судьба этой религіи зависѣла отъ рѣшенія, принятаго австрійскимъ домомъ, то вся Европа должна была смотрѣть на государей австрійскихъ, какъ на столповъ папства. Ненависть протестантовъ къ послѣднему обратилась поэтому единодушно противъ Австріи и понемногу смѣшала защитника съ дѣломъ, которое онъ защищалъ.

А между тѣмъ этотъ самый австрійскій домъ, непримиримый противникъ реформаціи, своими честолюбивыми замыслами, находившими поддержку въ его громадной силѣ, сталъ грозить политической свободѣ европейскихъ государствъ, а особенно нѣмецкихъ чиновъ. Это обстоятельство должно было возбудить въ нихъ тревогу и обратить вниманіе на самозащиту. Обычныхъ средствъ ни въ какомъ случаѣ не могло хватить на борьбу съ столь грозной силой. Имъ пришлось потребовать отъ своихъ подданныхъ необычайнаго напряженія и,—такъ какъ и этого далеко не было достаточно—просить помощи у своихъ сосѣдей и при посредствѣ союзовъ бороться сообща съ силой, противъ которой каждому изъ нихъ порознь не удалось-бы устоять.

Но важныя политическія соображенія, заставлявшія государей бороться съ успѣхами Австріи, были чужды ихъ подданнымъ. Лишь непосредственныя бѣдствія могутъ привести народъ въ движеніе, а дальновидная политика не можетъ ихъ выжидать. Трудно пришлось бы, стало быть, государямъ, если бы, на ихъ счастье, къ этому не присоединилась иная причина, охватившая народъ страстью и зажегшая въ немъ одушевленіе, которое могло быть направлено и противъ политической опасности, въ виду того, что и народу и государямъ предстояло бороться съ однимъ и тѣмъ-же. Этой причиной была открытая ненависть къ религіи, на защиту которой всталъ австрійскій домъ, фанатическая приверженность къ ученію, которое этотъ домъ старался искоренить огнемъ и мечемъ. Горяча была эта приверженность, неутолима эта ненависть; религіозный фанатизмъ боится самой отдаленной опасности; изступленіе никогда не разсчитываетъ, чѣмъ жертвуетъ. Чего не могла сдѣлать съ гражданами рѣшительная опасность, грозившая государству, то сдѣлало религіозное одушевленіе. Не много рукъ добровольно взялось бы за оружіе ради государства, изъ за интересовъ государя; ради вѣры хватались за мечъ купецъ, художникъ, земледѣлецъ. Ради государства или ради государя старались бы уклониться отъ самаго незначительнаго чрезвычайнаго налога; ради религіи отдавали свое добро и жизнь, всѣ свои земныя надежды. Утроенныя суммы стекались теперь въ государственную казну, утроенное количество войскъ выступало въ поле; и въ бѣшеномъ возбужденіи, охватившемъ всѣ сердца, вслѣдствіе близкой опасности грозящей религіи, подданный не чувствовалъ ни тягости, ни напряженія, подъ бременемъ которыхъ онъ склонился бы истощенный въ болѣе спокойномъ душевномъ состояніи. Боязнь испанской инквизиціи, варѳоломеевскихъ ночей открываютъ принцу Оранскому, адмиралу Колиньи, королевѣ британской Елизаветѣ, протестантскимъ государямъ Германіи въ ихъ народахъ источники содѣйствія, до сихъ поръ совершенно непостижимые.

Но и при большемъ напряженіи усилій едва ли удалось бы сдѣлать что нибудь съ державой, которая была сильнѣе всякаго даже могущественнѣйшаго государя, взятаго въ отдѣльности. Между тѣмъ въ эпоху столь слабаго развитія политики лишь случайныя обстоятельства могли связать отдаленныя государства взаимопомощью. Различіе государственнаго устройства, законовъ, языка, нравовъ, національнаго характера, которое разбивало народы и страны на многочисленныя обособленныя единицы и точно раздѣляло ихъ непроходимой преградой, дѣлая одно государство нечувствительнымъ къ тяжкому положенію другого, а то возбуждая въ немъ даже враждебное злорадство. Эта преграда была разрушена реформаціей. Отдѣльные граждане и цѣлыя государства стали воодушевляться болѣе живымъ и болѣе близкимъ имъ интересомъ, чѣмъ національная выгода или любовь къ отечеству; интересомъ, который оставался совершенно независимымъ отъ гражданскихъ отношеній. Этотъ интересъ могъ связывать многія и даже отдаленнѣйшія государства

и могъ, съ другой стороны, отсутствовать у гражданъ того же государства. Такимъ образомъ, французскій кальвинистъ могъ имѣть съ женевскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ или голландскимъ протестантомъ точку соприкосновенія, которой у него не было съ его католическими согражданами. Поэтому, въ одномъ чрезвычайно важномъ отношеніи онъ, такъ сказать, переставалъ быть гражданиномъ отдѣльнаго государства, ограничивать свое вниманіе и участіе однимъ этимъ государствомъ. Его кругозоръ расширяется: онъ начинаетъ по судьбѣ чуждыхъ странъ, держащихся одной съ нимъ вѣры, предвидѣть свою собственную судьбу и ихъ дѣло считать своимъ дѣломъ. Лишь теперь могли государи осмѣлиться представить дѣла иноземныя на обсужденіе собранія своихъ земскихъ чиновъ, теперь лишь могли они надѣяться найти въ нихъ вниманіе и быструю помощь. Эти чужія дѣла стали теперь своими, и единовѣрцу теперь охотно протягивали руку помощи, которой раньше не дождались бы ни сосѣдъ, ни тѣмъ болѣе далекій чужеземецъ. Теперь пфальцскій гражданинъ бросаетъ свою родину, чтобы сражаться противъ общаго религіознаго врага за своего французскаго единовѣрца. Французскій подданный, обнажая мечъ противъ родины, которая преслѣдуетъ его, умираетъ за свободу Голландіи. Теперь швейцарцы бьются противъ швейцарцевъ нѣмцы противъ нѣмцевъ, рѣшая на берегахъ Луары и Сены вопросы престолонаслѣдія во Франціи. Датчанинъ переходитъ черезъ Эйдеръ, шведъ переправляется черезъ Бельтъ, чтобы разбить цѣпи, въ которыхъ томится Германія.

Очень трудно сказать, что сталось бы съ реформаціей и съ свободой германской имперіи, если бы грозный австрійскій домъ не сталъ противъ нея. Но можно, кажется, считать доказаннымъ, что ничто не препятствовало австрійскимъ государямъ въ ихъ стремленіи къ всемірной монархіи, болѣе, чѣмъ упорная борьба, которую они вели съ новымъ міровоззрѣніемъ. Ни въ какомъ другомъ случаѣ не удалось бы болѣе слабымъ государямъ добиться отъ своихъ подданныхъ столь необыкновенныхъ усилій, которыя они противопоставили австрійской державѣ; ни въ какомъ другомъ случаѣ государствамъ не удалось бы соединиться противъ общаго врага.

Никогда могущество Австріи не было такъ велико, какъ послѣ побѣды Карла V при Мюльбергѣ, гдѣ онъ разбилъ нѣмцевъ. Казалось, что съ Шмалькальденскимъ союзомъ нѣмецкая свобода погибла на вѣки; но она воскресла въ Морицѣ Саксонскомъ, ея злѣйшемъ врагѣ. Всѣ плоды побѣды при Мюльбергѣ были потеряны на конгрессѣ въ Пассау и на имперскомъ сеймѣ въ Аугсбургѣ, и всѣ мѣры, имѣющія цѣлью свѣтскій и духовный гнетъ, сводятся къ нулю мирными уступками.

На этомъ имперскомъ сеймѣ въ Аугсбургѣ Германія распалась на двѣ религіи и на двѣ политическія партіи, распалась лишь теперь, потому что лишь теперь это распаденіе было узаконено. До сихъ поръ на протестантовъ смотрѣли, какъ на простыхъ мятежниковъ; теперь рѣшили относиться къ нимъ, какъ къ братьямъ, не потому, чтобы ихъ признали таковыми, но потому что были къ этому принуждены. Аугсбургское исповѣданіе могло теперь стоять наравнѣ съ католической религіей, пользуясь, однако, лишь временнымъ равноправіемъ въ качествѣ терпимой сосѣдки. Каждый свѣтскій имперскій чинъ получилъ право объявить религію, которую онъ самъ исповѣдывалъ, господствующей и единственной въ своихъ владѣніяхъ и преслѣдовать свободное исповѣданіе всякой другой. Каждому подданному разрѣшалось покинуть страну гдѣ его религія была угнетена. Такимъ об' разомъ, теперь лишь въ первый разъ добилось ученіе Лютера положительной санкціи и если оно пресмыкалось во прахѣ гдѣ нибудь въ Баваріи или Австріи, то могло зато найти утѣшеніе въ томъ, что оно царило въ Саксоніи и въ Тюрингіи. Но только государь могъ рѣшить—какая религія допускается въ его владѣніяхъ и какая изгоняется изъ нихъ; о подданномъ, который на этомъ имперскомъ сеймѣ не имѣлъ представителей, въ договорѣ не позаботились. Лишь въ духовныхъ владѣніяхъ, гдѣ католическая религія оставалась безусловно господствующей, было предоставлено протестантскимъ подданнымъ (которые уже были таковыми) свободное исповѣданіе ихъ вѣры; но и это было дано лишь въ видѣ личнаго обѣщанія короля римскаго Фердинанда, заключившаго этотъ миръ,—обѣщанія, которое, встрѣтивъ противорѣчіе съ католической стороны, было внесено въ мирный трактатъ съ оговоркой объ этомъ противорѣчіи, и потому не получило никакой законной силы.

Впрочемъ, еслибы причиной общаго несогласія были только теоретическія воззрѣнія, — какъ равнодушно смотрѣли бы

всѣ на это несогласіе. Но съ этими воззрѣніями были связаны богатства, саны, права,—обстоятельства, безконечно затруднявшія раздѣлъ. Изъ двухъ братьевъ, до сихъ поръ мирно владѣвшихъ отцовскимъ достояніемъ, одинъ покидалъ теперь отцовскій домъ,—являлась необходимость подѣлиться съ оставшимся братомъ. Отецъ не сдѣлалъ никакихъ распоряженій на случай этого раздѣла, потому что онъ не могъ ничего подобнаго предвидѣть. Богатства церкви были накоплены въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія, составившись изъ добровольныхъ пожертвованій предковъ, и эти предки принадлежали уходящему въ такой же степени, какъ и остающемуся. Соединялось право наслѣдованія съ отцовскимъ домомъ или съ отцовской кровью? Пожертвованія были сдѣланы католической церкви, потому что тогда не было еще никакой другой; первенцу—потому что тогда онъ былъ единственнымъ сыномъ. Должно-ли было въ лонѣ церкви признаваться право первородства, какъ въ дворянскихъ родахъ? Было-ли законно предпочтеніе, оказанное одной половинѣ въ тотъ моментъ, когда другой еще не существовало? Могли-ли лютеране быть лишены пользованія достояніемъ, которое скоплялось отъ пожертвованій ихъ же предковъ,—лишены лишь потому, что въ эпоху пожертвованія еще не было никакой разницы между лютеранами и католиками? Обѣ религіозныя партіи выступали другъ противъ друга въ этомъ спорномъ дѣлѣ съ довольно основательными притязаніями, выступаютъ съ ними и до сихъ поръ; но доказать свою правоту было одинаково трудно и той и другой партіи. Право располагаетъ рѣшеніями только для такихъ случаевъ, какіе можно представить себѣ заранѣе, и, быть можетъ, духовныя пожертвованія не принадлежатъ къ таковымъ,—не принадлежатъ, по крайней мѣрѣ, тогда, когда связываютъ требованія жертвователей съ догматическими положеніями; мыслимо-ли связывать вѣковѣчное пожертвованіе съ измѣняющимся воззрѣніемъ?

Когда право безсильно рѣшить, рѣшаетъ сила; такъ было и въ этомъ случаѣ. Одна часть удержала за собой то, чего у нея нельзя было отнять; другая защищала то, что имѣла. Всѣ епископства и аббатства, секуляризованныя до заключенія мира, остались протестантамъ; но паписты оградили себя оговоркой, что въ будущемъ секуляризацій больше не будетъ. Всякій владѣтель духовнаго учрежденія, непосредственно подчиненнаго имперіи,—курфюрстъ, епископъ или аббатъ теряетъ свои доходы и санъ, какъ только онъ отпадаетъ въ протестантство. Онъ обязанъ тотчасъ же сложить съ себя свое званіе, и капитулъ приступаетъ къ новымъ выборамъ, совершенно такъ же, какъ въ томъ случаѣ, если бы мѣсто его освободилось вслѣдствіе его смерти. На этомъ священномъ якорѣ „духовной оговорки", ставившемъ все земное существованіе духовнаго владѣтеля въ зависимость отъ его вѣроисповѣданія, держится до сихъ поръ вся католическая церковь Германіи—и Богъ знаетъ, что сталось бы съ ней, еслибы этотъ якорь не выдержалъ. „Духовная оговорка" выдержала ожесточенное нападеніе протестантскихъ чиновъ, и хотя они въ концѣ концовъ включили ее въ мирный трактатъ, однако потребовали, чтобы было прямо присовокуплено, что соглашеніе обѣихъ партій по этому пункту не состоялось. Могла-ли такая прибавка имѣть для протестантской стороны болѣе обязательную силу, чѣмъ та, какую имѣло для католиковъ обѣщаніе Фердинанда обезпечить свободу протестантскихъ подданныхъ въ духовныхъ владѣніяхъ. Такимъ образомъ въ мирномъ договорѣ было два спорныхъ пункта; они и повели за собой войну.

Такъ обстояло дѣло съ свободой совѣсти и съ духовными владѣніями; въ такомъ же положеніи былъ вопросъ о правахъ и санахъ. Нѣмецкая имперская система была разсчитана на единую церковь, потому что другой не было, когда система создавалась. Въ церкви произошелъ расколъ, имперскій сеймъ распался на двѣ религіозныя партіи,—какъ могла имперская система покоиться отнынѣ исключительно на одной изъ нихъ? Всѣ императоры до сихъ поръ были сынами римской церкви, потому что до сихъ поръ римская церковь въ Германіи не имѣла соперницъ. Но что собственно составляло сущность германскаго императора—связь съ Римомъ или сама Германія, находившая въ этомъ императорѣ свое воплощеніе? Между тѣмъ ко всей Германіи принадлежитъ также и ея протестантская половина; какимъ образомъ можетъ послѣдняя находить свое воплощеніе въ непрерывномъ рядѣ католическихъ императоровъ? Въ высшемъ имперскомъ судѣ нѣмецкіе чины сами судятъ себя, потому что изъ ихъ среды набираются судьи; смыслъ этого учрежденія заключается именно въ сознаніи, что чины сами себя судятъ, что они имѣютъ всѣ равную правоспособность; бу-

детъ-ли это сознаніе полно, если судъ будетъ состоять изъ представителей одной только религіи? То, что въ моментъ основанія этого учрежденія въ Германіи царила единая религія, было случайностью; идея воспрепятствовать одному сословію угнетать на основаніи закона другое — была основной цѣлью учрежденія. Между тѣмъ цѣль эта, очевидно, не будетъ достигнута, если одной религіозной партіи будетъ принадлежать исключительное право судить другую,—можно-ли пожертвовать основной мыслью, если измѣнились лишь случайныя обстоятельства?—Лишь съ большимъ трудомъ добыли протестанты одно мѣсто въ верховномъ судѣ для представителей своего вѣроученія, но не могли добиться равновѣсія голосовъ. Императорской короной не былъ еще увѣнчанъ ни одинъ протестантскій государь.

Вообще какого мнѣнія ни держаться о равенствѣ, установленномъ религіознымъ миромъ въ Аугсбургѣ между двумя нѣмецкими церквами, побѣдительницей была безспорно католическая. Все, что добилась лютеранская, было терпимость; все, что уступила католическая, было уступкою необходимости, но не справедливости. Здѣсь все еще не было мира между двумя равноправными силами; былъ договоръ между господиномъ и неукрощеннымъ мятежникомъ. Изъ этого принципа исходили, кажется, всѣ дѣйствія католической церкви по отношенію къ протестантской, исходятъ какъ будто и до сихъ поръ. Все еще считалось преступленіемъ перейти въ протестантство, ибо для духовнаго владѣтеля это влекло за собой тяжкія потери, опредѣленныя „духовной оговоркой". И впослѣдствіи католическая церковь предпочитала лишь уступать гнету насилія, чѣмъ добровольно и по справедливости отказаться отъ маленькой выгоды, ибо всегда оставалась надежда отобрать отнятое назадъ, и всегда потеря была представляема лишь чѣмъ-то случайнымъ; а отказъ отъ притязанія, право признанное добровольно за протестантами, потрясало самыя основы католической церкви. Даже при заключеніи религіознаго мира этотъ принципъ оставался руководящей нитью. Всѣ уступки, сдѣланныя протестантамъ въ мирномъ договорѣ, были сдѣланы съ оговорками. Все—такъ было прямо сказано въ актѣ — имѣетъ силу лишь до ближайшаго вселенскаго собора, который займется возсоединеніемъ обѣихъ церквей. Лишь тогда, когда эта послѣдняя попытка не увѣнчается успѣхомъ, получитъ безусловную силу религіозный миръ. Какъ ни малы были надежды на такое возсоединеніе, какъ ни мало заботились о немъ сами католики, выгода заключалась въ томъ, что значеніе мирнаго договора было ограничено хоть такой оговоркой.

Итакъ, этотъ религіозный миръ, который долженъ былъ навѣки затушить пламя междоусобія, былъ по существу лишь временной мѣрой, дѣломъ необходимости и уступкой насилію; онъ не былъ продиктованъ закономъ справедливости, не былъ плодомъ новыхъ идей о религіи и свободѣ совѣсти. Такого религіознаго мира не могли дать католики, и —сказать правду — до такого мира не доросли еще и протестанты. Они были далеки отъ того, чтобы выказать по отношенію къ католикамъ полную справедливость; они душили тамъ, гдѣ могли, кальвинистовъ, которые, разумѣется, заслуживали терпимости, въ этомъ лучшемъ смыслѣ, не болѣе остальныхъ, такъ какъ сами также далеки были отъ ея примѣненія. Для такого религіознаго мира не созрѣли еще тѣ времена, и были слишкомъ еще спутаны умы. Какъ могла одна сторона требовать отъ другой того, что сама она была не въ состояніи дать? Все, что спасла или выиграла та или иная религіозная партія въ Аугсбургскомъ мирѣ, было результатомъ ея силы, случайнаго взаимотношенія державъ во время заключенія мира. То, что было пріобрѣтено силой, могло быть охраняемо только силой; стало быть, это политическое равновѣсіе должно было сохраняться и на будущее время—или же миръ терялъ силу. Мечемъ были намѣчены границы между обѣими церквами; мечъ долженъ былъ охранять ихъ и въ будущемъ— или горе сторонѣ, рѣшившейся на мгновеніе положить оружіе! Страницы мирнаго трактата грозили теперь уже страшнымъ будущимъ покою Германіи.

Пока въ имперіи царила временная тишина, и непрочное согласіе какъ будто вновь объединило расторгнутыя части въ одно государственное цѣлое, такъ что на нѣкоторое время вновь возродилось чувство общаго благополучія. Но разрывъ коренился въ самыхъ нѣдрахъ, и моментъ, удобный для возстановленія согласія, промелькнулъ безвозвратно. Какъ ни точно, казалось, установлены правовыя границы обѣими сторонами, онѣ, однако, подвергались весьма разнообразнымъ толкованіямъ. Въ разгарѣ яростной борьбы договоръ опре-

Императоръ Рудольфъ II.

Гравюра на мѣди Эгидія Заделера (1603) съ картины Іоганна Аахенскаго.

дѣлялъ для враждующихъ сторонъ лишь временное перемиріе; онъ прикрылъ пожаръ, но не погасилъ его, и неудовлетворенныя притязанія были равно удѣломъ обѣихъ партій. Католикамъ казалось, что они потеряли слишкомъ много; евангелистамъ—что они добыли слишкомъ мало. Обѣ стороны искали исхода въ томъ, что, не имѣя возможности нарушить миръ, толковали его согласно своимъ видамъ.

То самое могучее побужденіе, благодаря которому столь многіе протестантскіе государи склонились къ принятію ученія Лютера, а именно секуляризація духовныхъ имуществъ, осталось и послѣ заключенія мира въ той же силѣ, что и раньше; и всѣ подчиненныя учрежденія, не попавшія еще въ ихъ руки, должны были перейти къ нимъ. Вся нижняя Германія была съ чрезвычайной быстротой секуляризована, и, если въ верхней Германіи дѣло обстояло иначе, то лишь благодаря живѣйшему сопротивленію католиковъ, которые здѣсь имѣли перевѣсъ. Каждая партія давила или при-

тѣсняла сторонниковъ другой тамъ, гдѣ она была сильнѣй. Особенно тѣснили духовныхъ владѣтелей, какъ слабѣйшихъ членовъ имперіи, ихъ некатолическіе сосѣди, побуждаемые неутомимой жаждой расширять свои владѣнія. Кто былъ слишкомъ слабъ, чтобы противоставить насилію физическую силу, тотъ бѣжалъ подъ охрану закона, и жалобы на протестантскихъ владѣтелей накоплялись въ имперскомъ судѣ, который былъ готовъ преслѣдовать преступную сторону своими рѣшеніями, но былъ слишкомъ слабъ, чтобы дать имъ какую нибудь силу. Миръ, давшій чинамъ имперіи полную свободу совѣсти, до нѣкоторой степени позаботился также и о подданномъ, которому онъ даровалъ право свободно покидать страну, въ которой его религія подвергалась преслѣдованіямъ. Но отъ насилій, которымъ подвергался ненавистный подданный со стороны своего властелина, отъ невыразимыхъ мученій, какими затруднялось его переселеніе, отъ искусно разставленныхъ тенетъ, какими хитрость въ союзѣ съ силой можетъ опутать умы людей, — отъ всего этого мертвая буква мирнаго договора не могла охранить никого. Католическій подданный протестантскихъ государей громко жаловался на нарушенія религіознаго мира; евангелическій еще громче жаловался на стѣсненія, какія онъ испытывалъ отъ своихъ католическихъ государей. Ожесточеніе и озлобленіе богослововъ разжигало души и обостряло всякую мелочь, какъ бы ни была она ничтожна сама по себѣ; хорошо еще, когда эта богословская ярость изливалась на общаго религіознаго врага, не обрызгивая ядомъ своего собственнаго единовѣрца. Для того, чтобы удержать обѣ враждующія партіи въ равновѣсіи и такимъ образомъ продолжить миръ, было бы достаточно единства протестантовъ между собой; но въ довершеніе общей смуты вскорѣ испарилось и это единство. Ученіе, распространенное Цвингли въ Цюрихѣ и Кальвиномъ въ Женевѣ, вскорѣ стало прочно водворяться и въ Германіи, и поселять раздоры между протестантами, такъ что между ними едва-ли оставалось что-либо общее кромѣ общей ненависти къ папству. Протестанты этой эпохи уже не были похожи на тѣхъ, которые полвѣка тому назадъ изложили свое исповѣданіе въ Аугсбургѣ, и причиной перемѣны является именно это самое аугсбургское исповѣданіе. Оно поставило протестантской религіи извѣстныя границы, прежде чѣмъ пробудившійся духъ изслѣдованія могъ мириться съ этими границами, и протестанты незамѣтно потеряли часть преимуществъ, которыя имъ обезпечивало отпаденіе отъ папства. Одинаковыхъ жалобъ на римскую іерархію и на злоупотребленія въ римской церкви, равнаго неодобренія римскаго ученія было бы совершенно достаточно для того, чтобы объединить протестантсткую церковь; но они искали этого объединительнаго начала въ новой положительной религіозной системѣ, полагая въ ней отличительный признакъ, преимущество, сущность ихъ церкви и относя исключительно къ ней договоръ, заключенный съ католиками. Религіозный миръ они заключили лишь въ качествѣ приверженцевъ опредѣленной религіи; одни только приверженцы этой религіи могли пользоваться благодѣяніями этого мира. Такимъ образомъ, каковъ бы ни былъ исходъ, единовѣрцамъ было равно плохо. Требованіе оказывать слѣпое повиновеніе религіознымъ постановленіямъ надолго ограничивало духъ изслѣдованія; несогласія въ толкованіи установленной формулы были гибелью объединяющаго начала. Къ несчастію, произошло и то и другое, и приходилось считаться съ печальными послѣдствіями того и другого. Одна партія держалась твердо перваго аугсбургскаго исповѣданія, и если кальвинисты отступили отъ него, то лишь для того, чтобы такимъ же образомъ замкнуться въ новомъ вѣроученіи. Протестанты не могли доставить своему общему врагу лучшаго предлога, чѣмъ это несогласіе, и болѣе утѣшительнаго зрѣлища, чѣмъ взаимное ожесточеніе, съ какимъ они преслѣдовали другъ друга. Кто могъ ставить католикамъ въ вину, что они находили смѣшной наглость, съ которой эти преобразователи вѣры выставляли себя провозвѣстниками единственно истинной религіи? Вѣдь оружіе въ борьбѣ противъ протестантовъ они брали ни у кого другого, какъ у самихъ протестантовъ; вѣдь эти противорѣчія укрѣпляли ихъ въ вѣрѣ въ авторитетъ своей религіи, за которую говорила отчасти почтенная старина и еще болѣе почтенное большинство. Но протестантамъ пришлось испытать еще болѣе серьезныя послѣдствія своихъ несогласій. Религіозный миръ имѣлъ въ виду исключительно единовѣрцевъ, и католики требовали теперь объясненія, кого же именно считаютъ протестанты своимъ единовѣрцемъ? Совѣсть не позволяла евангелистамъ принять въ свою среду реформатовъ; между тѣмъ они не могли исключать

ихъ изъ нея, не превращая полезнаго друга въ опаснаго врага. Это злополучное разногласіе проложило путь махинаціямъ іезуитовъ, которые постарались посѣять недовѣріе между обѣими партіями и разрушить единство въ ихъ мѣропріятіяхъ. Связанные двойнымъ страхомъ предъ католиками и предъ своими протестантскими противниками, протестанты навсегда потеряли невозвратный моментъ, когда возможно еще было отвоевать для ихъ церкви права, равныя съ римской. И всѣхъ этихъ затрудненій они могли бы избѣжать; отпаденіе реформатовъ не причинило бы ни малѣйшаго ущерба общему дѣлу, если бы основы для соединенія искали не въ разныхъ аугсбургскихъ исповѣданіяхъ и иныхъ махинаціяхъ, а въ совмѣстномъ отдаленіи отъ папства.

Но какъ ни велики были несогласія въ разныхъ отношеніяхъ, въ одномъ однако были всѣ согласны: въ томъ, что безопасность, достигнутая посредствомъ равновѣсія силъ, можетъ быть въ будущемъ сохранена только этимъ же равновѣсіемъ. Нескончаемыя новшества въ одной партіи и противодѣйствіе другой поддерживали вниманіе обѣихъ сторонъ, и содержаніе религіознаго мира было поводомъ къ вѣчному спору. Каждый шагъ противной партіи имѣлъ въ виду нарушеніе мира, каждый шагъ, сдѣланный своими, дѣлался для сохраненія этого мира. Не всѣ дѣйствія католиковъ имѣли цѣлью нападеніе, какъ ихъ обвиняла противная партія; многое изъ того, что они дѣлали, вызывалось необходимостью. Протестанты показали недвусмысленнымъ образомъ, чѣмъ рискуютъ католики, если на ихъ долю выпадаетъ несчастье быть побѣжденной стороной. Жадные взоры протестантовъ, съ вожделѣніемъ прикованные къ духовнымъ владѣніямъ, не давали имъ никакой надежды на пощаду, ихъ собственная ненависть не дозволяла имъ надѣяться на великодушіе и терпимость.

Но и протестантовъ трудно было винить въ томъ, что они мало довѣряли честности папистовъ. Вѣроломное и варварское отношеніе къ ихъ единовѣрцамъ въ Испаніи, Франціи и Нидерландахъ, позорное обыкновеніе католическихъ государей прибѣгать къ папскому разрѣшенію отъ священнѣйшихъ клятвенныхъ обѣщаній, гнусный принципъ, по которому считалось позволительнымъ не соблюдать обѣщаній, данныхъ еретику,—лишили католическую церковь нравственнаго авторитета въ глазахъ честныхъ людей. Никакое обѣщаніе, никакая клятва въ устахъ паписта не могла успокоить протестанта. Какъ могъ сдѣлать это религіозный миръ, который іезуиты открыто провозглашали во всей Германіи лишь временной уступкой, которая была торжественно отвергнута въ самомъ Римѣ?

Вселенскій соборъ, обусловленный въ мирномъ договорѣ, собрался между тѣмъ въ Тридентѣ; но, какъ и можно было ожидать, онъ не соединилъ враждующихъ религій, не сдѣлалъ ни одного шага къ этому соединенію; въ числѣ его участниковъ не было ни одного протестанта. Теперь протестанты были торжественно прокляты церковью, за представителей которой выдавали себя члены собора. Могъ-ли свѣтскій и къ тому же вынужденный силою оружія договоръ, опиравшійся на условіе, какъ будто отмѣненное заключеніемъ собора, дать протестантамъ достаточно продолжительную безопасность предъ лицомъ церковнаго проклятія? Такимъ образомъ былъ созданъ какъ бы призракъ права, на который могли опираться католики, еслибы они почувствовали себя достаточно сильными, чтобы нарушить религіозный миръ; отнынѣ протестантовъ не охраняло ничто кромѣ уваженія къ ихъ силѣ.

Къ этому присоединялись многія обстоятельства, усиливавшія недовѣріе. Испанія, на которую опиралась сила католической Германіи, вела съ Нидерландами яростную войну, привлекшую ядро испанской арміи на границы Германіи. Какъ легко могла оказаться эта армія въ предѣлахъ имперіи, еслибы рѣшительный ударъ потребовалъ здѣсь ея присутствія! Германія была тогда арсеналомъ всѣхъ европейскихъ державъ. Вслѣдствіе религіозной войны здѣсь скопилась масса солдатъ, которые во время мира сидѣли безъ хлѣба. Каждый изъ многочисленныхъ независимыхъ государей могъ легко навербовать войско, а затѣмъ изъ корыстолюбія или изъ партійности отдать его другой державѣ. Посредствомъ нѣмецкихъ войскъ велъ Филиппъ II войну съ Нидерландами, которые въ свою очередь защищались нѣмецкими войсками. Каждый такой рекрутскій наборъ въ Германіи пугалъ какую нибудь изъ религіозныхъ партій; онъ могъ имѣть цѣлью только ея притѣсненія. Странствующій посолъ, чрезвычайный папскій легатъ, съѣздъ государей, всякое необычайное явленіе, очевидно, готовило гибель той или другой сторонѣ. Въ такомъ положеніи находилась Германія въ теченіе цѣлой половины столѣтія, не отры-

вая руки отъ меча, въ ужасѣ вздрагивая отъ всякаго ничтожнаго шороха.

Въ эту критическую эпоху имперіей правили Фердинандъ I, король венгерскій, и его превосходный сынъ Максимильянъ II. Съ глубокой искренностью и съ терпѣніемъ поистинѣ героическимъ старался Фердинандъ заключить религіозный миръ въ Аугсбургѣ и терялъ силы надъ неудачной попыткой воссоединить церкви на тридентскомъ соборѣ. Этому императору, оставленному безъ поддержки его племянникомъ Филиппомъ испанскимъ и тѣснимому въ то же время въ Семиградьи и Венгріи побѣдоносными войсками турокъ, разумѣется не могло придти въ голову нарушить религіозный миръ и уничтожить свое созданіе, стоившее ему такихъ усилій. Громадныя издержки на нескончаемую турецкую войну не могли быть покрыты скудными доходами съ его истощенныхъ наслѣдственныхъ владѣній; ему необходима была помощь имперіи, а распавшееся государство могло быть сковано во единое цѣлое лишь религіознымъ миромъ. Съ точки зрѣнія экономическихъ потребностей, протестанты были ему не менѣе нужны, чѣмъ католики, и онъ былъ вынужденъ обращаться съ обѣими сторонами съ равной справедливостью, которая при столь противорѣчивыхъ требованіяхъ была поистинѣ непосильною задачею. Желанія его были чрезвычайно далеки отъ исполненія: его уступки протестантамъ явились лишь причиной войны, которая, пощадивъ его самого, выпала на долю его внуковъ. Не болѣе его былъ счастливъ его сынъ Максимильянъ, которому, быть можетъ, помѣшала лишь сила обстоятельствъ и не достало болѣе долгой жизни, чтобы возвести новую религію на тронъ имперіи. Отца учила щадить протестантовъ необходимость; необходимость и справедливость учили этому его сына. Внукъ дорого поплатился за то, что онъ не внялъ голосу справедливости и не покорился требованіямъ необходимости.

Шесть сыновей оставилъ Максимильянъ, но лишь старшій изъ нихъ, эрцгерцогъ Рудольфъ, унаслѣдовалъ его владѣнія и вступилъ на императорскій тронъ; остальные братья получили небольшіе удѣлы. Немногія владѣнія принадлежали боковой линіи и перешли къ ихъ дядѣ Карлу штирійскому; но и они, при его сынѣ Фердинандѣ II, соединились съ остальными наслѣдственными землями Австріи. Такимъ образомъ, не считая этихъ земель, вся могучая вотчина австрійскаго дома соединилась теперь въ одной рукѣ,—къ несчастію, совершенно безсильной.

Рудольфъ II не былъ лишенъ добродѣтелей, которыя могли снискать ему общую любовь, еслибы на долю его выпалъ жребій частнаго человѣка. Характеръ его былъ мягокъ; онъ любилъ миръ и увлекался науками—особенно астрономіей, естествовѣдѣніемъ, химіей и археологіей съ страстнымъ интересомъ, который, однако, въ тотъ моментъ, когда критическое положеніе вещей требовало его напряженнѣйшаго вниманія и его истощенные финансы дѣлали необходимой величайшую бережливость,—отвлекалъ его отъ государственныхъ дѣлъ и вызывалъ въ немъ пагубную расточительность. Его интересъ къ астрономіи терялся въ астрологическихъ мечтаніяхъ, которымъ такъ легко предается духъ меланхолическій и робкій. Это обстоятельство — въ связи съ юностью, проведенною въ Испаніи, —открывало доступъ злѣйшимъ совѣтамъ іезуитовъ и внушеніямъ испанскаго двора, которыя въ концѣ концовъ овладѣли имъ съ неограниченной силой. Увлекаемый диллетантствомъ, столь мало достойнымъ его высокаго сана, и постоянно устрашаемый смѣшными предсказаніями, онъ былъ по испанскому обычаю невидимъ для своихъ подданныхъ, скрываясь среди своихъ рѣзныхъ камней и древностей, въ своей лабораторіи, въ своей конюшнѣ—въ то время, какъ страшная вражда разрывала всѣ узы, связующія государственный организмъ Германіи, и пламя мятежа начало охватывать уже ступени его трона. Доступъ къ нему былъ закрытъ для всѣхъ безъ исключенія. Важнѣйшія дѣла лежали неразрѣшенными, надежды на богатое испанское наслѣдство погибли, потому что онъ не рѣшился предложить свою руку инфантѣ Изабеллѣ; имперіи грозила ужаснѣйшая анархія, потому что невозможно было добиться отъ него позволенія выбрать короля римскаго, хотя у него самого не было наслѣдниковъ. Австрійскіе земскіе чины отказали ему въ повиновеніи, Венгрія и Семиградье вырвались изъ-подъ его руки, и Богемія не замедлила послѣдовать ихъ примѣру. Наслѣдникамъ нѣкогда столь страшнаго Карла V грозила опасность уступить одну часть своихъ владѣній туркамъ, другую протестантамъ, и погибнуть въ борьбѣ съ страшнымъ международнымъ союзомъ, сплотившимся противъ нихъ вокругъ великаго европейскаго монарха. Въ нѣдрахъ Германіи происходило то, что искони бываетъ тамъ, гдѣ трону

Императоръ Матѳи

Гравюра на мѣди

И ЕГО СУПРУГА АННА.

ера Иссельбурга (1613).

недостаетъ императора или императору—государственнаго ума. Обиженные или оставленные безъ помощи главой имперіи, чины обходились своими средствами, стараясь союзами замѣнить недостающій авторитетъ императора. Германія раздѣляется на двѣ партіи, стоящія другъ противъ друга въ полной боевой готовности; бездѣятельный и никому ненужный, равно неспособный разсѣять первую и властвовать надъ второй, стоитъ между обѣими партіями Рудольфъ, презираемый противникъ одной и безсильный защитникъ другой. Да и чего могла ожидать Германія отъ государя, который даже свои собственныя владѣнія не могъ охранить отъ внутренняго врага. Для того, чтобы спасти австрійскую династію отъ полной гибели, противъ него вынужденъ былъ выступить его собственный домъ, и во главѣ могущественнаго заговора становится его братъ. Изгнанный изъ всѣхъ своихъ владѣній, онъ можетъ потерять лишь одно на свѣтѣ—свой императорскій тронъ, и только своевременная смерть спасаетъ его отъ этого послѣдняго позора.

Истиннымъ несчастіемъ для Германіи было то, что какъ разъ въ эту критическую эпоху, когда лишь тонкій умъ и могучая рука могли спасти миръ имперіи, императоромъ ея оказался Рудольфъ. Въ болѣе спокойное время государственный организмъ Германіи оправился бы самъ собой, и Рудольфъ, какъ и многіе другіе, облеченные его саномъ, скрылъ бы въ таинственномъ полумракѣ свою позорную духовную наготу. Его неспособность была обнаружена лишь крайней необходимостью въ достоинствахъ, какихъ у него не было. Положеніе Германіи требовало императора, который своей силой осуществлялъ бы свои рѣшенія; между тѣмъ, какъ ни велики были собственныя владѣнія Рудольфа, они находились въ такомъ положеніи, что могли приводить своего государя лишь въ крайнее замѣшательство. Правда, австрійскіе государи были католиками и даже столпами папства; но ихъ владѣнія далеко не могли считаться католическими землями. И въ эти страны проникли новыя воззрѣнія, и, подъ покровомъ стѣсненнаго положенія Фердинанда и доброты Максимильяна, они быстро распространились здѣсь. Въ австрійскихъ земляхъ происходило въ малыхъ размѣрахъ то, что въ Германіи имѣло мѣсто въ большомъ видѣ. Большая часть дворянства и рыцарства принадлежала къ евангелическому исповѣданію, и въ городахъ протестанты также получили перевѣсъ. Послѣ того, какъ протестантамъ удалось провести нѣкоторыхъ изъ своей среды въ земское управленіе, они стали захватывать незамѣтно одинъ земскій округъ за другимъ, одну коллегію за другой, вытѣсняя отовсюду католиковъ. Противъ многочисленныхъ представителей дворянства, рыцарства и городовъ былъ въ ландтагѣ слишкомъ слабъ голосъ немногихъ священнослужителей, въ концѣ концовъ совершенно замолкшій подъ вліяніемъ непристойнаго издѣвательства и обиднаго презрѣнія остальныхъ. Такимъ образомъ весь австрійскій ландтагъ сталъ незамѣтно протестантскимъ, и реформація быстрыми шагами подвигалась къ открытому господству. Государь зависѣлъ отъ земскихъ чиновъ, потому что въ ихъ власти было отмѣнять и установлять новые налоги. Они воспользовались стѣсненнымъ денежнымъ положеніемъ, въ которомъ находились Фердинандъ и его сынъ, чтобы добиться отъ этихъ государей одной уступки за другой въ дѣлѣ свободы совѣсти. Наконецъ, Максимильянъ даровалъ дворянству и рыцарству право свободнаго исповѣданія ихъ религіи, но лишь въ предѣлахъ ихъ владѣній и замковъ. Неукротимый фанатизмъ протестантскихъ проповѣдниковъ вскорѣ переступилъ границы благоразумія. Вопреки прямому воспрещенію, многіе изъ нихъ произносили проповѣди въ провинціальныхъ городахъ и даже въ Вѣнѣ, и народъ толпами стекался слушать это новое евангеліе, лучшую приправу котораго составляли непристойности и брань. Такимъ образомъ, фанатизмъ имѣлъ постоянную пищу, и ненависть обѣихъ, столь близкихъ другъ другу церквей отравлялась ядомъ бѣшенаго изувѣрства.

Среди наслѣдственныхъ владѣній австрійскаго дома, самымъ ненадежнымъ и неустойчивымъ была Венгрія съ Семиградьемъ. Невозможность охранять обѣ эти страны отъ столь близкой и столь могущественной турецкой имперіи довела уже Фердинанда до позорнаго шага—до согласія посредствомъ взноса ежегодной дани признать верховенство Турціи надъ Семиградьемъ: пагубное признаніе своего безсилія и роковой соблазнъ для безпокойнаго дворянства, которое видѣло въ этомъ причину быть недовольнымъ своимъ господиномъ. Венгерцы подчинились австрійскому дому не безусловно; за ними оставался свободный выборъ государя, и они упорно требовали всѣхъ государственныхъ правъ,

которыя неразрывно связаны съ такой свободой выбора. Близкое сосѣдство турецкой монархіи и легкость безнаказанно мѣнять своего господина укрѣпляли еще болѣе упорство магнатовъ; недовольные австрійскимъ правленіемъ, они бросались въ объятія османовъ; неудовлетворенные этими— они возвращались подъ руку нѣмецкаго государя. Частые и быстрые переходы отъ одного властелина къ другому сообщились также ихъ образу мыслей; подобно тому, какъ страна ихъ постоянно колебалась между нѣмецкимъ и оттоманскимъ верховенствомъ, блуждали и ихъ мысли между измѣной и покорностью. Чѣмъ несчастнѣе чувствовали себя обѣ страны въ приниженномъ положеніи провинцій иноземной монархіи, тѣмъ неутолимѣе становилось желаніе быть подъ рукой властелина изъ ихъ среды; такимъ образомъ, предпріимчивый дворянинъ могъ бы безъ особаго труда добиться ихъ присяги. Съ полной готовностью предлагалъ ближайшій турецкій паша мятежнику противъ Австріи скипетръ и корону; съ такой же готовностью утверждали въ Австріи за другимъ провинціи, которыя онъ отнялъ у Порты, радуясь, что такимъ образомъ сохраняется хоть тѣнь верховенства и создается новый оплотъ противъ Турціи. Многіе изъ такихъ магнатовъ, Баторій, Бошкай, Рагочи, Бетленъ, перебывали такимъ образомъ королями въ Семиградьи и въ Венгріи, держась на тронѣ благодаря одной неизмѣнной политикѣ: соединяться съ врагомъ, чтобы устрашать своего властелина.

Всѣ трое владыкъ Семиградья и Венгріи: Фердинандъ, Максимильянъ и Рудольфъ, высасывали соки изъ своихъ остальныхъ земель, чтобы защитить первыя отъ нашествія турокъ и отъ внутреннихъ возстаній. Опустошительныя войны смѣнялись въ этихъ странахъ краткими перемиріями, которыя были хуже войнъ. Истощенная и ограбленная, лежала въ изнеможеніи страна, и истерзанный гражданинъ ея терпѣлъ равно и отъ своихъ враговъ, и отъ своихъ защитниковъ. И въ эти страны проникла реформація, и подъ защитой свободы, которою пользовались чины, подъ прикрытіемъ смуты она дѣлала здѣсь замѣтные успѣхи. Теперь задѣли неосторожно и религію, и духъ политической крамолы сталъ опаснѣе въ связи съ религіознымъ фанатизмомъ. Подъ предводительствомъ смѣлаго мятежника Бокшая семиградское и венгерское дворянство подымаетъ знамя возстанія. Венгерскіе мятежники собирались соединиться съ недовольными протестантами Австріи, Моравіи и Богеміи и увлечь всѣ эти страны въ страшное общее возстаніе. Гибель австрійскаго дома была бы тогда несомнѣнна, гибель папства въ этихъ странахъ неизбѣжна.

Давно уже эрцгерцоги австрійскіе, братья императора, смотрѣли съ молчаливымъ недовольствомъ на упадокъ ихъ дома. Послѣднія замѣшательства опредѣлили ихъ рѣшеніе. Герцогъ Матвѣй, второй сынъ Максимильяна, намѣстникъ Венгріи и вѣроятный наслѣдникъ Рудольфа, взялъ на себя роль спасителя падающаго дома Габсбурговъ. Соблазняемый ложной жаждой славы этотъ принцъ въ юности, вопреки интересамъ своего дома, послѣдовалъ призыву нидерландскихъ мятежниковъ, которые призвали его въ свое отечество на защиту народныхъ вольностей противъ его же родственника Филиппа II. Въ отвѣтъ на этотъ призывъ Матвѣй, который въ голосѣ отдѣльной политической партіи видѣлъ ошибочно голосъ всего нидерландскаго народа, появился въ Нидерландахъ, но успѣхъ его такъ же мало соотвѣтствовалъ желаніямъ брабантцевъ, какъ и его собственнымъ ожиданіямъ, и онъ безславно отказался отъ своего неблагоразумнаго замысла. Тѣмъ почетнѣе было его новое появленіе на политической аренѣ.

Послѣ того, какъ многократныя обращенія его къ императору остались безъ всякаго дѣйствія, онъ созвалъ эрцгерцоговъ, своихъ братьевъ и родичей, въ Пресбургъ на совѣщаніе о томъ, что предпринять въ виду возрастающей опасности для ихъ дома. Единогласно ввѣрили братья ему, какъ старшему, защиту наслѣдія, расточаемаго безумнымъ братомъ. Всю свою власть и всѣ права они отдали въ руки этого старшаго, давъ ему неограниченныя полномочія распоряжаться всѣмъ по своему произволу во имя общаго блага. Матвѣй тотчасъ же началъ переговоры съ Портой и венгерскими мятежниками, и, благодаря его ловкости, удалось посредствомъ мира съ турками сохранить остатки Венгріи, а посредствомъ соглашенія съ мятежниками— права Австріи на потерянныя провинціи. Но Рудольфъ, столь же ревнивый къ своему самодержавному верховенству, сколько безсильный защитить его, замедляетъ утвержденіе мира, въ которомъ онъ видитъ преступное покушеніе на свои державныя права. Онъ обвиняетъ эрцгерцога въ заго-

ворѣ съ непріятелемъ и въ предательскихъ разсчетахъ на венгерскую корону.

Дѣятельность Матвѣя была, въ сущности, менѣе всего свободна отъ своекорыстныхъ намѣреній; но поведеніе императора ускорило выполненіе этихъ намѣреній. Убѣжденный въ преданности благодарныхъ венгерцевъ, которымъ онъ даровалъ недавно миръ, увѣренный своими уполномоченными въ вѣрности дворянства и опираясь въ самой Австріи на значительное число сторонниковъ, онъ рѣшается открыто выступить со своими намѣреніями и съ оружіемъ въ рукахъ покончить дѣла съ императоромъ. Австрійскіе и моравскіе протестанты, давно уже готовые къ возстанію и соблазняемые свободой совѣсти, обѣщанной эрцгерцогомъ, прямо и открыто принимаютъ его сторону, и давно уже угрожавшій союзъ ихъ съ мятежными венгерцами переходитъ въ дѣйствительность. Сразу образуется страшный заговоръ противъ императора. Слишкомъ поздно рѣшается онъ исправить свою ошибку; напрасно пытается онъ уничтожить этотъ пагубный союзъ. Все взялось за оружіе. Венгрія, Австрія и Моравія принесли присягу Матвѣю, который уже находится на пути въ Богемію, чтобы здѣсь найти императора въ его замкѣ и сразу перерѣзать жизненный нервъ его могущества.

Королевство Богемское было для Австріи не болѣе спокойнымъ владѣніемъ, чѣмъ Венгрія, съ той только разницей, что здѣсь раздоръ поддерживали болѣе политическія причины, тамъ — болѣе религіозныя. Въ Богеміи за сто лѣтъ до Лютера загорѣлось первое пламя религіозной войны, въ Богеміи черезъ сто лѣтъ послѣ Лютера вспыхнулъ пожаръ тридцатилѣтней войны. Секта, созданная Іоанномъ Гуссомъ, все еще жила съ тѣхъ поръ въ Богеміи въ согласіи съ римской церковью въ обрядѣ и вѣроученіи, за исключеніемъ только вопроса о причастіи, которое гусситы принимали подъ обоими видами; это право дано было на Базельскомъ соборѣ послѣдователямъ Гусса (богемскіе компактаты), и, хотя папы впослѣдствіи не признавали его, гусситы продолжали все-таки пользоваться имъ подъ охраной законовъ. Такъ какъ употребленіе чаши было единственнымъ внѣшнимъ отличительнымъ праздникомъ этой секты, то приверженцы ея были извѣстны подъ именемъ утраквистовъ (принимающихъ причастіе подъ обоими видами), и они охотно носили это имя, напоминавшее имъ дорогое для нихъ право. Но подъ этимъ именемъ скрывалась также гораздо болѣе строгая секта богемскихъ и моравскихъ братьевъ, которые расходились съ господствующею церковью въ гораздо болѣе важныхъ пунктахъ и имѣли много общаго съ нѣмецкими протестантами. У тѣхъ и у другихъ нѣмецкія и швейцарскія религіозныя преобразованія имѣли большой успѣхъ, и названіе утраквистовъ, подъ которымъ они все еще ловко скрывали свое измѣненное вѣроученіе, спасало ихъ отъ преслѣдованій.

Собственно говоря, съ настоящими утраквистами у нихъ не было ничего общаго, кромѣ названія. Въ сущности они были настоящіе протестанты. Въ твердой надеждѣ на поддержку своихъ могущественныхъ единовѣрцевъ и на терпимость императора, они рѣшились во время правленія Максимильяна выступить открыто съ своими истинными воззрѣніями. По примѣру нѣмцевъ, они основали свое собственное вѣроученіе, въ которомъ какъ лютеране, такъ и реформаты могли узнать свои религіозныя воззрѣнія, и требовали, чтобы это новое вѣроисповѣданіе получило всѣ привилегіи прежней утраквистской церкви. Эта просьба встрѣтила сопротивленіе ихъ католическихъ согражданъ, и они вынуждены были удовлетвориться однимъ словомъ обѣщанія изъ устъ императора.

Пока жилъ Максимильянъ, они пользовались полной свободой и съ новымъ формулированіемъ своего вѣроученія; при его преемникахъ дѣло измѣнилось. Появился императорскій эдиктъ, которымъ отмѣнялась свобода вѣроисповѣданія для такъ называемыхъ богемскихъ братьевъ. Богемскіе братья ни въ чемъ не отличались отъ остальныхъ утраквистовъ; стало быть, суровый эдиктъ долженъ былъ быть распространенъ на всѣхъ ихъ чешскихъ единовѣрцевъ. Поэтому всѣ выступили въ ландтагѣ противъ императорскаго повелѣнія, но не имѣли возможности бороться съ нимъ. Императоръ и католическіе чины опирались на компактаты и на богемское земское право, гдѣ, разумѣется, не было никакихъ оговорокъ въ пользу религіи, за которую не стоялъ еще тогда голосъ народа. Но какъ многое измѣнилось съ тѣхъ поръ! То, что было тогда незначительной сектой, стало теперь господствующей церковью; и, разумѣется, желаніе держать новую религію подъ гнетомъ старыхъ узаконеній было пустой придиркой. Чешскіе протестанты ссылались на устное обѣщаніе Максимильяна и на религіозную

свободу нѣмцевъ, отъ которыхъ они ни въ чемъ не хотѣли отстать. Все было напрасно,—они получили рѣшительный отказъ.

Такъ обстояли дѣла въ Богеміи, когда Матвѣй, уже властелинъ Венгріи, Австріи и Моравіи, появился у Коллина, чтобы возмутить и чеховъ противъ императора. Критическое положеніе послѣдняго достигло высшей степени. Покинутый остальными своими наслѣдственными владѣніями, онъ полагалъ послѣднюю надежду на чеховъ, которые,какъможнобыло предвидѣть раньше, не могли упустить случая воспользоваться его стѣсненнымъ положеніемъ для осуществленія своихъ старыхъ требованій. Послѣ многолѣтняго промежутка онъ вновь открыто показался въ Прагѣ на ландтагѣ; для того, чтобы показать народу, что онъ дѣйствительно еще живъ, во время шествія его пришлось открыть во дворцѣ всѣ окна: пучшее свидѣтельство, до чего дошло дѣло. Случилось то, чего онъ боялся. Чины Богеміи, почувствовавъсвоюсилу,ниначтоне соглашались, пока имъ необезпечатъ вполнѣ ихъ земскихъ привилегій и религіозной свободы.Напрасно были попытки увернуться путемъ старыхъ уловокъ; судьба императора была въ ихъ рукахъ, и онъ долженъ былъ подчиниться необходимости. Но они добились его согласія только на прочія свои требованія; дѣла религіозныя онъ откладывалъ до ближайшаго ландтага.

Теперь чехи взялись за оружіе для защиты императора, и кровавая усобица должна была вспыхнуть между двумя братьями. Но Рудольфъ, который ничего такъ не боялся, какъ этой рабской зависимости отъ своихъ чиновъ, не ждалъ войны, но поспѣшилъ покончить миромъ съ эрцгерцогомъ, своимъ братомъ. По формальному отреченію онъ отдавалъ ему все, чего и такъ не могъ бы получить обратно—Австрію и королевство венгерское — и признавалъ его своимъ наслѣдникомъ на богемскомъ престолѣ.

Выйдя столь дорогой цѣной изъ этого стѣснительнаго положенія, императоръ тотчасъ-же запутался снова. Религіозныя дѣла Богеміи были отложены до ближайшаго ландтага; этотъ ландтагъ былъ созванъ въ 1609 г. Здѣсь требовали той-же свободы вѣроисповѣданія, что и при прежнемъ императорѣ, собственной консисторіи, передачи протестантамъ пражской академіи и разрѣшенія выбирать изъ своей среды дефензоровъ или защитниковъ свободы. Отвѣтъ остался все тотъ-же: католическая сторона связывала всѣ рѣшенія робкаго императора. Сколько ни возобновляли чины свои многократныя требованія, сопровождаемыя угрозами, Рудольфъ упорно держался своего прежняго рѣшенія: не давать ничего сверхъ установленнаго старыми договорами. Ландтагъ разошелся, не добившись ничего, и чины, возмущенные императоромъ, рѣшили устроить собственный сеймъ въ Прагѣ, чтобы обойтись своими средствами.

Они съѣхались въ Прагѣ въ большомъ количествѣ. Вопреки воспрещенію императора, совѣщанія происходили чуть не наего глазахъ. Уступчивость, которую онъ началъ выказывать, показывала имъ, какъ ихъ боятся, и усиливала ихъ настойчивость; но въ главномъ вопросѣ онъ оставался непреклоненъ. Они исполнили свои угрозы и серьезно приняли рѣшеніе — самовластно установить вездѣ свободное исполненіе обрядовъ своей религіи и до тѣхъ поръ отказывать императору въ удовлетвореніи его требованій, пока онъ не утвердитъ этого постановленія. Они пошли дальше и выбрали дефензоровъ, въ которыхъ имъ отказывалъ императоръ. Было назначено по десять человѣкъ отъ каждаго изъ трехъ сословій; было рѣшено какъ можно скорѣе набрать войска, причемъ генералъ-вахтмейстеромъ былъ назначенъ графъ фонъ Турнъ, глава всего движенія. Этотъ серьезный оборотъ заставилъ, наконецъ, императора согласиться, что рекомендовали ему теперь даже испанцы. Боясь, что доведенные до крайности чехи бросятся, наконецъ, въ объятія королю венгерскому, онъ подписалъ свою замѣчательную „граммату величества", которою они оправдывали передъ преемниками этого императора свое возстаніе. Богемское вѣроисповѣданіе, изложенное чинами передъ императоромъ Максимильяномъ, получало по этому документу совершенно равныя права съ католической церковью. Утраквистамъ, какъ продолжали называть себя чешскіе протестанты, предоставляется пражскій университетъ и собственная консисторія, совершенно независимая отъ архіепископа пражскаго. За ними остаются всѣ церкви, которыми они владѣли въ моментъ изданія акта въ городахъ, деревняхъ и селеніяхъ; если они будутъ имѣть необходимость въ новыхъ церквахъ, то сооруженіе ихъ не должно быть воспрещаемо городамъ, рыцарямъ и

дворянству. Послѣднее мѣсто въ документѣ было причиной злополучнаго недоразумѣнія, охватившаго пожаромъ всю Европу.

Грамота величества сдѣлала протестантскую Богемію чѣмъ то вродѣ республики. Чины познали свою силу, основанную на стойкости, согласіи и единодушіи. У императора осталась одна тѣнь его державной власти. Въ лицѣ такъ называемаго „защитника свободы" духъ крамолы получилъ опасную поддержку. Примѣръ и удача Богеміи были соблазнительнымъ примѣромъ для остальныхъ владѣній Австріи, и всѣ считали себя вправѣ добыть такимъ-же путемъ такія-же привилегіи. Духъ свободы проносился изъ одной провинціи въ другую, и такъ какъ причиной удачи протестантовъ были, главнымъ образомъ, раздоры между австрійскими принцами, то позаботились поскорѣе помирить императора съ королемъ венгерскимъ.

Но примиреніе это никогда не могло быть искреннимъ. Оскорбленіе было слишкомъ тяжело, чтобы найти прощеніе, и въ глубинѣ сердца Рудольфъ продолжалъ питать неутолимую ненависть къ Матвѣю. Не могъ онъ отдѣлаться отъ болѣзненно-раздражавшей его, неотвязной мысли, что въ концѣ концовъ и богемскій скипетръ перейдетъ въ ненавистныя руки, а надежда на то, что Матвѣй умретъ безъ наслѣдниковъ была для него не слишкомъ утѣшительна: тогда главой рода сдѣлается Фердинандъ, эрцгерцогъ грецкій, котораго онъ любилъ также мало. Имѣя въ виду отрѣзать ему, какъ и Матвѣю, путь къ чешскому престолу, онъ напалъ на мысль передать это наслѣдіе брату Фердинанда, эрцгерцогу Леопольду, епископу пассаусскому, который былъ самымъ любимымъ и наиболѣе преданнымъ ему изъ родственниковъ. Представленія чеховъ о свободѣ избранія своихъ королей и ихъ симпатіи къ Леопольду какъ будто благопріятствовали этому плану, при составленіи котораго на Рудольфа вліяли болѣе его партійность и мстительность, чѣмъ соображенія о благѣ его рода. Но для того, чтобы привести въ исполненіе этотъ проектъ, нужна была военная сила, которую Рудольфъ и сосредоточилъ въ епископствѣ Пассау. Никому не было извѣстно назначеніе этого отряда. Но неожиданное нападеніе солдатъ на Богемію, вызванное задержкой жалованья и сдѣланное безъ вѣдома императора, а также безобразія, произведенныя здѣсь солдатами, воз-

Жители Праги выбрасываютъ изъ окошка королевскаго замка Мартиница, Славату и Фабриціуса. (Изъ соврем. соч. «Theatrum Europeum»).

будили все королевство; вспыхнуло возстаніе противъ императора. Напрасно послѣдній увѣрялъ чеховъ въ своей невинности—они не вѣрили ему; напрасно пытался онъ остановить своеволіе и неистовства своихъ солдатъ—они не слушались его. Подозрѣвая, что все это клонится къ отмѣнѣ грамоты величества, „защитники свободы" вооружили всю протестантскую Богемію, и Матвѣй былъ вынужденъ рѣшить споръ оружіемъ. Послѣ изгнанія его отряда изъ Пассау, императоръ оставался безпомощный въ Прагѣ, гдѣ его содержали въ его собственномъ замкѣ, какъ плѣнника и удаливъ отъ него всѣхъ его совѣтниковъ. Между тѣмъ Матвѣй среди всеобщаго ликованія торжественно вступилъ въ Прагу, гдѣ вскорѣ затѣмъ Рудольфъ съ чрезвычайнымъ малодушіемъ призналъ его королемъ чешскимъ. Жестоко наказала судьба этого императора: онъ вынужденъ былъ при жизни отдать врагу тронъ, который онъ не хотѣлъ предоставить ему послѣ смерти. Чтобы довершить его униженіе, его заставили собственноручнымъ отреченіемъ освободить всѣхъ своихъ подданныхъ въ Богеміи, Силезіи и Лузаціи отъ всѣхъ ихъ обязанностей по отношенію къ нему; и онъ сдѣлалъ это съ мучительной тоскою. Всѣ покинули его, даже тѣ, чьимъ благодѣтелемъ онъ считалъ себя. Подписавъ актъ, онъ бросилъ шляпу на землю и разгрызъ перо, которое оказало ему такую позорную службу.

Теряя одно свое наслѣдственное владѣніе за другимъ, Рудольфъ былъ не лучшимъ защитникомъ императорскаго сана. Каждая религіозная партія, на которыя распадалась Германія, продолжала стремиться улучшить свое положеніе на счетъ другой или защищаться отъ ея нападеній. Чѣмъ слабѣе была рука, въ которой покоился скипетръ имперіи и чѣмъ свободнѣе чувствовали себя протестанты и католики, тѣмъ напряженнѣе слѣдили они другъ за другомъ, тѣмъ болѣе возрастало ихъ взаимное недовѣріе. Было достаточной причиной для страха протестантовъ и достаточнымъ предлогомъ для враждебнаго отношенія ихъ то, что императоромъ правили іезуиты и испанскіе совѣты. Неразумный фанатизмъ іезуитовъ, которые и въ своихъ сочиненіяхъ и съ церковной каѳедры поселяли сомнѣнія въ дѣйствительности религіознаго мира, разжигалъ недовѣріе протестантовъ и заставлялъ ихъ въ каждомъ безразличномъ шагѣ католиковъ видѣть опасность. Все, что предпринималось въ личныхъ владѣніяхъ императора для ограниченія евангелическаго вѣроисповѣданія, возбуждало вниманіе всей протестантской Германіи, и та могучая поддержка, которую евангелическіе подданные Австріи нашли или надѣялись найти въ своихъ единовѣрцахъ въ остальной Германіи, была въ значительной степени причиной ихъ упорства и быстраго успѣха Матвѣя. Въ имперіи были увѣрены, что продолжительность религіознаго мира объясняется только стѣсненнымъ положеніемъ императора, и потому никто не спѣшилъ вывести его изъ этого тягостнаго положенія.

Почти всѣ дѣла имперскаго сейма оставались безъ движенія по безпечности императора или по винѣ протестантскихъ имперскихъ чиновъ, которые поставили себѣ за правило ничего не дѣлать для общихъ нуждъ государства пока не будутъ удовлетворены ихъ жалобы. Эти жалобы относились главнымъ образомъ къ темнымъ сторонамъ управленія, къ нарушеніямъ религіознаго мира и къ новымъ проявленіямъ произвола со стороны придворнаго императорскаго суда, который за послѣднее царствованіе сталъ расширять свою юрисдикцію въ ущербъ правамъ имперскаго суда. До сихъ поръ всѣ процессы между чинами, не покончeнные кулачнымъ правомъ, рѣшались въ незначительныхъ случаяхъ самимъ императоромъ единолично, въ болѣе важныхъ—при участіи союзныхъ государей или, наконецъ, императорскими придворными судьями по порученію императора. Въ концѣ пятнадцатаго вѣка императоры передали эту верховную судебную власть постоянному правильному трибуналу, такъ называемому каммергерихту въ Шпейерѣ, гдѣ, во избѣжаніе произвола императора, засѣдали также выборные отъ имперскихъ чиновъ, которые равнымъ образомъ выговорили себѣ право подвергать приговоры суда періодическимъ ревизіямъ. Это право чиновъ (называемое презантаціоннымъ и визитаціоннымъ правомъ) религіозный миръ распространилъ также на протестантовъ, такъ что отнынѣ въ протестантскихъ дѣлахъ приговоръ произносился при участіи протестантскихъ судей, и въ верховномъ судилищѣ водворилось видимое равновѣсіе между обѣими религіями.

Но враги реформаціи и политической свободы въ погонѣ за каждымъ обстоятельствомъ, благопріятствующимъ ихъ цѣлямъ, быстро нашли способъ уничтожить положительныя стороны этого порядка вещей.

Понемногу удалось устроить такъ, что высшее правосудіе по дѣламъ имперскихъ чиновъ перешло въ руки частнаго суда императора, рейхсгофрата, первоначально предназначеннаго лишь для помощи императору въ осуществленіи его несомнѣнныхъ личныхъ императорскихъ правъ; члены этого суда, произвольно назначенные самимъ императоромъ и получавшіе жалованье исключительно отъ него, должны были сдѣлать своимъ единственнымъ руководящимъ началомъ благо католической церкви, къ которой они принадлежали, и своимъ единственнымъ закономъ—выгоды своего господина. Предъ этимъ судомъ должны были теперь рѣшаться многія дѣла между представителями разныхъ религій, право приговора надъ которыми принадлежало имперскому суду, а до учрежденія послѣдняго—совѣту государей. Нѣтъ ничего удивительнаго, что католическіе судьи и креатуры императора, жертвуя правосудіемъ интересамъ католической религіи и императора, выдавали истинное происхожденіе приговоровъ этого суда. Хотя можно думать, что всѣ имперскіе чины Германіи имѣли причины своевременно воспротивиться столь опасному злоупотребленію,—однако это было сдѣлано одними протестантами, на которыхъ оно отзывалось особенно сильно. Впрочемъ и среди нихъ даже возстали не всѣ тѣ, кого, какъ защитниковъ нѣмецкой свободы, это самовольное учрежденіе оскорбляло въ ихъ священнѣйшемъ интересѣ—въ отправленіи правосудія. Въ самомъ дѣлѣ, Германіи нечего было такъ радоваться уничтоженію кулачнаго права и учрежденію каммергерихта, если наряду съ послѣднимъ предполагалась еще произвольная юрисдикція императора. Что же выиграли нѣмецкіе имперскіе чины сравнительно съ тѣми варварскими временами, если каммергерихтъ, въ которомъ они засѣдали рядомъ съ императоромъ, изъ за котораго они отказались отъ своего державнаго права суда, переставалъ быть необходимой судебной инстанціей. Но въ умахъ этой эпохи часто мирно уживались самыя странныя противорѣчія. Съ именемъ императора, наслѣдіемъ деспотическаго Рима, соединялось въ это время понятіе полноты верховной власти, которая была самымъ комическимъ противорѣчіемъ всему государственному праву нѣмцевъ и однако защищалась юристами, распространялась сторонниками деспотизма и находила вѣру въ слабыхъ.

Къ этимъ всеобщимъ жалобамъ присоединилась мало-по-малу вереница отдѣльныхъ случаевъ, которые довели безпокойство протестантовъ до высшей степени недовѣрія. Во время испанскихъ религіозныхъ преслѣдованій въ Нидерландахъ, нѣсколько протестантскихъ семей нашло убѣжище въ католическомъ имперскомъ городѣ Ахенѣ, гдѣ они поселились и незамѣтно образовали кружокъ единовѣрцевъ. Успѣвъ хитростью провести нѣсколькихъ своихъ единовѣрцевъ въ городской совѣтъ, они потребовали для себя отдѣльной церкви и публичнаго богослуженія, и, когда въ отвѣтъ на это требованіе послѣдовалъ отказъ, добыли себѣ все это насильственно вмѣстѣ съ самимъ городскимъ управленіемъ. Видѣть столь значительный городъ въ протестантскихъ рукахъ было слишкомъ тяжелымъ ударомъ для императора и всей католической партіи. Послѣ того, какъ всѣ императорскія увѣщанія и приказанія возстановить прежнее положеніе вещей остались безплодными, по рѣшенію придворнаго совѣта императора въ Вѣнѣ, весь городъ былъ объявленъ внѣ покровительства законовъ, что было приведено въ исполненіе лишь во время слѣдующаго царствованія.

Большее значеніе имѣли двѣ другія попытки протестантовъ расширить свои владѣнія и свою силу. Курфюрстъ Кельнскій Гебгардъ, въ мірѣ Трухзессъ фонъ-Вальдбургъ, воспылалъ къ молодой графинѣ Агнесѣ фонъ-Мансфельдъ, канониссѣ въ Герессгеймѣ, страстной любовью, которая нашла взаимность. Такъ какъ взоры всей Германіи были обращены на эту связь, то братья графини, оба ревностные кальвинисты, потребовали удовлетворенія за оскорбленіе чести своего рода, которая не могла быть спасена бракомъ, пока курфюрстъ оставался католическимъ епископомъ. Они угрожали курфюрсту смыть этотъ позоръ его кровью и кровью своей сестры, если онъ не откажется немедленно отъ всякихъ сношеній съ графиней или не возстановитъ ея честь предъ алтаремъ. Курфюрстъ, равнодушный ко всѣмъ послѣдствіямъ этого шага, внималъ одному голосу любви. Потому-ли, что онъ вообще и раньше склонялся къ новой религіи или это чудо зависѣло отъ прелестей его возлюбленной,—онъ отрекся отъ католической вѣры и предсталъ съ прекрасной Агнесой передъ алтаремъ.

Этотъ случай наводилъ на самыя серьезныя соображенія. По буквѣ духовной оговорки такое отступничество лишало курфюрста всѣхъ правъ на его духовныя владѣнія, а

если для католиковъ было важно добиваться когда-либо примѣненія духовной оговорки, то это, конечно, прежде всего относилось къ случаямъ, касавшимся курфюршествъ. Съ другой стороны, отрѣшеніе отъ высшаго сана было столь суровой мѣрой,—и тѣмъ болѣе суровой для столь нѣжнаго супруга, которому такъ хотѣлось бы повысить цѣнность своего сердца и своей руки поднесеніемъ невѣстѣ цѣлаго княжества! Духовная оговорка и такъ была спорнымъ пунктомъ Аугсбургскаго мира, и всей протестантской Германіи казалось въ высшей степени важнымъ отнять у католической партіи это четвертое курфюршество. Подобные примѣры бывали уже во многихъ духовныхъ учрежденіяхъ нижней Германіи и увѣнчивались успѣхомъ. Многіе члены соборнаго капитула въ Кельнѣ были уже протестанты и стали на сторону курфюрста; въ самомъ городѣ онъ могъ разсчитывать на значительное число протестантскихъ приверженцевъ. Всѣ эти причины, усиленныя увѣщаніями его друзей и родственниковъ и обѣщаніями многихъ нѣмецкихъ дворовъ, побудили курфюрста рѣшиться удержать свои владѣнія и послѣ перемѣны религіи.

Но весьма быстро выяснилось, что онъ началъ борьбу, которую ему не суждено было окончить. Уже свобода протестантскаго богослуженія въ кельнскихъ владѣніяхъ вызвала горячее противодѣйствіе со стороны католическихъ чиновъ и членовъ соборнаго капитула. Вмѣшательство императора и указъ изъ Рима, по которому онъ предавался проклятію, какъ вѣроотступникъ, и отрѣшался отъ всѣхъ своихъ духовныхъ и свѣтскихъ званій, вооружилъ противъ него его подданныхъ и его капитулъ. Курфюрстъ собралъ войско; члены капитула сдѣлали то же самое. Чтобы обезпечить себя скорѣе могущественнымъ сторонникомъ, они поспѣшно приступили къ выборамъ новаго курфюрста; избранникомъ ихъ оказался епископъ Люттихскій, баварскій принцъ.

Вспыхнула усобица, которая въ виду дѣятельнаго участія, какое необходимо должны были принять въ этомъ дѣлѣ обѣ религіозныя партіи Германіи, могла привести къ общему нарушенію имперскаго мира. Болѣе всего возмущало протестантовъ то, что папа, присваивая себѣ какъ-бы апостольскую власть, позволилъ себѣ отрѣшить отъ свѣтской власти одного изъ государей германской имперіи. Даже въ золотыя времена духовнаго владычества папъ это право признавалось далеко не всѣми; какое-же противодѣйствіе должно было оно встрѣтить теперь, когда авторитетъ папы для однихъ палъ совершенно, для другихъ покоился на очень слабыхъ основахъ. Всѣ протестантскіе дворы Германіи настойчиво ходатайствовали объ этомъ дѣлѣ предъ императоромъ. Генрихъ IV французскій, бывшій тогда еще королемъ наварскимъ, всѣми возможными способами старался побудить германскихъ государей не отступаться отъ своихъ правъ. Отъ этого случая зависѣла свобода Германіи. Четыре протестантскихъ голоса противъ трехъ католическихъ въ совѣтѣ курфюрстовъ давали перевѣсъ протестантской партіи и на вѣки преграждали австрійскому дому путь къ императорскому трону.

Но курфюрстъ Гебгардъ перешелъ не къ лютеранскому, но къ реформатскому вѣроисповѣданію; это обстоятельство было его несчастьемъ. Взаимное ожесточеніе двухъ протестантскихъ церквей не позволяло евангелическимъ имперскимъ чинамъ смотрѣть на курфюрста какъ на своего и настойчиво поддерживать его, какъ такового. Всѣ, правда, ободряли его и обѣщали ему помощь, но лишь одинъ второстепенный принцъ изъ пфальцскаго дома, пфальцграфъ Іоганнъ Казиміръ, ревностный кальвинистъ, сдержалъ свое слово. Не взирая на императорское запрещеніе, онъ поспѣшилъ со своимъ маленькимъ войскомъ въ Кельнскую область, но не могъ сдѣлать ничего значительнаго, такъ какъ курфюрстъ, самъ лишенный всего необходимаго, оставилъ его безъ всякой помощи. Тѣмъ успѣшнѣе дѣйствовалъ новоизбранный курфюрстъ, котораго дѣятельно поддерживали его баварскіе родственники и нидерландскіе испанцы. Войска Гебгарда, не получая жалованья отъ своего господина, сами сдавали непріятелю одно укрѣпленіе за другимъ; остальные были принуждены къ сдачѣ оружіемъ. Нѣсколько дольше держался Гебгардъ въ своихъ вестфальскихъ владѣніяхъ, пока и здѣсь вынужденъ былъ уступить силѣ. Послѣ многихъ тщетныхъ попытокъ добиться своего возстановленія, онъ удалился въ Страсбургскій монастырь, гдѣ и умеръ въ качествѣ соборнаго декана: первая жертва духовной оговорки или вѣрнѣе—раздоровъ между нѣмецкими протестантами.

Къ кельнскому недоразумѣнію вскорѣ присоединилось новое — въ Страсбургѣ. Многіе протестантскіе каноники изъ Кельна, преданные папскому проклятію вмѣстѣ съ

курфюрстомъ, бѣжали въ это епископство, гдѣ у нихъ также были бенефиціи. Такъ какъ въ Страсбургѣ католическіе каноники не рѣшались позволить имъ какъ отлученнымъ пользоваться этими бенефиціями, то они овладѣли ими насильственно, а могущество ихъ протестантскихъ приверженцевъ среди страсбургскихъ гражданъ дало имъ вскорѣ преобладаніе въ епископствѣ. Католическіе каноники пересилились въ Цабернъ въ Эльзасѣ, гдѣ, подъ охраной своего епископа, продолжали вести дѣла своего капитула, какъ единственно законнаго, и объявили священнослужителей, оставшихся въ Страсбургѣ, незаконными. Между тѣмъ послѣдніе, принявъ въ свою среду многихъ протестанскихъ членовъ знатнаго происхожденія, усилились до такой степени, что послѣ смерти епископа они избрали новаго протестантскаго епископа въ лицѣ принца Бранденбургскаго Іоганна Георга. Католическіе каноники, очень мало склонные утвердить выборы, избрали носителемъ этого сана епископа Мецскаго принца Лотарингскаго, который не замедлилъ возвѣстить о своемъ избраніи враждебными дѣйствіями противъ владѣній Страсбурга.

Такъ какъ городъ Страсбургъ всталъ съ оружіемъ въ рукахъ на защиту протестантскаго капитула и принца Бранденбургскаго, а противная партія при помощи лотарингскихъ войскъ старалась завладѣть епископскими землями, то произошла тяжелая война, сопровождаемая, по обычаю того времени, варварскимъ опустошеніемъ. Напрасно старался императоръ рѣшить споръ своимъ высокимъ авторитетомъ: епископскія владѣнія разрывались долгое время еще обѣими партіями на части, пока, наконецъ, протестантскій принцъ, за умѣренное денежное вознагражденіе, не отказался отъ своихъ притязаній, и, такимъ образомъ, католическая церковь еще разъ побѣдила.

Еще гораздо опаснѣе для всей протестантской Германіи было событіе, происшедшее по окончаніи предыдущаго недоразумѣнія въ швабскомъ имперскомъ городѣ Донаувертѣ. Въ этомъ католическомъ городѣ во время правленія Фердинанда и его сына протестантская религіозная партія получила обычнымъ путемъ такой перевѣсъ, что католическіе обыватели города должны были довольствоваться капеллой въ монастырѣ Св. Креста и скрывать большинство своихъ священныхъ обрядовъ отъ раздраженія протестантовъ. Но вотъ фанатичный настоятель этого монастыря, рѣшившись пренебречь народнымъ голосомъ, вздумалъ устроить публичную процессію съ несеніемъ креста и развѣвающихся хоругвей. Его заставили отказаться отъ этого намѣренія. Когда тотъ же самый настоятель, подбодренный милостивымъ императорскимъ указомъ, черезъ годъ повторилъ крестный ходъ, народъ совершилъ насиліе. Фанатическая чернь заперла предъ возвращающимися въ городъ монахами ворота, изорвала ихъ хоругви и провожала ихъ криками и бранью. Слѣдствіемъ погрома былъ вызовъ къ суду императора, и когда возбужденный народъ рѣшился осмѣять императорскихъ комиссаровъ, когда всѣ попытки порѣшить распрю миромъ, наткнулись на сопротивленіе фанатичной толпы, послѣдовалъ формальный приговоръ противъ города; исполненіе его было возложено на герцога Максимильяна Баварскаго. Малодушіе охватило столь самонадѣянныхъ обывателей при приближеніи баварскаго войска; они сдались безъ сопротивленія. Наказаніемъ за ихъ поведеніе была полная отмѣна протестантскаго вѣроисповѣданія въ ихъ стѣнахъ. Городъ потерялъ свои привилегіи и изъ швабскаго имперскаго вольнаго города обратился въ городъ, подчиненный Баваріи.

Два обстоятельства, сопровождавшія этотъ случай, должны были обратить на себя вниманіе протестантовъ даже въ томъ случаѣ, если бы интересы религіи не играли у нихъ такой роли. Придворнымъ совѣтомъ императора въ Вѣнѣ, трибуналомъ произвольнымъ и насквозь католическимъ, давно уже вызывавшимъ яростныя нападки ихъ, былъ произнесенъ этотъ приговоръ, а выполненіе его было поручено герцогу Баварскому, начальнику чуждаго округа. Распоряженія, столь противныя имперской конституціи, показались предвѣстниками худшихъ насилій со стороны католиковъ, которыя, опираясь на тайныя ссглашенія и опасный планъ, могли окончиться полнымъ подавленіемъ ихъ религіозной свободы.

Въ положеніи, гдѣ господствуетъ право силы, и на силѣ основана всякая безопасность, слабая часть будетъ всегда дѣятельно заботиться о самозащитѣ. То же самое было теперь и въ Германіи. Если католики, въ самомъ дѣлѣ, задумали что либо дурное противъ протестантовъ, то очевидно первый ударъ долженъ быть скорѣе нанесенъ въ южной, чѣмъ въ сѣверной Германіи, потому что владѣнія нижне-нѣмецкихъ протестантовъ тянулись длинной непрерывной полосой и, такимъ образомъ, легко могли по-

могать другъ другу; верхне-нѣмецкіе же протестанты, отрѣзанные отъ другихъ и охваченные со всѣхъ сторонъ католическими государствами, были открыты всякому нападенію. Если, далѣе, католики, какъ можно было предполагать, пожелаютъ воспользоваться внутренними раздорами протестантовъ и направятъ свои нападенія противъ отдѣльной религіозной партіи, то, очевидно, кальвинисты, какъ слабѣйшіе, и не участвующіе въ религіозномъ мирѣ, подвергались ближайшей опасности и первый ударъ долженъ пасть на нихъ.

То и другое соединялось въ Пфальцскихъ земляхъ, которыя имѣли въ герцогѣ баварскомъ весьма опаснаго сосѣда и, вслѣдствіе своего отпаденія въ кальвинизмъ, совершенно не пользовались защитой религіознаго мира и не могли надѣяться на помощь евангелическихъ чиновъ. Ни одна нѣмецкая страна не испытывала въ столь короткій промежутокъ времени столь быстрыхъ перемѣнъ религіи, какъ Пфальцъ этой эпохи. Въ теченіе всего только шестидесяти лѣтъ эта страна, злополучная игрушка своихъ властелиновъ, два раза обращалась къ ученію Лютера и два раза оставляла это ученіе для кальвинизма. Сперва курфюрстъ Фридрихъ III измѣнилъ аугсбургскому исповѣданію; его старшій сынъ и наслѣдникъ Людвигъ быстро и насильственно сдѣлалъ это исповѣданіе господствующимъ. Кальвинисты были во всей странѣ лишены церквей, ихъ проповѣдники и даже школьные учителя ихъ вѣры высланы за границу, и даже въ своемъ духовномъ завѣщаніи преслѣдовалъ ихъ этотъ ревностный евангелическій государь, назначивъ опекунами своего малолѣтняго наслѣдника лишь строго правовѣрныхъ лютеранъ. Но противозаконное завѣщаніе было уничтожено его братомъ пфальцграфомъ Іоганномъ Казиміромъ, который, согласно предписаніямъ золотой буллы, принялъ на себя опеку и управленіе всей страной. Девятилѣтній курфюрстъ (Фридрихъ IV) былъ окруженъ кальвинистскими учителями, которымъ поручено было изгнать лютеранскую ересь изъ души ихъ воспитанника хоть палками. Если такъ поступали съ государемъ, можно себѣ представить, какъ обходились съ подданнымъ.

При Фридрихѣ IV пфальцскій дворъ съ особенной ревностью возбуждалъ протестантскихъ чиновъ въ Германіи къ единодушной борьбѣ съ австрійскимъ домомъ и дѣятельно старался объ ихъ единеніи.

Не говоря о вліяніи совѣтовъ Франціи, основой которыхъ всегда была ненависть противъ Австріи, заботы о самосохраненіи заставляли пфальцскій дворъ стараться обезпечить себя отъ столь близкаго и столь могущественнаго врага хоть сомнительной защитой протестантовъ. По пути къ своему осуществленію союзъ этотъ встрѣтился съ большими трудностями, такъ какъ ненависть евангелистовъ къ реформатамъ едвали уступала ихъ общему отвращенію къ папистамъ. Поэтому попытались прежде всего соединить религіи, чтобы такимъ образомъ проложить путь политическому объединенію; но всѣ попытки не удавались и кончались обыкновенно тѣмъ, что каждая сторона лишь болѣе укрѣплялась въ своихъ воззрѣніяхъ. Оставалось одно: усилить страхъ и недовѣріе евангелистовъ и тѣмъ вызвать въ нихъ сознаніе необходимости такого союза. Преувеличивали силу католиковъ; раздували опасность; случайныя событія приписывались заранѣе обдуманному плану; незначительные случаи извращались подсказаннымъ ненавистью толкованіемъ, и всему поведенію католиковъ сообщалась преднамѣренность и обдуманность, отъ которыхъ они, вѣроятно, были очень далеки.

Имперскій сеймъ въ Регенсбургѣ, гдѣ протестанты надѣялись добиться возобновленія религіознаго мира, окончился неудачей, и къ ихъ прежнимъ жалобамъ прибавилось еще недавнее насиліе надъ Донаувертомъ. Съ невѣроятной быстротой былъ заключенъ столь долго жданный союзъ. Въ 1608 г. въ Аугаузенѣ во Франконіи, курфюрстъ Фридрихъ IV пфальцскій, пфальцграфъ Нейбургскій, два маркграфа Бранденбургскіе, маркграфъ Баденскій и герцогъ Іоганнъ Фридрихъ Вюртембергскій—стало быть, лютеране и кальвинисты—заключили между собой за себя и за своихъ наслѣдниковъ тѣсный союзъ, названный евангелической уніей. По этому договору вошедшіе въ унію князья поддерживаютъ другъ друга словомъ и дѣломъ въ вопросахъ религіи и политическихъ правъ противъ всякаго обидчика, и всѣ обязуются стоять за одного; каждый членъ уніи, вовлеченный въ войну, получаетъ отъ остальныхъ вспомогательные отряды; войскамъ его, въ случаѣ нужды, открываются области, города и замки союзниковъ, а то, что будетъ завоевано однимъ, дѣлится, соразмѣрно степени участія, между всѣми членами уніи. Управленіе всѣмъ союзомъ передается въ мирное время Пфальцу, но съ ограниченной

властью; на необходимыя издержки сдѣланы взносы и образованъ фондъ. Религіозныя различія между лютеранами и кальвинистами не должны оказывать никакого вліянія на союзъ. Договоръ имѣетъ силу десять лѣтъ. Каждый членъ уніи обязуется вербовать новыхъ членовъ. Курфюршество Бранденбургское примкнуло къ уніи; курфюршество Саксонское не одобрило союза. Гессенъ не могъ принять свободнаго рѣшенія; герцоги Брауншвейгскій и Люнебургскій также не знали, на что рѣшиться. Но важнымъ пріобрѣтеніемъ для союза были три имперскіе города—Страсбургъ, Нюрнбергъ и Ульмъ,—такъ какъ союзъ нуждался въ ихъ деньгахъ и ихъ примѣръ могъ найти подражаніе во многихъ другихъ имперскихъ городахъ.

Порознь нерѣшительныя и мало внушавшія уваженіе союзныя государства, заключивъ договоръ, заговорили болѣе смѣлымъ языкомъ. Черезъ князя Ангальтскаго Христіана они представили императору свои общія жалобы и требованія, среди которыхъ первое мѣсто занимали возстановленіе самостоятельности Донауверта, отмѣна императорской придворной юрисдикціи, преобразованіе его правленія и правленія его совѣтниковъ. Для этихъ представленій они удачно выбрали моментъ, когда императоръ еле могъ вздохнуть отъ смутъ въ своихъ собственныхъ владѣніяхъ; Австрія и Венгрія были только что потеряны и его богемская корона была спасена только благодаря грамотѣ величества: наконецъ, юлихское наслѣдство грозило вдали новой войной. Нѣтъ ничего удивительнаго, что этотъ медлительный государь менѣе спѣшилъ въ своихъ рѣшеніяхъ, чѣмъ когда либо, и унія взялась за оружіе прежде, чѣмъ императоръ могъ одуматься!

Католики слѣдили за уніей съ чрезвычайнымъ недовѣріемъ. Съ такимъ же недовѣріемъ наблюдала унія за католиками и императоромъ; императоръ—за тѣми и другими. Съ обѣихъ сторонъ страхъ и взаимное озлобленіе достигли высшаго напряженія. И какъ разъ въ этотъ критическій моментъ смерть Іоганна Вильгельма герцога Юлихскаго вызвала въ высшей степени серьезный споръ о Юлихъ-Клевскомъ наслѣдствѣ.

На наслѣдство, нераздѣльность котораго была основана на торжественныхъ договорахъ, изъявили притязанія восемь соискателей; императоръ былъ не прочь овладѣть наслѣдствомъ въ качествѣ выморочнаго имперскаго лена и могъ считаться девятымъ. Четверо изъ соискателей: курфюрстъ Бранденбургскій, пфальцграфъ Нейбургскій, пфальцграфъ Цвейбрюкенскій и маркграфъ Бургаускій, австрійскій принцъ, предъявили требованія отъ имени четырехъ принцессъ, своихъ женъ, сестеръ покойнаго герцога. Два другіе, курфюрстъ саксонскій изъ Альбертинской линіи и герцоги саксонскіе линіи Эрнестинской, ссылались на давнія наслѣдственныя права, удѣленныя имъ изъ этого наслѣдства императоромъ Фридрихомъ III и утвержденныя за обоими саксонскими домами Максимиліаномъ I. Меньше вниманія было обращено на притязанія нѣсколькихъ иностранныхъ принцевъ. Ближайшія и приблизительно равныя права имѣли владѣтели Бранденбурга и Нейбурга. Тотчасъ послѣ открытія наслѣдства оба двора овладѣли имъ; началъ Бранденбургъ, за нимъ слѣдовалъ Нейбургъ. Споръ начался перомъ и окончился бы, вѣроятно, мечемъ, но вслѣдствіе вмѣшательства императора, который предпочиталъ рѣшить этотъ споръ съ высоты своего трона, а пока взять подъ секвестръ спорныя земли, обѣ враждующія стороны быстро примирились, чтобы бороться съ общей опасностью. Сошлись на томъ, что герцогствомъ будутъ править совмѣстно. Напрасно императоръ требовалъ отъ Юлихъ-Клевскихъ земскихъ чиновъ, чтобы они не присягали своимъ новымъ государямъ, напрасно послалъ онъ въ спорныя владѣнія своего родственника эрцгерцога Леопольда епископа Пассаускаго и Страсбургскаго, чтобы тамъ личнымъ присутствіемъ помогать императорской партіи. Вся страна за исключеніемъ Юлиха, подчинилась протестантскимъ государямъ и императорская партія была осаждена въ этой столицѣ.

Эта борьба имѣла важное значеніе для всей Германской имперіи и даже возбудила вниманіе многихъ европейскихъ дворовъ. Вопросъ былъ не въ томъ, кому достанется и кому не достанется Юлихское герцогство,—но въ томъ, какая изъ обѣихъ партій Германіи—католическая или протестантская—усилится столь значительнымъ пріобрѣтеніемъ, для какой изъ обѣихъ религій будетъ выиграна или потеряна эта область. Вопросъ былъ въ томъ, удастся-ли Австріи этотъ новый захватъ и удовлетворитъ-ли онъ ея жадность, или свобода Германіи и равновѣсіе ея силъ уцѣлѣетъ вопреки замысламъ Австріи. Такимъ образомъ вопросъ о Юлихскомъ наслѣдствѣ

былъ удобнымъ случаемъ для всѣхъ державъ, которыя благопріятствовали свободѣ и враждебно относились въ Австріи. Въ споръ были вовлечены евангелическая унія, Голландія, Англія и особенно Генрихъ IV французскій.

Этотъ монархъ, потерявшій лучшую половину своей жизни въ борьбѣ съ австрійскимъ домомъ и Испаніей, съ непреоборимой геройской силой побѣждавшій всѣ препятствія, воздвигнутыя австрійскимъ домомъ между нимъ и французскимъ престоломъ, далеко не оставался до сихъ поръ равнодушнымъ созерцателемъ смутъ, происходящихъ въ Германіи. Именно эта борьба чиновъ съ императоромъ даровала и обезпечила миръ его Франціи. Протестанты и турки были два благодѣтельныхъ привѣска, обуздавшихъ австрійское могущество на востокѣ и западѣ, но она вновь встала бы во всей своей страшной мощи, если бы только ей позволили свергнуть съ себя эти оковы. Въ продолженіе цѣлой половины человѣческой жизни наблюдалъ Генрихъ IV зрѣлище австрійскаго властолюбія у австрійской жадности, которыхъ ни несдачи, ни даже духовное безсиліе, вообще смягчающія всѣ страсти, не могли погасить въ груди, гдѣ текла хоть капля крови Фердинанда Аррагонскаго. Уже сто лѣтъ тому назадъ австрійская стяжательность исторгла Европу изъ счастливаго мира и произвела насильственный переворотъ въ лонѣ ея лучшихъ государствъ; она лишила поля пахарей, мастерскія—художниковъ, чтобы покрыть земли гигантскими, никогда дотолѣ невиданными массами войскъ, а торговыя моря—военными флотами. Она заставила европейскихъ государей обременить трудолюбіе ихъ подданныхъ неслыханными налогами и истощать въ вынужденной оборонѣ лучшія силы своихъ государствъ, потерянныя для благосостоянія ихъ обитателей. Европа не знала мира, ея государства не знали счастья, благоденствіе народовъ не могло разсчитывать ни на что, пока этотъ опасный родъ имѣлъ силу нарушить по произволу миръ этой части свѣта.

Таковы были размышленія, омрачившія душу Генриха на закатѣ его славной жизни. Много далъ бы онъ, чтобы успокоить хаосъ, въ который ввергла Францію многолѣтняя междуусобная война, возбужденная и поддерживаемая этой самой Австріей. Всякій выдающійся человѣкъ жаждетъ сознанія, что работалъ для вѣчности, а кто могъ ручаться этому государю за долговѣчность благосостоянія, въ какомъ онъ оставлялъ Францію, пока Австрія и Испанія оставались единственной силой, которая, правда, теперь была разбита и обезсилена, но при первомъ удобномъ случаѣ могла снова организоваться въ единое цѣлое и вновь возстать въ своемъ страшномъ могуществѣ. Если онъ хотѣлъ оставить своему наслѣднику достаточно прочный тронъ и своему народу продолжительный миръ, онъ долженъ былъ предварительно на вѣки обезоружить эту опасную силу. Изъ этого источника вытекла непримиримая ненависть Генриха IV къ австрійскому дому,—неутолимая, яростная и справедливая, какъ вражда Анибала къ народу Ромула, но облагороженная болѣе высокимъ происхожденіемъ.

Воззрѣнія Генриха раздѣлялись всѣми странами Европы, но не всѣмъ была присуща эта проницательная политика, это самоотверженное мужество, эта смѣлость дѣйствовать подъ вліяніемъ такихъ воззрѣній. Всякаго безъ различія соблазняетъ непосредственная выгода, но лишь великія души дѣйствуютъ подъ вліяніемъ отдаленнаго блага. Пока мудрость разсчитываетъ въ своихъ замыслахъ на мудрость или опирается на свои собственныя силы, она строитъ себѣ одни химерическіе планы, и мудрость подвергается опасности стать посмѣшищемъ для всего міра; но она можетъ быть увѣрена въ счастливомъ исходѣ и можетъ разсчитывать на рукоплесканія и восхищеніе, когда она въ своихъ глубокообдуманныхъ планахъ назначаетъ опредѣленныя роли варварству, любостяжанію и суевѣрію, и обстоятельства даютъ ей возможность сдѣлать чужія корыстныя страсти орудіемъ ея прекрасныхъ цѣлей.

Въ первомъ случаѣ извѣстный проектъ Генриха—изгнать австрійскій домъ изъ всѣхъ его владѣній и подѣлить между европейскими державами награбленное имъ добро — дѣйствительно, заслуживалъ бы названія химеры, какъ его называли такъ часто и такъ охотно; но заслуживалъ-ли его планъ такую-же кличку въ другомъ случаѣ? Этому замѣчательному государю никогда не пришло бы на мысль разсчитывать встрѣтить въ исполнителяхъ своего проекта тѣ же побудительныя причины, какія одушевляли въ этомъ замыслѣ его и его помощника Сюлли. Всѣ государства, содѣйствіе которыхъ было тутъ необходимо, должны были взять на себя приличествующую имъ въ данномъ случаѣ роль по самымъ серьезнымъ мотивамъ, какіе только могутъ

быть въ политическихъ событіяхъ. Отъ австрійскихъ протестантовъ не требовали ничего такого, что и безъ того не было-бы цѣлью ихъ стремленій: сверженія австрійскаго ига; отъ нидерландцевъ—ничего, кромѣ такого же сверженія испанскаго владычества; для папы и для всѣхъ итальянскихъ республикъ не было ничего важнѣе освобожденія ихъ полуострова отъ испанской тираніи: для Англіи не было ничего желательнѣе переворота, который освободилъ бы ее отъ ея непримиримаго врага. Каждая страна выигрывала при этомъ раздѣлѣ австрійской добычи землю или свободу, новыя пріобрѣтенія или безопасность для старыхъ, и такъ какъ выигрышъ былъ обезпеченъ для всѣхъ, то равновѣсіе оставалось ненарушеннымъ. Франція могла великодушно отказаться отъ всякаго участія въ дѣлежѣ, потому что она вдвойнѣ выигрывала отъ гибели Австріи и всегда бывала наиболѣе могущественной тогда, когда Австрія не была слишкомъ могущественна. Наконецъ, за освобожденіе Европы отъ ихъ присутствія потомки Габсбурговъ получали свободу распространять свои владѣнія во всѣхъ открытыхъ или могущихъ быть открытыми частяхъ свѣта. Кинжалъ Равальяка спасъ Австрію, чтобы отдалить миръ Европы на нѣсколько столѣтій.

Поглощенный этими замыслами Генрихъ необходимо долженъ былъ принять быстрое и дѣятельное участіе въ дѣлахъ евангелической уніи въ Германіи и смотрѣть на споръ изъ за юлихскаго наслѣдства, какъ на важнѣйшее событіе. Его уполномоченные вели переговоры при всѣхъ протестантскихъ дворахъ Германіи, и то немногое, что они выдавали или позволяли угадывать изъ великой политической тайны ихъ монарха, было достаточно, чтобы овладѣть душами, одушевленными столь пламенной враждой къ Австріи и обуреваемыми столь могучею жаждой стяжанія. Умѣлая политика Генриха связала унію еще тѣснѣе, и могущественная помощь, которую онъ обязался дать, возвысила мужество союзниковъ до степени непоколебимой твердости. Многочисленная французская армія подъ личнымъ начальствомъ короля должна была соединиться съ войсками уніи на берегахъ Рейна и прежде всего способствовать окончательному завоеванію юлихъ-клевскихъ владѣній, затѣмъ двинуться въ союзѣ съ нѣмцами въ Италію, гдѣ ихъ ждала могущественная помощь Савойи, Венеціи и папы, и здѣсь низвергнуть всѣ испанскіе престолы. Затѣмъ этой побѣдоносной арміи предстояло вторгнуться изъ Ломбардіи во владѣнія Габсбурговъ и здѣсь при помощи всеобщаго возстанія протестантовъ сломить австрійскій скипетръ во всѣхъ его нѣмецкихъ земляхъ, въ Богеміи, Венгріи и Семиградьи. Между тѣмъ брабанцы, и голландцы, усиленные французской помощью, свергнутъ

Фридрихъ V Пфальцскій, король Богемскій.
(„Зимній Король").

Гравюра Гунста.

иго испанской тиранніи, и этотъ страшный потокъ, съ такой силою вышедшій изъ береговъ, еще такъ недавно грозившій вовлечь свободу Европы въ свой мрачный водоворотъ, снова будетъ тихо и незамѣтно катиться за Пиренейскими горами.

Французы славились всегда своей быстротой; на этотъ разъ нѣмцы превзошли ихъ. Армія евангелической уніи была въ Эльзасѣ прежде, чѣмъ Генрихъ появился здѣсь, и австрійское войско, собранное здѣсь епископомъ Страсбургскимъ и Пассаускимъ и готовое двинуться въ юлихскія владѣнія, было разсѣяно. Генрихъ IV создалъ планъ, достойный государственнаго человѣка и короля, но онъ поручилъ его выполненіе разбойникамъ. По его мнѣнію, должно было стараться, чтобы ни одинъ католическій государь не могъ принять эти военныя приготовленія на свой счетъ и отождествить дѣло Австріи съ своимъ дѣломъ; религія не должна была имѣть мѣста въ этомъ вопросѣ. Но могли ли нѣмецкіе государи изъ-за плановъ Генриха забыть свои собственныя цѣли? Ими двигала жажда увеличить свои владѣнія и религіозная ненависть— они, очевидно, должны были захватить для удовлетворенія своей алчности все, что могли. Точно хищные коршуны налетѣли они на земли духовныхъ владѣтелей, выбирая при этомъ для своего пути самыя пышныя пажити, хотя бы для этого пришлось сдѣлать большой обходъ. Точно въ вражеской странѣ налагали они контрибуціи, своевольно собирали налоги и брали силой то, чего имъ не давали добровольно. Мало того,—чтобы не оставить католиковъ въ сомнѣніи относительно истинныхъ причинъ ихъ похода, они громко и открыто говорили, какую судьбу готовятъ духовнымъ владѣніямъ. Вотъ какъ мало общаго было у Генриха IV и нѣмецкихъ государей въ данномъ случаѣ; вотъ какъ жестоко ошибся этотъ замѣчательный государь въ своихъ выполнителяхъ. Остается вѣчной истиной, что примѣненіе силы тамъ, гдѣ этого примѣненія требуетъ мудрость, никогда не должно быть довѣряемо насильнику, — что нарушить порядокъ можно довѣрить лишь тому, кому онъ дорогъ.

Поведеніе уніи, возмутившее даже многихъ евангелическихъ владѣтелей, и страхъ подвергнуться худшему насилію вызвалъ въ средѣ католиковъ нѣчто болѣе дѣйствительное, чѣмъ праздное негодованіе. Павшій авторитетъ императора не давалъ имъ никакой защиты противъ такого непріятеля. Страшными и надменными дѣлалъ евангелистовъ, связанныхъ уніей, только ихъ союзъ; союзъ-же слѣдовало противопоставить имъ.

Планъ такого католическаго союза, отличавшагося отъ евангелическаго названіемъ лиги, былъ проектированъ епископомъ Вюрцбургскимъ. Статьи договора были почти тѣ же, что въ уніи, большинство членовъ составляли епископы; во главѣ союза стоялъ герцогъ Баварскій Максимильянъ, но такъ какъ это былъ единственный значительный свѣтскій членъ союза, то онъ имѣлъ неизмѣримо большую силу, чѣмъ глава уніи. Кромѣ того обстоятельства, что герцогъ баварскій былъ единственнымъ предводителемъ всей военной силы лигистовъ, вслѣдствіе чего операціямъ лиги сообщались быстрота и единство, невозможныя въ войскахъ уніи, лига имѣла еще то преимущество, что денежные взносы отъ богатыхъ прелатовъ притекали гораздо правильнѣе, чѣмъ отъ бѣдныхъ евангелическихъ членовъ уніи. Не предлагая участія въ своемъ союзѣ императору, какъ католическому государю Германіи, не отдавая ему, какъ императору, никакого отчета, лига встала вдругъ страшная и грозная, достаточно сильная, чтобы покончить съ уніей, и сохранить свое существованіе въ теченіе правленія трехъ императоровъ. Лига какъ будто стояла за Австрію, потому что была направлена противъ протестантскихъ государей, но вскорѣ и Австрія должна была трепетать предъ нею.

Между тѣмъ оружіе уніи въ Юлихѣ и Эльзасѣ было довольно счастливо; Юлихъ былъ обложенъ и все епископство страсбургское—въ рукахъ протестантовъ. Но теперь пришелъ конецъ ихъ блестящимъ успѣхамъ. Французское войско не явилось на берегахъ Рейна, ибо того, кто долженъ былъ вести его, кто вообще былъ душой всего этого дѣла,— Генриха IV не было болѣе на свѣтѣ. Деньги уніи приходили къ концу. Въ новыхъ отказывали ея участники, а вошедшіе въ унію имперскіе города были очень недовольны тѣмъ, что отъ нихъ все время требуютъ денегъ, но не спрашиваютъ совѣта. Особенно возмущало ихъ то, что они несли расходы по юлихскому дѣлу, которое прямо было исключено изъ общихъ дѣлъ уніи; что государи уніи получали изъ общей кассы большіе оклады; и болѣе всего то, что никто изъ государей не давалъ имъ отчета въ употребленіи ихъ денегъ.

Такимъ образомъ, унія приходила въ

упадокъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда лига стала противъ нея съ новыми и свѣжими силами. Оставаться долѣе въ полѣ не позволялъ членамъ уніи тягостный недостатокъ въ деньгахъ, и все-же положить оружіе въ виду врага, готоваго къ бою, было слишкомъ страшно. Чтобы по крайней мѣрѣ обезпечить себя съ одной стороны, пришлось вступить въ соглашеніе съ старымъ врагомъ, эрцгерцогомъ Леопольдомъ, и обѣ стороны рѣшили вывести свои войска изъ Эльзаса, освободить плѣнныхъ и покрыть все прошлое забвеніемъ. Такимъ нулемъ закончились столь много обѣщавшія приготовленія.

Тѣмъ-же повелительнымъ языкомъ, какимъ, въ надеждѣ на свои силы, говорила унія съ католической Германіей, заговорила теперь лига съ уніей и ея войсками. Имъ показывали слѣды ихъ пути и клеймили самыми позорными именами, какихъ они заслуживали. Духовнымъ владѣніямъ Вюрцбурга, Бамберга, Страсбурга, Майнца, Трира и Кельна и многимъ другимъ пришлось испытать ихъ раззорительное пребываніе. Всѣхъ ихъ обязана унія вознаградить за причиненный вредъ, вновь освободить водныя и сухопутныя сообщенія (такъ какъ унія овладѣла также рейнскимъ судоходствомъ), все привести въ прежнее положеніе. Но прежде всего отъ членовъ уніи требовали прямого и опредѣленнаго объясненія, чего ожидать отъ ихъ союза. Теперь членамъ уніи приходилось уступить силѣ. На такого сильнаго врага они не разсчитывали, но они сами выдали католикамъ тайну своей прежней мощи. Ихъ гордость оскорблялась необходимостью просить мира, но они должны были считать себя счастливыми, что получили его. Одна сторона обѣщала удовлетвореніе, другая прощеніе. Обѣ сложили оружіе. Военная гроза пронеслась еще разъ и наступила временная тишина. Теперь разразилось возстаніе въ Богеміи, стоившее императору послѣдняго изъ его владѣній: но ни унія, ни лига не вмѣшивались въ эти богемскія недоразумѣнія.

Наконецъ, (1612) умеръ императоръ, смерть котораго вызвала такъже мало сожалѣній, какъ жизнь — радостей. Много лѣтъ спустя, когда ужасы послѣдующихъ царствованій заставили забыть ужасы его правленія, память его окружена была ореоломъ, и надъ Германіей спустилась теперь такая страшная ночь, что люди съ кровавыми слезами молились о возвращеніи хоть такого императора.

Ни какими средствами невозможно было добиться отъ Рудольфа позволенія избрать ему преемника на тронѣ, и потому всѣ съ безпокойнымъ трепетомъ ждали близкаго освобожденія императорскаго трона; но сверхъ всякаго ожиданія на него быстро и спокойно вступилъ Матвѣй. Католики дали ему свои голоса, потому что они ждали всякихъ благъ отъ оживленной дѣятельности этого государя; протестанты голосовали за него, потому что ждали всего отъ его дряхлости. Не трудно примирить это противорѣчіе. Одни полагались на то, что онъ показалъ ранѣе, другіе судили сообразно съ тѣмъ, что онъ выказывалъ теперь.

Моментъ вступленія на тронъ—всегда великая минута для надеждъ; первый сеймъ короля тамъ, гдѣ онъ вступаетъ на престолъ по избранію, бываетъ обыкновенно его труднѣйшимъ испытаніемъ. На сцену выступаютъ всѣ старыя жалобы; къ нимъ присоединяются новыя, чтобы сдѣлать и ихъ причастными къ ожидаемымъ реформамъ; съ новымъ королемъ должна начаться новая эра. Важныя услуги, оказанныя ихъ австрійскими единовѣрцами Матвѣю во время его возстанія были свѣжи въ памяти протестантскихъ чиновъ, и они собирались поступать по тому-же способу, какимъ тѣ заставили вознаградить себя за свои услуги.

Матвѣй пролагалъ себѣ путь къ трону своего брата посредствомъ покровительства протестантамъ въ Австріи и въ Моравіи; это удалось ему; но увлекаемый своими честолюбивыми планами, онъ не сообразилъ, что они получаютъ такимъ образомъ возможность предписывать законы своему господину. Это открытіе рано вывело его изъ упоенія счастьемъ. Едва показался онъ торжественно своимъ австрійскимъ подданнымъ послѣ чешскаго похода, какъ его уже ждали почтительнѣйшія представленія, которыхъ было совершенно достаточно, чтобы испортить ему все его торжество. До принесенія присяги отъ него требовали неограниченной свободы совѣсти въ городахъ и мѣстечкахъ, полнаго равноправія католиковъ и протестантовъ и совершенно свободнаго доступа послѣднихъ ко всѣмъ должностямъ. Во многихъ мѣстностяхъ эту свободу осуществили безъ всякаго разрѣшенія и въ надеждѣ на новое правленіе своевольно возстановили евангелическое богослуженіе тамъ, гдѣ императоръ отмѣнилъ его. Матвѣй ничего не имѣлъ противъ того, чтобы воспользоваться жалобами протестантовъ какъ орудіемъ противъ императора; но ему

никогда не приходило въ голову удовлетворять ихъ. Онъ разсчитывалъ твердымъ и рѣшительнымъ тономъ въ самомъ началѣ отвергнуть всѣ эти притязанія. Онъ говорилъ о своихъ наслѣдственныхъ правахъ на страну и не хотѣлъ слышать ни о какихъ условіяхъ до присяги. Такую безусловную присягу принесли эрцгерцогу Фердинанду ихъ сосѣди, чины Штиріи; но имъ вскорѣ пришлось горько раскаиваться въ этомъ. Въ виду этого примѣра, австрійскіе чины настаивали на своемъ требованіи; мало того, чтобы не быть насильно принужденными къ присягѣ, они даже покинули столицу, возбуждая католическихъ владѣтелей къ такому же сопротивленію, и начали набирать войска. Они вели переговоры о возобновленіи ихъ стараго союза съ Венгріей; они добились сочувствія протестантскихъ государей Германіи и серьезно собирались добиться исполненія своего требованія съ оружіемъ въ рукахъ.

Матвѣй не задумался согласиться на гораздо болѣе значительныя требованія венгерцевъ. Но въ Венгріи государи были выборные, и республиканское устройство этой страны оправдывало требованія чиновъ предъ нимъ самимъ и его уступчивость предъ всѣмъ католическимъ міромъ. Наоборотъ, въ Австріи его предшественники пользовались неизмѣримо большими державными правами, которыхъ онъ не могъ уступить своимъ чинамъ, не позоря себя предъ всей католической Европой, не навлекая на себя недовольства Испаніи и Рима и презрѣнія своихъ собственныхъ католическихъ подданныхъ. Его строго католическіе совѣтники, среди которыхъ наибольшее вліяніе оказывалъ на него епископъ вѣнскій Мельхіоръ Клезель, убѣждали его лучше позволить протестантамъ отнять у него силой всѣ церкви, чѣмъ отдать имъ добровольно хоть одну.

Но, къ несчастью, это затрудненіе постигло его въ то время, какъ императоръ Рудольфъ еще жилъ и былъ свидѣтелемъ этого событія, когда онъ, стало быть, легко могъ впасть въ искушеніе воспользоваться противъ своего брата тѣмъ же оружіемъ, какимъ тотъ побѣдилъ его,—а именно соглашеніемъ съ его мятежными подданными. Чтобы избѣгнуть такого оборота, Матвѣй охотно принялъ предложенія моравскихъ чиновъ, которые вызвались быть посредниками между нимъ и чинами Австріи. Выборные обѣихъ сторонъ собрались въ Вѣнѣ, гдѣ австрійскіе депутаты говорили языкомъ, который поразилъ-бы даже лондонскій парламентъ. „Протестанты", говорилось въ заключеніи, „не хотятъ, чтобы съ ними въ ихъ отечествѣ обходились хуже, чѣмъ съ горстью католиковъ. Матвѣй принудилъ императора къ уступкѣ благодаря своему протестантскому дворянству; на восемьдесятъ папистовъ здѣсь можно было насчитать триста евангелическихъ бароновъ. Да послужитъ примѣръ Рудольфа предостереженіемъ Матвѣю. Какъ-бы ему не пришлось потерять земное ради небесныхъ пріобрѣтеній". Такъ какъ моравскіе чины вмѣсто того, чтобы явиться посредниками въ пользу императора, въ концѣ концовъ, сами перешли на сторону своихъ австрійскихъ единовѣрцевъ, и такъ какъ унія самымъ настойчивымъ образомъ вмѣшивалась въ это дѣло, а месть императора пугала Матвѣя, то онъ въ концѣ концовъ далъ вырвать у себя вожделѣнное заявленіе въ пользу протестантовъ.

Это поведеніе земскихъ чиновъ Австріи по отношенію къ эрцгерцогу послужило теперь примѣромъ для протестантскихъ владѣтелей Германіи въ ихъ отношеніяхъ къ императору, и они ожидали столь-же счастливаго исхода. На первомъ-же его сеймѣ въ Регенсбургѣ (1613), гдѣ рѣшенія ждали настоятельнѣйшіе вопросы, гдѣ обсуждался общій налогъ на войну противъ турокъ и противъ князя Семиградскаго Бетлена Габора, который при помощи турокъ провозгласилъ себя владыкой этой страны и даже грозилъ Венгріи, они ошеломили его совершенно новыми требованіями. Католическимъ голосамъ все еще принадлежало въ совѣтѣ государей большинство, и, такъ какъ все должно было рѣшаться по большинству голосовъ, то обыкновенно протестанты, даже когда они были вполнѣ согласны между собой, не принимались въ разсчетъ. Вотъ отъ этого перевѣса должны были теперь отказаться католики, и впредь должно было быть запрещено всякой отдѣльной религіозной партіи покрывать голоса другой своимъ неизмѣннымъ большинствомъ. И въ самомъ дѣлѣ, если евангелическая религія должна была имѣть представителей въ имперскомъ сеймѣ, то, понятно, устройство сейма не должно было отнимать у нея возможности пользоваться такимъ правомъ. Это требованіе сопровождалось жалобами на насильственную юрисдикцію императорскаго суда въ Вѣнѣ и на угнетеніе протестантовъ; къ тому-же уполномоченные чиновъ имѣли приказъ устраняться отъ участія въ общихъ преніяхъ

до тѣхъ поръ, пока они не добьются благопріятнаго отвѣта на это предварительное требованіе.

Такое положеніе дѣлъ грозило разъединить имперскій сеймъ и навсегда уничтожить общія совѣщанія. Какъ ни искренно хотѣлъ императоръ, по примѣру отца своего Максимильяна, держаться благоразумной политики равновѣсія между обѣими религіями, поведеніе протестантовъ заставляло его рѣшиться на опасный выборъ. Въ виду своихъ настоятельныхъ нуждъ онъ не могъ отказаться отъ общей помощи имперскихъ чиновъ, а между тѣмъ невозможно было сдѣлать что нибудь для одной партіи, не теряя надежды на поддержку другой. Такъ какъ онъ не утвердился еще окончательно въ своихъ наслѣдственныхъ земляхъ, то малѣйшая мысль вступить въ открытую борьбу съ протестантами должна была привести его въ трепетъ. Но также мало позволяли ему мирволить протестантамъ въ ущербъ католической религіи глаза всего католическаго міра, прикованные къ его теперешнему рѣшенію, представленія католическихъ чиновъ, двора римскаго и испанскаго.

Столь трудное положеніе могло повергнуть въ смятеніе болѣе сильную мысль, чѣмъ Матвѣя, и ему едвали удалось бы выпутаться изъ него своимъ умомъ. Но выгоды католиковъ были тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ авторитетомъ императора. Съ паденіемъ его власти духовные государи теряли всякое оружіе противъ обидъ протестантовъ. Поэтому, видя теперь императора въ нерѣшимости, они нашли, что насталъ рѣшительный моментъ подкрѣпить его падающее мужество. Они раскрыли предъ нимъ тайну образованія лиги и ознакомили его съ ея устройствомъ, силами и средствами. Какъ ни мало утѣшительно могло быть это открытіе для императора, надежда на столь могущественную защиту внушила ему нѣкоторое мужество противъ протестантовъ. Ихъ требованія были отвергнуты, и имперскій сеймъ былъ распущенъ безъ всякаго рѣшенія. Но Матвѣй палъ жертвой этого раздора. Протестанты отказали ему въ денежныхъ средствахъ и тѣмъ отомстили ему за упорство католиковъ.

Между тѣмъ, сами турки выказали склонность продолжать перемиріе, а князю Бетленъ Габору предоставили спокойно владѣть Семиградьемъ. Государство было ограждено отъ внѣшней опасности и, какъ ни опасны были внутренніе раздоры, въ немъ все-таки господствовалъ миръ. Совершенно неожиданный случай сообщилъ борьбѣ за юлихское наслѣдство необычайный оборотъ. Это герцогство было все еще занято сообща курфюрстомъ бранденбургскимъ и пфальцграфомъ нейбургскимъ. Интересы обоихъ домовъ должны были быть неразрывно связаны бракомъ между принцемъ нейбургскимъ и бранденбургской принцессой. Весь этотъ планъ былъ разрушенъ—пощечиной, которую курфюрстъ бранденбургскій имѣлъ несчастіе дать подъ вліяніемъ винныхъ паровъ своему зятю. Отнынѣ о добрыхъ отношеніяхъ между обоими домами не могло быть рѣчи. Принцъ нейбургскій перешелъ въ католичество. Наградой за отступничество была рука принцессы баварской, а естественнымъ слѣдствіемъ того и другого—могущественная защита Баваріи и Испаніи. Съ цѣлью сдѣлать пфальцграфа исключительнымъ владѣтелемъ Юлиха, въ герцогство, были направлены испанскія войска изъ Ниндерландовъ. Для того, чтобы избавиться отъ этихъ гостей, курфюрстъ бранденбургскій призвалъ въ страну голландцевъ, благосклонность которыхъ онъ постарался снискать принятіемъ реформатской вѣры. Испанскія и голландскія войска, дѣйствительно, появились въ странѣ, но, кажется, лишь для того, чтобы забрать ее себѣ.

Нидерландская война готовилась, повидимому, разыграться на нѣмецкой землѣ; сколько горючаго матеріала было здѣсь готово для нея! Съ ужасомъ смотрѣла протестанская Германія, какъ испанцы становятся твердой ногой на низовьяхъ Рейна; съ еще большимъ страхомъ смотрѣли католики на вторженіе голландцевъ. На западѣ должна была взорваться мина, давно уже прокопанная подъ всей Германіей,—за западомъ слѣдили страхъ и ожиданіе,—а взрывъ грянулъ на востокѣ.

Спокойствіе, дарованное Богеміи грамотой Рудольфа II, продолжалось въ правленіе Матвѣя лишь до тѣхъ поръ, пока наслѣдникомъ престола въ этомъ королевствѣ не былъ провозглашенъ Фердинандъ Грецкій.

Этотъ принцъ, съ которымъ мы позже познакомимся ближе подъ именемъ императора Фердинанда II, заявилъ себя насильственнымъ искорененіемъ протестанства въ своихъ владѣніяхъ, фанатичнымъ приверженцемъ папизма, и потому католическая часть чешскаго народа смотрѣла на него какъ на будущую опору своей церкви. Слабое здоровье императора приблизило

этотъ моментъ и чешскіе паписты въ надеждѣ на столь могущественнаго защитника стали съ меньшей осторожностью относиться къ протестантамъ. Особенно тяжелая судьба выпала на долю евангелическихъ подданныхъ католическихъ владѣльцевъ. Къ тому-же многіе католики имѣли неосторожность слишкомъ громко говорить о своихъ надеждахъ и случайно брошенными угрозами возбудили въ протестантахъ тяжелое недовѣріе къ ихъ будущему повелителю. Но это недовѣріе никогда не перешло-бы въ дѣйствіе, еслибы противная сторона ограничилась общими выраженіями и не дала предпріимчивыхъ вожаковъ глухому недовольству народа особыми нападеніями на отдѣльныхъ членовъ протестантской церкви.

Генрихъ Матвѣй графъ фонъ-Турнъ, не чехъ по происхожденію, но лишь владѣтель нѣсколькихъ помѣстій въ этомъ королевствѣ, снискалъ, благодаря ревности къ протестантской религіи и фанатической привязанности къ своему новому отечеству, безграничное довѣріе утраквистовъ, что проложило ему путь въ высшимъ должностямъ. Онъ славно дрался съ турками и вкрадчивымъ обхожденіемъ побѣдилъ сердца толпы. Это была пылкая необузданная голова, любившая смуту, такъ какъ здѣсь въ полномъ блескѣ проявлялись ея дарованія, безумно смѣлая и достаточно безразсудная, чтобы взяться за исполненіе вещей, устрашающихъ разсудочное благоразуміе и хладнокровіе. Турнъ былъ человѣкъ достаточно свободный отъ укоровъ совѣсти, чтобы играть судьбою тысячъ людей, когда это было нужно для удовлетворенія его страстей и достаточно ловокъ, чтобы заставить плясать по своей дудкѣ такой народъ, какъ чехи этого времени. Смуты во время правленія Рудольфа имѣли въ немъ дѣятельнѣйшаго участника, и грамота величества, добытая чешскими чинами отъ императора, была главнымъ образомъ его заслугой. Какъ бургграфу карлштейнскому дворъ вручилъ ему для сохраненія чешскую корону и указы о вольностяхъ королевства; но, облекши его въ санъ дефензора или защитника вѣры, народъ отдалъ ему нѣчто гораздо болѣе важное—самого себя. Аристократы, подъ вліяніемъ которыхъ находился императоръ, неблагоразумно отняли у него власть надъ мертвымъ, предоставивъ ему такимъ образомъ власть надъ живымъ. Они лишили его званія бургграфа, ставившаго его въ зависимость отъ милостей двора, чтобы такимъ образомъ раскрыть ему великую важность всего другого, что ему оставалось и оскорбили его тщеславіе, благодаря которому было до сихъ поръ безвредно его честолюбіе. Съ этихъ поръ жажда мести овладѣла имъ и недолго пришлось ждать случая удовлетворить ее.

Въ грамотѣ величества, добытой чехами отъ Рудольфа II, также какъ и въ религіозномъ мирѣ нѣмцевъ оставался, невыясненнымъ главный пункъ. Всѣ права, дарованныя грамотой протестантамъ, были даны только владѣтелямъ, но не ихъ подданнымъ; лишь для подданныхъ духовныхъ владѣтелей была выговорена сомнительная свобода совѣсти. Чешская грамота говорила равнымъ образомъ только о чинахъ и о королевскихъ городахъ, магистратамъ которыхъ удалось добиться равныхъ правъ съ владѣтелями. Лишь они имѣли право строить церкви, учреждать училища и публично отправлять свое протестантское богослуженіе; во всѣхъ остальныхъ городахъ право опредѣлять предѣлы свободы совѣсти подданныхъ предоставлено было владѣтелю, подъ властью котораго они находились. Этимъ правомъ германскіе имперскіе чины пользовались въ всемъ его объемѣ. Свѣтскіе безъ противорѣчія, духовные-же, право которыхъ было объявлено спорнымъ по одному указу императора Фердинанда, не безъ основанія оспаривали обязательный характеръ этого постановленія Но то, что въ германскомъ религіозномъ мирѣ было спорнымъ пунктомъ, являлось неопредѣленнымъ въ чешской грамотѣ; тамъ не было споровъ о толкованіи, но было спорно, слѣдуетъ-ли ему повиноваться; здѣсь толкованіе закона было предоставлено чинамъ. Такимъ образомъ, подданные духовныхъ земскихъ чиновъ въ Богеміи считали, что имѣютъ тѣ права, которыя по указу Фердинанда были предоставлены подданнымъ нѣмецкихъ епископовъ; они считали себя равными подданнымъ королевскихъ городовъ, такъ какъ относили духовныя владѣнія къ короннымъ. Въ небольшомъ городкѣ Клестерграбѣ, принадлежавшемъ архіепископу Пражскому, и въ Браунау, принадлежавшемъ аббату этого монастыря, протестантскіе подданные самовольно принялись за сооруженіе церквей и, несмотря на протесты ихъ повелителей и даже неодобреніе самого императора, закончили ихъ сооруженіе.

Тѣмъ временемъ бдительность дефензоровъ нѣсколько ослабла и дворъ нашелъ, что можно рѣшиться на серьезный шагъ. По указу императора, церковь въ Клестерграбѣ

была разрушена, церковь въ Браунау насильственно заперта и безпокойныя головы изъ среды гражданъ брошены въ темницу. Слѣдствіемъ этого шага было всеобщее возбужденіе среди протестантовъ; стали раздаваться крики о нарушеніи грамоты величества, и графъ Турнъ, одушевляемый местью, а еще болѣе побуждаемый своимъ саномъ дефензора, съ чрезвычайной дѣятельностью возбуждалъ умы. По его почину изъ всѣхъ округовъ королевства были созваны въ Прагу депутаты, дабы принять соотвѣтственныя мѣры противъ общей опасности. Было рѣшено подать императору прошеніе и настаивать на освобожденіи заключенныхъ. Отвѣтъ императора, очень дурно принятый чинами уже по той причинѣ, что онъ былъ обращенъ не къ нимъ непосредственно, а къ его намѣстникамъ, называлъ ихъ поведеніе противозаконнымъ и измѣнническимъ, оправдывалъ событія въ Клостерграбѣ и Браунау императорскимъ указомъ и заключалъ въ себѣ нѣсколько мѣстъ, которыя могли быть истолкованы, какъ угроза.

Графъ Турнъ не упустилъ случая усилить дурное впечатлѣніе, произведенное императорскимъ посланіемъ среди собравшихся чиновъ. Онъ указалъ имъ на опасность, какой подвергались всѣ участники ходатайства, и съумѣлъ, путемъ ожесточенія и страха, увлечь ихъ на путь насилія. Поднять ихъ непосредственно противъ императора было бы пока слишкомъ смѣлымъ шагомъ. Онъ велъ ихъ постепенно къ этой неизбѣжной цѣли. Поэтому онъ нашелъ болѣе удобнымъ направить раздраженіе противъ совѣтниковъ императора и распустилъ слухъ, что императорское посланіе составлено въ канцеляріи пражскаго намѣстничества и лишь подписано въ Вѣнѣ. Среди императорскихъ намѣстниковъ предметомъ всеобщей ненависти были коммерпрезидентъ Славата и назначенный на мѣсто Турна бургграфомъ карлштейнскимъ баронъ фопъ-Мартиницъ. Оба они достаточно ясно выказали протестантскимъ чинамъ свои враждебныя намѣренія тѣмъ, что они одни отказались принять участіе въ засѣданіи, въ которомъ грамота величества была внесена въ чешское земское уложеніе. Тогда уже имъ грозили, что вина за всякое будущее нарушеніе грамоты падетъ на нихъ и все дурное, что съ тѣхъ поръ выпало на долю протестантовъ, было—и не безъ основанія—отнесено на ихъ счетъ. Среди всѣхъ католическихъ владѣтелей эти двое были наиболѣе жестоки къ своимъ протестантскимъ подданнымъ. Ихъ обвиняли въ томъ, что они собаками загоняли протестантовъ на католическую обѣдню и отказомъ въ крещеніи, вѣнчаніи и погребеніи старались насильственно обращать ихъ въ папизмъ. Ярость народа легко могла быть направлена противъ столь ненавистныхъ начальниковъ, и они должны были пасть жертвой всеобщаго недовольства.

23 мая 1618 года депутаты, вооруженные и въ сопровожденіи многочисленной толпы, появились въ королевскомъ замкѣ и ворвались въ залъ, гдѣ находились намѣстники Штернбергъ, Мартиницъ, Лобковицъ и Славата. Съ угрозами потребовали они отъ каждаго изъ нихъ объясненія,—принималъ-ли онъ участіе въ императорскомъ отвѣтѣ и высказывался-ли за него. Штернбергъ далъ сдержанный отвѣтъ; Мартиницъ и Славата отвѣтили угрозами. Это рѣшило ихъ участь. Штернбергъ и Лобковицъ, менѣе ненавистные и болѣе опасные, были выведены изъ зала; Славату же и Мартиница поволокли къ окну и выкинули въ замковый ровъ съ высоты восьмидесяти футовъ. Ихъ креатуру, секретаря Фабриціуса, отправили вслѣдъ за ними. Какъ и слѣдовало ожидать, весь образованный міръ былъ пораженъ такимъ видомъ наказанія; чехи оправдывали его, какъ употребительный у нихъ обычай, и во всемъ этомъ случаѣ находили удивительнымъ только то, что потерпѣвшіе встали цѣлы и невредимы послѣ прыжка съ такой высоты. Навозная куча, на которую упали императорскіе намѣстники, спасла ихъ отъ всякаго вреда.

Трудно было ожидать, чтобы этотъ рѣшительный образъ дѣйствій особенно усилилъ милостивое настроеніе императора; но до этого и хотѣлъ довести чеховъ графъ фонъ-Турнъ. Если они позволили себѣ такое насиліе изъ страха предъ неопредѣленной опасностью, то теперь ожиданіе неминуемой кары и неизбѣжная необходимость прибѣгнуть къ замозащитѣ должны были увлечь ихъ еще далѣе. Это грубое насиліе должно было преградить путь всякой нерѣшимости и раскаянію; людямъ показалось, что отдѣльное преступленіе можетъ быть заглажено только цѣлымъ рядомъ новыхъ насилій. Такъ какъ случившееся было непоправимо, то необходимо было обезоружить карающую силу. Было избрано тридцать руководителей для правильнаго продолженія возстанія. Всѣ дѣла правленія и

всѣ королевскіе сборы были захвачены, королевскіе чиновники и солдаты приведены къ присягѣ и къ чешскому народу обращено воззваніе, гдѣ всѣ приглашались къ участію въ общемъ дѣлѣ. Іезуиты, которыхъ всеобщая ненависть обвиняла во всѣхъ преслѣдованіяхъ, были изгнаны изъ всего королевства, и чины нашли необходимымъ оправдать это суровое рѣшеніе путемъ особаго манифеста. Всѣ эти шаги были сдѣланы во имя сохраненія королевской власти и исполненія законовъ: исконныя слова всѣхъ мятежниковъ, пока счастье не склонится открыто на ихъ сторону.

Впечатлѣніе, произведенное извѣстіемъ о чешскомъ возстаніи при императорскомъ дворѣ, было далеко не такъ сильно, какъ того заслуживалъ этотъ вызывающій образъ дѣйствій. Императоръ Матвѣй не былъ уже тѣмъ рѣшительнымъ человѣкомъ, который нѣкогда рѣшился схватить своего короля и повелителя среди его народа и свергнуть съ трехъ троновъ. Самонадѣянное мужество, одушевлявшее его при узурпаціи, покинуло его при законномѣрной защитѣ. Чешскіе мятежники вооружились первые и ему, сообразно природѣ вещей, пришлось слѣдовать за ними. Но онъ не могъ надѣяться, что война ограничится одной Богеміей. Опасная симпатія связывала протестантовъ во всѣхъ его земляхъ воедино,—общая религіозная опасность могла слишкомъ быстро объединить ихъ въ одну страшную республику. Что сможетъ онъ противопоставить такому врагу, если отъ него отдѣлится протестантская часть его подданныхъ? И развѣ не погибнутъ въ этой пагубной усобицѣ обѣ стороны? Что останется цѣло, если онъ погибнетъ, и кого-же погубитъ онъ, какъ не своихъ подданныхъ, если побѣдитъ?

Такія соображенія склонили императора и его совѣтниковъ къ уступчивости и къ мысли о мирѣ; но именно въ этой уступчивости желательно было кой-кому видѣть корень зла. Эрцгерцогъ Фердинандъ Грецскій поздравлялъ императора съ происшествіемъ, которое оправдывало всякое насиліе надъ чешскими протестантами передъ всей Европой. „Непокорность—говорилъ онъ—беззаконіе и крамола шли всегда рука объ руку съ протестантствомъ. Всѣ вольности, дарованныя протестантскимъ чинамъ нынѣшнимъ и прежнимъ императорами, имѣли до сихъ поръ одно слѣдствіе: усиленіе ихъ требованій. Все поведеніе еретиковъ направлено противъ монарха; переходя постепенно отъ непокорства къ непокорству, они дошли до этого послѣдняго насилія; въ ближайшемъ будущемъ они возьмутяся за самого императора. Въ одномъ оружіи спасеніе отъ такого врага; покой и покорность могутъ быть обрѣтены только на развалинахъ ихъ опасныхъ привилегій; лишь въ полной гибели этой секты заключена безопасность католической вѣры. Правда, исходъ войны неизвѣстенъ, но несомнѣнна гибель, если уклониться отъ войны. Конфискованныя имущества мятежниковъ богато возмѣстятъ всѣ военныя издержки, а ужасъ казней быстро научитъ остальныхъ покорности".—Можно-ли было винить чешскихъ протестантовъ, если они заблаговременно старались оградить себя отъ осуществленія такихъ принциповъ? Къ тому-же чешское возстаніе было направлено лишь противъ наслѣдника императора, а не противъ него самого, ибо онъ не сдѣлалъ ничего такого, что могло бы оправдать опасенія протестантовъ. Лишь для того, чтобы преградить ему путь къ богемскому престолу, прибѣгли къ оружію въ царствованіе Матвѣя, но пока былъ живъ этотъ императоръ, слѣдовало оставаться въ границахъ видимой покорности.

Но чехи взялись за оружіе, и императоръ не могъ предложить имъ миръ, не вооружившись. Испанія дала деньги на мобилизацію и обѣщала прислать войска изъ Италіи и изъ Нидерландовъ. Главнокомандующимъ былъ назначенъ графъ де Букуа,—голландецъ, потому что своему подданному нельзя было довѣриться,—и другой иностранецъ, графъ Дампьеръ, былъ его помощникомъ. Прежде, чѣмъ двинуть эту армію, императоръ попытался посредствомъ манифеста испытать путь милости; онъ объявлялъ здѣсь чехамъ, что „грамота величества священна для него, что онъ никогда не думалъ посягать на ихъ религію или ихъ привилегіи, что даже его теперешнее вооруженіе вызвано лишь ихъ вооруженіемъ; какъ только народъ богемскій сложитъ оружіе, будетъ распущено и императорское войско". Но это милостивое посланіе не произвело никакого дѣйствія, такъ какъ предводители возстанія нашли болѣе удобнымъ скрыть отъ народа благія пожеланія императора. Вмѣсто того они распространяли съ каѳедръ и въ летучихъ листкахъ самые злокозненные слухи и пугали невѣжественный народъ призракомъ варѳоломѣевскихъ ночей, которыя существовали только въ ихъ воображеніи. Вся Богемія, за

исключеніемъ трехъ городовъ: Будвейса, Круммау и Пильзена, приняла участіе въ возстаніи. Эти три города, почти исключительно католическіе, одни имѣли мужество остаться вѣрными императору, который обѣщалъ имъ помощь. Но графъ Турнъ долженъ былъ, конечно, понять, какъ опасно оставлять въ рукахъ непріятеля три пункта такой важности, открывавшіе императорскимъ войскамъ во всякое время путь въ королевство. Смѣло и рѣшительно онъ появился предъ Будвейсомъ и Круммау въ надеждѣ покорить эти города страхомъ. Круммау сдался, но Будвейсъ стойко отбилъ всѣ его нападенія.

Теперь и императоръ началъ проявлять нѣкоторую степень энергіи и дѣятельности. Букуа и Дампьеръ появились съ двумя отрядами въ Богеміи и открыли враждебныя дѣйствія. Но путь въ Прагу оказался болѣе труднымъ, чѣмъ предполагали императорскіеполководцы. Каждый проходъ, каждое незначительное укрѣпленіе пришлось брать силой, и сопротивленіе усиливалось съ каждымъ ихъ шагомъ, такъ какъ насилія ихъ войскъ, состоявшихъ главнымъ образомъ изъ венгерцевъ и валлонцевъ, доводили друга до мятежа и врага до отчаянія. Но и тогда, когда войска уже вторглись въ нѣдра Богеміи, императоръ продолжалъ проявлять мирныя намѣренія и протягивать руку чешскимъ чинамъ для полюбовнаго соглашенія. Новые виды, внезапно открывшіеся мятежникамъ, подняли ихъ мужество. Чины Моравіи стали на ихъ сторону, а изъ Германіи въ лицѣ графа Мансфельда явился къ нимъ на помощь сторонникъ столь-же неожиданный, сколь мужественный.

Главари евангелической уніи до сихъ поръ спокойно, но небездѣятельно, наблюдали за чешскимъ движеніемъ. Тѣ и другіе боролись за одно дѣло, противъ одного врага. Въ судьбахъ Богеміи они заставляли своихъ союзниковъ читать ихъ собственную судьбу и дѣло чешскаго народа изображали имъ священнѣйшимъ дѣломъ нѣмецкаго союза. Сообразно съ этимъ они ободряли мятежниковъ сбѣщаніями помощи, и счастливый случай неожиданно далъ имъ возможность привести свои обѣщанія въ исполненіе.

Графъ Петръ Эрнстъ фонъ *Мансфельдъ*, сынъ заслуженнаго австрійскаго служаки Эрнста фонъ Мансфельда, который долго и славно командовалъ испанской арміей въ Нидерландахъ, сдѣлался орудіемъ уни-

Елизавета Стюартъ, жена Фридриха V.
Современ. гравюра Гуиста.

женія австрійскаго дома въ Германіи. Самъ онъ посвятилъ свои первыя силы тому-же дому и сражался подъ знаменами эрцгерцога Леопольда въ Юлихѣ и въ Эльзасѣ противъ протестантской религіи и нѣмецкой свободы. Но, усвоивъ незамѣтно начала этой религіи, онъ покинулъ повелителя, своекорыстіе котораго отказывало ему въ вознагражденіи за сдѣланныя на его службѣ издержки, и посвятилъ евангелической уніи свою энергію и свой по-

бѣдоносный мечъ. Случилось такъ, что герцогъ Савойскій, союзникъ уніи, потребовалъ отъ нея помощи въ войнѣ съ Испаніей. Она предоставила ему свое новое пріобрѣтеніе, и на Мансфельда было возложено порученіе подготовить въ Германіи для герцога и на его счетъ отрядъ изъ четырехъ тысячъ человѣкъ. Это войско было готово къ бою, когда пламя возстанія вспыхнуло въ Богеміи, и герцогъ, теперь не нуждавшійся въ подкрѣпленіи, предоставилъ его уніи. Ничто не могло быть пріятнѣе для послѣдней, какъ возможность оказать своимъ союзникамъ въ Богеміи услугу на чужой счетъ. Графъ Мансфельдъ получилъ приказъ двинуть свой отрядъ въ предѣлы Богеміи, и призывъ чеховъ долженъ былъ скрыть отъ міра истиннаго виновника похода.

Мансфельдъ появился въ Богеміи, и взявъ укрѣпленный городъ Пильзенъ, стоявшій на сторонѣ императора, сталъ твердой ногой въ этомъ королевствѣ. Мужество мятежниковъ было возбуждено еже другой помощью, полученной ими отъ силезскихъ чиновъ. Между ними и императорскимъ войсками произошло нѣсколько незначительныхъ, но кровопролитныхъ стычекъ, которыя должны были служить прелюдіей къ болѣе рѣшительной войнѣ. Для того, чтобы ослабить энергію военныхъ дѣйствій императора, переговоры съ нимъ продолжались и было даже принято посредничество Саксоніи. Но, прежде чѣмъ исходъ посредничества могъ показать, какъ мало искренности было въ дѣйствіяхъ чеховъ, смерть унесла со сцены императора.

Что совершилъ Матвѣй, чтобы оправдать ожиданія міра, которыя онъ возбудилъ нѣкогда, свергнувъ своего предшественника; стоило-ли вступать путемъ преступленія на престолъ Рудольфа, чтобы столь дурно владѣть имъ и столь безславно покинуть его? Впродолженіе всего своего правленія Матвѣй расплачивался за неблагоразуміе, которое заставило добиваться престола. Изъ за того, чтобы получить его на нѣсколько лѣтъ ранѣе, онъ отказался отъ всей свободы своей короны. Остатокъ самостоятельности, оставленный ему усилившейся мощью имперскихъ чиновъ, былъ подъ позорнымъ гнетомъ его собственныхъ родственниковъ. Больной и бездѣтный, онъ видѣлъ, какъ вниманіе всего міра направлено на гордаго наслѣдника, который нетерпѣливо предвосхищалъ рѣшенія судьбы и началъ свое правленіе еще при жизни государя—старца.

Съ Матвѣемъ правящую линію нѣмецкаго дома Австріи можно считать угасшей, ибо изъ всѣхъ сыновей Максимильяна въ живыхъ оставался лишь бездѣтный и болѣзненный эрцгерцогъ Альберхтъ Нидерландскій, который однако уступилъ свои права на это наслѣдіе грецской линіи. Испанскій домъ тайнымъ договоромъ также отрекся отъ всѣхъ своихъ притязаній на австрійскія владѣнія въ пользу эрцгерцога штирійскаго Фердинанда, въ лицѣ котораго германскіе Габсбурги должны были получить новый свѣжій побѣгъ и предстояло воскреснуть былому величію Австріи.

Отцомъ Фердинанда былъ младшій братъ императора Максимильяна II эрцгерцогъ Карлъ краинскій, каринтійскій и штирійскій; матерью — принцесса баварская. Потерявъ перваго на двѣнадцатомъ году, онъ былъ переданъ эрцгерцогиней ея брату герцогу Вильгельму баварскому, подъ надзоромъ котораго онъ получилъ воспитаніе и образованіе въ іезуитской академіи въ Ингольштадтѣ. Не трудно понять, какіе принципы могъ онъ усвоить въ обществѣ государя, который отрекся во имя религіи отъ правленія. Съ одной стороны, ему указывали на склонность Максимильяновской линіи къ приверженцамъ новаго вѣроученія и на смуту въ ея земляхъ; съ другой— на благоденствіе Баваріи и непреклонную религіозность ея государей; ему предоставляли выборъ между этими двумя образцами.

Ставъ въ этой школѣ мужественнымъ бойцомъ за имя Божіе и дѣятельнымъ орудіемъ церкви, онъ оставилъ Баварію послѣ пятилѣтняго пребыванія здѣсь, чтобы вступить во владѣніе своей вотчиной. Чины Крайны, Каринтіи и Штиріи, требовавшіе, до принесенія присяги, подтвержденія ихъ религіозной свободы, получили отвѣтъ, что религіозная свобода не касается присяги. Была потребована и дѣйствительно принесена присяга безъ всякихъ условій. Прошло много лѣтъ, прежде чѣмъ созрѣло для выполненія дѣло, предначертанное въ Ингольштадтѣ. Прежде чѣмъ выступить на свѣтъ Божій съ этимъ замысломъ, Фердинандъ лично поѣхалъ въ Лоретто испросить милость Лоретской Богоматери и у ногъ Климента VIII въ Римѣ—апостольское благословеніе.

Дѣло, однако, было нешуточное: оно заключалось въ томъ, чтобы вытѣснить протестанство изъ страны, гдѣ на его сторонѣ было большинство и гдѣ оно было

узаконено формальнымъ актомъ, дарованнымъ отцомъ Фердинанда дворянскому и рыцарскому сословію области. Невозможно было, не подвергаясь опасности, отнять столь торжественно данное разрѣшеніе; но не было на свѣтѣ ничего страшнаго для благочестиваго питомца іезуитовъ. Оправданіемъ этому насилію должны были служить во-первыхъ примѣръ остальныхъ католическихъ и протестантскихъ владѣтелей, безпрепятственно осуществившихъ въ своихъ земляхъ реформаціонное право, и во-вторыхъ злоупотребленія, съ какими штирійцы пользовались своей религіозной свободой. Казалось позволительнымъ, подъ прикрытіемъ нелѣпаго положительнаго закона, презрѣть спокойно законъ разума и справедливости. Надо сказать, что въ этомъ беззаконномъ дѣлѣ Фердинандъ выказалъ поразительное мужество и похвальную стойкость; безъ шума и—надо прибавить—безъ жестокости онъ уничтожилъ протестантское богослуженіе въ одномъ городѣ за другимъ, и въ нѣсколько лѣтъ было закончено, къ изумленію всей Германіи, это опасное дѣло.

Но, между тѣмъ какъ католики съ восторгомъ привѣтствовали въ немъ героя и паладина своей церкви, — протестанты начали готовиться противъ него въ бой, какъ противъ своего опаснѣйшаго врага. Тѣмъ не менѣе просьба Матвѣя передать права преемства ему — не встрѣтила въ избирательныхъ государствахъ Австріи никакого или весьма малое противодѣйствіе, и даже чехи короновали его, какъ своего будущаго короля, на весьма выполнимыхъ условіяхъ. Лишь позже, когда они узнали о дурномъ вліяніи его совѣтовъ на правленіе императора, было возбуждено ихъ безпокойство, а различныя рукописныя произведенія его, чрезъ его враговъ попавшія въ ихъ руки и обнаружившія достаточно ясно его истинныя помышленія,—усилили ихъ страхъ до чрезвычайности. Въ особенное негодованіе привелъ ихъ тайный семейный договоръ съ Испаніей, по которому Фердинандъ передавалъ испанской коронѣ послѣ смерти наслѣдника мужского пола королевство чешское, не справляясь съ голосомъ народа, не обращая вниманія на то, что носитель ихъ короны долженъ быть ихъ избранникомъ. Многочисленные враги, которыхъ Фердинандъ пріобрѣлъ среди протестантовъ своими религіозными реформами въ Штиріи, оказали ему въ Богеміи весьма дурную услугу; особенно дѣятельно разжигали пламя возстанія бѣжавшіе сюда штирійскіе эмигранты, принесшіе въ свое новое отечество сердце, исполненное местью. Въ столь мятежномъ настроеніи нашелъ король Фердинандъ чешскій народъ, когда императоръ Матвѣй уступилъ ему мѣсто.

Столь ненормальныя отношенія между народомъ и наслѣдникомъ могли и при болѣе спокойномъ переходѣ престола явиться источникомъ смуты, а тѣмъ болѣе теперь, въ разгарѣ мятежа, когда народъ овладѣлъ своимъ былымъ верховенствомъ и возвратился къ состоянію естественнаго права, когда онъ стоялъ съ оружіемъ въ рукахъ, когда чувство единства возбуждало въ немъ одушевляющую самонадѣянность, когда мужество его возвысилось до степени твердой увѣренности, вслѣдствіе счастливыхъ успѣховъ, обѣщаній сторонней помощи и увлекательныхъ надеждъ. Не обращая вниманія на утвержденныя уже за Фердинандомъ права, чины объявили свой тронъ свободнымъ, свой выборъ ничѣмъ несвязаннымъ. Не было никакихъ надеждъ на добровольную покорность Богеміи, и если Фердинандъ хотѣлъ видѣть себя носителемъ чешской короны, то ему предстоялъ выборъ—или купить ее цѣной всего того, что дѣлаетъ корону желательной, или-же добыть ее съ мечомъ въ рукѣ.

Но какъ добыть ее? На какую изъ своихъ земель ни броситъ онъ взглядъ, все предъ нимъ объято яркимъ пламенемъ: Силезія была уже вовлечена въ богемское возстаніе; Моравія собиралась послѣдовать ея примѣру. Въ верхней и нижней Австріи, какъ и при Рудольфѣ, бурлилъ неугомонно духъ свободы, и ни одинъ земскій чинъ не желалъ приносить присягу. Венгріи грозилъ нападеніемъ князь Семиградья Бетленъ Габоръ; тайное вооруженіе турокъ приводило въ трепетъ всѣ восточныя провинціи; въ довершеніе смуты протестанты въ его наслѣдственныхъ земляхъ, возбужденные общимъ примѣромъ, также собирались поднять голову. Въ этихъ земляхъ протестанты были многочисленнѣе; въ большинствѣ земель имъ принадлежали источники доходовъ, на которые Фердинандъ долженъ былъ вести войну. Люди безразличные начали колебаться, вѣрные—приходить въ отчаяніе, и лишь мятежные умы сохраняли мужество; половина Германіи подбодряла мятежниковъ, другая бездѣятельно ожидала исхода борьбы; испанская помощь была еще далека. Мгновеніе, одарившее его всѣмъ, грозило вновь все отнять у него.

Все, что Фердинандъ ни предлагалъ теперь, подъ гнетомъ тяжкаго закона необходимости, чешскимъ мятежникамъ—всѣ его мирныя предложенія отвергнуты съ высокомѣріемъ. Графъ Турнъ, во главѣ цѣлой арміи, появляется уже въ Моравіи, чтобы рѣшить настроеніе этой единственной, еще колеблющейся, провинціи. Появленіе друзей даетъ сигналъ къ возстанію моравскихъ протестантовъ; Брюнъ взятъ; вся остальная страна сдается добровольно; во всей провинціи мѣняютъ религію и правленіе. Возрастая по пути, потокъ мятежниковъ врывается въ верхнюю Австрію, гдѣ единомышленники встрѣчаютъ его съ радостнымъ торжествомъ.—„Никакого различія между религіями, — равныя права для всѣхъ христіанскихъ церквей. Ходятъ слухи, что въ странѣ вербуютъ иноземцевъ для угнетенія Богеміи. Они не скроются, и вплоть до Іерусалима будетъ изгнанъ врагъ свободы".—Ни одна рука не поднялась на защиту эрцгерцога; наконецъ мятежники располагаются лагеремъ предъ Вѣной, осаждая своего повелителя.

Своихъ дѣтей Фердинандъ перевезъ изъ Гре(а)ца, гдѣ они не были въ безопасности, въ Тироль. Самъ онъ ожидалъ бунтовщиковъ въ своей столицѣ. Горсть солдатъ было все, что онъ могъ противопоставить яростной толпѣ. Но и у этой горсти недоставало преданности, потому что солдаты не получали жалованья и даже хлѣба. Къ долговременной осадѣ Вѣна совершенно не была готова. Преобладала въ городѣ партія протестантовъ, которые въ каждое мгновенье были готовы присоединиться къ чехамъ; тѣ, что были въ провинціи, набирали уже войско противъ него. Протестантская чернь уже утѣшила себя картиной, какъ герцогъ заключенъ въ монастырь, владѣнія его раздѣлены, его дѣти получаютъ протестантское воспитаніе. Довѣрившись тайнымъ врагамъ и окруженный явными; онъ видѣлъ, какъ каждое мгновенье предъ нимъ раскрывается пропасть, готовая поглотить всѣ его надежды, и даже его самого. Чешскія пули летали въ императорскомъ дворцѣ, гдѣ шестнадцать австрійскихъ бароновъ, ворвавшись въ его комнату, бросились къ нему съ упреками, пытаясь угрозами вынудить у него согласіе на конфедерацію съ чехами. Одинъ изъ нихъ схватилъ его за пуговицу кафтана съ возгласомъ: „Фердинандъ, подпишешь ты или нѣтъ?"

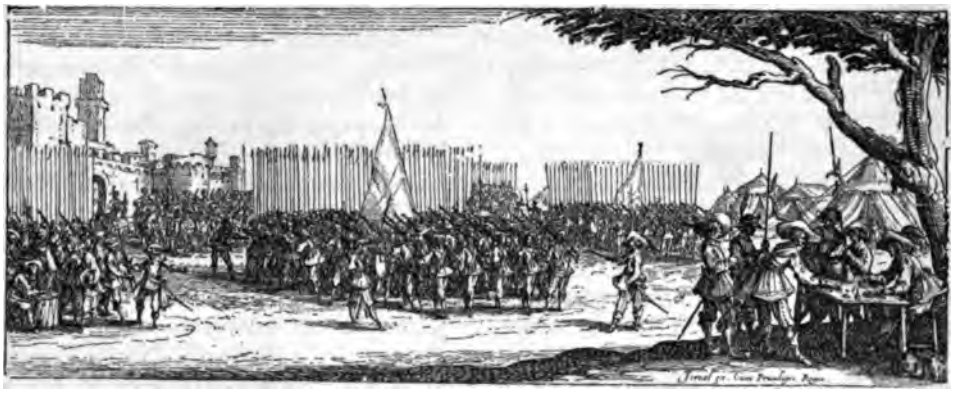
Кто не заслужилъ бы извиненія за неустойчивость въ эту страшную минуту? — Фердинандъ подумалъ, какъ онъ хотѣлъ быть римскимъ императоромъ. Казалось, у него нѣтъ исхода: бѣжать или уступить; первое совѣтовали мужи, второе—католическіе священники. Покинуть городъ—значитъ отдать его въ руки враговъ; съ Вѣной потеряна Австрія, съ Австріей— императорскій тронъ. Фердинандъ не покинулъ своей столицы и не хотѣлъ слышать объ уступкахъ.

Эрцгерцогъ спорилъ еще съ уполномоченными баронами, какъ вдругъ во дворѣ замка раздались трубные звуки. Страхъ и изумленіе смѣняются попеременно въ присутствующихъ—страшный слухъ пробѣгаетъ по замку — одинъ депутатъ исчезаетъ за другимъ. Многіе дворяне и граждане бросаются въ лагерь Турна. Причиной столь быстрой перемѣны былъ полкъ дампьеровскихъ кирасиръ, въ это важное мгновеніе вступившій въ городъ на защиту эрцгерцога. За ними слѣдовала также пѣхота; многіе католическіе граждане, въ которыхъ появленіе кирасиръ влило новое мужество, и даже студенты взялись за оружіе. Извѣстіе, принесенное изъ Богеміи, довершило спасеніе эрцгерцога. Нидерландскій генералъ Букуа разбилъ графа Мансфельда на голову при Будвейсѣ и шелъ на Прагу. Чехи поспѣшили сняться съ лагеря и бросились на защиту своей столицы.

Теперь очистились снова горные проходы, занятые до сихъ поръ непріятелемъ и не дававшіе Фердинанду возможности появиться во Франкфуртѣ на императорскихъ выборахъ. Если планы короля венгерскаго требовали его вступленія на престолъ Германскій, то теперь это было тѣмъ важнѣе, что избраніе его императоромъ должно было служить рѣшительнымъ и несомнѣннымъ свидѣтельствомъ о важности его особы, доказательствомъ справедливости его дѣла и надеждой на помощь имперіи. Но тѣ самыя козни, которыя преслѣдовали его въ его наслѣдственныхъ земляхъ, были направлены также противъ его стараній добиться императорскаго сана. Ни одинъ австрійскій принцъ не долженъ отнынѣ вступать на германскій престолъ,—меньше всѣхъ Фердинандъ, завзятый ненавистникъ ихъ религіи, рабъ Испаніи и іезуитовъ. Съ этой цѣлью еще при жизни Матвѣя пытались предложить германскую корону герцогу баварскому и по его отказѣ—герцогу савойскому. Такъ какъ съ послѣднимъ не такъ легко было столковаться объ условіяхъ, то постарались по крайней мѣрѣ

затянуть выборы, пока какой нибудь рѣшительный ударъ въ Богеміи или Австріи не погубитъ всѣ надежды Фердинанда и не сдѣлаетъ его недостойнымъ высокаго сана. Члены уніи старались всѣми средствами возбудить противъ Фердинанда курфюршество саксонское, преданное австрійскимъ интересамъ, и старались представить при саксонскомъ дворѣ всѣ опасности, какими грозятъ протестантской религіи и имперіи убѣжденія этого государя и его испанскія связи. Восшествіе Фердинанда на императорскій престолъ,—говорили они далѣе,—вовлечетъ Германію въ частныя дѣла этого государя и направитъ противъ нее оружіе чеховъ. Но несмотря на всѣ интриги день выборовъ былъ назначенъ, Фердинандъ, какъ законный король чешскій, приглашенъ на нихъ, и его избирательный голосъ, вопреки

га чешской религіи и свободы, который своими пагубными совѣтами возбуждалъ противъ нихъ покойнаго короля, давалъ войска для ихъ угнетенія, предалъ королевство на разграбленіе иноземцамъ и, наконецъ, въ тайномъ договорѣ уступилъ его Испаніи, оскорбивъ тѣмъ народное верховенство,—лишеннымъ всѣхъ правъ на чешскую корону и безъ замедленія приступили къ новымъ выборамъ. Такъ какъ приговоръ былъ произнесенъ протестантами, то выборъ, конечно, не могъ пасть на католическаго принца, хотя для приличія раздалось нѣсколько голосовъ за Баварію и Савойю. Но ожесточенная религіозная война, раздѣлявшая евангелистовъ и реформатовъ, долгое время затрудняла также выборъ протестантскаго короля, пока, наконецъ, ловкость и дѣятельность кальвинистовъ не



Вербовка солдатъ. (Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre»).

тщетному противорѣчію чешскихъ чиновъ, признанъ дѣйствительнымъ. Три католическихъ голоса были за него, саксонскій былъ ему также благопріятенъ, бранденбургскій ничего не имѣлъ противъ него, и рѣшительное большинство избрало его въ 1619 г. императоромъ. Такимъ образомъ, онъ увидалъ себя носителемъ самой сомнительной изъ всѣхъ своихъ коронъ, чтобы черезъ нѣсколько дней потерять ту, которую онъ считалъ своимъ неотъемлемымъ достояніемъ. Въ то время, какъ его во Франкфуртѣ избрали императоромъ, въ Прагѣ его сверглн съ чешскаго престола.

Почти всѣ его нѣмецкія наслѣдственныя владѣнія соединились, между тѣмъ, съ Богеміей въ общій грозный союзъ, дерзость котораго перешла теперь всѣ границы. 17-го августа 1619 года на государственномъ сеймѣ они объявили императора, какъ врапобѣдила лютеранъ, несмотря на ихъ численность.

Среди всѣхъ принцевъ, которымъ возможно было предложить этотъ санъ, курфюрстъ пфальцскій Фридрихъ V имѣлъ наиболѣе основательныя притязанія на довѣріе и благодарность чеховъ; ни относительно кого другого частные интересы отдѣльныхъ чиновъ и любовь народа не оправдывались столь многочисленными государственными выгодами. Фридрихъ V былъ человѣкъ свободнаго и жизненнаго ума, большой доброты, королевской щедрости. Онъ былъ главой нѣмецкихъ реформатовъ, предводителемъ уніи, располагавшимъ ея силами, близкимъ родственникомъ герцога баварскаго, зятемъ короля Великобританіи, который могъ оказать ему свою могущественную помощь. Всѣ эти преимущества были умѣло и успѣшно выставлены на видъ партіей кальвинисто въ

и пражскій сеймъ среди молитвъ и слезъ радости избралъ королемъ Фридриха V.

Все происшедшее на пражскомъ сеймѣ было дѣломъ слишкомъ подготовленнымъ и Фридрихъ самъ принималъ во всемъ этомъ слишкомъ дѣятельное участіе, чтобы предложеніе чеховъ могло изумить его. Но его все же испугало сіяніе этой короны, и двойное величіе преступленія и счастья привело въ трепетъ его малодушіе. По обычаю всѣхъ слабыхъ душъ, онъ сперва хотѣлъ подкрѣпиться въ своемъ намѣреніи чужими совѣтами; но надъ его страстями, когда они владѣли имъ, не было никакой силы. Саксонія и Баварія, гдѣ онъ просилъ совѣта, всѣ остальные курфюрсты, всѣ, кто сравнивалъ его намѣренія съ его способностями и силами, старались удержать его отъ пропасти, въ которую онъ бросался. Даже король Яковъ англійскій предпочиталъ видѣть своего зятя лишеннымъ короны, чѣмъ помощью столь дурному примѣру содѣйствовать оскорбленію священной власти королей. Но могъ-ли голосъ благоразумія бороться съ соблазнительнымъ блескомъ королевской короны? Въ моментъ высшаго напряженія своихъ силъ свободный народъ, свергнувъ священную вѣтвь двухсотлѣтней династіи, бросается въ его объятія; въ надеждѣ на его мужество, онъ выбираетъ его своимъ вождемъ на страшномъ пути славы и свободы; отъ него, своего прирожденнаго защитника, ждетъ порабощенная религія защиты и охраны противъ своихъ преслѣдователей. Неужто онъ малодушно признается въ своемъ страхѣ, неужто онъ трусливо предастъ вѣру и свободу? Этотъ народъ показываетъ ему къ тому же все превосходство своихъ силъ, все безсиліе своего врага: двѣ трети Австріи вооружены противъ Австріи, и воинственный семиградскій союзникъ стоитъ готовый раздѣлить жалкіе остатки вражескаго войска своимъ нападеніемъ. Какъ такимъ предложеніемъ не возбудить его самолюбія? Какъ такимъ надеждамъ не вдохнуть въ него мужество?

Нѣсколькихъ мгновеній спокойнаго размышленія было бы достаточно, чтобы показать ему всю громадность риска и всю ничтожность награды,—но соблазнъ говорилъ его чувствамъ, а предостереженія только уму. Его несчастьемъ было то, что ближайшіе и самые громкіе голоса стали на сторону его страстей. Увеличеніе власти ихъ господина открывало честолюбію и корысти всѣхъ его пфальцскихъ слугъ неизмѣримое поприще удовлетворенія. Это торжество кальвинизма должно было воодушевить всякаго ревностнаго кальвиниста. Могла ли столь слабая голова противостоять увѣщаніямъ своихъ совѣтниковъ, которые такъ же неумѣренно преувеличивали его силы и средства, какъ уменьшали силу непріятеля? Могъ-ли онъ спорить съ увѣщаніями своихъ придворныхъ проповѣдниковъ, которые выдавали ему призраки своего фанатизма за волю неба? Астрологическія мечтанія наполняли его голову химерическими надеждами; искушеніе дѣйствовало на него даже непобѣдимыми устами любви. „Какъ же ты смѣлъ—говорила ему супруга—предложить руку королевской дочери, когда ты трепещешь принять корону, которую тебѣ добровольно подносятъ? Лучше я буду ѣсть хлѣбъ за твоимъ королевскимъ столомъ, чѣмъ роскошныя яства за твоей курфюршеской трапезой".

Фридрихъ принялъ чешскую корону. Торжество коронаціи совершено было въ Прагѣ съ безпримѣрной пышностью; народъ не жалѣлъ богатствъ, чтобы почтить свое собственное созданье. Силезія и Моравія, земли подвластныя Богеміи, послѣдовали ея примѣру и также принесли присягу. Реформація царила во всѣхъ церквахъ королевства, торжество и ликованіе было безгранично. Уваженіе къ новому королю доходило до боготворенія. Данія и Швеція, Голландія и Венеція, многія нѣмецкія государства признали его законнымъ королемъ; Фридриху оставалось только утвердиться на своемъ новомъ тронѣ.

Главныя его надежды покоились на князѣ семиградскомъ Бетленъ Габорѣ. Этотъ страшный врагъ Австріи и католической церкви, не довольствуясь своимъ государствомъ, которое онъ, при помощи турокъ, отнялъ у своего законнаго повелителя Гавріила Баторія, радостно ухватился за возможность увеличить свои владѣнія на счетъ австрійскихъ государей, которые отказывались признать его государемъ Семиградья. Онъ вступилъ въ соглашеніе съ чешскими мятежниками; рѣшено было нападеніе на Венгрію и Австрію; встрѣча войскъ должна была произойти передъ столицей. Подъ маской дружбы скрывалъ Бетленъ Габоръ истинныя цѣли своихъ военныхъ приготовленій и, полный коварства, обѣщалъ императору мнимой помощью заманить чеховъ въ западню и выдать ему живьемъ предводителей чешскаго возстанія. Но онъ вдругъ оказался въ Верхней Венгріи, не скрывая

своихъ вражескихъ намѣреній; ужасъ предшествовалъ ему, опустошенія слѣдовали за его шествіемъ; все покорялось ему; въ Пресбургѣ онъ возложилъ на себя венгерскую корону. Братъ императора, намѣстникъ Вѣны, трепеталъ за судьбу столицы. Онъ поспѣшно призвалъ на помощь генерала Букуа, но отступленіе императорскихъ войскъ вновь привлекло чешскую армію къ стѣнамъ Вѣны. Подкрѣпившись двѣнадцатью тысячами трансильванцевъ и соединившись вскорѣ затѣмъ съ побѣдоноснымъ отрядомъ Бетленъ Габора, войско мятежниковъ грозило вторично овладѣть Вѣной. Окрестности столицы были опустошены. Дунай запертъ, всякія сношенія, всякій подвозъ отрѣзанъ; въ виду были ужасы голода. Фердинандъ, быстро возвращенный въ свою столицу этой грозною опасностью, увидалъ себя вторично на краю гибели; недостатокъ припасовъ и суровое время года заставили, наконецъ, чеховъ двинуться во-свояси; пораженіе въ Венгріи вызвало туда Бетленъ Габора; счастье вторично спасло императора.

Въ нѣсколько недѣль все измѣнилось, и мудрая политика Фердинанда исправила его положеніе въ той же мѣрѣ, въ какой положеніе Фридриха было ухудшено его безпечностью и неудачными распоряженіями. Послѣ утвержденія ихъ привилегій чины нижней Австріи принесли присягу, а немногіе, отказавшіеся отъ присяги, были обвинены въ оскорбленіи величества и государственной измѣнѣ. Такимъ образомъ, императоръ сталъ снова твердой ногой въ одной изъ своихъ наслѣдственныхъ земель; въ то же время было сдѣлано все возможное, чтобы добиться иноземной помощи. Путемъ устныхъ переговоровъ ему удалось еще во время выборовъ во Франкфуртѣ склонить на свою сторону духовныхъ курфюрстовъ, а въ Мюнхенѣ—герцога Максимильяна Баварскаго. Отъ участія, какое собирались принять въ чешской войнѣ унія и лига, зависѣлъ весь исходъ этой войны, судьба Фридриха и императора. Несомнѣнно, для всей протестантской Германіи было выгодно поддерживать короля чешскаго; очевидно, интересы католической религіи требовали, чтобы верхъ одержалъ императоръ. Побѣда протестантовъ въ Богеміи заставляла всѣхъ католическихъ государей Германіи содрогнуться за свои владѣнія, ихъ пораженіе давало императору возможность предписывать законы протестантской Германіи. Итакъ, Фердинандъ возбудилъ дѣятельность лиги, Фридрихъ—дѣятельность уніи. Узы родства и личная преданность императору, своему шурину, съ которымъ онъ выросъ вмѣстѣ въ Ингольштадтѣ, приверженность къ католической религіи, которая подвергалась несомнѣнной опасности, увѣренія іезуитовъ въ связи съ подозрительными движеніями уніи,—все это побудило герцога баварскаго и всѣхъ участниковъ лиги отождествить дѣло Фердинанда съ своимъ собственнымъ дѣломъ.

По договору, заключенному съ послѣднимъ и обезпечивавшему Максимильяну вознагражденіе за всѣ военные убытки и возможныя потери, герцогъ баварскій принялъ неограниченную власть надъ войсками лиги, которыя должны были поспѣшить на помощь императору противъ чешскихъ мятежниковъ. Предводители уніи вмѣсто того, чтобы какъ нибудь предотвратить опасное соединеніе лиги съ императоромъ, дѣлали все, чтобы ускорить его. Если они могли заставить католическую лигу принять открытое участіе въ чешской войнѣ, то они должны были требовать того-же отъ всѣхъ членовъ и союзниковъ уніи. Безъ прямого шага католиковъ противъ уніи не было надежды на союзъ протестантскихъ государствъ. Поэтому они воспользовались критическимъ моментомъ чешскаго возстанія для того, чтобы выставить всѣ свои прежнія жалобы и потребовать отъ католиковъ полной религіозной свободы. Обративъ это требованіе, изложенное въ угрожающемъ тонѣ, къ герцогу баварскому, какъ къ главѣ католической партіи, они заставляли его дать имъ быстрый и прямой отвѣтъ. Рѣшитъ Максимильянъ за или противъ нихъ, ихъ цѣль такъ или иначе достигнута: его уступка лишала католическую партію ея могущественнѣйшаго защитника; его упорство вооружало противъ него всю протестантскую партію и дѣлало неизбѣжной войну, въ которой они надѣялись одержать верхъ. Максимильянъ, и такъ ужъ имѣвшій много основаній быть на сторонѣ противной партіи, принялъ требованіе уніи за формальное объявленіе войны и ускорилъ военныя приготовленія. Между тѣмъ какъ Баварія и лига готовились къ войнѣ за императора, съ испанскимъ дворомъ велись переговоры о денежной помощи. Всѣ трудности, противопоставленныя этимъ переговорамъ сонливой политикой министерства, были счастливо преодолѣны императорскимъ посланникомъ въ Мадридѣ, графомъ фонъ Кевенгюллеромъ. Кромѣ пособія въ одинъ милліонъ флориновъ, которое

удалось понемногу выманить у испанскаго двора, было обѣщано также нападеніе на Нижній Пфальцъ со стороны испанскихъ Нидерландовъ.

Стараясь привлечь къ союзу всѣ католическія государства, въ то же время дѣятельно старались ослабить союзъ протестантовъ. Необходимо было уничтожить въ курфюрстѣ саксонскомъ и иныхъ евангелическихъ чинахъ опасенія, вызванныя увѣреніями членовъ уніи, что военныя приготовленія лиги имѣютъ цѣлью вновь отнять у нихъ секуляризованныя имущества церкви. Письменное удостовѣреніе въ противномъ успокоило курфюрста саксонскаго, котораго и безъ того уже склоняли на сторону Австріи личная зависть къ Пфальцу, внушенія его придворнаго проповѣдника, подкупленнаго Австріей, и недовольство чехами, которые обошли его при выборѣ короля. Лютеранскій фанатизмъ никогда не могъ простить реформатамъ, что столь многія прекрасныя земли попали, какъ выражались тогда, въ пасть кальвинизму, и римскій антихристъ только уступилъ мѣсто швейцарскому.

Между тѣмъ какъ Фердинандъ дѣлалъ все, чтобы улучшить свое неблагопріятное положеніе, Фридрихъ дѣятельно ухудшалъ свои благопріятныя обстоятельства. Заключивъ предосудительный тѣсный союзъ съ княземъ семиградскимъ, открытымъ союзникомъ Порты, онъ озлобилъ слабые умы, и всеобщая молва обвиняла его въ томъ, что онъ стремился къ возвышенію на счетъ христіанства, что онъ вооружаетъ турокъ противъ Германіи. Его неблагоразумный фанатизмъ къ реформатскому исповѣданію возмутилъ противъ него богемскихъ лютеранъ, его мѣры противъ иконъ—богемскихъ папистовъ. Новые тягостные налоги лишили его любви народа. Несбывшіяся ожиданія чешскихъ вельможъ охладили ихъ усердіе, — отсутствіе посторонней помощи ослабило ихъ мужество. Вмѣсто того, чтобы съ неустанной дѣятельностью посвятить себя управленію государствомъ, Фридрихъ терялъ время въ забавахъ; вмѣсто того, чтобы мудрой бережливостью увеличить свою казну,—онъ расточалъ доходы своихъ владѣній на ненужную театральную пышность и неумѣстную щедрость. Беззаботно и легкомысленно любовался онъ собой въ своемъ новомъ санѣ, и изъ-за несвоевременнаго стремленія насладиться своей короной онъ забылъ о настоятельной необходимости укрѣпить ее на своей головѣ.

Какъ ни сильно было разочарованіе въ немъ, еще сильнѣе было разочарованіе самого Фридриха въ надеждахъ на чужую помощь. Большинство членовъ уніи не смѣшивало чешскихъ дѣлъ съ истинной цѣлью своего союза; другихъ преданныхъ ему имперскихъ чиновъ сковывалъ слѣпой ужасъ передъ императоромъ. Курфюршества саксонское и гессенъ-дармштадтское перешли на сторону Фердинанда; Нижняя Австрія, со стороны которой ждали серьезной диверсіи, принесла присягу императору; Бетленъ Габоръ заключилъ съ нимъ перемиріе. Данію вѣнскій дворъ съумѣлъ усыпить искусными переговорами, Швецію занять войной съ Польшей. Голландская республика вся ушла въ борьбу съ Испаніей; Венеція и Савойя не двигались съ мѣста; Яковъ англійскій былъ обманутъ испанскимъ коварствомъ. Одинъ другъ скрывался за другимъ, одна надежда погибала за другой. Такъ быстро измѣнилось все въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ!

Между тѣмъ, главы уніи собирали войско; императоръ и лига дѣлали то-же самое. Армія послѣдней стояла подъ знаменами Максимильяна у Донауверта; войско уніи, подъ предводительствомъ маркграфа ансбахскаго,—у Ульма. Очевидно, насталъ рѣшительный моментъ, которому суждено однимъ ударомъ покончить долгіе раздоры и окончательно опредѣлить отношенія обѣихъ церквей Германіи. Все съ обѣихъ сторонъ исполнено было трепетнымъ ожиданіемъ. Велико, однако, было изумленіе, когда внезапно пришла вѣсть о мирѣ, и обѣ арміи разошлись, не обнаживъ меча.

Причиной этого мира, съ равной готовностью принятаго обѣими сторонами, было вмѣшательство Франціи. Французское министерство, неруководимое уже великимъ Генрихомъ, политика котораго была, быть можетъ, уже и непримѣнима къ новому положенію королевства, боялось теперь усиленія австрійскаго дома гораздо менѣе, чѣмъ возрастающаго могущества кальвинистовъ, котораго надо было ждать съ укрѣпленіемъ пфальцскаго дома на чешскомъ престолѣ. Вовлеченное въ опасную борьбу съ своими собственными кальвинистами, оно видѣло, что настоятельно необходимо подавить протестантскую крамолу Богеміи какъ можно скорѣе, прежде чѣмъ она послужитъ опаснымъ примѣромъ для французскихъ гугенотовъ. Чтобы такимъ образомъ дать императору возможность скорѣе справиться съ чехами, Франція явилась посредникомъ между уніей и лигой и устроила

Папа Павелъ V.

Гравюра Криспенъ-де-Пасса (1560 – 1629).

этотъ неожиданный миръ, важнѣйшимъ пунктомъ котораго было, „что унія отказывается отъ всякаго участія въ богемскихъ раздорахъ и что помощь, которую она окажетъ Фридриху V, не должна выходить за предѣлы его пфальцскихъ владѣній". Рѣшительность Максимильяна и боязнь очутиться между войсками лиги и новой императорской арміей, бывшей на пути изъ Нидерландовъ, заставили унію согласиться на этотъ позорный миръ.

Теперь въ распоряженіи императора были всѣ войска Баваріи и лиги, и онъ могъ свободно двинуть ихъ на Богемію, предоставленную своей судьбѣ ульмскимъ трактатомъ. Прежде чѣмъ тамъ могъ распространиться слухъ о событіяхъ въ Ульмѣ, Максимильянъ явился въ верхней Австріи, гдѣ ошеломленные чины, не ожидая врага, купили милость императора поспѣшной и безусловной присягой. Въ нижней Австріи къ герцогу присоединились нидерландскія войска графа Букуа, и эта императорско-баварская армія, возросшая теперь до пяти-

десяти тысячъ человѣкъ, вторглась безъ промедленія въ Богемію. Всѣ чешскіе отряды, разсѣянные по нижней Австріи и Моравіи, бѣжали; всѣ города, осмѣлившіеся сопротивляться, были взяты приступомъ; остальные, устрашенные слухомъ о постигшей ихъ карѣ, сдавались безъ боя; ничто не удерживало побѣдоноснаго шествія Максимильяна. Богемская армія подъ предводительствомъ храбраго князя ангальтскаго Христіана отступила къ Прагѣ, подъ стѣнами которой Максимильянъ далъ ей сраженіе.

Дурное положеніе, въ которомъ онъ разсчитывалъ застать врасплохъ армію мятежниковъ, было причиной этой быстроты герцога и обезпечивало ему побѣду. У Фридриха не было и тридцати тысячъ человѣкъ; восемь тысячъ привелъ съ собой князь ангальтскій, десять тысячъ венгерцевъ прислалъ Бетленъ Габоръ. Нападеніе курфюрста саксонскаго на лужицкія земли лишило его помощи, которой онъ ожидалъ отсюда и изъ Силезіи; успокоеніе Австріи лишило его помощи, которой онъ ожидалъ отсюда. Бетленъ Габоръ, его сильнѣйшій союзникъ, не двигался съ мѣста; унія предала его императору. Ему оставалось одно: его чехи,—у которыхъ не было ни доброй воли, ни единодушія, ни мужества. Чешскіе магнаты съ неудовольствіемъ смотрѣли на замѣну иҳъ нѣмецкими генералами; графъ Мансфельдъ, отрѣзанный отъ главной квартиры чешской арміи, остался въ Пильзенѣ, чтобы не быть подъ начальствомъ князя ангальтскаго и Гогенлоэ. Солдатъ, лишенный средствъ къ жизни, лишился и всякаго воодушевленія, и дурное поведеніе войска вызывало въ сельскомъ населеніи ожесточенныя жалобы. Напрасно явился самъ Фридрихъ въ лагерѣ, чтобы своимъ присутствіемъ возбудить мужество въ солдатахъ, своимъ примѣромъ—соревнованіе въ дворянствѣ.

Недалеко отъ Праги на Бѣлой Горѣ начали окапываться чехи, когда на нихъ (8 ноября 1620 года) двинулись соединенныя баварско-императорскія войска. Въ началѣ сраженія кавалерія принца ангальтскаго имѣла нѣкоторый успѣхъ, но перевѣсъ непріятеля вскорѣ уничтожилъ ее. Неудержимо неслись впередъ баварцы и валлонцы, и первая обратилась въ бѣгство венгерская конница; ея примѣру послѣдовала тотчасъ чешская пѣхота; затѣмъ и нѣмцы были увлечены всеобщимъ бѣгствомъ. Десять пушекъ, составлявшихъ всю артилерію Фридриха, попали въ руки непріятеля. Четыре тысячи чеховъ пало во время бѣгства и въ сраженіи; войска императора и лиги потеряли едва нѣсколько сотъ. Эта рѣшительная побѣда была одержана въ теченіе одного часа.

Фридрихъ сидѣлъ за обѣденнымъ столомъ въ Прагѣ, когда его армія погибала за него подъ стѣнами города. Онъ, вѣроятно, не ждалъ въ этотъ день нападенія, потому что былъ назначенъ парадный обѣдъ. Курьеръ оторвалъ его, наконецъ, отъ стола, и съ высоты крѣпостного вала раскрылась предъ нимъ вся страшная сцена. Чтобы принять какое нибудь серьезное рѣшеніе, онъ молилъ о перемиріи на двадцать четыре часа; герцогъ далъ ему всего восемь. Фридрихъ воспользовался этимъ временемъ, чтобы ночью покинуть столицу вмѣстѣ съ своею женой и начальниками своей арміи. Это бѣгство совершено было съ такой поспѣшностью, что князь ангальтскій забылъ свои секретнѣйшіе документы, а Фридрихъ свою корону. „Теперь я знаю, кто я такой,—говорилъ этотъ несчастный государь тѣмъ, которые его успокаивали,—есть добродѣтели, которымъ можетъ научить насъ только несчастіе; только въ превратностяхъ судебъ мы, государи, узнаемъ, что мы изъ себя представляемъ".

Прага еще не была потеряна безвозвратно, когда малодушіе Фридриха отказалось отъ нея. Летучій отрядъ Мансфельда стоялъ въ Пильзенѣ и не видѣлъ сраженія. Бетленъ Габоръ могъ каждую минуту открыть военныя дѣйствія и отвлечь войска императора къ венгерской границѣ. Разбитые чехи могли оправиться, болѣзни, голодъ и суровая погода ослабить непріятеля—всѣ эти надежды исчезли предъ непосредственнымъ страхомъ. Фридрихъ боялся неустойчивости чеховъ, которые легко могли впасть въ искушеніе, купить прощеніе императора выдачей его особы.

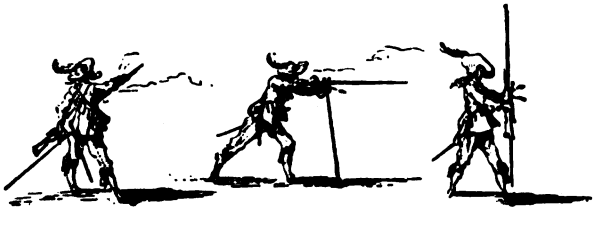
Турнъ и другіе, бывшіе въ такой же опалѣ, какъ и онъ, нашли также неблагоразумнымъ ожидать подъ стѣнами Праги рѣшенія своей участи. Они отступили въ Моравію, чтобы вслѣдъ затѣмъ искать спасенія въ Семиградьи. Фридрихъ бѣжалъ въ Бреславль, гдѣ онъ, однако, оставался лишь непродолжительное время; затѣмъ онъ искалъ убѣжища при дворѣ курфюрста бранденбургскаго и наконецъ въ Голландіи.

Сраженіе подъ Прагой рѣшило судьбы Богеміи. Прага сдалась побѣдителю на другой день; остальные города послѣдовали

примѣру столицы; чины чешскіе принесли безусловную присягу; то-же самое сдѣлали чины Силезіи и Моравіи. Слѣдствіе обо всемъ совершившемся было наряжено императоромъ лишь черезъ три мѣсяца. Многіе изъ тѣхъ, которые въ страхѣ бѣжали, теперь въ надеждѣ на эту кажущуюся умѣренность, снова показались въ столицѣ. Но въ тотъ-же день и въ тотъ-же часъ разразилась буря.—Сорокъ восемь виднѣйшихъ дѣятелей мятежа были арестованы и привлеченыкъ суду чрезвычайной коммиссіи, составленной изъ уроженцевъ Богеміи и Австріи. Двадцать семь изъ нихъ погибли на эшафотѣ; изъ простого народа было казнено безчисленное множество. Отсутствующимъ былъ сдѣланъ вызовъ явиться, и такъ какъ никто не послѣдовалъ этому вызову, они, въ качествѣ измѣнниковъ и оскорбителей величества, были присуждены къ смерти, имущества ихъ конфискованы, имена ихъ прибиты къ висѣлицѣ. Имущество умершихъ мятежниковъ также подверглось конфискаціи. Эта тираннія была еще терпима, такъ какъ она касалась лишь отдѣльныхъ частныхъ лицъ, и ограбленіе одного обогащало другого; тѣмъ тягостнѣе зато былъ гнетъ, спустившійся надъ всѣмъ королевствомъ безъ изъятія. Всѣ протестантскіе проповѣдники были изгнаны изъ страны; чешскіе—тотчасъ-же, нѣмецкіе—нѣсколько позже. Грамоту величества Фердинандъ изрѣзалъ своей собственной рукой и сжегъ печать. Черезъ семь лѣтъ послѣ пражскаго сраженія всякая религіозная терпимость по отношенію къ протестантамъ въ Богеміи была отмѣнена. Позволяя себѣ эти насилія надъ религіозными привилегіями чеховъ, императоръ не рѣшился коснуться ихъ политической конституціи, и, отнимая у нихъ свободу совѣсти, онъ великодушно оставилъ за ними право облагать себя налогами.

Побѣда при Бѣлой Горѣ сдѣлала Фердинанда вновь господиномъ всѣхъ его владѣній; она возвратила ему ихъ даже съ болѣе обширной властью, чѣмъ имѣли его предшественники, потому что на этотъ разъ присяга была дана безъ всякихъ ограничительныхъ условій, и его самодержавное верховенство не ограничивалось никакими грамотами величества. Такимъ образомъ, цѣль всѣхъ его законныхъ желаній была достигнута, даже превзойдя всѣ его ожиданія.

Теперь онъ могъ разстаться со своими союзниками и отозвать свои войска. Война была окончена, хотя-бы она не была справедлива. Милостивая и справедливая, она являлась также наказаніемъ. Вся судьба Германіи была теперь въ его рукахъ, и счастіе и горе многихъ милліоновъ людей зависѣли отъ его рѣшенія. Никогда еще столь важное рѣшеніе не зависѣло отъ одного человѣка; никогда ослѣпленіе одного человѣка не причиняло такихъ бѣдствій.



Высадка войскъ. (Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre).

КНИГА ВТОРАЯ.

Рѣшеніе, принятое теперь Фердинандомъ, дало войнѣ совершенно иное направленіе, иное мѣсто дѣйствія, иныхъ участниковъ. Изъ возстанія въ Богеміи и изъ похода для усмиренія мятежниковъ сдѣлалась нѣмецкая и вскорѣ затѣмъ обще-европейская война. Пора, такимъ образомъ, бросить взглядъ на Германію и на остальную Европу.

Какъ ни неравно были распредѣлены области нѣмецкой имперіи и права ея членовъ между католиками и протестантами, каждой партіи, однако, достаточно было лишь держаться благоразумнаго единства и только пользоваться своими особенными преимуществами, чтобы не быть побѣжденной противной стороной. Если за католиковъ были численное превосходство и особое покровительство имперской конституціи, то протестанты имѣли за себя сплошное пространство населенныхъ земель, мужественныхъ государей, воинственное дворянство, многочисленныя арміи, богатые имперскіе города, владычество на морѣ и въ худшемъ случаѣ—надежныхъ сторонниковъ во владѣніяхъ католическихъ государей. Если католики могли опереться на вооруженную помощь Испаніи и Италіи, то республики Венеціанская и Голландская, равно какъ и Англія, открывали и протестантамъ свои сокровищницы, а государства сѣвера и страшная турецкая армія были готовы немедленно оказать имъ содѣйствіе. Тремъ духовнымъ голосамъ въ совѣтѣ курфюрстовъ противопоставляли Бранденбургъ, Саксонія и Пфальцъ три значительныхъ протестантскихъ голоса, а для курфюрста богемскаго, такъ-же, какъ для эрцгерцога австрійскаго, санъ императорскій былъ бы тягостнымъ игомъ, еслибы протестантскіе чины съумѣли воспользоваться своимъ значеніемъ. Мечъ уніи могъ держать мечъ лиги въ ножнахъ или же сдѣлать сомнительнымъ исходъ войны, еслибы дѣло дошло до нея. Но, къ несчастію, частныя отношенія разорвали всеобщую политическую связь, которая должна была объединять протестантскихъ государей имперіи. Великая эпоха нашла на сценѣ лишь посредственныхъ людей, и рѣшительный моментъ остался неиспользованнымъ, такъ какъ мужественнымъ не хватало силы; сильнымъ — дальновидности, мужества и рѣшительности.

Заслуги его предка Морица, величина его владѣній и значеніе его голоса ставили курфюрста саксонскаго во главѣ всей протестантской Германіи. Отъ рѣшенія, принятаго этимъ государемъ, зависѣла участь обѣихъ враждующихъ сторонъ, и Іоаннъ Георгъ не былъ равнодушенъ къ выгодамъ, которыя обѣщало ему столь важное положеніе. Равно значительное завоеваніе для императора и для протестантскаго союза, онъ старательно избѣгалъ безвозвратно отдаться той или другой сторонѣ и непоправимымъ заявленіемъ довѣриться благодарности императора или-же отказаться отъ выгодъ, которыя можно было извлечь изъ страха предъ этимъ государемъ. Не тронутый маніей рыцарскаго и религіознаго одушевленія, увлекавшаго одного властелина за другимъ—рисковать въ опасной военной

игрѣ своей короной и жизнью,—Іоаннъ Георгъ стремился къ болѣе прочной славѣ—сохранить и увеличить свое достояніе. Если современники жаловались на него, что онъ среди бури покинулъ протестантское дѣло, что онъ принесъ спасеніе отечества въ жертву усиленію своего дома, что онъ предоставилъ гибели всю евангелическую церковь Германіи, лишь бы не стать на защиту реформатовъ; если они жаловались на него, что онъ въ роли ненадежнаго друга повредилъ общему дѣлу не меньше, чѣмъ его открытые враги,—то государи, обвинявшіе Іоанна Георга, были виновны въ томъ, что не приняли за образецъ его мудрую политику. Если несмотря на эту мудрую политику саксонскій крестьянинъ стоналъ, какъ и всякій другой, подъ гнетомъ ужасовъ императорскихъ походовъ; если вся Германія была свидѣтелемъ того, какъ Фердинандъ обманывалъ своего союзника и издѣвался надъ своими обѣщаніями, если, наконецъ, самъ Іоаннъ Георгъ сталъ какъ будто замѣчать все это—тѣмъ больше стыда для императора, который такъ жестоко надсмѣялся надъ столь честнымъ довѣріемъ.

Если неумѣренное довѣріе къ Австріи и надежда увеличить свои владѣнія связывали руки курфюрсту саксонскому, то страхъ и боязнь Австріи лишиться своихъ владѣній держали слабаго Георга Вильгельма бранденбургскаго въ гораздо болѣе постыдныхъ узахъ. То, что ставили въ упрекъ этимъ обоимъ государямъ, могло спасти курфюрсту пфальцскому его имя и его владѣніе. Поспѣшная надежда на неиспытанныя еще силы, вліяніе французскихъ совѣтовъ и предательскій блескъ короны довели этого злополучнаго государя до отважнаго предпріятія, которому не соотвѣтствовали ни его дарованія, на политическое устройство его владѣній. Раздробленіе земель и несогласіе между ихъ владѣтелями ослабили мощь пфальцскаго дома, которая, не будь она раздроблена въ разныхъ рукахъ, могла еще надолго оставлять исходъ войны подъ сомнѣніемъ.

Такое-же раздробленіе земель ослабило и гессенскій домъ, а различіе религій поддерживало пагубные раздоры между Дармштадтомъ и Касселемъ. Дармштадтская линія, не принявшая аугсбургскаго исповѣданія, бѣжала подъ крылышко императора, который облагодѣтельствовалъ ее на счетъ кассельской линіи, державшейся реформатскаго толка. Въ то время, какъ его единовѣрцы проливали кровь за вѣру и свободу, ландграфъ дармштадскій Георгъ получалъ жалованье отъ императора. Но вполнѣ достойный своего предка, который сто лѣтъ тому назадъ отважно взялъ на себя защиту свободы Германіи противъ страшнаго Карла, Вильгельмъ кассельскій не задумался вступить на путь чести и опасности. Чуждый малодушія, склонявшаго гораздо болѣе сильныхъ государей подъ ярмо Фердинандова могущества, ландграфъ Вильгельмъ I добровольно протянулъ шведскому герою свою геройскую руку и подалъ германскимъ государямъ примѣръ, котораго никто другой подать не хотѣлъ. Какъ рѣшеніе его полно было мужества, такъ проникнуты были твердостью его дѣйствія и отвагой его подвиги. Съ смѣлой рѣшительностью сталъ онъ на защиту своей окровавленной страны и презрѣніемъ встрѣтилъ врага, руки котораго еще дымились отъ магдебургскаго погрома.

Ландграфъ Вильгельмъ достоинъ безсмертія наравнѣ съ героями эрнестинскаго рода. Не скоро насталъ для тебя день мести, злополучный Іоаннъ Фридрихъ, благородный, незабвенный государь,—долго заставилъ себя ждать, но славенъ былъ этотъ день. Возвратились твои времена и твой геройскій духъ снизошелъ на твоихъ внуковъ. Изъ глубины лѣсовъ Тюрингіи выходитъ мужественный родъ государей, безсмертные подвиги которыхъ позорятъ приговоръ, которымъ была сорвана съ твоей главы курфюршеская шапка, и умиротворяютъ твою гнѣвную тѣнь грудой кровавыхъ жертвъ. Приговоръ побѣдителя могъ отнять у нихъ твои владѣнія, но не ту патріотическую доблесть, изъ-за которой ты лишился ихъ, не рыцарскую отвагу, которая столѣтіе спустя потрясла тронъ его внука. Месть за тебя и за Германію отточила имъ священный мечъ противъ рода Габсбурговъ и непобѣдимый булатъ переходитъ по наслѣдству изъ одной геройской руки въ другую. Какъ мужи выполняютъ они то, чего не могли сдѣлать въ качествѣ государей, и умираютъ славной смертью, какъ храбрѣйшіе бойцы за свободу. Слишкомъ бѣдные землями, чтобы бороться со своимъ врагомъ своими войсками, они направляютъ на него иноземные громы и ведутъ къ побѣдѣ чужія знамена.

Преданная могущественными государями, все благосостояніе которыхъ зависѣло только отъ нея, свобода Германіи осталась подъ защитой небольшого числа владѣтелей, для которыхъ она едвали имѣла серьезное зна-

ченіе. Владѣнія и саны убили мужество; ихъ отсутствіе породило героевъ. Если Саксонія, Бранденбургъ и другія земли робко удалялись отъ боя, то Ангальтъ, Мансфельдъ, принцы Веймарскіе и другіе проливали свою кровь въ страшныхъ сраженіяхъ. Герцоги померанскіе, мекленбургскіе, вюртембергскіе, имперскіе города верхней Германіи, для которыхъ самое имя самодержца было искони страшнымъ звукомъ, боязливо уклонились отъ борьбы съ императоромъ и съ ропотомъ склонились подъ его сокрушительной рукой.

Австрія и католическая Германія нашли въ герцогѣ Максимильянѣ баварскомъ стольже могущественнаго, сколько дальновиднаго и мужественнаго защитника. Слѣдуя въ теченіе всей этой войны одному опредѣленному, заранѣе намѣченному плану, никогда не колеблясь между государственными интересами и своей религіей, не раболѣпствуя предъ Австріей, работавшей для созданія его величія и трепетавшей предъ его спасительной рукой, Максимильянъ былъ достоинъ не изъ руки произвола получить саны и земли, послужившія ему наградой. Остальные католическіе чины, почти исключительно духовные владѣтели, слишкомъ мало воинственные, чтобы бороться съ толпами, привлеченными благосостояніемъ ихъ земель, пали одинъ за другимъ жертвами войны и довольствовались тѣмъ, что преслѣдовали въ своихъ кабинетахъи съ церковныхъ каѳедръ врага, предъ которымъ бѣжали въ открытомъ полѣ: рабы Австріи или Баваріи, всѣ они стушевывались предъ Максимильяномъ и лишь въ его рукахъ ихъ объединенная сила получила нѣкоторое значеніе.

Страшная монархія, созданная Карломъ V и его сыномъ изъ противоестественнаго соединенія Нидерландовъ, Милана, обѣихъ Сицилій, обширныхъ Остъ—и Вестъ-Индскихъ земель, склонялась уже при Филиппахъ III и IV къ упадку. Вздутая въ скороспѣлую величину посредствомъ безплоднаго золота, эта монархія погибала отъ долговременнаго истощенія, ибо ей недоставало молока государствъ — земледѣлія. Вестъ-индскія завоеванія повергли Испанію въ нищету для того, чтобы обогатить всѣ рынки Европы, и антверпенскіе, венеціанскіе и генуэзскіе мѣнялы давно уже спекулировали золотомъ, которое покоилось еще въ Перуанскихъ копяхъ. Ради Индіи опустошили Испанію, индійскія сокровища расточали на завоеваніе Голландіи, на химерическій проектъ низвергнуть французскій престолъ, на злополучный походъ противъ Англіи. Но гордыня этого дома пережила апогей его величія, ненависть его враговъ пережила его грозное могущество, и ужасъ какъ будто парилъ еще надъ покинутымъ логовищемъ льва. Недовѣріе протестантовъ приписывало министерству Филиппа III опасную политику его отца, а въ нѣмецкихъ католикахъ, подобно вѣрѣ въ чудотворную силу костей мученика, жили еще надежды на испанскую помощь. Поверкностный блескъ скрывалъ раны, отъ которыхъ истекала кровью эта монархія, и во всѣхъ сохранялась увѣренность въ ея могуществѣ потому что она не отступала отъ высокомѣрнаго тона своихъ золотыхъ дней. Рабы въ своемъ домѣ и чужаки на престолѣ, призрачные короли Испаніи диктовали законы своимъ нѣмецкимъ родственникамъ, и позволительно сомнѣваться, стоила ли помощь, оказываемая ими, той позорной зависимости, цѣною которой нѣмецкіе императоры покупали ихъ содѣйствіе. Судьбы Европы рѣшались за хребтомъ Пиринеевъ невѣжественными монахами и придворными интригами. Но и въ своемъ глубочайшемъ паденіи должна была оставаться страшной держава, не уступавшая никому по размѣрамъ, остававшаяся вѣрной—если не изъ твердой политики, то по привычкѣ—все той же государственной системѣ, обладавшая испытанными арміями и превосходными генералами, прибѣгавшая тамъ, гдѣ война была недостаточна, къ кинжалу бандитовъ и умѣвшая употреблять своихъ офиціальныхъ посланниковъ въ качествѣ поджигателей. Все, что она потеряла въ трехъ странахъ свѣта, она старалась наверстать теперь на востокѣ, и вся Европа попала бы въ ея сѣти, еслибы ей удалось ея давнишнее намѣреніе—слиться между Альпами и Адріатическимъ моремъ съ наслѣдственными владѣніями Австріи.

Къ величайшему безпокойству итальянскихъ государствъ эта неугомонная держава вторглась въ Италію, гдѣ ея безпрерывныя попытки увеличить свои владѣнія приводили въ трепетъ всѣхъ сосѣднихъ государей. Въ наиболѣе опасномъ положеніи находился папа, стиснутый испанскими вицекоролями между Неаполемъ и Миланомъ. Венеціанская республика попала въ середину между австрійскимъ Тиролемъ и испанскимъ Миланомъ, Савойя была стѣснена между Миланомъ и Франціей. Этимъ объясняется уклончивая и двуличная поли-

тика, усвоенная итальянскими государствами со временъ Карла V. Двойственный характеръ папской власти заставлялъ папъ вѣчно колебаться между двумя діаметрально противоположными государственными системами. Если намѣстникъ святого Петра почиталъ въ испанскихъ государяхъ своихъ покорнѣйшихъ сыновъ, упорнѣйшихъ защитниковъ своего престола, то монархъ Церковной Области долженъ былъ видѣть въ этихъ государяхъ своихъ худшихъ сосѣдей, своихъ опаснѣйшихъ враговъ. Если для перваго не было ничего важнѣе истребленія протестантовъ и торжества австрійскаго оружія, то послѣдній имѣлъ всѣ основанія благословлять оружіе протестантовъ, которое лишало его сосѣда возможности быть ему опаснымъ. Верхъ одерживало то одно, то другое, смотря по тому, заботились ли папы больше о своей свѣтской власти или о своемъ духовномъ владычествѣ; въ общемъ однако римская политика приспособлялась къ болѣе близкой опасности,—а извѣстно, насколько страхъ потерять то, что имѣешь, дѣйствуетъ на душу сильнѣе, чѣмъ желаніе возвратить себѣ то, что давно потерялъ. Такимъ образомъ, вполнѣ понятно, какъ намѣстникъ Христа вступалъ въ заговоръ съ австрійскимъ домомъ во имя истребленія еретиковъ и какъ тотъ-же самый намѣстникъ Христа вступалъ въ заговоръ съ тѣми же самыми еретиками во имя истребленія австрійскаго дома. Поразительно переплетаются нити всемірной исторіи! Что сталось бы съ реформаціей, что сдѣлалось бы съ свободой нѣмецкихъ государей, еслибы римскій епископъ и государь Рима имѣли всегда одинъ и тотъ-же интересъ.

Вмѣстѣ съ утратою высокодаровитаго Генриха IV Франція потеряла все свое величіе и весь свой вѣсъ на политическихъ вѣсахъ Европы. Всѣ благодѣянія прошлаго могучаго правленія были уничтожены во время бурнаго малолѣтства наслѣдника. Неспособные министры, созданія случайныхъ милостей и интриги, расточили въ немного лѣтъ сокровища, накопленныя экономіей Сюлли и бережливостью Генриха. Еле охраняя свою власть отъ внутреннихъ крамолъ, они вынуждены были отказаться отъ мысли направлять пути Европы. То самое междоусобіе, которое вооружило Германію противъ Германіи, — возстановило также Францію противъ Франціи, и Людовикъ XIII достигъ совершеннолѣтія лишь для того, чтобы воевать съ своей собственной матерью и съ своими протестантскими подданными. Не сдерживаемые теперь просвѣщенной политикой Генриха, послѣдніе, привлеченные удобнымъ случаемъ и возбуждаемые предпріимчивыми вожаками, взялись за оружіе и образовали свое собственное государство въ государствѣ, избравъ могущественный и укрѣпленный городъ Ларошель средоточіемъ своего будущаго королевства. Слишкомъ мало политикъ, чтобы благоразумной терпимостью задушить въ зародышѣ это междоусобіе, и слишкомъ мало господинъ надъ силами своего государства, чтобы править ими съ энергіей, Людовикъ XIII былъ доведенъ до постыдной необходимости купить покорность мятежниковъ громадными денежными суммами. Какъ ни вѣски были политическіе разсчеты поддержать чешскихъ мятежниковъ противъ Австріи, сынъ Генриха IV долженъ былъ равнодушно смотрѣть на ихъ гибель и считать себя счастливымъ, что его кальвинисты не послѣдовали въ неудобное для него время примѣру своихъ единовѣрцевъ по ту сторону Рейна. Могучій духъ у кормила правленія съумѣлъ бы умиротворить французскихъ протестантовъ и завоевать свободу ихъ братьямъ въ Германіи; но Генриха IV уже не было въ живыхъ, и лишь Ришелье суждено было воскресить его государственную мудрость.

Между тѣмъ какъ Франція вновь падала съ высоты своей славы, освобожденная Голландія заканчивала созданіе своего могущества. Еще не угасло мужество воодушевленія, которое, подъ вліяніемъ оранскаго рода, превратило эту торговую націю въ народъ героевъ и дало ей силу защитить свою независимость въ кровопролитной войнѣ съ Испаніей. Помня, какъ много сами они обязаны своимъ освобожденіемъ чужой помощи, эти республиканцы пылали желаніемъ помочь своимъ нѣмецкимъ братьямъ добыть себѣ такую же свободу, тѣмъ болѣе, что и тѣ и другіе боролись съ однимъ и тѣмъ-же врагомъ, и свобода Германіи была лучшимъ оплотомъ для свободы Голландіи. Но республика, еще боровшаяся за свое собственное существованіе и съ невѣроятными усиліями едва справлявшаяся съ могущественнымъ врагомъ въ своихъ собственныхъ предѣлахъ, не могла отнимать силы у необходимой самозащиты для того, чтобы великодушно расточать ихъ на защиту чужихъ государствъ.

Равнымъ образомъ и Англія, хотя и увеличенная присоединеніемъ Шотландіи,

подъ властью своего слабаго Якова не имѣла уже въ Европѣ того вѣса, который умѣло сообщала ей властная политика Елизаветы. Въ твердомъ убѣжденіи, что благоденствіе ея острова покоится на безопасности протестантовъ, эта дальновидная государыня никогда не отступала отъ правила содѣйствовать всякому предпріятію, имѣвшему цѣлью ослабленіе австрійскаго могущества. Преемнику ея не хватало ни ума проникнуться этимъ принципомъ, ни силы привести его въ исполненіе. Если бережливая Елизавета не жалѣла своихъ сокровищъ для того, чтобы помогать Нидерландамъ противъ Испаніи, а Генриху IV противъ ярости лиги, то Яковъ предоставилъ свою дочь, внуковъ и зятя произволу непримиримаго побѣдителя. Истощая свою ученость для того, чтобы найти источникъ королевской власти на небѣ, этотъ король потерялъ свою власть на землѣ. Напрягая всѣ усилія своего краснорѣчія, чтобы доказать неограниченность королевскихъ правъ, онъ напоминалъ англійскому народу о народныхъ правахъ и ненужнымъ расточительствомъ потерялъ свое важнѣйшее преимущество—обходиться безъ вмѣшательства парламента и заглушить голосъ свободы. Врожденный трепетъ предъ обнаженнымъ клинкомъ дѣлалъ для него страшной самую справедливую войну; его любимецъ Бэкингемъ игралъ его слабостями, а его самодовольное тщеславіе дало испанскому коварству легкій случай обойти его. Въ то время, какъ въ Германіи разоряли его зятя и жаловали другимъ наслѣдіе его внуковъ, этотъ безумный государь съ блаженнымъ самодовольствомъ упивался лестью, которую ему кадили Австрія и Испанія. Чтобы отвлечь его вниманіе отъ нѣмецкой войны, ему предложили невѣстку въ Мадридѣ, и этотъ нелѣпый отецъ самъ снаряжалъ своего эксцентричнаго сына на маскарадъ, которымъ тотъ изумилъ свою испанскую невѣсту. Испанская невѣста погибла для его сына, какъ чешская корона и пфальцскій престолъ для его зятя, и лишь смерть избавила его отъ опасности закончить свое мирное правленіе войной, вызванной тѣмъ, что онъ не имѣлъ мужества во-время пригрозить ею.

Междоусобныя бури, подготовленныя его неумѣлымъ правленіемъ, разразились при его несчастномъ сынѣ, скоро заставивъ послѣдняго послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ попытокъ отказаться отъ всякаго участія въ нѣмецкой войнѣ, для того, чтобы потушить взрывъ крамолы въ своемъ собственномъ государствѣ, жалкой жертвой которой онъ и палъ въ концѣ концовъ.

Два замѣчательныхъ короля, правда, далеко не равные личной славой, но равные могуществомъ и честолюбіемъ, внушали тогда уваженіе къ европейскому сѣверу. Во время долгаго и дѣятельнаго правленія Христіана IV, Данія выросла въ сильную державу. Личныя достоинства ея государя, превосходный флотъ, испытанныя войска, благоустроенные финансы и дальновидные союзы доставили въ совокупности этому государству цвѣтущее благосостояніе внутри и уваженіе извнѣ. Густавъ Ваза вывелъ Швецію изъ рабства, преобразовалъ путемъ мудраго законодательства и впервые вывелъ вновь созданное государство на свѣтъ всемірной исторіи. То, что этотъ великій государь намѣтилъ лишь въ грубыхъ очертаніяхъ, было приведено въ исполненіе его еще болѣе великимъ внукомъ Густавомъ Адольфомъ.

Оба государства, нѣкогда противоестественно соединенныя въ одну монархію и обезсиленныя этимъ соединеніемъ, распались во времена реформаціи, и разрывъ былъ началомъ ихъ расцвѣта. Насколько пагубно было для обоихъ государствъ насильственное соединеніе, настолько необходима была для нихъ, послѣ раздѣленія, взаимная дружба и единство. На оба государства опиралась евангелическая церковь; въ интересѣ обоихъ была охрана тѣхъ-же морей; общая выгода должна была соединить ихъ противъ одного и того-же врага. Но ненависть, благодаря которой распалась связь обоихъ государствъ, продолжала раздѣлять враждой давно разъединенные народы. Датскіе короли все еще не могли отказаться отъ своихъ притязаній на Швецію; шведское государство не могло забыть былой тираніи датчанъ. Смежныя границы обоихъ государствъ давали національной враждѣ вѣчную пищу; напряженное соперничество обоихъ королей и неизбѣжныя торговыя столкновенія въ сѣверныхъ моряхъ были постоянными источниками раздоровъ.

Изо всѣхъ средствъ, путемъ которыхъ основатель шведскаго государства, Густавъ Ваза, старался сообщить крѣпость своему созданію, однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ была религіозная реформа. Основной законъ государства исключалъ всѣхъ приверженцевъ папства отъ всякихъ государственныхъ должностей и воспрещалъ вся-

Папа Григорій XV.
Гравюра на мѣди Петра Иссельберга (р. 1580; ум. послѣ 1630).

кому будущему властелину Швеціи измѣнять религію государства. Но уже второй сынъ и второй наслѣдникъ Густава Іоаннъ перешелъ опять въ католичество и сынъ его Сигизмундъ, занимавшій одновременно и престолъ польскій, позволилъ себѣ нѣкоторыя дѣйствія, имѣвшія цѣлью низверженіе конституціи и господствующей церкви. Съ Карломъ, герцогомъ зюдерманландскимъ, третьимъ сыномъ Густава во главѣ, чины оказали ему мужественное сопротивленіе, имѣвшее слѣдствіемъ открытую междоусобную войну между дядей и племянникомъ, между королемъ и народомъ. Герцогъ Карлъ, оставшійся во время отсутствія короля правителемъ государства, воспользовался долгимъ пребываніемъ Сигизмунда въ Польшѣ и справедливымъ недовольствомъ чиновъ для того, чтобы тѣснѣйшимъ образомъ привязать къ себѣ народъ и не-

замѣтно проложить своему собственному дому путь къ престолу. Безтактные поступки Сигизмунда были также благопріятны его намѣренію. Общій государственный сеймъ позволилъ себѣ отмѣнить въ пользу регента право перворожденнаго, введенное въ шведскіе законы Густавомъ Вазой, и возвелъ герцога зюдерманландскаго на престолъ, отъ котораго былъ торжественно отрѣшенъ Сигизмундъ со всѣмъ его потомствомъ. Сынъ новаго короля, правившаго подъ именемъ Карла IX, былъ Густавъ Адольфъ, которому, какъ сыну узурпатора, приверженцы Сигизмунда отказали въ признаніи. Но если связь между королемъ и народомъ взаимна, если государство не переходитъ изъ рукъ въ руки по наслѣдію, какъ мертвый товаръ, то націи, дѣйствующей единодушно, должно быть позволено отказать въ исполненіи своего долга вѣроломному властелину и замѣстить его болѣе достойнымъ.

Густаву Адольфу еще не минулъ семнадцатый годъ, когда шведскій престолъ освободился вслѣдствіе смерти его отца; но ранняя зрѣлость его ума дала возможность сократить законный срокъ несовершеннолѣтія въ его пользу. Славной побѣдой надъ самимъ собой началъ онъ правленіе, которому суждено было имѣть неизмѣннымъ спутникомъ побѣду и побѣдой закончиться. Юной графинѣ Браге, дочери его подданнаго, принадлежали первые порывы его великаго сердца, и онъ искренно рѣшился раздѣлить съ нею шведскій престолъ. Но подъ гнетомъ времени и обстоятельствъ, онъ принесъ въ жертву свои чувства долгу государя, и геройская доблесть вновь овладѣла исключительно сердцемъ, не созданнымъ для того, чтобы ограничиться тихимъ семейнымъ счастьемъ.

Христіанъ IV датскій, уже бывшій королемъ въ тотъ моментъ, когда Густава еще не было на свѣтѣ, напалъ на Швецію и въ борьбѣ съ отцомъ этого героя одержалъ важныя побѣды. Густавъ Адольфъ поспѣшилъ окончить пагубную войну и благоразумными уступками купилъ миръ для того, чтобы обратить свое оружіе противъ царя московскаго. Никогда двусмысленная слава завоевателя не соблазняла его проливать кровь своихъ народовъ въ несправедливыхъ войнахъ; но отъ войны справедливой онъ никогда не уклонялся. Его борьба съ Россіей окончилась счастливо для него, и шведская держава увеличилась на востокѣ значительными областями.

Между тѣмъ Сигизмундъ, король польскій, продолжалъ питать противъ сына враждебныя намѣренія, вызванныя еще отцомъ, и всѣми уловками старался поколебать вѣрность подданныхъ Густава Адольфа, сдѣлать друзей его равнодушными, его враговъ—непримиримыми. Ни высокія доблести его соперника, ни многочисленныя доказательства преданности, которыми Швеція окружала своего обожаемаго короля, не могли излѣчить этого ослѣпленнаго государя отъ безсмысленной надежды вновь вступить на потерянный тронъ. Всѣ мирныя предложенія Густава были отвергнуты съ высокомѣріемъ. Противъ своей воли миролюбивый герой былъ вовлеченъ въ долгую и тяжкую войну съ Польшей, въ теченіе которой подъ шведское господство перешла постепенно вся Лифляндія и прусская Польша. Всегда побѣдитель, Густавъ Адольфъ всегда былъ первый готовъ протянуть руку непріятелю.

Шведско-польская война совпадаетъ съ началомъ тридцатилѣтней войны въ Германіи и находится съ ней въ связи. Король Сигизмундъ, католикъ, боролся за шведскую корону съ протестантскимъ принцемъ—этого было совершенно достаточно, чтобы быть обезпеченнымъ дѣятельнѣйшимъ сочувствіемъ Испаніи и Австріи; двойное родство съ императоромъ давало ему еще большія права на его защиту. Надежда на столь могущественную помощь и возбуждала главнымъ образомъ короля польскаго къ продолженію войны, которая оказалась столь невыгодной для него; между тѣмъ мадридскій и вѣнскій дворы не переставали подзадоривать его пустыми обѣщаніями. Теряя одну крѣпость за другой въ Лифляндіи, Курляндіи и Пруссіи, Сигизмундъ видѣлъ, что его союзникъ, переходя въ то же самое время отъ побѣды къ побѣдѣ, въ Германіи, несется на встрѣчу неограниченному господству: нѣтъ ничего удивительнаго, что его отвращеніе къ миру возрастало вмѣстѣ съ его пораженіями. Яростное увлеченіе, съ которымъ онъ преслѣдовалъ свои химерическіе планы, закрывало ему глаза на коварную политику его союзника, который старался лишь на его счетъ отвлечь шведскаго героя, чтобы тотъ не мѣшалъ ему наложить цѣпи на свободу Германіи, а затѣмъ, какъ легкой добычей, овладѣть истощеннымъ сѣверомъ. Одно лишь обстоятельство, на которое никакъ нельзя было разсчитывать—геройское величіе Густава—разорвало хитросплетенія этой безчестной политики. Восьмилѣтняя польская война, не истощивъ Швеціи ни на іоту,

послужила лишь для того, чтобы воспитать военный геній Густава Адольфа, въ долгихъ походахъ закалить шведскія войска и незамѣтно ввести въ употребленіе новую тактику, благодаря которой они впослѣдствіи творили чудеса на поляхъ Германіи.

Послѣ этого необходимаго обзора тогдашняго состоянія европейскихъ государствъ я позволю себѣ снова перейти къ прерванной нити событій.

Фердинандъ вновь владѣлъ своими землями, но не тѣми суммами, которыхъ ему стоило ихъ завоеваніе. Сорока милліоновъ гульденовъ, которые были ему доставлены конфискаціями въ Богеміи и Моравіи, было бы достаточно, чтобы возмѣстить всѣ издержки его и его союзниковъ; но эта громадная сумма растаяла быстро въ рукахъ іезуитовъ и его любимцевъ. Герцогъ Максимильянъ баварскій, побѣдоносной рукѣ котораго императоръ былъ почти исключительно обязанъ своими владѣніями, который ради своей религіи и своего императора пожертвовалъ близкимъ родственникомъ, имѣлъ самыя основательныя притязанія на его благодарность, и въ договорѣ, который былъ заключенъ герцогомъ съ императоромъ еще до объявленія войны, онъ прямо выговорилъ себѣ вознагражденіе за всѣ свои издержки. Фердинандъ чувствовалъ все значеніе обязанностей, которыя налагалъ на него этотъ договоръ, и заслуги Максимиліяна, но онъ не чувствовалъ никакого желанія исполнить ихъ на свой счетъ. Онъ былъ намѣренъ блистательно вознаградить герцога, но только такъ, чтобы самому ему это ничего не стоило. Это, разумѣется, лучше всего могло быть сдѣлано на средства тѣхъ государей, противъ которыхъ война позволяла сдѣлать все, что угодно, проступки которыхъ могли быть изображены въ достаточно черныхъ краскахъ, чтобы оправдать всякое насиліе надъ ними уваженіемъ къ законамъ. Итакъ, надо было продолжать преслѣдованіе Фридриха, лишить Фридриха всего, чтобы вознаградить Максимильяна, и новая война была начата для того, чтобы расплатиться за старую.

Но значеніе этой причины было усилено неизмѣримо болѣе важнымъ основаніемъ, присоединившимся теперь къ ней. До сихъ поръ Фердинандъ боролся за свое существованіе и исполнялъ одинъ лишь долгъ самозащиты; теперь-же, когда побѣда даровала ему свободу дѣйствій, онъ вспомнилъ о своихъ мнимыхъ высшихъ обязанностяхъ и подумалъ объ обѣтѣ, который онъ принесъ въ Лоретто и Римѣ своей покровительницѣ Св. Дѣвѣ—распространять ея культъ повсюду съ опасностью своей жизни и короны. Съ этимъ обѣтомъ неразрывно было связано угнетеніе протестантовъ. Трудно представить себѣ болѣе благопріятное совпаденіе обстоятельствъ для выполненія обѣта, чѣмъ теперь, по окончаніи богемской войны. Онъ не имѣлъ еще ни силы, ни призрака права для того, чтобы отдать пфальцскія земли католику, и необозримо важны были слѣдствія этой перемѣны для всей католической Германіи. Вознаграждая герцога баварскаго добромъ, награбленнымъ у его родственника, онъ одновременно удовлетворялъ свою гнуснѣйшую страсть и исполнялъ свой возвышеннѣйшій долгъ: онъ уничтожалъ врага, котораго ненавидѣлъ, онъ спасалъ свое корыстолюбіе отъ тягостной жертвы и пріобрѣталъ вѣнецъ небесный.

Гибель Фридриха была рѣшена въ кабинетѣ императора гораздо раньше, чѣмъ судьба высказалась противъ него; но лишь послѣ того, какъ случилось послѣднее, можно было позволить себѣ разгромить его. По указу императора безъ соблюденія какихъ-бы то ни было формальностей, которыя были обязательны для такого случая по закону имперіи, курфюрстъ и три другіе принца, которые сражались за него въ Силезіи и Богеміи, были объявлены оскорбителями величества и нарушителями земскаго мира и лишены сана, владѣній и покровительства законовъ. Исполненіе этого приговора противъ Фридриха, а именно: захватъ его земель, было съ такимъ-же презрѣніемъ къ имперскимъ законамъ возложено на Испанію, какъ владѣтельницу Бургундіи, герцога баварскаго и лигу. Если-бы евангелическая унія была достойна имени, которое она носила, и дѣла, которое она защищала, то при исполненіи рѣшенія пришлось бы натолкнуться на неопреодолимыя препятствія; но жалкое войско, едвали равное испанской арміи въ Нижнемъ Пфальцѣ, должно было отказаться отъ мысли бороться съ соединенными войсками: императора, Баваріи и лиги. Приговоръ, произнесенный надъ курфюрстомъ, заставилъ немедленно всѣ имперскіе города отшатнуться отъ союза, государи не замедлили послѣдовать ихъ примѣру. Радуясь, что спасли свои владѣнія, они предоставили курфюрста, своего прежняго главу, самоуправству императора, прокляли унію и поклялись никогда не возобновлять ея.

Безславно покинули нѣмецкіе государи несчастнаго Фридриха; Богемія, Силезія и Моравія преклонились предъ грозной силой императора. Одинъ лишь единственный человѣкъ, смѣльчакъ, все богатство котораго заключалось въ его мечѣ, Эрнстъ графъ фонъ Мансфельдъ осмѣлился въ чешскомъ городѣ Пильзенѣ бороться со всѣмъ могуществомъ императора. Оставленный послѣ пражскаго сраженія безъ всякой поддержки курфюрстомъ, которому онъ посвятилъ свою службу, не зная даже будетъ-ли ему Фридрихъ благодаренъ за его упорство, онъ долго еще держался одинъ, выдерживая напоръ императорскихъ войскъ, пока его войска, подъ гнетомъ денежной нужды, не продали городъ Пильзенъ императору. Не приходя въ отчаяніе отъ этого удара, онъ организовалъ въ верхнемъ Пфальцѣ вербовку, привлекая къ себѣ, такимъ образомъ, войска, распущенныя уніей. Вскорѣ подъ его знаменами стояло свѣжее двадцатитысячное войско, тѣмъ болѣе страшное для всѣхъ провинцій, на которыя оно бросилось, что единственнымъ средствомъ существованія для него былъ грабежъ. Въ невѣдѣніи, куда хлынетъ эта толпа, трепетали заранѣе всѣ сосѣднія епископства, богатства которыхъ могли привлечь ее. Но тѣснимый герцогомъ баварскимъ, который въ качествѣ исполнителя императорскаго приговора вторгся въ Верхній Пфальцъ, Мансфельдъ долженъ былъ удалиться изъ этой области. Ускользнувъ посредствомъ ловкаго маневра отъ преслѣдовавшаго его баварскаго генерала Тилли, онъ вдругъ появился въ Нижнемъ Пфальцѣ, подвергнувъ здѣсь рейнскія епископства тѣмъ самымъ насиліямъ, которыя готовилъ франконскимъ. Между тѣмъ какъ баварско-императорская армія наводнила Богемію, испанскій генералъ Амбросъ Спинола двинулся изъ Нидерландовъ съ значительнымъ войскомъ въ Нижній Пфальцъ, защита котораго была по Ульмскому договору предоставлена уніи. Но всѣ распоряженія были сдѣланы такъ неудачно, что одинъ городъ за другимъ попадалъ въ испанскія руки, и, наконецъ, когда унія распалась, большая часть страны была занята испанскими войсками. Вторженіе Мансфальда въ Нижній Пфальцъ заставило испанскаго генерала Кордубу, который командовалъ этими войсками послѣ ухода Спинолы, поспѣшно снять осаду Франкенталя. Но вмѣсто того, чтобы вытѣснить испанцевъ изъ этой провинціи, Мансфельдъ поспѣшилъ перейти черезъ Рейнъ, чтобы дать возможность своимъ голоднымъ войскамъ покормиться въ Эльзасѣ. Въ страшную пустыню обратились всѣ незащищенныя земли, въ которыя хлынуло это разбойничье нашествіе, и лишь громадными суммами откупались города отъ полнаго разграбленія. Набравшись новыхъ силъ въ этомъ походѣ, Мансфельдъ снова появился на Рейнѣ для защиты Нижняго Пфальца.

Пока за курфюрста Фридриха билась такая рука, онъ не погибъ еще окончательно. Новыя надежды стали являться предъ нимъ, и несчастье создало ему друзей, которые хранили молчаніе, пока онъ былъ счастливъ. Король англійскій Яковъ, равнодушно смотрѣвшій на то, какъ его зять теряетъ чешскую корону, пробудился изъ своего безразличія, когда былъ поставленъ вопросъ о самомъ существованіи его дочери и его внуковъ и когда побѣдоносный врагъ позволилъ себѣ вторгнуться въ самое курфюршество. Теперь наконецъ—хотя и слишкомъ поздно—онъ открылъ свою сокровищницу и поспѣшилъ помочь деньгами и войсками—сперва уніи, пока она защищала Нижній Пфальцъ, а затѣмъ, когда она распалась,—графу Мансфельду. Онъ побудилъ также къ дѣятельной помощи своего близкаго родственника короля датскаго Христіана. Къ тому-же конецъ перемирія между Испаніей и Голландіей лишалъ императора всякой поддержки со стороны Нидерландовъ, на которую онъ разсчитывалъ. Но важнѣе всего этого была помощь, оказанная пфальцграфу Семиградьемъ и Венгріей. Едва окончилось перемиріе между Габоромъ и императоромъ, какъ этотъ страшный исконный врагъ Австріи снова вторгся въ Венгрію и возложилъ на себя въ Пресбургѣ королевскую корону. Успѣхи его были необычайно быстры, такъ что Букуа пришлось покинуть Богемію, чтобы спѣшить на защиту Венгріи и Австріи противъ Габора. Этотъ храбрый полководецъ палъ во время осады Нейгейзеля; нѣсколько ранѣе погибъ столь-же храбрый Дампьеръ подъ стѣнами Пресбурга. Неудержимо вторгся Габоръ въ предѣлы Австріи; старый графъ Турнъ и многіе знатные чехи предложили свою ненависть и свою руку этому врагу своего врага. Серьезное нападеніе со стороны Германіи въ то время, какъ Габоръ тѣснилъ императора со стороны Венгріи, могло быстро возстановить счастье Фридриха; но когда Габоръ двигался въ походъ, чехи и нѣмцы обыкновен-

но складывали оружіе, а когда они начинали оправляться, онъ всегда былъ уже истощенъ.

Между тѣмъ Фридрихъ поспѣшилъ броситься въ объятія своему новому защитнику Мансфельду. Переодѣтый, появился онъ въ Нижнемъ Пфальцѣ, изъ за котораго боролись теперь Мансфельдъ и баварскій генералъ Тилли. Верхній Пфальцъ былъ давно завоеванъ. Лучъ надежды блеснулъ предъ нимъ, когда изъ развалинъ уніи стали являться ему новые друзья. Съ нѣкотораго времени маркграфъ Георгъ Фридрихъ баденскій, бывшій членъ уніи, сталъ набирать войско, которое вскорѣ превратилось въ порядочную армію. Никто не зналъ, на чьей она будетъ сторонѣ, какъ вдругъ онъ двинулся въ поле и соединился съ графомъ Мансфельдомъ. Маркграфство свое онъ до выступленія въ походъ уступилъ своему сыну, чтобы этой уловкой спасти его отъ мести императора, если счастье измѣнитъ ему. Сосѣдній герцогъ вюртембергскій также сталъ увеличивать свои войска. Мужество пфальцграфа возрастало отъ всего этого, и онъ изо всѣхъ силъ старался вновь вызвать къ жизни унію. Теперь за Тилли была очередь подумать о своемъ спасеніи. Съ величайшей поспѣшностью вызвалъ онъ къ себѣ войска испанскаго генерала Кордубы. Но между тѣмъ, какъ непріятель соединялъ свои силы, Мансфельдъ и маркграфъ баденскій разстались, и послѣдній былъ разбитъ баварскимъ генераломъ при Вимпфенѣ (1622 г.).

Нищій авантюристъ, самое рожденіе котораго считалось незаконнымъ, явился защитникомъ короля, котораго губилъ одинъ изъ его ближайшихъ родственниковъ и котораго оставилъ безпомощнымъ отецъ его супруги. Государь отказывался отъ своихъ владѣній, которыми онъ спокойно правилъ, для того, чтобы испытать невѣрное счастье войны ради другого, совершенно чуждаго ему государя. Новый удалецъ, бѣдный владѣніями, но богатый славными предками, берется за защиту дѣла, которое первый отказался выполнить. Герцогу Христіану брауншвейгскому, администратору гальберштадтскому, казалось, что онъ постигъ тайну графа Мансфельда, какъ содержать безъ денегъ въ боевой готовности армію въ двадцать тысячъ человѣкъ. Одушевляемый юношеской самонадѣянностью и проникнутый жаждой добыть себѣ славу и деньги на счетъ католическаго духовенства, къ которому онъ питалъ рыцарскую ненависть,

Разстрѣливаніе. (Изъ современ. соч. Callot, «Les misères et les malheurs de la guerre»).

онъ набралъ въ Нижней Саксоніи значительное войско, славу котораго должна была составить защита Фридриха и нѣмецкой свободы. „Богу другъ—попамъ врагъ“—таковъ былъ девизъ, который былъ выбитъ на его монетахъ, вычеканенныхъ изъ награбленнаго церковнаго серебра,—девизъ, вполнѣ оправданный его подвигами.

Путь, принятый этой шайкой разбойниковъ, былъ по обыкновенію запечатлѣнъ невѣроятнымъ опустошеніемъ. Разграбивъ нижне-саксонскіе и вестфальскіе монастыри, она набрала силы для грабежа верхнерейнскихъ епископствъ. Гонимый здѣсь друзьями и врагами, Христіанъ подошелъ у майнцскаго города Гехста къ Майну, который онъ перешелъ послѣ кровопролитнаго столкновенія съ Тилли, не дававшаго ему совершить переправу. Потерявъ

половину своего отряда, онъ достигъ противоположнаго берега, гдѣ быстро собралъ остатки своего войска и съ ними присоединился къ графу фонъ Мансфельду. Преслѣдуемая Тилли, вся банда бросилась вторично на Эльзасъ, чтобы докончить опустошеніе всего, что не было разграблено въ первый разъ. Между тѣмъ, какъ курфюрстъ Фридрихъ въ роли нищаго бѣглеца влачился вслѣдъ за войскомъ, которое признавало его своимъ господиномъ и украшало себя его именемъ, друзья его дѣятельно старались примирить его съ императоромъ. Фердинандъ не хотѣлъ отнимать у нихъ всѣ надежды видѣть пфальцграфа снова на престолѣ. Исполненный хитрости и коварства, онъ выказалъ полную готовность приступить къ переговорамъ, путемъ которыхъ онъ разсчитывалъ охладить ихъ воинскій пылъ и удержать ихъ отъ крайности. Король Яковъ, какъ всегда, игрушка австрійскаго коварства, своей нелѣпой суетливостью только содѣйствовалъ уловкамъ императора. Фердинандъ требовалъ прежде всего, чтобы Фридрихъ, разъ онъ ищетъ милости монарха, положилъ оружіе, и Яковъ нашелъ это требованіе совершенно справедливымъ. По его повелѣнію, пфальцграфъ разстался со своими единственными искренними защитниками, графомъ фонъ Мансфельдомъ и Христіаномъ, и ожидалъ въ Голландіи рѣшенія своей участи и милосердія императора.

Мансфельда и герцога Христіана поставилъ въ затрудненіе только недостатокъ новаго имени; они взялись за оружіе не изъ-за интересовъ пфальцграфа, и потому его отказъ отъ ихъ услугъ не могъ заставить ихъ сложить оружіе. Война была для нихъ цѣлью, независимо отъ того, за кого они сражались. Послѣ напрасной попытки графа Мансфельда поступить на службу къ императору, оба они двинулись на Лотарингію, гдѣ безобразія ихъ войскъ распространили ужасъ вплоть до глубины Франціи. Долго стояли они здѣсь въ тщетномъ ожиданіи господина, который взялъ бы ихъ на службу, пока голландцы, тѣснимые испанскимъ генераломъ Спинолой, наняли ихъ къ себѣ. Послѣ кровопролитнаго столкновенія при Флерусѣ съ испанцами, которые хотѣли преградить имъ путь, они достигли Голландіи, гдѣ появленіе ихъ немедленно заставило испанскаго генерала снять осаду Бергенъ-опъ-Цума. Но и Голландіи скоро стали въ тягость эти неудобные гости, и она воспользовалась первымъ мгновеніемъ отдыха, чтобы избавиться отъ ихъ опасной помощи. Мансфельдъ оставилъ свои войска подкрѣпляться для новыхъ подвиговъ въ богатой провинціи восточной Фрисландіи. Герцогъ Христіанъ, исполненный страстью къ пфальцграфинѣ, которую онъ впервые узналъ въ Голландіи, и болѣе воинственный чѣмъ когда либо, увелъ свои войска въ Нижнюю Саксонію съ перчаткой этой государыни на шляпѣ и съ девизомъ: „все для Бога и для нея“ на своихъ знаменахъ. Оба далеко еще не закончили своихъ ролей въ этой войнѣ.

Такимъ образомъ всѣ императорскія земли были наконецъ очищены отъ враговъ, унія распалась, маркграфъ баденскій, графъ Мансфельдъ и герцогъ Христіанъ выбиты изъ позицій, пфальцскія земли наполнены войсками, приводящими въ исполненіе приговоръ императора. Мангеймъ и Гейдельбергъ были въ рукахъ баварцевъ; Франкенталь также вскорѣ перешелъ въ руки испанцевъ. Въ отдаленномъ уголкѣ Голландіи пфальцграфъ ждалъ постыднаго позволенія смягчить у ногъ императора его гнѣвъ, и такъ называемый съѣздъ курфюрстовъ въ Регенсбургѣ долженъ былъ наконецъ рѣшить его судьбу. Давно уже была она рѣшена при дворѣ императора, но лишь теперь обстоятельства были достаточно благопріятны, чтобы выступить открыто съ этимъ рѣшеніемъ. Послѣ всего того, что было сдѣлано императоромъ противъ курфюрста, Фердинандъ не надѣялся на искреннее примиреніе. Лишь довершеніемъ насилія можно было сдѣлать его законнымъ. Итакъ, потерянным должно было остаться то, что было потеряно; Фридриху не суждено было видѣть болѣе своихъ владѣній, а государь безъ земли и народа, понятно, не можетъ болѣе оставаться носителемъ курфюршеской шапки. Насколько тяжела была вина пфальцграфа предъ австрійскимъ домомъ, настолько высоки были заслуги герцога баварскаго. Насколько жажда мести и религіозная вражда пфальцскаго дома могли быть страшны австрійскому дому и католической церкви, настолько могли быть велики надежды послѣднихъ на благодарность и религіозное усердіе герцога баварскаго. Наконецъ, перенесеніе пфальцскихъ избирательныхъ правъ на корону баварскую обезпечивало католической религіи рѣшительный перевѣсъ въ совѣтѣ курфюрстовъ и непреходящее первенство въ Германіи.

Этого послѣдняго было достаточно, чтобы склонить трехъ духовныхъ курфюрстовъ

въ пользу такого новшества; среди протестантскихъ голосовъ имѣлъ значеніе одинъ лишь голосъ Саксоніи. Но могъ ли Іоаннъ Георгъ отказывать императору въ правѣ, безъ котораго подвергалось сомнѣнію его собственное право на курфюршество? Правда, для государя, котораго его происхожденіе, его санъ и его силы ставили во главѣ протестантской церкви Германіи, ничто, казалось-бы, не могло быть священнѣе, чѣмъ защита правъ этой церкви отъ всѣхъ притязаній католиковъ; но вопросъ заключался теперь не въ томъ, какъ охранить интересы протестантской религіи отъ католиковъ, но какой изъ двухъ равно ненавистныхъ религій—кальвинистской или папской—предоставить побѣду надъ другой, какому изъ двухъ равно ненавистныхъ враговъ отдать пфальцское курфюршество? И въ борьбѣ между двумя противоположными велѣніями долга было такъ естественно предоставить рѣшеніе личной ненависти и частной выгодѣ. Прирожденный защитникъ нѣмецкой свободы и протестантской религіи подстрекалъ императора распорядиться пфальцскимъ курфюршествомъ по своему высочайшему благоусмотрѣнію и совершенно не смущаться тѣмъ, что со стороны Саксоніи, формы ради, будетъ оказано нѣкоторое противодѣйствіе его мѣропріятіямъ. Если Іоаннъ Георгъ впослѣдствіи не торопился своимъ согласіемъ, то самъ Фердинандъ изгнаніемъ евангелическихъ проповѣдниковъ изъ Богеміи подалъ поводъ къ такому измѣненію образа мыслей, и передача пфальцскаго курфюршества въ ленъ Баваріи переставала быть противозаконнымъ дѣйствіемъ послѣ того, какъ императоръ, по соглашеніи съ курфюрстомъ саксонскимъ, уступилъ ему Лузацію за шесть милліоновъ талеровъ военныхъ издержекъ.

Такимъ образомъ, не взирая на противорѣчіе всей протестантской Германіи, поступая вопреки основнымъ законамъ имперіи, которые онъ клятвенно обѣщался соблюдать,—Фердинандъ торжественно одарилъ въ Регенсбургѣ герцога баварскаго пфальцскимъ курфюршествомъ, съ тѣмъ, однако, что это пожалованіе, какъ было сказано, не касается притязаній, которыя могли предъявить на Пфальцъ родственники и потомки Фридриха. Такимъ образомъ, этотъ злополучный государь былъ теперь безвозвратно лишенъ своихъ владѣній, не будучи выслушанъ судомъ, который осудилъ его,—справедливость, въ которой не отказываютъ законы ничтожнѣйшему изъ подданныхъ и даже самому гнусному преступнику.

Это насиліе открыло, наконецъ, глаза королю англійскому, и такъ какъ въ это время какъ разъ были прерваны переговоры о бракѣ его сына съ одной изъ испанскихъ принцессъ, то Яковъ дѣятельно вступился наконецъ за своего зятя. Переворотъ во французскомъ министерствѣ передалъ всѣ дѣла въ руки кардинала Ришелье, и это глубоко падшее королевство почуствовало, наконецъ, что у кормила его стоитъ государственный мужъ. Старанія испанскаго намѣстника въ Миланѣ овладѣть Вольтелиномъ для того, чтобы такимъ путемъ придти въ непосредственное соединеніе съ надслѣдственными землями Австріи,—возбудили вновь старыя опасенія предъ этой державой, а вмѣстѣ съ нимъ и политическіе принципы великаго Генриха. Женитьба принца Уэльскаго на принцессѣ французской Генріеттѣ связала обѣ эти короны болѣе тѣсными узами, къ которымъ присоединились также Голландія, Данія и нѣсколько итальянскихъ государствъ. Было рѣшено принудить Испанію вооруженной рукой къ выдачѣ Вольтелина, а Австрію къ возстановленію Фридриха; но лишь по отношенію къ первой цѣли была проявлена нѣкоторая дѣятельность. Яковъ I скончался, и Карлъ I въ борьбѣ со своимъ парламентомъ не могъ удѣлять вниманія нѣмецкимъ дѣламъ. Савойя и Венеція отказали въ поддержкѣ, и французскій министръ нашелъ, что прежде, чѣмъ рѣшиться выступить на помощь нѣмецкимъ протестантамъ противъ ихъ императора, необходимо ранѣе усмирить гугенотовъ въ своемъ отечествѣ. Насколько велики были надежды, возбужденныя этимъ союзомъ, настолько ничтоженъ былъ его успѣхъ.

Графъ Мансфельдъ, лишенный всякой поддержки, оставался въ бездѣйствіи на нижнемъ Рейнѣ, а герцогъ Христіанъ-брауншвейгскій былъ послѣ новаго неудачнаго похода изгнанъ вновь изъ Германіи. Новое нападеніе Бетленъ Габора на Моравію, безплодное вслѣдствіе отсутствія помощи со стороны Германіи, какъ и всѣ прежнія, окончилось формальнымъ миромъ съ императоромъ. Унія не существовала; ни одинъ протестантскій государь не былъ готовъ къ войнѣ, а на границахъ нижней Германіи стоялъ баварскій генералъ Тилли съ войскомъ, привыкшимъ къ побѣдамъ на протестантской землѣ. Движенія герцога Христіана брауншвейгскаго привлекли его въ

эту страну, откуда онъ прошелъ уже какъ-то до нижней Саксоніи, гдѣ онъ взялъ Липпштадтъ, главную квартиру администратора края. Необходимость слѣдить за этимъ врагомъ и удерживать его отъ новыхъ нападеній должна была и теперь еще служить оправданіемъ пребыванію Тилли въ этихъ краяхъ. Между тѣмъ Мансфельдъ и Христіанъ за недостаткомъ денегъ уже распустили свои войска, и предъ арміей графа Тилли не было ни тѣни врага. Для чего же обременяла она своимъ присутствіемъ эту страну?

Трудно въ ревѣ разъяренныхъ партій различить голосъ истины,—но подозрительнымъ явилось уже то, что лига и не думала о разоруженіи. Преждевременное ликованіе католиковъ должно было еще усилить смущеніе. Императоръ и лига, вооруженные и побѣдоносные, стояли въ Германіи, на всемъ протяженіи которой не было ни одной державы, которая могла бы оказать имъ сопротивленіе, если бы они попытались напасть на протестантскихъ государей или даже совсѣмъ положить конецъ религіозному миру. Если императоръ Фердинандъ и въ самомъ дѣлѣ былъ далекъ отъ мысли злоупотреблять своими побѣдами, то беззащитность протестантовъ должна была подсказать ему такую мысль. Устарѣлые договоры не могли связывать государя, убѣжденнаго, что онъ всѣмъ на свѣтѣ обязанъ своей религіи, и считавшаго, что религіозная цѣль освящаетъ всякое насиліе. Верхняя Германія была побѣждена, и лишь нижняя могла противиться его самодержавію. Здѣсь господствовали протестанты, здѣсь католическая церковь была лишена большинства своихъ имуществъ, и, казалось, что теперь насталъ моментъ возвратить эти потерянныя владѣнія церкви. Въ этихъ имуществахъ, присвоенныхъ нижне-нѣмецкими государями, заключалась не малая доля ихъ силы, и необходимость возвратить церкви ея достояніе являлась въ то же время превосходнымъ предлогомъ ослабить этихъ государей.

Оставаться бездѣятельнымъ въ такомъ критическомъ положеніи было бы преступнымъ нерадѣніемъ. Воспоминаніе объ ужасахъ, произведенныхъ войскомъ Тилли въ нижней Саксоніи, было слишкомъ свѣжо, чтобы не побудить государей къ самозащитѣ. Со всей возможной поспѣшностью вооружился весь нижне-саксонскій округъ. Были опредѣлены чрезвычайные военные налоги, войска набраны и магазины наполнены. Съ Венеціей, Голландіей и Англіей велись переговоры о денежной помощи. Шли совѣщанія о томъ, какая держава станетъ во главѣ союза. Короли Зунда и Балтійскаго моря, естественные союзники этого округа, не могли оставаться равнодушными зрителями того, какъ императоръ водворится здѣсь въ качествѣ побѣдителя и станетъ ихъ сосѣдомъ на берегахъ сѣверныхъ морей. Двойной интересъ религіи и политики заставлялъ ихъ положить предѣлъ движенію императора въ нижней Германіи. Христіанъ IV король датскій причислялъ себя, въ качествѣ герцога гольштинскаго, къ чинамъ этого округа; такія же побудительныя причины заставляли и Густава Адольфа шведскаго принять участіе въ союзѣ.

Оба короля соперничали въ чести стать на защиту нижне-саксонскаго края и бороться со страшной австрійской державой. Каждый предлагалъ выставить вполнѣ снаряженную армію и лично предводительствовать ею. Побѣдоносные походы противъ Москвы и Польши придавали особое значеніе обѣщанію короля шведскаго; все балтійское прибрежье было полно именемъ Густава Адольфа. Но слава соперника грызла сердце короля датскаго, и чѣмъ больше лавровъ сулилъ ему этотъ походъ, тѣмъ менѣе могъ Христіанъ IV побѣдить свою зависть и принудить себя уступить ихъ своему сосѣду. Оба предъявили свои предложенія и условія англійскому министерству, гдѣ, наконецъ, Христіану IV удалось взять верхъ надъ своимъ соперникомъ. Густавъ Адольфъ требовалъ въ видахъ своей безопасности передачи ему въ Германіи, гдѣ самъ онъ не имѣлъ ни клочка земли, нѣсколькихъ крѣпостей, для того, чтобы въ случаѣ неудачи обезпечить своимъ войскамъ необходимое убѣжище. Христіанъ IV былъ владѣтелемъ Гольштиніи и Ютландіи и, потерпѣвъ неудачу, могъ безопасно отступить черезъ эти земли во-свояси.

Для того, чтобы опередить своего соперника, король датскій поспѣшилъ выступить въ походъ. Избранный главой нижне-саксонскаго края, онъ вскорѣ располагалъ шестидесятитысячнымъ войскомъ; администраторъ магдебургскій, герцоги брауншвейгскіе и мекленбургскіе присоединились къ нему. Помощь, обѣщанная Англіей, вдохнула въ него новое мужество, и онъ, стоя во главѣ такой силы, льстилъ себя надеждой окончить войну однимъ походомъ.

Въ Вѣну дано было знать, что вооруженіе имѣетъ цѣлью лишь защиту округа

Императоръ Фердинандъ II.

Гравюра Эгидія Заделера (Берлинская національная галлерея).

и сохраненіе спокойствія въ этомъ краѣ. Но переговоры съ Голландіей, Англіей и даже съ Франціей, необычайно напряженная дѣятельность въ округѣ и грозная армія, собранная здѣсь, имѣли въ виду какъ будто не только простую защиту, но полное возстановленіе въ правахъ курфюрста пфальцскаго и униженіе не въ мѣру усилившагося императора.

Послѣ того, какъ императоръ тщетно истощилъ переговоры, увѣщанія, угрозы и приказанія, чтобы принудить короля датскаго и нижне-саксонскій округъ положить оружіе, были открыты враждебныя дѣйствія, и нижняя Германія сдѣлалась театромъ войны. Графъ Тилли, подвигаясь по лѣвому берегу Везера, овладѣлъ всѣми проходами вплоть до Миндена; послѣ неудачнаго нападенія на Ніенбургъ и перехода черезъ рѣку онъ вторгся въ княжество Каленбергское и занялъ его своими войсками. На правомъ берегу Везера дѣйствовалъ король, войска котораго были расположены въ Брауншвейгѣ. Но, ослабивъ свой главный отрядъ выдѣленіемъ изъ него отдѣльныхъ отрядовъ, онъ не могъ предпринять ничего значительнаго съ остаткомъ войска. Сознавая превосходство своего противника,онъ избѣгалъ рѣшительнаго сраженія съ такимъ же стараніемъ, съ какимъ полководецъ лиги искалъ его.

До сихъ поръ императоръ велъ войну въ Германіи,—если не считать испанско-нидерландскихъ отрядовъ, напавшихъ на нижній Пфальцъ,—исключительно при помощи войскъ Баваріи и лиги. Максимильянъ велъ войну въ качествѣ исполнителя имперскаго рѣшенія, и Тилли, бывшій его полководцемъ, являлся слугою Баваріи. Всѣмъ своимъ превосходствомъ на полѣ битвы императоръ былъ обязанъ войскамъ Баваріи и лиги, въ рукахъ которыхъ покоились такимъ образомъ все его счастье и авторитетъ. Эта зависимость отъ доброй воли Баваріи и лиги не согласовалась съ широкими планами, которыми начали задаваться при императорскомъ дворѣ послѣ столь блестящихъ успѣховъ.

Какъ ни велика была готовность лиги встать на защиту императора, связанную съ ея собственнымъ благосостояніемъ, трудно было ожидать, чтобы она простерла свою готовность также на завоевательные планы императора, а если бы она впредь и согласилась дать войска для цѣлей завоеванія, то было основаніе опасаться, что она раздѣлитъ съ императоромъ одну лишь общую ненависть,—выгодами же завоеванія воспользуется сама. Лишь значительное войско, выставленное въ поле имъ самимъ, могло освободить императора отъ этой гнетущей зависимости отъ Баваріи и обезпечить ему сохраненіе его нынѣшняго могущества въ Германіи. Но война слишкомъ сильно истощила императорскія владѣнія и средствъ на громадныя издержки такой войны не было. Среди такихъ обстоятельствъ ничто не могло быть для императора пріятнѣе предложенія, которымъ изумилъ его одинъ изъ его офицеровъ.

Это былъ графъ Валленштейнъ, заслуженный офицеръ, богатѣйшій дворянинъ Богеміи. Съ ранней юности онъ служилъ императорскому дому и прославился во многихъ походахъ противъ турокъ, венеціанцевъ, чеховъ, венгерцевъ и трансильванцевъ. Онъ участвовалъ въ битвѣ подъ Прагой, будучи полковникомъ, и затѣмъ въ чинѣ генералъ-маіора разбилъ венгерскую армію въ Моравіи. Благодарность императора не уступала этимъ заслугамъ, и значительная доля имуществъ, конфискованныхъ послѣ чешскаго мятежа была его наградой. Владѣтель несмѣтнаго состоянія, возбужденный честолюбивыми планами, исполненный вѣры въ свою счастливую звѣзду, а еще болѣе—надеждъ на серьезное знакомство съ условіями времени, онъ предложилъ набрать и снарядить для императора армію на свои средства и средства своихъ друзей и даже избавить императора отъ заботъ о ея содержаніи, если ему будетъ позволено увеличить ее до пятидесяти тысячъ человѣкъ. Не было человѣка, который не издѣвался бы надъ этимъ предложеніемъ, какъ надъ химерическимъ порожденіемъ сумасбродной головы,—но попытка была бы вознаграждена богато даже въ томъ случаѣ, если бы была выполнена лишь часть обѣщанія. Ему предоставлено было нѣсколько округовъ въ Богеміи и дано было разрѣшеніе назначать офицеровъ по своему усмотрѣнію. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ подъ его знаменами стояло двадцать тысячъ человѣкъ, съ которыми онъ покинулъ австрійскіе предѣлы; вскорѣ затѣмъ онъ появился на границѣ Нижней Саксоніи уже съ тридцатью тысячами. Для всего этого предпріятія императоръ не далъ ничего, кромѣ своего имени. Слава полководца, виды на блестящее повышеніе и надежда на добычу привлекали удальцовъ со всѣхъ концовъ Германіи подъ его знамена, и даже

государи подъ вліяніемъ корыстолюбія или славолюбія вызывались теперь поставлять войска для Австріи.

Такимъ образомъ теперь — въ первый разъ за эту войну — въ Германіи показалось императорское войско: страшное явленіе для протестантовъ и не болѣе утѣшительное для католиковъ. Валленштейну было приказано соединить свою армію съ войсками лиги и вмѣстѣ съ баварскимъ генераломъ двинуться на короля датскаго. Но тотъ, давно уже завидуя воинской славѣ Тилли, не выказывалъ никакого желанія дѣлить съ нимъ лавры этого похода и скрывать блескъ своей славы въ сіяніи подвиговъ Тилли. Правда, военный планъ Валленштейна служилъ поддержкой операціямъ послѣдняго, но онъ выполнялъ его совершенно независимо отъ дѣйствій Тилли. Такъ какъ у него не было тѣхъ источниковъ, на средства которыхъ Тилли содержалъ свое войско, то онъ вынужденъ былъ вести свою армію въ богатыя земли, еще не пострадавшія отъ войны. Итакъ, не присоединившись—вопреки приказу—къ войскамъ лиги, онъ двинулся въ область Гальберштадта и Магдебурга и овладѣлъ при Дессау теченіемъ Эльбы. Всѣ земли по обоимъ берегамъ этой рѣки были такимъ образомъ открыты его вымогательствамъ; онъ могъ отсюда напасть съ тыла на короля датскаго и въ случаѣ необходимости проложить себѣ даже путь въ его земли.

Христіанъ IV чувствовалъ всю опасность своего положенія въ тискахъ между двумя столь страшными арміями. Еще ранѣе онъ соединился съ возвратившимся недавно изъ Голландіи администраторомъ гальберштадтскимъ; теперь онъ открыто призвалъ также графа Мансфельда, отъ услугъ котораго до сихъ поръ отказывался, и далъ ему нѣкоторую поддержку. Мансфельдъ сторицей вознаградилъ его за эту услугу. Онъ отвлекъ войска Валленштейна и помѣшалъ имъ въ союзѣ съ Тилли напасть на короля. Не обращая вниманія на численное превосходство непріятеля, этотъ смѣлый полководецъ подошелъ даже къ Дессаускому мосту и позволилъ себѣ окопаться прямо въ виду императорскихъ укрѣпленій. Но, не выдержавъ натиска всего непріятельскаго войска съ тыла, онъ вынужденъ былъ уступить численности и покинуть свой постъ, потерявъ три тысячи человѣкъ убитыми. Послѣ этого пораженія Мансфельдъ двинулся въ Бранденбургъ, гдѣ послѣ краткаго отдыха укрѣпился новыми войсками, и затѣмъ совершенно неожиданно появился вдругъ въ Силезіи, чтобы отсюда вторгнуться въ Венгрію и въ союзѣ съ Бетленъ Габоромъ внести войну въ самыя нѣдра австрійскихъ владѣній. Такъ какъ наслѣдственныя земли императора были беззащитны противъ такого непріятеля, то Валленштейнъ получилъ приказъ оставить въ покоѣ короля датскаго для того, чтобы немедленно преградить Мансфельду путь черезъ Силезію.

Диверсія арміи Валленштейна, вызванная Мансфельдомъ, дала королю возможность отправить часть своихъ войскъ въ Вестфалію, чтобы занять здѣсь епископства Мюнстеръ и Оснабрюкъ. Въ виду этого Тилли поспѣшилъ покинуть Везеръ; но движенія герцога Христіана, который выказывалъ намѣреніе ворваться чрезъ Гессенъ въ земли лиги и перенести сюда театръ войны, заставили его какъ можно скорѣе покинуть Вестфалію. Чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ этихъ земель и воспрепятствовать опасному соединенію ландграфа Гессенскаго съ непріятелемъ, Тилли поспѣшно овладѣлъ всѣми укрѣпленными мѣстами на Веррѣ и Фульдѣ и взялъ городъ Мюнденъ у входа въ Гессенскія горы, гдѣ обѣ рѣки впадаютъ въ Везеръ. Вслѣдъ затѣмъ онъ захватилъ Геттингенъ, ключъ къ Брауншвейгу и Гессену, и готовилъ ту же судьбу Нордгейму, но король со всей своей арміей поспѣшилъ воспрепятствовать его намѣренію. Обезпечивъ эту крѣпость всѣмъ необходимымъ для долгой осады, онъ попытался проложить себѣ путь въ земли лиги чрезъ Эйхсфельдъ и Тюрингію. Онъ прошелъ уже Дудерштадтъ, но графъ Тилли быстрыми переходами опередилъ его. Такъ какъ армія послѣдняго, подкрѣпленная нѣсколькими полками Валленштейна, численностью много превосходила его войско, то король, во избѣжаніе сраженія, повернулъ къ Брауншвейгу. Но Тилли неустанно преслѣдовалъ его на этомъ отступленіи и послѣ трехдневной перестрѣлки ему пришлось, наконецъ, дать непріятелю сраженіе при деревнѣ Луттеръ у Баренберга. Датчане начали бой съ большой храбростью; три раза водилъ ихъ мужественный король противъ непріятеля; но, наконецъ, болѣе слабая сторона должна была уступить численности и военной опытности непріятеля,—и полная побѣда выпала на долю полководца лиги. Шестьдесятъ знаменъ и вся артиллерія, обозъ и аммуниція достались побѣдителю; много благородныхъ офи-

церовъ и около четырехъ тысячъ рядовыхъ остались на полѣ сраженія; нѣсколько ротъ пѣхоты, бросившихся во время бѣгства въ Луттеръ, положили оружіе и сдались побѣдителю.

Король бѣжалъ со своей кавалеріей, но оправился быстро послѣ этого чувствительнаго удара. Тилли, пользуясь плодами своей побѣды, овладѣлъ Везеромъ и брауншвейгскими землями и оттѣснилъ короля обратно къ Бремену. Запуганный пораженіемъ, король собирался теперь держаться оборонительнаго образа дѣйствій, особенно для того, чтобы воспрепятствовать непріятелю перейти черезъ Эльбу. Но, отдѣливъ гарнизоны для всѣхъ крѣпостей, онъ не могъ ничего сдѣлать съ остатками своего войска; разрозненные отряды были одинъ за другимъ разсѣяны или уничтожены непріятелемъ. Войска лиги, овладѣвъ всѣмъ теченіемъ Везера, распространились по ту сторону Эльбы и Гафеля, и датскіе отряды были выбиты изъ всѣхъ позицій. Самъ Тилли переправился черезъ Эльбу и побѣдоносно двинулся въ самыя нѣдра Бранденбурга, между тѣмъ какъ Валленштейнъ вторгся съ другой стороны въ Гольштинію, чтобы, такимъ образомъ, перенести войну въ собственныя владѣнія короля.

Онъ возвратился только что изъ Венгріи, гдѣ преслѣдовалъ графа Мансфельда, не имѣя возможности удержать его движеніе или воспрепятствовать его соединенію съ Бетленъ Габоромъ. Преслѣдуемый неустанно судьбой и всегда побѣждая свою судьбу, Мансфельдъ среди невѣроятныхъ усилій счастливо пробился чрезъ Силезію и Венгрію къ князю Семиградскому, гдѣ онъ, однако, былъ принятъ не слишкомъ радушно. Въ надеждѣ на помощь Англіи и на сильную диверсію въ нижней Саксоніи, Габоръ снова нарушилъ перемиріе съ императоромъ,—и вдругъ Мансфельдъ вмѣсто ожидаемой диверсіи привелъ ему за собой по пятамъ все войско Валленштейна и вмѣсто того, чтобы принести деньги, требовалъ ихъ отъ него. Эти нелады между протестантскими государями охладили пылъ Габора, и онъ поспѣшилъ, какъ всегда, отдѣлаться отъ грозныхъ войскъ императора поспѣшнымъ миромъ. Твердо рѣшившись нарушить этотъ миръ снова при первомъ лучѣ надежды, онъ отправилъ графа Мансфельда въ Венецію, чтобы тамъ прежде всего добыть денегъ.

Отрѣзанный отъ Германіи и совершенно лишенный возможности прокормить жалкіе остатки своихъ войскъ въ Венгріи, Мансфельдъ продалъ орудія и аммуницію и распустилъ своихъ солдатъ. Съ небольшой свитой онъ направился чрезъ Боснію и Далмацію въ Венецію; новые замыслы наполняли его мужествомъ, но поприще его было закончено. Судьба, неустанно бросавшая его повсюду при жизни, приготовила ему могилу въ Далмаціи. Недалеко отъ Зары настигла его смерть (1626 г.). Незадолго передъ тѣмъ скончался его вѣрный товарищъ Христіанъ герцогъ брауншвейгскій,—два мужа, которые были-бы достойны безсмертія, если-бы они такъ же возвышались надъ своимъ вѣкомъ, какъ надъ своей судьбой.

Король датскій и со всѣми своими войсками не могъ бороться съ однимъ Тилли; тѣмъ менѣе могъ онъ отказывать сопротивленіе обоимъ полководцамъ императора съ войсками ослабленными. Датчане уступали одну за другой свои позиціи на Везерѣ, Эльбѣ и Гафелѣ, и армія Валленштейна хлынула бурнымъ потокомъ на Бранденбургъ, Мекленбургъ, Гольштинію и Шлезвигъ. Этотъ полководецъ, слишкомъ надменный, чтобы дѣйствовать совмѣстно съ другимъ, отправилъ полководца лиги черезъ Эльбу какъ будто затѣмъ, чтобы тамъ наблюдать за голландцами, на самомъ-же дѣлѣ для того, чтобы самолично окончить войну противъ короля и, такимъ образомъ, пожать плоды побѣдъ, одержанныхъ усиліями Тилли. Христіанъ потерялъ всѣ крѣпости въ своихъ нѣмецкихъ владѣніяхъ, кромѣ Глюкштадта, войска его были разбиты или разсѣяны, Германія не давала ему никакой помощи, Англія—очень мало утѣшенія, его союзники въ нижней Саксоніи были отданы въ жертву ярости побѣдителя. Ландграфа гессенъ-кассельскаго Тилли заставилъ вслѣдъ за побѣдой при Луттерѣ отказаться отъ союза съ Даніей. Грозное появленіе Валленштейна предъ Берлиномъ заставило курфюрста бранденбургскаго покориться и принудило его признать Максимиліана баварскаго законнымъ курфюрстомъ. Большая часть Мекленбурга была наводнена теперь войсками императора, оба герцога въ качествѣ сторонниковъ короля датскаго наказаны имперской опалой и изгнаны изъ ихъ владѣній. Защита нѣмецкой свободы отъ незаконныхъ захватовъ оказалась преступленіемъ, которое влекло за собой потерю всѣхъ сановъ и владѣній. И все это было лишь началомъ вопіющихъ насилій, которыя должны были послѣдовать впредь.

Императоръ Фердинандъ II въ коронаціонномъ одѣяніи.
Современная гравюра Вольфганга Кидіана.

Теперь выяснилась тайна, какимъ способомъ Валленштейнъ предполагалъ привести въ исполненіе свои хвастливыя обѣщанія. Онъ научился этому у графа Мансфельда; но ученикъ превзошелъ учителя. Сообразно съ принципомъ, что война должна питать войну, Мансфельдъ и герцогъ Христіанъ содержали свои войска на средства, добытыя путемъ вымогательствъ, безразлично отъ друга или отъ врага; но этотъ разбойничій пріемъ и сопровождался всѣми неудобствами и опасностями разбойничьяго существованія. Подобно бѣглымъ ворамъ, приходилось имъ пробираться межъ бдительныхъ и ожесточенныхъ враговъ, бѣжать изъ одного конца Германіи въ другой, трепетно ждать удобнаго случая и избѣгать именно самыхъ богатыхъ земель, которыя находились подъ охраной болѣе сильныхъ войскъ. Если Мансфельдъ и герцогъ Христіанъ, въ борьбѣ съ столь страшными препятствіями, успѣли все таки сдѣлать такъ удивительно много, то чего нельзя было сдѣлать, если стать выше всѣхъ этихъ препятствій, — если армія, собранная теперь, была достаточно многочисленна, чтобы привести въ ужасъ самаго сильнаго изъ государей имперіи порознь, если имя императора обезпечивало безнаказанность, словомъ, если подъ прикрытіемъ высшаго авторитета имперіи и во главѣ могущественной арміи слѣдовать тому-же плану, который придумали тѣ два авантюриста за свой страхъ и рискъ съ случайно набранной бандой.

Все это имѣлъ въ виду Валленштейнъ, дѣлая императору свое смѣлое предложеніе, которое теперь никто не найдетъ слишкомъ самоувѣреннымъ. Чѣмъ сильнѣе было войско, тѣмъ менѣе надо было заботиться о его содержаніи, потому что тѣмъ болѣе трепетали предъ нимъ всѣ противники; чѣмъ страшнѣе были насилія, тѣмъ безнаказаннѣе можно ихъ было творить. Противъ враждебно настроенныхъ имперскихъ чиновъ у нихъ было видимое право; дѣйствуя противъ вѣрныхъ, они могли сослаться на мнимую необходимость. Неравномѣрное распредѣленіе этого гнета препятствовало опасному единству между чинами; истощеніе ихъ земель лишало ихъ средствъ сопротивленія. Такимъ образомъ, вся Германія стала провіантнымъ магазиномъ для войскъ императора и онъ могъ хозяйничать во всѣхъ земляхъ, какъ въ своихъ наслѣдственныхъ владѣніяхъ. Всеобщія мольбы о правосудіи неслись къ трону императора, но можно было считать себя огражденнымъ отъ мести обиженныхъ государей, пока они добивались правосудія. Общее неудовольствіе распредѣлилось между императоромъ, во имя котораго совершались всѣ эти ужасы, и полководцемъ, который переступилъ границы своихъ полномочій и открыто употреблялъ во зло авторитетъ своего господина. Прибѣгали къ императору, чтобы добиться отъ него защиты отъ его полководца; но какъ только Валленштейнъ почувствовалъ, что благодаря своимъ войскамъ онъ всемогущъ, онъ сбросилъ съ себя узы покорности императору.

Полное истощеніе врага давало возможность ожидать близкаго мира; тѣмъ не менѣе Валленштейнъ продолжалъ все усиливать императорскія войска и наконецъ довелъ ихъ численность до ста тысячъ человѣкъ. Безчисленные полковничьи и офицерскіе патенты, королевскій штатъ генерала, громадныя подачки его креатурамъ (онъ не даритъ никогда менѣе тысячи гульденовъ), невѣроятныя суммы на подкупы при дворѣ, чтобы сохранить здѣсь свое вліяніе,—и все это безъ всякаго обремененія для императорской казны. Всѣ эти гигантскія суммы были добыты путемъ контрибуцій въ нижне-нѣмецкихъ областяхъ; не дѣлалось никакого различія между врагомъ и другомъ,—вездѣ самовольные проходы и расквартировки во владѣніяхъ всѣхъ государей, вездѣ одинаковые вымогательства и насилія. Если вѣрить одному преувеличенному указанію того времени, то Валленштейнъ въ теченіе семилѣтняго командованія собралъ посредствомъ контрибуцій съ одной только половины Германіи шестьдесятъ милліоновъ талеровъ. Чѣмъ невѣроятнѣе были вымогательства, тѣмъ обширнѣе были его военные запасы, тѣмъ охотнѣе, стало быть стекались подъ его знамена; весь міръ гонится за счастьемъ. Его войска увеличивались, а земли, по которымъ они проходили, увядали. Но что было ему до проклятій провинцій, до жалобъ государей? Его войско боготворило его, и самое преступленіе давало ему возможность смѣяться надъ всѣми его послѣдствіями.

Было-бы несправедливостью ставить всѣ эти безобразія императорскихъ армій на счетъ самому императору. Если-бы Фердинандъ ранѣе зналъ, что онъ отдаетъ въ жертву своему полководцу всѣ государства Германіи, то онъ неизбѣжно понялъ-бы,

какъ много самъ онъ рискуетъ при такомъ неограниченно могущественномъ полководцѣ. Чѣмъ тѣснѣе были узы между арміей и ея предводителемъ, отъ котораго исходило всякое счастье, всякое повышеніе, тѣмъ болѣе ослаблялись эти узы между ними обоими съ одной стороны и императоромъ съ другой. Правда, все дѣлалось во имя послѣдняго; но Валленштейнъ пользовался величіемъ главы имперіи лишь для того, чтобы добиться уничтоженія всякаго другого авторитета въ Германіи. Отсюда—усвоенное этимъ человѣкомъ правило явно унижать германскихъ государей, уничтожать постепенно всѣ ступени и ранги между этими государями и главою имперіи и возвысить авторитетъ послѣдняго сверхъ всякаго сравненія. Если императоръ будетъ единственной законодательной силой въ Германіи, кто сравнится тогда съ визиремъ, котораго онъ избралъ въ исполнители своей воли? Самого императора изумила высота, на которую возвелъ его Валленштейнъ, но это величіе господина было твореніемъ его слуги, и созданіе Валленштейна неминуемо должно было погибнуть, разъ его не поддерживала рука его создателя. Не напрасно возмущалъ онъ всѣхъ государей Германіи противъ императора—чѣмъ яростнѣе была ихъ вражда противъ Фердинанда, тѣмъ необходимѣе былъ для императора тотъ человѣкъ, который одинъ имѣлъ возможность охранить его отъ ихъ злыхъ намѣреній. Его планъ состоялъ, очевидно, въ томъ, чтобы его повелитель не боялся во всей Германіи никого, кромѣ одного человѣка—того, кому онъ былъ обязанъ этимъ могуществомъ.

Шагомъ къ этой цѣли было требованіе Валленштейна предоставить ему въ качествѣ временнаго залога только что завоеванный Мекленбургъ, пока ему будутъ возмѣщены издержки, понесенныя имъ для императора до сихъ поръ. Еще ранѣе Фердинандъ, очевидно для того, чтобы дать своему полководцу преимущество предъ баварскимъ, возвелъ его въ санъ герцога Фридландскаго; но обыкновенная награда не могла, конечно, насытить самолюбіе и честолюбіе Валленштейна. Напрасно подымались въ императорскомъ совѣтѣ недовольные голоса противъ этого новаго повышенія на счетъ двухъ государей имперіи; напрасно протествовали даже испанцы, которыхъ давно уже оскорбляла надменность Валленштейна. Сильная партія приверженцевъ среди совѣтниковъ императора, державшая его сторону подъ вліяніемъ подкупа, одержала верхъ; какимъ бы то ни было образомъ Фердинандъ хотѣлъ во что бы то ни стало связать благодарностью этого необходимаго слугу. Придравшись къ незначительному проступку, вышвырнули изъ ихъ наслѣдія представителей одного изъ старѣйшихъ владѣтельныхъ домовъ Германіи, чтобы ихъ достояніемъ вознаградить императорскую креатуру (1628 г.).

Вскорѣ затѣмъ Валленштейнъ сталъ именовать себя морскимъ и сухопутнымъ генералиссимусомъ императора. Городъ Висмаръ былъ взятъ, и такимъ образомъ пріобрѣтена точка опоры на балтійскомъ побережьи. Отъ Польши и ганзейскихъ городовъ были потребованы корабли, для того, чтобы перенести войну по ту сторону Балтійскаго моря, преслѣдовать датчанъ въ самыхъ нѣдрахъ ихъ государства и принудить ихъ къ миру, который долженъ былъ повести къ еще болѣе важнымъ завоеваніямъ. Связь нижне-нѣмецкихъ чиновъ съ сѣверными государствами была бы разорвана, если бы императору удалось стать между ними и отъ Адріатическаго моря вплоть до Зунда окружить Германію непрерывной цѣпью своихъ земель (лежавшая по пути Польши зависѣла отъ него). Если таковы были намѣренія императора, то у Валленштейна были свои основанія преслѣдовать ту же цѣль. Остзейскія владѣнія должны были послужить краеугольнымъ камнемъ могущества, мечтами о которомъ давно тѣшилось его честолюбіе и которое должно было дать ему возможность обходиться впредь безъ своего господина.

Чтобы добиться этой цѣли было въ высшей степени важно овладѣть городомъ Штральзундомъ на балтійскомъ побережьи. Его превосходная гавань и легкая переправа отсюда на шведскій и датскій берега дѣлали его въ высшей степени пригоднымъ складочнымъ мѣстомъ въ случаѣ войны съ обоими государствами. Городъ этотъ, шестой въ ганзейскомъ союзѣ, пользовался подъ охраной герцога померанскаго весьма важными привилегіями; не имѣя никакихъ связей съ Даніей, онъ не принималъ въ текущей войнѣ ни малѣйшаго участія. Но ни этотъ нейтралитетъ, ни привилегіи не могли спасти его отъ вожделѣній Валленштейна.

Предложеніе Валленштейна принять императорскій гарнизонъ было съ мужественной твердостью отвергнуто штральзундскимъ магистратомъ; было отказано

также въ коварной просьбѣ пропустить императорское войско. Тогда Валленштейнъ началъ осаду города.

Для обоихъ сѣверныхъ королей было равно важно сохранить независимость Штральзунда, безъ которой свобода плаванія по Бельту не могла считаться безопасной. Общая опасность побѣдила, наконецъ, личную вражду, давно уже разъединявшую обоихъ королей. По договору въ Копенгагенѣ (1628 г.) они обязались взаимно защищать Штральзундъ соединенными силами и сообща бороться со всякой иноземной державой, которая съ враждебными намѣреніями покажется у Балтійскаго моря. Христіанъ IV отправилъ тотчасъ же въ Штральзундъ достаточный гарнизонъ и личнымъ пребываніемъ воодушевилъ мужество гражданъ. Нѣсколько военныхъ кораблей, присланныхъ на помощь императорскому полководцу королемъ польскимъ Сигизмундомъ, были пущены датскимъ флотомъ ко дну, и такъ какъ городъ Любекъ отказалъ ему дать свои корабли, то генералиссимусу морскому и сухопутному не хватило кораблей даже для того, чтобы запереть гавань одного лишь города.

Очевидно, ничто не можетъ быть причудливѣе желанія взять превосходно укрѣпленную морскую крѣпость, оставляя открытымъ ея портъ. Валленштейнъ, до сихъ поръ не знавшій сопротивленія, хотѣлъ на этотъ разъ преодолѣть также природу и побѣдить непобѣдимое. Штральзундъ, открытый съ моря, продолжалъ безъ всякихъ препятствій получать жизненные припасы и подкрѣпляться новыми войсками, тѣмъ не менѣе Валленштейнъ обложилъ его съ суши и старался хвастливыми угрозами замѣнить недостатокъ болѣе дѣйствительныхъ средствъ. „Я возьму этотъ городъ, хотя-бы онъ былъ прикованъ цѣпями къ небу“—говорилъ онъ. Самъ императоръ, быть можетъ, раскаиваясь въ предпріятіи, которое не могло окончиться для него славнымъ исходомъ, съ удовольствіемъ воспользовался мнимой покорностью и нѣкоторыми подходящими предложеніями гражданъ Штральзунда, чтобы приказать своему полководцу отступить отъ города. Валленштейнъ пренебрегъ этимъ приказомъ и продолжалъ неустанно штурмовать осажденныхъ. Такъ какъ датскій гарнизонъ, значительно уменьшившись, не имѣлъ возможности справиться съ массой безпрестанной работы, а король не имѣлъ никакой возможности отправить въ этотъ городъ больше войска, то Штральзундъ, съ разрѣшенія Христіана, обратился за помощью къ королю шведскому. Датскій комендантъ, оставивъ крѣпость, уступилъ мѣсто шведскому, который продолжалъ оборону съ большимъ успѣхомъ. Счастье Валленштейна разбилось объ этотъ городъ, и въ первый разъ въ жизни его гордости пришлось испытать чувствительное пораженіе: послѣ цѣлаго ряда потерянныхъ мѣсяцевъ и съ урономъ въ двѣнадцать тысячъ человѣкъ отказаться отъ своего намѣренія. Но необходимость прибѣгнуть къ шведской помощи вслѣдствіе осады вызвала тѣсный союзъ между Густавомъ Адольфомъ и Штральзундомъ, что впослѣдствіи не мало облегчило появленіе шведовъ въ Германіи.

До сихъ поръ счастье сопровождало оружіе лиги и императора, и Христіанъ IV, побѣжденный въ Германіи, вынужденъ былъ искать убѣжища на своихъ островахъ; но Балтійское море остановило это завоевательное движеніе. Недостатокъ въ корабляхъ не только воспрепятствовалъ продолжать преслѣдованіе короля, но даже грозилъ побѣдителю потерей уже сдѣланныхъ завоеваній. Опаснѣе всего было возможное соединеніе обоихъ сѣверныхъ монарховъ, которое совершенно лишало императора и его полководцевъ возможности играть какую либо роль на Балтійскомъ морѣ или сдѣлать высадку въ Швеціи. Если бы, однако, удалось разъединить интересы обоихъ государей и особенно обезпечить себя дружбой датскаго короля, то можно было надѣяться легко уничтожить обособленную шведскую державу. Страхъ предъ вмѣшательствомъ чужеземныхъ государствъ, крамола протестантовъ въ его наслѣдственныхъ владѣніяхъ, гигантскія издержки текущей войны и болѣе всего буря, которая грозила разразиться во всей протестантской Германіи, склоняли императора къ миру, а его полководецъ, по совершенно противоположнымъ побужденіямъ, спѣшилъ исполнить это желаніе. Весьма мало склонный желать мира, который долженъ былъ изъ блеска величія и могущества повергнуть его во тьму частной жизни, онъ хотѣлъ только перенести войну на новый театръ и путемъ этого односторонняго мира затянуть лишь всеобщую смуту. Дружба Даніи, сосѣдомъ которой онъ сдѣлался въ качествѣ герцога мекленбургскаго, была весьма важна для его широкихъ плановъ,

и онъ рѣшилъ, хотя бы и во вредъ своему повелителю, связать благодарностью короля датскаго.

Договоромъ въ Копенгагенѣ Христіанъ IV обязался не заключать безъ участія Швеціи отдѣльнаго мира съ императоромъ. Несмотря на это, предложеніе, сдѣланное ему Валленштейномъ, было принято съ готовностью. На конгрессѣ въ Любекѣ (1629 г.), участіе въ которомъ шведскихъ пословъ, явившихся ходатайствовать за Мекленбургъ, было съ намѣреннымъ пренебреженіемъ отклонено Валленштейномъ, датчане получили отъ императора обратно всѣ отнятыя у нихъ земли. Король обязался впредь вмѣшиваться въ дѣла Германіи лишь настолько, насколько даетъ ему на то право званіе герцога гольштинскаго, ни въ какомъ случаѣ не присваивать нижне-нѣмецкихъ духовныхъ владѣній и, наконецъ, предоставить мекленбургскихъ герцоговъ ихъ судьбѣ. Христіанъ самъ вовлекъ этихъ обоихъ государей въ войну съ императоромъ; теперь онъ жертвовалъ ими, чтобы сдѣлать одолженіе тому, кто похитилъ ихъ владѣнія. Среди побудительныхъ причинъ, заставившихъ его начать войну съ императоромъ, быть можетъ, важнѣйшей было возстановленіе курфюрста пфальцскаго, его родственника, на престолѣ,—и объ этомъ государѣ не было упомянуто въ любекскомъ мирномъ договорѣ ни единымъ звукомъ; наоборотъ, въ одной изъ статей его была признана законность баварскаго курфюршества. Столь безславно сошелъ Христіанъ IV со сцены.

Теперь покой Германіи былъ вторично въ рукахъ Фердинанда, и отъ него только зависѣло превратить миръ съ Даніей въ миръ всеобщій. Изо всѣхъ областей Германіи неслись къ его трону стоны несчастныхъ, молившихъ его положить конецъ ихъ терзаніямъ; неистовства его солдатъ, корыстолюбіе его полководцевъ перешли всѣ границы. Наводненная опустошительными бандами Мансфельда и Христіана брауншвейгскаго и страшными отрядами Тилли и Валленштейна, Германія лежала въ крови, въ безсиліи и опустошеніи и молила о покоѣ. Горячо было стремленіе къ миру у всѣхъ чиновъ государства, могуче было оно у самого императора, который, втянувшись въ верхней Италіи въ войну съ Франціей, былъ обезсиленъ текущей войной въ Германіи и боялся разсчетовъ, которые его ожидали. Но, къ несчастію, условія, на которыхъ обѣ религіозныя партіи соглашались вложить мечъ въ ножны, были прямо противоположны. Католики хотѣли окончить войну съ выгодой для себя; протестанты хотѣли того-же; императоръ, вмѣсто того, чтобы съ мудрой увѣренностью согласовать требованія обѣихъ партій, сталъ сторонникомъ одной изъ нихъ,—и Германія снова была повергнута въ ужасы страшной войны.

Ужъ послѣ прекращенія чешскаго возстанія Фердинандъ занялся искорененіемъ реформаціи въ своихъ наслѣдственныхъ владѣніяхъ; изъ уваженія къ нѣкоторымъ евангелическимъ чинамъ мѣропріятія эти проводились съ умѣренностью. Но побѣды полководцевъ императора въ нижней Германіи дали ему мужество сбросить съ себя всякія узы. Сообразно съ этимъ, всѣмъ протестантамъ въ его наслѣдственныхъ владѣніяхъ было предложено отказаться отъ своей религіи или отъ своего отечества—страшный, безчеловѣчный выборъ, вызвавшій ужасное возмущеніе среди австрійскихъ крестьянъ. Въ пфальцскихъ владѣніяхъ, вскорѣ послѣ изгнанія Фридриха V, реформатское богослуженіе было уничтожено и преподаватели, исповѣдывавшіе эту религію, были изгнаны изъ Гейдельбергскаго университета.

Эти нововведенія были лишь преддверіемъ къ болѣе серьезнымъ новшествамъ. На собраніи курфюрстовъ въ Мюльгаузенѣ католики потребовали отъ императора, чтобы онъ возвратилъ католической церкви всѣ перешедшія со времени религіознаго мира въ Аугсбургѣ къ протестантамъ архіепископства, епископства самостоятельныя и подчиненныя, аббатства и монастыри, и, такимъ образомъ, вознаградилъ католическіе чины за всѣ потери и непріятности, которыя они претерпѣли въ текущей войнѣ. Такой намекъ, сдѣланный столь строго католическому государю, какъ Фердинандъ, не могъ остаться безъ результата; но онъ находилъ еще несвоевременнымъ возмущать всю протестантскую Германію столь рѣшительнымъ шагомъ. Не было протестантскаго государя, для котораго отнятіе духовныхъ владѣній не было потерей части его земель. Тамъ, гдѣ доходы съ нихъ шли не вполнѣ на свѣтскія цѣли, они обращались въ пользу протестантской церкви. Многіе государи обязаны были этимъ поступленіямъ значительной частью своихъ доходовъ и своей силы. Всѣхъ безъ исключенія должно было возмутить до крайности отнятіе духовныхъ владѣній. Религіозный миръ не лишалъ ихъ права на нихъ, хотя и не ставилъ его внѣ всякихъ сомнѣній. Не долгое, у многихъ длившееся почти

цѣлое столѣтіе, владѣніе ими, молчаніе четырехъ смѣнившихъ до сихъ поръ другъ друга императоровъ, законъ справедливости, который давалъ имъ равное право съ католиками на наслѣдіе ихъ предковъ,—все это было ими приведено, какъ полное основаніе ихъ права. Кромѣ дѣйствительной потери, которую претерпѣвало вслѣдствіе возстановленія духовныхъ учрежденій ихъ могущество и юрисдикція, кромѣ необозримой смуты и неописуемыхъ затрудненій, которыя должны были быть слѣдствіемъ всего этого, не малымъ вредомъ было для нихъ и то, что вновь назначенные католическіе епископы, очевидно, должны были усилить католическую партію въ имперскомъ сеймѣ такимъ-же количествомъ новыхъ голосовъ. Столь чувствительныя потери протестантовъ давали императору поводъ ожидать самаго упорнаго сопротивленія съ ихъ стороны, и прежде чѣмъ пламя войны въ Германіи не будетъ погашено совершенно, онъ не хотѣлъ возбуждать противъ себя несвоевременно цѣлую партію, столь опасную въ своемъ единствѣ и имѣвшую могущественную опору въ лицѣ курфюрста Саксонскаго. Поэтому онъ сдѣлалъ раньше опытъ въ малыхъ размѣрахъ, чтобы испытать, какъ будетъ это принято въ большихъ Нѣсколько имперскихъ городовъ въ верхней Германіи и герцогъ Вюртембергскій получили приказаніе передать католикамъ различныя духовныя учрежденія.

Положеніе вещей въ Саксоніи дало императору возможность сдѣлать здѣсь нѣкоторыя еще болѣе смѣлыя попытки. Въ епископствахъ магдебургскомъ и гальберштадтскомъ протестантскіе каноники позволили себѣ выбрать епископа своего вѣроисповѣданія. Оба епископства, за исключеніемъ города Магдебурга, были теперь переполнены войсками Валленштейна. Случайно епископство гальберштадтское было свободно теперь, вслѣдствіе смерти администратора, герцога Христіана брауншвейгскаго, а Магдебургъ, вслѣдствіе отрѣшенія Христіана Вильгельма, бранденбургскаго принца. Фердинандъ воспользовался этими обоими обстоятельствами, чтобы вручить Гальберштадтское епископство католику, да еще принцу изъ своего-же дома. Чтобы предупредить такое насиліе, Магдебургскій капитулъ поспѣшилъ выбрать архіепископомъ сына курфюрста Саксонскаго. Но папа, вмѣшавшись самовольно въ это дѣло, присудилъ магдебургскую каѳедру австрійскому принцу; и нельзя было не удивляться ловкости Фердинанда, который при всей священной ревности къ дѣламъ вѣры не забывалъ заботиться о благѣ своихъ родственниковъ.

Замокъ Фридландъ въ настоящее время.

Наконецъ любекскій миръ обезпечилъ императора отъ вражды Даніи, германскіе протестанты были какъ будто совершенно разгромлены, а требованія лиги становились все громче и настоятельнѣе. Фердинандъ подписалъ пользующійся такой печальной извѣстностью эдиктъ о возвращеніи духовныхъ владѣній (1629 г.), отдавъ его предварительно на утвержденіе каждаго изъ четырехъ католическихъ курфюрстовъ. Во

введеніи онъ говоритъ, что имѣетъ право, въ силу своихъ императорскихъ полномочій, давать толкованіе смыслу религіознаго мира, различное пониманіе котораго до сихъ поръ служило предлогомъ всякихъ смутъ, и въ качествѣ высшаго посредника и судьи выступать въ роли примирителя между обѣими враждующими партіями. Это право онъ основывалъ на обычаѣ его предковъ и на давнишнемъ согласіи самихъ протестантскихъ чиновъ. Курфюршество Саксонское, дѣйствительно, признало за императоромъ это право; теперь выяснилось, какъ много вреда причинилъ этотъ дворъ протестантскому дѣлу своей приверженностью Австріи. Если, однако, буква религіознаго мира въ самомъ дѣлѣ могла явиться предметомъ различныхъ толкованій, что въ достаточной степени доказали вѣковые раздоры обѣихъ религіозныхъ партій, то, разумѣется, императоръ, который самъ былъ католическимъ или протестантскимъ членомъ имперіи и, такимъ образомъ, самъ принадлежалъ къ одной изъ партій, никоимъ образомъ не могъ рѣшать религіознаго спора между католическими и протестантскими чинами, не нарушая важнѣйшаго постановленія религіознаго мира. Онъ не могъ быть судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ, не обращая свободу нѣмецкой имперіи въ пустой звукъ.

А между тѣмъ въ силу этого незаконно присвоеннаго права толковать религіозный миръ, Фердинандъ издалъ постановленіе, по которому „всякое обращеніе протестантами въ свою собственность какъ самостоятельнаго, такъ и подчиненнаго духовнаго учрежденія, произведенное по заключеніи мира, противорѣчитъ смыслу этого мира и, какъ нарушеніе такового, подлежитъ отмѣнѣ". Онъ опредѣлялъ далѣе, что „религіозный миръ не обязываетъ католическаго государя разрѣшать своему протестантскому подданному что либо, кромѣ свободнаго выѣзда изъ его владѣній". Сообразно этому рѣшенію, всѣ незаконные владѣтели духовныхъ учрежденій—стало быть всѣ протестантскіе чины имперіи безъ различія—подъ страхомъ имперской опалы—обязаны были безъ замедленія выдать это незаконное достояніе императорскимъ комиссарамъ.

Въ спискѣ значилось два архіепископства, двѣнадцать епископствъ и безчисленное множество монастырей, присвоенныхъ протестантами. Этотъ эдиктъ былъ громовымъ ударомъ для всей протестантской Германіи; страшный уже тѣмъ, что онъ отнималъ въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ еще страшнѣе тѣмъ, на что указывалъ въ будущемъ и предвѣстникомъ чего являлся. Теперь протестанты не сомнѣвались, что императоръ и католическая лига рѣшились стереть съ лица земли ихъ религію, а вслѣдъ затѣмъ погибнетъ нѣмецкая свобода. Вопреки всякимъ представленіямъ, были назначены комиссары и собрана армія, чтобы обезпечить имъ повиновеніе. Дѣло начали съ Аугсбурга, гдѣ заключенъ былъ миръ; городъ долженъ былъ возвратиться подъ юрисдикцію своего епископа, и шесть протестантскихъ церквей было закрыто. Такимъ же образомъ былъ принужденъ герцогъ Вюртембергскій выдать свои монастыри. Этотъ энергичный образъ дѣйствій повергъ въ ужасъ всѣхъ евангелическихъ владѣтелей имперіи, но не могъ воодушевить ихъ къ дѣятельному сопротивленію. Слишкомъ могущественъ былъ страхъ предъ мощью императора; большая часть начала уже склоняться къ уступкамъ. Надежда достигнуть мирнымъ путемъ исполненія своего желанія побудила въ виду этого католиковъ продлить еще на годъ приведеніе эдикта въ исполненіе, и это спасло протестантовъ. Прежде чѣмъ истекъ срокъ, успѣхи шведскаго оружія совершенно измѣнили положеніе вещей.

На собраніи курфюрстовъ въ Регенсбургѣ, гдѣ лично присутствовалъ Фердинандъ (1630 г.), были сдѣланы всѣ усилія совершенно успокоить Германію и удовлетворить всѣ жалобы; послѣднія исходили отъ католиковъ не въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ отъ протестантовъ,—какъ ни увѣрялъ себя Фердинандъ, что онъ достаточно облагодѣтельствовалъ всѣхъ членовъ лиги эдиктомъ о возстановленіи, а предводителя ея дарованіемъ курфюршескаго сана и пожалованіемъ большей части пфальцскихъ владѣній. Хорошія отношенія между императоромъ и государями лиги поколебались очень сильно со времени появленія Валленштейна. Привыкнувъ играть въ Германіи роль законодателя и даже распоряжаться судьбою императора, гордый курфюрстъ Баварскій замѣтилъ, что полководецъ императора разомъ сдѣлалъ его совершенно ненужнымъ и что все его прежнее значеніе исчезло вмѣстѣ съ авторитетомъ лиги. Другому суждено было пожать плоды его побѣдъ и покрыть забвеніемъ всѣ его прежнія заслуги. Надменный ха-

рактеръ герцога Фридландскаго, которому ничто не приносило столько сладкихъ минутъ какъ возможность относиться съ пренебреженіемъ къ сану государей и давать злостное распространеніе авторитету своего господина, не мало способствовалъ усиленію раздраженія въ курфюрстѣ. Недовольный императоромъ, исполненный недовѣрія къ его замысламъ, онъ вступилъ въ союзъ съ Франціей, въ которомъ были заподозрѣны и остальные государи лиги. Страхъ предъ завоевательной политикой императора, недовольство вопіющими злоупотребленіями заглушали въ нихъ всякое чувство благодарности. Вымогательства Валленштейна стали совершенно невыносимы. Бранденбургъ цѣнилъ свои убытки въ двадцать милліоновъ, Померанія—въ десять, Гессенъ—въ семь, остальные—въ той же пропорціи. Отовсюду неслись всеобщія мольбы о помощи; напрасны были всякія представленія; въ этомъ единственномъ вопросѣ между католиками и протестантами разногласій не было. Испуганный императоръ былъ забросанъ массою петицій, направленныхъ противъ Валленштейна, и совершенно ошеломленъ невѣроятными описаніями всевозможныхъ насилій. Фердинандъ не былъ варваромъ. Если онъ и былъ отчасти виновенъ въ гнусностяхъ, которыя творились отъ его имени въ Германіи, онъ все-же не зналъ размѣровъ ихъ и потому, не долго думая, уступилъ требованіямъ государей и распустилъ восемнадцать тысячъ кавалеріи изъ своихъ войскъ. Во время этого уменьшенія арміи шведы дѣятельно готовились къ походу въ Германію, и большая часть распущенныхъ императоромъ солдатъ поспѣшила стать подъ ихъ знамена.

Солдатскіе типы. (Изъ соврем соч. Callot «Les exerc ces militaires»).

Эта уступчивость Фердинанда дала лишь поводъ курфюрстру баварскому выступить съ болѣе рѣшительными требованіями. Торжество надъ авторитетомъ императора было неполно, пока герцогъ Фридландскій оставался главнокомандующимъ. Жестоко мстили теперь государи этому полководцу за высокомѣріе, гнетъ котораго чувствовали всѣ они безъ различія. Поэтому отставки его требовали единодушно всѣ курфюрсты и даже испанцы съ единодушіемъ и яростію, изумившими императора. Но именно единодушіе и ярость, съ которой враги императора настаивали на отставкѣ Валленштейна, должны были убѣдить его въ значеніи этого слуги. Валленштейнъ, увѣдомленный объ интригахъ, которыя ковались противъ него въ Регенсбургѣ, не замедлилъ выяснить императору истинные замыслы курфюрста Баварскаго. Онъ появился самъ въ Регенсбургѣ, но съ такой пышностью, которая затмила самого императора и дала лишь новую пищу ненависти его враговъ.

Долго не могъ рѣшиться императоръ. Тяжела была жертва, которой отъ него требовали. Всѣмъ своимъ превосходствомъ онъ былъ обязанъ герцогу Фридландскому; онъ чувствовалъ, какъ много онъ теряетъ, жертвуя Валленштейномъ ненависти государей. Но, къ несчастію, онъ самъ нуждался теперь въ благосклонности курфюрстовъ. Онъ задумалъ передать свой императорскій престолъ сыну своему Фердинанду, избранному королемъ венгерскимъ, для чего ему необходимо было согласіе Максимиліана. Это обстоятельство было для него въ высшей степени важно, и онъ не поколебался предать своего лучшаго слугу, чтобы снискать благоволеніе курфюрста Баварскаго. На томъ-же съѣздѣ курфюрстовъ въ Регенсбургѣ присутствовали также французскіе послы, уполномоченные предотвратить войну, которая грозила вспыхнуть между императоромъ и ихъ повелителемъ въ Италіи. Герцогъ Мантуанскій и Монферратскій Виченцо умеръ, не оставивъ наслѣдниковъ. Его ближайшій родственникъ, Карлъ герцогъ Неверскій поспѣшилъ овладѣть наслѣдствомъ, не исполняя своего долга по отношенію къ императору, какъ ленному сюзерену этихъ герцогствъ. Опираясь на французскую и венеціанскую помощь, онъ упорно отказывался отдать эти земли императорскимъ комиссарамъ впредь до рѣшенія его права. Фердинандъ, подстрекаемый испанцами, для которыхъ, въ качествѣ владѣтелей Милана, близкое сосѣдство французскаго вассала было въ высшей степени нежелательно, и которые съ удовольствіемъ встрѣтили возможность сдѣлать при помощи императора кой-какія пріобрѣтенія въ этой части Италіи, взялся за оружіе. Вопреки всѣмъ усиліямъ папы Урбана VIII-го,

который старался не допустить войны въ этихъ странахъ, императоръ отправилъ черезъ Альпы нѣмецкую армію, внезапное появленіе которой привело въ ужасъ всѣ итальянскія государства. Въ то время какъ все это происходило въ Италіи, его оружіе одерживало побѣду за побѣдой во всей Германіи, — все преувеличивающій страхъ видѣлъ тутъ внезапное возрожденіе старыхъ замысловъ Австріи—стать всемірной монархіей. Ужасы нѣмецкой войны распространились теперь также на благословенныя пажити, орошаемыя рѣкою По; городъ Мантуа былъ взятъ приступомъ и вся окрестная страна была обречена терпѣть опустошительное пребываніе необузданныхъ полчищъ. Къ проклятіямъ, окружавшимъ по всей Германіи имя императора, присоединились теперь проклятія Италіи, и даже въ конклавѣ раздавались тихія моленія объ успѣхѣ протестантскаго оружія.

Испуганный всеобщею ненавистью, навлеченной на него итальянскимъ походомъ и утомленный настоятельными требованіями курфюрстовъ, ревностно поддерживавшихъ представленія французскихъ министровъ, императоръ принялъ предложенія Франціи и обѣщалъ утвердить въ ленѣ новаго герцога Мантуанскаго.

Столь важная услуга со стороны Баваріи заслуживала благодарности Франціи. Заключеніе трактатовъ дало уполномоченнымъ Ришелье удобный случай опутать императора во время ихъ пребыванія въ Регенсбургѣ коварнѣйшими интригами, возбудить противъ него еще болѣе недовольныхъ государей лиги и дать всѣмъ рѣшеніямъ собранія курфюрстовъ неблагопріятное для императора направленіе. Превосходнымъ орудіемъ этихъ козней явился капуцинскій патеръ Іосифъ, присоединенный Ришелье къ посольству въ качествѣ совершенно незамѣтнаго спутника. Одной изъ первыхъ инструкцій, данныхъ ему, было—сдѣлать все для отставки Валленштейна. Съ такимъ полководцемъ, умѣвшимъ вести ихъ только къ побѣдѣ, австрійскія войска теряли большую часть своей силы; цѣлыя арміи не могли замѣнить потери одного этого человѣка. Главной уловкой политики Ришелье было такимъ образомъ: въ тотъ моментъ, когда побѣдоносный король, неограниченный хозяинъ своихъ военныхъ предпріятій, готовился къ бою противъ императора,—отнять у императорскихъ войскъ единственнаго полководца, который былъ равенъ ему по воинской опытности и авторитету. Войдя въ соглашеніе съ курфюрстомъ баварскимъ, патеръ Іосифъ постарался преодолѣть нерѣшительность императора, который и такъ былъ точно осажденъ испанцами и всѣмъ собраніемъ курфюрстовъ. „Было-бы хорошо— такъ полагалъ онъ — угодить въ этомъ отношеніи государямъ и такимъ образомъ заручиться ихъ согласіемъ на передачу римской короны сыну императора. Пусть только пройдетъ буря, — а Валленштейнъ всегда будетъ готовъ опять занять свое прежнее мѣсто“.—Хитрый капуцинъ былъ слишкомъ увѣренъ въ своемъ духовномъ сынѣ, чтобы чѣмъ нибудь рисковать при такомъ доводѣ.

Голосъ монаха былъ для Фердинанда II голосомъ Божіимъ. „Ничто на землѣ не было для него священнѣе особы священнослужителя — пишетъ его собственный духовникъ.—Онъ часто говорилъ, что если бы онъ встрѣтилъ въ одномъ мѣстѣ одновременно члена духовнаго ордена и ангела, то онъ раньше поклонился-бы монаху, а затѣмъ ангелу“. Отставка Валленштейна была рѣшена.

Въ благодарность за его благочестивое довѣріе, капуцинъ съ такою ловкостью дѣйствовалъ въ Регенсбургѣ противъ императора, что всѣ его старанія обезпечить своему сыну, королю венгерскому, римскую корону, окончились полной неудачей. Въ особой статьѣ только что заключеннаго договора французскіе министры во имя этой короны обязались сохранять полный нейтралитетъ по отношенію ко всѣмъ врагамъ императора,—между тѣмъ какъ Ришелье уже велъ переговоры съ королемъ шведскимъ, подстрекалъ его къ войнѣ и навязывалъ ему содѣйствіе своего государя. Но и отъ этой лжи онъ отказался, какъ только она перестала быть ему необходимой, и патеръ Іосифъ долженъ былъ искупать въ монастырскомъ заточеніи смѣлость, съ которой онъ якобы превысилъ свои полномочія. „Дрянной капуцинъ — сказалъ онъ однажды—обезоружилъ меня своими четками и уложилъ цѣлыхъ шесть курфюршескихъ шапокъ въ свой капюшонъ“.

Обманъ и козни торжествовали такимъ образомъ надъ императоромъ въ тотъ самый моментъ, какъ его считали въ Германіи всемогущимъ, чѣмъ онъ и былъ въ самомъ дѣлѣ, благодаря своему оружію. Бѣднѣе на пятнадцать тысячъ солдатъ, лишившись полководца, который возмѣщалъ для него потерю цѣлаго войска, онъ покинулъ Регенсбургъ, не добившись исполненія же-

ланія, ради котораго онъ принесъ всѣ жертвы. Прежде чѣмъ шведы успѣли разбить его въ полѣ битвы, Максимиліанъ Баварскій и патеръ Іосифъ нанесли ему неизлечимую рану. На этомъ самомъ достопамятномъ съѣздѣ въ Регенсбургѣ была рѣшена война со Швеціей и покончена война съ Мантуей. Напрасно ходатайствовали здѣсь государи за герцоговъ мекленбургскихъ; столь же напрасно просили англійскіе послы о назначеніи ежегоднаго содержанія пфальцграфу Фридриху.

Валленштейнъ стоялъ во главѣ почти стотысячной арміи, обожавшей его, когда до него дошла вѣсть о его отставкѣ. Большинство офицеровъ были всѣмъ обязаны ему, его мановеніе было приговоромъ судьбы для простого солдата. Безгранично было была написана радость, тогда какъ ярость и горе бушевали въ его груди. Но онъ рѣшилъ повиноваться. Приговоръ захватилъ его врасплохъ, прежде чѣмъ обстоятельства доказали ему возможность сдѣлать рѣшительный шагъ. Его обширныя владѣнія были разсѣяны въ Богеміи и Моравіи; конфискаціей ихъ императоръ могъ перерѣзать жизненный нервъ его могущества. Отъ будущаго онъ ждалъ удовлетворенія, и въ этой надеждѣ укрѣпляли его пророчества одного итальянскаго астролога, который водилъ этотъ необузданный духъ на помочахъ подобно ребенку.—Сени—такъ было его имя—прочиталъ въ звѣздахъ, что блестящее поприще его покровителя далеко еще не окончено, что будущее хранитъ для него лучезарныя свѣтила счастья. Можно

Грѣбящіе (Изъ солдаты. соврем. книги Калло «Les misères et les malheurs de la guerre»).

его честолюбіе, непреклонна его гордость; его властный духъ не былъ способенъ претерпѣть оскорбленіе, не отомстивъ за него. Одинъ мигъ низвергалъ его теперь съ высоты всемогущества во прахъ частнаго существованія. Привести въ исполненіе такой приговоръ противъ преступника требовало не менѣе искусства чѣмъ добиться его осужденія отъ судьи. Поэтому доставить эту дурную вѣсть Валленштейну предусмотрительно поручили двумъ лучшимъ его друзьямъ, которые должны были по возможности смягчить ее самыми льстивыми увѣреніями въ неизмѣнной благосклонности императора.

Когда посланные императора явились къ Валленштейну, смыслъ ихъ порученія былъ давно извѣстенъ ему. Онъ имѣлъ достаточно времени придти въ себя и на лицѣ его было и не безпокоить звѣзды, чтобы предсказать съ достаточной вѣроятностью, что такой врагъ, какъ Густавъ Адольфъ, не позволитъ оставить въ бездѣйствіи такого полководца, какъ Валленштейнъ.

„Императора обошли—отвѣтилъ Валленштейнъ посламъ,—я жалѣю его, но прощаю ему. Онъ очевидно во власти высокомѣрнаго баварца. Правда, мнѣ жаль, что онъ такъ легко предалъ меня, но я повинуюсь“. Онъ наградилъ пословъ по царски и въ покорномъ письмѣ просилъ императора не лишать его своей милости и сохранить за нимъ пожалованный ему санъ. Всеобщій ропотъ арміи сопровождалъ вѣсть объ отставкѣ полководца, и лучшая часть офицеровъ покинула тотчасъ-же императорскую службу. Многіе послѣдовали за нимъ въ его богемскія и моравскія владѣнія; другихъ

онъ привязалъ къ себѣ большими окладами, чтобы при случаѣ имѣть возможность немедленно воспользоваться ихъ услугами.

Удаляясь въ тишину частнаго существованія, онъ меньше всего имѣлъ цѣлью дѣйствительное спокойствіе. Королевская пышность окружала его въ этомъ уединеніи, какъ-бы смѣясь надъ унизительнымъ приговоромъ. Шесть воротъ вело ко дворцу, въ которомъ онъ жилъ въ Прагѣ; сотни домовъ были разрушены, чтобы очистить мѣсто для замковаго двора. Такіе же дворцы были выстроены въ его остальныхъ многочисленныхъ помѣстьяхъ. Представители благороднѣйшихъ домовъ добивались чести служить ему; императорскіе каммергеры возвращали свой золотой ключъ, чтобы исполнять тѣ-же обязанности при Валленштейнѣ. Онъ держалъ шестьдесятъ пажей, обученныхъ лучшими преподавателями; его прихожую охраняли всегда пятьдесятъ драбантовъ. Его обычный столъ состоялъ не меньше, чѣмъ изъ ста блюдъ, его гофмейстеръ былъ важный сановникъ. Во время путешествій свита и багажъ, слѣдовавшіе за нимъ, занимали сто шести-и четырехконныхъ упряжекъ; его дворъ слѣдовалъ за нимъ въ шестидесяти каретахъ съ пятьюдесятью выносными лошадьми. Великолѣпіе ливрей, блескъ экипажей и убранство комнатъ соотвѣтствовали прочей обстановкѣ. Шесть бароновъ и столько же рыцарей окружали неизмѣнно его особу, чтобы исполнять каждое его мановеніе; двѣнадцать патрулей совершали обходъ вокругъ его дворца, чтобы вездѣ царила мертвая тишина. Его вѣчно работавшая голова нуждалась въ этой тишинѣ; шумъ экипажей не долженъ былъ доноситься до его жилища и для этого улицы нерѣдко преграждались цѣпями. Безмолвіе, окружавшее его, царило и въ его обращеніи. Мрачный, замкнутый, непонятный, онъ щадилъ свои слова гораздо больше, чѣмъ свои подарки, и то немногое, что онъ говорилъ, произносилось крайне непріятнымъ тономъ. Онъ никогда не смѣялся, и соблазны чувственности были неизвѣстны его ледяной крови. Всегда занятый, всегда поглощенный обширными замыслами, онъ отказался отъ всякихъ пустыхъ развлеченій, на которыя у другихъ уходитъ вся драгоцѣнная жизнь. Своей обширной перепиской, охватывавшей всю Европу, онъ занимался самъ; большинство писемъ онъ писалъ собственноручно, чтобы какъ можно менѣе довѣрять молчаливости другихъ. Онъ былъ высокъ и тощъ, съ желтоватымъ лицомъ, рыжеватыми короткими волосами, маленькими, но блестящими глазами. Страшная, тягостная мрачность лежала на его челѣ, и лишь его расточительная щедрость удерживала трепещущую толпу его челяди.

Въ этой крикливой безвѣстности тихо, но дѣятельно ожидалъ Валленштейнъ рѣшительнаго часа и близкаго момента мести; вскорѣ побѣдоносное шествіе Густава Адольфа дало ему предвкушеніе этого счастья. Онъ не отказался ни отъ одного изъ своихъ самоувѣренныхъ плановъ; неблагодарность императора освободила его честолюбіе отъ всякихъ тягостныхъ узъ. Ослѣпительное сіяніе его частной жизни выдавало гордый полетъ его замысловъ, и расточительный точно монахъ, онъ какъ будто считалъ вожделѣнныя блага уже своимъ безспорнымъ достояніемъ.

Послѣ отставки Валленштейна и появленія Густава Адольфа надо было назначить новаго главнокомандующаго; въ то же время было, очевидно, необходимо соединить въ одной рукѣ до сихъ поръ раздѣленную власть надъ войсками императора и лиги. Максимиліанъ баварскій мечталъ объ этомъ назначеніи, которое дѣлало его властелиномъ императора; но именно потому-то послѣдній старался доставить этотъ постъ королю венгерскому, своему старшему сыну. Въ концѣ концовъ, для того, чтобы отдѣлаться отъ обоихъ соискателей и не обидѣть никого, главнокомандующимъ назначили полководца лиги Тилли, который тѣмъ временемъ перемѣнилъ баварскую службу на австрійскую. Войска Фердинанда въ Германіи по отдѣленіи отрядовъ Валленштейта состояли изъ сорока тысячъ человѣкъ; почти столько-же насчитывала армія лиги; оба войска были поручены превосходнымъ офицерамъ, испытаны многолѣтними походами и горды длиннымъ рядомъ побѣдъ. Во главѣ такого войска можно было тѣмъ менѣе бояться появленія короля шведскаго, что войска эти занимали Померанію и Мекленбургъ, единственные проходы, черезъ которые онъ могъ вторгнуться въ Германію.

Послѣ злополучной попытки короля датскаго остановить успѣхи императора, Густавъ Адольфъ оставался единственнымъ государемъ въ Европѣ, въ которомъ погибающая свобода могла надѣяться найти спасеніе, и въ то же время—единственнымъ человѣкомъ, котораго побуждали къ тому серьезнѣйшія политическія причины, кому давали на это право вынесенныя оскорбле-

нія и силу—личныя способности, вполнѣ соотвѣтствовавшія его рискованному предпріятію. Важныя государственныя соображенія, общія съ Даніей, еще до начала войны въ нижней Саксоніи, побудили его предложить свое искусство и свои войска для защиты Германіи; тогда—къ своему несчастію—его отстранилъ король датскій. Съ тѣхъ поръ надменность Валленштейна и деспотическое высокомѣріе императора достаточно раздражали его лично и указывали, въ чемъ его королевскій долгъ. Императорскія войска помогали королю польскому Сигизмунду защищать Пруссію отъ шведовъ. Король, который жаловался Валленштейну на эти враждебныя дѣйствія, получилъ отвѣтъ: „У императора слишкомъ много солдатъ,—онъ помогаетъ своимъ добрымъ друзьямъ". Тотъ же Валленштейнъ съ оскорбительнымъ упорствомъ настаивалъ на удаленіи шведскихъ пословъ съ Любекскаго конгресса, и когда они не испугались этого, пригрозилъ имъ обойтись съ ними по своему, хотя бы и съ нарушеніемъ международнаго права. Фердинандъ позволилъ оскорбить шведскій флагъ и перехватить депеши короля въ Семиградье. Онъ продолжалъ затруднять заключеніе мира между Польшей и Швеціей, поддерживалъ притязанія Сигизмунда на шведскій престолъ и отказывать Густаву Адольфу въ королевскомъ титулѣ. Настойчивыя представленія Густава онъ не удостоивалъ вниманіемъ и вмѣсто того, чтобы дать ему удовлетвореніе за нанесенныя старыя оскорбленія, присоединялъ къ нимъ новыя.

Столь многія личныя побудительныя причины, соединенныя съ важнѣйшими государственными и религіозными соображеніями и подкрѣпляемыя настоятельными призывами изъ Германіи, должны были произвести могучее впечатлѣніе на душу государя, который тѣмъ болѣе склоненъ былъ относиться ревниво къ своей королевской чести, чѣмъ болѣе были склонны оспаривать ее у него, который страстно жаждалъ добиться славы защитника угнетенныхъ и пылко любилъ войну, какъ истинную стихію своего генія. Но прежде чѣмъ перемиріе или миръ съ Польшей не дали ему полной свободы, онъ не могъ серьезно думать о новой и опасной войнѣ.

Заслуга перемирія съ Польшей принадлежитъ кардиналу Ришелье. Этотъ великій государственный человѣкъ, держа въ одной рукѣ кормило Европы, а другою укрощая ярость крамолы и высокомѣріе вельможъ въ нѣдрахъ Франціи, непоколебимо среди заботъ бурнаго правленія преслѣдовалъ свой планъ—остановить гордый бѣгъ возрастающаго могущества Австріи. Но обстоятельства, окружавшія его, ставили исполненію этихъ замысловъ не малыя препятствія, ибо и великому духу не проходитъ безнаказанно презрѣніе къ предразсудкамъ своего времени. Министръ католическаго короля и, въ санѣ кардинала, сановникъ римской церкви, онъ не осмѣливался еще въ союзѣ съ врагомъ своей церкви открыто нападать на державу, которая съумѣла предъ лицомъ толпы освятить притязанія своего честолюбія именемъ религіи. Уступки, которыя Ришелье вынужденъ былъ дѣлать ограниченнымъ воззрѣніямъ своихъ современниковъ, ограничивали также его политическую дѣятельность, которая могла проявляться лишь въ осторожныхъ попыткахъ дѣйствовать тайно и исполнять замыслы его свѣтлой головы чужой рукой. Послѣ напрасныхъ стараній воспрепятствовать заключенію мира между Даніей и императоромъ, онъ прибѣгнулъ къ Густаву Адольфу, герою своего вѣка. Не щадили ничего, чтобы заставить этого короля рѣшиться и вмѣстѣ съ тѣмъ дать ему средства для выполненія его рѣшенія? Шарнасъ, не возбуждавшій подозрѣній агентъ кардинала, появился въ прусской Польшѣ, гдѣ Густавъ Адольфъ велъ войну съ Сигизмундомъ, и, переѣзжая отъ одного короля къ другому, старался довести ихъ до перемирія или мира. Густавъ Адольфъ давно былъ готовъ на миръ; наконецъ, французскому министру удалось выяснить и королю Сигизмунду его истинные интересы и коварную политику императора. Между обоими королями заключено было шестилѣтнее перемиріе, въ силу котораго Густавъ сохранялъ за собой всѣ свои завоеванія и, наконецъ, получалъ вожделѣнную свободу обратить свое оружіе противъ императора. Французскій агентъ предложилъ ему для этого союзъ своего короля и значительную субсидію, которую не легко было отвергнуть. Но Густавъ Адольфъ не безъ основанія боялся, что, принявъ деньги, онъ очутится въ зависимости отъ Франціи, которая, пожалуй, наложитъ на него свою руку среди его побѣдъ, а также опасался возбудить союзомъ съ католической державой недовѣріе протестантовъ.

Насколько необходима и справедлива была эта война, настолько были благопріятны

обстоятельства, при которыхъ Густавъ Адольфъ начиналъ ее. Правда, страшно было имя императора, неистощимы источники его силъ, непреодолимо доселѣ его могущество; всякаго другого устрашила бы столь рискованная игра,—но не Густава. Густавъ предвидѣлъ всѣ препятствія и всѣ опасности, стоявшія на пути его предпріятію; но онъ зналъ также средства, которыми онъ надѣялся побѣдить все это. Не велика была его армія, но превосходно дисциплинирована, закалена суровымъ климатомъ и долгими походами, пріучена въ польской войнѣ къ побѣдамъ. Бѣдная деньгами и людьми и истомленная свыше силъ восьмилѣтней войной, Швеція была предана своему королю съ энтузіазмомъ, который давалъ ему надежду на самоотверженную поддержку своихъ чиновъ. Въ Германіи имя императора было по меньшей мѣрѣ столь же ненавистно, сколько страшно. Протестантскіе государи ждали только появленія освободителя, чтобы сбросить невыносимое иго тиранніи и открыто стать на сторону Швеціи. Даже и католическимъ чинамъ могло быть пріятно появленіе противника, который ограничивалъ чрезмѣрное могущество императора. Первая побѣда, одержанная на германской почвѣ, рѣшала успѣхъ его дѣла,—она должна была опредѣлить рѣшеніе еще колеблющихся государей, поднять мужество его сторонниковъ, усилить притокъ солдатъ къ его знаменамъ и открыть богатыя средства для продолженія войны. Если большинство нѣмецкихъ земель весьма пострадало отъ всякихъ бѣдствій, то богатые ганзейскіе города были избавлены отъ нихъ и ничѣмъ не рисковали, предотвращая общее раззореніе незначительнымъ добровольнымъ пожертвованіемъ. Чѣмъ большее количество земель освобождалось отъ императорскихъ войскъ, тѣмъ болѣе должны были уменьшаться въ численности эти войска, которыя могли жить лишь странами, гдѣ стояли. Несвоевременная отправка войскъ въ Италію и Нидерланды и безъ того ослабила силы императора; Испанія, обезсиленная потерей своего американскаго серебрянаго флота и занятая рѣшительной войной съ Нидерландами, могла дать ему лишь незначительную помощь. Наоборотъ, Великобританія обѣщала королю шведскому значительныя субсидіи, а Франція, только что достигшая внутренняго умиротворенія, встрѣтила его предпріятіе самыми выгодными предложеніями.

Но лучшее ручательство за счастливый исходъ своихъ замысловъ нашелъ Густавъ Адольфъ въ самомъ себѣ. Благоразуміе требовало обезпечить себя всѣми внѣшними источниками помощи и такимъ образомъ оградить свое предпріятіе отъ упрека въ самонадѣянности; но лишь въ своемъ сердцѣ черпалъ онъ свое мужество и свою отвагу. Густавъ Адольфъ былъ безспорно первымъ полководцемъ своего вѣка и храбрѣйшимъ солдатомъ въ своемъ войскѣ, которое онъ самъ создалъ. Хорошо знакомый съ тактикой грековъ и римлянъ, онъ былъ изобрѣтателемъ новаго военнаго искусства, которое послужило образцомъ величайшимъ полководцамъ послѣдующихъ временъ. Большіе неповоротливые эскадроны онъ раздѣлилъ на мелкіе отряды, чтобы сдѣлать движенія кавалеріи легче и быстрѣе; для той же цѣли онъ увеличилъ разстояніе между баталіонами. Онъ располагалъ свою армію не одной линіей, какъ дѣлали до сихъ поръ, а двойной, такъ что если первая шеренга начинала уступать, вторая могла двинуться впередъ. Недостаточную численность конницы онъ исправлялъ тѣмъ, что ставилъ пѣхотинцевъ между кавалеристами, что часто рѣшало побѣду; боевое значеніе пѣхоты Европа научилась цѣнить отъ него. Вся Германія изумлялась дисциплинѣ, которой такъ славно выдавались шведскія войска въ началѣ своего пребыванія на нѣмецкой землѣ. Всякое распутство преслѣдовалось строжайшимъ образомъ, а строже всего—богохульство, воровство, игра и дуэли. Шведскіе военные законы требовали умѣренности, и въ шведскомъ лагерѣ, не исключая палатки короля, не было видно ни золота, ни серебра. Полководецъ также внимательно заботился о нравственности солдатъ, какъ и о храбрости. Каждый полкъ сходился для утренней и вечерней молитвы вокругъ своего пастора, и богослуженіе отправлялось подъ открытымъ небомъ. Во всемъ этомъ законодатель былъ также первымъ образцомъ. Естественно живая богобоязнь возвышала его мужество, одушевлявшее его великую душу. Равно свободный отъ грубаго невѣрія, разнуздывающаго дикія похоти варвара, и отъ пресмыкающагося лицемѣрія Фердинанда, которое ползаетъ червемъ предъ божествомъ и дерзко попираетъ выю человѣчества, онъ и въ упоеніи своимъ счастьемъ оставался всегда человѣкомъ и христіаниномъ, и въ смиреніи своей молитвы—героемъ и королемъ. Всѣ тяготы войны онъ переносилъ наравнѣ съ

послѣднимъ рядовымъ; въ черномъ дыму сраженій въ душѣ его царилъ свѣтъ; вездѣ присутствуя своимъ взглядомъ, онъ забывалъ смерть, окружавшую его; на пути къ страшнѣйшей опасности можно было всегда найти его. Его природная горячность слишкомъ часто заставляла его забывать, что онъ долженъ дорожить собой, какъ полководецъ, и смерть рядового положила конецъ этой царственной жизни. Но вслѣдъ за такимъ полководцемъ трусъ шелъ подобно храбрецу къ побѣдѣ, и отъ его лучезарнаго орлинаго взгляда не скрывался ни одинъ геройскій подвигъ, вдохновленный его примѣромъ. Слава повелителя охватывала весь народъ воодушевляющимъ самосознаніемъ; гордясь своимъ королемъ, финляндскій и готландскій крестьянинъ охотно забывалъ свою бѣдность, солдатъ радостно проливалъ свою кровь, и высокое одушевленіе, сообщенное духомъ одного человѣка всему народу, пережило еще надолго своего творца.

Какъ всѣ были согласны относительно того, что война необходима, такъ расходились всѣ относительно способа, какимъ должно ее вести. Наступательная война казалась слишкомъ смѣлой даже мужественному канцлеру Оксенштирнѣ, силы бѣднаго и честнаго короля слишкомъ слабыми сравнительно съ необъятными богатствами деспота, который распоряжался всей Германіей, какъ своимъ достояніемъ. Осторожныя опасенія министра были опровергнуты дальновидными соображеніями героя.

„Если ждать непріятеля въ Швеціи—говорилъ Густавъ—то, потерявъ одно сраженіе, мы потеряемъ все; наоборотъ, если мы начнемъ счастливо въ Германіи, то мы побѣдили. Море велико, и въ Швеціи намъ придется охранять ея обширное побережье. Если непріятельскій флотъ проскользнетъ мимо насъ или нашъ флотъ будетъ разбитъ, то мы ничѣмъ не сможемъ воспрепятствовать высадкѣ непріятеля. Нашей цѣлью должна быть охрана Штральзунда. Пока эта гавань въ нашихъ рукахъ, мы удерживаемъ наше главенство на Балтійскомъ морѣ и будемъ всегда имѣть свободное сообщеніе съ Германіей. Но для того, чтобы защищать Штральзундъ, намъ не годится прятаться въ Швеціи, но необходимо переправиться съ арміей въ Померанію. Поэтому не говорите мнѣ ничего объ оборонительной войнѣ, въ которой мы потеряемъ наши лучшія преимущества. Швеція не должна видѣть въ своихъ предѣлахъ непріятельскаго знамени; вашимъ планомъ мы успѣемъ воспользоваться тогда, когда насъ побьютъ въ Германіи".

Рѣшено было такимъ образомъ движеніе въ Германію и нападеніе на императора. Приготовленія дѣлались самымъ энергичнымъ образомъ, и мѣры, принятыя Густавомъ, обличали столько же благоразумія, сколько смѣлости и величія было въ его рѣшеніи. Прежде всего необходимо было въ виду войны въ столь дальнихъ предѣлахъ обезпечить самое Швецію отъ подозрительныхъ намѣреній ея ближайшихъ сосѣдей. При личномъ свиданіи съ корслемъ датскимъ въ Маркаредѣ Густавъ получилъ увѣреніе въ дружбѣ этого монарха; московскія границы были прикрыты войсками; Польшу, если бы ей вздумалось нарушить перемиріе, можно было пугнуть изъ Германіи. Шведскій агентъ Фалькен-

Астрологическій амулетъ, который Валленштейнъ носилъ на груди.
(Художественно историческій музей въ Вѣнѣ).

бергъ, объѣзжавшій Голландію и нѣмецкіе дворы, привезъ своему господину самыя льстивыя увѣренія со стороны многихъ протестантскихъ государей, хотя никто еще не имѣлъ достаточно мужества и самоотверженія, чтобы вступить съ нимъ въ формальный союзъ. Города Любекъ и Гамбургъ выказали готовность помочь деньгами и принимать въ уплату шведскую мѣдь. Довѣренныя лица были посланы также къ князю Семиградскому, чтобы побудить этого непримиримаго врага Австріи поднять оружіе противъ императора.

Между тѣмъ въ Нидерландахъ и Германіи была открыта шведская вербовка, пополнены старые полки, сформированы новые, построены корабли, флотъ приведенъ въ полную исправность, жизненные припасы, военныя принадлежности и деньги собраны въ возможно большемъ количествѣ. Вскорѣ тридцать военныхъ кораблей были готовы къ отплытію, армія въ пятьдесятъ тысячъ человѣкъ стояла подъ ружьемъ, и двѣсти транспортныхъ судовъ ждали ее для переправы. Большаго количества войскъ Густавъ Адольфъ не хотѣлъ переправлять въ Германію; къ тому же содержаніе ихъ было бы не по силамъ его королевству. Но какъ ни мала была эта армія, составъ ея былъ превосходенъ по дисциплинѣ, воинскому мужеству и опытности и, достигнувъ Германіи и одержавъ первую побѣду, могъ явиться крѣпкимъ ядромъ большаго войска. Оксенштирна, полководецъ и канцлеръ одновременно, стоялъ съ десятью тысячами человѣкъ въ Пруссіи, съ цѣлью защищать эту провинцію отъ Польши. Нѣкоторое количество регулярныхъ войскъ и порядочный корпусъ земской милиціи, служившій питомникомъ для главной арміи, оставались въ Швеціи, чтобы вѣроломный сосѣдъ въ случаѣ неожиданнаго нападенія не нашелъ королевство беззащитнымъ.

Такимъ образомъ безопасность государства была обезпечена. Не меньшую предусмотрительность проявилъ Густавъ Адольфъ въ заботахъ о внутреннемъ управленіи. Регентство было вручено государственному совѣту, финансы пфальцграфу Іоанну Казиміру, шурину короля; супруга его, столь нѣжно любимая имъ, была удалена отъ всѣхъ государственныхъ дѣлъ, важности которыхъ не соотвѣтствовали ея ограниченныя способности. Точно на смертномъ одрѣ, распоряжался онъ своимъ достояніемъ. 20 мая 1630 года, закончивъ всѣ приготовленія и совершенно готовый къ отплытію, король появился на сеймѣ въ Стокгольмѣ сказать послѣднее прости государственнымъ чинамъ. Держа на рукахъ свою четырехлѣтнюю дочь Христину, уже въ колыбели объявленную его наслѣдницей, онъ показалъ ее чинамъ, какъ ихъ будущую государыню, заставилъ ихъ, на случай, если ему не суждено вернуться, возобновить ихъ присягу и приказалъ прочитать указъ о регентствѣ во время его отсутствія или малолѣтства его дочери. Все собраніе разразилось рыданіями, и король не сразу могъ придти въ себя, чтобы обратиться съ прощальной рѣчью къ земскимъ чинамъ.

„Не съ легкимъ сердцемъ—такъ началъ онъ—повергаю я снова себя и васъ въ эту опасную войну. Всемогущій Богъ свидѣтель, что я воюю не изъ удовольствія. Императоръ самымъ безжалостнымъ образомъ оскорбилъ меня въ лицѣ моихъ пословъ, онъ поддерживаетъ моихъ враговъ, онъ преслѣдуетъ моихъ друзей и братьевъ, онъ топчетъ ногой мою вѣру и протягиваетъ руку къ моей коронѣ. Слезно молятъ насъ о помощи угнетенные чины Германіи, и, если Богу угодно, мы поможемъ имъ.

Я знаю опасности, которымъ подвергается моя жизнь. Я никогда не избѣгалъ ихъ, но, вѣрно, въ концѣ концовъ не избѣгну. Правда, до сихъ поръ Всемогущій чудесно хранилъ меня, но мнѣ суждено умереть, защищая мое отечество. Вручаю васъ покровительству Господа Бога. Будьте справедливы, будьте честны, храните правду,—и мы встрѣтимся въ вѣчности.

Къ вамъ, мои совѣтники, обращаюсь я прежде всего! Да просвѣтитъ васъ Господь Богъ и наполнитъ васъ мудростью вести по пути блага мое королевство. Васъ, храбрые дворяне, поручаю я небесной защитѣ. Будьте попрежнему достойными потомками тѣхъ готскихъ героевъ, мужество которыхъ повергло въ прахъ древній Римъ. Васъ, служителей церкви, призываю къ терпимости и согласію; будьте сами образцомъ добродѣтелей, которыя вы проповѣдуете и не употребляйте во зло ваше всемогущество надъ сердцами моего народа. На васъ, представители гражданъ и крестьянъ, призываю я благословеніе неба; да увѣнчаются ваши труды радостнымъ успѣхомъ, да будутъ полны ваши житницы, да насладитесь вы всѣми благами жизни. За всѣхъ васъ, отсутствующіе и присутствующіе, возсылаю я искреннія моленія къ небу. Всѣмъ вамъ со всей нѣжностью говорю прости,—быть можетъ, навѣки".

Въ Эльснабенѣ, гдѣ стоялъ флотъ, были посажены войска на корабли; безчисленная толпа народа стеклась сюда, чтобы быть свидѣтелемъ этого столь же величественнаго, сколь трогательнаго зрѣлища. Сердца зрителей были исполнены различныхъ чувствъ, смотря по тому, что больше привлекало ихъ вниманіе,—величіе подвига или величіе героя. Среди важнѣйшихъ офицеровъ, командовавшихъ этимъ войскомъ, многіе добыли себѣ безсмертную славу; таковы Густавъ Горнъ, графъ Отто Людвигъ, графъ Генрихъ Матвѣй Турнъ, Ортенбургъ, Баудиссенъ, Баннеръ. Тейфель, Тоттъ, Мутсенфаль, Фалькенбергъ, Книпгаузенъ и другіе. Флотъ, задержанный противнымъ вѣтромъ, лишь въ іюнѣ могъ поднять паруса и 24-го числа достигъ острова Рудена у береговъ Помераніи.

Густавъ Адольфъ первый вступилъ здѣсь на землю. Предъ лицомъ своихъ спутниковъ онъ преклонилъ колѣни на нѣмецкой почвѣ, благодаря небо за сохраненіе своей арміи и флота. На островахъ Воллинѣ и Узедомѣ онъ высадилъ свои войска; при ихъ приближеніи императорскіе гарнизоны поспѣшили покинуть укрѣпленія и бѣжали. Первый шагъ его въ Германіи былъ уже побѣдой. Съ быстротой молніи появился онъ предъ Штетиномъ, чтобы овладѣть этой крѣпостью ранѣе, чѣмъ его успѣютъ предупредить императорскія войска. Богуславу XIV-му, герцогу Померанскому, болѣзненному и старому государю, давно уже были въ тягость неистовства императорскихъ войскъ въ его странѣ; но, безсильный противиться имъ, онъ съ тихимъ ропотомъ склонился предъ силой. Появленіе спасителя не только не вдохнуло въ него мужество, но внушило ему страхъ и сомнѣнія. Какъ ни истекала кровью его страна отъ ранъ, нанесенныхъ ей императорскими войсками, онъ все не могъ рѣшиться открытымъ союзомъ съ шведами навлечь на себя месть императора Густавъ Адольфъ, расположившись лагеремъ предъ штетинскими пушками, потребовалъ отъ города принятія шведскаго гарнизона. Богуславъ самъ явился въ лагерь короля, чтобы отклонить принятіе гарнизона. „Я являюсь къ вамъ другомъ, а не врагомъ,—отвѣтилъ Густавъ.—Не съ Помераніей и не съ Германіей веду я войну, а съ ихъ врагами. Въ моихъ рукахъ я буду свято хранить это герцогство, и по окончаніи похода вы получите его отъ меня обратно въ большей сохранности, чѣмъ отъ кого либо другого. Посмотрите на слѣды императорскихъ войскъ въ вашей странѣ и сравните ихъ съ пребываніемъ моей арміи въ Узедомѣ и выбирайте, кого вы хотите имѣть другомъ—меня или императора. Чего вы ждете отъ императора, когда онъ овладѣетъ вашей столицей? Будетъ онъ милостивѣе, чѣмъ я? Или вы хотите положить предѣлъ моимъ побѣдамъ? Время не терпитъ; примите опредѣленное рѣшеніе и не вынуждайте меня прибѣгнуть къ болѣе рѣшительнымъ средствамъ".

Тягостенъ былъ выборъ для герцога Померанскаго. Здѣсь, у воротъ его столицы—король шедскій съ страшной арміей; тамъ—неизбѣжная месть императора и ужасающій примѣръ многочисленныхъ нѣмецкихъ государей, которые скитаются жалкими жертвами этой мести. Болѣе близкая опасность порѣшила его колебанія. Ворота Штетина были открыты королю, шведскія войска вошли въ городъ и такимъ образомъ опередили императорскую армію, которая поспѣшно подвигалась впередъ усиленными переходами. Занятіе Штетина дало королю твердую точку опоры въ Помераніи, господство надъ теченіемъ Одера и арсеналъ для арміи. Герцогъ Богуславъ не замедлилъ оправдать сдѣланный шагъ предъ императоромъ необходимостью и напередъ избѣгнуть упрека въ измѣнѣ; но, убѣжденный въ безпощадности этого монарха, онъ вступилъ съ своимъ новымъ защитникомъ въ тѣсный союзъ, чтобы обезпечить себя шведской дружбой отъ австрійской мести. Этимъ союзомъ съ Помераніей король пріобрѣталъ въ Германіи важнаго сторонника, который закрывалъ его съ тылу и обезпечилъ ему свободное сообщеніе съ Швеціей.

Густавъ Адольфъ считалъ себя свободнымъ отъ обычныхъ формальностей по отношенію къ Фердинанду, который первый напалъ на него въ Пруссіи и безъ объявленія войны открылъ враждебныя дѣйствія. Предъ европейскими государями онъ оправдывалъ свое поведеніе въ особомъ манифестѣ, гдѣ онъ приводилъ всѣ вышеуказанныя причины, заставившія его взяться за оружіе. Между тѣмъ успѣхи его въ Помераніи продолжались, войска увеличивались съ каждымъ днемъ. Толпами стекались подъ его побѣдоносныя знамена офицеры и солдаты изъ войскъ, сражавшихся подъ предводительствомъ Мансфельда, герцога Христіана брауншвейгскаго, короля датскаго и Валленштейна.

Нападеніе короля шведскаго не было

удостоено при императорскомъ дворѣ того вниманія, котораго оно, какъ вскорѣ оказалось, заслуживало. Австрійская надменность, доведенная неслыханнымъ счастьемъ до крайней степени, смотрѣла съ презрѣніемъ на государя, который явился съ кучкой солдатъ изъ глухого угла Европы и всѣми своими успѣхами—такъ думали въ Австріи—былъ обязанъ исключительно неумѣнію непріятеля, еще болѣе слабаго, чѣмъ онъ. Пренебрежительное описаніе шведской арміи, не безъ намѣренія сдѣланное Валленштейномъ, усилило увѣренность императора; какъ могъ онъ относиться съ уваженіемъ къ врагу, котораго его полководецъ предлагалъ прогнать изъ Германіи розгами. Даже быстрые успѣхи Густава Адольфа въ Помераніи не могли побѣдить этихъ предразсудковъ, которымъ иронія придворныхъ куртизановъ давала новую пищу. Въ Вѣнѣ его называли снѣжнымъ величествомъ, которое держится благодаря холодамъ сѣвера, но несомнѣнно, растаетъ, какъ только приблизится къ югу. Даже курфюрсты, собравшіеся въ Регенсбургѣ, не удостоили его представленія ни малѣйшимъ вниманіемъ и изъ слѣпой угодливости къ Фердинанду отказали ему даже въ королевскомъ титулѣ. Въ то время какъ въ Регенсбургѣ и Вѣнѣ издѣвались надъ Густавомъ Адольфомъ, въ Помераніи и Мекленбургѣ одна крѣпость за другой переходила въ его руки.

Несмотря на это пренебреженіе, императоръ выказалъ готовность уладить переговорами недоразумѣнія съ Швеціей и для этой цѣли отправилъ въ Данцигъ уполномоченныхъ. Но изъ ихъ инструкцій было ясно видно, какъ не серьезны его намѣренія, такъ какъ онъ попрежнему отказывалъ Густаву въ королевскомъ титулѣ. Его намѣренія, очевидно, заключались въ томъ лишь, чтобы свалить съ себя отвѣтственность перваго нападенія на короля шведскаго и тѣмъ скорѣе разсчитывать на помощь имперскихъ чиновъ. Какъ и слѣдовало ожидать, конгрессъ въ Данцигѣ оказался вполнѣ безуспѣшнымъ, и ожесточеніе обѣихъ сторонъ возросло до крайности, подъ вліяніемъ обмѣна рѣзкихъ нотъ.

Между тѣмъ императорскій полководецъ Торквато Конти, командовавшій арміей въ Помераніи, тщетно старался вырвать Штетинъ изъ рукъ шведовъ. Императорскія войска сдавали одну крѣпость за другой; Даммъ, Старгардъ, Каминъ, Вольгастъ перешли одинъ за другимъ въ руки короля. Чтобы отомстить герцогу Померанскому, императорскія войска по приказу своего командира, производили во время отступленія вопіющія неистовства противъ жителей Помераніи, и такъ уже невѣроятно истерзанной его алчностью. Все опустошалось и уничтожалось якобы для того, чтобы отнять у шведовъ всѣ жизненные припасы, и часто, когда императорскія войска, не имѣя возможности держаться долѣе въ какой нибудь мѣстности, отступали, они сжигали здѣсь все, чтобы врагу не досталось ничего, кромѣ пепла. Но всѣ эти варварства служили лишь для того, чтобы тѣмъ ярче оттѣнить противоположное поведеніе шведовъ и покорить всѣ сердца ихъ человѣколюбивому королю. Шведскій солдатъ платилъ за все, что ему было нужно, и во время побѣдоноснаго шествія шведовъ чужое достояніе оставалось неприкосновеннымъ. Города и села принимали поэтому шведовъ съ распростертыми объятіями; императорскіе солдаты, попавшіе въ руки померанскихъ крестьянъ, избивались безпощадно. Многіе померанцы вступили въ ряды шведскихъ войскъ, и чины этой истощенной страны съ радостью предложили королю контрибуцію въ сто тысячъ гульденовъ.

Не имѣя возможности вытѣснить короля шведскаго изъ Штетина, Торквато Конти,—при всей жестокости своего характера превосходный полководецъ,—старался сдѣлать этотъ городъ безполезнымъ для короля. Онъ окопался въ Гарцѣ, выше Штетина по теченію Одера, чтобы господствовать надъ этой рѣкой и отрѣзать городу всякую возможность сообщаться по рѣкѣ съ остальной Германіей. Ничто не могло заставить его вступить въ открытый бой съ королемъ, который превосходилъ его численностью войскъ; тѣмъ менѣе могло послѣднему удасться взять штурмомъ неприступные окопы императорской арміи. По недостатку войскъ и денегъ, Торквато не могъ и думать о наступательныхъ движеніяхъ противъ короля, но разсчитывалъ при помощи этой операціи дать графу Тилли время поспѣшить на защиту Помераніи и тогда уже вмѣстѣ съ этимъ полководцемъ двинуться на короля шведскаго. Онъ воспользовался даже однажды отсутствіемъ короля и попытался внезапнымъ нападеніемъ овладѣть Штетиномъ. Но онъ не засталъ шведовъ въ расплохъ. Неожиданное нападеніе императорскихъ войскъ было отбито съ большой стойкостью, и Торквато отступилъ съ большимъ урономъ. Нельзя отрицать, что такимъ счастливымъ

началомъ Густавъ Адольфъ былъ столько же обязанъ счастью, сколько своей военной опытности. Послѣ отставки Валленштейна императорскія войска въ Померанiи дошли до крайняго упадка. Жестоко мстили имъ теперь за себя ихъ неистовства; опустошенная, истощенная страна не могла больше содержать ихъ. Дисциплина исчезла, приказы офицеровъ встрѣчали полное неуваженіе; число ихъ уменшалось съ каждымъ днемъ вслѣдствіе частыхъ побѣговъ и громадной смертности, причиненной рѣзкими холодами въ этомъ непривычномъ для нихъ климатѣ. При такихъ обстоятельствахъ императорскій полководецъ могъ стремиться только къ покою, чтобы дать своимъ войскамъ отдыхъ на зимнихъ квартирахъ; но онъ имѣлъ дѣло съ врагомъ, для котораго подъ нѣмецкимъ небомъ зимы вовсе не было. Солдаты Густава были предусмотрительно снабжены овчинами, и самое суровое время года могли проводить на воздухѣ. Императорскіе уполномоченные, явившіеся для переговоровъ о перемиріи, получили неутѣшительный отвѣтъ: „Шведы всегда солдаты—зимою какъ и лѣтомъ—и совсѣмъ не склонны высасывать соки изъ бѣднаго крестьянина. Императорскія войска могутъ дѣлать, какъ имъ угодно, а шведы не собираются сидѣть сложа руки". Послѣ этого Торквато Конти сложилъ съ себя свое званіе, отъ котораго нельзя было ожидать больше ни славы, ни денегъ.

Валенштойновскій дукатъ 1631 года.

При такомъ неравенствѣ перевѣсъ естественнымъ образомъ склонился на сторону шведовъ. Императорскія войска испытывали непрестанныя нападенія въ своихъ зимнихъ квартирахъ. Грейфенгагенъ, важная крѣпость на Одерѣ, взята приступомъ и, наконецъ, города Гарцъ и Пирицъ также оставлены императорскими войсками. Во всей Померанiи въ ихъ рукахъ оставались только Грейфсвальде, Демминъ и Кольбергъ, къ осадѣ которыхъ король готовился съ величайшей энергіей. Отступавшій непріятель бѣжалъ по направленію къ Бранденбургу, теряя массами артиллерію, обозы и людей, которые попадали въ руки шведамъ.

Взятіе проходовъ при Рыбницѣ и Даммгартенѣ открыло Густаву путь въ герцогство Мекленбургское, подданные котораго предварительно были призваны особымъ манифестомъ возвратиться подъ власть ихъ законныхъ государей и изгнать все, что носило имя Валленштейна. Но императорскимъ войскамъ удалось обманомъ овладѣть важнымъ городомъ Ростокомъ, который мѣшалъ королю, неохотно дробившему свое войско, въ его дальнѣйшемъ движеніи. Между тѣмъ изгнанные герцоги мекленбургскіе тщетно искали въ Регенсбургѣ милости императора при помощи ходатайства курфюрстовъ; напрасно для снисканія благосклоннности императора они отвергали союзъ со шведами и всякій путь къ самостоятельности. Но доведенные упорнымъ отказомъ императора до отчаянія, они теперь стали открыто на сторону короля шведскаго, набрали войско и вручили начальство надъ нимъ герцогу Францу-Карлу Саксенъ-Лауэнбургскому. Послѣдній, дѣйствительно, овладѣлъ нѣсколькими крѣпостями на Эльбѣ, но вскорѣ вынужденъ былъ уступить ихъ посланному противъ него императорскому полководцу Паппенгейму. Осажденный вскорѣ затѣмъ этимъ послѣднимъ въ городѣ Рацебургѣ, онъ вынужденъ былъ, послѣ неудачной попытки бѣжать, сдаться въ плѣнъ совсѣмъ своимъ отрядомъ. Такъ снова исчезла у этихъ несчастныхъ государей надежда на возстановленіе ихъ владѣнія, и лишь побѣдоносной десницѣ Густава Адольфа суждено было оказать имъ эту блистательную справедливость.

Бросившись въ Бранденбургъ, бѣжавшія императорскія войска сдѣлали его ареной своихъ звѣрствъ. Не довольствуясь произвольными контрибуціями и насильственными постоями, эти чудовища перерывали всю домашнюю обстановку, разбивали и взламывали все, что было заперто, забирали всѣ запасы, подвергая невѣроятнымъ мученіямъ всякаго, кто осмѣливался оказать имъ сопротивленіе, насиловали женщинъ даже въ церквяхъ. И все это происходило не въ непріятельской странѣ—все это совершалось надъ подданными государя, который ничѣмъ не обидѣлъ императора, который даже далъ послѣднему обѣщаніе поднять оружіе противъ короля швед-

скаго. Зрѣлища этихъ отвратительныхъ неистовствъ, на которыя они по недостатку авторитета и денежныхъ средствъ должны были смотрѣть сквозь пальцы, возмутило, наконецъ даже императорскихъ генераловъ, и ихъ главнокомандующій графъ Шаумбургъ хотѣлъ отъ стыда подать въ отставку. Слишкомъ бѣдный солдатами, чтобы защищать свою страну и оставленный безъ помощи императоромъ, который отвѣчалъ молчаніемъ на самыя энергичныя представленія, курфюрстъ Бранденбургскій приказалъ, наконецъ, своимъ подданнымъ особымъ указомъ противопоставить силу силѣ и безпощадно убивать всякаго императорскаго солдата, который будетъ уличенъ въ грабежѣ. Ужасы преступленія и безсиліе правительства дошли до такой крайности, что государю не оставалось ничего, кромѣ отчаяннаго средства,—рекомендовать своимъ подданнымъ месть.

Императорскія войска привлекли за собой въ Бранденбургъ шведовъ, и лишь отказъ курфюрста открыть королю крѣпость Кюстринъ удержалъ его отъ осады Франкфурта на Одерѣ. Онъ отступилъ, чтобы закончить завоеваніе Помераніи взятіемъ Деммина и Кольберга; въ это время на защиту Бранденбурга двинулся фельдмаршалъ Тилли.

Этотъ полководецъ, который могъ похвастать тѣмъ, что не проигралъ еще ни одного сраженія, побѣдитель Мансфельда, Христіана брауншвейгскаго, маркграфа Баденскаго и короля датскаго, долженъ былъ теперь наконецъ встрѣтить достойнаго соперника въ лицѣ короля шведскаго. Тилли происходилъ изъ знатнаго люттихскаго рода и получилъ воинское воспитаніе въ Нидерландской войнѣ, тогдашней школѣ полководцевъ. Вскорѣ затѣмъ онъ имѣлъ случай проявить свои дарованія въ правленіе императора Рудольфа II въ Венгріи, гдѣ онъ быстро возвышался отъ одной ступени къ другой. По заключеніи мира, онъ перешелъ на службу къ Максимиліану баварскому, который назначилъ его главнокомандующимъ съ неограниченной властью. Организаторъ превосходнаго устройства баварской арміи, Тилли былъ ея создателемъ и ему главнымъ образомъ былъ обязанъ Максимиліанъ своимъ военнымъ превосходствомъ. По окончаніи чешской войны ему было поручено начальство надъ войсками лиги, а теперь, послѣ отставки Валленштейна, высшая власть надъ всей императорской арміей. Столь же суровый къ своимъ войскамъ, столь же мстительный по отношенію къ врагу, столь же мрачный какъ Валленштейнъ, онъ далеко превосходилъ послѣдняго своей скромностью и самоотверженностью. Слѣпой религіозный фанатизмъ и кровожадная нетерпимость въ соединеніи съ природной дикостью его характера сдѣлали его ужасомъ протестантовъ. Странная и ужасающая внѣшность соотвѣтствовала его внутреннему міру. Маленькій, тощій съ впавшими щеками, длиннымъ носомъ, широкимъ морщинистымъ лбомъ, торчащими усами и заостреннымъ подбородкомъ, онъ ходилъ обыкновенно въ испанскомъ камзолѣ изъ свѣтло-зеленаго атласа съ разрѣзными рукавами, въ маленькой шляпѣ съ краснымъ перомъ, сдвинутой на затылокъ. Весь видъ его напоминалъ укротителя Фландріи, герцога Альбу, и поведеніе его не шло въ разрѣзъ съ этимъ впечатлѣніемъ. Такимъ былъ полководецъ, стоявшій теперь противъ сѣвернаго героя.

Тилли былъ далекъ отъ пренебреженія къ своему сопернику. „Король шведскій—такъ говорилъ онъ на собраніи курфюрстовъ въ Регенсбургѣ,—это врагъ великой мудрости и такой же храбрости, закаленный въ войнѣ, въ разцвѣтѣ силъ. Его распоряженія превосходны, его средства весьма не малы, его подданные выказали чрезвычайную преданность ему. Его армія, состоящая изъ шведовъ, нѣмцевъ, лифляндцевъ, финновъ, шотландцевъ и англичанъ, слѣпымъ повиновеніемъ объединена въ одну націю. Это игрокъ, въ игрѣ съ которымъ не потерять—уже значитъ много выиграть".

Успѣхи короля шведскаго въ Бранденбургѣ и Помераніи заставили новаго главнокомандующаго не терять времени, тѣмъ болѣе, что командовавшіе тамъ генералы настоятельно требовали его присутствія. Съ возможной быстротой собралъ онъ императорскія войска, разсѣянныя по всей Германіи; но прошло много времени, пока ему удалось заготовить необходимые военные припасы въ опустошенныхъ и истощенныхъ провинціяхъ. Наконецъ, среди зимы онъ явился во главѣ двадцатитысячной арміи предъ Франкфуртомъ на Одерѣ, гдѣ онъ соединился съ остатками войскъ Шаумбурга. Поручивъ этому полководцу оборону Франкфурта съ достаточно сильнымъ гарнизономъ, онъ самъ поспѣшилъ въ Померанію, чтобы спасти Демминъ и освободить Кольбергъ, уже доведенный шведами до крайности. Но, прежде чѣмъ

онъ успѣлъ выйти изъ предѣловъ Бранденбурга, Деммин, въ высшей степени неудачно защищаемый герцогомъ Савелли, сдался королю, и Кольбергъ, послѣ пятимѣсячной осады, тоже вынужденъ былъ уступить вслѣдствіе голода. Такъ какъ проходы въ переднюю Померанію были заняты крѣпкими отрядами и лагерь короля при Шведтѣ оказался неприступнымъ, то Тилли отказался отъ своего первоначальнаго плана—вести наступательную войну—и двинулся обратно по Эльбѣ, для того чтобы осадить Магдебургъ.

Взятіе Деммина давало королю возможность вторгнуться безпрепятственно въ предѣлы Мекленбурга; но болѣе важное предпріятіе отвлекло его оружіе въ другую сторону. Едва Тилли началъ свое отступленіе, какъ король вдругъ снялся съ лагеря въ Шведтѣ и со всѣми своими войсками двинулся на Франкфуртъ. Этотъ городъ былъ укрѣпленъ очень плохо, но имѣлъ гарнизонъ въ восемь тысячъ человѣкъ, по преимуществу изъ остатковъ тѣхъ некстовыхъ бандъ, которыя грабили Померанію и Бранденбургъ. Нападеніе велось съ большой энергіей, и уже на третій день городъ былъ взятъ приступомъ. Увѣренные въ побѣдѣ шведы отвергли капитуляцію, хотя непріятель два раза предлагалъ сдаться, и воспользовались страшнымъ правомъ возмездія. Дѣло въ томъ, что Тилли, явившись въ эту страну, захватилъ въ Нейбранденбургѣ запоздавшій шведскій гарнизонъ и, раздраженный энергичнымъ сопротивленіемъ, приказалъ изрубить его до послѣдняго человѣка. Объ этой жестокости вспомнили шведы, ворвавшись въ Франкфуртъ. „Нейбранденбургъ!“ — отвѣчали каждому императорскому солдату, молившему о пощадѣ и безсердечно убивали его. Нѣсколько тысячъ было избито или взято въ плѣнъ, многіе утонули въ Одерѣ, остатки бѣжали въ Силезію; вся артиллерія попала въ руки шведовъ. Уступая возбужденію своихъ солдатъ, Густавъ Адольфъ вынужденъ былъ разрѣшить трехчасовой грабежъ.

Между тѣмъ какъ король переходилъ отъ одной побѣды къ другой, а мужество протестантовъ возрастало и сопротивленіе ихъ становилось все энергичнѣе, императоръ продолжалъ раздражать ихъ до крайности исполненіемъ эдикта о возстановленіи и чрезмѣрными требованіями. Теперь онъ по необходимости долженъ былъ держаться того пути насилія, на который вступилъ первоначально лишь изъ высокомѣрія; затрудненій, въ которыя повергло его своеволіе, онъ не могъ избѣгнуть теперь ничѣмъ инымъ, кромѣ новаго своеволія. Но въ столь искусственно созданномъ государственномъ организмѣ, какимъ былъ нѣмецкій, рука деспотизма необходимо должна была вызвать разложеніе. Съ изумленіемъ смотрѣли государи на то, какъ понемногу измѣняется все государственное устройство и какъ новый естественный порядокъ вещей приводитъ ихъ къ самопомощи, единственному средству спасенія при естественномъ состояніи. Наконецъ, открытые шаги императора противъ евангелической церкви сбросили съ глазъ Іоанна Георга повязку, которая такъ долго скрывала отъ него коварную политику этого государя. Устраненіемъ его сына отъ архіепископства магдебургскаго Фердинандъ лично оскорбилъ его, а фельдмаршалъ фонъ Арнгеймъ, его новый любимецъ и министръ, старался всѣми способами растравить эту обиду. Бывшій императорскій генералъ подъ командой Валленштейна и все еще преданный другъ послѣдняго, онъ старался теперь отомстить императору за своего стараго благодѣтеля и за себя и отвлечь курфюрста Саксонскаго отъ содѣйствія австрійскимъ интересамъ. Появленіе шведовъ въ Германіи должно было доставить ему средства для этого. Съ присоединеніемъ протестантскихъ государей къ Густаву Адольфу онъ сталъ бы непобѣдимъ, и ничто не безпокоило императора болѣе этого. Примѣръ Саксоніи могъ увлечь за собой другихъ, и судьба императора была въ извѣстномъ смыслѣ въ рукахъ Іоанна Георга. Хитрый временщикъ съумѣлъ выяснить честолюбію своего господина все значеніе его положенія и посовѣтовалъ ему пугнуть императора угрозой вступить въ союзъ со шведами и добиться отъ испуга этого государя того, чего нельзя было ожидать отъ его благодарности. Онъ, однако, былъ того мнѣнія, что не слѣдуетъ заключать со шведами дѣйствительный союзъ, чтобы сохранить свое значеніе и свободу. Онъ вдохновлялъ его гордыми замыслами (которые нуждались только въ болѣе умѣломъ исполнителѣ) стать средоточіемъ всей партіи протестантовъ, образовать въ Германіи третью силу и, оставаясь по срединѣ между Швеціей и Австріей, поставить рѣшеніе въ зависимость отъ своей воли.

Этотъ планъ льстилъ тѣмъ болѣе самолюбію Іоанна-Георга, что ему было равно невыносимо стать въ зависимость отъ

Швеціи и оставаться дольше подъ тиранніей императора. Онъ не могъ равнодушно смотрѣть, какъ руководительство нѣмецкими дѣлами переходитъ къ иноземному государю, и какъ ни мало былъ онъ способенъ играть первую роль, самолюбіе его всетаки не мирилось съ второстепеннымъ положеніемъ. Онъ рѣшилъ поэтому извлечь возможно большія выгоды изъ успѣховъ шведскаго короля, но тѣмъ не менѣе продолжать свою собственную политику независимо отъ послѣдняго. Для этой цѣли онъ вошелъ въ соглашеніе съ курфюрстомъ Бранденбургскимъ, который по такимъ же соображеніямъ былъ озлобленъ на императора и недовѣрялъ шведамъ. Увѣрившись на сеймѣ въ Торгау въ преданности своихъ земскихъ чиновъ, согласіе которыхъ было необходимо для выполненія его плана, онъ созвалъ всѣхъ евангелическихъ владѣтелей имперіи на сеймъ, который былъ открытъ въ Лейпцигѣ 6 февраля 1631 года. Бранденбургъ, Гессенъ-Кассель, многіе государи, графы, имперскіе чины, протестантскіе епископы явились сами или чрезъ уполномоченныхъ на этомъ собраніи, которое было открыто Саксонскимъ придворнымъ проповѣдникомъ докторомъ Гоэ фонъ Гогенеггомъ громовой проповѣдью. Напрасно старался императоръ распустить этотъ самовольный съѣздъ, который, очевидно, имѣлъ въ виду самопомощь и, вслѣдствіе присутствія шведовъ въ Германіи, былъ въ высшей степени опасенъ. Съѣхавшіеся государи, одушевленные успѣхами Густава Адольфа, настаивали на своихъ правахъ и по истеченіи двухъ мѣсяцевъ разошлись, сдѣлавъ замѣчательное постановленіе, повергнувшее императора въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Содержаніе этого постановленія заключалось въ слѣдующемъ: настоятельно просить императора въ общемъ прошеніи объ отмѣнѣ реституціоннаго эдикта, объ удаленіи его войскъ изъ ихъ резиденцій и крѣпостей, о пріостановкѣ поборовъ и о вознагражденіи за всѣ злоупотребленія; покаже постановлено собрать сорокатысячную армію, чтобы своими силами отстоять свое право и справедливость, если императоръ въ этомъ откажетъ.

Къ этому присоединилось еще одно обстоятельство, въ не малой степени способствовавшее рѣшимости протестантскихъ государей. Побѣдивъ, наконецъ, опасенія, удерживавшія его отъ соглашенія съ Франціей, король шведскій 13 января того-же 1631 года вступилъ въ формальный союзъ съ этой державой. Послѣ весьма серьезнаго разногласія относительно будущей судьбы католическихъ государей имперіи, которыхъ Франція принимала подъ свою защиту, а Густавъ, наоборотъ, хотѣлъ подвергнуть дѣйствію закона возмездія, и послѣ менѣе важнаго спора относительно титула величества, въ которомъ французское высокомѣріе отказывало шведской гордости, Ришелье уступилъ, наконецъ, по второму пункту, Густавъ Адольфъ по первому, и договоръ былъ подписанъ въ Беервальдѣ въ Неймаркѣ. Обѣ державы обязывались помогать другъ другу вооруженной рукой, защищать своихъ общихъ друзей, возстановлять на престолахъ изгнанныхъ имперскихъ государей, и какъ на границахъ, такъ и внутри Германіи возстановить все въ томъ же видѣ, какъ оно было до наступленія войны. Для этой цѣли Швеція обязывалась содержать на свой счетъ въ Германіи тридцатитысячную армію, а Франція—выдавать шведамъ ежегодное пособіе въ четыреста тысячъ талеровъ. Если счастье будетъ благопріятствовать оружію Густава, то въ завоеванныхъ мѣстностяхъ онъ долженъ свято соблюдать свободу католической религіи и имперскіе законы и ничего не предпринимать ни противъ первой, ни противъ послѣднихъ; всѣмъ чинамъ и государямъ, даже католическимъ, внутри и внѣ Германіи разрѣшается свободно вступать въ этотъ союзъ; одна сторона безъ вѣдома и согласія другой не имѣетъ права заключать съ непріятелемъ отдѣльный миръ; срокъ дѣйствія договора опредѣляется въ пять лѣтъ.

Какъ не легко было королю шведскому принимать отъ Франціи жалованье и отказаться отъ полной свободы въ веденіи войны, такъ рѣшителенъ былъ этотъ союзъ съ французами для его положенія въ Германіи. Лишь теперь, когда онъ опирался на самую значительную державу Европы, начали нѣмецкіе имперскіе чины питать довѣріе къ его замыслу, за успѣхъ котораго они до сихъ поръ трепетали—и не безъ основанія. Лишь теперь становился онъ страшенъ для императора. Даже католическіе государи, желавшіе униженія Австріи, смотрѣли съ меньшимъ недовѣріемъ на его успѣхи въ Германіи, потому что союзъ съ католической державой обязывалъ его относиться съ терпимостью къ ихъ религіи. Какъ появленіе Густава Адольфа было защитой евангелической религіи и нѣмецкой свободы противъ непо-

мѣрнаго могущества императора Фердинанда, такъ теперь вмѣшательство Франціи являлось охраной католической религіи и нѣмецкой свободы отъ того-же Густава Адольфа, — если бы упоеніе счастьемъ увлекло его за предѣлы умѣренности.

Король шведскій поспѣшилъ сообщить участникамъ лейпцигскаго союза о договорѣ своемъ съ Франціей и вмѣстѣ съ тѣмъ пригласить ихъ къ сближенію. Франція также поддерживала его въ этомъ предложеніи и не жалѣла никакихъ представленій для того, чтобы побѣдить нерѣшимость курфюрста саксонскаго. Если протестантскіе государи считали теперь еще слишкомъ рискованнымъ для себя вступать съ нимъ открыто въ союзъ, Густавъ Адольфъ соглашался строжайшимъ образомъ воспрещавшія имъ вербовать войска. Они отвѣтили горячими жалобами, оправдывали свое поведеніе естественнымъ правомъ и продолжали дѣятельно готовиться къ войнѣ.

Между тѣмъ императорскіе полководцы недостаткомъ войскъ и денегъ были доведены до непріятнаго выбора — оставить безъ вниманія или короля шведскаго, или нѣмецкихъ государей, потому что они не могли, раздробивъ свои войска, бороться одновременно и со шведами и съ нѣмецкими протестантами. Движеніе протестантовъ сосредоточивало ихъ вниманіе на внутреннихъ областяхъ имперіи; успѣхи короля въ Бранденбургѣ, угрожавшіе уже наслѣдственнымъ владѣніямъ императора, заставляли ихъ

Дворецъ Валленштейна въ Прагѣ.

удовольствоваться хоть тайной помощью. Многіе государи подали надежду на принятіе его предложеній, какъ только они смогутъ вздохнуть свободнѣе; Іоаннъ Георгъ, все еще исполненный зависти и недовѣрія къ королю шведскому и все еще поглощенный своей своекорыстной политикой, никакъ не могъ принять опредѣленное рѣшеніе.

Постановленіе лейпцигскаго конгресса и союзъ между Франціей и Швеціей—таковы были два извѣстія, равно тягостныя для императора. Противъ перваго онъ прибѣгнулъ къ громамъ своихъ императорскихъ приговоровъ, и лишь недостатокъ арміи мѣшалъ ему выказать всю силу своего неудовольствія противъ Франціи. Участники лейпцигскаго союза получили посланія, обратить свое оружіе въ эту сторону. Послѣ взятія Франкфурта, король двинулся противъ Ландсберга на Вартѣ, и Тилли, послѣ запоздавшей попытки спасти городъ, вынужденъ былъ возвратиться въ Магдебургъ продолжать серьезно начатую осаду.

Богатое архіепископство, средоточіемъ котораго былъ городъ Магдебургъ, было издавна достояніемъ евангелическихъ принцевъ изъ бранденбургскаго дома, которые ввели сюда свою религію. За связи съ Даніей, Христіанъ Вильгельмъ, послѣдній администраторъ, былъ лишенъ покровительства законовъ, вслѣдствіе чего соборный капитулъ, во избѣжаніе мести императора, формально отрѣшилъ его отъ сана. На мѣсто его былъ предложенъ второй сынъ курфюрста саксонскаго, принцъ Іоаннъ

Августъ, но императоръ отвергъ его, желая доставить архіепископство своему сыну Леопольду. Тщетно раздавались при императорскомъ дворѣ безсильныя жалобы курфюрста саксонскаго; Христіанъ Вильгельмъ бранденбургскій принялъ болѣе дѣйствительныя мѣры. Убѣжденный въ преданности народа и магистрата магдебургскаго и возбужденный химерическими надеждами, онъ разсчитывалъ побѣдить всѣ препятствія, противопоставленныя его возстановленію приговоромъ капитула, соперничествомъ двухъ могущественныхъ соискателей и реституціоннымъ эдиктомъ. Онъ совершилъ путешествіе въ Швецію и старался обѣщаніемъ важной деверсіи въ Германіи обезпечить себѣ поддержку Густава. Король отпустилъ его не безъ нѣкоторыхъ надеждъ на свою дѣятельную защиту, но требовалъ отъ него благоразумнаго поведенія.

Едва узнавъ о высадкѣ своего защитника въ Помераніи, Христіанъ Вильгельмъ, переодѣвшись, тайно проникъ въ Магдебургъ. Неожиданно появившись въ городскомъ собраніи, онъ напомнилъ магистрату обо всѣхъ притѣсненіяхъ, испытанныхъ городомъ и страной отъ императорскихъ войскъ, о пагубныхъ замыслахъ Фердинанда, объ опасности, грозящей евангелической церкви. Послѣ этого вступленія онъ объяснилъ имъ, что насталъ часъ ихъ освобожденія и что Густавъ Адольфъ предлагаетъ имъ свой союзъ и всякое содѣйствіе. Магдебургъ, одинъ изъ богатѣйшихъ городовъ Германіи, пользовался подъ управленіемъ своего магистрата республиканской свободой, которая одушевляла его гражданъ геройскимъ мужествомъ. Славныя доказательства этого дали они въ борьбѣ противъ Валленштейна, который, соблазнившись богатствомъ Магдебурга, поставилъ имъ самыя невыполнимыя требованія. Вся ихъ область испытала, правда, разрушительную ярость его войскъ, но самъ Магдебургъ избѣжалъ его мести. Такимъ образомъ администратору было не трудно склонить на свою сторону умы, еще полные свѣжаго воспоминанія объ испытанныхъ злодѣяніяхъ. Между городомъ и королемъ шведскимъ былъ заключенъ союзъ, по которому Магдебургъ предоставлялъ королю свободное движеніе чрезъ свою область и городъ и разрѣшалъ производить вербовку солдатъ въ своихъ владѣніяхъ; за это ему была обѣщана серьезная поддержка въ его борьбѣ за свою религію и свободу.

Администраторъ тотчасъ же набралъ войска и открылъ военныя дѣйствія, прежде чѣмъ Густавъ Адольфъ явился ему на помощь. Ему удалось разбить нѣсколько императорскихъ отрядовъ по сосѣдству, сдѣлать нѣсколько мелкихъ завоеваній и даже напасть врасплохъ и захватить Галле. Но приближеніе императорскаго войска тотчасъ же заставило его съ большой поспѣшностью и не безъ потерь отступить къ Магдебургу. Густавъ Адольфъ, правда, недовольный этой поспѣшностью, прислалъ ему въ лицѣ Дитриха фонъ Фалькенберга опытнаго офицера, чтобы руководить военными дѣйствіями и помогать администратору своими совѣтами. Этого Фалькенберга магистратъ избралъ комендантомъ города на все время войны. Войско принца, увеличиваясь съ каждымъ днемъ, вслѣдствіе скопленія людей изъ сосѣднихъ городовъ, одержало нѣсколько побѣдъ надъ императорскими полками, посланными противъ него, и въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ вело партизанскую войну съ значительнымъ успѣхомъ.

Наконецъ, окончивъ походъ противъ герцога саксенъ-лауенбургскаго, къ городу подошелъ графъ фонъ Паппенгеймъ; вытѣснивъ очень быстро войска администратора изъ всѣхъ окоповъ, онъ такимъ образомъ отрѣзалъ ему всякія сношенія съ Саксоніей и серьезно занялся осадой города. Явившійся послѣ него Тилли потребовалъ въ грозномъ письмѣ къ администратору не противиться болѣе реституціонному эдикту, покориться волѣ императора и сдать Магдебургъ. Отвѣтъ принца, горячій и смѣлый, заставилъ императорскаго полководца показать ему всю силу оружія.

Осада, вслѣдствіе успѣховъ короля шведскаго, отвлекавшаго къ себѣ вниманіе императорскихъ полководцевъ, замедлилась, а раздоры командовавшихъ въ отсутствіи Тилли генераловъ дали Магдебургу еще нѣсколько мѣсяцевъ отдыха. 30 марта 1631 года Тилли появился наконецъ вновь, чтобы теперь приняться серьезно за осаду.

Въ непродолжительномъ времени были взяты всѣ внѣшнія укрѣпленія, и Фалькенбергъ вынужденъ былъ стянуть въ городъ гарнизоны, которыхъ нельзя уже было спасти иначе, и разрушить мостъ на Эльбѣ. Такъ какъ войскъ для защиты этой обширной крѣпости съ предмѣстіями было недостаточно, то пришлось предмѣстія Зуденбургъ и Нейштадтъ предоставить непріятелю,

который не замедлилъ обратить ихъ въ пепелъ. Паппенгеймъ отдѣлился отъ Тилли, перешелъ при Шенебекѣ черезъ Эльбу, чтобы подступить къ городу съ другой стороны.

Гарнизонъ, ослабленный прежними стычками въ наружныхъ укрѣпленіяхъ, едва доходилъ до двухъ тысячъ пѣхоты и нѣсколькихъ сотенъ кавалеріи—весьма слабая защита для столь обширной и притомъ столь неправильно построенной крѣпости. Для восполненія этого недостатка вооружили гражданъ—отчаянное мѣропріятіе, принесшее гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Граждане, уже сами по себѣ весьма посредственные солдаты, довели своими раздорами городъ до гибели. Бѣдный былъ недоволенъ тѣмъ, что на него взваливаютъ всѣ трудности, предоставляютъ его всѣмъ тягостямъ, всѣмъ опасностямъ войны, въ то время какъ богатый, высылая на стѣны города свою челядь, наслаждался у себя дома. Неудовольствіе перешло въ концѣ концовъ въ открытый ропотъ; одушевленіе смѣнилось равнодушіемъ, бдительность и осторожность — безпечностью и нерадивостью. Эти раздоры въ связи съ возрастающей нуждой дали мѣсто малодушнымъ соображеніямъ, и многіе начали пугаться смѣлости своего предпріятія и трепетать предъ могуществомъ императора, съ которымъ городъ дерзко вступилъ въ бой. Но религіозный фанатизмъ, пламенная любовь къ свободѣ, непреодолимая ненависть къ имени императора, близкая надежда на выручку—отгоняли всякую мысль о сдачѣ; и какъ ни велики были раздоры въ всемъ остальномъ, въ одномъ всѣ были единодушны: въ рѣшеніи защищаться до крайности.

Надежды осажденныхъ на помощь были, повидимому, вполнѣ основательны. Они знали о вооруженіи лейпцигскаго союза, о приближеніи Густава Адольфа; для тѣхъ и другихъ было равно важно отстоять Магдебургъ, а король шведскій могъ въ нѣсколько переходовъ явиться подъ стѣнами города. Все это было очень хорошо извѣстно и графу Тилли, и потому то онъ такъ спѣшилъ какимъ бы то ни было образомъ овладѣть Магдебургомъ. Онъ посылалъ уже къ администратору, къ коменданту и магистрату герольда съ различными предложеніями сдаться, но получилъ въ отвѣтъ, что граждане предпочитаютъ лучше умереть, чѣмъ сдаться. Бодрая вылазка гражданъ показала ему, что мужество осажденныхъ не охладѣло ни на іоту, и появленіе короля въ Потсдамѣ и движенія шведовъ вплоть до Цербста должны были наполнить его безпокойствомъ, а обывателей Магдебурга—радостными надеждами. Второй герольдъ, явившійся къ нимъ, и смягченный тонъ его предложеній усилилъ ихъ надежды—лишь для того однако, чтобы повергнуть ихъ въ еще большую безпечность.

Между тѣмъ осаждающіе приблизились своими окопами къ городскому рву и обстрѣливали изъ своихъ батарей валъ и башни. Одна башня была совершенно разрушена, но не облегчила этимъ нападеніе, такъ какъ свалилась не въ ровъ, но на валъ. Несмотря на безпрерывное бомбардированіе, валъ пострадалъ очень мало, и дѣйствіе ядеръ, которыя должны были зажечь городъ, было предотвращено удачными мѣрами предосторожности. Но запасы пороха въ осажденномъ городѣ приходили къ концу, и орудія крѣпости понемногу переставали отвѣчать осаждающимъ. Необходимо было взять Магдебургъ прежде, чѣмъ будетъ приготовленъ новый порохъ, или проститься съ нимъ. Теперь надежды города были напряжены до крайности, и всѣ взгляды обращались съ страстнымъ вожделѣніемъ на окрестности, гдѣ должны были показаться шведскія знамена. Густавъ Адольфъ былъ такъ близко, что могъ на третій день явиться подъ Магдебургомъ. Съ надеждой возрастаетъ увѣренность, и все усиливаетъ ее. 9-го мая непріятельская канонада неожиданно умолкаетъ: изъ многихъ батарей увозятъ пушки. Въ императорскомъ лагерѣ царитъ мертвая тишина. Все убѣждаетъ осажденныхъ, что спасеніе близко. Большая часть караульныхъ гражданъ и солдатъ оставляетъ рано утромъ свой постъ на валу, чтобы послѣ долгихъ трудовъ насладиться, наконецъ, сладкимъ сномъ: но дорого обошелся сонъ—и страшно было пробужденіе.

Отказавшись окончательно отъ надежды овладѣть городомъ до прибытія шведовъ путемъ осады, Тилли рѣшилъ снять осаду, но ранѣе испробовать общій приступъ. Трудности были чрезвычайно велики, такъ какъ бреши въ стѣнѣ не было, и укрѣпленія были еще почти не тронуты. Но военный совѣтъ, собранный Тилли, высказался за приступъ, ссылаясь при этомъ на примѣръ Мастрихта, который былъ взятъ штурмомъ рано утромъ, когда граждане и солдаты удалились на покой. Приступъ долженъ начаться одновременно съ четырехъ сторонъ: вся ночь съ 9-го на 10-е была

проведена въ необходимыхъ приготовленіяхъ. Всѣ были на готовѣ и, какъ было условлено, ждали ровно въ пять часовъ пушечнаго выстрѣла. Знакъ былъ данъ, но на два часа позже, такъ какъ Тилли, все еще неувѣренный въ успѣхѣ, собралъ новый военный совѣтъ. Паппенгеймъ получилъ приказъ сдѣлать нападеніе на укрѣпленныя предмѣстья; ему помогалъ въ этомъ отлогій валъ и сухой, не слишкомъ глубокій ровъ. Большая часть гражданъ и солдатъ ушли со стѣнъ, а немногіе часовые покоились въ глубокомъ снѣ. Такимъ образомъ, этотъ полководецъ первый поднялся безъ особеннаго труда на валъ.

Фалькенбергъ, услыхавъ выстрѣлы мушкетовъ, бросился изъ ратуши, гдѣ онъ былъ занятъ отвѣтомъ на второе посланіе къ Тилли, съ кучкой солдатъ къ нейштадтскимъ воротамъ, уже взятымъ непріятелемъ. Отбитый здѣсь, храбрый полководецъ летитъ въ другую сторону, гдѣ другой непріятельскій отрядъ взбирается на валъ. Напрасное сопротивленіе! Въ самомъ началѣ стычки онъ падаетъ, сраженный непріятельской пулей. Страшная пальба мушкетовъ, звонъ колоколовъ, все увеличивающійся шумъ даютъ, наконецъ, проснувшимся гражданамъ понять всю силу грозящей имъ опасности. Они поспѣшно одѣваются, хватаются за оружіе, бросаются въ безсознательномъ ослѣпленіи на врага. Есть еще надежда отбить его,—но комендантъ убитъ, плана въ нападеніи нѣтъ, нѣтъ конницы, чтобы ворваться въ ряды непріятеля, нѣтъ, наконецъ, пороха, для того, чтобы продолжать огонь. Остальныя двое воротъ, до сихъ поръ нетронутыя, покинуты защитниками, чтобы отвратить въ городѣ еще большую опасность. Не теряя времени, непріятель пользуется возникшимъ отъ этого безпорядкомъ и занимаетъ эти позиціи. Упорное сопротивленіе продолжается до тѣхъ поръ, пока четыре императорскихъ полка, овладѣвъ валомъ, не нападаютъ на гражданъ съ тылу и такимъ образомъ не довершаютъ ихъ пораженіе. Храбрый офицеръ по имени Шмидтъ, который среди всеобщаго замѣшательства ведетъ еще разъ горсть смѣльчаковъ противъ врага и счастливо заставляетъ его отступить до воротъ, падаетъ смертельно раненый, а съ нимъ и послѣдняя надежда Магдебурга. До полудня взяты всѣ укрѣпленія, городъ въ рукахъ враговъ.

Теперь штурмующіе открываютъ двое воротъ предъ главной арміей и Тилли впускаетъ въ городъ часть своей пѣхоты. Она занимаетъ тотчасъ же главныя улицы, и пушки, разставленныя здѣсь, загоняютъ гражданъ въ дома ожидать здѣсь рѣшенія своей участи. Недолго оставляютъ ихъ въ неизвѣстности; два слова графа Тилли рѣшаютъ судьбу Магдебурга. И болѣе человѣчный полководецъ напрасно предписалъ бы такимъ войскамъ пощаду; а Тилли даже и не пытался это сдѣлать. Сдѣланный вслѣдствіе молчанія своего полководца властелиномъ надъ жизнью гражданъ, солдатъ врывается во внутрь домовъ, чтобы здѣсь удовлетворить всѣ необузданныя вожделѣнія своей скотской души. Быть можетъ, молящая невинность находила кое-гдѣ пощаду предъ нѣмецкимъ ухомъ, но не предъ нѣмымъ ожесточеніемъ валлонцевъ изъ войска Паппенгейма. Едва началась эта рѣзня, какъ распахнулись всѣ остальныя ворота и на несчастный городъ бросилась вся остальная кавалерія и страшныя банды кроатовъ.

Началась страшная рѣзня, для воспроизведенія которой нѣтъ языка у исторіи, нѣтъ кисти у искусства. Ни невинный дѣтскій возрастъ, ни безпомощная старость, ни юность, ни полъ, ни положеніе, ни красота не могли обезоружить ярость побѣдителя. Женщинъ насиловали въ присутствіи ихъ мужей, дочерей у ногъ ихъ отцовъ, и безпомощный полъ имѣлъ одно преимущество—быть жертвой удвоенной ярости. Ничто—ни потаенность мѣста, ни святость его—не могло спасти отъ всюду проникавшей жадности. Въ одной церкви нашли пятьдесятъ три обезглавленныхъ женщинъ. Кроаты забавлялись тѣмъ, что бросали дѣтей въ огонь; валлонцы Паппенгейма прокалывали младенцевъ у груди матерей. Нѣкоторые офицеры лиги, возмущенные этими невѣроятными неистовствами, позволили себѣ напомнить графу Тилли, что слѣдовало бы прекратить рѣзню. „Придите черезъ часъ—отвѣтилъ онъ—я посмотрю, что можно будетъ сдѣлать. Надо же вознаградить солдата за его труды и опасности". Ужасы продолжались безъ перерыва, пока наконецъ дымъ и пламя не остановили грабежъ. Для того, чтобы усилить замѣшательство и сломить сопротивленіе гражданъ, еще съ самаго начала въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прибѣгли къ поджогу. Теперь поднялась буря, разнесшая огонь по всему городу, и пожаръ съ страшной быстротой охватилъ все. Ужасна была сутолока среди чада и труповъ, между сверкающихъ мечей, среди обрушивающихся домовъ и потоковъ крови. Атмосфера нака-

Густавъ Адольфъ.

Портретъ Ванъ-Дейка въ старой Пинакотекѣ въ Мюнхенѣ.

лилась и невыносимый жаръ заставилъ, наконецъ, убійцъ искать убѣжища въ своемъ лагерѣ. Менѣе чѣмъ въ двѣнадцать часовъ этотъ многолюдный, укрѣпленный большой городъ, одинъ изъ лучшихъ городовъ Германіи, былъ обращенъ въ пепелъ, за исключеніемъ двухъ церквей и нѣсколькихъ хижинъ. Администраторъ Христіанъ Вильгельмъ, весь израненный, былъ взятъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ тремя бургомистрами; многіе храбрые офицеры и члены магистрата нашли завидную смерть на полѣ битвы. Четыреста богатѣйшихъ гражданъ были спасены отъ смерти благодаря корыстолюбію офицеровъ, которые разсчитывали получить отъ нихъ богатый выкупъ. Это человѣколюбіе выказали главнымъ образомъ офицеры лиги, и въ сравненіи съ безпощадной рѣзней императорскихъ солдатъ ихъ поведеніе заставляло смотрѣть на нихъ, какъ на ангеловъ-хранителей.

Солдатскіе типы.
(Изъ современ. соч. Callot «Les exercices militaires»).

Едва успокоилась ярость пожара, какъ толпы императорскихъ солдатъ явились съ новой жаждой добычи, чтобы искать ея въ пеплѣ и развалинахъ. Многіе задохлись отъ дыма, многіе поживились хорошо, такъ какъ граждане попрятали свое добро въ погреба. Наконецъ, 13 мая, послѣ того какъ главныя улицы были очищены отъ труповъ, въ городѣ появился самъ Тилли. Невѣроятно, возмутительно, страшно было зрѣлище, представшее здѣсь предъ человѣчествомъ. Оставшіеся въ живыхъ выползали изъ груды труповъ, дѣти искали родителей съ разрывающими душу воплями, младенцы сосали мертвыя груди своихъ матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить въ Эльбу болѣе шести тысячъ труповъ; неизмѣримо большее количество живыхъ и мертвыхъ пало жертвой огня; общее число убитыхъ простиралось до тридцати тысячъ.

Вступленіе генерала, послѣдовавшее 14 мая, положило конецъ грабежу, и всему, что спаслось до сихъ поръ, была дарована жизнь. Изъ собора было выпущено около тысячи человѣкъ, которые провели здѣсь въ непрестанномъ страхѣ смерти и безъ всякой пищи три дня и двѣ ночи. Тили объявилъ имъ прощеніе и приказалъ дать хлѣба. На слѣдующій день въ этомъ соборѣ отслужена была торжественная месса и подъ громъ пушечныхъ выстрѣловъ къ небу вознеслись священные гимны „Тебя Бога хвалимъ". Полководецъ императора проѣхалъ по всѣмъ улицамъ города, чтобы въ качествѣ личнаго свидѣтеля имѣть возможность сообщить своему повелителю, что съ разрушенія Трои и Іерусалима не было видано такой побѣды. И въ этомъ сравненіи не было никакого преувеличенія, если величину, благосостояніе и значеніе погибшаго города сопоставить съ яростью его разрушителей.

Слухъ о страшной судьбѣ Магдебурга распространилъ ликованіе по всей католической Германіи и повергъ въ трепетъ и страхъ всю протестантскую ея половину. Но всеобщее недовольство и негодованіе обвиняли особенно короля шведскаго, который, несмотря на свою близость и силу, оставилъ союзный городъ безъ помощи. Даже при самомъ безпристрастномъ отношеніи трудно было оправдать бездѣятельность короля, и Густавъ Адольфъ, во избѣжаніе полной потери сочувствія народа, для освобожденія котораго онъ явился сюда, былъ вынужденъ въ особомъ посланіи изложить міру причины своего поведенія.

Онъ только что напалъ на Ландсбергъ и взялъ его 16 апрѣля, когда до него дошла вѣсть объ опасномъ положеніи Магдебурга. Онъ тотчасъ же принялъ рѣшеніе освободить осажденный городъ и поэтому двинулся со всей своей кавалеріей и десятью полками пѣхоты по направленію къ Шпре. Положеніе, въ которомъ находился этотъ король въ Германіи, ставило ему неизмѣннымъ закономъ благоразумія—не дѣлать ни шагу впередъ, не защитивъ себя съ тылу. Лишь съ недовѣріемъ и предосторожностями могъ онъ двигаться по странѣ, гдѣ онъ былъ окруженъ двусмысленными друзьями и могущественными открытыми врагами, гдѣ одинъ поспѣшный шагъ могъ отрѣзать его отъ его королевства. Курфюрстъ бранденбургскій уже открылъ разъ свою крѣпость Кюстринъ предъ бѣгущими императорскими солдатами, закрывъ ее предъ преслѣдовавшими ихъ шведами. Если-бы

Густава теперь постигла въ борьбѣ съ Тилли неудача, то этотъ самый курфюрстъ могъ опять открыть императорскимъ войскамъ свои крѣпости, и тогда король, окруженный врагами спереди и съ тылу, погибъ бы безвозвратно. Чтобы не рисковать такимъ оборотомъ вещей при своемъ теперешнемъ предпріятіи, онъ требовалъ, чтобы курфюрстъ, прежде чѣмъ онъ двинется къ Магдебургу, впустилъ его въ свои крѣпости Кюстринъ и Шпандау до тѣхъ поръ, пока онъ освободитъ Магдебургъ.

Ничто, казалось, не могло быть справедливѣе этого требованія. Важная услуга, которую Густавъ Адольфъ оказалъ недавно курфюрсту, изгнавъ изъ его владѣній императорскія войска, казалось, давало ему право на его благодарность, а поведеніе, котораго шведы держались до сихъ поръ въ Германіи, оправдывали его притязанія на довѣріе курфюрста. Но передачей этихъ крѣпостей курфюрстъ дѣлалъ короля шведскаго въ извѣстной степени господиномъ своей страны, не говоря уже о томъ, что онъ этимъ окончательно разрывалъ связь съ императоромъ и обрекалъ свои владѣнія на неминуемую месть императорскихъ войскъ. Долго выдерживалъ Георгъ Вильгельмъ тягостную борьбу съ самимъ собою, но малодушіе и эгоизмъ взяли, наконецъ, верхъ. Нетронутый судьбою Магдебурга, равнодушный къ религіи и къ нѣмецкой свободѣ, онъ видѣлъ предъ собою лишь свои опасности, и эта трусливость была доведена до крайности его министромъ фонъ Шварценбергомъ, получившимъ отъ императора тайное вознагражденіе. Между тѣмъ шведскія войска приблизились къ Берлину, и король остановился у курфюрста. Замѣтивъ малодушныя колебанія этого государя, онъ не могъ воздержаться отъ выраженія своего неудовольствія. „Путь мой лежитъ на Магдебургъ—сказалъ онъ—не для моей пользы, но въ интересахъ протестантовъ. Если никто мнѣ не поможетъ, то я тотчасъ же отступаю, предлагаю императору мирное соглашеніе и отправляюсь обратно въ Стокгольмъ. Я убѣжденъ, что какія бы я условія мира ни поставилъ, императоръ согласится на нихъ; но если Магдебургъ погибнетъ и императоръ перестанетъ бояться меня, то вы увидите, что съ вами будетъ“. Эта угроза, брошенная во-время, а, быть можетъ, и видъ шведской арміи, которая была достаточно сильна, чтобы доставить королю путемъ оружія то, въ чемъ ему отказывали добромъ, сломили, наконецъ, сопротивленіе курфюрста, и онъ передалъ королю Шпандау.

Теперь предъ королемъ лежало два пути на Магдебургъ; одинъ изъ нихъ—западный—проходилъ по истощенной странѣ и среди непріятельскихъ войскъ, которыя могли помѣшать ему переправиться чрезъ Эльбу. Другой—южный—проходилъ чрезъ Дессау или Виттенбергъ, гдѣ были мосты для перехода черезъ Эльбу и гдѣ можно было получать изъ Саксоніи жизненные припасы. Но все это требовало разрѣшенія курфюрста саксонскаго, къ которому Густавъ питалъ основательное недовѣріе. Поэтому, прежде чѣмъ двинуться въ походъ, онъ просилъ курфюрста разрѣшить ему свободный пропускъ и доставить необходимые для его войскъ жизненные припасы за наличныя деньги. Въ этой просьбѣ ему было отказано, и никакія представленія не могли заставить курфюрста отказаться отъ своего строгаго нейтралитета. Пока тянулись переговоры, пришло извѣстіе о страшной судьбѣ Магдебурга.

Тилли тономъ побѣдителя объявлялъ о ней всѣмъ протестантскимъ государямъ и, не теряя ни минуты, спѣшилъ воспользоваться всеобщимъ ужасомъ. Авторитетъ императора, значительно ослабленный успѣхами Густава, выросъ сразу грознѣе, чѣмъ когда либо, послѣ этого рѣшительнаго событія, и перемѣна положенія нашла наиболѣе рѣзкое выраженіе въ повелительномъ языкѣ, которымъ онъ заговорилъ теперь съ протестантскими чинами. Постановленія Лейпцигскаго союза были отмѣнены императорскимъ рѣшеніемъ, особымъ декретомъ распущенъ самый союзъ, всѣмъ непокорнымъ чинамъ пригрозили судьбой Магдебурга. Въ качествѣ исполнителя императорскаго указа, Тилли отправилъ тотчасъ-же свои войска противъ епископа Бременскаго, который былъ членомъ лейпцигскаго союза и набиралъ солдатъ. Устрашенный епископъ поспѣшилъ передать ихъ тотчасъ же въ руки Тилли и подписалъ отмѣну лейпцигскихъ постановленій. Императорская армія, возвращавшаяся въ это самое время изъ Италіи подъ предводительствомъ графа фонъ Фюрстенберга, поступила такимъ же образомъ съ администраторомъ Вюртембергскимъ. Герцогъ принужденъ былъ подчиниться возстановительному эдикту и всѣмъ декретамъ императора и кромѣ того обязался дѣлать ежемѣсячный взносъ въ сто тысячъ талеровъ на содержаніе импе-

раторскихъ войскъ. Такая же дань была наложена на города Ульмъ и Нюрнбергъ и на округа франконскій и швабскій. Страшенъ былъ гнетъ императора въ Германіи. Внезапный перевѣсъ, достигнутый имъ, благодаря паденію Магдебурга, болѣе нахущійся, чѣмъ дѣйствительный, завелъ его за предѣлы прежней умѣренности и заставилъ совершить нѣсколько поспѣшныхъ и насильственныхъ шаговъ, которые, наконецъ, побѣдили нерѣшительность нѣмецкихъ государей въ пользу Густава Адольфа. Какъ ни печальны были, такимъ образомъ, ближайшія слѣдствія гибели Магдебурга для протестантовъ, слѣдствія болѣе отдаленныя были благодѣтельны для нихъ. Первое изумленіе очень быстро уступило мѣсто дѣятельному негодованію; отчаяніе сообщало силы, и нѣмецкая свобода воскресла изъ пепла Магдебурга.

Среди государей, заключившихъ лейпцигскій союзъ, курфюрстъ саксонскій и ландграфъ гессенскій были неизмѣримо опаснѣе другихъ, и власть императора въ ихъ странахъ не могла считаться устойчивой, пока небыли обезоружены эти два государя. Тилли обратилъ свое оружіе прежде всего противъ ландграфа и прямо отъ Магдебурга двинулся въ Тюрингію. Саксонско-эрнестинскія и шварцбургскія земли испытали во время этого похода страшное разореніе, Франкгаузенъ былъ на глазахъ Тилли безнаказанно разграбленъ и обращенъ его солдатами въ пепелъ; страшно поплатился злополучный крестьянинъ за то, что его повелитель благопріятствовалъ шведамъ. Эрфурту, ключу Саксоніи и Франконіи, пригрозили осадой, отъ которой онъ откупился добровольной поставкой провіанта и денежной суммой. Отсюда Тилли отправилъ посла къ ландграфу кассельскому съ требованіемъ немедленно распустить свои войска, отказаться отъ участія въ лейпцигскомъ союзѣ, впустить императорскіе полки въ свою страну и въ свои крѣпости, уплатить контрибуцію и опредѣленно заявить себя другомъ или врагомъ. Такъ обходился слуга императора съ нѣмецкимъ государемъ! Но это чрезмѣрное требованіе получало страшный вѣсъ въ связи съ военной силой, которая его сопровождала, а свѣжая память о трагической судьбѣ Магдебурга должна была усилить его впечатлѣніе. Тѣмъ большей похвалы достойно мужество, съ которымъ ландграфъ отвѣтилъ на это предложеніе: „Впускать въ свои крѣпости и въ свою столицу чужихъ солдатъ онъ не собирался и не собирается; войска его нужны ему самому; отъ нападенія онъ съумѣетъ защититься. Если у генерала Тилли не хватаетъ денегъ и жизненныхъ припасовъ, то пусть отправляется въ Мюнхенъ: тамъ много того и другого". Ближайшимъ слѣдствіемъ этого вызывающаго отвѣта было вторженіе двухъ императорскихъ отрядовъ въ Гессенъ; но ландграфъ такъ встрѣтилъ ихъ, что они не могли сдѣлать ничего особеннаго. Когда же самъ Тилли двинулся вслѣдъ за ними со всѣмъ своимъ войскомъ, то, конечно, несчастной странѣ пришлось бы дорого заплатить за мужество своего государя, если бы движенія короля шведскаго не отвлекли во-время императорскаго полководца.

Густавъ Адольфъ принялъ вѣсть о гибели Магдебурга съ чрезвычайною скорбью, которая усилилась еще вслѣдствіе того, что теперь Георгъ Вильгельмъ, согласно договору, требовалъ возвращенія крѣпости Шпандау. Между тѣмъ потеря Магдебурга скорѣе усилила, нежели ослабила причины, по которымъ для короля было такъ важно владѣть этой крѣпостью; и чѣмъ ближе приближалась необходимость рѣшительнаго боя между нимъ и Тилли, тѣмъ тяжелѣе было ему отказаться отъ единственнаго убѣжища на случай несчастнаго исхода. Истощивъ напрасно всевозможныя представленія и просьбы предъ курфюрстомъ бранденбургскимъ, упорство котораго возрастало съ каждымъ днемъ, онъ отдалъ, наконецъ, своему коменданту приказъ очистить Шпандау, но одновременно заявилъ, что съ этого дня будетъ относиться къ курфюрсту, какъ къ непріятелю.

Чтобы придать вѣсъ своему заявленію, онъ появился со всей своей арміей предъ стѣнами Берлина. „Я не хочу, чтобы со мной обходились хуже, чѣмъ съ генералами императора—отвѣтилъ онъ посланнымъ ошеломленнаго курфюрста, когда они явились въ его лагерь—вашъ повелитель принялъ ихъ въ свои владѣнія, снабдилъ всѣми жизненными припасами, передалъ имъ всѣ крѣпости, какія они хотѣли, и путемъ всѣхъ этихъ любезностей не могъ добиться даже того, чтобы они обходились человѣчнѣе съ его народомъ. Все, чего я отъ него требую, это обезпеченіе моего движенія, немного денегъ и хлѣба для моихъ войскъ; за это я обѣщаю ему охранять его владѣнія и избавить его отъ войны Но я настаиваю на моихъ требованіяхъ, и пусть братъ мой курфюрстъ поскорѣе рѣшитъ, хочетъ онъ

имѣть меня своимъ другомъ или предать свою столицу опустошенію". Этотъ рѣшительный тонъ произвелъ впечатлѣніе, а пушки, направленныя на городъ, побѣдили всѣ колебанія Георга Вильгельма. Черезъ нѣсколько дней былъ подписанъ договоръ, по которому курфюрстъ обязался вносить ежемѣсячно тридцать тысячъ талеровъ, оставлялъ Шпандау въ рукахъ короля и обѣщалъ всегда, когда понадобится, впускать его войска и въ Кюстринъ. Это рѣшительное соединеніе курфюрста бранденбургскаго со шведами нашло въ Вѣнѣ не лучшій пріемъ, чѣмъ раньше такое же рѣшеніе герцога померанскаго; но неблагопріятный оборотъ счастья, вскорѣ испытанный оружіемъ императора, не позволилъ ему выразить свое раздраженіе чѣмъ либо, кромѣ словъ.

Удовольствіе короля по поводу этого счастливаго событія было вскорѣ усилено еще пріятнымъ извѣстіемъ, что Грейфсвальдъ, единственная крѣпость въ Помераніи, остававшаяся въ рукахъ императорскихъ войскъ, перешла къ нему, и теперь вся страна очищена отъ непріятеля. Явившись снова въ герцогствѣ, онъ насладился чуднымъ зрѣлищемъ всеобщаго народнаго ликованія, причиной котораго былъ онъ самъ. Прошелъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ Густавъ вступилъ на нѣмецкую почву, и годовщина этого событія была отпразднована во всемъ герцогствѣ померанскомъ всеобщимъ торжествомъ. Нѣсколько ранѣе царь московскій привѣтствовалъ его черезъ своихъ пословъ, предлагая возобновить дружбу и даже помочь войсками. Миролюбивыя намѣренія русскихъ были тѣмъ болѣе пріятны для короля, что въ той опасной войнѣ, которой онъ шелъ навстрѣчу, для него было въ высшей степени важно не безпокоиться о враждебныхъ сосѣдяхъ. Вскорѣ затѣмъ въ Помераніи высадилась его супруга королева Марія Элеонора съ подкрѣпленіемъ въ восемь тысячъ шведовъ; необходимо упомянуть также о прибытіи шести тысячъ англичанъ подъ предводительствомъ маркиза Гамильтона, такъ какъ кромѣ этого событія исторіи ничего не приходится сообщить о подвигахъ англичанъ въ тридцатилѣтнюю войну.

Во время тюрингенскаго похода Тилли, Паппенгеймъ занималъ область Магдебурга, но не могъ помѣшать шведамъ перейти въ нѣсколькихъ мѣстахъ Эльбу, уничтожить нѣсколько императорскихъ отрядовъ и взять много укрѣпленныхъ мѣстъ. Самъ онъ, испуганный приближеніемъ короля, настойчиво звалъ графа Тилли назадъ и дѣйствительно заставилъ его быстрыми переходами возвратиться поскорѣе въ Магдебургъ. Тилли расположился лагеремъ по сю сторону рѣки въ Вольмирштедтѣ; Густавъ Адольфъ разбилъ свой лагерь съ той же стороны у Вербена, недалеко отъ впаденія Гафеля въ Эльбу. Уже самое прибытіе его въ эти страны не предвѣщало Тилли ничего хорошаго. Шведы разсѣяли три его полка, расположенные въ деревняхъ далеко отъ главной арміи, отняли половину ихъ обоза и сожгли другую. Напрасно приближался Тилли съ своей арміей на разстояніе пушечнаго выстрѣла къ лагерю короля, вызывая его на бой; Густавъ, вдвое слабѣе Тилли, благоразумно избѣгалъ сраженія; его лагерь укрѣпленъ былъ слишкомъ хорошо, чтобы нападеніе непріятеля могло быть удачно. Пришлось ограничиться канонадой и нѣсколькими стычками, въ которыхъ побѣдителями неизмѣнно оставались шведы. Во время отступленія въ Вольмирштедтъ, армія Тилли уменьшилась отъ частыхъ побѣговъ. Послѣ магдебургской рѣзни счастье оставило его.

Тѣмъ неизмѣннѣе сопровождало оно теперь короля шведскаго. Пока онъ стоялъ лагеремъ въ Вербенѣ, его генералъ Тоттъ и герцогъ Адольфъ Фридрихъ завоевали почти весь Мекленбургъ, и онъ испыталъ царственное наслажденіе—возстановить на престолѣ обоихъ герцоговъ. Онъ отправился самъ въ Гюстровъ, гдѣ совершено было торжество, чтобы своимъ присутствіемъ усилить блескъ этого обряда. Съ своимъ спасителемъ посреди, окруженные блестящей свитой, появились оба герцога въ торжественномъ шествіи, обращенномъ радостью подданныхъ въ трогательное празднество. Вскорѣ послѣ возвращенія его въ Вербенъ появился въ его лагерѣ ландграфъ гессенъ-кассельскій, чтобы заключить съ нимъ тѣсный оборонительный и наступательный союзъ; это былъ первый государь Германіи, свободно и открыто ставшій на сторону врага императора; правда, онъ имѣлъ на это болѣе чѣмъ достаточное основаніе. Ландграфъ Вильгельмъ обязался бороться съ врагами короля, какъ съ своими собственными, открыть ему свои города и всю свою страну, доставлять ему жизненные припасы и все необходимое. Король въ свою очередь провозглашалъ себя его другомъ и защитникомъ и обѣщалъ не заключать мира, не доставивъ ландграфу полнаго удо-

Графъ Готфридъ Генрихъ фонъ-Паппенгеймъ.
Портретъ Ванъ-Дейка, гравированный Корнеліемъ Галле.

влетворенія отъ императора. Обѣ стороны честно сдержали слово. Гессенъ-Кассель вплоть до конца этой долгой войны оставался вѣренъ шведскому союзу, и онъ имѣлъ основанія хвалиться въ вестфальскомъ мирномъ трактатѣ шведской дружбой.

Тилли, отъ котораго не могъ оставаться тайной смѣлый шагъ ландграфа, отправилъ противъ него графа Фуггера съ нѣсколькими полками; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пытался посредствомъ подметныхъ писемъ возмутить гессенскихъ подданныхъ противъ ихъ государя. Его письма принесли такъ же мало пользы, какъ и его полки, недостатокъ которыхъ онъ вскорѣ затѣмъ испыталъ очень чувствительно въ брейтенфельдскомъ сраженіи. Гессенскіе земскіе чины не могли ни минуту колебаться между защитникомъ своего достоянія и его грабителемъ.

Но гораздо болѣе, чѣмъ Гессенъ-Кассель, безпокоило императорскаго генерала двусмысленное поведеніе курфюрста саксонскаго, который, вопреки императорскому

приказу, продолжалъ свои военныя приготовленія и не отказывался отъ лейпцигскаго союза. Теперь, въ виду близости короля шведскаго, когда каждую минуту могло грянуть рѣшительное сраженіе, ему казалось въ высшей степени опаснымъ позволить Саксоніи оставаться вооруженной, готовой каждое мгновеніе стать на сторону врага. Усилившись двадцатью пятью тысячами солдатъ изъ испытанныхъ войскъ, приведенныхъ ему Фюрстенбергомъ, и твердо вѣруя въ свою мощь, Тилли былъ убѣжденъ, что онъ сможетъ однимъ страхомъ своего прибытія обезоружить курфюрста или по крайней мѣрѣ безъ труда разбить его. Но, прежде чѣмъ покинуть свой лагерь, онъ потребовалъ чрезъ уполномоченныхъ отъ короля открыть свои владѣнія императорской арміи, распустить свои войска или соединить ихъ съ арміей императора и въ союзѣ съ ними изгнать короля шведскаго изъ Германіи. Онъ напомнилъ ему, что изъ всѣхъ нѣмецкихъ странъ больше всѣхъ щадили до сихъ поръ Саксонію и пригрозилъ ему въ случаѣ упорства самымъ ужаснымъ опустошеніемъ.

Тилли выбралъ весьма неблагопріятный моментъ для своего грознаго предложенія. Преслѣдованія, испытанныя его единовѣрцами и союзниками, разрушеніе Магдебурга, неистовства императорскихъ солдатъ въ Лузаціи,—все соединилось для того, чтобы возбудить въ курфюрстѣ крайнее негодованіе противъ императора. Какъ ни мало имѣлъ онъ права на защиту Густава Адольфа, близость этого государя наполняла его мужествомъ. Онъ воспретилъ императорскимъ солдатамъ пребываніе въ его странѣ и твердо объявилъ, что не намѣренъ приступить къ разоруженію. „Какъ ему ни странно—прибавилъ онъ—видѣть, что императорская армія идетъ на его владѣнія въ тотъ моментъ, когда она и безъ того занята изгнаніемъ короля шведскаго, онъ однако не ожидаетъ, что вмѣсто обѣщанныхъ и заслуженныхъ наградъ ему заплатятъ неблагодарностью и разореніемъ его страны“. Посламъ Тилли онъ послѣ роскошнаго пріема далъ еще болѣе ясный отвѣтъ. „Господа,—сказалъ онъ,—я вижу, что рѣшили, наконецъ, подать на столъ саксонское угощеніе, которое берегли такъ долго. Но въ него обыкновенно входятъ всякіе орѣхи и иныя показныя сласти, которые раскусить очень не легко; смотрите, какъ бы вамъ не пришлось сломать о нихъ зубы“.

Теперь Тилли, снявшись съ лагеря, двинулся, сопровождаемый страшнымъ опустошеніемъ, къ Галле и отсюда возобновилъ свое предложеніе курфюрсту въ еще болѣе настойчивомъ и угрожающемъ тонѣ. Если вспомнить все предыдущее поведеніе этого государя, который подъ вліяніемъ личныхъ симпатій и внушеній своихъ подкупленныхъ министровъ былъ преданъ интересамъ императора, даже на счетъ своихъ священнѣйшихъ обязанностей,—котораго до сихъ поръ удавалось съ такой легкостью удерживать въ полномъ бездѣйствіи, то остается удивляться ослѣпленію императора или его министровъ, которые именно въ такой критическій моментъ отказывались отъ прежней политики и насиліемъ доводили этого податливаго государя до крайности. Или это, быть можетъ, и было цѣлью Тилли? Быть можетъ, онъ считалъ нужнымъ превратить двусмысленнаго друга въ явнаго врага, чтобы такимъ образомъ освободиться отъ необходимости щадить землю этого государя, къ чему онъ былъ до сихъ поръ принужденъ тайнымъ приказомъ императора. Или, быть можетъ, самъ императоръ намѣренно доводилъ курфюрста до враждебнаго шага, чтобы такимъ образомъ разомъ расквитаться съ нимъ и получить возможность разорвать неоплаченный счетъ. Но и въ такомъ случаѣ нельзя не удивляться наглому высокомѣрію Тилли, который не боялся предъ лицомъ страшнаго непріятеля создавать себѣ новаго врага, и той безпечности, съ которой этотъ полководецъ позволилъ безпрепятственно соединиться обоимъ своимъ противникамъ.

Доведенный до отчаянія вторженіемъ Тилли въ Саксонію, Іоганнъ Георгъ не безъ большой борьбы бросился въ объятія королю шведскому.

Тотчасъ послѣ отъѣзда перваго посольства Тилли онъ поспѣшно отправилъ своего фельдмаршала фонъ Аргейма въ лагерь Густава, обращаясь съ просьбой о скорѣйшей помощи къ тому самому монарху, которымъ онъ такъ долго пренебрегалъ. Король скрылъ внутреннюю радость, испытанную при этомъ вожделѣнномъ оборотѣ событій. „Мнѣ очень жаль курфюрста“, отвѣтилъ онъ послу съ дѣланной холодностью. „Если бы онъ во-время обратилъ вниманіе на мои неоднократныя представленія, то страна его не видала бы непріятеля, и Магдебургъ былъ-бы цѣлъ и невредимъ. А теперь, когда иного исхода нѣтъ, обращаются къ королю шведскому. Нѣтъ, скажите ему, что я

совсѣмъ не собираюсь губить себя и своихъ союзниковъ ради курфюрста саксонскаго. Да и кто поручится мнѣ за вѣрность государя, министры котораго состоятъ на австрійской службѣ и который покинетъ меня, какъ только императоръ скажетъ ему ласковое слово и отзоветъ свои войска отъ его границъ. Войска Тилли получили за послѣднее время значительное подкрѣпленіе, но это не помѣшаетъ мнѣ смѣло пойти на него, какъ только я буду прикрытъ съ тыла".

Въ отвѣтъ на эти упреки саксонскій министръ не съумѣлъ сказать ничего, кромѣ того, что хорошо покрыть былое забвеніемъ. Онъ настоятельно просилъ короля объявить условія, на которыхъ тотъ соглашается помочь Саксоніи, и напередъ ручался за принятіе таковыхъ. „Я требую,—отвѣтилъ Густавъ,—чтобы курфюрстъ уступилъ мнѣ крѣпость Виттенбергъ, вручилъ мнѣ своего старшаго сына въ качествѣ заложника, уплатилъ моимъ войскамъ трехмѣсячное жалованье и выдалъ мнѣ предателей изъ министерства. На этихъ условіяхъ я готовъ оказать ему помощь".

„Не только Виттенбергъ", воскликнулъ курфюрстъ, получивъ этотъ отвѣтъ и поспѣшно отправляя своего министра въ шведскій лагерь,—„не только Виттенбергъ открою я ему, но и Торгау и всю Саксонію; въ заложники я отдамъ ему хоть всю мою семью; а если ему этого мало, то я самъ буду заложникомъ. Поспѣшите къ нему и передайте ему, что я готовъ выдать ему измѣнниковъ, которыхъ онъ мнѣ назоветъ, что я буду платить жалованье его войскамъ и что отдамъ жизнь и все мое достояніе за правое дѣло".

Король хотѣлъ только испытать новое настроеніе Іоанна Георга; тронутый этою искренностью, онъ отказался отъ своихъ тяжелыхъ требованій. „Недовѣріе, выказанное мнѣ, когда я хотѣлъ придти на помощь Магдебургу,—сказалъ онъ,—вызвало мое недовѣріе; нынѣшнее довѣріе курфюрста заслуживаетъ, чтобы я отвѣтилъ тѣмъ-же. Я доволенъ буду, если онъ уплатитъ мѣсячное жалованье моей арміи и надѣюсь, что за это вознагражденіе смогу охранить его".

Тотчасъ по заключеніи союза король перешелъ черезъ Эльбу и на слѣдующій день соединился съ саксонцами. Между тѣмъ Тилли, съ цѣлью воспрепятствовать этому соединенію, двинулся къ Лейпцигу и потребовалъ, чтобы городъ принялъ императорскій гарнизонъ. Въ надеждѣ на скорую помощь комендантъ города Гансъ фонъ деръ Пфорта сталъ готовиться къ оборонѣ и для этой цѣли приказалъ сжечь гальское предмѣстіе. Но дурное состояніе укрѣпленій сдѣлало сопротивленіе невозможнымъ и на второй день осады ворота были открыты. Тилли расположился квартирой въ домѣ одного могильщика,—единственномъ, который остался цѣлъ во всемъ предмѣстіи; здѣсь онъ подписалъ капитуляцію и здѣсь было рѣшено нападеніе на короля шведскаго. При взглядѣ на нарисованные черепа и скелеты, которыми хозяинъ дома украсилъ свой домъ, Тилли измѣнилъ себѣ. Противъ всякаго ожиданія съ Лейпцигомъ обошлись милостиво.

Между тѣмъ въ Торгау король шведскій и курфюрстъ саксонскій въ присутствіи курфюрста бранденбургскаго собрались на большой военный совѣтъ. Необходимо было принять рѣшеніе, отъ котораго зависѣла судьба Германіи и евангелической вѣры, благоденствіе многихъ народовъ и участь ихъ государей. Чувство жуткости, охватывающее и души героевъ предъ важнымъ рѣшеніемъ, какъ будто затмило на мгновеніе высокій духъ Густава Адольфа. „Рѣшаясь на сраженіе,—сказалъ онъ,—мы ставимъ теперь на карту одну корону и двѣ курфюршескихъ шапки. Счастье измѣнчиво, и неисповѣдимыя рѣшенія неба могутъ, грѣховъ нашихъ ради, даровать побѣду врагу. Правда, моя держава, даже потерявъ меня и мое войско, еще не погибла. Далекая отъ непріятеля, хранимая большимъ флотомъ, защищаемая своими границами и храбрымъ народомъ, она по крайней мѣрѣ не подвергается опасности окончательной гибели. Но что спасетъ васъ, тѣснимыхъ врагомъ, если жребій выпадетъ противъ насъ?"

Здѣсь Густавъ Адольфъ проявилъ скромное сомнѣніе героя, отъ котораго сознаніе силы не скрываетъ размѣровъ опасности; Іоганнъ Георгъ выказалъ самонадѣянность безсилія, которое знаетъ, что на его сторонѣ стоитъ герой. Полный нетерпѣнія по возможности скорѣе очистить свои владѣнія отъ двухъ тягостныхъ армій онъ жаждалъ боя, въ которомъ не рисковалъ потерять старые лавры. Онъ хотѣлъ самъ двинуться съ своими саксонцами на Лейпцигъ и сразиться съ Тилли. Наконецъ Густавъ Адольфъ согласился съ нимъ, и было рѣшено безъ замедленія напасть на непріятеля, прежде чѣмъ онъ соединится съ подкрѣпленіями, которыя вели ему генералы Альт

рингеръ и Тифенбахъ. Соединенная шведско-саксонская армія перешла черезъ Мульду; курфюрстъ бранденбургскій уѣхалъ домой.

Рано утромъ 7 сентября 1631 года сошлись непріятельскія арміи. Тилли, не успѣвъ уничтожить саксонскую армію до ея соединенія съ шведами, рѣшившись ждать спѣшившія къ нему вспомогательныя войска, разбилъ у Лейпцига укрѣпленный и удобный лагерь, гдѣ—онъ надѣялся—никому не удастся принудить его къ бою. Буйное поведеніе Паппенгейма заставило его однако при наступленіи непріятельскихъ войскъ перемѣнить свое положеніе и двинуться лѣвой стороной къ холмамъ, которые тянутся отъ деревни Варенъ вплоть до Линденталя. У подножія этихъ высотъ выстроилась его армія въ одну линію; его артиллерія, расположенная по холмамъ, могла обстрѣливать всю Бретенфельдскую равнину. Отсюда приближалась построенная въ двѣ колонны шведско-саксонская армія, которая должна была у Подельвица, села, расположеннаго предъ фронтомъ Тилли, перейти Лоберъ. Съ цѣлью затруднить ей переходъ черезъ этотъ ручей, сюда былъ отправленъ Паппенгеймъ съ двумя тысячами кирасиръ, но лишь послѣ долгаго сопротивленія Тилли и съ строгимъ приказомъ ни въ какомъ случаѣ не вступать въ бой. Несмотря на это запрещеніе, Паппенгеймъ вступилъ въ стычку съ шведскимъ авангардомъ, но послѣ краткаго сопротивленія вынужденъ былъ отступить. Чтобы удержать непріятеля, онъ зажегъ Подельвицъ, что однако не воспрепятствовало обѣимъ арміямъ продолжать наступленіе и выстроиться въ боевой порядокъ.

Справа расположились шведы, раздѣленные на два отряда, посрединѣ пѣхота въ маленькихъ батальонахъ, легко подвижныхъ и способныхъ производить самыя быстрыя движенія безъ нарушенія порядка; на крыльяхъ — кавалерія, раздѣленная такимъ же образомъ на маленькіе эскадроны въ перемежку съ мелкими отрядами мушкетеръ, которые скрывали ея малочисленность и должны были обстрѣливать непріятельскую конницу. Центромъ командовалъ полковникъ Тейфель, лѣвымъ крыломъ Густавъ Горнъ, правымъ самъ король, напротивъ графа Паппенгейма.

Саксонцы были отдѣлены отъ шведовъ широкимъ промежуткомъ,—по требованію Густава, которое впослѣдствіи было оправдано исходомъ сраженія. Боевую диспозицію составилъ курфюрстъ самъ вмѣстѣ съ своимъ фельдмаршаломъ, король удовлетворился согласіемъ на нее. Онъ какъ будто старался обособить шведскую доблесть отъ саксонской, и счастье не смѣшало ихъ.

На западныхъ высотахъ растянулись непріятельскіе ряды необозримой линіей, вполнѣ достаточной для того, чтобы окружить шведскую армію; пѣхота раздѣлена была на большіе баталіоны, конница на столь же большіе, неповоротливые эскадроны. Орудія непріятеля были расположены за нимъ на высотахъ и такимъ образомъ онъ былъ выстроенъ подъ своими же ядрами, перелетавшими черезъ него. Изъ такого положенія артиллеріи,—если вообще можно довѣрять этому извѣстію, — было видно, что Тилли намѣренъ былъ скорѣе ожидать врага, чѣмъ наступать, такъ какъ такое расположеніе его войскъ дѣлало невозможнымъ подвигаться впередъ, не становясь жертвой своихъ собственныхъ пушекъ. Тилли командовалъ центромъ, Паппенгеймъ лѣвымъ крыломъ, графъ фонъ Фюрстенбергъ правымъ. Численность всѣхъ войскъ императора и лиги не превышала въ этотъ день тридцати четырехъ — тридцати пяти тысячъ человѣкъ; столько же было приблизительно и въ соединенной шведско-саксонской арміи.

Но если бы ихъ стояли и милліоны другъ противъ друга—этотъ день не могъ бы быть кровавѣе, важнѣе, рѣшительнѣе. Ради этого дня Густавъ Адольфъ переплылъ Балтійское море, подвергался опасностямъ въ чужой странѣ, вручилъ невѣрному счастью свою жизнь и державу. Два величайшихъ полководца своего времени, оба до сихъ поръ непобѣдимые, подвергались послѣднему испытанію въ сраженіи, котораго избѣгали такъ долго; одинъ изъ нихъ долженъ былъ разстаться на этомъ полѣ битвы съ своей славой. Со страхомъ и трепетомъ ждали обѣ половины Германіи наступленія рокового дня; съ содроганіемъ ждетъ весь міръ его исхода и отдаленное потомство будетъ его благословлять или проклинать.

Рѣшимость, никогда не оставлявшая графа Тилли, покинула его въ этотъ день. Не было ни твердаго рѣшенія вступить въ бой съ королемъ, ни твердой рѣшимости избѣгнуть сраженія. Паппенгеймъ увлекъ его противъ его воли. Невѣдомыя до сихъ поръ колебанія бушевали въ его груди. Черное предчувствіе тяготѣло надъ его свободнымъ челомъ. Духъ Магдебурга виталъ надъ нимъ.

Двухчасовая канонада открыла сраженіе. Дулъ западный вѣтеръ и гналъ въ лицо шведамъ съ свѣже-обработанныхъ сухихъ полей густыя облака пыли и пороховаго дыма. Это заставило короля незамѣтно передвинуться къ сѣверу, и быстрота, съ которой былъ произведенъ маневръ, помѣшала непріятелю воспрепятствовать ему.

Наконецъ Тилли, покинувъ свои холмы, рѣшился двинуться на шведовъ; но, отбитый ихъ яростнымъ огнемъ, онъ двинулся направо и напалъ на саксонцевъ съ такимъ бѣшенствомъ, что части ихъ раздѣлились, отряды ихъ дрогнули и смятеніе охватило все войско. Самъ курфюрстъ опомнился лишь въ Эйленбургѣ; немногіе полки держались еще нѣкоторое время стойко на полѣ битвы и своимъ мужественнымъ сопротивленіемъ спасли честь саксонцевъ. Едва водворился между ними безпорядокъ, какъ кроаты накинулись на добычу и были готовы уже гонцы въ Мюнхенъ и Вѣну съ вѣстью о побѣдѣ.

На правое крыло шведовъ обрушился всей силой своей кавалеріи графъ Паппенгеймъ, но не могъ сдвинуть его съ мѣста. Здѣсь командовалъ самъ король, и—подъ его начальствомъ—генералъ Баннеръ. Семь разъ возобновлялъ Паппенгеймъ свою атаку, и семь разъ она была отбита. Онъ бѣжалъ съ большими потерями, оставивъ поле битвы непріятелю.

Между тѣмъ Тилли, опрокинувъ остатокъ саксонской арміи, бросился съ своими побѣдоносными полками на лѣвое крыло шведовъ. Но король, замѣтивъ безпорядокъ въ саксонской арміи, съ быстрой сообразительностью отправилъ сюда на помощь три полка, чтобы прикрыть флангъ, обнаженный бѣгствомъ саксонцевъ. Густавъ Горнъ, командовавшій здѣсь, оказалъ непріятельскимъ кирасирамъ стойкое сопротивленіе, не мало облегченное распредѣленіемъ пѣхоты между эскадронами. Непріятель начиналъ уже изнемогать, когда здѣсь появился Густавъ Адольфъ, чтобы дать рѣшительный толчекъ исходу боя. Лѣвое крыло императорскихъ войскъ было разбито, и его солдаты, уже не имѣвшіе предъ собой врага, могли быть лучше употреблены въ дѣло гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Поэтому онъ повернулъ своимъ правымъ крыломъ и главнымъ отрядомъ налѣво по направленію къ холмамъ, на которыхъ была расположена непріятельская артиллерія. Вскорѣ она была въ его рукахъ, и непріятель долженъ былъ испытать огонь своихъ собственныхъ пушекъ.

Обстрѣливаемое съ боку артиллеріей, тѣснимое спереди страшнымъ напоромъ шведовъ, дрогнуло непобѣдимое войско. Поспѣшное отступленіе было все, что оставалось Тилли; но самое отступленіе должно было теперь быть произведено чрезъ непріятельскіе ряды. Смятеніе овладѣло теперь всей арміей, за исключеніемъ четырехъ полковъ сѣдыхъ закаленныхъ солдатъ, которые никогда до сихъ поръ не бѣжали съ поля битвы и теперь не хотѣли бѣжать. Сомкнутыми кучками пробились они чрезъ ряды побѣдителей и съ оружіемъ въ рукахъ достигли маленькаго лѣска, гдѣ снова выстроились противъ шведовъ и бились до наступленія ночи, пока число ихъ уменьшилось до шести сотъ человѣкъ. Съ ними бѣжали остатки арміи Тилли и исходъ сраженія былъ рѣшенъ.

Среди раненыхъ и убитыхъ бросился Густавъ Адольфъ на колѣни, и пламенная радость побѣды вылилась у него прежде всего въ горячую молитву. Бѣгущаго врага преслѣдовала его кавалерія вплоть до наступленія глубокой ночи. Колоколъ набата поднялъ во всѣхъ окрестныхъ деревняхъ народъ,—и горе несчастному, который попадалъ въ руки озлобленному крестьянину. Съ остальнымъ войскомъ король расположился лагеремъ между полемъ битвы и Лейпцигомъ, такъ какъ невозможно было напасть въ ту же ночь на городъ. Семь тысячъ непріятельскихъ солдатъ осталось на мѣстѣ, болѣе пяти тысячъ попало въ плѣнъ или ранено. Вся непріятельская артиллерія, весь лагерь, болѣе ста знаменъ и штандартовъ досталось побѣдителю. Саксонцы потеряли двѣ тысячи, шведы не болѣе семи сотъ человѣкъ. Пораженіе императорскихъ войскъ было такъ велико, что Тилли во время своего бѣгства въ Галле и Гальберштадтъ не могъ собрать болѣе шести сотъ человѣкъ, Паппенгеймъ—не болѣе тысячи четырехсотъ. Такъ быстро исчезло это страшное войско, приводившее еще такъ недавно въ ужасъ всю Италію и Германію.

Самъ Тилли былъ обязанъ своимъ спасеніемъ только случайности. Покрытый множествомъ ранъ, онъ не хотѣлъ сдаться въ плѣнъ шведскому ротмистру, который, схвативъ его, готовъ уже былъ съ нимъ покончить, когда выстрѣлъ изъ пистолета во-время поразилъ его. Но неизмѣримо страшнѣе смертной опасности и ранъ было для него тягостное сознаніе, что онъ пере-

жилъ свою славу и въ одинъ день потерялъ всѣ труды своей долгой жизни. Всѣ прошлыя его побѣды обращались въ ничто, разъ была потеряна та, которая должна была увѣнчать всѣ остальныя. Отъ всѣхъ его блестящихъ подвиговъ оставались ему одни проклятія человѣчества, которыми они сопровождались. Съ этого дня веселье не возвращалось къ Тилли, и счастье на вѣки покинуло его. Даже послѣдняго его утѣшенія, мести, лишилъ его строгій приказъ его повелителя: не осмѣливаться болѣе вступать въ рѣшительный бой.—Тремя ошибками объясняется неудача этого дня: тѣмъ, во-первыхъ, что Тилли расположилъ свою артиллерію за арміей на холмахъ, тѣмъ, во-вторыхъ, что онъ удалился затѣмъ отъ этихъ холмовъ и, наконецъ, въ третьихъ, тѣмъ, что онъ позволилъ непріятелю выстроиться въ боевой порядокъ. Но какъ легко можно было исправить эти ошибки, если бы не холодное благоразуміе и не геніальное дарованіе его противника.—Тилли бѣжалъ изъ Галле въ Гальберштадтъ, гдѣ онъ, едва дождавшись зажившенія своихъ ранъ, поспѣшилъ къ Везеру, чтобы подкрѣпиться императорскими гарнизонами въ нижней Саксоніи.

Король саксонскій не замедлилъ по минованіи опасности явиться въ шведскомъ лагерѣ. Король поблагодарилъ его за совѣтъ вступить въ бой, и Іоганнъ Георгъ, пораженный этимъ благодушнымъ пріемомъ, въ чаду первой радости обѣщалъ ему римскую корону. Предоставивъ курфюрсту заботиться о возвращеніи Лейпцига, Густавъ двинулся на слѣдующій день къ Мерзебургу. Пять тысячъ императорскихъ солдатъ, собравшихся снова и по дорогѣ попавшихъ ему въ руки, были частью изрублены, частью взяты въ плѣнъ; большинство послѣднихъ вступило въ его армію. Мерзебургъ сдался тотчасъ же, вслѣдъ затѣмъ взятъ былъ Галле, куда къ королю явился послѣ взятія Лейпцига курфюрстъ саксонскій сговориться съ нимъ относительно дальнѣйшаго плана дѣйствій.

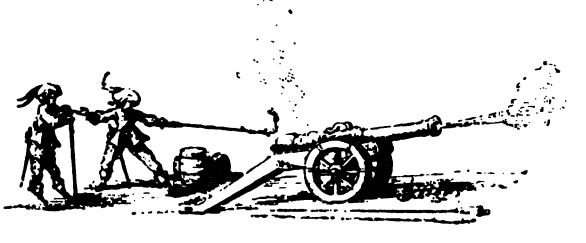
Побѣда была одержана, но лишь умѣлое пользованіе ею могло сдѣлать ее рѣшительной. Императорская армія была разбита, въ Саксоніи не оставалось ни одного непріятельскаго солдата, и бѣжавшій Тилли скрылся въ Брауншвейгѣ. Преслѣдовать его здѣсь значило бы возобновить войну въ Нижней Саксоніи, которая едва успѣла оправиться отъ бѣдствій предыдущей войны. Было поэтому рѣшено перенести войну въ непріятельскія земли, которыя, открытыя и незащищенныя вплоть до самой Вѣны, звали къ себѣ побѣдителя. Можно было двинуться направо на земли католическихъ государей, можно было направиться налѣво, вторгнуться въ наслѣдственныя владѣнія императора и привести его въ трепетъ въ его столицѣ. Было рѣшено сдѣлать то и другое, и вопросъ заключался теперь лишь въ распредѣленіи ролей. Во главѣ побѣдоносной арміи Густавъ Адольфъ не нашелъ бы сопротивленія по пути отъ Лейпцига къ Прагѣ, Вѣнѣ и Прессбургу; Богемія, Моравія, Австрія, Венгрія были покинуты ихъ защитниками; угнетенные протестанты этихъ странъ жаждали перемѣны; самъ императоръ не могъ считать себя въ безопасности въ своемъ замкѣ; въ страхѣ перваго нападенія Вѣна раскрыла бы свои ворота предъ побѣдителемъ. Съ странами, отнятыми у непріятеля, послѣдній лишался также средствъ, на которыя онъ велъ войну, и Фердинандъ охотно согласился бы на миръ, удаляющій столь страшнаго врага изъ самыхъ нѣдръ его владѣній. Завоевателю улыбнулся бы этотъ смѣлый военный планъ, и, быть можетъ, счастливый исходъ оправдалъ бы его. Но Густавъ Адольфъ, столь же осторожный, сколько смѣлый, и болѣе государственный человѣкъ, чѣмъ завоеватель, отказался отъ этого плана, потому что онъ имѣлъ въ виду болѣе высокія цѣли, потому что онъ не хотѣлъ довѣрить исходъ борьбы лишь счастью и отвагѣ.

Если бы Густавъ выбралъ походъ на Богемію, то Франконія и верхній Рейнъ должны были быть предоставлены курфюрсту саксонскому. Но Тилли началъ уже изъ остатковъ свой разбитой арміи, изъ гарнизоновъ въ нижней Саксоніи и подкрѣпленій, доставленныхъ ему, собирать новую армію, во главѣ которой онъ конечно не замедлилъ бы двинуться противъ непріятеля. Противопоставить столь опытному полководцу какого нибудь Аргейма, о способностяхъ котораго дала весьма двусмысленное свидѣтельство битва при Лейпцигѣ, было невозможно. Но какую пользу принесли бы королю самые быстрые и блестящіе успѣхи въ Богеміи и Австріи, если бы Тилли снова сталъ могучъ въ имперскихъ земляхъ, если бы онъ новыми побѣдами вдохнулъ мужество въ католиковъ и обезоружилъ союзниковъ короля? Къ чему послужитъ изгнаніе императора изъ его наслѣдственныхъ владѣній, если Тилли завоюетъ ему всю Германію? Онъ конечно не

могъ надѣяться стѣснить императора болѣе, чѣмъ его стѣснило двѣнадцать лѣтъ тому назадъ богемское возстаніе, которое не поколебало же упорства этого государя, не истощило его средствъ,—изъ котораго онъ вышелъ могущественнѣе и страшнѣе, чѣмъ прежде.

Менѣе блестящи, но гораздо болѣе основательны были выгоды, которыхъ король могъ ожидать отъ личнаго нападенія на владѣнія лиги. Рѣшительнымъ являлось здѣсь его вооруженное появленіе. Государи въ это время собрались по поводу реституціоннаго эдикта на имперскомъ сеймѣ во Франкфуртѣ, гдѣ Фердинандъ истощалъ всѣ уловки своей коварной политики, чтобы склонить устрашенныхъ протестантовъ къ поспѣшному и пагубному для нихъ соглашенію. Лишь приближеніе ихъ защитника могло вдохнуть въ нихъ стойкое сопротивленіе и уничтожить замыслы императора. Густавъ Адольфъ могъ надѣяться своимъ побѣдоноснымъ присутствіемъ объединить всѣхъ этихъ недовольныхъ государей, остальныхъ же страхомъ своего оружія оторвать отъ императора. Здѣсь, въ средоточіи Германіи, слѣдовало перерѣзать жизненный нервъ императорскаго могущества, которое не могло держаться безъ помощи лиги. Здѣсь онъ могъ вблизи слѣдить за своимъ двусмысленнымъ союзникомъ, Франціей; и если для достиженія его сокровенныхъ замысловъ ему необходима была дружба католическихъ курфюрстовъ, то онъ долженъ былъ прежде всего стать владыкой ихъ судьбы, чтобы великодушной пощадой пріобрѣсти право на ихъ благодарность.

Поэтому онъ выбралъ путь къ Франконіи и Рейну, предоставивъ курфюрсту саксонскому покореніе Богеміи.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Главное сраженіе при Лейпцигѣ произвело громадную перемѣну какъ во всемъ дальнѣйшемъ поведеніи Густава Адольфа, такъ и въ воззрѣніяхъ его враговъ и друзей. Онъ помѣрялся съ величайшимъ полководцемъ своего времени, онъ испыталъ силу своей тактики и мужество своихъ шведовъ въ борьбѣ съ ядромъ императорскихъ войскъ, лучшихъ въ Европѣ,—и побѣдилъ въ этомъ единоборствѣ. Начиная съ этого момента, онъ сталъ питать твердую вѣру въ себя, а вѣра—мать великихъ подвиговъ. Съ этихъ поръ во всѣхъ воинскихъ замыслахъ короля шведскаго замѣтенъ болѣе смѣлый и увѣренный размахъ, въ самыхъ тяжелыхъ положеніяхъ — большая рѣшимость, болѣе самоувѣренное презрѣніе къ опасности, болѣе гордая рѣчь съ непріятелемъ, болѣе самостоятельности въ отношеніяхъ съ союзниками и даже въ его мягкости больше снисхожденія повелителя. Его природное мужество поддерживалось мечтательнымъ полетомъ его воображенія; онъ легко смѣшивалъ свое дѣло съ дѣломъ неба, онъ видѣлъ въ пораженіи Тилли рѣшающій приговоръ Господа Бога, осуждающій его противника, въ себѣ-же — орудіе божеской мести. Оставивъ далеко за собой свою державу, свое отечество, онъ несся теперь на крыльяхъ побѣды вглубь Германіи, которая на протяженіи многихъ столѣтій не видала въ своихъ нѣдрахъ иноземнаго побѣдителя. Мужество ея гражданъ, бдительность ея многочисленныхъ государей, искусная связь ея государствъ, множество ея неприступныхъ замковъ, быстрота ея многочисленныхъ рѣкъ—съ незапамятныхъ временъ сдерживали жадность сосѣдей; и какъ ни часты были бури въ предѣлахъ этого обширнаго организма, глубинъ его не коснулось чужеземное вторженіе. Издавна пользовалась эта страна двусмысленнымъ преимуществомъ быть самой своимъ худшимъ врагомъ и оставаться непобѣдимой извнѣ. Да и теперь лишь раздоры ея составныхъ частей и изувѣрская нетерпимость проложили шведскому побѣдителю путь во внутрь государства. Давно уже распались узы согласія между чинами, дѣлавшія государство непобѣдимымъ, и въ самой Германіи Густавъ Адольфъ почерпалъ силы, которыми онъ покорилъ Германію. Съ такимъ же умѣніемъ, какъ и мужествомъ, онъ пользовался тѣмъ, что ему давалъ благопріятный моментъ, и равно умѣлый въ кабинетѣ и въ полѣ битвы, онъ разрывалъ сѣти коварной политики съ такой же легкостью, какъ разрушалъ стѣны

Графъ Галласъ. Гравюра Монкорне.

городовъ громами своей артиллеріи. Неудержимо переходилъ онъ отъ побѣды къ побѣдѣ, отъ одной границы Германіи къ другой, не теряя нити Аріадниной, которая обезпечивала ему обратный путь, и на берегахъ Рейна, такъ же, какъ у устья Леха, онъ неизмѣнно старался оставаться поближе къ своимъ владѣніямъ.

Ужасъ императора и католической лиги, вызванный пораженіемъ Тилли при Лейпцигѣ, былъ едва ли больше, чѣмъ изумленіе и смущеніе шведскихъ союзниковъ по поводу неожиданной удачи короля. Она была больше, чѣмъ ожидали, больше чѣмъ было желательно. Однимъ ударомъ было уничтожено страшное войско, останавливавшее его успѣхи, ограничивавшее его честолюбіе, ставившее его въ зависимость отъ ихъ благосклонности. Одинъ, безъ соперника, безъ равнаго ему противника, онъ стоялъ теперь лагеремъ въ сердцѣ Германіи; ничто не могло удержать его въ его движеніи, ничто не могло ограничить его требованія, если бы онъ въ упоеніи успѣхами попытался бы злоупотреблять ими. Если прежде трепетали предъ могуществомъ императора, то теперь не менѣе серьезны были причины въ виду произвола чужеземнаго побѣдителя бояться за цѣлость государства, въ виду религіозной ревности протестантскаго короля — за католическую церковь въ Германіи. Вновь воскресли не-

довѣріе и зависть нѣкоторыхъ союзниковъ, усыпленныя на нѣкоторое время еще большимъ страхомъ предъ императоромъ, и едва Густавъ Адольфъ своимъ мужествомъ и своими успѣхами успѣлъ оправдать ихъ довѣріе, какъ уже начали стараться о ниспроверженіи всѣхъ его замысловъ. Въ неустанной борьбѣ съ коварствомъ враговъ и недовѣріемъ своихъ собственныхъ союзниковъ, приходилось ему добывать свои побѣды; но его рѣшительное мужество, его проницательный умъ побѣдили всѣ эти опасности. Въ то время какъ счастье, сопровождавшее его оружіе, внушало безпокойство его могущественнымъ союзникамъ, Франціи и Саксоніи, оно одушевляло мужествомъ болѣе слабыхъ, которые теперь лишь осмѣлились выступить на свѣтъ Божій съ своими истинными помышленіями и открыто принять его сторону. Не соперничая съ величіемъ Густава Адольфа и не боясь его честолюбія, они ожидали тѣмъ болѣе отъ великодушія этого могущественнаго друга, который обогащалъ ихъ достояніемъ ихъ враговъ и охранялъ ихъ отъ гнета сильныхъ. Его могущество скрывало ихъ безсиліе, и, незначительные сами по себѣ, они получили значеніе въ союзѣ съ шведскимъ героемъ. Такъ было съ большинствомъ имперскихъ городовъ и особенно съ болѣе слабыми протестантскими владѣніями. Они указали путь королю во-внутрь Германіи и закрывали его съ тыла. Они снабжали его войска жизненными припасами, принимали его отряды въ свои крѣпости, проливали за него свою кровь въ его сраженіяхъ. Его дальновидно мягкое отношеніе къ нѣмецкой гордости, его откровенность, нѣсколько блестящихъ образцовъ справедливости, его уваженіе къ законамъ — увлекали опасливый духъ нѣмецкихъ протестантовъ, а вопіющія злодѣянія императорскихъ солдатъ, испанцевъ и лотарингцевъ оттѣняли самымъ благопріятнымъ образомъ умѣренность его и его войскъ.

Если Густавъ Адольфъ былъ почти всѣмъ обязанъ своему собственному генію, то нельзя отрицать и того, что не мало ему благопріятствовали счастье и стеченье обстоятельствъ. На его сторонѣ было два большихъ преимущества, дававшихъ ему рѣшительный перевѣсъ надъ непріятелемъ. Перенося театръ войну въ земли лиги, привлекая въ ряды своихъ войскъ всю молодежь, обогащаясь добычей и распоряжаясь доходами бѣжавшихъ государей, какъ своею собственностью, онъ отнималъ у непріятеля всякую возможность бороться съ нимъ и получалъ полную возможность вести дорогую войну съ ничтожными издержками. Если затѣмъ его противники, государи лиги, враждующіе между собой, руководимые совершенно различными, часто противоположными интересами, дѣйствовали безъ единодушія, а потому и безъ успѣха; если ихъ полководцамъ недоставало власти, ихъ войскамъ—дисциплины, ихъ разсѣяннымъ арміямъ—единства, если полководецъ не имѣлъ ничего общаго съ законодателемъ и съ государственнымъ человѣкомъ, то все это, наоборотъ, соединялось въ Густавѣ Адольфѣ; онъ былъ единственнымъ источникомъ, изъ котораго истекала всякая власть, единственной цѣлью, на которую обращены были въ сраженіи взоры воиновъ, онъ былъ душой всей партіи, создателемъ военнаго плана и въ то же время исполнителемъ его. Въ немъ такимъ образомъ дѣло протестантовъ получало единство и гармонію, которыхъ недоставало противной партіи. Нѣтъ ничего удивительнаго, что имѣя такія преимущества, стоя во главѣ такой арміи, одаренный такимъ умѣніемъ пользоваться ею и руководимый такой политической мудростью, Густавъ Адольфъ былъ непобѣдимъ.

Съ мечомъ въ одной рукѣ и милостью въ другой онъ проносится по всей Германіи изъ конца въ конецъ, какъ побѣдитель, законодатель и судья; проносится въ такое короткое время, какое другой употребилъ бы на обозрѣніе ея во время увеселительной поѣздки; точно законному государю, подносятъ ему ключи города и крѣпости. Нѣтъ для него неприступнаго замка, рѣки не останавливаютъ его побѣдоноснаго шествія, часто онъ побѣждаетъ однимъ звукомъ своего страшнаго имени. Вдоль всего Майна развѣваются шведскія знамена, нижній Пфальцъ очищенъ, испанцы и лотарингцы выбиты за Рейнъ и Мозель. Точно бурный потокъ, хлынули шведы и гессенцы на майнцскія, вюрцбургскія и бамбергскія владѣнія, и три бѣжавшихъ епископа вдали отъ своихъ престоловъ искупаютъ свою злополучную преданность императору. Наконецъ, наступаетъ очередь за предводителемъ лиги Максиміліаномъ испытать въ своихъ владѣніяхъ бѣдствія, которыя онъ готовилъ другимъ. Ни страшная судьба его союзниковъ, ни мягкія предположенія Густава, который среди своихъ завоеваній протягивалъ руку для заключенія мира, не могли сломить упорство этого государя.

Черезъ трупъ Тилли, который подобно ангелу хранителю стоитъ у входа въ Баварію, хлынула война въ ея предѣлы. Подобно берегамъ Рейна, кишатъ теперь берега Леха и Дуная шведскими солдатами; укрывшись въ своихъ замкахъ, предоставляетъ разбитый курфюрстъ свои беззащитныя земли непріятелю, котораго благословенныя, еще не тронутыя войной поля могли соблазнить къ грабежу, а изувѣрство баварскаго крестьянина—къ такимъ же насиліямъ. Самъ Мюнхенъ открываетъ свои ворота предъ непобѣдимымъ королемъ и бѣжавшій пфальцграфъ Фридрихъ V въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній утѣшается въ потерѣ своихъ владѣній, сидя въ покинутой резиденціи своего соперника.

Между тѣмъ какъ Густавъ Адольфъ расширяетъ свои завоеванія на югѣ имперіи и съ непреодолимой силой уничтожаетъ всякаго непріятеля, его союзники и полководцы одерживаютъ такія же побѣды въ остальныхъ провинціяхъ. Нижняя Саксонія свергаетъ съ себя императорское иго; непріятель покидаетъ Мекленбургъ; оба берега Везера и Эльбы очищены отъ австрійскихъ гарнизоновъ. Въ Вестфаліи на Верхнемъ Рейнѣ все бѣжитъ предъ ландграфомъ гессенскимъ Вильгельмомъ, въ Тюрингіи—предъ герцогами веймарскими, въ курфюршествѣ трирскомъ—предъ французами; на востокѣ вся почти Богемія перешла въ руки саксонцевъ. Турки готовятся уже къ походу на Венгрію, а въ австрійскихъ владѣніяхъ готово вспыхнуть страшное возстаніе. Безутѣшно бросаетъ императоръ Фердинандъ взоры ко всѣмъ дворамъ Европы, ища поддержки противъ столь многочисленныхъ враговъ. Напрасно призываетъ онъ испанскія войска, отвлеченныя нидерландскимъ мужествомъ по ту сторону Рейна; тщетно побуждаетъ онъ вступиться за него римскій дворъ и всю католическую церковь. Оскорбленный папа точно издѣвается своими пышными процессіями и безсильными проклятіями надъ тягостнымъ положеніемъ Фердинанда, а вмѣсто просимыхъ денегъ ему указываютъ на опустошенныя равнины Мантуи.

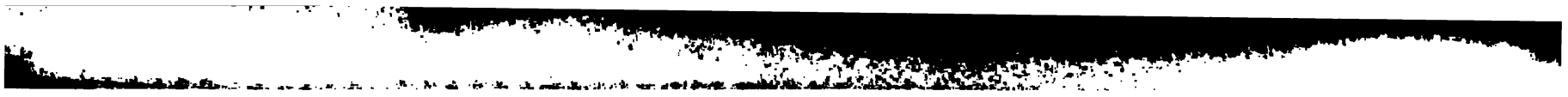
Со всѣхъ сторонъ своей обширной монархіи онъ окруженъ вражескимъ оружіемъ. Отъ смежныхъ съ нимъ государствъ лиги, уже наводненныхъ непріятелемъ, его не отдѣляютъ уже никакіе окопы, за которыми такъ долго чувствовала себя въ безопасности австрійская держава, и пламя войны свирѣпствуетъ уже у ея беззащитныхъ границъ. Разбиты его преданнѣйшіе союзники; его могущественнѣйшая опора, Максиміліанъ Баварскій, еле держится самъ. Его войска, ослабленныя побѣгами и частыми пораженіями и удрученныя долгими неудачами, забыли подъ командой разбитыхъ генераловъ о той военной отвагѣ, которая, будучи плодомъ побѣды, обезпечиваетъ напередъ новую побѣду. Опасность дошла до крайней степени; лишь чрезвычайное средство можетъ спасти могущество императора отъ столь глубокаго униженія. Нужнѣе всего—полководецъ, а между тѣмъ интриги зависти лишили власти единственнаго полководца, отъ котораго можно ожидать возстановленія прежней славы. Такъ глубоко палъ грозный императоръ, что онъ вынужденъ теперь предлагать позорные договоры своему оскорбленному слугѣ и подданному и навязывать надменному герцогу Фридландскому власть, которую онъ самъ у него постыдно отнялъ. Новый духъ начинаетъ оживлять полумертвое тѣло австрійской державы, и быстрый переворотъ въ ходѣ событій выдаетъ твердую руку, которая руководитъ ими. Неограниченному королю шведскому противопоставленъ теперь столь же неограниченный полководецъ, побѣдоносный герой—побѣдоносному герою. Обѣ силы вновь вступаютъ въ отчаянный бой, и побѣда, на половину уже добытая Густавомъ Адольфомъ, снова колеблется въ тяжкой борьбѣ. Предъ Нюрнбергомъ грозно останавливаются другъ противъ друга двѣ тучи, чреватыя бурей—двѣ враждующія арміи; обѣ глядятъ другъ на друга съ трепетнымъ уваженіемъ, обѣ жаждутъ мгновенія, обѣ боятся мгновенія, которое въ пылу битвы сольетъ ихъ воедино. Взоры всей Европы со страхомъ и любопытствомъ прикованы къ роковому полю битвы, и трепетный Нюрнбергъ ожидаетъ, что дастъ имъ зрѣлище еще болѣе рѣшительнаго сраженія, чѣмъ битва при Лейпцигѣ. Но вдругъ расходятся тучи, военная буря исчезаетъ изъ Франконіи, чтобы тѣмъ ужаснѣе разразиться на равнинахъ Саксоніи. Недалеко отъ Люцена раздается грохотъ громовъ, грозившихъ Нюрнбергу, и наполовину потерянная побѣда вновь добыта цѣной трупа короля. Счастье, никогда не покидавшее короля на всемъ его поприщѣ, даровало ему на смертномъ одрѣ рѣдкую милость, — умереть во всей полнотѣ своей славы, во всей чистотѣ своего имени. Ангелъ хранитель спасъ его посредствомъ своевременной смерти отъ неизбѣжной судьбы человѣка,—на вершинахъ счастья

забыть о скромности, на высотѣ могущества — забыть о справедливости. Позволительно усомниться, заслужилъ ли бы при долгой жизни Густавъ Адольфъ тѣ слезы, которыми Германія оплакала его кончину, то удивленіе, которымъ потомство почтило единственнаго въ мірѣ справедливаго завоевателя. Въ случаѣ ранней смерти крупнаго вождя есть основаніе опасаться гибели цѣлой партіи,—но для силы, правящей міромъ, нѣтъ незамѣнимыхъ людей. Два великихъ политика, Аксель Оксенштирна въ Германіи и Ришелье во Франціи, принимаютъ кормило войны, выпавшее изъ рукъ усопшаго героя; надъ его прахомъ свершаются неизмѣнныя судьбы и еще цѣлыхъ шестнадцать лѣтъ пламя войны свирѣпствуетъ надъ давно забытой могилой.

Я позволю себѣ дать краткій очеркъ побѣдоноснаго шествія Густава Адольфа, всего театра войны, на которомъ онъ остается единственнымъ героемъ, и затѣмъ уже, когда будетъ выяснено, какъ счастье шведовъ дошло до высшаго предѣла и въ рядѣ неудачъ вновь измѣнило имъ, а Австрія, удрученная рядомъ неудачъ, съ высоты своей надменности унизилась до унизительныхъ средствъ безвыходнаго отчаянія, — опять привести нить исторіи къ императору.

Не сразу былъ рѣшенъ планъ войны королемъ шведскимъ и курфюрстомъ саксонскимъ въ Галле, и опредѣлено было, что первый нападаетъ на Богемію, а послѣдній вторгается во владѣнія лиги; не сразу были заключены союзы съ сосѣдними государями Веймара и Ангальта и сдѣланы приготовленія къ освобожденію Магдебурга; все это было сдѣлано лишь тогда, когда король двинулся уже въ имперію. Онъ шелъ на встрѣчу серьезному непріятелю. Императоръ былъ еще могущественъ въ Германіи; по всей Франконіи, Швабіи и Пфальцу крѣпости были заняты императорскими гарнизонами, всякую значительную населенную мѣстность приходилось отнимать съ мечомъ въ рукѣ. По Рейну его ждали испанцы, заполнившіе всѣ земли изгнаннаго пфальцграфа, занявшіе всѣ крѣпости и не дававшіе ему перейти черезъ рѣку. Въ тылу его былъ Тилли, уже набиравшій новое войско; лотарингскіе вспомогательные отряды готовы уже были стать подъ знамена послѣдняго. Въ груди каждаго паписта ожидалъ его ожесточеннѣйшій врагъ, религіозная ненависть; и однако его отношенія къ Франціи не позволяли ему дѣйствовать вполнѣ свободно противъ католиковъ. Густавъ Адольфъ ясно видѣлъ всѣ эт
пятствія, но онъ видѣлъ также ср
побѣдить ихъ. Императорскія войск
разсѣяны по всей странѣ, а онъ им
преимущество, что нападалъ на ни
диненными силами сплоченной арміи
религіозный фанатизмъ католиковъ и
мелкихъ имперскихъ чиновъ былъ п
него, то онъ могъ ожидать дѣятель
мощи отъ расположенія протестан
отъ ихъ ненависти къ австрійскому
Злодѣянія императорскихъ и испа
войскъ въ этихъ странахъ проложи
путь; давно уже истерзанный крест
и горожанинъ порывались къ освобо
и многимъ даже перемѣна этого ига
вое уже казалась облегченіемъ. Бы
сланы впередъ агенты съ порученіем
нить на сторону шведовъ важнѣйш
перскіе города, Нюрнбергъ и Фран
Эрфуртъ былъ первой крѣпостью, пр
ніе которой было въ высшей степен
и которую король не могъ оставить в
пока она была въ рукахъ непріяте
говоръ съ гражданами—протестант
крылъ ему безъ помощи меча воро
да и крѣпости. Здѣсь, какъ и во в
другомъ значительномъ населенномъ
впослѣдствіи попадавшемъ ему в
онъ прежде всего заставилъ обы
принести ему присягу, а съ своей с
обезпечилъ ихъ достаточно сильны
низономъ. Его союзнику, герцогу
скому Вильгельму, было вручено к
ваніе войсками, которыя тотъ д
былъ набрать въ Тюрингіи. Горо
фурту онъ ввѣрилъ также свою су
далъ обѣщаніе увеличить его прив
Затѣмъ шведская армія прошла дв
рядами черезъ Готу и Арнштадт
Тюрингенскій лѣсъ, вырвала мимо
графство Геннебергское изъ рукъ
торскихъ войскъ и на третій день
соединилась у Кенигсгофена на г
Франконіи.

Францъ, епископъ вюрцбургскій
сточеннѣйшій врагъ протестантовъ
ностнѣйшій участникъ католическо
былъ первый, испытавшій тяжелу
Густава Адольфа. Нѣсколькихъ сл
розы было достаточно для того, чт
руки шведовъ перешла его погра
крѣпость Кенигсгофенъ, а съ нею
ко всей области. Извѣстіе объ этог
запномъ захватѣ ошеломило всѣхъ
ческихъ владѣтелей округа; епископ
бургскій и бамбергскій содрогнул



Линия перегиба

своихъ замкахъ. Они видѣли уже, какъ колеблются ихъ престолы, осквернены ихъ храмы, повержена во прахъ ихъ вѣра. Злоба враговъ короля шведскаго распространила ужаснѣйшіе слухи о его нетерпимости и о поведеніи его войскъ; ни многократныя увѣренія короля, ни самые яркіе примѣры человѣчности и терпимости не могли разсѣять вполнѣ эти слухи. Боялись испытать отъ другого то, что сдѣлали бы сами въ подобномъ случаѣ. Многіе богатые католики спѣшили уже теперь скрыть отъ кровожаднаго изувѣрства шведовъ свое имущество, свою вѣру и свою особу. Примѣромъ для подданныхъ служилъ самъ епископъ. Среди бѣдствія, причиненнаго его нелѣпымъ фанатизмомъ, онъ предоставилъ свои земли врагу и бѣжалъ въ Парижъ, чтобы попытаться возстановить французское министерство противъ общаго религіознаго врага.

Между тѣмъ успѣхи, сопровождавшіе дальнѣйшее движеніе Густава Адольфа въ епископствѣ, соотвѣтствовали вполнѣ счастливому началу. Покинутый императорскимъ гарнизономъ сдался ему Швейнфуртъ, а затѣмъ Вюрцбургъ; Маріенбергъ былъ взятъ приступомъ. Въ эту крѣпость, считавшуюся неприступной, укрыли массу жизненныхъ припасовъ и военныхъ снарядовъ; все это досталось теперь непріятелю. Чрезвычайной находкой для короля была богатая библіотека іезуитовъ, которую онъ отправилъ въ Упсалу, еще болѣе пріятнымъ открытіемъ для его солдатъ—роскошные винные погреба прелата. Сокровища свои епископъ успѣлъ увезти во-время. Примѣру столицы послѣдовало вскорѣ все епископство; все покорилось шведамъ. Король заставилъ всѣхъ подданныхъ епископа принести присягу, и за отсутствіемъ законнаго правителя назначилъ регентство, наполовину состоявшее изъ протестантовъ. Въ каждой католической мѣстности, переходившей къ Густаву Адольфу, онъ давалъ свободу протестантской религіи, не мстя однако папистамъ за гнетъ, подъ которымъ они такъ долго держали его единовѣрцевъ. Лишь къ тѣмъ, которые сопротивлялись ему съ оружіемъ въ рукахъ, примѣнялось страшное право войны; за отдѣльныя злодѣянія, которыя позволяла себѣ иногда въ ярости и ослѣпленіи разнузданная кучка солдатъ, нельзя конечно дѣлать отвѣтственнымъ гуманнаго полководца. Беззащитный и покорный встрѣчалъ самое милостивое обращеніе. Священнѣйшимъ завѣтомъ Густава Адольфа было щадить кровь враговъ такъ же, какъ своихъ.

Тотчасъ за первымъ извѣстіемъ о вторженіи шведовъ епископъ Вюрцбургскій, не взирая на трактатъ, который онъ для выигрыша времени заключилъ съ королемъ шведскимъ, взмолился къ полководцу лиги скорѣе спасти епископство отъ враговъ. Разбитый Тилли, собравъ въ это время на Везерѣ остатки своей разсѣянной арміи, подкрѣпился императорскими гарнизонами нижней Саксоніи и соединился въ Гессенѣ съ двумя своими подчиненными, Альтрингеромъ и Фуггеромъ. Во главѣ этой значительной арміи графъ Тилли горѣлъ нетерпѣніемъ смыть съ себя блестящей побѣдой позоръ своего перваго пораженія. Въ лагерѣ своемъ на Фульдѣ, куда онъ двинулся со своимъ войскомъ, онъ ждалъ съ вожделѣніемъ отъ герцога баварскаго разрѣшенія вступить въ бой съ Густавомъ Адольфомъ. Но, потерявъ армію Тилли, лига оставалась совершенно беззащитной, а Максиміліанъ былъ слишкомъ остороженъ, чтобы рисковать всей судьбой своей партіи въ игрѣ случайностей. Со слезами на глазахъ принялъ Тилли приказъ своего господина, повелѣвавшій ему оставаться въ бездѣйствіи. Походъ этого полководца въ Франконію былъ такимъ образомъ замедленъ, и Густавъ Адольфъ имѣлъ время овладѣть всѣмъ епископствомъ. Напрасно Тилли, подкрѣпившись въ Ашафенбургѣ двѣнадцатью тысячами лотарингцевъ, спѣшилъ съ сильнымъ войскомъ освободить городъ. Городъ и цитадель были уже въ рукахъ шведовъ, и общій голосъ, быть можетъ, не вполнѣ незаслуженный, обвинялъ Максиміліана баварскаго, что онъ своими колебаніями ускорилъ гибель всего епископства. Вынужденный избѣгать сраженія, Тилли удовольствовался тѣмъ, что не мѣшалъ непріятелю двигаться впередъ; но ему удалось отбить у отваги шведовъ лишь очень немногія крѣпости. Послѣ напрасной попытки подкрѣпить слабый императорскій гарнизонъ города Ганау, переходъ котораго къ королю давалъ ему слишкомъ большой перевѣсъ, онъ перешелъ при Зелигенштадтѣ черезъ Майнъ и двинулся по горной дорогѣ, чтобы защитить пфальцскія владѣнія отъ вторженія побѣдителя.

Графъ Тилли былъ не единственнымъ врагомъ, котораго нашелъ на своемъ пути и гналъ предъ собой Густавъ Адольфъ въ Франконіи. Герцогъ лотарингскій Карлъ, знаменитый въ лѣтописяхъ тогдашней

Европы своимъ непостояннымъ характеромъ, своими тщеславными замыслами и своими неудачами, поднялъ также свою безсильную руку на шведскаго героя, чтобы выслужить себѣ у императора Фердинанда II курфюршескую шапку. Не внимая указаніямъ разумной политики, онъ слѣдовалъ лишь внушеніямъ своего буйнаго честолюбія, раздражилъ содѣйствіемъ императору своего страшнаго сосѣда, Францію, и, гоняясь въ чужихъ странахъ за призраками, вѣчно отъ него убѣгавшими, онъ открылъ непріятелю свои владѣнія, въ которыя, подобно бурному потоку, вторглась французская армія. Въ Австріи ему не отказывали въ признаніи высокой заслуги, что онъ подобно другимъ государямъ лиги разоряется для блага императорскаго дома. Упоенный тщеславными надеждами, этотъ принцъ собралъ войско въ семнадцать тысячъ человѣкъ, во главѣ котораго думалъ двинуться на шведовъ. Если его солдаты уступали шведскимъ войскамъ въ дисциплинѣ и мужествѣ, то они привлекали глаза блестящей внѣшностью; и, скрывая предъ лицомъ врага свою храбрость, они тѣмъ щедрѣе проявляли ее по отношенію къ беззащитному горожанину и крестьянину, на защиту которыхъ они были вызваны. Противъ беззавѣтной отваги и суровой дисциплины шведовъ не могла устоять эта франтовская армія. Паническій страхъ охватилъ ее, когда на нее ринулась шведская кавалерія; лотарингцы были легко выбиты изъ ихъ квартиръ въ вюрцбургской области. Неудача нѣсколькихъ полковъ вызвала всеобщее бѣгство остальныхъ войскъ, и жалкіе остатки арміи поспѣшили укрыться отъ мужественныхъ сѣверянъ въ нѣкоторыхъ городахъ по ту сторону Рейна. Подъ градомъ насмѣшекъ и покрытый позоромъ, проскакалъ ея предводитель чрезъ Страсбургъ домой и былъ болѣе, чѣмъ счастливъ, когда ему удалось униженнымъ извинительнымъ письмомъ умиротворить гнѣвъ своего побѣдителя, который сперва разбилъ его въ сраженіи, а затѣмъ потребовалъ у него отчета въ его враждебныхъ дѣйствіяхъ. Говорятъ, что какой-то мужикъ изъ одной прирейнской деревни простеръ свою смѣлость до того, что ударилъ лошадь герцога, когда тотъ во время бѣгства скакалъ мимо него. „Живѣй, баринъ,—сказалъ мужикъ,—надо бѣжать скорѣй, если вы удираете отъ великаго шведскаго короля".

Неудачный примѣръ сосѣда внушилъ епископу бамбергскому болѣе благоразумное поведеніе. Чтобы избѣгнуть опустошенія своихъ земель, онъ явился къ королю съ мирными предложеніями, которыя, однако, предназначены были для того, чтобы замедлить движенія его войскъ, пока явится помощь. Густавъ Адольфъ, самъ слишкомъ честный, чтобы бояться чужого коварства, охотно принялъ предложеніе епископа и опредѣлилъ условія, на которыхъ онъ можетъ пощадить епископство отъ всякихъ непріязненныхъ дѣйствій. Онъ выказалъ тѣмъ большую склонность къ миру, что онъ и безъ того не собирался терять время на завоеваніе Бамберга, а остальные его планы призывали его въ прирейнскія земли; поспѣшность, съ какой онъ выполнялъ эти планы, вызвала недостатокъ въ деньгахъ, которыя онъ при долгомъ пребываніи въ Франконіи могъ бы легко добыть отъ безпомощнаго епископа, ибо этотъ хитрый священнослужитель поспѣшилъ прекратить переговоры, какъ только военная буря удалилась отъ его границъ. Едва успѣлъ Густавъ Адольфъ повернуться къ нему тыломъ, онъ бросился въ объятія къ графу Тилли и предоставилъ императорскимъ войскамъ тѣ самые города и крѣпости, которые онъ только что предлагалъ королю шведскому. Но этимъ коварствомъ онъ не надолго отсрочилъ опустошеніе своего епископства; оставшійся во Франконіи шведскій полководецъ рѣшилъ наказать епископа за такое предательство, и потому епископство сдѣлалось злополучнымъ театромъ войны, который равно опустошали и друзья и враги.

Бѣгство императорскихъ войскъ, грозное присутствіе которыхъ до сихъ поръ лежало гнетомъ на рѣшеніяхъ франконскихъ чиновъ, и гуманное обращеніе короля побудили дворянство и города этой области встрѣтить шведовъ благопріятно. Нюрнбергъ торжественно отдался подъ покровительство короля; благосклонность франконскаго рыцарства онъ снискалъ льстивыми манифестами, въ которыхъ онъ унизился до извиненія въ своемъ вражескомъ появленіи въ ихъ странѣ. Благосостояніе Франконіи и совѣстливость, съ которой шведскій государь относился къ гражданамъ страны, принесли изобиліе въ королевскій лагерь. Благосклонность дворянства всей области, изумленіе и почтеніе, возбуждаемое блестящими подвигами короля даже въ рядахъ непріятеля, богатая добыча, которую можно было ждать на службѣ неизмѣннаго побѣдителя, все это

было ему весьма полезно при наборѣ войскъ, необходимомъ въ виду распредѣленія большей части арміи по гарнизонамъ. Со всѣхъ странъ Франконіи стекались толпы, какъ только гдѣ либо раздавался барабанъ вербовщика.

Король не могъ терять на занятіе Франконіи больше времени, чѣмъ нужно было на то, чтобы поспѣшно пройти по ней; закончить покореніе всей области и сохранить за собой завоеванное было поручено Густаву Горну, одному изъ лучшихъ полководцевъ Густава Адольфа, съ восьми тысячнымъ отрядомъ. Самъ король съ главной арміей, усиленной вербовками во Франконіи, поспѣшилъ къ Рейну, чтобы на границѣ Германіи оградить себя отъ испанцевъ, обезоружить духовныхъ курфюрстовъ и добыть въ этихъ богатыхъ земляхъ новыя средства для продолженія войны. Онъ шелъ по теченію Майна; Зелингенштадтъ, Ашафенбургъ, Штейнгеймъ, вся страна по обѣ стороны рѣки покорилась ему. Рѣдко ждали императорскіе гарнизоны его появленія; на сопротивленіе они никогда не рѣшались. Еще ранѣе его полководцу удалось внезапнымъ нападеніемъ отбить у императорскихъ войскъ городъ и цитадель Ганау, о сохраненіи которыхъ такъ заботился графъ Тилли; радуясь избавленію отъ невыносимаго гнета солдатъ Тилли, владѣтельный графъ Ганау охотно подчинился менѣе тягостному игу шведскаго короля.

Вниманіе Густава Адольфа, который вездѣ въ Германіи неизмѣнно соблюдалъ правило содѣйствіемъ и занятіемъ большихъ городовъ прикрывать себя съ тылу, сосредоточено было на городѣ Франкфуртѣ. Франкфуртъ былъ одинъ изъ первыхъ имперскихъ городовъ, которые король еще изъ Саксоніи подготовлялъ къ своему прибытію, и теперь онъ еще разъ отправилъ изъ Оффенбаха пословъ съ просьбой разрѣшить ему пройти черезъ городъ и принять его гарнизонъ. Городъ съ радостью уклонился бы отъ тягостнаго выбора между королемъ шведскимъ и императоромъ, ибо на какую сторону онъ бы ни сталъ, онъ долженъ былъ бояться за свои привилегіи и свою торговлю. Тяжкимъ ударомъ палъ бы на него гнѣвъ императора, если бы онъ слишкомъ поспѣшно покорился королю шведскому, а послѣдній оказался бы недостаточно сильнымъ, чтобы защитить своихъ нѣмецкихъ приверженцевъ отъ императора. Но гораздо страшнѣе было неудовольствіе непреодолимаго побѣдителя, который стоялъ съ страшной арміей у самыхъ воротъ города и могъ наказать его за упорство уничтоженіемъ всей его торговли и благосостоянія. Напрасно городскіе послы ссылались на опасности, грозящія ихъ ярмаркамъ, ихъ привилегіямъ и быть можетъ даже ихъ свободѣ, если они, примкнувъ къ шведамъ, навлекутъ на городъ гнѣвъ императора. Густавъ Адольфъ выразилъ удивленіе, что городъ Франкфуртъ въ столь важномъ дѣлѣ, какъ свобода всей Германіи и судьба протестантской церкви, говоритъ о своихъ ярмаркахъ и жертвуетъ своимъ земнымъ выгодамъ великое дѣло родины и совѣсти. „До сихъ поръ,—прибавилъ онъ съ угрозой,—онъ находилъ ключи ко всѣмъ крѣпостямъ и городамъ отъ острова Рюгена до Майна, найдетъ ихъ и къ городу Франкфурту. Единственная цѣль его вооруженнаго появленія—благо Германіи и свобода протестантской церкви; въ сознаніи справедливости своего дѣла онъ, конечно, не позволитъ какому нибудь препятствію преградить ему путь. Онъ видитъ, что франкфуртцы хотятъ протянуть ему одинъ палецъ; но ему нужна вся рука, чтобы было за что держаться". Онъ слѣдовалъ со всей своей арміей за депутатами города, несшими его отвѣтъ, и въ полномъ боевомъ порядкѣ ждалъ у Саксенгаузена окончательнаго рѣшенія городского совѣта.

Ели городъ Франкфуртъ колебался подчиниться шведамъ, то онъ дѣлалъ это только изъ страха предъ императоромъ; личная склонность гражданъ не позволяла имъ колебаться между угнетателемъ нѣмецкой свободы и ея спасителемъ. Грозныя приготовленія, при содѣйствіи которыхъ Густавъ Адольфъ требовалъ теперь ихъ рѣшенія, могли смягчить въ глазахъ императора преступность ихъ измѣны и видимостью подневольнаго согласія оправдать шагъ, которому въ глубинѣ души они были очень рады. Итакъ предъ королемъ шведскимъ распахнулись ворота и его армія въ чудномъ порядкѣ и блескѣ великолѣпія торжественно вошла въ императорскій городъ. Шестьсотъ человѣкъ были оставлены въ Саксенгаузенѣ; самъ король съ остальной арміей двинулся въ тотъ же вечеръ на майнцскій городъ Гехстъ, который былъ взятъ до наступленія ночи.

Пока Густавъ Адольфъ дѣлалъ эти завоеванія по теченію Майна, успѣхъ увѣнчалъ дѣйствія его генераловъ и союзниковъ въ сѣверной Германіи. Ростокъ, Вис-

маркъ и Демицъ, единственныя крѣпости въ герцогствѣ Мекленбургскомъ, еще томившіяся подъ игомъ императорскихъ гарнизоновъ, были покорены ихъ законнымъ владѣтелемъ, герцогомъ Іоанномъ Альбрехтомъ, подъ руководствомъ шведскаго полководца Ахація Тотта. Напрасно пытался императорскій полководецъ, графъ Вольфъ фонъ-Мансфельдъ, отнять у шведовъ епископство Гальберштадтское, захваченное ими вслѣдъ за Лейпцигской побѣдой; онъ вынужденъ былъ также оставить въ ихъ рукахъ Магдебургъ. Шведскій полководецъ Баннеръ, оставленный съ восьмитысячнымъ отрядомъ на Эльбѣ, держалъ Магдебургъ въ осадѣ и разбилъ уже не одинъ императорскій отрядъ, присланный на помощь этому городу. Его защищалъ самъ графъ Мансфельдъ съ чрезвычайной стойкостью; но, слишкомъ слабый для того, чтобы оказывать долгое сопротивленіе многочисленному войску осаждающихъ, онъ подумывалъ объ условіяхъ, на которыхъ сдастъ городъ, когда на помощь ему явился генералъ Паппенгеймъ, отвлекшій непріятельскія войска въ другую сторону. Тѣмъ не менѣе, Магдебургъ или, вѣрнѣе, жалкія хижины, печально глядѣвшія изъ развалинъ нѣкогда большого города, были впослѣдствіи добровольно очищены императорскими войсками и тотчасъ же заняты шведскимъ гарнизономъ.

И чины нижней Саксоніи, въ виду счастливыхъ дѣйствій короля, осмѣлились, наконецъ, поднять голову отъ удара, нанесеннаго имъ Валленштейномъ и Тилли въ злополучную датскую войну. Они собрались въ Гамбургѣ, гдѣ постановлено было набрать три полка, съ помощью которыхъ они разсчитывали избавиться отъ невыносимо тягостныхъ императорскихъ гарнизоновъ. Не удовольствовавшись этимъ, епископъ бременскій, родственникъ шведскаго короля, набралъ для себя особое войско и приводилъ имъ въ страхъ беззащитныхъ поповъ и монаховъ, но, къ несчастію, былъ вскорѣ разбитъ императорскимъ полководцемъ графомъ фонъ Гронсфельдомъ. Равнымъ образомъ перешелъ на сторону Густава Адольфа Георгъ герцогъ Люнебургскій, бывшій нѣкогда полковникомъ въ войскахъ Фердинанда, и набравъ нѣсколько полковъ, отвлекалъ императорскія войска въ нижней Саксоніи къ большой выгодѣ короля

Еще болѣе важныя услуги оказывалъ королю Вильгельмъ ландграфъ гессенъ-кассельскій, побѣдоносныя войска котораго привели въ трепетъ большую часть Вестфаліи и нижней Саксоніи, епископство Фульдское и даже курфюршество Кельнское. Выше было уже указано, что послѣ союза, заключеннаго между ландграфомъ и Густавомъ Адольфомъ въ Вербенскомъ лагерѣ, были отправлены графомъ Тилли въ Гессенъ два императорскихъ полководца Фуггеръ и Альтрингеръ съ порученіемъ наказать ландграфа за его отпаденіе отъ императора. Но этотъ государь мужественно противостоялъ непріятельскому оружію, такъ же, какъ его земскіе чины—прокламаціямъ графа Тилли, призывавшимъ ихъ къ мятежу, а вскорѣ затѣмъ битва подъ Лейпцигомъ избавила его отъ этихъ разбойничьихъ шаекъ. Онъ воспользовался ихъ уходомъ столь-же смѣло, какъ рѣшительно, быстро овладѣлъ Фахомъ, Мюнденомъ и Гекстеромъ и быстрыми успѣхами привелъ въ трепетъ Фульду, Падерборнъ и другія смежныя съ Гессеномъ епископства. Повергнутыя въ ужасъ эти области спѣшили своевременной покорностью положить предѣлъ его побѣдоносному движенію и спасались отъ грабежа большими суммами, добровольно поднесенными ему въ видѣ выкупа. Послѣ этихъ удачъ ландграфъ соединилъ свое побѣдоносное войско съ главной арміей Густава Адольфа, а самъ явился во Франкфуртъ къ шведскому монарху сговориться съ нимъ о дальнѣйшемъ планѣ дѣйствій.

Одновременно съ нимъ прибыли во Франкфуртъ многіе государи и иноземные послы преклониться предъ величіемъ Густава Адольфа, молить его о милости или смягчить его гнѣвъ. Замѣчательнѣйшимъ среди нихъ былъ изгнанный король богемскій и курфюрстъ пфальцскій Фридрихъ V, поспѣшившій сюда изъ Голландіи, чтобы броситься въ объятія своему мстителю и защитнику. Густавъ Адольфъ оказалъ ему безплодную честь, принявъ его, какъ коронованную особу, и старался благороднымъ участіемъ облегчить его горе. Но какъ ни велики были виды Фридриха на могущество и счастье своего защитника, какъ ни велики были его разсчеты на его справедливость и великодушіе, безконечно ничтожны были надежды на возстановленіе этого несчастнаго на его потерянномъ престолѣ. Бездѣйствіе и безсмысленная политика англійскаго двора охладили пылъ Густава Адольфа, и раздраженіе, котораго онъ не могъ подавить въ себѣ, заставляло его въ

этомъ случаѣ забыть о славномъ призваніи защитника угнетенныхъ, которое онъ такъ громко провозгласилъ при своемъ первомъ появленіи въ Германіи. Страхъ предъ непреодолимымъ могуществомъ и неизбѣжной местью короля побудилъ къ своевременной покорности также ландграфа гессенъ-дармштадтскаго Георга. Отношеніе этого государя къ императору и его малое усердіе къ дѣлу протестанской религіи не были тайной для короля, но онъ довольствовался презрѣніемъ къ столь безсильному врагу. Такъ какъ ландграфъ былъ достаточно мало знакомъ и съ собственными силами и съ политическимъ положеніемъ Германіи, чтобы съ такимъ же невѣжествомъ, какъ наглостью, взять на себя роль посредника между обѣими партіями, то Густавъ Адольфъ обыкновенно называлъ его съ насмѣшкой „миротворецъ". Часто, играя съ ландграфомъ и выигрывая у него, король говорилъ, что радуется вдвойнѣ— „во-первыхъ потому, что это выигрышъ, а во-вторыхъ потому, что это— императорская монета". Лишь своему родству съ курфюрстомъ саксонскимъ, къ которому ГуставъАдольфъимѣлъ причиныотноситься осторожно, обязанъ былъ ландграфъ Георгъ тѣмъ, что шведскій король удовлетворился взятіемъ его крѣпости Рюссельсгейма и обѣщаніемъ соблюдать въ теченіе этой войны строгій нейтралитетъ. Явились къ королю во Франкфуртъ также графы Вестервальда и Веттерау, чтобы вступить съ нимъ въ союзъ и предложить ему свою помощь противъ испанцевъ, которая впослѣдствіи была ему очень полезна. Франкфуртъ имѣлъ всѣ основанія быть вполнѣ довольнымъ пребываніемъ монарха, который своей королевской властью охранялъ его торговлю и энергичными мѣрами возстановилъ безопасность ярмарокъ, весьма пострадавшихъ отъ войны.

Шведская армія теперь усилилась десятью тысячами гессенцевъ, которыхъ привелъ королю ландграфъ кассельскій Вильгельмъ. Густавъ Адольфъ приказалъ уже наступать на Кенигштейнъ; Костгеймъ и Флерсгеймъ сдались ему послѣ непродолжительной осады; онъ былъ теперьгосподиномъ всего теченія Майна, и въ Гехстѣ поспѣшно сооружались суда для переправы войскъ черезъ Рейнъ. Эти приготовленія привели въ трепетъ курфюрста майнцскаго Ансельма Казиміра, который ни минуты не сомнѣвался, что надъ нимъ первымъ разразятся ужасы войны. Въ качествѣ приверженца императора и одного изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ католической лиги, онъ не могъ разсчитывать на лучшую участь, чѣмъ та, которая постигла уже обоихъ его собратьевъ: епископа вюрцбургскаго и бамбергскаго. Положеніе его владѣній у Рейна дѣлало ихъ необходимыми для непріятеля; къ тому же этотъ благословенный клочекъ земли былъ непреодолимымъ соблазномъ для истомленнаго войска. Но слишкомъ мало знакомый съ своими силами и силами противника, курфюрстъ льстилъ себя надеждой противопоставить силу силѣ и неприступностью своихъ окоповъ сломить шведское мужество. Онъ приказалъ поспѣшно исправить укрѣпленія своей резиденціи, обезпечилъ

Іоганнъ Людвигъ, графъ Изолани.
Гравюра Петра де-Іеде въ библіотекѣ императорскаго фидеикомиса въ Вѣнѣ.

ее всѣмъ необходимымъ для долговременной осады и впустилъ въ свой городъ двѣ тысячи испанцевъ подъ начальствомъ испанскаго генерала дона Филиппа де Сильва. Чтобы преградить путь шведскимъ судамъ, онъ приказалъ загородить устье Майна множествомъ вбитыхъ свай, грудами камня и цѣлыми кораблями, здѣсь затопленными. Самъ онъ вмѣстѣ съ епископомъ вормскимъ и своими лучшими сокровищами бѣжалъ въ Кельнъ, предоставивъ городъ и страну грабежу неистоваго гарнизона. Всѣ эти приготовленія, обличавшія не столько истинное мужество, сколько безсильное упрямство, не помѣшали шведской арміи двинуться на Майнцъ и серьезно готовиться къ нападенію на городъ. Между тѣмъ какъ часть войскъ, разсѣявшись у Рейна, уничтожала испанскія войска и собирала громадныя контрибуціи, другая сжигала католическіе города Вестервальда и Веттерау; главная армія расположилась уже у Кастеля противъ Майнца и герцогъ веймарскій Бернгардъ взялъ на противоположномъ берегу Рейна Мышиную башню и замокъ Эренфельсъ. Густавъ Адольфъ дѣятельно готовился къ переправѣ черезъ Рейнъ и къ осадѣ города со стороны суши, но успѣхи графа Тилли заставили его поспѣшно снять осаду и дали курфюрсту кратковременный покой.

Стѣсненное положеніе Нюрнберга, которому графъ Тилли во время отсутствія Густава Адольфа грозилъ осадой и — въ случаѣ сопротивленія — страшной судьбой Магдебурга, заставило короля шведскаго поспѣшно удалиться отъ Майнца. Чтобы не подвергнуться вторично упрекамъ всей Германіи, что онъ покинулъ союзный городъ въ жертву неистовству жестокаго врага, онъ спѣшилъ ускоренными переходами освободить этотъ важный имперскій городъ, но уже во Франкфуртѣ, узнавъ о стойкомъ сопротивленіи нюренбергцевъ и отступленіи Тилли, не теряя ни мгновенія, обратился опять къ Майнцу. Такъ какъ ему не удалось переправиться черезъ Рейнъ у Кастеля подъ пушечными выстрѣлами осажденныхъ, то онъ направилъ свой путь по горной дорогѣ, чтобы подступить къ городу съ другой стороны, и явился вторично на берегахъ Рейна у Штокштадта между Гернсгеймомъ и Оппенгеймомъ. Весь нагорный путь былъ очищенъ отъ испанцевъ, но противоположную сторону Рейна они продолжали защищать съ большимъ упорствомъ. Для этой цѣли они частью сожгли, частью потопили всѣ суда по сосѣдству и стояли по ту сторону рѣки, готовясь къ отчаянному сопротивленію, если бы король рѣшился здѣсь переправиться черезъ рѣку.

Мужество короля подвергло его въ этомъ случаѣ чрезвычайной опасности—попасть въ руки непріятеля. Для того, чтобы осмотрѣть противоположный берегъ, онъ переплылъ въ маленькомъ челнокѣ рѣку; но едва онъ вышелъ на берегъ, какъ на него бросилась кучка испанскихъ солдатъ, изъ рукъ которыхъ его спасло только поспѣшное бѣгство. Наконецъ, ему удалось добыть у сосѣднихъ корабельщиковъ нѣсколько судовъ; на двухъ изъ нихъ онъ отправилъ графа де Браге съ тремя стами шведовъ. Не успѣлъ послѣдній окопаться на противоположномъ берегу, какъ на него бросились четырнадцать ротъ испанскихъ драгунъ и кирасировъ. Какъ ни великъ былъ перевѣсъ на сторонѣ непріятеля, графъ Браге мужественно защищался съ своимъ маленькимъ отрядомъ и его геройское сопротивленіе дало королю возможность лично поддержать его во-время съ свѣжими войсками. Теперь испанцы, потерявъ шестьсотъ человѣкъ убитыми, обратились въ бѣгство; одни бросились въ укрѣпленный городъ Оппенгеймъ, другіе укрылись въ Майнцѣ. Мраморный левъ на высокой колоннѣ съ обнаженнымъ мечемъ въ правой лапѣ и съ шлемомъ на головѣ еще семьдесятъ лѣтъ спустя указывалъ путнику то мѣсто, гдѣ безсмертный король переплылъ мать нѣмецкихъ рѣкъ.

Тотчасъ вслѣдъ за этой удачей Густавъ Адольфъ переправилъ чрезъ Рейнъ артиллерію и большую часть войскъ и осадилъ Оппенгеймъ, который былъ взятъ приступомъ 8 декабря 1631 года послѣ отчаяннаго сопротивленія. Пятьсотъ испанцевъ, съ такой храбростью защищавшихъ городъ, пали всѣ до одного жертвой бѣшенства шведовъ. Извѣстіе о переходѣ Густава черезъ Рейнъ привело въ трепетъ всѣхъ испанцевъ и лотарингцевъ, расположенныхъ по ту сторону Рейна и считавшихъ себя огражденными отъ мести шведовъ рѣкою. Поспѣшное бѣгство было ихъ единственнымъ спасеніемъ; всякое ненадежное укрѣпленіе покидалось какъ можно скорѣе. Послѣ длинной вереницы насилій надъ беззащитными гражданами лотарингцы очистили городъ Вормсъ, ограбивъ его предъ уходомъ въ послѣдній разъ съ безобразной жестокостью. Испанцы спѣшили укрыться въ Франкенталѣ, такъ какъ надѣялись, что

эта крѣпость устоитъ противъ побѣдоноснаго оружія Густава Адольфа.

Теперь король, не теряя времени, принялся за осуществленіе своихъ намѣреній относительно Майнца, гдѣ скрывалась главная часть испанскихъ войскъ. Пока онъ подступалъ къ этому городу по ту сторону Рейна, ландграфъ гессенъ-кассельскій подошелъ къ нему по эту сторону рѣки, овладѣвъ по дорогѣ многими укрѣпленными городами. Осажденные испанцы, запертые съ обѣихъ сторонъ, сперва выказали много мужества и рѣшимости не сдаваться ни въ какомъ случаѣ, и непрерывный градъ бомбъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней осыпалъ шведскій лагерь, что лишило короля не одного храбраго солдата. Но несмотря на это мужественное сопротивленіе, шведы все подвигались впередъ и, наконецъ, подошли такъ близко къ городскому рву, что стали серьезно готовиться къ штурму. Тогда мужество покинуло осажденныхъ. Они основательно содрогались при мысли о бѣшеной ярости шведскихъ солдатъ, страшный образецъ которой послѣдніе представили въ Маріенбергѣ близъ Вюрцбурга. Ужасный жребій ожидалъ городъ Майнцъ, если бы онъ былъ взятъ приступомъ, и непріятель легко могъ впасть въ искушеніе отомстить этой богатой и великолѣпной столицѣ католическаго государя за трагическую судьбу Магдебурга. Не столько ради спасенія собственной жизни, сколько ради города, сдался на четвертый день испанскій гарнизонъ, получивъ отъ великодушнаго короля свободу и охрану до Люксембурга; но большинство испанцевъ, какъ бывало не разъ и раньше, вступили въ шведскую армію.

13 декабря 1631 года король шведскій совершилъ торжественный въѣздъ въ покоренный городъ и помѣстился во дворцѣ курфюрста. Восемьдесятъ пушекъ досталось ему въ видѣ военной добычи, и граждане откупились отъ грабежа, поднеся ему восемьдесятъ тысячъ гульденовъ. Этотъ выкупъ не касался евреевъ и духовенства, которые должны были внести за себя увеличенныя суммы. Завладѣвъ библіотекой курфюрста, король подарилъ ее своему канцлеру Оксенштирнѣ, который въ свою очередь передалъ ее гимназіи въ Вестерезѣ; но корабль, перевозившій библіотеку въ Швецію, погибъ, и Балтійское море поглотило это безцѣнное сокровище.

Послѣ потери Майнца неудачи продолжали преслѣдовать испанцевъ въ прирейнскихъ странахъ. Незадолго до взятія этого города ландграфъгессенъ-кассельскій овладѣлъ также Фалькенштейномъ и Рейфенбергомъ; крѣпость Кенигштейнъ сдалась гессенцамъ; рейнскій графъ Отто Людвигъ, одинъ изъ полководцевъ короля, разбилъ девять испанскихъ эскадроновъ, подходившихъ къ Франкенталю, и овладѣлъ важнѣйшими городами по теченію Рейна отъ Боппарта до Бахараха. Послѣ того какъ графы Веттерау, при помощи шведовъ, взяли крѣпость Браунфельдъ, испанцы потеряли послѣднюю опору въ Веттерау, а во всемъ Пфальцѣ они могли—за исключеніемъ Франкенталя—спасти лишь очень немного городовъ. Ландау и Кронвейсенбургъ открыто перешли на сторону шведовъ. Шпейеръ предлагалъ набирать войска для короля. Мангеймъ былъ взятъ, благодаря благоразумію молодого герцога веймарскаго Бернгарда и нерадивости тамошняго коменданта, который, вслѣдствіе этой неудачи, былъ привлеченъ въ Гейдельбергѣ къ военному суду и обезглавленъ.

Король продлилъ военныя дѣйствія вплоть до глубокой зимы, и, очевидно, сама суровость этого времени года была причиной постояннаго превосходства шведскихъ солдатъ надъ непріятелемъ. Но теперь истомленныя войска нуждались въ отдыхѣ на зимнихъ квартирахъ, почему Густавъ Адольфъ и разрѣшилъ имъ послѣ взятія Майнца расположиться въ окрестной странѣ. Самъ онъ, воспользовавшись вынужденной временемъ года остановкой военныхъ дѣйствій, занимался со своимъ канцлеромъ политическими дѣлами, велъ съ непріятелемъ переговоры о нейтралитетѣ и улаживалъ нѣкоторыя политическія недоразумѣнія съ союзной державой, вызванныя его поведеніемъ. Своимъ зимнимъ мѣстопребываніемъ и средоточіемъ этихъ государственныхъ дѣлъ онъ выбралъ городъ Майнцъ, къ которому вообще чувствовалъ бо́льшую склонность, чѣмъ это мирилось съ интересами нѣмецкихъ государей и съ кратковременнымъ визитомъ, который онъ предполагалъ сдѣлать Германіи. Не довольствуясь новыми укрѣпленіями города, онъ заложилъ противъ него на углу, образованномъ сліяніемъ Майна и Рейна, новую крѣпость, названную по имени ея основателя Густавсбургъ, но болѣе извѣстную подъ названіемъ Пфафенраубъ или Пфафенцвангъ.

Между тѣмъ какъ Густавъ Адольфъ, ставъ властелиномъ Рейна, грозилъ своимъ

побѣдоноснымъ оружіемъ тремъ пограничнымъ курфюршествамъ, его бдительные враги старались въ Парижѣ и Сенъ-Жерменѣ всѣми уловками политики лишить его содѣйствія Франціи и по возможности даже вовлечь его въ войну съ этой державой. Самъ онъ неожиданнымъ и двусмысленнымъ поворотомъ своего оружія къ Рейну изумилъ своихъ друзей и далъ своимъ противникамъ средства возбудить опасное недовѣріе къ его намѣреніямъ. Послѣ покоренія епископства вюрцбургскаго и большей части Франконіи онъ имѣлъ полную возможность вторгнуться чрезъ Бамбергъ и Верхній Пфальцъ въ Баварію и Австрію; и столь-же распространенно, сколько естественно было ожиданіе, что онъ не замедлитъ напасть на императора и герцога баварскаго въ средоточіи ихъ силъ и, побѣдивъ этихъ двухъ главныхъ враговъ, скоро окончитъ войну. Но, къ немалому изумленію обѣихъ враждующихъ сторонъ, Густавъ Адольфъ покинулъ предуказанный ему общественнымъ мнѣніемъ путь и, вмѣсто того, чтобы обратить свое оружіе направо, двинулъ войска налѣво, чтобы дать почувствовать свое могущество менѣе виновнымъ и менѣе опаснымъ прирейнскимъ государямъ, давая двумъ важнѣйшимъ своимъ врагамъ возможность собраться съ новыми силами. Казалось, что ничто, кромѣ намѣренія, изгнавъ испанцевъ, прежде всего возстановить на престолѣ злосчастнаго пфальцграфа Фридриха V, не можетъ объяснить этого непонятнаго шага, и надежда на скорое возстановленіе Фридриха заставила въ самомъ дѣлѣ сначала умолкнуть подозрѣнія его друзей и клеветы его враговъ. Но теперь Нижній Пфальцъ былъ совершенно очищенъ отъ враговъ, а Густавъ Адольфъ не отказывался отъ новыхъ завоевательныхъ плановъ по Рейну и не передавалъ завоеваннаго Пфальца его законному владѣтелю. Напрасно напоминалъ побѣдителю посолъ короля англійскаго о томъ, чего требуетъ отъ него справедливость, и что онъ своимъ торжественнымъ обѣщаніемъ сдѣлалъ долгомъ своей чести. Густавъ Адольфъ отвѣчалъ на это предложеніе горькими жалобами на бездѣйствіе англійскаго двора и энергично готовился двинуть въ ближайшемъ будущемъ свои побѣдоносныя войска въ Эльзасъ и даже въ Лотарингію.

Теперь недовѣріе къ шведскому монарху прорвалось наружу, а ненависть его противниковъ съ величайшей энергіей заботилась о распространеніи самыхъ злокозненныхъ слуховъ относительно его намѣреній. Давно уже министръ Людовика XIII, Ришелье, смотрѣлъ съ безпокойствомъ на приближеніе короля къ французскимъ границамъ, а недовѣрчивый духъ его господина становился слишкомъ легкой жертвой непріязненныхъ предположеній, которыя дѣлались по этому поводу. Франція была въ это время вовлечена въ междоусобную войну съ протестантской частью своихъ гражданъ, и можно было въ самомъ дѣлѣ не безъ основанія бояться, что приближеніе побѣдоноснаго короля, принадлежащаго къ ихъ партіи, снова вдохнетъ мужество во французскихъ протестантовъ и воодушевитъ ихъ къ непримиримѣйшему сопротивленію. Это могло имѣть мѣсто даже и въ томъ случаѣ, если бы Густавъ Адольфъ былъ безконечно далекъ отъ того, чтобы подавать имъ какія либо надежды и въ самомъ дѣлѣ измѣнить своему союзнику, королю французскому. Но мстительность епископа вюрцбургскаго, который старался при французскомъ дворѣ возмѣстить потерю своихъ владѣній, ядовитое краснорѣчіе іезуитовъ и дѣятельныя старанія баварскаго министра представили этотъ опасный союзъ между гугенотами и королемъ шведскимъ уже несомнѣннымъ и съумѣли запугать боязливый духъ Людовика самыми ужасными опасеніями. Не только глупые политиканы, но и многіе благоразумные католики совершенно серьезно вѣрили, что король въ ближайшемъ будущемъ вторгнется во внутрь Франціи и, соединившись съ гугенотами, уничтожитъ католическую религію во всемъ королевствѣ. Фанатичные изувѣры видѣли уже, какъ онъ перебирается съ арміей черезъ Альпы и свергаетъ въ Италіи съ престола своего намѣстника Христа. Какъ ни невѣроятны были эти фантастическія предположенія, все же нельзя было отрицать, что военныя дѣйствія Густава на Рейнѣ даютъ опасное основаніе подозрительности его противниковъ и до нѣкоторой степени оправдываютъ подозрѣніе, что его оружіе направлено не столько противъ императора и герцога баварскаго, сколько противъ католической религіи вообще.

Всеобщій крикъ негодованія противъ союза Франціи съ врагами церкви, поднятый подъ вліяніемъ іезуитовъ католическими дворами, заставилъ, наконецъ, кардинала Ришелье сдѣлать рѣшительный шагъ къ обезпеченію своей религіи и сообщить всему католическому міру одновременно о глубокой преданности Франціи своей вѣрѣ

Валленштейнъ. На заднемъ планѣ убіеніе его.
Современная гравюра Б. Монкорне.

и о своекорыстной политикѣ духовныхъ чиновъ имперіи. Въ полномъ убѣжденіи, что намѣренія короля шведскаго такъ же, какъ его собственныя, направлены лишь противъ австрійскаго дома, онъ безъ всякаго колебанія обѣщалъ государямъ лиги полный нейтралитетъ Швеціи, какъ только они откажутся отъ союза съ императоромъ и отзовутъ свои войска. Какое бы рѣшеніе ни приняли теперь государи, цѣль Ришелье была достигнута. Съ отпаденіемъ ихъ отъ Австріи Фердинандъ оставался беззащитнымъ въ полномъ одиночествѣ противъ соединенныхъ войскъ Франціи и Швеціи, и Густавъ Адольфъ, освободившись отъ всѣхъ своихъ остальныхъ враговъ въ Германіи, могъ со всей своей арміей вторгнуться въ наслѣдственныя владѣнія императора. Паденіе австрійскаго дома было бы въ такомъ случаѣ неизбѣжно, и эта великая конечная цѣль всѣхъ стараній Ришелье была-бы достигнута безъ ущерба для католической церкви. Неизмѣримо меньше былъ бы, наоборотъ, успѣхъ въ томъ случаѣ, если бы государи лиги вздумали упорствовать и оставались и впредь вѣрными союзу съ Австріей. Но тогда всей Европѣ было бы очевидно, что Франція, доказавшая свою преданность католической религіи, исполнила долгъ, лежащій на каждомъ членѣ римской церкви. Государи лиги явились бы въ такомъ случаѣ единственными виновниками всякихъ злоключеній, въ какія неминуемо повергало католическую Германію продолженіе войны; они одни своей упрямой приверженностью къ императору сдѣлали напрасными всѣ старанія своего защитника, повергнувъ церковь въ крайнюю опасность и погубивъ самихъ себя.

Ришелье тѣмъ дѣятельнѣе преслѣдовалъ этотъ планъ, чѣмъ настойчивѣе преслѣдовалъ его курфюрстъ баварскій просьбами о помощи. Мы указывали уже, что этотъ государь, давно уже питая недовѣріе къ замысламъ императора, вступилъ въ тайный союзъ съ Франціей, чѣмъ разсчитывалъ укрѣпить за собой пфальцское курфюршество въслучаѣ возможной перемѣны симпатій Фердинанда. Какъ ни ясно было уже изъ происхожденія этого договора, противъ какого врага онъ направленъ, Максимиліанъ довольно произвольно распространялъ теперь его постановленія и на походъ короля шведскаго и безъ всякаго стыда требовалъ помощи, обѣщанной ему лишь противъ Австріи, также противъ союзника Французской державы, короля шведскаго. Поставленный въ затрудненіе этимъ противорѣчивымъ союзомъ съ двумя враждебными державами, Ришелье могъ выпутаться изъ него только постаравшись какъ можно скорѣе прекратить военныя дѣйствія, и столь же мало склонный пожертвовать Баваріей, сколько поставленный въ невозможность, вслѣдствіе своего договора съ шведами, защищать ее, онъ со всей энергіей хлопоталъ о нейтралитетѣ, какъ единственномъ средствѣ, которое могло бы примирить его противорѣчивые союзы. Особый посолъ, маркизъ де Брезъ, былъ отправленъ имъ къ королю шведскому въ Майнцъ, чтобы ознакомиться съ его воззрѣніями на этотъ счетъ и чтобы добиться у него благопріятныхъ условій для союзныхъ государей. Но насколько основательны были причины, заставлявшія Людовика XIII добиваться этого нейтралитета, настолько серьезны были основанія Густава Адольфа желать противоположнаго. Убѣжденный многочисленными примѣрами, что отвращеніе государей лиги къ протестантской религіи непреодолимо, ихъ ненависть къ чужеземному владычеству шведовъ неугасима, ихъ преданность австрійскому дому неистребима, — онъ не такъ боялся ихъ открытой вражды, какъ не довѣрялъ нейтралитету, такъ сильно противорѣчившему ихъ сокровеннымъ склонностямъ. Такъ какъ онъ, кромѣ того, своимъ положеніемъ въ Германіи былъ вынужденъ продолжать войну на счетъ непріятеля, то онъ, очевидно, терялъ въ томъ случаѣ, когда, не пріобрѣтая новыхъ друзей, уменьшалъ число своихъ открытыхъ враговъ. Поэтому не удивительно, что Густавъ Адольфъ весьма мало былъ склоненъ жертвовать уже пріобрѣтенными выгодами для снисканія нейтралитета католическихъ государей, который приносилъ ему такъ мало пользы.

Условія, на которыхъ онъ разрѣшалъ курфюрсту баварскому нейтралитетъ, были чрезвычайно тягостны и вполнѣ соотвѣтствовали вышеуказаннымъ воззрѣніямъ его. Онъ требовалъ отъ лиги полнаго бездѣйствія, отдѣленія ея войскъ отъ императорской арміи и удаленія ихъ изъ всѣхъ укрѣпленныхъ мѣстъ, изъ всѣхъ протестантскихъ владѣній. Кромѣ того онъ требовалъ уменьшенія войскъ лиги до самой незначительной численности. Всѣ владѣнія лиги должны быть недоступны для императорскихъ войскъ; лига обязуется не снабжать Австрію ни людьми, ни жизненными припасами, ни ам-

муниціей. Какъ ни тягостны были этиусловія, предложенныя побѣдителемъпобѣжденному, французскій посредникъ не терялъ надежды, что убѣдитъ курфюрста баварскаго согласиться на нихъ. Для облегченія переговоровъ Густавъ Адольфъ согласился дать послѣднему перемиріе на четырнадцать дней. Но въ то самое время, какъ шведскій монархъ получалъ отъ французскаго агента непрестанныя увѣренія въ успѣшномъ ходѣ переговоровъ, въ его руки попало письмо курфюрста къ генералу Паппенгейму въ Вестфалію, обнаружившее все коварство этого государя, который путемъ переговоровъ старался только выиграть время для защиты. Очень мало склонный связывать договоромъ со шведами свои военныя дѣйствія, вѣроломный курфюрстъ ускорялъ военныя приготовленія, пользуясь спокойствіемъ, дарованнымъ ему непріятелемъ, для того, чтобы дѣятельнѣе готовиться къ оборонѣ. Такимъ образомъ всѣ разговоры о нейтралитетѣ не привели ни къ какому результату, послуживъ лишь къ тому, что военныя дѣйствія между Баваріей и Швеціей возобновились съ еще большимъ ожесточеніемъ.

Увеличеніе войскъ Тилли, которыми онъ собирался наводнить Франконію, настоятельно требовало присутствія короля въ этой области; но предварительно необходимо было очистить Рейнъ отъ испанцевъ и лишить ихъ возможности дѣйствовать противъ нѣмецкихъ провинцій изъ Нидерландовъ. Съ этой цѣлью Густавъ Адольфъ предложилъ курфюрсту трирскому Филиппу фонъ Цельтернъ нейтралитетъ съ условіемъ, что тотъ передастъ ему трирскую крѣпость Германштейнъ и разрѣшитъ шведскимъ войскамъ свободное движеніе черезъ Кобленцъ. Но какъ ни тяжело было курфюрсту видѣть свои земли въ рукахъ испанцевъ, тѣмъ менѣе онъ могъ рѣшиться вручить ихъ подозрительной охранѣ еретика и сдѣлать шведскаго побѣдителя властелиномъ своей судьбы. Однако, не имѣя все-таки никакой возможности сохранить свою независимость межъ двухъ столь страшныхъ соперниковъ, онъ попытался укрыться отъ обоихъ подъ могучимъ крыломъ Франціи. Съ обычной дальновидностью воспользовался Ришелье затруднительнымъ положеніемъ курфюрста для того, чтобы увеличить могущество Франціи и доставить ей важнаго союзника на границѣ Германіи. Многочисленная французская армія должна была охранять трирскія владѣнія, а крѣпость Эренбрейтштейнъ—принять французскій гарнизонъ. Но намѣреніе, побудившее курфюрста рѣшиться на такой рискованный шагъ, не могло быть приведено въ исполненіе, такъ какъ раздраженный Густавъ Адольфъ успокоился только тогда, когда и шведскимъ войскамъ было разрѣшено свободное движеніе чрезъ трирскія владѣнія.

Между тѣмъ какъ велись эти переговоры съ Триромъ и Франціей, полководцы короля очистили все архіепископство майнцское отъ остатка испанскихъ гарнизоновъ, а самъ Густавъ Адольфъ взятіемъ Крейцнаха лично закончилъ покореніе всей области. Для охраны завоеванныхъ владѣній былъ оставленъ на среднемъ теченіи Рейна канцлеръ Оксенштирна съ частью арміи, а главное войско подъ предводительствомъ самого короля двинулось противъ непріятеля во Франконію.

Изъ-за этой страны боролись съ перемѣннымъ счастіемъ графъ Тилли и шведскій генералъ фонъ Горнъ, котораго Густавъ Адольфъ оставилъ здѣсь съ восьмитысячнымъ отрядомъ. Епископство бамбергское было одновременно предметомъ ихъ спора и ареной ихъ опустошеній. Отвлеченный отъ своихъ остальныхъ плановъ къ берегамъ Рейна, король предоставилъ своему полководцу наказаніе епископа, возбудившаго его гнѣвъ своимъ предательскимъ поведеніемъ, и выборъ короля былъ оправданъ дѣятельностью Горна. Въ весьма короткое время онъ подчинилъ шведскому оружію большую часть епископства, и сама столица, покинутая императорскимъ гарнизономъ, досталась ему послѣ яростнаго приступа. Изгнанный епископъ молилъ о помощи курфюрста баварскаго, который, наконецъ, рѣшился сократить бездѣйствіе Тилли. Уполномоченный повелѣніемъ своего государя возстановить права епископа, Тилли собралъ свои войска, разсѣянныя въ верхнемъ Пфальцѣ, и подступилъ къ Бамбергу съ двадцатитысячной арміей. Густавъ Горнъ, твердо рѣшившись не уступать завоеваннаго города, несмотря на численное превосходство непріятеля, ожидалъ за стѣнами Бамберга, но долженъ былъ отдать авангарду Тилли то, что онъ надѣялся отстоять отъ всей его арміи. Замѣшательство среди его войскъ, которое не удалось прекратить присутствію духа самого полководца, предало въ руки непріятеля городъ, такъ что едва удалось спасти войска, багажъ, обозъ и орудія. Плодомъ

этой побѣды было завоеваніе всего Бамберга; но, несмотря на всю быстроту преслѣдованія, графу Тилли не удалось догнать шведскаго полководца, который въ полномъ порядкѣ переправился черезъ Майнъ. Появленіе во Франконіи шведскаго короля, которому Густавъ Горнъ привелъ въ Кицингенѣ остатокъ своего отряда, быстро положило конецъ успѣхамъ Тилли, заставивъ его искать спасенія въ быстромъ отступленіи.

Въ Ашафенбургѣ король произвелъ общій смотръ своимъ войскамъ, численность которыхъ по соединеніи съ Густавомъ Горномъ, Баннеромъ и герцогомъ Веймарскимъ простиралась почти до сорока тысячъ. Ничто не мѣшало теперь его походу черезъ Франконію, такъ какъ Тилли, слишкомъ слабый, чтобы ожидать столь сильнаго врага, быстрыми переходами скрылся за Дунаемъ. Богемія и Баварія были теперь въ равномъ разстояніи отъ короля, и Максимиліанъ, оставаясь въ неизвѣстности, куда направитъ свой путь побѣдитель, не могъ принять никакого рѣшенія. Путь, по которому направился Тилли, долженъ былъ теперь рѣшить выборъ короля и судьбу обѣихъ земель. Опасно было въ виду приближенія столь страшнаго врага оставить беззащитной Баварію для того чтобы прикрыть границы Австріи; еще опаснѣе было, впустивъ Тилли въ Баварію, привлечь за нимъ въ эту страну непріятеля и сдѣлать ее ареной опустошительной войны. Заботливость государя побѣдила, наконецъ, колебанія политика, и Тилли получилъ приказъ защищать со всей своей арміей границы Баваріи, что-бы изъ этого ни воспослѣдовало.

Съ ликованіемъ и торжествомъ принялъ имперскій городъ Нюрнбергъ защитника протестантской вѣры и нѣмецкой свободы, и необузданный энтузіазмъ гражданъ вылился при видѣ его въ трогательныя проявленія радости и восхищенія. Самъ Густавъ Адольфъ не могъ скрыть изумленія, что онъ видитъ себя въ этомъ городѣ, средоточіи Германіи, гдѣ онъ никогда не надѣялся водрузить свои знамена. Его прекрасная, благородная наружность увѣнчивала впечатлѣніе, произведенное его славными подвигами, а благосклонность, съ которой онъ отвѣчалъ на привѣтствія горожанъ, въ нѣсколько мгновеній покорила ему всѣ сердца. Теперь онъ лично подтвердилъ союзъ, заключенный съ городомъ еще на берегахъ Балтійскаго моря, и вдохновилъ всѣхъ гражданъ къ пламенному самоотверженію и братскому единодушію противъ общаго врага. Послѣ кратковременнаго пребыванія въ стѣнахъ Нюрнберга онъ послѣдовалъ за своей арміей къ Дунаю и появился предъ пограничной крѣпостью Донаувертомъ, прежде чѣмъ здѣсь могли ждать врага. Многочисленный баварскій гарнизонъ защищалъ это укрѣпленіе, и комендантъ его, Рудольфъ Максиміліанъ герцогъ саксенъ-лауенбургскій, выказывалъ сначала мужественную рѣшимость держаться до прихода Тилли. Но настойчивость, съ которой Густавъ Адольфъ приступилъ къ осадѣ, заставила его вскорѣ подумать о быстромъ и вѣрномъ отступленіи, что онъ удачно выполнилъ подъ бѣшенымъ огнемъ шведскихъ орудій.

Взятіе Донауверта открыло королю противоположный берегъ Дуная, и отъ Баваріи его отдѣлялъ лишь ничтожный Лехъ. Близкая опасность, грозящая его владѣніямъ, пробудила всю дѣятельность Максимиліана; и если онъ до сихъ поръ облегчалъ непріятелю приближеніе къ самому порогу его страны, то тѣмъ большую рѣшительность выказывалъ онъ теперь, въ стараніяхъ затруднить ему послѣдній шагъ. По ту сторону Леха у небольшого городка Райна расположился Тилли укрѣпленнымъ лагеремъ, который, будучи окруженъ тремя рѣками, казался неприступнымъ. Всѣ мосты черезъ Лехъ были уничтожены, все теченіе рѣки, начиная отъ Аугсбурга, охранялось войсками, а вѣрность этого имперскаго города, который уже давно съ нетерпѣніемъ собирался послѣдовать примѣру Нюрнберга и Франкфурта, была обезпечена размѣщеніемъ здѣсь баварскаго гарнизона и обезоруженіемъ его гражданъ. Самъ курфюрстъ со всѣми войсками, которыя ему удалось собрать, заперся въ лагерѣ Тилли, какъ будто съ этимъ единственнымъ укрѣпленіемъ связаны были всѣ его надежды и какъ будто счастье шведовъ должно было разбиться объ этотъ пограничный оплотъ.

Вскорѣ на берегу, какъ разъ противъ баварскихъ окоповъ, показался Густавъ Адольфъ, уже захватившій всю окружающую Аугсбургъ, страну по сю сторону Леха и открывшій своимъ войскамъ обильный притокъ жизненныхъ припасовъ изъ этой области. Былъ мартъ, когда рѣка Лехъ отъ частыхъ дождей и снѣга, тающаго въ Тирольскихъ горахъ, подымается до необычайной высоты и несется межъ крутыхъ береговъ съ бѣшеной быстротой. Вѣрная могила ожидала отчаяннаго смѣльчака въ

его волнахъ, а на противоположномъ берегу зіяли предъ нимъ страшныя пасти непріятельскихъ пушекъ. Если же ему удалась-бы эта почти невозможная переправа чрезъ яростныя волны подъ огнемъ непріятеля, то на другой сторонѣ истощенныя войска ждалъ свѣжій и мужественный врагъ въ неприступномъ лагерѣ, готовя имъ бой вмѣсто отдыха. Истощивъ всѣ свои силы, они должны были-бы корабкаться на непріятельскія укрѣпленія, крѣпость которыхъ какъ будто смѣялась надъ всякимъ нападеніемъ. Потерпѣвъ пораженіе на этомъ берегу, они погибли-бы безвозвратно; потому что та самая рѣка, которая затрудняетъ имъ путь къ побѣдѣ, преграждаетъ имъ всѣ пути къ бѣгству, если счастье покинетъ ихъ.

Шведскій военный совѣтъ, собранный королемъ, настаивалъ на всей важности этихъ основаній, чтобы удержать короля отъ столь рискованнаго предпріятія. Храбрѣйшіе колебались, и почтенное собраніе посѣдѣвшихъ въ бояхъ воиновъ не стыдилось сознаться въ своихъ опасеніяхъ. Но рѣшеніе короля было неизмѣнно. „Какъ?— сказалъ онъ Густаву Горну, говорившему отъ лица другихъ:—чрезъ Балтійское море, чрезъ столь многія большія рѣки Германіи мы могли перейти, а предъ такимъ ручьемъ, какъ этотъ Лехъ, мы откажемся отъ своего предпріятія"? Осматривая мѣстность,—что онъ совершилъ съ опасностью для жизни,— онъ сдѣлалъ уже открытіе, что этотъ берегъ замѣтно выше противоположнаго, что даетъ перевѣсъ шведской артиллеріи надъ непріятельской. Быстро и сообразительно воспользовался онъ этимъ обстоятельствомъ. Онъ приказалъ немедленно расположить на томъ мѣстѣ, гдѣ лѣвый берегъ Леха приближается къ правому, три батареи, и семьдесятъ два орудія открыли перекрестный огонь по непріятелю. Между тѣмъ какъ эта яростная канонада отдалила баварцевъ отъ противоположнаго берега, онъ приказалъ какъ можно скорѣе навести мостъ черезъ Лехъ... Густой дымъ, подымавшійся изъ зажженныхъ кучъ хвороста и сырой соломы, долго скрывалъ отъ глазъ непріятеля это сооруженіе, а непрерывный грохотъ орудій заглушалъ стукъ плотничьихъ топоровъ. Своимъ личнымъ примѣромъ возбуждалъ король мужество въ войскахъ и собственной рукой отправилъ болѣе шестидесяти снарядовъ. Съ такой-же энергіей отвѣчали въ продолженіе двухъ часовъ на канонаду баварцы, но съ гораздо меньшимъ успѣхомъ, такъ какъ батареи шведовъ обстрѣливали противоположный низкій берегъ съ высоты, которая къ тому же прикрывала ихъ отъ непріятельскихъ выстрѣловъ. Напрасно старались баварцы разрушить съ берега непріятельскія сооруженія; сильная артиллерія шведовъ держала ихъ въ отдаленіи, и они должны были видѣть, какъ на ихъ глазахъ заканчивается постройка моста. Въ этотъ страшный день Тилли напрягалъ крайнія усилія вдохнуть мужество въ свои войска, и никакая опасность не могла удалить его отъ берега. Наконецъ, его настигла смерть, которой онъ искалъ. Снарядъ изъ фальконета раздробилъ ему ногу, а вслѣдъ за нимъ былъ опасно раненъ въ голову также Альтрингеръ, его храбрый соратникъ. Покинутые одушевляющимъ присутствіемъ обоихъ полководцевъ, дрогнули, наконецъ, баварцы и самъ Максимиліанъ противъ своего желанія былъ вынужденъ принять малодушное рѣшеніе. Поддавшись убѣжденіямъ умирающаго Тилли, обычная твердость котораго была побѣждена приближеніемъ смерти, онъ преждевременно счелъ потерянным свой неприступный постъ, а открытіе шведами брода, чрезъ который ихъ конница собиралась переправиться черезъ рѣку, ускорило его малодушное отступленіе. Въ ту же ночь, прежде чѣмъ хоть одинъ непріятельскій солдатъ перешелъ черезъ Лехъ, онъ покинулъ свой лагерь и, не давъ королю времени потревожить его во время отступленія, онъ въ полномъ порядкѣ двинулся въ Нейбургъ и Ингольштадтъ. Велико было изумленіе Густава Адольфа, когда перейдя на другой день черезъ рѣку, онъ нашелъ непріятельскій лагерь пустымъ, и бѣгство курфюрста еще болѣе поразило его, когда онъ ознакомился съ неприступностью покинутаго лагеря. „Да если бы я былъ баварцемъ — воскликнулъ онъ съ удивленіемъ, — то никогда — хоть бы мнѣ бомба оторвала бороду и подбородокъ—никогда я не покинулъ бы такого укрѣпленія, какъ это, и не открылъ бы путь непріятелю въ мои земли!"

Такимъ образомъ, Баварія была открыта теперь побѣдителю, и военная буря, бушевавшая до сихъ поръ лишь по границамъ этой страны, пронеслась впервые по ея благословеннымъ равнинамъ, щадимымъ до сихъ поръ военной непогодой. Но прежде чѣмъ король рѣшился на завоеваніе всей враждебной страны, онъ освободилъ имперскій городъ Аугсбургъ отъ баварскаго ига, принялъ присягу его гражданъ и обезпе-

Графъ Октавіо Пикколомини.

Гравюра Луки Форстермана (1578—1656), съ портрета Герарда Зегерса (1591—1651).
(Другой портретъ Пикколомини см. въ т. II).

чилъ себѣ ихъ вѣрность своимъ гарнизономъ. Затѣмъ поспѣшными переходами онъ двинулся на Ингольштадтъ, чтобы взятіемъ этой важной крѣпости, которую защищалъ самъ курфюрстъ съ большей частью своего войска, прикрыть свои пріобрѣтенія въ Баваріи и стать твердой ногой на Дунаѣ.

Вскорѣ послѣ прибытія своего въ Ингольштадтъ окончилъ раненый Тилли въ стѣнахъ этого города свой жизненный путь, испытавъ всѣ прихоти невѣрнаго счастія. Уничтоженный могучимъ воинскимъ геніемъ Густава Адольфа, онъ видѣлъ на закатѣ своихъ дней, какъ вянутъ всѣ лавры его прежнихъ побѣдъ и длинной вереницей несчастій удовлетворилъ справедливость судьбы и гнѣвную тѣнь погибшаго Магдебурга. Въ немъ армія императора и лиги теряла незамѣнимаго руководителя, католическая религія—ревностнѣйшаго изъ своихъ поборниковъ, а Максиміліанъ баварскій преданнѣйшаго изъ своихъ слугъ, жизнью заплатившаго за свою вѣрность, и на смертномъ одрѣ исполнявшаго обязанности полководца. Послѣднимъ его завѣтомъ, обращеннымъ къ курфюрсту, было увѣщаніе занять городъ Регенсбургъ, чтобы оставаться господиномъ Дуная и не терять связи съ Богеміей.

Съ самоувѣренностью, обычнымъ плодомъ столь многихъ побѣдъ, приступилъ Густавъ Адольфъ къ осадѣ города, въ надеждѣ натискомъ перваго приступа побѣдить всякое сопротивленіе. Но неприступность укрѣпленій и мужество гарнизона противопоставили ему препятствія, съ какими ему не приходилось бороться съ брейтенфельдскаго сраженія, и окопы Ингольштадта едва не сдѣлались предѣломъ его подвиговъ. Во время развѣдокъ крѣпости двадцати-четырехъ фунтовый снарядъ убилъ подъ нимъ лошадь, а затѣмъ осколкомъ ядра поразилъ подлѣ него его любимца, молодого маркграфа баденскаго. Не теряя присутствія духа, король вскочилъ на ноги и, продолжая свой путь на новомъ конѣ, успокоилъ своихъ испуганныхъ солдатъ.

Занятіе баварцами Регенсбурга, хитростью захваченнаго курфюрстомъ по совѣту Тилли и охраняемаго крѣпкимъ гарнизономъ, быстро измѣнило военный планъ короля. Онъ самъ льстилъ себя надеждой захватить этотъ имперскій городъ, склонный къ протестантству, и найти въ немъ не менѣе преданнаго союзника, чѣмъ Нюрнбергъ, Аугсбургъ и Франкфуртъ. Переходъ Регенсбурга къ баварцамъ отдалилъ на долгое время исполненіе его завѣтнаго желанія—овладѣть Дунаемъ и отрѣзать своему противнику всякую помощь со стороны Богеміи. Онъ быстро покинулъ Ингольштадтъ, у окоповъ котораго такъ безцѣльно приходилось тратить людей и время, и вторгся въ средину Баваріи, чтобы выманить курфюрста на защиту его владѣній и такимъ образомъ лишить берега Дуная ихъ защитниковъ.

Вся сторона до самаго Мюнхена была открыта побѣдителю. Ему покорились Моосбургъ, Ландсгутъ, все епископство фрейзингенское; ничто не могло противиться его оружію. Но если на своемъ пути онъ не встрѣчалъ организованныхъ войскъ, то тѣмъ болѣе непримиримаго врага находилъ онъ въ груди каждаго баварца,—религіозный фанатизмъ. Солдаты, не вѣрящіе въ папу, были въ этой странѣ явленіемъ неслыханнымъ; слѣпое изувѣрство патеровъ рисовало ихъ крестьянину чудовищами, исчадьями ада, а ихъ полководца—антихристомъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что люди считали себя свободными отъ всякихъ естественныхъ обязанностей и человѣчности по отношенію къ этимъ дѣтищамъ сатаны и позволяли себѣ самыя невѣроятныя злодѣйства. Горе одинокому шведскому солдату, который попадался въ руки этихъ звѣрей. Несчастная жертва подвергалась всѣмъ пыткамъ, какія можетъ измыслить изобрѣтательная ярость, и видъ ихъ обезображенныхъ тѣлъ вызывалъ въ шведской арміи жажду страшной мести. Лишь Густавъ Адольфъ не запятналъ своего геройскаго характера ни единымъ поступкомъ, подсказаннымъ местью, и недовѣріе баварцевъ къ его христіанскимъ чувствамъ не только не освобождало его отъ исполненія завѣтовъ человѣколюбія по отношенію къ этому несчастному народу, но, наоборотъ, вмѣняло ему въ священнѣйшій долгъ прославлять свою вѣру строжайшей умѣренностью.

Приближеніе короля распространило страхъ и ужасъ въ столицѣ; покинутая защитниками и знатнѣйшими жителями, она могла искать спасенія только въ великодушіи побѣдителей; она разсчитывала успокоить его гнѣвъ безусловнымъ добровольнымъ подчиненіемъ и выслала къ нему въ Фрейзингенъ пословъ,—положить у ногъ его ключи отъ города. Какъ ни былъ раздраженъ король безчеловѣчіемъ баварцевъ и враждебными намѣреніями ихъ повелителя, какъ ни сильны были побужденія воспользоваться со всей жестокостью правами завоевателя, какъ ни настоятельно требовали отъ него даже нѣмцы отомстить за судьбу Магдебурга столицѣ его губителя,—его великое сердце отвергло съ презрѣніемъ эту низкую месть, и беззащитность врага обезоружила его гнѣвъ. Довольствуясь благороднымъ тріумфомъ,—торжественно введя пфальцграфа Фридриха въ резиденцію государя, бывшаго главнымъ орудіемъ его паденія и захватившаго его владѣнія,—онъ возвысилъ великолѣпіе своего въѣзда чуднымъ блескомъ мягкости и доброты.

Король нашелъ въ Мюнхенѣ лишь пустой дворецъ, такъ какъ всѣ сокровища курфюрста спрятаны были въ Верфенѣ. Великолѣпіе замка поразило его, и онъ спросилъ смотрителя, показывавшаго ему комнаты, кто строилъ замокъ. „Самъ курфюрстъ“,—отвѣтилъ тотъ.—„Съ удовольствіемъ взялъ бы такого строителя и отправилъ-бы въ Стокгольмъ“,—сказалъ король.—„Онъ не дастся“,—возразилъ смотритель. Въ цейхгаузѣ нашли только лафеты безъ пушекъ. Послѣднія были такъ искусно спрятаны подъ поломъ, что ихъ невозможно было найти, и если бы не измѣна одного работника, то обманъ не былъ бы раскрытъ. „Возстаньте изъ мертвыхъ—воскли-

нулъ король--и придите на судъ!"—Полъ былъ сорванъ и подъ нимъ нашли около сорока орудій; нѣкоторыя изъ нихъ, захваченныя по преимуществу въ Пфальцѣ и Богеміи, были огромной величины. Тридцать тысячъ дукатовъ, скрытыхъ въ одной изъ самыхъ большихъ пушекъ, увѣнчали удовольствіе, доставленное королю такой драгоцѣнной находкой.

Но гораздо болѣе пріятнымъ событіемъ было бы для него появленіе самой баварской арміи; онъ вѣдь вторгся въ нѣдра Баваріи лишь для того, чтобы выманить ее изъ укрѣпленій. Въ этой надеждѣ король обманулся; непріятель не появлялся; самыя настоятельныя мольбы подданныхъ курфюрста не могли заставить его рискнуть въ сраженіи послѣдними остатками своей силы. Запершись въ Регенсбургѣ, онъ ждалъ помощи, которую ему долженъ былъ доставить изъ Богеміи герцогъ фридландскій, а въ ожиданіи ея пытался прервать дѣятельность непріятеля новыми переговорами о нейтралитетѣ. Но короля обманывали слишкомъ часто, чтобы эта цѣль могла быть достигнута, а умышленная медленность Валленштейна дѣлала Баварію добычей шведовъ.

Такъ далеко зашелъ Густавъ Адольфъ, переходя отъ побѣды къ побѣдѣ, отъ завоеванія къ завоеванію и не встрѣтивъ на своемъ пути равнаго себѣ врага. Часть Баваріи и Швабіи, франконскія епископства, нижній Пфальцъ, архіепископство майнцское были въ его власти; непрерывное счастье сопровождало его вплоть до самыхъ границъ австрійской монархіи, и блестящій успѣхъ былъ оправданіемъ операціоннаго плана, начертаннаго имъ послѣ брейтенфельдскаго сраженія. Если ему и не удалось, какъ онъ разсчитывалъ, организовать союзъ протестантскихъ государей, то онъ обезоружилъ или ослабилъ участниковъ католической лиги, велъ войну главнымъ образомъ на ихъ счетъ, уменьшилъ средства императора, усилилъ мужество слабыхъ чиновъ и проложилъ себѣ путь въ земли Австріи чрезъ владѣнія императорскихъ союзниковъ, обложенныхъ данью. Тамъ, гдѣ онъ не могъ принудить къ повиновенію силой оружія, оказывала ему важнѣйшія услуги дружба имперскихъ городовъ, которые онъ умѣлъ привязать къ себѣ двойными узами политики и религіи, и, пока длилось его военное превосходство, онъ могъ всего ожидать отъ ихъ преданности. Его побѣды на Рейнѣ отрѣзали отъ нижняго Пфальца испанцевъ, если-бы нидерландская война оставила имъ еще возможность принимать участіе въ нѣмецкой; равнымъ образомъ и герцогъ лотарингскій послѣ своего неудачнаго похода предпочелъ оставаться въ нейтралитетѣ. Какъ ни многочисленны были гарнизоны, оставленные королемъ въ теченіе его похода въ Германіи, они не уменьшили численности его арміи; столь же свѣжая, какъ въ самомъ началѣ похода, стояла она теперь въ глубинѣ Баваріи, готовая духомъ и тѣломъ перенести войну въ сердце Австріи.

Между тѣмъ какъ Густавъ Адольфъ велъ съ такимъ счастіемъ войну въ Германіи, не меньшіе успѣхи сопровождали на другомъ театрѣ войны его союзника, курфюрста саксонскаго. Мы знаемъ, что на совѣщаніи въ Галле послѣ лейпцигскаго сраженія между обоими государями было рѣшено, что курфюрстъ саксонскій приступитъ къ завоеванію Богеміи, а король направитъ путь въ земли лиги. Первымъ плодомъ этой побѣды при Брейтенфельдѣ, доставшемся королю, было возвращеніе Лейпцига, за которымъ вскорѣ послѣдовало освобожденіе всей области отъ императорскихъ гарнизоновъ. Подкрѣпившись солдатами, перешедшими къ нему изъ непріятельскихъ войскъ, саксонскій генералъ фонъ Арнгеймъ направилъ свой путь въ Лузацію, которую занялъ арміей императорскій полководецъ Рудольфъ фонъ Тифенбахъ для того, чтобы наказать курфюрста саксонскаго за его переходъ на сторону непріятеля. Онъ приступилъ уже къ обычному опустошенію этой беззащитной области, захватилъ многіе города и своимъ грознымъ приближеніемъ привелъ въ трепетъ самый Дрезденъ. Но эти быстрые успѣхи были внезапно прекращены рѣшительнымъ и неоднократнымъ повелѣніемъ императора прекратить военныя дѣйствія въ саксонскихъ владѣніяхъ.

Слишкомъ поздно понялъ Фердинандъ ошибки политики, благодаря которой онъ довелъ курфюрста саксонскаго до крайности и чуть не насильно доставилъ королю шведскому этого важнаго союзника. То, что онъ прежде испортилъ несвоевременнымъ упорствомъ, хотѣлъ онъ исправить столь же неумѣстной мягкостью и, желая загладить первую ошибку, совершилъ вторую. Чтобы лишить своего непріятеля столь сильнаго союзника, онъ возобновилъ при посредствѣ испанцевъ переговоры съ курфюрстомъ, а для облегченія ихъ хода Ти-

фенбаху приказано было немедленно очистить всѣ саксонскія земли. Но это самоуниженіе императора не только не произвело желательнаго дѣйствія, но, наоборотъ, выяснило курфюрсту стѣсненное положеніе его врага и его собственное значеніе и заставило его лишь энергичнѣе пользоваться уже достигнутыми преимуществами. Да могъ ли онъ, не совершая позорной неблагодарности, отречься отъ союзника, которому принесъ клятвенныя увѣренія въ своей вѣрности, которому былъ обязанъ спасеніемъ своихъ государствъ и даже своего куфюршескаго сана.

Саксонская армія, освобожденная такимъ образомъ отъ похода въ Лузацію, двинулась въ Богемію, гдѣ побѣда была для нея какъ будто напередъ обезпечена совпаденіемъ благопріятныхъ обстоятельствъ. Искра раздора все еще тлѣла подъ пепломъ въ этомъ королевствѣ, первомъ театрѣ всей пагубной войны, а неустанный гнетъ тираніи давалъ каждый день новую пищу раздраженію народа. Куда ни обратить взоръ, повсюду носила эта несчастная страна слѣды печальныхъ перемѣнъ. Цѣлые округа перемѣнили своихъ владѣтелей и стонали подъ ненавистнымъ игомъ католическихъ господъ, которыхъ милость императора и іезуитовъ одарила достояніемъ изгнанныхъ протестантовъ. Другіе воспользовались общественнымъ бѣдствіемъ для того, чтобы скупить по дешевой цѣнѣ конфискованныя имѣнія изгнанниковъ. Кровь лучшихъ бойцовъ за свободу была пролита на плахѣ, а тѣ, которыхъ своевременное бѣгство спасло отъ гибели, скитались въ нищетѣ, вдали отъ родины, между тѣмъ какъ податливые рабы деспотизма расточали ихъ наслѣдіе. Но невыносимѣе гнета этихъ мелкихъ тирановъ было насиліе надъ совѣстью, тяготѣвшее надъ всей протестантской партіей королевства безъ различія. Ни внѣшняя опасность, ни отчаянное сопротивленіе народа, ни поучительный опытъ не могли обуздать яростный прозелитизмъ іезуитовъ. Гдѣ были безполезны мирные пути, тамъ загоняли заблудшихъ овецъ въ церковь при помощи солдатъ. Тягостнѣе всего поразила эта ревность обитателей Іоахимсталя въ пограничныхъ горахъ между Богеміей и Мейсеномъ. Два императорскихъ коммиссара, подкрѣпленныхъ такимъ же количествомъ іезуитовъ и пятнадцатью мушкетерами, появились въ мирной долинѣ, чтобы учить еретиковъ евангелію. Тамъ, гдѣ было недѣйствительно краснорѣчіе первыхъ, старались достигнуть цѣли насильственнымъ размѣщеніемъ въ домахъ поселянъ солдатъ, угрозами изгнанія, денежными штрафами. Но на этотъ разъ правда побѣдила и мужественное сопротивленіе этого маленькаго народца заставило императора съ позоромъ отмѣнить свой указъ. Примѣръ двора служилъ путеводной нитью для поведенія католиковъ во всемъ королевствѣ и оправданіемъ для всевозможныхъ угнетеній, какому подвергались отъ нихъ протестанты. Нѣтъ ничего удивительнаго, что угнетенная партія была поборницей перемѣны и съ вожделѣніемъ ждала своего освободителя, который теперь показался на границѣ.

Саксонская армія подходила уже къ Прагѣ. Императорскіе гарнизоны бѣжали отовсюду, гдѣ она появлялась. Шлукенау, Тетшенъ, Ауссигъ, Лейтмерицъ перешли одинъ за другимъ въ руки непріятеля, всякая католическая мѣстность дѣлалась жертвою грабежа. Ужасъ объялъ всѣхъ папистовъ королевства и, помня о своихъ злодѣяніяхъ, жертвой которыхъ были протестанты, они не посмѣли ожидать карающаго появленія протестантскаго войска. Все, что носило имя католика и могло потерять что либо, спѣшило укрыться въ столицѣ, чтобы съ такою же быстротой покинуть и ее. Сама Прага совершенно не была готова къ появленію непріятеля и слишкомъ бѣдна гарнизономъ, чтобы выдержать долгую осаду. Слишкомъ поздно рѣшились при вѣнскомъ дворѣ послать на защиту столицы фельдмаршала Тифенбаха. Прежде чѣмъ приказъ императора достигъ главной квартиры этого полководца въ Силезіи, саксонцы были уже неподалеку отъ Праги. Полупротестантское населеніе ея обѣщало очень мало настойчивости, а на долгое сопротивленіе слабаго гарнизона разсчитывать было невозможно. Въ этомъ опасномъ положеніи католическіе граждане Праги ждали спасенія отъ Валленштейна, который жилъ въ стѣнахъ города въ качествѣ частнаго человѣка. Но совершенно не собираясь воспользоваться своей военной опытностью и значеніемъ своего авторитета для спасенія города, онъ, наоборотъ, обрадовался удобному случаю удовлетворить свою месть. Если не онъ привлекъ саксонцевъ въ Прагу, то, несомнѣнно, его образъ дѣйствій облегчилъ имъ взятіе этого города. Какъ ни мало былъ послѣдній готовъ къ долгому сопротивленію, онъ все же не былъ лишенъ возможности защищаться до прибытія по-

нять присягу своихъ новыхъ *подъ-опечныхъ*,—потому что только подъ этимъ названіемъ сдались ему три пражскихъ города; такимъ образомъ оставалась неразрывной ихъ связь съ австрійской монархіей. Какъ великъ былъ страхъ папистовъ предъ репрессаліями саксонцевъ, такъ пріятно поразила ихъ снисходительность курфюрста и дисциплина въ его войскахъ. Съ особенной настойчивостью выказывалъ въ этомъ случаѣ фельдмаршалъ фонъ Аргеймъ свою преданность герцогу фридландскому. Не довольствуясь тѣмъ, что онъ въ походѣ приказалъ щадить всѣ помѣстья послѣдняго, онъ приставилъ теперь стражу къ его дворцу, чтобы отсюда ничто не было похищено. Католикамъ города была дана полная свобода совѣсти и изъ всѣхъ церквей, отнятыхъ ими у протестантовъ, послѣднимъ было возвращено всего четыре. Лишь на іезуитовъ, которыхъ общій голосъ обвинялъ во всѣхъ прежнихъ обидахъ, не распространены были блага этой терпимости, и они были изгнаны изъ королевства.

Даже въ качествѣ побѣдителя Іоаннъ Георгъ не отрекся отъ смиренія и покорности, которыя внушало ему имя императора, и онъ не позволилъ себѣ поступать въ Прагѣ съ императоромъ такъ, какъ несомнѣнно поступилъ бы съ нимъ въ Дрезденѣ императорскій генералъ вродѣ Тилли или Валленштейна. Онъ старательно отличалъ непріятеля, съ которымъ велъ войну, отъ главы государства, которому былъ обязанъ почетомъ. Онъ не позволилъ себѣ коснуться утвари второго, но безъ всякихъ колебаній забралъ, какъ хорошую добычу, пушки перваго и отправилъ ихъ въ Дрезденъ. Слишкомъ скромный, чтобы поселиться въ комнатѣ того, у кого онъ отнималъ королевство, онъ жилъ не въ императорскомъ дворцѣ, а въ домѣ Лихтейнштейновъ. Если бы мы встрѣтили эту черту въ великомъ человѣкѣ и героѣ, разсказъ о ней справедливо привелъ бы насъ въ восхищеніе. Но характеръ государя, о которомъ это сообщаютъ, даетъ намъ право усомниться, должны ли мы почтить въ этой умѣренности прекрасную побѣду скромности или пожалѣть о мелкихъ помышленіяхъ слабаго духа, который даже счастье не окрыляетъ смѣлостью и даже свобода не освобождаетъ отъ привычныхъ цѣпей.

Взятіе Праги, за которымъ вскорѣ послѣдовала сдача большинства городовъ, вызвало важную и быструю перемѣну во всемъ королевствѣ. Многіе протестантскіе дворяне, скитавшіеся въ нищетѣ по свѣту, появились снова въ своемъ отечествѣ, и графъ Турнъ, ославленный зачинщикъ чешскаго возстанія, имѣлъ удовольствіе явиться побѣдителемъ на быломъ поприщѣ своего преступленія и наказанія. По тому же мосту, на которомъ головы его приверженцевъ, вздѣтыя на копья, рисовали ему страшную картину его неминуемой участи, совершилъ онъ теперь торжественный въѣздъ въ столицу, и первымъ дѣломъ его было — удалить эти страшные символы. Изгнанникамъ были возвращены ихъ помѣстья, собственники которыхъ обратились въ бѣгство. Не заботясь о томъ, кто возмѣститъ послѣднимъ затраченныя суммы, они захватили все, что было нѣкогда ихъ достояніемъ, даже въ томъ случаѣ, когда сами продали его, и ни одинъ изъ нихъ имѣлъ полное основаніе воздать хвалу умѣлому управленію своего предшественника. Поля и стада улучшились въ новыхъ рукахъ. Комнаты блистали дорогой утварью, погреба, которые они оставили пустыми, были полны, конюшни населены, кладовыя набиты добромъ. Но, не вѣря счастію, которое такъ неожиданно хлынуло на нихъ, они спѣшили отдѣлаться отъ этого невѣрнаго достоянія, превратить недвижимое добро въ движимую собственность.

Присутствіе саксонцевъ вдохнуло мужество во всѣхъ склонныхъ къ протестантству, и во всемъ королевствѣ, какъ и въ столицѣ, цѣлыя толпы народа спѣшили во вновь открытыя евангелическія церкви. Многіе, которыхъ въ покорности папству удерживалъ лишь страхъ, обратились теперь открыто къ новому ученію, и многіе изъ новообращенныхъ католиковъ съ радостью отказались отъ насильно навязанной имъ вѣры, чтобы слѣдовать своимъ прежнимъ убѣжденіямъ. Несмотря на всю терпимость новаго правительства, нельзя было сдержать въ угнетенномъ народѣ взрывъ справедливаго негодованія противъ губителей его священнѣйшей свободы. Страшно воспользовался народъ своими новыми правами, и ненависть къ навязанной религіи была во многихъ мѣстностяхъ умиротворена лишь кровью ея проповѣдниковъ.

Между тѣмъ вспомогательныя войска, которыя вели изъ Силезіи императорскіе полководцы Гецъ и Тифенбахъ, явились въ Богемію, гдѣ къ нимъ присоединилось нѣсколько полковъ графа Тилли изъ Верхняго Пфальца. Для того, чтобы разсѣять это войско, прежде чѣмъ оно усилится, Аргеймъ

двинулся на него изъ Праги съ частью своей арміи и при Нимбургѣ на Эльбѣ произвелъ смѣлое нападеніе на его окопы. Послѣ горячаго боя ему удалось, наконецъ, не безъ большого урона выбить непріятеля изъ его укрѣпленнаго лагеря, принудить своимъ огнемъ отступить обратно за Эльбу и уничтожить мостъ, по которому перешелъ непріятель. Но онъ не могъ воспрепятствовать императорскимъ войскамъ нанести ему уронъ во многихъ мелкихъ стычкахъ, а набѣги кроатовъ доходили даже до стѣнъ Праги. Какъ ни было блестяще и важно начало чешскаго похода саксонцевъ, успѣхъ ихъ совершенно не оправдалъ ожиданій Густава Адольфа. Вмѣсто того, чтобы, воспользовавшись добытыми преимуществами, пробиться съ неудержимой силой чрезъ покоренную Богемію навстрѣчу шведской арміи и вмѣстѣ съ нею напасть на средоточіе императорскаго могущества, саксонцы истощали свои силы въ длительной малой войнѣ, гдѣ выгода была не всегда на ихъ сторонѣ, а время, предназначенное для великаго дѣла, расточалось безцѣльно. Но дальнѣйшій образъ дѣйствій Іоанна Георга раскрылъ побудительныя причины, мѣшавшія ему воспользоваться своимъ перевѣсомъ надъ императоромъ и цѣлесообразной дѣятельностью способствовать исполненію плановъ короля шведскаго.

Большая часть Богеміи погибла теперь для императора, и саксонцы двигались отсюда на Австрію, между тѣмъ какъ шведскій король пролагалъ себѣ путь въ наслѣдственныя земли императора чрезъ Франконію, Швабію и Баварію. Долгая война поглотила силы австрійской монархіи, истощила замли, уменьшила армію. Исчезла слава ихъ побѣдъ, духъ непобѣдимости, повиновеніе и дисциплина войскъ,—все то, что давало столь рѣшительный перевѣсъ шведскому полководцу. Союзники императора были разбиты или подъ натискомъ грозной опасности поколебались въ своей вѣрности. Самъ Максимиліанъ баварскій, могущественнѣйшая опора Австріи, какъ будто склонялся на соблазнительныя предложенія хранить нейтралитетъ; подозрительный союзъ этого государя съ Франціей давно уже поселилъ въ императорѣ опасенія. Епископы вюрцбургскій и бамбергскій, курфюрстъ майнцскій, герцогъ лотарингскій были изгнаны изъ своихъ владѣній или трепетали подъ дамокловымъ мечомъ; Триръ собирался перейти подъ французское покровительство. Испанскія войска, изгнанныя Густавомъ Адольфомъ изъ прирейнскихъ странъ, были отвлечены мужествомъ голландцевъ въ Нидерланды. Польша была связана перемиріемъ съ королемъ шведскимъ. Венгерскимъ границамъ угрожалъ семиградскій князь Рагоци, преемникъ Бетленъ Габора и наслѣдникъ его безпокойнаго духа; даже Порта была занята подозрительными приготовленіями, въ разсчетѣ воспользоваться благопріятнымъ моментомъ. Большинство протестантскихъ чиновъ, набравшихся храбрости подъ вліяніемъ успѣха ихъ защитника, открыто и дѣятельно приняли сторону противниковъ императора. Всѣ средства, которыя въ былое время добывала въ этихъ земляхъ наглость Тилли и Валленштейна посредствомъ насилія и вымогательства, теперь истощились; всѣ эти центры вербовки, эти склады, эти убѣжища были потеряны для императора, и войну нельзя было вести, какъ нѣкогда, на чужой счетъ. Къ довершенію его стѣснительнаго положенія въ земляхъ за Инномъ вспыхиваетъ опасное возстаніе. Несвоевременный прозелитизмъ правительства вооружаетъ протестантское крестьянство, и фанатизмъ потрясаетъ своимъ факеломъ въ то время, какъ непріятель врывается уже въ ворота государства. Послѣ столь долгаго счастія, послѣ столь блестящаго ряда побѣдъ и столь великихъ завоеваній, послѣ стольких потоковъ безцѣльно пролитой крови, австрійскій монархъ видитъ себя вторично на краю той пропасти, въ которую онъ едва не былъ ввергнутъ при вступленіи своемъ на тронъ. Если Баварія согласится на нейтралитетъ, Саксонія будетъ противостоять соблазнамъ, а Франція рѣшится напасть на испанцевъ одновременно въ Нидерландахъ, Италіи и Каталоніи,—то настанъ конецъ гордому величію Австріи, союзныя державы подѣлятся добычей и полный поворотъ ждетъ государственный организмъ Германіи.

Длинная вереница этихъ несчастій началась брейтенфельдской битвой, злополучный исходъ который сдѣлалъ очевиднымъ давно рѣшенное паденіе австрійскаго могущества, прикрытаго лишь обманчивымъ блескомъ великаго имени. Если вдуматься въ причины, доставившія шведамъ столь страшный перевѣсъ въ полѣ битвы, то ихъ не трудно найти главнымъ образомъ въ неограниченной власти ихъ предводителя, который объединялъ въ одной десницѣ всѣ силы своей партіи, и не связанный въ своихъ дѣйствіяхъ никакимъ высшимъ авторите-

томъ, неограниченный властелинъ каждаго благопріятнаго момента, владѣлъ всѣми средствами для осуществленія своей цѣли и принималъ повелѣнія только отъ самаго себя. Но съ отставки Валленштейна и пораженія Тилли на сторонѣ императора и лиги мы видимъ полную противоположность всему этому. Генераламъ недоставало власти надъ войсками и столь необходимой свободы дѣйствій, солдатамъ—повиновенія и дисциплины, разсѣяннымъ отрядамъ—единодушнаго дѣйствія, чинамъ—энергіи и доброй воли, начальствующимъ—согласія, быстроты въ принятіи рѣшеній и твердости въ ихъ исполненіи. Не численное превосходство, но лучшее употребленіе своихъ силъ,—вотъ что давало врагамъ императора столь рѣшительный перевѣсъ. Не средствъ недоставало лигѣ и императору, но таланта, который умѣлъ и могъ-бы примѣнить ихъ. Если бы даже графъ Тилли и не утратилъ своей славы, то недовѣріе къ Баваріи не позволило бы вручить судьбы монархіи человѣку, который никогда не отрицалъ своей преданности баварскому дому. Такимъ образомъ болѣе всего былъ Фердинанду необходимъ полководецъ, достаточно опытный, чтобы создать и повести въ бой армію, и въ то же время слѣпо преданный австрійскому дому.

Избраніе такого полководца было давно самымъ важнымъ занятіемъ тайнаго совѣта императора и предметомъ раздоровъ среди его членовъ. Для того, чтобы противопоставить государю государя и своимъ личнымъ присутствіемъ возбудить мужество въ войскахъ, Фердинандъ въ первомъ порывѣ одушевленія рѣшился самъ вести свои войска; но не трудно было заставить его отказаться отъ рѣшенія, внушеннаго отчаяньемъ и отвергнутаго спокойнымъ размышленіемъ. Но то, что было недоступно императору вслѣдствіе его сана и бремени правленія, лежащаго на немъ, было вполнѣ возможно для его сына, способнаго и мужественнаго юноши, на котораго граждане Австріи взирали съ радостными надеждами. Самимъ рожденіемъ предназначенный для защиты монархіи, изъ коронъ которой онъ былъ увѣнчанъ двумя, Фердинандъ III, король Богемскій и Венгерскій, соединилъ съ прирожденнымъ саномъ наслѣдника уваженіе войскъ и любовь народа, помощь которыхъ была ему такъ необходима для веденія войны. Лишь любимый народомъ наслѣдникъ могъ позволить себѣ возложить на обремененнаго подданнаго новыя тяготы; лишь его личное присутствіе въ арміи могло подавить пагубныя соперничества военачальниковъ и силой своего имени возвратить къ прежней строгости упавшую дисциплину распущенныхъ войскъ. Если юношѣ этому не доставало необходимой зрѣлости сужденій, разсудительности и военной опытности, которыя пріобрѣтаются только временемъ, то этотъ недостатокъ могъ быть возмѣщенъ счастливымъ выборомъ совѣтниковъ и помощниковъ, снабженныхъ высшей властью подъ прикрытіемъ его имени.

Какъ ни сильны были доводы, которыми поддерживали это предложеніе нѣкоторые министры, недовѣріе, а, быть можетъ, даже и зависть императора въ связи съ критическимъ положеніемъ вещей поставили на пути къ его осуществленію большія трудности. Какъ опасно въ самомъ дѣлѣ вручить судьбу цѣлаго государства юношѣ, который самъ не можетъ обойтись безъ чужого руководства. Какъ рискованно противопоставить величайшему полководцу своего времени новичка, способности котораго въ этомъ важномъ дѣлѣ не испытаны до сихъ поръ никакимъ опытомъ, имя котораго, не отмѣченное еще славой, слишкомъ безсильно, чтобы напередъ поручиться потерявшей мужество арміи за побѣду. Какія громадныя новыя тяготы для подданнаго представляетъ собой необходимость содержать дорогой штатъ свиты, соотвѣтствующій сану такого полководца и неразрывно связанный—по предразсудкамъ того времени—съ его присутствіемъ при войскѣ. Какъ страшно, наконецъ, для самаго принца открыть свое политическое поприще должностью, дѣлающей его бичемъ своего народа и угнетателемъ странъ, надъ которыми ему суждено впослѣдствіи властвовать.

Къ тому же мало было найти полководца для арміи; надо было еще найти армію для полководца. Послѣ насильственнаго удаленія Валлейнштейна императоръ защищался болѣе при помощи лиги и Баваріи, чѣмъ посредствомъ своихъ войскъ, и именно этой зависимости отъ двусмысленныхъ друзей желали теперь избѣгнуть посредствомъ назначенія собственнаго главнокомандующаго. Но какимъ образомъ безъ всемогущей силы золота и безъ одушевляющаго имени побѣдоноснаго полководца воззвать къ жизни армію—и такую армію,—которая могла бы по дисциплинѣ, по воинскому духу и по опытности сравняться съ превосходными войсками сѣвернаго побѣдителя? Во всей Европѣ былъ одинъ человѣкъ, способный

Аксель Оксенштирна, шведскій канцлеръ.
Современная гравюра I. B. Дельфа.

на этотъ подвигъ, и этого единственнаго человѣка оттолкнули смертельнымъ оскорбленіемъ.

Насталъ, наконецъ, моментъ, давшій неслыханное удовлетвореніе оскорбленной гордости герцога фридландскаго. Сама судьба взяла на себя роль мстителя, и непрерывный рядъ несчастій, постигшихъ Австрію со дня его отставки, вырвалъ, наконецъ, у самого императора признаніе, что съ этимъ полководцемъ онъ лишился правой руки. Каждое новое пораженіе его войскъ растравляло эту рану, каждое потерянное укрѣпленіе бросало обманутому монарху упрекъ въ слабости и неблагодарности. Онъ былъ бы счастливъ, если бы потерялъ въ оскорбленномъ полководцѣ лишь предводителя своихъ войскъ, лишь защитника своихъ владѣній,—но онъ нашелъ въ немъ врага, врага, быть можетъ, опаснѣйшаго изъ всѣхъ, ибо ничто не могло удержать его отъ измѣны.

Удаленный съ театра войны и осужденный на мучительное бездѣйствіе въ то время, какъ его соперники пожинали лавры на поляхъ славы, гордый герцогъ съ притворнымъ равнодушіемъ смотрѣлъ на перемѣну счастія и въ сверкающемъ великолѣпіи театральнаго героя скрывалъ мрачные замыслы своего неутомимаго духа. Снѣдаемый всепожирающей страстью, но выставляя на видъ дѣланное спокойствіе и безпечность, онъ носился втайнѣ съ страшными замыслами мести и честолюбія, и медленно, но вѣрно приближался къ цѣли. Погасло въ его памяти все, чѣмъ онъ былъ обязанъ императору; лишь то, что онъ сдѣлалъ для императора, сверкало огненными чертами въ его воспоминаніи. Его неутолимой жаждѣ величія и могущества была кстати неблагодарность императора, какъ будто дававшая ему возможность порвать свое обязательство и освобождавшая его отъ всякаго долга по отношенію къ виновнику своего счастія. Правыми и безгрѣшными казались ему теперь замыслы его честолюбія въ оболочкѣ справедливаго возмездія. Міръ его надеждъ возросталъ по мѣрѣ того, какъ съуживались предѣлы его внѣшней дѣятельности, и его мечтательное воображеніе терялось въ безбрежныхъ планахъ, рождаемыхъ во всякой другой душѣ лишь безуміемъ. Его заслуги вознесли его такъ высоко, какъ только могутъ поднять человѣка его собственныя силы; все, доступное для частнаго человѣка и гражданина въ предѣлахъ его обязанностей, было дано ему счастіемъ. Вплоть до самаго момента его отставки желанія его не знали отказа, его честолюбіе не встрѣчало преградъ; ударъ, поразившій его на регенсбургскомъ сеймѣ, показалъ ему разницу между властью самостоятельной и заимствованной и разстояніе, отдѣляющее подданнаго отъ повелителя. Пробужденный этимъ ошеломляющимъ толчкомъ судьбы изъ прежней дремоты своего величія, онъ сталъ сравнивать ту власть, которою онъ обладалъ, съ тою, которая его лишила его могущества, и честолюбіе его легко замѣтило тѣ ступени, по которымъ онъ могъ подняться еще выше по лѣстницѣ счастія. Лишь послѣ того, какъ онъ съ тягостной несомнѣнностью испыталъ на себѣ весь гнетъ насилія высшей власти, онъ жадно протянулъ къ ней руки; грабежъ, жертвой котораго онъ сталъ, сдѣлалъ его грабителемъ. Нераздраженный оскорбленіемъ, онъ послушно совершалъ бы свой путь вокругъ престола, довольный гордымъ сознаніемъ, что онъ—самый блестящій изъ его хранителей; лишь послѣ того, какъ его насильно столкнули съ его орбиты, онъ спуталъ систему, къ которой принадлежалъ, и ринулся сокрушающей громадой на свое солнце.

Густавъ Адольфъ побѣдоносно прошелъ весь сѣверъ Германіи; одинъ городъ за другимъ переходилъ въ его руки, и при Лейпцигѣ было уничтожено ядро императорской арміи. Слухъ объ этихъ пораженіяхъ быстро донесся до Валленштейна, который, скрываясь во тьмѣ частной жизни, наблюдалъ изъ спокойнаго отдаленія грозу военной непогоды. То, что наполняло сердце каждаго католика тревогой, возвѣщало ему счастіе и силу; лишь для него работалъ Густавъ Адольфъ. Едва началъ послѣдній обращать на себя всеобщее вниманіе своими военными подвигами, герцогъ фридландскій, не теряя ни мгновенія, поспѣшилъ предложить ему свою дружбу, чтобы стать заодно съ счастливымъ врагомъ Австріи. Изгнанный графъ Турнъ, давно уже поступившій на службу къ королю шведскому, взялся передать королю поздравленія Валленштейна и предложеніе вступить въ союзъ съ герцогомъ. Лишь пятнадцать тысячъ человѣкъ желалъ получить отъ короля Валленштейнъ, который брался за это при помощи этого отряда и арміи, которую онъ обязывался набрать самъ, покорить Богемію и Моравію, напасть на Вѣну и изгнать въ Италію своего повелителя. Какъ ни неожиданно было это предложеніе, какъ ни велико было недовѣріе Гу-

става Адольфа, возбужденное этимъ неожиданнымъ предложеніемъ и явно преувеличенными обѣщаніями, онъ, однако, былъ слишкомъ проницательнымъ цѣнителемъ чужихъ заслугъ, чтобы попросту отвергнуть столь важнаго сторонника. Но когда Валленштейнъ, ободренный благопріятнымъ исходомъ этой первой попытки, возобновилъ вслѣдъ за брейтенфельдскимъ сраженіемъ свое предложеніе, требуя опредѣленнаго отвѣта, осторожный король не рѣшился связать свою славу съ химерическими планами этого сумасброднаго ума и честности человѣка, который являлся къ нему въ качествѣ измѣнника, вручить столь многочисленный отрядъ. Сославшись на слабость своей арміи, которой по пути въ Австрію должно повредить столь значительное уменьшеніе, король вслѣдствіе чрезмѣрной осторожности потерялъ, быть можетъ, случай покончить войну однимъ взмахомъ. Впослѣдствіи онъ пытался возобновить прерванные переговоры,—но было слишкомъ поздно: благопріятный моментъ прошелъ, и оскорбленная гордость Валленштейна никогда не могла простить ему этого пренебреженія.

Но отказъ короля, очевидно, лишь ускорилъ разрывъ, неизбѣжный между этими двумя натурами. Оба рожденные повелѣвать, а не исполнять чужія велѣнія, они никакъ не могли дѣйствовать заодно въ одномъ дѣлѣ, болѣе чѣмъ какое нибудь другое требующемъ уступчивости и взаимныхъ жертвъ. Валленштейнъ былъ ничѣмъ, разъ онъ переставалъ быть всѣмъ; онъ долженъ былъ дѣйствовать съ самой неограниченной свободой или не дѣйствовать совсѣмъ. Такъ же страстно ненавидѣлъ и Густавъ Адольфъ всякую зависимость; и онъ едва не отказался отъ столь важнаго союза съ французскимъ дворомъ, лишь потому, что требованія послѣдняго связывали его самостоятельную натуру. Первый погибъ для партіи, разъ онъ не могъ стать во главѣ ея; второй былъ еще менѣе способенъ ходить на помочахъ. Если повелительныя требованія этого союзника были бы столь тягостны для герцога фридландскаго при ихъ совмѣстныхъ дѣйствіяхъ, то они стали бы совершенно невыносимы для него, когда дѣло дошло бы до раздѣла добычи. Гордый король могъ снизойти до принятія помощи мятежнаго подданнаго противъ императора и съ королевской щедростью вознаградить за эту важную услугу; но онъ никогда не могъ бы забыть до такой степени свой санъ и санъ всѣхъ королей, чтобы согласиться на ту награду, которой осмѣливалось требовать необузданное честолюбіе герцога: онъ никогда не рѣшился бы заплатить за выгодную измѣну—короной. Отъ него, стало быть, даже въ случаѣ молчаливаго согласія всей Европы, могъ ожидать Валленштейнъ страшнаго противорѣчія, протягивая руку къ богемской коронѣ—и король шведскій былъ во всей Европѣ единственнымъ человѣкомъ, который могъ сообщить дѣйствительную силу такому запрещенію. Возведенный рукой Валленштейна въ санъ диктатора Германіи, онъ могъ обратить свое оружіе противъ него и считать себя свободнымъ отъ всякаго долга благодарности по отношенію къ измѣннику. Очевидно, наряду съ такимъ союзникомъ не было мѣста для такого человѣка, какъ Валленштейнъ, и, вѣроятно, именно на это обстоятельство, а не на свои сомнительные виды на императорскій престолъ намекалъ онъ въ своихъ извѣстныхъ словахъ, сказанныхъ послѣ смерти короля: „Счастье для него и для меня, что онъ умеръ: Германіи не нужны были двѣ такія головы".

Первая попытка отомстить австрійскому дому не удалась; но рѣшеніе оставалось неизмѣннымъ и перемѣна коснулась лишь средствъ. Онъ разсчитывалъ добыть съ меньшими трудностями и большими выгодами отъ курфюрста саксонскаго то, что ему не удалось получить отъ короля шведскаго, руководить которымъ было такъ же немыслимо, какъ легко управлять курфюрстомъ. Въ неизмѣнномъ согласіи съ Аргеймомъ, своимъ старымъ другомъ, онъ старался теперь заключить союзъ съ Саксоніей, путемъ котораго онъ разсчитывалъ стать равно страшнымъ для императора и для короля. Онъ могъ разсчитывать тѣмъ легче склонить Іоанна Георга на сторону проекта, который, въ случаѣ удачи, лишалъ шведскаго короля его вліянія въ Германіи, что зависть саксонскаго государя была уже раздражена могуществомъ Густава Адольфа и его расположеніе къ шведскому королю, и такъ весьма уже слабое, было охлаждено непомѣрными требованіями короля. Еслибы ему удалось порвать связь между Швеціей и Саксоніей и въ союзѣ съ послѣдней образовать третью партію въ имперіи, то исходъ войны былъ бы въ его рукахъ и ему удалось бы одновременно удовлетворить свою месть императору, отомстить за пренебреженіе королю шведскому и на гибели ихъ обоихъ основать свое собственное величіе.

Но какимъ бы путемъ онъ ни шелъ къ исполненію своихъ замысловъ, онъ не могъ выполнять ихъ безъ содѣйствія вполнѣ преданной ему арміи. Эту армію однако нельзя набирать тайно, такъ чтобы не возбудить при императорскомъ дворѣ подозрѣній и чтобы планы его не были разсѣяны въ самомъ ихъ возникновеніи. Эта армія сама до поры до времени не должна была знать ничего о своемъ противозаконномъ назначеніи, такъ какъ нельзя было ожидать, что она захочетъ повиноваться зову измѣнника и сражаться противъ своего законнаго властелина. Такимъ образомъ Валленштейну необходимо было набирать войско открыто и отъ имени императора, и отъ самого императора получить право неограниченной власти надъ этимъ войскомъ. Это, очевидно, можетъ произойти лишь въ томъ случаѣ, если ему будутъ возвращены его полномочія и всецѣло предоставлено веденіе войны. Между тѣмъ ни его гордость, ни его интересы не позволяли ему искать этого поста и просить у милости императора ограниченную власть, когда было необходимо вынудить у него страхомъ власть неограниченную. Чтобы диктовать условія, на которыхъ онъ принимаетъ власть надъ войсками, Валленштейнъ долженъ былъ ждать, пока императоръ попроситъ его принять ее. Таковъ былъ совѣтъ, данный ему Аргеймомъ, и къ этой цѣли онъ стремился съ неустанной энергіей и тонкими подходами.

Убѣжденный, что лишь крайняя необходимость можетъ побѣдить нерѣшительность императора и преодолѣть противодѣйствіе Баваріи и Испаніи, его жесточайшихъ враговъ, онъ старался теперь изо всѣхъ силъ помочь успѣхамъ непріятеля и ухудшить тягостное положеніе своего государя. Весьма вѣроятно, что по его приглашенію и увѣщанію саксонцы, двинувшіеся уже въ Лузацію и Силезію, повернули въ Богемію и наводнили своими войсками это беззащитное королевство. Ихъ быстрые успѣхи въ этомъ королевствѣ были равнымъ образомъ дѣломъ его рукъ. Малодушіе, внушенное имъ, подавило всякую мысль о сопротивленіи, а его поспѣшный отъѣздъ отдалъ столицу въ руки побѣдителя. Во время одного свиданія съ саксонскимъ генераломъ, якобы для мирныхъ переговоровъ, очевидно были рѣшены окончательно подробности заговора, и завоеваніе Богеміи было первымъ плодомъ этой интриги. Способствуя по мѣрѣ силъ увеличенію злоключеній Австріи и имѣя въ этомъ дѣятельную помощь шведовъ, быстро подвигавшихся по Рейну, онъ при посредствѣ своихъ добровольныхъ и нанятыхъ приверженцевъ въ Вѣнѣ старался раздуть общественное бѣдствіе, причемъ единственной причиной испытанныхъ пораженій выставлялась отставка прежняго полководца. „Будь Валленштейнъ у дѣлъ, до этого никогда не дошло бы“,—взывали теперь тысячи голосовъ, и это мнѣніе находило пламенныхъ сторонниковъ даже въ тайномъ совѣтѣ императора.

Но не нужны были эти назойливыя убѣжденія, чтобы выяснить удрученному монарху всѣ заслуги его полководца и опрометчивость его удаленія. Зависимость отъ Баваріи и лиги давно уже стала для него невыносима; но эта зависимость не позволяла ему выказать свое недовѣріе и раздражать курфюрста возстановленіемъ власти герцога фридландскаго. Но теперь, когда затрудненія возрастали съ каждымъ днемъ, а слабость баварской помощи становилась все очевиднѣе, онъ уже не колебался выслушивать друзей герцога и, склоняясь на ихъ убѣжденія, призвать къ власти этого полководца. Его несмѣтныя богатства, всеобщее уваженіе, которымъ онъ пользовался, быстрота, съ которой онъ шесть лѣтъ назадъ выставилъ въ поле сорокатысячное войско, ничтожныя издержки, которыхъ требовало содержаніе этого многочисленнаго войска, подвиги, совершенные имъ во главѣ послѣдняго, наконецъ, самоотверженность и вѣрность, высказанныя имъ императору,—все это было еще живо въ памяти монарха, и герцогъ показался ему лучшимъ орудіемъ для того, чтобы возстановить равновѣсіе между враждующими сторонами, спасти Австрію и сохранить господствующее положеніе католической религіи. Какъ ни тягостно и ни унизительно было для императора дать столь прямое признаніе въ своей прежней ошибкѣ и нынѣшней нуждѣ, какъ ни трудно было ему съ высоты своего величія снизойти до просьбъ, какъ ни подозрительна была вѣрность столь жестоко оскорбленнаго и столь непримиримаго человѣка, какъ ни громко и настоятельно было, наконецъ, неодобреніе, открыто выражаемое испанскими министрами и курфюрстомъ баварскимъ противъ этого шага,—безвыходность положенія побѣдила всякія другія соображенія, и друзьямъ герцога было поручено освѣдомиться о его настроеніи и намекнуть ему на возможность его новаго назначенія.

Зная обо всемъ, что говорилось въ кабинетѣ императора въ его пользу, Валленштейнъ достаточно овладѣлъ собой, чтобы скрыть свое внутреннее торжество и сыграть роль равнодушнаго. Пробилъ часъ мести, и его гордое сердце ликовало при мысли о томъ, что императору съ процентами будетъ возвращено его оскорбленіе. Съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ распространился онъ о блаженствѣ частной жизни, какое онъ испытываетъ послѣ удаленія съ политической арены. Онъ слишкомъ долго наслаждался прелестями независимости и досуга, чтобы жертвовать ими ничтожному призраку славы и невѣрной милости государей. Угасли всѣ его стремленія къ величію и могуществу, и покой—единственная цѣль его желаній. Чтобы не выказать нетерпѣнія, онъ не принялъ приглашенія явиться ко двору, но переѣхалъ въ Цнаймъ въ Моравіи, чтобы удобнѣе было вести переговоры съ дворомъ.

Сначала пытались ограничить его власть, приставивъ къ нему особаго контролера, и этой уловкой успокоить курфюрста баварскаго. Уполномоченнымъ короля, фонъ-Квестенбергу и Верденбергу, черезъ которыхъ, какъ старыхъ друзей герцога, велись эти щекотливые переговоры, было поручено упомянуть въ своихъ предложеніяхъ о королѣ венгерскомъ, который будетъ также находиться при арміи съ цѣлью изученія военнаго искусства подъ руководствомъ Валленштейна. Но одно упоминаніе объ этомъ имени чуть не прервало всѣ переговоры. Герцогъ заявилъ, что „никогда и ни въ какомъ случаѣ онъ не потерпитъ въ своемъ дѣлѣ помощника, хоть бы самъ Богъ хотѣлъ раздѣлить съ нимъ его власть". Но даже и тогда, когда отказались отъ этого взволновавшаго Валленштейна условія, любимецъ императора и министръ князь фонъ-Эггенбергъ, дѣятельный сторонникъ и защитникъ Валленштейна, лично присланный къ нему, долго истощалъ напрасно все свое краснорѣчіе, чтобы побѣдить притворный отказъ герцога. „Монархъ потерялъ въ Валленштейнѣ драгоцѣннѣйшій камень изъ своей короны, — сознавался министръ, — лишь подъ чужимъ вліяніемъ и противъ своей воли сдѣлалъ онъ этотъ шагъ, въ которомъ не переставалъ раскаиваться. Его уваженіе къ герцогу неизмѣнно, его благосклонность къ нему все та же. Рѣшительнымъ доказательствомъ этого можетъ служить исключительное довѣріе, которое онъ теперь питаетъ къ его вѣрности и дарованіямъ, считая его способнымъ исправить ошибки его предшественниковъ и измѣнить весь ходъ событій. Великодушно и благородно будетъ пожертвовать своимъ справедливымъ негодованіемъ благу отечества; великодушно и достойно его побѣдить коварные наговоры противниковъ удвоеннымъ пыломъ своей преданности. Эта побѣда надъ собой,—говорилъ въ заключеніе Эггенбергъ, — увѣнчаетъ его прежнія безцѣнныя заслуги и сдѣлаетъ его величайшимъ человѣкомъ своего времени".

Столь постыдныя признанія, столь льстивыя увѣренія какъ будто обезоружили наконецъ гнѣвъ герцога; но лишь освободивъ свое сердце отъ всѣхъ упрековъ противъ императора, распространившись съ хвастливой торжественностью о всемъ величіи своихъ заслугъ и унизивъ до конца монарха, который теперь нуждался въ его помощи, сталъ онъ выслушивать соблазнительныя предложенія министра. Якобы уступая лишь силѣ убѣжденій, онъ съ надменнымъ великодушіемъ согласился на то, что было завѣтнымъ желаніемъ его души, и осчастливилъ посла лучомъ надежды. Но, совсѣмъ не склонный вывести императора сразу изъ его затруднительнаго положенія безусловнымъ и полнымъ согласіемъ, онъ добился исполненія одной части своихъ требованій, чтобы повысить другую половину. Онъ принималъ начальство, но лишь на три мѣсяца; онъ брался набрать армію, но отказывался предводительствовать ею. Онъ хотѣлъ лишь этимъ созданіемъ арміи представить доказательство своего умѣнія и силы и показать императору размѣры той помощи, которую ему можетъ при желаніи оказать одинъ Валленштейнъ. Убѣжденный, что армія, призванная къ жизни однимъ его именемъ, возвратится въ небытіе безъ своего творца, онъ пользовался ею лишь какъ приманкой, чтобы вырвать у своего повелителя болѣе важныя уступки; и однако Фердинандъ радовался, что добился хоть этого.

Не долго медлилъ Валленштейнъ исполненіемъ своего обѣщанія, надъ химеричностью котораго издѣвалась вся Германія и которое самъ Густавъ Адольфъ находилъ чрезмѣрнымъ. Но давно уже было подготовлено это предпріятіе и теперь онъ привелъ лишь въ дѣйствіе махинаціи, которыя подготовлялъ въ теченіе многихъ лѣтъ для этой цѣли. Едва успѣлъ распространиться слухъ о томъ, что Валленштейнъ набираетъ войско, со всѣхъ сторонъ австрійской монархіи

стали стекаться толпы удальцовъ, чтобы попытать счастіе подъ знаменами этого опытнаго полководца. Многіе, уже ранѣе сражавшіеся въ его войскахъ, бывшіе восторженными свидѣтелями его величія и испытавшіе его великодушіе, выступили при этомъ зовѣ изъ тьмы неизвѣстности, чтобы снова дѣлить съ нимъ славу и добычу. Размѣры обѣщаннаго жалованья привлекали тысячи солдатъ, и богатое содержаніе, которое они получали на счетъ крестьянина, было для послѣдняго непреодолимымъ соблазномъ лучше вступить самому въ ряды войска, чѣмъ страдать подъ его гнетомъ. Всѣ австрійскія провинціи были обременены налогами на этотъ дорогой походъ; никто не былъ освобожденъ отъ обложенія; ни саны, ни привилегіи не спасали отъ подушнаго налога. Испанскій дворъ и король венгерскій согласились дать значительную субсидію; министры дѣлали чрезвычайныя издержки и Валленштейнъ самъ издержалъ двѣсти тысячъ талеровъ изъ своихъ денегъ для ускоренія вооруженія. Бѣдныхъ офицеровъ онъ содержалъ на свои средства, а болѣе богатыхъ заставлялъ своимъ примѣромъ, блестящимъ движеніемъ по службѣ и еще болѣе блестящими обѣщаніями набирать войска на свой счетъ. Всякій, собравшій на свои деньги отрядъ, становился его командиромъ. Религія не играла при назначеніи офицеровъ никакой роли; важнѣе вѣры были—богатство, храбрость и опытность. Это безпристрастіе по отношенію къ различнымъ вѣроисповѣданіямъ, а еще болѣе заявленія, что теперешній походъ не имѣетъ ничего общаго съ религіей, успокоили протестантскаго подданнаго и побудили его принять равное участіе въ общихъ издержкахъ. Въ то же время герцогъ, не теряя времени, велъ отъ своего имени переговоры съ иноземными государствами на счетъ войскъ и денегъ. Онъ снова соблазнилъ герцога лотарингскаго выступить за императора; Польша должна была доставить ему казаковъ, Италія—военные припасы. Не прошло трехъ мѣсяцевъ, какъ армія, собранная въ Моравіи, простиралась до сорока тысячъ человѣкъ, набранныхъ главнымъ образомъ въ остальной части Богеміи, Моравіи, Силезіи и въ нѣмецкихъ владѣніяхъ австрійскаго дома. Въ короткое время, къ изумленію всей Европы, Валленштейнъ сдѣлалъ то, что всѣмъ казалось неисполнимымъ. Обаяніе его имени, его денегъ, его генія собрали подъ его знамена столько тысячъ солдатъ, сколькихъ сотенъ не могло ожидать общее мнѣніе. Съ избыткомъ снабженное всѣмъ необходимымъ, подъ начальствомъ опытныхъ офицеровъ, одушевленное многообѣщающимъ энтузіазмомъ, это новорожденное войско ждало лишь мановенія своего вождя, чтобы подвигами отваги стать достойнымъ его.

Герцогъ исполнилъ свое обѣщаніе,—армія стояла, готовая къ бою; теперь онъ отступилъ на второй планъ, предоставляя императору назначить ей руководителя. Но дать ей въ предводители кого-либо кромѣ Валленштейна было такъ же трудно, какъ создать вторую армію наряду съ первой. Это многообѣщающее войско, послѣдняя надежда императора, обращалось въ призракъ, разъ рушились бы чары, призвавшія его къ жизни; Валленштейнъ былъ причиной его бытія и безъ него оно исчезало въ прежнее небытіе, какъ созданіе волшебства. Офицеры были его должниками или тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ его интересами, съ его могуществомъ—въ качествѣ его кредиторовъ; полками командовали его родственники, его креатуры, его любимцы. Лишь онъ одинъ могъ сдержать предъ войсками тѣ чрезмѣрныя обѣщанія, которыя привлекали всѣхъ на его службу. Его слово было единственной порукой, единственнымъ ручательствомъ за исполненіе смѣлыхъ ожиданій каждаго; слѣпая вѣра въ его могущество была единственной связью, объединявшей разнообразныя побужденія въ живой духъ единодушія. Каждому приходилось разстаться съ мыслію о выгодахъ, разъ не было того, кто за нихъ ручался.

Какъ ни притворны были отказы герцога, они послужили серьезнымъ средствомъ для того, чтобы припугнуть императора и вынудить у него согласіе на чрезмѣрныя требованія Валленштейна. Успѣхи непріятеля дѣлали положеніе опаснѣе съ каждымъ днемъ, а помощь была такъ близка; отъ одного человѣка зависѣло разомъ положить конецъ всеобщему бѣдствію. И князь фонъ-Эггенбергъ получилъ въ третій и послѣдній разъ приказъ побудить своего друга во что бы то ни стало принять власть надъ войсками.

Въ Цнаймѣ въ Моравіи нашелъ онъ его, пышно окруженнаго войсками, которыми онъ соблазнялъ императора. Точно ничтожнаго просителя принялъ гордый подданный посла своего повелителя. „Никогда—отвѣтилъ онъ—не сталъ бы онъ довѣрять возвращенію своей власти, которымъ обязанъ лишь крайности, а не справедливости им-

ператора. Теперь, правда, когда стѣсненное положеніе достигло крайней степени и спасенія можно ждать только отъ его руки, идутъ къ нему; но, оказавъ помощь, онъ будетъ снова забытъ, и минованіе опасности приведетъ къ прежнимъ несправедливостямъ. Если онъ обманетъ надежды, возлагаемыя на него, онъ рискуетъ всей своей славой; онъ рискуетъ своимъ счастьемъ и своимъ покоемъ, если ему удастся удовлетворить ихъ. Вновь воскреснетъ старая зависть къ нему и государь, покорный чужому вліянію, не задумается снова пожертвовать особымъ соображеніямъ слугой, въ которомъ больше не нуждается. Лучше онъ теперь и по своей волѣ покинетъ постъ, съ котораго его рано или поздно свергнутъ интриги его враговъ. Лишь въ тишинѣ частной жизни обрѣтетъ онъ безопасность и спокойствіе и лишь ради императора уклонился онъ на нѣкоторое время противъ своей воли отъ этого счастливаго покоя".

Утомленный этой продолжительной комедіей, министръ принялъ теперь болѣе серьезный тонъ и пригрозилъ упрямому полководцу гнѣвомъ монарха, если онъ будетъ дольше настаивать на своемъ отказѣ. „Достаточно унижено величіе монарха,—сказалъ онъ,—и вмѣсто того, чтобы тронуть великодушіе Валленштейна, это униженіе лишь раздразнило его гордыню и усилило его упрямство. Если и эта великая жертва окажется напрасной, то министръ боится, какъ бы проситель не превратился въ повелителя, и какъ бы монархъ не отмстилъ за свое оскорбленное достоинство непокорному подданному. Какъ бы ни провинился Фердинандъ, императоръ не теряетъ право на покорность; человѣкъ можетъ совершить ошибку, но властелинъ не долженъ сознаваться въ своей опрометчивости. Если герцогъ фридландскій пострадалъ отъ незаслуженнаго приговора, то всякая потеря можетъ быть возмѣщена, и государь можетъ исцѣлить всѣ раны, нанесенныя имъ. Если герцогъ требуетъ обезпеченія его особы и его сана, то справедливость императора не откажетъ ни въ какомъ справедливомъ требованіи. Но никакое раскаяніе не можетъ загладить оскорбленіе величества, и непокорность повелителю уничтожаетъ самыя блестящія заслуги. Императоръ нуждается въ услугахъ герцога и требуетъ ихъ въ качествѣ императора. Какой бы цѣны за это ни потребовали, императоръ согласенъ заранѣе; но онъ требуетъ повиновенія или тяжесть его негодованія сокрушить непокорнаго слугу".

Валленштейнъ, обширныя владѣнія котораго, разсѣянныя по Австріи, были въ полной власти императора, чувствовалъ всю силу этой угрозы; но не страхъ побѣдилъ, наконецъ, его притворное упорство. Именно этотъ повелительный тонъ выдавалъ ему слишкомъ ясно слабость и отчаяніе, изъ которыхъ онъ вытекалъ, а готовность императора согласиться на всѣ его требованія убѣждала его, что онъ—у цѣли своихъ желаній. Онъ согласился, какъ бы убѣжденный краснорѣчіемъ Эггенберга, и оставилъ его, чтобы формулировать свои требованія.

Не безъ трепета ожидалъ министръ посланія, въ которомъ надменнѣйшій изъ подданныхъ рѣшался ставить требованія самому гордому изъ государей. Но какъ ни слабо было его довѣріе къ умѣренности своего друга, чрезмѣрныя условія, заключавшіяся въ посланіи, превзошли его боязливыя ожиданія. Валленштейнъ требовалъ неограниченной власти надъ всѣми нѣмецкими войсками австрійскаго и испанскаго дома и чрезвычайныхъ полномочій карать и награждать по своему усмотрѣнію. Не только король венгерскій, но и самъ императоръ должны отказаться отъ права являться въ армію, а тѣмъ болѣе давать ей какія бы то ни было распоряженія. Императоръ не имѣетъ права ни дѣлать назначенія въ арміи, ни раздавать награды; его жалованная грамота не имѣетъ значенія безъ утвержденія Валленштейна. Всякимъ достояніемъ, конфискованнымъ или завоеваннымъ въ имперіи, распоряжается герцогъ фридландскій единолично, безъ вмѣшательства всѣхъ императорскихъ или имперскихъ судовъ. Въ качествѣ обыкновеннаго вознагражденія ему должно быть передано одно изъ личныхъ владѣній императора, въ видѣ чрезвычайнаго подарка—одна изъ земель, завоеванныхъ въ имперіи. Всякая австрійская провинція должна быть въ случаѣ нужды открыта для его убѣжища. Кромѣ всего этого, онъ требовалъ, чтобы ему обезпечили при будущемъ мирѣ герцогство Мекленбургское и формально извѣстили его заблаговременно объ отставкѣ, если сочтутъ нужнымъ лишить его вторично власти надъ арміей.

Тщетно убѣждалъ его министръ умѣрить свои требованія, лишавшія императора всѣхъ его верховныхъ правъ надъ арміей, унижавшія его до степени креатуры его же

полководца. Слишкомъ очевидно было для него, что безъ него обойтись немыслимо, и онъ чувствовалъ за собой силу назначить цѣну, за которую должны быть куплены его услуги. Если сила обстоятельствъ заставила императора согласиться на эти требованія, то не одни побужденія мстительности и надменности заставляли герцога ставить ихъ. Планъ будущаго возмущенія былъ готовъ, и при этомъ невозможно было отказаться отъ преимуществъ, которыми Валленштейнъ хотѣлъ обезпечить себя въ договорѣ съ дворомъ. Этотъ планъ требовалъ, чтобы императоръ былъ лишенъ всякаго авторитета въ Германіи, и власть его перешла въ руки его полководца. Эта цѣль достигнута, разъ Фердинандъ согласится на условія герцога. Употребленіе, какое Валленштейнъ задумалъ сдѣлать изъ своей арміи, разумѣется, безконечно далекое отъ той цѣли, для которой она была ему подчинена — требовало вполнѣ нераздѣльной власти, а тѣмъ болѣе отсутствія при арміи всякой власти надъ нимъ. Чтобы быть единственнымъ господиномъ ихъ помышленій, онъ долженъ былъ быть для войскъ единственнымъ рѣшителемъ судебъ; для того, чтобы незамѣтно занять мѣсто своего повелителя и перенести на себя всѣ верховныя права, лишь на время уступленныя ему высшей властью, онъ долженъ былъ старательно отдалять послѣднюю отъ взоровъ арміи. Вотъ истинная причина его упорнаго сопротивленія позволить какому либо принцу австрійскаго дома быть при арміи. Свобода распоряжаться по своему усмотрѣнію всѣмъ конфискованнымъ и завоеваннымъ въ Германіи имуществомъ, давала ему страшныя средства пріобрѣтать приверженцевъ и покорныя орудія своихъ замысловъ и играть въ Германіи роль диктатора съ большей властью чѣмъ та, какую имѣлъ императоръ въ мирное время. Право пользоваться въ случаѣ нужды убѣжищемъ въ австрійскихъ земляхъ давало ему полную возможность держать императора чуть не въ плѣну въ его собственномъ государствѣ и посредствомъ его собственной арміи высасывать всѣ соки этихъ земель и подрывать въ корнѣ основы австрійскаго могущества. Что бы потомъ ни произошло,—условія, которыя онъ вынудилъ у императора, обезпечивали его достаточно хорошо. Если бы обстоятельства оказались благопріятными его дерзновеннымъ замысламъ, то этотъ договоръ съ императоромъ облегчалъ ихъ исполненіе; если бы обстоятельства сдѣлали ихъ осуществленіе невозможнымъ, то этотъ самый договоръ вознаграждалъ его наилучшимъ образомъ. Но какъ онъ могъ считать дѣйствительнымъ договоръ, исторгнутый силой у государя и основанный на преступленіи? Какъ могъ онъ надѣяться связать императора условіями, которыя были смертнымъ приговоромъ для того, кто имѣлъ дерзость продиктовать ихъ? И все же этотъ достойный казни преступникъ былъ теперь необходимѣйшимъ человѣкомъ во всей монархіи, и Фердинандъ, искушенный въ притворствѣ, согласился на все, чего требовалъ Валленштейнъ.

Наконецъ, императорская армія получила главу, заслуживающаго этого имени. Всякая другая власть въ войскахъ, не исключая власти самого императора, теряла силу въ тотъ самый моментъ, какъ Валленштейну былъ врученъ жезлъ главнокомандующаго, и все, проистекавшее не отъ его особы, было лишено всякаго значенія. Отъ береговъ Дуная до Везера и Одера почувствовали животворное появленіе новаго созвѣздія. Новый духъ одушевляетъ солдатъ императора; начинается новая эпоха войны. Свѣжія надежды ободряютъ папистовъ и протестантскій міръ взираетъ съ тревогой на перемѣну обстоятельствъ.

Чѣмъ выше было вознагражденіе, цѣной котораго пришлось купить новаго полководца, тѣмъ большія надежды питалъ императорскій дворъ; но герцогъ не спѣшилъ заботиться объ осуществленіи этихъ надеждъ. Ему нужно было лишь появиться вблизи Богеміи съ своимъ грознымъ войскомъ, чтобы уничтожить ослабленныя войска саксонцевъ и блистательно открыть свое новое поприще возвращеніемъ этого королевства подъ власть императора. Но удовлетворяясь ничего не рѣшающими стычками кроатовъ съ непріятелемъ, онъ предоставилъ въ жертву его грабежамъ лучшую часть государства и шелъ мѣрными и тихими шагами къ своей завѣтной цѣли. Не уничтожать саксонцевъ, но соединиться съ ними—таковъ былъ его планъ. Поглощенный этимъ важнымъ замысломъ, онъ не брался пока за оружіе, чтобы тѣмъ вѣрнѣе побѣдить пугемъ переговоровъ. Всевозможными способами старался онъ порвать союзъ курфюрста со шведами, и самъ Фердинандъ, все еще склонный къ миру съ Саксоніей, одобрялъ этотъ образъ дѣйствій. Но громадныя услуги, оказанныя шведами, были еще слишкомъ свѣжи въ памяти саксонцевъ, чтобы позволить имъ столь позор-

Графъ Мансфельдъ.

Портретъ Ванъ-Дейка, гравированный Робертомъ Ванъ-Ферстомъ.

ную измѣну; и если бы они въ самомъ дѣлѣ чувствовали себя склонными къ этому, то двуличіе Валленштейна и дурная слава австрійской политики не внушили бы имъ никакого довѣрія къ искренности его обѣщаній. Слишкомъ извѣстный въ качествѣ вѣроломнаго политика, онъ не нашелъ вѣры именно въ томъ единственномъ случаѣ, когда по всѣмъ вѣроятіямъ не собирался обмануть; но обстоятельства еще не позволяли ему раскрытіемъ своихъ истинныхъ мотивовъ поставить внѣ всякаго сомнѣнія искренность своихъ предложеній. Такимъ образомъ онъ противъ своей воли рѣшился добыть силой оружія то, чего не удалось достигнуть посредствомъ переговоровъ. Быстро собравъ войска, онъ появился предъ Прагой, прежде чѣмъ саксонцы могли спасти столицу. Послѣ непродолжительной обороны осажденныхъ, предательство капуциновъ открыло одному изъ его полковъ входъ въ городъ и укрывшійся въ замкѣ гарнизонъ положилъ оружіе на позорныхъ условіяхъ. Въ качествѣ господина столицы, онъ разсчитывалъ на болѣе благопріятный ходъ переговоровъ съ саксонскимъ дворомъ, но при этомъ, возобновляя переговоры съ генераломъ фонъ Арнгеймомъ, не приминулъ подкрѣпить ихъ вѣсъ рѣшительнымъ ударомъ. Для того, чтобы

отрѣзать саксонской арміи отступленіе на родину, онъ приказалъ поспѣшно занять проходы между Ауссигомъ и Пирной, но быстрота Арнгейма счастливо избавила саксонцевъ отъ опасности. Послѣ отступленія этого генерала сдались побѣдителю послѣднія убѣжища саксонцевъ, Эгеръ и Лейтмерицъ, и Богемія была возвращена своему законному государю еще скорѣе, чѣмъ была потеряна.

Занятый не столько интересами своего государя, сколько осуществленіемъ своихъ собственныхъ плановъ, Валленштейнъ собирался теперь перенести войну въ предѣлы Саксоніи, чтобы опустошеніемъ курфюршества заставить курфюрста заключить отдѣльный договоръ съ императоромъ или вѣрнѣе съ герцогомъ фридландскимъ. Но какъ ни мало привыкъ онъ покорять свою волю гнету обстоятельствъ, онъ понялъ теперь всю необходимость временно отказаться отъ своего сокровеннаго замысла для болѣе важнаго дѣла. Въ то время какъ онъ изгонялъ саксонцевъ изъ Богеміи, Густавъ Адольфъ одерживалъ вышеописанныя побѣды на Рейнѣ и на Дунаѣ и черезъ Швабію и Франконію перенесъ уже войну къ границамъ Баваріи. Разбитый на Лехѣ и смертью графа Тилли лишенный своей лучшей опоры, Максимиліанъ молилъ императора какъ можно скорѣе прислать ему на помощь изъ Богеміи герцога фридландскаго и защитой Баваріи отвратить опасность отъ самой Австріи. Обратившись съ этой просьбой къ самому Валленштейну, онъ настоятельно убѣждалъ его до самоличнаго появленія съ главной арміей прислать ему пока на помощь хоть нѣсколько полковъ. Фердинандъ поддерживалъ эту просьбу всей силой своего авторитета, и одинъ курьеръ за другимъ летѣлъ теперь къ Валленштейну, чтобы заставить его двинуться къ Дунаю.

Но теперь-то выяснилось, какую долю своей власти принесъ въ жертву императоръ, передавъ въ руки Валленштейна войска и начальство надъ ними. Равнодушный къ мольбамъ Максимиліана, глухой къ многократнымъ повелѣніямъ императора, онъ оставался въ полномъ бездѣйствіи въ Богеміи, предоставляя курфюрста его судьбѣ. Память о томъ, какъ нѣкогда на регенсбургскомъ сеймѣ Максимиліанъ старался объ его удаленіи, запечатлѣлась глубоко въ непримиримомъ сердцѣ герцога, и новыя старанія курфюрста воспрепятствовать его назначенію также не остались для него тайной. Теперь насталъ часъ мести за это оскорбленіе, и тяжело отплатилъ курфюрстъ за то, что онъ возстановилъ противъ себя мстительнѣйшаго человѣка на свѣтѣ. По словамъ Валленштейна, невозможно было оставить Богемію беззащитной и Австрія будетъ защищена лучше всего въ томъ случаѣ, если шведская армія растратитъ свои силы предъ баварскими крѣпостями. Такъ наказывалъ онъ рукою шведовъ своего врага, и между тѣмъ, какъ одна крѣпость за другой переходила въ ихъ руки, онъ предоставлялъ курфюрсту тщетно жаждать въ Регенсбургѣ его прибытія. Лишь тогда, когда полное покореніе Богеміи лишило его послѣднихъ оправданій и завоеванія Густава Адольфа въ Баваріи стали грозить близкой опасностью самой Австріи, онъ снизошелъ къ просьбамъ курфюрста и императора и рѣшился на давно желанное соединеніе съ первымъ, которое по ожиданіямъ всѣхъ католиковъ должно было рѣшить судьбу всей войны.

Самъ Густавъ Адольфъ, слишкомъ слабый, чтобы бороться съ одной арміей Валленштейна, боялся соединенія двухъ столь сильныхъ армій, и вполнѣ справедливо удивляются, почему онъ не постарался болѣе энергично воспрепятствовать этому соединенію. Кажется, онъ слишкомъ разсчитывалъ на ненависть, раздѣлявшую обоихъ предводителей и не дававшую никакой надежды на сліяніе ихъ войскъ для общей цѣли, и было слишкомъ поздно исправлять эту ошибку, когда его предположеніе было опровергнуто событіями. Правда при первомъ несомнѣнномъ извѣстіи объ ихъ намѣреніяхъ, онъ поспѣшилъ въ Верхній Пфальцъ, чтобы преградить путь курфюрсту, но тотъ предупредилъ его, и соединеніе произошло подъ Эггеромъ.

Этотъ пограничный городъ избралъ Валленштейнъ ареной торжества надъ своимъ надменнымъ противникомъ. Не довольствуясь тѣмъ, что видѣлъ его у своихъ ногъ въ роли просителя, онъ заставилъ еще его оставить свои земли беззащитными, придти издалека на поклонъ къ своему защитнику, и этимъ долгимъ путемъ дать унизительное признаніе въ своей нуждѣ и тягостномъ положеніи. И такому униженію подчинялся покорно гордый государь. Тяжелой борьбы стоило ему прибѣгнуть къ спасающей рукѣ того, кто никогда не имѣлъ бы этой власти, если бы все шло согласно желаніямъ курфюрста; но разъ рѣшившись, онъ имѣлъ достаточно мужества перенести всякое оскорбленіе, вытекавшее изъ его

рѣшенія, и достаточно владѣлъ собой, чтобы отнестись съ презрѣніемъ къ мелкимъ страданіямъ, если это было нужно для достиженія великой цѣли.

Но если такой дорогой цѣной куплена была лишь возможность этого соединенія, то еще труднѣе было сговориться относительно условій, на которыхъ оно будетъ имѣть мѣсто и силу. Для достиженія цѣли соединенія было необходимо вручить власть надъ соединенными войсками одному человѣку, а между тѣмъ обѣ стороны были одинаково мало склонны подчиняться чужому авторитету. Если Максмиліанъ опирался на свой курфюршескій санъ, на знатность своего происхожденія, на свое значеніе въ имперіи, то Валленштейнъ основывалъ свои притязанія на своей военной славѣ и неограниченной власти, врученной ему императоромъ. Насколько царственная гордость перваго возмущалась необходимостью подчиняться приказамъ императорскаго слуги, настолько льстила высокомѣрію герцога мысль отдавать повелѣнія такому надменному повелителю. Упорныя пререканія окончились взаимнымъ соглашеніемъ въ пользу Валленштейна. Ему предоставлялась высшая власть надъ обѣими арміями, вполнѣ неограниченная, а курфюрстъ отказывался отъ права мѣнять не только диспозицію, но и маршрутъ арміи. Ему оставалось только право наказывать и награждать своихъ собственныхъ солдатъ и свободно пользоваться ими въ томъ случаѣ, если они не заняты совмѣстными дѣйствіями съ императорскими войсками.

Послѣ этихъ приготовленій будущіе союзники рѣшились наконецъ увидѣться лично другъ съ другомъ, но не ранѣе чѣмъ дано было взаимное обѣщаніе предать полному забвенію все происшедшее и были точнѣйшимъ образомъ опредѣлены всѣ внѣшнія формальности обряда примиренія. Согласно условію оба обнялись предъ лицомъ своихъ войскъ, давая другъ другу взаимныя обѣщанія хранить дружбу, въ то время какъ сердца ихъ кипѣли злобой. Максмиліанъ, опытный въ наукѣ притворства, владѣлъ достаточно собой, чтобы ни однимъ движеніемъ не проявить своихъ истинныхъ чувствъ; но въ глазахъ Валленштейна сверкало злобное торжество, и принужденность во всемъ его поведеніи обнаруживала явно всю силу страстей, владѣвшихъ его высокомѣрнымъ сердцемъ.

Соединенныя императорско-баварскія войска составляли армію почти въ шестьдесятъ тысячъ, большею частью закаленныхъ солдатъ, предъ которыми шведскій монархъ не смѣлъ показаться въ полѣ. Послѣ того какъ попытка воспрепятствовать ихъ соединенію не удалась, онъ поспѣшно отступилъ въ Франконію и ожидалъ здѣсь рѣшительнаго движенія врага, чтобы сообразоваться съ его дѣйствіями. Положеніе, занятое соединенной арміей между границами Саксоніи и Баваріи, оставляло нѣкоторое время неизвѣстнымъ, перенесетъ ли она театръ войны въ первую изъ этихъ странъ или постарается изгнать шведовъ съ Дуная, чтобы освободить Баварію. Саксонія была лишена войскъ Арнгеймомъ, который завоевалъ въ это время Силезію,— какъ многіе его обвиняли, не безъ тайнаго замысла облегчить герцогу Фридландскому вторженіе въ курфюршество и дать нерѣшительному духу Іоанна Георга рѣшительный толчокъ къ договору съ императоромъ. Самъ Густавъ Адольфъ, въ твердомъ ожиданіи, что намѣренія Валленштейна будутъ обращены противъ Саксоніи, чтобы не оставить своего союзника безъ помощи, поспѣшно отправилъ туда значительное подкрѣпленіе, твердо рѣшившись послѣдовать сюда со всѣми своими войсками, какъ только позволятъ обстоятельства. Но движенія арміи Валленштейна не замедлили открыть ему, что она идетъ на него самого, а походъ герцога чрезъ Верхній Пфальцъ поставилъ это внѣ всякаго сомнѣнія. Насталъ часъ подумать о своей собственной безопасности, биться не за владычество въ Германіи, а за свое существованіе, и искать средствъ къ спасенію въ силѣ своего генія. Приближеніе непріятеля застигло его врасплохъ, прежде чѣмъ ему удалось стянуть къ себѣ свои войска, разсѣянныя по всей Германіи, и призвать на помощь своихъ союзниковъ. Слишкомъ слабый, чтобы удержать надвигающагося непріятеля, онъ имѣлъ предъ собой выборъ: или броситься въ Нюрнбергъ и подвергнуться опасности быть запертымъ въ этомъ городѣ всей арміей Валленштейна и погибнуть отъ голода—или, пожертвовавъ этимъ городомъ, ожидать подъ пушками Донауверта подкрѣпленій. Равнодушный ко всякимъ опасностямъ, разъ подымала голосъ человѣчность и повелѣвала честь, онъ безъ колебаній выбралъ первое, твердо рѣшившись скорѣе похоронить себя со всей своей арміей подъ развалинами Нюрнберга, чѣмъ купить свое спасеніе гибелью этого союзнаго города.

Тотчасъ приступили къ укрѣпленію города со всѣми его предмѣстьями непрерывной цѣпью окоповъ, а внутри его стали устраивать укрѣпленный лагерь. Многія тысячи рукъ принялись немедленно за трудноисполнимое дѣло, и всѣхъ обитателей Нюрнберга одушевляло геройское усердіе отдать за общее спасеніе кровь, жизнь и достояніе. Вся линія укрѣпленій была окружена рвомъ въ восемь футовъ глубины и двѣнадцать ширины; линіи защищались редутами и бастіонами, входы—полумѣсяцами. Рѣка Пегницъ, протекающая чрезъ Нюрнбергъ, раздѣляла весь лагерь на два полукруга, соединенныхъ многими мостами. Около трехсотъ орудій высилось на городскихъ стѣнахъ и окопахъ лагеря. Крестьяне изъ окрестныхъ селеній и граждане Нюрнберга работали вмѣстѣ со шведскими солдатами, и уже на седьмой день армія могла занять лагерь, а на четырнадцатый была закончена вся гигантская работа.

Между тѣмъ какъ это происходило за стѣнами города, магистратъ Нюрнберга былъ занятъ наполненіемъ магазиновъ и снабженіемъ города всѣми военными и жизненными припасами, какіе могли понадобиться для продолжительной осады. О здоровьи жителей, которое отъ скопленія множества людей легко могло подвергнуться опасности, позаботились при помощи строгихъ санитарныхъ постановленій. Для того, чтобы имѣть возможность въ случаѣ нужды подкрѣпить короля, городская молодежь пріучалась владѣть оружіемъ, городская милиція была значительно усилена и вооруженъ новый полкъ изъ двадцати четырехъ названій по буквамъ старой азбуки. Самъ Густавъ требовалъ между тѣмъ вспомогательныхъ войскъ отъ своихъ союзниковъ, герцога Вильгельма веймарскаго и ландграфа гессенъ-кассельскаго, и разослалъ приказы своимъ генераламъ на Рейнѣ, въ Тюрингіи и нижней Саксоніи поспѣшно двинуться въ путь, чтобы соединиться съ его войсками у Нюрнберга. Армія его, расположенная внутри укрѣпленій этого имперскаго города, насчитывала нѣсколько болѣе шестнадцати тысячъ человѣкъ,—стало быть не достигала и трети непріятельскаго войска.

Между тѣмъ послѣднее, медленно подвигаясь впередъ, дошло до Неймарка, гдѣ герцогъ фридландскій произвелъ общій смотръ. Увлеченный видомъ этой могучей силы, онъ не могъ воздержаться отъ дѣтской хвастливости. „Черезъ четыре дня будетъ рѣшено, воскликнулъ онъ, кто изъ насъ двоихъ будетъ владыкой міра—я или король шведскій". Но, несмотря на все превосходство своихъ войскъ, онъ не дѣлалъ ничего, чтобы привести въ исполненіе это высокомѣрное обѣщаніе, и даже упустилъ случай разбить непріятеля на-голову, когда тотъ осмѣлился двинуться ему на встрѣчу изъ своихъ окоповъ. „Довольно было битвъ,—отвѣтилъ онъ тѣмъ, которые возбуждали его къ нападенію—пора держаться иного метода". Уже здѣсь выяснилось преимущество вождя, упроченная слава котораго не нуждается въ рискованныхъ предпріятіяхъ, которыми другіе по необходимости спѣшатъ, чтобы составить себѣ имя. Убѣжденный, что мужество отчаянія заставитъ непріятеля очень дорого продать побѣду, а неудача, испытанная въ этихъ мѣстахъ, безвозвратно погубитъ императора, Валленштейнъ удовлетворился рѣшеніемъ истощить воинскій пылъ своего противника долговременной осадой и, лишивъ его всякой возможности увлечься необузданностью этого пыла, отнять у него то преимущество, которое до сихъ поръ дѣлало его столь непобѣдимымъ. Не предпринимая поэтому никакихъ дѣйствій, онъ расположился по ту сторону Редница напротивъ Нюрнберга укрѣпленнымъ лагеремъ и этимъ удобнымъ положеніемъ отрѣзалъ какъ городу, такъ и шведскому лагерю всякій подвозъ припасовъ изъ Франконіи, Швабіи и Тюрингіи. Такимъ образомъ онъ осадилъ короля вмѣстѣ съ городомъ и льстилъ себя надеждой медленно, но вѣрно истомить голодомъ мужество противника, которое онъ совсѣмъ не жаждалъ испытать въ сраженіи.

Но слишкомъ мало знакомый съ средствами и силами своего противника, онъ недостаточно позаботился о томъ, чтобы оградить самого себя отъ той судьбы, которую онъ готовилъ королю. Крестьяне со своими запасами покинули всю окрестную страну, а за скудные остатки провіанта герцогскимъ фуражирамъ приходилось драться со шведскими. Король щадилъ городскіе запасы, пока возможно было получать провіантъ изъ окрестныхъ деревень, и эти обоюдные набѣги поддерживали неустанныя столкновенія между кроатами и шведскими солдатами, пагубные слѣды чего оставались на всей сосѣдней странѣ. Съ мечомъ въ рукѣ приходилось добывать жизненные припасы, и безъ значительнаго вооруженнаго прикрытія обѣ стороны не рѣшались отправляться на фуражировку. При наступ-

леніи нужды, городъ Нюрнбергъ открылъ королю свои кладовыя, а Валленштейнъ вынужденъ былъ добывать продовольствіе для своихъ войскъ издалека. Большой обозъ съѣстныхъ припасовъ, закупленныхъ въ Баваріи, подвигался къ нему и тысяча человѣкъ были отправлены для того, чтобы конвоировать его до лагеря. Увѣдомленный объ этомъ, Густавъ Адольфъ поспѣшилъ отправить конный полкъ овладѣть этимъ транспортомъ, а темнота ночи помогла успѣху экспедиціи. Весь обозъ вмѣстѣ съ городомъ, гдѣ онъ остановился, попалъ въ руки шведовъ; императорское прикрытіе было изрублено, тысяча двѣсти воловъ угнаны, а тысяча телѣгъ съ хлѣбомъ, которыя невозможно было увезти, сожжены. Семь полковъ, двинутыхъ герцогомъ фридландскимъ къ Альтдорфу на защиту этого нетерпѣливо ожидаемаго обоза, были разбиты королемъ, который выступилъ тоже, чтобы прикрыть возвращеніе своихъ солдатъ, и вынуждены были послѣ упорнаго боя укрыться въ императорскомъ лагерѣ съ урономъ въ 400 человѣкъ. Эти злоключенія и неожиданная стойкость короля заставили герцога фридландскаго раскаиваться, что онъ упустилъ случай къ сраженію. Теперь неприступность шведскаго лагеря дѣлала всякое нападеніе невозможнымъ, а вооруженная молодежь Нюрнберга служила королю неистощимымъ питомникомъ, изъ котораго онъ пополнялъ всякую потерю въ людяхъ. Недостатокъ съѣстныхъ припасовъ, который чувствовался въ императорскомъ лагерѣ не менѣе, чѣмъ въ шведскомъ, дѣлалъ по крайней мѣрѣ весьма сомнительнымъ, какая изъ обѣихъ сторонъ принудитъ другую ранѣе къ отступленію.

Прошло ужъ двѣ недѣли, какъ обѣ арміи подъ охраной равно неприступныхъ укрѣпленій стояли лицомъ къ лицу, не рѣшаясь на что либо, кромѣ легкихъ набѣговъ и незначительныхъ стычекъ. Съ обѣихъ сторонъ заразительныя болѣзни, естественныя слѣдствія дурного питанія и скопленія народа, уменьшили численность армій болѣе чѣмъ непріятельскій мечъ, и бѣдствія эти возрастали съ каждымъ днемъ. Наконецъ, въ шведскомъ лагерѣ появились долгожданныя вспомогательныя войска и значительныя подкрѣпленія позволили теперь королю повиноваться голосу своего природнаго мужества и разбить оковы, связывавшія его до сихъ поръ.

Согласно его требованію герцогъ веймарскій Вильгельмъ поспѣшно составилъ изъ гарнизоновъ нижней Саксоніи и Тюрингіи отрядъ, къ которому присоединились у Швейнфурта въ Франконіи четыре саксонскихъ полка, а вслѣдъ затѣмъ у Кицингена рейнскія войска, отправленныя на помощь королю ландграфомъ гессенъ-кассельскимъ Вильгельмомъ и пфальцграфомъ биркенфельдскимъ. Канцлеръ Оксенштирна взялся вести этотъ корпусъ къ мѣсту назначенія. Соединившись въ Виндсгеймѣ съ герцогомъ веймарскимъ Бернгардомъ и шведскимъ генераломъ Баннеромъ, онъ двинулся ускореннымъ маршемъ къ Бруку и Эльтерсдорфу, гдѣ переправился черезъ Редницъ и счастливо достигъ шведскаго лагеря. Это подкрѣпленіе насчитывало до пятидесяти тысячъ человѣкъ съ шестьюдесятью орудіями и обозомъ въ четыре тысячи подводъ. Такимъ образомъ Густавъ Адольфъ увидалъ себя во главѣ почти семидесятитысячной арміи, не считая ополченія города Нюрнберга, который могъ въ случаѣ нужды выставить въ поле тридцать тысячъ гражданъ: страшная сила, которой противостояла другая, не менѣе страшная. Вся война какъ будто сосредоточилась въ одномъ сраженіи, чтобы здѣсь, наконецъ, получить послѣднее рѣшеніе.

Трепетно взирала раздѣленная на партіи Европа на это поле битвы, гдѣ, точно въ фокусѣ, грозно скопились всѣ силы обѣихъ враждующихъ сторонъ.

Но если еще до прибытія подкрѣпленія была велика нужда въ съѣстныхъ припасахъ, то это бѣдствіе достигло теперь въ лагеряхъ (такъ какъ Валленштейнъ тоже получилъ новое подкрѣпленіе изъ Баваріи) до ужасающихъ размѣровъ. Кромѣ ста двадцати тысячъ солдатъ, стоявшихъ другъ противъ друга съ оружіемъ въ рукахъ, кромѣ массы—болѣе пятидесяти тысячъ—лошадей въ обѣихъ арміяхъ, кромѣ жителей Нюрнберга, далеко превосходившихъ численностью шведское войско, въ одномъ лагерѣ Валленштейна было до пятнадцати тысячъ женщинъ и столько же погонщиковъ и слугъ, и не менѣе того—въ шведскомъ. По обычаю того времени, солдатъ могъ брать съ собой въ походъ все свое семейство. За императорскимъ войскомъ слѣдовало безчисленное множество незамужнихъ женщинъ, а строгій надзоръ за нравами въ шведскомъ лагерѣ, гдѣ не былъ терпимъ никакой развратъ, много способствовалъ по той же причинѣ законнымъ бракамъ. Для молодыхъ поколѣній, которымъ этотъ лагерь служилъ отечествомъ,

были устроены настоящія походныя школы, гдѣ воспитывались превосходные солдаты, такъ что арміи во время продолжительной войны могли пополняться своими средствами. Нѣтъ ничего удивительнаго, что эти кочующіе народы истощали всякую страну, гдѣ они разбивали свой станъ, и жизненные припасы подымались до чрезвычайности въ цѣнѣ, вслѣдствіе этого ненужнаго придатка. Всѣ мельницы вокругъ Нюрнберга не успѣвали молоть муку, которую онъ поглощалъ каждый день, и пятьдесятъ тысячъ фунтовъ хлѣба, которые городъ ежедневно поставлялъ въ лагерь, лишь возбуждали голодъ, но не удовлетворяли его. Поистинѣ поразительная заботливость Нюрнбергскаго магистрата не могла спасти большинство лошадей отъ гибели вслѣдствіе недостатка фуража, а возрастающая ярость заразы уносила каждый день болѣе ста человѣкъ.

Чтобы положить конецъ этому бѣдствію, Густавъ Адольфъ, въ надеждѣ на превосходство своихъ силъ, покинулъ на пятьдесятъ пятый день свои окопы, двинулся въ полномъ боевомъ порядкѣ на непріятеля и открылъ огонь по лагерю Валленштейна изъ трехъ батарей, расположенныхъ по берегу Редница. Но герцогъ оставался неподвиженъ въ своихъ укрѣпленіяхъ, удовлетворяясь тѣмъ, что издали отвѣчалъ на этотъ вызовъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ. Онъ рѣшился взять короля бездѣйствіемъ и побѣдить его упорство голодомъ, и ни представленія Максимиліана, ни порывы его арміи, ни издѣвательства непріятеля не могли поколебать этого рѣшенія. Обманутый въ своей надеждѣ и тѣснимый возрастающей нуждой, Густавъ Адольфъ рѣшился на невозможное: взять приступомъ лагерь, неприступный вдвойнѣ— вслѣдствіе соединенныхъ усилій природы и искусства.

Поручивъ охрану своего лагеря нюрнбергскому ополченію, въ день Св. Варфоломея, пятьдесять восьмой съ тѣмъ поръ, какъ онъ вошелъ съ арміей въ укрѣпленія, онъ двинулся впередъ въ полномъ боевомъ порядкѣ и перешелъ у Фюрта черезъ Редницъ, гдѣ безъ труда заставилъ отступить непріятельскіе форпосты. Главныя силы непріятеля были расположены на крутыхъ высотахъ между Биберомъ и Редницемъ подъ названіемъ „Старыя Крѣпости“ и „Альтенбергъ“, а самъ лагерь тянулся необозримо по полямъ у подножія холмовъ. Вся артиллерія была расположена на этихъ холмахъ. Глубокіе рвы окружали неприступныя укрѣпленія, частыя засѣки и острые палисады загромождали доступъ къ крутой горѣ, съ вершины которой Валленштейнъ. спокойный и увѣренный, какъ Богъ, металсвои молніи сквозь черныя облака дымъ. За брустверомъ ждалъ штурмующаго смѣльчака коварный огонь мушкетовъ, и вѣрная смерть смотрѣла изъ сотенъ пушечныхъ пастей на него. На этомъ опасномъ пунктѣ сосредоточилъ Густавъ Адольфъ нападеніе, и пятьсотъ мушкетеровъ, подкрѣпленныхъ незначительнымъ количествомъ пѣхоты (большее количество не могло въ этой тѣснотѣ дѣйствовать разомъ), имѣли незавидное преимущество броситься первыми въ открытую пучину смерти. Яростенъ былъ приступъ, страшенъ отпоръ; подъ напоромъ всего бѣшенства непріятельскаго оружія, безъ прикрытія, разъяренные видомъ неизбѣжной гибели, эти безстрашные воины взбираются на холмъ, который въ одно мгновеніе превращается въ пылающую Геклу и съ грохотомъ извергаетъ на нихъ желѣзный градъ. Въ то же время тяжелая кавалерія врывается въ бреши, сдѣланныя непріятельскими ядрами въ сомкнутыхъ колонахъ, ряды разрываются и непоколебимые герои, побѣжденные двойными усиліями природы и людей, обращаются въ бѣгство, оставя на мѣстѣ сотню убитыхъ. Нѣмцамъ предоставило кровавую честь перваго нападенія пристрастіе Густава Адольфа. Раздраженный ихъ отступленіемъ, король повелъ на приступъ своихъ финляндцевъ, чтобы ихъ сѣверной отвагой пристыдить нѣмецкую трусость. Но и его финны, принятые такимъ же огненнымъ дождемъ, уступаютъ численности, и свѣжій полкъ, смѣняющій ихъ, возобновляетъ нападеніе такъ же безуспѣшно. Его смѣняетъ четвертый, пятый, шестой, такъ что въ продолженіе десятичасоваго боя всѣ полки постепенно смѣняютъ другъ друга, и всѣ, истерзанные и изрубленные, отступаютъ съ поля битвы. Тысячи изувѣченныхъ труповъ покрываютъ мѣсто побоища, и у ставъ, не побѣжденный, продолжаетъ нападеніе, а Валленштейнъ непоколебимо защищаетъ свои окопы.

Между тѣмъ между императорской конницей и лѣвымъ крыломъ шведовъ, расположеннымъ въ чащѣ у Редница, завязывается яростный бой, гдѣ непріятель съ перемѣннымъ счастьемъ становится то побѣжденнымъ, то побѣдителемъ и на обѣихъ сторонахъ равно струятся моря крови, рав-

но свершаются чудеса храбрости. Подъ герцогомъ фридландскимъ и принцемъ веймарскимъ Бернгардомъ убиты кони; у короля осколокъ ядра отрываетъ подошву отъ сапога. Съ неустанной яростью возобновляется нападеніе и отпоръ, пока, наконецъ, надъ полемъ битвы не спускается мракъ ночной, призывая ожесточенныхъ бойцовъ къ покою. Но шведы слишкомъ уже подвинулись впередъ, чтобы начать безопасное отступленіе. Между тѣмъ какъ король ищетъ офицера, чтобы передать черезъ него полкамъ приказъ объ отступленіи, ему встрѣчается полковникъ Гебронъ, храбрый шотландецъ, котораго одно природное мужество выгнало изъ лагеря, чтобы раздѣлить опасности этого дня. Разгнѣванный на короля, который недавно при одномъ опасномъ порученіи предпочелъ ему младшаго офицера, онъ поспѣшилъ дать клятву, что никогда не обнажитъ своей шпаги за короля. Къ нему обращается теперь Густавъ Адольфъ и, сопровождая свою просьбу похвалами его мужеству, поручаетъ ему вести полки обратно. „Государь,—отвѣчаетъ храбрый солдатъ,—вотъ единственная услуга, въ которой я не могу отказать вашему величеству: тутъ есть чѣмъ рисковать,"—и тотчасъ же покидаетъ короля, чтобы исполнить это порученіе. Хотя въ пылу сраженія герцогъ веймарскій Бернгардъ овладѣлъ одной изъ высотъ надъ „Старыми Крѣпостями", откуда можно было обстрѣливать городъ и весь лагерь, однако, проливной дождь, лившій всю ночь, сдѣлалъ склонъ горы такимъ скользкимъ, что невозможно было втащить наверхъ пушки, и такимъ образомъ пришлось добровольно покинуть эту позицію, купленную потоками крови. Не довѣряя счастію, покинувшему его въ этотъ критическій день, король не рѣшился возобновить съ истощенными войсками приступъ на слѣдующій день, и побѣжденный впервые, потому что впервые не былъ побѣдителемъ,—онъ отвелъ свои войска обратно за Редницъ. Двѣ тысячи убитыхъ, оставленныхъ имъ на мѣстѣ, свидѣтельствовали о его потеряхъ, а герцогъ фридландскій остался непоколебимъ въ своихъ окопахъ.

Еще цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого столкновенія обѣ арміи стояли лагеремъ другъ противъ друга, каждая въ разсчетѣ принудить другую выступить ранѣе. Чѣмъ болѣе уменьшались съ каждымъ днемъ скудные жизненные припасы, тѣмъ ужаснѣе возрастали бѣдствія голода, тѣмъ болѣе ожесточался солдатъ и терпѣли сосѣдніе крестьяне отъ его безчеловѣчнаго хищничества. Возрастающая нужда расторгла всѣ узы порядка и дисциплины въ шведскомъ лагерѣ; особенно отличались насиліями надъ другомъ и недругомъ безъ различія нѣмецкіе полки. Безсильная рука одного человѣка не могла править беззаконіемъ, получавшимъ кажущееся одобреніе въ молчаніи низшихъ начальниковъ и даже поощреніе въ ихъ собственномъ пагубномъ примѣрѣ. Больно было королю это позорное разложеніе военной дисциплины, которою онъ до сихъ поръ такъ справедливо гордился, и сила, съ которой онъ упрекалъ нѣмецкихъ офицеровъ въ ихъ халатности, указываетъ на всю ярость негодованія. „Вы, нѣмцы,—воскликнулъ онъ,—вы грабите ваше собственное отечество и терзаете вашихъ единовѣрцевъ. Богъ свидѣтель,—я презираю васъ, я чувствую къ вамъ отвращеніе, и сердце мое переполняется желчью, когда я взгляну на васъ. Вы не исполняете моихъ приказаній, вы причина того, что міръ проклинаетъ меня, что меня преслѣдуютъ слезы неповинной нищеты, что я открыто долженъ слышать: король, нашъ другъ, приноситъ намъ больше горя, чѣмъ наши злѣйшіе враги. Ради васъ я лишился моей казны и издержалъ болѣе сорока бочекъ золота, а отъ вашего нѣмецкаго царства не получилъ даже на жалкую одеженку. Я отдалъ вамъ все, чѣмъ Богъ надѣлилъ меня, и съ радостью раздѣлилъ между вами все, что онъ можетъ мнѣ пожаловать въ будущемъ, лишь бы вы только слушались моихъ повелѣній. Ваше неповиновеніе убѣждаетъ меня, что вы замышляете недоброе, хотя я не могу не похвалить вашего мужества".

Несмотря на чрезвычайныя усилія Нюрнберга кормить въ теченіе одиннадцати недѣль невѣроятную массу народа, скопившуюся въ его стѣнахъ,—всѣ средства, наконецъ, изсякли и король, какъ сторона болѣе многочисленная, долженъ былъ первый рѣшиться на отступленіе. Нюрнбергъ похоронилъ болѣе десяти тысячъ своихъ жителей, а у Густава Адольфа война и зараза отняли болѣе двадцати тысячъ солдатъ. Всѣ окрестныя поля были вытоптаны, деревни обращены въ пепелъ, ограбленный народъ умиралъ отъ истощенія на улицахъ, міазмы отравляли воздухъ, пагубная зараза, вызванная недостаточнымъ питаніемъ и скопленіемъ такой массы народа и множествомъ гніющихъ труповъ, свирѣпствовала

среди людей и животныхъ, и долго еще послѣ ухода арміи бѣдствія и нищета лежали тяжкимъ гнетомъ на странѣ. Тронутый общимъ бѣдствіемъ и потерявъ надежду преодолѣть упорство герцога фридландскаго, король снялся 8 сентября съ лагеря и покинулъ Нюрнбергъ, оставивъ здѣсь, на случай приступа, достаточный гарнизонъ. Въ полномъ боевомъ порядкѣ прошелъ онъ мимо непріятеля, который остался недвижимъ и не сдѣлалъ ни шагу, чтобы помѣшать его отступленію. Онъ направился къ Нейштадту у Аиша и Винцдсгейма, гдѣ остановился на пять дней, чтобы дать отдыхъ своимъ войскамъ и быть поблизости отъ Нюрнберга въ случаѣ, если непріятель вздумаетъ предпринять что нибудь противъ этого города. Но Валленштейнъ, не менѣе нуждавшійся въ отдыхѣ, ждалъ лишь отступленія шведовъ, чтобы двинуться въ путь со своими войсками. Черезъ пять дней онъ покинулъ и свой лагерь у Цирндорфа, обративъ его предварительно въ пепелъ. Сотни клубовъ дыма, вздымавшихся изъ подожженныхъ деревень въ окрестностяхъ, возвѣстили о его отступленіи и показали успокоенному городу, какой участи избѣгнулъ онъ самъ. Походъ по направленію къ Форгейму былъ ознаменованъ невѣроятнѣйшими опустошеніями; но Валленштейнъ былъ уже слишкомъ далекъ, чтобы королю удалось настигнуть его. Тогда послѣдній раздѣлилъ свою армію, которую не могла прокормить истощенная страна, на двѣ части, чтобы одну оставить для защиты Франконіи, а съ другой продолжать лично свои завоеванія въ Баваріи.

Между тѣмъ императорско-баварская армія двинулась въ епископство бамбергское, гдѣ герцогъ фридландскій произвелъ ей вторичный смотръ. Это шестидесятитысячное войско вслѣдствіе побѣговъ, войны и болѣзней сократилось до двадцати четырехъ тысячъ человѣкъ, четвертую часть которыхъ составляли баварцы. Такимъ образомъ, пребываніе у Нюрнберга ослабило обѣ стороны болѣе чѣмъ два большихъ пораженія, ни на іоту не приблизивъ войну къ окончанію и ни единымъ значительнымъ событіемъ не удовлетворивъ напряженныхъ ожиданій Европейскаго міра. Правда, диверсія у Нюрнберга на нѣкоторое время остановила завоеванія короля въ Баваріи и даже обезпечила Австрію отъ его вторженія, но отступленіе императорскихъ войскъ отъ Нюрнберга возвратило ему полную возможность снова сдѣлать Баварію театромъ войны. Не заботясь о судьбѣ этой страны и тяготясь принужденіемъ, налагаемымъ на него союзомъ съ курфюрстомъ, герцогъ фридландскій съ жадностью ухватился за возможность отдѣлаться отъ неудобнаго спутника и съ новымъ жаромъ отдаться своимъ сокровеннымъ замысламъ. Все еще настаивая на своемъ первомъ намѣреніи отдѣлить Саксонію отъ Швеціи, онъ избралъ первую страну для зимняго пребыванія своихъ войскъ, надѣясь этимъ тягостнымъ присутствіемъ принудить курфюрста къ отдѣльному миру.

Обстоятельства благопріятствовали такому плану въ высшей степени. Саксонцы вторглись въ Силезію, гдѣ они въ союзѣ съ бранденбургскими и шведскими войсками одерживали надъ императорской арміей побѣду за побѣдой. Отвлекая курфюрста въ его собственныя владѣнія, можно было спасти Силезію, и это предпріятіе было тѣмъ легче, что Саксонія вслѣдствіе силезской войны была лишена защитниковъ и открыта непріятелю со всѣхъ сторонъ. Необходимость спасти наслѣдственное владѣніе Австріи отвергала всѣ возраженія курфюрста баварскаго, которымъ можно было безопасно пожертвовать подъ маской патріотическаго вниманія къ интересамъ императора. Оставляя въ добычу королю шведскому богатую Баварію, можно было надѣяться, что онъ не будетъ мѣшать военнымъ дѣйствіямъ въ Саксоніи, а возрастающая холодность между нимъ и саксонскимъ дворомъ и безъ того позволяла не бояться, что онъ выкажетъ особенное усердіе къ спасенію Іоанна Георга. Такимъ образомъ снова покинутый своимъ коварнымъ защитникомъ, курфюрстъ въ Бамбергѣ отдѣлился отъ Валленштейна, чтобы съ жалкими остатками своихъ войскъ защищать свою беззащитную страну, а императорская армія подъ предводительствомъ Валленштейна двинулась чрезъ Байрейтъ и Кобургъ къ Тюрингенскому лѣсу.

Императорскій генералъ фонъ Голькъ съ шеститысячнымъ отрядомъ былъ отправленъ уже впередъ въ Фохтландъ, для опустошенія этой беззащитной провинціи огнемъ и мечемъ. Вслѣдъ за нимъ былъ посланъ второй полководецъ герцога и столь же вѣрное орудіе его безчеловѣчныхъ приказаній, Галласъ. Наконецъ, изъ нижней Саксоніи былъ вызванъ графъ Паппенгеймъ, чтобы подкрѣпить ослабленную армію гер-

Eig
ALBI

цога и довершить бѣдствія Саксоніи. Разрушенныя церкви, сожженныя деревни, уничтоженныя жатвы, ограбленныя семьи, трупы убитыхъ обозначали путь этихъ варварскихъ ордъ: вся Тюрингія, Фохтландъ и Мейссенъ пали подъ ударами этого тройного бича. Но они были лишь предвѣстниками гораздо большаго бѣдствія, которымъ грозилъ злополучной Саксоніи самъ герцогъ съ главной арміей. Оставивъ на пути своемъ чрезъ Франконію и Тюрингію чудовищные слѣды своего неистовства, онъ появился со всѣмъ своимъ войскомъ подъ Лейпцигомъ, и послѣ кратковременной осады принудилъ городъ сдаться. Онъ предполагалъ идти къ Дрездену и, покоривъ всю страну, стать повелителемъ курфюрста. Онъ приближался уже къ Мульдѣ, чтобы раздавить своимъ численнымъ превосходствомъ саксонскую армію, шедшую на него по направленію къ Торгау; но появленіе короля въ Эрфуртѣ положило неожиданный предѣлъ его завоевательнымъ планамъ. Стиснутый саксонскими и шведскими войсками, которыя грозилъ еще подкрѣпить изъ нижней Саксоніи герцогъ люнебургскій Георгъ, Валленштейнъ поспѣшно отступилъ къ Мерзебергу, чтобы соединиться здѣсь съ графомъ Паппенгеймомъ и выбить отсюда наступающихъ шведовъ. Съ чрезвычайной тревогой слѣдилъ Густавъ Адольфъ за уловками Испаніи и Австріи, употреблявшихъ всѣ усилія, чтобы отвлечь отъ него союзника. Насколько важенъ былъ для него союзъ Саксоніи, настолько основательны были причины бояться непостоянства Іоанна Георга. Между нимъ и курфюрстомъ не было никогда искреннихъ дружескихъ отношеній. Для государя, гордаго своимъ политическимъ значеніемъ и привыкшаго стоять во главѣ своей партіи, было, конечно, весьма подозрительно и тягостно вмѣшательство сторонней власти въ дѣла имперіи, и недовольство, съ которымъ онъ смотрѣлъ на успѣхи незваннаго иноземца, лишь крайне стѣсненнымъ положеніемъ его государства могло быть побѣждено на нѣкоторое время. Возрастающій авторитетъ короля въ Германіи, его рѣшающее вліяніе на протестантскихъ государей, недвусмысленныя доказательства его честолюбивыхъ замысловъ, достаточно подозрительныя для того, чтобы возбудить всю бдительность имперскихъ чиновъ, породили въ курфюрстѣ тысячи тревогъ, которыя съумѣли искусно поддержать и усилить агенты императора. Каждый самостоятельный шагъ короля, каждое—хотя бы самое справедливое—требованіе, обращенное имъ къ германскимъ государямъ, служило для курфюрста поводомъ къ горькимъ жалобамъ, которыя явно предвѣщали близкій разрывъ. Даже между полководцами обѣихъ сторонъ, какъ только имъ приходилось дѣйствовать совмѣстно, являлись постоянно слѣды раздоровъ, царившихъ между ихъ государями. Врожденное отвращеніе Іоанна Георга къ войнѣ и не вполнѣ подавленная привязанность его къ Австріи благопріятствовали стараніямъ Арнгейма, который, не прерывая сношеній съ Валленштейномъ, неустанно старался склонить своего государя къ отдѣльному договору съ императоромъ; и если его представленія долгое время оставались безуспѣшными, то исходъ событій показалъ впослѣдствіи, что они все-таки произвели свое дѣйствіе.

Густавъ Адольфъ, справедливо опасавшійся слѣдствій, какія должно было имѣть отпаденіе столь важнаго союзника для всего его пребыванія въ Германіи, старался всѣми способами удержать курфюрста отъ этого опаснаго шага, и до сихъ поръ его представленія производили нѣкоторое дѣйствіе на курфюрста. Но грозное войско, которымъ императоръ подкрѣплялъ свои соблазнительныя предложенія, и бѣдствія, какими онъ грозилъ Саксоніи въ случаѣ дальнѣйшаго сопротивленія, должны были, наконецъ, преодолѣть твердость курфюрста, оставленнаго безъ помощи въ жертву врагамъ; и равнодушіе къ столь важному союзнику могло разомъ и навсегда уничтожить довѣріе всѣхъ остальныхъ друзей Швеціи къ ихъ защитнику. Это соображеніе заставило короля вторично уступить настоятельнымъ просьбамъ стѣсненнаго курфюрста и пожертвовать всѣми своими блестящими надеждами ради спасенія союзника. Онъ рѣшилъ уже двинуться вторично на Ингольштадтъ, и слабость курфюрста баварскаго давала ему основаніе надѣяться, что теперь его истощенный врагъ будетъ наконецъ вынужденъ согласиться на нейтралитетъ. Крестьянское возстаніе въ Верхней Австріи откроетъ ему затѣмъ путь въ эту страну, и прежде чѣмъ Валленштейнъ успѣетъ явиться на помощь, резиденція императора будетъ въ его рукахъ. Но всѣмъ этимъ блестящимъ надеждамъ онъ предпочелъ спасеніе союзника, который не стоилъ такой жертвы ни по своимъ заслугамъ, ни по своимъ намѣреніямъ, который въ моментъ, требовавшій только единодушія, съ

мелочнымъ эгоизмомъ думалъ только о своихъ выгодахъ, который былъ важенъ не съ точки зрѣнія пользы, которую могъ принести, но съ точки зрѣнія вреда, котораго можно было отъ него ожидать. И кто можетъ воздержаться отъ негодованія, узнавъ, что на пути къ спасенію этого государя великій король нашелъ предѣлъ своимъ подвигамъ!

Быстро собравъ свои войска въ Франконіи, онъ послѣдовалъ за арміей Валленштейна чрезъ Тюрингію. Герцогъ веймарскій Бернгардъ, высланный противъ Паппенгейма, присоединился у Арнштадта къ королю, который увидалъ себя теперь во главѣ двадцатитысячнаго испытаннаго войска. Въ Эрфуртѣ онъ простился со своей супругой, которой суждено было вновь увидать его лишь въ Вейсенфельсѣ—уже въ гробу; грустное, поспѣшное прощаніе было какъ бы предвѣстникомъ вѣчной разлуки. Онъ прибылъ въ Наумбургъ 1 ноября 1632 года, прежде чѣмъ отправленный сюда отрядъ герцога фридландскаго могъ овладѣть этимъ городомъ. Толпами стекался сюда народъ изъ окрестностей взглянуть на героя, на мстителя, на великаго короля, который годъ тому назадъ явился здѣсь подобно ангелу хранителю. Клики ликованія сопровождали его вездѣ, гдѣ онъ появлялся; съ молитвами повергалось все предъ нимъ на колѣни; спорили изъ-за счастья коснуться ноженъ его шпаги, краевъ его платья. Скромнаго героя возмущала эта невинная дань искренней благодарности и восхищенія. „Этотъ народъ, кажется, хочетъ сдѣлать меня Богомъ,—говорилъ онъ своимъ спутникамъ, — дѣла наши идутъ хорошо; но я боюсь, что небесное возмездіе покараетъ меня за святотатственную комедію и слишкомъ рано раскроетъ безумной толпѣ, что я лишь слабый, смертный человѣкъ". Въ какомъ симпатичномъ свѣтѣ является предъ нами Густавъ, въ моментъ, когда мы навсегда съ нимъ прощаемся! Даже на высотѣ своего счастія, преклоняясь предъ судомъ Немезиды, онъ отвергаетъ поклоненіе, подобающее лишь безсмертнымъ, и его право на наши слезы удваивается именно тогда, когда онъ близокъ къ тому, чтобы вызвать ихъ.

Между тѣмъ герцогъ фридландскій двинулся на встрѣчу приближающемуся королю вплоть до Вейсенфельса, для того чтобы сохранить за собой зимнія квартиры въ Саксоніи, хотя бы цѣной сраженія. Его бездѣйствіе подъ стѣнами Нюрнберга навлекло на него подозрѣніе, будто онъ не рѣшается помѣряться силами съ сѣвернымъ героемъ и вся слава его была въ опасности, если бы онъ вторично уклонился отъ сраженія. Численное превосходство его войскъ, правда, далеко не столь значительное, какъ въ первое время пребыванія подъ Нюрнбергомъ, давало ему большія надежды на побѣду, если бы ему удалось вызвать короля на бой до его соединенія съ саксонцами. Но нынѣшняя увѣренность его покоилась не столько на численности его войска, сколько на увѣреніяхъ его астролога Сени, который прочиталъ въ звѣздахъ, что счастье шведскаго короля закатится въ ноябрѣ. Къ тому же непрерывная горная цѣпь и протекающая вблизи Заала образуютъ между Камбургомъ и Вейсенфельсомъ тѣсные проходы, чрезвычайно затруднявшіе шведской арміи дальнѣйшее движеніе впередъ; немного войскъ требовалось, чтобы запереть ихъ совершенно. Тогда у короля не было бы другого выбора, какъ съ величайшею опасностью пробиться чрезъ эти тѣснины или предпринять тяжелое отступленіе чрезъ Тюрингію, теряя значительную часть своихъ войскъ въ опустошенной землѣ, совершенно лишенной жизненныхъ припасовъ. Быстрота, съ которой Густавъ Адольфъ взялъ Наумбургъ, уничтожила этотъ планъ и теперь ждать нападенія пришлось самому Валленштейну.

Но онъ обманулся въ этомъ ожиданіи, когда король, вмѣсто того, чтобы двинуться на него къ Вейсенфельсу, началъ окапываться у Наумбурга, ожидая здѣсь подкрѣпленій, которыя долженъ былъ доставить ему герцогъ люнебургскій. Въ колебаніи, что предпринять,—идти ли на короля чрезъ тѣснины между Вейсенфельсомъ и Наумбургомъ или оставаться въ бездѣйствіи въ своемъ лагерѣ, онъ собралъ военный совѣтъ, чтобы освѣдомиться о мнѣніи своихъ испытанныхъ генераловъ. Никто изъ нихъ не находилъ полезнымъ нападеніе на короля въ его выгодномъ положеніи, а энергія, съ которой укрѣпляли его лагерь, указывала достаточно ясно, что онъ вовсе не собирается покинуть его такъ скоро. Но приближеніе зимы не позволяло затягивать долѣе кампанію и истощать столь утомленную армію продолженіемъ военныхъ дѣйствій. Всѣ были единогласно за окончаніе похода, тѣмъ болѣе, что важному городу Кельну на Рейнѣ серьезно угрожали нидерландскія войска, а успѣхи непріятеля въ Вестфаліи и на нижнемъ Рейнѣ насто-

ятельно требовали помощи въ этихъ мѣстностяхъ. Признавъ всю важность выслушанныхъ доводовъ, герцогъ фридландскій, убѣжденный, что король не рѣшится на нападеніе въ это время года, далъ своимъ войскамъ зимній отпускъ, но такъ, что они могли быть немедленно собраны, если бы непріятель противъ всякаго ожиданія рѣшился сдѣлать нападеніе. Графъ Паппенгеймъ былъ поспѣшно отправленъ съ большей частью войска на помощь городу Кельну съ порученіемъ овладѣть по дорогѣ крѣпостью Морицбургомъ. Отдѣльные корпуса расположились зимними квартирами въ наиболѣе подходящихъ окрестныхъ городахъ, чтобы имѣть возможность отовсюду наблюдать за движеніемъ непріятеля. Графъ Коллоредо стоялъ съ гарнизономъ въ замкѣ Вейсенфельсѣ, а Валленштейнъ самъ съ остальными войсками остановился не подалеку отъ Мерзебурга между каналомъ Флосграбеномъ и Заалой, откуда онъ предполагалъ двинуться чрезъ Лейпцигъ, чтобы отрѣзать саксонцевъ отъ шведскаго войска.

Но едва Густавъ Адольфъ получилъ вѣсть объ уходѣ Паппенгейма, онъ внезапно покинулъ свой лагерь у Наумбурга, чтобы со всѣмъ своимъ войскомъ атаковать на половину ослабленнаго непріятеля. Форсированнымъ маршемъ двинулся онъ на Вейсенфельсъ, откуда слухъ о его наступленіи быстро дошелъ до непріятеля, повергнувъ герцога фридландскаго въ величайшее изумленіе. Но здѣсь было необходимо поспѣшное рѣшеніе, и герцогъ не замедлилъ сдѣлать необходимыя распоряженія. Хотя двадцатитысячному войску непріятеля возможно было противопоставить лишь двѣнадцать тысяхъ человѣкъ, однако можно было надѣяться удержаться до возвращенія Паппенгейма, который могъ уйти—самое большее—на пять миль по направленію къ Галле. Полетѣли гонцы, чтобы воротить его, а самъ Валленштейнъ перешелъ въ неширокую равнину между Флосграбеномъ и Люценомъ, гдѣ въ полномъ боевомъ порядкѣ ожидалъ короля, отрѣзавъ его такимъ образомъ отъ Лейпцига и саксонцевъ.

Три пушечныхъ выстрѣла, сдѣланные графомъ Коллоредо съ Вейсенфельскаго замка, возвѣстили о приближеніи короля и по этому условному сигналу форпосты Валленштейна стянулись подъ начальствомъ предводителя кроатовъ Изолани, чтобы занять лежащія у Риппаха деревни. Ихъ слабое сопротивленіе не остановило приближающагося непріятеля, который у деревни Риппахъ перешелъ черезъ рѣчку того же имени и расположился ниже Люцена противъ боевой линіи императорской арміи. Большая дорога изъ Вейсенфельса въ Лейпцигъ перерѣзана между Люценомъ и Маркранштедтомъ каналомъ Флосграбеномъ, который тянется отъ Цейца до Мерзебурга, соединяя Эльстеръ съ Заалой. Къ этому каналу примыкало лѣвое крыло императорскихъ войскъ и правое—короля шведскаго, но такимъ образомъ, что кавалерія обѣихъ сторонъ стояла по ту сторону канала. На сѣверъ за Люценомъ расположено было правое крыло Валленштейна, а на югъ отъ этого городка—лѣвое крыло шведовъ. Фронтъ обѣихъ армій былъ обращенъ къ дорогѣ, проходившей посрединѣ между ними и отдѣлявшей одну боевую линію отъ другой. Но вечеромъ наканунѣ сраженія Валленштейнъ, къ большому ущербу для непріятеля, занялъ эту дорогу, приказавъ углубить окаймляющія ее съ обѣихъ сторонъ канавы, и расположилъ въ нихъ стрѣлковъ, такъ что переходъ чрезъ дорогу былъ сопряженъ съ чрезвычайными трудностями и опасностями. За дорогой возвышалась батарея изъ семи большихъ пушекъ съ цѣлью подкрѣпить огонь мушкетовъ изъ канавъ, а у вѣтряныхъ мельницъ за Люценомъ было расположено четырнадцать полевыхъ орудій меньшаго калибра, изъ которыхъ можно было обстрѣливать большую часть равнины. Пѣхота, раздѣленная на пять большихъ и неповоротливыхъ колоннъ, стояла въ боевомъ порядкѣ въ трехстахъ шагахъ за дорогой, а конница прикрывала фланги. Чтобы не мѣшать движеніямъ войска, весь обозъ былъ отправленъ въ Лейпцигъ, и лишь боевые припасы стояли въ подводахъ за войсками. Чтобы скрыть слабость арміи, посадили на коней и присоединили къ лѣвому крылу всѣхъ погонщиковъ и слугъ, но лишь до прибытія отряда Паппенгейма. Все это было сдѣлано во мракѣ ночи и уже до наступленія разсвѣта все было готово къ встрѣчѣ непріятеля.

Въ тотъ же вечеръ на противоположной сторонѣ равнины появился Густавъ Адольфъ, располагая свои войска къ сраженію. Боевой порядокъ былъ тотъ же, благодаря которому годъ тому назадъ была одержана побѣда при Лейпцигѣ. Пѣхота перемежалась небольшими эскадронами; среди кавалеріи были тамъ и сямъ расположены группы стрѣлковъ. Вся армія выстроена была двумя линіями, имѣя Флосграбенъ по правую руку и позади себя,

дорогу предъ собой и городъ Люценъ налѣво. Въ центрѣ находилась пѣхота подъ начальствомъ графа де Браге, кавалерія—на правомъ и лѣвомъ крылѣ; артиллерія—предъ фронтомъ. Германскому герою, герцогу веймарскому Бернгарду, была поручена нѣмецкая кавалерія лѣваго крыла, а на правомъ самъ король предводительствовалъ своими шведами, въ разсчетѣ возбудить соревнованіе обоихъ народовъ въ этомъ благородномъ поединкѣ. Такимъ же образомъ расположена была вторая линія войскъ, за которой стоялъ вспомогательный корпусъ подъ начальствомъ шотландца Гендерсона.

Приготовясь такимъ образомъ, ждали войска кровавой зари, чтобы приступить къ бою, ужасному и замѣчательному не столько важностью возможныхъ слѣдствій, сколько долгимъ ожиданіемъ его, не столько количествомъ, сколько качествомъ войскъ. Напряженныя ожиданія Европы, обманутыя подъ стѣнами Нюрнберга, должны были разрѣшиться на равнинахъ Люцена. Два такихъ полководца, столь равные авторитетомъ, славой и дарованіемъ, не имѣли еще въ теченіе всей этой войны случая помѣряться силами въ открытомъ бою; никогда еще мужество не стояло предъ такимъ состязаніемъ, никогда еще столь чрезвычайная награда не одушевляла надежды. Завтрашній день откроетъ Европѣ ея величайшаго полководца и дастъ побѣдителя непобѣдимому. Завтрашній день долженъ рѣшить окончательно, геній ли Густава Адольфа или только бездарность его противниковъ давали ему побѣды у Леха и Лейпцига. Завтра побѣда Фридланда оправдаетъ выборъ императора и величіемъ героя перевѣситъ цѣну, за которую онъ былъ купленъ. Ревниво раздѣлялъ каждый солдатъ обоихъ войскъ славу своего вождя, и подъ каждымъ панцыремъ смѣнялись тѣ же чувства, что бушевали въ груди полководца. Сомнительна была побѣда, но внѣ всякаго сомнѣнія—труды и кровь, которыхъ она должна была стоить и побѣдителю и побѣжденному. Каждой сторонѣ былъ вполнѣ знакомъ непріятель, съ которымъ предстояло столкнуться, и трепетъ, который тщетно старались подавить, являлся славнымъ свидѣтелемъ его мощи.

Наконецъ занимается роковая заря; но непроницаемый туманъ, покрывающій все поле битвы, оттягиваетъ нападеніе до полудня. Колѣнопреклоненный предъ фронтомъ творитъ король молитву; вся армія, упавъ на колѣни, оглашаетъ въ то же время поля трогательнымъ пѣснопѣніемъ, и военная музыка сопровождаетъ священный гимнъ. Затѣмъ король садится на коня, и въ одномъ кожанномъ колетѣ и суконномъ кафтанѣ (старая рана не позволяла ему носить панцырь), онъ объѣзжаетъ ряды, чтобы поднять отвагу войскъ до степени твердой самоувѣренности, которой нѣтъ въ его собственной пророческой груди. „Съ нами Богъ!"—таковъ боевой кличъ шведовъ; „Іисусъ, Марія!" возглашаютъ императорскіе солдаты. Къ одиннадцати часамъ начинаютъ расходиться туманы, и непріятель становится виденъ. Глазамъ открывается объятый огнемъ Люценъ, подожженный по приказу герцога, чтобы съ этой стороны нельзя было бы на него напасть. Гремитъ сигналъ,—конница мчится на врага, пѣхота движется ко рвамъ.

Встрѣченные страшнымъ огнемъ мушкетовъ и расположенныхъ за дорогой тяжелыхъ орудій, эти храбрые батальоны продолжаютъ наступать съ непоколебимымъ мужествомъ; непріятельскіе стрѣлки покидаютъ свою позицію; канавы уже остались позади, батарея взята и тотчасъ же направлена на непріятеля. Съ неудержимой силой продолжаютъ они идти впередъ; первая изъ пяти колоннъ Валленштейна опрокинута, за ней слѣдуетъ вторая, и третья обращается уже въ бѣгство, но не теряющій присутствія духа герцогъ останавливаетъ ихъ напоръ. Съ быстротою молніи является онъ здѣсь, возстановляя порядокъ своей пѣхоты, и его могучему слову удается удержать бѣгущихъ. Подкрѣпленныя тремя конными полками, уже разбитыя колонны снова выстраиваются противъ непріятеля и бурнымъ натискомъ разрываютъ его ряды. Загорается смертельный бой: близость непріятеля не позволяетъ дѣйствовать огнемъ, ярость нападенія не даетъ заряжать оружіе, бьются въ рукопашную, одинъ на одинъ, безполезное ружье смѣняется мечомъ и пикой, и искусство—бѣшенствомъ. Уступая численности, истомленные шведы отступаютъ, наконецъ, за рвы, причемъ взятая уже батарея переходитъ обратно къ непріятелю. Тысячи изувѣченныхъ труповъ покрываютъ уже землю—и никто не подвинулся еще впередъ ни на одну пядь.

Между тѣмъ правое крыло короля подъ его личнымъ предводительствомъ бросается на лѣвое крыло непріятеля. Уже первый могучій натискъ тяжелыхъ финскихъ кира-

сиръ разсѣялъ легкую кавалерію поляковъ и кроатовъ, примыкающихъ къ этому крылу, и ихъ безпорядочное бѣгство вызываетъ страхъ и замѣшательство въ рядахъ остальной конницы. Въ это мгновеніе доносятъ королю, что его пѣхота отступила за канавы и что его лѣвое крыло, подъ страшными выстрѣлами непріятельскихъ орудій съ вѣтряныхъ мельницъ, также дрогнуло. Съ быстрой рѣшительностью онъ поручаетъ генералу Горну преслѣдовать разбитое уже лѣвое крыло непріятеля, а самъ во главѣ полка Штейнбока мчится, чтобы возстановить порядокъ во своемъ лѣвомъ крылѣ. Стрѣлою мчитъ его благородный конь черезъ рвы, но переходъ этотъ дается труднѣе слѣдующимъ за нимъ эскадронамъ, и лишь немногимъ всадникамъ, среди которыхъ особенно отличился Францъ Альбертъ герцогъ сексенъ-лауенбургскій, удалось остаться при немъ. Онъ скачетъ прямо къ тому мѣсту, гдѣ особенно стѣснена его пѣхота, и между тѣмъ какъ онъ ищетъ глазами вокругъ, стараясь высмотрѣть болѣе слабое мѣсто во вражескихъ рядахъ, чтобы сюда направить нападеніе,—его близорукость заводитъ его слишкомъ близко къ непріятелю. Императорскій ефрейторъ, замѣтивъ, что все почтительно разступается предъ этимъ офицеромъ, тотчасъ велитъ прицѣлиться въ него. „Стрѣляй въ того,—кричитъ онъ,—это должно быть важный баринъ!“ Солдатъ спускаетъ курокъ и раздробляетъ королю лѣвую руку. Въ это мгновеніе являются его эскадроны и крикъ: „король въ крови—король убитъ!“ распространяетъ страхъ и ужасъ среди прибывшихъ. „Ничего—за мной!“ восклицаетъ король, собравъ всѣ свои силы; но ослабѣвъ отъ боли и теряя сознаніе, онъ проситъ по французски герцога лауенбургскаго вывести его незамѣтно изъ тѣсноты. Между тѣмъ какъ послѣдній, стараясь скрыть это удручающее зрѣлище отъ упавшей духомъ пѣхоты, дѣлаетъ большой объѣздъ и поворачиваетъ съ раненымъ къ правому крылу, новый выстрѣлъ, поражающій короля въ спину, лишаетъ его послѣднихъ силъ. „Конецъ, братъ!—восклицаетъ онъ слабѣющимъ голосомъ:—спасай свою жизнь“. Свалившись съ лошади, пораженный еще нѣсколькими выстрѣлами и покинутый всѣми своими спутниками, онъ испускаетъ духъ подъ разбойничьими руками кроатовъ. Вскорѣ его окровавленный конь, несущійся безъ всадника, приноситъ шведской конницѣ вѣсть о кончинѣ короля, и она неистово бросается впередъ, чтобы вырвать изъ рукъ жаднаго врага эту священную добычу. Кровопролитный бой завязывается вокругъ его трупа, и изувѣченное тѣло погребено подъ кучей убитыхъ.

Страшная вѣсть проносится быстро по всему шведскому войску; но вмѣсто того, чтобы убить отвагу этихъ храбрыхъ солдатъ, она зажигаетъ въ нихъ новое бѣшеное, всепожирающее пламя. Жизнь теряетъ цѣну, такъ какъ погибла священнѣйшая изъ всѣхъ жизней, и смерть не пугаетъ солдата послѣ того, какъ ея жертвой пала коронованная глава. Съ львиной яростью бросаются вторично упландскіе, смаландскіе, финскіе, остготскіе и вестготскіе полки на лѣвое крыло непріятеля, едва державшееся противъ генерала Горна и теперь совершенно выбитое изъ позиціи. Въ то же время осиротѣвшее войско шведовъ получаетъ въ лицѣ герцога веймарскаго Бернгарда даровитаго вождя, и духъ Густава Адольфа ведетъ въ бой снова его побѣдоносные полки. Лѣвое крыло быстро приведено въ порядокъ и съ могучимъ натискомъ атакуетъ правое крыло императорскихъ войскъ. Орудія у вѣтряныхъ мельницъ, осыпавшія шведовъ столь убійственнымъ огнемъ, переходятъ въ ихъ руки, и громы ихъ обращены теперь противъ самаго непріятеля. И въ центрѣ шведская пѣхота, подъ начальствомъ Бернгарда и Книпгаузена, снова движется къ дорогѣ, счастливо переходитъ чрезъ канавы и вторично овладѣваетъ семипушечной батареей. Съ удвоеннымъ остервенѣніемъ бросаются теперь шведы на тяжелые батальоны непріятельскаго центра; они противостоятъ все слабѣе и слабѣе, и даже случай вступаетъ въ союзъ съ шведскими войсками, чтобы довершить пораженіе Валленштейна. Огонь охватываетъ императорскіе зарядные ящики, и куча гранатъ и бомбъ разрывается съ страшнымъ грохотомъ. Ошеломленный непріятель считаетъ себя обойденнымъ съ тылу, между тѣмъ какъ шведскія войска атакуютъ его спереди. Мужество покидаетъ его. Его лѣвое крыло разбито, правое близко къ пораженію, орудія въ рукахъ непріятеля. Битва клонится къ исходу; судьба всего дня зависитъ отъ одного мгновенія—и вдругъ на полѣ битвы появляется Паппенгеймъ съ кирасирами и драгунами; все добытое шведами погибло, и начинается совершенно новое сраженіе.

Приказъ, призывавшій Паппенгейма обратно въ Люценъ, настигъ его въ Галле,

въ тотъ моментъ, какъ его солдаты были заняты еще разграбленіемъ этого города. Немыслимо было собрать разсѣянную пѣхоту съ той быстротой, какой требовалъ спѣшный приказъ и нетерпѣніе этого воина. Не ожидая сборовъ, онъ приказалъ восьми полкамъ кавалеріи сѣсть на коней и во главѣ ихъ понесся въ карьеръ къ Люцену, чтобы принять участіе въ кровавомъ празднествѣ. Онъ прискакалъ во-время, чтобы быть свидѣтелемъ бѣгства лѣваго крыла императорскихъ войскъ, разбитаго Густавомъ Горномъ, и быть сначала даже участникомъ этого бѣгства. Но, не теряя присутствія духа, онъ вновь собираетъ бѣгущихъ солдатъ и снова ведетъ ихъ на непріятеля. Увлеченный своей бѣшеной отвагой и нетерпѣніемъ сразиться съ самимъ королемъ, который, по его предположенію, предводительствуетъ этимъ крыломъ, онъ съ страшной мощью врывается въ малочисленные и истомленные побѣдой шведскіе полки, которые имѣютъ только силу пасть послѣ мужественнаго сопротивленія подъ этимъ потокомъ враговъ. Угасшее мужество императорской пѣхоты вспыхиваетъ вновь вслѣдствіе неожиданнаго появленія Паппенгейма, и герцогъ фридландскій пользуется благопріятнымъ мгновеніемъ, чтобы снова выстроить ряды въ боевой порядокъ. Тѣсно сомкнутые шведскіе батальоны опять оттѣснены послѣ кровопролитнаго боя и дважды потерянныя пушки снова вырваны изъ ихъ рукъ. Весь желтый полкъ, лучшій изъ всѣхъ, давшихъ въ этотъ кровавый день доказательства своей геройской отваги, ложится костьми на полѣ битвы, покрывая его въ томъ же прекрасномъ боевомъ порядкѣ, въ какомъ онъ съ такимъ мужествомъ и стойкостью защищалъ его при жизни. Та же участь постигла другой, синій полкъ, уничтоженный послѣ бѣшенаго сопротивленія графомъ Пикколомини съ императорской конницей. Семь разъ возобновлялъ атаку этотъ замѣчательный полководецъ; семь лошадей пало подъ нимъ и шесть пуль пронзили его. Но онъ покинулъ поле битвы лишь тогда, когда его увлекло отступленіе всей арміи. Самъ герцогъ, не пугаясь града пуль, спокойно проѣзжалъ ряды, всегда готовый дать помощь стѣсненному, наградить похвалой храбреца и покарать грознымъ взглядомъ труса. Вокругъ него падаютъ его солдаты и плащъ его пронизанъ множествомъ пуль; но боги мести охраняютъ сегодня его грудь, для которой уже отточенъ иной мечъ; на смертномъ одрѣ Густава Адольфа не смѣетъ разстаться съ преступной жизнью какой нибудь Валленштейнъ.

Не такъ счастливъ былъ Паппенгеймъ, Теламонидъ арміи, страшнѣйшій воинъ австрійскаго дома и церкви. Пламенное желаніе встрѣтиться въ бою съ самимъ королемъ увлекло неистовство графа въ средину кроваваго побоища, гдѣ онъ надѣялся непремѣнно найти своего благороднаго врага. И Густавъ тоже питалъ пламенное желаніе сойтись съ этимъ уважаемымъ противникомъ, но ихъ вражеское тяготѣніе другъ къ другу не нашло осуществленія, и лишь смерть соединила примиренныхъ героевъ. Двѣ мушкетныя пули пробили изрубленную грудь Паппенгейма, и окружающіе должны были насильно вынести его изъ сраженія. Въ то время какъ его уносили за боевую линію, до слуха его донеслась вѣсть, что тотъ, кого онъ искалъ, палъ на полѣ битвы. Когда подтвердилась справедливость этого слуха, лицо его просвѣтлѣло, и послѣдній огонь сверкнулъ въ его взорѣ. „Такъ передайте герцогу фриндландскому,—сказалъ онъ,—что я лежу поверженный, безъ надежды на жизнь, но радостно разстаюсь съ нею, ибо знаю, что въ одинъ день со мною палъ этотъ непримиримый врагъ моей вѣры".

Съ Паппенгеймомъ покинуло счастье ряды императорскихъ войскъ. Потерявъ своего побѣдоноснаго вождя, разъ уже разбитая и имъ спасенная кавалерія лѣваго крыла считаетъ все потеряннымъ и съ малодушнымъ отчаяніемъ обращается въ бѣгство. Такое же смятеніе охватываетъ лѣвое крыло за исключеніемъ немногихъ полковъ, удержанныхъ въ строю мужествомъ ихъ предводителей: Геца, Терцкаго, Коллоредо и Пикколомини. Шведская пѣхота съ быстрой рѣшительностью пользуется смятеніемъ непріятеля. Чтобы заполнить прорѣхи, сдѣланныя въ ихъ переднихъ рядахъ смертью, обѣ линіи смыкаются въ одну для послѣдняго, рѣшительнаго натиска. Въ третій разъ переходятъ шведскія войска черезъ канавы, и въ третій разъ расположенныя за ними орудія—въ ихъ рукахъ. Солнце склоняется уже къ закату, когда оба войска снова сталкиваются. Яростнѣе кипитъ бой при концѣ, послѣднія силы борются съ послѣдними силами, опытность и ожесточеніе совершаютъ крайнія усилія, чтобы въ послѣднія драгоцѣнныя минуты возвратить то, что потеряно за весь день. Напрасно; въ отчаяніи превосходитъ себя каждая сторона, но никто не можетъ побѣдить,

никто не хочетъ уступить и тактика истощаетъ здѣсь свои чудеса, чтобы примѣнить тамъ новые никогда невиданные, никому неизвѣстные образцы искусства. Наконецъ туманъ и ночь полагаютъ конецъ битвѣ, которую не давало окончить бѣшенство, и нападеніе прекращается, потому что невозможно найти непріятеля. Обѣ арміи расходятся по молчаливому соглашенію, раздаются радостные звуки трубъ, и каждое войско, объявляя себя непобѣжденнымъ, покидаетъ поле сраженія.

За отсутствіемъ разбѣжавшихся лошадей, артиллерія обѣихъ сторонъ оставалась всю ночь на полѣ битвы, являясь одновременно наградой и свидѣтельствомъ побѣды для того, кто овладѣлъ бы полемъ битвы. Но въ поспѣшности, съ которой герцогъ фридландскій покинулъ Лейпцигъ и Саксонію, онъ забылъ забрать свое достояніе съ поля битвы. Вскорѣ по окончаніи битвы показалась въ количествѣ шести полковъ пѣхота Паппенгейма, которая не могла догнать своего спѣшившаго полководца; но все было кончено. Нѣсколько часовъ ранѣе это значительное подкрѣпленіе рѣшило бы, вѣроятно, бой въ пользу императора и даже теперь, овладѣвъ полемъ битвы, спасло бы артиллерію герцога и захватило бы шведскую. Но, не получивъ никакого приказа и не зная ничего о результатѣ сраженія, эти полки направились къ Лейпцигу, гдѣ разсчитывали присоединиться къ главной арміи.

Сюда отступилъ герцогъ фридландскій; безъ пушекъ, безъ знаменъ и почти безъ всякаго оружія послѣдовали за нимъ на слѣдующее утро разсѣянные остатки его войска. Повидимому, между Люценомъ и Вейсенфельсомъ герцогъ Бернгардъ далъ шведской арміи отдыхъ отъ трудовъ этого кроваваго дня, въ достаточно близкомъ разстояніи отъ поля битвы, чтобы помѣшать всякой попыткѣ непріятеля овладѣть имъ. Болѣе девяти тысячъ человѣкъ изъ обѣихъ армій осталось на мѣстѣ; еще неизмѣримо больше было число раненыхъ, особенно среди императорскихъ солдатъ, между которыми не было почти ни одного, не пострадавшаго въ сраженіи. Вся равнина отъ Люцена до Флосграбена была покрыта ранеными, умирающими, убитыми. Съ обѣихъ сторонъ пали многіе представители знатнѣйшихъ родовъ; заплатилъ смертью за свое любопытство и за свое неумѣстное усердіе къ дѣламъ вѣры аббатъ фульдскій, вмѣшавшійся въ битву въ качествѣ зрителя. О плѣнныхъ исторія умалчиваетъ—еще одно доказательство остервененія армій, не дававшихъ или не просившихъ пощады.

Паппенгеймъ скончался на слѣдующій день въ Лейпцигѣ отъ ранъ—незамѣнимая потеря для императорской арміи, которую такъ часто водилъ къ побѣдѣ этотъ замѣчательный воинъ. Пражское сраженіе, въ которомъ онъ участвовалъ въ чинѣ полковника вмѣстѣ съ Валленштейномъ, открыло его геройское поприще. Опасно раненый, онъ благодаря бѣшенству своей атаки опрокинулъ съ небольшимъ отрядомъ цѣлый полкъ непріятеля и впродолженіе многихъ часовъ лежалъ на полѣ сраженія подъ лошадью среди труповъ, пока его солдаты, грабившіе мертвецовъ, не нашли его. Съ небольшимъ войскомъ онъ усмирилъ сорокъ тысячъ мятежниковъ въ Верхней Австріи, разбивъ ихъ въ трехъ сраженіяхъ; въ битвѣ подъ Лейпцигомъ онъ долгое время своей храбростью задерживалъ пораженіе Тилли и доставилъ рядъ побѣдъ оружію императора на Эльбѣ и Везерѣ. Дикій, бѣшеный пылъ его отваги, презиравшій самую несомнѣнную опасность и едва склонявшійся предъ невозможнымъ, дѣлалъ его страшнѣйшимъ орудіемъ въ рукахъ полководца, но совершенно неспособнымъ для роли главнокомандующаго. Если вѣрить словамъ Тилли, битва при Лейпцигѣ была потеряна, благодаря его бѣшеной горячности. И онъ омылъ свои руки въ крови Магдебурга. Умъ его, развитый раннимъ юношескимъ прилежаніемъ и многочисленными путешествіями, одичалъ въ военной средѣ. На лбу его виднѣлись два красныхъ, подобныхъ мечамъ, рубца, которыми природа отмѣтила его при самомъ рожденіи. И въ зрѣлыхъ лѣтахъ, всякій разъ когда страсть волновала его кровь, эти пятна появлялись снова на его челѣ, и суевѣріе легко вѣрило, что грядущее призваніе этого человѣка отмѣчено было уже на дѣтскомъ челѣ. Такой слуга имѣлъ самое несомнѣнное право на благодарность обѣихъ австрійскихъ линій; но онъ не дожилъ до блестящаго выраженія этой благодарности. Гонецъ, везшій ему изъ Мадрида орденъ Золотого Руна, былъ въ пути, когда смерть постигла его въ Лейпцигѣ.

Хотя во всѣхъ австрійскихъ и испанскихъ земляхъ отслужены были благодарственные молебны за одержанную побѣду, но уже поспѣшностью, съ которой Валленштейнъ покинулъ Лейпцигъ, а затѣмъ всю Саксонію, отказавшись отъ зимнихъ квар-

тиръ въ этой странѣ, онъ сознавался громко и открыто въ своемъ пораженіи. Правда, онъ сдѣлалъ еще слабую попытку захватить украдкой славу побѣды, выславъ на другое утро кроатовъ объѣхать поле сраженія; но видъ шведскаго войска, стоявшаго здѣсь въ полномъ боевомъ порядкѣ, разсѣялъ мгновенно эти легкія толпы, и герцогъ Бернгардъ, занявъ поле сраженія, за которымъ вскорѣ послѣдовало также занятіе Лейпцига, вступилъ въ безспорное владѣніе всѣми правами побѣдителя.

Но—какая дорогая побѣда, какое печальное торжество! Лишь теперь, когда остыла ярость сраженія, становится понятной вся громадность потери и ликованіе побѣдителей угасаетъ въ тоскливомъ мрачномъ отчаяніи. Не вернулся съ боя тотъ, кто велъ ихъ къ побѣдамъ! Тамъ, на полѣ выиграннаго сраженія, лежитъ онъ въ кучѣ простыхъ мертвецовъ. Послѣ долгихъ напрасныхъ исканій находятъ, наконецъ, прахъ короля подлѣ большого камня, между Флосграбеномъ и Люценомъ, извѣстнаго уже сотни лѣтъ, но послѣ достопамятнаго несчастія этого дня получившаго названіе *Шведскаго камня*. Изувѣченный ранами и залитый кровью до неузнаваемости, истоптанный лошадьми и лишенный разбойничьими руками своихъ украшеній и одежды, онъ лежитъ подъ кучей мертвецовъ, откуда его вытаскиваютъ, переносятъ въ Вейсенфельсъ и передаютъ стенаніямъ войска и послѣднимъ объятіямъ его жены. Первой дани требовало возмездіе, и кровь текла въ жертву монарху; теперь любовь вступаетъ въ свои права,—и тихія слезы льются о человѣкѣ. Общее горе поглощаетъ всякія личныя страданія. Еще не пришедшіе въ себя отъ ошеломляющаго удара окружаютъ его гробъ вожди въ безсознательномъ оцѣпенѣніи, и никто не можетъ измѣрить всю громадность этой потери.

Императоръ, — повѣствуетъ Кевенгиллеръ, — при видѣ окровавленнаго колета, снятаго съ короля и отправленнаго въ Вѣну, выказалъ приличное случаю волненіе, которое нельзя заподозрить въ неискренности. „Охотно пожелалъ бы я долгой жизни и радостнаго возвращенія на родину этому несчастному,—воскликнулъ онъ,—лишь бы въ Германіи воцарился миръ!“ Новѣйшій католическій писатель съ признанными заслугами находитъ это доказательство не вполнѣ еще подавленныхъ человѣческихъ чувствъ, вызываемое просто внѣшнимъ приличіемъ, вынуждаемое даже у безчувственнѣйшаго сердца простымъ эгоизмомъ, невозможное лишь въ самой одичавшей душѣ, достойнымъ высшей похвалы и сопоставляетъ его съ великодушнымъ отношеніемъ Александра къ памяти Дарія. Но этими преувеличенными похвалами онъ возбуждаетъ въ насъ лишь глубокое недовѣріе къ остальнымъ достоинствамъ своего героя или—еще хуже—къ своему собственному идеалу нравственнаго достоинства. Однако, и такая похвала много значитъ для того, кого приходится оправдывать отъ подозрѣнія въ цареубійствѣ.

Едва ли возможно было ожидать, чтобы непобѣдимая склонность людей къ необыкновенному позволила обычному ходу вещей покончить славную жизнь Густава Адольфа. Смерть этого страшнаго противника была слишкомъ важнымъ событіемъ для императора, чтобы не возбудить въ противной партіи столь естественной мысли, что императоръ приложилъ старанія, чтобы устроить то, что было ему такъ нужно. Но для исполненія этого мрачнаго дѣянія императору нужна была чужая рука, и этотъ исполнитель былъ найденъ общимъ мнѣніемъ въ лицѣ Франца Альберта герцога саксенъ-лауенбургскаго. Его санъ давалъ ему свободный доступъ къ шведскому королю, не возбуждая подозрѣній, и именно это-то почетное положеніе должно было служить для того, чтобы поставить его внѣ всякихъ заподозриваній, въ столь гнусномъ преступленіи. Надо стало быть доказать, прежде всего, что этотъ принцъ былъ способенъ на такое злодѣяніе и что онъ имѣлъ достаточныя побужденія дѣйствительно совершить его.

Францъ Альбертъ, младшій изъ четырехъ сыновей Франца II, герцога лауенбургскаго, связанный чрезъ свою мать узами родства съ династіей Вазы, былъ въ юности весьма радушно принятъ при шведскомъ дворѣ. Неприличная выходка, которую онъ позволилъ себѣ въ комнатѣ королевы-матери по отношенію къ Густаву Адольфу, разсказываютъ, получила возмездіе въ видѣ пощечины отъ пылкаго королевича; правда, онъ тотчасъ же раскаялся и далъ обиженному полное удовлетвореніе, но въ мстительной душѣ герцога зародилась непримиримая ненависть къ Густаву. Впослѣдствіи Францъ Альбертъ, вступивъ въ ряды императорской арміи, гдѣ онъ командовалъ полкомъ, сошелся очень близко съ герцогомъ фридландскимъ, и на него возложено порученіе, дѣлавшее мало чести его сану—вести тайные переговоры при

Графъ Тилли. Гравюра Б. Монкорне.

Берлинская Національная Галлерея.

саксонскомъ дворѣ. Затѣмъ, оставивъ безъ достаточныхъ причинъ австрійскія войска, онъ неожиданно является въ Нюрнбергѣ въ лагерѣ короля, предлагая ему услуги въ качествѣ добровольца. Усердіемъ къ дѣлу протестантовъ и вкрадчивымъ обращеніемъ онъ овладѣваетъ сердцемъ короля, который, несмотря на тщетныя предостереженія Оксенштирны, расточаетъ свою дружбу и милости этому подозрительному пришельцу. Вскорѣ затѣмъ происходитъ сраженіе при Люценѣ, гдѣ Францъ Альбертъ неизмѣнно, точно злой духъ, остается при королѣ и покидаетъ его лишь послѣ его гибели. Самъ онъ остается невредимъ среди непріятельскихъ выстрѣловъ, потому что носитъ зеленую перевязь,—цвѣтъ императорскихъ войскъ. Онъ первый сообщаетъ своему другу, герцогу фридландскому, вѣсть о гибели короля. Тотчасъ вслѣдъ за этимъ сраженіемъ онъ мѣняетъ шведскую службу на саксонскую и, привлеченный къ суду послѣ убійства Валленштейна въ качествѣ сообщника герцога, онъ избѣгаетъ казни лишь отреченіемъ отъ своей вѣры. Наконецъ, онъ появляется снова въ роли командующаго императорской арміей въ Силезіи и умираетъ при Швейдницѣ отъ ранъ. Въ самомъ дѣлѣ, трудно безъ нѣкоторой борьбы съ собой поручиться за невиновность

человѣка, прожившаго такъ свою жизнь; но если нравственная и физическая возможность столь отвратительнаго поступка и можетъ быть съ извѣстнымъ основаніемъ выведена изъ вышеуказанныхъ фактовъ, то уже поверхностное разсмотрѣніе ихъ указываетъ, что они не даютъ, все таки, никакого права на безспорное убѣжденіе въ его виновности. Извѣстно, что Густавъ Адольфъ подвергался опасности, какъ послѣдній рядовой въ его войскѣ, и, конечно, онъ могъ легко найти смерть тамъ, гдѣ гибли тысячи. Какъ онъ нашелъ ее,— остается неразъясненной тайной; но здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ либо, имѣетъ примѣненіе принципъ, что нельзя позорнымъ обвиненіемъ унижать достоинство человѣческой природы тамъ, гдѣ для полнаго объясненія вполнѣ достаточно обычнаго хода вещей.

Но отъ какой бы руки ни палъ король, эта необыкновенная судьба должна быть для насъ проявленіемъ могучей силы естественнаго хода вещей. Исторія, столь часто обреченная на одно безотрадное повѣствованіе объ однообразной игрѣ человѣческихъ страстей, иногда получаетъ награду въ явленіяхъ, которыя подобно нежданному удару съ налета вмѣшиваются въ размѣренный механизмъ человѣческихъ замысловъ и указываютъ и убѣждаютъ мыслителя въ существованіи высшаго порядка вещей. Такъ поражаетъ насъ неожиданное исчезновеніе со сцены Густава Адольфа, однимъ ударомъ останавливающее весь ходъ политической машины и сводящее къ нулю всѣ разсчеты человѣческой мудрости. Вчера еще—всеоживляющій духъ, великій и единственный двигатель своего творенія, сегодня неумолимо сраженный въ своемъ орлиномъ полетѣ, вырванный изъ міра замысловъ, грубо отторгнутый отъ восходящей жатвы своихъ надеждъ,—онъ оставляетъ за собой осиротѣвшихъ и безутѣшныхъ союзниковъ,—и въ грудѣ развалинъ лежитъ гордое зданіе его былого величія. Съ трудомъ отвыкаетъ протестантскій міръ отъ надеждъ, возложенныхъ на этого непобѣдимаго вождя и страшится похоронить съ нимъ всѣ свои прежніе успѣхи. Но ужъ не благодѣтель Германіи палъ подъ Люценомъ; благодѣтельную половину своего поприща свершилъ Густавъ Адольфъ, и величайшая услуга, какую онъ могъ оказать еще свободѣ Германіи, это было—умереть. Всепоглощающая мощь одного человѣка распадается, и многіе испытываютъ свои силы; двусмысленная помощь всемогущаго защитника смѣняется болѣе почетной самопомощью германскихъ чиновъ, которые, переставъ быть орудіями его успѣховъ, лишь теперь начинаютъ работать для самихъ себя. Въ своемъ собственномъ мужествѣ находятъ они теперь средства къ спасенію, которыя безъ опасности не могли быть получены изъ рукъ могучаго государя, и шведская держава, лишенная возможности выродиться въ угнетательницу, возвращается къ скромной роли союзницы.

Честолюбіе шведскаго монарха, несомнѣнно, искало въ Германіи могущества, несовмѣстимаго съ свободой чиновъ, и постояннаго владѣнія въ центрѣ имперіи. Цѣлью его былъ императорскій тронъ, и этотъ санъ, подкрѣпленный его силой и дѣятельностью и наполненный содержаніемъ, могъ явиться въ его рукахъ источникомъ гораздо худшихъ злоупотребленій, чѣмъ тѣ, какихъ можно было ожидать отъ австрійской династіи. Рожденный въ чужой землѣ, воспитанный въ идеяхъ неограниченнаго самодержавія, благочестивый протестантъ и потому отъявленный ненавистникъ папистовъ, онъ не былъ созданъ для роли хранителя сокровища германскихъ законовъ и не могъ питать достаточнаго уваженія къ свободѣ чиновъ. Подозрительная присяга, которую—не говоря о многихъ другихъ городахъ—долженъ былъ принести шведской коронѣ имперскій городъ Аугсбургъ, очевидно исходила не столько отъ защитника имперіи, сколько отъ завоевателя; и этотъ городъ, гордившійся болѣе названіемъ королевскаго города, чѣмъ славными преимуществами имперской свободы, льстилъ себѣ заранѣе мыслью явиться столицей его новаго государства. Недостаточно скрытыя притязанія его на архіепископство майнцское, которое онъ сначала предназначалъ принцу бранденбургскому въ качествѣ приданаго своей дочери Кристины, а затѣмъ своему канцлеру и другу Оксенштирнѣ, показывали съ достаточной ясностью, какъ много могъ онъ себѣ позволить въ нарушеніи основныхъ законовъ имперіи. Протестантскіе государи, заключившіе съ нимъ союзъ, требовали отъ него благодарности, которая могла получить удовлетвореніе лишь на счетъ другихъ владѣтелей, особенно на счетъ непосредственныхъ духовныхъ владѣній, и быть можетъ, былъ готовъ уже проектъ раздѣленія завоеванныхъ владѣній, какъ общей добычи между его нѣмецкими и шведскими соратниками по примѣру тѣхъ древнихъ варваровъ, орды которыхъ нѣкогда хлынули на римскую

имперію. По отношенію къ пфальцграфу Фридриху онъ отрекся совершенно отъ великодушія героя и священной роли защитника: Пфальцъ былъ въ его рукахъ и долгъ справедливости и чести требовалъ возвращенія этой захваченной испанцами провинціи ея законному собственнику въ неприкосновенномъ видѣ. Но уловками, недостойными великаго человѣка и позорящими славное имя защитника угнетенныхъ, онъ увернулся отъ этой обязанности. Онъ смотрѣлъ на Пфальцъ, какъ на добычу, доставшуюся ему отъ врага, и считалъ себя вправѣ распоряжаться имъ по своему произволу. Поэтому онъ передалъ Пфальцграфу его владѣнія не изъ сознанія долга, но изъ милости, въ видѣ лена шведской короны, на условіяхъ, на половину уменьшенныхъ ихъ цѣнность и низводившихъ этого государя на степень ничтожнаго вассала Швеціи. Одно изъ условій, предписанныхъ пфальцграфу—„по окончаніи войны содержать часть шведскихъ войскъ по примѣру другихъ государей"—позволяетъ намъ предвидѣть достаточно ясно судьбу, грозившую Германіи при дальнѣйшихъ успѣхахъ короля. Его внезапная кончина обезпечивала Германіи свободу, а ему самую лучшую славу, избавивъ его отъ огорченія видѣть своихъ союзниковъ идущими на него и потерявъ всѣ плоды своихъ побѣдъ въ невыгодномъ мирѣ. Саксонія уже склонялась къ разрыву съ нимъ, Данія съ тревогой и завистью смотрѣла на его величіе, и даже Франція, его важнѣйшая союзница, встревоженная грознымъ ростомъ его могущества и все болѣе гордымъ его тономъ, искала новыхъ союзниковъ уже тогда, когда онъ только переходилъ черезъ Лехъ, и старалась остановить побѣдоносное шествіе этого гота, чтобы возстановить политическое равновѣсіе Европы.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Слабыя узы единодушія, въ которыхъ Густавъ Адольфъ едва удерживалъ протестантскихъ членовъ имперіи, распались послѣ его смерти; союзники возвратились къ прежней свободѣ или же должны были искать единства въ новомъ союзѣ. Первое лишало ихъ всѣхъ выгодъ, добытыхъ ими цѣной потоковъ крови и подвергало ихъ неизбѣжной опасности пасть жертвой врага, сравнить съ которымъ и даже сдѣлать сильнѣе котораго могло ихъ только единство. Отдѣльно ни Швеція, ни какой бы то ни было государь Германіи не могъ бы бороться съ императоромъ и лигой, и потому въ случаѣ мира, принятаго при такихъ обстоятельствахъ, пришлось бы соглашаться на всякія условія, поставленныя непріятелемъ. Союзъ, стало быть, былъ равно необходимымъ условіемъ въ случаѣ заключенія мира, какъ и въ случаѣ продолженія войны. Но миръ въ этомъ положеніи могъ быть заключенъ не иначе какъ во вредъ союзнымъ государствамъ. Въ смерти Густава Адольфа черпалъ непріятель новыя надежды, и какъ ни шатко было его положеніе послѣ битвы при Люценѣ, гибель этого опаснѣйшаго противника была слишкомъ пагубнымъ для союзниковъ и слишкомъ благопріятнымъ для императора обстоятельствомъ, чтобы не породить въ немъ самыхъ блестящихъ надеждъ и не побудить его къ продолженію войны. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ гибели короля шведскаго долженъ былъ быть по крайней мѣрѣ временный разрывъ между союзниками,—а какъ выгоденъ былъ для императора и для лиги такой разрывъ въ средѣ непріятеля! Чрезвычайными выгодами, какихъ можно было ожидать при теперешнемъ оборотѣ дѣлъ, онъ не могъ пожертвовать для мира, въ которомъ онъ не выигрывалъ больше другихъ; да и союзники не могли согласиться на такой миръ. Естественнымъ рѣшеніемъ было такимъ образомъ—продолженіе войны, а неизбѣжнымъ средствомъ для этого—союзъ.

Но какъ возобновить этотъ союзъ и гдѣ набрать силъ для продолженія войны? Не могушество Швеціи, но лишь дарованія и личный авторитетъ ея усопшаго властелина доставили ему преобладающее вліяніе въ Германіи и столь огромную власть надъ умами; и даже ему лишь послѣ безконечныхъ трудностей удалось связать государей слабыми и невѣрными узами. Съ нимъ исчезало все, что было обязано своимъ происхожденіемъ лишь его личнымъ качествамъ, и связь между чинами рушилась вмѣстѣ съ надеждами, на которыхъ она была основана. Многіе изъ чиновъ нетерпѣливо свергаютъ съ себя узы, которыя они несли противъ своей воли; другіе спѣшатъ схватиться за кормило, которое они съ неудовольствіемъ видѣли въ рукахъ Густава, но не имѣли достаточно силы бороться изъ за него при жизни короля. Одни, искушенные соблазнительнымм обѣщаніями императора, покидаютъ общій союзъ; другіе, удрученные тяготами четырнадцатилѣтней войны, малодушно ищутъ какого бы то ни было, хоть пагубнаго для нихъ мира. Предводители армій, главнымъ образомъ нѣмецкіе государи, не могутъ сговориться о на-

значеніи одного главнокомандующаго, и никто не хочетъ унизиться до исполненія приказаній другого. Нѣтъ согласія ни въ совѣтѣ, ни въ полѣ битвы, и общему дѣлу грозитъ опасность погибнуть вслѣдствіе такого духа раздора.

Густавъ не оставилъ въ Швеціи преемника мужского пола; естественной наслѣдницей его престола была его шестилѣтняя дочь Христина. Неизбѣжные недостатки регентства не мирились съ силой и рѣшительностью, какія Швеція должна была выказать въ этотъ критическій моментъ. Могучій геній Густава Адольфа опредѣлилъ слабому и незамѣтному государству такое мѣсто въ ряду европейскихъ державъ, какое оно не могло сохранить безъ удачъ и генія своего создателя и отъ котораго не могло отказаться безъ позорнѣйшаго признанія въ своемъ безсиліи. Несмотря на то, что нѣмецкая война велась главнымъ образомъ на средства Германіи, уже и та незначительная прибавка людьми и деньгами, какую должна была давать Швеція изъ своихъ средствъ, истощила это бѣдное государство, и крестьянинъ изнемогалъ подъ бременемъ тяготъ, которыя были вынуждены наложить на него. Богатства, добытыя въ Германіи, обогащали лишь нѣкоторыхъ дворянъ и солдатъ, но Швеція сама была по прежнему бѣдна. Правда, нѣкоторое время слава отечества примиряла польщеннаго подданнаго съ тяготами, и на налоги, платимые имъ, можно было смотрѣть какъ на заемъ, который приноситъ прекрасные проценты въ счастливой рукѣ Густава Адольфа и будетъ возвращенъ съ приростомъ этимъ благодарнымъ государемъ по заключеніи славнаго мира. Но надежды испарились со смертью короля, и обманутый народъ съ грознымъ единодушіемъ требовалъ облегченія отъ удручавшаго его бремени.

Но духъ Густава Адольфа жилъ еще въ тѣхъ выдающихся людяхъ, которымъ онъ ввѣрилъ управленіе государствомъ. Какъ ни страшна была для нихъ внезапная вѣсть о его гибели, она не лишила ихъ мужества, и духъ древняго Рима эпохи Бренна и Ганнибала одушевляетъ это благородное собраніе. Чѣмъ дороже пришлось уплатить за добытые выгоды, тѣмъ менѣе возможно добровольно отказаться отъ нихъ; даромъ терять короля никто не согласенъ. Шведскій государственный совѣтъ, стѣсненный необходимостью рѣшиться на бѣдствія сомнительной и истощающей войны или на полезный, но позорный миръ, мужественно выбираетъ путь опасности и славы, и міръ съ радостнымъ изумленіемъ взираетъ на этихъ почтенныхъ старцевъ, возстающихъ со всей бодростью юности. Окруженный дѣятельными врагами, внутренними и внѣшними, обуреваемый опасностями на всѣхъ границахъ государства, сенатъ вооружается противъ нихъ съ дальновидностью и мужествомъ и заботится о расширеніи границъ государства, едва имѣя силы сохранить его существованіе.

Кончина короля и малолѣтство его дочери Христины дали новый толчекъ старымъ притязаніямъ Польши на шведскій престолъ и сынъ Сигизмунда король Владиславъ старался всѣми средствами пріобрѣсти сторонниковъ въ Швеціи. Поэтому регенты, не теряя ни минуты, провозглашаютъ въ Стокгольмѣ государыней шестилѣтнюю королеву и учреждаютъ регентство. Всѣ состоящіе на службѣ должны присягнуть новой повелительницѣ; всякая переписка съ Польшей воспрещена, и всѣ заявленія предыдущихъ королей, направленныя противъ потомства Сигизмунда, подтверждены торжественнымъ актомъ. Предусмотрительно возобновляется дружба съ царемъ московскимъ, чтобы посредствомъ оружія этого государя держать въ тискахъ враждебную Польшу. Зависть Даніи потушена смертью Густава Адольфа, и нѣтъ больше опасеній, стоявшихъ ранѣе на пути къ доброму согласію между сосѣдями. Старанія враговъ вооружить противъ Швеціи Христіана IV не встрѣтили теперь сочувствія, а живѣйшее желаніе сочетать бракомъ своего сына Ульриха съ юной королевой, въ связи съ соображеніями дальновидной политики, удержали его въ нейтралитетѣ. Въ то же время Англія, Голландія и Франція передаютъ шведскому государственному совѣту пріятныя увѣренія въ неизмѣнной дружбѣ и содѣйствіи, единогласно поощряя его продолжать энергично столь славную войну. Насколько основательны были для Франціи причины радоваться смерти шведскаго героя, настолько ясна была необходимость оставаться въ союзѣ съ Швеціей. Не подвергаясь величайшей опасности, нельзя было допустить паденіе этой державы въ Германіи. Недостатокъ собственныхъ средствъ принуждалъ Францію или рѣшиться на немедленный и пагубный миръ съ Австріей, при которомъ она лишалась плодовъ всѣхъ усилій, направленныхъ на ограниченіе этой опасной

силы,—или же нужда и отчаяніе научили бы армію содержать себя своими средствами во владѣніяхъ католическихъ государей, и Франція явилась бы измѣнницей предъ государствами, которыя отдались подъ ея могучую защиту. Смерть Густава Адольфа не только не разорвала связи Франціи съ Швеціей, но сдѣлала эту связь еще болѣе необходимой для обоихъ государствъ и гораздо болѣе выгодной для Франціи. Теперь лишь, когда не стало того, кто простеръ свою руку надъ Германіей и охранялъ предѣлы этого государства отъ жадности французовъ, могла Франція безпрепятственно осуществить свои виды на Эльзасъ и дорогой цѣной продать свою помощь нѣмецкимъ протестантамъ.

Усиленные этими союзами, обезпеченные внутри и защищенные извнѣ пограничными войсками и флотами, правители Швеціи ни на мгновеніе не колебались продолжать войну, въ которой Швеція, не рискуя ничѣмъ, могла, въ случаѣ удачи своего оружія, получить одну изъ германскихъ областей какъ вознагражденіе за издержки или въ качествѣ военной добычи. Не боясь ничего среди своихъ морей, она рисковала одинаково мало какъ въ случаѣ изгнанія ея войскъ изъ Германіи, такъ и въ случаѣ добровольнаго ихъ удаленія оттуда; между тѣмъ первое было столь же почетно, сколько второе постыдно. Чѣмъ больше смѣлости выказывала она, тѣмъ болѣе она внушала довѣрія союзникамъ и уваженія врагамъ, тѣмъ больше были выгоды, которыхъ можно было ожидать при заключеніи мира. Если она и была слишкомъ слаба, чтобы привести въ исполненіе необъятные замыслы Густава, то во имя его великой памяти она должна была сдѣлать все, что въ ея силахъ, покоряясь одному лишь препятствію — необходимости. Жаль только, что своекорыстныя побужденія были главнымъ двигателемъ достославнаго рѣшенія и это не позволяетъ восхищаться имъ безъ оговорокъ! Тѣмъ, кто, не испытавъ бѣдствій войны, наоборотъ, обогащался ею, конечно, было весьма не трудно подать голосъ за ея продолженіе — въ концѣ концовъ всѣ тягости войны падали вѣдь на одну Германію, и дешево должны были достаться Швеціи тѣ области, на которыя она разсчитывала, если принять во вниманіе, что численность войскъ, которыя она отнынѣ употребляла на войну, была ничтожна, что она только ставила во главѣ войскъ изъ нѣмецкихъ солдатъ своихъ полководцевъ и ограничивалась почетнымъ наблюденіемъ за веденіемъ войны и переговоровъ.

Но именно это наблюденіе не мирилось съ отдаленностью шведскаго регентства отъ театра войны и съ медленностью, неизбѣжной при коллегіальномъ управленіи дѣлами. Одному всеобъемлющему уму должно было вручить власть заботиться объ интересахъ Швеціи въ Германіи, по своему произволу распоряжаться миромъ и войной, необходимыми союзами, сдѣланными пріобрѣтеніями. Необходимо было облечь этого чрезвычайнаго сановника диктаторскими полномочіями и окружить всѣмъ обаяніемъ власти, которую онъ воплощалъ, чтобы поддерживать ея достоинство, чтобы согласовать общія дѣйствія, чтобы сообщить авторитетъ ея распоряженіямъ и такимъ образомъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣнить государя, котораго онъ замѣщалъ. Такой человѣкъ былъ найденъ въ лицѣ канцлера Оксенштирны, перваго министра и, что еще важнѣе, друга покойнаго короля; посвященный во всѣ тайны своего повелителя, хорошо знакомый со всѣми дѣлами Германіи и другихъ европейскихъ государствъ, онъ безспорно былъ лучшимъ исполнителемъ замысловъ Густава Адольфа во всемъ ихъ объемѣ.

Оксенштирна былъ на пути въ верхнюю Германію, гдѣ предполагалъ собрать четыре верхнихъ округа, когда въ Ганау его настигла вѣсть о кончинѣ короля. Этотъ страшный ударъ, поразившій мягкое сердце друга, лишилъ сознанія государственнаго человѣка; онъ потерялъ все, къ чему была привязана его душа. Швеція потеряла лишь короля, Германія — только защитника, а Оксенштирна потерялъ творца своего счастія, друга своей души, создателя своихъ идеаловъ. Но пораженный всѣхъ тягостнѣе общимъ несчастіемъ, онъ первый овладѣлъ своими силами, такъ какъ никто кромѣ него не могъ исправить того, что произошло. Его проницательный взглядъ видѣлъ всѣ препятствія по пути къ исполненію его замысловъ: малодушіе чиновъ, интриги непріятельскихъ дворовъ, раздоры въ средѣ союзниковъ, зависть вождей, отвращеніе имперскихъ государей къ чужеземному владычеству. Но именно это проникновеніе въ положеніе вещей, раскрывшее предъ нимъ всю громадность зла, показало ему также средства справиться съ нимъ. Все дѣло было въ томъ, чтобы поднять упавшее мужество болѣе слабыхъ имперскихъ чиновъ,

справиться съ тайными происками враговъ, умиротворить зависть болѣе могущественныхъ союзниковъ, добиться энергичной помощи дружественныхъ державъ, а особенно Франціи, но прежде всего собрать воедино осколки нѣмецкаго союза и тѣсными и прочными узами связать разсѣянныя силы партіи. Смятеніе, въ какое повергла нѣмецкихъ протестантовъ гибель ихъ вождя, могло съ такой же легкостью побудить ихъ къ болѣе тѣсному союзу со Швеціей, какъ и къ поспѣшному миру съ императоромъ, и лишь отъ дальнѣйшаго поведенія зависѣлъ ихъ выборъ между этими двумя рѣшеніями. Все погибло при малѣйшемъ признакѣ малодушія; лишь увѣренность Швеціи въ своихъ силахъ можетъ возбудить въ нѣмцахъ благородную надежду на себя. Всѣ старанія австрійскаго двора отвлечь нѣмцевъ отъ союза со Швеціей будутъ безцѣльны, когда удастся выяснить имъ ихъ истинныя выгоды и побудить ихъ къ открытому и формальному разрыву съ императоромъ.

Конечно, прежде чѣмъ эти мѣры были приняты и заключено было необходимое соглашеніе между правительствомъ и его министромъ, пропало много времени, драгоцѣннаго для дѣйствій шведской арміи, чѣмъ посчастливилось превосходно воспользоваться непріятелю. Если бы императоръ внялъ мудрымъ совѣтамъ герцога фридландскаго, онъ имѣлъ бы въ этотъ моментъ полную возможность совершенно уничтожить силу шведовъ въ Германіи. Валленштейнъ совѣтовалъ ему объявить полную амнистію и порадовать протестантскихъ государей благопріятными предложеніями. Въ чаду перваго страха, охватившаго всю партію подъ вліяніемъ смерти Густава Адольфа, такое заявленіе произвело бы рѣшающее дѣйствіе и возвратило бы менѣе непримиримыхъ государей къ стопамъ императора. Но ослѣпленный неожиданнымъ счастьемъ и сведенный съ пути наускиваніями Испаніи, онъ ожидалъ большаго успѣха отъ оружія и вмѣсто того, чтобы внять мирнымъ предложеніямъ, спѣшилъ усилить свои войска. Испанія, обогащенная десятиной съ духовныхъ имуществъ, дарованной ей папой, поддерживала императора значительными субсидіями, вела за него переговоры съ саксонскимъ дворомъ и поспѣшно вербовала въ Италіи войска для военныхъ дѣйствій въ Германіи. Курфюрстъ баварскій также значительно усилилъ свои войска, и герцогу лотарингскому его неспокойный духъ тоже не позволялъ оставаться въ бездѣйствіи при этомъ счастливомъ оборотѣ судьбы. Но въ то время, какъ непріятель столь дѣятельно старался воспользоваться несчастіемъ шведовъ, Оксенштирна употреблялъ всѣ усилія разсѣять его пагубныя послѣдствія.

Боясь не столько открытаго врага, сколько зависти союзныхъ державъ, онъ покинулъ верхнюю Германію, обезпеченную завоеваніями и союзами, и лично отправился въ путь съ цѣлью удержать нижне-нѣмецкихъ государей отъ полнаго разрыва или образованія частнаго союза между ними, что было бы для Швеціи не менѣе пагубно. Оскорбленный дерзостью, съ которой канцлеръ бралъ на себя руководство дѣлами и до крайности раздраженный мыслью, что ему приходится принимать приказанія отъ шведскаго дворянина, курфюрстъ саксонскій снова рѣшился на опасный разрывъ съ Швеціей, и вопросъ былъ лишь въ томъ, примириться ли совершенно съ императоромъ или сдѣлаться главой протестантовъ, чтобы вмѣстѣ съ ними, образовать третью партію въ Германіи. Такія же намѣренія имѣлъ герцогъ бранденбургскій Ульрихъ, достаточно обнаружившій ихъ, воспретивъ шведамъ производить наборъ войскъ въ своихъ владѣніяхъ и пригласивъ чиновъ нижней Саксоніи въ Люнебургъ для заключенія союза. Одинъ лишь курфюрстъ бранденбургскій, изъ зависти къ вліянію, какое могла получить Саксонія въ нижней Германіи, выказывалъ нѣкоторую преданность интересамъ шведской короны, которую онъ въ мечтахъ своихъ видѣлъ уже на головѣ своего сына. Хотя Оксенштирну ожидалъ самый почетный пріемъ при дворѣ Іоганна Георга, неуловимыя увѣренія въ неизмѣнной дружбѣ были все, чего ему удалось добиться отъ этого государя, несмотря на личное ходатайство курфюрста бранденбургскаго. Счастливѣе былъ онъ у герцога брауншвейгскаго, съ которымъ онъ говорилъ гораздо рѣшительнѣе. Швеція владѣла тогда архіепископствомъ магдебургскимъ, епископъ котораго имѣлъ право собирать нижне-саксонскій сеймъ. Канцлеръ настоялъ на этомъ верховномъ правѣ своей державы и благодаря его энергическому заявленію — на этотъ разъ опасное собраніе не состоялось. Но общаго союза протестантовъ,—главной цѣли его путешествія и всѣхъ его дальнѣйшихъ усилій,—ему не удалось добиться ни теперь, ни впослѣдствіи: и онъ вынужденъ

былъ удовлетвориться отдѣльными непрочными союзами въ саксонскихъ округахъ и еще болѣе слабой помощью верхней Германіи.

Въ виду твердаго положенія, которое занимали баварцы на Дунаѣ, собраніе четырехъ верхнихъ округовъ, мѣстомъ котораго былъ обыкновенно Ульмъ, было перенесено въ Гейльброннъ, куда прибыли представители двѣнадцати имперскихъ городовъ и блестящая толпа докторовъ, графовъ и князей. Прислали своихъ уполномоченныхъ также иностранныя державы, Франція, Англія и Голландія, и Оксенштирна появился на немъ со всей пышностью короны, державность которой ему предстояло воплощать. Онъ самъ дѣлалъ доклады, которыми руководился ходъ совѣщаній. Получивъ отъ всѣхъ собравшихся здѣсь чиновъ увѣренія въ непоколебимой вѣрности, преданности и единодушіи, онъ потребовалъ отъ нихъ формальнаго и торжественнаго объявленія императора и лиги своими врагами. Но насколько для шведовъ было важно довести дурныя отношенія между императоромъ и чинами до формальнаго разрыва, настолько мало были склонны чины рѣшительнымъ шагомъ отрѣзать себѣ всякую возможность примиренія и такимъ образомъ отдать всю свою судьбу въ руки шведовъ. Они находили, что формальное объявленіе войны, давно уже начатой фактически, безполезно и ненужно, и ихъ стойкое сопротивленіе заставило канцлера умолкнуть. Еще болѣе оживленные споры вызвалъ третій и важнѣйшій пунктъ совѣщанія, которымъ опредѣлялись источники для продолженія войны и взносы чиновъ на содержаніе войскъ. Правило Оксенштирны—взваливать по возможности наибольшую часть общихъ тяготъ на нѣмецкихъ чиновъ—не мирилось съ принципомъ чиновъ—давать какъ можно меньше. Здѣсь познакомился шведскій канцлеръ съ той непріятной истиной, которую до него испытали тридцать императоровъ, что изъ всѣхъ трудныхъ дѣлъ нѣтъ на свѣтѣ дѣла труднѣе, какъ получать отъ нѣмцевъ деньги. Вмѣсто того, чтобы согласиться давать необходимыя для вновь набираемыхъ войскъ деньги, ему краснорѣчиво исчисляли всѣ бѣдствія, причиненныя существующими арміями, и требовали облегченія отъ прежнихъ тяготъ въ тотъ моментъ, когда надо было взять на себя новыя. Дурное настроеніе, вызванное денежнымъ требованіемъ канцлера отъ чиновъ, породило тысячи жалобъ, и злоупотребленія войскъ во время переходовъ и постоевъ были изображены съ страшной правдивостью.

На службѣ у двухъ неограниченныхъ государей Оксенштирна не привыкъ къ формальностямъ и медленному ходу республиканскихъ совѣщаній и изощрять свое терпѣніе на противорѣчіяхъ. Всегда готовый къ дѣйствію, когда этого требовала необходимость, и непоколебимый въ рѣшеніи, разъ оно уже принято, онъ не понималъ непослѣдовательности большинства людей, которые жаждутъ цѣли и ненавидятъ средства. Настойчивый и горячій отъ природы, онъ являлся таковымъ здѣсь по принципу, ибо теперь все зависѣло отъ того, чтобы твердымъ и самоувѣреннымъ языкомъ прикрыть безсиліе Швеціи и, усвоивъ себѣ повелительный тонъ, стать въ самомъ дѣлѣ повелителемъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ съ пріемами такого рода чувствовалъ себя среди нѣмецкихъ ученыхъ и чиновъ совсѣмъ не въ своей сферѣ, и былъ доведенъ до отчаянія нѣмецкой обстоятельностью—характерной чертой нѣмцевъ во всѣхъ ихъ общественныхъ дѣлахъ.

Не обращая вниманія на обычный порядокъ, которому принуждены были подчиняться могущественнѣйшіе императоры, онъ отвергъ всѣ письменныя разсужденія, столь любезныя нѣмецкой медлительности; онъ не понималъ, какъ можно десять дней разсуждать о статьѣ, которая казалась ему почти рѣшенной при одномъ предложеніи. Но какъ ни суровы были его отношенія къ чинамъ, онъ нашелъ ихъ вполнѣ готовыми и склонными согласиться на четвертый пунктъ, касавшійся его самого. Когда онъ перешелъ къ необходимости дать учреждаемому союзу главу и руководителя, эта честь была единогласно присуждена Швеціи и его всепокорнѣйше просили послужить общему дѣлу своимъ просвѣщеннымъ умомъ и взвалить на себя бремя высшаго надзора. Но чтобы обезпечить себя отъ злоупотребленія высшей властью, которую этимъ назначеніемъ отдавали въ его руки,—къ нему, не безъ внушеній Франціи, приставили, подъ названіемъ помощниковъ, нѣкоторое число контролеровъ, которые должны были завѣдывать кассой союза и имѣли голосъ въ вопросахъ наборовъ, движенія и расположенія войскъ. Оксенштирна энергично возсталъ противъ такого ограниченія своей власти, затруднявшаго выполненіе каждаго предначертанія,

Кардиналъ Ришелье.

Гравюра Роберта Нантейля (1630—1678) съ портрета Филиппа де-Шампеня. (1602—1674).

требующаго быстроты или тайны, и лишь съ большимъ трудомъ добылъ себѣ полную свободу поступать въ военныхъ дѣлахъ по своему усмотрѣнію. Наконецъ, канцлеръ коснулся также щекотливаго вопроса о вознагражденіи, какого Швеція можетъ ждать отъ благодарности своихъ союзниковъ по окончаніи войны, и ласкалъ себя надеждой, что ему укажутъ Померанію, на которую были обращены взоры Швеціи, и обѣщаютъ могучее содѣйствіе чиновъ для пріобрѣтенія этой области. Но все ограничилось общими и ненадежными увѣреніями, что при предстоящемъ мирѣ всѣ будутъ отстаивать другъ друга. Что сдержанность чиновъ въ этомъ вопросѣ не проистекала изъ уваженія къ имперской конституціи, доказывается той щедростью, какую предполагали выказать канцлеру на счетъ священнѣйшихъ законовъ имперіи. Ему едва не предложили архіепископство майнцское, которымъ онъ и такъ владѣлъ по праву завоеванія, и лишь съ трудомъ удалось французскому послу предотвратить этотъ шагъ, столь-же не политичный, сколько постыдный. Какъ ни мало соотвѣтствовало исполненіе желаніямъ Оксенштирны, онъ достигъ своей важнѣйшей цѣли—верхное главенство надъ всѣмъ дѣломъ было вручено ему и его родинѣ. Чины четырехъ верхнихъ округовъ были связаны болѣе тѣсными и прочными узами, а на содержаніе арміи было опредѣлено ежегодное пособіе въ два съ половиною милліона талеровъ.

Такая уступчивость со стороны чиновъ заслуживала благодарности со стороны Швеціи. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ смерти Густава Адольфа тоска положила конецъ печальной жизни пфальцграфа Фридриха. Этотъ достойный сожалѣнія государь въ теченіе восьми мѣсяцевъ увеличивалъ придворный штатъ своего покровителя и, гоняясь за нимъ повсюду, расточалъ жалкіе остатки своего достоянія. Казалось, онъ приблизился къ цѣли своихъ желаній и болѣе свѣтлое будущее раскрылось предъ нимъ, когда вдругъ смерть унесла его покровителя. Но то, что ему казалось величайшимъ несчастіемъ, имѣло самыя благопріятныя послѣдствія для его наслѣдника. Густавъ Адольфъ могъ позволить себѣ медлить возвращеніемъ его владѣній и омрачить этотъ подарокъ тягостными оговорками; Оксенштирна, для котораго дружба Англіи и Бранденбурга и вообще доброе расположеніе протестантскихъ чиновъ было неизмѣримо важнѣе, вынужденъ былъ исполнить долгъ справедливости. Поэтому на томъ же собраніи въ Гейльбронѣ онъ передалъ наслѣдникамъ Фридриха всѣ завоеванныя уже и могущія быть завоеванными въ будущемъ пфальцскія земли, за исключеніемъ лишь Маннгейма, который былъ занятъ шведами до возмѣщенія военныхъ издержекъ. Канцлеръ не ограничивалъ своей любезности пфальцскимъ домомъ; другіе союзные государи, правда нѣсколько позже, также получили доказательства признательности Швеціи, также стоившія этой державѣ очень мало.

Долгъ безпристрастія, священнѣйшій долгъ историка, обязываетъ его сдѣлать признаніе, не дѣлающее чести защитникамъ нѣмецкой свободы. Какъ ни хвалились протестантскіе государи справедливостью своего дѣла и чистотой своего одушевленія, они дѣйствовали главнымъ образомъ подъ вліяніемъ корысти; и возобновить враждебныя дѣйствія, по крайней мѣрѣ столько же побуждало ихъ корыстолюбіе, сколько страхъ сдѣлаться жертвой чужого корыстолюбія. Густавъ Адольфъ легко замѣтилъ, что эти нечистыя побужденія могутъ дать ему гораздо больше, чѣмъ патріотическія настроенія, и постарался воспользоваться ими. Каждому изъ государей, заключившихъ съ нимъ союзъ, онъ обѣщалъ ту или другую, уже отнятую у непріятеля или могущую быть отнятой область, и лишь смерть помѣшала ему исполнить эти обѣщанія. То, что для короля было завѣтомъ благоразумія, являлось для его преемника велѣніемъ необходимости; и если для послѣдняго было важно продолжать войну, то онъ долженъ былъ дѣлиться добычей съ союзными государями и обѣщать имъ выгоды отъ смуты, которую онъ дѣятельно поддерживалъ. Такимъ образомъ онъ обѣщалъ ландграфу гессенскому епископства Падерборнъ, Корвей, Мюнстеръ и Фульду, герцогу веймарскому Бернгарду—франконскія епископства, герцогу вюртембергскому—расположенныя въ его земляхъ духовныя владѣнія и австрійскія графства,—все въ видѣ шведскаго лена. Канцлера самого удивляла эта странная, столь мало почетная для нѣмцевъ раздача, и онъ едва могъ скрыть свое презрѣніе. „Пусть сохранится въ нашемъ архивѣ, для вѣчнаго воспоминанія,—сказалъ онъ какъ-то,—что нѣмецкій государь могъ требовать чего либо подобнаго отъ шведскаго дворянина и что шведскій дворянинъ жаловалъ нѣчто подобное нѣмецкому государю на нѣмецкой землѣ".

Послѣ столь удачныхъ приготовленій можно было съ честью выступить въ походъ и съ новой энергіей возобновить войну. Вскорѣ послѣ побѣды при Люценѣ саксонскія и люнебургскія войска соединяются съ шведской арміей, и въ короткое время во всей Саксоніи не остается ни одного императорскаго солдата. Затѣмъ эта соединенная армія раздѣляется. Саксонцы направляются въ Лузацію и Силезію, чтобы здѣсь вмѣстѣ съ графомъ Турномъ дѣйствовать противъ австрійцевъ; одну часть шведской арміи ведетъ герцогъ Бернгардъ во Франконію, другую—Георгъ герцогъ брауншвейгскій въ Вестфалію и Нижнюю Саксонію.

Завоеванія по теченію Леха и Дуная защищались отъ баварцевъ во время похода Густава Адольфа въ Саксонію пфальцграфомъ биркенфельдскимъ и шведскимъ генераломъ Баннеромъ. Но будучи слишкомъ малосильны, чтобы удержать успѣхи баварцевъ, поддерживаемыхъ военной опытностью и храбростью императорскаго полководца фонъ Альтрингера, они вынуждены были призвать на помощь изъ Эльзаса шведскаго генерала Горна. Покоривъ шведамъ города Бенфельдъ, Шлетштадтъ, Кольмаръ и Гагенау, этотъ опытный полководецъ поручилъ защиту ихъ рейнграфу Отто Людвигу, а самъ поспѣшилъ черезъ Рейнъ на помощь Баннеру. Но несмотря на то, что войско послѣдняго возросло теперь до шестнадцати тысячъ человѣкъ, ему не удалось помѣшать непріятелю стать твердой ногой на швабской границѣ, взять Кемптенъ и подкрѣпиться семью полками изъ Богеміи. Для защиты важныхъ береговъ Леха и Дуная пришлось оставить беззащитнымъ Эльзасъ, гдѣ Отто Людвигу по уходѣ Горна едва удалось защититься отъ возмутившагося народа. И онъ вынужденъ былъ подкрѣпить своими войсками дунайскую армію, а когда и это подкрѣпленіе оказалось недостаточнымъ, то обратились къ герцогу веймарскому Бернгарду съ настоятельной просьбой обратить свое оружіе въ эту область.

Въ началѣ похода 1633 года Бернгардъ овладѣлъ городомъ Бамбергомъ и епископствомъ того же имени и готовилъ ту же судьбу Вюрцбургу. По приглашенію Густава Горна онъ немедленно выступилъ въ походъ на Дунай, разбивъ по дорогѣ баварское войско подъ начальствомъ Іоанна фонъ Верта и соединился съ шведами подъ Донаувертомъ. Эта многочисленная армія подъ предводительствомъ превосходныхъ полководцевъ грозила страшнымъ вторженіемъ Баваріи. Все епископство Эйхштетское занято войсками и одинъ измѣнникъ обѣщаетъ предать шведамъ даже Иннгольштадъ. Дѣятельность Альтрингера связана строгими приказами герцога фридландскаго, и потому покинутый безъ помощи со стороны Богеміи, онъ не можетъ противостоять натиску непріятельской арміи. Стеченіе благопріятнѣйшихъ обстоятельствъ обезпечиваетъ шведскому оружію побѣду въ этой странѣ, какъ вдругъ дѣятельность арміи пріостанавливается возмущеніемъ офицеровъ.

Всѣми успѣхами въ Германіи шведы были обязаны одному оружію; даже самое величіе Густава Адольфа было дѣломъ арміи, плодомъ ея дисциплины, ея отваги, ея неизмѣннаго мужества среди безконечныхъ опасностей и трудностей. Какъ ни искусны были планы, составляемые въ кабинетѣ, исполнительницей ихъ была лишь армія, и по мѣрѣ того, какъ расширялись предначертанія вождей, увеличивались ея тяготы. Важнѣйшіе успѣхи за всю эту войну были результатомъ по истинѣ геройскаго самопожертвованія солдатъ въ зимныхъ походахъ, форсированныхъ маршахъ, приступахъ и открытыхъ сраженіяхъ; правиломъ Густава Адольфа было не отказываться отъ побѣды, если она стоила ему однихъ людей. Не долго могло быть скрыто отъ солдата его значеніе, и онъ съ правомъ требовалъ своей доли въ добычѣ, пріобрѣтенной его кровью. Но въ большинствѣ случаевъ ему едва уплачивали слѣдуемое ему жалованье, и корыстолюбіе отдѣльныхъ вождей или потребности государства обыкновенно поглощали большую часть добытыхъ денегъ и владѣній. За всѣ трудности, испытанныя имъ, ему оставались лишь сомнительныя надежды на грабежъ или на повышеніе; и въ томъ и въ другомъ ему слишкомъ часто приходилось уступать мѣсто другимъ. Правда, пока жилъ Густавъ Адольфъ, страхъ и надежда удерживали взрывъ неудовольствія; но послѣ его кончины общее раздраженіе прорвалось наружу, и солдатъ воспользовался самымъ опаснымъ мгновеніемъ, чтобы вспомнить о своемъ значеніи. Два офицера, Пфуль и Митшефаль, извѣстные уже при жизни короля, какъ безпокойныя головы, подали въ дунайскомъ лагерѣ примѣръ, которому въ теченіе нѣсколькихъ дней послѣдовали почти всѣ офицеры арміи. Дана была общая взаимная клятва не повиноваться прика-

заніямъ начальства, пока не будетъ уплачено слѣдуемое за мѣсяцы и годы жалованье, и кромѣ того не назначено будетъ каждому соотвѣтственное вознагражденіе деньгами или недвижимымъ имуществомъ. „Громадныя суммы, — говорилось при этомъ, — добываются ежедневно посредствомъ контрибуціи, и всѣ эти деньги таютъ въ рукахъ немногихъ. Въ снѣга и стужу гонятъ солдатъ, а благодарности за эту нескончаемую работу не видно никогда! Въ Гейльбронѣ вопили о своеволіи солдатъ,— объ ихъ заслугахъ никто не думалъ. Ученые разсуждаютъ о завоеваніяхъ и побѣдахъ, а кто одержалъ всѣ эти побѣды, какъ не солдатскіе кулаки?“ Число недовольныхъ увеличивается съ каждымъ днемъ; посредствомъ писемъ, къ счастью перехваченныхъ, они пытаются возмутить также рейнскія и саксонскія войска. Ни убѣжденія Бернгарда веймарскаго, ни суровые упреки его строгаго помощника не могли подавить это броженіе, а горячность послѣдняго даже усилила упорство бунтовщиковъ. Они требовали, чтобы каждому полку были назначены опредѣленные города въ возмѣщеніе задержаннаго жалованья. Шведскому канцлеру былъ данъ четырехнедѣльный срокъ для отвѣта на эти требованія; въ случаѣ отказа они грозили самовольно получить вознагражденіе и не обнажать никогда меча за Швецію.

Это рѣшительное требованіе, предъявленное въ моментъ полнаго истощенія военной казны и паденія кредита, должно было повергнуть канцлера въ величайшее затрудненіе; а выдти изъ него надо было раньше, чѣмъ эта зараза охватитъ остальныя войска, и придется сразу остаться среди враговъ безъ всякой арміи. Изъ всѣхъ шведскихъ полководцевъ одинъ только пользовался авторитетомъ и уваженіемъ среди солдатъ, достаточнымъ для того, чтобы прекратить это недоразумѣніе. Герцогъ Бернгардъ былъ любимцемъ арміи; его благоразумная умѣренность доставила ему довѣріе солдатъ, а его военная опытность ихъ глубочайшее восхищеніе. Онъ взялся успокоить взволнованную армію; но, сознавая свое значеніе, онъ не упустилъ этого благопріятнаго случая для того, чтобы позаботиться прежде всего о самомъ себѣ и воспользоваться стѣсненнымъ положеніемъ шведскаго канцлера для осуществленія своихъ собственныхъ замысловъ.

Еще Густавъ Адольфъ подавалъ ему надежды на созданіе для него герцогства франконскаго, которое должно было составиться изъ двухъ епископствъ—бамбергскаго и вюрцбургскаго; теперь герцогъ Бернгардъ потребовалъ исполненія этого обѣщанія. Онъ требовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ высшей военной власти и назначенія его шведскимъ генералиссимусомъ. Эта попытка герцога употребить во зло свое значеніе привело Оксенштирну въ такое бѣшенство, что онъ въ порывѣ негодованія отказалъ ему отъ шведской службы. Но затѣмъ онъ опомнился и, прежде чѣмъ пожертвовать столь важнымъ полководцемъ, рѣшился во что бы то ни стало связать его съ шведскими интересами. Поэтому онъ отдалъ ему въ качествѣ лена шведской короны франконскія епископства, удержавъ однако крѣпости Вюрцбургъ и Кенигсгофенъ, которыя должны были быть заняты шведами; при этомъ онъ отъ имени своей короны обязался охранять герцога во владѣніи дарованными землями. Въ главномъ начальствѣ надъ всей шведской арміей ему было отказано подъ благовиднымъ предлогомъ. Герцогъ Бернгардъ поспѣшилъ отблагодарить за полученное; своимъ вліяніемъ и дѣятельностью онъ быстро успокоилъ бунтъ въ арміи. Большія суммы наличными деньгами были распредѣлены между офицерами, которые получили еще болѣе значительныя вознагражденія помѣстьями, цѣнность которыхъ достигала пяти милліоновъ талеровъ и на которыя Швеція не имѣла никакого права, кромѣ права завоеванія. Между тѣмъ, время удобное для осуществленія важныхъ предначертаній, было потеряно, и союзные вожди раздѣлились, чтобы бороться съ непріятелемъ въ другихъ мѣстахъ.

Вторгшись на нѣкоторое время въ предѣлы верхняго Пфальца и овладѣвъ Неймаркомъ, Густавъ Горнъ направился къ швабской границѣ, гдѣ императорскія войска успѣли за это время значительно усилиться и грозили Вюртембергу опустошительнымъ нашествіемъ. Испуганныя его приближеніемъ, они двинулись къ Боденскому озеру, но лишь для того, чтобы указать шведамъ путь въ эту страну, еще незнакомую имъ. Имѣть крѣпость у вратъ Швейцаріи было въ высшей степени важно для шведовъ, и городъ Констанцъ, казалось, былъ особенно удобенъ для сношеній съ швейцарцами. Поэтому Густавъ Горнъ немедленно приступилъ къ его осадѣ; но, не имѣя орудій, которыя онъ долженъ былъ выписать изъ Вюртемберга, онъ не могъ

вести осаду съ достаточной быстротой, такъ что непріятель имѣлъ достаточно времени, чтобы подать городу помощь, которую и такъ легко было получать со стороны озера. Поэтому, послѣ безуспѣшной попытки взять городъ, Горнъ оставилъ его для того, чтобы на берегахъ Дуная столкнуться съ грозной опасностью.

По вызову императора, кардиналъ инфантъ, братъ Филиппа IV испанскаго и намѣстникъ миланскій, собралъ армію въ четырнадцать тысячъ человѣкъ, предназначенную для дѣйствій на Рейнѣ и защиты Эльзаса, независимо отъ распоряженій Валленштейна. Эта армія появилась теперь въ Баваріи подъ начальствомъ испанца герцога Феріа; а для того, чтобы тотчасъ же обратить ее противъ шведовъ, Альтрингеру было приказано немедленно присоединиться къ ней со своими войсками. Услышавъ о ея появленіи, Густавъ Горнъ поспѣшилъ вызвать къ себѣ съ береговъ Рейна пфальцграфа биркенфельдскаго и, соединившись съ нимъ въ Штокахѣ, отважно двинулся навстрѣчу тридцатитысячной арміи императора. Непріятель направился черезъ Дунай въ Швабію, гдѣ Густавъ Горнъ подошелъ къ нему однажды такъ близко, что обѣ арміи раздѣляло разстояніе не болѣе полумили. Но вмѣсто того, чтобы принять этотъ вызовъ на бой, императорскія войска двинулись въ Брейсгау и Эльзасъ, куда они прибыли достаточно своевременно, чтобы спасти Брейзахъ и положить конецъ побѣдоносному движенію рейнграфа Отто Людвига. Послѣднійнезадолго передъ тѣмъ овладѣлъ лѣсными городами и при момощи пфальцграфа биркенфельдскаго, освободившаго Нижній Пфальцъ и разбившаго герцога лотарингскаго, снова доставилъ въ этихъ мѣстахъ перевѣсъ шведскому оружію. Правда, теперь онъ вынужденъ былъ уступить численному превосходству непріятеля, но вскорѣ Горнъ и Биркенфельдъ явились къ нему на помощь, и послѣ непродолжительнаго успѣха императорскія войска оказались снова въ Эльзасѣ. Суровая осень, застигшая ихъ въ этомъ несчастномъ походѣ, погубила большую часть итальянцевъ, и самого ихъ предводителя, герцога Феріа, убила тоска объ этомъ неудачномъ походѣ.

Между тѣмъ герцогъ веймарскій Бернгардъ занялъ съ восемнадцатью полками пѣхоты и ста сорока эскадронами кавалеріи позицію на Дунаѣ, чтобы прикрыть Франконію и наблюдать за движеніями баварско-императорской арміи по берегамъ этой рѣки. Едва Альтрингеръ покинулъ эти границы, чтобы присоединиться къ итальянскимъ войскамъ герцога Феріа, Бернгардъ, воспользовавшись его уходомъ, поспѣшилъ черезъ Дунай и съ быстротой молніи очутился подъ Регенсбургомъ. Обладаніе этимъ городомъ рѣшало судьбу всѣхъ дѣйствій шведовъ въ Баваріи и Австріи; оно давало имъ точку опоры на Дунаѣ и вѣрное убѣжище въ случаѣ неудачи; оно одно упрочивало ихъ пріобрѣтенія въ этихъ странахъ. Сохранить Регенсбургъ было послѣднимъ настойчивымъ совѣтомъ, который былъ данъ умирающимъ Тилли курфюрсту баварскому, и Густавъ Адольфъ считалъ невозмѣстимой неудачей то, что баварцы ранѣе его заняли этотъ городъ. Неописуемъ былъ поэтому ужасъ Максимиліана, когда герцогъ Бернгардъ напалъ внезапно на Регенсбургъ и сталъ дѣятельно готовиться къ его осадѣ.

Всего пятнадцать ротъ, главнымъ образомъ, изъ новобранцевъ, составляли гарнизонъ города—число, болѣе чѣмъ достаточное для того, чтобы утомить сильнѣйшаго непріятеля, если гарнизонъ поддерживаютъ дѣятельные и воинственные граждане. Но послѣдніе и были опаснѣйшимъ врагомъ баварскаго гарнизона. Протестантскіе жители Регенсбурга, равно преданные своей вѣрѣ и своей политической свободѣ, со недовольствомъ склоняли свою выю подъ баварскимъ гнетомъ и давно уже съ нетерпѣніемъ ждали освободителя. Появленіе Бернгарда подъ стѣнами ихъ города исполнило ихъ живѣйшею радостью, и можно было очень бояться, какъ-бы они внутреннимъ мятежомъ не стали поддерживать дѣйствія непріятеля. Въ этомъ стѣсненномъ положеніи курфюрстъ обращается къ императору и къ герцогу фридландскому съ мольбами помочь ему всего пятью тысячами человѣкъ. Семь гонцовъ одинъ за другимъ отправлены Фердинандомъ съ этимъ порученіемъ къ Валленштейну, который обѣщаетъ немедленную помощь и дѣйствительно извѣщаетъ курфюрста о скоромъ прибытіи двѣнадцати тысячъ человѣкъ подъ командой Галласа, но подъ страхомъ смертной казни воспрещаетъ этому полководцу двинуться въ путь. Между тѣмъ баварскій комендантъ Регенсбурга, въ разсчетѣ на скорую помощь, сдѣлалъ всѣ приготовленія къ оборонѣ, вооружилъ католическихъ крестьянъ, лишилъ оружія протестантскихъ гражданъ и бдительно слѣдилъ за ними, чтобы они не могли предпринять ничего

опаснаго для гарнизона. Но такъ какъ помощь не явилась, а непріятельскія орудія съ неустанной яростью бомбардировали укрѣпленія, то онъ позаботился о себѣ и гарнизонѣ посредствомъ соотвѣтственной капитуляціи, а баварскихъ чиновниковъ и духовенство предоставилъ милости побѣдителя.

Съ занятіемъ Регенсбурга планы герцога Бернгарда расширяются, и даже Баварія становится слишкомъ тѣснымъ поприщемъ для его отваги. Онъ хочетъ переступить предѣлы Австріи, возмутить протестантскихъ крестьянъ противъ императора и возвратить имъ прежнюю свободу совѣсти. Онъ захватилъ уже Штраубингъ, между тѣмъ какъ другой шведскій полководецъ покоряетъ сѣверный берегъ Дуная. Несмотря на суровую погоду, онъ во главѣ своихъ шведовъ доходитъ до устья Изара и, на глазахъ баварскаго генерала фонъ Верта, расположившагося здѣсь лагеремъ, переправляетъ черезъ рѣку свои войска. Теперь трепещутъ Пассау и Линцъ, и повергнутый въ ужасъ императоръ удваиваетъ увѣщанія и приказы Валленштейну спѣшить на выручку стѣсненной Баваріи. Но здѣсь побѣдоносный Бернгардъ добровольно полагаетъ предѣлъ своимъ завоеваніямъ. Имѣя предъ собой Иннъ, охраняемый рядомъ крѣпостей, въ тылу—двѣ императорскія арміи, враждебную страну и Изаръ, гдѣ ни одно укрѣпленіе не прикрываетъ его съ тыла, а замерзшая земля не позволяетъ окопаться, въ страхѣ столкнуться со всей арміей Валленштейна, который наконецъ рѣшился двинуться къ Дунаю, онъ избѣгаетъ путемъ своевременнаго отступленія опасности быть отрѣзаннымъ отъ Регенсбурга и окруженнымъ врагами. Онъ спѣшитъ черезъ Изаръ и Дунай, чтобы спасти отъ Валленштейна свои пріобрѣтенія въ верхнемъ Пфальцѣ, и даже не уклоняется отъ сраженія съ этимъ полководцемъ. Но Валленштейнъ, который и не собирался гнаться за лаврами на Дунаѣ, не ждетъ его приближенія и, прежде чѣмъ баварцы успѣли порадоваться его приближенію, опять исчезаетъ въ Богеміи. Тогда Бернгардъ заканчиваетъ свой славный походъ и даетъ своимъ войскамъ заслуженный отдыхъ на зимнихъ квартирахъ въ непріятельской странѣ.

Между тѣмъ какъ Густавъ Горнъ въ Швабіи, пфальцграфъ беркенфельдскій, генералъ Баудисенъ и рейнграфъ Отто Людвигъ на верхнемъ и нижнемъ Рейнѣ, а герцогъ Бернгардъ на Дунаѣ съ такимъ успѣхомъ ведутъ войну, слава шведскаго оружія въ Нижней Саксоніи и Вестфаліи съ такимъ же блескомъ поддерживается герцогомъ люнебургскимъ и ландграфомъ гессенъ-кассельскимъ. Крѣпость Гамельнъ взята герцогомъ Георгомъ послѣ упорнаго сопротивленія, а надъ императорскимъ генераломъ фонъ Гронсфельдомъ, командующимъ на Везерѣ, одержана соединенной арміей шведовъ и гессенцевъ блистательная побѣда при Ольдендорфѣ. Въ этомъ сраженіи показалъ себя достойнымъ своего происхожденія графъ фонъ Вазабургъ, побочный сынъ Густава Адольфа. Шестнадцать пушекъ, весь императорскій обозъ и семьдесятъ четыре знамени достались шведамъ; около трехъ тысячъ непріятелей осталось на мѣстѣ и почти столько же было взято въ плѣнъ. Городъ Оснабрюкъ былъ взятъ шведскимъ полковникомъ Книпгаузеномъ, а Падербонъ ландграфомъ гессенъ-касельскимъ; но за то шведы должны были уступить императорскимъ войскамъ весьма важный городъ Бюкебургъ. Почти на всѣхъ концахъ Германіи торжество было на сторонѣ шведскаго оружія и годъ, прошедшій послѣ смерти Густава Адольфа, не обнаруживалъ никакихъ слѣдовъ потери, понесенной въ лицѣ великаго вождя.

При повѣствованіи о важнѣйшихъ событіяхъ, ознаменовавшихъ военныя дѣйствія 1633 года, должно вызвать справедливое изумленіе баздѣйствіе человѣка, возбуждавшаго наибольшія ожиданія. Среди всѣхъ полководцевъ, дѣянія которыхъ занимали насъ въ эту кампанію, никто не могъ сравниться по опытности, дарованіямъ и военной славѣ съ Валленштейномъ, и между тѣмъ именно онъ скрывается изъ виду послѣ люценскаго сраженія. Гибель его великаго противника представляетъ ему нераздѣльно все поприще славы; все вниманіе Европы приковано съ нетерпѣніемъ къ подвигамъ, которымъ суждено изгладить память о его пораженіи и показать міру его воинскій геній. А онъ остается въ Богеміи, не подавая ни признака жизни, въ то время какъ пораженія императора въ Баваріи, въ нижней Саксоніи, на Рейнѣ настоятельно требуютъ его присутствія,— равно непроницаемая тайна для друга и недруга, ужасъ и въ то же время послѣдняя надежда для императора. Съ непонятной поспѣшностью онъ удалился послѣ пораженія при Люценѣ въ Богемію, гдѣ назначилъ строжайшее слѣдствіе объ образѣ

дѣйствій своихъ офицеровъ въ этомъ сраженіи. Тѣ, кого военный судъ призналъ виновными, были съ неумолимой суровостью приговорены къ смертной казни; тѣ, которые отличились, награждены съ королевской щедростью, а память усопшихъ увѣковѣчена великолѣпными монументами. Всю зиму онъ угнеталъ императорскія провинціи невѣроятными контрибуціями и зимними квартирами, которыя онъ съ умысломъ занялъ не въ непріятельскихъ земляхъ, чтобы высосать всѣ соки изъ австрійскихъ владѣній. Вмѣсто того, чтобы съ своей отдохнувшей и отборной арміей открыть военныя дѣйствія прежде всѣхъ при наступленіи весны 1633 года, чтобы возстать во всемъ величіи своего военнаго генія, онъ появился въ полѣ послѣднимъ и театромъ войны сдѣлалъ наслѣдственную землю императора.

Изъ всѣхъ австрійскихъ провинцій Силезія подвергалась наибольшей опасности. Три различныя арміи—шведская подъ начальствомъ графа Турна, саксонская подъ начальствомъ Арнгейма и герцога лауенбургскаго и бранденбургская подъ командой Боргсдорфа—одновременно начали кампанію въ этой провинціи. Они овладѣли уже важнѣйшими крѣпостями, и даже Бреславль перешелъ на сторону союзниковъ. Но именно это множество военачальниковъ и армій сохранило императору эту область, ибо зависть генераловъ и взаимная ненависть шведовъ и саксонцевъ не позволяла имъ дѣйствовать согласно. Арнгеймъ и Турнъ враждовали изъ-за первенства; бранденбургцы и саксонцы дѣйствовали единодушно противъ шведовъ, на которыхъ они смотрѣли какъ на тягостныхъ иноземцевъ и которымъ, по возможности, старались вредить. Наоборотъ, саксонцы были въ очень хорошихъ отношеніяхъ съ императорскими войсками, и нерѣдко офицеры обѣихъ враждующихъ армій обмѣнивались визитами и устраивали другъ другу пиры. Императорскимъ войскамъ позволялось безпрепятственно увозить свои имущества, и многіе саксонцы не скрывали даже, что получаютъ изъ Вѣны большія суммы. Среди такихъ двуличныхъ союзниковъ шведы чувствовали себя проданными и преданными; думать о серьезныхъ дѣйствіяхъ при такихъ раздорахъ было невозможно. Генералъ Арнгеймъ отсутствовалъ почти все время, а когда онъ наконецъ снова явился въ арміи, Валленштейнъ съ страшной арміей уже приблизился къ границѣ.

Онъ наступалъ съ сорокатысячнымъ войскомъ, а союзники могли выставить противъ него не болѣе двадцати четырехъ тысячъ человѣкъ. Они, однако, хотѣли рискнуть на сраженіе и появились у Мюнстерберга, гдѣ онъ расположился укрѣпленнымъ лагеремъ. Но Валленштейнъ продержалъ ихъ здѣсь цѣлую недѣлю, не дѣлая ни малѣйшаго движенія; затѣмъ, покинувъ свои укрѣпленія, онъ гордымъ, спокойнымъ шагомъ прошелъ мимо ихъ лагеря. И послѣ выступленія, когда расхрабрившійся непріятель слѣдовалъ за нимъ по пятамъ, онъ не воспользовался случаемъ. Настойчивость, съ которой онъ уклонялся отъ сраженія, объясняли страхомъ; но Валленштейнъ, въ виду своей многолѣтней военной славы, могъ спокойно подвергнуться такому упреку. Самолюбіе союзниковъ скрывало отъ нихъ, что онъ играетъ ими и что великодушно отказывается отъ побѣды надъ ними, потому что пораженіе ихъ было теперь для него безполезно. Но чтобы показать имъ, что онъ господинъ положенія и что не страхъ удерживаетъ его въ бездѣятельности, онъ приказалъ заколоть коменданта одного укрѣпленнаго замка, попавшаго ему въ руки, за то, что тотъ не сразу сдалъ укрѣпленіе, которое нельзя было защищить.

Девять дней стояли обѣ арміи другъ противъ друга на разстояніи мушкетнаго выстрѣла, какъ вдругъ изъ лагеря Валленштейна появился въ лагерѣ союзниковъ графъ Терцкій съ трубачемъ, чтобы пригласить Арнгейма на совѣщаніе. Совѣщаніе заключалось въ томъ, что Валленштейнъ, несмотря на свое превосходство, предлагалъ шестинедѣльное перемиріе. Онъ говорилъ, что „пришелъ для того, чтобы заключить вѣчный миръ со шведами и нѣмецкими государями, заплатить солдатамъ и дать каждому удовлетвореніе. Все зависитъ отъ него, и если въ Вѣнѣ не захотятъ подтвердить это соглашеніе, то онъ соединится съ союзниками и (это, правда, онъ шепнулъ Арнгейму только на ухо) отправитъ императора ко всѣмъ чертямъ". На второмъ свиданіи онъ высказался предъ графомъ Турномъ еще опредѣленнѣе. „Всѣ привилегіи, заявилъ онъ будутъ подтверждены на-ново, всѣ чешскіе изгнанники возвращены на родину и получатъ все свое достояніе; онъ самъ первый возвратитъ имъ свою часть. Іезуиты, какъ виновники всѣхъ прежнихъ притѣсненій, будутъ изгнаны, съ Швеціей разсчитаются деньгами, платежи которыхъ будутъ разсрочены на извѣстное

время, всѣ остальныя войска обѣихъ сторонъ будутъ отправлены противъ турокъ". Послѣдній пунктъ содержалъ ключъ ко всей загадкѣ. „Если онъ станетъ носителемъ чешской короны, то всѣ изгнанники будутъ славить его великодушіе, во всемъ королевствѣ воцарится полная свобода совѣсти, пфальцскій домъ будетъ возстановленъ въ своихъ прежнихъ правахъ и маркграфство моравское вознаградитъ герцога за потерянный Мекленбургъ. Затѣмъ союзныя арміи идутъ подъ его начальствомъ на Вѣну, чтобы съ оружіемъ въ рукахъ заставить императора подтвердить этотъ договоръ".

Итакъ, спалъ покровъ съ сокровеннаго замысла, надъ которымъ герцогъ трудился цѣлые годы въ таинственномъ мракѣ. Сами обстоятельства указывали, что пора приступить къ его осуществленію. Лишь слѣпое довѣріе къ военному счастію и несравненному генію герцога фридландскаго внушило императору твердость, съ которой онъ, вопреки всѣмъ представленіямъ Баваріи и Испаніи, въ ущербъ своему собственному значенію, вручилъ этому властолюбивому человѣку столь неограниченную власть. Но эта вѣра въ непобѣдимость Валленштейна была давно потрясена его долгимъ бездѣйствіемъ и почти совершенно разрушена послѣ его пораженія при Люценѣ. Снова закопошились его прежніе враги при дворѣ Фердинанда, и недовольство императора, обманувшагося въ своихъ надеждахъ, давало ихъ наговорамъ желательный пріемъ у государя. Все поведеніе герцога было подвергнуто язвительной критикѣ, настойчиво отмѣчено его надменное упорство и неповиновеніе приказамъ императора, на помощь привлечены жалобы австрійскихъ подданныхъ на его невѣроятные грабежи, подвергнута сомнѣнію его вѣрность и брошенъ страшный намекъ на его тайныя намѣренія. Эти обвиненія, находившія убѣдительныя доказательства во всемъ образѣ дѣйствій герцога, не замедлили пустить глубокіе корни въ душѣ Фердинанда; но шагъ былъ сдѣланъ,—и громадная власть, которой облеченъ былъ герцогъ, не могла быть у него отнята безъ большой опасности. Урѣзать ее незамѣтно — вотъ все, что могъ сдѣлать императоръ; для того, чтобы выполнить это съ нѣкоторымъ успѣхомъ, необходимо было раздѣлить ее и прежде всего постараться выйти изъ зависимости отъ его произвола. Но этого права лишалъ императора договоръ, заключенный съ Валленштейномъ, котораго собственноручная подпись императора защищала отъ всякой попытки дать ему въ товарищи другого полководца или отдавать непосредственныя приказанія его арміи. Такъ какъ невозможно было ни соблюдать, ни уничтожить этотъ пагубный договоръ, то оставалось вывернуться коварной уловкой. Валленштейнъ былъ императорскимъ главнокомандующимъ въ Германіи, но далѣе предѣлы его власти не простирались, и онъ не могъ изъявить притязаній на начальство надъ иноземной арміей. Поэтому набираютъ въ Миланѣ испанскую армію и отправляютъ ее въ Германію подъ начальствомъ испанскаго генерала. Валленштейнъ перестаетъ такимъ образомъ быть безусловно необходимымъ, ибо онъ уже пересталъ быть единственнымъ, и въ случаѣ нужды есть кого обратить противъ него.

Быстро и глубоко почувствовалъ герцогъ, откуда исходитъ и къ чему стремится этотъ ударъ. Напрасно онъ протестовалъ предъ кардиналомъ - инфантомъ противъ такого противнаго договора новшества; итальянская армія двинулась въ Германію, и его принудили послать ей на помощь генерала Альтрингера съ подкрѣпленіемъ. Правда, ему удалось строгими предписаніями такъ связать руки послѣднему, что итальянская армія въ Эльзасѣ и Швабіи снискала очень мало славы; но этотъ самовольный поступокъ двора лишилъ его прежняго спокойствія и предупредилъ его о надвигающейся опасности. Чтобы не разстаться вторично со своей властью, а вмѣстѣ съ нею съ плодами всѣхъ своихъ стараній, онъ долженъ былъ не медлить выполненіемъ своихъ замысловъ. Устранивъ подозрительныхъ офицеровъ и щедро награждая остальныхъ, онъ обезпечилъ себѣ преданность своихъ войскъ. Всѣми остальными сословіями государства, всѣми завѣтами справедливости и человѣчности пожертвовалъ онъ благу арміи—и онъ разсчитывалъ на ея признательность. Замышляя дать міру неслыханный примѣръ неблагодарности къ творцу своего счастія, онъ основывалъ все свое благополучіе на благодарности, которую должны были выказать ему другіе.

Предводители силезскихъ армій не имѣли отъ своихъ правителей такихъ полномочій, которыя давали бы имъ возможность самостоятельно согласиться на чрезвычайныя предложенія Валленштейна, и даже требуемое имъ перемиріе рѣшились заключить не долѣе, какъ на четырнадцать дней.

Прежде чѣмъ герцогъ рѣшился высказаться предъ шведами и саксонцами, онъ счелъ полезнымъ обезпечить себя въ своемъ отважномъ предпріятіи содѣйствіемъ Франціи. Съ этой цѣлью велись при посредствѣ графа Кинскаго тайные, но весьма осторожные переговоры съ французскимъ уполномоченнымъ въ Дрезденѣ Фекьеромъ, исходъ которыхъ вполнѣ соотвѣтствовалъ желаніямъ герцога. Фекьеръ получилъ отъ своего двора приказаніе обѣщать всякую помощь со стороны Франціи и въ случаѣ нужды предложить герцогу значительную денежную субсидію.

Но именно эти перемудренныя старанія обезпечить себя со всѣхъ сторонъ погубили герцога. Съ величайшимъ изумленіемъ узналъ французскій посолъ, что замыселъ, болѣе чѣмъ какой либо другой нуждающійся въ тайнѣ, открытъ шведамъ и саксонцамъ. Саксонское министерство, какъ было всѣмъ извѣстно, было предано интересамъ императора; условія, предложенныя шведамъ, соотвѣтствовали ихъ ожиданіямъ слишкомъ мало, чтобы вызвать ихъ согласіе. Поэтому Фекьеръ считалъ совершенно непонятнымъ, какъ герцогъ можетъ серьезно разсчитывать на поддержку первыхъ и молчаніе послѣднихъ. Онъ открылъ свои сомнѣнія и опасенія шведскому канцлеру, который питалъ столь же большое недовѣріе къ намѣреніямъ Валленштейна и еще меньше приходилъ въ восторгъ отъ его предложеній. Хотя для него не было тайной, что герцогъ и ранѣе велъ такіе же переговоры съ Густавомъ Адольфомъ, но онъ не могъ понять, какимъ образомъ ему удастся склонить къ измѣнѣ цѣлую армію и исполнить свои неисполнимыя обѣщанія. Столь фантастическій планъ и столь безразсудный образъ дѣйствій не согласовался, по его мнѣнію, съ замкнутымъ и недовѣрчивымъ характеромъ герцога, и все это было объяснено притворствомъ и обманомъ, ибо скорѣе можно было сомнѣваться въ честности герцога, чѣмъ въ его умѣ. Колебанія Оксенштирны сообщились, наконецъ, самому Арнгейму, который, въ полномъ довѣріи къ искренности Валленштейна, отправился къ канцлеру въ Гельнгаузенъ, чтобы убѣдить его отдать въ распоряженіе герцога свои лучшіе полки. Явилось подозрѣніе, что все предложеніе есть лишь искусная западня, разставленная для того, чтобы обезоружить союзниковъ и отдать лучшую часть ихъ войскъ въ руки императора. Всѣмъ достаточно извѣстная нравственная личность Валленштейна не противорѣчила этому подозрѣнію, а противорѣчія, въ которыя онъ запутался впослѣдствіи, вызвали въ концѣ концовъ полное недовѣріе къ нему. Стараясь привлечь на свою сторону шведовъ и даже требуя отъ нихъ ихъ лучшихъ войскъ, онъ говорилъ Арнгейму, что надо начать съ изгнанія шведовъ изъ Германіи; а въ то время какъ саксонскіе офицеры, довѣряя безопасности перемирія, гостили у него въ большомъ числѣ, онъ сдѣлалъ неудачную попытку захватить ихъ въ плѣнъ. Онъ первый нарушилъ перемиріе, которое нѣсколько мѣсяцевъ спустя возобновилъ лишь съ большими усиліями. Всякое довѣріе къ нему исчезло и въ концѣ концовъ во всемъ его образѣ дѣйствій стали видѣть одну сѣть обмановъ и гнусныхъ уловокъ для того, чтобы ослабить союзниковъ и усилиться самому. Этого онъ, правда, достигъ, такъ какъ его армія увеличивалась съ каждымъ днемъ, а войска союзниковъ уменьшились больше, чѣмъ на половину, вслѣдствіе побѣговъ и дурного содержанія. Но онъ не сдѣлалъ изъ своего перевѣса того употребленія, какого ждали въ Вѣнѣ. Въ то время, когда всѣ разсчитывали на рѣшительный ударъ, онъ вдругъ возобновилъ переговоры; а когда перемиріе вполнѣ успокоило союзниковъ, онъ вдругъ началъ военныя дѣйствія. Всѣ эти противорѣчія коренились въ двойственномъ и непримиримомъ намѣреніи разомъ погубить императора и шведовъ и заключить съ саксонцами отдѣльный миръ.

Недовольный неудачами переговоровъ, онъ рѣшилъ наконецъ проявить свою силу, тѣмъ болѣе, что стѣсненное положеніе имперіи и возрастающее неудовольствіе при вѣнскомъ дворѣ не позволяли ему оставаться долѣе въ бездѣйствіи. Еще до заключенія послѣдняго перемирія генералъ фонъ Голькъ вторгся изъ Богеміи въ Мейсенъ, уничтожая огнемъ и мечомъ все, что лежало на его пути, загналъ курфюрста въ его крѣпости и взялъ Лейпцигъ. Но перемиріе въ Силезіи остановило его грабежи, а послѣдствія его распутства свели его въ могилу въ Адорфѣ. По окончаніи перемирія Валленштейнъ снова какъ будто собирался напасть чрезъ Лузацію на Саксонію и распустилъ слухи, что Пикколомини уже вторгся туда. Узнавъ объ этомъ, Арнгеймъ оставляетъ свой лагерь въ Силезіи и спѣшитъ вслѣдъ за нимъ на помощь курфюршеству. Но этимъ онъ оставляетъ безъ прикрытія шведовъ, стоявшихъ въ небольшомъ

Бернгардтъ Веймарскій. Гравюра Іоганна Дюра.

числѣ у Штейнау на Одерѣ подъ начальствомъ графа Турна; это именно и было желательно герцогу. Заставивъ саксонскаго генерала отойти на шестнадцать миль въ Мейсенскій округъ, онъ неожиданно повернулъ обратно къ Одеру, гдѣ ошеломилъ своимъ появленіемъ шведскую армію. Шведская кавалерія была разбита посланнымъ впередъ генераломъ Шафготшемъ, а пѣхота окружена при Штейнау слѣдовавшей за нимъ арміей герцога. Валленштейнъ далъ графу Турну полчаса на размышленіе, рѣшается ли онъ съ двумя съ половиною тысячами человѣкъ драться противъ двадцати тысячъ или сдается на милость побѣдителя. При такихъ обстоятельствахъ колебаться было невозможно. Вся армія сдается, и безъ пролитія капли крови одержана полная побѣда. Знамена, обозъ и орудія достаются побѣдителю, офицеры взяты подъ арестъ, рядовые распредѣлены по полкамъ. И вотъ наконецъ послѣ четырнадцатилѣтнихъ скитаній, послѣ безчисленныхъ превратностей судьбы зачинщикъ чешскаго возстанія, чуть не первый виновникъ всей этой пагубной войны, ославленный графъ Турнъ — въ рукахъ своихъ враговъ. Съ кровожаднымъ нетерпѣніемъ ожидаютъ въ

Вѣнѣ прибытія этого страшнаго преступника и въ злобномъ торжествѣ наслаждаются заранѣе предстоящимъ закланіемъ такой жертвы на алтарѣ справедливости. Но лишить іезуитовъ этого наслажденія было торжествомъ гораздо болѣе сладостнымъ — и Турнъ былъ выпущенъ на свободу. Къ счастью для него, онъ зналъ больше, чѣмъ должны были знать въ Вѣнѣ, и враги Валленштейна были также и его врагами. Пораженіе простили бы герцогу въ Вѣнѣ; этой обманутой надежды не могли ему простить никогда. „Да что мнѣ было дѣлать съ этимъ сумасшедшимъ?"—пишетъ онъ съ злобнымъ издѣвательствомъ министрамъ, требовавшимъ объясненія по поводу столь неумѣстнаго великодушія. „Дай Богъ, чтобы у непріятеля всѣ генералы были вродѣ этого! Во главѣ шведскихъ войскъ онъ намъ будетъ болѣе полезенъ, чѣмъ въ темницѣ".

За побѣдой при Штейнау слѣдовало непосредственно взятіе Лигница, Гросъ-Глогау и наконецъ Франкфурта на Одерѣ. Шафготшъ, оставшійся въ Силезіи для того, чтобы закончить покореніе этой провинціи, осадилъ Бригъ и тщетно тѣснилъ Бреславль, такъ какъ этотъ вольный городъ дорожилъ своими привилегіями и оставался вѣренъ шведамъ Полковниковъ Илло и Геца Валленштейнъ отправилъ къ Вартѣ съ приказомъ вторгнуться въ Померанію вплоть до береговъ Балтійскаго моря, и они въ самомъ дѣлѣ овладѣли ключомъ Помераніи, Ландсбергомъ. Между тѣмъ какъ курфюрстъ бранденбургскій и герцогъ померанскій трепетали за свои владѣнія, самъ Валленштейнъ вторгся съ остальной арміей въ Лузацію, гдѣ онъ взялъ приступомъ Герлицъ и принудилъ къ сдачѣ Бауценъ. Но онъ намѣренъ былъ, не пользуясь добытыми преимуществами, лишь напугать курфюрста саксонскаго, и съ мечомъ въ рукѣ продолжалъ дѣлать Бранденбургу и Саксоніи мирныя предложенія, не увѣнчавшіяся успѣхомъ по прежнему, такъ какъ онъ длиннымъ рядомъ противорѣчій погубилъ всякое довѣріе къ себѣ. Теперь Валленштейнъ могъ обратить всѣ свои силы противъ злополучной Саксон и и достигъ бы, наконецъ, своей цѣли посредствомъ оружія, но обстоятельства заставили его покинуть эти земли. Побѣды герцога Бернгарда на Дунаѣ, грозившія серьезной опасностью самой Австріи, настоятельно требовали его присутствія въ Баваріи, а изгнаніе саксонцевъ и шведовъ изъ Силезіи лишало его всякаго предлога противиться долѣе императорскимъ приказаніямъ и оставлять безъ помощи курфюрста баварскаго. Итакъ онъ двинулся съ главной арміей къ верхнему Пфальцу, и его отступленіе избавило навсегда верхнюю Саксонію отъ этого страшнаго врага.

Пока было возможно, Валленштейнъ затягивалъ спасеніе Баваріи и издѣвался надъ повелѣн ями императора посредствомъ самыхъ неосновательныхъ увертокъ. Правда, послѣ многократныхъ просьбъ онъ послалъ наконецъ изъ Богеміи нѣсколько полковъ на помощь графу Альтрингеру, который старался отстоять Лехъ и Дунай отъ Горна и Бернгарда, но съ неизмѣннымъ приказаніемъ не выступать изъ оборонительнаго положенія. Въ отвѣтъ на всѣ мольбы императора и курфюрста онъ указывалъ на Альтрингера, который, какъ онъ утверждалъ оффиціально, получилъ отъ него неограниченныя полномочія, но на самомъ дѣлѣ былъ связанъ строжайшими инструкціями, которыя не смѣлъ нарушить подъ угрозой смертной казни. Вслѣдъ за появленіемъ герцога Бернгарда подъ стѣнами Регенсбурга и вслѣдствіе новыхъ настоятельныхъ просьбъ императора и курфюрста о помощи, онъ посулилъ было прислать на Дунай генерала Галласа съ значительнымъ войскомъ; но и это не было сдѣлано, и вслѣдъ за епископствомъ эйхштетскимъ перешли къ шведамъ теперь Регенсбургъ, Штраубингъ и Хамъ. Но когда уклоняться отъ исполненія настойчивыхъ приказаній двора стало рѣшительно невозможно, онъ сталъ съ возможной медленностью подвигаться къ баварской границѣ, гдѣ обложилъ взятый шведами Хамъ. Услышавъ, однако, что, шведы дѣятельно стараются отвлечь его при посредствѣ саксонцевъ въ Богемію, онъ воспользовался этимъ слухомъ, чтобы возможно скорѣе и не сдѣлавъ ровно ничего возвратиться въ Богемію. Прежде всего—утверждалъ онъ—охрана и защита императорскихъ владѣній; и потому онъ оставался точно прикованный въ Богеміи и охранялъ это королевство, какъ будто оно было уже его собственностью. Императоръ повторилъ еще болѣе настойчивымъ тономъ приказаніе двинуться къ Дунаю и воспрепятствовать опасному пребыванію герцога веймарскаго на австрійскихъ границахъ, но Валленштейнъ закончилъ уже кампанію этого года и снова расположилъ свои войска на зимнихъ квартирахъ въ изнемогшемъ королевствѣ.

Столь продолжительное упорство, столь

безпримѣрное пренебреженіе ко всѣмъ приказаніямъ императора, столь умышленное невниманіе къ общему благу, въ связи съ столь двусмысленнымъ образомъ дѣйствій по отношенію къ непріятелю, должно было наконецъ убѣдить императора въ справедливости предосудительныхъ слуховъ, давно уже наполнявшихъ всю Германію Долго удавалось Валленштейну прикрывать призракомъзаконности свои преступные переговоры съ непріятелемъ и убѣждать всегда благосклоннаго къ нему императора, что цѣлью этихъ тайныхъ сношеній служитъ миръ Германіи. Но какъ ни былъ онъ убѣжденъ, что замыслы его непроницаемы, весь его образъ дѣйствій въ своей совокупности вполнѣ оправдывалъ обвиненія, которыми его противники неустанно осаждали вниманіе императора. Чтобы удостовѣриться въ основательности или неосновательности этихъ обвиненій на мѣстѣ, императоръ не разъ уже посылалъ шпіоновъ въ лагерь Валленштейна, но они возвращались съ одними предположеніями, такъ какъ герцогъ остерегался дать что либо письменное. Но когда наконецъ сами министры, неизмѣнные защитники Валленштейна при дворѣ, владѣнія которыхъ герцогъ разорялъ наравнѣ съ прочими, стали на сторону его противниковъ, когда курфюрстъ баварскій бросилъ угрозу, что онъ примирится со шведами, если Валленштейнъ не будетъ отставленъ, когда, наконецъ, его отставки настоятельно потребовалъ испанскій посолъ, грозя въ случаѣ отказа прекращеніемъ субсидій отъ своего двора,—императоръ вторично счелъ себя вынужденнымъ отставить Валленштейна.

Самовластныя и непосредственныя распоряженія императора по арміи не замедлили показать герцогу, что договоръ съ нимъ считается уничтоженнымъ и что отставка его неизбѣжна. Одинъ изъ его помощниковъ въ Австріи, которому Валленштейнъ подъ угрозой смертной казни запретилъ повиноваться двору, получилъ непосредственно отъ императора приказъ присоединиться къ курфюрсту баварскому, и самому Валленштейну передано было повелѣніе послать нѣсколько полковъ на помощь къ кардиналу-инфанту, шедшему съ арміей изъ Италіи. Всѣ эти распоряженія указывали герцогу, что принято твердое рѣшеніе—мало-по-малу обезоружить его, а затѣмъ, слабаго и беззащитнаго, уничтожить однимъ ударомъ.

Во имя собственнаго спасенія онъ долженъ былъ теперь спѣшить съ осуществленіемъ замысла, первоначально предназначеннаго лишь для его возвышенія. Онъ медлилъ его исполненіемъ дольше, чѣмъ предписывало благоразуміе, потому что онъ все еще не могъ дождаться благопріятнаго сочетанія звѣздъ или,—какъ онъ обыкновенно успокаивалъ нетерпѣніе своихъ друзей,—„потому что еще не настало время". Время не настало и теперь, но критическое положеніе не позволяло ему ожидать благосклонности звѣздъ. Прежде всего было необходимо удостовѣриться въ вѣрности главныхъ начальниковъ, а затѣмъ испытать преданность войскъ, которую онъ считалъ столь безграничной. Три вождя, полковники Кинскій, Терцкій и Илло, давно уже были участниками заговора, а первые два были связаны съ его интересами узами родства. Равное честолюбіе, равная ненависть къ правительству и надежда на неслыханныя награды связывали ихъ тѣснѣйшими узами съ Валленштейномъ, который не пренебрегалъ гнуснѣйшими средствами для увеличенія числа своихъ приверженцевъ. Полковника Илло онъ какъ-то убѣдилъ ходатайствовать въ Вѣнѣ о графскомъ титулѣ, обѣщая ему при этомъ свою могущественную помощь. Но въ тайнѣ онъ написалъ министру, чтобы тотъ отказалъ въ просьбѣ Илло, такъ какъ иначе, по его словамъ, явятся еще многіе, имѣющіе такія же заслуги,—и станутъ требовать такой-же награды. По возвращеніи Илло въ армію, Валленштейнъ прежде всего спросилъ объ исходѣ его ходатайства, и когда тотъ сообщилъ ему о полной неудачѣ, герцогъ разразился страшнымъ негодованіемъ противъ двора. „Вотъ чего добились мы за нашу вѣрную службу,—воскликнулъ онъ,—вотъ какъ цѣнятъ мои просьбы: за ваши заслуги отказываютъ въ такой ничтожной наградѣ! Кто захочетъ далѣе служить такому неблагодарному повелителю. Нѣтъ, что до меня, то я отнынѣ отъявленный врагъ австрійскаго дома". Илло согласился,—и тѣсный союзъ былъ заключенъ между ними.

Но что было извѣстно этимъ тремъ наперсникамъ герцога, долго оставалось непроницаемой тайной для остальныхъ, и увѣренность, съ которой Валленштейнъ говорилъ о преданности своихъ офицеровъ, основывалась исключительно на благодѣяніяхъ, которыя онъ имъ оказывалъ, и на ихъ недовольствѣ дворомъ. Но прежде чѣмъ снять маску и рѣшиться на открытый шагъ противъ императора, это шаткое предполо-

женіе необходимо было обратить въ увѣренность. Графъ Пикколомини, тотъ самый, который въ битвѣ при Люценѣ выказалъ столь безпримѣрное мужество, былъ первымъ, чья вѣрность подвергнута была испытанію. Герцогъ обязалъ этого генерала большими подарками и оказывалъ ему предпочтеніе, потому что Пикколомини родился подъ однимъ созвѣздіемъ съ нимъ. Онъ объяснилъ ему, что вслѣдствіе неблагодарности императора и неизбѣжной опасности, онъ принялъ неизмѣнное рѣшеніе покинуть сторону Австріи, перейти съ лучшей частью арміи къ непріятелю, напасть со всѣхъ сторонъ на Австрію и бороться съ ней, до тѣхъ поръ пока австрійскій домъ будетъ искорененъ совершенно. Въ этомъ дѣлѣ онъ разсчитываетъ прежде всего на Пикколомини и давно уже придумывалъ для него блистательнѣйшую награду.— Когда тотъ, чтобы скрыть замѣшательство, вызванное въ немъ столь ошеломляющимъ предложеніемъ, заговорилъ о препятствіяхъ и опасностяхъ, связанныхъ съ столь рискованнымъ предпріятіемъ, Валленштейнъ посмѣялся надъ его страхомъ. „Въ такихъ рискованныхъ дѣлахъ,—воскликнулъ онъ,—тяжело только начало"; звѣзды ему благопріятствуютъ, лучшихъ обстоятельствъ нельзя желать—немножко надо довѣрять и счастью. Его рѣшеніе неизмѣнно и если иначе не выйдетъ, то онъ готовъ искать спасенія хоть во главѣ тысячи всадниковъ. Пикколомини не рѣшился долгимъ противорѣчіемъ раздражать недовѣріе герцога и съ дѣланною готовностью уступилъ его доводамъ. Такъ велико было ослѣпленіе герцога, что онъ, несмотря на всѣ предостереженія графа Терцкаго, ни на минуту не усомнился въ искренности человѣка, который, не теряя ни мгновенія, поспѣшилъ сообщить объ этомъ чрезвычайномъ открытіи въ Вѣну.

Чтобы сдѣлать, наконецъ, рѣшительный шагъ къ цѣли, Валленштейнъ въ январѣ 1634 года созвалъ всѣхъ военачальниковъ въ Пильзенъ, гдѣ онъ расположился послѣ своего отступленія изъ Баваріи. Послѣднія требованія императора избавить его землю отъ военныхъ постоевъ, возвратить Регенсбургъ въ это суровое время года и уменьшить армію на шесть тысячъ человѣкъ кавалеріи ради подкрѣпленія кардинала-инфанта,—были достаточно важными обстоятельствами, чтобы подвергнуться обсужденію всего военнаго совѣта и этотъ благовидный предлогъ скрывалъ отъ любопытныхъ истинную цѣль съѣзда. Сюда же тайно были приглашены также шведы и саксонцы для мирныхъ переговоровъ съ герцогомъ фридландскимъ; съ начальниками болѣе отдаленныхъ отрядовъ предполагалось снестись письменно. Изъ приглашенныхъ командировъ явилось двадцать; но въ числѣ ихъ не было самыхъ важныхъ: Галласа, Колоредо и Альтрингера. Герцогъ послалъ имъ новое, болѣе настойчивое приглашеніе, а пока, въ ожиданіи ихъ скораго прибытія, приступилъ къ дѣлу.

Не легкая задача предстояла ему теперь: признать способнымъ на позорнѣйшую измѣну гордое, мужественное и дорожащее своею честью дворянство, явиться сразу негодяемъ, соблазнителемъ, мятежникомъ въ глазахъ тѣхъ, которые доселѣ привыкли чтить въ немъ отблескъ верховной власти, судью своихъ поступковъ, хранителя законовъ. Не легко было поколебать въ основахъ законную, укрѣпленную вѣками, освященную религіей и законами власть, разрушить всѣ чары воображенія и чувствъ,— грозныхъ хранителей законнаго престола, насильственной рукой искоренить тѣ неистребимыя чувства долга, которыя такъ громко и такъ мощно говорятъ въ груди каждаго подданнаго за природнаго государя. Но ослѣпленный блескомъ короны, Валленштейнъ не замѣтилъ пропасти, разверзшейся у его ногъ, и въ живомъ сознаніи своего могущества онъ забылъ—обычный удѣлъ могучихъ и отважныхъ душъ—оцѣнить по достоинству и обдумать всѣ препятствія. Валленштейнъ не видѣлъ предъ собой ничего кромѣ арміи, отчасти равнодушной ко двору, отчасти раздраженной противъ него,—арміи, привыкшей слѣпо преклоняться предъ его властью, дрожать предъ нимъ, какъ предъ своимъ законодателемъ и судьей, съ трепетнымъ благоговѣніемъ исполнять его приказанія подобно велѣніямъ рока. Въ безграничной лести, расточаемой его всемогуществу, въ дерзкихъ издѣвательствахъ надъ дворомъ и правительствомъ, которыя позволяла себѣ разнузданная военщина и извиняла лагерная распущенность, ему слышались истинныя помышленія арміи, а смѣлость, съ которой рѣшались порицать дѣйствія самого монарха, казалось ему порукой въ готовности войскъ отказаться отъ вѣрности столь презрѣнному властелину. Но страшнѣйшимъ противникомъ явилось предъ нимъ именно то, что онъ считалъ такимъ легкимъ; всѣ его разсчеты разбились о вѣр-

ность его войскъ своему долгу. Опьяненный могуществомъ надъ этими необузданными толпами, онъ приписывалъ все своему личному величію, не различая, въ какой степени онъ обязанъ самому себѣ и въ какой—своему сану. Все трепетало предъ нимъ, потому что онъ былъ носителемъ законной власти, потому что повиновеніе ему было долгомъ, потому что его авторитетъ былъ связанъ съ величіемъ престола. Величіе само по себѣ можетъ вызвать изумленіе и страхъ, но лишь законное величіе вызываетъ благоговѣніе и покорность. Этого незамѣнимаго преимущества онъ лишалъ себя съ того мгновенія, какъ открыто объявлялъ себя преступникомъ.

Фельдмаршалъ Илло взялся развѣдать настроеніе командировъ и подготовить ихъ къ шагу, котораго отъ нихъ ожидали. Онъ началъ съ того, что изложилъ предъ ними послѣднія требованія, предъявленныя дворомъ къ герцогу и арміи, и неблагопріятнымъ истолкованіемъ этихъ требованій онъ безъ труда воспламенилъ негодованіе всего собранія. Послѣ такого подходящаго вступленія, онъ съ большимъ краснорѣчіемъ распространился о заслугахъ арміи и ея вождя и о неблагодарности, которой императоръ платитъ за это. „Каждый шагъ двора подсказанъ Испаніей,—говорилъ онъ,—министерство получаетъ жалованье отъ Испаніи; лишь герцогъ фридландскій боролся до сихъ поръ съ этой тиранніей и тѣмъ навлекъ на себя смертельную ненависть испанцевъ. Давно уже,—продолжалъ онъ,—завѣтной цѣлью ихъ стремленій было добиться его отставки или совсѣмъ избавиться отъ него, а пока имъ удастся то или другое, они стараются лишить его власти надъ войскомъ. Вотъ почему такъ старались передать начальство королю венгерскому,—лишь для того чтобы по своему произволу водить на помочахъ этого принца, который всегда былъ покорной игрушкой чужихъ внушеній, и тѣмъ тверже укрѣпить испанское владычество въ Германіи. Лишь съ цѣлью уменьшить армію требуютъ отправки шести тысячъ человѣкъ къ кардиналу-инфанту; лишь для того, чтобы истощить ее зимнимъ походомъ настаиваютъ на завоеваніи Регенсбурга въ это суровое время года. Урѣзываютъ средства на содержаніе арміи, въ то время какъ іезуиты и министры обогащаются потомъ провинцій и расточаютъ деньги, предназначенныя для войскъ. Герцогъ сознается въ своемъ безсиліи сдержать слово, данное арміи, потому что дворъ ставитъ ему препятствія. За всѣ услуги, оказанныя имъ въ теченіе двадцати лѣтъ австрійскому дому, за всѣ трудности, понесенныя имъ, за всѣ богатства, истраченныя имъ ради интересовъ императора, его ждетъ теперь вторично позорная отставка. Но онъ заявилъ, что не допуститъ этого. Онъ добровольно отказывается отъ начальства прежде, чѣмъ у него вырвутъ изъ рукъ власть. „Вотъ что,—продолжалъ ораторъ,—поручилъ мнѣ герцогъ передать командирамъ. Пусть каждый самъ спроситъ себя, желательно-ли лишаться такого полководца. Пусть каждый подумаетъ, кто возмѣститъ ему суммы, издержанныя на императорской службѣ, и гдѣ получитъ онъ заслуженную награду за свою храбрость,—когда не будетъ того, на чьихъ глазахъ онъ выказалъ ее?“.

Общій крикъ, что отставка герцога невозможна, прервалъ оратора. Четверо старѣйшихъ изъ присутствующихъ, были избраны для того, чтобы передать герцогу желаніе собранія и молить его не покидать арміи. Послѣ притворнаго отказа и второй депутаціи—герцогъ сдался. Эта уступчивость съ его стороны, очевидно, заслуживала нѣкоторой благодарности отъ нихъ. Такъ какъ онъ обязался не подавать въ отставку безъ вѣдома и согласія командировъ, то онъ съ своей стороны потребовалъ отъ нихъ письменнаго обѣщанія сохранять вѣрность ему, никогда не разлучаться съ нимъ, не позволять разлучить его съ ними и не щадить за него послѣдней капли крови. А тотъ, кто откажется отъ союза, будетъ считаться предателемъ и измѣнникомъ и остальные будутъ съ нимъ обходиться, какъ съ общимъ врагомъ. Прямая оговорка—„пока Валленштейнъ будетъ употреблять армію на службу императора“—удаляла всякое недоумѣніе, и никто изъ собравшихся командировъ не усомнился одобрить безусловно столь невинное съ виду и столь справедливое требованіе.

Чтеніе документа происходило предъ банкетомъ, даннымъ фельдмаршаломъ Илло исключительно съ этой цѣлью; по окончаніи пиршества должны были приступить къ его подписанію. Хозяинъ постарался притупить сознаніе своихъ гостей крѣпкими напитками и подалъ бумагу къ подписи лишь тогда, когда замѣтилъ, что они совершенно одурманены винными парами.. Большинство легкомысленно начертало свое имя, не разбирая, что подписываетъ. Лишь

немногіе, болѣе любопытные или болѣе подозрительные, пробѣжали еще разъ актъ и съ изумленіемъ открыли, что прибавка—„пока Валленштейнъ будетъ употреблять армію на службу императора"—пропущена. Дѣйствительно, Илло съ ловкостью опытнаго фокусника подмѣнилъ первый экземпляръ другимъ, гдѣ этой оговорки не было. Обманъ раскрылся, и многіе отказывались теперь дать свою подпись. Пикколомини, понимавшій этотъ обманъ и присутствовавшій здѣсь лишь для того, чтобы сообщить обо всемъ двору, забылся подъ вліяніемъ винныхъ паровъ до такой степени, что предложилъ тостъ за здоровье императора. Но когда всталъ графъ Терцкій и объявилъ всякаго, кто теперь откажется,—гнуснымъ предателемъ, его угрозы, мысль о неизбѣжной опасности, сопряженной съ дальнѣйшимъ сопротивленіемъ, примѣръ толпы и краснорѣчіе Илло побѣдили въ концѣ концовъ колебанія — и документъ былъ подписанъ всѣми безъ исключенія.

Итакъ Валленштейнъ достигъ своей цѣли; но совершенно неожиданное сопротивленіе командировъ исторгло его сразу изъ сладостныхъ мечтаній, въ которыхъ онъ витalъ до сихъ поръ. Къ тому же большинство именъ было нацарапано такъ неразборчиво, что въ этомъ нельзя было не видѣть дурного умысла. Но вмѣсто того, чтобы подъ вліяніемъ этого предостерегающаго перста судьбы отдаться размышленію, онъ излилъ свое раздраженіе въ недостойныхъ жалобахъ и проклятіяхъ. Созвавъ къ себѣ командировъ на слѣдующее утро, онъ лично изложилъ имъ все содержаніе рѣчи, которую вчера держалъ предъ ними Илло. Изливъ свое негодованіе противъ двора въ яростныхъ упрекахъ и насмѣшкахъ, онъ напомнилъ имъ объ ихъ вчерашнемъ сопротивленіи и заявилъ, что вчерашнее открытіе заставляетъ его взять свое обѣщаніе назадъ. Безмолвно и удрученно разошлись командиры, но послѣ непродолжительнаго совѣщанія вновь явились въ пріемной, извиняясь во вчерашнемъ поведеніи и предлагая подписаться снова.

Теперь оставалось получить такое же обѣщаніе и отъ неявившихся генераловъ или же въ случаѣ сопротивленія лишить ихъ свободы. Поэтому Валленштейнъ возобновилъ свое приглашеніе, настойчиво побуждая ихъ поспѣшить пріѣздомъ. Но прежде, чѣмъ они прибыли, до нихъ дошла молва о томъ, что случилось въ Пильзенѣ; это пріостановило ихъ поспѣшность. Альтрингеръ подъ предлогомъ болѣзни остался въ крѣпости Фрауенбергѣ, Галласъ же, хотя явился, но лишь для того, чтобы въ качествѣ очевидца дать императору болѣе точныя свѣдѣнія о грозящей ему опасности. Сообщеніе его и Пикколомини сразу превратили опасенія двора въ ужасную увѣренность. Такія же открытія, сдѣланныя въ то же время въ другихъ мѣстахъ, не давали болѣе мѣста сомнѣніямъ, а быстрая смѣна комендантовъ въ силезскихъ и австрійскихъ крѣпостяхъ какъ будто указывала на весьма подозрительный оборотъ дѣлъ. Опасность была велика и требовала неотложныхъ мѣропріятій. Однако находя неудобнымъ начать съ исполненія приговора, собирались поступить по справедливости. Поэтому главнымъ начальникамъ, на преданность которыхъ полагались вполнѣ, были переданы тайные приказы взять какимъ бы то ни было образомъ герцога фридландскаго вмѣстѣ съ его приверженцами Илло и Терцкимъ подъ стражу и отправить въ безопасное мѣсто, гдѣ они могли бы быть допрошены и дать отчетъ въ своихъ поступкахъ. Если же будетъ невозможно выполнить это мирнымъ путемъ, то въ видахъ общественной безопасности они должны быть схвачены живыми или мертвыми. Въ то же время генералъ Галласъ получилъ открытый листъ, коимъ доводилось до свѣдѣнія всѣхъ командировъ и офицеровъ это императорское распоряженіе, вся армія освобождалась отъ своихъ обязанностей по отношенію къ измѣннику и до назначенія новаго главнокомандующаго поручалась генералъ-лейтенанту Галласу. Чтобы облегчить обманутымъ и отпавшимъ возвращеніе къ исполненію обязанностей, не повергая въ отчаяніе провинившихся, было объявлено полное прощеніе за все, что совершено было въ Пильзенѣ противъ его величества.

Генералу Галласу было не по себѣ отъ чести, которую ему оказывали. Онъ находился въ Пильзенѣ, на глазахъ того, чья судьба зависѣла отъ него, во власти врага, въ распоряженіи котораго были сотни глазъ для того, чтобы слѣдить за нимъ. Если Валленштейнъ откроетъ тайну порученія, возложеннаго на него, то ничто въ мірѣ не спасетъ его отъ мести и отчаянія герцога. Если такъ трудно было скрывать такое порученіе, то неизмѣримо страшнѣе было привести его въ исполненіе. Настроеніе командировъ было неизвѣстно, и можно было по крайней мѣрѣ сомнѣваться, захо-

тятъ ли они, сдѣлавши уже такой шагъ, повѣрить увѣреніямъ императора и разомъ отказаться отъ всѣхъ блестящихъ надеждъ, возложенныхъ ими на Валленштейна. И, наконецъ, какое дерзновенное дѣяніе—наложить руку на священную особу сановника, который до сихъ поръ считался неприкосновеннымъ, который долговременнымъ отправленіемъ высшей власти, повиновеніемъ, обратившимся въ привычку, сдѣлался предметомъ глубочайшаго благоговѣнія и былъ вооруженъ всѣмъ, что можетъ дать внѣшній блескъ и внутреннее величіе, одинъ взглядъ котораго внушалъ рабскій трепетъ и кто однимъ мановеніемъ рѣшалъ жизнь и смерть! Схватить, какъ простого преступника, такого человѣка среди тѣлохранителей, окружающихъ его, въ стѣнахъ города, очевидно, слѣпо ему преданнаго, предметъ исконнаго глубокаго преклоненія обратить разомъ въ предметъ жалости или издѣвательства,—предъ такимъ порученіемъ могъ остановиться и храбрѣйшій человѣкъ. Такъ глубоко затаены были въ груди его солдатъ страхъ и преклоненіе предъ нимъ, что даже такое чудовищное преступленіе, какъ государственная измѣна, не могло вырвать съ корнемъ эти чувства.

Галласъ понялъ невозможность исполнить свое порученіе на глазахъ герцога и завѣтнѣйшимъ желаніемъ его было, прежде чѣмъ рѣшиться на какой нибудь шагъ къ исполненію, предварительно переговорить съ Альтрингеромъ. Такъ какъ продолжительное отсутствіе послѣдняго начало уже возбуждать подозрѣніе герцога, то Галласъ вызвался лично отправиться въ Фрауенбергъ и заставить Альтрингера, какъ своего родственника, явиться въ Пильзенъ. Валленштейнъ принялъ это доказательство его усердія съ такою благосклонностью, что отправилъ его въ своемъ экипажѣ. Весьма довольный успѣхомъ своей уловки, Галласъ поспѣшилъ оставить Пильзенъ, поручивъ Пикколомини слѣдить за дѣйствіями Валленштейна; самъ однако не преминулъ, гдѣ возможно, сдѣлать употребленіе изъ императорскаго указа, который былъ принятъ войсками гораздо благопріятнѣе, чѣмъ онъ могъ ожидать. Вмѣсто того, чтобы привезти съ собой своего друга въ Пильзенъ, онъ отправилъ его въ Вѣну для охраны императора отъ угрожающаго ему нападенія, а самъ направился въ верхнюю Австрію, гдѣ приближеніе герцога веймарскаго Бернгарда вызывало чрезвычайную тревогу. Въ Богеміи города Будвейсъ и Таборъ были снова заняты войсками императора и приняты всѣ мѣры для того, чтобы быстро и энергично отразить всякій шагъ измѣнника.

Такъ какъ и Галласъ, очевидно, не думалъ о возвращеніи, то Пикколомини рѣшился еще разъ испытать легковѣріе герцога. Онъ испросилъ позволеніе поѣхать за Галласомъ, и Валленштейнъ дался второй разъ въ обманъ. Это непонятное ослѣпленіе является для насъ теперь естественнымъ порожденіемъ его гордости, которая никогда не позволяла ему отказаться отъ разъ составленнаго мнѣнія о человѣкѣ и не сознавалась даже самой себѣ въ возможности ошибиться. Графа Пикколомини онъ отправилъ также въ своемъ экипажѣ въ Линцъ, гдѣ тотъ не только не замедлилъ послѣдовать примѣру Галласа, но сдѣлалъ еще одинъ шагъ далѣе. Онъ обѣщалъ Валленштейну возвратиться; онъ и возвратился—но во главѣ цѣлой арміи, для того, чтобы напасть на герцога въ Пильзенѣ. Другое войско подъ начальствомъ генерала Суйса спѣшило въ Прагу, чтобы занять этотъ городъ для императора и охранить его отъ нападенія мятежниковъ. Въ то же время Галласъ возвѣщаетъ всѣмъ разсѣяннымъ арміямъ Австріи, что отнынѣ онъ является единственнымъ вождемъ, отъ котораго всѣ имѣютъ получать приказанія. Во всѣхъ императорскихъ лагеряхъ распространяются указы, въ которыхъ герцогъ вмѣстѣ съ четырьмя приверженцами объявленъ внѣ закона и арміи освобождены отъ всякихъ обязательствъ по отношенію къ измѣннику.

Примѣру, поданному въ Линцѣ, слѣдуютъ всѣ: память измѣнника предана проклятію; всѣ арміи отпадаютъ отъ него. Наконецъ, когда ужъ и Пикколомини не возвращается, падаетъ повязка съ глазъ Валленштейна, и въ ужасѣ пробуждается онъ отъ своего сна. Но и теперь еще онъ вѣритъ въ правдивость звѣздъ и въ преданность арміи. Въ отвѣтъ на извѣстіе объ отпаденіи Пикколомини онъ объявляетъ во всеуслышаніе, что впредь не должно повиноваться никакому приказанію, не исходящему отъ него непосредственно или отъ Терцкаго или Илло. Онъ поспѣшно готовится къ выступленію въ Прагу, гдѣ предполагаетъ, наконецъ, сбросить маску и объявить себя открыто врагомъ императора. Подъ Прагой должны собраться всѣ войска и отсюда съ быстротой молніи броситься на Австрію. Герцогъ Бернгардъ,

принявшій участіе въ заговорѣ, долженъ поддержать шведскими войсками дѣйствія герцога и сдѣлать диверсію на Дунаѣ. Уже Терцкій спѣшилъ въ Прагу и лишь недостатокъ въ лошадяхъ мѣшалъ герцогу послѣдовать за нимъ съ остальными вѣрными полками. Но съ нетерпѣніемъ ожидая извѣстій изъ Праги, онъ узнаетъ, что городъ этотъ потерянъ, его генералы измѣнили ему, его войска бѣжали, весь его заговоръ раскрытъ, и Пикколомини, поклявшійся погубить его, быстро идетъ на него. Стремительно и страшно было паденіе всѣхъ его замысловъ, разочарованіе во всѣхъ надеждахъ. Одинокій стоитъ онъ, покинутый всѣми, кого онъ облагодѣтельствовалъ, преданный всѣми, на кого онъ надѣялся. Но въ такихъ положеніяхъ узнаются великія натуры. Обманувшись во всѣхъ своихъ надеждахъ, онъ не отказывается ни отъ одного изъ своихъ замысловъ; онъ ничто не считаетъ потерянымъ, потому что не погибъ еще онъ самъ! Теперь насталъ моментъ, когда невозможно обойтись безъ вожделѣнной помощи шведовъ и саксонцевъ и когда исчезло всякое сомнѣніе въ искренности его намѣреній. И убѣдившись въ серьезности его дѣйствій и въ затруднительности его положенія, Оксенштирна и Арнгеймъ также не колеблятся долѣе воспользоваться благопріятнымъ случаемъ и обѣщаютъ ему поддержку. Со стороны саксонцевъ поручено герцогу Францу Альберту саксенъ-лауенбургскому доставить ему четыре тысячи, отъ шведовъ онъ долженъ получить чрезъ герцога Бернгарда и пфальцграфа биркенфельдскаго Христіана шесть тысячъ человѣкъ испытанныхъ войскъ. Покинувъ Пильзенъ съ полкомъ Терцкаго и немногими окружающими, которые остались или притворялись вѣрными ему, Валленштейнъ поспѣшилъ чрезъ Эгеръ къ границѣ королевства, чтобы быть ближе къ верхнему Пфальцу и тѣмъ легче соединиться съ герцогомъ Бернгардомъ. Приговоръ, объявлявшій его открытымъ врагомъ и измѣнникомъ, не былъ еще ему извѣстенъ; лишь въ Эгерѣ громомъ поразилъ его этотъ ударъ. Онъ разсчитывалъ еще на армію генерала Шафготша, стоявшую въ Силезіи, и по прежнему льстилъ себя надеждою, что многіе, даже изъ тѣхъ, которые измѣнили ему, вновь возвратятся къ нему при первомъ проблескѣ удачи. Даже во время бѣгства въ Эгеръ—такъ мало обуздало страшное испытаніе его отчаянную душу—еще занималъ его чудовищный планъ свергнуть императора съ престола. При этихъ обстоятельствахъ одинъ изъ окружающихъ попросилъ позволенія подать ему совѣтъ. „Для императора,—началъ онъ,—ваше высочество остаетесь извѣстнымъ, великимъ и весьма уважаемымъ сановникомъ: для непріятеля вы—сомнительный король. Благоразумно-ли рисковать извѣстнымъ ради неизвѣстнаго? Непріятель воспользуется вашей особой, потому что ему это удобно, но ваше высочество останетесь для него всегда въ подозрѣніи и онъ всегда будетъ бояться, что вы съ нимъ когда-нибудь поступите такъ же, какъ теперь съ императоромъ. Поэтому возвратитесь, пока не поздно". „Чтожъ будетъ тогда?" возразилъ герцогъ. „У васъ въ сундукахъ сорокъ тысячъ „солдатъ" (золотыхъ съ вычеканенными на нихъ латниками), отвѣтилъ тотъ. Захвативъ ихъ, прямо отправьтесь къ императорскому двору. Объясните тамъ, что вы поступали до сихъ поръ такимъ образомъ исключительно для того, чтобы испытать вѣрность императорскихъ слугъ и отличить благонамѣренныхъ отъ подозрительныхъ. И, такъ какъ многіе оказались склонными къ измѣнѣ, то вы и явились предостеречь его императорское величество отъ этихъ опасныхъ людей. Такимъ образомъ каждаго, кто хочетъ васъ сдѣлать преступникомъ, вы сдѣлаете измѣнникомъ. При императорскомъ дворѣ васъ съ сорока тысячами золотыхъ примутъ, разумѣется, съ распростертыми объятіями, и вы снова станете важной особой". „Совѣтъ не дуренъ—отвѣтилъ Валленштейнъ послѣ нѣкотораго раздумья—да чортъ его знаетъ къ чему онъ приведетъ!"

Между тѣмъ какъ герцогъ дѣятельно велъ изъ Эгера переговоры съ непріятелемъ, совѣщался съ звѣздами и отдавался новымъ надеждамъ, чуть не на его глазахъ оттачивался кинжалъ, положившій конецъ его жизни. Императорскій приговоръ, объявлявшій его внѣ покровительства законовъ, возымѣлъ свое дѣйствіе и мстительная Немезида приговорила неблагодарнаго пасть подъ ударами неблагодарности. Среди своихъ офицеровъ Валленштейнъ отличалъ особой благосклонностью одного ирландца по имени Лесли, вполнѣ облагодѣтельствовавъ этого человѣка. Вотъ кто почувствовалъ призваніе привести въ исполненіе смертный приговоръ надъ герцогомъ и выслужить кровавую награду. Едва этотъ Лесли успѣлъ появиться въ свитѣ герцога въ Эгерѣ, онъ поспѣшилъ раскрыть коменданту этого города, полковнику Бут-

Курфюрстъ Іоганнъ Георгъ Саксонскій.

Гравюра Самуила Вейсхуна (1635).

тлеру и лейтенанту Гордону,—шотландцамъ и протестантамъ—всѣ коварные замыслы герцога, который легкомысленно довѣрилъ ему ихъ по пути. Въ нихъ Лесли нашелъ двухъ человѣкъ, способныхъ на рѣшительный шагъ. Предстоялъ выборъ между измѣной и долгомъ, между законнымъ повелителемъ и бѣглымъ, всѣми покинутымъ предателемъ; то, что послѣдній былъ всеобщимъ благодѣтелемъ, не могло ни на мгновеніе поколебать ихъ выборъ. Они даютъ другъ другу торжественную клятву хранить непоколебимо вѣрность императору, а это требуетъ рѣшительныхъ дѣйствій противъ общаго врага. Обстоятельства благопріятны,—и злой духъ герцога самъ отдаетъ его въ руки мести. Но, чтобы не лишать правосудіе его законной жертвы, рѣшено предоставить ее суду живою и заговорщики разстаются, принявъ отважное рѣшеніе схватить полководца живымъ. Глубокая тайна облекаетъ этотъ мрачный заговоръ, и Валленштейнъ, не помышляя о нависшей надъ нимъ гибели, льститъ себя увѣренностью, что въ Эгерскомъ гарнизонѣ найдетъ своихъ храбрѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ защитниковъ.

Въ то-же время ему вручаютъ императорскіе указы, содержащіе его приговоръ и обнародованные во всѣхъ лагеряхъ. Теперь онъ сознаетъ размѣры опасности, угрожающей ему, всю невозможность отступленія, весь ужасъ своего одиночества, всю необходимость сдаться на произволъ непріятеля. Все раздраженіе своей раненой души онъ изливаетъ предъ Лесли, и ярость изступленія бѣшенства исторгаетъ у него его послѣднюю тайну. Онъ открываетъ этому офицеру свое рѣшеніе сдать пфальцграфу биркинфельдскому ключи королевства, Эгеръ и Эльбогенъ, и въ то же время сообщаетъ ему о предстоящемъ вскорѣ прибытіи въ Эгеръ герцога Бернгарда, о чемъ онъ получилъ спѣшное извѣстіе въ минувшую ночь. Это открытіе, поспѣшно сообщенное Лесли участникамъ заговора, измѣняетъ ихъ первоначальное рѣшеніе. Близкая опасность не оставляетъ мѣста пощадѣ. Эгеръ можетъ каждую минуту перейти въ руки непріятеля и внезапный переворотъ вновь дастъ свободу ихъ плѣннику. Во избѣжаніе этой неудачи они рѣшаютъ въ слѣдующую ночь лишить его жизни вмѣстѣ съ его преверженцами.

Чтобы совершить это какъ можно тише, рѣшено было покончить дѣло во время пиршества, даннаго полковникомъ Буттлеромъ въ егерскомъ замкѣ. Всѣ прочіе явились; лишь Валленштейнъ, слишкомъ взволнованный, чтобы принять участіе въ веселомъ обществѣ, прислалъ извиненіе. Пришлось такимъ образомъ по отношенію къ нему перемѣнить планъ; съ остальными рѣшено было поступить по уговору. Безъ всякаго подозрѣнія явились всѣ трое,—Илло, Терцкій и Вильгельмъ Кинскій, а съ ними также ротмистръ Нейманъ, весьма способный офицеръ, которому Терцкій обыкновенно поручалъ всякое замысловатое дѣло, требовавшее сообразительности. До ихъ прибытія, въ замокъ ввели надежнѣйшихъ солдатъ изъ гарнизона, также участвовавшаго въ заговорѣ, заняли всѣ выходы, а въ каморкѣ у столовой спрятали шесть буттлеровскихъ драгунъ, которые по условному знаку должны были выскочить и убить измѣнниковъ. Не помышляя объ опасности, уже висѣвшей надъ ихъ головами, предались безпечные гости наслажденіямъ пиршества и полными бокалами пили за здоровье Валленштейна,—уже не царскаго слуги, а самодержавнаго государя. Вино вызвало ихъ на откровенность, и Илло съ чрезвычайной самоувѣренностью заявилъ имъ, что черезъ три дня здѣсь будетъ армія, равной которой не было еще подъ рукой Валленштейна. „Да,—прервалъ Нейманъ—и тогда мы омоемъ руки въ австрійской крови". Среди этихъ разговоровъ подаютъ десертъ, и Лесли даетъ условный знакъ занять подъемный мостъ и беретъ всѣ ключи отъ замка. Столовая вдругъ наполняется вооруженными людьми, которые съ нежданнымъ привѣтствіемъ—„да здравствуетъ Фердинандъ!" становятся за креслами намѣченныхъ гостей. Ошеломленные, всѣ четверо, въпредчувствіи гибели, вскакиваютъ изъ-за стола. Кинскаго и Терцкаго закалываютъ сразу, прежде чѣмъ они успѣли схватиться за оружіе; Нейману удается во время смятенія бѣжать во дворъ, гдѣ однако часовые узнаютъ его и немедленно убиваютъ. Лишь Илло сохранилъ достаточно присутствія духа для защиты. Прислонившись къ окну, онъ осыпалъ горькими упреками въ предательствѣ Гордона, вызывая его на честный и рыцарскій бой. Лишь послѣ мужественной защиты, убивъ двоихъ изъ своихъ враговъ, онъ палъ, подавленный численностью нападающихъ и пораженный десятью ударами. Тотчасъ послѣ этого Лесли поспѣшилъ въ городъ, чтобы предупредить возможные безпорядки. Увидя, какъ онъ бѣжитъ задыхаясь, часовые у воротъ замка выстрѣлили

въ него, думая, что это одинъ изъ измѣнниковъ, но не попали. Эти выстрѣлы встревожили стражу во всемъ городѣ, и лишь благодаря скорому прибытію Лесли успокоились караульные. Онъ разсказалъ имъ послѣдовательно весь ходъ заговора герцога и мѣры, которыя приняты противъ него, судьбу четырехъ измѣнниковъ и участь, ожидающую самого предводителя. Найдя въ солдатахъ полную готовность содѣйствовать ему, онъ снова заставилъ ихъ присягнуть оставаться вѣрными императору и жить и умереть за правду. Послѣ этого изъ замка въ городъ отправлено сто буттлеровскихъ драгунъ съ порученіемъ объѣхать всѣ улицы, чтобы запугать приверженцевъ герцога и предотвратить всякую смуту. Въ тоже время всѣ ворота города заняты и всякій доступъ къ замку герцога, выходившему на рынокъ, прегражденъ многочисленнымъ и надежнымъ отрядомъ, такъ что герцогъ не можетъ ни ускользнуть, ни получить помощь извнѣ.

Но прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, заговорщики долго еще совѣщались въ замкѣ, убить ли въ самомъ дѣлѣ герцога или удовлетвориться его арестомъ. Обагренные кровью, и при видѣ труповъ зарѣзанныхъ сообщниковъ Валленштейна, эти свирѣпыя сердца содрогнулись предъ чудовищнымъ дѣяніемъ—покончить столь славную жизнь. Они видѣли его вождемъ въ сраженіи, въ дни его счастья, окруженнаго его побѣдоносной арміей, въ полномъ блескѣ своего властнаго величія,—и снова привычный страхъ охватываетъ ихъ трепетныя сердца. Но мысль объ угрожающей имъ опасности подавляетъ эту мимолетную слабость. На память приходятъ угрозы, высказанныя за столомъ Илло и Нейманомъ; предъ взоромъ ихъ саксонцы и шведы приближаются уже къ Эгеру съ страшной арміей и единственное спасеніе — въ немедленной гибели измѣнника. Первоначальное рѣшеніе остается такимъ образомъ неизмѣннымъ и приготовленному убійцѣ, ирландцу капитану Деверу, отданъ кровавый приказъ.

Между тѣмъ какъ въ Эггерскомъ замкѣ три заговорщика рѣшали участь Валленштейна, самъ онъ совѣщаясь съ Сени, старался прочитать ее въ звѣздахъ. „Опасность не миновала“,—изрекъ пророчески астрологъ. „Опасности нѣтъ“,—отвѣтилъ герцогъ, точно желая подчинить само небо своей волѣ. „Но что ты въ ближайшемъ будущемъ очутишься въ темницѣ,—продолжалъ онъ также пророчески,—это, другъ мой Сени, написано въ звѣздахъ“. Разставшись съ астрологомъ, Валленштейнъ былъ уже въ постели, когда капитанъ Деверу явился предъ его дворцомъ съ шестью аллебардистами и свободно былъ впущенъ въ замокъ часовыми, которые не разъ видѣли его входящимъ къ генералу въ необычное время и выходящимъ отъ него. Встрѣтивъ на лѣстницѣ пажа, который хотѣлъ закричать, его закололи пикой. Въ комнатѣ у спальни убійцы натыкаются на камердинера, который, выйдя изъ спальни своего господина, заперъ ее только что на ключъ. Приложивъ палецъ къ устамъ, испуганный рабъ подаетъ имъ знакъ не шумѣть, такъ какъ герцогъ только что заснулъ. „Другъ мой,—восклицаетъ Деверу, — теперь можно шумѣть!“ Съ этими словами онъ бросается къ запертымъ дверямъ, припертымъ изнутри засовомъ и выбиваетъ ихъ ударомъ ноги.

Пробужденный ружейнымъ выстрѣломъ отъ перваго сна, Валленштейнъ бросился къ окну, чтобы позвать стражу. Въ этотъ моментъ изъ оконъ смежнаго флигеля доносятся до него рыданія и вопли графинь Терцкой и Кинской, только что получившихъ извѣстіе объ убійствѣ ихъ мужей. Прежде чѣмъ онъ могъ подумать объ этомъ страшномъ событіи, Деверу съ убійцами былъ уже въ комнатѣ. Въ одной рубашкѣ, какъ онъ вскочилъ съ постели, Валленштейнъ стоялъ у окна, прислонившись къ столу. „А, это ты, негодяй, вздумалъ предать врагу войско императора и сорвать корону съ главы его величества?—кричитъ Деверу.—Такъ умри-же!“ Онъ останавливается на нѣсколько мгновеній, какъ бы ожидая отвѣта; но изумленіе и надменность замыкаютъ уста герцога. Съ распростертыми руками онъ принимаетъ смертельный ударъ сѣкирой въ грудь и падаетъ въ крови, не издавъ ни звука.

На слѣдующій день является отъ герцога лауенбургскаго гонецъ съ извѣстіемъ о немедленномъ прибытіи этого принца. Его арестуютъ и отправляютъ къ герцогу другого слугу въ ливреѣ Валленштейна, чтобы заманить принца въ Эгеръ. Хитрость удается и Францъ Альбертъ попадаетъ въ руки непріятеля. Герцогъ Бернгардъ Веймарскій, уже находившійся на пути въ Эгеръ, еле избѣжалъ такой-же участи. Къ счастью, онъ во-время получилъ извѣстіе о гибели Валленштейна и быстрымъ отступленіемъ ушелъ отъ опасности. Фердинандъ пролилъ слезу надъ участью своего полко-

водца и приказалъ отслужить въ Вѣнѣ три тысячи панихидъ по убитомъ; при этомъ онъ однако не забылъ вознаградить убійцъ золотыми цѣпями, каммергерскими ключами, почестями и рыцарскими помѣстьями.

Такъ окончилъ Валленштейнъ, пятидесяти лѣтъ отъ роду, свою славную и необыкновенную жизнь; вознесенный честолюбіемъ и честолюбіемъ повергнутый во прахъ, великій при всѣхъ своихъ недостаткахъ, онъ былъ бы достоинъ удивленія и совершенно неподражаемъ, если бы зналъ мѣру. Добродѣтели повелителя и героя, мудрость, справедливость, твердость и мужество выступаютъ въ его натурѣ въ колоссальномъ величіи; но онъ былъ лишенъ простыхъ добродѣтелей человѣка, которыя украшаютъ героя и пріобрѣтаютъ любовь повелителю. Страхъ былъ его волшебнымъ жезломъ; не зная мѣры ни въ наказаніяхъ, ни въ наградахъ, онъ умѣлъ держать рвеніе своихъ подчиненныхъ въ неустанномъ напряженіи, и такимъ повиновеніемъ, какое оказывали ему, не можетъ похвастать ни одинъ полководецъ древнихъ и новыхъ вѣковъ. Покорность своимъ велѣніемъ онъ цѣнилъ выше храбрости, такъ какъ вторая есть орудіе солдата, а первая—орудіе полководца. Онъ упражнялъ повиновеніе своихъ войскъ сумасбродными приказаніями и награждалъ послушаніе даже въ ничтожныхъ мелочахъ съ расточительной щедростью, потому что онъ цѣнилъ самую покорность выше ея цѣли. Однажды онъ подъ страхомъ смертной казни запретилъ всей арміи носить какія либо другія перевязи кромѣ красныхъ. Одинъ ротмистръ, услышавъ объ этомъ приказѣ, сбросилъ съ себя затканную золотомъ перевязь и растопталъ ее ногами. Узнавъ объ этомъ, Валленштейнъ тотчасъ же произвелъ его въ полковники. Взглядъ его былъ всегда направленъ на всю совокупность вещей, и при всей кажущейся произвольности, онъ никогда не терялъ изъ виду принципа цѣлесообразности. Грабежи солдатъ въ дружественныхъ земляхъ вызвали строгіе приказы противъ мародеровъ, и каждому, уличенному въ кражѣ, грозила висѣлица. И вотъ однажды Валленштейнъ, встрѣтивъ въ полѣ солдата, безъ всякаго разслѣдованія приказалъ схватить его, какъ нарушителя закона, и обычнымъ страшнымъ словечкомъ, не допускавшимъ противорѣчія — „повѣсить бестію!“ — приговорилъ его къ смерти. Солдатъ клянется и доказываетъ свою невиновность—но невозвратный приговоръ произнесенъ. „Такъ пусть тебя повѣсятъ безъ вины—произноситъ безчеловѣчный—тѣмъ больше будутъ трепетать виновные“. Уже готовятся исполнить приговоръ, какъ солдатъ, видя неминуемую гибель, рѣшается въ отчаяніи отомстить передъ смертью. Въ неистовствѣ бросается онъ на своего судью, но прежде чѣмъ успѣлъ привести въ исполненіе свой замыселъ, онъ обезоруженъ окружающими. „Теперь отпустите его,—говоритъ герцогъ,—ужъ теперь будутъ бояться“. — Его щедрость питалась громадными доходами, доходившими до трехъ милліоновъ ежегодно, не считая несмѣтныхъ суммъ, получавшихся подъ предлогомъ контрибуцій. Его свободный духъ и проницательная мысль ставили его выше религіозныхъ предразсудковъ его времени, и іезуиты никогда не могли простить ему того, что онъ насквозь понималъ ихъ систему и видѣлъ въ папѣ лишь римскаго епископа.

Но со временъ пророка Самуила никто изъ бывшихъ въ раздорѣ съ церковью не кончалъ счастливо,—и Валленштейнъ также умножилъ число ея жертвъ. Происки монаховъ лишили его въ Регенсбургѣ власти надъ арміей и въ Эгерѣ—жизни; монашескія козни лишили его, быть можетъ, того, что дороже и жизни и власти,—его честнаго имени и доброй славы въ потомствѣ. Ибо въ концѣ концовъ должно во имя справедливости признаться, что исторія этого необыкновеннаго человѣка передана намъ не вполнѣ честными перьями; что сообщенія объ измѣнѣ герцога и его видахъ на корону Богеміи опираются не на строго доказанныхъ фактахъ, но на сомнительныхъ предположеніяхъ. Пока не отысканъ еще документъ, который съ исторической достовѣрностью обнаружилъ бы тайныя пружины его дѣйствій, а между извѣстными, вполнѣ достовѣрными его поступками нѣтъ ни одного, который не могъ бы истекать изъ совершенно невиннаго источника. Многіе изъ наиболѣе порицаемыхъ его шаговъ доказываютъ лишь неподдѣльную склонность его къ миру, а большинство другихъ объясняется и оправдывается вполнѣ понятнымъ недовѣріемъ къ императору и извинительнымъ стараніемъ сохранить свое значеніе. Правда, его отношенія къ курфюрсту баварскому свидѣтельствуютъ о неблагородной мстительности и злопамятности; но ни одинъ изъ его поступковъ не даетъ намъ права считать его измѣну доказанной. Если, наконецъ, тягостное положеніе и отчаяніе заставили его

дѣйствительно заслужить приговоръ, павшій на невиннаго, то это не можетъ служить оправданіемъ самому приговору. Такъ палъ Валленштейнъ,—не потому что былъ мятежникомъ, но сталъ мятежникомъ, потому что палъ. Горе живому, который избралъ своимъ врагомъ побѣдоносную партію; горе мертвому, что этотъ врагъ пережилъ его и написалъ его исторію.

КНИГА ПЯТАЯ.

Смерть Валленштейна вызвала необходимость въ новомъ главнокомандующемъ, и императоръ уступилъ наконецъ убѣжденіямъ испанцевъ облечь въ этотъ санъ сына своего Фердинанда, короля венгерскаго. Подъ номинальной властью принца начальство принадлежало графу Галласу, который исполнялъ обязанности фельдмаршала, между тѣмъ какъ принцъ собственно лишь украшалъ этотъ постъ своимъ именемъ и авторитетомъ. Вскорѣ подъ знаменами Фердинанда собирается значительная армія; герцогъ лотарингскій лично ведетъ ему вспомогательныя войска, а изъ Италіи является на помощь кардиналъ-инфантъ съ подкрѣпленіемъ въ десять тысячъ человѣкъ. Чтобы вытѣснить непріятеля съ береговъ Дуная, новый полководецъ предпринимаетъ то, чего нельзя было добиться отъ его предшественника — осаду Регенсбурга. Напрасно герцогъ веймарскій Бернгардъ поспѣшно вторгается въ самыя нѣдра Баваріи, чтобы отвлечь непріятеля отъ этого города. Фердинандъ ведетъ осаду съ непреклонной настойчивостью, и послѣ упорнаго сопротивленія имперскій городъ открываетъ предъ нимъ свои ворота. Вскорѣ Донаувертъ постигаетъ такая же участь; затѣмъ приступаютъ къ осадѣ Нердлингена въ Швабіи. Потеря столь многихъ имперскихъ городовъ была тѣмъ чувствительнѣе для шведской партіи, что дружба ихъ была до сихъ поръ столь необходима для успѣховъ шведскаго оружія; тѣмъ менѣе могло быть оправдано равнодушіе къ ихъ судьбѣ. Неизгладимымъ позоромъ покрыли бы себя шведы, покинувъ своихъ союзниковъ въ этомъ тягостномъ положеніи и отдавъ ихъ въ жертву мести неумолимаго побѣдителя. Вслѣдствіе такихъ причинъ шведская армія подъ предводительствомъ Горна и Бернгарда Веймарскаго направляется къ Нердлингеру, рѣшившись спасти городъ хотя бы цѣной сраженія.

Трудно было надѣяться на удачу, такъ какъ перевѣсъ былъ явно на сторонѣ непріятеля; при этихъ обстоятельствахъ уклониться отъ боя было тѣмъ благоразумнѣе, что непріятельскія войска должны были вскорѣ раздѣлиться, такъ какъ итальянскіе отряды были предназначены для Нидерландовъ. Пока же можно было занять такую позицію, которая прикрывала бы Нердлингенъ и отрѣзала непріятелю подвозъ припасовъ. На этихъ соображеніяхъ настаивалъ Густавъ Горнъ въ шведскомъ военномъ совѣтѣ, но представленія его не нашли отклика въ умахъ, опьяненныхъ продолжительнымъ военнымъ счастіемъ и поэтому видѣвшихъ въ совѣтахъ благоразумія лишь внушенія страха. Уступая по необходимости авторитету герцога Бернгарда, Густавъ Горнъ вынужденъ былъ противъ воли согласиться на сраженіе, несчастный исходъ котораго предвѣщало ему заранѣе мрачное предчувствіе.

Исходъ боя зависѣлъ очевидно отъ занятія высотъ, господствовавшихъ надъ императорскимъ лагеремъ. Попытка взобраться на нихъ ночью не удалась, такъ какъ затруднительное движеніе орудій чрезъ просѣки и тропинки задерживало движеніе войскъ. Когда къ полуночи подошли сюда,

непріятель уже занялъ холмъ и укрѣпилъ его сильными окопами. Пришлось ждать дня, чтобы взять укрѣпленіе штурмомъ. Неукротимая отвага шведовъ проложила себѣ путь чрезъ всѣ препятствія; полукруглые шанцы были взяты всѣми назначенными частями; но такъ какъ оба отряда вторгаются въ укрѣпленія одновременно съ обѣихъ сторонъ, то они бросаются другъ на друга и приходятъ въ замѣшательство. Въ это злополучное мгновеніе взлетаетъ на воздухъ пороховая бочка, что производитъ страшное смятеніе въ шведскихъ войскахъ. Императорская кавалерія врывается въ разорванные ряды, и все обращается въ бѣгство. Никакія увѣщанія вождя не могутъ заставить бѣгущихъ вернуться къ нападенію.

Тогда для сохраненія этой важной позиціи онъ рѣшаетъ двинуть сюда свѣжія войска; но она уже занята нѣсколькими испанскими полками и всякая попытка овладѣть ею отбивается геройскимъ мужествомъ этихъ войскъ. Семь разъ идетъ на приступъ одинъ изъ посланныхъ Бернгардомъ полковъ и семь разъ отступаетъ. Вскорѣ ущербъ, причиненный потерей этой позиціи, даетъ себя знать. Огонь непріятельской артиллеріи производитъ съ холма страшное опустошеніе въ смежномъ крылѣ шведовъ, и Густавъ Горнъ, командующій имъ, вынужденъ отступить. Вмѣсто того, чтобы прикрыть отступленіе и удержать преслѣдующаго врага, герцогъ Бернгардъ самъ вытѣсненъ численнымъ превосходствомъ непріятеля на равнину, гдѣ его бѣгущая кавалерія производитъ сумятицу въ войскахъ Горна и тѣмъ довершаетъ общее пораженіе и бѣгство. Почти вся пѣхота взята въ плѣнъ или уничтожена; болѣе двѣнадцати тысячъ человѣкъ осталось на полѣ битвы, восемьдесятъ орудій, около четырехъ тысячъ телѣгъ и триста штандартовъ и знаменъ достаются непріятелю. Самъ Густавъ Горнъ вмѣстѣ съ тремя другими генералами взятъ въ плѣнъ. Съ трудомъ спасаетъ герцогъ Бернгардъ жалкіе остатки арміи, которые вновь собираются подъ его знаменами лишь во Франкфуртѣ.

Нердлингское пораженіе стоило канцлеру Оксенштирнѣ второй безсонной ночи въ Германіи. Необозримыми были потери, причиненныя ею. Однимъ ударомъ шведы утратили свое боевое превосходство, а вмѣстѣ съ нимъ довѣріе всѣхъ союзниковъ, опиравшееся лишь на военные успѣхи шведовъ. Опасный разрывъ грозилъ гибелью всему протестантскому союзу. Страхъ и ужасъ охватилъ всю партію, и католики съ высокомѣрнымъ торжествомъ поднялись изъ своего глубокаго упадка. Швабія и смежныя земли испытали первыя слѣдствія нердлингенскаго пораженія и Вюртембергъ терпѣлъ особенно отъ побѣдоносныхъ войскъ. Всѣ члены гейльбронскаго союза трепетали при мысли о мести императора; все, что могло бѣжать, спасалось въ Страсбургъ, и беззащитные имперскіе города ждали съ содроганіемъ рѣшенія своей участи. Нѣкоторая мягкость по отношенію къ побѣжденнымъ возвратила-бы болѣе слабыхъ подъ власть императора. Но суровость, съ которой обошлись даже съ тѣми, которые подчинились добровольно, довела остальныхъ до отчаянія и одушевила ихъ къ дѣятельнѣйшему сопротивленію.

Все въ этомъ тягостномъ положеніи искало совѣта и помощи у Оксенштирны. Оксенштирна искалъ того-же у нѣмецкихъ чиновъ. Не было армій; не было денегъ для созданія новаго войска и для уплаты жалованья, котораго настоятельно требовали старыя войска. Оксенштирна обращается къ курфюрсту саксонскому, который отрекается отъ шведовъ и вступаетъ съ императоромъ въ Пирнѣ въ переговоры о мирѣ. Онъ требуетъ помощи отъ нижнесаксонскихъ чиновъ; но они давно уже, истощенные денежными требованіями и претензіями шведовъ, заботятся теперь лишь о себѣ, а герцогъ люнебургскій Георгъ вмѣсто того, чтобы спѣшить на помощь въ верхнюю Германію, осаждаетъ Минденъ, чтобы сохранить его за собой. Покинутый своими нѣмецкими союзниками, канцлеръ старается заручиться помощью иностранныхъ державъ. Онъ проситъ денегъ и войскъ у Англіи, Голландіи, Венеціи и, подъ гнетомъ крайней необходимости, онъ рѣшается на тягостный шагъ, котораго избѣгалъ такъ долго—броситься въ объятія Франціи.

Насталъ моментъ, котораго такъ долго съ жаднымъ нетерпѣніемъ ждалъ Ришелье. Лишь полная невозможность спастись иначе могла заставить протестантскихъ государей Германіи поддерживать притязанія Франціи на Эльзасъ. Это безвыходное положеніе наступило; Франція была необходима и заставила дорого заплатить себѣ за дѣятельное участіе, которое она отнынѣ принимаетъ въ нѣмецкой войнѣ. Съ честью и славой вступаетъ она на политическое поприще. Уже Оксенштирна, которому ничего не стоило жертвовать правами и землями

Германіи, уступилъ Ришелье имперскую крѣпость Филиппсбургъ и другія потребованныя Франціей укрѣпленія; теперь и верхне-германскіе протестанты отправили отъ своего имени особое посольство, предлагая отдать подъ покровительство Франціи Эльзасъ, крѣпость Брейзахъ, которою еще предстояло завладѣть, и всѣ укрѣпленія на верхнемъ Рейнѣ, служившія ключомъ къ Германіи. Что означало французское покровительство,—показывала судьба епископствъ мецскаго, тульскаго и верденскаго, которыя Франція охраняла уже нѣсколько столѣтій — даже отъ ихъ законныхъ владѣтелей. Трирская область была уже занята французскими гарнизонами; Лотарингія могла считаться завоеванной, такъ какъ каждую минуту могла быть наводнена французскими войсками, не имѣя никакой возможности тягаться своими силами съ страшнымъ сосѣдомъ. Теперь Франція питала большія надежды присоединить къ своимъ обширнымъ владѣніямъ также Эльзасъ, а затѣмъ,—въ виду предстоящаго раздѣла испанскихъ Нидерландовъ между французами и голландцами,—сдѣлать Рейнъ своей естественной границей со стороны Германіи. Такъ позорно были проданы права Германіи нѣмецкими чинами этой вѣроломной, жадной державѣ, которая подъ маской безкорыстной дружбы стремилась лишь къ расширенію своихъ владѣній и, нагло присваивая себѣ почетное званіе защитницы, думала только о томъ, какъ бы раскинуть свои сѣти и пользоваться на счетъ общей смуты.

За эти важныя уступки Франція обязывалась войной съ испанцами доставить диверсію шведскимъ войскамъ и, въ случаѣ открытаго разрыва съ самимъ императоромъ, держать по сю сторону Рейна армію въ двѣнадцать тысячъ человѣкъ, которая въ союзѣ со шведами и нѣмцами будетъ дѣйствовать противъ Австріи. Желательный предлогъ для войны съ испанцами былъ поданъ ими самими. Они напали изъ Нидерландовъ на городъ Триръ, изрубили французскій гарнизонъ, расположенный здѣсь, овладѣли, вопреки международному праву, особой курфюрста, бывшаго подъ покровительствомъ Франціи, и отправили его, какъ плѣнника, во Фландрію. Когда кардиналъ-инфантъ, въ качествѣ намѣстника испанскихъ Нидерландовъ, не далъ королю французскому удовлетворенія и отказался освободить плѣннаго курфюрста, то Ришелье по старинному обычаю объявилъ ему формально чрезъ герольда въ Брюсселѣ войну, которая, дѣйствительно, была начата одновременно тремя французскими арміями въ Миланѣ, Вельтелинѣ и Фландріи. Меньшее значеніе придавалъ очевидно французскій министръ войнѣ съ императоромъ, которая сопровождалась меньшими выгодами и гораздо большими трудностями. Тѣмъ не менѣе въ Германію была отправлена, подъ начальствомъ кардинала де-ла-Валетта, черезъ Рейнъ четвертая армія, которая, соединившись съ войсками герцога Бернгарда, двинулась безъ предварительнаго объявленія войны на императора.

Гораздо болѣе чувствительнымъ ударомъ, чѣмъ даже пораженіе подъ Нердлингеномъ, было для шведовъ примиреніе курфюрста саксонскаго съ императоромъ, которое, послѣ многократныхъ попытокъ съ обѣихъ сторонъ воспрепятствовать или содѣйствовать ему, совершилось наконецъ въ 1634 году въ Пирнѣ, а въ маѣ слѣдующаго года было закрѣплено формальнымъ миромъ въ Прагѣ. Курфюрстъ саксонскій никогда не могъ примириться съ положеніемъ шведовъ въ Германіи, и его отвращеніе къ этой иноземной державѣ, предписывавшей законы германской имперіи, возростало съ каждымъ новымъ требованіемъ, обращеннымъ Оксенштирной къ имперскимъ чинамъ Германіи. Это нерасположеніе къ шведамъ находило сильнѣйшую поддержку въ стараніяхъ испанскаго двора примирить Саксонію съ императоромъ. Истомленный неудачами столь долгой и опустошительной войны, печальной ареной которой были главнымъ образомъ саксонскія земли, тронутый всеобщимъ страшнымъ бѣдствіемъ, въ какое враги и друзья безъ различія повергали его подданныхъ и склоненный соблазнительными предложеніями австрійскаго дома, курфюрстъ покинулъ общее дѣло и, мало помышляя объ участи другихъ чиновъ и о нѣмецкой свободѣ, онъ думалъ лишь о томъ, какъ бы поправить свои дѣла, хотя бы на счетъ блага Германіи.

И по-истинѣ, бѣдствія въ Германіи достигли столь крайняго предѣла, что милліоны языковъ молили лишь о мирѣ, и самый невыгодный миръ казался ужъ благодѣяніемъ. Пустыни простирались тамъ, гдѣ нѣкогда кишѣли тысячи бодрыхъ и дѣятельныхъ людей, гдѣ природа изливала свои благостные дары, гдѣ царили богатства и благосостояніе. Въ полномъ запущеніи лежали одичавшія поля, покинутыя трудолю-

бивой рукой пахаря, и гдѣ прежде всходили молодые побѣги или привѣтливо склонялась жатва, тамъ одинъ военный маневръ уничтожалъ труды цѣлаго года, послѣднюю надежду изнемогшаго народа. Сожженные замки, запущенныя поля, погорѣвшія деревни тянулись на протяженіи многихъ миль, являя картину страшнаго разрушенія, между тѣмъ какъ ихъ ограбленные обитатели умножали число разбойничьихъ шаекъ, страшными насиліями вымещая на своихъ спасшихся согражданахъ то, отъ чего пострадали сами. Не было иного спасенія отъ угнетенія. Было одно спасеніе отъ мученій — стать самому мучителемъ. Города стенали подъ бичемъ разнузданныхъ разбойничьихъ гарнизоновъ, поглощавшихъ достояніе гражданина и съ невѣроятнымъ своеволіемъ осуществлявшихъ вольности войны, преимущества своего занятія и права необходимости. Если отъ одного непродолжительнаго похода цѣлыя области становились пустынями, если другія нищали отъ зимнихъ квартиръ или истощались контрибуціями, то все это были лишь преходящія бѣдствія, и прилежаніе одного года могло изгладить слѣды нѣсколькихъ мучительныхъ мѣсяцевъ. Но не знали этого отдыха тѣ, въ жилищахъ которыхъ или по сосѣдству былъ расположенъ гарнизонъ, и ихъ злополучная судьба не могла быть исправлена даже перемѣной военнаго счастья, потому что по стопамъ побѣжденнаго являлся на его мѣсто побѣдитель; и другъ и недругъ были равно безжалостны. Запущенныя поля, уничтоженныя жатвы, все увеличивающіяся арміи, проносившіяся бурей по истерзаннымъ землямъ, имѣли неизбѣжнымъ слѣдствіемъ голодъ и дороговизну, а въ послѣдніе годы всѣ эти ужасы были довершены еще неурожаемъ. Скопленіе людей въ лагеряхъ и постояхъ, недостатокъ на одной сторонѣ и пресыщеніе на другой породили моровую язву, опустошавшую земли болѣе, чѣмъ мечъ и пламя. Всѣ узы порядка были расторгнуты въ этомъ долгомъ разложеніи, исчезло уваженіе къ человѣческимъ правамъ, страхъ предъ законами, чистота нравовъ, сгинули вѣра и вѣрность и лишь сила царила одна съ своимъ желѣзнымъ скипетромъ; пышно разрослись подъ покровомъ анархіи и безнаказанности всѣ пороки, и люди одичали вмѣстѣ съ пажитями. Никакое положеніе не внушало уваженія необузданному своеволію, никакое достояніе не было священно для нужды и алчности. Солдатъ — вотъ слово, въ одномъ звукѣ выражающее всѣ бѣдствія этого времени—солдатъ царилъ повсюду и нерѣдко могущество этого грубѣйшаго изъ деспотовъ давало себя знать даже его начальникамъ. Полководецъ былъ болѣе важной особой въ странѣ, гдѣ онъ появлялся, чѣмъ ея законный государь, которому нерѣдко приходилось прятаться въ своихъ замкахъ. Вся Германія кишѣла такими маленькими тиранами, и земли ея одинаково жестоко страдали какъ отъ своихъ враговъ, такъ и отъ своихъ защитниковъ. Всѣ эти раны причиняли тѣмъ большія страданія, что Германія страдала отъ алчности иноземныхъ державъ, которыя нарочно затягивали бѣдствія войны для достиженія своихъ корыстнихъ цѣлей. Для обогащенія и завоеваній Швеціи исходила кровью Германія подъ бичемъ войны; ради величія Ришелье во Франціи долженъ былъ неугасимо пылать въ Германіи факелъ раздора.

Но не только своекорыстные голоса высказывались противъ мира, и если шведы, какъ и нѣмецкіе имперскіе чины, желали продолженія войны изъ нечистыхъ видовъ, то за нее говорила и здравая политика. Можно ли было послѣ Нердлингенскаго пораженія ждать отъ императора справедливаго мира? И если невозможно, то неужели впродолженіе семнадцати лѣтъ сносили всѣ тяготы войны, истощали всѣ силы лишь для того, чтобы въ концѣ концовъ не пріобрѣсти ничего или даже выйти изъ войны съ ущербомъ? За что пролита вся эта кровь, если все останется по старому, если не будетъ никакого удовлетворенія правъ и требованій, если все, добытое съ такимъ трудомъ, будетъ потеряно вслѣдствіе мира? Не лучше ли сносить еще два-три года такъ долго несенныя тяготы, чтобы пожать наконецъ плоды двѣнадцатилѣтнихъ страданій? Между тѣмъ невозможно сомнѣваться въ выгодномъ мирѣ, если только шведы и нѣмецкіе протестанты въ полѣ битвы и въ политикѣ будутъ твердо стоять другъ за друга и заботиться о своихъ общихъ интересахъ съ взаимнымъ участіемъ, съ соединенными усиліями. Лишь ихъ раздоры сдѣлали врага сильнымъ и отдаляли надежду на продолжительный и благостный миръ. И это величайшее зло причинилъ протестантскому дѣлу курфюрстъ саксонскій, примирившись отдѣльнымъ договоромъ съ Австріей.

Еще до нердлингенскаго сраженія онъ началъ переговоры съ императоромъ; но несчастный исходъ сраженія ускорилъ за-

Курфюрстъ Максимиліанъ I Баварскій.
Современная гравюра Іоганна Зоделера.

ключеніе договора. Исчезла вѣра въ шведовъ, и явилось сомнѣніе, съумѣютъ ли они оправиться отъ этого тяжкаго удара. Раздоры между ихъ вождями, неповиновеніе въ войскахъ и истощеніе шведскаго государства не позволяли болѣе ожидать отъ нихъ какихъ либо подвиговъ. Тѣмъ настойчивѣе были побужденія воспользоваться великодушіемъ императора, который и послѣ нердлингенской побѣды не отказывался отъ своихъ предложеній. Оксенштирна, собравшій чины во Франкфуртѣ, предъявлялъ требованія; императоръ, наоборотъ, давалъ; не много надо было думать, чтобы рѣшить, на чью сторону стать.

Но между тѣмъ не хотѣлось произвести такое впечатлѣніе, будто отступаютъ отъ общаго дѣла во имя своихъ собственныхъ выгодъ. Всѣ нѣмецкіе имперскіе чины и даже шведы были приглашены содѣйствовать этому миру и принять въ немъ участіе, хотя курфюршество саксонское и императоръ были единственными участниками договора, самовольно объявлявшими себя такимъ образомъ законодателями для всей Германіи. Въ договорѣ шла рѣчь о жалобахъ протестантскихъ чиновъ; ихъ отношенія и права опредѣлялись этимъ самовластнымъ судомъ, и даже участь религій рѣшалась здѣсь безъ участія заинтересованныхъ тутъ элементовъ. Это долженъ былъ быть всеобщій миръ, поставленный въ законъ всей имперіи; онъ долженъ былъ быть обнародованъ въ качествѣ такового и приведенъ въ исполненіе, какъ законное имперское постановленіе, имперскимъ экзекуціоннымъ войскомъ. Кто отказывался отъ него, становился врагомъ имперіи, и такимъ образомъ всякій, вопреки всѣмъ правамъ чиновъ, обязанъ былъ признать законъ, изданный помимо него. Такимъ образомъ уже по формѣ пражскій миръ являлся созданіемъ произвола; тѣмъ же былъ онъ и по своему содержанію.

Главной причиной разрыва между курфюршествомъ саксонскимъ и императоромъ былъ реституціонный эдиктъ; поэтому при ихъ примиреніи должно было главное вниманіе обратить на него. Не уничтожая его прямо и формально, пражскій миръ постановлялъ, что всѣ непосредственныя духовныя владѣнія, а изъ несамостоятельныхъ тѣ, которыми овладѣли протестанты послѣ пассаускаго договора, еще въ теченіе сорока лѣтъ останутся въ томъ положеніи, въ какомъ засталъ ихъ реституціонный эдиктъ, но безъ голоса въ имперскомъ сеймѣ. Еще до истеченія этихъ сорока лѣтъ коммиссія, составленная изъ равнаго числа представителей обоихъ исповѣданій, должна мирно и законно распорядиться ими, и, если и тогда не будетъ постановленъ окончательный приговоръ, то обѣ стороны вступятъ снова въ тѣ права, которыми пользовались до изданія реституціоннаго эдикта. Такимъ образомъ соглашеніе, весьма далекое отъ того, чтобы подавить пламя раздора, лишь отдаляло на время его пагубныя проявленія, и искра новой войны таилась уже въ этомъ постановленіи пражскаго мира.

Архіепископство магдебургское было укрѣплено за принцемъ Августомъ саксонскимъ, а гальберштадтское—за эрцгерцогомъ Леопольдомъ Вильгельмомъ. Отъ магдебургскихъ земель отрѣзано четыре округа и подарено Саксоніи; съ администраторомъ магдебургскимъ Христіаномъ Вильгельмомъ бранденбургскимъ разсчитываются инымъ образомъ. Герцогамъ мекленбургскимъ, въ случаѣ ихъ присоединенія къ этому миру, возвращаются ихъ земли, которыми они, къ счастью, давно уже владѣли по милости Густава Адольфа; Донауверту возвращены его имперскія вольности. Несмотря на всю важность избирательнаго голоса пфальцскихъ наслѣдниковъ для протестантскихъ партій имперіи, настойчивое требованіе ихъ совершенно обойдено въ договорѣ, потому что лютеранскій государь не обязанъ справедливостью по отношенію къ реформату. Все, завоеванное протестантскими чинами, лигой и императоромъ въ этой войнѣ другъ у друга, возвращено первоначальнымъ владѣтелямъ; все присвоенное иноземными государствами—Швеціей и Франціей—должно быть у нихъ отнято сообща. Войска обѣихъ договаривающихся сторонъ соединяются въ одну имперскую армію, которая, получая отъ имперіи содержаніе и жалованье, должна вооруженной рукой привести въ исполненіе постановленія этого мира.

Такъ какъ пражскій мирный трактатъ имѣлъ значеніе общеимперскаго закона, то тѣ статьи его, которыя не касались имперіи, были присоединены къ нему въ видѣ особаго договора. Здѣсь курфюрстъ саксонскій получалъ Лузацію въ качествѣ лена Богеміи, и опредѣлялась религіозная свобода въ этой странѣ и въ Силезіи.

Всѣ евангелическіе чины были приглашены принять участіе въ пражскомъ мирѣ и подъ этимъ условіемъ получали амнистію,—за исключеніемъ государей Виртемберга и Бадена, земли которыхъ было не-

желательно возвратить безъ всякихъ условій,—подданныхъ Австріи, поднявшихъ оружіе на своего государя и тѣхъ чиновъ, которые подъ предсѣдательствомъ Оксенштирны принимали участіе въ съѣздѣ верхненѣмецкихъ округовъ; это было сдѣлано не для того, чтобы продолжать съ ними войну, но для того, чтобы подороже продать миръ, ставшій для нихъ необходимымъ. Земли ихъ удерживались въ качествѣ залога до повсемѣстнаго принятія мира, когда все будетъ возвращено и все приведено въ прежнее положеніе. Равная справедливость ко всѣмъ, быть можетъ, возстановила бы взаимное довѣріе между главой и членами, между протестантами и папистами, между реформаторами и лютеранами, и шведы, покинутые всѣми своими союзниками, должны были бы позорно удалиться изъ Германіи. Но это неравное отношеніе укрѣпило недовѣріе и упорство обойденныхъ чиновъ и дало шведамъ возможность поддержать пламя войны и сохранить своихъ приверженцевъ въ Германіи.

Пражскій миръ, какъ и слѣдовало ожидать, встрѣтилъ весьма различный пріемъ въ Германіи. Стараясь сблизить обѣ партіи, удалось только навлечь на себя упреки обѣихъ. Протестанты жаловались на ограниченія, навязанныя имъ этимъ миромъ; католики находили, что съ отвратительной сектой обходятся слишкомъ хорошо на счетъ истинной церкви. По ихъ мнѣнію нерушимыя права церкви были нарушены тѣмъ, что евангелики получали сорокалѣтнее пользованіе духовными имуществами; съ точки зрѣнія первыхъ, протестантскую церковь предали тѣмъ, что не отстояли религіозной свободы ихъ единовѣрцевъ въ австрійскихъ владѣніяхъ. Но самыя горькія порицанія обрушились на курфюрста саксонскаго, котораго старались изобразить въ печатныхъ произведеніяхъ вѣроломнымъ перебѣжчикомъ, предателемъ религіи и имперской свободы и сообщникомъ императора.

Но курфюрстъ находилъ утѣшеніе въ томъ, что большая часть евангелическихъ чиновъ поневолѣ должна была согласиться на этотъ миръ. Курфюрстъ бранденбургскій, герцогъ веймарскій Вильгельмъ, князья ангальтскіе, герцоги мекленбургскіе, герцоги брауншвейгъ-люнебургскіе, ганзейскіе и большинство имперскихъ городовъ присоединились къ нему. Ландграфъ гессенскій Вильгельмъ колебался или притворялся колеблющимся нѣкоторое время для того, чтобы выиграть время и принять свои мѣры, смотря по ходу событій. Съ мечомъ въ рукѣ онъ овладѣлъ богатыми землями въ Вестфаліи, изъ которыхъ онъ черпалъ лучшія силы для веденія войны и которыя въ силу мирнаго договора долженъ былъ возвратить. На герцога Бернгарда веймарскаго, владѣнія котораго существовали только на бумагѣ, смотрѣли не какъ не ведущую войну сторону, но какъ на воюющаго полководца; въ обѣихъ роляхъ онъ долженъ былъ съ негодованіемъ отвергнуть пражскій миръ. Все его богатство было въ его храбрости, всѣ его владѣнія—въ его шпагѣ. Лишь война дѣлала его сильнымъ и значительнымъ; лишь война могла осуществить замыслы его честолюбія.

Но изъ всѣхъ возставшихъ противъ пражскаго мира громче всѣхъ заговорили шведы и никто не имѣлъ болѣе основательныхъ причинъ для этого. Призванные въ Германію самими нѣмцами, спасители протестантской церкви и государственной свободы, которые были добыты ими цѣной потоковъ крови и священной жизни ихъ короля, они видѣли себя теперь позорно покинутыми, обманутыми во всѣхъ своихъ замыслахъ, изгоняемыми безъ вознагражденія, безъ благодарности изъ страны, за которую они проливали кровь, и преданными на издѣвательство врагамъ тѣми самыми государями, которые были имъ всѣмъ обязаны. Объ удовлетвореніи ихъ, о возмѣщеніи ихъ убытковъ, о вознагражденіи за завоеванія, которыхъ они теперь лишались, не было упомянуто въ пражскомъ мирѣ ни единымъ словомъ. Бѣднѣе, чѣмъ пришли, должны были они теперь уйти или, въ случаѣ сопротивленія, быть изгнаны изъ Германіи тѣми самыми руками, которыя ихъ сюда призвали. Правда, въ концѣ концовъ курфюрстъ саксонскій бросилъ словечко о вознагражденіи, исключительно денежномъ,—и всего въ два съ половиной милліона гульденовъ. Но шведы издержали гораздо больше изъ своихъ денегъ; это позорное удовлетвореніе одними деньгами должно было уязвить ихъ своекорыстіе и возмутить ихъ гордость. „Курфюрсты баварскій и саксонскій, — отвѣчаетъ Оксенштирна, въ вознагражденіе за помощь, которую они по обязанности, въ качествѣ вассаловъ, оказали императору, заставили себѣ уплатить значительными областями, а насъ, шведовъ, отдавшихъ за Германію своего короля, хотятъ выпроводить домой жалкими двумя съ половиною милліонами".

Обмануться въ своихъ надеждалъ было для шведовътѣмъ больнѣе, чѣмъ тверже были ихъ разсчеты получить въ вознагражденіегерцогство Померанское, нынѣшній владѣтель котораго былъ старъ и не имѣлъ преемниковъ. Но Померанія была по пражскому миру обѣщана курфюрсту бранденбургскому; къ тому же противъ водворенія шведовъ на этой границѣ имперіи протестовали всѣ сосѣднія государства.

Никогда въ теченіе всей войны не было положеніе шведовъ хуже, чѣмъ въ 1635 году, непосредственно вслѣдъ за обнародованіемъ пражскаго мира. Многіе изъ ихъ союзниковъ, особенно среди имперскихъ городовъ, покинули ихъ сторону, чтобы насладиться благами мира; другіе были принуждены къ этому побѣдоноснымъ оружіемъ императора. Аугсбургъ, побѣжденный голодомъ, покорился на тяжелыхъ условіяхъ; Вюрцбургъ и Кобургъ достались австрійцамъ. Гейльбронскій союзъ былъ формально уничтоженъ. Почти вся верхняя Германія, средоточіе шведскихъ войскъ, признала главенство императора. Саксонія, опираясь на пражскій миръ, потребовала освобожденія отъ войскъ Тюрингіи, Гальберштадта, Магдебурга. Филиппсбургъ, складочное мѣсто французской арміи, былъ захваченъ врасплохъ австрійцами, со всѣми запасами, и эта важная потеря ослабила дѣятельность Франціи. Къ довершенію стѣснительнаго положенія Швеціи какъ разъ теперь окончилось перемиріе съ Польшей. Вести одновременно войну съ Польшей и Германіей было совсѣмъ не по силамъ Швеціи, которой предстоялъ выборъ, отъ кого изъ этихъ двухъ непріятелей избавиться. Гордость и честолюбіе рѣшили за продолженіе нѣмецкой войны, какъ бы ни были тяжелы жертвы по отношенію къ Польшѣ; но для того, чтобы внушить должное уваженіе Польшѣ и при переговорахъ о перемиріи и мирѣ не потерять совершенно своей свободы, все-таки необходима была армія.

Со всѣми этими несчастіями, одновременно постигшими Швецію, мужественно боролся непреклонный, неистощимый въ средствахъ духъ Оксенштирны, и его проницательный умъ показалъ ему, какъ обратить злоключенія, низвергшіяся на него, въ свою же пользу. Отпаденіе столь многихъ имперскихъ чиновъ отъ шведской партіи лишало его правда большинства его прежнихъ союзниковъ, но оно въ то же время избавляло его отъ необходимости щадить ихъ; и чѣмъ больше становилось число его враговъ, тѣмъ больше было земель, по которымъ могли распространяться его арміи, тѣмъ больше запасовъ открывалось ему. Вопіющая неблагодарность чиновъ и высокомѣрное презрѣніе императора, который не удостоилъ его даже непосредственныхъ переговоровъ о мирѣ, зажгли въ немъ отвагу отчаянія и благородную настойчивость довести дѣло до крайности. Отъ самой неудачной войны дѣла шведовъ не могли стать хуже, чѣмъ они были теперь, и если ужъ суждено очистить Германію, то приличнѣе и славнѣе сдѣлать это по крайней мѣрѣ съ мечомъ въ рукѣ, уступая силѣ, а не страху.

Въ отчаянномъ положеніи, въ которое были повергнуты шведы предательствомъ своихъ союзниковъ, они обратили прежде всего свои взоры къ Франціи, поспѣшившей отвѣтить имъ самыми ободряющими предложеніями. Интересы обѣихъ державъ были связаны тѣснѣйшими узами, и Франція, давая погибнуть вліянію шведовъ въ Германіи, повредила бы себѣ самой. Совершенно безпомощное положеніе шведовъ являлось для Франціи поводомъ соединиться съ ними тѣснѣе и принять болѣе дѣятельное участіе въ германской войнѣ. Уже съ заключенія со шведами договора въ Бервальде въ 1631 году Франція при посредствѣ оружія Густава Адольфа воевала съ императоромъ безъ открытаго и формальнаго разрыва, лишь путемъ денежной помощи, которую она оказала противникамъ императора, и стараній увеличить число ихъ. Но, неожиданно встревоженная быстрыми и чрезвычайными успѣхамишведскаго оружія, она какъ будто упустила изъ виду на нѣкоторое время свою первоначальную цѣль, чтобы возстановить равновѣсіе силъ, нарушенное превосходствомъ шведовъ. Она старалась договорами о нейтралитетѣ защитить католическихъ государей Германіи отъ шведскаго побѣдителя, и когда эти попытки завершились неудачей, собиралась сама вступить въ борьбу съ нимъ. Но едва смерть Густава Адольфа и безпомощность шведовъ разсѣяли эти опасенія, какъ Франція съ энергіей вернулась къ своему первоначальному замыслу и щедро даровала несчастнымъ ту помощь, въ которой она отказывала счастливымъ. Не натыкаясь на противодѣйствіе, оказываемое ея завоевательнымъ планамъ честолюбіемъ и бдительностью Густава Адольфа, она пользуется благопріятнымъ моментомъ нердлингенскаго пораженія, чтобы присвоить себѣ руководство войною и предпи-

сывать законы тѣмъ, кто нуждается въ ея могущественномъ покровительствѣ. Обстоятельства благопріятствуютъ ея смѣлымъ замысламъ и то, что недавно было лишь прекрасной химерой, дѣлается отнынѣ обдуманной и вполнѣ оправдываемой обстоятельствами цѣлью. Итакъ, теперь Франція посвящаетъ нѣмецкой войнѣ все свое вниманіе и, обезпечивъ договоромъ съ нѣмцами свои частныя цѣли, она является на политической аренѣ дѣйствующей и господствующей силой. Между тѣмъ какъ участники войны истощили свои силы въ многолѣтней борьбѣ, она щадила свои силы и въ теченіе десяти лѣтъ вела войну лишь своими деньгами; теперь, когда обстоятельства призываютъ ее къ непосредственной дѣятельности, она берется за мечъ и позволяетъ себѣ предпріятіе, повергающее въ изумленіе всю Европу. Она одновременно высылаетъ въ моря два флота и отправляетъ шесть различныхъ армій, содержа на свои деньги цѣлую державу и многихъ нѣмецкихъ государей. Оживленные надеждой на ея могущественную защиту, возстаютъ шведы и нѣмцы изъ своего глубокаго уныніе, въ надеждѣ съ мечомъ въ рукѣ добыть болѣе славный миръ, чѣмъ пражскій. Покинутые прежними союзниками, примирившимися съ императоромъ, они тѣмъ тѣснѣе соединяются съ Франціей, которая съ возрастающей нуждой удваиваетъ свою помощь, принимая въ нѣмецкой войнѣ все большее, хотя все еще тайное участіе, пока наконецъ не сбрасываетъ маску и не нападаетъ прямо и открыто на императора.

Чтобы дать шведамъ полную свободу дѣйствій противъ Австріи, Франція начала съ того, что освободила ихъ отъ войны съ Польшей. При помощи своего посла, графа д'Аво, она склонила обѣ стороны заключить въ Штумсдорфѣ въ Пруссіи дальнѣйшее перемиріе на двадцать шесть лѣтъ, правда, не безъ большого ущерба для Швеціи, которая однимъ взмахомъ пера лишилась почти всей польской Пруссіи, пріобрѣтенія, столь дорого стоившаго Густаву Адольфу. Берѣальдскій договоръ съ нѣкоторыми перемѣнами, которыхъ требовали обстоятельства, былъ возобновленъ на болѣе долгій срокъ сперва въ Компьенѣ, затѣмъ въ Висмарѣ и Гамбургѣ. Еще въ маѣ 1635 года произошелъ разрывъ съ Испаніей и энергичное нападеніе на эту державу лишило императора сильной помощи изъ Нидерландовъ; содѣйствіе оказанное ландграфу кассельскому Вильгельму и Бернгарду Веймарскому, дало большую свободу шведскому оружію на Эльбѣ и Дунаѣ, а сильная диверсія на Рейнѣ принудила императора раздробить свои силы.

Такимъ образомъ яростнѣе прежняго возгорѣлась война, и императоръ, уменьшивъ пражскимъ миромъ число своихъ противниковъ внутри Германіи, увеличилъ жаръ и энергію своихъ внѣшнихъ враговъ. Онъ пріобрѣлъ неограниченную власть въ Германіи и сдѣлался, если не считать нѣкоторыхъ чиновъ, повелителемъ всего государственнаго организма и его силъ, такъ что могъ отнынѣ дѣйствовать снова въ качествѣ императора и владыки Германіи. Первымъ слѣдствіемъ этого было возведеніе его сына Фердинанда III въ санъ короля римскаго, рѣшенное подавляющимъ, несмотря на противорѣчіе Трира и пфальцскихъ наслѣдниковъ, большинствомъ голосовъ. Но онъ довелъ шведовъ до отчаяннаго сопротивленія, вооружилъ противъ себя всю мощь Франціи и вовлекъ ее въ интимнѣйшія дѣла Германіи. Отнынѣ обѣ державы составляютъ вмѣстѣ съ своими нѣмецкими союзниками одну цѣльную, самодовлѣющую силу, а императоръ съ преданными ему нѣмецкими государствами—другую. Отнынѣ шведы не выказываютъ уже прежней умѣренности, потому что теперь они бьются уже не за Германію, а за собственное существованіе. Они дѣйствуютъ быстрѣе, свободнѣе и смѣлѣе, потому что избавлены отъ необходимости справляться съ желаніями своихъ нѣмецкихъ союзниковъ и отдавать имъ отчетъ въ своихъ намѣреніяхъ. Битвы становятся болѣе упорными и болѣе кровопролитными, но менѣе рѣшительными. Совершаются болѣе громкіе подвиги мужества и военнаго искусства, но все это обособленныя дѣйствія, не руководимыя единымъ планомъ, не использованныя всенаправляющимъ духомъ и потому они оказываютъ лишь слабое вліяніе на дѣла всей партіи и мало измѣняютъ ходъ войны.

По пражскому миру Саксонія обязалась изгнать шведовъ изъ Германіи; отнынѣ такимъ образомъ саксонскія знамена соединяются съ императорскими, и два прежнихъ союзника обращаются въ двухъ непримиримыхъ враговъ. Архіепископство магдебургское, обѣщанное по пражскому миру саксонскому принцу, было еще въ рукахъ шведовъ, и всѣ попытки получить его мирнымъ путемъ были безуспѣшны. Такимъ образомъ открылись военныя дѣйствія, которыя началъ курфюрстъ саксонскій съ

того, что отозвалъ такъ называемыми „авокаторіями“ всѣхъ саксонскихъ подданныхъ изъ арміи Баннера, расположенной по берегамъ Эльбы. Офицеры, давно уже недовольные неуплатой жалованья, повинуются этому призыву и покидаютъ одинъ отрядъ за другимъ. Такъ какъ саксонцы двинулись въ то же время по направленію къ Мекленбургу, съ цѣлью отнять Демицъ и отрѣзать непріятеля отъ Помераніи и Балтійскаго моря, то Баннеръ поспѣшилъ туда, выручилъ Демицъ и разбилъ на голову саксонскаго генерала Баудисена съ семитысячной арміей; около тысячи человѣкъ осталось на мѣстѣ и столько же попало въ плѣнъ. Подкрѣпившись войсками и артиллеріей, которыя до сихъ поръ расположены были въ польской Пруссіи, но были здѣсь не нужны послѣ штумсдорфскаго договора, этотъ настойчивый и отважный полководецъ вторгся въ слѣдующемъ 1636 году въ курфюршество саксонское, гдѣ принесъ кровавыя жертвы своей старой ненависти къ саксонцамъ. Озлобленный многолѣтними оскорбленіями, которыя онъ и его шведы претерпѣли отъ надменности саксонцевъ во время ихъ общихъ походовъ, и до крайности взбѣшенный теперь измѣной курфюрста, онъ выместилъ теперь свое негодованіе на несчастныхъ подданныхъ курфюрста. Противъ Австріи и Баваріи шведскій солдатъ бился больше по обязанности; съ саксонцами онъ воевалъ изъ личной ненависти и съ личнымъ озлобленіемъ, потому что онъ презиралъ ихъ, какъ предателей и измѣнниковъ, потому что ненависть двухъ прежнихъ друзей—всегда самая яростная и непримиримая. Сильная диверсія, сдѣланная тѣмъ временемъ императору герцогомъ веймарскимъ и ландграфомъ гессенскимъ на Рейнѣ и Вестфаліи, не позволяла ему оказать саксонцамъ достаточную помощь, и такимъ образомъ все курфюршество было обречено въ жертву неистовымъ грабежамъ одичалыхъ полчищъ Баннера. Наконецъ, курфюрстъ, соединившись съ императорскимъ генераломъ фонъ Гацфельдомъ, двинулся къ Магдебургу, которому тщетно старался помочь поспѣшившій сюда Баннеръ. Тогда соединенная саксонско-императорская армія заняла Бранденбургъ, отнявъ у шведовъ многіе города, и готовилась оттѣснить ихъ къ Балтійскому морю. Но, вопреки всѣмъ ожиданіямъ, уже погибшій по общему мнѣнію Баннеръ напалъ 24 сентября 1636 года на союзную армію у Витштока и одержалъ важную побѣду. Нападеніе было страшно; вся масса непріятельскихъ войскъ ринулась на правое крыло шведовъ, которымъ командовалъ самъ Баннеръ. Долго бились на обѣихъ сторонахъ съ равнымъ упорствомъ и ожесточеніемъ; въ рядахъ шведовъ не было ни одного ничтожнаго эскадрона, который не бросался бы десять разъ впередъ и не былъ бы десять разъ отбитъ. Когда наконецъ Баннеръ принужденъ былъ уступить превосходству непріятеля, его лѣвое крыло продолжало бой до наступленія ночи, а шведскіе резервы, еще не принимавшіе участія въ боѣ, готовы были продолжать его на слѣдующее утро. Но курфюрстъ саксонскій не хотѣлъ ждать этого второго нападенія. Его армія была истощена вчерашнимъ сраженіемъ, а погонщики разбѣжались со всѣми лошадьми, такъ что нельзя было употребить въ дѣло артиллерію. Поэтому онъ бѣжалъ въ ту же ночь съ графомъ фонъ Гацфельдомъ, оставивъ поле сраженія шведамъ. Союзники оставили на мѣстѣ около пяти тысячъ человѣкъ, не считая тѣхъ, которые были убиты шведами во время бѣгства или попали въ руки разъяреннымъ крестьянамъ. Полтораста штандартовъ и знаменъ, двадцать три пушки, весь обозъ вмѣстѣ съ серебряной утварью курфюрста и около двухъ тысячъ плѣнныхъ достались побѣдителю. Эта блестящая побѣда, одержанная надъ непріятелемъ гораздо болѣе сильнымъ и занимавшимъ выгодныя позиціи, сразу окружила шведовъ прежнимъ уваженіемъ; ихъ враги дрогнули, ихъ друзья почувствовали новое мужество. Воспользовавшись счастьемъ, столь очевидно перешедшимъ на его сторону, Баннеръ поспѣшилъ перейти черезъ Эльбу и гналъ императорскія войска чрезъ Тюрингію и Гессенъ вплоть до Вестфаліи. Затѣмъ онъ повернулъ обратно и расположился зимними квартирами въ Саксоніи.

Но безъ помощи, доставленной ему дѣятельностью Бернгарда и французовъ на Рейнѣ, ему было бы не такъ легко одержать эти громкія побѣды. Послѣ нердлингенскаго пораженія герцогъ Бернгардъ собралъ остатки своей разбитой арміи въ Веттерау; но покинутый гейльбронскимъ союзомъ, который вскорѣ былъ совершенно уничтоженъ пражскимъ миромъ, и получая слишкомъ слабую поддержку отъ шведовъ, онъ увидѣлъ, что совершенно лишенъ возможности содержать армію и совершать во главѣ ея славные подвиги. Нердлингенское пораженіе поглотило его франконское гер-

цогство, а безсиліе шведовъ лишило его всякой надежды составить себѣ счастье при помощи этой державы. Недовольный гнетомъ, налагаемымъ на него повелительнымъ обращеніемъ шведскаго канцлера, онъ обратилъ свои взоры на Францію, которая могла ему помочь тѣмъ, въ чемъ онъ только нуждался—деньгами, и нашелъ съ ея стороны полную готовность. Болѣе всего было желательно для Ришелье уменьшить вліяніе шведовъ на нѣмецкую войну и подъ прикрытіемъ чужого имени вмѣшаться въ руководство ею. Для достиженія этой цѣли онъ не могъ найти лучшаго средства, какъ отнять у шведовъ ихъ храбрѣйшаго полководца, связать его тѣснѣйшимъ образомъ съ интересами Франціи и воспользоваться имъ для выполненія своихъ замысловъ. Такого государя, какъ Бернгардъ, который не могъ держаться безъ помощи посторонней силы, Франціи нечего было бояться, такъ какъ и самый счастливый исходъ не могъ поставить его внѣ зависимости отъ этой державы. Бернгардъ лично прибылъ во Францію и въ октябрѣ 1635 года заключилъ въ Сенъ-Жерменѣ-анъ-Лэ, уже не въ качествѣ шведскаго генерала, а отъ своего имени, договоръ, по которому онъ получалъ ежегодный окладъ въ полтора милліона ливровъ для себя и четыре милліона на содержаніе арміи, которою долженъ былъ начальствовать въ предѣлахъ распоряженій короля. Чтобы еще болѣе разжечь его усердіе и ускорить при его помощи завоеваніе Эльзаса, не постѣснялись въ тайномъ договорѣ обѣщать ему въ награду эту область, — великодушіе, отъ котораго на самомъ дѣлѣ были очень далеки, и которое самъ герцогъ умѣлъ оцѣнить по достоинству. Но Бернгардъ вѣрилъ въ свое счастье и свою руку и боролся съ коварствомъ путемъ притворства. Разъ онъ такъ силенъ, что сможетъ отнять Эльзасъ у врага, то въ случаѣ нужды онъ съумѣетъ отстоять его и отъ друзей. Такимъ образомъ онъ набралъ на французскія деньги свою собственную армію, которой онъ командовалъ номинально подъ верховной властью Франціи, но на дѣлѣ почти неограниченно и не разрывая совершенно своей связи съ Швеціей. Онъ открылъ военныя дѣйствія на Рейнѣ, гдѣ другая французская армія подъ начальствомъ кардинала Ла-Валетта дѣйствовала противъ императора еще съ 1635 года.

Противъ этой послѣдней двинулись по покореніи Швабіи и Франконіи, подъ начальствомъ Галласа, главныя силы австрійской арміи, одержавшія важныя побѣды при Нердлингенѣ, и съ такимъ же успѣхомъ заставили ее удалиться къ Мецу, освободили Рейнъ и отняли у шведовъ, города Майнцъ и Франкенталь. Но важнѣйшій замыселъ этого полководца — занять зимнія квартиры во Франціи — встрѣтилъ со стороны французовъ энергичное сопротивленіе, вслѣдствіе котораго онъ былъ вынужденъ возвратиться съ войсками въ истощенный Эльзасъ и Швабію. Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій въ слѣдующемъ году онъ перешелъ Рейнъ у Брейзаха и готовился перенести войну во внутрь Франціи. Онъ вторгся, дѣйствительно, въ графство Бургундское, между тѣмъ какъ испанцы дѣйствовали съ успѣхомъ въ Пикардіи, а Іоаннъ фонъ-Вертъ, страшный полководецъ лиги и знаменитый партизанъ, совершалъ набѣги вглубь Шампани и грозилъ даже Парижу своимъ страшнымъ появленіемъ. Но храбрость императорскихъ войскъ была сокрушена подъ стѣнами одной незначительной крѣпости въ Франшъ-Конте и они вторично вынуждены были отказаться отъ своихъ плановъ.

Зависимость отъ французскаго полководца, дѣлавшаго больше чести своей рясѣ, чѣмъ своей шпагѣ, лежала до сихъ поръ слишкомъ тягостнымъ гнетомъ на дѣятельномъ духѣ герцога Бернгарда, и хотя онъ вмѣстѣ съ нимъ взялъ Эльзасъ-Цабернъ, ему не удалось удержаться на Рейнѣ въ 1636—1637 годахъ. Неудачи французскихъ войскъ въ Нидерландахъ отразились на военныхъ дѣйствіяхъ въ Эльзасѣ и Брейсгау; но въ 1638 году война въ этихъ земляхъ приняла болѣе блестящій оборотъ. Освободившись отъ этой стѣснительной зависимости и сдѣлавшись полновластнымъ господиномъ своихъ войскъ, герцогъ Бернгардъ уже въ началѣ февраля спокойно покинулъ зимнія квартиры въ епископствѣ Базельскомъ и противъ всякаго ожиданія появился на Рейнѣ, гдѣ въ это суровое время были менѣе всего готовы къ нападенію. Лѣсные города Лауфенбургъ, Вальдсгутъ и Зекингенъ были захвачены врасплохъ и взяты, а Рейнфельденъ осажденъ. Командовавшій здѣсь императорскій генералъ герцогъ Савелли поспѣшилъ ускоренными переходами на помощь этому важному укрѣпленію, дѣйствительно выручилъ его и заставилъ герцога веймарскаго отступить съ большимъ урономъ. Но вопреки всякимъ человѣческимъ предположеніямъ,

послѣдній на третій день (21-го февраля 1638 года) снова появляется предъ флангомъ императорскихъ войскъ, которыя безпечно наслаждаются побѣдой, одержанной у Рейнфельдена, и разбиваетъ ихъ въ большомъ сраженіи, гдѣ взяты въ плѣнъ четыре императорскихъ генерала—Савелли, Іоаннъ фонъ-Вертъ, Энкефортъ и Шпеерреитеръ и двѣ тысячи солдатъ. Двухъ генераловъ, фонъ-Верта и фонъ-Энкефорта впослѣдствіи отвезли по приказанію Ришелье во Францію, чтобы польстить тщеславію французскаго народа видомъ столь славныхъ плѣнниковъ и прикрыть общественное бѣдствіе мишурнымъ блескомъ побѣдъ. Съ той же цѣлью были торжественно внесены въ соборъ Парижской Богоматери отбитыя знамена и штандарты, трижды преклонены предъ алтаремъ и отданы на сохраненіе святилищу.

Взятіе Рейнфельдена, Ретельна и Фрейбурга было ближайшимъ слѣдствіемъ побѣды Бернгарда. Его войско значительно разрослось, а вслѣдъ за удачами расширялись его замыслы. Крѣпость Брейзахъ на верхнемъ Рейнѣ господствовала надъ этой рѣкой и считалась ключемъ къ Эльзасу. Не было укрѣпленія въ тѣхъ мѣстахъ болѣе важнаго для императора; ни одно не пользовалось такимъ вниманіемъ. Удержать Брейзахъ было главнымъ назначеніемъ итальянской арміи подъ начальствомъ Феріа; неприступность ея окоповъ и ея удобное положеніе дѣлали ее непреодолимой, и императорскіе генералы, отправленные сюда, имѣли приказъ не щадить ничего лишь бы отстоять это укрѣпленіе. Но Бернгардъ вѣрилъ въ свою звѣзду и рѣшился напасть на крѣпость. Непобѣдимая для силы, она могла быть взята лишь голодомъ, — и безпечность ея коменданта, который, не боясь нападенія, обратилъ свои хлѣбные запасы въ деньги, ускорила ея судьбу. Такъ какъ при такихъ обстоятельствахъ она не могла выдержать продолжительной осады, то необходимо было, не теряя времени, выручить ее или снабдить жизненными припасами. Поэтому императорскій генералъ фонъ Мецъ поспѣшно двинулся къ ней во главѣ двѣнадцати тысячъ человѣкъ съ тремя тысячами телѣгъ провіанта, который онъ хотѣлъ передать городу. Но разбитый герцогомъ Бернгардомъ подъ Виттевейеромъ, онъ потерялъ цѣлый отрядъ въ три тысячи человѣкъ и весь обозъ, который сопровождалъ. Такая же судьба постигла на Оксенфельдѣ у Танна герцога лотарингскаго, который также шелъ на выручку крѣпости съ пятью-шестью тысячами человѣкъ. Послѣ того какъ и третья попытка генерала фонъ Геца спасти Брейзахъ завершилась неудачей, эта крѣпость, истомленная невѣроятнымъ голодомъ, 7 декабря 1638 года сдалась послѣ четырехмѣсячной осады своему побѣдителю, столь же гуманному, сколь настойчивому.

Взятіе Брейзаха открыло безграничное поприще честолюбію герцога веймарскаго, и съ этихъ поръ романтика его надеждъ начинаетъ переходить въ дѣйствительность. Весьма далекій отъ того, чтобы подѣлиться съ Франціей плодами своихъ побѣдъ, онъ предназначаетъ Брейзахъ себѣ одному и проявляетъ этотъ замыселъ уже въ присягѣ, которую онъ требуетъ отъ побѣжденныхъ для себя, безъ всякаго упоминанія о какой-либо другой державѣ. Опьяненный своими блестящими успѣхами и увлеченный смѣлыми надеждами, онъ начинаетъ думать, что не нуждается ни въ комъ, и что ему удастся удержать за собой плоды своихъ побѣдъ, даже вопреки Франціи. Въ эпоху, когда все могло быть добыто храбростью, когда личная сила имѣла еще нѣкоторое значеніе, а войска и полководцы цѣнились больше цѣлыхъ областей, было позволительно такому герою, какъ Бернгардъ, нѣсколько вѣритъ въ себя и во главѣ превосходной арміи, считавшей себя подъ его властью непобѣдимой, не отказываться ни отъ какого замысла. Чтобы имѣть хоть одного друга среди массы враговъ, на которыхъ онъ теперь шелъ, онъ обратилъ вниманіе на ландграфиню гессенскую Амалію, вдову недавно умершаго ландграфа Вильгельма, государыню, одаренную въ равной мѣрѣ умомъ и рѣшительностью, и имѣвшую возможность отдать вмѣстѣ со своей рукой боевую армію, прекрасныя завоеванія и значительное государство. Соединеніе завоеваній Гессена и Бернгарда въ одно государство и обоихъ войскъ въ единую армію могло образовать сильную державу и, быть можетъ, даже третью партію въ Германіи, отъ которой зависѣлъ бы исходъ войны. Но смерть положила преждевременный конецъ этому многообѣщавшему замыслу.

„Не падать духомъ, патеръ Іосифъ! Брейзахъ нашъ!“ — вскричалъ Ришелье, упоенный этой радостной вѣстью, на ухо капуцину, который готовился уже отправиться на тотъ свѣтъ. Онъ поглощалъ уже

мысленно Эльзасъ, Брейсгау и всѣ смежныя австрійскія владѣнія, не помышляя объ обѣщаніи, даннomъ герцогуБернгарду. Рѣшительное намѣреніе послѣдняго удержать Брейзахъ за собою, высказанное имъ весьма недвусмысленнымъ образомъ, повергло кардинала въ чрезвычайное замѣшательство, и были пущены въ ходъ всѣ средства, чтобы сохранить побѣдоноснаго Бернгарда на службѣ Франціи. Его пригласили ко двору, чтобы показать ему, съ какимъ торжествомъ вспоминаютъ здѣсь о его побѣдахъ; Бернгардъ понялъ, въ чемъ дѣло, и избѣгъ западни. Ему сдѣлали честь, предложивъ въ супруги племянницу кардинала, но благородный германскій государь отказался, не желая безчестить саксонскую кровь неравнымъ бракомъ. Тогда стали смотрѣть на него, какъ на опаснаго врага и обращаться съ нимъ какъ съ врагомъ. Его лишили денежной помощи; подкупили губернатора и важнѣйшихъ офицеровъ Брейзаха, чтобы овладѣть его завоеваніями и войсками герцога, хотя бы цѣною его смерти. Эти козни не остались тайной для Бернгарда, и мѣры, принятыя имъ въ завоеванныхъ мѣстахъ, доказали его недовѣріе къ Франціи. Но раздоры съ французскимъ дворомъ оказали самое пагубное вліяніе на его дальнѣйшіе замыслы. Приготовленія, которыя онъ долженъ былъ сдѣлать для защиты своихъ пріобрѣтеній отъ нападенія французовъ, принудили его раздробить армію, а неполученіе денегъ замедлило открытіе военныхъ дѣйствій. Онъ намѣренъ былъ перейти черезъ Рейнъ, чтобы выручить шведовъ и дѣйствовать противъ императора и Баваріи на берегахъ Дуная. Онъ открылъ уже свой операціонный планъ и обѣщалъ Баннеру, который собирался перенести войну въ предѣлы Австріи, смѣнить его,—какъ смерть унесла его въ расцвѣтѣ его доблестной жизни въ Нейбургѣ на Рейнѣ въ іюлѣ 1639 года на тридцать шестомъ году отъ роду.

Онъ умеръ отъ заразы, унесшей въ его лагерѣ около четырехсотъ человѣкъ въ теченіе двухъ дней. Черныя пятна на его тѣлѣ, собственныя слова умирающаго и удобство его внезапной кончины для Франціи возбудили подозрѣніе, что онъ былъ жертвой французскаго яда; но это предположеніе опровергается въ достаточной степени его болѣзнію. Въ немъ союзники потеряли величайшаго полководца, какого они имѣли послѣ Густава Адольфа, Франція — страшнаго соперника въ Эльзасѣ, императоръ — своего опаснѣйшаго врага. Ставъ героемъ и полководцемъ въ школѣ Густава Адольфа, онъ шелъ по стопамъ этого великаго образца, и лишь ранняя смерть помѣшала ему достигнуть его высоты, а можетъ быть и превзойти его. Съ храбростью солдата онъ соединялъ холодную и спокойную разсудительность полководца, съ твердымъ мужествомъ зрѣлаго мужа отважную рѣшительность юноши, съ неистовымъ пыломъ бойца достоинство государя, умѣренность мудреца и добросовѣстность человѣка чести. Не преклоняясь предъ несчастіями, онъ быстро и съ новыми силами подымался послѣ самыхъ тяжкихъ ударовъ; никакое препятствіе не могло уменьшить его отвагу, никакая неудача не могла побѣдить его непреодолимое мужество. Его духъ стремился къ великой, быть можетъ, недосягаемой цѣли; но люди этого склада повинуются не тѣмъ законамъ благоразумія, по которымъ мы привыкли измѣрять массы обыденныхъ людей; чувствуя силы совершить нѣчто большее, чѣмъ другіе, онъ чувствовалъ себя вправѣ питать болѣе смѣлые замыслы. На страницахъ новой исторіи Бернгардъ является прекраснымъ образомъ той могучей эпохи, когда личное величіе имѣло еще значеніе, храбрость добывала земли и геройскія добродѣтели возвели нѣмецкаго рыцаря на императорскій тронъ.

Солдатскіе типы. (Изъ соврем. соч. Callot «Les exercices militaires»).

Лучшимъ наслѣдіемъ герцога была его армія, которую онъ завѣщалъ вмѣстѣ съ Эльзасомъ брату своему Вильгельму. Но на эту самую армію считали себя вправѣ предъявлять притязанія Швеція и Франція; одна—потому что армія была набрана отъ ея имени и принесла ей присягу, другая—потому что армія содержалась на ея деньги. Мечталъ объ этой арміи и наслѣдникъ пфальцскій, желая воспользоваться ею для завоеванія своихъ владѣній; онъ и попытался—сначала чрезъ своихъ агентовъ, а затѣмъ лично—привлечь ее на свою сторону. Даже со стороны императора были сдѣланы попытки заполучить эту армію,

это обстоятельство не должно насъ удивлять въ эпоху, когда въ соображеніе принимались не справедливость защищаемаго дѣла, но лишь плата за оказанныя услуги, и храбрость, какъ и всякій другой товаръ, продавалась тому, кто платилъ дороже. Но Франція, какъ самая богатая и самая рѣшительная изъ всѣхъ соискателей, одержала верхъ. Она подкупила генерала фонъ Эрлаха, коменданта Брейзаха, и остальныхъ начальниковъ, благодаря которымъ и получила въ свои руки Брейзахъ и всю армію. Молодой пфальцграфъ, Карлъ Людвигъ, выступавшій уже за нѣсколько лѣтъ ранѣе въ неудачный походъ противъ императора, потерпѣлъ и здѣсь неудачу. Предполагая дѣйствовать противъ Франціи, онъ имѣлъ безразсудство избрать путь черезъ эту страну и напалъ еще на несчастную мысль скрыть свое имя. Кардиналъ, боясь справедливаго дѣла пфальцграфа, былъ радъ всякому предлогу уничтожить его замыслы; поэтому, вопреки всѣмъ обычаямъ международнаго права, онъ приказалъ его задержать въ Муленѣ и выпустилъ его на свободу лишь тогда, когда пріобрѣтеніе веймарской арміи стало совершившимся фактомъ. Такимъ образомъ въ распоряженіи Франціи оказалась значительная и опытная армія въ Германіи, и лишь теперь собственно начинаетъ она вести съ императоромъ войну отъ своего имени.

Но уже не на Фердинанда II двинулась она теперь, какъ на открытаго врага. Въ февралѣ 1637 года смерть унесла императора на пятьдесятъ девятомъ году его жизни. Война, возжженная его честолюбіемъ, пережила его: за время своего восемнадцатилѣтняго правленія онъ не выпускалъ изъ рукъ меча; за все время, что онъ былъ на престолѣ имперіи, онъ не испыталъ благодѣяній мира. Рожденный съ дарованіями хорошаго правителя, украшенный многими добродѣтелями, на которыхъ покоится счастье народовъ, мягкій и человѣчный отъ природы, вслѣдствіе ложнаго представленія о долгѣ монарха, орудіе и жертва чужихъ страстей,—онъ не выполнилъ своего благодѣтельнаго назначенія; изъ поборника справедливости онъ обратился въ деспота, въ врага мира, въ бичъ своихъ народовъ. Деликатный въ своей частной жизни, достойный уваженія въ санѣ государя, но дурно руководимый въ своей политикѣ, онъ собралъ надъ своей главой благословенія своихъ католическихъ подданныхъ и проклятія всѣхъ протестантовъ. Въ исторіи есть худшіе деспоты, чѣмъ Фердинандъ II, а между тѣмъ лишь онъ одинъ былъ причиной тридцатилѣтней войны; но для того, чтобы честолюбіе этого одного человѣка сопровождалось столь гибельными послѣдствіями, оно должно было, къ несчастію, столкнуться именно съ этой эпохой, съ такими подготовительными условіями, съ такими сѣменами раздора. Въ болѣе мирное время искра не нашла бы пищи, и честолюбіе одного человѣка было бы задушено мирнымъ настроеніемъ цѣлаго вѣка; теперь злополучная молнія пала на груды давно скопленныхъ горючихъ матеріаловъ,— и пожаръ объялъ Европу.

Сынъ его Фердинандъ III, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти своего отца возведенный въ санъ короля римскаго, унаслѣдовалъ его престолы, его принципы и его войну. Но Фердинандъ III, видѣвшій вблизи бѣдствія людей и истощеніе странъ, чувствовалъ глубже и живѣе необходимость мира. Менѣе зависимый отъ іезуитовъ и испанцевъ и болѣе справедливый къ чужой вѣрѣ, онъ легче, чѣмъ отецъ, могъ внять голосу умѣренности. Онъ внялъ ему, и даровалъ Европѣ миръ, но лишь послѣ одиннадцатилѣтней войны мечомъ и перомъ, и лишь тогда, когда всякое сопротивленіе стало напрасно и безвыходная необходимость поставила ему въ законъ суровыя условія.

Счастье привѣтствовало его вступленіе на престолъ и оружіе его одерживало побѣды надъ шведами, которые подъ сильной рукой Баннера обременяли постоями Саксонію послѣ побѣды при Витштокѣ и открыли военныя дѣйствія 1637 года осадой Лейпцига. Мужественное сопротивленіе гарнизона и приближеніе императорско-курфюршеской арміи спасли этотъ городъ, и Баннеръ, чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ Эльбы, вынужденъ былъ отступить къ Торгау. Но превосходство императорскихъ войскъ заставило его удалиться и отсюда, и окруженный непріятельскими отрядами, задерживаемый рѣками и преслѣдуемый голодомъ, онъ вынужденъ былъ предпринять въ высшей степени опасное отступленіе въ Померанію, смѣлость и удача котораго граничатъ съ сказкой. Вся армія переправилась черезъ Одеръ въ бродъ у Фюрстенберга, и солдаты по горло въ водѣ сами тащили орудія, потому что лошади упирались. Баннеръ разсчитывалъ найти по ту сторону Одера расположеннаго здѣсь помощника своего Врангеля и, подкрѣпив-

шись его войсками, двинуться на непріятеля. Но Врангеля здѣсь не оказалось, а вмѣсто него у Ландсберга расположено было императорское войско, преграждая путь отступающимъ шведамъ. Тогда Баннеръ увидѣлъ, что онъ попалъ въ гибельную западню, отъ которой нѣтъ спасенія. Позади была истощенная земля, императорскія войска и Одеръ; слѣва тотъ же Одеръ, чрезъ который немыслимо было переправиться въ виду присутствія императорскаго генерала Бухгейма, впереди—Ландсбергъ, Кюстринъ, Варта и непріятельское войско; справа Польша, которой, несмотря на перемиріе, довѣрять было невозможно; и Баннеръ считалъ себя погибшимъ, если не случится чуда и императорскія войска уже праздновали его неминуемую гибель. Справедливое негодованіе Баннера обвиняло въ этомъ несчастіи французовъ. Они не сдѣлали обѣщанной диверсіи на Рейнѣ, и ихъ бездѣйствіе дало императору возможность бросить всѣ свои силы на шведовъ. „Если когда нибудь—вскричалъ взбѣшенный генералъ французскому уполномоченному, бывшему въ шведскомъ лагерѣ—если когда нибудь намъ придется вмѣстѣ съ нѣмцами сражаться противъ Франціи, то мы не будемъ думать такъ долго, прежде чѣмъ переправиться черезъ Рейнъ". Но теперь всѣ упреки были уже напрасны. Безвыходное положеніе требовало рѣшимости и энергіи. Въ разсчетѣ отвлечь непріятеля отъ Одера ложнымъ слѣдомъ, Баннеръ притворился, будто хочетъ уйти чрезъ Польшу, и въ самомъ дѣлѣ отправилъ въ этомъ направленіи большую часть обоза, а свою жену вмѣстѣ съ другими офицерскими женами также послалъ по этому пути. Для того, чтобы преградить ему путь, императорскія войска спѣшатъ къ польской границѣ, Бухгеймъ также покидаетъ свою границу—и Одеръ свободенъ. Во мракѣ ночи Баннеръ бросается обратно къ рѣкѣ и безъ мостовъ, безъ кораблей переправляетъ черезъ нее свои войска, вмѣстѣ съ обозомъ и артиллеріей въ одной милѣ отъ Кюстрина, какъ прежде у Фюрстенберга. Безъ всякихъ потерь добирается онъ до Помераніи, чтобы раздѣлить съ Германомъ Врангелемъ ея защиту.

Но многочисленныя императорскія войска подъ начальствомъ Галласа вторгаются въ это герцогство у Трибзеса. Узедомъ и Волгастъ взяты приступомъ, Деминнъ сдается на капитуляцію и шведы оттѣснены вглубь Помераніи. Теперь болѣе чѣмъ когда-либо было важно сохранить за собой эту страну, такъ какъ въ этомъ году умеръ герцогъ Богуславъ XIV, и Швеція должна была предъявить свои притязанія на Померанію. Чтобы не дать курфюрсту бранденбургскому осуществить свои права на герцогство, основанныя на родствѣ и пражскомъ мирѣ, Швеція напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы подкрѣпить какъ можно лучше своихъ полководцевъ деньгами и солдатами. Въ другихъ областяхъ имперіи обстоятельства шведовъ также получаютъ болѣе благопріятный оборотъ, и они начинаютъ оправляться отъ глубокаго паденія, въ которое ихъ повергло бездѣйствіе Франціи и отпаденіе союзниковъ. Ибо послѣ своего поспѣшнаго отступленія въ Померанію они теряли въ Верхней Саксоніи одну крѣпость за другой; герцоги мекленбургскіе, тѣснимые императорскими войсками, начали склоняться на сторону Австріи, и даже герцогъ Георгъ люнебургскій перешелъ въ ряды враговъ Швеціи. Эренбрейтштейнъ, побѣжденный голодомъ, открылъ свои ворота баварскому генералу фонъ-Верту, а австрійцы овладѣли всѣми возведенными на Рейнѣ укрѣпленіями. Франція потерпѣла неудачу въ борьбѣ съ испанцами, исходъ которой совсѣмъ не соотвѣтствовалъ хвастливой обстановкѣ, съ какой были открыты военныя дѣйствія противъ этой державы. Потеряно было все, добытое шведами во внутренней Германіи; за ними оставалось нѣсколько крѣпостей въ Помераніи. Одинъ походъ исторгаетъ ихъ изъ этого глубокаго униженія, и сильная диверсія, сдѣланная императорскимъ войскамъ побѣдоноснымъ Бернгардомъ на Рейнѣ, быстро даетъ всему ходу войны совершенно новый оборотъ.

Несогласія между Франціей и Швеціей были наконецъ устранены, и старый трактатъ между обѣими державами подтвержденъ на-ново въ Гамбургѣ съ новыми выгодами для шведовъ. Въ Гессенѣ мудрая ландграфиня Амалія послѣ смерти супруга своего Вильгельма взяла съ согласія чиновъ въ свои руки кормило правленія и съ большой твердостью отстояла свои права противъ возраженій императора и дармштадтской линіи. Ревностно преданная шведско-протестантской партіи уже по религіознымъ мотивамъ, она ожидала лишь благопріятнаго случая открыто и энергично стать на ея сторону. Между тѣмъ ей удалось умѣлой сдержанностью и ловкими переговорами задержать дѣятельность им-

ператора, пока не былъ заключенъ ея тайный союзъ съ Франціей и побѣды Бернгарда не дали благопріятнаго оборота дѣламъ протестантовъ. Тогда, сразу сбросивъ маску, она возобновила старую дружбу съ Швеціей. Успѣхи Бернгарда заставили испытать свое счастье противъ общаго врага и наслѣдника пфальцскаго. Набравъ на англійскія деньги войска въ Голландіи, онъ устроилъ склады въ Меппенѣ и соединился въ Вестфаліи съ шведской арміей. Правда, склады его погибли, а армія его была разбита графомъ Гацфельдомъ при Флото; но дѣйствія его отвлекли непріятеля на нѣкоторое время и облегчили операціи шведовъ въ другихъ мѣстахъ. Ожили также другіе друзья шведовъ, какъ только счастье явно перешло на ихъ сторону; значительной выгодой было уже для нихъ то, что нижнесаксонскіе чины объявили нейтралитетъ.

Воспользовавшись столь благопріятными обстоятельствами и подкрѣпившись четырнадцатью тысячами человѣкъ свѣжаго войска изъ Швеціи и Лифляндіи, Баннеръ, одушевляемый надеждами, открылъ военныя дѣйствія 1638 г. Императорскія войска, занимавшія переднюю Померанію и Мекленбургъ, большею частью покидали свои позиціи или толпами переходили подъ шведскія знамена, чтобы спастись отъ голода, своего худшаго врага въ этой разграбленной и обнищавшей странѣ. Походы и постой до такой степени истощили земли между Эльбой и Одеромъ, что Баннеръ, опасаясь по пути въ Саксонію и Богемію погибнуть со всей своей арміей отъ голода, долженъ былъ двинуться изъ задней Помераніи на нижнюю Саксонію окольнымъ путемъ и уже черезъ Гальберштадтъ вступилъ въ курфюршество саксонское. Старанія нижне-саксонскихъ областей избавиться отъ этого голоднаго гостя снабдили его необходимыми припасами, такъ что онъ имѣлъ хлѣбъ для своей арміи въ Магдебургѣ—въ странѣ, гдѣ голодъ преодолѣлъ уже отвращеніе къ человѣческому мясу. Въ страхѣ содрогнулась Саксонія отъ его пагубнаго появленія; но не на эту истощенную страну, а на наслѣдственныя владѣнія императора были обращены его взоры. Побѣды Бернгарда окрыляли его отвагой, а богатыя области австрійскаго дома соблазняли его алчность. Разбивъ императорскаго генерала фонъ-Салиса при Эльстербергѣ, уничтоживъ саксонскую армію при Хемницѣ и овладѣвъ Пирной, онъ вторгся съ непреодолимой силой въ Богемію, переправился черезъ Эльбу, грозилъ Прагѣ, взялъ Брандейсъ и Лейтмерицъ, разбилъ генерала фонъ-Гофкирхена съ десятью полками и распространилъ трепетъ и опустошеніе по всему беззащитному королевству. Все, что можно было унести, становилось добычей, все, чего нельзя было потребить на мѣстѣ и разграбить, уничтожалось. Чтобы забрать съ собой какъ можно больше хлѣба, срѣзали колосья со стеблей, все остальное истребляли. Болѣе тысячи замковъ, мѣстечекъ и деревень было обращено въ пепелъ, и часто сотни ихъ были объяты пожаромъ въ одну ночь. Изъ Богеміи Баннеръ дѣлалъ набѣги на Силезію, и даже Моравія и Австрія страдали отъ его грабежей. Для борьбы съ этимъ бѣдствіемъ сюда спѣшили графъ Гацфельдъ изъ Вестфаліи и Пикколомини изъ Нидерландовъ. Для того, чтобы исправить ошибки прежняго главнокомандующаго Галласа и поднять глубоко павшую армію, жезлъ главнокомандующаго былъ врученъ эрцгерцогу Леопольду, брату императора.

Послѣдствія показали всю необходимость этихъ перемѣнъ, и походъ 1640 года принялъ весьма дурной оборотъ для шведовъ. Ихъ въ Богеміи постепенно вытѣсняютъ изъ одной позиціи за другой, такъ что они, стараясь только спасти свою добычу, вынуждены поспѣшно отступить чрезъ Мейсенскія горы. Но, преслѣдуемые непріятелемъ и въ Саксоніи, и разбитые у Плауена, они вынуждены искать убѣжища въ Тюрингіи. Получивъ въ одно лѣто перевѣсъ, они съ такою же быстротою вновь повергнуты въ глубочайшее безсиліе, чтобы снова воспрянуть и съ неизмѣнной быстротой переходить отъ одной крайности къ другой. Ослабленная армія Баннера, чуть не погибшая совершенно въ своемъ лагерѣ у Эрфурта, внезапно воскресаетъ. Герцоги люнебургскіе, отрекшіеся отъ пражскаго мира, ведутъ къ нему на помощь тѣ самыя войска, которыя они нѣсколько лѣтъ тому назадъ отправляли противъ него. Гессенъ присылаетъ помощь и герцогъ лонгвильскій съ прежней арміей герцога Бернгарда присоединяется къ его знаменамъ. Ставъ снова сильнѣе императорскихъ войскъ, Баннеръ вызываетъ ихъ на бой у Заалльфельда; но предводитель ихъ Пикколомини благоразумно избѣгаетъ сраженія, избравъ слишкомъ хорошую позицію, чтобы его можно было принудить къ битвѣ. Когда наконецъ баварскія войска, отдѣлившись отъ императорскихъ, направляются къ

Франконіи, Баннеръ дѣлаетъ попытку напасть на этотъ отдѣльный отрядъ, но благоразуміе баварскаго предводителя фонъ-Мерси и быстрое приближеніе императорской арміи дѣлаютъ попытку безуспѣшной. Затѣмъ обѣ арміи направляются въ истощенный Гессенъ, гдѣ неподалеку другъ отъ друга занимаютъ укрѣпленные лагери, оставаясь здѣсь, пока наконецъ нужда и суровое время года не заставляютъ ихъ покинуть эту обнищавшую страну. Пикколомини предполагаетъ занять зимнія квартиры на обильныхъ берегахъ Везера; но, опереженный Баннеромъ, онъ вынужденъ уступить ихъ шведамъ и обременить своимъ посѣщеніемъ франконскія епископства.

Въ это самое время въ Регенсбургѣ собрался имперскій сеймъ, гдѣ предполагалось выслушать жалобы чиновъ, позаботиться объ успокоеніи имперіи и порѣшить вопросъ о войнѣ и мирѣ. Присутствіе императора, предсѣдательствовавшаго въ совѣтѣ государей, преобладаніе католическихъ голосовъ въ собраніи курфюрстовъ, численность епископовъ и уменьшеніе числа протестантскихъ голосовъ направило совѣщаніе въ пользу императора, и этому имперскому сейму многаго недоставало, чтобы быть истиннымъ представителемъ имперіи. Не безъ нѣкотораго основанія протестанты смотрѣли на него, какъ на заговоръ Австріи и ея креатуръ противъ протестантской партіи, и въ ихъ глазахъ уже попытка помѣшать работамъ этого собранія или разогнать его являлась заслугой.

Баннеръ рѣшился на этотъ дерзкій замыселъ. Слава его оружія была запятнана послѣднимъ отступленіемъ изъ Богеміи, и необходимо было совершить подвигъ для того, чтобы возстановить ея прежній блескъ. Не довѣряя никому своего намѣренія, онъ покинулъ въ самые суровые холода зимою 1641 года свои квартиры въ Люнебургѣ, какъ только замерзли дороги и рѣки. Сопровождаемый маршаломъ де Гебріаномъ, командовавшимъ французской и веймарской арміей, онъ двинулся чрезъ Тюрингію и Фохтландъ къ Дунаю и явился подъ стѣнами Регенсбурга, прежде чѣмъ члены сейма могли быть извѣщены о его появленіи. Неописуемо было замѣшательство собравшихся чиновъ, и въ порывѣ перваго ужаса всѣ послы приготовились къ бѣгству. Лишь императоръ объявилъ, что онъ не покинетъ города и примѣромъ своимъ ободрилъ остальныхъ. Къ несчастію для шведовъ, наступила оттепель, такъ что Дунай вскрылся и ни по льду, ни—вслѣдствіе ледохода—на судахъ переправиться было невозможно. Но, чтобы сдѣлать хоть что нибудь и тѣмъ уязвить гордость германскаго императора, Баннеръ совершилъ непристойность, отсалютовавъ городу пятьюстами пушечными выстрѣлами, которые, однако, не причинили ему никакого вреда. Обманутый въ своихъ разсчетахъ, онъ рѣшилъ двинуться вглубь Баваріи и въ беззащитную Моравію, гдѣ его истомленныя войска ожидала богатая добыча и болѣе спокойныя квартиры. Но ничто не могло заставить французскаго генерала послѣдовать за нимъ. Гебріанъ боялся, что шведы задумали удалить веймарскую армію отъ Рейна и отрѣзать ее отъ Франціи, а затѣмъ или переманить ее на свою сторону, или лишить его возможности дѣйствовать самостоятельно. Предполагая поэтому возвратиться къ Майну, онъ отдѣлился отъ Баннера, который увидалъ себя вдругъ лицомъ къ лицу со всей императорской арміей, которая, собравшись потихоньку между Регенсбургомъ и Ингольштадтомъ, шла на него. Оставалось прибѣгнуть къ быстрому отступленію, которое, въ виду массы непріятельской конницы, среди рѣкъ и лѣсовъ, въ странѣ сплошь непріязненной, могло быть совершено лишь благодаря чуду. Онъ попытался уйти въ Саксонію чрезъ Богемію, но при этомъ ему пришлось оставить три полка у Нейбурга. Засѣвъ за какой-то дрянной стѣной, они спартанскимъ сопротивленіемъ удерживали въ теченіе четырехъ дней императорскія войска, что дало возможность Баннеру выиграть время. Онъ спасся черезъ Эгеръ, въ Анабергъ; Пикколомини преслѣдовалъ его ближайшимъ путемъ черезъ Шлакенвальдъ и лишь изъ-за получаса императорскому генералу не удалось занять ранѣе присницкій проходъ и истребить все шведское войско. Въ Цвиккау Гебріанъ снова соединился съ арміей Баннера и оба, послѣ тщетной попытки защитить Заалу и помѣшать австрійцамъ переправиться, направились къ Гальберштадту.

Въ Гальберштадтѣ нашелъ наконецъ Баннеръ въ маѣ 1641 года предѣлъ своимъ подвигамъ, убитый ядомъ невоздержанности и досадой. Хотя не всегда съ неизмѣннымъ счастьемъ, онъ съ большой славой поддерживалъ честь шведскаго оружія въ Германіи и длинной вереницей побѣдъ показалъ себя достойнымъ ученикомъ своего великаго наставника. Онъ былъ богатъ идеями, которыя хранилъ въ тайнѣ и выполнялъ

быстро, разсудителенъ въ опасностяхъ, сильнѣе въ превратностяхъ судьбы, чѣмъ въ счастьѣ, и страшнѣе всего тогда, когда его считали на краю гибели. Но добродѣтель героя соединилась въ немъ со всѣми безобразіями и пороками, которые воспитываетъ или по крайней мѣрѣ поддерживаетъ военное ремесло. Одинаково повелительный въ обращеніи, какъ и предъ фронтомъ арміи, грубый, какъ его ремесло, и гордый, какъ завоеватель, онъ тяготилъ нѣмецкихъ государей столько же своимъ высокомѣріемъ, сколько опустошеніемъ ихъ земель. За военныя тяготы онъ вознаграждалъ себя наслажденіями пировъ и любви, неумѣренность которыхъ онъ оплатилъ преждевременной смертью. Но полный жизни, какъ Александръ и Магометъ II, онъ съ равной легкостью бросался изъ объятій наслажденія въ тяготы войны, и въ тотъ моментъ, когда армія роптала на нѣженку, онъ являлся вдругъ предъ нею во всемъ величіи могучаго вождя. Болѣе восьмидесяти тысячъ человѣкъ пало въ многочисленныхъ сраженіяхъ, данныхъ имъ, и до шестисотъ непріятельскихъ штандартовъ и знаменъ, отправленныхъ имъ въ Стокгольмъ, служатъ свидѣтелями его побѣдъ. Потеря этого великаго полководца скоро дала себя знать шведамъ, и явились опасенія, что онъ незамѣнимъ. Духъ крамолы и разнузданности, сдерживаемый могучимъ авторитетомъ этого грознаго полководца, ожилъ съ его смертью. Офицеры съ грознымъ единодушіемъ требуютъ неоплаченнаго жалованья, и ни одинъ изъ четырехъ генераловъ, раздѣлявшихъ власть Баннера, не обладаетъ достаточнымъ авторитетомъ, чтобы удовлетворить или заставить замолчать дерзкихъ просителей. Падаетъ дисциплина; возрастающая нужда и императорскія прокламаціи уменьшаютъ армію съ каждымъ днемъ; французскія и веймарскія войска выказываютъ мало усердія, люнебургцы покидаютъ шведскія знамена, такъ какъ государи брауншвейгскаго дома примирились послѣ смерти герцога Георга съ императоромъ; и наконецъ гессенцы также отдѣляются отъ нихъ, чтобы найти лучшія квартиры въ Вестфаліи. Непріятель пользуется этимъ пагубнымъ междуцарствіемъ и, несмотря на двоекратное пораженіе, ему удается сдѣлать значительные успѣхи въ Нижней Саксоніи.

Наконецъ явился вновь назначенный шведскій главнокомандующій съ деньгами и солдатами. Это былъ Бернгардъ Торстенсонъ, воспитанникъ Густава Адольфа и счастливый преемникъ этого героя, пажомъ котораго онъ состоялъ еще во время польской войны. Разбитый подагрой и прикованный къ носилкамъ, онъ побѣждалъ всѣхъ своихъ противниковъ быстротою и замыслы его обладали крыльями, въ то время какъ тѣло было обременено страшнѣйшими изъ оковъ. При немъ мѣняется театръ войны и воцаряются новыя правила, предписанныя необходимостью и оправданныя успѣхомъ. Земли, изъ-за которыхъ до сихъ поръ сражались, обнищали окончательно, а австрійскій домъ, не тронутый въ своихъ отдаленныхъ владѣніяхъ, не чувствуетъ бѣдствій войны, подъ гнетомъ которыхъ истекаетъ кровью вся Германія. Торстенсонъ первый подвергаетъ его этому тягостному испытанію, насыщаетъ своихъ шведовъ у пышнаго стола Австріи и бросаетъ факелъ пожара къ самому трону императора.

Въ Силезіи непріятель одержалъ важные успѣхи надъ шведскимъ полководцемъ Стальгантшемъ и оттѣснилъ его къ Неймарку. Торстенсонъ, соединившійся въ Люнебургѣ со шведской арміей, присоединилъ его войска къ себѣ и въ 1642 году чрезъ Бранденбургъ, который подъ властью великаго курфюрста начинаетъ соблюдать вооруженный нейтралитетъ, вторгся внезапно въ Силезію. Глогау взятъ безъ аппрошей, безъ бреши, съ мечомъ въ рукѣ; герцогъ лауенбургскій Францъ Альбертъ разбитъ и палъ при Швейдницѣ; самъ Швейдницъ покоренъ, какъ и вся почти Силезія по сю сторону Одера. Затѣмъ съ неудержимой силой онъ вторгается въ нѣдра Моравіи, куда не проникалъ еще ни единый врагъ австрійскаго дома, захватываетъ Ольмюцъ и приводитъ въ содроганіе самую столицу. Между тѣмъ Пикколомини и эрцгерцогъ Леопольдъ успѣли собрать сильную армію, которая вытѣснила шведскаго завоевателя изъ Моравіи, а затѣмъ—послѣ напрасной попытки взять Бригъ—и изъ Силезіи. Подкрѣпившись отрядомъ Врангеля, онъ, правда, рѣшился снова двинуться на могучаго врага и освободилъ отъ осады Гросъ-Глогау; но онъ не могъ ни принудить непріятеля къ бою, ни привести въ исполненіе свои виды на Богемію. Поэтому онъ занялъ Лузацію, гдѣ въ виду непріятеля взялъ Циттау и послѣ непродолжительной остановки продолжалъ свой путь чрезъ Мейсенъ, къ Эльбѣ, которую и перешелъ у Торгау. Теперь онъ грозилъ осадой Лейпцигу и надѣялся добыть въ этомъ богатомъ городѣ,

въ теченіе десяти лѣтъ не тронутомъ войной, обширные склады жизненныхъ припасовъ и наложить на него чрезвычайную контрибуцію.

Императорскія войска, подъ начальствомъ Леопольда и Пикколомини, спѣшатъ немедленно чрезъ Дрезденъ на выручку Лейпцигу, и Торстенсонъ, чтобы не попасть въ середину между арміей и городомъ, смѣло и въ полномъ боевомъ порядкѣ идетъ имъ навстрѣчу. По необычайному стеченію обстоятельствъ столкновеніе произошло на томъ самомъ мѣстѣ, которое одиннадцать лѣтъ тому назадъ Густавъ Адольфъ ознаменовалъ рѣшительный побѣдой, и доблесть предковъ возбудила въ потомкахъ благородное соревнованіе на этой священной землѣ. Шведскіе генералы Стальгантшъ и Вилленбергъ съ такимъ неистовствомъ бросаются на лѣвое крыло австрійцевъ, еще не совсѣмъ готовое къ бою, что опрокидываютъ всю прикрывающую его кавалерію и дѣлаютъ ее неспособной къ бою. Но и лѣвому крылу шведовъ грозила такая же участь, когда на помощь къ ней явилось побѣдоносное правое крыло, напавшее на врага съ тылу и съ фланговъ и прорвавшее его ряды. Подобно стѣнѣ стояла съ обѣихъ сторонъ пѣхота, и когда порохъ вышелъ, защищалась мушкетными прикладами, пока наконецъ императорскія войска, окруженныя со всѣхъ сторонъ, не вынуждены были послѣ трехчасового боя очистить поле. Предводители обѣихъ армій дѣлали крайнія усилія удержать свои бѣгущія войска, и эрцгерцогъ Леопольдъ со своимъ полкомъ былъ первымъ при нападеніи и послѣднимъ въ бѣгствѣ. Болѣе трехъ тысячъ человѣкъ и двухъ лучшихъ генераловъ, Шлангена и Лиліенгека, стоила шведамъ эта кровопролитная побѣда. Императорскія войска потеряли пять тысячъ человѣкъ убитыми и почти столько же плѣнными. Вся ихъ артиллерія изъ сорока шести орудій, серебряная утварь и канцелярія эрцгерцога, наконецъ, весь обозъ достались побѣдителю. Слишкомъ ослабленный этой побѣдой, чтобы преслѣдовать непріятеля, Торстенсонъ двинулся къ Лейпцигу, а разбитая армія направилась къ Богеміи, гдѣ бѣжавшіе полки собрались снова. Эрцгерцогъ Леопольдъ не могъ успокоиться отъ этого пораженія, и кавалерійскій полкъ, бывшій вслѣдствіе своего бѣгства причиной этого несчастія, испыталъ на себѣ всю ярость его гнѣва. Въ Раконицѣ въ Богеміи въ присутствіи всѣхъ остальныхъ войскъ герцогъ объявилъ полкъ лишеннымъ чести, отобравъ у него всѣхъ лошадей, оружіе и знаки отличія, приказалъ разорвать его знамена и приговорилъ къ смерти многихъ его офицеровъ и десятаго изъ рядовыхъ.

Лучшей добычей побѣдителя былъ Лейпцигъ, взятый черезъ три недѣли послѣ сраженія. Городъ былъ вынужденъ снабдить новой одеждой всю шведскую армію и откупился отъ разграбленія тремя бочками золота, для чего поборы взимались также съ иностраннаго купечества, имѣвшаго здѣсь свои магазины. Еще зимою Торстенсонъ двинулся къ Фрейбургу и въ теченіе многихъ недѣль боролся подъ стѣнами этого города съ суровостью непогоды въ надеждѣ сломить своимъ упорствомъ мужество осажденныхъ. Но онъ только напрасно терялъ войска, и приближеніе императорскаго полководца Пикколомини заставило его наконецъ отступить съ ослабленной арміей. Но онъ считалъ себя въ выигрышѣ, потому что, отказавшись добровольно отъ покоя зимнихъ стоянокъ, онъ лишилъ его также непріятеля, который потерялъ въ этомъ тяжеломъ зимнемъ походѣ болѣе трехъ тысячъ лошадей. Затѣмъ, направившись къ Одеру, чтобы подкрѣпиться гарнизонами Помераніи и Силезіи, онъ вдругъ съ быстротой молніи оказался вновь на границѣ Богеміи, пронесся черезъ это королевство и освободилъ Ольмюцъ въ Моравіи, жестоко тѣснимый императорскими войсками. Въ своемъ лагерѣ при Тобитшау въ двухъ миляхъ отъ Ольмюца онъ оказался властелиномъ всей Моравіи, которую угнеталъ тяжкими поборами, и совершалъ набѣги вплоть до вѣнскихъ мостовъ. Тщетно старался императоръ побудить къ защитѣ этой провинціи венгерское дворянство: оно ссылалось на свои привилегіи и отказывалось служить внѣ своей родины. На безплодные переговоры уходило время, столь нужное для дѣятельнаго сопротивленія, и вся Моравія стала добычей шведовъ.

Между тѣмъ какъ Бернгардъ Торстенсонъ своими походами и побѣдами повергалъ друзей и враговъ въ изумленіе, арміи союзниковъ не оставались въ бездѣйствіи и въ другихъ частяхъ имперіи. Гессенцы и веймарцы подъ начальствомъ графа фонъ-Эберштейна и маршала де Гебріана вторглись въ архіепископство кельнское, чтобы расположиться здѣсь зимними квартирами. На защиту отъ этихъ непрошенныхъ го-

стей курфюрстъ призвалъ императорскаго генерала фонъ-Гацфельда и собралъ свои войска подъ начальствомъ генерала Ламбуа. Напавъ на послѣдняго при Кемпенѣ въ январѣ 1642 года, союзники разбили его въ большомъ сраженіи, гдѣ было убито двѣ тысячи человѣкъ и столько же взято въ плѣнъ. Эта важная побѣда была для нихъ ключемъ ко всему курфюршеству и смежнымъ землямъ, такъ что они не только расположились здѣсь квартирами, но получили большія подкрѣпленія людьми и лошадьми.

Предоставивъ гессенскимъ войскамъ защищать свои пріобрѣтенія на нижнемъ Рейнѣ, противъ графа фонъ-Гацфельда, Гебріанъ направился въ Тюрингію, чтобы поддержать дѣйствія Торстенсона въ Саксоніи. Но вмѣсто того, чтобы соединить свои отряды со шведскими, онъ поспѣшно возвратился за Майнъ и Рейнъ, отъ которыхъ отошелъ дальше, чѣмъ слѣдовало. Такъ какъ баварцы опередили его въ маркграфствѣ баденскомъ подъ начальствомъ Мерси и Іоанна фонъ Верта, то онъ въ теченіе многихъ недѣль вынужденъ былъ скитаться жертвой суровой непогоды, безъ крова и ночуя на снѣгу, пока наконецъ не нашелъ жалкаго пристанища въ Брейсгау. Правда, въ слѣдующее лѣто онъ снова открылъ военныя дѣйствія и отвлекъ баварское войско въ Швабію, такъ что оно не могло выручить городъ Тіонвиль въ Нидерландахъ, осажденный Конде. Но вскорѣ онъ былъ оттѣсненъ сильнымъ непріятелемъ въ Эльзасъ, гдѣ ожидалъ получить подкрѣпленіе.

Смерть кардинала Ришелье въ ноябрѣ 1642 года и перемѣна на тронѣ и въ министерствѣ, вызванная смертью Людовика XIII въ маѣ 1643 года, отвлекли на нѣкоторое время вниманіе Франціи отъ нѣмецкой войны и были причиной этого бездѣйствія. Но Мазарини, наслѣдникъ власти, принциповъ и замысловъ Ришелье, преслѣдовалъ планы своего предшественника съ новымъ жаромъ, какъ ни дорого платилъ французскій подданный за это политическое величіе Франціи. Если Ришелье употреблялъ главную силу арміи противъ Испаніи, то Мазарини обратилъ ее противъ императора и вниманіемъ, посвященнымъ нѣмецкой войнѣ, оправдывалъ вполнѣ свое изреченіе, что нѣмецкая армія есть правая рука его короля и оплотъ Франціи. Тотчасъ послѣ взятія Тіонвиля онъ отправилъ значительный отрядъ въ Эльзасъ на помощь фельдмаршалу де-Гебріану, и для того, чтобы вдохнуть въ эти войска большую готовность претерпѣть тяготы нѣмецкой войны, во главѣ ихъ былъ поставленъ славный побѣдитель при Рокруа, герцогъ Энгіенскій, впослѣдствіи принцъ Конде. Теперь Гебріанъ почувствовалъ себя достаточно сильнымъ, чтобы съ честью дѣйствовать въ Германіи. Онъ поспѣшилъ перейти обратно черезъ Рейнъ, чтобы расположиться на болѣе удобныхъ квартирахъ въ Швабіи и дѣйствительно овладѣлъ Ротвейлемъ, гдѣ въ руки его попалъ баварскій запасный магазинъ. Но за эту позицію было заплачено дороже, чѣмъ она стоила, и она была потеряна скорѣе, нежели добыта. Гебріанъ получилъ рану въ руку, которую невѣжество его врача сдѣлало смертельной, и въ самый день его смерти пришлось французамъ испытать всю важность его потери.

По взятіи Ротвейля французская армія, замѣтно уменьшенная походомъ въ это суровое время года, двинулась въ область Тутлингена, гдѣ безъ малѣйшаго помышленія о непріятелѣ располагается на отдыхъ въ глубокой безпечности. Между тѣмъ непріятель собралъ значительную армію съ цѣлью воспрепятствовать опасному пребыванію французовъ по ту сторону Рейна и въ такой близости къ Баваріи. Императорскія войска подъ предводительствомъ Гацфельда соединяются съ баварской арміей подъ начальствомъ Мерси, и герцогъ лотарингскій, котораго въ теченіе всей этой войны можно встрѣтить вездѣ, кромѣ его герцогства, присоединяется со своими войсками къ ихъ объединеннымъ знаменамъ. Принято рѣшеніе ошеломить французовъ въ Тутлингенѣ и въ смежныхъ деревняхъ, т. е. напасть на нихъ врасплохъ,—весьма употребительный въ эту войну родъ военныхъ операцій, стоившихъ—вслѣдствіе неизбѣжно сопряженной съ ними сумятицы—больше жертвъ, чѣмъ правильное сраженіе. Здѣсь такое нападеніе было тѣмъ болѣе умѣстно, что французскій солдатъ, неопытный въ такихъ предпріятіяхъ, имѣлъ о нѣмецкой землѣ совсѣмъ иное представленіе и считалъ себя совершенно обезпеченнымъ суровостью времени года отъ всякаго неожиданнаго нападенія. Іоаннъ фонъ-Вертъ, мастеръ въ войнѣ такого рода, недавно смѣнившій Густава Горна, руководилъ предпріятіемъ и, вопреки всякому ожиданію, выполнилъ его вполнѣ удачно.

Нападеніе было сдѣлано съ той сто-

Шведскій фельдмаршалъ Баннеръ.

Современная гравюра Луки Шнитцера.

роны, откуда его менѣе всего можно было ожидать, вслѣдствіе множества тѣснинъ и зарослей, а глубокій снѣгъ, выпавшій въ этотъ день (24 ноября 1643 года), скрывалъ приближеніе авангарда, пока онъ не остановился предъ Тутлингеномъ. Вся артиллерія, стоявшая за городомъ, равно какъ расположенный вблизи замокъ Гонбургъ, взяты безъ сопротивленія; весь Тутлингенъ окруженъ постепенно приближающейся арміей, и всякое сообщеніе между отрядами непріятеля, разсѣянными по окрестнымъ деревнямъ, прервано быстро и безшумно. Такимъ образомъ французы были побѣждены безъ единаго выстрѣла Кавалерія была обязана своимъ спасеніемъ быстротѣ лошадей и тѣмъ немногимъ мгновеніямъ, на которыя она опередила преслѣдующаго непріятеля. Пѣхота была перебита или добровольно положила оружіе. Около двухъ тысячъ человѣкъ осталось на мѣстѣ; семь тысячъ,—въ числѣ ихъ двадцать пять штабъ-офицеровъ и девяносто капитановъ,—взято въ плѣнъ. За всю эту войну это было единственное сраженіе, произведшее почти одинаковое впечатлѣніе на проигравшую и выигравшую стороны: и тѣ и другіе были нѣмцы, а осрамились французы. Память объ этомъ злополучномъ днѣ, повторившемся сто лѣтъ спустя при Росбахѣ, была, правда, впослѣдствіи заглажена доблестными подвигами Тюреня и Конде, но нѣмцы были правы, отплативъ за всѣ бѣдствія, обрушенныя на нихъ французской политикой, уличной пѣсенкой о французской храбрости.

Между тѣмъ это пораженіе французовъ могло быть пагубно для шведовъ, такъ какъ теперь противъ нихъ направились всѣ силы императора, и число ихъ враговъ увеличилось за это время еще однимъ. Неожиданно покинувъ въ сентябрѣ 1643 г. Моравію, Торстенсонъ направился въ Силезію. Никому не были извѣстны причины его выступленія, а частыми измѣненіями своего направленія онъ увеличилъ еще неизвѣстность. Изъ Силезіи онъ разными поворотами приблизился къ Эльбѣ; императорскія войска слѣдовали за нимъ до Лузаціи. Приказавъ у Торгау навести мостъ черезъ Эльбу, онъ распустилъ слухъ, что предполагаетъ вторгнуться черезъ Мейсенъ въ Верхній Пфальцъ и Баварію. При Барби онъ снова притворился, будто хочетъ перейти черезъ рѣку, но двигался все далѣе по Эльбѣ, пока наконецъ у Гафельберга вдругъ объявилъ своей изумленной арміи, что ведетъ ее въ Гольштинію противъ датчанъ.

Давно уже негодованіе шведовъ было возбуждено пристрастіемъ, которое выказалъ король Христіанъ IV къ шведамъ въ принятой имъ на себя роли посредника, завистью, съ которой онъ противодѣйствовалъ успѣхамъ ихъ оружія, затрудненіями, путемъ которыхъ онъ препятствовалъ шведскому судоходству въ Зундѣ, и налогами, которыми онъ обременялъ разцвѣтающую торговлю шведовъ. Переполнивъ чашу, эти оскорбленія потребовали мести. Какъ ни казалось опасно рѣшиться на новую войну, въ то время когда государство среди побѣдъ чуть не гибнетъ подъ бременемъ старой,—жажда мести и исконная національная ненависть подняла рѣшимость шведовъ выше этихъ соображеній, и самыя затрудненія, въ которыя вовлекла государство нѣмецкая война, являлись лишнимъ побужденіемъ испытать свое счастье противъ Даніи. Дѣло дошло наконецъ до того, что война велась лишь для того, чтобы дать войскамъ работу и хлѣбъ, что бились почти исключительно изъ-за зимнихъ квартиръ, и богатыя стоянки арміи цѣнились дороже, чѣмъ выигрышъ генеральнаго сраженія. Но всѣ почти провинціи Германіи были опустошены и истощены: не было ни провіанта, ни лошадей, ни людей, — всѣмъ этимъ изобиловала Гольштинія. Если здѣсь удастся хоть навербовать солдатъ, накормить лошадей и людей и добыть коней для кавалеріи, то этотъ успѣхъ уже стоитъ трудовъ и опасностей. Затѣмъ, въ виду открытія мирныхъ переговоровъ, было въ высшей степени важно воспрепятствовать пагубному вліянію Даніи, спутавъ интересы, по возможности отдалить самый миръ, который казался не очень выгоднымъ для Швеціи, и—такъ какъ дѣло шло о размѣрахъ вознагражденія—увеличить число своихъ завоеваній, чтобы тѣмъ вѣрнѣе обезпечить за собой хоть одно, которое желательно было заполучить. Дурное государственное устройство Даніи позволяло питать еще большія надежды въ томъ случаѣ, если предпріятіе будетъ выполнено быстро и втихомолку. Дѣйствительно, въ Стокгольмѣ соблюдали тайну такъ тщательно, что датскіе министры и не подозрѣвали объ этомъ, и въ тайну не были посвящены ни Франція, ни Голландія. Война была объявлена открытіемъ военныхъ дѣйствій, и Торстенсонъ явился въ Гольштинію, прежде чѣмъ тамъ

могли подумать о непріятелѣ. Не встрѣчая сопротивленія, шведскія войска хлынули потокомъ въ королевство и захватили всѣ крѣпости, кромѣ Рендсбурга и Глюкштадта. Другая армія вторгается въ Шоненъ, также не встрѣчая сопротивленія, и лишь бурное время года препятствуетъ предводителямъ переправиться черезъ Малый Бельтъ и перенести войну на Фіонію и Зеландію. Датскій флотъ разбитъ у Фемерна и самъ Христіанъ, находившійся при немъ, теряетъ правый глазъ, выбитый осколкомъ. Отрѣзанный отъ далекой помощи императора, своего союзника, король начинаетъ предвидѣть захватъ всего своего королевства шведами, и казалось, что въ самомъ дѣлѣ исполняется предсказаніе, будто-бы сдѣланное знаменитымъ Тихо-Браге, что въ 1644 году Христіанъ IV долженъ будетъ покинуть свое государство съ однимъ посохомъ.

Но императоръ не могъ равнодушно допустить, чтобы Данія пала жертвой Швеціи, которая усилилась бы на счетъ этого королевства. Какъ ни велики были затрудненія, представляемыя столь далекимъ походомъ по совершенно опустошеннымъ землямъ, онъ не замедлилъ отправить въ Гольштинію армію подъ начальствомъ графа Галласа, которому, послѣ отставки Пикколомини, было снова поручено главное начальство надъ войсками. Галласъ дѣйствительно прибылъ въ герцогство, взялъ Киль и надѣялся въ союзѣ съ датчанами запереть шведскую армію въ Ютландіи. Въ то же время гессенцы и шведскій генералъ фонъ Кенигсмаркъ были отвлечены нападеніемъ Гацфельда и архіепископа бременскаго, сына Христіана IV-го; послѣдній вынужденъ былъ, вслѣдствіе движенія на Мейсенъ, удалиться въ Саксонію. Но Торстенсонъ, проскользнувъ чрезъ свободный проходъ между Шлезвигомъ и Стапельгольмомъ, двинулся навстрѣчу Галласу съ арміей, набравшейся свѣжихъ силъ, и оттѣснилъ его вверхъ по Эльбѣ къ Бернбургу, гдѣ императорскія войска расположились укрѣпленнымъ лагеремъ. Торстенсонъ перешелъ Заалу и занялъ позицію въ тылу у непріятеля, отрѣзаннаго такимъ образомъ отъ Саксоніи и Богеміи. Тогда въ непріятельскомъ лагерѣ сталъ свирѣпствовать голодъ, уничтоживший большую часть арміи; отступленіе къ Магдебургу ничѣмъ не улучшило ея отчаяннаго положенія. Кавалерія, пытавшаяся скрыться въ Силезію, была настигнута и разсѣяна Торстенсономъ у Ютербока; остальная армія, послѣ тщетной попытки пробиться съ мечемъ въ рукѣ, была уничтожена почти вся подъ Магдебургомъ. Отъ всего его войска Галласу осталось всего нѣсколько тысячъ человѣкъ, да слава никѣмъ не превзойденнаго мастера въ истребленіи собственной арміи. Послѣ этой неудачной попытки спасти короля датскаго послѣдній сталъ просить мира и получилъ его въ Бремзебро въ 1645 году на очень тяжелыхъ условіяхъ.

Торстенсонъ пользовался плодами своей побѣды. Между тѣмъ какъ одинъ изъ его помощниковъ, Аксель Лиліенштернъ, тревожилъ Саксонію, а Кенигсмаркъ завоевывалъ владѣнія Бремена, самъ онъ во главѣ шестнадцатитысячной арміи вторгся съ восемьюдесятью орудіями въ Богемію, стараясь опять перенести войну въ наслѣдственныя земли Австріи. Узнавъ объ этомъ, Фердинандъ самъ поспѣшилъ въ Прагу, чтобы личнымъ присутствіемъ возбудить мужество войскъ и—въ виду отсутствія способнаго главнокомандующаго и несогласія между многочисленными командирами—имѣть возможность быстрѣе и энергичнѣе дѣйствовать самолично вблизи театра войны. По распоряженію императора Гацфельдъ собралъ всѣ австрійскія и баварскія войска и 24 февраля 1645 года у Янкова или Янковица, противъ своей воли и вопреки своимъ совѣтамъ, двинулъ ихъ—послѣднюю армію императора и послѣдній оплотъ его государства— навстрѣчу наступающему непріятелю. Фердинандъ полагался на свою кавалерію, превосходившую непріятельскую на три тысячи коней, и на обѣщаніе Дѣвы Маріи, явившейся ему во снѣ и обѣщавшей вѣрную побѣду.

Численный перевѣсъ императорскихъ войскъ не устрашилъ Торстенсона, вообще не привыкшаго считать враговъ. Уже при первомъ нападеніи лѣвое крыло, заведенное генераломъ лиги фонъ-Гецомъ въ очень неудобную мѣстность среди болотъ и лѣсовъ, было совершенно разстроено; самъ командиръ съ большинствомъ солдатъ остался на мѣстѣ, и почти весь обозъ арміи достался непріятелю. Это неудачное начало рѣшило судьбу всего сраженія. Все наступая впередъ, шведы овладѣли важнѣйшими высотами и послѣ восьмичасового кровопролитнаго боя, послѣ бѣшеной атаки непріятельской кавалеріи и мужественнаго сопротивленія пѣхоты остались хозяевами поля битвы. Двѣ тысячи австрійцевъ легло на мѣстѣ, и Гацфельдъ самъ былъ взятъ

въ плѣнъ съ тремя тысячами. Такъ погибли въ одинъ день лучшій полководецъ и послѣдняя армія императора.

Эта рѣшительная побѣда при Янковицѣ сразу открыла непріятелю всѣ австрійскія земли. Фердинандъ бѣжалъ въ Вѣну, чтобы позаботиться о защитѣ этого города и доставить убѣжище себѣ самому, своимъ сокровищамъ и своей семьѣ. И не долго пришлось ждать побѣдоносныхъ шведовъ, которые буйнымъ потокомъ ринулись на Моравію и Австрію. Покоривъ всю почти Моравію, осадивъ Брюннъ, овладѣвъ всѣми крѣпостями и городами до Дуная и даже укрѣпленіями у Вольсбрюке неподалеку отъ самой Вѣны, они появились наконецъ подъ стѣнами столицы, и заботливость, съ которой они укрѣпляли занятыя мѣста, указывала не на временное пребываніе. Послѣ долгаго истребительнаго скитальчества по всѣмъ областямъ Германіи, потокъ войны кружнымъ путемъ возвращается къ своему началу, и грохотъ шведскихъ орудій напоминаетъ жителямъ Вѣны о ядрахъ, пущенныхъ въ столицу чешскими мятежниками двадцать семь лѣтъ тому назадъ. Прежній театръ войны обновляетъ прежнія орудія нападенія. Какъ чешскіе мятежники призвали нѣкогда Бетленъ Габора, такъ теперь Торстенсонъ призываетъ на помощь его преемника Рагоци; уже Верхняя Венгрія наводнена его войсками, и ежедневно ждутъ его соединенія со шведами. Іоаннъ Георгъ саксонскій, доведенный до крайности пребываніемъ шведовъ въ его владѣніяхъ, оставленный безъ помощи императоромъ, который послѣ Янковскаго сраженія не въ силахъ самъ защитить себя, ищетъ наконецъ спасенія въ единственномъ и послѣднемъ средствѣ,—заключаетъ со шведами перемиріе, которое ежегодными отсрочками затягивается до общаго мира. Императоръ теряетъ друга въ тотъ моментъ, когда у порога его государства встаетъ противъ него новый врагъ, когда его войска таютъ и когда его союзники въ другихъ мѣстахъ Германіи терпятъ пораженіе за пораженіемъ. Ибо и французской арміи удалось загладить блестящимъ походомъ позоръ Тутлингенскаго пораженіе и отвлечь всѣ силы Баваріи на Рейнѣ и въ Швабіи. Подкрѣпившись свѣжими войсками, приведенными изъ Франціи герцогу Энгіенскому великимъ и уже прославленнымъ тогда побѣдами въ Италіи Тюренемъ, французы явились 3 августа 1644 года подъ стѣнами Фрейбурга, который незадолго передъ тѣмъ былъ взятъ генераломъ Мерси, охранявшимъ его со всей своей арміей. Неистовство французской отваги разбилось, правда, о твердость баварцевъ, и герцогъ Энгіенскій, потерявъ напрасно шесть тысячъ человѣкъ, долженъ былъ рѣшиться на отступленіе. Мазарини проливалъ слезы, узнавъ объ этой громадной потерѣ, на которую не обращалъ вниманія безсердечный, чувствительный къ одной славѣ Конде. „Одна ночь въ Парижѣ,—говорилъ онъ,—даетъ жизнь большему количеству людей, чѣмъ убито въ этомъ сраженіи!“ Однако это кровопролитное сраженіе до такой степени ослабило баварцевъ, что они, не говоря уже о помощи стѣсненной Австріи, не могли даже сохранить за собой берега Рейна. Шпейеръ, Вормсъ, Мангеймъ сдаются непріятелю, неприступный Филиппсбургъ побѣжденъ голодомъ, и самый Майнцъ спѣшитъ своевременной покорностью обезоружить побѣдителя.

То, что спасло Австрію и Моравіе въ началѣ войны отъ чеховъ, спасло ею и теперь отъ Торстенсона. Правда, Рагоци со своимъ двадцатипятитысячнымъ войскомъ прорвался до береговъ Дуная къ самому шведскому лагерю, но эти недисциплинированныя и неистовыя полчища лишь опустошали страну и усиливали нужду въ шведскомъ лагерѣ, вмѣсто того, чтобы цѣлесообразными дѣйствіями помогать исполненію замысловъ Торстенсона. Добыть отъ императора дань, а отъ подданнаго деньги и добро—такова была цѣль, вовлекшая Рагоци и Беттленъ Габора въ войну, и оба возвращались во-свояси, какъ только эта цѣль была достигнута. Чтобы избавиться отъ нихъ, Фердинандъ согласился на всѣ требованія этихъ варваровъ и ничтожной жертвой освободилъ свои владѣнія отъ страшнаго врага.

Между тѣмъ, главная армія шведовъ долговременной стоянкой подъ Брюномъ была доведена до крайней слабости. Торстенсонъ, самъ руководившій ею, тщетно истощалъ впродолженіе четырехъ мѣсяцевъ все свое искусство. Сопротивленіе не уступало натиску, и отчаяніе придавало мужество коменданту де Сушу, шведскому перебѣжчику, который не могъ разсчитывать на прощеніе. Ярость болѣзней, порожденныхъ нуждой, нечистотой и незрѣлыми плодами въ этомъ зараженномъ лагерѣ, и быстрое отступленіе владѣльца Семиградіи заставили наконецъ шведскаго полководца снять осаду. Такъ какъ всѣ проходы по Дунаю были заняты, а армія его значительно

уменьшилась вслѣдствіе болѣзней и голода, то онъ отказался отъ своихъ плановъ на Австрію и Моравію и удовлетворился тѣмъ, что, оставивъ въ занятыхъ крѣпостяхъ шведскіе гарнизоны, сохранялъ въ своихъ рукахъ ключи къ обѣимъ областямъ. Онъ направился въ Богемію, куда слѣдовали за нимъ императорскія войска подъ предводительствомъ эрцгерцога Леопольда. Всѣ потерянныя крѣпости, не отвоеванныя этимъ послѣднимъ, были взяты послѣ его ухода императорскимъ генераломъ Бухгеймомъ, такъ что австрійская граница въ слѣдующемъ году была снова совершенно очищена отъ непріятеля, и приведенная въ трепетъ Вѣна отдѣлалась однимъ ужасомъ. Въ Богеміи и Силезіи шведы также защищались съ весьма непостояннымъ счастьемъ, металисъ по обѣимъ областямъ, не имѣя силъ удержаться въ нихъ. Но если успѣхъ военныхъ дѣйствій Торстенсона не вполнѣ соотвѣтствовалъ ихъ многообѣщающему началу, то для шведской партіи онъ имѣлъ самыя важныя послѣдствія. Данія была принуждена къ миру, Саксонія къ перемирію, императоръ во время мирнаго конгресса былъ уступчивѣе, Франція мягче, и сама Швеція стала въ отношеніяхъ къ другимъ державамъ самоувѣреннѣе и смѣлѣе. Исполнивъ столь блистательнымъ образомъ свой великій долгъ, виновникъ этихъ успѣховъ, увѣнчанный лаврами, возвратился въ тишину частной жизни, чтобы искать облегченія отъ своихъ страданій.

Хотя по отступленіи Торстенсона императоръ могъ не бояться непріятельскаго вторженія со стороны Богеміи, вскорѣ однако на австрійскія границы надвинулась новая опасность со стороны Швабіи и Баваріи. Тюрень, отдѣлившись отъ Конде и повернувъ къ Швабіи, былъ въ 1645 году разбитъ у Мергентгейма генераломъ Мерси и побѣдоносные баварцы подъ начальствомъ своего храбраго предводителя вторглись въ Гессенъ. Но герцогъ Энгіенскій поспѣшилъ на помощь разбитому войску изъ Эльзаса, Кенигсмаркъ изъ Моравіи, гессенцы съ Рейна, и баварцы были оттѣснены до противоположныхъ предѣловъ Швабіи. У деревни Алерсгеймъ, неподалеку отъ Нердлингена, они остановились, наконецъ, чтобы прикрыть границы Баваріи. Но бѣшеная отвага герцога Энгіенскаго не знала препятствій. Онъ повелъ свои войска на непріятельскіе окопы, далъ большое сраженіе, ставшее однимъ изъ упорнѣйшихъ и кровопролитнѣйшихъ, благодаря геройскому сопротивленію баварцевъ; но наконецъ смерть великаго Мерси, хладнокровіе Тюреня и желѣзная стойкость гессенцевъ рѣшили бой въ пользу союзниковъ. Но и это новое варварское человѣческое жертвоприношеніе не оказало большого вліянія на ходъ войны и мирныхъ переговоровъ. Французская армія, истощенная кровавой побѣдой, была ослаблена еще болѣе уходомъ гессенцевъ, а баварцы получили отъ императора вспомогательныя войска, приведенныя Леопольдомъ и заставившія Тюреня поспѣшно отступить за Рейнъ.

Отступленіе французовъ дало теперь непріятелю возможность обратить всѣ свои силы противъ шведовъ въ Богеміи. Въ 1646 году главнокомандующимъ шведской арміей, въ которую—кромѣ летучаго отряда Кенигсмарка и множества разсѣянныхъ въ имперіи гарнизоновъ,—входило еще восемь тысячъ конницы и пятнадцать тысячъ пѣхоты, былъ назначенъ Густавъ Врангель, достойный преемникъ Баннера и Торстенсона. Подкрѣпивъ свой двадцатичетырехтысячный отрядъ двѣнадцатью конными полками баварской кавалеріи и восемнадцатью полками пѣхоты, эрцгерцогъ Леопольдъ двинулся на Врангеля и разсчитывалъ уничтожить его благодаря своему численному превосходству ранѣе, чѣмъ тотъ успѣетъ соединиться съ Кенигсмаркомъ или французы сдѣлаютъ диверсію; но Врангель, не ожидая его, поспѣшилъ черезъ верхнюю Саксонію къ Везеру, гдѣ онъ взялъ Гекстеръ и Падерборнъ. Отсюда онъ двинулся въ Гессенъ для соединенія съ Тюренемъ и, расположившись лагеремъ при Вецларѣ, присоединилъ къ своему войску летучій отрядъ Кенигсмарка. Но Тюрень, связанный приказомъ Мазарини, который былъ радъ положить конецъ военнымъ успѣхамъ и возрастающему высокомѣрію Швеціи, сослался на настоятельную необходимость обратиться къ защитѣ нидерландскихъ границъ Франціи, такъ какъ въ этомъ году голландцы не сдѣлали обѣщанной диверсіи. Но такъ какъ Врангель продолжалъ настаивать на своемъ справедливомъ требованіи, такъ какъ дальнѣйшее упорство могло возбудить въ шведахъ подозрѣніе и, пожалуй, даже склонить ихъ къ отдѣльному миру съ Австріей, то Тюрень получилъ наконецъ желанное разрѣшеніе подкрѣпить шведскую армію.

Соединеніе войскъ произошло у Гиссена и теперь союзники чувствовали себя доста-

точно сильными, чтобы встрѣтиться съ непріятелемъ. Онъ гнался за шведами вплоть до Гиссена, чтобы лишить ихъ средствъ къ жизни и воспрепятствовать соединенію ихъ съ Тюренемъ. То и другое не увѣнчалось успѣхомъ, и императорскія войска, отрѣзанныя отъ Майна, испытывали послѣ потери своихъ запасовъ чрезвычайную нужду. Воспользовавшись ихъ безсиліемъ, Врангель выполнилъ маневръ, давшій войнѣ совершенно иное направленіе. Онъ также держался правила своего предшественника—стараться перенести войну въ предѣлы Австріи; но, устрашенный неудачей замысловъ Торстенсона, онъ разсчитывалъ вѣрнѣе достигнуть той же цѣли другимъ путемъ. Онъ рѣшился двигаться по теченію Дуная и вторгнуться въ Австрію черезъ Баварію. Объ этомъ планѣ думалъ еще Густавъ Адольфъ, но не успѣлъ привести его въ исполненіе, такъ какъ могущество Валленштейна и опасность, грозившая Саксоніи, слишкомъ рано унесли его съ его славнаго пути. Его примѣру слѣдовалъ герцогъ Бернгардъ; ему везло больше, чѣмъ Густаву Адольфу, и его побѣдоносныя знамена развѣвались уже между Изаромъ и Инномъ; но численность и близость непріятельскихъ войскъ остановили его побѣдоносное шествіе и заставили отступить. То, что не удалось имъ обоимъ, разсчитывалъ теперь счастливо выполнить Врангель, тѣмъ болѣе, что императорско-баварскія войска стояли далеко за нимъ по теченію Лана и могли прибыть въ Баварію лишь послѣ весьма продолжительнаго похода черезъ Франконію и Верхній Пфальцъ. Поспѣшивъ къ Дунаю, онъ разбилъ баварскій корпусъ у Донауверта и безъ сопротивленія перешелъ эту рѣку, такъ же какъ и Лехъ. Но безплодной осадой Аугсбурга онъ далъ императорскимъ войскамъ время выручить этотъ городъ и оттѣснить его самаго до Лауингена. Но когда они снова обратились противъ Швабіи съ цѣлью отвлечь войну отъ границъ Баваріи, онъ воспользовался случаемъ, перешелъ оставленный безъ прикрытія Лехъ и самъ преградилъ черезъ него путь императорскимъ войскамъ. Входъ въ беззащитную Баварію былъ открытъ предъ имъ; французы и шведы хлынули въ страну бурнымъ потокомъ и солдатъ невѣроятными, чудовищными насиліями, неистовствами и грабежами вознаграждалъ себя за всѣ испытанныя опасности. Прибытіе императорскихъ и баварскихъ войскъ, наконецъ, переправившихся черезъ Лехъ, лишь увеличило бѣдствія страны, которую грабили другъ и недругъ безъ различія.

Теперь наконецъ—въ первый разъ за всю эту войну—дрогнуло непоколебимое мужество Максимиліана, нетронутое самыми тяжкими испытаніями въ теченіе двадцати восьми лѣтъ. Фердинанда II, его ингольштатскаго сверстника и друга его юности, не было уже на свѣтѣ; со смертью этого друга и благодѣтеля разорвана была одна изъ крѣпчайшихъ нитей, соединявшихъ курфюрста съ Австріей. Съ отцомъ связывали его привычка, сердечная склонность и благодарность; сынъ былъ чуждъ его сердцу, и лишь государственные интересы могли заставить его сохранять вѣрность этому государю.

Послѣднее средство и было пущено въ ходъ французскимъ коварствомъ, чтобы отвлечь его отъ союза съ Австріей и склонить къ прекращенію военныхъ дѣйствій. Не случайно отказался Мазарини отъ зависти къ возрастающему могуществу Швеціи и позволилъ французскимъ войскамъ сопровождать шведовъ въ Баварію. Бавaрія была обречена на всѣ ужасы войны для того, чтобы несчастія и отчаяніе преодолѣли наконецъ упорство Максимиліана и императоръ былъ лишенъ своего перваго и послѣдняго союзника. Бранденбургъ подъ властью своего великаго курфюрста склонился къ нейтралитету, Саксонія вынуждена была сдѣлать то-же; война съ французами не позволяла испанцамъ принять участіе въ нѣмецкой войнѣ; Данію удалилъ съ театра войны миръ съ Швеціей; Польша была обезоружена долговременнымъ перемиріемъ. Если-бы удалось въ заключеніе отвлечь отъ союза съ Австріей и курфюрста баварскаго, то у императора во всей Германіи не осталось-бы ни одного приверженца, и онъ оказался бы беззащитной жертвой вражескаго произвола.

Фердинандъ III понялъ угрожавшую ему опасность и всѣми возможными средствами старался отвратить ее. Но курфюрсту баварскому внушили пагубное убѣжденіе, что противниками мира являются одни испанцы и что императоръ противится перемирію только вслѣдствіе воздѣйствія Испаніи; а Максимиліанъ ненавидѣлъ испанцевъ и никогда не могъ простить имъ, что они были противъ его притязаній на пфальцское курфюршество. И въ угоду этимъ ненавистнымъ врагамъ жертвовали теперь его народомъ, опустошали его страну, губили его самого, тогда какъ перемиріе исторгало его изъ

всѣхъ затрудненій, давало его народу столь необходимый отдыхъ и тѣмъ самымъ, быть можетъ, ускоряло всеобщій миръ! Исчезли всѣ колебанія, и, убѣжденный въ неизбѣжности этого шага, онъ рѣшилъ, что исполнитъ свой долгъ по отношенію къ императору, если сдѣлаетъ его участникомъ въ благахъ перемирія.

Въ Ульмѣ собрались депутаты трехъ державъ и Баваріи, чтобы опредѣлить условія перемирія. Но изъ инструкцій австрійскихъ уполномоченныхъ скоро выяснилось, что императоръ отправилъ пословъ на конгрессъ не для того, чтобы содѣйствовать его цѣли, но для того, чтобы сдѣлать его безплоднымъ. Важно было, не отвращая суровыми условіями отъ перемирія шведовъ, которые были въ болѣе выгодномъ положеніи и могли не бояться, а желать продолженія войны, наоборотъ, постараться склонить ихъ къ перемирію. Они были побѣдители, а императоръ высокомѣрно предписывалъ имъ условія. Въ пылу перваго негодованія шведскіе послы едва не покинули конгресса, и чтобы удержать ихъ, французамъ пришлось прибѣгнуть къ угрозамъ.

Когда курфюрсту баварскому при всемъ желаніи не удалось такимъ способомъ сдѣлать императора участникомъ перемирія, онъ счелъ себя въ правѣ позаботиться о самомъ себѣ. Какъ ни тягостны были условія, цѣною которыхъ его заставили купить перемиріе, онъ согласился на него безъ долгихъ колебаній. Онъ предоставлялъ шведамъ располагаться квартирами въ Швабіи и Франконіи, а самъ ограничивался въ этомъ отношеніи Баваріей и пфальцскими землями. Все, завоеванное въ Швабіи, должно быть возвращено союзникамъ, которые съ своей стороны отказываются отъ всѣхъ своихъ пріобрѣтеній въ Баваріи. Кельнъ и Гессенъ-Кассель также считаются участниками перемирія. По заключеніи этого трактата, 14 марта 1647 года, французы и шведы покинули Баварію, избравъ мѣста для постоя, во избѣжаніе столкновеній, въ различныхъ земляхъ: первые въ герцогствѣ Вюртембергскомъ, вторые—въ верхней Швабіи, вблизи Боденскаго озера. Въ сѣверномъ углу этого озера, на южной оконечности Швабіи, оставался неприступнымъ для непріятеля, благодаря узкому и крутому проходу, австрійскій городъ Брегенцъ, и все изъ окрестностей спасало свою жизнь и достояніе въ этой природной крѣпости. Богатая добыча, которую обѣщало укрытое здѣсь добро, и удобство владѣть проходомъ, ведущимъ въ Тироль, Швейцарію и Италію, соблазнили шведскаго генерала попытаться сдѣлать нападеніе на эту неприступную, по общему мнѣнію, тѣснину и на городъ. Его попытка увѣнчалась успѣхомъ, несмотря на сопротивленіе крестьянъ, которые, занявъ проходъ въ количествѣ шести тысячъ, сдѣлали все, чтобы отстоять его. Между тѣмъ Тюрень, согласно уговору, двинулся на Вюртембергъ, откуда силой оружія заставилъ ландграфа дармштадтскаго и курфюрста майнцскаго согласиться—по примѣру Баваріи—на нейтралитетъ.

Наконецъ то приблизилась къ осуществленію великая цѣль французской политики—лишить императора всякой поддержки со стороны лиги и его протестантскихъ союзниковъ, обезоружить предъ лицомъ соединенныхъ армій обѣихъ враждебныхъ державъ и съ мечомъ въ рукѣ продиктовать ему условія мира. Самое большее—двѣнадцать тысячъ человѣкъ—вотъ все, что осталось ему отъ его былыхъ громовъ,—и даже во главѣ этихъ остатковъ онъ вынужденъ былъ поставить кальвиниста, гессенскаго перебѣжчика Меландера, потому что война унесла всѣхъ его даровитыхъ полководцевъ. Но подобно тому, какъ много разъ уже предоставляла эта война образцы поразительнѣйшихъ капризовъ счастія и внезапными случайностями спутывала всѣ разсчеты политики, такъ и на этотъ разъ исходъ обманулъ всѣ ожиданія и глубоко падшее могущество Австріи послѣ непродолжительнаго кризиса возвращается къ своему грозному величію. Зависть Франціи къ шведамъ не позволяла этой державѣ совершенно уничтожить императора и тѣмъ возвысить вліяніе шведовъ въ Германіи до степени, на которой оно въ концѣ концовъ могло бы оказаться пагубнымъ для самой Франціи. Поэтому французскій министръ не воспользовался безпомощнымъ положеніемъ Австріи, армія Тюреня отдѣлилась отъ Врангеля и направилась къ нидерландскимъ границамъ. Двинувшись изъ Швабіи на Франконію, взявъ Швейнфуртъ и присоединивъ его гарнизонъ къ своему войску, Врангель пытался вторгнуться самостоятельно въ Богемію и осадилъ Эгеръ, ключъ къ этому королевству. На выручку этой крѣпости императоръ отправилъ свою послѣднюю армію и лично былъ при ней. Но принужденная сдѣлать громадный крюкъ, чтобы не пройти по пути помѣстья президента военнаго совѣта фонъ-Шлика, она опоздала,

и Эгеръ былъ потерянъ до ея прибытія. Обѣ арміи близко подошли другъ къ другу и не разъ ожидали рѣшительнаго боя, такъ какъ и та и другая страдали отъ недостатка припасовъ; численный перевѣсъ былъ на сторонѣ императорской арміи, и нерѣдко оба лагеря и боевыя линіи отдѣлялись другъ отъ друга лишь временными укрѣпленіями. Но императорскія войска удовлетворялись тѣмъ, что, слѣдуя за непріятелемъ по пятамъ, изнуряли его мелкими стычками, голодомъ и тяжелыми переходами, пока начатые съ Баваріей переговоры не увѣнчаются успѣхомъ.

Нейтралитетъ Баваріи—вотъ рана, съ которой не могъ примириться императорскій дворъ; послѣ тщетныхъ попытокъ воспрепятствовать ему рѣшено было извлечь изъ него единственно возможную выгоду. Многіе офицеры баварской арміи были возмущены этимъ шагомъ своего повелителя, внезапно обрекшимъ ихъ на бездѣйствіе и сковавшимъ тяжкими цѣпями ихъ жажду независимости. Въ главѣ недовольныхъ стоялъ самъ доблестный Іоаннъ фонъ-Вертъ, составившій подъ вліяніемъ императора заговоръ съ цѣлью отнять у курфюрста всю армію и привести ее подъ знамена императора. Фердинандъ не постыдился оказывать тайное покровительство этой попыткѣ предать самоотверженнѣйшаго союзника своего отца. Онъ распространилъ среди войскъ курфюрста офиціальныя прокламаціи, въ которыхъ напоминалъ имъ, что они, собственно, имперскія войска, коими курфюрстъ командуетъ только отъ имени императора. Къ счастью, Максиміліанъ во-время открылъ заговоръ и быстрыми и цѣлесообразными мѣрами предупредилъ его дѣятельность.

Недостойный поступокъ императора давалъ ему право на возмездіе; но Максиміліанъ былъ слишкомъ старый политикъ, чтобы слушаться голоса страсти тамъ, гдѣ долженъ былъ повелѣвать разсудокъ. Онъ ошибся въ выгодахъ, которыхъ ждалъ отъ перемирія. Ровно ничѣмъ не ускоривъ заключенія общаго мира, это одностороннее перемиріе, наоборотъ, дало неблагопріятный оборотъ переговорамъ въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ и сдѣлало союзниковъ смѣлѣе въ своихъ требованіяхъ. Французы и шведы были удалены изъ Баваріи; но, потерявъ квартиры въ Швабіи, курфюрстъ былъ поставленъ въ необходимость высасывать соки изъ своихъ земель собственными войсками, если онъ не рѣшился распустить ихъ и безрасудно покинуть мечъ и щитъ въ моментъ господства кулачнаго права. Не выбравъ ни одного изъ этихъ двухъ несомнѣнныхъ золъ, онъ предпочелъ имъ третье, по крайней мѣрѣ сомнительное, а именно—нарушить перемиріе и снова взяться за оружіе.

Его рѣшеніе и поспѣшная помощь, отправленная имъ императору въ Богемію, грозили шведамъ величайшимъ бѣдствіемъ, и Врангель былъ принужденъ какъ можно скорѣе убраться изъ Богеміи. Онъ направился чрезъ Тюрингію въ Вестфалію и Люнебургъ, съ цѣлью притянуть къ себѣ войска Тюреня; императорско-баварская армія подъ начальствомъ Меландера и Гронсфельда слѣдовала за нимъ вплоть до Везера. Если-бы непріятелю удалось настигнуть его до соединенія съ Тюренемъ, онъ погибъ. Но то, что спасло прежде императора, спасло теперь шведовъ. Среди неистовой борьбы ходомъ войны управляла холодная разсудительность, и бдительность дворовъ возростала по мѣрѣ приближенія мира. Курфюрстъ баварскій не могъ допустить, чтобы перевѣсъ могущества такъ рѣшительно склонился на сторону императора, и внезапная перемѣна обстоятельствъ замедлила заключеніе мира. При такой близости окончательнаго рѣшенія всякій односторонній перевѣсъ шансовъ могъ имѣть чрезвычайное значеніе, и колебаніе равновѣсія между державами, заключающими договоръ, могло разомъ уничтожить созданіе многолѣтнихъ трудовъ, драгоцѣнный плодъ затруднительнѣйшихъ переговоровъ, и замедлить умиротвореніе Европы. Если Франція держала въ благодѣтельныхъ тискахъ свою союзницу, Швецію, соразмѣряя свою помощь съ ея успѣхами и неудачами,—то курфюрстъ баварскій исполнялъ молча ту же роль при императорѣ, стараясь благоразумнымъ соразмѣреніемъ своего содѣйствія оставаться регуляторомъ могущества Австріи. Вотъ мощь императора грозитъ подняться до опасной высоты—и Максиміліанъ внезапно останавливаетъ преслѣдованіе шведской арміи. Онъ боялся также возмездія со стороны Франціи, которая грозила уже двинуть на него всѣ войска Тюреня, если онъ позволитъ своимъ войскамъ перейти Везеръ.

Меландеръ, которому баварцы помѣшали преслѣдовать Врангеля, вторгся чрезъ Іену и Эрфуртъ въ Гессенъ и грознымъ врагомъ является въ той самой землѣ, которую нѣкогда защищалъ. Если онъ из-

Шведскій фельдмаршалъ Карлъ Густавъ Врангель.

Гравюра Матвѣя Меріана младшаго (1621—1687).

бралъ Гессенъ ареной своихъ грабежей дѣйствительно изъ жажды отомстить своей прежней повелительницѣ, то онъ утолилъ жажду безчеловѣчнѣйшимъ образомъ. Гессенъ истекалъ кровью подъ его бичомъ и бѣдствія этой обнищавшей страны дошли при немъ до крайней степени. Но скоро пришлось ему раскаяться, что при выборѣ мѣстопребыванія имъ руководила мстительность вмѣсто благоразумія. Въ истощенномъ Гессенѣ армія терпѣла величайшую нужду въ то время, какъ Врангель набирался свѣжихъ силъ въ Люнебургѣ и дѣлалъ свои полки конными. Слишкомъ слабый, чтобы удержать за собой свои неудачныя квартиры, Меландеръ, при открытіи кампаніи 1648 года и движеніи шведскаго генерала на Гессенъ, вынужденъ былъ позорно отступить и искать спасенія на берегахъ Дуная.

Снова обманувъ ожиданія шведовъ, Франція несмотря на всяческія представленія Врангеля, удерживала армію Тюреня на Рейнѣ. Шведскій полководецъ отомстилъ тѣмъ, что присоединилъ къ своему войску веймарскую кавалерію, отказавшуюся отъ французской службы; но этотъ поступокъ далъ новую пищу зависти Франціи. Наконецъ, Тюренъ получаетъ разрѣшеніе соединиться со шведами—и обѣ арміи выступаютъ въ походъ—послѣдній въ эту войну. Они гнали Меландера вплоть до самаго Дуная, доставили провіантъ въ Эгеръ, осажденный императорскими войсками, и разбили по ту сторону Дуная императорско-баварскую армію, которая преградила имъ путь у Цусмарсгаузена. Меландеръ получилъ въ этомъ сраженіи смертельную рану, а баварскій генералъ фонъ-Гронсфельдъ расположился съ остальной арміей по ту сторону Леха, чтобы оградить Баварію отъ вторженія непріятеля.

Но Гронсфельдъ не былъ счастливѣе Тилли, который на томъ-же посту пожертвовалъ своей жизнью для спасенія Баваріи. Врангель и Тюренъ избрали для переправы мѣсто, ознаменованное побѣдой Густава Адольфа, и довершили ее, воспользовавшись тѣмъ-же преимуществомъ, которое когда-то дало перевѣсъ королю. Снова хлынули въ Баварію непріятельскія войска, и баварскій подданный былъ жестоко наказанъ за то, что его государь нарушилъ перемиріе. Максимиліанъ укрылся въ Зальцбургѣ, а шведы, перейдя Изаръ, дошли до Инна. Продолжительный проливной дождь, превратившій въ теченіе нѣсколькихъ дней эту незначительную рѣчку въ бурный потокъ, еще разъ спасъ Австрію отъ неминуемой опасности. Десять разъ пытался непріятель навести черезъ Иннъ плавучій мостъ и десять разъ рѣка уносила его. Ни разу за всю войну ужасъ католиковъ не достигалъ такой степени, какъ теперь, когда непріятель стоялъ въ сердцѣ Баваріи, и не было вождя, котораго можно было-бы противопоставить такимъ полководцамъ, какъ Тюренъ, Врангель, Кенигсмаркъ. Наконецъ, изъ Нидерландовъ явился отважный герой Пикколомини, чтобы стать во главѣ жалкихъ остатковъ императорской арміи. Опустошивъ Баварію, союзники сами затрудняли себѣ болѣе продолжительное пребываніе въ этой странѣ, и нужда заставила ихъ отступить въ Верхній Пфальцъ, гдѣ вѣсть о мирѣ положила конецъ ихъ дѣятельности.

Кенигсмаркъ съ своимъ летучимъ отрядомъ направился въ Богемію, гдѣ Эрнстъ Одовальскій, отставной ротмистръ, обратившійся въ калѣку на императорской службѣ и затѣмъ оставленный безъ всякаго вознагражденія, сообщилъ ему планъ, какъ овладѣть врасплохъ „Малой стороной“ Праги. Удачно выполнивъ этотъ планъ, Кенигсмаркъ такимъ образомъ прославился тѣмъ, что закончилъ тридцатилѣтнюю войну послѣднимъ блестящимъ подвигомъ. Всего одного человѣка стоилъ шведамъ этотъ рѣшительный ударъ, наконецъ побѣдившій колебанія императора. Но „Старый городъ“ — большая часть Праги, расположенная по ту сторону рѣки Молдавы, истомила энергичнымъ сопротивленіемъ пфальцграфа Карла Густава, наслѣдника Христины, прибывшаго изъ Швеціи со свѣжими войсками и собравшаго подъ стѣнами Праги всю шведскую армію изъ Богеміи и Силезіи. Наконецъ зима заставила осаждающихъ удалиться на зимнія квартиры, и здѣсь дошла до нихъ вѣсть о мирѣ, подписанномъ въ Оснабрюкѣ и Мюнстерѣ двадцать четвертаго октября.

Что за гигантское дѣло было заключеніе этого нерушимаго и священнаго договора, знаменитаго подъ именемъ вестфальскаго мира; сколько непреодолимыхъ на первый взглядъ препятствій пришлось здѣсь преодолѣть, сколько противоположныхъ интересовъ пришлось примирить, какая длинная вереница случайностей должна была соединиться, чтобы осуществить это драгоцѣнное и непреходящее созданіе политической мудрости; чего стоило лишь начать

переговоры, чего стоило, уже начавши, поддерживать ихъ среди измѣнчивой игры продолжающейся войны, чего стоило добиться утвержденія уже выяснившихся условій и привести въ исполненіе торжественно обнародованный договоръ; что, наконецъ, было содержаніемъ этого мирнаго договора, что пріобрѣталъ или терялъ въ немъ тотъ или иной отдѣльный боецъ цѣною тридцатилѣтнихъ тяготъ и страданій, какое воздѣйствіе—полезное или вредное—могъ онъ оказать на все европейское общество въ его совокупности—все это должно быть предоставлено другому перу. Какъ исторія войны представляетъ собой одно громадное цѣлое, такъ и исторія вестфальскаго мира есть также единое и отдѣльное громадное цѣлое. Простой краткій обзоръ ея превратилъ бы любопытнѣйшее и знаменательнѣйшее твореніе человѣческой мудрости и страсти въ безжизненный остовъ и отнялъ бы у нея именно то, чѣмъ она могла-бы приковать вниманіе тѣхъ читателей, которыхъ я имѣлъ въ виду и съ которыми теперь разстаюсь.

А. Горнфельдъ.

Философія, эстетика и критика.

Воззрѣнія Шиллера на нравственность и эстетику.

Шиллеръ нѣкоторое время увлекался философіей, но не всѣ области ея привлекали его въ одинаковой мѣрѣ; характеромъ его мышленія и поэтическаго дарованія объясняется его интересъ къ вопросамъ нравственности и эстетики. Какихъ либо важныхъ въ философскомъ отношеніи изслѣдованій въ области морали Шиллеръ не написалъ, зато эстетическія его произведенія въ большомъ почетѣ у нѣмецкихъ писателей. Лоце, одинъ изъ самыхъ тонкихъ мыслителей, написавшій замѣчательную исторію эстетики, называетъ эстетическіе трактаты Шиллера—„für alle Zeiten eine der schönsten Zierden unserer vaterländischen Literatur". Такое же сужденіе читаемъ мы и въ недавно вышедшей книгѣ Грооса („Введеніе въ эстетику"); мы думаемъ, что это сужденіе вполнѣ справедливо относительно двухъ произведеній Шиллера, а именно, относительно его трактата „О прелести и достоинствѣ" и относительно послѣдняго, наиболѣе зрѣлаго, т. е. „О наивной и сантиментальной поэзіи"; въ остальныхъ его трактатахъ, о которыхъ мы будемъ говорить, безъ сомнѣнія, весьма много цѣнныхъ мыслей и мѣткихъ замѣчаній, но много и такого, что заимствовано Шиллеромъ у Канта, что служитъ лишь развитіемъ мысли геніальнаго философа, по существу же не вноситъ ничего новаго и не всегда достаточно ясно и опредѣленно. Трактуя философскую тему, Шиллеръ всегда остается поэтомъ и фантастическіе образы замѣняютъ собой сухой анализъ. Передача мысли Шиллера, а тѣмъ болѣе переводъ его сочиненій чрезвычайно труденъ въ силу общихъ и индивидуальныхъ условій; психологическіе центры языковъ русскаго и нѣмецкаго не совпадаютъ; въ то время какъ нѣмецкій языкъ чрезвычайно богатъ словами, обозначающими психическія состоянія, душевныя отношенія и отвлеченныя понятія, русскій языкъ богатъ словами, обозначающими конкретные образы. Этимъ объясняется бѣдность русской философской терминологіи и невозможность или трудность передачи столь обычныхъ понятій, какъ Gestalt, Gemüth, Ernst, Anmuth, Würde и т. д. Къ этому общему условію, затрудняющему передачу мыслей Шиллера, присоединяется еще и спеціальное условіе, лежащее въ его поэтической натурѣ. Къ Шиллеру болѣе чѣмъ къ кому либо примѣнимо опредѣленіе философіи, данное Фр. Ланге—философія есть поэзія понятій. Въ философскихъ разсужденіяхъ онъ остается поэтомъ, а въ поэзіи онъ до нѣкоторой степени философъ. Онъ подтверждаетъ такимъ образомъ мысль Леопарди о тожествѣ поэзіи и философіи. Анализируя понятія, Шиллеръ не всегда слѣдуетъ логическому теченію мыслей, а, увлекаясь богатствомъ образовъ, гармоніею словъ и понятій, отвлекается въ сторону и не приходитъ къ отчетливому заключенію. Наоборотъ, нѣкоторыя изъ стихотвореній Шиллера, суть не что иное какъ философскіе трактаты, облеченные въ восхитительные образы, полные жизни, заслоняющіе собой блѣдныя схемы аналитической мысли. Шиллеръ отлично сознаваль силу и ха-

рактеръ своего дарованія. „Собственно говоря, только въ области искусства я чувствую свою силу, въ теоріи приходится возиться съ принципами; въ этой сферѣ я только диллетантъ" (1792 г.), но въ то же время онъ чувствовалъ, что его поэзія получаетъ настоящую силу и значеніе, когда она имѣетъ дѣло съ философской проблемой: „эта работа", пишетъ онъ въ 1794 году, — дѣло идетъ о „Валленштейнѣ", — „меня просто пугаетъ и я съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе чувствую, что я не поэтъ и поэтическое вдохновеніе охватываетъ меня только въ тѣхъ случаяхъ, когда я принимаюсь за философскую задачу".— Вотъ гдѣ характерная черта произведеній Шиллера, въ этомъ ихъ прелесть и ихъ трудность.

О философскихъ произведеніяхъ Шиллера писано много и тѣмъ не менѣе многіе вопросы недостаточно выяснены; кромѣ общихъ сочиненій, вродѣ „Исторіи нѣмецкой философіи" Целлера, „Исторіи нѣмецкой эстетики" Лоце и „Исторіи эстетики" Циммермана, можно указать цѣлый рядъ сочиненій, посвященныхъ спеціально Шиллеру и принадлежащихъ весьма извѣстнымъ авторамъ, какъ-то Куно Фишеру, Томашеку, Твестену, Куну, Ибервегу, Дробишу, Гемсену и др. Наиболѣе талантливое, какъ намъ кажется, принадлежитъ K. Fischer'y („Schiller als Philosoph", 1858 г.), который съ удивительной ясностью излагаетъ весь ходъ философскаго развитія Шиллера. Къ сожалѣнію, авторъ не слишкомъ церемонится съ фактами и возводитъ весьма стройное зданіе, не всегда однако согласующееся съ фактами и хронологіей. К. Фишеръ различаетъ въ развитіи философскихъ воззрѣній Шиллера 3 періода; въ первомъ Шиллеръ является ученикомъ Канта; во второмъ онъ Кантовы воззрѣнія старается примирить съ своими; въ третьемъ онъ Канта подчиняетъ своимъ воззрѣніямъ. Врядъ-ли можно строго разграничить указанные три періода; справедливо лишь то, что Шиллеръ увлекался философіей Канта, но постепенно отъ нея отошелъ, не желая впрочемъ порывать съ Кантомъ. Вліяніе Канта было постепенно оттѣсняемо яснымъ міросозерцаніемъ Гете, родственнымъ античному духу, имѣвшимъ столь мало общаго съ субъективизмомъ Канта.

Въ 1787 году Шиллеръ впервые познакомился съ сочиненіями Канта, но увлекся ими лишь въ 1791 году, когда прочелъ „Критику силы сужденія". До знакомства съ Кантомъ на развитіе Шиллера могли имѣть вліяніе проф. Абель и проф. Б. Гаугъ, въ особенности первый; они познакомили Шиллера съ Лейбницо-Вольфовскимъ міросозерцаніемъ, съ раціоналистическимъ оптимизмомъ, главный недостатокъ котораго заключался въ томъ, что онъ нисколько не будилъ критической мысли, давая на всѣ запросы, повидимому, весьма опредѣленные отвѣты; къ сожалѣнію, однако, отвѣты эти отнюдь не были критически провѣрены. Шиллеръ сочувствовалъ этому міровоззрѣнію, о чемъ свидѣтельствуютъ его „Философскія письма". Въ этихъ письмахъ мы встрѣчаемъ, впрочемъ, и чуждый Вольфовой философіи элементъ, а именно мистическій, напоминающій съ одной стороны пантеизмъ Спинозы, съ другой — ученіе объ эманаціи новоплатониковъ. Чтеніе Кантовыхъ произведеній имѣло на Шиллера рѣшающее вліяніе. Въ теченіе шести лѣтъ (съ 1789 — 1796) онъ исключительно занимается философіей, въ которой его интересовали вопросы нравственности и эстетики, въ то время какъ къ главному труду Канта, „Критикѣ чистаго разума", Шиллеръ оставался равнодушнымъ: онъ принималъ общій выводъ Канта, но критически и самостоятельно къ нему не относился. Другое дѣло съ вопросами морали и эстетики; въ этой области Шиллеръ отъ роли слѣпого ученика перешелъ къ роли самостоятельнаго критика и занялъ положеніе, которое составляетъ переходъ отъ критицизма Канта къ романтизму Шеллинга. Съ теченіемъ времени, когда Шиллеръ почувствовалъ и окончательно сознялъ свое призваніе, онъ охладѣлъ къ философіи. Въ 1802 году онъ пишетъ: „Ежедневно я испытываю, какъ мало поэту въ его творчествѣ приносятъ пользы общія чистыя понятія; въ этомъ вовсе не философскомъ настроеніи я иногда готовъ отдать все, что самъ и другіе знаютъ изъ области эстетики, за какое-либо эмпирическое указаніе, за какую-либо уловку ремесла".

Чтобы понять эстетическія произведенія Шиллера, необходимо въ нѣсколькихъ словахъ очертить отправную его точку, т. е. философію Канта... Философія Канта содержится, главнымъ образомъ, въ трехъ его знаменитыхъ сочиненіяхъ: „Критика чистаго разума", „Критика практическаго разума" и „Критика силы сужденія". Эти сочиненія появлялись въ томъ порядкѣ, въ какомъ мы ихъ назвали; въ первомъ изъ нихъ разсмотрѣно человѣческое познаніе, во второмъ—нравственность, въ третьемъ—ис-

кусство и цѣлесообразность въ природѣ. Во всѣхъ трехъ господствуетъ одна и та же основная мысль, но результаты анализа критика совершенно различны. Основная мысль Канта заключается въ томъ, что онъ, подобно Копернику, нашелъ новый центръ, изъ котораго слѣдуетъ исходить при объясненіи философскихъ проблемъ. Этотъ центръ — самъ человѣкъ, или эту мысль облекъ въ философскую терминологію Канта, — центръ этотъ — *идея апріори*. Не изъ внѣшняго міра нужно объяснять человѣка, его познаніе, нравственность и эстетическія воззрѣнія, а, наоборотъ, все, что внѣшній міръ намъ представляетъ, есть результатъ дѣятельности самого человѣка, его духовныхъ качествъ, закономѣрность его природы. Примѣнивъ эту точку зрѣнія къ познанію, Кантъ доказалъ, что все наше познаніе касается однихъ лишь *явленій*, что предметовъ самихъ по себѣ мы не знаемъ и знать не можемъ. Явленіе же есть не что иное, какъ продуктъ дѣятельности нашего *я*. Итакъ получился довольно странный результатъ: человѣческое познаніе должно, повидимому, служить тому, чтобы познать предметы, но именно оно-то вмѣсто предметовъ подставляетъ лишь *видимость* ихъ, явленіе, въ которомъ человѣкъ не познаетъ того, что для него цѣнно — внѣшній міръ, а лишь самого себя, свою дѣятельность. Три идеи всегда были особенно цѣнны человѣчеству: идея Бога, идея свободы и идея безсмертія души.— И ихъ человѣкъ познать не можетъ, онъ не можетъ ни опровергнуть ихъ, ни доказать истинность ихъ. Таковъ въ общихъ чертахъ результатъ критики чистаго разума. Анализируя человѣческую нравственность, Кантъ нашелъ въ ней основной принципъ, не заимствованный изъ внѣшняго міра, апріорный, опредѣляющій собою дѣятельность человѣка и имѣющій характеръ безусловной обязательности и истинности, какъ выраженіе самой нравственной природы человѣка. Этотъ принципъ Кантъ назвалъ „категорическимъ императивомъ", ибо онъ заключаетъ въ себѣ безусловное требованіе. Это требованіе, будучи апріорнымъ, т. е. выраженіемъ внутренняго строенія нравственной природы человѣка, не можетъ заключать въ себѣ какихъ-либо указаній на содержаніе дѣйствія, ибо оно опредѣляется мотивами, которые въ свою очередь зависятъ отъ содержанія нашихъ представленій. Категорическій императивъ можетъ быть лишь формальнымъ требованіемъ согласія нашего дѣйствія съ общимъ принципомъ нравственности. „Поступай такъ, чтобы правило, которымъ ты руководствуешься въ своей дѣятельности, могло-бы стать общимъ закономъ, опредѣляющимъ дѣятельность всѣхъ людей" — вотъ формула категорическаго императива. Существованіе въ душѣ человѣка такого безусловнаго требованія есть несомнѣнный фактъ человѣческой совѣсти; анализируя условія, при которыхъ этотъ фактъ возможенъ, мы тѣмъ самымъ опредѣлимъ необходимыя требованія, истинность которыхъ, какъ выводовъ изъ несомнѣннаго факта, не подлежитъ сомнѣнію. Назовемъ эти выводы, выражающіе собой условія существованія нравственнаго закона, „постулатами", требованіями; ихъ три: во-первыхъ, свобода человѣческой воли; во-вторыхъ, безсмертіе души; въ третьихъ, существованіе Бога. Дѣятельность человѣка, опредѣляющаяся уваженіемъ нравственнаго закона, есть дѣятельность автономная, т. е. неопредѣленная внѣшними мотивами, слѣдовательно, такая дѣятельность предполагаетъ свободу. Но фактъ нравственнаго закона стоитъ въ противорѣчіи съ дѣйствительной жизнью, въ которой счастіе вовсе не зависитъ отъ выполненія категорическаго императива; нарушенное согласіе нравственнаго закона и счастья можетъ быть возстановлено лишь при допущеніи безсмертія души. Свобода воли и безсмертіе души постулируютъ и третью идею разума—бытіе Бога. Итакъ, результатъ критики практическаго разума стоитъ въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ предшествовавшей критикой познанія. Кантъ отнимаетъ одной рукою то, что онъ возвращаетъ другой. Для теоретическаго разума невозможно познаніе міра самого по себѣ, но практическому разуму доступно такое познаніе. Воспользовавшись нравственнымъ чувствомъ, какъ источникомъ познанія, Кантъ вновь построилъ ту догматическую метафизику, которую онъ разрушилъ критическимъ анализомъ познанія; получилась непреодолимая пропасть между царствомъ необходимости, построяемымъ познаніемъ, и царствомъ свободы, созидаемымъ волею. Заполнить хоть въ нѣкоторой мѣрѣ эту пропасть — такова задача третьей критики Канта. „Критика силы сужденія" была встрѣчена въ Германіи съ весьма понятнымъ восторгомъ и ею восхищались многіе изъ тѣхъ, кого сухой анализъ чистаго разума или не удовлетворилъ, или же нисколько

не тронулъ. Въ числѣ этихъ лицъ былъ Гете, не читавшій „Критики чистаго разума" и восхищенный „Критикой силы сужденія". Отъ міра необходимости, міра явленій, нѣтъ перехода къ міру предметовъ самихъ по себѣ, но, наоборотъ, отъ міра свободы долженъ быть найденъ такой переходъ, ибо дѣйствія осуществляются въ предметномъ мірѣ, цѣли, созданныя свободной волею, видоизмѣняютъ чувственный міръ; такимъ образомъ природу должно мыслить такъ, чтобы ея законодательство могло бы согласоваться съ идеями свободы нравственнаго міра, и нужно найти общую основу этихъ двухъ міровъ и такимъ образомъ соединить ихъ въ одно цѣлое. Это дѣлаетъ сила сужденія, стоящая между теоретическимъ и практическимъ разумомъ и созидающая понятіе цѣлесообразности. Понятіе цѣлесообразности представляетъ природу такъ, какъ будто бы въ основѣ ея закономѣрности находился объединяющій ее разумъ; такимъ образомъ въ этомъ принципѣ разума, какъ основѣ міра, дана возможность соединенія двухъ міровъ. Подобно тому, какъ общіе законы природы суть выраженіе закономѣрности нашего разсудка, такъ и частные эмпирическіе законы должны быть представляемы нами, какъ выраженіе высшаго разума. Сила сужденія сама по себѣ опредѣляющая чувство по правиламъ апріори, бываетъ двоякою: *рефлектирующей*, подыскивающей къ частному общее положеніе, и *опредѣляющей*, идущей отъ общаго къ частному. Принципъ рефлектирующей силы сужденія—цѣлесообразность. Хотя цѣлесообразность и есть только наше субъективное понятіе, которое нами примѣняется къ предметамъ и имъ въ дѣйствительности не принадлежитъ, но все жъ она создаетъ двоякое понятіе формы природы (формы—такъ какъ цѣлесообразное соединеніе разнообразныхъ элементовъ есть опредѣленіе формальное). Этотъ принципъ мыслится нами двоякимъ образомъ: или какъ согласіе формы цѣлесообразности съ нашей познавательной способностью, или же какъ согласіе ея съ самими предметами; первое согласіе создаетъ понятіе красоты въ природѣ, второе—цѣлесообразности въ природѣ, въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ *эстетической* силою сужденія, во второй съ *телеологической*. Въ дальнѣйшемъ ходѣ анализа Кантъ даетъ свое знаменитое опредѣленіе красоты. Красота есть то, что нравится, независимо отъ возбуждаемаго въ насъ воспріятіемъ чувства пріятнаго и независимо отъ идеи разумности, подобно благу; красиво то, что нравится намъ своимъ существованіемъ, своимъ представленіемъ. Красиво то, что нравится безъ отношенія къ *интересу* (was interesselos wohlgefällt), причемъ слово интересъ слѣдуетъ понимать въ томъ приблизительно смыслѣ, въ какомъ мы имъ пользуемся, говоря напр. объ игрѣ „на интересъ". Если предметъ возбуждаетъ въ насъ непосредственно указанное чувство, тогда мы его называемъ красивымъ, если же онъ намъ нравится не непосредственно, т. е. ежели онъ представляетъ фантазіи неодолимую задачу, превышающую въ количественномъ или качественномъ отношеніи силы человѣка, тогда предметъ возбуждаетъ чувство неудовольствія, проистекающее изъ несоотвѣтствія нашихъ способностей съ представленной идеей—такой предметъ мы называемъ возвышеннымъ. Возвышенное доказываетъ способность духа переступать за всякія чувственныя границы. Если величина какого-либо предмета производитъ это впечатлѣніе, тогда мы имѣемъ дѣло съ „математически возвышеннымъ", если же это впечатлѣніе произведено какою либо силою (физической или нравственной), тогда мы имѣемъ дѣло съ динамически возвышеннымъ.

Мы не будемъ далѣе излагать воззрѣній Канта. Несмотря на большую искусственность, съ которою онъ сочеталъ силу сужденія съ чувствомъ, на схоластичность вывода идеи цѣлесообразности и т. д., громадное впечатлѣніе, которое должно было произвести сочиненіе Канта на современниковъ, понятно: въ этомъ сочиненіи они нашли, во-первыхъ, освобожденіе отъ того субъективизма, который опуталъ ихъ, благодаря выводамъ „Критики чистаго разума", казавшимся неоспоримыми: искать природу и всюду встрѣчаться лишь съ дѣятельностью своего „я", значило сознавать себя въ плѣну, изъ котораго нѣтъ спасенія, и вдругъ самъ виновникъ этого плѣна раскрываетъ, хотя весьма робко и нерѣшительно, темницу; онъ показываетъ, что всѣ понятія, которыя намъ казались лишь созданіями собственнаго ума, не имѣющими ничего общаго съ предметнымъ, объективнымъ міромъ, все же не могъ имѣть нѣкоторое объективное значеніе. Всѣ ограниченія, которыми Кантъ обставилъ свою мысль, были отброшены или забыты, читатели ухватились за возможность нѣкотораго приближенія „къ единой разумной основѣ, объединяющей міръ необходимыхъ

явленій съ свободнымъ міромъ вещей самихъ въ себѣ". Міръ и Богъ, отнятый у людей, превращенный въ субъективную, хотя и весьма стройную систему понятій, вдругъ вновь оживали и получали нѣкоторую, хотя еще и не вполнѣ опредѣленную реальность. Другая причина успѣха книги Канта заключалась въ томъ, что онъ впервые далъ мастерской анализъ двухъ основныхъ понятій эстетики, красоты и возвышеннаго, причемъ эти понятія строго разграничены отъ сродныхъ, но не тожественныхъ съ ними понятій полезнаго и пріятнаго.

Вотъ тотъ кругъ идей, который открылся Шиллеру при чтеніи Кантовыхъ произведеній; эти идеи сначала его совершенно поработили, но постепенно онъ ихъ видоизмѣнилъ настолько, чтобы согласовать ихъ съ богатымъ опытомъ собственной поэтической природы. Субъективизмъ „Критики чистаго разума" онъ принялъ на вѣру; формализмъ „Критики практическаго разума" подъ вліяніемъ эстетическихъ воззрѣній принялъ у Шиллера своеобразный видъ, но различіе чувственной природы отъ разумной послужило и для него исходной точкой разсужденій. Къ разсмотрѣнію эстетическихъ трактатовъ Шиллера мы теперь и обратимся.

Въ исторіи развитія эстетическихъ воззрѣній Шиллера мы можемъ различить четыре періода—первый до знакомства съ сочиненіями Канта; къ этому періоду относятся его „Философскія письма" (1786), а также нѣкоторыя стихотворенія, въ которыхъ онъ изложилъ свое міросозерцаніе, какъ напр. „Художники".

Ко второму періоду относятся произведенія, вызванныя знакомствомъ съ сочиненіями Канта, писанныя лишь для разъясненія точки зрѣнія Канта. Характерная особенность этого періода—преобладаніе нравственной точки зрѣнія надъ эстетической. Къ этому періоду относятся „Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen", „Ueber die tragische Kunst", „Ueber das pathetische", „Zerstreute Bemerkungen über verschiedene ästhetische Gegenstände".

Характернымъ произведеніемъ третьяго періода слѣдуетъ признать трактатъ „Ueber Anmuth und Würde", въ которомъ рядомъ съ нравственной точкой зрѣнія признается нѣкоторая самостоятельность и за эстетической.

Наконецъ, къ четвертому періоду относятся его знаменитыя письма „Ueber die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts" и примѣненіе принциповъ „писемъ" къ поэзіи; „Ueber naive und sentimentale Dichtung". Это два наиболѣе зрѣлыхъ и цѣнныхъ трактата—въ особенности послѣдній,— въ которыхъ съ рѣшительностью проводится мысль о значеніи для человѣка эстетическаго взгляда на вещи.

Относительно перваго періода слѣдуетъ сказать, что уже въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Шиллера замѣтенъ его интересъ къ вопросамъ нравственности. Еще будучи питомцемъ военной академіи, онъ произнесъ нѣсколько рѣчей, касающихся вопросовъ морали, напр., „Ueber Tugend und Güte" (1779), „Die Tugend in ihren Folgen betrachtet" (1780). Въ этихъ рѣчахъ Шиллеръ опредѣляетъ добродѣтель, какъ любовь къ блаженству, направляемую разсудкомъ; такимъ образомъ, добродѣтель представляется ему соединеніемъ любви и мудрости. На міръ Шиллеръ смотритъ (въ „Философскихъ письмахъ"), какъ на обнаруженіе божественнаго мышленія, которое духъ старается постичь, ибо всякое совершенство его привлекаетъ. Созерцаніе красоты, истины и блага влечетъ за собой и пріобрѣтеніе ихъ; состояніе, которое мы созерцаемъ, становится нашимъ собственнымъ состояніемъ; блаженство, представляемое мною, становится моимъ блаженствомъ. Эти произведенія Шиллера важны для его біографа, желающаго охарактеризовать его юношескіе годы, сами же по себѣ они не настолько значительны, чтобы на нихъ долго останавливаться; достаточно отмѣтить вліяніе Лейбница и отчасти Спинозы, котораго, впрочемъ, Шиллеръ врядъ ли зналъ непосредственно, и указать на то, что Шиллеръ смотрѣлъ на искусство, какъ на проводника моральныхъ идей.

Во второмъ, подготовительномъ періодѣ Шиллеръ точно также на искусство смотритъ съ нравственной точки зрѣнія, т. е. какъ на средство къ нравственному совершенствованію. Въ трактатѣ „Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen" Шиллеръ исходитъ изъ положенія, что цѣль искусства заключается въ свободномъ наслажденіи (freies Vergnügen), а источникъ наслажденія есть цѣлесообразность; наслажденіе имѣетъ чувственный характеръ, когда цѣлесообразность есть результатъ природной необходимости, вызывающей ощущеніе, а не представляющей дѣятельности. Наслажденіе свободно, если духовныя силы, разумъ и воображеніе, дѣятельны и самое наслажденіе вызвано представленіемъ цѣлесообразности. Основаніе

этого наслажденія — побѣда нравственной цѣлесообразности надъ физической. Трактатъ о трагедіи представляетъ прямое продолженіе предшествующаго; въ немъ Шиллеръ даетъ слѣдующее опредѣленіе трагедіи: „Трагедія есть поэтическое подражаніе связнаго ряда происшествій (полнаго дѣйствія), показывающее намъ страждущаго человѣка и имѣющее цѣлью возбудить въ насъ состраданіе". Это опредѣленіе тѣснѣйшимъ образомъ примыкаетъ къ знаменитому ученію Аристотеля о „катарсисѣ" (очищеніи) страстей путемъ страха и состраданія. Любопытно, что въ своемъ опредѣленіи сущности трагедіи Шиллеръ гораздо ближе подходитъ къ Аристотелю, чѣмъ Лессингъ въ его „Гамбургской драматургіи", а между тѣмъ, по всей вѣроятности, Шиллеръ познакомился съ Аристотелемъ именно благодаря сочиненіямъ Лессинга; Шиллеръ выпустилъ изъ формулы Аристотеля упоминаніе о чувствѣ страха, которое у Лессинга истолковано не вполнѣ удачно и вовсе не въ духѣ Аристотелевой поэтики. О страхѣ Шиллеръ не упоминаетъ потому, что онъ изъ трагедіи исключилъ понятіе судьбы; трагическое положеніе состоитъ не въ борьбѣ героя съ судьбою, т. е. внѣшнимъ началомъ, а въ борьбѣ нравственной природы человѣка съ чувственнымъ влеченіемъ; поэтому трагедія опредѣляется не судьбою, а волею человѣка. Ученіе о томъ, что цѣль искусства есть свободное наслажденіе, имѣетъ по всей вѣроятности нѣкоторую связь съ понятіемъ διαγωγή у Аристотеля (т. е. благороднымъ заполненіемъ досуга) и отчасти съ Кантовымъ „незаинтересованнымъ наслажденіемъ". Высшій идеалъ человѣка— это нравственный идеалъ, въ изображеніи котораго и состоитъ задача искусства; нравственный идеалъ осуществляется въ борьбѣ, изображеніемъ борьбы занята трагедія, поэтому трагедія есть высшее искусство. (Дальше мы увидимъ, что Шиллеръ измѣнилъ впослѣдствіи свой взглядъ на трагедію). Трагедія предполагаетъ два условія—страданія человѣка и проявленіе свободы духа въ страданіяхъ. Страданіе есть παθος [1]), изображеніе этого страданія принадлежитъ патетическому роду, притомъ только то страданіе достойно патетическаго изображенія, въ коемъ человѣкъ приноситъ себя въ жертву ради высокой нравственной цѣли. Человѣческій духъ, возвышающійся надъ физическими страданіями, побѣждающій тѣлесную природу, представляетъ собой зрѣлище возвышенное, величественное. Итакъ страданіе только тогда становится патетическимъ, а патетическое—предметомъ трагедіи, когда оно само по себѣ возвышенно (Das Gefühl des Erhabenen besteht einerseits aus dem Gefühl unserer Ohnmacht einen Gegenstand zu umfassen, andererseits aus dem Gefühl unser Uebermacht, welche dasjenige sich geistig unterwirft dem unsere sinnlichen Kräfte unterliegen). Возвышенною можетъ быть лишь нравственная сила духа; природа намъ можетъ казаться возвышенною, но лишь въ переносномъ смыслѣ, а именно въ томъ случаѣ, когда созерцаніе природы возбуждаетъ въ насъ нашу сверхчувственную природу и тѣмъ заставляетъ сознать нашу нравственную мощь. Возвышенное въ природѣ можетъ превосходить границы, положенныя нашему чувственному воспріятію—тогда мы этотъ видъ возвышеннаго называемъ математически возвышеннымъ, ежели же оно обращаетъ въ ничто нашу физическую силу, тогда мы имѣемъ дѣло съ динамически возвышеннымъ. Вотъ главнѣйшія мысли, взятыя изъ произведеній, которыя мы отнесли ко второму періоду развитія Шиллера. Несомнѣнно, что Шиллеръ здѣсь вращается въ кругѣ идей, навѣянныхъ изученіемъ „Критики практическаго разума" и „Силы сужденія". У Шиллера, какъ и у Канта, нравственному идеалу принесена въ жертву чувственная природа человѣка, искусство является средствомъ для осуществленія нравственнаго совершенства; въ анализѣ понятія возвышеннаго повторены мысли Канта; не забыто даже дѣленіе возвышеннаго на два вида: динамически и математически возвышенное.

Иное видимъ мы въ трактатѣ „Ueber Anmuth und Würde" который характеризуетъ третій періодъ, новый шагъ въ развитіи эстетическихъ возрѣній Шиллера. Трактатъ „О прелести и достоинствѣ" наряду съ сочиненіемъ „О наивной и сентиментальной поэзіи", замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, его въ извѣстномъ смыслѣ можно разсматривать, какъ дополненіе Кантовой эстетики, ибо Шиллеръ анализируетъ и даетъ опредѣленіе цѣлому ряду эстетическихъ понятій, которыхъ Кантъ не коснулся. Цѣннымъ для эстетики этотъ трактатъ слѣдуетъ признать потому, что мы встрѣчаемся со множествомъ удивительно тонкихъ оттѣнковъ эстетическихъ понятій, вѣрно подмѣченныхъ, точно опредѣленныхъ, почерпнутыхъ изъ непосред-

[1]) παθος по-гречески обозначаетъ страданіе.

ственнаго опыта геніальнаго поэта. Во-вторыхъ, этотъ трактатъ цѣненъ еще и тѣмъ, что онъ представляетъ критику Кантовой морали и эстетики, и хотя Шиллеръ заявляетъ, что онъ лишь истолковываетъ мысль Канта, истинность которой для него не подлежитъ сомнѣнію, но въ дѣйствительности Шиллеръ видоизмѣняетъ самую сущность воззрѣній Канта; нельзя не отдать справедливости Шиллеру, — онъ указалъ именно на ту проблему Кантовой морали, которая нуждалась въ дополнительномъ изъясненіи. Въ опредѣленіи красоты Шиллеръ точно также отошелъ отъ Канта. Его „Письма объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества" по существу представляютъ лишь дальнѣйшее разъясненіе точки зрѣнія, которую онъ занялъ въ трактатѣ „Ueber Anmuth und Wurde". Къ краткому разсмотрѣнію этого трактата мы и приступимъ.

Основная мысль разсужденія Шиллера заключается въ томъ, что красота есть отраженіе нравственнаго и формальнаго начала. Въ доказательствѣ этого положенія, вполнѣ согласно съ ученіемъ Канта, Шиллеръ исходитъ изъ противуположности чувственной и разумной природы человѣка, соотвѣтствующей законамъ необходимости съ одной и свободы съ другой стороны; однако, ходъ мыслей привелъ его къ отрицанію формальнаго характера красоты и къ утвержденію нѣкоторой самостоятельности красоты въ нравственномъ мірѣ. И дѣйствительно, положеніе, усвоенное отъ Канта [1]), что красота зависитъ исключительно отъ формальныхъ условій и независима отъ содержанія, не вяжется съ основнымъ положеніемъ, что красота есть отраженіе нравственнаго міра. Шиллеръ самъ указалъ намъ, что побудило его уклониться отъ теоріи своего учителя—это живое сознаніе своего поэтическаго дарованія и тѣхъ фактовъ, которые онъ изъ него почерпалъ: „философъ долженъ удовлетворяться тѣмъ, чтобы подъискивать понятія къ тѣмъ созерцаніямъ, въ которыя облекаетъ свои открытія естественное чувство, или иными словами, онъ долженъ объяснять образный языкъ ощущеній", — и далѣе „философія имѣетъ право гордиться лишь весьма немногими открытіями, которыя до нея не были предметомъ смутнаго чаянія чувствъ и откровенія поэзіи". Возможно представить себѣ троякое отношеніе разума къ чувству: или разумъ порабощаетъ себѣ требованія чувственной природы, или, наоборотъ, чувственная природа беретъ верхъ надъ разумомъ, и человѣкъ слѣдуетъ природнымъ влеченіямъ, или, наконецъ, чувственныя влеченія гармонически сочетаются съ требованіями разума и человѣкъ является цѣльнымъ, согласованнымъ во всѣхъ своихъ стремленіяхъ. Только это третье состояніе, въ которомъ склонность не противорѣчитъ долгу, и даетъ условіе для красоты; красота и есть не что иное, какъ выраженіе гармоніи нравственной и чувственной природы. Такимъ образомъ, чувственная природа не подлежитъ уничтоженію, а лишь освобожденію и проясненію. Если побѣда нравственнаго начала надъ чувственной природой создаетъ понятіе возвышеннаго, то и въ самой чувственной природѣ есть явленія, которыя всѣми признаются красивыми, хотя они и суть произведенія необходимости, а не свободы — это красота человѣческаго тѣла, то, что Шиллеръ называетъ *„архитектонической* красотой" и отличаетъ отъ техническаго совершенства. Техническое совершенство есть система цѣлей, подчиненная одной высшей цѣли, архитектоническая же красота есть *изображеніе* этихъ цѣлей, поскольку она открывается въ явленіи человѣческому познанію. Человѣку мы изъ всѣхъ произведеній природы по преимуществу приписываемъ красоту, притомъ человѣку, какъ явленію, воспринимаемому чувствами, независимо отъ идеи о принадлежности его къ типу, къ человѣчеству. Однако, несомнѣнно, и разуму красота нравится, хотя она и не зависитъ отъ качествъ предмета, постигаемаго разумомъ; для того, чтобы примирить это кажущееся противорѣчіе, нужно припомнить, что предметы двоякимъ образомъ становятся объектами разума: идея не всегда *извлекается* разумомъ изъ явленія, иногда, напротивъ, она *полагается* въ явленіе. Въ первомъ случаѣ идея объективно и по необходимости соединена съ предметомъ, во второмъ лишь субъективно; первое создаетъ понятіе *совершенства*, второе—красоты. Такимъ образомъ, красота является гражданкою двухъ міровъ: по рожденію она принадлежитъ міру чувственному, міру разумному же въ качествѣ „пріемыша"; „своимъ существованіемъ она обязана чувствамъ, но права гражданства она полу-

[1]) Я считаю, что Лоце доказалъ это положеніе и разрушилъ доказательство противуположнаго утвержденія, защиту коего взялъ на себя Циммерманъ въ своей исторіи эстетики.

„Идетъ отъ разума". Архитектоническая красота человѣческаго тѣла не есть только произведеніе природы, она въ то же время есть выраженіе человѣческой личности, свободы ея духа. Такимъ образомъ, свобода, оказывается, управляетъ красотою. „Природа даетъ красоту строенія, свобода красоту игры", и теперь мы знаемъ, что такое прелесть и грація. Прелесть это „красота человѣческой фигуры (Gestalt) подъ вліяніемъ свободы". Прелесть можетъ проявиться не только въ движеніяхъ, но и въ спокойномъ выраженіи въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ оно обозначаетъ привычныя, ранѣе бывшія движенія. Однако, не во всѣхъ движеніяхъ можетъ проявиться прелесть, а лишь только въ тѣхъ, которыя соотвѣтствуютъ какому-либо настроенію. Прелесть свойственна только произвольнымъ движеніямъ, и то не всѣмъ, а лишь тѣмъ, которыя служатъ выраженіемъ нравственнаго чувства. Итакъ, въ прелести соединены два міра, чувственный и разумный, подобно тому какъ въ *прекрасной душѣ* приведены въ гармонію нравственное чувство и природная склонность; прекрасная душа есть, такимъ образомъ, идеалъ нравственнаго совершенства, обладающій добродѣтелью, т. е. *склонностью къ долгу*; человѣкъ долженъ съ радостью подчиняться долгу; въ прекрасной душѣ нравственное чувство настолько овладѣло всѣми склонностями души, что она можетъ безъ всякаго опасенія предоставить чувствамъ руководительство надъ волею и никогда не окажется въ противорѣчіи съ долгомъ. Такимъ образомъ, въ прелести и въ прекрасной душѣ, которой прелесть свойственна, Шиллеръ нашелъ сочетаніе эстетики съ этикою, причемъ такое сочетаніе, въ которомъ нравственность не поглотила красоты. „Тамъ, гдѣ нравственное чувство находитъ усладу, тамъ и эстетическое желаетъ не быть въ обидѣ и согласіе съ идеей не должно вести къ пожертвованію въ области чувствъ. Какъ бы строго ни требовалъ разумъ выраженія нравственности, все же глазъ столь же неукоснительно будетъ стоять за красоту".

Во второй части разсматриваемаго трактата Шиллеръ по существу не прибавляетъ ничего новаго; онъ противуполагаетъ прелесть достоинству и считаетъ прелесть выраженіемъ прекрасной души, а достоинство выраженіемъ возвышеннаго убѣжденія, образа мыслей (erhabene Gesinnung). Господство надъ стремленіями путемъ нравственной мощи характеризуетъ свободу духа, и выраженіе этого господства есть достоинство. Прелесть заключается въ свободѣ произвольныхъ движеній, достоинство въ господствѣ надъ непроизвольными. Мы требуемъ прелести отъ того, кто насъ обязываетъ, а достоинства отъ того, кого обязываютъ; оплошность слѣдуетъ хулить съ прелестью, признаваться въ оплошности — съ достоинствомъ. Если сильный желаетъ любви, то пусть онъ смягчаетъ свое превосходство граціей, ежели слабый желаетъ уваженія, то пусть онъ признается съ достоинствомъ въ своемъ безсиліи. Хотя прелесть и достоинство проявляются въ различныхъ областяхъ, но они могутъ соединяться въ одномъ лицѣ, ибо прелесть находитъ свое оправданіе въ достоинствѣ, а достоинство свое значеніе и цѣнность въ прелести. Достоинство препятствуетъ тому, чтобы любовь превращалась въ сладострастіе, прелесть предотвращаетъ переходъ уваженія въ страхъ. Какъ достоинство имѣетъ нѣсколько степеней (благородство, величіе), такъ точно и прелесть, высшую степень которой мы называемъ очаровательностью. Ежели прелесть въ одномъ лицѣ соединена съ архитектонической красотой, а достоинство съ силою — тогда мы имѣемъ предъ собой выраженіе совершенного человѣка.

Вотъ главныя мысли трактата Шиллера, въ которомъ онъ, желая истолковать Канта, отошелъ довольно далеко отъ его ученія. Два существенныхъ измѣненія внесъ Шиллеръ въ теорію Канта: во-первыхъ, онъ нравственнымъ призналъ не только то дѣйствіе, которое совершается изъ чувства уваженія передъ долгомъ, но и то, въ которомъ склонность находится въ согласіи съ долгомъ; во-вторыхъ, онъ идею красоты освободилъ отъ порабощенія ея идеѣ нравственности; хотя для него изображеніе нравственной борьбы и остается важнѣйшимъ предметомъ искусства, но, благодаря иному пониманію самой нравственности, и цѣли искусства становятся иными, болѣе свободными.

Въ „Письмахъ объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества" Шиллеръ хотѣлъ развить тотъ же кругъ идей, что и въ трактатѣ „Ueber Anmuth und Würde", но незамѣтно, можетъ быть, для себя самого, онъ еще болѣе уклонился отъ ученія Канта. Мы означенныя письма не можетъ цѣнить такъ же высоко, какъ предшествующій трактатъ; въ письмахъ Шиллеръ хотѣлъ охватить слишкомъ многое и поэтому нѣкоторыя части ихъ не вяжутся съ другими, и

ическій ходъ развитія идей не вполнѣ нъ. Гете находилъ письма совершенно своему вкусу, въ то время какъ въ трактѣ „О прелести и достоинствѣ" онъ нашолъ недостатки: ему казалось, что Шиллеръ слишкомъ мало значенія придалъ ирородѣ и слишкомъ большое значеніе вободѣ человѣка.

„Письма объ эстетическомъ воспитаніи человѣчества" представляютъ собой прямое продолженіе трактата „О прелести и достоинствѣ; въ нихъ Шиллеръ хотѣлъ съ большею систематичностью и цѣльностью изложить свои взгляды. Письма могутъ быть раздѣлены на 3 отдѣла. Въ первыхъ девяти письмахъ, служащихъ введеніемъ, Шиллеръ доказываетъ, что эмпирически данный человѣкъ и государство (der Nothstaat) могутъ возвыситься до идеальнаго человѣка и государства (Vernunftstaat); во второмъ отдѣлѣ (письмо 10 и до 16 включительно) дается опредѣленіе понятія красоты, какъ средства, благодаря которому человѣкъ совершаетъ указанный въ первомъ отдѣлѣ переходъ. Наконецъ, въ третьей части (письмо 17 и до конца) описываются ступени и исторія перехода отъ физическаго къ разумному существованію.

Шиллеръ начинаетъ съ признанія истинности Кантовой системы морали. Задачу человѣка Шиллеръ видитъ въ переходѣ отъ закона природнаго къ закону нравственному; назначеніе человѣка — создать царство разума вмѣсто царства необходимости. Въ самомъ человѣкѣ мы должны имѣть тѣ условія, которыя дѣлаютъ для него возможнымъ этотъ переходъ. Это условіе есть пріобрѣтеніе культуры, путь пріобрѣтенія есть воспитаніе. Только красота ведетъ къ свободѣ, или иначе—эстетическое образованіе есть путь для рѣшенія политической проблемы. Въ прежнее время греки представляли собою идеалъ человѣка, и это благодаря цѣльности ихъ природы, благодаря малому развитію отдѣльныхъ сторонъ индивидуальности. Эта цѣльность потеряна, ее слѣдуетъ вновь найти, и это возможно лишь путемъ искусства. „Человѣкъ можетъ двумя путями уклониться отъ своего назначенія, — и современное человѣчество дѣйствительно пошло по ложному пути,—или путемъ огрубѣнія или же путемъ изнѣженности и извращенности. Отъ этого двойного уклоненія красота должна спасти человѣчество. Но какимъ образомъ изящная культура можетъ излѣчить отъ двухъ противуположныхъ ошибокъ и соединить въ одномъ цѣломъ два противурѣчивыхъ качества?" Таково заключеніе первой части, люди должны сначала пріобрѣсть эстетическое образованіе, чтобы стать моральными существами. Такимъ образомъ здѣсь нравственное совершенство представляется намъ чѣмъ то болѣе высокимъ по отношенію къ эстетическому образованію, но въ концѣ изслѣдованія Шиллеръ приходитъ къ заключенію, вовсе не согласному ни съ Кантомъ, ни съ начальнымъ разсужденіемъ своего изслѣдованія, по которому эстетически законченный человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ обладаетъ и нравственнымъ совершенствомъ.

Второй отдѣлъ содержитъ философское выведеніе понятія красоты изъ высшихъ понятій „бытія" и „становленія", которыя въ примѣненіи къ человѣку превращаются въ понятія „личности" и „состоянія"; неизмѣнное бытіе или личность содержитъ въ себѣ „матерію" или реальность, въ то время какъ измѣненіе или состояніе указываетъ на форму; такимъ образомъ въ каждомъ человѣкѣ мы имѣемъ дѣло съ двумя стремленіями, служащими выраженіемъ двухъ сторонъ человѣка— матерьяльнымъ и формальнымъ; эти два стремленія— т. е. движущія начала духовнаго міра— суть не что иное какъ чувственная и разумная сторона человѣческой природы. Первое стремленіе подчиняетъ человѣка условіямъ пространства и времени, второе—желаетъ освободить человѣка и установить въ случайномъ необходимый законъ, во временномъ указать на безусловное и вѣчное. Въ первомъ стремленіи проявляется наша зависимость, во второмъ наша самостоятельность. Эти стремленія другъ другу противуположны, но будучи выраженіемъ цѣльной природы человѣка, они необходимо должны быть соединены. „Человѣкъ долженъ сдѣлать реально-существующимъ все, что представляется только формою, и онъ долженъ уничтожать въ себѣ все, что *только* реально, онъ долженъ вносить согласіе в всѣ измѣнчивыя состоянія. Все внутренне онъ долженъ дѣлать внѣшнимъ, а всем внѣшнему придавать формы". Задача культуры человѣка состоитъ въ томъ, что привести въ гармонію дѣятельность обои стремленій, въ этомъ заключается задача ловѣчности, гуманности. Полное созерца рѣшенной задачи человѣкъ получаетъ искусствѣ, которое есть результатъ треть посредствующаго стремленія, возникаю изъ двухъ первыхъ, и устанавливаю

гармонію между ними. Это стремленіе Шиллеръ называетъ *стремленіемъ игры* (Spieltrieb). Если объектъ матерьяльнаго стремленія есть жизнь, а объектъ формальнаго стремленія—строеніе (die Gestalt), то объектомъ третьяго стремленія слѣдуетъ признать живой образъ, живое строеніе (lebende Gestalt); это и есть не что иное, какъ красота. При созерцаніи красоты душа человѣка находится въ счастливомъ равновѣсіи между свободой и необходимостью, закономъ и потребностью; подчиняясь тому и другому, душа въ то же время независима отъ каждаго въ отдѣльности. „Человѣкъ долженъ только играть съ красотою, и онъ долженъ играть только съ красотою". Опредѣливъ такимъ образомъ природу красоты, Шиллеръ указываетъ и ея виды: высшая красота представляетъ собой полную гармонію матеріи и формы; преобладаніе одного изъ указанныхъ элементовъ надъ другимъ создаетъ два вида красоты, которые Шиллеръ называетъ „напрягающей" и „разряжающей (anspannend und auflösend) красотой. И такъ, вотъ въ чемъ заключается воспитательное значеніе красоты; только созерцаніе ея дѣлаетъ человѣка цѣльнымъ; въ чувственныхъ стремленіяхъ, въ нравственномъ хотѣніи человѣкъ проявляется лишь односторонне, но въ художественномъ творчествѣ и эстетическомъ созерцаніи онъ проявляется всесторонне; только въ этомъ состояніи примиряется противоположность его стремленій, и борьба склонности съ долгомъ находитъ мирное разрѣшеніе.

Третья часть писемъ содержитъ въ себѣ примѣненіе началъ, найденныхъ предшествующимъ анализомъ. Мы видѣли, что человѣкъ въ двоякомъ направленіи можетъ уклониться отъ своего истиннаго назначенія; онъ или слишкомъ напряженъ, или, напротивъ, изнѣженъ; если красота превращаетъ эмпирическаго человѣка въ эстетическаго, то она должна восполнить два указанныхъ недостатка, т. е. въ одномъ случаѣ она должна дѣйствовать бодрящимъ, въ другомъ успокаивающимъ образомъ; это именно и дѣлаютъ два указанныхъ вида красоты. По дѣйствію красоты на душу человѣка Шиллеръ опредѣляетъ степень ея высоты. Эстетическое состояніе такимъ образомъ занимаетъ среднее мѣсто между чувственнымъ и нравственнымъ. Въ физическомъ (чувственномъ) состояніи человѣкъ подчиненъ необходимости природы, въ эстетическомъ онъ освобождается отъ природной необходимости, въ нравственномъ, наконецъ, онъ покоряетъ природу. При ближайшей характеристикѣ этихъ состояній, высшимъ является, повидимому, нравственное; но этому противорѣчатъ отдѣльныя мѣста „писемъ", гдѣ эстетическое состояніе характеризуется какъ высшее, объемлющее остальныя. „Нѣтъ другого пути сдѣлать чувственнаго человѣка разумнымъ, какъ тотъ, который дѣлаетъ человѣка эстетичнымъ" (письмо 23). „Человѣкъ долженъ научиться благородству стремленій для того, чтобы ему не зачѣмъ было хотѣть возвышенно" и далѣе: „Если ты не можешь чувствовать *прекрасно*, то все жъ тебѣ осталось разумное хотѣнье и ты можешь, какъ существо духовное, дѣлать то, на что у тебя, какъ человѣка, нѣтъ силъ".

И такъ въ этихъ письмахъ Шиллеръ, точно такъ же, какъ въ предшествующемъ трактатѣ „О прелести и достоинствѣ", полагаетъ, что онъ учитъ въ согласіи съ теоріей Канта; но Канта онъ перетолковываетъ, и ученіе о прекрасной душѣ приводитъ его къ тому, что онъ эстетику не только ставитъ на одну высоту съ нравственностью, но даже выше ея. Эстетика есть единственный путь для культуры человѣка, и только пройдя этотъ путь, человѣкъ можетъ достигнуть нравственности и свободы; то, что въ трактатѣ о прелести и достоинствѣ Шиллеръ утверждалъ робко и нерѣшительно, то здѣсь выражено рѣзко и убѣдительно. Природа поэта взяла верхъ надъ философомъ и выступила въ защиту той точки зрѣнія, которая для поэта единственно возможна. Изъ многочисленныхъ, тождественныхъ по существу, но различныхъ по формѣ опредѣленій красоты одержало верхъ то, въ которомъ поэтическое дарованіе наиболѣе счастливо сочетается съ философскими требованіями. „Красота есть единственно возможное въ явленіяхъ выраженіе свободы".

Намъ остается разсмотрѣть послѣднее, наиболѣе зрѣлое произведеніе Шиллера, въ которомъ онъ полнѣе всего черпалъ изъ богатаго родника своего поэтическаго сознанія, въ которомъ новыхъ философскихъ точекъ зрѣнія, однако, мы не находимъ. Рядъ эстетическихъ изслѣдованій законченъ, и Шиллеръ, къ счастью для литературы, перешелъ отъ теоріи къ творчеству.

Точкою отправленія Шиллера и въ этомъ трактатѣ является, по всей вѣроятности, опредѣленіе Канта наивной поэзіи. Предметъ и цѣль всякой поэзіи есть эстетическій идеалъ, эстетическая видимость (Schein),

которая ощущается нами или какъ конкретная, непосредственно сознаваемая природа или же какъ жажда и стремленіе къ природѣ. Ощущеніе природы лежитъ въ основѣ *наивной* поэзіи, жажда природы въ основѣ *чувствительной* (сантиментальной) поэзіи. Въ наивной поэзіи художникъ заботится о точномъ воспроизведеніи природы, о подраженіи ей. Наивнымъ мы называемъ проявленіе дѣтской природы тамъ, гдѣ мы ея болѣе не ожидаемъ. Мы были близки къ природѣ, но отдалились отъ нея, наша культура вновь должна насъ сблизить съ природою путемъ разума и свободы. Въ наивномъ мы усматриваемъ совершенство, но не свободу; въ насъ же есть свобода, но нѣтъ совершенства, соединеніе свободы и совершенства есть идеалъ, который доступенъ генію. Геній всегда наивенъ, и наивность дѣлаетъ его геніемъ.

Классическая древность была наивна, современная Шиллеру романтическая поэзія—чувствительна. Наивный писатель силенъ своимъ искусствомъ ограниченія, чувствительный—искусствомъ обращаться съ безконечнымъ; первый проявляетъ бо́льшую воспріимчивость, второй бо́льшую самодѣятельность. Задача перваго разрѣшима, ибо его объектъ ограниченъ, задача второго неразрѣшима, ибо его объектъ безпредѣленъ. Наивный писатель любитъ точно такъ же природу, какъ и чувствительный, но любовь ихъ совершенно различнаго рода. Наивная поэзія предполагаетъ гармонію разума и чувствъ, чувствительная—борьбу этихъ двухъ началъ. Отъ чувствительной поэзіи слѣдуетъ отличать сантиментальную; первый родъ поэзіи вполнѣ правомѣрный, второй болѣзненный и неестественный. Чувствительная поэзія живетъ контрастомъ идеала съ дѣйствительностью. Сознаніе этого контраста создаетъ двоякое отношеніе: *любовь идеала* и *пренебреженіе дѣйствительности*; любовь къ идеалу лежитъ въ основѣ *элегической поэзіи*, пренебреженіе дѣйствительности—въ основѣ *сатиры*. Сатира, въ свою очередь, можетъ быть двоякою: если то, что внушаетъ намъ отвращеніе, представляетъ само по себѣ силу, тогда сатира становится *патетической*; если же отвращеніе вызывается безсиліемъ, то сатира становится *шутливой*. Это различное отношеніе къ дѣйствительности, попирающей идеалъ, создаетъ такимъ образомъ различіе *трагедіи* и *комедіи*. Значеніе трагедіи опредѣляется главнымъ образомъ ея содержаніемъ, значеніе комедіи—главнымъ образомъ отношеніемъ самого поэта къ изображаемому имъ предмету.

„Трагедія исходитъ изъ болѣе значительнаго положенія, но слѣдуетъ признать, что комедія стремится къ болѣе значительной цѣли; она сдѣлала-бы излишней, при извѣстныхъ условіяхъ, всякую трагедію. Цѣль комедіи—это наиболѣе полное освобожденіе человѣка отъ его страстей, достиженіе полнаго спокойствія, умѣніе видѣть во всемъ скорѣе дѣйствіе случая, чѣмъ судьбы, умѣніе болѣе смѣяться надъ нелѣпостью, чѣмъ негодовать и плакать надъ злобою“ [1]).—И элегія точно также можетъ развиваться въ двухъ направленіяхъ: идеалъ можно сознавать какъ идеалъ неосуществленный и даже неосуществимый или же—какъ осуществимую дѣйствительность, осуществленную въ прошломъ или же возможную въ будущемъ. Въ первомъ случаѣ въ элегіи будетъ преобладать грустное настроеніе,—и это есть элегія въ точномъ смыслѣ слова, во второмъ случаѣ поэтъ создаетъ *идиллію*.

Такимъ образомъ различные роды поэзіи можно представить въ слѣдующей табличкѣ:

- Поэзія.
  - I наивная поэзія (классическая древность).
  - II чувствител. поэзія (романтизмъ новыхъ писателей).
    - 1. Сатирическая.
      - a) патетическ. (трагедія).
      - b) шутливая (комедія)
    - 2. Элегическая.
      - c) элегія (въ тѣсномъ смыслѣ слова).
      - d) идиллія.

Хотя наивная и чувствительная поэзія и представляютъ собой два различныхъ рода, но возможно и сочетаніе ихъ. Такое сочетаніе въ опытѣ дано въ произведеніяхъ Гете, произведенія котораго, по мнѣнію Шиллера, представляютъ синтезъ классической поэзіи съ романтическою. Это сочетаніе можетъ послужить поводомъ къ двоякой поэтической обработкѣ, а именно: чувствительное содержаніе можетъ быть представлено въ наивной обработкѣ и, наоборотъ, наивное содержаніе въ чувствительной. Подобно тому, какъ комедія есть высшій родъ сатирической поэзіи, ибо представляетъ собою синтезъ патетической и шутливой сатиры, такъ и идиллія есть высшій родъ элегической поэзіи, ибо контрастъ дѣйствительности съ идеаломъ въ идилліи

1) Ранѣе, какъ мы видѣли, Шиллеръ трагедію считалъ высшимъ родомъ искусства.

представляется примиреннымъ. Но идиллія въ нѣкоторомъ отношеніи, является вѣнцомъ всей поэзіи вообще, ибо въ ней соединена и чувствительная поэзія съ наивною, такъ какъ идиллія представляетъ согласіе идеала съ дѣйствительностью, что въ то же время служитъ и предметомъ наивной поэзіи. Понятая такъ идиллія представляетъ борьбу съ дѣйствительностью идеала, примиренною какъ въ единичномъ человѣкѣ, такъ и въ обществѣ, представляетъ сочетаніе склонностей съ долгомъ, т. е. идиллія служитъ выраженіемъ нравственнаго совершенства, выраженіемъ красоты и прекрасной души.

Если отвлечь отъ наивной поэзіи все то, что въ ней случайно и смотрѣть только на сущность ея, то придется этотъ родъ поэзіи назвать *реализмомъ*, каррикатурою же реализма слѣдуетъ считать матерьялизмъ; сущность чувствительной поэзіи есть идеализмъ. Опасная сторона реализма—возможность слишкомъ слѣпого подражанія природѣ, слишкомъ малаго одухотворенія ея. Опасность идеализма—возможность для фантазіи потерять живую связь съ дѣйствительностью и вдаться въ пустыя бредни.

На послѣдней статьѣ эстетическаго характера „Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst", написанной въ 1802 г., мы останавливаться не будемъ, ибо она содержитъ лишь нѣкоторые дальнѣйшіе выводы изъ предшествующаго анализа формъ поэзіи.

Обозрѣвъ существенное содержаніе эстетики Шиллера, мы можемъ отвѣтить на вопросъ: что же далъ Шиллеръ для эстетики и въ чемъ значеніе его философскихъ сочиненій? Значеніе Шиллера въ этой области можно разсматривать съ двухъ точекъ зрѣнія съ исторической и догматической. Историческое значеніе его опредѣляется тѣмъ, что Шиллеръ видоизмѣнилъ въ многомъ—въ чемъ именно, было указано выше—ученіе Канта и послужилъ звеномъ критической эстетики Канта съ романтической эстетикой Вильгельма Гумбольда, Фр. Шлегеля и Шеллинга. Сущность романтики понята Шиллеромъ превосходно, это—поклоненіе *прекрасной душѣ*, характерныя черты которой мастерски опредѣлены геніальнымъ поэтомъ. Разграниченіе сферъ моральной и эстетической и ихъ взаимная связь точно также соотвѣтствуетъ духу романтизма; въ этомъ разграниченіи мы видимъ, однако, не только историческую заслугу, но и догматическую, ибо считаемъ опредѣленіе задачъ искусства, данное Шиллеромъ, совершенно правильнымъ. Нравственное совершенство есть высшая цѣль жизни и искусства, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы искусство не имѣло самостоятельной сферы и значенія. Указаніе на связь чувства красоты и чувства игры оказалось исторически плодотворнымъ: мысль Шиллера, что въ игрѣ заключается источникъ красоты, подхвачена современными эстетическими теоріями (ср. Спенсеръ, Гроосъ, отчасти Дарвинъ) и развита ими. Догматическая заслуга Шиллера заключается въ анализѣ эстетическихъ понятій, въ особенности понятій, извлеченныхъ изъ поэтическаго творчества. Тонкія замѣчанія Шиллера, его умѣніе улавливать оттѣнки понятій сохранятъ свою цѣнность на всегда, ибо Шиллеръ черпалъ изъ живого источника собственнаго поэтическаго дарованія. Наконецъ, самое опредѣленіе задачи искусства и сущности красоты, содержащейся въ понятіи эстетической видимости, aesthetischer Schein—представляетъ собою мысль въ философскомъ отношеніи весьма глубокую и плодотворную.

Э. Радловъ.

О современномъ нѣмецкомъ театрѣ.

Духъ нынѣшняго десятилѣтія въ Германіи отличается отъ предшествующихъ лѣтъ главнымъ образомъ тѣмъ, что онъ обусловилъ живѣйшій подъемъ драмы почти во всѣхъ областяхъ нашего отечества. Замѣчательно при этомъ, что никогда еще люди не рукоплескали добродѣтели и не освистывали порока съ такимъ усердіемъ, какъ именно въ эту эпоху. Жаль, что они дѣлаютъ это только въ театрѣ. У египтянъ на каждый больной органъ полагался особый врачъ, а паціентъ всетаки умиралъ,—благодаря избытку докторовъ. Для каждой страсти у насъ есть особый сценическій палачъ,—и всетаки мы ежедневно должны оплакивать какую-нибудь несчастную жертву страстей. Для каждой добродѣтели завели мы особаго панегириста,—и какъ будто, за своимъ энтузіазмомъ, забываемъ самую добродѣтель. Мнѣ кажется, повторяется исторія съ подземными кладами волшебной сказки. „Не кричать въ присутствіи Духа“,—правило, которое долженъ помнить заклинатель. Сокровище надо подымать въ глубокомъ молчаніи: одинъ крикъ,—и ларецъ низвергается внизъ на десятки тысячъ саженей.

Казалось бы, театръ, это открытое зеркало человѣческой жизни, на которомъ малѣйшія движенія сердца рисуются въ расцвѣченномъ, широкомъ отраженіи, на которомъ всѣ эволюціи добродѣтели и порока, всѣ сложнѣйшія интриги случая, весь замѣчательный укладъ высшаго предопредѣленія, въ дѣйствительной жизни такъ часто ускользающій отъ наблюденія по необъятности жизненнаго масштаба, театръ, воспроизводящій все это въ масштабахъ и формахъ, доступныхъ для воспріятія даже близорукому глазу; храмъ искусства, въ которомъ истинный и искренній Аполлонъ, какъ нѣкогда въ Додонѣ и Дельфахъ, обращается прямо къ сердцу съ самоличными драгоцѣнными изреченіями,—этотъ театръ, казалось бы, долженъ былъ бы запечатлѣвать въ душѣ чистыя понятія блаженства и страданія съ тѣмъ большею опредѣленностью, что чувственное воспріятіе, вообще, живѣе традиціонныхъ сентенцій... *Долженъ бы*, сказалъ я; но, если послушать покупателя, какимъ только требованіямъ не *долженъ* былъ бы удовлетворять товаръ? Какими только силами не *должны* были бы обладать принимаемые нами капли и порошки, лишь бы ихъ выносилъ желудокъ, да отъ нихъ насъ не тошнило бы? На сколькихъ Донъ-Кихотовъ глядитъ изъза „петрушкиныхъ ширмъ“ комедіи ихъ собственный шутовской колпакъ, на сколькихъ Тартюфовъ—ихъ маска, на сколькихъ Фальстафовъ—ихъ рога; и, однако, одинъ зритель подмигиваетъ другому на ослиное ухо и рукоплещетъ остроумному поэту, снабдившему его сосѣда столь нелестнымъ украшеніемъ. Умилительныя картины, заставляющія весь зрительный залъ зали-

ваться слезами; сцены ужаса, раздирающія нѣжную ткань истерической нервной системы; ситуаціи, вызывающія напряженное ожиданіе, отъ котораго стѣсняется дыханіе и сердце бьется неровными ударами,—какъ все это, въ концѣ концовъ, дѣйствуетъ?—Да такъ же, какъ дѣйствуетъ на волну игра красокъ на ея поверхности, подъ милымъ трепетомъ солнечнаго луча. Кажется, цѣлое небо легло на море; въ восторгѣ бросаетесь вы туда, и падаете въ холодную воду.

Когда сатанинскій Макбетъ, съ каплями холоднаго пота на челѣ, съ дико блуждающимъ взоромъ, шатаясь, выходитъ изъ спальни, гдѣ онъ совершилъ преступленіе,—у какого зрителя не пробѣжитъ по тѣлу холодная дрожь? И, однако, какой Макбетъ изъ публики уронитъ изъ-подъ своего платья, въ этотъ мигъ, кинжалъ, отрекаясь отъ своего преступнаго замысла? Или, если преступленіе уже совершено, сброситъ съ себя маску? Онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что злоумышляетъ онъ во всякомъ случаѣ не противъ короля Дункана! Если Сара Самсонъ отравляется, карая себя за ложный шагъ, то предотвратитъ ли она своихъ зрительницъ отъ обольщенія? Станетъ ли какой-нибудь супругъ ревновать умѣреннѣе изъ-за того, что венеціанскій Мавръ обнаружилъ такую трагическую опрометчивость? Перестанетъ ли Условность тиранизировать Природу изъ-за того, что на сценѣ фигурируетъ противуестественная мать, которая, загубивъ дочь и раскаявшись, пронзаетъ вашъ слухъ хохотомъ безумія?—Я могъ бы нагромоздить примѣровъ сколько угодно. Послѣ того, какъ Одоардо броситъ къ ногамъ князя-грѣшника клинокъ, дымящійся кровью дочери, принесенной въ жертву—вотъ-молъ тебѣ та, которую ты хотѣлъ взять въ любовницы!—какой князь среди публики возвратитъ поруганную имъ дочь ея родителю? Будьте довольны, если ваша игра задѣнетъ его за живое настолько, что его сердце стукнетъ два или три раза сильнѣе подъ орденскою лентою; да и это легкое умиленіе разсѣется при первыхъ же звукахъ шумнаго allegro.

Бываетъ и такъ, что ваша Эмилія стонетъ такъ обольстительно, падаетъ на полъ съ такою прелестною томностью, придаетъ послѣднему своему издыханію такую деликатную грацію, что своими умирающими прелестями она возбуждаетъ чувственное поползновеніе,—и немедленно по окончаніи представленія, за кулисами, вашему трагическому искусству приносится унизительная жертва... Невольно думается, временами, что слѣдовало бы вернуть рѣчь маріонеткамъ и поощрить машинистовъ къ созданію деревянныхъ Гарриковъ,—по крайней мѣрѣ, вниманіе публики, дробимое между пьесами авторомъ и актеромъ, отвлеклось бы отъ послѣдняго и сосредоточилось бы на двухъ первыхъ. Многоопытная итальянская Ифигенія, которая только-что перенесла насъ своею удачною игрою въ Авлиду, кокетливымъ взоромъ, брошеннымъ изъ-подъ маски, въ одинъ моментъ разрушаетъ всякую иллюзію; Ифигеніи и Авлиды—какъ не бывало, и симпатія къ артисткѣ исчезаетъ въ чувствѣ восхищенія женщиною. Развѣ склонности женскаго пола на сценѣ не тѣ же, что и въ жизни? Великая Елисавета скорѣе бы простила оскорбленіе своего величества, чѣмъ сомнѣніе насчетъ ея красоты. Можно ли требовать, чтобы актриса была большимъ философомъ, чѣмъ королева? Могла ли бы актриса—разъ уже рѣчь идетъ о самопожертвованіи—заботиться о своей сценической славѣ болѣе чѣмъ о славѣ закулисной? Сомнѣваюсь. Пока жертвы сластолюбія будутъ изображаемы жрицами сластолюбія; пока сцены страданія, страха и ужаса будутъ служить лишь поводомъ для актрисы—выставить на-показъ маленькую ножку и изящные изгибы; словомъ пока трагедія будетъ сводницею извращенныхъ сладострастниковъ; выражаясь мягче—пока театръ будетъ не школою, а мѣстомъ развлеченія, имѣющимъ цѣлью оживлять зѣвающую скуку, убивать постылые зимніе вечера и обогащать большую толпу нашихъ милыхъ празднолюбцевъ сокровищами мудрости въ видѣ кредитныхъ бумажекъ сентиментальностей и галантныхъ непристойностей; пока актриса трудится, главнымъ образомъ, изъ-за туалетовъ и ужиновъ,—до тѣхъ поръ наши драматическіе писатели должны будутъ отрекаться отъ патріотическо-тщеславной мечты — быть просвѣтителями народа. Пока сама публика не возвысилась до своего театра, трудно театру возвыситься до публики.

Однако, какъ бы намъ не зайти слишкомъ далеко и не вмѣнить въ вину публикѣ провинностей автора. Я замѣтилъ въ современной драмѣ двѣ преобладающихъ моды, два противуположныхъ конца, между которыми расположены истина и естественность. Дѣйствующія лица Пьера Корнеля суть холодные коментаторы собственныхъ

страстей — старчески-умные педанты въ отношеніи собственныхъ чувствованій. Тѣснимый врагами, Родриго на открытой сценѣ читаетъ публичную лекцію о своихъ затрудненіяхъ и изслѣдуетъ свои ощущенія такъ же тщательно, какъ парижанка изучаетъ передъ зеркаломъ свои гримасы. Пошлое приличіе вытѣснило съ французской сцены живого человѣка; котурнъ обратился въ танцовальный башмакъ. Наоборотъ, въ Англіи и Германіи (въ послѣдней, впрочемъ, позднѣе,—а именно, когда Гете прогналъ комми-вояжеровъ драматической моды за Рейнъ) природа, если можно такъ выразиться, открывается во всемъ своемъ безстыдствѣ, увеличиваетъ всѣ свои веснушки и родинки подъ выпуклымъ зеркаломъ необузданнаго юмора; своенравная фантазія пламенныхъ поэтовъ облыжно творитъ изъ нея чудовище и выбалтываетъ про нее позорнѣйшіе анекдоты. Въ Парижѣ любятъ хорошенькихъ полированныхъ куколокъ, съ которыхъ искусство сшлифовало прочь всѣ угловатости природы. Тамъ взвѣшиваютъ чувство гранами и духовную пищу рѣжутъ діэтетически, щадя нѣжные желудки хрупкихъ маркизъ. Мы же, нѣмцы, какъ и крѣпкосердые британцы, привыкли къ болѣе крупнымъ дозамъ; наши герои подобны Голіафамъ на старыхъ коврахъ,—они грубы и колоссальны и нарисованы для любованія издалека. Въ хорошей копіи съ натуры должны быть совмѣщены оба направленія: требуется и *благородная смѣлость*, чтобы высосать мозгъ изъ костей природы и достичь ея подъема и размаха, но также и *робкая осторожность*, чтобы сглаживать тѣ рѣзкія черты, какія позволяетъ себѣ природа, въ широкихъ своихъ декораціяхъ, при нашей переработкѣ послѣднихъ въ миніатюры. Всѣ мы, люди, стоимъ передъ вселенною, какъ муравьи передъ большимъ, величественнымъ дворцомъ. Постройка непомѣрно велика для насъ. Своимъ взоромъ насѣкомаго мы останавливаемся на одномъ флигелѣ и находимъ неумѣстными тѣ или иныя колонны и статуи; но зрѣніе существа болѣе совершеннаго обняло бы и противуположный флигель и замѣтило бы тамъ колонны и статуи, размѣщенныя въ строгой симметріи съ ихъ сотоварками. Писатель, со своей стороны, долженъ разсчитывать на муравьиное зрѣніе и изображать свои постройки въ уменьшенномъ видѣ, въ полѣ нашего наблюденія; гармоніею въ маломъ онъ долженъ подготовлять насъ къ гармоніи въ великомъ; отъ симметріи въ частяхъ онъ долженъ вести насъ къ симметріи въ цѣломъ и побуждать насъ, посредствомъ первой, изумляться передъ послѣднею. Промахъ въ этой соразмѣрности есть несправедливость по отношенію къ вѣчному Существу, о которомъ мы должны судить по безконечному абрису *мирозданія*, а не по отдѣльнымъ, выхваченнымъ изъ него, фрагментамъ. Даже при вѣрнѣйшей передачѣ природы (поскольку можемъ мы ее воспринять) и скажется замыслъ Провидѣнія, которое, быть можетъ, только въ грядущемъ столѣтіи запечатлѣетъ совершенствомъ дѣла этого вѣка.

Однако, не всегда можно винить автора, въ случаѣ, если имъ не достигнута конечная цѣль драмы. Надо побывать на подмосткахъ и понаблюдать,—какъ воплощаются созданія фантазіи *актерами*. Къ актеру предъявляются два требованія, трудныхъ для него, но неизбѣжныхъ. Прежде всего, играя роль, онъ долженъ забыть самого себя и своихъ зрителей, чтобы онъ могъ войти въ роль; но затѣмъ онъ долженъ вновь сознать себя и публику, для того, чтобы отозваться на вкусъ послѣдней и умѣрить свой темпераментъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ этому вкусу приносится въ жертву темпераментъ, и однако—разъ ужъ актеръ недостаточно даровитъ для выполненія обоихъ требованій—лучше бы онъ поступалъ какъ разъ наоборотъ, т. е. погрѣшая противъ вкуса въ пользу темперамента. Отъ чувствованія до выраженія этого чувствованія проходитъ нѣкоторое минимальное количество времени, какъ отъ взблеска молніи до громового раската; разъ человѣкъ подпалъ подъ вліяніе аффекта, ему уже нечего приспособлять къ аффекту свои тѣлодвиженія,—напротивъ, ему уже трудно, даже невозможно сдерживать невольные свои жесты. Актеръ, до извѣстной степени, находится въ положеніи лунатика; я наблюдалъ замѣчательное сходство между обоими. Если лунатикъ, при кажущемся полномъ отсутствіи сознанія, при гробовомъ снѣ внѣшнихъ чувствъ, можетъ, во время своего ночного странствія, взвѣшивать, съ непостижимою опредѣленностью, каждый свой шагъ, избѣгая опасности, которая потребовала бы всего присутствія духа отъ человѣка бодрствующаго; если привычка можетъ до такой чудесной степени руководить его шагами; если (прибѣгая къ новому объясненію феномена) сумеречное состояніе или поверхностное и мимолетное движеніе чувства можетъ осу-

ществить столь многое,—то почему бы и тѣло актера, столь вѣрно сопровождающее душу во всѣхъ ея измѣненіяхъ, не могло бы выдерживать образъ и тонъ эмоціи, не нарушая сценической иллюзіи? Если эмоція не позволяетъ себѣ излишества (а если она истинна, она не можетъ себѣ этого позволить, да и не должна—поскольку она развивается въ благородной душѣ), то можно быть убѣжденнымъ въ томъ, что и органы тѣла не изобразятъ, по ошибкѣ, нѣчто уродливое. Какъ и при лунатизмѣ, самозабвеніе актера, всецѣло отдавшагося своей иллюзіи, не исключаетъ наличности незамѣтнаго воспріятія всего окружающаго—воспріятія, которое ведетъ актера, точно лунатика, мимо всего натянутаго и неприличнаго, по узкому мостику истины и красоты. Въ такомъ предположеніи нѣтъ ничего невозможнаго.—Зато какія злоключенія ждутъ актера при противуположной манерѣ его игры, т. е. когда онъ старательно и трусливо резонируетъ относительно своего истиннаго положенія на сценѣ и уничтожаетъ свое творческое мечтаніе идеею объ окружающей его дѣйствительности. Горе ему, если онъ начнетъ думать о томъ, что на каждый его жестъ направлены тысячи глазъ, что каждое его слово поглащаютъ столько же ушей... Я однажды былъ свидѣтелемъ того, какъ эта несчастная мысль: „меня наблюдаютъ"—выбросила нѣжнаго Ромео изъ объятій вдохновенія. Это было именно паденіе лунатика, въ припадкѣ головокруженія, вызванномъ дружескимъ окрикомъ и застигнувшемъ человѣка на вышинѣ отвѣсной крыши. Скрытая опасность не существовала для него, но внезапный видъ отвѣсной крутизны сбросилъ его внизъ, на вѣрную смерть. Испуганный актеръ внезапно остановился въ глупѣйшемъ столбнякѣ; естественная грація позы выродилась въ сутуловатость,—точно онъ собирался примѣривать платье. Симпатія зрителей разсѣялась въ дружномъ хохотѣ.

Обыкновенно наши актеры заучиваютъ особый жестъ для каждаго рода эмоціи и прибѣгаютъ къ нему съ поспѣшностью, предупреждающею самый аффектъ. Гордости обыкновенно свойственно смотрѣть черезъ плечо и упирать руки въ боки. Гнѣвъ сжимаетъ кулаки и скрежещетъ зубами. Я видѣлъ, какъ въ одномъ театрѣ Презрѣніе обыкновенно лягалось. Скорбь театральной героини прячется за чистымъ носовымъ платкомъ. Ужасъ бѣжитъ со всѣхъ ногъ и падаетъ съ размаху — и на сценѣ, и въ мнѣніи публики! Трагики, обыкновенно — басисты; эти матадоры театра излагаютъ свои чувства ругательскимъ рычаніемъ; свое слабое знакомство съ языкомъ аффекта они прикрываютъ дикостью крика и жестикуляціи; они расправляются со своею ролью, точно съ преступникомъ, колесуя ее вдоль и поперекъ. Наоборотъ, нѣжные, чувствительные любовники излагаютъ свои кроткія и меланхолическія тирады монотоннымъ завываніемъ, утомляющимъ ухо до омерзѣнія. Декламація — вотъ первый камень преткновенія для большинства нашихъ актеровъ,—а вѣдь именно въ декламаціи—двѣ трети всей сценической иллюзіи. Путь уха—самый доступный и ближайшій путь къ нашему сердцу; суроваго завоевателя Багдада, передъ которымъ Менгсы и Корреджіо тщетно тратили бы свое живописное мастерство, смирила именно музыка. Къ тому же, намъ легче закрыть оскорбленные глаза, чѣмъ заткнуть ватою оскорбленныя уши [1]).

Итакъ, если авторы, актеры и публика находятся не въ состояніи упадка, то легко можетъ оказаться, что отъ полновѣсной смѣты, которую выводитъ на бумагѣ патріотическій радѣтель театра, останется самый жалкій итогъ. Неужели мы можемъ упустить хоть на мигъ изъ виду это заслуженное учрежденіе? Пусть театръ утѣшается тѣмъ, что онъ дѣлитъ одинаковую судьбу со своими болѣе достойными сестрами; моралью и—съ благоговѣніемъ прибѣгаю я къ этому сравненію—съ религіею, которыя обѣ, красуясь въ почетномъ убранствѣ, не изъяты отъ кощунства тупой и грязной толпы. За театромъ, какъ-ни-какъ, всегда останется та заслуга, что другъ правды и здравой

1) Еще вопросъ: не выигрываетъ ли роль отъ исполненія ея простымъ любителемъ, сравнительно съ актерскимъ ея исполненіемъ? У профессіональнаго актера зачастую исчезаетъ способность чувствованія, какъ у не въ мѣру занятаго врача исчезаетъ способность къ діагнозу. Остается лишь механическая ловкость, аффектація, кокетничаніе гримасами страсти. Стоитъ вспомнить о томъ, какъ счастливо удавалась роль Заиры, во Франціи и въ Англіи, подходящимъ, хотя и неопытнымъ любительницамъ (см. „Гамбургскую драматургію" Лессинга, 16-й этюдъ, стр. 121 и 122). Пора бы уже повсемѣстно бросить предразсудокъ, будто любительскіе спектакли неприличны для людей привилегированныхъ классовъ. Конечно, это только способствовало бы распространенію хорошаго вкуса и вообще оживило бы и утончило чувство красоты, добра и истины, да и къ тому же побудило бы профессіональныхъ актеровъ къ болѣе ревностному старанію поддерживать славу своего сословія.

естественности временами находитъ въ немъ свой міръ, при зрѣлищѣ чужой судьбы, задумывается надъ собственнымъ рокомъ, укрѣпляетъ духъ свой на сценахъ страданія и воспитываетъ свое чувство на ситуаціяхъ несчастія. Благородная, искренняя душа всегда вынесетъ изъ зритель зала новую, живительную теплоту; но болѣе грубыхъ сердцахъ порою зазву тихимъ отголоскомъ какая-нибудь заб струнка человѣчности.

Всев. Чешихи

Театръ, какъ учрежденіе нравственное.

(Прочитано въ публичномъ засѣданіи курфюрстскаго нѣмецкаго общества въ Маннге въ 1784 году).

По замѣчанію Зульцера, театръ обязанъ своимъ возникновеніемъ всеобщей, непреодолимой склонности къ новому и чрезвычайному и человѣческой потребности въ возбужденномъ состояніи духа. Утомленный высшими стремленіями духа, угнетенный однообразными, часто изнуряющими сердце профессіональными занятіями, пресыщенный чувственностью, человѣкъ долженъ чувствовать въ своемъ существѣ пустоту, противную его вѣчному стремленію къ дѣятельности. Натура наша одинаково неспособна какъ слишкомъ долго пребывать въ животномъ покоѣ, такъ и слишкомъ долго предаваться утонченной умственной работѣ, и потому требуетъ средняго состоянія, примиряющаго двѣ крайности, спускающаго слишкомъ сильное напряженіе до мягкой гармоничности и облегчающаго поочередный переходъ изъ одного настроенія въ другое. Эту именно полезную перемѣну можетъ доставить человѣку только чувство прекраснаго, чувство эстетическое. Такъ какъ, однако, основной пріемъ всякаго мудраго законодателя—выбирать изъ двухъ дѣйствій сильнѣйшее, то онъ не можетъ довольствоваться простымъ игнорированіемъ склонностей своего народа; напротивъ, онъ старается, насколько возможно, сдѣлать эти склонности орудіемъ высшихъ соображеній и обратить ихъ въ источники блаженства. Потому-то законодательство прежде всего обратило вниманіе на театръ, который открываетъ безконечный кругъ дѣятельности духу, жаждущему этой дѣятельности, даетъ пищу всякой ховной силѣ, не напрягая чрезмѣрно ни изъ нихъ, и съ образованіемъ ума и се соединяетъ благороднѣйшее развлечен

Тотъ кто первый сдѣлалъ замѣчаніе, надежнѣйшая опора государства есть рел и что сами законы безъ нея безсильны — можетъ, помимо собственнаго желані сознанія, взялъ тѣмъ самымъ подъ защиту театръ съ лучшей его стор Именно та-же недостаточность, та-же устойчивость политическихъ законовъ, к рая обусловила неизбѣжность религіи государства, опредѣлила разъ навс нравственное значеніе театра. Законы- ображаетъ всякій законодатель,—свод къ отрицательнымъ требованіямъ дс религія заявляетъ требованіе положит наго дѣйствія. Законы стѣсняютъ дѣйс подрывающія общественную связь; рел предписываетъ дѣйствія, укрѣпляющія связь. Законы властвуютъ лишь надъ я ми проявленіями воли, они управля лишь поступками; компетенція же рел простирается до самыхъ затаенныхъ у ковъ сердца и слѣдитъ за мыслями дс маго внутренняго ихъ источника. Зак гибки и измѣнчивы, какъ прихоті страсть; религія же связуетъ сурово и вѣки. Но сдѣлаемъ предположеніе невоз ное, а именно, что религія пользу этою огромною силою въ сердцѣ каж человѣка; спрашивается: будетъ ли или можетъ ли она завершить собою кругъ образованія?

Религія (я говорю на этотъ разъ о политической, а не божественной ея сторонѣ) привлекательна для массъ чувственною своею стороною; быть можетъ, неотразимо дѣйствіе только чувственнаго ея элемента. Лишивъ ея этого ея элемента, мы лишаемъ ее всякой силы. Въ чемъ же тайна воздѣйствія сцены? Для огромнаго большинства людей религія перестала бы существовать, съ момента уничтоженія ея райской и адской символики; а вѣдь, на самомъ дѣлѣ, все это—воздушные замки, загадки безъ разгадокъ, угрозы и призывы изъ невѣдомой дали... Для религіи и законодательства—прямой интересъ въ томъ, чтобы вступить въ союзъ съ театромъ,—съ тѣмъ театромъ, гдѣ все наглядно, современно и жизненно, гдѣ порокъ и добродѣтель, блаженство и страданіе, глупость и мудрость предстаютъ передъ зрителемъ въ тысячѣ понятныхъ и правдивыхъ образовъ, гдѣ Провидѣніе разрѣшаетъ свои загадки, распутываетъ передъ всѣми свои узлы, гдѣ сердце человѣческое, на пыткѣ страсти, исповѣдуетъ свои сокровеннѣйшіе замыслы, гдѣ падаютъ всѣ личины, улетучиваются всѣ румяна, и одна неподкупная истина произноситъ свои Радамантовы приговоры.

Компетенція театра начинается тамъ, гдѣ кончается сфера писаннаго закона. Когда правосудіе ослѣплено златомъ и роскошествуетъ на содержаніи у порока, когда наглость силы начинаетъ глумиться надъ правдою и малодушный страхъ связываетъ руку власти, — театръ, въ свою очередь, беретъ мечъ и вѣсы и тащитъ порокъ къ страшному суду. Все царство фантазіи и исторіи, прошедшее и грядущее—въ полномъ его распоряженіи, ждетъ только отъ него знака. Смѣлые преступники, уже давно истлѣвшіе въ прахѣ, воскрешены здѣсь архангельскою трубою поэзіи и, въ ужасающее поученіе потомству, излагаютъ свою позорную жизнь. Ужасы прошлыхъ вѣковъ, подобные отраженіямъ въ изогнутыхъ зеркалахъ, проходятъ предъ нашими глазами въ безсиліи своемъ, и съ сладострастіемъ ненависти мы проклинаемъ ихъ память. Если насъ перестала поучать мораль, если религія не находитъ въ насъ вѣры, если для насъ и законъ уже больше не писанъ,—то все же на насъ повѣетъ ужасомъ отъ Медеи въ мигъ, когда она, свершивъ дѣтоубійство, шатаясь, спускается съ лѣстницы дворца. Спасительный ужасъ невольно овладѣваетъ всѣми, и въ тишинѣ залы зритель наслаждается своею чистою совѣстью въ мигъ, когда лэди Макбетъ, страшная сомнамбула, моетъ руки и призываетъ всѣ благовонія Аравіи—уничтожить отвратительный запахъ убійства. Насколько видимое представленіе дѣйствуетъ сильнѣе мертвой буквы и холоднаго разсказа, настолько же театръ дѣйствуетъ сильнѣе и продолжительнѣе морали и права.

Театръ, однако, не ограничивается поддержаніемъ мірской справедливости; у него есть еще своя особая, широкая сфера. Театръ наказуетъ тысячи пороковъ, оставляемыхъ судомъ безъ наказанія, и рекомендуетъ тысячи добродѣтелей, о которыхъ умалчиваетъ законъ. Такимъ образомъ, онъ идетъ по пути мудрости и религіи. Театръ почерпаетъ изъ этого чистаго источника свои поученія и образцы и облачаетъ строгій долгъ въ прелестный, заманчивый нарядъ. Какими великолѣпными ощущеніями, рѣшеніями, страстями, наполняетъ онъ нашу душу, какіе божественные идеалы выставляетъ онъ намъ для соревнованія!.. Когда благостный Августъ, великій какъ его боги, протягиваетъ руку Циннѣ, измѣннику, который уже читаетъ смертный приговоръ на его устахъ, со словами: „Будемъ друзьями, Цинна!“—кто среди зрителей не пожелалъ бы, въ это мгновеніе, протянуть руку своему смертельному врагу, подражая божественному римлянину?... Когда Францъ фонъ-Зикингенъ, идя карать князя и бороться за чужія права, нечаянно озирается и видитъ дымъ въ крѣпости, гдѣ остались безъ помощи его жена и дитя, и продолжаетъ свой путь, во имя даннаго слова,—сколь великимъ кажется тогда человѣкъ, сколь ничтожною и презрѣнною—страшная непреодолимая его судьба!

Насколько привлекательны добродѣтели, настолько же отвратительны пороки въ страшномъ зеркалѣ драмы. Когда безпомощный, впавшій въ дѣтство Лиръ въ бурю и грозу тщетно стучится въ ворота своей дочери; когда онъ развѣваетъ свои сѣдые волосы по вѣтру и разсказываетъ бушующей стихіи о противоестественной своей Реганѣ; когда его яростная скорбь, наконецъ, изливается въ страшныхъ словахъ. „Я отдалъ вамъ все!“—какъ отвратительна для насъ въ ту минуту неблагодарность, какъ торжественно обѣщаемъ мы себѣ тогда почитать и любить нашего родителя!

Но поле дѣйствія театра простирается

ıе далѣе. Даже въ области человѣческихъ
ѓвствъ, заниматься которыми религія и
раво считаютъ ниже своего достоинства,
еатръ продолжаетъ заботиться о нашемъ
бразованіи. Благоденствіе общества нарушается глупостью столь же часто, какъ и преступленіемъ и порокомъ. Опытъ, старый, какъ міръ, учитъ насъ, что на ярмаркѣ житейской суеты величайшія тяжести зачастую висятъ на малѣйшихъ и тончайшихъ нитяхъ и что, прослѣдивъ дѣйствія до ихъ источника, мы десять разъ разсмѣемся, прежде чѣмъ однажды ужаснемся. Съ каждымъ новымъ днемъ моей зрѣлости мой списокъ злодѣевъ становится все короче, а реестръ глупцовъ все многоименнѣе и длиннѣе. Если всѣ моральныя провинности слабаго пола проистекаютъ изъ одного и того же источника; если всѣ чудовищныя крайности когда-либо заклейменныхъ пороковъ суть лишь измѣненныя формы и высшія степени чувства, всѣмъ намъ одинаково дорого (какъ бы мы его ни осмѣивали временами)—то почему бы и сильному полу не подвергаться тому же закону природы? Мнѣ извѣстенъ лишь одинъ секретъ, какъ уберечь себя отъ порчи: надо укрѣплять свое сердце отъ слабостей.

Именно такого, приблизительно, дѣйствія вправѣ ожидать мы отъ театра. Театръ держитъ зеркало передъ толпою глупцовъ и посрамляетъ цѣлебною насмѣшкою глупость въ тысячѣ ея формъ. Эффектъ, который достигается въ трагедіи посредствомъ умиленія и ужаса, достигается въ комедіи (и, пожалуй, еще скорѣе и прямѣе) посредствомъ шутки и сатиры. Если бы мы вздумали оцѣнивать комедію и трагедію по степени достигнутаго эффекта, то опытъ, пожалуй, побудилъ бы насъ отдать предпочтеніе первой. Насмѣшка и презрѣніе язвятъ самолюбіе чувствительнѣе, чѣмъ возмущеніе, терзающее совѣсть. Наша трусость прячетъ насъ отъ ужаса, но та же трусость предаетъ насъ жалу сатиры. Законъ и совѣсть предотвращаютъ насъ отъ преступленій и пороковъ, но предотвращать насъ отъ смѣшныхъ недостатковъ можетъ только тонкій комизмъ, настоящее поприще для котораго — это театръ. Случается, что мы уполномочиваемъ друга — слѣдить за нашими нравами и нашимъ сердцемъ, но мы съ трудомъ прощаемъ ему единую улыбку по нашему адресу. Наши погрѣшности выносятъ надзирателя и судію; наше своенравіе не терпитъ даже свидѣтеля... Одинъ театръ можетъ высмѣивать наши слабости, такъ какъ онъ щадитъ нашу щепетильность и не хочетъ знать имени виновнаго глупца. Не краснѣя, глядимъ мы на зеркало, передъ которымъ пала наша личина, и втихомолку благодаримъ судьбу за то, что увѣщаніе такъ снисходительно.

Но всѣмъ этимъ еще далеко не исчерпывается дѣйственная сила театра. Театръ, болѣе, чѣмъ какое либо другое общественно-государственное учрежденіе,—школа житейской мудрости, путеводитель по гражданской жизни, вѣрный ключъ къ недоступнѣйшимъ тайникамъ человѣческой души. Я согласенъ, что себялюбіе и зачерствѣлость совѣсти не рѣдко уничтожаютъ лучшее дѣйствіе театра, что тысячи пороковъ съ мѣднымъ лбомъ стоятъ передъ его зеркаломъ, а тысячи добрыхъ чувствъ безплодно отскакиваютъ отъ каменныхъ сердецъ зрителей; я самъ того мнѣнія, что едва-ли Мольеровскій Гарпагонъ исправилъ какого-либо ростовщика, что самоубійца Бэверлей едва ли отвратилъ своихъ собратій отъ сквернаго игорнаго азарта, что несчастная разбойничья исторія Карла Моора едва-ли способствовала безопасности большихъ дорогъ; — но даже если мы и ограничимъ сферу массового дѣйствія театра, если даже мы будемъ столь несправедливы, что станемъ ее вовсе отрицать,—не остается ли, тѣмъ не менѣе, вліяніе театра неизмѣримо-огромнымъ? Если театръ не уничтожаетъ и не уменьшаетъ всю силу пороковъ, то не ознакомляетъ ли онъ насъ съ послѣдними? Съ извѣстными негодяями и глупцами мы принуждены сталкиваться въ нашей жизни. Мы должны или уклоняться отъ нихъ, или итти имъ навстрѣчу; мы должны или осилить ихъ, или поддаться имъ. Но, благодаря театру, они не могутъ болѣе застать насъ врасплохъ; мы уже подготовлены къ ихъ затѣямъ. Театръ выдалъ намъ ихъ тайну и сдѣлалъ ихъ понятными и безвредными для насъ. Театръ сорвалъ съ лицемѣра искусную маску и указалъ намъ на сѣть, которою опутывали насъ коварство и интрига. Театръ вытаскиваетъ обманъ и ложь изъ ихъ кривыхъ лабиринтовъ и показываетъ дневному свѣту ихъ ужасную наружность. Пускай умирающая Сара не испугаетъ ни одного распутника, пускай всѣ образы наказаннаго обольщенія окажутся не въ силахъ охладить его пылъ и пускай даже извращенная актриса намѣренно будетъ затушевывать несимпатичную ей идею пьесы,—достаточно того, что до вѣрчиво—невинная зрительница всетак

комилась съ кознями порока, что ъ научилъ ее не довѣрять клятвамъ стителя и страшиться его обожанія. атръ знакомитъ насъ не только съ чи и ихъ характерами, но и съ ро-, пріучая насъ къ великому искусству нія. Въ сумятицѣ нашей жизни слу-ость и планомѣрность играютъ одина-важную роль; послѣдняя зависитъ отъ а первой мы должны слѣпо подчи-ся. Для насъ прямая выгода—научить-трѣчать неизбѣжную судьбу съ нѣкото-самообладаніемъ, послѣ того какъ мудрость и наше мужество уже упраж-сь въ чемъ-то подобномъ и наше серд-калилось въ ударахъ. Театръ развер-етъ предъ нами разнообразную пано-человѣческихъ страданій. Театръ ственно вводитъ насъ въ сферу чу-бѣдствій и за мгновенное страданіе аждаетъ насъ сладостными слезами и ошнымъ приростомъ мужества и опыта. ръ ведетъ насъ къ покинутой Аріаднѣ аксосъ, полный отголосковъ ея горя, ается вмѣстѣ съ нами въ подвалъ одной башни", къ Уголино, подымается ами на окровавленный помостъ, гдѣ прислушиваемся къ страшному водну ѣдняго часа. Все то, что чувствуетъ душа въ видѣ смутныхъ, неясныхъ леній, театръ преподноситъ намъ въ кихъ словахъ и яркихъ образахъ' сила ыхъ поражаетъ насъ—и мы уже не мся, напримѣръ, тому, что благосклон-королевы покидаетъ, въ стѣнахъ ра, обманутаго фаворита, или тому, передъ смертью испуганный Францъ ъ не находитъ болѣе утѣшенія въ своей стической, мнимой мудрости (вѣчность лаетъ мертвеца, открывающаго тайны, ступныя живущимъ, и, слушая голосъ могилы, закоснѣлый злодѣй теряетъ ѣднюю, внутреннюю точку опоры).

о мало того, что театръ знакомитъ съ судьбами человѣчества; онъ такчитъ насъ быть болѣе справедливыми удьбамъ несчастныхъ и судить о нихъ большею снисходительностью. Лишь ѣ того, какъ мы измѣрили всю глуби-ловѣческаго бѣдствія, мы имѣемъ праизносить свой приговоръ надъ пре-никомъ. Какое изъ преступленій позор-воровства?—и, однако, нашъ обвини-ный приговоръ мы смягчаемъ слезою раданія, слѣдя за роковыми обстоятель-ми, подъ давленіемъ которыхъ Эдуардъ ргъ совершаетъ это преступленіе... Самоубійства мы гнушаемся, какъ нечестія, но въ мигъ, когда Маріанна, осаждаемая угрозами гнѣвнаго отца, любовью и страхомъ заключенія въ монастырь, принимаетъ ядъ,—кто первый изъ насъ броситъ камнемъ въ эту, плача достойную, жертву проклятой необходимости?... Человѣчность и терпимость становятся, мало-по-малу, господствующими чувствами нашего времени; лучи ихъ проникли въ судебную залу и еще дальше—въ сердца нашихъ князей. Кто знаетъ, какая доля въ этомъ божественномъ дѣлѣ принадлежитъ нашимъ театрамъ? Не они ли ознакомили человѣка съ человѣкомъ и раскрыли тайный механизмъ людскихъ дѣяній?

Наиболѣе высокопоставленный изъ всѣхъ общественныхъ классовъ имѣетъ основаніе быть особенно благодарнымъ театру. Лишь въ театрѣ великіе міра сего слышатъ нѣчто рѣдкое или даже прямо для нихъ невозможное—правду, и видятъ то, чего не видятъ кругомъ себя никогда или встрѣчаютъ очень рѣдко—человѣка.

Велики и разнообразны заслуги хорошаго театра въ отношеніи нравственнаго воспитанія. Не меньшія заслуги, однако, принадлежатъ театру и въ сферѣ умственнаго просвѣщенія. Именно въ этой высшей сферѣ свѣтлая голова и пламенный патріотъ можетъ использовать, какъ слѣдуетъ, всѣ средства театра. Онъ окидываетъ взоромъ все человѣчество, сравниваетъ народы съ народами, столѣтія со столѣтіями, и видитъ, сколь рабски скована огромная масса народа цѣпями предразсудка и предвзятости, подкапывающихся подъ ея благосостояніе, видитъ, что болѣе свѣтлые лучи истины озаряютъ лишь немногія отдѣльныя головы, добивающіяся ничтожныхъ выгодъ, быть можетъ, съ затратою цѣлой жизни. Театръ ставитъ передъ вдумчивымъ законодателемъ вопросъ: какимъ образомъ пріобщить всю націю къ благамъ просвѣщенія?

Театръ есть общій каналъ, по которому бѣгутъ лучи истины отъ мыслящей, лучшей части народа внизъ, а оттуда, въ мягкомъ отраженіи, распростираются по всему государству. Отсюда, по всѣмъ жиламъ народа, растекаются болѣе вѣрныя понятія, просвѣтленныя правила, очищенныя чувства; исчезаютъ туманы варварства и мрачнаго суевѣрія, ночь уступаетъ мѣсто побѣдоносному свѣту.

Изъ всѣхъ столь роскошныхъ плодовъ хорошаго театра я хочу особо указать еще

на два слѣдующихъ. Не стала ли, за послѣдніе годы, терпимость къ религіямъ и сектамъ общимъ достояніемъ?—Но еще ранѣе того, какъ еврей Натанъ и сарацинъ Саладинъ посрамили насъ, проповѣдуя намъ, что преданность Богу вовсе не зависитъ отъ нашихъ представленій о Божествѣ; еще ранѣе того, какъ Іосифъ Второй сразился съ ужасною гидрою вѣроисповѣдной ненависти,—театръ насаждалъ въ наши сердца человѣчность и кротость; отвратительные образы языческо-жреческой ярости пріучали насъ избѣгать религіознаго фанатизма; христіанство омывало свои пятна передъ этимъ колоссальнымъ зеркаломъ. Со столь же счастливымъ успѣхомъ театръ могъ бы бороться и съ ошибками *воспитанія*: публика уже ждетъ пьесы, гдѣ будетъ затронута эта замѣчательная тема. Нѣтъ для государства дѣла болѣе важнаго по его результатамъ, чѣмъ дѣло воспитанія, а вѣдь именно оно безъ всякаго ограниченія ввѣрено, предано въ жертву заблужденію и легкомыслію гражданъ, болѣе, чѣмъ какое-либо другое государственное дѣло. Лишь театръ могъ бы напомнить государству, въ трогательныхъ и потрясающихъ образахъ, о несчастныхъ жертвахъ пренебрежительнаго воспитанія; театръ побудилъ бы нашихъ упрямыхъ отцовъ отказаться отъ эгоистическихъ правилъ, а нашихъ матерей—любить съ большею разсудительностью. Ложныя понятія ведутъ на путь заблужденія даже наставниковъ съ наилучшимъ сердцемъ; тѣмъ хуже, когда они еще хвалятся своею методою и систематически губятъ нѣжные отпрыски въ своихъ филантропинахъ и педагогическихъ оранжереяхъ.

Если бы государственные вожди и дѣятели только захотѣли, они могли бы также изучать въ театрѣ мнѣнія народа о правительствѣ и правителяхъ... Со сцены могла бы говорить и законодательная власть своимъ подданнымъ языкомъ символовъ, могла бы защищаться отъ нареканій, прежде чѣмъ они высказаны, и подкупать въ свою пользу духъ сомнѣнія, незамѣтно для послѣдняго. Даже промышленность и духъ изобрѣтательности могли бы и должны бы выносить изъ театра новое одушевленіе,—если только поэты сочли бы своимъ долгомъ быть патріотами, а государство снизошло бы до привычки выслушивать ихъ.

Я не могу обойти здѣсь вопроса о великомъ вліяніи, какое могъ бы оказать на духъ націи хорошо поставленный театръ. Духомъ націи я называю всенародное сходство и согласіе въ мнѣніяхъ и склонностяхъ по поводу явленій, возбуждающихъ въ другихъ народахъ другія мысли и чувства. Лишь театръ можетъ въ высокой степени способствовать этому согласію, такъ какъ онъ объемлетъ цѣлую область человѣческаго познанія, исчерпываетъ всѣ житейскія ситуаціи и освѣщаетъ всѣ уголки сердца человѣческаго—такъ какъ онъ вмѣщаетъ всѣ классы и сословія и находитъ самый торный путь къ разуму и сердцу. Если бы во всѣхъ нашихъ пьесахъ господствовала единая тенденція; если бы наши поэты пришли ко взаимному соглашенію объ этомъ предметѣ и заключили бы, во имя этой цѣли, тѣсный союзъ; если бы лишь строгій выборъ руководилъ ихъ работами, а перо ихъ или кисть были посвящены лишь народу; если бы, словомъ, мы когда-либо дожили бы до народнаго театра,—то мы стали бы націею! Что такъ крѣпко спаяло Элладу?—Не что иное, какъ патріотическое содержаніе пьесъ, какъ греческій духъ, отразившій въ нихъ побѣды интересовъ государственности и человѣчности.

Есть за театромъ еще одна заслуга—заслуга, которую я констатирую съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ, что, по моему, ея мѣсто въ ряду ея предшественницъ заранѣе за нею обезпечено. Все, что я только что доказывалъ относительно вліянія театра на нравы и просвѣщеніе, было болѣе или менѣе спорно; но даже враги театра должны признать вмѣстѣ со мною, что въ ряду всѣхъ изобрѣтеній роскоши, среди всѣхъ учрежденій для общественнаго увеселенія, театръ занимаетъ первое мѣсто. Но заслуги театра въ этой сферѣ важнѣе, чѣмъ обыкновенно полагаютъ.

Натура человѣческая не выноситъ непрерывной и вѣчной пытки профессіональныхъ занятій, а привлекательность чувственныхъ развлеченій исчезаетъ съ ихъ удовлетвореніемъ. Человѣкъ, пресыщенный животнымъ наслажденіемъ, утомленный продолжительнымъ трудомъ, мучимый вѣчнымъ стремленіемъ къ дѣятельности, жаждетъ лучшихъ, избранныхъ удовольствій; не находя ихъ, онъ безъ удержу набрасывается на дикія развлеченія, ускоряющія его паденіе и вредныя для общественнаго спокойствія. Вакхическія радости, гибельная азартная игра, тысячи безумствъ, изобрѣтаемыхъ праздностью, всегда неизбѣжны тамъ, гдѣ законодатель не умѣетъ руководить потребностью народа въ развлеченіи.

эти односторонніе, часто сумасбродныя, часто противорѣчивыя утвержденія претворятся наконецъ въ общую, безпримѣсную, твердо-обоснованную истину.

Скептицизмъ и свободомысліе представляютъ лихорадочные пароксизмы человѣческаго духа и именно неестественными потрясеніями, производимыми ими въ хорошо организованныхъ душахъ, способствуютъ въ концѣ концовъ укрѣпленію здоровья. Чѣмъ ослѣпительнѣе и соблазнительнѣе заблужденіе, тѣмъ сильнѣе побѣда истины; чѣмъ мучительнѣе сомнѣніе, тѣмъ сильнѣе стремленіе къ достиженію и твердой увѣренности. Но описать эти сомнѣнія, эти заблужденія было необходимо: исцѣленію должно было предшествовать изученіе болѣзни. Истина ничего не теряетъ отъ того, что пылкій юноша сбился съ ея пути такъ же какъ истина и религія не теряютъ ничего отъ того, что порочный человѣкъ отрицаетъ ихъ.

Все это слѣдовало предварительно высказать для того, чтобы выяснить точку зрѣнія, съ которой было бы желательно, чтобы предлагаемая переписка была прочтена и судима.

Юлій Рафаэлю.

Октябрь.

Ты уѣхалъ, Рафаэль,—и чудная природа увядаетъ: пожелтѣвшіе листья падаютъ съ деревьевъ, и мутный осенній туманъ, словно покровъ, ложится на помертвѣлыя поля. Одиноко брожу я по печальной мѣстности, громко зову тебя по имени и сержусь, что мой Рафаэль не отвѣчаетъ мнѣ.

Я пережилъ твои послѣднія объятія. Печальный стукъ кареты, увозившей тебя, замолкъ наконецъ въ моихъ ушахъ. Мнѣ, къ счастью удалось было уже насыпать благодатный холмъ земли на радостное прошлое, и вотъ ты, словно усопшій духъ, снова возсталъ въ этихъ мѣстахъ и являешься предо мной на всѣхъ любимыхъ мѣстечкахъ нашихъ прогулокъ. Рядомъ съ тобой взбирался я на эту скалу, вмѣстѣ съ тобой странствовалъ по этой необозримой дали. Подъ темной священной сѣнью этихъ буковъ предсталъ передъ нами впервые смѣлый идеалъ нашей дружбы. Здѣсь впервые развернули мы родословное дерево нашихъ душъ, и Юлій нашелъ въ Рафаэлѣ близкаго родственника. Нѣтъ здѣсь ни одного источника, ни одного куста, ни одного холма, гдѣ воспоминаніе о минувшемъ блаженствѣ не нарушало бы моего спокойствія. Все, все въ заговорѣ противъ моего выздоровленія. Куда бы я ни пошелъ, все вызываетъ во мнѣ ужасную сцену нашего прощанія.

Что ты со мной сдѣлалъ, Рафаэль? Чѣмъ я сталъ въ короткое время? Опасный великій человѣкъ! пусть бы я тебя или никогда не узналъ, или никогда не терялъ! Поспѣши назадъ, вернись на крыльяхъ любви, или твое нѣжное насажденіе погибнетъ. Какъ могъ ты, при твоей нѣжной душѣ, рѣшиться бросить начатое дѣло, когда оно еще такъ далеко отъ совершенства? Устои твоей гордой мудрости еще шатки въ моемъ мозгу и сердцѣ, прекрасные дворцы, построенные тобою, рушатся, и раздавленный червякъ стонетъ и корчится подъ ихъ развалинами.

Счастливое, райское время, когда я пробирался по жизненному пути съ завязанными глазами, какъ бы опьяненный; когда весь мой умъ и всѣ желанія вращались въ границахъ родительскаго горизонта; когда ясный солнечный закатъ не возбуждалъ во мнѣ никакихъ высшихъ предчувствій, кромѣ надежды на прекрасный завтрашній день; когда только политическій журналъ напоминалъ мнѣ о свѣтѣ, только похоронный звонъ—о вѣчности, только сказки съ привидѣніями—о загробномъ отчетѣ; когда я еще дрожалъ предъ чортомъ и тѣмъ сильнѣе всей душой предавался божеству. Я ощущалъ и былъ счастливъ. Рафаэль научилъ меня думать, и я готовъ оплакивать мое появленіе на свѣтъ.

Появленіе на свѣтъ? Нѣтъ, это только звукъ безъ смысла, котораго мой разумъ не долженъ допускать. Было время, когда я никого не зналъ, когда обо мнѣ никто не зналъ, когда, говорятъ, меня не было. Этого времени больше не существуетъ, слѣдовательно, говорятъ мнѣ, я сотворенъ. Но вѣдь про милліоны людей, существовавшихъ столѣтія тому назадъ, ничего уже неизвѣстно и однако говорятъ, что они существуютъ. На чемъ основываемъ мы право утверждать начало и отрицать конецъ? Утверждаютъ, что прекращеніе мыслящихъ существъ противорѣчитъ безконечной благости. Но развѣ эта безконечная благость возникла только съ сотворенія міра? Если былъ такой періодъ времени, когда не существовало никакихъ духовъ, то значитъ эта безконечная благость впродолженіе всей предыдущей вѣчности была бездѣятельна. Если міровое зданіе есть полнота Творца, то, слѣдовательно, до сотворенія міра ему не хватало полноты. Но такое предположеніе противо-

рѣчитъ идеѣ совершеннаго Бога, слѣдовательно не было акта творенія... Куда завели меня мои мысли, Рафаэль? Что за ужасная путаница въ моихъ выводахъ! Какъ только я начинаю вѣрить въ Бога, я долженъ отказаться отъ Творца. А на что Богъ, если я могу обойтись безъ Творца?

Ты отнялъ у меня вѣру, дававшую мнѣ миръ. Ты научилъ меня презирать то, чему я поклонялся. Тысячи вещей казались мнѣ достойными почитанія, пока твоя печальная философія не разоблачила ихъ. Я видѣлъ, какъ толпа народа стремилась въ церковь, я слышалъ, какъ вдохновенное благочестіе соединяло ихъ въ братской молитвѣ; дважды стоялъ я у смертнаго одра, дважды видѣлъ я—о могущественное чудо дѣйствія религіи—какъ небесная надежда побѣждала страхъ уничтоженія и какъ въ погасавшихъ глазахъ умирающаго загорался свѣтлый лучъ радости.

Божественно, да божественно должно быть ученіе, воскликнулъ я, исповѣдуемое лучшими изъ людей, способное такъ могущественно побѣждать и такъ чудесно утѣшать. Твоя холодная философія погасила мой восторгъ. Столь же многіе, говорилъ ты мнѣ, толпились нѣкогда подъ колоннами и въ храмѣ Юпитера, столь же многіе и такъ же радостно восходили на костры въ честь Брамы. Неужели то, что тебѣ кажется столь отвратительнымъ въ язычествѣ, можетъ служить тебѣ доказательствомъ божественности твоего ученія?

Вѣрь только своему разуму, продолжалъ ты. Ничего нѣтъ святого, кромѣ истины. То, что познаетъ разумъ, и есть истина. Я послушался тебя, пожертвовалъ всѣми моими идеями, я сжегъ, подобно извѣстному отчаянному завоевателю, всѣ мои корабли, достигнувъ этого острова, и уничтожилъ всякую надежду на возвратъ. Я никогда не примирюсь съ идеей, разъ мною осмѣянной. Мой разумъ теперь все для меня: мой единственный поручитель за божество, добродѣтель, безсмертіе. Увы мнѣ отнынѣ, если я этого единственнаго поручителя поймаю на противорѣчіи! если уменьшится мое уваженіе передъ его умозаключеніями! если какая-нибудь порванная нить въ моемъ мозгу собьетъ его съ пути! Отнынѣ мое счестье зависитъ отъ гармоніи моего воспринимающаго аппарата. Горе мнѣ, если струны этого инструмента дадутъ фальшивый тонъ въ серьезныя эпохи моей жизни, если мои убѣжденія будутъ колебаться въ зависимости отъ біенія моего пульса.

Юлій Рафаэлю.

Твое ученіе польстило моей гордости. Я былъ плѣнникомъ. Ты вывелъ меня на свѣтъ; золотой свѣтъ и неизмѣримая свобода восхитили мои глаза. Раньше я довольствовался скромной славой считаться хорошимъ сыномъ семьи, другомъ своихъ друзей, полезнымъ членомъ общества,—ты превратилъ меня въ гражданина вселенной. Мои желанія еще не посягали на прерогативы знатныхъ людей. Я терпѣлъ этихъ счастливцевъ, потому что нищіе терпѣли меня. Я не краснѣлъ за то, что завидовалъ части человѣческаго рода, ибо оставалась еще большая часть, которую я долженъ былъ жалѣть. Теперь я впервые узналъ, что мои притязанія на наслажденіе такъ же значительны, какъ и притязанія моихъ остальныхъ братьевъ. Теперь, поднявшись надъ этими воззрѣніями, я увидѣлъ, что значу не больше и не меньше, чѣмъ властители земли. Рафаэль разрушилъ всякія пути соглашенія и убѣжденія. Я чувствую себя совершенно свободнымъ,—ибо разумъ, сказалъ мнѣ Рафаэль, есть единственная монархія въ духовномъ мірѣ, мой тронъ—въ моемъ мозгу. Всѣ вещи на небѣ и на землѣ имѣютъ только то значеніе, ту цѣну, которыя за ними признаетъ мой разумъ. Все сотворенное принадлежитъ мнѣ, ибо я владѣю неоспоримымъ правомъ имъ вполнѣ наслаждаться. Всѣ духи, стоящіе одною ступенью ниже всесовершеннѣйшаго Духа, суть мои собратья, ибо мы всѣ повинуемся единому закону, поклоняемся единому Господину.

Какъ возвышенно и прекрасно звучитъ это заявленіе! Какой большой запасъ для удовлетворенія моей жажды къ познанію! Но—несчастное противорѣчіе природы—этотъ свободный, стремящійся къ возвышенному, духъ заключенъ въ оцѣпенѣлый, неизмѣнный часовой механизмъ смертнаго тѣла, принимаетъ участіе въ его низменныхъ потребностяхъ, подчиненъ его мелкимъ судьбамъ—этотъ богъ долженъ жить въ мірѣ червей. Для его дѣятельности открытъ безконечный просторъ природы, но онъ однако не смѣетъ имѣть одновременно двухъ идей. Его взоръ проникаетъ до божества, тогда какъ онъ самъ долженъ сначала медленно и съ трудомъ ползти къ нему черезъ элементы времени. Чтобы исчерпать одно наслажденіе, онъ долженъ отказаться отъ всякаго другого; двухъ неограниченныхъ желаній слишкомъ много для

его маленькаго сердца. Всякая новая радость стоитъ ему суммы всѣхъ предыдущихъ. Настоящій моментъ является могилой для всѣхъ прошедшихъ. Часъ любовнаго свиданія является потерею для дружбы.

Куда я ни взгляну, Рафаэль, какъ ограниченъ человѣкъ! Какъ велико разстояніе между его притязаніями и ихъ удовлетвореніемъ! О, позавидуй его благодѣтельному сну! Не буди его! Онъ былъ такъ счастливъ, пока не началъ спрашивать, куда онъ долженъ идти и откуда пришелъ. Разумъ— это факелъ въ темницѣ. Узникъ не думалъ о свѣтѣ, вдругъ надъ нимъ засвѣтилъ призракъ свободы, подобно молніи въ ночи, послѣ которой она кажется еще темнѣе. Наша философія подобна несчастному любопытству Эдипа, который не переставалъ допытываться, пока страшный оракулъ не пояснилъ себя:

„Ахъ, если бы никогда не узналъ,
кто ты!"

Развѣ твоя философія замѣняетъ мнѣ то, что она отняла у меня? Зачѣмъ ты похитилъ меня отъ земли, разъ ты не имѣлъ ключей отъ неба? Если ты зналъ заранѣе, что путь къ мудрости ведетъ черезъ страшную пропасть сомнѣній, зачѣмъ поставилъ ты на карту спокойную невинность своего Юлія?

Когда съ добромъ, которое задумалъ
Я совершить, большое зло граничитъ,—
То лучше мнѣ добра не совершать *).

Ты снесъ хижину, которая была обитаема, и поставилъ на ея мѣсто великолѣпный мертвый дворецъ.

Рафаэль, я требую отъ тебя обратно свою душу. Я несчастливъ. Мое мужество меня оставило. Я не довѣряю моимъ собственнымъ силамъ.

Пиши мнѣ поскорѣй! Только твоя рука можетъ пролить цѣлительный бальзамъ на мою пылающую рану.

Рафаэль Юлію.

Такое счастье какъ наше, Юлій, было бы слишкомъ велико для человѣческаго жребія, если бы оно длилось непрерывно. Часто эта мысль преслѣдовала меня въ пылу наслажденія нашей дружбой. То, что въ то время отравляло мое блаженство, было спасительной подготовкой, облегчившей мое теперешнее состояніе. Будучи закаленъ въ строгой школѣ отреченія, я особенно воспріимчивъ къ утѣшительной мысли, что наша разлука есть легкая жертва, посредствомъ которой мы заслужили у судьбы радости будущаго соединенія. До сихъ поръ ты не зналъ, то такое лишеніе. Ты страдаешь впервые.

А между тѣмъ то, что я какъ разъ теперь оторванъ отъ тебя, можетъ быть благодѣтельнымъ для тебя. Тебѣ предстоитъ перенести болѣзнь, отъ которой ты долженъ выздоровѣть при помощи самаго себя, чтобы быть застрахованнымъ отъ ея возврата. Чѣмъ болѣе одинокимъ чувствуешь ты себя, тѣмъ болѣе ты постараешься приложить всѣ, заключающіяся въ тебѣ самомъ, цѣлебныя силы; чѣмъ меньше будетъ минутное облегченіе, которое ты получишь отъ палліатива, тѣмъ вѣрнѣе тебѣ удастся убить болѣзнь въ самомъ зародышѣ.

Я не раскаиваюсь въ томъ, что разбудилъ тебя отъ твоего сладкаго сна, хотя твое теперешнее состояніе и тяжело. Я только ускорилъ кризисъ, неизбѣжный, раньше или позже, для такихъ душъ, какъ твоя, при чемъ все зависитъ отъ того, въ какой періодъ жизни онъ совершится. Бываютъ такія положенія, въ которыхъ ужасно отчаяваться въ истинѣ и добродѣтели. Горе тому, кому среди бури страстей приходится бороться съ хитросплетеніями мудрствующаго разума. Я ощутилъ во всемъ объемѣ, что это значитъ, и, чтобы предохранить тебя отъ подобной же участи, мнѣ не оставалось ничего другого, какъ посредствомъ прививки сдѣлать эту неизбѣжную заразу безвредной.

А могъ ли я, Юлій, избрать для этого болѣе благопріятное время? Ты стоялъ передо мной полный юношеской силы, тѣло и душа въ полномъ расцвѣтѣ, не отягощенный никакими заботами, не связанный никакими страстями, свободный и сильный, готовый на великую борьбу, призомъ которой является возвышенное спокойствіе убѣжденности. Истина и заблужденіе еще не были вплетены въ твои жизненные интересы. Твои добродѣтели и твои наслажденія были независимы отъ обоихъ. Не нужно было никакихъ застращиваній, чтобы удержать тебя отъ низменнаго распутства. Любовь къ болѣе благороднымъ наслажденіямъ сдѣлала его тебѣ противнымъ. Ты былъ хорошъ по инстинкту, бла-

*) «Натанъ Мудрый» Лессинга, въ переводѣ В. С. Лихачова. Дѣйст. 4, явл. 7.

ря неосквернённому нравственному изя-ву. Мнѣ нечего было бояться за твою ственность, когда рушится зданіе, на ромъ она не покоилась. И теперь меня угаютъ твои опасенія. Что бы ни на-о на тебя меланхолическое настроеніе , я лучше знаю тебя, Юлій. Неблаго-ый! Ты бранишь разумъ, ты забываешь, наслажденія онъ тебѣ уже доставилъ. бы даже ты и могъ впродолженіе своей жизни избѣгнуть опасностей тицизма, все же это была моя обязан-ь не лишить тебя наслажденій, къ ко-мъ ты способенъ и которыхъ ты до-нъ. Ступень, на которой ты стоялъ, недостойна тебя. Путь, по которому зобрался, вознаградилъ тебя за все, я тебя лишилъ. Я не забылъ, съ ка-восторгомъ ты благословлялъ мо-ъ, когда съ твоихъ глазъ спала по-а. Пылкость, съ которой ты набросился стину, можетъ быть привела твою все-ющую фантазію къ пропасти, пе-которой ты съ ужасомъ отступилъ. долженъ прослѣдить ходъ твоихъ ей, чтобы открыть источникъ твоихъ бъ. Ты обыкновенно записывалъ ре-таты своихъ размышленій. Пришли мнѣ замѣтки, и тогда я тебѣ отвѣчу.

Юлій Рафаэлю.

егодня я перебиралъ свои бумаги. Я лъ потерянное сочиненіе, набросанное частливые часы моего гордаго вдохно-. Рафаэль, насколько инымъ все это кажется теперь! Это деревянныя де-ціи сцены, лишенныя освѣщенія. Мое де искало философіи, а фантазія пре-есла ему мечты. И самая горячечная азія казалась мнѣ самой истинной. ищу законы духа, возношусь до без-чности и—забываю доказать, что духи твительно существуютъ. Смѣлый на-ъ матерьялизма рушитъ мое созданіе. трочтешь этотъ отрывокъ, милый Ра-ь.—О, если бы тебѣ удалось раздуть хшую искру моего энтузіазма, прими-меня снова съ моимъ геніемъ—но я сильно упалъ духомъ, что врядъ-аже и одобреніе Рафаэля можетъ под-меня.

Теософія Юлія.

Міръ и мыслящее существо.

селенная есть мысль Бога. Послѣ того идеальный духовный образъ пере-шелъ въ дѣйствительность, и новорожден-ный міръ выполнилъ планъ творца—позволь мнѣ употребить этотъ человѣческій образъ выраженія—назначеніе всякаго мыслящаго существа стало заключаться въ отысканіи перваго плана, правила, управляющаго машиной, единства въ сложности, закона въ феноменѣ, и нанести строеніе снова на его планъ. Слѣдовательно для меня существуетъ только одно единственное явленіе природы—мыслящее существо. Великое сложное, называемое нами вселенной, представляется мнѣ теперь замѣчательнымъ только потому, что цѣль его существованія—это символически обозначать мнѣ разнообразныя проявленія того существа. Все во мнѣ и внѣ меня суть только гіероглифы силы, подобной мнѣ. Законы природы суть цифры, сопоставляемыя мыслящимъ существомъ, чтобы сдѣлать себя понятнымъ мыслящему существу, или азбука, посредствомъ которой всѣ духи сносятся съ совершеннѣйшимъ духомъ и между собой. Гармонія, истина, порядокъ, красота, превосходство доставляютъ мнѣ удовольствіе, потому что они меня переносятъ въ дѣятельное состояніе ихъ изобрѣтателя, ихъ обладателя, потому что они мнѣ открываютъ присутствіе разумноощущающаго существа и заставляютъ меня предчувствовать мое родство съ этимъ существомъ. Всякое новое ознакомленіе съ царствомъ истины: притяженіе, недавно открытая система кровеобращенія, система Линнея, имѣютъ для меня въ сущности то же значеніе, что и откопанный въ Геркуланумѣ антикъ—то и другое суть для меня только отраженіе духа, новое знакомство съ подобнымъ мнѣ существомъ. Я переговариваюсь съ безконечнымъ при посредствѣ природы, при посредствѣ всемірной исторіи—я читаю душу художника въ его Аполлонѣ.

Если хочешь въ этомъ убѣдиться, милый Рафаэль, то веди свое изслѣдованіе въ обратномъ порядкѣ. Всякому состоянію человѣческой души соотвѣтствуетъ какая нибудь обозначающаяся его парабола въ физическомъ твореніи, и изъ этого богатаго склада черпали не только художники и поэты, но даже самые отвлеченные мыслители. Живую дѣятельность мы называемъ огнемъ, время—потокомъ, уносящимъ все въ своемъ теченіи; вѣчность уподобляемъ кругу; тайна облекается въ полночный покровъ, а истина обитаетъ солнце. Я даже начинаю думать, что и будущая судьба человѣческаго духа

уже заключается предсказанной въ тѣлесномъ твореніи. Всякая новая весна, выгоняющая ростки растеній изъ земли, поясняетъ мнѣ страшную загадку смерти и опровергаетъ мое боязливое опасеніе вѣчнаго сна. Ласточка, которую мы находимъ зимою окоченѣвшей и которая снова оживаетъ весною, безжизненная гусеница, оживающая въ видѣ бабочки, носящейся по воздуху, представляютъ прекрасный символъ нашего безсмертія.

Какимъ замѣчательнымъ кажется мнѣ теперь все!—Теперь, Рафаэль, все населено вокругъ меня. Во всей природѣ для меня не существуетъ больше пустынь. Гдѣ бы я ни открылъ тѣло, тамъ предчувствую я и духъ; всякое замѣченное мною движеніе наводитъ меня на родившую его мысль.

„Гдѣ нѣтъ погребенныхъ умершихъ, гдѣ не будетъ возстанія“,

тамъ всемогущій открывается мнѣ въ своихъ твореніяхъ—такъ понимаю я ученіе о вездѣсущности Бога.

Идея.

Всѣ духи притягиваются совершенствомъ. Всѣ—бываютъ заблужденія, но ни одного исключенія — всѣ стремятся къ состоянію высшаго, свободнаго проявленія своихъ силъ, всѣ склонны расширять свою дѣятельность, притягивать къ себѣ, собирать въ себѣ, усвоять все, что они считаютъ хорошимъ, превосходнымъ, привлекательнымъ. Созерцаніе прекраснаго, истиннаго, превосходнаго есть мгновенное усвоеніе этихъ качествъ. Мы сами вступаемъ въ то состояніе, которое мы воспринимаемъ. Мы становимся обладателями добродѣтели, виновниками поступка, обладателями истины и блаженства въ ту минуту, когда мы о нихъ думаемъ. Мы сами становимся объектомъ, который мы ощутили. Не смущай меня двусмысленной улыбкой, Рафаэль, это предположеніе есть основаніе, на которомъ я строю всѣ слѣдствія, и мы должны придти относительно этого къ соглашенію, а то у меня не хватитъ мужества закончить мою систему.

Внутреннее чувство каждаго говоритъ ему о чемъ-то подобномъ. Когда мы, напримѣръ, восхищаемся какимъ нибудь великодушнымъ, храбрымъ или мудрымъ поступкомъ, не подымается-ли тогда въ нашемъ сердцѣ внутреннее сознаніе, что и мы способны совершить то же самое? Не потому-ли мы краснѣемъ, когда слышимъ разсказъ о подобныхъ поступкахъ, что наша скромность боится восхищенія, что мы смущаемся какъ бы не услышать похвалы за происшедшее въ нашемъ существѣ облагораживаніе? Даже наше тѣло перенимаетъ въ эту минуту жесты дѣйствующаго лица, чѣмъ очевидно показываетъ, что наша душа перешла въ его состояніе. Не замѣчалъ-ли ты, Рафаэль, когда тебѣ случалось присутствовать на многочисленномъ собраніи, слушающемъ повѣствованіе о какомъ нибудь великомъ событіи, какъ самъ разсказчикъ жаждалъ ѳиміама, какъ онъ упивался похвалами, расточаемыми его герою, а если тебѣ самому приходилось быть разсказчикомъ, не случалось ли тебѣ ловить свое сердце на этомъ пріятномъ самообманѣ? Ты знаешь примѣры, Рафаэль, когда я могъ спорить съ тобой, моимъ близкимъ другомъ, изъ-за того, кому прочесть какой нибудь славный анекдотъ или хорошее стихотвореніе, не желая уступить тебѣ лавровъ, переходящихъ отъ автора на чтеца. Поэтому быстрое и сильное восхищеніе передъ добродѣтелью вообще считается указателемъ воспріимчивости къ добродѣтели, и, напротивъ, обыкновенно сомнѣваются въ сердечности человѣка, голова котораго трудно и медленно воспринимаетъ нравственную красоту.

Не возражай мнѣ, что нерѣдко и порокъ можетъ живо уразумѣть противоположное ему совершенство, что часто и на злодѣя находитъ высокій восторгъ передъ превосходнымъ, что даже слабаго иногда воспламеняетъ энтузіазмъ къ высокому, геркулесовскому величію. Мнѣ извѣстно, напримѣръ, что нашъ знаменитый Галлеръ, такъ мужественно разоблачившій ничтожество суетныхъ почестей, философскимъ величіемъ котораго я такъ восхищался, не смогъ отнестись съ пренебреженіемъ къ еще болѣе пустому ничтожеству, а именно къ ордену, оскорблявшему его величіе. Я вполнѣ убѣжденъ, что въ счастливый моментъ служенія идеалу художникъ, философъ и поэтъ суть дѣйствительно тѣ великіе и прекрасные люди, изображеніе которыхъ они намъ даютъ, но это облагораживаніе духа представляетъ для многихъ изъ нихъ неестественное состояніе, насильственно вызванное сильнымъ волненіемъ крови, быстрымъ полетомъ фантазіи; поэтому оно мимолетно, какъ всякое иное очарованіе, и скоро исчезаетъ, оставляя сердце утомленнымъ и потому болѣе доступнымъ для деспотическаго произвола низшихъ страстей.

Еслибъ въ мірѣ вдругъ людей не стало,
То считалъ бы я живыми скалы,
Ихъ бы страстно цѣловалъ;
Полюбилъ бы горныя тѣснины;
Мнѣ друзьями были бы равнины;
Тайны вѣтрамъ я бы повѣрялъ!
(Переводъ Ѳ. Миллера, см. т. I, 17).

Любовь возникаетъ не между согласными, а между гармоничными душами. Я съ удовольствіемъ вижу мои ощущенія отраженными въ твоихъ, но я съ горячей страстностью поглощаю твои высшія ощущенія, которыхъ не хватаетъ мнѣ. Одинъ законъ руководитъ дружбой и любовью. Кроткая Дездемона полюбила своего Отелло за пережитыя имъ опасности; мужественный Отелло полюбилъ ее за пролитыя за него слезы.

Бываютъ минуты въ жизни, когда мы бываемъ расположены прижать къ сердцу всякій цвѣтокъ и всякую отдаленную звѣзду, всякаго червяка и всякій высшій духъ—заключить въ объятія всю природу точно нашу возлюбленную. Ты понимаешь меня, милый Рафаэль. Человѣкъ, научившій находить красоту, величіе и совершенство въ маломъ и великомъ природы и отыскивать въ этомъ разнообразіи великое единство, значительно приблизился къ божеству. Все твореніе расплывается въ его личности. Если бы каждый человѣкъ любилъ всѣхъ людей, то всякій обладалъ бы вселенной.—Но боюсь, современная философія противорѣчитъ этому ученію. Многіе изъ нашихъ мыслителей сочли себя обязанными насмѣшками изгнать изъ людскихъ душъ это небесное стремленіе, стереть печать божества и превратить эту энергію, этотъ благородный энтузіазмъ въ холодное, мертвящее дыханіе малодушнаго равнодушія. Въ рабскомъ сознаніи своего собственнаго униженія они вошли въ соглашеніе съ эгоизмомъ, опаснѣйшимъ врагомъ доброжелательства, и стали объяснять явленіе, слишкомъ божественное для ихъ ограниченныхъ сердецъ. Они соткали свое безотрадное ученіе изъ скуднаго эгоизма и свою собственную ограниченность приняли за масштабъ творца. Выродившіеся рабы, безславящіе свободу подъ звуки своихъ цѣпей. Даже Свифтъ, доведшій порицаніе глупости до опозоренія человѣчества и начертавшій на позорномъ столбѣ, воздвинутомъ имъ всему роду человѣческому, прежде всего свое собственное имя, не могъ нанести человѣческой природѣ такой смертельной раны, какъ тѣ опасные мыслители, которые возводятъ въ систему эгоизмъ, украшая его со всѣмъ присущимъ имъ остроуміемъ и геніемъ.

Почему весь родъ долженъ платиться за то, что нѣкоторые члены его уступаютъ въ достоинствѣ? Я искренне признаюсь, что вѣрю въ дѣйствительность самоотверженной любви. Я пропалъ, если она не существуетъ, тогда я отказываюсь отъ божества, безсмертія и добродѣтели. У меня не останется доказательства для этихъ надеждъ, если я перестану вѣрить въ любовь. Духъ, любящій только самаго себя, есть атомъ, плавающій въ безконечномъ пустомъ пространствѣ.

Самопожертвованіе.

Однако любовь привела къ такимъ послѣдствіямъ, которыя, повидимому, противорѣчатъ ея природѣ.

Возможно, что я могу увеличить свое счастье жертвой, принесенной ради чужого счастья, но неужели и тогда, когда я жертвую своей собственной жизнью? А между тѣмъ въ исторіи существуютъ примѣры такихъ жертвъ, и я самъ живо чувствую, что мнѣ ничего не стоитъ умереть ради твоего спасенія, Рафаэль. Какимъ же образомъ можемъ мы считать смерть средствомъ къ увеличенію суммы нашихъ наслажденій? Какъ можетъ прекращеніе моего существованія согласоваться съ обогащеніемъ моего существа?

Возможность безсмертія уничтожаетъ это противорѣчіе, но она и обезображиваетъ высокую прелесть этого явленія. Надежда на вознагражденіе въ будущемъ исключаетъ любовь. Должна существовать добродѣтель, не нуждающаяся въ вѣрѣ въ безсмертіе, приносящая жертву и подъ угрозой уничтоженія.

Уже способность жертвовать настоящимъ благомъ въ пользу вѣчнаго облагораживаетъ душу человѣка,—это благороднѣйшая степень эгоизма, но эгоизмъ и любовь дѣлятъ родъ человѣческій на двѣ весьма несходныхъ части, границы которыхъ никогда не сливаются. Эгоизмъ достигаетъ своего средоточія въ самомъ себѣ; любовь полагаетъ его внѣ себя, на оси вѣчнаго цѣлаго. Любовь стремится къ единству; эгоизмъ есть одиночество. Любовь есть гражданка—соправительница цвѣтущей республики; эгоизмъ—деспотъ въ опустошенномъ твореніи.

Эгоизмъ сѣетъ, чтобы пожать благодар-

ность; любовь,—чтобы пожать неблагодарность. Любовь даетъ въ даръ, эгоизмъ даетъ взаймы,—все равно передъ престоломъ ли строгой истины, ради-ли наслажденія въ слѣдующій моментъ или въ надеждѣ на мученическій вѣнецъ—все равно будутъ ли получены проценты въ этой жизни или въ будущей. Представь себѣ, милый Рафаэль, истину, благодѣтельную для всего рода человѣческаго въ отдаленные вѣка, прибавь къ этому, что эта истина обрекаетъ признающаго ее на смерть, что эта истина можетъ быть доказана и въ нее могутъ увѣровать только послѣ его смерти. Затѣмъ представь себѣ человѣка, одареннаго блестящимъ, обширнымъ геніемъ, пламеннымъ вдохновеніемъ, полной, возвышенной способностью къ любви. Пусть въ его душѣ возникнетъ совершенный идеалъ великаго послѣдствія его поступка, пусть въ смутномъ предчувствіи промелькнутъ передъ нимъ всѣ тѣ счастливые, которыхъ онъ создастъ, пусть передъ его умомъ предстанутъ одновременно настоящее и будущее,—и теперь отвѣть мнѣ, нуждается-ли этотъ человѣкъ въ указаніи на будущую жизнь?

Вся сумма этихъ ощущеній переплетется съ его личностью, сольется во-едино съ его *я*. Представляющійся уму въ эту минуту родъ человѣческій есть онъ самъ. Родъ человѣческій есть тѣло, въ которомъ его жизнь, позабытая и ненужная, плаваетъ, подобно каплѣ крови, которую онъ охотно готовъ выжать ради здоровья всего тѣла.

Богъ.

Всѣ совершенства вселенной соединены въ Богѣ.

Богъ и природа суть двѣ величины, вполнѣ равныя.

Вся сумма гармонической дѣятельности, существующая въ божественной субстанціи, находится въ природѣ, которая есть слѣпокъ этой субстанціи; но находится разъединенной по безчисленнымъ степенямъ, массамъ и ступенямъ. Природа (позволь мнѣ это образное выраженіе), природа есть безконечно раздѣленный Богъ.

Подобно тому какъ въ призмѣ бѣлый лучъ раздѣляется на семь болѣе темныхъ лучей, такъ божественное Я преломилось на безчисленныя, ощущающія субстанціи. Подобно тому какъ семь темныхъ лучей вновь сливаются въ одинъ свѣтлый лучъ, такъ изъ сеединенія всѣхъ этихъ субстанцій должно было бы возникнуть божественное существо. Существующая форма построенія природы есть оптическое стекло, и вся дѣятельность духовъ только безконечная игра красокъ простого божественнаго луча. Если бы Всемогущему вздумалось какъ нибудь разбить эту призму, то плотина между нимъ и вселенной была бы разрушена, всѣ духи исчезли бы въ безконечномъ, всѣ аккорды слились бы въ единую гармонію, всѣ ручьи исчезли бы въ одномъ океанѣ.

Тѣлесная форма природы произошла черезъ притяженіе элементовъ. Притяженіе духовъ, размноженное и продолженное до безконечности, должно было наконецъ привести къ прекращенію всякаго дѣленія, или, если я смѣю это высказать, Рафаэль, произвести Бога. Такое притяженіе есть любовь.

Слѣдовательно любовь, милый Рафаэль, есть лѣстница, по которой мы восходимъ къ богоподобію. Мы стремимся къ нему безпритязательно, незамѣтно для насъ самихъ.

Мертвецы мы, если ненавидимъ,
Боги—если любимъ; счастье видимъ
Въ дружбѣ и любви святой.
Восходя все выше постепенно,
Мы вездѣ замѣтимъ неизмѣнно
Силу связи круговой.

Цѣпью—отъ монгола начиная
И эллинскимъ мудрецомъ кончая—
Свѣтлымъ ангеламъ во слѣдъ,
Обнимаясь, въ пляскѣ братской мчимся
Мы впередъ, пока не погрузимся
Въ вѣчность, гдѣ ни лѣтъ, ни мѣры нѣтъ.

Одинокъ былъ самъ отецъ творенья,
И—своихъ же качествъ отраженье
Онъ духамъ безплотнымъ передалъ—
И Ему на встрѣчу вѣковая
Безпредѣльность мчится, воздымая
Вслѣдъ за валомъ валъ.

(Переводъ Ѳ. Миллера, см. т. I, стр. 17).

Любовь, милый Рафаэль, есть разростающееся таинственное средство, которымъ униженный царь злата востановляется изъ простой извести, вѣчное изъ преходящаго; средство спасающее великаго оракула—вѣчность изъ разрушительнаго пламени времени.

Что составляетъ сумму всего того, что до сихъ поръ было сказано?

Познаемъ же совершенство, и оно станетъ принадлежать намъ; освоимся съ высшимъ идеальнымъ единствомъ и мы сольемся въ братской любви. Будемъ насаждать красоту и радость, и мы пожнемъ красоту и радость. Будемъ ясно мыслить, и тогда

мы будемъ пламенно любить. Будьте совершенны, какъ совершененъ вашъ отецъ небесный, говоритъ основатель нашей вѣры. Слабое человѣчество поблѣднѣло, услыша эту заповѣдь, поэтому онъ пояснилъ ее: любите другъ друга.

Мудрость, чей лучистый взглядъ
Сходенъ съ солнцемъ,—ты назадъ
Отступи передъ любовью.

—

Свѣтлой звѣздною тропою
Кто отважно предъ тобою
Шелъ къ обители боговъ?
Кто святыню разрывая,
Указалъ блаженство рая
Сквозь разщелину гробовъ?

—

Чрезъ любовь одну могила
Намъ безсмертіе явила,
Безъ нея къ Творцу пути
Духъ безсиленъ обрѣсти.
Лишь съ любовью неизмѣнной,
Съ ней одной—къ Отцу вселенной
Обрѣтаетъ духъ пути.

(Переводъ О. Н. Чюминой, ср. т. I, стр. 13).

Вотъ, Рафаэль, исповѣданіе вѣры моего разума, краткій очеркъ предпринятаго мною творенія.

Такимъ взошло сѣмя, посѣянное тобою въ моей душѣ. Посмѣйся надъ твоимъ ученикомъ, или порадуйся, или покраснѣй за него. Какъ хочешь—но эта философія облагородила мое сердце и скрасила надежды моей жизни. Возможно, мой дорогой, что всѣ мои заключенія построены на неосновательныхъ мечтахъ. Вселенная, какою я ее здѣсь нарисовалъ, существуетъ, можетъ быть, только въ мозгу твоего Юлія—можетъ быть, что по истеченіи многихъ тысячелѣтій, опредѣленныхъ Высшимъ Судіею, когда онъ возсядетъ на престолъ, я, при видѣ истиннаго оригинала, покраснѣю отъ стыда и разорву въ куски свой ученическій рисунокъ—все это можетъ случиться, я подготовленъ къ этому; но тогда, если дѣйствительность совсѣмъ даже не будетъ походить на мой сонъ, она покажется мнѣ тѣмъ обворожительнѣе, тѣмъ величественнѣе. Могутъ-ли мои идеи быть прекраснѣе, чѣмъ идеи вѣчнаго Творца? Какъ? Развѣ онъ можетъ потерпѣть, чтобы его высокое, художественное произведеніе было ниже ожиданій смертнаго знатока? Въ этомъ и состоитъ рѣшительное испытаніе высокаго совершенства высшаго духа и его сладчайшій тріумфъ, что даже неправильныя заключенія и самообманъ не вредятъ признанію его; что всѣ извилистые пути заблуждающагося ума примыкаютъ въ концѣ концовъ къ прямому направленію вѣчной истины и всѣ отдѣлившіеся рукава ихъ потока сливаются въ одномъ устьѣ. Рафаэль—какія мысли возбуждаетъ во мнѣ художникъ, котораго тысяча изображеній искажаютъ по разному, но который во всѣхъ нихъ остается все же сходенъ съ самимъ собою, который даже обезображенный рукою кропателя возбуждаетъ восторгъ!...

Впрочемъ мое представленіе можетъ быть вполнѣ неудачнымъ, вполнѣ невѣрнымъ—болѣе того, я увѣренъ, что оно необходимо именно таково и есть—и все же возможно, что всѣ его результаты сбудутся. Все наше знаніе, съ этимъ согласны всѣ ученые, сводится къ условному обману, который однако не исключаетъ строжайшей истины. Наши чистѣйшія понятія никоимъ образомъ не представляютъ изъ себя образовъ предметовъ, а только необходимоопредѣленные и сосуществующіе съ ними знаки. Ни Богъ, ни человѣческая душа, ни вселенная не суть въ дѣйствительности то, за что мы ихъ почитаемъ. Наши представленія о вещахъ суть только эндемическія формы, въ которыхъ передаетъ ихъ намъ обитаемая нами планета. Нашъ мозгъ принадлежитъ этой планетѣ, а слѣдовательно и сохраняющіеся въ немъ идіомы нашихъ понятій. Но сила души самодовлѣюща, необходима и всегда себѣ самой равна; своеволіе въ выборѣ способовъ, которыми она себя проявляетъ, ничего не мѣняетъ въ вѣчныхъ законахъ, по которымъ она проявляется до тѣхъ поръ, пока это своеволіе не находится въ противорѣчіи съ самимъ собой, пока знакъ остается вполнѣ согласнымъ съ обозначаемымъ. Отношеніе между идіомами, какимъ его представляетъ наше мышленіе, должно въ дѣйствительности существовать и между вещами. Слѣдовательно, истина есть качество не идіомовъ, а заключеній; она не есть сходство между знакомъ и обозначаемымъ, между понятіемъ и предметомъ, но согласованіе этого понятія съ законами мышленія. Точно также математика пользуется цифрами, которыя существуютъ только на бумагѣ, и при помощи ихъ находитъ то, что существуетъ въ мірѣ дѣйствительномъ. Какое, напримѣръ, сходство существуетъ между буквами A и B, знаками $=$, $+$ и $-$ и тѣмъ фактомъ, который находятъ при помощи ихъ?—и однако предсказанная за сотни лѣтъ комета появляется на отдален-

номъ небосклонѣ, ожидаемая планета заслоняетъ солнечный дискъ! Съ вѣрой въ непогрѣшимость своихъ вычисленій вступаетъ открыватель новаго свѣта, Колумбъ, въ борьбу съ океаномъ, по которому еще никто не плавалъ, въ поискахъ за вторымъ недостающимъ полушаріемъ, за большимъ островомъ Атлантикой, долженствующимъ заполнить пробѣлъ на его географической картѣ. Онъ нашелъ его, этотъ островъ, бывшій у него на бумагѣ, и его разсчетъ оказался вѣрнымъ. Но развѣ онъ былъ бы менѣе вѣренъ, если бы враждебная буря разбила суда Колумба или погнала ихъ назадъ? Подобный же разсчетъ дѣлаетъ и человѣческій разумъ, измѣряя безплотное съ помощью плотскаго и примѣняя математику своихъ заключеній къ скрытой физикѣ сверхчеловѣческаго. Но его вычисленіямъ недостаетъ конечнаго испытанія, ибо изъ той невѣдомой страны ни одинъ путникъ не вернулся къ намъ разсказать о своихъ открытіяхъ.

Человѣческая природа имѣетъ свои собственныя границы, и каждый индивидуумъ—свои собственныя. Съ первыми мы оба примиряемся, вторыя Рафаэль долженъ извинить молодости своего Юлія. Я бѣденъ понятіями, чуждъ многихъ знаній, считаемыхъ необходимыми при этого рода изслѣдованіяхъ. Я не прошелъ никакой философской школы и читалъ мало печатныхъ произведеній. Возможно, что кое-гдѣ я подставляю свои фантазіи на мѣсто строгихъ заключеній разума, выдаю волненіе своей крови, предчувствія и потребности своего сердца за хладнокровную мудрость; но и это, мой милый, все же не заставитъ меня жалѣть о потерянномъ времени. И заблуждающійся разумъ способенъ заселить даже хаотическую страну грезъ, сдѣлать плодоносной даже безплодную почву противорѣчій, и это составляетъ настоящее пріобрѣтеніе для всеобщаго совершенства, это было предусмотрѣно мудрѣйшимъ духомъ! Дорогъ не только искусный механикъ, шлифующій необработанный алмазъ въ бриллiантъ, но и тотъ, кто придаетъ простымъ камнямъ благородный видъ бриллiанта. Тщательная обработка формы можетъ иногда заставить забыть грубую правду матерьяла. Всякое упражненіе въ мышленіи, всякое обостреніе ума развѣ не является небольшой ступенью къ совершенству, а всякое совершенство должно бы имѣть право на существованіе въ міровой полнотѣ. Дѣйствительность не ограничивается абсолютно необходимымъ, она обнимаетъ и относительно необходимое; всякое порожденіе ума, всякое хитросплетеніе остроумія имѣютъ неоспоримое право гражданства въ высшемъ значеніи творенія. Въ безконечномъ планѣ природы должно быть мѣсто для всякой дѣятельности, всеобщее счастье ни должно быть лишено ни малѣйшей степени наслажденія. Не долженъ ли великій промыслитель міра, по волѣ котораго ни одна щепка не падаетъ безполезно, ни одно пустое мѣсто, гдѣ могло бы гнѣздиться хоть какое нибудь наслажденіе жизнью, не остается не заселеннымъ, который ядомъ, смертельнымъ для людей, насыщаетъ ехиднъ и пауковъ, мертвую область гніенія населяетъ растеніями, хозяйственно распоряжается маленькимъ цвѣткомъ сладострастія, могущимъ произростать въ безуміи, переработывающій въ концѣ концовъ порокъ и глупость въ превосходство и съумѣвшій создать великую идею правящаго міромъ Рима изъ похотливости Тарквинія Секста—не долженъ-ли этотъ изобрѣтательный духъ и заблужденія обращать на пользу своимъ великимъ цѣлямъ, и неужели онъ оставитъ обширную область вселенной въ душѣ человѣка пребывать заглохшей и лишенной радостей. Всякая сноровка разума пріобрѣтенная даже на заблужденіяхъ, увеличиваетъ его готовность къ воспріятію истины.

Позволь же мнѣ, дорогой другъ моей души, продолжать свой вкладъ труда въ обширную паутину человѣческой мудрости. Солнце различно отражается въ утреннихъ капляхъ росы и въ величественномъ зеркалѣ омывающаго землю океана! Но стыдно мутному нечистому болоту, никогда его не воспринимающему и не отражающему. Милліоны растеній всасываютъ въ себя изъ четырехъ элементовъ природы. Для всѣхъ стоитъ открытой ея кладовая; но они смѣшиваютъ ея соки и возвращаютъ ихъ на милліоны различныхъ способовъ. Прекрасное разнообразіе указываетъ на богатаго хозяина дома. Четыре элемента, изъ которыхъ черпаютъ всѣ духи—это: ихъ *Я*, природа, Богъ и будущее. Все это смѣшивается въ нихъ на милліоны различныхъ ладовъ и также въ нихъ проявляются, но единая истина, подобно крѣпкой оси, проходитъ черезъ всѣ религіи и всѣ системы: „Стремитесь приблизиться къ Богу, въ котораго вы вѣрите“.

Рафаэль Юлію.

Было бы дѣйствительно печально, Юлій, если бы не оказалось другого средства тебя успокоить, какъ только вернуть тебѣ вѣру въ первенцовъ твоего мышленія. Я съ ис-

тиннымъ удовольствіемъ вновь нашелъ въ твоихъ замѣткахъ идеи, зарожденіе которыхъ въ тебѣ я видѣлъ. Онѣ достойны такой души, какъ твоя, но ты не можешь и не долженъ на этомъ остановиться. Существуютъ радости для всякаго возраста и наслажденія для всякой ступени ума.

Конечно, тебѣ, должно быть, тяжело разстаться съ системой, которая такъ соотвѣтствовала потребностямъ твоего сердца. Никакая другая, объ этомъ я готовъ побиться объ закладъ, не пуститъ въ тебѣ такихъ глубокихъ корней, и, можетъ быть, достаточно было бы предоставить тебя самому себѣ, чтобы ты снова, раньше или позже, примирился съ твоими любимыми идеями. Ты скоро подмѣтилъ бы слабыя стороны противоположной системы и тогда, при одинаковой недоказанности, предпочелъ бы наиболѣе желаемую, а то, можетъ быть, нашелъ бы и новыя доказательства, чтобы спасти изъ нея, по крайней мѣрѣ, существенное, хотя бы даже тебѣ пришлось пожертвовать нѣкоторыми болѣе смѣлыми утвержденіями.

Но все это не входитъ въ мой планъ. Ты долженъ достигнуть болѣе высокой свободы духа, при которой ты не будешь нуждаться въ подобныхъ увертках. Конечно, это не можетъ совершиться въ одну минуту. Обыкновенная цѣль прежняго образованія заключалась въ подчиненіи духа и изъ всѣхъ фокусовъ воспитанія этотъ обыкновенно удавался прежде всего. Даже ты, при всей эластичности твоего характера, повидимому, предназначенъ къ добровольному подчиненію господству мнѣній, и это состояніе несовершеннолѣтія могло продлиться въ тебѣ тѣмъ дольше, чѣмъ меньше ты чувствовалъ его давленіе. У тебя голова и сердце тѣсно связаны. Для тебя ученіе пріобрѣтало цѣну изъ-за учителя. Скоро тебѣ удалось найти въ немъ интересную сторону, облагородить его согласно требованіямъ твоего сердца и уступить въ пунктахъ, которые тебя отталкивали. Нападки на эти мнѣнія ты презиралъ, какъ мальчишескую месть розгѣ наказующаго. Ты щеголялъ своими оковами, такъ какъ предполагалъ, что носишь ихъ по собственному желанію.

Такимъ я нашелъ тебя и мнѣ было грустно видѣть, какъ часто боязливыя соображенія мѣшали тебѣ наслаждаться цвѣтущей жизнью и проявлять благороднѣйшія силы. Послѣдовательность, съ которой ты слѣдовалъ своимъ убѣжденіямъ, и сила души, облегчавшая тебѣ всякую жертву, являлись двойнымъ ограниченіемъ твоей дѣятельности и твоихъ радостей. Тогда я рѣшилъ разрушить кропотливыя усилія влить въ формы обыденныхъ головъ такой умъ, какъ твой. Все свелось къ тому, чтобы обратить твое вниманіе на значеніе саморазмышленія и внушить тебѣ довѣріе къ собственнымъ силамъ. Успѣшность твоихъ первыхъ попытокъ благопріятствовала моему намѣренію. Правда, твоя фантазія работала при этомъ больше, чѣмъ твой умъ. Ея предчувствія быстрѣе замѣнили тебѣ потерянныя тобою драгоцѣннѣйшія убѣжденія, чѣмъ могло бы это сдѣлать медленное хладнокровное изслѣдованіе, постепенно идущее отъ неизвѣстнаго къ извѣстному. Но такъ какъ именно эта вдохновенная система доставила тебѣ первое наслажденіе на этомъ новомъ полѣ дѣятельности, то я поостерегся нарушить желанный энтузіазмъ, который долженъ былъ привести къ развитію твоихъ прекрасныхъ способностей. Теперь сцена перемѣнилась. Возвратъ къ опекѣ дѣтства для тебя навсегда невозможенъ. Нужно слѣдовать дальше, и ты не нуждаешься больше въ пощадѣ.

Ты не долженъ удивляться тому, что такая система, какъ твоя, не можетъ выдержать строгой критики. Всѣ попытки такого же рода, такія же смѣлыя и широкія, какъ твоя, имѣютъ одинаковую судьбу. И вполнѣ естественно, чтобы твое философское поприще имѣло въ частности то же начало, что и у всего рода человѣческаго вообще. Первый предметъ изслѣдованія, на который споконъ вѣка покушался человѣческій умъ, былъ вселенная. Гипотезы о происхожденіи міра и связи между его частями занимали, цѣлыя столѣтія тому назадъ, величайшихъ мыслителей, еще въ то время, когда Сократъ низвелъ современную ему философію съ неба на землю. Но границы житейской мудрости были слишкомъ узки для гордой любознательности его преемниковъ. На развалинахъ старой философіи была воздвигнута новая. Остроуміе позднѣйшихъ вѣковъ бродило по неизмѣримому полю возможныхъ отвѣтовъ на все снова напрашивавшіеся вопросы о таинственномъ смыслѣ природы, который не могъ быть раскрытъ никакими человѣческими изслѣдованіями. Нѣкоторымъ удалось даже придать результатамъ своихъ размышленій видъ опредѣленности, полноты и очевидности. Существуютъ разные фокусы, при посредствѣ которыхъ суетный разумъ пытается избѣжать постыднаго признанія, что, какъ

бы онъ ни расширялъ свои познанія, онъ не можетъ перейти границъ человѣческой природы. То думаютъ, что нашли новыя истины, когда разложили понятіе на отдѣльныя составныя части, изъ которыхъ оно было произвольно составлено. То какое нибудь незамѣтное предположеніе служитъ основаніемъ цѣлой цѣпи заключеній, недостатки которыхъ ловко прикрываются, а найденнымъ такимъ способомъ слѣдствіямъ удивляются, какъ высшей мудрости. То нагромождаютъ одностороннія данныя опыта и на нихъ основываютъ гипотезу, при чемъ умалчиваютъ о противорѣчащихъ данныхъ, или смѣшиваютъ значеніе словъ, согласно требованіямъ, выводимыхъ изъ нихъ заключеній. И все это не составляетъ пріемовъ однихъ философствующихъ шарлатановъ, нужныхъ имъ для обмана публики. Къ подобнымъ же средствамъ прибѣгаетъ, не замѣчая того, и самый честный, самый простодушный изслѣдователь, чтобы утолить свою жажду знанія, какъ только онъ переступитъ за предѣлы сферы, въ которой одной его разумъ можетъ съ полнымъ правомъ радоваться результатамъ своей дѣятельности.

Эти заявленія должны не мало удивить тебя, Юлій, послѣ всего того, что ты раньше слышалъ отъ меня. И все же они не суть результатъ мнительной прихоти. Я могу тебѣ дать отчетъ въ основаніяхъ, изъ которыхъ они вытекаютъ, но я долженъ былъ бы предпослать нѣсколько сухое изслѣдованіе природы человѣческаго познанія, и это я лучше отложу до того времени, когда ты почувствуешь въ томъ потребность. Ты еще не въ томъ настроеніи духа, чтобы смиренная правда о границахъ человѣческаго познанія могла заинтересовать тебя. Сначала произведи опыты надъ системой, вытѣснившей твою. Разбери ее съ такимъ же безпристрастіемъ и такой же строгостью. То же произведи и надъ другими системами, съ которыми ты недавно познакомился; и если ни одна изъ нихъ не удовлетворитъ вполнѣ твоихъ требованій, тогда передъ тобой возникнетъ вопросъ: а справедливы-ли эти требованія?

„Плохое утѣшеніе, скажешь ты. Значитъ послѣ столь блестящихъ надеждъ мнѣ ничего не остается въ будущемъ, какъ только отреченіе? Стоило-ли послѣ этого побуждать меня къ полному пользованію моимъ разумомъ, чтобы ставить ему предѣлы какъ разъ тогда, когда онъ сталъ для меня наиболѣе плодотворнымъ? Неужели я только для того испыталъ высшее наслажденіе, чтобы вдвойнѣ почувствовать томительное чувство моей ограниченности?"

А между тѣмъ я болѣе всего желалъ-бы уничтожить въ тебѣ именно это чувство унынія. Моя цѣль удалить отъ тебя все, что мѣшаетъ тебѣ вполнѣ наслаждаться жизнью, оживить въ тебѣ зародышъ высшаго вдохновенія — сознаніе благородства твоей души. Ты проснулся отъ дремоты, которую нагнало на тебя подчиненіе чужимъ мнѣніямъ. Но ты никогда не достигнешь того величія, къ которому ты предназначенъ, если ты истратишь свои силы въ стремленіи къ недостижимымъ цѣлямъ. Такъ могло еще идти, пока это было естественное слѣдствіе твоей, только что пріобрѣтенной свободы. Идеи, особенно занимавшія тебя раньше, необходимо должны были дать первое направленіе дѣятельности твоего ума. Самоели оно плодотворное изъ всѣхъ возможныхъ, это раньше или позже указалъ-бы тебѣ собственный опытъ. Мое дѣло заключалось только въ томъ, чтобы по возможности ускорить этотъ моментъ. По принятому предубѣжденію значеніе человѣка опредѣляютъ тѣмъ матеріаломъ, который онъ разрабатываетъ, а не тѣмъ, какъ онъ его разрабатываетъ. Но тотъ, кто обладаетъ болѣе возвышенной душой, чтитъ печать совершенства въ самой малой сферѣ и, напротивъ, смотритъ съ сострадательнымъ пренебреженіемъ на тщеславныя попытки проникнуть вселенную взоромъ насѣкомаго. Поэтому изъ всѣхъ идей, заключающихся въ твоихъ замѣткахъ, менѣе всего я могу дозволить тебѣ утвержденіе, будто высшее назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы догадываться о духѣ создателя міра по его художническому творенію. Правда, и я не знаю для дѣятельности совершеннѣйшаго существа болѣе возвышеннаго названія, чѣмъ *искусство*. Но ты, кажется, просмотрѣлъ важное различіе. Вселенная не есть чистый снимокъ идеала, подобно законченному произведенію художника-человѣка. Послѣдній деспотически распоряжается мертвымъ матерьяломъ, служащимъ ему для воплощенія его идей. Но въ божественномъ произведеніи искусства пощажено своеобразное значеніе всякой составной его части, и этотъ оберегающій взглядъ, бросаемый великимъ мастеромъ на всякій зародышъ энергіи, даже въ малѣйшемъ созданіи, возвеличиваетъ его не менѣе, чѣмъ гармонія неизмѣримаго цѣлаго. Жизнь и свобода, въ наиболѣе возможномъ размѣрѣ, вотъ печать божествен-

наго творчества. Оно наиболѣе возвышенно проявляется именно тамъ, гдѣ идеалъ кажется наименѣе достигнутымъ. Но именно это высшее совершенство не можетъ быть постигнуто нами въ нашей теперешней ограниченности. Мы обозрѣваемъ слишкомъ малую часть вселенной, и для нашего уха недоступно воспріятіе огромнаго множества диссонансовъ. Всякая ступень, на которую мы подымемся по лѣстницѣ существъ, сдѣлаетъ насъ воспріимчивѣе къ этого рода художественному наслажденію, но и тогда оно будетъ имѣть для насъ значеніе только средства. только посколько оно будетъ насъ вдохновлять къ подобнаго рода дѣятельности. Лѣнивое созерцаніе чужого величія никогда не можетъ быть высокой заслугой. Болѣе благородные люди не имѣютъ недостатка ни въ матерьялѣ для дѣятельности, ни въ силахъ, чтобы самимъ стать творцами въ своей сферѣ. Это и твое призваніе, Юлій. Разъ ты его признаешь, тебѣ уже никогда не придетъ на умъ жаловаться на границы, которыхъ твоя любознательность не можетъ перешагнуть.

И этого-то момента я жду, потому что тогда увижу тебя вполнѣ примиреннымъ со мной. Ты сначала долженъ вполнѣ ознакомиться съ размѣромъ твоихъ силъ, тогда ты оцѣнишь вполнѣ значеніе свободнаго ихъ проявленія. До тѣхъ поръ продолжай сердиться на меня, но не отчаявайся въ самомъ себѣ.

Э. Радловъ.

Письма о „Донъ-Карлосѣ“.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Вы мнѣ говорите, дорогой другъ, что васъ мало удовлетворяютъ высказанныя до сихъ поръ сужденія о „Донъ-Карлосѣ“, и вы полагаете къ тому же, что большинство ихъ не соотвѣтствуетъ собственной точкѣ зрѣнія автора. Вамъ кажется даже возможнымъ спасти нѣкоторыя, довольно смѣлыя мѣста, хотя бы они были признаны критикою несостоятельными; съ другой стороны, на многія сомнѣнія, которыя возбудила настоящая пьеса, вы находите, при разсмотрѣніи ея въ цѣломъ, если и не полный отвѣтъ, то все же указанія, что авторъ ихъ предвидѣлъ, и принялъ въ разсчетъ. Въ большинствѣ высказанныхъ упрековъ вы склонны были удивляться не столько проницательности критиковъ, сколько тому самодовольству, съ которымъ они выдавали свои порицанія за важныя открытія, не смущаясь, казалось-бы, вполнѣ естественнымъ соображеніемъ, что тѣ погрѣшности, которыя сразу бросаются въ глаза наиболѣе близорукимъ, должны же были быть замѣчены и самимъ авторомъ, едвали менѣе другихъ освѣдомленныхъ изъ числа читателей его произведенія. Поэтому критики должны были обратить вниманіе не столько на факты, сами по себѣ, сколько на тѣ основанія, которыя ихъ обусловливаютъ. Быть можетъ, эти основанія недостаточно ясно обозначены, быть можетъ они вытекаютъ изъ односторонніхъ воззрѣній: задача критика въ томъ и должна была заключаться, чтобы выяснить эту недосказанность или односторонность, если онъ только хотѣлъ имѣть вѣсъ въ глазахъ того, чьимъ онъ выступалъ судьей или совѣтникомъ.

Однако, дорогой другъ, въ концѣ концовъ, какое дѣло автору — обладаетъ ли его критикъ настоящимъ призваніемъ къ дѣлу или нѣтъ, и много-ли, мало-ли высказываетъ онъ проницательности? Пусть это онъ самъ про себя рѣшаетъ. Плохое дѣло и для автора и для его произведенія, если дѣйствіе послѣдняго онъ поставилъ въ зависимость отъ способности критика угадывать и ободрять, если впечатлѣніе, которое должно произвести художественное произведеніе, обусловлено такими свойствами, которыя присущи лишь весьма немногимъ. Вообще говоря, художественное произведеніе оказывается въ самомъ ложномъ положеніи, когда оно предоставлено произвольному толкованію критика и когда оно нуждается въ поддержкѣ, для того, чтобы направить критика на надлежащую оцѣнку. Если вы хотѣли мнѣ указать, что моя пьеса именно и очутилась въ такомъ положеніи, то вы этимъ самымъ дали о ней весьма дурной отзывъ, и вы даете мнѣ поводъ еще разъ разсмотрѣть ее съ данной точки зрѣнія. Итакъ, вопросъ, на мой взглядъ, сводится къ тому, чтобы внимательно разсмотрѣть—все ли необходимое для пониманія настоящаго произведенія заключается въ немъ самомъ и достаточно-ли оно ясно выражено, чтобы читателю легко было это распознать. Позвольте же мнѣ, дорогой другъ, съ вами нѣсколько побесѣдовать

объ этомъ вопросѣ. Я уже до нѣкоторой степени отдалился отъ своей пьесы и стою какъ разъ на перепутьѣ между авторомъ-художникомъ и его судіей, вслѣдствіе чего я, быть можетъ, буду въ состояніи соединить въ себѣ близкое знакомство съ предметомъ, присущее автору, и независимость сужденія критика.

Весьма возможно—и я считаю необходимымъ сдѣлать эту оговорку съ самаго начала—что я, вообще, возбудилъ иныя ожиданія въ первыхъ дѣйствіяхъ своей драмы, чѣмъ то, что я далъ въ послѣднихъ. Новелла Сентъ-Реаля, быть можетъ, также, мои собственныя разсужденія по поводу нея въ первой части „Таліи" могли указать читателю на точку зрѣнія, которая нынѣ болѣе не соотвѣтствуетъ данной пьесѣ. Дѣло въ томъ, что за время, въ которое настоящее произведеніе писалось,—а время это, въ силу разныхъ помѣхъ, оказалось довольно таки продолжительнымъ,—во мнѣ самомъ многое измѣнилось. И моя драма должна была отразить на себѣ различныя колебанія, которымъ подверглись мой образъ мыслей и чувства. То, что меня сначала захватывало всецѣло въ задуманной драмѣ, современемъ стало слабѣе дѣйствовать, а подъ конецъ едва-ли не совсѣмъ перестало интересовать. Новыя мысли, которыя возникли во мнѣ за то время, вытѣснили прежнія; Донъ Карлосъ самъ утратилъ мое расположеніе, быть можетъ ни по какой иной причинѣ какъ той, что слишкомъ обогналъ его годами, а соотвѣтственно, въ силу обратныхъ причинъ, его мѣсто занялъ маркизъ Поза. Такимъ то образомъ и случилось, что я подошелъ съ совершенно иными чувствами, какъ бы съ инымъ сердцемъ, къ обработкѣ четвертаго и пятаго дѣйствій драмы. Но тогда первыя три дѣйствія уже были достояніемъ публики; нельзя уже было нарушить общаго плана всего произведенія—и стало быть мнѣ приходилось или совсѣмъ его уничтожить (за что меня поблагодарила бы развѣ лишь меньшая часть моихъ читателей) или же постараться, какъ я могъ, приноровить вторую часть къ первой. Если это не во всемъ одинаково удалось, то утѣшаюсь мыслью, что врядъ-ли съумѣлъ-бы это удачнѣе выполнить и человѣкъ болѣе искусный, чѣмъ я. Главная ошибка заключалась въ томъ, что я слишкомъ долго носился съ настоящей пьесой; драматическое произведеніе можетъ и должно быть цвѣткомъ лишь одного лѣта. Затѣмъ и общій планъ былъ задуманъ слишкомъ широко для тѣхъ границъ и правилъ, которымъ подчинены драматическія произведенія. Такъ, напримѣръ, по замыслу слѣдовало показать, что маркизъ Поза пользовался самымъ неограниченнымъ довѣріемъ Филиппа, но, сообразуясь съ общей экономіей пьесы, я могъ посвятить выясненію этихъ въ высшей степени важныхъ отношеній лишь одну единственную сцену.

Быть можетъ высказанныя соображенія помогутъ мнѣ оправдаться передъ моими друзьями, но они не служатъ оправданіемъ передъ искусствомъ. Пусть по крайней мѣрѣ они положатъ конецъ той безконечной риторикѣ, которой дала поводъ именно эта сторона моего произведенія для критиковъ, грозой ополчившихся противъ меня.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Почти всѣ находятъ, что характеръ маркиза Позы слишкомъ идеализированъ; но въ какой мѣрѣ это мнѣніе правильно, всего скорѣе выяснится, когда мы сведемъ своеобразные поступки этого человѣка къ ихъ основнымъ побужденіямъ. Мнѣ придется, какъ видите, имѣть дѣло съ двумя различными лагерями критиковъ. Тѣмъ, которые его просто на просто изъяли изъ разряда человѣческихъ существъ, предстоитъ доказать—въ какой степени онъ все-же является вполнѣ человѣкомъ, насколько его мысли и его поступки вытекаютъ изъ чисто человѣческихъ побужденій и тѣсно связаны съ цѣпью внѣшнихъ обстоятельствъ; критикамъ, окрестившимъ его именемъ „божественнаго человѣка", мнѣ достаточно указать на нѣкоторыя слабости въ немъ весьма человѣческаго свойства. Врядъ ли мысли, высказываемыя маркизомъ Позой, философія, которою онъ руководствуется, любовь, одушевляющая его,—какъ бы все это ни выходило изъ рамокъ будничной жизни,—врядъ ли онѣ достаточны, взятыя какъ простыя понятія или представленія, чтобы имѣть право выключить маркиза изъ разряда человѣческихъ существъ. Ибо что только не можетъ зародиться въ умѣ человѣка и, зародившись, обратиться въ страсть, если человѣкъ обладаетъ пылкимъ сердцемъ? Точно также слѣдуетъ замѣтить и о поступкахъ маркиза Позы, что, какъ бы они ни казались исключительными, они все же не могутъ считаться безпримѣрными въ исторіи; самопожертвованіе маркиза ради

своего друга весьма мало, или даже совсѣмъ не выдается надъ геройской смертью какого нибудь Курція, Регула и другихъ. Итакъ, неправильное и невозможное въ характерѣ маркиза должно зависѣть или отъ несоотвѣтствія его мыслей съ тогдашней эпохой, или отъ того, что эти мысли представляются недостаточно яркими и жизненными, чтобы дѣйствительно побудить человѣка къ подобнымъ поступкамъ. Я не могу понять возраженій, которыя были сдѣланы противъ правдоподобія выведеннаго характера, иначе какъ въ томъ смыслѣ, что въ вѣкъ Филиппа II не могло быть человѣка, который разсуждалъ бы такъ, какъ это дѣлаетъ маркизъ Поза; далѣе,—что высказываемыя имъ мысли не могутъ такъ легко переходить въ дѣйствіе, какъ это представлено въ пьесѣ; наконецъ, что такія идеальныя мечты не должны были быть воплощены съ такою послѣдовательностью и такъ настойчиво сопровождаться дѣйствіями.

Тѣ возраженія, которыя были высказаны противъ даннаго характера съ точки зрѣнія выбранной мною эпохи дѣйствія, скорѣе на мой взглядъ говорятъ за, а не противъ моего замысла. По примѣру всѣхъ великихъ людей, такой характеръ зарождается между тьмой и свѣтомъ и стоитъ одинокимъ, выдающимся явленіемъ. Онъ вырабатывается въ эпохи всеобщаго броженія умовъ, борьбы разума съ предразсудками, анархіи мнѣній; предразсвѣтная заря правды—искони моментъ рожденія выдающихся людей. Тѣ идеи о свободѣ и благородствѣ человѣка, которыя заронены счастливой случайностью, а можетъ быть благопріятными условіями воспитанія, въ чистую, воспріимчивую душу, приводятъ ее въ изумленіе своей новизной и дѣйствуютъ на нее со всею силой необычайнаго и поражающаго явленія; сама сокровенность, при которой они вѣроятно были ей сообщены, должна была увеличить силу впечатлѣнія. Данныя идеи еще не пріобрѣли, вслѣдствіе долгаго пользованія ими, того отпечатка банальности, которая нынѣ такъ притупляетъ ихъ дѣйствіе; печать величія еще не стерлась на нихъ ни отъ школьныхъ разглагольствованій, ни отъ остроумничанія свѣтскихъ людей. Душа этого человѣка чувствуетъ себя въ открывшихся ей идеяхъ какъ бы въ новой и прекрасной области, которая озаряетъ ее своимъ ослѣпительнымъ свѣтомъ и восхищаетъ въ чудномъ сновидѣніи. Противоположная этимъ идеямъ нищета рабства и суевѣрій заставляетъ ее тѣмъ сильнѣе и сильнѣе привязываться къ этому чудному міру,—вѣдь прекраснѣйшія сны о свободѣ грезятся именно въ темницѣ. Скажите сами, мой другъ, гдѣ лучше и естественнѣе могъ зародиться самый идеалъ человѣческой республики, идеалъ—всеобщей терпимости и свободы совѣсти, какъ не вблизи Филиппа II и его инквизиціи?

Всѣ основныя убѣжденія и всѣ симпатіи маркиза Позы обращены къ республиканской добродѣтели, вокругъ которой рѣятъ. Даже его самопожертвованіе ради друга служитъ тому доказательствомъ, ибо именно способность къ самопожертвованію лежитъ въ основѣ всѣхъ республиканскихъ добродѣтелей. Эпоха, въ которой онъ выступалъ, была какъ разъ такой, когда всего болѣе говорилось о правахъ человѣка и о свободѣ совѣсти. Предшествующая реформація впервые пустила въ оборотъ эти идеи, и волненія во Фландріи поддерживали ихъ въ обиходѣ. Внѣшнее независимое положеніе маркиза, даже его званіе мальтійскаго рыцаря, предоставили ему благопріятный досугъ для того, чтобы отвлеченныя мечты могли достигнуть полной зрѣлости.

Итакъ, ни въ избранной эпохѣ, ни въ государствѣ, въ которомъ жилъ маркизъ, ни въ окружающихъ его условіяхъ—нѣтъ основаній, по которымъ онъ оказался бы не способнымъ къ усвоенію и даже страстной приверженности къ данной философіи.

Если исторія богата примѣрами, что изъ-за простыхъ мнѣній готовы забыть все мірское, если самымъ неосновательнымъ бреднямъ придаютъ такую силу, что онѣ способны возбудить человѣческій духъ къ всякаго рода самопожертвованіямъ, то было бы страннымъ отрицать эту силу за правдой. Въ такое же время, которое было такъ обильно примѣрами, что люди рисковали и добромъ и жизнью изъ за догматовъ, заключающихъ весьма мало вдохновляющаго, долженъ былъ, на мой взглядъ, зародиться и такой характеръ человѣка, который бы рискнулъ чѣмъ нибудь подобнымъ ради самой возвышенной изъ идей; иначе пришлось бы признать, что правда менѣе способна трогать человѣческое сердце, чѣмъ безуміе. Кромѣ того маркизъ задуманъ какъ героическая натура. Уже въ ранней молодости онъ выказалъ, съ мечомъ въ рукахъ, проявленіе такого духа, который впослѣдствіи долженъ былъ выразиться въ болѣе серьезномъ дѣлѣ.

Вдохновляющія истины и возвышающая

духъ философія должны были, сдается мнѣ, совсѣмъ иначе отразиться въ героической душѣ, чѣмъ въ головѣ кабинетнаго ученаго, или въ изношенномъ сердцѣ изнѣженнаго свѣтскаго человѣка.

Вы говорите, что поводъ къ возраженіямъ дали главнымъ образомъ два поступка маркиза: его отношеніе къ королю въ 10-ой сценѣ третьяго дѣйствія и его самопожертвованіе ради своего друга. Но вѣдь могло быть, что откровенность, съ которою маркизъ излагаетъ королю свой образъ мыслей, зависѣла не столько отъ его мужества, сколько отъ его обстоятельнаго знанія характера короля, и такимъ образомъ, съ отстраненіемъ вопроса объ опасности, падаетъ главное возраженіе противъ этой сцены. Но объ этомъ въ другой разъ, когда я съ вами буду бесѣдовать о Филиппѣ II; теперь же я имѣю въ виду исключительно лишь актъ самопожертвованія Позы за принца; объ немъ то и хочу подѣлиться съ вами въ слѣдующемъ письмѣ нѣкоторыми соображеніями.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Вы думали, что только-что нашли въ „Донъ Карлосѣ" доказательство, что страстная дружба служитъ столь-же трогательнымъ сюжетомъ для драмы, какъ и страстная любовь, и васъ удивилъ мой отвѣтъ, что я отложилъ до будущаго времени изображеніе такой дружбы. Итакъ и вы тоже, какъ и большинство моихъ читателей, сочли за несомнѣнное, что я именно поставилъ себѣ цѣлью изобразить пылкую до безумья дружбу въ отношеніяхъ между Карлосомъ и маркизомъ Позой? И, соотвѣтственно, вы съ этой точки зрѣнія судили оба характера, а можетъ быть и всю драму? Но какъ-же быть, дорогой другъ, если вы на самомъ дѣлѣ мнѣ по отношенію къ этой дружбѣ слишкомъ много приписывали? Если изо всего произведенія, въ его цѣломъ, ясно вытекаетъ, что она не могла и совершенно не можетъ служить такою цѣлью? Если характеръ маркиза такой, какимъ онъ обрисовывается изъ общаго образа его дѣйствій, не вяжется съ подобной дружбой, и если прекраснѣйшіе изъ его поступковъ, которые склонны ей вмѣнить, представляются наилучшимъ доказательствомъ какъ разъ противоположнаго?

Первое указаніе объ отношеніяхъ между обоими означенными лицами могло ввести въ заблужденіе; но это лишь на первый взглядъ и достаточно малѣйшаго вниманія къ различному поведенію того и другого, чтобы выяснить ошибочность такого взгляда. Изъ того, что авторъ начинаетъ съ ихъ юношеской дружбы, не слѣдуетъ, чтобы онъ отказался отъ своихъ болѣе высокихъ замысловъ; напротивъ того, его планъ какъ нельзя лучше развертывался по намѣченной нити. Отношенія, въ которыхъ находятся съ самаго начала оба дѣйствующія лица, представляются отголоскомъ ихъ прежнихъ, школьныхъ лѣтъ. Ихъ привязывали тогда другъ къ другу взаимное сочувствіе, одинаковая любовь къ великому и прекрасному, одинаковый энтузіазмъ къ правдѣ, свободѣ и добродѣтели. Такой характеръ, какъ у Позы, развившійся впослѣдствіи такъ именно, какъ это изображено въ пьесѣ, долженъ былъ съ ранней поры проявлять присущую ему живую силу воспріимчивости къ плодотворному дѣлу; чувство любви и благожеланія, которое впослѣдствіи должно было распространиться на все человѣчество, необходимо вытекало изъ первоначально болѣе тѣсныхъ узъ. Этотъ творческій и пламенный духъ долженъ былъ вскорѣ найти себѣ почву примѣненія, а могло ли что представиться болѣе привлекательнымъ для этого, чѣмъ молодой сынъ государя, умѣющій нѣжно и живо чувствовать, воспріимчивый къ его проповѣди, и самъ добровольно спѣшащій ему навстрѣчу? Однако, уже и въ этой ранней порѣ молодости серьезность характера маркиза выказывается въ нѣкоторыхъ чертахъ; уже тогда онъ—болѣе сдержанный другъ, и его сердце, слишкомъ широкое, чтобы замкнуться въ любви къ одному лишь существу, должно было закалиться принесеніемъ тяжелой жертвы:

И сталъ тебя я нѣжностями мучить,
Глубокой, внутренней любовью брата,
Ты жъ, гордый, холодно мнѣ отвѣчалъ...
Ты пренебречь моей любовью могъ,
Но отдалить не могъ ты отъ себя.
Отвергъ ты трижды принца; трижды снова,
Какъ нищій, онъ молилъ твоей любви,
и т. д.
... И подъ позорной плетью
Кровь королевская моя лилась,—
Такъ дорого мнѣ стоило упорство
Снискать любовь твою, Родриго...*).

*) Цитаты изъ «Донъ-Карлоса» приводятся въ переводѣ Ѳ. Батюшкова.

Такимъ образомъ, уже здѣсь даны нѣкоторыя указанія на то, какъ мало приверженность маркиза къ принцу зависѣла отъ личнаго ихъ сочувствія. Поза думалъ о Донъ-Карлосѣ прежде всего какъ о сынѣ короля; прежде всего въ немъ возникла эта мысль и прокралась между его личными чувствами и умолявшимъ о взаимности его другомъ. Донъ-Карлосъ открываетъ ему свои объятія; юный „гражданинъ вселенной" становится передъ нимъ на колѣни. Любовь къ свободѣ и къ благородству раньше созрѣла въ его душѣ, чѣмъ его дружеское расположеніе къ Карлосу; эта дружба лишь вѣтвь, выросшая на томъ могучемъ стволѣ. Даже въ ту минуту, когда его гордость смирилась передъ громадностью жертвы, принесенной его другомъ, даже тогда не опускаетъ онъ изъ виду сына короля. „Я расплачусь съ тобой, говорилъ онъ, когда ты станешь королемъ". Развѣ возможно, чтобы въ столь юномъ сердцѣ, при живомъ и постоянномъ сознаніи съ той и другой стороны неравенства ихъ общественнаго положенія, возрасла дружба, однимъ изъ существенныхъ условій которой служитъ равенство? Такимъ образомъ и раньше привлекла маркиза къ принцу не столько любовь, сколько благодарность, не столько дружба, сколько участіе. Различныя чувства, чаянія, мечты, планы, тѣснившіеся смутно и безпорядочно въ его юной душѣ, должны были быть высказаны другому, отразиться въ чужой душѣ, а Карлосъ былъ единственнымъ человѣкомъ, который способенъ былъ ихъ перечувствовать, передумать и отвѣчать имъ. Человѣкъ, какъ Поза, долженъ былъ рано стремиться къ тому, чтобы пользоваться своимъ превосходствомъ, а любвеобильный Карлосъ такъ покорно, такъ чутко подчинялся ему. Поза видѣлъ въ этомъ прекрасномъ зеркалѣ себя самого и радовался собственному изображенію. Такъ возникла эта дружба школьныхъ лѣтъ.

Но затѣмъ они были разлучены, и все стало инымъ. Карлосъ является ко двору своего отца, а Поза ринулся въ свѣтъ. Первый, избалованный своею ранней привязанностью къ благороднѣшему и пылкому юношѣ, не находитъ въ кругу приближенныхъ при дворѣ деспотичнаго правителя ничего такого, чтобы могло удовлетворить его сердце. Все здѣсь кажется ему пустымъ и безплоднымъ. Одинокій въ суетной толпѣ столькихъ придворныхъ, угнетенный окружающей его дѣйствительностью, онъ вянетъ, отдавшись воспоминаніямъ о прошломъ. У него, такимъ образомъ, ранніе впечатлѣнія сохраняются живыми и свѣжими, и его сердце, расположенное къ добру, за недостаткомъ достойнаго примѣненія, расходуется въ пустыхъ грезахъ. Такъ понемногу впадаетъ онъ въ состояніе праздной мечтательности и бездѣятельнаго созерцанія. Его силы даромъ изнашиваются въ послѣдующей борьбѣ съ его положеніемъ; враждебныя столкновенія съ отцомъ, столь мало на него похожимъ, тяжелымъ гнетомъ ложатся на все его существо; это червь, вѣчно подтачивающій расцвѣтъ духовной жизни, смерть для вдохновенія. Связанный, лишенный энергіи, за отсутствіемъ настоящаго дѣла ушедшій весь въ самого себя, угнетенный тяжелой и безплодной борьбой, со страхомъ мечущійся между двумя крайностями, неспособный болѣе ни къ какому самостоятельному подъему духа—таковъ былъ Карлосъ, когда его охватила первая любовь.

Находясь въ указанномъ состояніи, онъ потерялъ всякую силу противодѣйствовать ей; всѣ прежнія его мысли, которыя однѣ могли удержать его въ равновѣсіи, понемногу стали болѣе чуждыми его душѣ; любовь овладѣла имъ вполнѣ деспотически; такъ впадаетъ онъ въ болѣзненное и вмѣстѣ съ тѣмъ сладостное состояніе страсти. Всѣ его силы направлены на одинъ предметъ. Непрестанное томленіе тѣснитъ, какъ путы, ему душу, замкнутую въ себѣ самой. Какъ-же могла-бы она обнять вселенную? Не имѣя возможности удовлетворить свое желаніе, еще менѣе того способный побѣдить страсть внутреннимъ усиліемъ духа, онъ, полуживой, полумертвый, явно опускается; нѣтъ у него никакого отвлеченія отъ жгучей боли, тѣснящей его грудь, нѣтъ сострадательнаго, сочувственнаго сердца, которому онъ могъ-бы излиться:

Нѣтъ у меня вѣдь никого, нигдѣ,
Въ большомъ широкомъ мірѣ никого;
Доколѣ тянется отца держава,
Доколь судовъ испанскихъ видны флаги—
Нѣтъ уголка, нигдѣ мѣстечка нѣтъ,
Гдѣ бъ могъ я волю дать своимъ слезамъ...

Безпомощность и неудовлетворенность сердца возвращаютъ его теперь къ тому времени, когда (былая, благодаря дружбѣ) полнота сердца давала ему исходъ его чувствамъ. Теперь онъ сильнѣе ощущаетъ потребность въ симпатіи, такъ какъ онъ

одинокъ и несчастенъ. Такимъ-то застаетъ Карлоса вернувшійся къ нему его другъ.

Между тѣмъ у послѣдняго все шло совершенно иначе. Со своимъ открытымъ умомъ, со всѣми силами юности и стремительностью генія, съ любящимъ сердцемъ, попавшій въ водоворотъ свѣта, онъ могъ наблюдать, какъ дѣйствуютъ люди въ великихъ и малыхъ дѣлахъ; онъ находитъ возможность провѣрить тотъ идеалъ, который онъ приноситъ съ собой, на дѣятельныхъ силахъ всего человѣческаго рода. Все, что онъ слышитъ, видитъ, усвоивается имъ съ горячимъ энтузіазмомъ, все имъ воспринято, продумано, переработано по отношенію къ его идеалу. Человѣкъ передъ нимъ открывается въ различныхъ разновидностяхъ; Поза научается познавать его въ разныхъ условіяхъ климата, при различной общественной организаціи, разныхъ степеняхъ образованности и на разныхъ ступеняхъ счастья.

Такъ въ немъ складывается постепенно объединенное и возвышенное представленіе о человѣкѣ вообще, представленіе, предъ которымъ исчезаютъ ограничивающія его ничтожныя и мелочныя подробности. Онъ выходитъ изъ границъ самого себя и его душа ширится въ просторѣ вольнаго міра. Замѣчательныя люди, которыхъ онъ встрѣчаетъ на своемъ пути, развлекаютъ его вниманіе, вызывая въ немъ то ненависть, то любовь. Для него теперь вмѣсто отдѣльной индивидуальности выступаетъ цѣлый родъ; легко проходящій юношескій афектъ обращается во всеобъемлющую, безграничную любовь къ человѣчеству. Изъ празднаго энтузіаста онъ сталъ дѣятельнымъ, живымъ человѣкомъ. Прежнія грезы и предчувствія, которыя раньше залегли въ его душѣ въ смутномъ и загадочномъ состояніи, прояснились теперь въ точныя понятія; праздныя мечты обратились въ дѣла; общее, неопредѣленное стремленіе къ дѣятельности нашло себѣ цѣлесообразное примѣненіе. Онъ изучалъ духовныя свойства различныхъ народностей, оцѣнивалъ ихъ силы и средства, изслѣдовалъ ихъ учрежденія; въ сношеніяхъ съ родственными по духу людьми онъ пріобрѣлъ большую разносторонность въ мысляхъ и нашелъ имъ соотвѣтствующую форму; испытанные міровые дѣятели, какъ Вильгельмъ Оранскій, Колиньи и др., умѣрили романтизмъ его идей и постепенно низвели ихъ на степень осуществимаго на дѣлѣ.

Итакъ, обогащенный тысячью новыхъ мыслей, полный кипучихъ силъ и творческихъ стремленій, смѣлыхъ и широко-задуманныхъ плановъ, съ головой, занятой дѣятельной работой мысли, съ пылкимъ сердцемъ, проникнутый высокими, одушевляющими идеями о значеніи человѣка и его благородства, ратующій тѣмъ пламеннѣе за счастье всего человѣчества, что онъ узналъ это человѣчество по многимъ отдѣльнымъ индивидуумамъ,—такимъ возвращается маркизъ Поза съ обильной жатвы, горя желаніемъ найти поприще, гдѣ онъ могъ-бы осуществить свои идеалы, использовать собранныя имъ сокровища*). И вотъ ему представляется положеніе Фландріи. Все въ ней подготовлено къ революціи. Знакомый съ характеромъ народа, съ его силами и средствами, которыя онъ разсчитываетъ направить противъ своего притѣснителя, Поза считаетъ свое великое предпріятіе какъ бы уже выполненнымъ. Для его идеала республиканской свободы врядъ-ли могъ наступить болѣе благопріятный моментъ и найтись болѣе воспріимчивая почва:

Такъ много здѣсь цвѣтущихъ областей!
Народъ здѣсь сильный, мужествомъ великъ,
А также добрый сердцемъ,—быть ему отцомъ
Казалось мнѣ божественнымъ удѣломъ!

Чѣмъ несчастнѣе застаетъ онъ народъ, тѣмъ глубже внѣдряется это желаніе въ его сердце, тѣмъ скорѣе спѣшитъ онъ осуществить его. Тогда-то, тогда лишь впервые живо вспоминаетъ онъ о своемъ другѣ,

*) Въ послѣдующемъ разговорѣ съ королемъ раскрываются завѣтныя идеи Позы. «Одинъ лишь почеркъ пера вашей руки, говоритъ онъ, и міръ переродится. Дайте свободу мысли.
Дозвольте,
Съ великодушьемъ сильнаго, разлиться
Всѣмъ счастью изъ сокровищницы вашей,
И въ міровой своей державѣ дайте
Умамъ свободно созрѣвать
...Вы человѣчеству верните
Достоинство, утраченное имъ.
Пусть граждане, какъ прежде, будутъ снова
Престола цѣль, иныхъ не зная узъ,
Какъ братьевъ равныя блюсти права.
Пусть пахарь плугомъ славится, довѣривъ
Престолъ державный королю, который
Не землепашецъ самъ...
Пусть въ мастерской своей художникъ мнитъ,
Что лучшій міръ онъ въ грезахъ создаетъ,
И пусть мыслителя полетъ думъ смѣлыхъ
Преградъ иныхъ не знаетъ, кромѣ тѣхъ,
Которыя на насъ природа налагаетъ».

съ которымъ онъ разстался въ Алькалѣ, воспламенивъ его сердце мечтами о счастьѣ для людей. На него Поза возлагаетъ надежды, какъ на спасителя угнетенной страны, какъ на орудіе его высокихъ плановъ. Полный невыразимой любви, потому что онъ думаетъ о Донъ-Карлосѣ неразрывно съ дорогими его сердцу мечтами, маркизъ спѣшитъ въ его объятія въ Мадридъ, разсчитывая найти у своего друга разросшимися въ богатую жатву тѣ зерна гуманности и героической добродѣтели, которыя онъ заронилъ въ его душѣ, разсчитывая обнять его, какъ освободителя Нидерландовъ, какъ будущаго создателя взлелѣяннаго имъ въ мечтахъ государства.

Съ большей страстностью, чѣмъ въ періодъ ихъ перваго знакомства, съ лихорадочной горячностью спѣшитъ Донъ-Карлосъ на встрѣчу Позѣ:

Къ своей груди тебя я прижимаю,
Опять съ тобою мы, душа въ душѣ,—
О, все теперь пойдетъ на ладъ. Вѣдь снова
Въ объятьяхъ я Родрига моего!

Встрѣча самая восторженная; но какъ отвѣчаетъ на нее Поза? Онъ, оставившій своего друга въ полномъ разцвѣтѣ юности и теперь найдя его какимъ-то блуждающимъ живымъ мертвецомъ, развѣ онъ задумывается надъ этой грустной перемѣной? Развѣ онъ входитъ въ разсмотрѣніе частностей обстоятельствъ своего друга? Непріятно пораженный, онъ строго отвѣчаетъ на эту встрѣчу:

Нѣтъ, не такимъ я думалъ встрѣтить сына
Филиппа... То не юноша
Съ отвагой львиной, передъ кѣмъ посолъ
Народа угнетеннаго героевъ!
Не прежній съ вами говоритъ Родриго,
Не школьный другъ ребячьихъ игръ Карлоса,—
Посланникъ человѣчества предъ вами:
То Фландрія въ объятьяхъ вашихъ плачетъ...

Неохотно отклоняется онъ отъ главной мысли, занимающей его именно въ эту первую минуту свиданія, послѣ столь продолжительной разлуки, когда, обыкновенно, столько есть поразсказать другъ другу важныхъ мелочей. Донъ-Карлосъ долженъ изложить всю плачевность своего теперешняго состоянія, вызвать воспоминанія объ отдаленныхъ временахъ дѣтства, чтобы отвлечь своего друга отъ его думъ, вызвать его сочувствіе и заставить вдуматься въ его собственное печальное положеніе. Поза съ ужасомъ видитъ, что онъ обманулся въ надеждахъ, съ которыми спѣшилъ къ своему другу. Онъ ожидалъ встрѣтить въ немъ геройскую натуру, жаждущую подвиговъ, которымъ онъ открывалъ теперь поприще. Онъ разсчитывалъ на запасъ высокой любви къ человѣчеству, на клятву, данную имъ на преломленной облаткѣ причастія въ годы мечтательной юности, и вмѣсто всего этого—слышитъ разсказъ о страсти къ супругѣ своего отца:

Не тотъ уже Карлосъ, не тотъ, съ которымъ
Въ Алкалѣ нѣкогда разстался ты;
Не тотъ, который грезилъ вдохновенно,
У самого Творца отнявши рай,
Его здѣсь водворить, какъ самодержецъ.
То былъ лишь дѣтскій бредъ,—но какъ прекрасенъ!
Умчались грезы...

Безнадежная страсть искалѣчила его силы и даже его жизнь въ опасности. Какъ поступилъ-бы при такихъ обстоятельствахъ заботливый другъ принца, но такой, который былъ-бы только его другомъ, ничѣмъ инымъ? И какъ поступаетъ Поза, этотъ „гражданинъ вселенной“? Поза, какъ другъ и наперсникъ принца, имѣлъ-бы слишкомъ много поводовъ опасаться за безопасность своего Карлоса, чтобы рѣшиться содѣйствовать слишкомъ рискованной встрѣчѣ его съ королевой. Именно на обязанности друга лежала-бы скорѣе забота заглушить въ немъ эту страсть, а отнюдь не содѣйствовать ея удовлетворенію. Но Поза, ходатай за Фландрію, поступаетъ совершенно иначе. Для него нѣтъ ничего важнѣе, какъ скорѣе положить предѣлъ тому состоянію безнадежности, которое порабощаетъ дѣятельныя силы его друга, прекратить его, хотя-бы рискнувъ для этого смѣлымъ шагомъ. Пока его другъ находится подъ гнетомъ неудовлетворенныхъ желаній, онъ не можетъ сочувствовать чужому горю; пока его силы порабощены унынiемъ, онъ не можетъ возвыситься до какого-нибудь героическаго рѣшенія. Отъ несчастнаго Карлоса Фландріи нечего ожидать, но можетъ быть отъ счастливаго дождется. И такъ онъ спѣшитъ содѣйствовать его пламенному желанію, самъ ведетъ его къ ногамъ королевы, и не останавливается только на этомъ. Онъ не находитъ болѣе въ настроеніи принца тѣхъ побужденій, ко-

торыя могли-бы, при другихъ обстоятельствахъ, подвинуть его къ героическимъ рѣшеніямъ. Что другое остается ему дѣлать, какъ не разжечь потухшій духъ героя о постороннее пламя, и для этого воспользоваться единственной страстью, которою горѣла душа принца? Къ ней долженъ онъ пріобщить тѣ новыя идеи, которымъ онъ хочетъ дать въ его душѣ преобладающее значеніе. Заглянувъ въ сердце королевы, онъ убѣждается, что отъ ея содѣйствія можно всего ожидать. Поза хотѣлъ лишь отнять у страсти ея первоначальную восторженность. Если королева послужила къ тому, чтобы дать его другу спасительный подъемъ духа, то теперь онъ больше въ ней не нуждается и онъ можетъ быть увѣреннымъ, что страсть сама собою потухнетъ. Итакъ, даже это препятствіе, которое становилось противъ его великаго замысла, даже эта несчастная любовь обращается теперь въ орудіе для осуществленія той важной цѣли, и участь Фландріи заговоритъ въ сердцѣ его друга устами любви.

Я въ безнадежной страсти принца
Надежды лучъ златой предугадалъ.
Его вести хотѣлъ я къ совершенству.
Тотъ царскій, гордый плодъ лишь тихо зрѣетъ
Съ годами возраста людского; нынѣ
Его ускорить ранняя должна
Весна любви-волшебницы. Согрѣтый
Ея, какъ солнца лучъ, живительною силой,
Принцъ долженъ доблесть воспитать въ себѣ.

Донъ Карлосъ получаетъ изъ рукъ королевы тѣ письма, которыя Поза привезъ ему изъ Фландріи. Благодаря королевѣ, теперь вернулся отлетѣвшій геній его.

Еще нагляднѣе представляется это подчиненіе дружбы болѣе важнымъ интересамъ, при свиданіи въ монастырѣ. Одинъ изъ плановъ принца, разсчитывавшаго на короля, не удался. Эта незадача и открытіе, которое онъ было сдѣлалъ, что его любовь можетъ встрѣтить сочувствіе, послужили поводомъ ему вернуться къ прежней страсти съ новымъ пыломъ. Позѣ показалось, что къ этой любви уже примѣшивались порывы чувственности. Ничто не отвѣчало менѣе его высокимъ замысламъ. Всѣ надежды, которыя онъ возлагалъ на любовь Карлоса въ королевѣ для спасенія Нидерландовъ, рушились, какъ только эта любовь принимала низменный характеръ. Досада, испытываемая имъ, выдаетъ его дѣйствительныя намѣренія:

О, чувствую я, отъ чего
Приходится теперь мнѣ отказаться.
Когда-то было все инымъ. Такъ много
Въ тебѣ сокровищъ было, теплоты
Душевной. Цѣлый міръ въ твоей груди
Могъ умѣститься. И одна лишь страсть
Изъ себялюбья мелкаго все поглотила.
Твой умеръ духъ. Ужъ никакія слезы
Не вызовутъ въ тебѣ слезы единой
Къ несчастной участи провинцій. Карлъ,
Какъ обнищалъ ты, какъ ты сталъ ничтоженъ
Съ тѣхъ поръ, какъ любишь ты лишь самъ себя...

Изъ страха передъ такимъ паденіемъ, онъ считаетъ необходимымъ рѣшиться на смѣлый шагъ. До тѣхъ поръ, пока Карлосъ будетъ оставаться вблизи королевы, онъ погибъ для интересовъ Фландріи. Между тѣмъ его присутствіе въ Нидерландахъ могло бы дать совершенно новый оборотъ дѣлу. Въ виду этого, Поза ни минуты не задумывается направить его туда самымъ рѣшительнымъ образомъ:

— Онъ долженъ
Нарушить волю короля; онъ долженъ
Проѣхать тайно въ Брюссель, гдѣ его,
Раскрывъ объятья, всѣ фламандцы встрѣтятъ.
Подъ знаменемъ его возстанутъ всѣ —
Упрочитъ царскій сынъ благое дѣло.

Развѣ могъ бы настоящій другъ Карлоса рѣшиться такъ рисковать добрымъ именемъ, даже жизнью своего друга? Однако, Поза, для котораго освобожденіе порабощеннаго народа было гораздо болѣе важнымъ побужденіемъ, чѣмъ личныя дѣла друга, Поза, „гражданинъ вселенной“, долженъ былъ поступить именно такъ, а не иначе. Все, что онъ предпринимаетъ, по мѣрѣ развитія дѣйствія въ пьесѣ, доказываетъ смѣлую рѣшительность, которая можетъ быть вызвана лишь геройской цѣлью; дружба-же часто робка и всегда—заботлива. Гдѣ же мы видѣли до сихъ поръ въ характерѣ маркиза малѣйшіе слѣды такой боязливой заботливости объ одномъ существѣ, такой все прочее исключающей привязанности, въ чемъ, однако, и заключаются своеобразныя черты страстной дружбы? Когда-же у маркиза Позы личные интересы его друга не подчинены болѣе высокимъ интересамъ человѣчества? Твердо и настой-

чиво идетъ Поза впередъ по своему великому космополитическому пути—и все, что вокругъ него происходитъ, имѣетъ для него значеніе лишь настолько, насколько оно связано съ этимъ высшимъ представленіемъ общечеловѣческаго.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Высказанное разъясненіе, пожалуй, лишитъ маркиза Позу значительной части его поклонниковъ; но онъ будетъ вознагражденъ небольшимъ числомъ новыхъ почитателей, которыхъ оно привлечетъ къ нему, а такой характеръ, какъ его, не можетъ, вообще говоря, разсчитывать на всеобщее сочувствіе. Конечно, высокое и дѣятельное желаніе блага для всѣхъ не исключаетъ само по себѣ сердечнаго участія къ радостямъ и горю отдѣльнаго существа. То обстоятельство, что Поза больше любитъ человѣческій родъ, чѣмъ Карлоса, не приноситъ ущерба его дружбѣ къ нему. Онъ во всякомъ сдучаѣ, даже если-бы Донъ Карлосъ не былъ предназначенъ судьбой вступить на престолъ, съумѣлъ бы его выдѣлить отъ прочихъ людей особою нѣжной заботливостью; онъ носилъ-бы его въ тайникѣ своего сердца, какъ Гамлетъ своего Горація. Обыкновенно думаютъ, что благорасположеніе слабѣетъ и стынетъ, по мѣрѣ того, какъ умножается число предметовъ любви; но это соображеніе непримѣнимо къ маркизу. Предметъ его любви представляется ему въ полномъ свѣтѣ воодушевленія; этотъ обликъ, прекрасный и лучезарный, стоитъ предъ его душой, какъ образъ возлюбленной. А такъ какъ именно Карлосъ долженъ осуществить идеалъ человѣческаго благополучія, то Поза переноситъ на него свой идеалъ; они оба у него сливаются въ одномъ нераздѣльномъ чувствѣ. Въ одномъ Карлосѣ для него теперь сосредоточивается столь страстно имъ любимое человѣчество; его другъ представляется тѣмъ фокусомъ, въ которомъ сходятся всѣ его мысли и представленія о соединенномъ цѣломъ. Такимъ образомъ это цѣлое дѣйствуетъ на него только черезъ одинъ предметъ, который онъ охватываетъ со всей горячностью и всѣми силами своей души:

Лишь одному
Свое я сердце далъ, но цѣлый міръ
Въ немъ заключенъ. У моего Карлоса
Въ душѣ я создалъ рай для милліоновъ.

Стало быть здѣсь любовь къ одному человѣку, безъ пренебреженія къ остальнымъ; заботливое чувство дружбы, безъ той несправедливости, безъ той исключительности, которыя присущи страсти. Здѣсь всеобъемлющее человѣколюбіе сосредоточено въ одномъ лучѣ свѣта. И неужели интересу пьесы повредило то, что облагородило его? Развѣ эта картина дружбы настолько-же утратила трогательности и привлекательности, насколько выиграла въ объемѣ? Неужели другъ Карлоса меньше имѣетъ права на наши слезы и на наше удивленіе потому лишь, что онъ совмѣщаетъ съ ограниченнымъ выраженіемъ аффекта благожеланія самое широкое пониманіе его, и смягчаетъ божественное міровой любви—человѣческимъ примѣненіемъ ея къ частному случаю?

Съ девятой сценой третьяго дѣйствія открывается совершенно новое поприще для даннаго характера.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Страсть къ королевѣ привела принца въ концѣ концовъ на край гибели. Въ рукахъ его отца доказательства его вины и его необдуманная горячность выдала его бдительнымъ врагамъ весьма для него опасныя признанія. Онъ въ очевидной опасности стать жертвой своей безумной любви, ревности своего отца, ненависти духовенства, жажды мести оскорбленнаго врага и пренебреженной распутницы. Съ внѣшней стороны его положеніе требуетъ неотложной помощи, но не менѣе того нуждается онъ во внутренней поддержкѣ, при его состояніи духа, угрожающемъ разстроить всѣ надежды и предположенія маркиза. Принцъ долженъ быть освобожденъ отъ внѣшней опасности и исцѣленъ отъ охватившаго его настроенія, чтобы планы освобожденія Фландріи могли быть осуществлены; и мы ожидаемъ того и другого отъ маркиза, который самъ подаетъ намъ на то надежды.

Однако, на томъ же пути, на которомъ принцу угрожала опасность, король пришелъ къ такому душевному состоянію, которое впервые заставило его ощутить потребность высказаться. Муки ревности вызвали его изъ той неестественной замкнутости, къ которой принуждалъ его санъ, и вернули къ первоначальному состоянію человѣчности; они же заставили его ощутить

всю пустоту и искусственность деспотическаго величія и пробудили въ немъ желанія, которыхъ ни могущество, ни высокое положеніе не могли удовлетворить.

Король! Я лишь король!
И все король! Иного нѣтъ отвѣта,
Какъ только этотъ звукъ пустой. О камни
Я ударяю, я хочу воды,
Воды, чтобъ пламя утолить въ груди,
А мнѣ даютъ—расплавленное злато...

На мой взглядъ, только подобный ходъ событій, какой указанъ до сихъ поръ, и не что иное, могъ вызвать подобное настроеніе у такого монарха, какимъ былъ Филиппъ II; это душевное состояніе должно было въ немъ развиться и для того, чтобы подготовить дальнѣйшее дѣйствіе, и дать возможность маркизу приблизиться къ королю. Отецъ и сынъ совершенно различными путями дошли до того пункта, куда автору нужно было ихъ довести; оба они разными путями приведены къ маркизу Позѣ; въ немъ одномъ теперь соединяется интересъ дѣйствія, до сихъ поръ разрозненнаго. Вся роль маркиза построена въ зависимости отъ страсти Карлоса къ королевѣ и того впечатлѣнія, которое она произведетъ на короля: поэтому-то и необходимо было, чтобы пьеса съ нея начиналась. По отношенію къ этой любви маркизъ долженъ былъ оставаться въ тѣни и довольствоваться второстепенной ролью,—до тѣхъ поръ, пока онъ не овладѣваетъ всѣмъ ходомъ пьесы, потому что именно изъ нея онъ почерпаетъ матеріалы своей будущей дѣятельности. Такимъ образомъ, вниманіе зрителя не должно было до поры до времени отвлекаться, и по той же причинѣ необходимо было, чтобы любовь служила до настоящаго мѣста основнымъ содержаніемъ пьесы, а на то, въ чемъ современемъ долженъ былъ заключаться главный интересъ, дѣлались лишь слабые намеки. Но какъ только зданіе построено, лѣса отпадаютъ. Исторія любви Карлоса, какъ дѣйствіе подготовительное, отходитъ на второй планъ, уступивъ мѣсто тому, для чего она служила. Тѣ скрытые мотивы маркиза, которые сводятся ни къ чему иному, какъ именно къ освобожденію Фландріи и будущей судьбѣ народа, мотивы, лишь смутно угадываемые подъ оболочкой его дружбы—теперь выступаютъ наружу и понемногу приковываютъ къ себѣ все вниманіе. Карлосъ, какъ это уже было достаточно выяснено изъ всего предшествовавшаго, становится для Позы лишь единственнымъ, необходимымъ орудіемъ для осуществленія цѣли, къ которой онъ пламенно и неуклонно стремился, и онъ съ такой же горячностью предается ему, какъ и своей задачѣ Изъ этихъ общихъ мотивовъ должны были развиться у него въ такой же мѣрѣ тревожное участіе къ радостямъ и горю своего друга и нѣжная заботливость къ тому, который служилъ орудіемъ осуществленія его завѣтнаго желанія, какъ если бы они вытекали изъ самой сильной личной привязанности. Дружба Карлоса представляла ему самое полное удовлетвореніе его идеала. Она служила соединительнымъ звеномъ всѣхъ его желаній и дѣятельности. Поза не зналъ еще иного и скорѣйшаго пути, чтобы осуществить свой высокій идеалъ свободы и человѣческаго благополучія, чѣмъ тотъ, кокорый ему представлялся въ лицѣ Карлоса. Ему даже не приходило въ голову искать новаго пути; всего менѣе же думалъ онъ о непосредственномъ воздѣйствіи черезъ короля. Когда онъ былъ приведенъ къ послѣднему, Поза выказываетъ полнѣйшее равнодушіе.

Меня онъ требуетъ? Что я ему?
Вѣдь ничего!—Некстати какъ, безцѣльно
Вводить меня въ покои эти. Право,
Ему нѣтъ дѣла, есть-ли я на свѣтѣ!
Повѣрьте, это ни къ чему.

Однако онъ не надолго поддается этому праздному и ребяческому изумленію. Отъ человѣка, привыкшаго, какъ маркизъ Поза, изъ каждаго обстоятельства извлекать пользу для своего дѣла и даже случайности подгонять къ своимъ планамъ, о каждомъ происшествіи думать съ точки зрѣнія своей главной завѣтной задачи,—отъ такого человѣка не могла укрыться та весьма существенная польза, которую онъ могъ извлечь изъ настоящей минуты. Каждый мигъ для него свято завѣщенный кладъ, изъ котораго должно извлечь выгоду. Пока еще ему не представляется вполнѣ яснаго, связнаго плана; только—смутныя ожиданія и то лишь въ слабой степени; просто мимолетная мысль промелькнула—не представится ли здѣсь случайно чего нибудь, что пригодилось бы для дѣла? Онъ долженъ предстать передъ тѣмъ, въ рукахъ котораго участь нѣсколькихъ милліоновъ людей. Надо воспользоваться этой минутой, говоритъ онъ себѣ, которая не повторится. Пусть это будетъ лишь искрой правды, зароненной въ душу человѣка, который никогда еще

не слыхалъ правды. Кто знаетъ, какой существенный переворотъ въ немъ можетъ оказать такое предостереженіе? Другого на умѣ у него нѣтъ, какъ только воспользоваться наилучшимъ образомъ случайно представившимся обстоятельствомъ. И въ такомъ то настроеніи Поза ожидаетъ Короля.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Оставляю за собой до другого случая,— если вы только пожелаете меня выслушать,—объясненіе, нѣсколько разнящееся отъ вашего мнѣнія, того—въ какомъ духѣ устанавливается соглашеніе между королемъ и маркизомъ Позой, съ самаго начала ихъ разговора, и, вообще, объясненіе всего поведенія Позы во время этой сцены. Я теперь ограничусь только выясненіемъ того, что непосредственно касается характера маркиза.

Самое большее, на что маркизъ могъ разумно разсчитывать, сообразно своему взгляду на короля, сводилось къ тому, чтобы вызвать въ немъ удивленіе, связанное съ чувствомъ нѣкотораго смиренія, удивленіе по поводу того, что высокое представленіе короля о самомъ себѣ и далеко не лестное мнѣніе о людяхъ должно допустить исключенія; затѣмъ еще—естественное, неизбѣжное смущеніе ничтожной души передъ истиннымъ величіемъ духа. Это дѣйствіе могло быть благотворнымъ даже въ томъ случаѣ, когда, оно, хотя на мигъ, пошатнуло бы предразсудки этого человѣка, когда оно заставило бы его почувствовать, что за предѣлами его замкнутаго круга есть дѣянія, о которыхъ ему во снѣ не грезилось. Этотъ одинокій голосъ могъ еще долго слышаться королю въ его жизни и впечатлѣніе тѣмъ дольше сохраняться, чѣмъ болѣе настоящій случай оказывался безпримѣрнымъ.

Но Поза дѣйствительно составилъ себѣ о королѣ слишкомъ поверхностное и одностороннее мнѣніе. Къ тому же, если бы онъ и лучше зналъ его, то все же не былъ достаточно освѣдомленъ о тогдашнемъ его состояніи духа, чтобы принять его въ разсчетъ. Настроеніе же короля было въ высшей степени благопріятнымъ для Позы и подготовило его рѣчамъ такой пріемъ, какого онъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, никакъ не могъ ожидать. Это неожиданное открытіе вызываетъ въ немъ живительный подъемъ духа и даетъ совершенно новое направленіе всему ходу пьесы. Ободренный успѣхомъ, превзошедшимъ всѣ его ожиданія, придя въ восторгъ отъ проблесковъ гуманности у короля, которые его поразили, онъ на минуту теряетъ всякую трезвость мысли и доходитъ до безразсуднаго плана связать непосредственно съ личностью короля свой завѣтный идеалъ благополучія Фландріи и т. д. и привести въ исполненіе при его содѣйствіи. Этотъ планъ такъ страстно овладѣваетъ имъ, что вызываетъ наружу все скрытое въ глубинѣ его души, плоды его фантазіи и результаты тихихъ думъ, и наглядно обрисовываетъ, до какой степени данные идеалы господствуютъ надъ нимъ. Теперь-то, въ возбужденіи страсти, отчетливѣе выступаютъ основныя пружины, которыя до сихъ поръ управляли его поступками; теперь съ нимъ случается то же, что и съ каждымъ мечтателемъ, котораго осиливаютъ господствующія въ немъ идеи. Онъ не знаетъ болѣе границъ; въ пылу собственнаго одушевленія онъ облагораживаетъ личность самого короля, который слушаетъ его съ изумленіемъ; онъ забывается до того, что возлагаетъ на него надежды, о чемъ, немного успокоившись, онъ вслѣдъ за тѣмъ краснѣетъ. О Карлосѣ больше ни-помину. Что за далекій обходъ дожидаться его воцаренія! Король представляетъ ему гораздо болѣе близкое и скорѣйшее удовлетвореніе. Зачѣмъ же отсрочивать, въ ожиданіи его наслѣдника, счастье человѣческаго рода?

Развѣ задушевный другъ Карлоса могъ бы до такой степени забыться, развѣ другая какая-либо страсть, кромѣ главной, могла бы увлечь маркиза такъ далеко? Развѣ интересы дружбы такъ подвижны, что ихъ безъ всякаго труда можно перенести на другой предметъ? Однако, все это объясняется, если признать, что дружба у Позы была подчинена другой преобладавшей страсти. Въ такомъ случаѣ становится понятнымъ, что послѣдняя при первомъ ближайшемъ случаѣ заявляетъ о своихъ правахъ и не долго задумывается перемѣнить свои средства и орудія. Горячность и откровенность, съ которыми Поза излагаетъ королю завѣтныя желанія, составлявшія до сихъ поръ тайну между нимъ и Карлосомъ, надежда, что король можетъ понять ихъ и осуществить, все это представлялось очевиднымъ вѣроломствомъ, въ которомъ онъ погрѣшилъ противъ своего друга Карлоса. Но Поза, „гражданинъ вселенной“, долженъ былъ такъ поступить и только ему это простительно; а для сердечнаго друга Карлоса это было бы столь же предосудительнымъ,

какъ и непонятнымъ. Но это ослѣпленіе не могло продолжаться дольше нѣсколькихъ мгновеній. Легко простить первому ослѣпленію страсти, но если бы Поза упорствовалъ въ своемъ безумьи, онъ быстро опустился бы въ нашихъ глазахъ въ положеніе празднаго мечтателя. А что такое минутное ослѣпленіе въ немъ всетаки было, видно изъ нѣсколькихъ мѣстъ драмы, въ которыхъ Поза то отшучиваясь, то вполнѣ серьезно въ томъ оправдывается. „Предположимъ, говоритъ онъ королевѣ, что я пошелъ съ намѣреніемъ возложить свои надежды на престолъ".

Королева.

Нѣтъ, маркизъ,
Я даже въ шутку не желала бъ слышать
Отъ васъ столь недозрѣлый бредъ. Вѣдь вы
Не тотъ мечтатель, что, задумавъ дѣло,
Его къ концу не въ силахъ довести

Маркизъ.

Ну это, на мой взглядъ, еще вопросъ!

Карлосъ самъ достаточно глубоко заглянулъ въ душу своего друга, чтобы признать его рѣшеніе вытекающимъ изъ его образа мыслей, и то, что онъ говоритъ по этому поводу о Позѣ, должно было быть само по себѣ вполнѣ достаточнымъ, чтобы выяснить внѣ всякаго сомнѣнія точку зрѣнія автора. „Ты самъ, говоритъ онъ, все еще воображая, что маркизъ приноситъ его въ жертву:

Ты самъ теперь исполнишь то, что должно
Мнѣ было выполнить, но я не смогъ.
Ты подаришь испанцамъ дни златые,
Что ожидали отъ меня напрасно.
Со мной покончен счетъ. Ты это понялъ.
Жестокая любовь на вѣкъ сгубила
Всѣ прежніе цвѣты души моей.
Я умеръ для твоихъ великихъ плановъ.
Перстъ Божій или случай привели
Тебя къ Филиппу. Тайну ты открылъ
Мою; онъ твой теперь! Его будь ангелъ;
А мнѣ спасенья больше нѣтъ.—Быть можетъ
И для Испаніи...

И въ другомъ мѣстѣ Карлосъ говоритъ графу Лерма, чтобы оправдать кажущееся вѣроломство его друга:

Онъ очень
Меня любилъ, да очень. Былъ я дорогъ
Ему, какъ дорога душа. О, знаю!
Тому я сотни видѣлъ доказательствъ.
Но развѣ для него судьба милльоновъ,
Отчизна не дороже, чѣмъ одинъ?
Для друга одного обширна слишкомъ
Маркиза грудь, а счастіе Карлоса
Мало для всеобъемлющей любви.
Онъ мной пожертвовалъ для долга!

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Поза прекрасно понималъ, сколь многаго лишилъ онъ своего друга Карлоса тѣмъ, что онъ сдѣлалъ короля повѣреннымъ своей завѣтной мечты и постарался овладѣть его сердцемъ. Именно потому, что онъ чувствовалъ, что эти завѣтныя желанья служили настоящими узами его дружбы съ Карлосомъ, онъ зналъ, что порвалъ ихъ въ ту минуту, какъ осквернилъ святость своихъ чувствъ, выдавъ ихъ королю. Не зналъ этого Карлосъ, но Поза вполнѣ отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что ихъ мысли и планы на будущее составляютъ священный палладіумъ ихъ дружбы и главную причину того, что Карлосъ владѣлъ его сердцемъ. Зная все это и предполагая въ душѣ, что данное соображеніе не осталось чуждымъ и Карлосу, какъ же могъ онъ рѣшиться сообщить ему, что онъ нарушилъ святость ихъ палладіума? Вѣдь разсказывать ему то, что произошло у нихъ съ королемъ, значило, по его понятіямъ, то же, что прямо признаться Карлосу, что былъ моментъ, когда онъ для него больше не существовалъ. Если бы предназначеніе Карлоса какъ будущаго преемника престола, если бы его званіе сына короля не играли никакой роли въ ихъ дружбѣ съ Позой, будь послѣдняя сама по себѣ и основанной на чисто личной склонности, то чувство дружбы было бы, правда, нѣсколько оскорблено довѣріемъ, оказаннымъ Позой королю, но сама дружба не предана, не расторгнута; это случайное обстоятельство не коснулось бы ея по существу. Со стороны маркиза Позы, какъ „гражданина вселенной", было актомъ деликатности, состраданья, что онъ скрылъ отъ будущаго монарха тѣ надежды, которыя онъ возлагалъ на настоящаго короля; но Поза, какъ другъ Карлоса, врядъ ли могъ чѣмъ большимъ погрѣшить противъ дружбы, какъ именно этой своею сдержанностью.

Конечно, совсѣмъ иными представляются тѣ основанія, по которымъ Поза старается оправдать и передъ самимъ собою и передъ своимъ другомъ свою сдержанность, единственный источникъ всѣхъ послѣдующихъ недоразумѣній. IV дѣйствіе, 6 явленіе.

Король довѣрился сосуду, тайну
Ему святую нынѣ передавъ.
Довѣрье вызываетъ благодарность.
Къ чему болтливость, если я молчаньемъ
Не причинилъ тебѣ страданій? Даже,
Быть можетъ, пощадилъ? Къ чему—надъ спящимъ
Указывать нависнувшую тучу?

и въ третьемъ явленіи пятаго дѣйствія:

.... И я, тревогой ложной обольщенный,
Безумьемъ ослѣпленъ мнѣ одному
Осуществить планъ смѣлый безъ тебя,
Я скрылъ опасный замыселъ отъ дружбы.

Однако для каждаго, хоть сколько-нибудь знающаго человѣческое сердце, вполнѣ ясно, что вышеприведенныя основанія (которыя сами по себѣ далеко недостаточно вѣски, чтобы оправдать столь важный шагъ) служатъ маркизу только для того, чтобы обмануть самого себя, такъ какъ онъ не рѣшается признаться въ настоящей причинѣ своего поступка. Еще нагляднѣе выступаетъ истинная картина его душевнаго состоянія въ другомъ мѣстѣ, изъ котораго видно, что бывали минуты, когда маркизъ спрашивалъ самого себя—не долженъ ли онъ пожертвовать своимъ другомъ? Онъ говоритъ королевѣ:

... Мнѣ утра новаго зарю
Пролить надъ этимъ царствомъ надлежало.
Король вѣдь полюбилъ меня. Онъ сыномъ
Своимъ меня назвалъ. Вручилъ печать
И Альбы нѣтъ ужъ болѣе у трона, и т. д.
Но короля
Покинулъ я. На этой скудной почвѣ
Ужъ розы не цвѣтутъ мои. То было
Ребяческой игрою въ куклы; нынѣ
Стыдится зрѣлый умъ тѣхъ дѣтскихъ грезъ.
Возможно-ль задержать приходъ ужъ близкой
Весны, надежды полной, чтобы разжечь
Мерцавшій сѣвернаго солнца лучъ?
Возможно-ль эры новой рисковать
Свободой полной, чтобъ послѣдній взмахъ
Бича смягчить усталаго тирана?
То слава жалкая. Не льщусь я ей.
Европы всей судьба въ душѣ Карлоса.
Ему Испанію поручаю. Боже,
Но горе и ему и мнѣ, когда бъ пришлося
Мнѣ въ выборѣ раскаяться своемъ,
Когда бъ я худшее избралъ, не понялъ
Того, что требовала осторожность,
Чтобъ не ему, а мнѣ быть на престолѣ!..

Итакъ, онъ всетаки выбиралъ, какъ поступить, а для выбора онъ долженъ былъ представить себѣ возможнымъ другой, противоположный образъ дѣйствія. Изъ всѣхъ приведенныхъ обстоятельствъ становится очевиднымъ, что интересамъ дружбы противупоставлены были иные, высшіе интересы, и что только послѣдніе опредѣляютъ общее направленіе дружбы Позы съ Донъ Карлосомъ. Никто изъ дѣйствующихъ лицъ въ пьесѣ не разсудилъ, въ чемъ сущность отношеній между обоими друзьями лучше самого Филиппа, отъ котораго и слѣдовало это всего скорѣе ожидать. Я вложилъ въ уста этого знатока людей свою апологію и свое собственное сужденіе о героѣ драмы; тѣми же словами я закончу и настоящее разсужденіе:

... Кому-жъ принесъ онъ жертву?
Мальчишкѣ? сыну моему? О, нѣтъ,
Я не повѣрю никогда. Вѣдь Позы
Изъ-за ребенка лишь не умираютъ.
Убогій дружбы пламень не наполнитъ
Все сердце Позы. Билось въ немъ оно
За всѣхъ людей. Любилъ онъ цѣлый міръ
Съ грядущими рядами поколѣній...

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Однако, скажете вы, къ чему все это изслѣдованіе? Что бы ни служило связующимъ звеномъ дружбы между Позой и Карлосомъ—непроизвольное влеченіе сердца, соотвѣтствіе въ характерахъ, взаимная, личная потребность другъ въ другѣ, или же какія-нибудь внѣшнія обстоятельства,—ея проявленія остаются тѣми же и ничто отъ этого не измѣняется въ ходѣ піесы. Къ чему же это изысканное стараніе, чтобы вывести читателя изъ заблужденія, которое для него быть можетъ пріятнѣе, чѣмъ сама правда? Да и къ чему свелось-бы обаяніе большинства высоконравстренныхъ поступковъ, если бы мы захотѣли всякій разъ проникать въ самую глубь человѣческой души и вникать въ постепенное зарожденіе душевныхъ побужденій? Для насъ вполнѣ достаточно, что все то, что маркизъ Поза любитъ, соединено въ принцѣ, что послѣдній является представителемъ или, по меньшей мѣрѣ, единственнымъ поборникомъ его завѣтныхъ желаній, что Поза неразрывно связываетъ съ его существомъ даже случайное, условное, приданное извнѣ, и

что все, что онъ къ нему чувствуетъ, выражается въ формѣ личной привязанности. Мы въ такомъ случаѣ просто любуемся картиной описанной дружбы, какъ простымъ духовнымъ явленіемъ, не заботясь о томъ, на сколько составныхъ частей мыслитель могъ бы его разложить.

Но какъ быть, если оправданіемъ дѣлаемаго различія служитъ значеніе, которое оно имѣетъ для оцѣнки всей драмы? Если конечная цѣль стремленій Позы выше самого принца, если послѣдній имѣетъ столь важное для него значеніе только какъ орудіе достиженія этой высшей цѣли, если онъ дружескимъ отношеніемъ къ нему удовлетворяетъ другое свое влеченіе, а не простое чувство дружбы, то нельзя болѣе съузить значеніе самой піесы, или по крайней мѣрѣ общій выводъ драмы долженъ совпадать съ задачей маркиза. Судьба цѣлаго государства, счастье человѣческаго рода, обезпеченное для многихъ поколѣній,—къ чему клонятся, какъ мы видѣли, всѣ стремленія маркиза,—все это не могло служить лишь эпизодомъ дѣйствія, которое имѣло бы цѣлью представить только развязку любовной исторіи. Если мы неправильно понимаемъ дружбу Позы, то боюсь, не ошибочно-ли заключимъ и о конечной цѣли всей трагедіи. Позвольте мнѣ вамъ разъяснить ее съ этой новой точки зрѣнія; быть можетъ, многія недоразумѣнія, на которыя вы до сихъ поръ наталкивались, окажутся отстраненными именно по этой новой оцѣнкѣ.

И къ чему сводилось бы такъ называемое единство драмы, если имъ не должна служить любовь и не можетъ служить дружба? О первой рѣчь идетъ въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ, о второй въ двухъ остальныхъ. Но ни та, ни другая не проникаетъ цѣлаго. Дружба приноситъ себя въ жертву, а любовью жертвуютъ, но ни той ни другой въ частности эти жертвы не предназначены. Слѣдовательно, должно быть нѣчто третье, отличное и отъ дружбы и отъ любви, третье, которому оба онѣ служатъ и обѣ принесены въ жертву,—и если драма дѣйствительно заключаетъ въ себѣ единство, то въ чемъ иномъ оно состоитъ, какъ не въ этомъ третьемъ?

Постарайтесь, дорогой другъ, припомнить нѣкоторый разговоръ, который мы оживленно вели съ вами на одну изъ любимыхъ современныхъ темъ—о развитіи чистой и кроткой гуманности, о наивозможно полнѣйшей свободѣ личности, о совершеннѣйшемъ состояніи человѣчества, насколько оно достижимо при его свойствахъ и силахъ, и наше воображеніе занеслось при этомъ въ чудное сновидѣніе, гдѣ сердце бьется такъ сладостно. Мы закончили его романическимъ пожеланіемъ, чтобы случай, который уже не разъ творилъ величайшія чудеса, соблаговолилъ, въ ближайшій Юліановскій циклъ, вселить наши мысли, мечты и убѣжденія, проникнутыми такой же горячностью и доброй волей, въ душу первенца какого-нибудь будущаго властелина въ той или другой странѣ, на одномъ изъ полушарій. То, что было даже въ серьезномъ разговорѣ лишь игрой, должно было, на мой взглядъ, въ такой игрѣ, какъ трагедія, возвыситься до степени истинной серьезности и правды. Что только не возможно въ воображеніи? Чего не разрѣшается поэту? Нашъ разговоръ былъ давно забытъ, когда я между тѣмъ ознакомился съ наслѣднымъ принцемъ Испаніи и вскорѣ догадался, что этотъ даровитый юноша какъ разъ подходитъ подъ то представленіе о правителѣ, который могъ бы осуществить наши проекты. Задумано, исполнено. Все оказалось у меня въ рукахъ, словно стараніями услужливаго генія: любовь къ свободѣ въ борьбѣ съ деспотизмомъ, путы глупости расторгнуты, тысячелѣтніе предразсудки расшатаны; народъ, требующій возвращенія своихъ человѣческихъ правъ; воспитываются республиканскія добродѣтели; умы въ броженіи; общее оживленіе отъ вдохновляющихъ вопросовъ и, въ концѣ концовъ, какъ бы завершая собою столь удачное созвѣздіе, юноша съ прекрасной душой на престолѣ въ одинокомъ, нетронутомъ цвѣтѣ духовныхъ силъ, распустившихся подъ гнетомъ и страданіями. Несчастнымъ,—такъ думали мы,—долженъ быть тотъ сынъ короля, въ которомъ мы хотѣли видѣть осуществленіе нашего идеала.

Такъ будьте человѣкомъ,
Вступивши на престолъ Филиппа, Вамъ
Знакомы вѣдь страданья...

Такой избранникъ не могъ быть взятъ на лонѣ счастья и чувственныхъ наслажденій; не должно было искусство еще коснуться его образованія и тогдашняя эпоха наложить свое клеймо. Однако, спрашивается, какимъ образомъ, королевичъ въ XVI вѣкѣ,—къ тому-же сынъ Филиппа II,—воспитанникъ монаховъ, котораго умъ при пер-

вомъ своемъ пробужденіи былъ оберегаемъ такими строгими и зоркими охранителями, какъ могъ онъ придти къ столь либеральнымъ воззрѣніямъ? Изволите ли видѣть, и это было предусмотрѣно. Судьба даровала ему друга въ томъ рѣшительномъ для человѣка возрастѣ, когда распускается цвѣтъ души, когда усваиваются идеалы и духовная воспріимчивость сильна, друга—умнаго, глубокочувствующаго юношу, образованію котораго—(что можетъ помѣшать мнѣ это предположить?)—содѣйствовали счастливая звѣзда, необыкновенно благопріятное стеченіе обстоятельствъ, и какой нибудь тайный мудрецъ того времени довершилъ это прекрасное дѣло. Такимъ образомъ, та свѣтлая, гуманная философія, которую принцъ хочетъ исповѣдывать, вступивъ на престолъ,—есть плодъ дружбы. Она облечена во все обаяніе молодости, во всю прелесть поэзіи; она вложена въ его сердце со свѣтомъ и съ тепломъ; она первый ростокъ его духовнаго существа; она его первая любовь. Для маркиза въ высшей степени важно сохранить за ней эту свѣжесть молодости, поддерживать ее въ немъ, какъ предметъ страстнаго желанія, ибо только страсть одна могла помочь ему преодолѣть трудности, съ которыми сопряжено исповѣдываніе такой философіи. Поза говоритъ королевѣ:

Ему скажите,
Чтобъ грезы юности своей берегъ,
Когда онъ станетъ человѣкомъ; чтобы
Онъ сердце не ввѣрялъ,—цвѣтокъ тотъ нѣжный,
Намъ Богомъ данный,—гордому разсудку,
Прославленнымъ, излюбленнымъ понятьямъ—
То червь мертвящій. Пусть онъ не смутится,
Когда премудрость праха осудитъ
Даръ неба—вдохновенье. Я ужъ раньше
Его предупреждалъ...

Такимъ образомъ у обоихъ друзей возникло восторженное намѣреніе доставить человѣчеству то благополучіе, которое только достижимо, и сюжетомъ настоящей драмы служитъ именно изображеніе этого восторженнаго рѣшенія, насколько оно обрисовывается въ столкновеніи съ личной страстью. И такъ, вопросъ былъ въ томъ, чтобы представить такого принца, который дѣйствительно долженъ былъ осуществить высшій, наивозможный для данной эпохи, идеалъ гражданскаго благополучія, а не предварительно воспитывать принца для выполненія такой задачи; эта подготовка должна была быть много раньше и не могла служить темой для даннаго художественнаго произведенія; еще менѣе того возможно было представить его за выполненіемъ своихъ плановъ на дѣлѣ, такъ какъ это далеко переходило за границы трагедіи. Задача сводилась къ тому, чтобы показать такого принца, представить въ немъ преобладающимъ состояніе духа, которое должно было служить основой такого образа дѣйствій, довести до высшей степени правдоподобія его субъективную готовность, не заботясь о томъ, приведетъ ли счастливая судьба или случай къ ихъ примѣненію на самомъ дѣлѣ.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ.

Хочу нѣсколько точнѣе разъяснить вышеизложенное.

Тотъ самый юноша, которому мы намѣрены поручить столь выдающуюся роль, долженъ былъ предварительно преодолѣть стремленія, опасныя для даннаго предпріятія; подобно древнему римлянину, онъ долженъ быть продержать руку на огнѣ, чтобы убѣдить насъ, что онъ достаточно мужественъ, чтобы выдержать боль. Онъ именно долженъ былъ пройти черезъ огонь ужаснаго испытанія и искуситься на этомъ огнѣ. Только тогда, когда мы увидѣли его удачно справившимся съ внутреннимъ врагомъ, мы можемъ предсказать ему побѣду надъ внѣшними препятствіями, которыя неизбѣжно встрѣтятся ему на его смѣломъ пути реформъ, только тогда, когда мы узнали, что онъ устоялъ отъ искушеній въ періодъ чувственныхъ порывовъ, съ горячей кровью молодости, повѣримъ мы, что они не будутъ для него опасны и въ зрѣломъ возрастѣ. А какая страсть представлялась болѣе подходящей для такого испытанія, чѣмъ самая сильная изъ всѣхъ—т. е. любовь?

Всякая иная страсть, кромѣ любви,—могущая быть опасной для выполненія той великой задачи, къ которой я его предназначилъ, исключена изъ его сердца или даже никогда не касалась его. Посреди испорченнаго и безнравственнаго придворнаго общества онъ сохранилъ чистоту первобытной невинности; и не любовь уберегла его отъ окружавшей его грязи, не разсудочные доводы, а именно лишь инстинктивное нравственное чувство:

И похоти стрѣла объ эту грудь разбилась
Задолго, до того, какъ въ немъ Елизавета
Царицей стала.

Обратно тому, какъ вела себя принцесса Эболи, которая изъ страсти и разсчета часто забывалась съ нимъ, Карлосъ выказываетъ невинность сердца, граничащую съ простотой. Сколько найдется между читателями этой сцены такихъ, которые гораздо скорѣе поняли бы принцессу! Въ мои же намѣренія входило представить юношу съ такой природной чистотой, что никакой соблазнъ не могъ имѣть надъ нимъ силы. Поцѣлуй, данный имъ принцессѣ, былъ, по его собственному признанію, первымъ въ его жизни, и несомнѣнно это былъ вполнѣ чистый поцѣлуй. Но надо было также показать, какъ онъ способенъ возвыситься и надъ болѣе утонченнымъ соблазномъ; этому служитъ эпизодъ съ принцессой Эболи, всѣ развратныя уловки которой разбиваются о его лучшую любовь. Итакъ, ему приходится бороться съ одной лишь этой любовью, и вполнѣ добродѣтельнымъ онъ станетъ только тогда, когда ему удастся даже ее побѣдить въ себѣ; на этомъ построена вся пьеса.

Вы теперь понимаете, почему принцъ мною очерченъ такъ, а не иначе; почему я допустилъ, чтобы благородная красота его характера была помрачена такой страстностью, такой порывистой горячностью, какъ волны, мутящія прозрачную гладь воды. Онъ долженъ былъ обладать мягкимъ, доброжелательнымъ сердцемъ, восторженнымъ стремленіемъ ко всему великому и прекрасному, нѣжностью, стойкостью, самоотверженнымъ великодушіемъ; онъ долженъ былъ выказать ясные и трезвые взгляды прекрасной души, но мудрымъ ему не слѣдовало быть. Будущій великій человѣкъ въ немъ дремалъ, но пока горячность темперамента не позволяла ему быть имъ на самомъ дѣлѣ. Въ его характерѣ должны были заключаться всѣ качества, нужныя для того, чтобы стать превосходнымъ правителемъ, все, что оправдывало ожиданія его друга, и надежды, возложенныя на него страной, уповающей на него, словомъ все, что должно было быть сосредоточеннымъ въ одномъ лицѣ для выполненія завѣтнаго идеала будущаго государства; однако, все это лишь въ неразвитомъ, зачаточномъ состояніи, не отдѣленномъ еще отъ личной страсти, не ставши еще чистымъ золотомъ. Только впослѣдствіи нужно было приблизить его къ той степени совершенства, которой ему теперь недоставало; болѣе законченный характеръ принца упразднилъ бы всю мою драму. Вы также поймете теперь, почему необходимо было предоставить такое широкое мѣсто характерамъ Филиппа и его единомышленниковъ,—что было бы непростительной ошибкой, если бы они служили не чѣмъ инымъ, какъ только пружинами, чтобы запутать любовную интригу и затѣмъ довести ее до благополучнаго конца; поймете, почему, вообще, удѣлено столько мѣста изображенію духовнаго, политическаго и семейнаго деспотизма. Въ виду того, что моей главной задачей было постепенно вывести будущаго устроителя людского счастья изъ самой пьесы,—вполнѣ умѣстнымъ казалось выставить рядомъ съ нимъ виновника несчастія людей и обстоятельнымъ изображеніемъ ужасной картины деспотизма рѣзче оттѣнить всю прелесть противоположнаго характера. Мы видимъ деспота на его печальномъ престолѣ, видимъ его бѣдствующимъ посреди всѣхъ его сокровищъ; мы узнаемъ изъ его устъ, что онъ одинокъ среди милліоновъ своихъ подчиненныхъ, что фуріи подозрительности тревожатъ его сонъ, что его клевреты приносятъ ему расплавленное золото взамѣнъ живительнаго напитка; мы входимъ вмѣстѣ съ нимъ въ его одинокіе покои, видимъ, какъ властелинъ половины міра молитъ встрѣтить человѣка, и когда судьба доставляетъ ему эту возможность, онъ, какъ безумный, самъ разбиваетъ тотъ даръ, котораго онъ оказывается болѣе недостойнымъ. Мы видимъ, какъ онъ безсознательно служитъ самымъ низкимъ страстямъ своихъ рабовъ; мы становимся свидѣтелями, какъ они вьютъ веревки, опутывая ими, какъ ребенка, того, кто мнитъ себя единственнымъ хозяиномъ своихъ дѣйствій. Того, передъ кѣмъ дрожатъ въ отдаленныхъ частяхъ свѣта, мы застаемъ смиренно представляющимъ унизительный отчетъ въ своихъ поступкахъ властному священнослужителю и искупающимъ легкій проступокъ позорнымъ наказаніемъ. Мы видимъ его въ борьбѣ съ природой и человѣчествомъ, которыхъ онъ однако не въ силахъ побѣдить, слишкомъ гордый, чтобы признать ихъ могущество и безсильный отъ нихъ избавиться; онъ чуждъ всѣхъ радостей, доставляемыхъ ими, но преслѣдуемъ ихъ слабостями и ужасами; выдѣлившись изъ своего рода, онъ занялъ какъ бы серединное мѣсто между создателемъ и созданіемъ, возбуждая тѣмъ наше состраданіе къ себѣ. Мы презираемъ это величіе, но сожалѣемъ объ его заблужденіи, ибо въ самой изломанности этого характера мы находимъ признаки человѣческаго, которые сближаютъ его съ нами, потому

что король несчастенъ именно въ силу уцѣлѣвшихъ въ немъ остатковъ человѣчности. Но чѣмъ больше насъ отталкиваетъ этотъ ужасный образъ, тѣмъ сильнѣе привлекаетъ картина кроткой гуманности, которая раскрывается передъ нашими глазами въ лицѣ Карлоса, его друга и королевы.

Теперь, дорогой другъ, пересмотрите еще разъ пьесу съ указанной, новой точки зрѣнія. Быть можетъ то, что вы считали въ ней излишнимъ нагроможденіемъ, теперь будетъ меньше васъ коробить; всѣ отдѣльныя части драмы приводятся къ тому единству, о которомъ мы теперь договорились. Я могъ бы еще дальше продолжить разсужденіе по намѣченнымъ нитямъ, но довольствуюсь тѣмъ, что далъ вамъ нѣсколько указаній, а наилучшее проясненіе сдѣланныхъ намековъ заключается въ самой пьесѣ.

Весьма возможно, что для того, чтобы понять главную идею драмы, нужно отнестись къ ней съ болѣе спокойной вдумчивостью, а не съ той поспѣшностью, съ которою обыкновенно пробѣгаютъ подобныя произведенія; но цѣль, для которой работалъ художникъ, должна представиться выполненной въ концѣ художественнаго произведенія. То, на чемъ заканчивается трагедія, должно было служить ея основнымъ содержаніемъ, а теперь пусть выслушаютъ, какъ Донъ-Карлосъ разстается съ нами и со своей королевой:

Я долго
Въ тяжеломъ находился снѣ. Любилъ я.
Теперь я пробужденъ. Будь позабыто
Все прошлое. Я понялъ, наконецъ,
Что благо высшее на свѣтѣ есть,
Чѣмъ обладать тобой. Вотъ ваши письма—
Возьмите ихъ. Мои вы уничтожьте.
Не бойтѣсь больше страстныхъ порываній—
Все конечно. Отнынѣ пламень чистый
Мнѣ душу озарилъ....
... Я памятникъ ему надгробный
Такой поставлю, какъ и королямъ
Еще не воздвигали. Пусть надъ прахомъ
Маркиза рай прекрасный зацвѣтетъ...

Королева.

Такимъ, Карлосъ, васъ видѣть я желала!
Вѣдь въ этомъ высшій смыслъ его
кончины...

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

Я не иллюминатъ и не масонъ, но если оба общества имѣютъ одну общую нравственную цѣль, если эта цѣль представляется самой важной для человѣческаго общества, то она должна быть по крайней мѣрѣ весьма родственной той задачѣ, которую преслѣдовалъ маркизъ Поза. То, чего добиваются указанныя общества путемъ тайныхъ союзовъ многихъ, разсѣянныхъ по всему свѣту, дѣятельныхъ членовъ, послѣдній хочетъ достичь—полнѣе и скорѣе, при помощи одного человѣка, и именно принца, который предназначенъ вступить на первый въ мірѣ престолъ и, благодаря своему высокому положенію, становится пригоднымъ для выполненія такого дѣла. Въ этомъ одномъ лицѣ онъ старается сдѣлать господствующимъ тотъ кругъ идей, тѣ чувства, изъ которыхъ вышеуказанная дѣятельность, направленная къ благу человѣчества, вытекаетъ въ необходимое слѣдствіе. Многимъ данный сюжетъ могъ казаться слишкомъ отвлеченнымъ и слишкомъ серьезнымъ для драматическаго произведенія, и если они ожидали найти въ немъ лишь картину страсти, то я обманулъ ихъ ожиданія; мнѣ же показалась не вполнѣ нестоющей попытки задача—„ввести въ область изящныхъ искусствъ истины, бывшія до сихъ поръ лишь достояніемъ научнаго знанія, истины, которыя для всякаго, желающаго блага человѣчеству, должны быть самыми священными;—одушевить ихъ свѣтомъ и тепломъ, и представить—какъ живые, дѣйствующіе стимулы, внѣдренные въ человѣческое сердце въ ожесточенной борьбѣ съ личной страстью". Если даже мнѣ и отомстилъ геній трагедіи за это нарушеніе границъ, положенныхъ драматическому произведенію, то все же нѣкоторыя, не лишенныя важности идеи, вложенныя въ пьесу, не будутъ потеряны для добросовѣстнаго читателя, и, быть можетъ, онъ не будетъ непріятно удивленъ, найдя нѣкоторыя замѣчанія, которыя онъ помнитъ изъ Монтескье,—приноровленными и какъ бы подтвержденными въ драматическомъ произведеніи.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ.

Раньше чѣмъ навсегда проститься съ нашимъ другомъ Позой, скажу еще нѣсколько словъ объ его загадочномъ поведеніи съ принцемъ и объ его смерти.

Многіе ставили ему въ упрекъ, что онъ, составивъ себѣ такое высокое понятіе о свободѣ и постоянно говоря о ней, ведетъ себя крайне деспотически по отношенію къ своему другу, слѣпо руководитъ имъ, словно малымъ ребенкомъ, и тѣмъ самымъ приводитъ на край гибели. Чѣмъ оправдывается, спрашиваете вы, что маркизъ Поза вмѣсто того, чтобы открыть принцу о своихъ новыхъ отношеніяхъ къ королю, вмѣсто того, чтобы благоразумно обсудить дальнѣйшій образъ дѣйствій и, дѣлая его соучастникомъ своего плана, одновременно предупредить съ его стороны всякую поспѣшность, въ которую могли вовлечь принца — неизвѣстность, недовѣріе, боязнь и непомѣрная горячность, которыя дѣйствительно къ этому впослѣдствіи и привели, — вмѣсто того, чтобы избрать этотъ безобидный и вполнѣ естественный путь, — почему Поза бросается навстрѣчу неминуемой опасности, предпочитаетъ выжидать эти, столь легко предугадываемыя послѣдствія, и, когда опасенія сбылись, старается исправить дѣло такимъ средствомъ, которое представляется столько же неудачнымъ, сколько грубымъ и неестественнымъ, именно заключеніемъ принца подъ арестъ? Онъ зналъ мягкое сердце своего друга. Авторъ намъ только что показалъ передъ тѣмъ образчикъ того вліянія, которое Поза имѣлъ на Карлоса. Два слова могли избавить его отъ унизительнаго средства. Зачѣмъ же прибѣгаетъ онъ къ интригѣ, когда онъ могъ бы прямымъ путемъ гораздо скорѣе и надежнѣе достичь цѣли.

Изъ того, что этотъ насильственный и ошибочный образъ дѣйствія мальтійскаго рыцаря обусловилъ всѣ послѣдующія положенія въ драмѣ и привелъ его къ самопожертвованію, нѣсколько поспѣшно заключили, что поэтъ поддался соблазну этой легкой побѣды, нарушая тѣмъ внутреннюю правдивость характера и естественный ходъ дѣйствія. Такъ какъ это представлялось удобнѣйшимъ и кратчайшимъ путемъ, чтобы разобраться въ своеобразномъ поведеніи нашего мальтійца, то въ его характерѣ, въ цѣломъ, сочли излишнимъ искать какого нибудь другого ближайшаго смысла. Вѣдь, пожалуй, было бы слишкомъ много требовать отъ критика, чтобы онъ былъ сдержанъ въ своемъ сужденіи только потому, что оно невыгодно автору. Однако, я считаю, что все же пріобрѣлъ нѣкоторое право на снисходительность, такъ какъ неоднократно въ самой пьесѣ изображалась въ полномъ блескѣ правдивость положенія.

Безъ сомнѣнія, характеръ маркиза Позы выигралъ бы въ красотѣ и въ чистотѣ, если бы онъ поступилъ прямѣе и воздержался бы отъ того, чтобы прибѣгать къ неблагороднымъ пріемамъ интриги. Признаюсь, такой характеръ меня соблазнялъ, но я еще болѣе дорожилъ тѣмъ, что считалъ за правду. А правдой я считаю слѣдующее положеніе,—„что любовь къ реальному предмету и любовь къ идеалу должны быть столь же различны въ своихъ проявленіяхъ, какъ различны онѣ и по своей сущности; — что самый безкорыстный, самый чистый и благородный человѣкъ столь же часто приведенъ къ своевольному обхожденію съ отдѣльными индивидуумами, изъ восторженной привязанности къ своему представленію о добродѣтели и о счастьи, которое должно быть вооружено, какъ и самый эгоистичный деспотъ; это происходитъ отъ того, что предметъ стремленій ихъ обоихъ находится не внѣ, а внутри ихъ самихъ, и что тотъ, кто соизмѣряетъ свои дѣйствія по своему внутреннему духовному образу, оказывается въ такомъ же разладѣ со свободой другихъ, какъ и человѣкъ, котораго конечная цѣль заключается въ его собственномъ я". Истинное величіе духа часто приводитъ къ не меньшему ограниченію свободы другихъ, чѣмъ эгоизмъ и властолюбіе, потому что оно заботится о самомъ дѣлѣ, а не объ отдѣльной личности. Именно вслѣдствіе того, что оно постоянно имѣетъ въ виду цѣлое, какъ свою конечную цѣль, весьма часто исчезаютъ въ этой далекой перспективѣ мелкіе интересы единицъ. Добродѣтельный человѣкъ въ своихъ поступкахъ являетъ величіе духа ради закона, мечтатель — въ угоду своему идеалу, человѣкъ съ сердцемъ — ради предмета своей любви. Изъ первой категоріи людей мы имѣемъ законодателей, судей, королей, изъ второй — героевъ, но выберемъ нашего друга—изъ третьей категоріи. Первыхъ мы уважаемъ, передъ вторыми преклоняемся, но третьихъ — любимъ. Карлосу пришлось поплатиться, что онъ упустилъ изъ виду эти различія и избралъ своимъ другомъ сердца—великаго человѣка.

Но что тебѣ до королевы? Развѣ
Ты любишь королеву? И твоей ли
Высокой доблести о мелкихъ злобахъ
Любви моей освѣдомляться?—
...Все поправимо,
Все, кромѣ слѣпоты моей безумной,
Доселѣ мнѣ не давшей усмотрѣть,
Что такъ-же нѣженъ ты, какъ и великъ

Дѣйствовать неслышно, безъ помощниковъ, въ молчаливомъ величіи духа, было мечтой маркиза. Тихо, какъ изъ заботливой предосторожности къ спящему, хочетъ онъ устроить судьбу своего друга; онъ хочетъ спасти его, ставъ его провидѣніемъ—и поэтому самому губитъ. Онъ слишкомъ смотритъ вверхъ на свой идеалъ добродѣтели и слишкомъ мало опускалъ глаза на своего друга—и это было гибельно для нихъ обоихъ. Несчастье Карлоса заключалось въ томъ, что его другъ не хотѣлъ удовольствоваться тѣмъ, чтобы его спасти обыкновеннымъ образомъ. Въ данномъ случаѣ, мнѣ кажется, я схожусь съ не лишеннымъ важности наблюденіемъ изъ области духовной жизни, которое не должно было ускользнуть отъ вниманія каждаго, кто хоть сколько-нибудь присматривался вокругъ себя или слѣдилъ за ходомъ своихъ собственныхъ ощущеній. Вотъ въ чемъ оно заключается: нравственныя побужденія, заимствованныя у идеала совершенства, который предстоитъ достичь, не составляютъ природныхъ свойствъ человѣческаго сердца, и именно потому, что они вложены въ него искусственно, они не всегда проявляются благотворно, и даже часто приводятъ, по весьма человѣческому переходу, къ пагубнымъ злоупотребленіямъ. Одно уже то обстоятельство, что каждый подобный идеалъ духовнаго величія—искусственный продуктъ, который существуетъ въ идеѣ, и, какъ всякая идея, зависитъ отъ болѣе или менѣе ограниченной точки зрѣнія индивидуума, который ее воспринимаетъ, и не можетъ быть общепримѣнимой въ цѣломъ—уже одно это обстоятельство, говорю я, должно было сдѣлать ее весьма опаснымъ орудіемъ въ рукахъ нашего друга; еще опаснѣе становится эта идея при довольно быстромъ соединеніи ея съ тѣми или другими страстями, которыя всегда въ большей или въ меньшей мѣрѣ присущи человѣческому сердцу. Я имѣю въ виду — властолюбіе, самомнѣніе и гордость, которыя тотчасъ овладѣваютъ ею и сливаются съ ней неразрывно. Назовите мнѣ, дорогой другъ, чтобы ограничиться лишь однимъ примѣромъ изъ тысячи, назовите мнѣ хотя бы одного основателя монашескаго ордена, или самый этотъ орденъ, который бы всегда оставался чуждымъ, при самыхъ чистыхъ намѣреніяхъ и самыхъ благородныхъ побужденіяхъ, нѣкотораго произвола въ обхожденіи съ людьми, насилованія чужой свободы, стремленія къ таинственности или властолюбію? Укажите мнѣ такихъ, которые, преслѣдуя чисто духовную цѣль, чуждую всякой неблагородной примѣси, если разсматривать эту цѣль саму по себѣ, такъ какъ она представляется уму,—не были бы незамѣтно увлечены покуситься на чужія права, которыя однако представлялись имъ всегда наисвященнѣйшими, нерѣдко даже проявлять деспотическій произволъ, не измѣняя при этомъ своей цѣли, не ощущая нарушенія въ своихъ побужденіяхъ. Я объясняю себѣ эти явленія потребностью ограниченнаго разума укоротить пути, упростить дѣло и обобщать индивидуальныя особенности, которыя представляются помѣхой и смущаютъ, — объясняю изъ присущей намъ общей склонности къ властолюбію, или къ тому, чтобы отстранить все то, что служитъ препятствіемъ свободному проявленію нашихъ силъ. Вотъ почему я выбралъ характеръ, которому присущи были наилучшія стремленія къ благу, характеръ, возвышающійся надъ всякими своекорыстными желаніями; я придалъ ему чувство высокаго уваженія къ чужимъ правамъ; я даже поставилъ цѣлью его стремленій — предоставленіе всѣмъ наслаждаться свободой, — и всетаки думаю, что не оказался въ противорѣчіи съ тѣмъ, что подтверждается опытомъ жизни, заставивъ своего героя даже на избранномъ имъ пути сбиться въ сторону деспотизма. Въ мои планы входило, чтобы онъ попался въ петлю, которая угрожаетъ всѣмъ, идущимъ по одному съ нимъ пути. Чего бы мнѣ стоило—заставить его благополучно избѣжать этой западни и доставить читателю, который его полюбилъ, ничѣмъ не смущаемую радость оцѣнить всю привлекательность прочихъ сторонъ его характера;—но я счелъ большимъ преимуществомъ остаться вѣрнымъ человѣческой природѣ и не нарушать даннымъ примѣромъ тотъ жизненный опытъ, которымъ никогда нельзя слишкомъ дорожить. Я хочу сказать, что въ области нравственныхъ явленій всегда рискованно отступать отъ естественныхъ, жизненныхъ чувствованій, чтобы пускаться въ отвлеченія слишкомъ общаго характера; что человѣкъ надежнѣе можетъ положиться на внушенія своего сердца или на принятыя въ обиходѣ и индивидуальныя представленія о справедливости и несправедливости, чѣмъ довѣрять опасному руководству разсудочныхъ идей общаго характера, искусственно созданныхъ; ибо ничто не ведетъ къ добру, что не представляется естественнымъ по своей сущности.

———

ПИСЬМО ДВѢНАДЦАТОЕ.

Остается мнѣ еще сказать лишь нѣсколько словъ о самопожертвованіи Позы.

Порицали то, что онъ добровольно бросился навстрѣчу насильственной смерти, которую могъ бы избѣжать. Не все еще, говорятъ, было потеряно. Почему же онъ не могъ бѣжать, какъ это сдѣлалъ его другъ? Развѣ не обязывала его именно его дружба къ Карлосу—сохранить себя для него? Развѣ онъ не принесъ бы гораздо большей пользы ему своею жизнью, чѣмъ рискуя вѣроятною смертью, даже въ томъ случаѣ, еслибы все исполнилось согласно его планамъ? Развѣ онъ не могъ... но, скажите на милость, чего бы только не могъ предпринять спокойный зритель, и какъ много разумнѣе и умнѣе распорядился бы онъ своей жизнію! Жаль только, что маркизъ не могъ воспользоваться такимъ завиднымъ хладнокровіемъ и досугомъ, этими необходимыми условіями столь благоразумнаго разсчета. Однако, мнѣ могутъ замѣтить, что принужденное и хитроумное средство, къ которому онъ прибѣгаетъ, чтобы умереть, не могло ему придти въ голову такъ сразу въ первую минуту; почему же онъ не могъ бы съ такимъ же успѣхомъ употребить раздумье и время, потраченныя на то средство,—на изобрѣтеніе разумнаго плана для своего спасенія, или даже воспользоваться тѣмъ, который у него былъ подъ рукой и сразу бросается въ глаза даже не дальновидному читателю? Если толко онъ не хотѣлъ умереть ради самой смерти, или—какъ выразился одинъ изъ моихъ критиковъ—если онъ не искалъ смерти ради мученичества, то едва понятно, почему ему раньше пришло въ голову столь изысканное средство обрѣсти гибель, чѣмъ несравненно болѣе простое средство спастись. Это возраженіе кажется весьма вѣскимъ и тѣмъ болѣе заслуживаетъ разсмотрѣнія.

Отвѣтъ на него слѣдующій:

Во 1-хъ, данное возраженіе основано на ошибочномъ и достаточно уже опровергнутомъ изъ всего вышеизложеннаго предположеніи, что маркизъ умираетъ только ради своего друга. Это предположеніе болѣе не умѣстно, послѣ того, какъ доказано, что онъ жилъ не для Карлоса, и что дружба съ нимъ была чѣмъ то совсѣмъ инымъ. Слѣдовательно, онъ не могъ умереть только для того, чтобы спасти своего друга; для послѣдняго, вѣроятно, онъ нашелъ бы другіе, менѣе насильственные способы, чѣмъ смерть: „онъ умираетъ, чтобы всѣмъ пожертвовать за свой идеалъ, вложенный въ душу принца, всѣмъ тѣмъ, что есть у человѣка самаго дорогого, что только онъ можетъ отдать на какое-нибудь дѣло; и онъ это отдаетъ, чтобы доказать самымъ наглядным образомъ, какимъ онъ только располагаетъ, какъ сильна его вѣра въ истинность и въ превосходство своего плана и какъ онъ дорожитъ его осуществленіемъ". Онъ умираетъ по той же причинѣ, по которой многіе великіе люди умирали за правду, чтобы она стала предметомъ общей любви и домогательства, чтобы доказать собственнымъ примѣромъ, до какой степени правда заслуживаетъ того, чтобы ради нея все претерпѣть. Когда законодатель Спарты выполнилъ свой трудъ, и Дельфійскій оракулъ предсказалъ, что республика будетъ существовать и процвѣтать до тѣхъ поръ, пока они будутъ чтить законы Ликурга, послѣдній созвалъ спартанскій народъ и потребовалъ отъ него клятвы, что онъ оставитъ неприкосновенной новую организацію по крайней мѣрѣ до того времени, когда онъ вернется изъ предпринятаго имъ путешествія. Когда это ему было обѣщано торжественною клятвою, Ликургъ покинулъ область Спарты, переставъ съ того времени вкушать пищу, и республика тщетно ожидала его возвращенія. Передъ смертью онъ строжайшимъ образомъ наказалъ бросить въ море даже его пепелъ, чтобы ни одинъ атомъ его существа не возвратился въ Спарту и чтобы у его согражданъ была отнята самомалѣйшая возможность отказаться отъ данной клятвы. Развѣ могъ Ликургъ при этомъ серьезно думать, что онъ ненарушимо связываетъ лакедемонянъ такою хитростью и обезпечиваетъ устойчивость своего законодательства, прибѣгнувъ къ такой дѣтской выходкѣ? Развѣ мыслимо, чтобы столь мудрый человѣкъ пожертвовалъ ради такой романической мысли своею жизнью, которая была такъ дорога его родинѣ? Между тѣмъ мнѣ представляется весьма вѣроятнымъ и достойнымъ соображеніе, которое могло ему придти на умъ,—покончить съ собою, чтобы произвести неизгладимое впечатлѣніе на спартанцевъ именно своей великою и необычайной смертью и внушить еще больше уваженія къ дѣлу тѣмъ, что его создатель становился предметомъ умиленія и удивленія.

Во 2-хъ, вопросъ, какъ это легко замѣтить, заключается не въ томъ—насколько

такой исходъ былъ необходимъ, естественъ, полезенъ на самомъ дѣлѣ, а какимъ онъ представляется тому, кто долженъ былъ за него ухватиться, и легко или съ трудомъ онъ на него напалъ. Слѣдовательно, нужно обратить главное вниманіе не столько на самыя обстоятельства, сколько на состояніе духа, вызванное этими обстоятельствами. Если мысли, которыя привели маркиза къ его героическому рѣшенію, ему обычны, если онѣ легко ему приходили въ голову и живо рисовались, то оно отнюдь не представляется ни искусственнымъ, ни слишкомъ выисканнымъ; если именно эти мысли представляются преобладающими и господствующими въ его душѣ, тогда какъ другія, которыя могли привести къ болѣе безобидному исходу, оставались въ тѣни, то принятое имъ рѣшеніе было необходимостью; если на него мало оказывали вліянія тѣ чувства, которыя въ другомъ человѣкѣ вступили бы въ борьбу съ принятымъ рѣшеніемъ, то ему не трудно было привести его въ исполненіе. Этотъ вопросъ намъ теперь и предстоитъ разсмотрѣть.

Во 1-хъ, при какихъ обстоятельствахъ маркизъ Поза приходитъ къ настоящему рѣшенію? Въ самомъ тяжеломъ положеніи, въ какомъ человѣкъ когда либо оказывался, обуреваемый одновременно самыми разнообразными чувствами: ужасомъ, сомнѣніемъ, досадой на себя, мучительной болью и отчаяніемъ. *Ужасомъ:* онъ видитъ, что его другъ собирается выдать тайну, отъ которой зависитъ его жизнь, той особѣ, которую онъ знаетъ, какъ его самаго страшнаго врага. *Сомнѣніемъ*: онъ не увѣренъ,—раскрыта-ли эта тайна или нѣтъ? Если принцесса знаетъ ее, то онъ долженъ дѣйствовать противъ нея, какъ сообщницы; если она еще не знаетъ тайны, то малѣйшее неосторожное слово можетъ изъ него сдѣлать предателя, убійцу своего друга. *Досадой на себя*: онъ одинъ довелъ принца до такой поспѣшности своею несчастной скрытностью. *Горемъ и отчаяніемъ*: онъ видитъ гибель своего друга, онъ утрачиваетъ съ нимъ всѣ надежды, которыя онъ на него возлагалъ.

Своимъ единственнымъ покинутъ другомъ,
Ты бросился въ объятія принцессы,
Несчастный! Ты въ когтяхъ у сатаны.
Она вѣдь предала тебя. Я вижу
Ты къ ней идешь. Зловѣщее мнѣ вкралось
Предчувствіе. Я за тобой спѣшу—
Но поздно. Ты лежишь у ногъ ея...
Признанье сорвалось... Спасенья нѣтъ...
— Въ глазахъ стемнѣло,
Мракъ, мракъ кругомъ, нѣтъ выхода, спасенья
Природа словно вся сомкнулась...

Въ эту минуту, когда столько различныхъ чувствъ обуреваютъ его душу, онъ долженъ быстро изобрѣсти средство спасти своего друга. Какое же это будетъ средство? Онъ лишился способности правильно разсуждать, а вмѣстѣ съ тѣмъ утратилъ нить событій, которую можетъ прослѣдить лишь умъ въ спокойномъ состояніи. Онъ больше не хозяинъ своихъ мыслей; онъ оказывается во власти тѣхъ изъ нихъ, которыя раньше свѣтили ему всего ярче и были наиболѣе ему обычными.

Въ какомъ же родѣ представляются эти мысли? Кому не ясно, при совокупномъ разсмотрѣніи его жизни, насколько маркизъ Поза живетъ передъ нами въ настоящей пьесѣ, что его воображеніе полно и насквозь проникнуто образами романическаго величія, что въ его душѣ живутъ герои Плутарха, и что на распутьи его всегда, прежде всего и больше всего, влечетъ на путь героическаго? Развѣ его предшествовавшій разговоръ съ королемъ не показываетъ, на что только не способенъ рѣшиться этотъ человѣкъ во имя того, что онъ считаетъ истиннымъ, прекраснымъ и наилучшимъ? Къ тому же, что можетъ быть естественнѣе того, чтобы Поза, при указанномъ чувствѣ досады на себя, которое онъ въ настоящую минуту испытываетъ, прежде всего обратился къ такому средству спасенія своего друга, которое ему самому обходится не даромъ; что онъ считаетъ себя до извѣстной степени обязаннымъ, изъ чувства справедливости, спасти въ ущербъ себѣ своего друга, такъ какъ онъ самъ подвергъ его опасности именно по своей необдуманности? Кромѣ того, примите во вниманіе, что онъ долженъ очень торопиться выйти изъ этого тяжелаго состоянія и вновь вернуть себѣ самообладаніе и власть надъ своими чувствами. Вы конечно согласитесь со мной, что такой человѣкъ, какъ Поза, ищетъ помощи въ себѣ, а не внѣ себя: если для обыкновеннаго умнаго человѣка первымъ долгомъ представлялось выяснить всесторонне положеніе, въ которомъ онъ находится, раньше чѣмъ придти къ какому-нибудь рѣшенію,—то, напротивъ,

вполнѣ соотвѣтствовало характеру героически-настроеннаго мечтателя сократить этотъ путь розысковъ и какимъ-нибудь необыкновеннымъ поступкомъ, внезапнымъ подъемомъ своего духовнаго существа, вернуть къ себѣ опять чувство собственнаго уваженія. Въ такомъ случаѣ рѣшеніе, принятое маркизомъ, объяснялось бы нѣкотораго рода героическимъ палліативомъ, которымъ онъ старался пересилить минутное чувство отупѣнія и отчаянія, невыносимыя для такого человѣка. Прибавьте къ этому, что уже въ раннемъ дѣтствѣ, уже съ того самаго дня, когда Карлосъ добровольно подвергъ себя мучительному наказанію ради него, Поза испытывалъ въ душѣ безпокойное желаніе отплатить ему за это великодушіе; настоящая мысль его тревожила, какъ неуплаченный долгъ, и должна была не мало усилить въ данный моментъ значеніе вышеприведенныхъ доводовъ. Что дѣйствительно данное воспоминаніе передъ нимъ носилось, это доказывается однимъ мѣстомъ, гдѣ Поза непроизвольно упоминаетъ о немъ. Карлосъ настаиваетъ, чтобы онъ бѣжалъ раньше, чѣмъ обнаружатся послѣдствія его смѣлаго поступка. „Развѣ я былъ такъ щепетиленъ", отвѣчаетъ Поза, „когда ты, ребенкомъ, пролилъ кровь за меня?" Королева, подавленная горемъ, даже обвиняетъ его въ томъ, что онъ уже давно принялъ про себя это рѣшеніе:—

Вы въ дѣло сами бросились, считая
Его возвышеннымъ. О нѣтъ, не спорьте!
Я знаю васъ. Давно о немъ мечтали...

Въ концѣ концовъ, я вовсе не хочу снять съ маркиза всякій упрекъ въ безразсудствѣ. Безразсудство и энтузіазмъ такъ близки другъ къ другу, грань между ними такъ тонка, что легко переступить черезъ нее въ состояніи страстнаго возбужденія. А у маркиза немного времени для выбора. Въ томъ же состояніи духа, въ которомъ онъ принимаетъ рѣшеніе, онъ совершаетъ непоправимый шагъ къ его выполненію. Если-бы ему пришлось передумать это рѣшеніе, при другомъ настроеніи духа, раньше чѣмъ исполнить,—какъ знать, не взглянулъ ли бы онъ тогда на дѣло иначе? Другимъ такимъ состояніемъ духа представляется, напримѣръ, то, въ которомъ онъ отправляется къ королевѣ. „О, восклицаетъ онъ, жизнь какъ, она прекрасна". Но это открытіе онъ дѣлаетъ слишкомъ поздно. Онъ скрывается за величіемъ своего поступка, чтобы не чувствовать по немъ раскаянія. **Ѳ. Батюшковъ.**

О причинѣ наслажденія, доставляемаго трагическими предметами.

Какъ ни стараются нѣкоторые новѣйшіе эстетики защитить, точно отъ унизительнаго упрека, искусства воображенія и чувства отъ всеобщаго убѣжденія, что цѣлью ихъ служитъ наслажденіе, это убѣжденіе, однако, останется и послѣ, какъ и прежде, непоколебимымъ, и изящныя искусства неохотно промѣняютъ свое вѣковѣчное, безспорное и благодѣтельное призваніе на новое, до котораго ихъ такъ великодушно хотятъ возвысить. Не заботясь о томъ, будто ихъ назначеніе, имѣющее въ виду наше наслажденіе, унижаетъ ихъ, они, наоборотъ, будутъ гордиться тѣмъ преимуществомъ, что непосредственно исполняютъ то, что всѣ остальныя направленія и дѣятельности человѣческаго духа могутъ выполнить лишь косвеннымъ путемъ. Что цѣль природы по отношенію къ человѣку есть его счастіе, хотя бы самъ человѣкъ въ своей нравственной дѣятельности не считался съ этой цѣлью, не усомнится, конечно, ни одинъ человѣкъ, вообще видящій какую либо цѣль въ дѣятельности природы. Такимъ образомъ изящныя искусства сходны съ послѣдней, или, вѣрнѣе, съ ея создателемъ въ основной цѣли: сѣять наслажденіе и творить счастливыхъ. Играя, даютъ они то, что ихъ серьезныя сестры заставляютъ насъ добывать съ тяжелымъ трудомъ; они дарятъ то, что тамъ бываетъ обыкновенно лишь трудной добычей чрезвычайныхъ стараній. Напряженнымъ прилежаніемъ приходится намъ покупать наслажденія разсудка, мучительными жертвами—одобреніе разума, тяжелыми лишеніями—чувственныя наслажденія, а то еще искупать вереницей страданій ихъ излишество; одно искусство даетъ намъ радости, которыя не надо зарабатывать, которыя не стоятъ жертвъ, которыя не приходится искупать раскаяніемъ. Кто-же поставитъ заслугу *такого* наслажденія въ одну область съ жалкой заслугой забавы? Кто вздумаетъ отрицать эту первую цѣль у изящныхъ искусствъ лишь потому, что она выше второй?

Несмотря на благія цѣли, намѣреніе сдѣлать высшею цѣлью всего нравственное добро,—намѣреніе, давшее искусству и взявшее подъ свою защиту такъ много посредственныхъ произведеній, причинило такой-же вредъ и теоріи. Чтобы возвысить искусства въ чинѣ, чтобы снискать имъ благосклонность государства и благоговѣніе человѣчества, ихъ изгоняютъ изъ ихъ родного удѣла, чтобы навязать имъ чуждое и совершенно не свойственное ихъ природѣ призваніе. Имъ разсчитываютъ оказать великую услугу, подставляя имъ вмѣсто ихъ легкомысленнаго призванія забавлять—цѣль нравственную; и ихъ вліяніе на нравственность, такъ бросающееся въ глаза, какъ будто подкрѣпляетъ эту мысль. То, что это самое искусство, съ такой силой содѣйствующее этой высшей цѣли человѣчества, лишь мимоходомъ оказываетъ это дѣйствіе, а само имѣетъ своимъ конечнымъ стремленіемъ столь пошлую цѣль, какой считаютъ на-

слажденіе, кажется противорѣчіемъ. Но это кажущееся противорѣчіе могло бы быть легко устранено точной теоріей наслажденія, если бы мы таковую имѣли, и законченной философіей искусства. Послѣдняя показала бы, что свободное наслажденіе, вызываемое искусствомъ, покоится вполнѣ на нравственныхъ условіяхъ, что при этомъ принимаетъ дѣятельное участіе вся моральная природа человѣка; она показала бы также, что созданіе этого наслажденія есть цѣль, достижимая исключительно лишь путемъ нравственныхъ средствъ, что такимъ образомъ искусство, стремясь къ полному достиженію наслажденія, какъ къ своей истинной цѣли, должно необходимо идти путемъ морали. А для оцѣнки искусства совершенно безразлично, нравственна ли его цѣль, или лишь достижима нравственными средствами, ибо и въ томъ и въ другомъ случаѣ ему все равно приходится считаться съ нравственностью и дѣйствовать въ тѣснѣйшемъ союзѣ съ нравственнымъ чувствомъ; между тѣмъ для совершенства искусства далеко не безразлично, что будетъ считаться его цѣлью и что—средствомъ.

Если цѣлью его служитъ нравственность, то оно теряетъ то, что даетъ ему все его могущество,—свою свободу, и то, что сообщаетъ ему столь всеобщее дѣйствіе,—прелесть наслажденія. Игра обращается въ серьезное дѣло; а между тѣмъ именно игра могла бы лучше всего выполнить это дѣло. Лишь проявляя свое высшее эстетическое воздѣйствіе, можетъ искусство оказывать благодѣтельное вліяніе на нравственность; но лишь пользуясь безграничной свободой, можетъ оно проявлять высшее эстетическое воздѣйствіе.

Извѣстно далѣе, что всякое наслажденіе, поскольку оно вытекаетъ изъ нравственныхъ источниковъ, улучшаетъ человѣка въ нравственномъ отношеніи, и что здѣсь дѣйствіе должно въ свою очередь стать причиной. Склонность къ прекрасному, трогательному, возвышенному укрѣпляетъ наши нравственныя чувства, равно какъ наслажденіе благодѣяніемъ, любовью и т. д. укрѣпляетъ всѣ эти склонности. Какъ духовное самоудовлетвореніе есть вѣрный удѣлъ высоконравственнаго человѣка, такъ нравственная высота бываетъ часто спутницей духовнаго самоудовлетворенія. Такимъ образомъ искусство оказываетъ нравственное дѣйствіе не только потому, что доставляетъ наслажденіе путемъ нравственныхъ средствъ, но и потому, что наслажденіе, доставляемое искусствомъ, служитъ само путемъ къ нравственности.

Средства, которыми искусство достигаетъ своихъ цѣлей, также многообразны, какъ многообразны вообще источники свободнаго наслажденія. Но свободнымъ я называю такое наслажденіе, при которомъ принимаютъ дѣятельное участіе духовныя силы, разумъ и воображеніе, при которомъ ощущеніе рождается представленіемъ,—въ противоположность физическому или чувственному наслажденію, при которомъ душа подчинена слѣпой естественной необходимости, и ощущеніе слѣдуетъ непосредственно за своей физической причиной. Чувственное наслажденіе—единственное, исключенное изъ области прекрасныхъ искусствъ, и умѣлое возбужденіе чувственнаго наслажденія никогда не можетъ возвыситься до искусства, исключая лишь тотъ случай, когда чувственныя ощущенія расположены, усилены или умѣрены по опредѣленному художественному плану, и эта закономѣрность очевидна для представленія. Но и въ этомъ случаѣ искусствомъ будетъ лишь то, что является предметомъ свободнаго наслажденія, а именно вкусъ въ расположеніи элементовъ, ласкающихъ нашъ разсудокъ, а никакъ не физическія прелести, щекочащія лишь нашу чувственность.

Всеобщій источникъ всякаго, въ томъ числѣ и чувственнаго наслажденія, есть цѣлесообразность. Мы назовемъ наслажденіе чувственнымъ, когда цѣлесообразность не очевидна для нашей мысли, но лишь по закону необходимости имѣетъ своимъ физическимъ слѣдствіемъ чувство наслажденія. Такъ цѣлесообразное движеніе крови и жизненныхъ силъ въ отдѣльныхъ органахъ или въ цѣломъ организмѣ производитъ въ насъ ощущеніе физическаго удовольствія во всѣхъ его видахъ и формахъ; мы чувствуемъ эту цѣлесообразность чрезъ посредство пріятнаго ощущенія, но мы не можемъ представить ее себѣ ни въ опредѣленномъ, ни въ неясномъ видѣ.

Наслажденіе свободно, когда мы имѣемъ представленіе цѣлесообразности, и пріятное ощущеніе сопровождаетъ представленіе; такимъ образомъ всѣ представленія, при посредствѣ которыхъ мы познаемъ гармонію и цѣлесообразность вещей, являются источниками свободнаго наслажденія, и въ этой мѣрѣ способны служить искусству для этой цѣли. Они раздѣляются на слѣдующіе виды: доброе, истинное, совершенное, прекрасное, трогательное, возвышенное. Добрымъ зани-

мается нашъ разумъ, истиннымъ и совершеннымъ—разсудокъ, прекраснымъ—разсудокъ съ воображеніемъ, трогательнымъ и возвышеннымъ—разумъ съ воображеніемъ. Правда, уже и чувственное пріятное ощущеніе или сила, приведенная въ дѣятельность, также доставляютъ намъ наслажденіе, но искусство пользуется пріятнымъ физическимъ ощущеніемъ лишь для того, чтобы присоединить его къ высшимъ чувствамъ цѣлесообразности; само по себѣ оно сливается съ прочими физическими чувствами, и искусство отвергаетъ его, какъ и всѣ чувственныя наслажденія.

Разнообразіе источниковъ, изъ которыхъ искусство черпаетъ наслажденія, доставляемыя намъ, само по себѣ не даетъ еще намъ никакого права классифицировать искусства, такъ какъ въ одномъ и томъ же видѣ искусства могутъ сливаться многія, а часто и всѣ виды наслажденія. Но поскольку извѣстный видъ наслажденія является главной цѣлью, онъ можетъ служить если не для выдѣленія особаго рода искусства, то хоть для особой точки зрѣнія на произведенія искусства. Такъ напримѣръ тѣ искусства, которыя по преимуществу удовлетворяютъ разсудокъ и воображеніе, тѣ, стало быть, которыя имѣютъ своей главной цѣлью истинное, совершенное, прекрасное,—можно объединить подъ названіемъ изящныхъ искусствъ (искусствъ вкуса, искусствъ разсудка); тѣ, наоборотъ, которыя занимаютъ по преимуществу воображеніе и разумъ и, стало быть, имѣютъ своимъ предметомъ доброе, возвышенное и трогательное, могутъ быть выдѣлены въ особую группу подъ названіемъ искусствъ трогательныхъ (искусствъ чувства, сердца). Конечно, невозможно совершенно отдѣлить трогательное отъ прекраснаго, но прекрасное можетъ вполнѣ обойтись безъ элемента трогательнаго. Итакъ, если это разнообразіе точекъ зрѣнія не можетъ служить основой для исчерпывающей классификаціи свободныхъ искусствъ, то оно даетъ по крайней мѣрѣ возможность опредѣлить точнѣе основныя начала сужденія и избѣгнуть путаницы, которая становится неизбѣжной, когда при опредѣленіи эстетическихъ законовъ смѣшиваются совершенно различныя области трогательнаго и прекраснаго.

Трогательное и возвышенное сходны въ томъ, что они возбуждаютъ удовольствіе при посредствѣ неудовольствія, другими словами, въ томъ, что они—такъ какъ удовольствіе есть результатъ цѣлесообразности, страданіе есть слѣдствіе противоположнаго—они даютъ ощущеніе цѣлесообразности, предполагающей нецѣлесообразность.

Чувство возвышеннаго состоитъ, съ одной стороны, въ чувствѣ нашего безсилія и неумѣнія охватить извѣстный предметъ, но съ другой—въ чувствѣ нашей мощи, которая не знаетъ границъ и духовно подчиняетъ себѣ то, предъ чѣмъ преклоняются наши физическія силы. Такимъ образомъ предметъ возвышеннаго сильнѣе нашихъ физическихъ силъ, и эта нецѣлесообразность необходимо должна вызывать въ насъ извѣстное неудовольствіе. Но эта нецѣлесообразность въ то же время является причиной сознанія иной нашей способности, которая сильнѣе того, предъ чѣмъ оказалось безсильнымъ воображеніе. Итакъ именно вслѣдствіе того, что онъ не совмѣщается съ чувственными способностями, возвышенный предметъ представляется цѣлесообразнымъ разуму и причиняя страданіе при посредствѣ низшихъ способностей, доставляетъ удовольствіе чрезъ посредство высшихъ.

Быть тронутымъ въ строгомъ смыслѣ слова значитъ испытывать смѣшанное ощущеніе страданія и удовольствія, вызываемаго этимъ страданіемъ. Такимъ образомъ быть тронутымъ своимъ же несчастіемъ возможно лишь въ томъ случаѣ, когда страданіе отъ этого несчастія достаточно умѣренно, чтобы дать мѣсто удовольствію, какое испыталъ бы при этомъ сострадательный свидѣтель. Потеря значительнаго имущества въ данный моментъ поражаетъ насъ горемъ, и наше горе трогаетъ зрителя; но черезъ годъ—мы сами уже лишь растроганы, когда вспоминаемъ объ этомъ горѣ. Слабый всегда—жертва своего страданія, для героя и мудреца величайшія личныя несчастія лишь трогательны.

Какъ и чувство возвышеннаго, это чувство состоитъ изъ двухъ составныхъ частей—страданія и удовольствія; и здѣсь, стало быть, какъ и тамъ, въ основѣ цѣлесообразности лежитъ нецѣлесообразность. Такъ нецѣлесообразностью въ природѣ представляется то, что человѣкъ, по существу не предназначенный къ страданію, все же страдаетъ, и эта нецѣлесообразность доставляетъ намъ боль. Но эта боль нецѣлесообразности цѣлесообразна для нашей разумной природы, поскольку она вызываетъ насъ къ дѣятельности, цѣлесообразна для человѣческаго общества. Поэтому даже неудовольствіе, возбуждаемое въ насъ нецѣ-

лесообразностью, должно необходимо доставлять намъ удовольствіе, ибо это неудовольствіе цѣлесообразно. Чтобы опредѣлить, что именно выступитъ на первый планъ, когда человѣкъ тронутъ,—удовольствіе или неудовольствіе, необходимо выяснить, что имѣетъ перевѣсъ—представленіе цѣлесообразности или нецѣлесообразности. Это въ свою очередь можетъ зависѣть отъ совокупности цѣлей, которыя достигаются или попираются, или же отъ ихъ отношенія къ конечной цѣли всѣхъ цѣлей.

Страданія добродѣтельнаго человѣка трогаютъ насъ больнѣе, чѣмъ страданія порочнаго, ибо въ первомъ случаѣ мы видимъ противорѣчіе не только общей цѣли человѣка—быть счастливымъ, но и частной цѣли—быть счастливымъ посредствомъ добродѣтели, тогда какъ во второмъ случаѣ мы видимъ лишь противорѣчіе общей цѣли. Наоборотъ, счастіе злодѣя возбуждаетъ въ насъ гораздо болѣе болѣзненное чувство, чѣмъ несчастіе добродѣтельнаго человѣка, ибо во-первыхъ въ самомъ порокѣ, а во-вторыхъ въ наградѣ порока заключается противорѣчіе.

Кромѣ того добродѣтель гораздо болѣе способна вознаграждать себя, чѣмъ счастливый порокъ—наказывать себя; поэтому скорѣе человѣкъ честный останется и въ бѣдѣ вѣренъ добродѣтели, чѣмъ порочный въ счастьи обратится на путь истины.

Но болѣе всего зависитъ опредѣленіе отношенія удовольствія къ неудовольствію въ трогательномъ отъ того, какая цѣль важнѣе—попранная-ли важнѣе достигнутой или достигнутая важнѣе попранной. Нѣтъ цѣлесообразности, болѣе важной для насъ, чѣмъ цѣлесообразность нравственная, и ничто не можетъ быть выше удовольствія, доставляемаго намъ ею. Естественная цѣлесообразность всегда остается для насъ проблематичной, нравственная несомнѣнна для насъ. Лишь она основана на нашей разумной природѣ и внутренней необходимости. Она—ближайшая, важнѣйшая и въ то же время самая очевидная для насъ, ибо она не опредѣляется ничѣмъ внѣшнимъ, но исключительно внутреннимъ началомъ нашего разума. Она есть палладіумъ нашей свободы.

Эта нравственная цѣлесообразность познается живѣйшимъ образомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда въ борьбѣ съ другими она получаетъ преобладаніе; вся сила нравственнаго закона проявляется во всей полнотѣ лишь въ томъ случаѣ, когда онъ приходитъ въ столкновеніе со всѣми остальными естественными силами, и всѣ онѣ наряду съ нимъ теряютъ свою власть надъ человѣческимъ сердцемъ. Подъ этими естественными силами подразумѣвается все то, что не можетъ быть названо нравственнымъ, все, что находится внѣ высшаго законодательства разума, то есть ощущенія, побужденія, чувствованія, страсти, равно какъ физическая необходимость и судьба. Чѣмъ страшнѣе враги, тѣмъ славнѣе побѣда; лишь противодѣйствіе дѣлаетъ силу очевидной. Изъ этого слѣдуетъ, „что высшее сознаніе нашей нравственной природы можетъ поддерживаться лишь въ борьбѣ и что высшее нравственное наслажденіе всегда сопровождается страданіемъ".

Такимъ образомъ тотъ поэтическій родъ, который даетъ намъ высшую степень нравственнаго наслажденія, долженъ именно по этой причинѣ пользоваться смѣшанными ощущеніями и возбуждать въ насъ удовольствіе при посредствѣ страданія. Это исполняетъ по преимуществу *трагедія*, и область ея охватываетъ всевозможные случаи, въ которыхъ какая бы то ни было естественная цѣлесообразность приносится въ жертву нравственной или одна нравственная цѣлесообразность другой, высшей. Быть можетъ, было бы возможно, по степени, въ какой одна нравственная цѣлесообразность проявляется и ощущается въ борьбѣ съ другой, построить лѣстницу наслажденія отъ низшаго къ высшему и, исходя изъ начала цѣлесообразности, опредѣлить a priori степень пріятнаго или тягостнаго волненія. Мало того,—быть можетъ на основаніи этого же принципа можно было бы a priori предустановить опредѣленные разряды трагедіи, исчисливъ всевозможные виды ея въ исчерпывающей таблицѣ, такъ что получилась бы возможность указать каждой данной трагедіи ея мѣсто и напередъ опредѣлить какъ видъ ея трогательнаго дѣйствія, такъ и его степень, которую она, по мѣсту, которое она занимаетъ въ таблицѣ, переступить не можетъ. Но этотъ предметъ требуетъ особаго обсужденія.

Въ какой степени въ нашемъ духѣ представленіе нравственной цѣлесообразности пользуется предпочтеніемъ предъ естественной цѣлесообразностью, будетъ всего яснѣе видно по нѣсколькимъ примѣрамъ.

Когда мы видимъ связанными на эшафотѣ Гюона и Аманду, которые оба по свободному выбору предпочитаютъ лучше умереть страшной смертью на кострѣ, чѣмъ

невѣрностью возлюбленному достигнуть престола,—то что дѣлаетъ для насъ это явленіе предметомъ столь небеснаго наслажденія? Противорѣчіе между даннымъ ихъ состояніемъ и счастливой участью, которую они отвергли, кажущаяся нецѣлесообразность природы, награждающей добродѣтель страданіемъ, противоестественный отказъ отъ эгоизма и т. п.—все это, исполняя нашу душу такимъ множествомъ представленій нецѣлесообразнаго, должно было бы возбудить въ насъ чувствительнѣйшую боль,—но что намъ до природы со всѣми ея цѣлями и законами, если она своей цѣлесообразностью служитъ для того, чтобы показать намъ во всемъ ея блескѣ цѣлесообразность нравственную. Впечатлѣніе побѣдоносной мощи нравственнаго закона, которое мы получаемъ при этомъ видѣ, представляетъ собой столь высокое, столь существенное благо, что мы испытываемъ даже искушеніе примириться со зломъ, которому обязаны всѣмъ этимъ. Радость, возбуждаемая въ насъ гармоніей въ царствѣ свободы, безконечно сильнѣе, чѣмъ непріятное чувство, вызываемое всѣми противорѣчіями міра природы.

Когда Коріоланъ, побѣжденный долгомъ супруга, сына и гражданина, покидаетъ почти покоренный Римъ, подавляетъ въ себѣ чувство мести, уводитъ свое войско и отдаетъ себя въ жертву завистливому сопернику, онъ, очевидно, совершаетъ весьма нецѣлесообразное дѣйствіе; вслѣдствіе этого шага онъ не только теряетъ плоды всѣхъ своихъ побѣдъ, но сознательно стремится къ гибели. Но съ другой стороны, какъ великолѣпно, какъ невыразимо величественно это предпочтеніе разрыва съ своей склонностью разрыву съ нравственнымъ чувствомъ, эта рѣшимостъ вопреки всѣмъ правиламъ благоразумія, попрать высшіе интересы чувственности, лишь бы дѣйствовать въ полномъ согласіи съ высшимъ нравственнымъ долгомъ. Всякая жертва жизнью нецѣлесообразна, ибо жизнь есть условіе всѣхъ благъ; но пожертвовать жизнью съ нравственными цѣлями въ высшей степени цѣлесообразно, ибо жизнь не имѣетъ никакого значенія сама по себѣ, но важна лишь какъ путь къ нравственности. Если поэтому мы имѣемъ случай, гдѣ жертва жизнью есть средство къ достиженію нравственныхъ цѣлей, то жизнь должна уступить здѣсь нравственности. „Нѣтъ необходимости, чтобы я жилъ, но спасти Римъ отъ голода необходимо“, говорилъ великій Помпей, когда предъ отплытіемъ въ Африку друзья уговаривали его отложить отъѣздъ, пока пройдетъ буря.

Но страданіе преступника доставляетъ намъ съ трагической точки зрѣнія не меньшее наслажденіе, чѣмъ страданіе человѣка добродѣтельнаго; и однако мы получаемъ въ этомъ случаѣ впечатлѣніе нравственной цѣлесообразности. Противорѣчіе его образа дѣйствія съ нравственнымъ закономъ возмущаетъ насъ; нравственное несовершенство, предполагаемое такимъ образомъ дѣйствій, огорчаетъ насъ даже и въ томъ случаѣ, когда мы не принимаемъ въ разсчетъ страданія невинныхъ, падающихъ его жертвой. Здѣсь нѣтъ никакого удовлетворенія нравственностью дѣйствующихъ лицъ, которое могло бы вознаградить насъ за то непріятное чувство, которое сообщаютъ намъ ихъ дѣйствія и страданія—и всѣ же и тѣ и другія представляютъ собою весьма благодарный матеріалъ для искусства, за которымъ мы слѣдимъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ.

Не только покорность велѣніямъ нравственнаго закона дастъ намъ представленіе нравственной цѣлесообразности, но и скорбь о нарушеніи его. Печаль, порождаемая сознаніемъ нравственной нецѣлесообразности цѣлесообразна, потому что связана съ чувствомъ удовлетворенія, сопровождающимъ сознаніе нравственной правоты. Раскаяніе, самобичеваніе, даже въ его высшемъ проявленіи—въ формѣ отчаянія, нравственно возвышенны, потому что они никогда не могли бы найти выраженіе, если бы въ груди преступника не бодрствовало неподкупное чувство правды и неправды, осуществляющее свои права вопреки дѣятельнѣйшему противодѣйствію эгоизма. Раскаяніе въ какомъ либо поступкѣ проистекаетъ изъ сопоставленія его съ нравственнымъ закономъ и есть неодобреніе этого поступка, ибо онъ противорѣчитъ нравственному закону. Слѣдовательно въ минуту раскаянія нравственный законъ есть высшій судъ въ душѣ такого человѣка; этотъ законъ долженъ быть для него важнѣе, чѣмъ результатъ преступленія, ибо сознаніе попранія нравственнаго закона отравляетъ для него пріятное пользованіе этимъ результатомъ. Но состояніе души, въ которомъ нравственный законъ признается высшимъ судилищемъ, нравственно цѣлесообразно и, стало быть, можетъ явиться источникомъ нравственнаго наслажденія. И что можетъ быть возвышеннѣе героическаго от-

чаянія, которое низвергаетъ во прахъ всѣ жизненныя блага, ибо не можетъ вынести и заглушить порицающій голосъ своего внутренняго судьи. Жертвуетъ-ли добровольно своей жизнью человѣкъ добродѣтельный, чтобы дѣйствовать сообразно съ нравственнымъ закономъ; или преступникъ самъ подъ гнетомъ совѣсти лишаетъ себя жизни собственной рукою, чтобы покарать себя за нарушеніе этого закона,—наше уваженіе къ нравственному закону равно высоко въ обоихъ случаяхъ, и еслибы между ними и было какое либо различіе, то оно было бы въ пользу послѣдняго случая, такъ какъ рѣшимость добродѣтельнаго человѣка могла быть въ извѣстной степени облегчена для него пріятнымъ сознаніемъ правоты, а нравственная заслуга въ извѣстномъ дѣяніи тѣмъ меньше, чѣмъ больше участія въ немъ имѣютъ склонность и наслажденіе. Раскаяніе и отчаяніе по поводу совершеннаго преступленія показываютъ намъ силу нравственнаго закона лишь позже, но не слабѣе; это картины возвышеннѣйшей нравственности, лишь начертанныя въ минуту бури. Человѣкъ, доведенный до отчаянія тѣмъ, что нарушилъ нравственный долгъ, именно въ силу этого отчаянія, уже возвратился къ покорности нравственному долгу, и чѣмъ ужаснѣе онъ себя караетъ, тѣмъ могущественнѣе кажется намъ нравственный законъ, повелѣвающій ему.

Но бываютъ случаи, когда нравственное наслажденіе покупается лишь цѣною нравственнаго страданія, и это имѣетъ мѣсто тогда, когда нравственный долгъ долженъ быть нарушенъ, чтобы уступить мѣсто долгу болѣе высокому и болѣе широкому. Еслибы Коріоланъ, вмѣсто того, чтобъ осаждать свой родной городъ, стоялъ съ римскимъ войскомъ подъ стѣнами Анціума или Коріолъ, а мать его была изъ племени Вольсковъ и мольбы ея имѣли бы такое же дѣйствіе на него, то эта побѣда сыновняго долга произвела бы на насъ противоположное впечатлѣніе. Съ покорностью матери боролись бы гораздо болѣе высокія, гражданскія обязанности, которымъ въ случаѣ столкновенія должно быть отдано предпочтеніе. Комендантъ, которому предоставленъ выборъ или сдать городъ или видѣть, какъ на его глазахъ зарѣжутъ его сына, попавшаго въ плѣнъ, безъ колебанія выбираетъ послѣднее, потому что по справедливости долгъ по отношенію къ дитяти ниже, чѣмъ долгъ по отношенію къ отечеству. Правда, въ первое мгновеніе насъ возмущаетъ, какъ отецъ можетъ въ такой степени попрать естественныя чувства и отцовскій долгъ, но мы тотчасъ-же вслѣдъ затѣмъ захваченные сладостнымъ восхищеніемъ, что даже нравственное побужденіе, и даже связанное съ естественной склонностью, не можетъ отклонить отъ истиннаго пути велѣнія разума. Когда коринѳянинъ Тимолеонъ приказываетъ убить своего любимаго, но честолюбиваго брата Тимофана, потому что его представленіе о патріотическомъ долгѣ обязываетъ его уничтожить все, что можетъ быть опасно для республики, то, хотя мы не безъ содраганія и отвращенія видимъ, какъ онъ совершаетъ столь противоестественное и столь противное нравственному чувству дѣяніе, однако наше отвращеніе немедленно разрѣшается глубочайшимъ преклоненіемъ предъ героической добродѣтелью, которая охраняетъ свои велѣнія отъ всякаго воздѣйствія личной склонности и въ бурномъ столкновеніи чувствъ постановляетъ рѣшенія такъ же свободно и такъ же правильно, какъ и въ состояніи величайшаго покоя. Наши воззрѣнія на республиканскій долгъ могутъ быть совершенно несходны съ взглядами Тимолеона; это не препятствуетъ нашему наслажденію. Наоборотъ, именно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нашъ разсудокъ не на сторонѣ дѣйствующаго лица, тамъ-то и видно, въ какой степени мы ставимъ вѣрность долгу выше цѣлесообразности, согласіе съ разумомъ выше согласія съ разсудкомъ.

Но ни одно нравственное явленіе не вызоветъ столь разнорѣчивыхъ сужденій, какъ именно это, и причины такого разногласія найти не трудно. Конечно, нравственное чувство присуще всѣмъ людямъ, но не всѣмъ оно присуще съ той силой и свободой, которую необходимо предполагаетъ обсужденіе этихъ случаевъ. Громадное большинство удовлетворяется одобреніемъ дѣянія, когда его согласіе съ нравственнымъ закономъ очевидно, и неодобреніемъ, когда въ глаза бросается его несогласіе съ этимъ закономъ. Но на ясномъ разсудкѣ и на разумѣ, независимомъ отъ естественныхъ силъ—а стало быть и отъ всякихъ нравственныхъ побужденій, поскольку они являются инстинктивными — лежитъ долгъ правильно опредѣлить отношеніе нравственныхъ обязанностей къ высшему принципу нравственности. Вотъ почему одно и то же дѣяніе, въ которомъ немногіе избранники усмотрятъ высшую цѣлесообразность, покажется толпѣ возмутительнымъ противорѣчіемъ, хотя и тѣ и другіе будутъ судить о

немъ съ нравственной точки зрѣнія; оттого и происходитъ, что тронуты такими дѣяніями могутъ быть далеко не всѣ, какъ того позволяло бы ожидать единство человѣческой природы и необходимость нравственнаго закона. Но и самое истинное и величаво возвышенное представляется, какъ извѣстно, многимъ преувеличеніемъ и нелѣпостью, ибо мѣра разума, познающаго возвышенное, не у всѣхъ одинакова. Мелкая душонка склоняется во прахъ подъ гнетомъ столь высокихъ представленій или чувствуетъ себя совершенно удрученной ихъ нравственнымъ величіемъ. Какъ часто пошлой черни представляется отвратительной безтолочью то, въ чемъ духъ мыслящій усматриваетъ именно высшій порядокъ.

Вотъ и все, что намъ нужно знать о чувствѣ нравственной цѣлесообразности, поскольку оно лежитъ въ основѣ трагической трогательности и наслажденія, доставляемаго намъ страданіемъ. Но тѣмъ не менѣе есть не мало случаевъ, въ которыхъ естественная цѣлесообразность доставляетъ намъ наслажденіе какъ будто даже на счетъ нравственной. Высокая степень цѣлесообразности, съ которой злодѣй устраиваетъ свои махинаціи, доставляетъ намъ явное наслажденіе, хотя и его средства и его цѣли противорѣчатъ нравственному чувству. Подобный человѣкъ способенъ привлечь наше живѣйшее участіе, и мы трепещемъ, какъ бы не рухнули его планы, гибели которыхъ мы должны были бы страстно желать, если бы въ самомъ дѣлѣ нравственная цѣлесообразность всегда играла для насъ такую роль. Но и это явленіе не противорѣчитъ тому, что было сказано относительно чувства нравственной цѣлесообразности и его вліянія на наше наслажденіе предметами трагически трогательными.

Цѣлесообразность доставляетъ намъ наслажденіе всегда, хотя бы она вовсе не имѣла никакого отношенія къ нравственному или противорѣчила ему. Мы испытываемъ это наслажденіе въ чистомъ видѣ, пока не вспоминаемъ о нравственной цѣли, которая здѣсь нарушена. Подобно тому, какъ намъ нравятся проявленія подобнаго разсудку инстинкта, трудолюбіе пчелъ и т. п., хотя мы не приводимъ эту естественную цѣлесообразность въ связь съ разумной волей и тѣмъ менѣе съ какой-либо нравственной цѣлью, такъ и цѣлесообразность всякаго человѣческаго дѣйствія доставляетъ намъ наслажденіе сама по себѣ, если мы при этомъ не имѣемъ въ виду ничего, кромѣ отношенія средствъ къ ихъ цѣли. Но какъ только мы вздумаемъ сопоставить эту цѣль вмѣстѣ съ ея средствами съ нравственнымъ принципомъ и откроемъ противорѣчіе съ этимъ послѣднимъ; словомъ, какъ только мы вспомнимъ, что имѣемъ предъ собой дѣйствія нравственнаго существа, первоначальное удовольствіе тотчасъ-же смѣняется глубокимъ негодованіемъ и никакая на свѣтѣ разсудочная цѣлесообразность не въ силахъ примирить насъ съ представленіемъ нравственной нецѣлесообразности. Мы никогда не должны представлять себѣ съ особенной ясностью, что этотъ Ричардъ III, этотъ Яго, этотъ Ловеласъ—люди; иначе наше участіе неизбѣжно обратится въ нѣчто противоположное. Но простымъ повседневнымъ опытомъ можетъ быть подтверждено, что мы обладаемъ—и довольно часто пользуемся—способностью по своей волѣ переносить наше вниманіе съ одной стороны предмета и направлять его на другую, и что само наслажденіе, которое только и возможно благодаря этому распредѣленію вниманія, побуждаетъ насъ къ нему и удерживаетъ въ такомъ состояніи.

Но нерѣдко хитроумное злоумышленіе пользуется нашей благосклонностью преимущественно по той причинѣ, что оно является средствомъ доставить намъ наслажденіе нравственной цѣлесообразностью. Чѣмъ опаснѣе западня, въ которую Ловеласъ старается завлечь добродѣтель Клариссы, чѣмъ тяжелѣе испытанія, которымъ изобрѣтательная жестокость тиранна подвергаетъ стойкость своей невинной жертвы, тѣмъ большій блескъ пріобрѣтаетъ въ нашихъ глазахъ торжество добродѣтели. Мы наслаждаемся силой чувства нравственнаго долга, которая заставляетъ такъ изворачиваться изобрѣтательность соблазнителя. Наоборотъ, мы ставимъ въ нѣкоторую заслугу послѣдовательному злодѣю побѣду надъ нравственнымъ чувствомъ, необходимо присущимъ, конечно, его душѣ, ибо эта побѣда свидѣтельствуетъ объ извѣстной душевной силѣ и чрезвычайной цѣлесообразности разсудка, который идетъ къ своимъ цѣлямъ, не смущаемый никакими нравственными соображеніями.

Къ тому же безспорно, что цѣлесообразныя злоумышленія лишь въ томъ случаѣ могутъ быть предметомъ полнаго удовлетворенія, когда они посрамляются нравственной цѣлесообразностью. Въ этихъ случаяхъ такое цѣлесообразное зло является

даже существеннымъ условіемъ полнаго удовлетворенія, ибо оно одно способно озарить со всей ясностью могущество нравственнаго чувства. Нѣтъ болѣе убѣдительнаго доказательства этого, чѣмъ послѣднее впечатлѣніе, съ которымъ мы разстаемся съ „Клариссой". Высшая разсудочная цѣлесообразность, которою мы противъ своей воли восхищались въ любовной тактикѣ Ловеласа, побѣдоносно унижена разумной цѣлесообразностью, которую Кларисса противопоставляетъ страшному врагу ея невинности, и мы чувствуемъ такимъ образомъ въ себѣ способность соединить въ высокой степени наслажденіе обѣими цѣлесообразностями.

Поскольку трагическій поэтъ полагаетъ своей цѣлью довести чувство нравственной цѣлесообразности до степени живого сознанія, поскольку онъ разумно выбираетъ и примѣняетъ средства для этой цѣли,—онъ доставитъ знатоку всегда двойственное наслажденіе: наслажденіе нравственной цѣлесообразностью и цѣлесообразностью естественной. Одна удовлетворяетъ сердце, другая—разсудокъ. Толпа съ равной слѣпотой испытываетъ дѣйствіе, предназначенное художникомъ для сердца, не замѣчая той магіи, при посредствѣ которой искусство проявило эту власть надъ нимъ. Но есть извѣстный классъ знатоковъ, для которыхъ, наоборотъ, теряется дѣйствіе, предназначенное художникомъ для сердца, и симпатіи которыхъ онъ за то пріобрѣтаетъ цѣлесообразностью примѣненныхъ для этого средствъ. Въ это своеобразное противорѣчіе вырождается нерѣдко утонченнѣйшая культура вкуса, особенно тамъ, гдѣ нравственное облагороженіе остается позади разсудочнаго образованія. Этотъ родъ знатоковъ ищетъ въ возвышенномъ и трогательномъ только разсудочнаго; послѣднее они умѣютъ почувствовать и оцѣнить съ надлежащимъ вкусомъ; но ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ обращаться къ ихъ сердцу. Зрѣлость и культура влекутъ насъ къ этой пучинѣ, и избѣгнуть вреднаго вліянія той и другой—лучшая слава для характера образованнаго человѣка. Изъ всѣхъ европейскихъ народовъ болѣе всѣхъ къ этой крайности приблизились наши сосѣди, французы, и мы, какъ и во всемъ остальномъ, и здѣсь стремимся къ этому образцу.

А. Горнфельдъ.

О трагическомъ искусствѣ.

Состояніе аффекта само по себѣ, независимо отъ вреднаго или полезнаго воздѣйствія на насъ его предмета, имѣетъ для насъ нѣчто привлекательное; мы жаждемъ испытать это состояніе, хотя бы цѣною нѣкоторыхъ жертвъ. Это побужденіе лежитъ въ основѣ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ удовольствій; будетъ-ли сущностью аффекта стремленіе къ предмету или отвращеніе къ нему, будетъ ли онъ по своей природѣ пріятенъ или мучителенъ,—имѣетъ здѣсь мало значенія. Наоборотъ, опытъ учитъ насъ, что аффектъ непріятный привлекаетъ насъ сильнѣе, что, стало быть, наслажденіе, доставляемое аффектомъ, находится въ обратномъ отношеніи къ его содержанію. Таково неизмѣнное свойство нашей природы: съ непреодолимой силой влечетъ насъ къ себѣ все печальное, страшное, ужасное, такъ что мы сами чувствуемъ, какъ явленія страданія и ужаса съ одинаковой силой одновременно привлекаютъ и отталкиваютъ насъ. Съ напряженнымъ вниманіемъ ловимъ мы каждое слово разсказа объ убійствѣ; съ жадностью поглощаемъ страшную сказку о привидѣніяхъ,—и эта жадность тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше становятся у насъ волоса дыбомъ.

Живѣе проявляется это побужденіе въ виду явленій дѣйствительной жизни. Наслажденіе, испытываемое нами, когда мы глядимъ съ берега на бурю, поглощающую цѣлый флотъ, равно по силѣ протесту нашего чувствительнаго сердца при видѣ этого зрѣлища; едва ли можно согласиться съ Лукреціемъ, который объясняетъ это естественное наслажденіе сопоставленіемъ нашей личной безопасности съ созерцаемой нами опасностью. Какъ многочисленна толпа народа, сопровождающая преступника на мѣсто казни. Ни радостью удовлетворенной любви къ справедливости, ни гнуснымъ наслажденіемъ утоленной жажды мести не объяснить этого явленія. Этотъ несчастный, быть можетъ, даже оправданъ въ сердцѣ зрителя, дѣятельное состраданіе, быть можетъ, уже хлопочетъ о его спасеніи; и однако во всякомъ зрителѣ въ большей или меньшей степени непремѣнно трепещетъ жадное желаніе направить свой слухъ

и зрѣніе на зрѣлище его страданій. Если человѣкъ извѣстнаго воспитанія и извѣстной утонченности чувствъ и составляетъ исключеніе изъ общаго правила, то причина кроется тутъ уже не въ томъ, что ему будто бы чуждо это побужденіе, но въ томъ, что его отвлекаетъ болѣзненное дѣйствіе состраданія или же удерживаютъ въ извѣстныхъ рамкахъ правила приличія. Грубое дитя природы, не обуздываемое никакими чувствами мягкой гуманности, отдается безропотно во власть этому могучему влеченію. Оно коренится, стало быть, въ первичной природѣ души человѣческой и объясняется всеобщимъ психологическимъ закономъ.

Если-бы мы, однако, въ виду несовмѣстимости грубыхъ чувствъ дикаря съ достоинствомъ человѣческой природы, не рѣшились обосновать на нихъ законъ, охватывающій цѣлый родъ, то у насъ нѣтъ недостатка въ другихъ фактахъ, ставящихъ дѣйствительность и всеобщность наслажденія болѣзненными чувствованіями внѣ всякаго сомнѣнія. Тягостная борьба противоположныхъ привязанностей или обязанностей, являющаяся для того, кто ее переноситъ, источникомъ несказанныхъ мученій, доставляетъ намъ удовольствіе, когда мы остаемся ея зрителями; съ неизмѣнно возрастающимъ наслажденіемъ слѣдимъ мы за развитіемъ страсти вплоть до пропасти, въ которую она увлекаетъ свою злосчастную жертву. Та же нѣжность чувствъ, вслѣдствіе которой мы не можемъ спокойно смотрѣть на физическія страданія или на физическое выраженіе нравственныхъ страданій, является причиной того особенно сладостнаго ощущенія, которое доставляетъ намъ сочувствіе чисто нравственнымъ страданіямъ. Всѣмъ свойственъ тотъ интересъ, какой мы проявляемъ къ разсказу объ этихъ предметахъ.

Естественно, это относится лишь къ изображенному или воспроизведенному аффекту; ибо близкія отношенія, въ какихъ находится самъ подлинный аффектъ къ нашему инстинкту благополучія, обыкновенно занимаетъ насъ и овладѣваетъ нами слишкомъ сильно, чтобы оставалось еще мѣсто для наслажденія, которое онъ доставляетъ самъ по себѣ, не осложненный никакими своекорыстными побужденіями. Такъ въ томъ, кто въ самомъ дѣлѣ охваченъ мучительной страстью, чувство страданія перевѣшиваетъ все остальное, какъ-бы ни восхищало слушателя или зрителя изображеніе его душевнаго состоянія. Тѣмъ не менѣе даже и настоящій мучительный аффектъ не вполнѣ лишенъ для человѣка, который его переноситъ, нѣкотораго наслажденія; лишь степени этого наслажденія различны, глядя по душевной организаціи человѣка. Если бы въ безпокойствѣ, въ тревогѣ, въ страхѣ не было нѣкоторой доли удовольствія, азартныя игры имѣли бы для насъ гораздо меньше прелести, безумная отвага не кидалась бы въ опасности, сочувствіе чужимъ страданіямъ не доставляло бы намъ высшаго наслажденія именно въ моменты сильнѣйшей иллюзіи, въ мгновенія живѣйшаго переживанія этихъ чужихъ страданій. Все это, однако, не значитъ, что непріятные аффекты сами по себѣ могутъ быть источникомъ наслажденія, и едва ли кто либо вздумалъ бы утверждать что-нибудь подобное; достаточно, что этими душевными состояніями создаются предварительныя условія, при которыхъ становятся возможны извѣстные виды удовольствія. Такимъ образомъ душевныя организаціи, особенно воспріимчивыя и особенно склонныя къ такимъ видамъ удовольствія, легче примирятся съ этими непріятными условіями и даже среди яростнѣйшихъ бурь страсти не вполнѣ утратятъ свою свободу.

Неудовольствіе, испытываемое нами при непріятныхъ аффектахъ, зависитъ отъ отношенія предмета къ нашимъ физическимъ или нравственнымъ способностямъ, подобно тому, какъ удовольствіе, сопровождающее пріятные аффекты, имѣетъ тотъ же источникъ. Сообразно отношенію, въ какомъ находится нравственная природа человѣка къ физической, измѣняется и степень свободы, какою онъ располагаетъ въ минуту аффекта; а такъ какъ въ нравственномъ, какъ извѣстно, для насъ нѣтъ выбора, а физическое влеченіе, наоборотъ, подчинено регулирующей дѣятельности разума и такимъ образомъ подвластно нашей силѣ, то очевидно, что при всѣхъ аффектахъ, имѣющихъ отношеніе къ эгоистическимъ побужденіямъ, возможно сохранять полнѣйшую свободу и управлять по своей волѣ силой ихъ напряженія. Это напряженіе ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ нравственныя чувства перевѣшиваютъ въ человѣкѣ инстинктъ благополучія, и эгоистическая преданность своему индивидуальному *я* умѣряется покорностью всеобщимъ законамъ разума. Такой человѣкъ будетъ въ состояніи аффекта гораздо слабѣе чувствовать отношеніе извѣстнаго предмета къ

инстинкту благополучія и слѣдовательно испытаетъ неудовольствіе, проистекающее изъ этого отношенія, въ гораздо меньшей степени; наоборотъ, тѣмъ болѣе будетъ онъ чутокъ къ отношеніямъ этого предмета къ его нравственности и потому гораздо болѣе воспріимчивъ къ удовольствію, которое нерѣдко примѣшиваетъ нравственный элементъ къ тягостнѣйшимъ физическимъ страданіямъ. Такой душевной организаціи наиболѣе доступны наслажденія состраданія; она способна даже удержать настоящій, первичный аффектъ въ оболочкѣ состраданія. Отсюда—неоцѣнимое значеніе жизненной философіи, которая посредствомъ постояннаго указанія на всеобщіе законы лишаетъ чувство всякой силы для нашей индивидуальности, учитъ насъ отрѣшаться отъ нашего маленькаго *я* въ связи съ великимъ цѣлымъ и такимъ образомъ даетъ намъ силу относиться къ самимъ себѣ, какъ къ существамъ постороннимъ. Это возвышенное настроеніе есть удѣлъ сильныхъ и философскихъ душъ, которыя долгой неустанной работой надъ собой пріучились обуздывать свои эгоистическія побужденія. Самая мучительная утрата не выводитъ ихъ за предѣлы тихой грусти, съ которой всегда можетъ сочетаться замѣтная степень радости. Лишь этимъ людямъ, единственно способнымъ выдѣляться изъ себя, доступно наслажденіе участія къ самимъ себѣ и пережеванія своихъ собственныхъ страданій въ мягкомъ отблескѣ симпатіи.

Уже въ изложенномъ мы имѣемъ достаточныя указанія на источники наслажденія, доставляемаго намъ аффектомъ самимъ по себѣ, особенно аффектомъ грусти. Какъ мы видѣли, это наслажденіе сильнѣе въ душахъ нравственныхъ и тѣмъ самопроизвольнѣе, чѣмъ свободнѣе душа отъ эгоистическихъ побужденій. Оно, далѣе, живѣе и энергичнѣе при аффектахъ печальныхъ, связанныхъ съ оскорбленіемъ самолюбія, чѣмъ при аффектахъ радостныхъ, предполагающихъ удовлетвореніе самолюбія; оно, стало быть, возрастаетъ тамъ, гдѣ эгоистическія побужденія получаютъ отпоръ, и уменьшается тамъ, гдѣ эти побужденія находятъ удовлетвореніе. Но намъ извѣстны лишь два источника наслажденія: удовлетвореніе инстинкта благополучія и исполненіе законовъ нравственности; если, слѣдовательно, доказано, что источникъ извѣстнаго наслажденія не въ первомъ, то онъ коренится непремѣнно во второмъ. Итакъ, наша моральная природа есть источникъ наслажденія, доставляемаго намъ изображеніемъ мучительныхъ аффектовъ и иногда даже дѣйствительнымъ переживаніемъ такихъ аффектовъ.

Попытки объяснить удовольствіе состраданія дѣлались не разъ; но удовлетворительными могутъ считаться лишь весьма немногія изъ нихъ, такъ какъ причины явленія искали охотнѣе не въ природѣ самого аффекта, но въ побочныхъ обстоятельствахъ. Многимъ казалось, что удовольствіе состраданія есть не что иное, какъ удовольствіе, доставляемое душѣ ея чувствительностью; другіе видѣли въ немъ наслажденіе энергичнымъ примѣненіемъ силъ, живымъ проявленіемъ способности пожеланія, другими словами—наслажденіе удовлетвореніемъ жажды дѣятельности; третьи выводятъ его изъ познанія нравственно прекрасныхъ чертъ характера, проявляющихся особенно явственно въ борьбѣ съ несчастіемъ и съ страстью. Но во всѣхъ этихъ попыткахъ остается совершенно невыясненнымъ самое главное: почему въ предметахъ состраданія наиболѣе привлекательно именно самое страданіе, самая боль,—вѣдь по тѣмъ объясненіямъ выходитъ, что болѣе слабая степень страданія какъ будто благопріятнѣе для указываемыхъ здѣсь источниковъ наслажденія волненіемъ. Живость и сила возбужденныхъ въ нашей фантазіи представленій, нравственное величіе страдающихъ предъ нами лицъ, мысль сочувствующаго зрителя о самомъ себѣ, конечно, могутъ усилить наслажденіе волненіемъ, но не могутъ быть его источникомъ. Страданія мелкой душонки, муки злодѣя, конечно, не даютъ намъ этого наслажденія,—не не даютъ лишь потому, что они возбуждаютъ наше сочувствіе въ меньшей степени, чѣмъ страдающій герой или доблестный боецъ. Итакъ, мы всегда возвращаемся къ первому вопросу: почему-же степень наслажденія сочувствіемъ страданію опредѣляется именно размѣрами этого страданія, и на этотъ вопросъ можетъ быть данъ лишь одинъ отвѣтъ: потому что именно дѣйствіе на нашъ физическій міръ есть условіе возбужденія той силы души, дѣятельность которой является источникомъ этого наслажденія мучительнымъ сочувствіемъ.

Эта сила есть не что иное, какъ разумъ, и поскольку свободное проявленіе его, какъ абсолютная самодѣятельность, заслуживаетъ названія дѣятельности по преимуществу, поскольку душа лишь въ своемъ нравственномъ проявленіи чувствуетъ себя совершенно свободной и независимой, постольку,

конечно, причиной нашего наслажденія мучительными волненіями является удовлетворенная потребность дѣятельности. Но въ основѣ этого наслажденія лежитъ не многочисленность и не живость представленій, не дѣятельность способности желанія, вообще, но лишь особый видъ первыхъ и опредѣленная, зависящая отъ разума дѣятельность второй.

Итакъ, изображенный предъ нами аффектъ заключаетъ нѣчто привлекательное для насъ потому, что онъ удовлетворяетъ потребность въ дѣятельности; это дѣйстіе свойственно мучительному аффекту печали въ высшей степени потому, что онъ удовлетворяетъ эту потребность въ высшей степени. Лишь въ состояніи полнѣйшей свободы, лишь въ состояніи своей разумной природы проявляетъ душа высшее напряженіе дѣятельности, ибо лишь въ этомъ случаѣ она развиваетъ силу, превосходящую всякое сопротивленіе.

Но то состояніе души, которое даетъ выраженіе этой силѣ, которое наиболѣе способно пробудить эту дѣятельность, наиболѣе цѣлесообразно для разумнаго существа и наиболѣе способно удовлетворить потребность въ дѣятельности; оно, стало быть, и связано съ наибольшимъ наслажденіемъ *). Въ такое состояніе переноситъ насъ аффектъ скорби, и наслажденіе, доставляемое имъ, въ такой же степени превосходитъ наслажденіе, доставляемое аффектами радости, въ какой наша нравственная природа выше физической.

То, что во всей системѣ цѣлей является подчиненнымъ членомъ, выдѣляется искусствомъ изъ этой связи и обращается въ главную его цѣль. Для природы наслажденіе можетъ быть второстепенной цѣлью; для искусства оно основной элементъ. Поэтому искусство во имя своей главной цѣли не должно упускать изъ виду высокаго наслажденія, заключеннаго въ грустномъ волненіи. А то искусство, которое главной своей цѣлью полагаетъ наслажденіе состраданіемъ, называется трагическимъ искусствомъ въ обычномъ смыслѣ.

Искусство выполняетъ свое назначеніе посредствомъ подражанія природѣ; оно воспроизводитъ условія, при которыхъ возможно въ дѣйствительности наслажденіе, и для этой цѣли объединяетъ по разумному плану разрозненныя явленія природы, полагая своей основной цѣлью то, что для природы было цѣлью побочной. Такимъ образомъ трагическое искусство будетъ подражать природѣ въ тѣхъ ея явленіяхъ, которыя по преимуществу способны вызвать аффектъ состраданія.

Итакъ для того, чтобы начертать общія правила въ руководство трагическому искусству, необходимо прежде всего знать условія, при которыхъ, по указаніямъ опыта, появленіе наслажденія волненіемъ наиболѣе вѣроятно и теченіе наиболѣе энергично; необходимо также обратить при этомъ вниманіе и на тѣ обстоятельства, которыя ослабляютъ или даже уничтожаютъ его.

Опытъ указываетъ два противоположныхъ обстоятельства, препятствующихъ наслажденію волненіями: это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда состраданіе или слишкомъ слабо или слишкомъ сильно, такъ что воспроизведенный аффектъ живѣе дѣйствительнаго. Это въ свою очередь, можетъ зависѣть или отъ слабости впечатлѣнія, производимаго на насъ дѣйствительнымъ страданіемъ—и въ этомъ случаѣ мы говоримъ, что сердце наше осталось холодно, и мы не чувствуемъ ни печали, ни радости; или-же это зависитъ отъ болѣе сильныхъ впечатлѣній, перевѣшивающихъ полученное впечатлѣніе и своимъ перевѣсомъ ослабляющихъ или совершенно заглушающихъ въ душѣ наслажденіе состраданіемъ.

Согласно съ тѣмъ, что изложено въ предыдущей статьѣ о причинѣ наслажденія трагическими предметами, въ каждомъ трагическомъ волненіи играетъ извѣстную роль представленіе нѣкоторой нецѣлесообразности, которое—въ тѣхъ случаяхъ, когда волненіе должно доставлять наслажденія, ведетъ къ представленію о нѣкоторой высшей цѣлесообразности. Отъ взаимоотношеній между этими двумя противоположными представленіями и зависитъ, чѣмъ будетъ сопровождаться волненіе—удовольствіемъ или неудовольствіемъ. Если представленіе нецѣлесообразности сильнѣе противоположнаго представленія или если цѣль недостигнутая важнѣе достигнутой, то неудовольствіе одержитъ во всякомъ случаѣ верхъ. Не такъ важно, имѣетъ ли это объективное значеніе, касаясь всего рода человѣческаго, или только субъективное,—относясь лишь къ немногимъ индивидамъ.

Когда непріятное чувство, порожденное причиной несчастія, слишкомъ сильно, оно ослабляетъ наше состраданіе къ тому, кто

*) Смотри выше статью «О причинѣ наслажденія трагическими предметами».

его переноситъ. Два совершенно противоположныхъ чувства не могутъ съ равной силой наполнять одновременно душу. Раздраженіе противъ виновника страданій становится господствующимъ аффектомъ, и всякое другое чувство должно уступить ему. Такимъ образомъ наше участіе ослабляется этимъ раздраженіемъ, напримѣръ, въ томъ случаѣ, когда несчастный, къ которому мы должны-бы чувствовать состраданіе, гибнетъ по собственной и непростительной винѣ или по слабости разсудка и по малодушію не съумѣлъ избѣгнуть гибели, хотя могъ это сдѣлать. Нашему состраданію къ злосчастному Лиру, оскорбленному неблагодарными дочерями, не въ малой степени вредитъ мысль о томъ, какъ легкомысленно отказался отъ своей короны этотъ впавшій въ дѣтство старикъ и какъ неразумно распредѣлилъ свою любовь между дочерьми. Въ „Олинтѣ и Софроніи", трагедіи Кронека, страшнѣйшія страданія, которымъ на нашихъ глазахъ подвергаются оба мученика за вѣру, лишь въ слабой степени возбуждаютъ наше состраданіе, а ихъ возвышенный героизмъ столь-же мало возбуждаетъ наше удивленіе, ибо лишь безуміе способно на дѣянія, какими Олинтъ приводитъ самого себя и весь свой народъ на край гибели.

Въ такой-же степени ослабляется наше состраданіе и въ томъ случаѣ, когда виновникъ несчастія, жертвы котораго должны быть предметомъ нашего состраданія, возбуждаетъ въ насъ отвращеніе. Неумѣніе трагическаго поэта обойтись безъ злодѣя или необходимость измѣрять величіе страданія размѣрами злодѣйства неизмѣнно отражается на совершенствѣ его творенія. Подтвержденія этой мысли—Яго и лэди Макбетъ у Шекспира, Клеопатра въ „Родегунѣ", Францъ Мооръ въ „Разбойникахъ". Поэтъ, ясно представляющій себѣ свою выгоду, никогда не сдѣлаетъ несчастіе результатомъ злой воли, сознательно вызвавшей его, а тѣмъ менѣе слѣдствіемъ неразумія, но непремѣнно представитъ его слѣдствіемъ стеченія обстоятельствъ. Если причины несчастія не въ явленіяхъ нравственнаго порядка, но во внѣшнихъ обстоятельствахъ, не обладающихъ волею и не подчиненныхъ волѣ, то состраданіе чище и по крайней мѣрѣ не ослабляется представленіемъ нравственной нецѣлесообразности. Но въ этомъ случаѣ участливый зритель не будетъ избавленъ отъ тягостнаго сознанія нецѣлесообразности въ природѣ, что можетъ быть искуплено лишь нравственной цѣлесообразностью. Гораздо болѣе высокой степени достигаетъ состраданіе въ томъ случаѣ, когда предметомъ его оказывается не только тотъ, кто испытываетъ страданія, но и тотъ, кто причиняетъ ихъ. Это имѣетъ мѣсто лишь тогда, когда послѣдній не возбуждаетъ въ насъ ни ненависти, ни презрѣнія, но сталъ виновникомъ несчастія помимо своей воли. Особенная прелесть нѣмецкой „Ифигеніи" заключается именно въ томъ, что царь Тавриды, единственный человѣкъ, стоящій на пути желаніямъ Ореста и его сестры, не только ни на минуту не теряетъ нашего уваженія, но въ концѣ концовъ заставляетъ насъ даже полюбить его.

Еще выше этого рода трогательнаго стоитъ тотъ, въ которомъ причина несчастія не только не противорѣчитъ нравственности, но именно нравственностью создана, и въ которомъ взаимныя страданія причинены лишь мыслью героя о томъ, что онъ заставляетъ страдать другихъ. Таково положеніе Химены и Родрига въ „Сидѣ" Пьера Корнеля,—съ точки зрѣнія интриги,—образцовомъ произведеніи трагическаго искусства. Долгъ чести и сыновней любви вооружаютъ руку Родрига противъ отца его возлюбленной, а мужество даетъ ему побѣду; долгъ чести и любви къ отцу дѣлаютъ его страшнѣйшей обвинительницей и мстительницей Химену, дочь убитаго. Оба дѣйствуютъ наперекоръ своей любви, которая столь-же боязливо трепещетъ предъ несчастіемъ преслѣдуемаго существа, сколь настоятельно повелѣваетъ имъ нравственный долгъ добиваться этого несчастія. Оба такимъ образомъ внушаютъ намъ глубочайшее уваженіе, потому что исполняютъ нравственный долгъ на счетъ своего влеченія; оба возбуждаютъ въ насъ величайшее состраданіе, потому что страдаютъ добровольно и по причинѣ, внушающей къ нимъ высшее уваженіе. Здѣсь такимъ образомъ наше состраданіе не только не нарушается противоположными чувствами, но, наоборотъ, вспыхиваетъ съ удвоенной силой; лишь невозможность примирить идею несчастія съ безспорнѣйшимъ правомъ на блаженство могла затмить нашу радостную симпатію облачкомъ грусти. Какъ ни отрадно, что наше недовольство такой дисгармоніей обращено не на нравственное существо, но на явленіе безразличное—на необходимость, все-же однако унизительна и оскорбительна слѣпая покорность судьбѣ для духа свобод-

наго и склоннаго къ самоопредѣленію. Вотъ недостатокъ чего мы чувствуемъ даже въ совершеннѣйшихъ твореніяхъ греческой драмы, ибо въ концѣ концовъ во всѣхъ произведеніяхъ ея прибѣгаютъ къ необходимости, и нашъ разумъ, требующій разумности, въ заключеніе останавливается предъ нераспутаннымъ узломъ. Но на высшей и послѣдней ступени, до которой подымается нравственно развитой человѣкъ и до которой можетъ возвыситься трогающее насъ искусство, разрѣшается и это противорѣчіе, а вмѣстѣ съ нимъ исчезаетъ и всякая тѣнь неудовольствія. Это бываетъ въ томъ случаѣ, когда улетучивается и это чувство недовольства судьбой, растворяясь въ чувствѣ — а еще лучше въ ясномъ сознаніи — телеологической гармоніи міра, возвышеннаго порядка, благостной Воли. Тогда къ нашему наслажденію нравственной гармоніей присоединяется сладостное сознаніе совершеннѣйшей цѣлесообразности въ великомъ цѣломъ природы, и кажущееся нарушеніе ея, возбудившее въ отдѣльномъ случаѣ нашу грусть, становится для нашего разума побужденіемъ искать въ общихъ законахъ оправданія этого обособленнаго случая и разрѣшать этотъ отдѣльно прозвучавшій диссонансъ въ великой гармоніи цѣлаго. До этихъ чистыхъ высотъ трагической скорби никогда не вызвышалось греческое искусство, ибо ни народная религія, ни даже философія грековъ не дошли до этого міровоззрѣнія. Новому искусству, на долю котораго выпало получать болѣе возвышенный матеріалъ изъ рукъ болѣе высокой философіи, суждено привести въ исполненіе и это высшее требованіе и такимъ образомъ дать полное выраженіе нравственному значенію искусства. Если намъ, людямъ новаго времени, приходится въ самомъ дѣлѣ на-вѣки отказаться отъ замысловъ воскресить греческое искусство, ибо философскій духъ нашей эпохи и современная культура вообще неблагопріятны развитію искусства, то они отражаются менѣе пагубно на трагическомъ искусствѣ, которое основано болѣе на нравственныхъ элементахъ. Здѣсь, быть можетъ, вознаграждаетъ наша культура за ущербъ, нанесенный ею искусству вообще.

Если трагическое впечатлѣніе съ одной стороны ослабляется вслѣдствіе примѣси неподходящихъ представленій и чувствъ, отчего понижается также наслажденіе, доставляемое имъ, то съ другой стороны, вслѣдствіе чрезмѣрнаго приближенія къ дѣйствительному аффекту, оно можетъ возрости до той ступени, на которой страданіе становится уже слишкомъ сильнымъ. Было уже замѣчено, что непріятное дѣйствіе аффектовъ коренится въ отношеніи ихъ предмета къ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ, а наслажденіе, доставляемое ими,—въ отношеніи самого аффекта къ нашему нравственному міру. Такимъ образомъ между чувственностью и нравственностью предполагается постоянное взаимоотношеніе, которымъ опредѣляется отношеніе удовольствія къ неудовольствію въ трагическихъ впечатлѣніяхъ и которое не можетъ быть измѣнено или извращено, не извративъ чувствъ удовольствія или неудовольствія, а то и совсѣмъ измѣнивъ ихъ въ противоположныя чувства. Чѣмъ живѣе дѣятельность чувственнаго міра, тѣмъ слабѣе проявленія міра нравственнаго, и, наоборотъ, чѣмъ болѣе слабѣетъ первая, тѣмъ болѣе усиливается вторая. Очевидно, все, что даетъ въ нашей душѣ перевѣсъ чувственному элементу, должно, ограничивая элементъ нравственный, тѣмъ самымъ ослабить наше наслажденіе отъ трагическихъ впечатлѣній, проистекающее только изъ этого элемента нравственности; ибо все въ нашей душѣ, оживляющее дѣятельность ея нравственныхъ силъ, лишаетъ остроты всякую боль, даже въ дѣйствительныхъ аффектахъ. А чувственный элементъ всегда получаетъ этотъ перевѣсъ, какъ только болѣзненныя представленія достигаютъ въ насъ такой живости и силы, что мы уже теряемъ способность отличить изображаемый поэтомъ аффектъ отъ дѣйствительнаго, наше собственное *я* отъ страдающаго героя драмы, правду отъ вымысла. Этотъ перевѣсъ получаетъ чувственный элементъ также въ томъ случаѣ, когда нагроможденіе его предметовъ или ослѣпительный свѣтъ, пролитый на него возбужденной фантазіей, даютъ ему обильную пищу. Наоборотъ, самое разумное — ввести его въ свойственные ему предѣлы, какъ опору сверхчувственныхъ нравственныхъ идей, при помощи которыхъ подавленный разумъ выпрямляется, точно на какихъ-то духовныхъ подпоркахъ, и возносится надъ темной мглою чувствъ въ область свѣта. Этимъ объясняется, почему имѣли такую привлекательность для всѣхъ образованныхъ народовъ общія истины или моральные афоризмы, вкрапленные у мѣста въ драматическій діалогъ, и почему уже греки доводили это почти до излишества. Ничто для нравственнаго духа не можетъ быть пріятнѣе того состоянія, когда онъ

послѣ долговременнаго пассивнаго страданія вновь пробуждается къ самодѣятельности и обрѣтаетъ свою былую свободу.

Таковы обстоятельства, ограничивающія чувство состраданія и препятствующія наслаждаться трагическими впечатлѣніями. Обратимся къ условіямъ, усиливающимъ чувство состраданія и способствующимъ усиленію удовольствія, доставляемаго намъ этими впечатлѣніями.

Всякое сострадание предполагаетъ наличность представленій страданія, и, сообразно живости, истинности, полнотѣ и продолжительности послѣднихъ, измѣняется и степень перваго.

I. Чѣмъ живѣе представленія, тѣмъ настоятельнѣе въ душѣ потребность дѣятельности, тѣмъ возбужденнѣе его чувственная сторона, тѣмъ, стало быть, энергичнѣе противодѣйствіе ея нравственныхъ силъ. Но представленія страданія получаются двумя различными путями, которые оказываютъ различное вліяніе на живость впечатлѣній. Тѣ страданія, свидѣтелями которыхъ были мы сами, дѣйствуютъ на насъ неизмѣримо сильнѣе, чѣмъ тѣ, о которыхъ мы узнаемъ изъ разсказа или описанія. Первыя возбуждаютъ свободную игру нашей фантазіи и, дѣйствуя непосредственно на наши чувства, проникаютъ кратчайшимъ путемъ въ наше сердце. Наоборотъ, въ разсказѣ частный случай долженъ быть обобщенъ, затѣмъ уже отъ частнаго мы идемъ опять къ общему, и эта неизбѣжная дѣятельность разсудка въ значительной степени ослабляетъ силу впечатлѣнія. А слабое впечатлѣніе не сможетъ нераздѣльно овладѣть душою и позволитъ постороннимъ впечатлѣніямъ нарушить цѣльность воздѣйствія и разсѣять вниманіе. Очень часто разсказъ переноситъ насъ изъ душевнаго состоянія дѣйствующихъ лицъ въ настроеніе самого разсказчика, что нарушаетъ столь необходимую для чувства состраданія иллюзію. Разъ на первый планъ выступаетъ личность самого разсказчика, въ дѣйствіи—а вмѣстѣ съ нимъ неизбѣжно и въ нашемъ сочувствующемъ волненіи—наступаетъ перерывъ; это имѣетъ мѣсто даже тогда, когда драматургъ въ разгарѣ діалога влагаетъ въ уста дѣйствующихъ лицъ замѣчанія, подходящія лишь къ холодному зрителю. Отъ этого недостатка едва-ли свободна хоть одна изъ новѣйшихъ трагедій, но лишь во французской трагедіи онъ возведенъ въ правило. Итакъ, для того, чтобы сообщить нашимъ представленіямъ о страданіи ту силу, которой требуетъ высокое напряженіе волненія, необходимы непосредственное присутствіе и живое воздѣйствіе на внѣшнія чувства.

2. Но мы можемъ получать самыя живыя впечатлѣнія страданія, не испытывая ни малѣйшаго состраданія: это бываетъ въ томъ случаѣ, когда впечатлѣнія лишены правдивости. Чтобы принять участіе въ страданіи, мы должны составить себѣ о немъ понятіе; для этого необходимо сходство его съ чѣмъ-то такимъ, что уже ранѣе было въ насъ. Самая возможность состраданія основана на уже воспринятомъ нами или предполагаемомъ сходствѣ между нами и страдающимъ субъектомъ. Сострадание неизбѣжно тамъ, гдѣ такое сходство очевидно, и невозможно тамъ, гдѣ его нѣтъ. Чѣмъ явственнѣе и больше это сходство, тѣмъ живѣе наше сострадание; чѣмъ меньше первое, тѣмъ слабѣе второе. Для того, чтобы внутренно переживать аффектъ другого, необходимо, чтобы въ насъ были заранѣе готовы всѣ внутреннія условія этого аффекта, чтобы внѣшняя причина, породившая его, въ соединеніи съ внутренними условіями, могла произвести на насъ такое же дѣйствіе. Мы должны быть способны, не насилуя себя, мѣняться своей личностью съ другимъ, переноситься своимъ *я* въ его состояніе. Но возможно-ли переживать душевное состояніе другого, если мы ранѣе не были этимъ другимъ?

Это сходство простирается на всю организацію души, поскольку она всеобща и необходима. Но названныя свойства—всеобщность и необходимость—присущи по преимуществу нашей нравственной природѣ. Внѣшнія чувства могутъ зависѣть отъ тѣхъ или иныхъ случайныхъ причинъ: даже наша познавательная способность находится въ зависимости отъ неустойчивыхъ условій; лишь наша нравственность въ себѣ самой находитъ свою основу и потому наиболѣе способна дать всеобщее и точное мѣрило для опредѣленія этого сходства. Истиннымъ мы называемъ представленіе, которое, на нашъ взглядъ, соотвѣтствуетъ нашей формѣ мышленія и воспріятія, состоитъ уже въ извѣстномъ сродствѣ съ нашими мыслями, легко усваивается нашимъ внутреннимъ міромъ. Если сходство касается индивидуальныхъ особенностей нашей души, тѣхъ своеобразныхъ проявленій въ насъ общечеловѣческой натуры, которыя отвлекаются безъ ущерба общечеловѣческой природѣ, то представленіе это можетъ быть названо истиннымъ лишь для насъ; если же сход-

ство охватываетъ всеобщую и необходимую форму, свойственную всему роду человѣческому, то мы имѣемъ право считать истину объективной. Для римлянина приговоръ перваго Брута, самоубійство Катона составляютъ субъективную истину. Представленія и чувства, которыми обусловлены дѣйствія этихъ мужей, вытекаютъ не непосредственно изъ общечеловѣческой природы, но изъ свойствъ особеннаго, индивидуальнаго характера. Для того чтобы раздѣлять ихъ чувства, надо имѣть римское міровоззрѣніе или быть способнымъ на время усвоить себѣ это міровоззрѣніе. Наоборотъ, для того чтобы быть глубоко потрясеннымъ самоотверженнымъ героизмомъ Леонида, спокойной покорностью Аристида, добровольной смертью Сократа, для того чтобы проливать слезы надъ страшной судьбой Дарія, достаточно быть только человѣкомъ. Такія представленія мы назовемъ въ противоположность первымъ объективно истинными, ибо они находятся въ соотвѣтствіи съ природой всякаго воспринимающаго субъекта и потому имѣютъ столь же строгую всеобщность и необходимость, какъ будто они совершенно не зависимы отъ всякихъ субъективныхъ условій.

Изъ того, однако, что субъективно истинное изображеніе подчинено случайнымъ условіямъ, не слѣдуетъ, что оно совершенно произвольно. Въ концѣ концовъ, вѣдь, и субъективная истина вытекаетъ изъ всеобщихъ основъ человѣческаго духа, лишь особыми обстоятельствами видоизмѣненныхъ извѣстнымъ образомъ,—и это есть ея необходимое условіе. Если бы рѣшеніе Катона противорѣчило общимъ законамъ человѣческой природы, оно не могло бы считаться и субъективной истиной. Изображенія этого рода отличаются лишь болѣе узкой сферой дѣйствія, такъ какъ разсчитаны не только на общечеловѣческія свойства, но еще и на нѣкоторыя другія. Трагическое искусство, отказываясь отъ экстензивнаго воздѣйствія, можетъ пользоваться ими съ большой интензивной силой; но все же его наилучшимъ матеріаломъ будетъ всегда безусловно истинное, исключительно человѣческое въ человѣческихъ условіяхъ, ибо лишь эти мотивы, не ограничивая силы впечатлѣнія, обезпечиваютъ искусству всеобщее дѣйствіе.

3. Кромѣ живости и истины, отъ трагическаго изображенія требуется еще законченность. Все, что должно быть дано извнѣ для того, чтобы привести душу въ желательное состояніе, должно быть исчерпано въ представленіи. Если воображаемый зритель съ римскимъ міровоззрѣніемъ долженъ перенестись въ душевное состояніе Катона, если послѣднее рѣшеніе этого республиканца должно стать его рѣшеніемъ, та оно должно вытекать не только изъ римскаго міровоззрѣнія, но изъ соотвѣтственныхъ обстоятельствъ, внѣшнее положеніе и внутреннее состояніе героя должны быть ему совершенно ясны во всей ихъ связи и совокупности, отъ него не должно ускользнуть ни одно звено изъ той цѣпи условій, къ которой примыкаетъ послѣднее рѣшеніе римлянина. Вообще безъ этой законченности нельзя говорить и о правдивости изображенія, ибо лишь на сходствѣ обстоятельствъ, которыя должны быть для насъ совершенно ясны, можетъ быть основано наше сужденіе о сходствѣ ощущеній: происхожденіе аффекта зависитъ отъ соединенія условій внѣшнихъ и внутреннихъ. Если намъ предстоитъ рѣшить, какъ мы поступили-бы на мѣстѣ Катона, мы прежде всего должны продумать всѣ подробности его внѣшняго положенія, и лишь тогда мы имѣемъ право сопоставить наше настроеніе съ его настроеніемъ, сдѣлать заключеніе объ ихъ сходствѣ и объ истинѣ.

Единственный путь къ такой законченности изображенія—объединеніе вереницы отдѣльныхъ представленій и ощущеній, находящихся въ причинной связи и въ своей совокупности составляющихъ для нашего сознанія единое цѣлое. Для того, чтобы оказать на насъ живое воздѣйствіе, всѣ эти представленія должны произвести непосредственное впечатлѣніе на наши внѣшнія чувства и—такъ какъ повѣствовательная форма ослабляетъ это впечатлѣніе—должны быть вызваны совершающимся предъ нами дѣйствіемъ. Итакъ, законченность трагическаго изображенія требуетъ извѣстнаго количества отдѣльныхъ воспроизведенныхъ дѣйствій, которыя объединяются въ трагическое дѣйствіе, какъ въ одно большое цѣлое.

4. Наконецъ, для того, чтобы представленія страданія оказали на насъ глубоко трогательное впечатлѣніе, необходимо, чтобы они были достаточно продолжительны. Аффектъ, въ который переносятъ насъ чужія страданія, есть для насъ стѣснительное состояніе, отъ котораго мы спѣшимъ освободиться; при этомъ слишкомъ легко исчезаетъ и столь необходимая для состраданія иллюзія. Поэтому душа должна быть

насильно прикована къ этимъ представленіямъ и лишена возможности слишкомъ рано вырваться изъ этой эллюзіи. Живость представленій и сила впечатлѣній, охватившихъ наши чувства, недостаточны для этого; ибо чѣмъ сильнѣе раздраженіе воспринимающей способности, тѣмъ энергичнѣе противодѣйствіе души, стремящейся подавить это впечатлѣніе. Но поэтъ, желающій тронуть насъ, не долженъ ослаблять эту самодѣятельную силу; ибо именно въ борьбѣ ея съ страданіемъ чувственнаго элемента лежитъ источникъ высокаго наслажденія, доставляемаго намъ трагическими волненіями. Если, такимъ образомъ, необходимо, чтобы душа, несмотря на ея самостоятельное сопротивленіе, была прикована къ впечатлѣніямъ страданія, послѣднія должны отъ времени до времени быть прерываемы умѣлой рукой и даже замѣняемы противоположными впечатлѣніями,—чтобы затѣмъ возвращаться съ увеличенной силой и обновлять энергію перваго впечатлѣнія. Смѣна впечатлѣній—лучшее средство противъ утомленія, противъ дѣйствія привычки. Эта смѣна освѣжаетъ обезсиленныя чувства, а усиленіе впечатлѣній возбуждаетъ душевную самодѣятельность къ соотвѣтственному противодѣйствію. Она должна непрерывно бороться за свою свободу съ гнетомъ чувственныхъ впечатлѣній, но побѣдить лишь въ концѣ, и ни въ какомъ случаѣ не должна быть побѣждена въ борьбѣ; иначе въ первомъ случаѣ—нѣтъ страданія, во второмъ—нѣтъ самодѣятельности, а трагическое волненіе есть, какъ мы знаемъ, результатъ ихъ взаимодѣйствія. Въ умѣломъ управленіи этой борьбой и лежитъ великая тайна трагическаго искусства; здѣсь оно проявляется во всемъ своемъ блескѣ.

И для этого необходимъ рядъ смѣняющихся представленій, то есть цѣлесообразное обединеніе многихъ соотвѣтствующихъ такимъ представленіямъ дѣйствій, вокругъ которыхъ—какъ пряжа вокругъ веретена—обвивается главное дѣйствіе, а вмѣстѣ съ нимъ и желательное трагическое впечатлѣніе, точно крѣпкой сѣтью охватывающее подъ конецъ душу. Художникъ—если можно себѣ позволить такое сравненіе—сперва бережно собираетъ всѣ разрозненные лучи предмета, который онъ избралъ орудіемъ своихъ трагическихъ цѣлей,—и въ его рукахъ эти лучи обращаются въ молнію, воспламеняющую всѣ сердца. Въ то время какъ неопытный художникъ разомъ—и безъ всякаго успѣха—бросаетъ въ души всѣ громы страха и ужаса, умѣлый мастеръ еле замѣтными ударами достигаетъ понемногу своей цѣли и тѣмъ именно потрясаетъ душу до основанія, что дѣйствовалъ на нее постепенно и понемногу.

Подводя итоги произведенному нами изслѣдованію, мы видимъ, что въ основѣ трагическаго волненія лежатъ слѣдующія условія. Во первыхъ, предметъ нашего состраданія долженъ принадлежать къ нашей породѣ въ полномъ смыслѣ этого слова, а дѣйствіе, которому предстоитъ вызвать сочувствіе, должно быть нравственнымъ, то есть свободнымъ. Во вторыхъ, страданіе, его причины и переходы должны быть вполнѣ сообщены намъ въ видѣ ряда изображенныхъ предъ нами событій. Въ третьихъ оно должно быть воспроизведено, то есть не описано въ повѣствованіи, но непосредственно представлено предъ нами въ видѣ дѣйствія. Всѣ эти условія искусство объединяетъ и выполняетъ въ трагедіи.

Согласно съ этимъ трагедію можно опредѣлить какъ поэтическое воспроизведеніе замкнутаго цикла событій (законченнаго дѣйствія), изображающее предъ нами людей въ состояніи страданія и имѣющее цѣлью возбудить въ насъ состраданіе. Итакъ, трагедія есть прежде всего воспроизведеніе дѣйствія. Понятіе воспроизведенія отличаетъ ее отъ всѣхъ остальныхъ поэтическихъ формъ, которыя могутъ лишь повѣствовать или описывать. Въ трагедіи всѣ отдѣльныя событія воспроизводятся предъ нашимъ воображеніемъ или чувствами какъ бы въ самый моментъ ихъ совершенія,—и непосредственно, безъ всякаго участія какого либо третьяго лица. Эпопея, романъ, простой разсказъ уже самой своей формой отодвигаютъ событіе въ прошедшее, такъ какъ между читателемъ и дѣйствующими лицами они вдвигаютъ разсказчика. Но, какъ извѣстно, все отдаленное, прошедшее ослабляетъ впечатлѣніе и аффектъ; наглядное усиливаетъ его. Всѣ повѣствовательныя формы переносятъ настоящее въ прошедшее; всѣ драматическія дѣлаютъ прошедшее настоящимъ.

Во вторыхъ, трагедія есть воспроизведеніе ряда событій, дѣйствія. Она возсоздаетъ не только чувства и побужденія дѣйствующихъ лицъ, но и самыя событія, изъ которыхъ они проистекаютъ и въ которыхъ выражаются; этимъ она отличается отъ формъ лирической поэзіи, въ которой также поэтически изображаются извѣстныя душевныя состоянія, но не дѣйствія. Элегія,

пѣсня, ода могутъ также представить намъ душевное состояніе самого поэта или созданнаго имъ героя вмѣстѣ съ вызвавшими такое состояніе причинами и въ этомъ смыслѣ онѣ также могли бы быть отнесены къ области трагедіи; но онѣ не составляютъ еще трагедіи, такъ какъ ограничиваются простымъ описаніемъ чувствъ. Еще болѣе важное различіе лежитъ въ совершенно несходныхъ цѣляхъ этихъ поэтическихъ формъ.

Въ третьихъ, трагедія есть воспроизведеніе законченнаго дѣйствія. Отдѣльное событіе, какъ бы оно ни было трагично само по себѣ, еще не составляетъ трагедіи. Для того, чтобы произвести впечатлѣніе истины, то есть полнаго согласія представленнаго предъ нами аффекта, характера и т. д. съ природой нашей души, на которой только и покоится чувство состраданія, необходимо цѣлесообразное сліяніе въ одно цѣлое ряда объединенныхъ причинной связью явленій. Если мы не будемъ чувствовать, что при подобныхъ обстоятельствахъ мы бы такъ же страдали и такъ же поступали,—мы не испытаемъ никакого состраданія. Необходимо, стало быть, чтобы мы имѣли возможность прослѣдить воспроизведенное предъ нами дѣйствіе во всемъ его объемѣ, чтобы мы могли видѣть, какъ подъ давленіемъ извѣстныхъ внѣшнихъ обстоятельствъ оно естественнымъ образомъ вытекаетъ изъ души героя трагедіи. Такъ возникаетъ, ростетъ и заканчивается на нашихъ глазахъ любопытство Эдипа, ревность Отелло. Лишь такимъ образомъ можетъ быть заполнена пропасть между миромъ невинной души и терзаніями преступной совѣсти, между гордымъ безстрашіемъ счастливца и его ужасной гибелью,—словомъ, пропасть между спокойнымъ настроеніемъ читателя въ началѣ и его сильнымъ возбужденіемъ въ концѣ дѣйствія.

Требованіе ряда многочисленныхъ переплетенныхъ между собой событій вытекаетъ изъ необходимости возбудить въ насъ смѣну настроеній, возбуждающую вниманіе, напрягающую всѣ силы нашего духа и поднимающую ослабѣвшую потребность дѣятельности, чтобы за медленнымъ удовлетвореніемъ лишь сильнѣе воспламенить ее. Въ одной нравственности можетъ найти душа спасеніе отъ состраданій своего чувственнаго элемента. Для того, стало быть, чтобы поднять дѣятельность нравственности, трагическій поэтъ долженъ затягивать муки чувственности; но для того, чтобы сдѣлать побѣду первой труднѣе и достославнѣе, должно повысить значеніе второй. То и другое возможно лишь въ рядѣ дѣйствій, разумно избранныхъ и связанныхъ съ этой цѣлью.

Въ четвертыхъ, трагедія есть поэтическое изображеніе дѣйствія, достойнаго состраданія, и поэтому она можетъ быть противополагаема историческому изображенію. Она была бы историческимъ произведеніемъ, если бы преслѣдовала историческую цѣль, если-бы она имѣла въ виду сообщеніе того, что произошло въ прошедшемъ и какъ именно оно произошло. Въ этомъ случаѣ ей пришлось бы строго держаться исторической истины, ибо лишь точнѣйшимъ изображеніемъ дѣйствительно происшедшаго она могла бы исполнить свое назначеніе. Но цѣль трагедіи—поэтическая: она представляетъ дѣйствіе для того, чтобы тронуть и тѣмъ доставить наслажденіе. Если поэтому она обрабатываетъ данный матеріалъ, соотвѣтственно этой цѣли, она, очевидно, свободна въ такой обработкѣ; она не только можетъ—она должна подчинить историческую истину законамъ искусства и обрабатывать матеріалъ сообразно своимъ нуждамъ. Но такъ какъ она можетъ достигнуть своей цѣли—состраданія—лишь при условіи полнѣйшаго согласія съ законами природы, то она, совершенно независима отъ ея исторической свободы, подчинена строгимъ законамъ естественности, которую—въ противоположность исторической истинѣ—называютъ поэтической истиной. Такимъ образомъ понятно, какъ нерѣдко при строжайшемъ соблюденіи исторической истины страдаетъ истина поэтическая и какъ она выигрываетъ отъ грубѣйшаго нарушенія исторической истины. Такъ какъ трагическій поэтъ, какъ и всякій поэтъ вообще, подчиняется лишь законамъ поэтической истины, то мелочнѣйшее соблюденіе истины исторической никогда не можетъ освободить его отъ долга поэта, никогда не можетъ оправдать его въ преступленіи противъ велѣній поэтической истины, въ отсутствіи интереса. Поэтому привлекать трагическаго поэта къ суду исторіи и требовать полученія отъ того, кто самымъ своимъ именемъ обѣщаетъ дать лишь состраданіе и наслажденіе, значитъ обнаружить весьма узкія понятія о трагическомъ искусствѣ и даже вообще о поэзіи. Даже въ томъ случаѣ, если поэтъ, изъ боязливаго почтенія къ исторической истинѣ, отрекся отъ привилегіи художника и молчаливо позволилъ

исторіи судить его произведеніе, поэзія все-таки съ полнымъ правомъ привлекаетъ его къ своему суду; поэтому, не выдержавъ этого испытанія, какія-нибудь „Tod Hermans", „Minona" „Fust von Stromberg", несмотря на мелочнѣйшее соблюденіе костюмовъ, національнаго характера и особенностей эпохи, будутъ названы посредственными трагедіями.

Въ пятыхъ, трагедія есть дѣйствіе, представляющее намъ людей въ состояніи страданія. Весьма важное значеніе имѣетъ здѣсь выраженіе „людей", имѣющее въ виду точно обозначить границы, которыми опредѣляется выборъ предмета трагедіи. Лишь страданія нравственнаго, намъ подобнаго существа могутъ возбудить въ насъ состраданіе. Поэтому существа, отрекшіяся отъ всякой нравственности—вродѣ, напримѣръ, злыхъ духовъ, создаваемыхъ суевѣріемъ народа или фантазіей поэта, и людей имъ подобныхъ,—затѣмъ существа, отрѣшенныя отъ узъ чувственности, какимъ мы себѣ представляемъ чистыя воплощенія разума, и люди, болѣе свободные отъ этихъ узъ, чѣмъ обыкновенно позволяетъ слабость человѣческая,—равно негодны для трагедіи. Вообще уже самое понятіе страданія и особенно такого страданія, въ которомъ мы должны принять участіе, указываетъ на то, что предметомъ ея могутъ быть лишь люди въ полномъ смыслѣ этого слова. Чистыя воплощенія разума не могутъ страдать, и человѣкъ, приближающійся къ нимъ въ необычной степени, не можетъ возбудить особеннаго паѳоса, потому что высота его нравственности слишкомъ быстро ограждаетъ его отъ страданій его слабой чувственной природы. Правда, субъекты исключительно чувственные, чуждые всякой нравственности, и натуры, близкія къ нимъ, вслѣдствіе этого преобладанія элемента чувственности подвержены страданіямъ въ ужасающей степени, но, лишенные поддержки нравственнаго чувства, они падаютъ жертвой мученій, а страданіе вообще, страданіе совершенно безпомощное, абсолютная пассивность мысли ничего въ насъ не вызываетъ кромѣ раздраженія и отвращенія. Поэтому трагическій поэтъ съ полнымъ правомъ отдаетъ предпочтеніе сложнымъ характерамъ, и идеалъ его героя всегда находится въ одинаковомъ отдаленіи какъ отъ безусловно дурного, такъ и отъ полнаго совершенства.

Наконецъ, трагедія соединяетъ всѣ эти свойства для того, чтобы вызвать аффектъ состраданія. Многіе изъ элементовъ, употребляемыхъ для этого трагическимъ поэтомъ, могли бы съ полнымъ удобствомъ быть примѣнены къ иной цѣли—напримѣръ, къ моральной, исторической и т. п.; но то, что онъ имѣетъ въ виду именно эту цѣль, а не другую, освобождаетъ его отъ всякихъ требованій, не связанныхъ съ этой цѣлью, и за то въ то же время налагаетъ на него обязанность при всякомъ примѣненіи вышеуказанныхъ правилъ сообразоваться съ этой цѣлью.

То основное начало, изъ котораго исходятъ всѣ правила для извѣстнаго поэтическаго рода, есть цѣль этого поэтическаго рода; совокупность средствъ, при помощи которыхъ поэтическій родъ достигаетъ своей цѣли, называется его формой. Цѣль и форма находятся стало быть въ постоянномъ отношеніи. Вторая опредѣляется и предписывается первою, и достиженіе цѣли есть результатъ удачнаго соблюденія формы.

Такъ какъ каждый поэтическій родъ имѣетъ свою особую цѣль, то поэтому онъ и отличается отъ другихъ особой, ему одному свойственной формой, ибо форма есть средство, помощью котораго достигается его цѣль. Ему одному свойственное дѣйствіе должно быть результатомъ того его свойства, которое отличаетъ его отъ другихъ родовъ. Цѣль трагедіи—тронуть читателя; ея форма—воспроизведеніе дѣйствія, ведущаго къ страданію. Многіе поэтическіе роды могутъ избрать своимъ предметомъ одно дѣйствіе съ трагедіей. Многіе поэтическіе роды могутъ преслѣдовать, какъ цѣль побочную, цѣль трагедіи—тронуть читателя. Отличительная особенность послѣднихъ состоитъ слѣдовательно въ отношеніи формы къ цѣли, то есть въ способахъ и пріемахъ, какими они—въ виду своей цѣли—обрабатываютъ свой матеріалъ, въ путяхъ, какими они достигаютъ своей цѣли при помощи своего матеріала.

Если цѣль трагедіи есть возбужденіе аффекта состраданія, а ея форма—средство, при помощи котораго достигается эта цѣль, то воспроизведеніе трогательнаго дѣйствія есть высшее воплощеніе всѣхъ условій, при которыхъ аффектъ состраданія возбуждается въ наибольшей степени. Такимъ образомъ форма трагедіи есть наиболѣе дѣйствительное средство для возбужденія.

Образецъ поэтическаго рода считается совершеннымъ въ томъ случаѣ, когда своеобразная форма, свойственная этому роду, примѣнена въ немъ къ достиженію его цѣли

наиболѣе удачнымъ образомъ. Поэтому совершенной должно признать трагедію, въ которой трагическая форма, то есть воспроизведеніе трогательнаго дѣйствія примѣнена наилучшимъ образомъ къ возбужденію аффекта состраданія. Наиболѣе совершенной будетъ трагедія, въ которой состраданіе явится послѣдствіемъ не столько содержанія, сколько удачнаго примѣненія трагической формы. Такую можно считать идеаломъ трагедіи.

Многія произведенія трагическаго искусства, несмотря на большія поэтическія достоинства, не безукоризненны съ точки зрѣнія драмы, такъ какъ стараются достигнуть цѣли трагедіи не наилучшимъ примѣненіемъ трагической формы, но иными средствами; другія пользуются трагической формой для достиженія цѣлей, не свойственныхъ трагедіи. Многія любимыя у насъ драмы трогаютъ насъ исключительно благодаря сюжету, а мы, по великодушію или невниманію, ставимъ въ заслугу неумѣлому художнику достоинства его матеріала. Въ иныхъ случаяхъ мы какъ будто даже и не вспоминаемъ о цѣли, ради которой поэтъ собралъ насъ въ театрѣ, и вполнѣ удовлетворенные удовольствіемъ, доставленнымъ намъ блестящей игрой фантазіи и остроумія, мы даже не замѣчаемъ, что вышли изъ театра съ холоднымъ сердцемъ. Можетъ ли достойное уваженія искусство—а вѣдь лишь таковое обращается къ божественной сторонѣ нашего существа—вести свое дѣло при помощи такихъ поборниковъ и предъ такими судьями? Нетребовательность публики служитъ ободреніемъ лишь для посредственности, но оскорбительна и страшна для генія.

А. Горнфельдъ.

О ПАѲЕТИЧЕСКОМЪ.

Изображеніе страданія только какъ страданія — никогда не составляетъ цѣли искусства, но какъ средство къ достиженію его цѣли оно для него крайне важно. Конечная цѣль искусства состоитъ въ изображеніи сверхчувственнаго, и въ особенности искусство трагическое достигаетъ ее тѣмъ, что представляетъ намъ нравственную независимость отъ законовъ природы въ состояніи аффекта. Только сопротивленіе нашего свободнаго начала насилію чувствъ дѣлаетъ очевиднымъ присутствіе въ насъ этого начала; оцѣнить же силу сопротивленія можно только по степени силы нападенія. Такимъ образомъ, если интеллектъ въ человѣкѣ хочетъ проявить себя въ видѣ независимой отъ природы силы, то для этого нужно, чтобы прежде природа наглядно доказала намъ все свое могущество. Чувственная сторона человѣческой натуры должна страдать сильно и глубоко; нужно присутствіе паѳоса для того, чтобы разумная сторона могла обнаружить свою независимость и являться въ состояніи дѣйствующемъ.

Когда мы не убѣждены, что душевное настроеніе не есть результатъ нечувствительности (Unempfindlichkeit), то для насъ невозможно знать, происходитъ ли это настроеніе вслѣдствіе вліянія нравственной силы духа. Не трудно повелѣвать тѣми чувствами, которыя легко и бѣгло затрогиваютъ только поверхность души; но для сохраненія свободы духа въ борьбѣ, волнующей всю чувственную натуру, необходима сила сопротивленія, стоящая неизмѣримо выше всей силы природы. Такимъ образомъ, изображенія нравственной свободы мы достигаемъ только самымъ живымъ представленіемъ страждущей натуры человѣка, и для того, чтобы мы признали трагическаго героя за разумное существо и повѣрили въ его душевную силу, ему необходимо сперва доказать намъ, что онъ есть существо чувствующее.

Итакъ, паѳосъ есть первое и неизбѣжное требованіе, предъявляемое нами трагическому писателю, и изображать страданіе ему позволяется настолько, насколько это возможно безъ ущерба для конечной цѣли искусства, безъ подавленія нравственной свободы. Онъ обязанъ, такъ сказать, взвалить на своего героя или своего читателя полный грузъ страданія, потому что

иначе всегда будетъ оставаться проблематическимъ—есть ли его сопротивленіе этому страданію дѣйствіе духа, то есть нѣчто положительное, и не слѣдуетъ ли, напротивъ того, видѣть въ немъ только нѣчто отрицательное и недостатокъ.

Это послѣднее явленіе присуще старой французской трагедіи, гдѣ мы весьма рѣдко или никогда не видимъ передъ собою страдающую природу человѣка, но гдѣ большею частью фигурируетъ передъ нами только холодный, декламирующій поэтъ или расхаживающій на ходуляхъ комедьянтъ. Ледяной тонъ декламаціи подавляетъ все, что есть правдиваго въ человѣческой натурѣ, и боготворимое французскими драматургами приличіе (décence) дѣлаетъ для нихъ совершенно невозможнымъ изображеніе человѣчества въ его истинномъ видѣ. Приличіе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда оно у мѣста, уродуетъ, извращаетъ выраженіе природной правды, а эта послѣдняя составляетъ настоятельное требованіе искусства. Глядя на французскаго трагическаго героя, мы почти не можемъ вѣрить, что онъ страдаетъ, потому что онъ страдаетъ о своихъ мукахъ, какъ человѣкъ, находящійся въ самомъ спокойномъ состояніи, а безпрерывное вниманіе къ впечатлѣнію, которое онъ производитъ на другихъ, никогда не позволяетъ ему давать полную свободу своей натурѣ. Короли, принцессы и герои въ трагедіяхъ Корнеля и Вольтера не забываютъ своего сана даже среди самыхъ жестокихъ мученій и своей человѣческой сторонѣ придаютъ гораздо меньше значенія, чѣмъ своему общественному положенію. Они похожи на тѣхъ королей и царей въ старинныхъ иллюстрированныхъ книжкахъ, которые не снимаютъ съ себя коронъ даже ложась спать.

Совершенно иное видимъ у грековъ и у тѣхъ писателей новаго времени, которые творили въ ихъ духѣ. Грекъ никогда не стыдится изображать человѣческую природу, какъ она есть; чувственная сторона этой послѣдней пользуется у него всѣми своими правами, а между тѣмъ онъ твердо убѣжденъ, что она никогда не поработитъ его. Благодаря своему глубокому и правильному мышленію, онъ отличаетъ случайное, которому дурной вкусъ придаетъ первостепенное значеніе, отъ необходимаго; все же, что не есть существенно человѣческое, признается имъ за случайное. Греческій художникъ, изображающій Лаокоона, Ніобею, Филоктета, не имѣетъ въ виду никакой принцессы, никакого царя, никакого принца; онъ знаетъ и помнитъ только человѣка. Вслѣдствіе этого, мудрый ваятель отбрасываетъ всякія одежды и создаетъ только нагія фигуры, хотя ему очень хорошо извѣстно, что въ дѣйствительной жизни этого не бываетъ. Одежда для него есть нѣчто случайное, не имѣющее никакого права стоять выше необходимаго, и законы приличія или общественной потребности отнюдь не служатъ законами въ искусствѣ. Ваятель долженъ и хочетъ показывать намъ человѣка, а одежда скрываетъ этого послѣдняго; поэтому онъ правъ, отбрасывая ее.

Какъ греческій скульпторъ изгоняетъ безполезное и мѣшающее платье для того, чтобы дать больше простора человѣческой природѣ, точно также греческій поэтъ снимаетъ со своихъ людей столько же безполезное и столько же безпокойное бремя общественнаго приличія и всѣхъ холодныхъ общественныхъ формальностей, которыя только придаютъ человѣку искусственность и скрываютъ его натуру. Страждущая натура говоритъ нашему сердцу правдиво, искренно и глубоко-убѣдительно въ поэмахъ Гомера и произведеніяхъ греческихъ трагиковъ; всѣмъ страстямъ дается здѣсь полный просторъ, и правила приличія не сдерживаютъ никакихъ чувствъ. Герои воспринимаютъ всѣ страданія человѣчества точно такъ же, какъ и остальные люди, и героями дѣлаетъ ихъ именно то обстоятельство, что они чувствуютъ страданіе сильно и глубоко, но въ то же время никогда не позволяютъ ему одерживать надъ ними побѣду. Они любятъ жизнь такъ же пламенно, какъ и всѣ мы, но эта любовь не овладѣваетъ ими въ такой степени, чтобы они не могли отрекаться отъ нея, когда того требуетъ долгъ чести или человѣчности. Филоктетъ оглашаетъ греческую сцену своими жалобами; даже въ бѣшенствѣ Геркулесъ не скрываетъ своей скорби. Обреченная на жертву Ифигенія съ трогательною откровенностью сознается, что ей очень грустно разставаться съ солнечнымъ свѣтомъ. Грекъ никогда не ищетъ себѣ славы въ холодномъ равнодушіи къ страданью; напротивъ того, слава состоитъ для него въ перенесеніи этихъ мукъ при полномъ ощущеніи ихъ. Даже боги Греціи должны платить природѣ дань, какъ скоро поэтъ ставитъ ихъ въ болѣе близкое соприкосновеніе съ человѣчествомъ. Раненый Марсъ кричитъ отъ боли такъ громко, какъ десять тысячъ воиновъ вмѣстѣ, а

оцарапанная Венера уходитъ на Олимпъ въ слезахъ и посылаетъ заклятіе на всѣ битвы.

Эта нѣжная воспріимчивость страданья, эта теплая, искренняя, правдиво и открыто являющаяся передъ нами натура, столь глубоко и живо трогающая насъ въ греческихъ созданіяхъ искусства, должна служить образцомъ для подражанія всѣмъ художникамъ и есть законъ, предписанный искусству греческимъ геніемъ. Первое требованіе предъявляетъ человѣку всегда и вѣчно натура, которую никто не имѣетъ права отталкивать, потому что человѣкъ есть прежде всего существо чувствующее. Второе требованіе идетъ со стороны разума, потому что человѣкъ—существо чувствующее разумно существо, нравственное, а долгъ такого созданія—не отдаваться въ рабство своей натурѣ, а господствовать надъ нею. И уже только тогда, когда, во-первыхъ, исполнено то, чего требовала натура, а во-вторыхъ, отстоялъ свои права разумъ, только тогда позволяется общественному приличію предъявлять человѣку свое, то есть третье требованіе—требованіе, чтобы онъ—въ выраженіи какъ своихъ чувствъ, такъ и своихъ мыслей—обращалъ вниманіе на условія общества и являлся цивилизованнымъ существомъ.

Первый законъ трагическаго искусства состоялъ въ изображеніи страждущей натуры. Второй—заключается въ изображеніи нравственнаго сопротивленія страданію.

Аффектъ, какъ аффектъ, есть состояніе безразличное, и изображеніе его одного, какъ явленія отдѣльно, само по себѣ взятаго, не имѣло бы никакого значенія въ эстетическомъ отношеніи, потому что, повторяемъ еще разъ, все, что принадлежитъ только къ чувственной сторонѣ человѣческой натуры, не достойно художественнаго изображенія. Поэтому не только тѣ аффекты, которые имѣютъ только разслабляющее, изнѣживающее свойство, но и всѣ остальные, какова бы ни была ихъ сила, не соотвѣтствуютъ достоинству трагическаго искусства.

Разслабляющіе аффекты, то есть исключительно нѣжныя движенія души, принадлежатъ къ области пріятнаго, съ которою изящное искусство не имѣетъ ничего общаго. Они только ласкаютъ чувственную сторону доставленіемъ пріятнаго изнеможенія и имѣютъ отношеніе только къ внѣшнему, отнюдь не внутреннему состоянію человѣка. Многіе изъ нашихъ романовъ и трагедій, особенно такъ называемыхъ драмъ (нѣчто среднее между трагедіею и комедію) и любимѣйшихъ семейныхъ картинъ принадлежатъ къ этому роду. Они производятъ только опорожненіе слезныхъ мѣшечковъ и сладострастное облегченіе нервныхъ сосудовъ; но духъ выходитъ изъ этихъ упражненій совершенно пустымъ, и болѣе благородная сила человѣка нисколько не укрѣпляется ими. Точно также, говоритъ Кантъ, многія проповѣди производятъ дѣйствіе назидательное, но ничего не созидаютъ въ слушателяхъ. Музыка нашего времени тоже, повидимому, принимаетъ въ соображеніе только чувственную сторону и этимъ льститъ господствующему вкусу, который требуетъ только пріятнаго щекотанія, не желая ничего захватывающаго, потрясающаго, возвышающаго. Вслѣдствіе этого предпочтеніе отдается всему разнѣживающему (Schmelzende), и какой бы шумъ ни происходилъ въ концертной залѣ, стóитъ раздаться звукамъ этого разнѣживающаго свойства, для того, чтобы все превратилось въ слухъ. До животности доходящее выраженіе чувственности появляется тутъ на всѣхъ лицахъ, глаза закатываются и покрываются влагой, открытыя губы такъ и дышатъ похотливымъ желаніемъ, сладострастная дрожь охватываетъ все тѣло, дыханіе становится учащеннымъ и короткимъ, однимъ словомъ, передъ вами всѣ симптомы опьянѣнія—ясное доказательство того, что внѣшнія чувства наслаждаются, но духъ или свободное начало въ человѣкѣ сдѣлалось жертвою чувственныхъ впечатлѣній. Всѣ эти движенія, говорю я, изгоняются изъ области искусства благороднымъ и мужественнымъ вкусомъ, потому что они пріятны только для чувственной стороны, которая чужда искусству въ истинномъ смыслѣ этого слова.

Но, съ другой стороны, искусство исключаетъ изъ своей области и всѣ тѣ степени аффекта, которыя только мучатъ чувства, не вознаграждая въ то же время за эти муки духовную сторону. Эти аффекты подавляютъ свободу духа болью не меньше чѣмъ первые—удовольствіемъ и поэтому производятъ только боязливое отвращеніе, не вызывая ни одного изъ тѣхъ душевныхъ движеній, которыя достойны искусства. Искусство должно веселить духъ и угождать свободѣ. Человѣкъ, становящійся рабскою жертвою боли, перестаетъ быть страдающимъ человѣкомъ, а превращается въ мучащееся животное, потому что отъ человѣка непремѣнно требуется нравственное

сопротивленіе страданію—сопротивленіе, которое одно обнаруживаетъ въ немъ присутствіе свободы и интеллектъ.

Съ этой точки зрѣнія весьма плохо понимаютъ свое дѣло тѣ художники и писатели, которые думаютъ, что они достигаютъ паѳоса единственно чувственною силою аффекта и въ высшей степени живымъ изображеніемъ страданія. Они забываютъ, что само страданіе никогда не составляетъ конечной цѣли изображенія и никогда не можетъ быть непосредственнымъ источникомъ удовольствія, доставляемаго намъ трагическими предметами. Патетическое эстетично только настолько, насколько оно возвышенно. Но тѣ явленія, которыя исходятъ только изъ чувственнаго источника и имѣютъ основаніемъ только ненормальное состояніе способности чувствовать, никогда не бываютъ возвышенны, какъ бы ни велика была сила, обнаруживаемая ими, потому что все возвышенное исходитъ исключительно изъ разума.

Изображеніе страсти (какъ доставляющей наслажденіе, такъ и мучительной), безъ изображенія духовной силы сопротивленія, называется пошлымъ (gemein) противоположное ему мы называемъ—благороднымъ. Пошлое и благородное суть понятія, которыя во всѣхъ случаяхъ, гдѣ они употребляются, означаютъ участіе или неучастіе сверхчувственной, духовной стороны человѣка въ какомъ-нибудь дѣйствіи или произведеніи его. Благородно только то, что исходитъ изъ разума, все же, что производитъ только чувственная сторона пошло. Мы говоримъ о человѣкѣ, что онъ дѣйствуетъ пошло, когда слѣдуетъ внушеніямъ только своихъ чувственныхъ побужденій; прилично—когда онъ руководствуется только требованіями общественныхъ законовъ; благородно—когда онъ подчиняется только требованіямъ разума, не обращая вниманія на свои чувственныя побужденія. Мы называемъ лицо пошлымъ, когда на немъ нѣтъ никакихъ признаковъ интеллекта; выразительнымъ, когда его черты оживляетъ умъ; благороднымъ, когда въ этихъ чертахъ присутствуетъ особенно-чистый умъ. Произведеніе архитектуры мы называемъ пошлымъ, когда видимъ въ немъ только физическія цѣли, и благороднымъ—когда оно, независимо отъ всѣхъ физическихъ цѣлей, есть въ то же время воспроизведеніе идей.

Такимъ образомъ, повторяю, хорошій вкусъ отнюдь не допускаетъ такого изображенія аффекта—какъ бы живо оно не было—которое имѣетъ предметомъ только физическое страданіе и физическое сопротивленіе, не давая въ то же время никакой роли болѣе высокой сторонѣ человѣческой натуры, присутствію сверхчувственной способности—и это, какъ уже выше замѣчено, вслѣдствіе того, что не страданіе само по себѣ, а исключительно сопротивленіе страданію патетично и достойно художественнаго изображенія. Поэтому, какъ художникъ, такъ и писатель должны изгонять изъ своихъ произведеній всѣ безусловно-высшія степени аффекта, потому что всѣ онѣ подавляютъ внутреннюю силу сопротивленія или, говоря вѣрнѣе, уже заранѣе предполагаютъ это подавленіе, такъ какъ никакой аффектъ не можетъ достигнуть безусловно-высшей степени, пока интеллектъ въ человѣкѣ оказываетъ еще хотя какое-нибудь сопротивленіе.

Теперь возникаетъ вопросъ: чѣмъ же обнаруживается въ состояніи аффекта эта внутренно-сопротивляющаяся сила? Ничѣмъ инымъ, какъ господствомъ надъ аффектомъ, или, выражаясь общѣе, борьбою съ нимъ. Я говорю „аффектомъ", потому что и чувственная сторона можетъ бороться, но это борьба не съ самимъ аффектомъ, а съ причиною, вызвавшею его—это сопротивленіе не нравственное, а физическое, обнаруживаемое и червякомъ, когда топчешь его ногою, и быкомъ, когда его ранишь—причемъ однако ни тотъ, ни другой не возбуждаютъ паѳоса. Что страдающій человѣкъ старается проявить свои ощущенія внѣшнимъ образомъ, что онъ изыскиваетъ средства удалить своего врага, что ему хочется доставить спокойствіе и безопасность больной части тѣла—все это черты, присущія человѣку въ такой же степени, какъ и всякому животному, и уже инстинктъ принимаетъ на себя эти заботы, не справляясь предварительно съ свободною волею страдающаго. Такимъ образомъ, въ этихъ дѣйствіяхъ нѣтъ еще ничего собственно человѣческаго, тутъ не проявляется еще интеллектъ. Чувственная сторона будетъ, правда, всегда бороться съ своими врагами, но никогда—съ самой собою.

Напротивъ того, борьба съ аффектомъ есть борьба съ чувственной стороною и, стало-быть, предполагаетъ нѣчто, отличное отъ этой послѣдней. Съ предметомъ, заставляющимъ насъ страдать, мы можемъ сражаться нашимъ разсудкомъ и силою нашихъ мускуловъ; противъ самого страданія у насъ есть только одно оружіе—идеи разума.

Такимъ образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, гоѣ художникъ желаетъ достигнуть паѳоса, изображеніе должно давать мѣсто этимъ идеямъ или порождать ихъ. Но идеи, въ прямомъ и положительномъ смыслѣ этого слова, не поддаются внѣшнему изображенію, потому что въ наглядной дѣйствительности ничто не можетъ соотвѣтствовать имъ. Взятыя же косвенно и отрицательно, онѣ могутъ быть изображаемы, когда эта дѣйствительность даетъ что-нибудь такое, условія чего мы напрасно ищемъ въ природѣ. Каждое явленіе, послѣднюю причину котораго нельзя вывести изъ міра чувственнаго, есть косвенное изображеніе сверхчувственнаго.

Но какимъ же путемъ искусство, не прибѣгая къ сверхъестественнымъ средствамъ, достигаетъ возможности изображать то, что сверхъестественно? Что это за явленія, которыя производятся естественными силами—потому что иначе они не были бы явленіями—и которыя однако нельзя безъ противорѣчія выводить изъ естественныхъ причинъ. Во этомъ заключается задача—какъ же разрѣшаетъ ее художникъ?

Припомнимъ, что явленія, обнаруживаемыя человѣкомъ въ состояніи аффекта, двоякаго рода. Одни принадлежатъ ему только, какъ животному, и, будучи таковыми, управляются только законами природы, нисколько не подчиняясь его свободной волѣ и вообще не испытывая на себѣ непосреднаго вліянія его самостоятельной силы. Ихъ порождаетъ непосредственно инстинктъ и они слѣпо повинуются его предписаніямъ. Къ этой категоріи принадлежатъ, напримѣръ, орудія кровеобращенія, дыханія и вся наружная поверхность кожи. Но и тѣ орудія, которыми управляетъ воля, не всегда ожидаютъ рѣшенія этой послѣдней; часто и ихъ непосредственно приводитъ въ движеніе инстинктъ, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда физическому состоянію грозитъ боль или опасность. Такъ, напримѣръ, наши руки находятся въ распоряженіи у воли, но когда мы нечаянно схватимъ что-нибудь горячее, то отдергиваніе руки не есть, конечно, дѣйствіе воли, а вызывается исключительно инстинктомъ. Мало того. Языкъ, какъ орудіе слова, безъ сомнѣнія, находится въ подчиненіи у воли, а между тѣмъ инстинктъ можетъ распоряжаться и имъ по своему усмотрѣнію, не спрашивая разрѣшенія у воли, въ тѣхъ случаяхъ, когда насъ поражаетъ сильная печаль или даже только сильный аффектъ. Покажите внезапно самому закоренѣлому стоику что-нибудь въ высшей степени удивительное или ужасное, заставьте его стать у пропасти въ ту минуту, когда въ нее падаетъ кто-нибудь—и онъ громко вскрикнетъ, и при этомъ у него невольно вырвется не безсвязный, не неопредѣленный звукъ, а совершенно опредѣленное слово; природа подѣйствуетъ въ немъ прежде воли. Всѣ эти примѣры служатъ, слѣдовательно, доказательствомъ, что въ человѣкѣ бываютъ явленія, которыя слѣдуетъ приписывать не его личности, какъ интеллекту, а исключительно его инстинкту, какъ природной силѣ.

Но существуетъ и вторая категорія явленій, зависящихъ отъ вліянія и господства воли, или на которыя можно, по крайней мѣрѣ, смотрѣть, какъ на могущія быть недопущенными волею, слѣдовательно такія, за которыя несетъ отвѣтственность личность человѣка, а не инстинктъ. Инстинкту слѣдуетъ съ слѣпымъ рвеніемъ охранять интересы чувственной стороны; но личность должна сдерживать инстинктъ соблюденіемъ законовъ. Инстинктъ не обращаетъ вниманія ни на какой законъ; но дѣло личности—заботиться о томъ, чтобы никакія дѣйствія инстинкта не совершались въ ущербъ предписаніямъ разума. Такимъ образомъ, несомнѣнно по крайней мѣрѣ то, что не всѣ явленія въ состояніи аффекта направляются безусловно однимъ инстинктомъ, но что воля человѣка можетъ ставить ему предѣлъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда эти явленія обусловлены однимъ инстинктомъ, не остается ничего, напоминающаго личность, и передъ нами не что иное, какъ дитя природы, то-есть животное, ибо животнымъ называется всякое дитя природы, находящееся подъ полнымъ господствомъ инстинкта. Слѣдовательно, для изображенія личности, необходимы нѣкоторыя явленія, или направленныя противъ инстинкта, или, во всякомъ случаѣ, не этимъ послѣднимъ обусловленныя. Уже это послѣднее обстоятельство достаточно для того, чтобы мы заключили о высшемъ источникѣ явленія, какъ скоро намъ сдѣлалось ясно, что инстинктъ непремѣнно направилъ бы его иначе, если бы не былъ побѣжденъ силою разума.

Теперь мы въ состояніи объяснить, какимъ способомъ можно изобразить сверхчувственную самостоятельную силу человѣческой натуры, его нравственное „я“, въ состояніи аффекта. Дѣло въ томъ, что всѣ

тѣ части, которыя повинуются только природѣ и которыми воля не можетъ управлять или вовсе, или по крайней мѣрѣ при извѣстныхъ обстоятельствахъ, обличаютъ присутствіе въ нихъ страданія; тѣ же, которыя освободились отъ слѣпого насилія инстинкта и не безусловно покорны закону природы, не обнаруживаютъ почти никакихъ или вовсе никакихъ слѣдовъ этого страданія, стало быть, представляются въ извѣстной степени свободными. По этой-то дисгармоніи между тѣми чертами, которыя, сообразно съ животною натурой, запечатлѣны закономъ необходимости, и тѣми, которыя суть созданіе самостоятельнаго духа, узнается присутствіе въ человѣкѣ сверхчувственнаго начала, могущаго ставить предѣлъ дѣйствіямъ природы и именно этою способностью отличающагося отъ нея. Чисто животная часть человѣка подчиняется закону природы и поэтому можетъ являться, какъ совершенно подавленная силою аффекта. Такимъ образомъ, въ этой части обнаруживается вся сила страданія, и эта сила служитъ какъ бы масштабомъ для измѣренія степени сопротивленія, потому что о силѣ сопротивленія или о нравственной мощи человѣка можно судить только по силѣ нападенія. И вотъ, чѣмъ рѣшительнѣе и рѣзче проявляется аффектъ въ области животнаго, не имѣя однако возможности удержаться съ такою же силою въ области человѣческаго, тѣмъ явственнѣе становится это послѣднее, тѣмъ прекраснѣе и благороднѣе обнаруживается нравственная самостоятельность человѣка, тѣмъ патетичнѣе дѣлается изображеніе и тѣмъ возвышеннѣе паѳосъ *).

*) Подъ *областью животнаго* я понимаю всю систему тѣхъ явленій въ человѣкѣ, которыя находятся подъ слѣпымъ господствомъ законовъ природы и вполнѣ объяснимы безъ предположенія свободной воли; подъ *областью человѣческаго* - тѣ, которымъ законы предписываетъ эта свобода. Когда въ произведеніи искусства или поэзіи *отсутствуетъ* аффектъ въ области животнаго, то это произведеніе оставляетъ насъ совершенно холодными и равнодушными; когда же аффектъ, напротивъ того, *господствуетъ* въ области человѣческаго, мы чувствуемъ отвращеніе и возмущаемся. Въ области животнаго аффектъ долженъ постоянно оставаться *неуспокоеннымъ* (unaufgelöst), иначе изображеніе будетъ лишено патетичности; только въ области человѣческаго можетъ происходить успокоеніе. По тому страдающая личность, изображенная жалующеюся и плачущею, растрогаетъ въ слабой степени, такъ какъ жалобами и слезами боль разрѣшается, успокоивается уже и въ области животнаго. Гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на насъ затаенная, нѣмая скорбь, въ которой мы не находимъ никакой помощи у *природы* и должны призывать въ защитники и утѣшители пѣчто, находящееся внѣ всякой природы; и именно въ этомъ-то *обращеніи къ сверхчувственному* и заключаются паѳосъ и трагическая сила.

Въ статуяхъ древнихъ мастеровъ это эстетическое правило представляется наглядно; но впечатлѣніе, производимое чувственно живымъ зрѣлищемъ, трудно подвести подъ понятіе и передать словами. Группа Лаокоона и его дѣтей служитъ приблизительнымъ образцомъ того, что пластическое искусство древнихъ могло произвести въ патетическомъ родѣ. „Лаокоонъ", говоритъ Винкельманъ въ своей исторіи искусства, „есть фигура въ состояніи величайшей боли, созданная по образу и подобію человѣка, старающагося противопоставить этой боли всю сознательную силу духа; въ то время, какъ страданіе вздуваетъ всѣ мускулы и напрягаетъ нервы, вооруженный силою духъ выступаетъ на лбу, и грудь, для того, чтобы замкнуть въ себѣ боль, поднялась отъ сжатаго дыханія и старанія сдержать обнаруженіе внутреннихъ ощущеній. Робкіе стоны, которые онъ втягиваетъ въ себя, и дыханіе, притягиваемое имъ къ себѣ, истощили животъ и производятъ пустоту въ бокахъ, что какъ бы даетъ намъ возможность судить о движеніи его кишокъ. Но его собственное страданіе, повидимому, терзаетъ его не такъ сильно, какъ муки его дѣтей, обратившихъ лица къ отцу и взывающихъ о помощи; сердце отца проявляется въ глазахъ, полныхъ печали; его лицо выражаетъ жалобу, но безмолвную; глаза подняты вверхъ, призывая помощь свыше. Ротъ полонъ скорби и нижняя губа опустилась отъ этого чувства; но въ приподнятой верхней губѣ оно смѣшалось съ болью, которая, въ порывѣ негодованія какъ бы противъ незаслуженнаго и недостойнаго наказанія, поднялась къ носу, раздула его и обнаруживается въ расширившихся и поднявшихся кверху ноздряхъ. Подъ лбомъ съ большою правдою изображена борьба между болью и сопротивленіемъ, соединившимися какъ бы въ одномъ пунктѣ: между тѣмъ какъ боль тянетъ брови кверху, сопротивленіе ей опускаетъ кожу подъ бровями на верхнее вѣко, такъ что оно почти закрыто выступившимъ тѣломъ. Художникъ не могъ скрасить природу, но постарался представить ее въ болѣе развитомъ, напряженномъ и могущественномъ видѣ; въ томъ мѣстѣ, гдѣ вы-

ражается величайшая боль, сосредоточена и величайшая красота произведенія. Лѣвый бокъ, въ который змѣя впилась своимъ бѣшенымъ жаломъ, повидимому, страдаетъ больше всѣхъ частей тѣла вслѣдствіе самаго близкаго сосѣдства съ сердцемъ. Ноги хотятъ подняться, чтобы убѣжать отъ бѣдствія; ни одна часть не остается въ спокойствіи, и черты рѣзца отчасти выражаютъ даже оцѣпенѣніе кожи".

Какъ правдиво и тонко описана здѣсь борьба интеллекта съ страданіемъ чувственной натуры и какъ мѣтко указаны явленія, въ которыхъ обнаруживаются животное и человѣческое, гнетъ силы природы и свобода разума! Виргилій, какъ извѣстно, изобразилъ этотъ же эпизодъ въ своей Энеидѣ; но въ планъ эпическаго поэта не входило останавливаться на душевномъ состояніи Лаокоона, какъ это долженъ былъ сдѣлать ваятель. У Виргилія весь разсказъ есть вещь только побочная—и цѣль, которую поэтъ имѣлъ въ виду, приводя его, достаточно достигается изображеніемъ одной физической стороны; автору не было надобности открывать передъ нами всю глубину души страдающаго героя, такъ какъ онъ желалъ не столько вызвать состраданіе въ читателѣ, сколько наполнить его ужасомъ. Такимъ образомъ, обязанность поэта въ этомъ отношеніи была только отрицательная—именно, онъ долженъ былъ не доводить изображенія страданія до такой степени, чтобы при этомъ уничтожилось всякое выраженіе человѣческаго начала или нравственнаго сопротивленія—потому что въ противномъ случаѣ его произведеніе неминуемо вызвало бы неудовольствіе и отвращеніе. Вотъ почему онъ предпочелъ изобразить причину страданія и нашелъ удобнымъ распространиться подробнѣе о страшныхъ свойствахъ обѣихъ змѣй и о ярости, съ которою онѣ напали на свою жертву, чѣмъ объ ощущеніяхъ этой послѣдней. Мимо несчастнаго страдальца поэтъ только проходитъ быстрыми шагами, потому что ему нужно было сохранить передъ читателемъ въ неослабленномъ видѣ представленіе о божественной карѣ за преступленія и впечатлѣніе ужаса. Но если бы Виргилій, напротивъ того, показалъ намъ Лаокоона въ такой подробности, какъ это сдѣлалъ скульпторъ, то уже не карающее божество, а страдающій человѣкъ сдѣлался бы героемъ дѣйствія, и эпизодъ лишился бы своей цѣлесообразности по отношенію къ цѣлому.

Разсказъ Виргилія извѣстенъ уже по превосходнымъ комментаріямъ Лессинга. Но цѣль Лессинга при этой работѣ состояла въ томъ только, чтобы показать этимъ примѣромъ границы между изображеніемъ поэта и живописца; уяснить же посредствомъ его понятіе о патетическомъ Лессингъ не имѣлъ въ виду. Между тѣмъ, по моему мнѣнію, для этой послѣдней цѣли такой примѣръ пригоденъ не меньше, чѣмъ для первой, и да будетъ позволено мнѣ привести его здѣсь еще разъ.

Ecce autem gemini Tenedo tranquilla per alta
(horresco referens) immensis orbibus angues
incumbunt pelago, pariterque ad littoratendunt.
Pectora quorum inter fluctus arrecta, jubaeque
Sanguineae exsuperant undas pars caetera pontum pone legit, sinuatque immensa volumina terga. Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant, ardenteis oculos suffecti sanguine et igni, sibila lambebant linguis vibrantibus ora.

Первое изъ трехъ выжеприведенныхъ условій возвышеннаго въ силѣ здѣсь имѣется: именно, могущественная сила природы; вооружившаяся для разрушенія и издѣвающаяся надъ всякимъ сопротивленіемъ. Но причина того, что это могущественное представляется въ то же время страшнымъ, а страшное—возвышеннымъ, заключается въ двухъ различныхъ операціяхъ духа, то-есть въ двухъ представленіяхъ, которыя мы сами производимъ въ себѣ. Во-первыхъ, мы сравниваемъ эту неодолимую силу природы съ слабою способностью сопротивленія человѣка какъ физическаго существа, и поэтому признаемъ первую страшною; во-вторыхъ, мы ставимъ ее въ отношеніе къ нашей волѣ и вызываемъ въ себѣ сознаніе полной независимости этой послѣдней отъ всякаго вліянія природы—и тогда она становится для насъ объектомъ возвышеннымъ. Но эти оба отношенія создаемъ уже мы; поэтъ далъ намъ не что иное, какъ предметъ, вооруженный могущественною силою и стремящійся къ проявленію ея. Если при видѣ его мы дрожимъ, то это только потому, что воображаемъ въ борьбѣ съ нимъ или самихъ себя, или подобное намъ существо. Если при этомъ трепетѣ ужаса мы ощущаемъ возвышенное настроеніе, то оно происходитъ отъ сознанія, что сдѣлайся мы даже жертвою этой силы, намъ не пришлось бы страшиться за собственное свободное я, за автономію движеній нашей воли. Короче

сказать, до сихъ поръ изображеніе поэта остается только созерцательно возвышеннымъ.

Diffugimus visu exsangues, illi agmine certo
Laocoonta petunt.

Теперь сильное дѣлаетъ въ то же время страшнымъ уже самъ авторъ, и созерцательно-возвышенное переходитъ въ патетическое. Мы видимъ дѣйствительное начало борьбы съ безсиліемъ человѣка. Лаокоонъ тутъ дѣйствующее лицо, или мы сами—дѣйствіе различно только по степени. Симпатическій инстинктъ вспугиваетъ инстинктъ самосохраненья, чудовища стремятся на насъ—и всякое бѣгство безполезно.

Теперь уже не въ нашей волѣ мѣряться съ этою силою нашими собственными и ставить ее въ отношеніе къ нашему существованію. Это совершается помимо нашего содѣйствія въ самомъ объектѣ. Такимъ образомъ, нашъ ужасъ уже не имѣетъ, какъ въ предшествующій моментъ, только субъективнаго основанія въ нашемъ духѣ, но получаетъ основаніе объективное въ предметѣ, потому что, признавая даже все насъ поразившее за простое созданіе воображенія, мы однако и въ этой фикціи отличаемъ представленіе, сообщенное намъ извнѣ, отъ другого, создаваемаго нашею собственною внутреннею самодѣятельностью.

Итакъ, духъ теряетъ часть своей свободы, потому что онъ получаетъ извнѣ то, что прежде создавалъ своею самодѣятельностью. Представленіе опасности пріобрѣтаетъ видъ объективной дѣйствительности.

Если бы мы были существа, надѣленныя только внѣшними чувствами, не повинующіяся ничему, кромѣ инстинкта самосохраненія, то мы въ этомъ случаѣ не волновались бы, и состояніе наше ограничилось бы однимъ страданіемъ. Но есть въ насъ нѣчто, не принимающее никакого участія въ аффектахъ чувственной натуры и не подчиняющее свою дѣятельность никакимъ физическимъ условіямъ. Смотря по степени развитія въ человѣческой душѣ этого самодѣятельнаго принципа (нравственное начало), страдающей натурѣ оставляется болѣе или менѣе простора, и въ аффектѣ сохраняется больше или меньше самодѣятельности.

Въ натурахъ нравственныхъ страшное (сила воображенія) легко и скоро переходитъ въ возвышенное. По мѣрѣ того, какъ воображеніе теряетъ свою свободу, разумъ вступаетъ въ пользованіе своею, и духъ тѣмъ болѣе расширяется внутри, чѣмъ болѣе находитъ онъ предѣловъ извнѣ. Выбитые изъ всѣхъ укрѣпленій, могущихъ доставить чувственной сторонѣ физическую защиту, мы укрываемся въ неодолимую крѣпость нашей нравственной свободы и пріобрѣтаемъ безусловную и безконечную безопасность именно тѣмъ, что покидаемъ наше, только сравнительное и временное оружіе въ сферѣ явленій. Но именно вслѣдствіе того, что прежде обращенія за помощью къ нашей нравственной природѣ, приходится выдерживать эту физическую стычку—мы не можемъ познать это высокое чувство свободы иначе, какъ цѣною страданія. Душа дюжинная останавливается въ этомъ страданіи и въ возвышенной сторонѣ пафоса не чувствуетъ ничего, кромѣ страшнаго; напротивъ того, духъ независимый отъ этого страданія прямо переходитъ къ страданію своей прекраснѣйшей силы и изъ всего страшнаго умѣетъ извлечь возвышенное.

Laocoonta petunt, ac primun parva duorum
corpora gnatorum serpens amplexus uterque
implicat, ac miseros morsu depascitut artus.

Сильное дѣйствіе производится тѣмъ, что скорѣе духовный человѣкъ (отецъ) подвергается нападенію, чѣмъ физическій. Всѣ аффекты эстетичнѣе изъ вторыхъ рукъ, и нѣтъ симпатіи сильнѣе той, которую мы чувствуемъ посредствомъ симпатіи.

Post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem
corripiunt.

Теперь настала минута вселить въ насъ уваженіе къ герою, какъ нравственной личности, и поэтъ не упустилъ этой минуты. Изъ его описанія мы узнали всю силу и ярость враждебныхъ чудовищъ и всю безполезность сопротивленія имъ. Будь Лаокоонъ дюжинный человѣкъ, онъ воспользовался бы выгодою своего положенія и, подобно остальнымъ троянцамъ, искалъ бы спасенія въ быстромъ бѣгствѣ. Но въ его груди бьется сердце, и опасность дѣтей заставляетъ его остаться на свою собственную погибель. Уже эта одна черта дѣлаетъ его вполнѣ достойнымъ нашего состраданія. Въ какую бы минуту ни схватили его змѣи, это дѣйствіе всегда взволновало бы и потрясло насъ. Но что оно случилось именно въ ту минуту, когда мы почувствовали къ этому человѣку уваженіе, какъ къ отцу, что его погибель является какъ бы

непосредственнымъ слѣдствіемъ исполненнаго отцовскаго долга, нѣжной заботливости о судьбѣ дѣтей—это обстоятельство доводитъ наше участіе до высшей степени горячности. Теперь онъ въ нашихъ глазахъ уже существо, какъ бы добровольно обрекшее себя на погибель, и его смерть становится дѣйствіемъ свободной воли.

—

Итакъ, во всякомъ паѳосѣ внѣшнее чувство должно быть заинтересовано страданіемъ, а духъ—свободою. Когда патетическое изображеніе лишено выраженія страдающей природы, тогда въ немъ нѣтъ эстетической силы, и наше сердце остается холоднымъ. Когда же въ немъ нѣтъ выраженія начала эстетическаго, то какъ бы ни сильна была въ немъ сторона чувственная, оно никогда не можетъ быть патетическимъ и непремѣнно будетъ возмущать наше внутреннее чувство. Сквозь всякую свободу духа долженъ всегда просвѣчивать страдающій человѣкъ, сквозь всякое страданіе человѣческой натуры—самостоятельный или способный къ самостоятельности духъ.

Но самостоятельность духа можетъ проявляться въ состояніи страданія двоякимъ образомъ: или отрицательно—когда этическій человѣкъ не слѣдуетъ закону человѣка физическаго, и состояніе не можетъ имѣть никакого вліянія на образъ мыслей; или положительное, когда этическій человѣкъ предписываетъ законъ физическому, и образъ мыслей получаетъ вліяніе на состояніе. Въ первомъ случаѣ возникаетъ возвышенное настроеніе, во второмъ—возвышенное дѣйствіе.

Возвышенное въ настроеніи представляетъ намъ всякій, независящій отъ судьбы, характеръ. „Храбрый духъ, въ борьбѣ съ превратностями и препятствіями", говоритъ Сенека, „есть привлекательное зрѣлище, даже для боговъ". Такое зрѣлище даетъ намъ римскій сенатъ послѣ несчастнаго сраженія при Каннахъ. Даже Люциферъ Мильтона, когда онъ въ первый разъ попавъ въ адъ, свое будущее жилище, осматривается вокругъ себя—даже онъ возбуждаетъ въ насъ удивленіе, благодаря этой силѣ духа. „Ужасы", восклицаетъ онъ, „я привѣтствую васъ, и тебя, подземный міръ, и тебя глубочайшій адъ! Прими твоего новаго гостя! Онъ приходитъ къ тебѣ съ настроеніемъ, котораго не должны измѣнить ни время, ни мѣсто. Въ этомъ настроеніи живетъ онъ. Онъ даже въ аду создаетъ для него небо. Здѣсь наконецъ мы свободны"—и такъ далѣе. Отвѣтъ Медеи въ трагедіи принадлежитъ къ этой же категоріи.

Возвышенное въ настроеніи можетъ быть выражено наглядно, потому что оно основано на совмѣстномъ существованіи; возвышенное въ дѣйствіи, напротивъ того, только мыслимо, потому что въ основаніи его лежитъ послѣдовательность, и для того, чтобы вывести страданія изъ свободнаго рѣшенія, необходимъ разумъ. Вслѣдствіе этого, пластическому искусству доступно только первое, такъ какъ это искусство можетъ удачно изображать только совмѣстно существующее; у поэта же находится въ распоряженіи и то, и другое. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда живописцу или скульптору приходится изображать возвышенное дѣйствіе, онъ долженъ превратить это послѣднее въ возвышенное настроеніе.

Возвышенное въ дѣйствіи требуетъ, чтобы страданіе человѣка не только не имѣло никакого вліянія на его нравственное состояніе, но даже, совершенно наоборотъ, было дѣломъ его нравственнаго характера. Это можетъ совершаться двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, посредственно и по закону свободы, когда человѣкъ, ради какой-нибудь обязанности, самъ обрекаетъ себя на страданіе. Въ этомъ случаѣ, представленіе обязанности становится для него побужденіемъ, и его страданіе есть дѣйствіе свободной воли. Или, во-вторыхъ, непосредственно и по закону необходимости, когда человѣкъ нравственно искупаетъ нарушеніе какой-нибудь обязанности. Представленіе обязанности въ этомъ случаѣ заставляетъ его дѣйствовать какъ сила, и его страданіе есть только результатъ. Примѣръ перваго представляетъ намъ Регулъ, когда, чтобы сдержать слово, онъ отдаетъ себя мщенію карѳагенянъ; примѣромъ второго послужилъ бы намъ этотъ самый Регулъ, если бы онъ не сдержалъ слова и сдѣлался несчастнымъ вслѣдствіе сознанія своей вины. Въ обоихъ случаяхъ, страданіе имѣетъ причину нравственную—съ тою только разницею, что въ первомъ этотъ человѣкъ обнаруживаетъ передъ нами свой нравственный характеръ, во второмъ—только призваніе свое къ этому. Въ первомъ онъ является нравственно-великою личностью, во второмъ—только эстетически-великимъ предметомъ.

Это послѣднее различіе важно для трагическаго искусства и поэтому заслуживаетъ болѣе подробнаго разъясненія.

Объектомъ возвышеннымъ только съ точки зрѣнія эстетической становится уже

тотъ человѣкъ, который своимъ внутреннимъ состояніемъ проявляетъ передъ нами достоинство человѣческаго призванія, если предположить даже, что мы не увидимъ этого призванія осуществленнымъ въ его личности. Возвышеннымъ съ точки зрѣнія нравственой становится онъ только тогда, когда, какъ личность, онъ и поступаетъ сообразно этому призванію—когда уваженіе наше къ нему вызывается не только способностью его дѣйствовать, но и примѣненіемъ къ дѣлу этой способности—когда почетъ подобаетъ не только его внутреннимъ задаткамъ, но и дѣйствительному поведенію. Принимать въ соображеніе нравственную способность вообще и возможность безусловной свободы воли, или практическое примѣненіе этой способности и дѣйствительное существованіе этой безусловной свободы воли—двѣ вещи совершенно разныя при составленіи мнѣнія о человѣкѣ.

Двѣ вещи совершенно разныя, говорю я, и это различіе заключается не только въ подлежащихъ сужденію предметахъ, но въ томъ или другомъ способѣ сужденія. Одинъ и тотъ же предметъ можетъ не нравиться намъ съ нравственной точки зрѣнія и представляться весьма привлекательнымъ въ отношеніи эстетическомъ. Но если бы онъ удовлетворялъ насъ съ обѣихъ этихъ точекъ, такое дѣйствіе его въ одной области, то-есть нравственной, совершилось бы совершенно иначе, чѣмъ въ другой. Становясь годнымъ эстетически, предметъ не дѣлается черезъ это удовлетворяющимъ нравственно и наоборотъ.

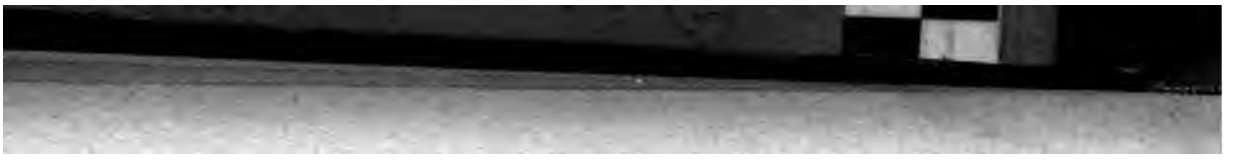
Я представляю себѣ, напримѣръ, самопожертвованіе Леонида при Ѳермопилахъ. Съ точки зрѣнія нравственной, этотъ поступокъ есть для меня осуществленіе нравственнаго закона, исполненнаго, несмотря на все сопротивленіе инстинкта; съ точки зрѣнія эстетической, я вижу въ немъ нравственную способность, независимую отъ всякаго давленія инстинкта. Мое нравственное чувство (разумъ) этотъ поступокъ удовлетворяетъ; мое эстетическое чувство (фантазію) онъ восхищаетъ.

Причину такого различія моихъ ощущеній относительно одного и того же предмета я нахожу въ слѣдующемъ.

Какъ наше существо распадается на два начала или двѣ природы, такъ, сообразно этимъ послѣднимъ, и чувства наши раздѣляются на двѣ, совершенно различныя между собою, категоріи. Какъ существа разумныя, мы одобряемъ или осуждаемъ; какъ существа чувствующія, ощущаемъ удовольствіе или неудовольствіе. Оба ощущенія—одобренія и удовольствія—имѣютъ источникомъ удовлетвореніе: первое—удовлетвореніе требованью, потому что разумъ только требуетъ, но не нуждается; второе—удовлетвореніе потребности, потому что чувство только нуждается и не можетъ требовать. И то, и другое, то-есть требованье разума и потребности чувства, относятся другъ къ другу, какъ надобность къ нуждѣ, слѣдовательно, и то, и другое заключаются въ понятіи необходимости, съ тою только разницею, что необходимость, ощущаемая разумомъ, не знаетъ никакихъ условій, а необходимость чувства имѣетъ мѣсто только подъ извѣстными условіями. Но и въ той, и другой удовлетвореніе есть дѣйствіе случайное. Такимъ образомъ, всякое ощущеніе какъ удовольствія, такъ и одобренія основывается въ концѣ-концовъ на гармоніи случайнаго съ необходимымъ. Когда необходимое представляется въ видѣ повелительнаго требованья, удовлетвореніе его вызываетъ одобреніе, когда оно есть нужда—удовольствіе; и то, и другое ощущеніе становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ случайнѣе было удовлетвореніе.

Но въ основаніи всякой оцѣнки съ нравственной точки зрѣнія лежитъ требованіе разума, чтобы обсуждаемый образъ дѣйствія былъ нравственененъ, и законъ безусловной необходимости побуждаетъ насъ хотѣть того, что хорошо и справедливо. Но такъ какъ воля свободна, то дѣйствительно ли мы поступаемъ такимъ образомъ, или нѣтъ—это зависитъ (физически) отъ случайности. Когда же это дѣйствительно совершается, то такая гармонія случайности, распоряжающейся свободою, съ повелительнымъ требованіемъ разума, вызываетъ одобреніе или похвалу, степень которыхъ усиливается тѣмъ болѣе, чѣмъ случайнѣе и сомнительнѣе представлялось это употребленіе свободы вслѣдствіе противодѣйствія внутреннихъ склонностей.

Напротивъ того, при оцѣнкѣ предмета съ эстетической точки зрѣнія, принимается въ соображеніе потребность воображенія, которое можетъ не требовать, а только желать, чтобы случайное гармонировало съ его интересами. Интересъ же воображенія состоитъ въ томъ, чтобы оставаться свободнымъ отъ вліянія законовъ. Съ этою наклонностью къ отсутствію всякаго стѣсненія идетъ совершенно въ разрѣзъ нравственное сдерживаніе со стороны воли, вслѣд-



ствіе котораго объектъ этой послѣдней опредѣляется для нея самымъ строгимъ образомъ, а такъ какъ это нравственное сдерживаніе есть предметъ нравственной оцѣнки, то очевидно, что при этомъ способѣ сужденія о предметѣ, воображеніе не можетъ достигнуть своей цѣли. Но нравстенное подчиненіе воли мыслимо только при предположеніи безусловной ея независимости отъ природныхъ инстинктовъ, такъ что возможность нравственнаго элемента требуетъ признанія свободы и, слѣдовательно, въ этомъ отношеніи вполнѣ согласуется съ интересомъ фантазіи. Но такъ какъ фантазія не можетъ предписывать волѣ индивидуумовъ своею потребностью такъ, какъ предписываетъ этой волѣ разумъ своимъ требованіемъ, то способность свободы въ области фантазіи есть нѣчто случайное и, поэтому, какъ гармонія случайнаго съ (условно) необходимымъ должна возбуждать удовольствіе. Итакъ, когда къ вышеупомянутому подвигу Леонида мы прилагаемъ масштабъ нравственный, то смотримъ на него съ той точки зрѣнія, на которой его случайность бросается намъ въ глаза меньше, чѣмъ его необходимость. Напротивъ того, при оцѣнкѣ эстетической, мы становимся на точку зрѣнія, которая показываетъ намъ болѣе случайность, чѣмъ необходимость его. Дѣйствовать такимъ образомъ—обязанность всякой воли, какъ скоро эта воля свободна; но что вообще существуетъ свобода воли, дающая возможность поступать такимъ образомъ, это—милость со стороны природы относительно той способности, для которой свобода составляетъ потребность. Итакъ, когда добродѣтельный поступокъ обсуждается нравственнымъ чувствомъ — разумомъ, то одобреніе есть самое большое, что можетъ быть вызвано при этой оцѣнкѣ, потому что разумъ никогда не находитъ больше того, что онъ требуетъ, и рѣдко—именно столько, сколько требуетъ. Напротивъ того, когда тотъ же поступокъ обсуждается чувствомъ эстетическимъ—воображеніемъ, то возникаетъ положительное удовольствіе, потому что фантазія никогда не можетъ требовать гармоніи съ своею потребностью и, вслѣдствіе этого, когда происходитъ дѣйствительное удовлетвореніе этой потребности, она принимаетъ его, какъ весьма пріятный сюрпризъ. Что Леонидъ дѣйствительно рѣшился на геройскій подвигъ—это мы одобряемъ; что онъ могъ рѣшиться на него—это радуетъ насъ и приводитъ въ восторгъ.

Различіе между этими двумя способами обсужденія предмета еще явственнѣе бросается въ глаза, когда берется поступокъ, насчетъ котораго оцѣнка нравственная и оцѣнка эстетическая приходятъ къ противоположнымъ между собою результатамъ. Возьмемъ, напримѣръ, самосожженіе Перегрина Протея въ Олимпіи. Съ точки зрѣнія нравственной, я не могу одобрить этотъ поступокъ, находя въ немъ нечистыя побужденія, ради которыхъ нарушенъ долгъ самосохраненія. Съ точки же зрѣнія эстетической онъ мнѣ нравится, и нравится именно потому, что свидѣтельствуетъ о способности воли пойти наперекоръ даже самому могущественному изъ человѣческихъ инстинктовъ, инстинкту самосохраненія. Чисто ли нравственное настроеніе, или только болѣе вліятельное чувственное раздраженіе подавило въ чудакѣ Перегринѣ этотъ инстинктъ, это для меня все равно при эстетической оцѣнкѣ, когда я оставляю индивидуума, отвожу въ сторону отношеніе его личной воли къ закону воли вообще и ставлю эту послѣднюю въ отношеніе ко всей силѣ природы. При нравственной оцѣнкѣ, какъ мы только что видѣли, самосохраненіе представилось намъ долгомъ, и потому нарушеніе его вызвало наше осужденіе; напротивъ того, эстетическая оцѣнка взглянула на него, какъ на интересъ—и потому принесеніе его въ жертву доставило удовольствіе. Такимъ образомъ, при послѣднемъ способѣ обсужденія происходитъ процессъ, совершенно противоположный тому, который мы употребляемъ при первомъ. Тамъ мы противопоставляемъ чувственно-ограниченнаго индивидуума и патологически-движимую волю абсолютному закону воли и безпредѣльному нравственному долгу; здѣсь, напротивъ того, абсолютную способность воли и безпредѣльную нравственную силу—требованію природы и предѣламъ чувственной стороны. Потому-то эстетическая оцѣнка и оставляетъ насъ свободными, воодушевляетъ насъ и вызываетъ возвышенное настроеніе, что мы, благодаря уже одной способности абсолютно хотѣть, благодаря уже существованію въ насъ однихъ нравственныхъ задатковъ, находимся въ видимо-выгодномъ положеніи относительно нашей чувственной стороны—и что уже одна возможность освободиться отъ гнета природы льститъ нашей потребности свободы. И съ другой стороны, потому то оцѣнка нравственная ограничиваетъ и смиряетъ насъ, что при каждомъ частномъ нарушеніи волею абсолютнаго закона

воли мы становимся въ болѣе или менѣе выгодное положеніе, и что ограниченіе воли какимъ-нибудь единственнымъ направленіемъ, котораго непремѣнно требуетъ долгъ, противорѣчитъ стремленію фантазіи къ свободѣ. Тамъ мы поднимаемся отъ дѣйствительнаго къ возможному и отъ индивидуума къ роду; здѣсь, напротивъ того, спускаемся отъ возможнаго къ дѣйствительному и замыкаемъ родъ въ предѣлы индивидуума; неудивительно поэтому, что при оцѣнкѣ эстетической мы ощущаемъ внутренній просторъ, и, наоборотъ, при оцѣнкѣ нравственной чувствуемъ себя сдерживаемыми и стѣсненными *).

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что нравственная и эстетическая оцѣнки не только не поддерживаютъ одна другую, но еще идутъ въ разрѣзъ другъ другу, давая душевному состоянію два, совершенно противоположныя между собою, направленія; ибо законосообразность, требуемая разумомъ, какъ судьею нравственнымъ, несовмѣстима съ необузданностью, которой желаетъ фантазія, какъ судья эстетическій.

*) Этимъ обстоятельствомъ, замѣчу кстати, объясняется и различіе эстетическаго впечатлѣнія, производимаго Кантовою теоріею долга даже на различныхъ комментаторовъ ея. Довольно значительная часть публики находитъ эту теорію очень унизительною; другая, напротивъ того, доказываетъ, что она безконечно возвышаетъ сердце. И тѣ, и другіе правы—и основаніе этого разногласія заключается только въ различіи точекъ зрѣнія на предметъ. Въ простомъ исполненіи долга нѣтъ, конечно, ничего великаго, и такъ какъ лучшее, что мы можемъ совершить, есть не что иное, какъ исполненіе я, притомъ еще, исполненіе, недостаточное нашей обязанности, то въ высочайшей добродѣтели нѣтъ ничего способнаго вызвать восторженное сочувствіе. Но вѣрно и устойчиво исполнять свой долгъ, несмотря на предѣлы, поставляемые чувственною натурой, и неизмѣнно слѣдовать священному закону духа, оставаясь въ оковахъ матеріи, это, конечно, достойно удивленія и возбуждаетъ возвышенное настроеніе. Относительно міра духовнаго наша добродѣтель не имѣетъ въ себѣ, конечно, никакихъ заслугъ; относительно міра чувственнаго, она становится, напротивъ того, тѣмъ болѣе возвышеннымъ объектомъ. Такимъ образомъ, до тѣхъ поръ, пока мы судимъ о поступкѣ съ нравственной точки зрѣнія и ставимъ его въ отношеніе къ нравственному закону, у насъ мало основаній гордиться своею доброю нравственностію; но коль скоро мы принимаемъ въ соображеніе возможность такого поступка и ставимъ, лежащую въ основаніи этого послѣдняго, способность нашего духа, то-есть коль скоро мы становимся на эстетическую точку,—намъ позволительно ощущать нѣкоторое довольство собою; оно даже необходимо, такъ какъ мы въ этомъ случаѣ открываемъ въ себѣ начало до послѣдней степени высокое и безпредѣльное.

Вслѣдствіе этого данный объектъ становится для эстетическаго употребленія тѣмъ непригоднѣе, чѣмъ больше подходитъ онъ къ требованіямъ нравственнымъ, и когда поэту волей-неволей приходится избрать такой предметъ, то ему слѣдуетъ вести изображеніе такъ, чтобы не столько указывать нашему разуму на законы воли, сколько нашей фантазіи — на способность воли. Такой пріемъ поэтъ долженъ употребить ради своей собственной пользы, потому что его господство надъ нами рушится одновременно съ пробужденіемъ нашей внутренней свободы. Мы только до тѣхъ поръ принадлежимъ ему, пока смотримъ на происходящее и существующее внѣ насъ; чуть мы ушли въ свой внутренній міръ — поэтъ потерялъ насъ. А этотъ поворотъ неизбѣжно проходитъ каждый разъ, какъ предметъ перестаетъ разсматриваться нами, какъ явленіе, и становится нашимъ судьею, какъ законъ.

Даже изъ проявленій возвышеннѣйшей добродѣтели поэтъ можетъ употреблять для своихъ цѣлей исключительно то, что въ нихъ принадлежитъ силѣ. О томъ или другомъ направленіи силы онъ не заботится. Поэтъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ выводитъ передъ нами совершеннѣйшіе образцы нравственности, не имѣетъ и не вправѣ имѣть никакой иной цѣли, кромѣ увлеченія своихъ читателей. Увлекать же насъ можетъ только то, что улучшаетъ нашу субъективную личность, а доставлять намъ духовное увлеченіе можетъ только то, что возвышаетъ нашу духовную сторону. Но какимъ же образомъ можетъ производить и то и то другое дѣйствіе на насъ исполненіе своего долга другимъ? Причина того, что онъ дѣйствительно исполняетъ свой долгъ, заключается въ случайномъ употребленіи, которое онъ дѣлаетъ изъ своей свободы и которое именно поэтому не можетъ служить никакимъ доказательствомъ для насъ. Съ нимъ мы только раздѣляемъ способность къ подобному повиновенію долгу и, ощущая въ его способности также собственную нашу, тѣмъ возвышаемъ нашу духовную силу. Слѣдовательно, только представляемая нами себѣ возможность абсолютно-свободной воли дѣлаетъ пріятнымъ эстетическому чувству нашему дѣйствительное примѣненіе къ дѣлу этой послѣдней.

Убѣдиться въ этомъ можно еще больше, если сообразить, въ какой малой степени зависитъ поэтическая сила впечатлѣнія, производимаго на насъ нравственными ха-

рактерами или поступками, отъ ихъ исторической дѣйствительности. Пріятное чувство, доставляемое намъ идеальными характерами, ничего не теряетъ отъ мысли, что они — не что иное, какъ поэтическіе вымыслы, и не теряетъ потому, что основаніемъ всякаго эстетическаго впечатлѣнія служитъ поэтическая, а не историческая правда. Поэтическая же правда состоитъ не въ томъ, что данная вещь дѣйствительно случилась, но въ томъ, что она могла случиться — стало быть, во внутренней возможности ея существованія. Такимъ образомъ, эстетическая сила должна заключаться уже въ воображаемой возможности.

Даже въ дѣйствительныхъ происшествіяхъ, касающихся историческихъ лицъ, поэтическую сторону составляетъ не эта дѣйствительность, а обнаруженная ею возможность ея. То обстоятельство, что эти лица дѣйствительно жили и что эти происшествія дѣйствительно случились, можетъ, правда, очень часто увеличивать степень нашего удовольствія, но примѣшивая къ послѣднему нѣчто, скорѣе вредное, чѣмъ благопріятное для поэтическаго впечатлѣнія. Долго думали, что оказываютъ услугу поэзіи нашего отечества, совѣтуя поэтамъ выбирать національные сюжеты. „Греческая поэзія, — говорили эти совѣтчики,—оттого такъ сильно дѣйствовала на сердце, что изображала туземныя сцены и прославляла національные подвиги". Нельзя отрицать, что, благодаря этому обстоятельству, поэзія древнихъ производила результаты, которыми не можетъ похвастаться поэзія новая; но были ли виновниками такихъ результатовъ собственно искусство и поэтъ? Жалокъ былъ бы греческій художественный геній, если бы онъ имѣлъ, относительно духа новаго времени, только одно это случайное преимущество, и жалокъ былъ бы греческій художественный вкусъ, если бы его можно было удовлетворить только историческими элементами въ произведеніяхъ писателей. Только варварскій вкусъ нуждается въ подстрекательствѣ частнаго интереса для пріобрѣтенія сочувствія къ красотѣ, и только дюжинный писака почерпаетъ въ сюжетѣ силу, которую онъ чувствуетъ себя неспособнымъ вложить въ форму. Поэзія не должна вращаться въ холодной области памяти, не должна дѣлать истолкователемъ ученость и своимъ адвокатомъ—чувство личнаго эгоизма. Она должна поражать сердце, потому что сама истекаетъ изъ сердца и дѣлать своею мишенью не гражданина въ человѣкѣ, но человѣка въ гражданинѣ.

Счастье, что истинный геній обращаетъ мало вниманія на указанія, дѣлаемыя ему болѣе по благонамѣренности, чѣмъ по праву: иначе Зульцеръ и его послѣдователи придали бы нѣмецкой поэзіи весьма двусмысленный видъ. Нравственно развить человѣка и зажечь національное чувство въ гражданинѣ—задача, конечно, очень почетная для поэта, и музы знаютъ лучше всякаго другого, какъ близко могутъ въ этомъ отношеніи стоять другъ къ другу возвышенное и прекрасное. Но то, что поэзія превосходно исполняетъ путемъ посредственнымъ, удается ей весьма мало, когда совершается непосредственно. Тотъ поэтъ поступаетъ весьма неискусно, который заботится о какой-нибудь отдѣльной подробности. Кругъ дѣйствія поэзіи составляетъ весь итогъ человѣческой натуры, и единственно настолько, насколько она вліяетъ на характеръ, можетъ она имѣть вліяніе на отдѣльныя проявленія его. Поэзія можетъ быть для человѣка тѣмъ, чѣмъ для героя становится любовь. Она не въ состояніи ни совѣтовать ему, ни сражаться вмѣстѣ съ нимъ, ни исполнять для него какую бы то ни было другую работу; но воспитать въ немъ героя, возбуждать его на подвиги, надѣлять его силою и энергіею для всего, чѣмъ онъ долженъ быть, — на это она способна.

Такимъ образомъ, эстетическая сила, посредствомъ которой дѣйствуетъ на насъ возвышенное въ образѣ мыслей и въ дѣйствіяхъ, основывается отнюдь не на желаніи разума, чтобы хорошій поступокъ былъ совершенъ, но на желаніи воображенія, чтобы хорошій поступокъ былъ возможенъ, то-есть чтобы никакое ощущеніе, какъ бы сильно оно ни было, не было въ состояніи подавить свободу духа. Но эта возможность заключается во всякомъ энергическомъ проявленіи свободы и силы воли, и гдѣ только поэтъ находитъ ее, находитъ онъ цѣлесообразный для своего произведенія предметъ. Для его собственнаго интереса рѣшительно все равно—изъ какой категоріи характеровъ, хорошихъ или дурныхъ, желаетъ онъ выбрать своихъ героевъ, такъ какъ весьма часто для послѣдовательности въ злѣ нужда та же самая мѣра силы, какъ для добра. До какой степени въ эстетическихъ сужденіяхъ для насъ болѣе важна сила, чѣмъ направленіе силы, и свобода—болѣе, чѣмъ законосообразность, становится

яснымъ уже изъ того, что намъ пріятнѣе видѣть проявленіе силы и свободы на счетъ законосообразности, чѣмъ соблюденіе законосообразности въ ущербъ силѣ и свободѣ. Дѣйствительно, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нравственный законъ сопрягается съ побужденіями, грозящими увлечь волю своимъ могуществомъ, характеръ выигрываетъ въ эстетическомъ отношеніи, когда онъ имѣетъ возможность сопротивляться этимъ побужденіямъ. Порочный человѣкъ начинаетъ насъ интересовать, коль скоро ему приходится рисковать счастіемъ и жизнью для осуществленія своихъ злыхъ цѣлей; напротивъ того, вниманіе наше къ добродѣтельному ослабѣваетъ въ той самой пропорціи, въ которой онъ остается добродѣтельнымъ, благодаря своему благоденствію. Мщеніе, напримѣръ, есть черта неблагородная и даже низкая. Тѣмъ не менѣе оно становится эстетическимъ, когда исполненіе его стоитъ мстителю мучительной жертвы. Медея, убивая своихъ дѣтей, дѣлаетъ это для того, чтобы поразить сердце Язона, но въ то же время она наноситъ жестокій ударъ и своему собственному—и ея мщеніе становится эстетически-возвышеннымъ, какъ только мы видимъ въ ней нѣжную мать.

Эстетическая оцѣнка заключаетъ въ себѣ, въ этомъ отношеніи, болѣе правды, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Очевидно, что пороки, свидѣтельствующіе о силѣ воли, обнаруживаютъ болѣе задатковъ истинно-нравственной свободы, чѣмъ добродѣтели, находящія поддержку въ склонности, потому что послѣдовательному злодѣю стоитъ одержать только одну побѣду надъ самимъ собою, произвести только одинъ переворотъ въ своихъ правилахъ для того, чтобы вся послѣдовательность и энергія, которыя онъ тратилъ на зло, обратились на совершеніе дѣлъ добрыхъ. Иначе, въ чемъ же заключается причина, что мы съ отвращеніемъ отталкиваемъ отъ себя вяло-добродушный характеръ и часто слѣдимъ съ трепетомъ удивленія за закоренѣло-злымъ? Въ томъ, безспорно, что въ первомъ мы не находимъ даже возможности абсолютно-свободной воли, а въ послѣднемъ, напротивъ, замѣчаемъ по каждому проявленію его, что однимъ движеніемъ своей воли онъ вдругъ способенъ достигнуть высшей степени человѣческаго достоинства.

Такимъ образомъ, произведя оцѣнку съ эстетической точки зрѣнія, мы интересуемся не нравственностью самою по себѣ, а свободою, и первая можетъ нравиться нашему воображенію единственно настолько, насколько въ ней проявляется послѣдняя. Поэтому, очевидно, спутываютъ границы тѣ, которые въ эстетическихъ вещахъ требуютъ нравственной цѣлесообразности и, для расширенія области разума, стремятся вытѣснить воображеніе изъ его законныхъ владѣній. Тутъ приходится или совсѣмъ поработить это послѣднее—и тогда конецъ всякому эстетическому дѣйствію, или оно раздѣлитъ господство съ разумомъ—и тогда нравственность выиграетъ, конечно, немного. Преслѣдуя двѣ различныя цѣли, подвергаешься опасности не достигнуть ни одной изъ нихъ. Свобода фантазіи свяжется нравственною законосообразностью, а необходимость разума разрушится произволомъ фантазіи.

Петръ Вейнбергъ.

Письма объ эстетическомъ воспитаніи человѣка.

(Къ герцогу Гольштейнъ Аугустенбургскому).

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Вамъ угодно было разрѣшить мнѣ представлять Вамъ результаты моихъ изысканій о прекрасномъ и искусствѣ, изложенные въ серіи писемъ. Я живо чувствую важное значеніе и прелесть этого предпріятія. Я буду говорить о предметѣ, который стоитъ въ непосредственной связи съ лучшей стороной нашего благополучія и не въ очень отдаленной съ нравственнымъ достоинствомъ человѣческой природы. Я буду защищать красоту предъ сердцемъ, которое ощущаетъ всю ея силу и проявляетъ ее; это сердце возьметъ на себя самую тяжелую часть моего труда, ибо въ моемъ предпріятіи придется столь же часто ссылаться на чувства, какъ и на принципы.

Что я хотѣлъ испросить у Васъ какъ милость, то Вы великодушно вмѣняете мнѣ

въ обязанность, оставляя мнѣ кажущуюся заслугу тамъ, гдѣ я лишь слѣдую своему влеченію. Свобода изслѣдованія, которую Вы мнѣ вмѣняете въ обязанность, не есть принужденіе, а скорѣе потребность для меня. Незнакомый со школьными формами, я не подвергаюсь опасности прегрѣшить предъ тонкимъ вкусомъ злоупотребленіемъ ихъ. Мои идеи, почерпнутыя болѣе изъ однообразнаго общенія съ самимъ собою, чѣмъ изъ богатой житейской опытности или путемъ чтенія, не станутъ отрекаться отъ своего происхожденія и окажутся виновными въ чемъ угодно, только не въ сектантствѣ; онѣ падутъ скорѣе отъ собственной слабости, но не станутъ искать поддержки въ авторитетѣ и чужой силѣ.

Но я не скрою отъ Васъ, что нижеслѣдующія утвержденія покоятся главнымъ образомъ на Кантовыхъ принципахъ; однако, если теченіе этихъ изслѣдованій напомнитъ Вамъ какую либо философскую школу въ частности, то припишите это моей немощи, а не кантовымъ положеніямъ. Нѣтъ, свобода Вашего духа будетъ для меня священна. Ваше собственное ощущеніе послужитъ мнѣ основаніемъ для моей теоріи. Ваша собственная свободная мысль будетъ предписывать законы, по которымъ мнѣ слѣдуетъ идти.

Только философы не согласны относительно тѣхъ идей, которыя господствуютъ въ практической части системы Канта, люди же,—я это могъ бы доказать—всегда были одного мнѣнія относительно нихъ. Если освободить эти идеи отъ ихъ технической формы, тогда онѣ явятся древними требованіями здраваго разсудка и фактами нравственнаго инстинкта, который поставленъ матерью природою въ качествѣ опекуна человѣку, пока свѣтлое разумѣніе не сдѣлаетъ его совершеннолѣтнимъ. Но именно эта техническая форма, въ которой истина является разуму, скрываетъ ее отъ чувства, ибо, къ сожалѣнію, разсудокъ долженъ сначала разрушить объектъ внутренняго чувства, прежде чѣмъ сдѣлать его своею собственностью. Подобно химику, философъ соединяетъ только путемъ разложенія и только муками искусства создаетъ твореніе свободной природы. Чтобы схватить преходящее явленіе, человѣкъ долженъ сковать его правилами, прекрасное тѣло разчленить на понятія и сохранить его живой духъ въ скудномъ словесномъ остовѣ. Что удивительнаго, что естественное чувство не узнаетъ себя въ такомъ изображеніи, и истина въ отчетѣ аналитика окажется парадоксомъ.

Итакъ, явите и по отношенію ко мнѣ нѣкоторую снисходительность, если нижеслѣдующія изслѣдованія удалятъ свой предметъ отъ чувствъ ради того, чтобы приблизить его къ разсудку. Что справедливо по отношенію къ нравственному опыту, то въ еще большей мѣрѣ справедливо по отношенію къ красотѣ, привлекательность которой покоится на ея тайнѣ; сущность красоты исчезаетъ вмѣстѣ съ необходимою связью ея элементовъ.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Однако, не могъ-ли бы я лучше воспользоваться свободою, которую Вы мнѣ удѣлили, чѣмъ обращая Ваше вниманіе на поприще прекраснаго и искусствъ. Кажется, по крайней мѣрѣ, что теперь не время заботиться о законодательствѣ для эстетическаго міра, ибо гораздо бо̀льшій интересъ представляютъ событія нравственнаго міра, и обстоятельства времени настойчивымъ образомъ приглашаютъ философскую пытливость заняться самымъ совершеннымъ произведеніемъ искусства, а именно построеніемъ истинной политической свободы.

Я бы не желалъ жить и работать въ иномъ вѣкѣ и для иного столѣтія. Каждый человѣкъ и точно также „гражданинъ времени", какъ и гражданинъ политическаго общенія; и если считается не принятымъ и даже недозволеннымъ выдѣляться обычаями и привычками изъ того круга, въ которомъ живешь, то слѣдуетъ считать для себя столь же обязательнымъ при выборѣ образа дѣйствій руководствоваться вкусомъ времени.

Вкусъ этотъ, какъ кажется, говоритъ не въ пользу искусства, по крайней мѣрѣ того, на которое исключительно направлено мое изслѣдованіе. Теченіе событій придало генію времени такой оборотъ, который удаляетъ его все болѣе и болѣе отъ идеальнаго искусства; это искусство должно покинуть дѣйствительность и съ приличной смѣлостью подняться надъ потребностями, ибо оно—дочь свободы и получаетъ предписанія отъ духовныхъ требованій, а не отъ матеріальной потребности. Нынѣ же господствуютъ потребности и подчиняютъ своему тиранническому ярму падшее человѣчество. Польза является великимъ идоломъ времени, который порабощаетъ всѣ силы и

которому посвящены всѣ дарованія. На этихъ грубыхъ вѣсахъ духовныя заслуги искусства не имѣютъ вѣса и, лишенныя поддержки, онѣ исчезаютъ съ шумнаго рынка столѣтія. Даже философскій духъ изслѣдованія отторгаетъ отъ фантазіи одну область за другой, и границы искусства съуживаются по мѣрѣ расширенія предѣловъ науки.

Взоры философа и свѣтскихъ людей напряженно прикованы къ политической аренѣ, на которой, какъ полагаютъ, рѣшается теперь великая судьба человѣчества. Не принимать участія въ общемъ разговорѣ—не обнаружитъ-ли это достойное порицанія равнодушіе по отношенію къ благу общества? Этотъ великій споръ о правахъ касается всякаго, кто носитъ имя человѣка, какъ по содержанію, такъ и по своимъ слѣдствіямъ, а равно и самый способъ веденія спора долженъ интересовать всякаго, привыкшаго къ самостоятельному мышленію. Вопросъ, который обыкновенно рѣшался лишь слѣпымъ правомъ сильнѣйшаго, предложенъ теперь на разрѣшеніе суда чистаго разума, и всякій, кто способенъ поставить себя въ центръ всего и свою индивидуальность слить съ родомъ, можетъ считать себя присяжнымъ засѣдателемъ этого суда разума, между тѣмъ какъ онъ, будучи человѣкомъ и гражданиномъ міра, въ то же самое время является и стороною, болѣе или менѣе заинтересованной въ рѣшеніи спора. Итакъ, не только его собственное дѣло рѣшается въ этомъ великомъ судебномъ процессѣ, но онъ ведется по законамъ, которые человѣкъ, какъ разумное существо, можетъ и вправѣ предписать.

Какъ привлекательно было бы для меня представить мое изслѣдованіе этого предмета на судъ столь же остроумному мыслителю, сколь и либеральному гражданину міра, и сердцу, полному энтузіазма, которое посвящаетъ себя служенію на благо человѣчества. Какъ пріятно и неожиданно было-бы сойтись во мнѣніяхъ съ Вашимъ свободнымъ отъ предразсудковъ умомъ при такомъ различіи положенія, которое необходимо благодаря условіямъ дѣйствительности. Если я не поддаюсь этому обольстительному соблазну и предпочитаю красоту свободѣ, то я надѣюсь оправдать такое рѣшеніе не только своею склонностью, но и принципами. Я надѣюсь убѣдить Васъ, что этотъ предметъ гораздо менѣе чуждъ потребностямъ времени, чѣмъ его вкусамъ, что для рѣшенія на опытѣ политической проблемы нужно пойти по пути эстетики, ибо только путемъ красоты можно достичь свободы. Но это доказательство не можетъ быть дано безъ напоминанія о тѣхъ принципахъ, которыми руководствуется разумъ въ политическомъ законодательствѣ.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Природа поступаетъ съ человѣкомъ не лучше, чѣмъ съ остальными своими произведеніями; она дѣйствуетъ за него въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣкъ еще не въ состояніи дѣйствовать какъ свободный интеллектъ. Но именно то дѣлаетъ его человѣкомъ, что онъ не останавливается на томъ, что изъ него сдѣлала природа, но способенъ разумно передѣлать въ обратномъ порядкѣ тѣ шаги, по которымъ слѣпо его вела природа; онъ можетъ пересоздать дѣло необходимости въ дѣло свободнаго выбора и возвысить физическую необходимость въ нравственную.

Пробуждаясь отъ чувственной дремоты, онъ сознаетъ себя человѣкомъ, озирается и видитъ себя въ государствѣ. Принужденный потребностями онъ очутился тамъ, прежде чѣмъ онъ свободно могъ избрать такое положеніе. Нужда создала государства по простымъ законамъ природы, ранѣе чѣмъ онъ могъ сдѣлать то же самое по законамъ разума. Но человѣкъ, какъ нравственная личность, не можетъ довольствоваться такимъ государствомъ, созданнымъ по необходимости, которое возникло только изъ природныхъ опредѣленій и разсчитано только на нихъ, и горе ему, еслибъ онъ могъ довольствоваться этимъ! Итакъ, по тому же праву, по которому онъ зовется человѣкомъ, онъ отвергаетъ господство слѣпой необходимости, подобно тому, какъ онъ отказывается отъ нея и во многихъ другихъ случаяхъ, благодаря своей свободѣ, такъ—чтобы привести хоть одинъ только примѣръ,—онъ путемъ нравственности и красоты уничтожаетъ и облагораживаетъ грубую потребность половой любви. Такимъ-то образомъ онъ искусственнымъ путемъ въ годы возмужалости повторяетъ свое дѣтство и, представляя себѣ идею естественнаго состоянія, которое не дано ему ни въ какомъ опытѣ, но которое необходимо въ силу опредѣленій разума, создаетъ себѣ въ этомъ идеальномъ состояніи конечную цѣль, которой онъ не зналъ въ дѣйствительномъ, естественномъ состояніи, и дѣлаетъ выборъ, на который онъ тогда не былъ способенъ и поступаетъ какъ будто-бы ему нужно начать сначала,

какъ будто-бы онъ по свободному рѣшенію и съ полною сознательностью мѣняетъ состояніе независимости на состояніе договора. Искусно и твердо обосновалъ слѣпой произволъ свое дѣло, съ наглой самоувѣренностью онъ его защищаетъ и окружаетъ показною почтенностью, однако человѣкъ можетъ оставить все это безъ вниманія, ибо дѣло слѣпыхъ силъ не имѣетъ авторитета, предъ которымъ свободѣ приходилось-бы преклоняться, и все должно подчиниться высшей конечной цѣли, которую разумъ въ лицѣ человѣка провозгласилъ. Такимъ способомъ возникаетъ и находитъ оправданіе попытка достигшаго совершеннолѣтія народа превратить естественное государство въ нравственное.

Это естественное государство—какимъ можетъ называться всякое политическое тѣло, объясняющее свое устройство первоначальными силами, а не законами—противорѣчитъ нравственности человѣка, которому простая закономѣрность должна служить вмѣсто закона, но оно вполнѣ соотвѣтствуетъ физическому человѣку, который только для того даетъ себѣ законы, чтобы управиться съ силами. Однако физическій человѣкъ есть нѣчто дѣйствительное, нравственный же только возможенъ. Итакъ, если разумъ уничтожаетъ естественное государство, а это ему необходимо сдѣлать, тогда онъ рискуетъ физическимъ и дѣйствительнымъ человѣкомъ ради возможнаго нравственнаго, рискуетъ существованіемъ общества ради возможнаго (хотя въ смыслѣ нравственномъ и необходимаго) идеала общества. Разумъ отнимаетъ у человѣка нѣчто, чѣмъ онъ дѣйствительно обладаетъ и безъ чего онъ ничѣмъ не владѣетъ, и взамѣнъ этого даетъ ему права на нѣчто, чѣмъ онъ долженъ бы и могъ бы владѣть; и еслибъ разсчетъ на человѣка оказался ошибочнымъ, то разумъ отнялъ бы у него ради человѣчности, которой еще нѣтъ и которая можетъ и не быть, самыя средства животнаго бытія, условія его человѣчности. Разумъ подрубилъ бы подъ его ногами лѣса, построенные природою, прежде чѣмъ у человѣка хватило бы времени найти по собственной волѣ опору въ законѣ.

Затрудненіе состоитъ въ томъ, что во времени общество въ физическомъ значеніи слова не должно прекращаться ни на одинъ моментъ, между тѣмъ какъ въ нравственномъ значеніи слова, въ идеѣ, оно только формируется и нельзя-же ради того, чтобы поднять достоинство человѣка, ставить на карту самое существованіе его. Когда часовщикъ исправляетъ часы, то онъ даетъ остановиться заводу часовъ, но живой механизмъ государства должно исправлять во время его хода, нужно замѣнять колесо во время его вращенія. Итакъ нужно искать для продолженія общества опору, которая освободила бы его отъ естественнаго состоянія, приговореннаго къ уничтоженію.

Этой опоры не найти въ естественномъ характерѣ человѣка, который, будучи эгоистичнымъ и склоннымъ къ насилію, скорѣе направленъ на уничтоженіе, чѣмъ на сохраненіе общества. Ея не найти также и въ нравственномъ характерѣ, который, согласно предпосылкѣ. еще долженъ образоваться и на который законодатель не можетъ вліять и разсчитывать съ точностью, ибо этотъ характеръ свободенъ и никогда не проявляется. Нужно, значитъ, отдѣлить отъ физическаго характера произволъ, а отъ нравственнаго свободу; нужно первый привести въ согласіе съ законами, а второй сдѣлать независимымъ отъ впечатлѣній; нужно первый нѣсколько удалить отъ матеріи, а второй нѣсколько къ ней приблизить—дабы создать характеръ третьяго рода, родственный первымъ двумъ, который дѣлалъ бы возможнымъ переходъ отъ господства голой силы къ господству закона, который не препятствовалъ бы развитію нравственнаго характера, а служилъ бы чувственнымъ залогомъ незримой нравственности.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Несомнѣнно, что только тогда, когда такой характеръ получаетъ перевѣсъ у извѣстнаго народа, можетъ быть безвреднымъ пересозданіе государства по нравственнымъ принципамъ и только такой характеръ можетъ поручиться за долговѣчность этого пересозданія Когда создается нравственное государство, тогда на нравственный законъ разсчитываютъ, какъ на созидающую силу, и свободная воля причисляется къ міру причинъ, въ которомъ все связано строгою необходимостью и непрерывностью. Однако, мы знаемъ, что опредѣленія человѣческой воли всегда случайны, что только въ абсолютномъ существѣ физическая необходимость совпадаетъ съ нравственною. Итакъ, если на нравственное поведеніе человѣка разсчитывать, какъ на естественный результатъ, тогда въ человѣкѣ должно предположить такую природу и его должны влечь собственныя стремленія къ такому образу дѣйствія, который можетъ быть лишь слѣдствіемъ

нравственнаго характера. Воля человѣка совершенно свободно можетъ выбирать между обязанностью и склонностью, и никакое физическое принужденіе не должно вмѣшиваться въ эту прерогативу человѣческой личности. Но если желательно, чтобы человѣкъ сохранилъ эту способность выбора и тѣмъ не менѣе остался бы положительнымъ звеномъ въ причинной связи силъ, то это могло бы быть достигнуто лишь тѣмъ, что дѣйствія двухъ указанныхъ пружинъ—обязанности и склонности— въ мірѣ явленій оказались бы тожественными и что содержаніе воли, при всемъ различіи въ формѣ, оставалось бы тѣмъ же самымъ, т. е. стремленія воли были бы настолько согласны съ разумомъ, что могли бы стать всеобщимъ законодательствомъ.

Можно сказать, что во всякомъ человѣкѣ есть какъ бы предрасположеніе и назначеніе быть чистымъ идеальнымъ человѣкомъ, и великая задача его бытія заключается въ томъ, чтобы при всѣхъ видоизмѣненіяхъ согласоваться съ его неизмѣннымъ единствомъ*). Чистый чезовѣкъ, который проявляется въ каждомъ субъектѣ болѣе или менѣе ясно, осуществляется въ государствѣ—въ этой объективной и какъ бы канонической формѣ, въ которой разнообразіе субъектовъ стремится къ единенію. Но можно себѣ представить два различныхъ способа согласованія человѣка во времени и человѣка въ идеѣ, а слѣдовательно и столько же способовъ осуществленія государства въ индивидуумахъ, а именно: или чистый человѣкъ подавитъ эмпирическаго, государство уничтожитъ индивидуумъ, или же индивидуумъ станетъ государствомъ, человѣкъ во времени облагородится и станетъ идеальнымъ человѣкомъ.

Правда, въ односторонней моральной оцѣнкѣ это различіе отпадаетъ, ибо разумъ удовлетворенъ, если его законъ безусловно господствуетъ, но тѣмъ большее значеніе получаетъ это различіе въ совершенной антропологической оцѣнкѣ, въ которой принимается въ разсчетъ на ряду съ формой и содержаніе, а также имѣетъ голосъ и живое ощущеніе.

Разумъ требуетъ единства, природа же—разнообразія, а человѣкъ подчиненъ обоимъ законодательствамъ. Законодательство разума запечатлѣно неподкупной совѣстью, законодательство природы—неистребимымъ чувствомъ. Если нравственный характеръ можетъ получить силу лишь благодаря тому, что естественный принесенъ ему въ жертву, то это свидѣтельствуетъ о недостаточности образованія, и весьма несовершенно то государственное устройство, которое можетъ добиться единства лишь принесеніемъ въ жертву разнообразія. Государство должно уважать въ индивидѣ не только объективный и родовой его характеръ, но и субъективный и специфическій, и распространяя незримое господство нравственности, государство не должно опустошать царства явленій. Механикъ, беря въ руки безформенный матерьялъ, не останавливается передъ насиліемъ надъ нимъ, дабы придать ему форму, соотвѣтственную своей цѣли, ибо природа, которую онъ отдѣлываетъ, сама по себѣ не заслуживаетъ уваженія, и онъ не заботится о цѣломъ ради частей, а напротивъ—о частяхъ ради цѣлаго. Художникъ, приступая къ обработкѣ того же матерьяла, также мало останавливается передъ насиліемъ надъ нимъ, онъ только избѣгаетъ выставлять это насиліе на-показъ: матерьялъ, который онъ обрабатываетъ, онъ уважаетъ столь же мало, сколь и механикъ; художникъ только постарается обмануть кажущейся уступчивостью глазъ, который оберегаетъ свободу этого матерьяла. Совсѣмъ иное дѣло съ художникомъ-педагогомъ или политикомъ, который въ одно и то же время въ человѣкѣ имѣетъ какъ свой матерьялъ, такъ и свою задачу. Здѣсь цѣль возвращается въ матерьялъ, и только потому части могутъ подчиниться цѣлому, что цѣлое служитъ частямъ. Уваженіе, съ которымъ государственный мужъ касается своего матерьяла, должно быть совершенно инымъ, чѣмъ то, съ которымъ художникъ относится къ своему матерьялу; первый долженъ щадить особенность и личность объективно и по ихъ внутреннему существу, а не только субъективно и ради ложной показности чувствъ.

Но именно потому, что государство должно быть организаціей, которая образуется сама по себѣ и сама для себя, именно поэтому оно можетъ стать дѣйствительнымъ лишь поскольку части разовьются до идеи цѣлаго. Такъ какъ государство служитъ представителемъ чистой и объективной человѣчности въ сердцахъ

*) Я ссылаюсь здѣсь на недавно появившееся сочиненіе моего друга Фихте: «О назначеніи ученаго», въ которомъ читатель найдетъ чрезвычайно ясный выводъ этого положенія, котораго на этомъ пути еще никто не искалъ.

своихъ гражданъ, то государство должно относиться къ своимъ гражданамъ такъ, какъ они сами къ себѣ относятся, и можетъ уважать лишь въ той мѣрѣ ихъ субъективную человѣчность, въ какой она объективно облагородилась. Если внутренне человѣкъ согласенъ самъ съ собою, тогда онъ и при полнѣйшемъ обобщеніи своего поведенія сохранитъ свою своеобразность, и государство станетъ лишь выразителемъ его добрыхъ инстинктовъ, ясной формулой его внутренней закономѣрности. Если же, напротивъ того, въ характерѣ извѣстнаго народа субъективный человѣкъ еще настолько противорѣчитъ объективному, что только подавленіемъ перваго можно доставить второму побѣду, тогда и государство выскажетъ по отношенію къ гражданамъ суровую строгость закона, и чтобы не сдѣлаться жертвою ихъ, должно будетъ безъ уваженія раздавить враждебную индивидуальность.

Человѣкъ можетъ двоякимъ образомъ находить въ себѣ раздвоеніе или какъ дикарь—когда его чувства господствуютъ надъ его принципами, или какъ варваръ—когда его принципы уничтожаютъ его чувства. Дикарь презираетъ искусство и природу признаетъ за неограниченнаго владыку надъ собой. Варваръ презираетъ и безчеститъ природу, но, болѣе презрѣнный, чѣмъ дикарь, онъ часто оказывается рабомъ своего раба. Образованный человѣкъ создаетъ себѣ изъ природы друга, уважаетъ ея свободу, обуздывая лишь ея произволъ.

Итакъ, разумъ, внося въ физическое общество свое единство, не долженъ касаться разнообразія природы; природа же, желая сохранить разнообразіе въ нравственномъ строеніи общества, не должна тѣмъ самымъ наносить ущерба нравственному единству. Побѣдоносная форма одинаково далека какъ отъ однообразія, такъ и отъ безпорядка. Итакъ цѣльность характера должна быть въ народѣ, который пожелалъ бы промѣнять государство необходимости на государство свободы.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Таковъ-ли характеръ, представляемый нынѣшнимъ вѣкомъ и теперешними событіями? Обращаю свое вниманіе тотчасъ на самый выдающійся предметъ въ этой обширной картинѣ.

Правда, мнѣніе потеряло свое обаяніе, произволъ обличенъ, и, хотя онъ еще и облеченъ властью, всежъ ему не удается снискать себѣ уваженія; человѣкъ пробудился отъ долгой своей лѣни и самообмана, и упорное большинство голосовъ требуетъ возстановленія своихъ неотъемлемыхъ правъ. Однако онъ не только требуетъ ихъ. По сю и ту сторону онъ возсталъ, чтобы насильно взять то, въ чемъ, по его мнѣнію, ему несправедливо отказываютъ. Зданіе естественнаго государства колеблется, его прогнившій фундаментъ осѣдаетъ, и, кажется, дана физическая возможность возвести законъ на тронъ, уважать человѣка какъ цѣль саму по себѣ и сдѣлать истинную свободу основой политическаго союза. Напрасныя надежды! Не хватаетъ моральной возможности, и щедрый мигъ встрѣчаетъ невоспріимчивое поколѣніе.

Человѣкъ отражается въ своихъ поступкахъ; какой же обликъ является въ драмѣ нынѣшняго времени? Здѣсь одичаніе, тамъ разслабленіе: двѣ крайности человѣческаго упадка, и обѣ соединены въ одномъ промежуткѣ времени.

Въ низшихъ и многочисленныхъ классахъ мы встрѣчаемся съ грубыми и беззаконными стремленіями, которыя, будучи разнузданы ослабленіемъ оковъ гражданскаго порядка, спѣшатъ съ неугомонной яростью къ животному удовлетворенію. Можетъ быть, объективное человѣчество и имѣло основаніе къ жалобамъ на государство, но субъективное должно уважать его учрежденія. Развѣ можно бранить государство за то, что оно пренебрегло достоинствомъ человѣческой природы, когда нужно было защитить самое существованіе ея; что государство поторопилось разъединить, пользуясь силой притяженія, соединить, пользуясь силой сцѣпленія, когда нельзя еще было думать объ организующей силѣ.

Разложеніе государства представляетъ его же оправданіе. Разнузданное общество ниспадаетъ въ царство элементарныхъ силъ, вмѣсто того чтобы стремиться вверхъ къ органической жизни.

Съ другой стороны, цивилизованные классы представляютъ намъ еще болѣе отвратительное зрѣлище разслабленія и порчи характера, которыя возмутительны тѣмъ болѣе, что источникомъ ихъ является сама культура. Я не помню, какой древній или новый философъ сдѣлалъ замѣчаніе, что благороднѣйшее при разложеніи является отвратительнѣйшимъ; но справедливость этого замѣчанія оправдывается въ области

нравственности. Дитя природы, сбросивъ оковы, становится неистовымъ, питомецъ искусства—становится негодяемъ. Просвѣщеніе разсудка, которымъ не совсѣмъ безъ основанія хвалятся высшія сословія, въ общемъ мало облагораживаетъ убѣжденія, и, можетъ быть, порочность, благодаря ему, оправдывается. Мы отрекаемся отъ природы въ ея закономѣрномъ полѣ дѣйствія, дабы почувствовать ея тираннію въ нравственномъ и, противодѣйствуя ея вліянію, мы заимствуемъ въ тоже время ея принципы. Притворное приличіе нашихъ нравовъ отказываетъ природѣ въ простительномъ первенствѣ, дабы въ нашей матерьялистической этикѣ признать за природой рѣшающій, послѣдній голосъ. Эгоизмъ построилъ свою систему среди самаго утонченнаго общества и, хотя мы и не приносимъ съ собою общительнаго сердца, мы все жъ испытываемъ всю заразу и всѣ невзгоды общества: свободное свое сужденіе мы подчиняемъ его деспотическому мнѣнію, наше чувство—его страннымъ обычаямъ, нашу волю—его соблазнамъ и только лишь оберегаемъ свой произволъ отъ священныхъ правъ общества. Сердце свѣтскаго человѣка сохнетъ въ гордомъ самодовлѣніи, между тѣмъ какъ человѣкъ природы еще доступенъ симпатіи, и каждый стремится спасти свой жалкій скарбъ изъ разореннаго пылающаго города. Думаютъ, что только при полномъ отреченіи отъ чувствительности можно избѣгнуть ея заблужденій, и насмѣшки, которыя часто съ пользою бичуютъ мечтателя, также мало щадятъ благороднѣйшее чувство, выставляя его на поруганіе. Культура не только не освобождаетъ насъ, но, напротивъ, развиваетъ въ насъ и новыя потребности, соотвѣтствующія новымъ силамъ. Физическія оковы связываютъ насъ все сильнѣе и сильнѣе, боязнь потери уничтожаетъ даже пламенное стремленіе къ совершенствованію, и правило страдательнаго повиновенія получаетъ значеніе высочайшей жизненной мудрости. Итакъ, духъ времени колеблется между извращенностью и дикостью; между тѣмъ, что противоестественно, и тѣмъ, что только естественно; между суевѣріемъ и нравственнымъ невѣріемъ, и только равновѣсіе зла иногда опредѣляетъ его границы.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Но можетъ быть я изобразилъ нашъ вѣкъ въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ? Этого упрека я не ожидаю, а скорѣе другого: что я доказалъ слишкомъ многое. Вы скажете, что эта картина имѣетъ сходство съ нынѣшнимъ человѣчествомъ, но она примѣнима вообще ко всѣмъ народамъ, захваченнымъ культурою, ибо всѣ отпадаютъ отъ природы благодаря умствованію, прежде чѣмъ разумъ вернетъ ихъ къ ней.

Однако, при нѣкоторомъ вниманіи къ характеру времени, насъ долженъ поразить контрастъ между теперешней формой человѣчества и прежней, въ особенности греческой. Слава образованности и утонченности, которой мы по справедливости гордимся въ противоположность простой природѣ, исчезаетъ въ сравненіи съ природой грековъ, въ которой сочетались всѣ прелести искусства съ достоинствомъ мудрости, не ставъ при этомъ жертвой, какъ это случилось съ нами, послѣдней. Греки не только превосходятъ насъ простотой, которая чужда нашему вѣку; они въ то же время являются нашими соперниками, часто даже нашими образцами, именно въ тѣхъ качествахъ, въ которыхъ мы находимъ утѣшеніе, глядя на противуестественность нашихъ нравовъ. Греки соединяютъ фантазію юноши съ разумомъ мужа, обладая въ одно и то же время формою и богатствомъ, философіей и образованіемъ, нѣжностью и энергіей.

Въ тѣ времена, при прекрасномъ пробужденіи духовныхъ силъ, чувства и разумъ еще не владѣли строго разграниченными областями; ссора не озлобила еще ихъ и не заставила враждебно опредѣлить границы одного по отношенію къ другому. Поэзія еще не вступила въ незаконный союзъ съ остроуміемъ, и умозрѣніе еще не опозорило себя хитросплетеніями. Первая могла въ случаѣ нужды обмѣняться обязанностями и со вторымъ, ибо каждая по своему чтила истину. Какъ бы высоко разумъ ни подымался, онъ любовно возвышалъ къ себѣ матерію, и какъ бы тонко и остро разумъ ни раздѣлялъ, онъ никогда не калѣчилъ. Онъ расчленялъ человѣческую природу и, увеличивъ части, распредѣлялъ ихъ по сонму прекрасныхъ боговъ, но разумъ не разрывалъ человѣческой природы на части, а лишь только многоразличнымъ образомъ перемѣшивалъ ихъ такъ, что въ каждомъ богѣ присутствовало все человѣчество. Совсѣмъ другое дѣло у современныхъ людей! И у насъ изображеніе рода увеличено и расчленено въ индивидахъ; однако это

сдѣлано отрывочно, не въ измѣненныхъ смѣшеніяхъ, такъ что цѣльности рода можно достигнуть лишь ознакомившись съ рядомъ отдѣльныхъ индивидовъ. Можно, мнѣ кажется, утверждать, что въ опытѣ у насъ духовныя силы проявляются въ такомъ же разобщеніи, въ какомъ представляетъ ихъ психологъ, и мы не только видимъ отдѣльныхъ субъектовъ, но и цѣлые классы людей, въ коихъ развита только часть ихъ способностей, въ то время какъ въ другихъ, какъ въ засохшихъ растеніяхъ, можно найти лишь слабый на нихъ намекъ.

Я ясно вижу преимущества, которыя нынѣшнее поколѣніе, разсматриваемое какъ единое цѣлое, имѣетъ на вѣсахъ разсудка предъ лучшими мужами прошлаго. Однако состязаніе должно начаться сомкнутыми рядами, и цѣлое должно быть сравниваемо съ цѣлымъ. Кто же изъ новыхъ выступитъ впередъ, дабы сразиться одинъ на одинъ на призъ человѣчества съ какимъ-либо аѳинянином? Откуда же это невыгодное отношеніе индивидовъ при выгодахъ цѣлаго рода? Почему каждый отдѣльный аѳинянинъ могъ служить представителемъ своего времени, а отдѣльный современный человѣкъ не можетъ служить этой цѣли? Потому что тѣмъ придавала форму все соединяющая природа, а этимъ—все разъединяющій разсудокъ.

Сама культура нанесла новому человѣчеству эту рану. Какъ только сдѣлалось необходимымъ, благодаря расширившемуся опыту и болѣе опредѣленному мышленію, съ одной стороны болѣе отчетливое раздѣленіе наукъ, а съ другой запутанный государственный механизмъ потребовалъ болѣе строгаго раздѣленія сословій, тотчасъ порвался внутренній союзъ человѣческой природы, и пагубное состязаніе раздвоило гармоничныя силы. Созерцательный разсудокъ и умозрительный разсудокъ, настроенныевраждебно, разграничили поле своей дѣятельности и стали подозрительно и ревниво оберегать свои границы, а, вмѣстѣ съ ограниченіемъ сферы дѣятельности, чувства и разсудокъ нашли въ самихъ себѣ господина, который нерѣдко подавлялъ всѣ остальныя способности: подобно тому какъ въ одномъ случаѣ расточительнаяфантазія опустошаетъ кропотливыя насажденія разсудка, такъ въ другомъ духъ абстракціи пожираетъ то пламя, около котораго могло бы согрѣться сердце и воспламениться фантазія.

Эта разшатанность, которая началась внутри человѣка благодаря искусству и ученности, сдѣлалась благодаря новому духу правительства совершенной и всеобщей. Конечно, нельзя было ожидать, что простота нравовъ и отношеній первыхъ республикъ переживетъ ихъ, однако, вмѣсто того, чтобы подняться до болѣе высокой органической жизни, она ниспала до простого и грубаго механизма. Природа полиповъ, свойственная греческимъ государствамъ, въ которыхъ каждый индивидъ наслаждался независимою жизнью, а когда наступала необходимость, сливался съ цѣлымъ, теперь уступила мѣсто искусному часовому механизму, въ которомъ изъ соединенія множества безжизненныхъ частей возникаетъ въ цѣломъ механическая жизнь. Теперь оказались разобщенными государство и церковь, законы и нравы; наслажденіе отдѣлилось отъ работы, средство отъ цѣли, усиліе отъ награды. Будучи вѣчно прикованнымъ къ отдѣльному малому кусочку цѣлаго, самъ человѣкъ становится кускомъ. Слыша вѣчно однообразный шумъ колеса, которое онъ приводитъ въ движеніе, человѣкъ не способенъ развить гармоніи своего существа и, вмѣсто того чтобы выразить человѣчность своей природы, онъ становится лишь отпечаткомъ своего занятія, своей науки. Однако и это скромное и отрывочное участіе отдѣльныхъ частей въ цѣломъ не зависитъ отъ формъ, которыя онѣ создаютъ сами, — ибо, какъ можно довѣрить ихъ свободѣ такой искусный и хрупкій механизмъ—а предписывается имъ съ совѣстливой строгостью канономъ, которымъ связывается ихъ свободное разумѣніе. Мертвая буква замѣщаетъ живой разсудокъ, и развитая память служитъ лучшимъ руководителемъ, чѣмъ геній и чувство.

Можемъ ли мы удивляться пренебреженію, съ которымъ относятся къ нѣкоторымъ душевнымъ способностямъ, если общество дѣлаетъ должность мѣриломъ человѣка, если оно чтитъ въ одномъ изъ своихъ гражданъ лишь память, въ другомъ лишь разсудокъ, способный къ счету, въ третьемъ лишь механическую ловкость; если оно въ этомъ ищетъ лишь знанія, будучи равнодушнымъ къ характеру, другому прощаетъ величайшее омраченіе разсудка ради духа порядка и законнаго образа дѣйствій; если оно стремится въ такой же мѣрѣ къ грубой интенсивности отдѣльнаго умѣнія въ субъектѣ, въ какой оно снисходительно къ экстенсивности— и все это ради того, чтобы возростить единственно ту способность, которую оно чтитъ и награждаетъ. Конечно, мы знаемъ, что

сильный геній не ограничиваетъ круга своей дѣятельности профессіей, но посредственный талантъ отдаетъ тому занятію, которое досталось ему въ удѣлъ, всю скромную сумму своей силы, и только необыкновенная голова можетъ, безъ ущерба для своей профессіи, предаваться тому, что ей нравится. Сверхъ того, дурная рекомендація въ глазахъ государства, если силы превышаютъ данное порученіе или если высшія духовныя потребности талантливаго человѣка соперничаютъ съ его должностью. Государство столь ревниво слѣдитъ за тѣмъ, чтобы слуги его были его полной собственностью, что оно охотнѣе согласится раздѣлять своего служителя съ Венерой-Киѳереей,чѣмъсъВенерой-Ураніей, —и кто можетъ въ этомъ упрекнуть государство?

Такимъ-то образомъ постепенно уничтожается отдѣльная конкретная жизнь,дабы отвлеченное цѣлое могло бы поддержать свое скудное существованіе, и государство вѣчно остается чуждымъ своимъ гражданамъ, ибо чувство нигдѣ его не можетъ найти. Господствующая часть подъ конецъ совершенно теряетъ изъ виду разнообразіе гражданъ, ибо она принуждена, ради удобства, классифицировать ихъ и имѣетъ дѣло съ людьми только какъ съ представителями, такъ сказать, получать ихъ изъ вторыхъ рукъ, т. е. смѣшивать людей съ простымъ произведеніемъ разсудка. И управляемый долженъ смотрѣть съ холодностью на законы, которые относятся къ нему, какъ къ человѣку, лишь въ самой малой мѣрѣ. Въ концѣ концовъ общество, пресыщенное тѣмъ, что ему приходится поддерживать союзъ, который государство нисколько не облегчаетъ, впадаетъ въ нравственно-естественное состояніе (такова уже давно судьба большинства европейскихъ государствъ), въ которомъ власть есть только партія, ненавистная и обманываемая тѣми, для кого она является необходимою, и уважаемая лишь тѣми, кто можетъ обойтись безъ нея.

Могло-ли человѣчество пойти по иному пути, чѣмъ по тому, по которому оно въ дѣйствительности пошло, если принять въ разсчетъ эту двойную силу, которая давила на него снаружи и изнутри? Духъ умозрѣнія стремился въ мірѣ идей къ вѣчнымъ пріобрѣтеніямъ, но въ это время онъ сталъ чуждымъ чувственному міру и потерялъ содержаніе ради формы. Духъ практической дѣятельности, ограниченной однообразнымъ кругомъ объектовъ, а еще болѣе формулами, долженъ былъ потерять изъ виду свободное цѣлое и оскудѣть вмѣстѣ со своей сферою. Подобно тому, какъ духъ умозрѣнія пытается дѣйствительности придать формы мыслимаго и субъективнымъ условіямъ силы своего представленія—значеніе конститутивныхъ законовъбытіяпредметовъ, такъ духъ практики кидается въ противоположную крайность, т. е. оцѣниваетъ всякій опытъ по одному лишь отрывку опыта и стремится приспособить правила своей дѣятельности ко всякой дѣятельности безъ различія. Первый сталъ жертвою пустой изощренности, второй—педантичной ограниченности, ибо первый слишкомъ возвышался надъ единичнымъ, второй же стоялъ ниже уровня цѣлаго.Но вредъ этого направленія духа оказался не только въ сферѣ знанія и практики, онъ былъ не менѣе замѣтенъ и на чувствахъ и дѣйствіяхъ. Мы знаемъ, что степень воспріимчивости духа зависитъ отъ живости, а объемъ—отъ богатства воображенія. Но перевѣсъ аналитической способности по необходимости лишитъ воображеніеего силы и огня, а ея богатство пострадаетъ отъ ограниченной сферы объектовъ. Отвлеченный мыслитель потому обладаетъ весьма часто холоднымъ сердцемъ, что онъ расчленяетъ впечатлѣнія, которыя способны тронуть душу только въ ихъ цѣлостности. У практика очень часто узкое сердце, ибо его воображеніе, заключенное въ однообразной сферѣ его занятій, не можетъ приспособиться къ чужому способу представленія.

Мнѣ нужно было, по пути моего изслѣдованія, раскрыть вредное направленіе современности и указать его источники, не указывая на тѣ выгоды, которыми природа возмѣщаетъ вредъ. Я охотно, однако, признаюсь Вамъ, что родъ никакимъ инымъ путемъ не могъ совершенствоваться въ то время, какъ индивидъ, при этомъ раздробленіи, долженъ былъ страдать. Грекъ представлялъ собою, безспорно, высшую точку развитія, на которой человѣчество не могло удержаться, надъ которой оно не могло возвыситься: не могло удержаться, ибо разсудокъ, съ накопившимся запасомъ знаній, неизбѣжно долженъ былъ отдѣлиться отъ воспріятія и созерцанія и стремиться къ ясности пониманія; но человѣчество не могло и подняться выше, ибо толькоопредѣленная степень ясности можетъсуществовать съ опредѣленнымъ изобиліемъ тепла.Греки

достигли этой ступени, и еслибъ они желали подняться на высшую степень развитія, то имъ пришлось бы, какъ намъ, отказаться отъ цѣльности своего существа и преслѣдовать истину по различнымъ путямъ.

Не было другого средства къ развитію разнообразныхъ способностей человѣка, какъ ихъ разобщеніе. Антагонизмъ силъ представляетъ собой великое средство культуры, но только лишь средство, ибо, пока антагонизмъ существуетъ, человѣкъ находится лишь на пути къ культурѣ. Только благодаря тому, что отдѣльныя силы въ человѣкѣ обособляются и присваиваютъ себѣ исключительное право на законодательство, онѣ впадаютъ въ противорѣчіе съ предметной истиной и заставляютъ общее чувство, которое обыкновенно лѣниво довольствуется лишь внѣшностью явленія, проникать въ глубину объектовъ. Чистый разсудокъ присваиваетъ себѣ авторитетъ въ мірѣ чувствъ, а эмпирическій стремится къ тому, чтобы подчинить первый условіямъ опыта; обѣ способности такимъ образомъ развиваются до полной зрѣлости и исчерпываютъ весь кругъ своихъ сферъ. Воображеніе осмѣливается расчленить произвольно міровой порядокъ, но именно это заставляетъ разумъ подняться къ высшимъ источникамъ познанія и призвать на помощь противъ воображенія законъ необходимости.

Индивидъ одностороннимъ пользованіемъ силъ придетъ неизбѣжно къ заблужденіямъ, но родъ—къ истинѣ. Мы придаемъ единичной силѣ какъ бы крылья и искусственно выводимъ ее далеко за предѣлы, которые какъ бы положены ей природою, только тѣмъ, что всю энергію своего духа сосредоточиваемъ на одной точкѣ и стягиваемъ все наше существо въ эту одну силу. Несомнѣнно, что всѣ люди, въ отдѣльности взятые, со всей ихъ силою зрѣнія, дарованною природою, никогда бы не достигли того, чтобы усмотрѣть спутника Юпитера, котораго открываетъ телескопъ астронома; точно также несомнѣнно, что человѣческая мысль никогда не установила бы анализа безконечнаго или критики чистаго разума безъ того, чтобы разумъ обособился бы въ отдѣльныхъ избранныхъ субъектахъ, отдѣлился бы отъ всякаго вещества и самымъ упорнымъ отвлеченіемъ обострилъ бы свой взоръ къ воспріятію безусловнаго. Но способенъ-ли такой духъ, растворенный какъ бы въ чистомъ разсудкѣ и въ чистомъ созерцаніи, къ замѣнѣ строгихъ оковъ логики свободнымъ ходомъ поэтическаго творчества и къ точному и цѣломудренному воспріятію вещей. Здѣсь природа ставитъ границы даже универсальному генію, которыхъ ему не перейти, и истина до тѣхъ поръ будетъ имѣть своихъ мучениковъ, пока философія будетъ усматривать свою главнѣйшую задачу въ томъ, чтобы искать способовъ избѣгнуть заблужденій.

Сколько бы ни выигрывалъ міръ какъ цѣлое отъ раздѣльнаго развитія человѣческихъ силъ, все же нельзя отрицать того, что индивидъ страдаетъ подъгнетомъ міровой цѣли. Гимнастическія упражненія создаютъ атлетическое тѣло, но красота создается лишь свободною и равномѣрной игрою членовъ. Точно также напряженіе отдѣльныхъ духовныхъ силъ можетъ создавать чрезвычайныхъ людей, но только равномѣрная температура создаетъ счастливыхъ и совершенныхъ. И въ какомъ отношеніи находились бы мы къ прошлымъ и будущимъ міровымъ эпохамъ, если-бы развитіе человѣческой природы требовало подобныхъ жертвъ? Мы были бы рабами человѣчества, мы въ теченіе нѣсколькихъ тысячелѣтій несли бы ради него трудъ рабовъ, и на нашей исковерканной природѣ запечатлѣлись бы постыдные слѣды этой службы,— дабы позднѣйшія поколѣнія могли заботиться въ блаженной праздности о своемъ нравственномъ здоровьѣ и могла свободно расти и развиваться человѣчность!

Неужели же назначеніе человѣка состоитъ въ томъ, чтобы ради извѣстной цѣли пренебречь самимъ собою? Неужели же природа отнимаетъ ради своихъ цѣлей у насъ совершенство, которое предписывается намъ природою разума? Итакъ, невѣрно, что развитіе отдѣльныхъ силъ должно влечь за собой пожертвованіе цѣлостности, или же, сколько бы законы природы къ этому ни стремились, все-жъ должно находиться въ нашей власти возстановленіе этой, уничтоженной искусствомъ, цѣлостности нашей природы, при помощи искусства еще болѣе высокаго.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Можетъ быть отъ государства можно ждать такого дѣйствія? Это невозможно, ибо государство, какъ оно нынѣ устроено, само вызвало это зло, и государство, какъ оно представляется въ идеѣ разума, должно само быть основано на этомъ лучшемъ человѣчествѣ, вмѣсто того, чтобы способ-

ствовать его созиданію. И вотъ мои изслѣдованія вновь привели меня къ той точкѣ, отъ которой они меня на время отдалили. Нынѣшнее время представляетъ намъ прямую противоположность той формѣ человѣчества, необходимость коей, какъ условія нравственнаго совершенствованія государственнаго управленія, показана нами. Итакъ, если выставленныя мною положенія правильны и опытъ подтвердитъ нарисованную мною картину современности, то всякую попытку измѣненія въ подобномъ духѣ государства нужно будетъ дотолѣ признать несвоевременною и всякую надежду химеричною, доколѣ не будетъ уничтожено раздѣленіе внутри человѣка и развитіе его природы не сдѣлается достаточнымъ для того, чтобы самой природѣ стать художникомъ и тѣмъ гарантировать реальность политическому идеалу, созданному разумомъ.

Природа предписываетъ намъ въ ея физическомъ твореніи тотъ путь, котораго мы должны держаться въ нравственномъ. Борьба элементарныхъ силъ въ низшихъ организаціяхъ должна быть окончена, для того чтобы природа могла возвыситься до благороднаго творчества физическаго человѣка. Точно также борьба элементовъ въ этической природѣ человѣка, столкновеніе слѣпыхъ стремленій, должно успокоиться, грубая противоположность въ немъ должна прекратиться, прежде чѣмъ можно отважиться на покровительство разнообразію. Съ другой стороны, прежде чѣмъ подчинять разнообразіе единству идеала, нужно, чтобы укрѣпилась самостоятельность характера и чтобы покорность чужой деспотической формѣ уступила бы мѣсто достойной свободѣ. Пока человѣкъ природы злоупотребляетъ беззаконно произволомъ, ему нельзя даже показывать свободы; нельзя лишать человѣка искусства его произвола, пока онъ такъ мало пользуется своей свободой. Даръ либеральныхъ принциповъ становится измѣною относительно цѣлаго, если онъ присоединяется къ силѣ, находящейся въ броженіи, и усиливаетъ тѣмъ самымъ природу и безъ того чрезвычайно могущественную. Законъ согласія становится тиранніей по отношенію къ индивиду, ежели онъ соединяется съ господствующимъ безсиліемъ и физическимъ ограниченіемъ и такимъ путемъ уничтожаетъ послѣднюю тлѣющую искру самодѣятельности и самобытности.

Итакъ, характеръ времени долженъ подняться изъ своего глубокаго униженія, избавиться съ одной стороны отъ слѣпого насилія природы, съ другой—возвратиться къ ея простотѣ, истинѣ и изобилію; задача—болѣе чѣмъ на одно столѣтіе. Между тѣмъ, я это охотно признаю, нѣкоторые опыты могутъ удасться въ частностяхъ, но въ цѣломъ это не улучшитъ положенія и поведеніе всегда будетъ противорѣчить единству правилъ. Въ другихъ странахъ свѣта начнутъ чтить человѣка въ негрѣ, а въ Европѣ станутъ позорить его въ мыслителѣ. Старые принципы останутся, они лишь будутъ носить покровъ времени, и философія одолжитъ свое имя порабощенію, которое прежде прикрывалось авторитетомъ церкви. Испуганные свободой, которая въ первыхъ своихъ попыткахъ всегда заявляетъ свою враждебность, здѣсь бросятся въ объятія удобному рабству, тамъ же, доведенные до отчаянія педантичною опекою, вновь возникнетъ дикая беззастѣнчивость естественнаго состоянія. Узурпація сошлется на слабость человѣческой природы, возмущеніе—на достоинство ея, пока не вступится великій господинъ людскихъ дѣлишекъ, слѣпая сила, и не разрѣшитъ кажущагося спора принциповъ простымъ кулачнымъ боемъ.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Такъ неужели же философіи слѣдуетъ малодушно и безнадежно удалиться съ этого поприща? Должно ли быть предоставлено безформенному случаю самое важное благо, въ то время какъ господство формъ распространяется во всѣхъ другихъ направленіяхъ. Должна ли вѣчно продолжаться борьба слѣпыхъ силъ въ политическомъ мірѣ? Неужели же общественный законъ никогда не побѣдитъ враждебное себялюбіе? Нѣтъ. Правда, разумъ не начнетъ непосредственной борьбы съ этой грубой силой, которая противустоитъ его оружію и такъ же мало появится самодѣятельно на мрачной аренѣ, какъ сынъ Сатурна въ Иліадѣ. Но разумъ выберетъ изъ среды борцевъ достойнѣйшаго, вооружитъ его, какъ Зевсъ своего внука, божественнымъ оружіемъ и его побѣдоносной мощью вызоветъ рѣшеніе.

Разумъ достигъ всего, чего могъ достичь, найдя законъ и высказавъ его. Выполненіе закона принадлежитъ бодрой волѣ и живому чувству. Если истина должна побѣдить въ борьбѣ съ силою, то сама истина ранѣе должна стать силою и выставить въ мірѣ явленій, въ качествѣ своего

адвоката, стремленіе, ибо стремленія суть единственныя движущія силы въ мірѣ чувствъ. Если истина до сихъ поръ еще такъ мало доказала свою побѣдную силу, то это зависитъ не отъ разсудка, который не съумѣлъ снять съ нея покрова, но отъ сердца, которое затворялось предъ нею, и отъ стремленія, которое не дѣйствовало въ ея интересахъ.

Ибо, какъ объяснить столь всеобщее господство предразсудка и это затемненіе умовъ при свѣтѣ, который былъ распространяемъ философіей и опытомъ. Современность достаточно просвѣщенна, т. е. знаніе найдено и провозглашено во всеобщее свѣдѣніе, а его было бы достаточно, чтобы исправить по крайней мѣрѣ наши практическія основоположенія. Духъ свободнаго изслѣдованія разсѣялъ пустые призраки, которые долгое время заслоняли доступъ къ истинѣ, и почва, на которой фанатизмъ и обманъ воздвигли себѣ тронъ, подкопана. Разумъ очистился отъ обмановъ чувствъ и отъ лживой софистики, и сама философія, которая сначала заставила насъ отпасть отъ природы, теперь громко и настойчиво призываетъ насъ въ ея лоно, — отчего же мы все еще варвары?

Итакъ, если причина не въ вещахъ, то должно быть нѣчто въ душѣ человѣка, что препятствуетъ воспріятію истины, какъ бы сильно она ни свѣтила, и признанію ея, какъ бы живо она себя ни доказывала. Одинъ древній это чувствовалъ и скрылъ это въ многозначительномъ изреченіи: sapere aude.

Найди въ себѣ смѣлость стать мудрецомъ. Необходима энергія въ мужествѣ, дабы преодолѣть преграды, которыя противуставляются пріобрѣтенію знанія какъ природною лѣнью, такъ и трусостью сердца. Древній миѳъ, заставляющій богиню мудрости выскочить въ полномъ вооруженіи изъ головы Юпитера, имѣетъ глубокій смыслъ; ибо первое же дѣйствіе ея имѣетъ воинственный характеръ. Уже при самомъ рожденіи она должна вынести тяжелую борьбу съ чувствами, которыя не желаютъ отказаться отъ сладкаго покоя. Большинство людей слишкомъ утомлено и изнурено борьбой съ нуждою, чтобы собраться съ силами для новой и болѣе тяжелой борьбы съ заблужденіями. Довольный тѣмъ, что избавился отъ непріятной необходимости мыслить, человѣкъ предоставляетъ другимъ право опеки надъ своими понятіями, и если въ немъ заговорятъ болѣе высокія потребности, то онъ, жаждущій вѣры, хватается за формулы, заготовленныя на этотъ случай государствомъ и духовенствомъ. Эти несчастные люди заслуживаютъ нашего сожалѣнія, но мы по справедливости презираемъ другихъ, которыхъ благодѣтельная судьба освободила отъ ига нужды, собственный же выборъ вновь поработилъ ей. Они предпочитаютъ сумерки темныхъ понятій, вызывающихъ живое чувство, причемъ фантазія создаетъ по собственному желанію удобные образы, лучамъ истины, изгоняющимъ пріятные призраки ихъ сновидѣній. Они основали все зданіе своего благополучія на этихъ обманахъ, которые должны разсѣяться предъ враждебнымъ свѣтомъ познанія и имъ ли покупать дорогою цѣною истину, которая начинаетъ съ того, что отнимаетъ у нихъ все, что имѣетъ для нихъ цѣну. Чтобы полюбить мудрость, имъ раньше нужно быть уже мудрыми—истина, которую сознавалъ уже тотъ, кто далъ философіи ея имя.

Итакъ, всякое просвѣщеніе разсудка заслуживаетъ уваженія лишь постольку, поскольку оно отражается на характерѣ, но оно въ извѣстномъ смыслѣ и проистекаетъ изъ характера, ибо путь къ уму ведетъ черезъ сердце. Итакъ, самая настоятельная потребность времени—развитіе способности чувствовать; и это не только потому, чтобы сдѣлать дѣйствительнымъ лучшее пониманіе жизни, но и потому, что оно само побуждаетъ къ улучшенію пониманія.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ.

Но можетъ быть здѣсь заколдованный кругъ? Теоретическая культура должна вызвать практическую, а практическая въ то же время должна быть условіемъ теоретической? Всякое улучшеніе въ политической сферѣ должно исходить изъ облагороженнаго характера, но какъ же характеру облагородиться подъ вліяніемъ варварскаго государственнаго устройства? Ради этой цѣли нужно найти орудіе, котораго у государства нѣтъ, и открыть для этого источники, которые сохранили бы, при всей политической испорченности, свою ясность и прозрачность.

Теперь я достигъ той точки, къ которой были направлены всѣ мои предшествующія разсужденія. Это орудіе—искусство, этотъ источникъ открывается въ безсмертныхъ образцахъ искусства.

Искусство и наука отрѣшены отъ всего положительнаго и зависимаго отъ человѣческой условности, и оба наслаждаются без-

условной неприкосновенностью со стороны человѣческаго произвола. Политическій законодатель можетъ оцѣпить ихъ область, но господствовать въ ней онъ не можетъ. Онъ можетъ изгнать друзей истины, но истина превозможетъ; онъ можетъ унизить художника, но искусства поддѣлать онъ не въ состояніи. Правда, явленіе весьма обычное, что наука и искусство преклоняются предъ духомъ времени и что критическій вкусъ предписываетъ творческому законы. Гдѣ характеръ становится непреклоннымъ и твердымъ, тамъ наука строго оберегаетъ свои границы, и искусство руководится тяжкими оковами правилъ; гдѣ напротивъ характеръ становится слабымъ и дряблымъ, тамъ наука стремится къ тому, чтобы понравиться, и искусство къ тому, чтобы доставить наслажденіе. Въ теченіе цѣлыхъ столѣтій философы и художники работаютъ надъ тѣмъ, чтобы распространить среди грубаго человѣчества истину и красоту; первые гибнутъ, но истина и красота обнаруживаются побѣдоносно съ свойственной имъ несокрушимою жизненной силой. Художникъ, конечно, дитя вѣка, но горе ему, ежели онъ въ то же время и воспитанникъ или даже любимецъ его. Пусть благодѣтельное божество своевременно отторгнетъ младенца отъ груди матери, дабы вскормить его молокомъ лучшихъ временъ, и дастъ дозрѣть до совершенолѣтія подъ дальнимъ греческимъ небомъ. И послѣ того какъ онъ станетъ мужемъ, пусть онъ, въ образѣ чужого, вернется въ свое столѣтіе, но не для того, чтобы прельщать его своимъ появленіемъ, но ради того, чтобы, подобно сыну Агамемнона, очистить его. Содержаніе онъ, конечно, заимствуетъ изъ современности, но форму—изъ болѣе благороднаго времени, да, онъ возьметъ ее и внѣ всякаго времени изъ безусловнаго, неизмѣннаго единства своего существа. Здѣсь, изъ чистаго эѳира его демонической природы, льется источникъ красоты, незараженный испорченностью людей и временъ, которые кружатся глубоко подъ нимъ въ мутномъ водоворотѣ. Настроеніе можетъ опозорить содержаніе, точно такъ же, какъ и облагородить, но цѣломудренная форма независима отъ измѣненій настроенія. Римлянинъ перваго столѣтія уже давно преклонилъ колѣни предъ своими императорами, въ то время какъ статуи все еще стояли непреклонными. Храмы еще были священны для глазъ, когда боги давно уже служили посмѣшищемъ, и благородный стиль зданій, дававшій кровъ Нерону и Коммоду, стыдилъ мхъ позорныя дѣянія. Человѣчество лишилось своего достоинства, но искусство спасло его и сохранило въ полныхъ значенія камняхъ. Истина продолжаетъ жить въ обманѣ, и по копіямъ будетъ вновь возстановленъ первообразъ. Подобно тому, какъ благородное искусство переживаетъ благородную природу, точно такъ же оно предшествуетъ ей въ творческомъ и возбудительномъ восторгѣ. Прежде, чѣмъ истина успѣетъ послать свой побѣдный свѣтъ въ глубину сердца, поэзія уже подхватила ея лучи, и вершины человѣчества уже будутъ освѣщены, въ то время какъ влажная ночь еще покрываетъ долины.

Но какъ уберечься художнику отъ порочности своего времени, которая окружаетъ его со всѣхъ сторонъ? Презрѣніемъ его сужденія. Пусть онъ смотритъ вверхъ на свое достоинство и законъ, а не внизъ на счастье и потребности; пусть будетъ одинаково свободнымъ какъ отъ пустой суетности, которая охотно накладываетъ свою печать на мимолетный моментъ, такъ и отъ нетерпѣливой мечтательности, которая примѣняетъ къ блѣднымъ произведеніямъ времени масштабъ безусловнаго; пусть онъ разсудку предоставитъ сферу дѣйствительности, въ которой онъ властвуетъ. Художникъ пусть стремится къ созданію идеала изъ союза возможнаго съ необходимымъ. Пусть онъ создастъ идеалъ изъ показности и истины, запечатлѣетъ его въ игрѣ своей фантазіи и въ серьезной своей дѣятельности, пусть выразитъ во всѣхъ чувственныхъ и духовныхъ формахъ к молча броситъ въ безконечное время.

Но не всякому, въ душѣ коего горитъ этотъ идеалъ, дана возможность спокойнаго творчества и великій терпѣливый духъ, дабы втиснуть идеалъ въ молчаливый камень или вылить его въ трезвое слово и довѣрить вѣрнымъ рукамъ времени. Божественное творческое стремленіе, пренебрегая этимъ спокойнымъ средствомъ, бросается часто слишкомъ неистово, непосредственно на современность и дѣятельную жизнь и стремится преобразовать безформенное содержаніе нравственнаго міра. Несчастія человѣческаго рода настойчиво говорятъ душѣ чувствующаго человѣка, но еще настойчивѣе говоритъ его приниженіе. Возгарается энтузіазмъ, и пламенное желаніе въ сильныхъ душахъ нетерпѣливо стремится къ дѣятельности. Однако, спрашиваетъ-ли онъ себя о томъ, оскорбленъ-ли его разумъ этими безпорядками нравственнаго міра, или же они

причиняютъ болѣе страданіе его самолюбію? Если онъ этого еще не знаетъ, то познаетъ по тому рвенію, съ которымъ онъ будетъ настаивать на опредѣленныхъ и ускоренныхъ дѣйствіяхъ. Чистое нравственное стремленіе направлено на безусловное, для него нѣтъ времени, и будущее для него становится настоящимъ, если оно по необходимости должно развиться изъ настоящаго. Для разума, не признающаго границъ, начало есть уже довершеніе, и путь уже совершенъ, разъ на него вступили.

Итакъ, молодому любителю истины и красоты, желающему узнать отъ меня, какимъ путемъ ему найти удовлетвореніе благородному стремленію въ его груди, которому противится современность, я скажу: „Дай міру, на который ты вліяешь, направленіе къ добру, и спокойный ритмъ времени принесетъ уже дальнѣйшее развитіе. Это направленіе ты даешь времени, если ты, поучая, возвышаешь его мышленіе къ необходимому и вѣчному, если ты, въ своей дѣятельности и творчествѣ, превращаешь необходимое и вѣчное въ предметъ его стремленій. Зданіе бредней и произвола падетъ, оно должно пасть, оно уже пало, какъ только ты увѣренъ въ томъ, что оно пошатнулось, но оно должно поколебаться въ самомъ человѣкѣ, не только внѣ его. Воспитывай побѣдную истину въ стыдливой тиши своего духа и вынеси ее изъ себя въ видѣ красоты, дабы не только мысль преклонялась передъ ней, но и чувства охватывали-бы любовно ея явленіе. И не ранѣе вступай съ дѣйствительностью въ опасное знакомство, чѣмъ будешь увѣренъ въ идеальномъ содержаніи своего сердца, дабы не брать съ дѣйствительности образца, который ты ей долженъ дать.

„Живи съ своимъ вѣкомъ, но не будь его твореніемъ; служи своимъ современникамъ тѣмъ, въ чемъ они нуждаются, не тѣмъ, что они хвалятъ. Не раздѣляя съ ними ихъ вины, неси благородно и безропотно ихъ наказанія и свободно преклоняйся предъ игомъ, ибо имъ одинаково тягостно какъ переносить, такъ и быть лишенными его. Стойкимъ мужествомъ, съ которымъ ты отвергаешь ихъ счастье, ты докажешь имъ, что не по своей трусости ты подчиняешься ихъ страданіямъ. Представляй себѣ ихъ такими, какими они должны быть, если ты желаешь на нихъ вліять, но представляй себѣ ихъ такими, какіе они есть, если тебѣ придется дѣйствовать за нихъ. Одобренія ихъ ищи въ ихъ достоинствѣ, но счастья ихъ ищи лишь въ разсчетѣ на ихъ недостатки, такимъ путемъ твое благородство пробудитъ ихъ собственное, и цѣль твоя не будетъ уничтожена ихъ недостатками. Серьезность твоихъ принциповъ отторгнетъ ихъ отъ тебя, но въ игрѣ они способны еще перенести ее. Ихъ вкусъ цѣломудреннѣе ихъ сердца, и здѣсь то именно и долженъ ты схватить боязливаго бѣглеца; ты напрасно будешь нападать на ихъ правила, напрасно осуждать ихъ дѣйствія, но на ихъ праздности ты можешь еще испытать свою творческую руку. Изгони изъ ихъ наслажденій произволъ, легкомыслiе, грубость и такимъ путемъ ты незамѣтно изгонишь ихъ изъ ихъ дѣйствій и, наконецъ, изъ ихъ убѣжденій. Гдѣ бы ты ни встрѣтился съ ними, охвати ихъ благородными и полными ума формами, огороди ихъ отовсюду символами прекраснаго, пока наконецъ, показность не побѣдитъ дѣйствительность и искусство природу".

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

Итакъ, Вы согласны со мной и убѣдились изъ содержанія предшествующихъ моихъ писемъ, что человѣкъ можетъ удалиться отъ своего назначенія двумя противоположными путями, что нашъ вѣкъ дѣйствительно сбился съ пути и сталъ здѣсь жертвою грубости, тамъ—изнѣженности и испорченности. Красота должна вывести людей на истинный путь изъ этого двойного хаоса. Но какимъ образомъ культъ прекраснаго можетъ излечить одновременно отъ этихъ противоположныхъ пороковъ и соединить въ себѣ противоположныя качества? Развѣ можетъ она въ дикарѣ сковать природу, а въ варварѣ освободить ее? Развѣ она можетъ одновременно и напречь и ослабить,—а если она не въ состояніи сдѣлать того и другого, то какъ разумнымъ образомъ можно ждать отъ нея столь великаго слѣдствія, какъ преобразованіе человѣчества?

Правда, мы уже до пресыщенія слышали утвержденіе, что развитіе чувства красоты утончаетъ нравы, такъ что нѣтъ нужды въ новомъ доказательствѣ этого. Принято ссылаться на опытъ, что съ развитымъ вкусомъ обыкновенно сопряжены ясность ума, воспріимчивость чувства, обширный кругозоръ и даже достойное поведеніе, съ неразвитымъ чувствомъ—противоположное. Ссылаются съ достаточной увѣренностью на примѣръ самой культурной націи древ-

ности, въ которой чувство красоты достигло наивысшаго развитія, а также на противоположный примѣръ тѣхъ частью дикихъ, частью варварскихъ народовъ, которые платились за свою нечувствительность къ красотѣ тѣмъ, что имѣли грубый или же суровый характеръ. Однако мыслящимъ людямъ иногда приходитъ въ голову или отрицаніе самаго факта, или же отрицаніе правомѣрности заключеній, выводимыхъ изъ него. Они представляютъ себѣ эту дикость, которую ставятъ въ упрекъ необразованнымъ народамъ, не столь ужасной, и не столь выгодной ту утонченность, которую ставятъ въ заслугу образованнымъ. Уже въ древности находились люди, которые не считали благодѣяніемъ культъ прекраснаго и поэтому были очень склонны къ тому, чтобы запретить доступъ въ ихъ государство искусствамъ воображенія.

Я говорю не о тѣхъ, которые только потому бранили Грацій, что никогда не были ими обласканы. Какимъ образомъ могли бы тѣ оцѣнить тихую работу вкуса по отношенію къ внутреннему и внѣшнему человѣку и не обратить вниманія на существенныя выгоды культа прекраснаго, за ея случайными недочетами,—тѣ, которые не имѣютъ иного мѣрила цѣнности, кромѣ ощутительной пользы потраченнаго труда? Человѣкъ, не цѣнящій формы, презираетъ прелесть рѣчи, видя въ ней подкупъ, тонкое обращеніе, видя въ немъ притворство, деликатность и великодушіе въ поведеніи, видя въ нихъ лишь аффектацію. Онъ не можетъ простить любимцу Грацій, что онъ можетъ занять всякое общество, что, занявшись дѣломъ, онъ направитъ всѣ умы сообразно своимъ цѣлямъ, что, какъ писатель, онъ даетъ духовный обликъ своему столѣтію, между тѣмъ какъ первый, жертва прилежанія, не можетъ, при всемъ своемъ знаніи, возбудить вниманія, не можетъ сдвинуть съ мѣста камня. Такъ какъ первый не можетъ научиться геніальной тайнѣ быть пріятнымъ, то ему не остается ничего иного, какъ только оплакивать искаженную человѣческую природу, которая болѣе преклоняется предъ показностью, чѣмъ предъ сущностью.

Но раздаются и почтенные голоса, которые высказываются противъ вліянія красоты и, основываясь на опытѣ, вооружены противъ нея сильными доводами: „Нельзя отрицать“, говорятъ они, „что прелести красоты въ хорошихъ рукахъ могутъ вести къ похвальнымъ результатамъ; но не противорѣчитъ ея сущности, что, попавъ въ дурныя руки, онѣ произведутъ прямо противоположное и воспользуются на пользу заблужденія и неправды своею, покоряющей души, силою. Вкусъ обращаетъ вниманіе всегда лишь на форму, а не на содержаніе, именно по этому онъ придаетъ духу опасное направленіе, заставляя его пренебрегать вообще всякою реальностью и приносить въ жертву прелестной оболочкѣ— истину и нравственность. Дѣйствительныя различія предметовъ теряются, и одна показность опредѣляетъ ихъ цѣнность. Сколько способныхъ людей, продолжаютъ они, отвлекаются отъ серьезной и напряженной дѣятельности соблазнительною силою красоты, или по крайней мѣрѣ они занимаются первою лишь поверхностно. Сколько умовъ только потому пришло въ столкновеніе съ гражданскимъ устройствомъ, что фантазіи поэтовъ угодно было создать міръ, въ которомъ все обстоитъ иначе, гдѣ приличія не связываютъ мнѣній, гдѣ искусство не подчиняетъ себѣ природы.

Какую опасную діалектику пріобрѣли страсти съ тѣхъ поръ, какъ они красуются въ блестящихъ краскахъ въ изображеніяхъ поэтовъ и обыкновенно одерживаютъ верхъ въ борьбѣ съ законами и долгомъ! Какая польза обществу отъ того, что красота предписываетъ законы общенія, которымъ прежде управляла истина, и что внѣшнее впечатлѣніе опредѣляетъ почетъ, который долженъ былъ бы слѣдовать лишь за заслугою. Правда, теперь разцвѣли всѣ доблести, которыя способны вызвать пріятное впечатлѣніе внѣшности и придать цѣну въ обществѣ, но за то господствуетъ и полный развратъ и въ ходу всѣ пороки, которые уживаются съ красивой оболочкою“. Дѣйствительно, слѣдуетъ призадуматься надъ тѣмъ, что мы видимъ упадокъ человѣчества во всѣ эпохи исторіи, въ которыхъ процвѣтали искусства и господствовалъ вкусъ, и не можемъ привести ни одного примѣра, когда у народа высокая степень и большое распространеніе эстетической культуры шли бы рука объ руку съ политическою свободою и гражданскою доблестью, когда красота нравовъ уживалась бы съ добронравіемъ, а внѣшній лоскъ обращенія— съ истиною.

Пока Аѳины и Спарта пользовались еще независимостью и основою служило уваженіе предъ законами ихъ государственнаго устройства, до тѣхъ поръ вкусъ еще былъ незрѣлымъ, искусство находилось еще въ

младенческомъ состояніи, и красота далеко еще не господствовала надъ душами. Правда, поэзія уже поднялась высоко, но только еще на крыльяхъ генія, который, какъ извѣстно, близко граничитъ съ дикостью и представляетъ собой свѣтъ, мерцающій во тьмѣ, и, слѣдовательно, свидѣтельствуетъ скорѣе противъ вкуса своего времени, чѣмъ за него. Когда-же при Периклѣ и Александрѣ наступилъ золотой вѣкъ искусствъ, и господство вкуса сдѣлалось общимъ, тогда исчезли сила и свобода граціи; краснорѣчіе исказило истину, и мудрость въ устахъ Сократа стала казаться оскорбительной, подобно добродѣтельной жизни Фокіона. Мы знаемъ, что римляне сначала должны были потратить свои силы въ гражданской войнѣ и, лишенные мужества благодаря восточной роскоши, подчиниться игу счастливаго тирана, прежде чѣмъ греческое искусство восторжествовало надъ твердостью ихъ характера. И у арабовъ занялась заря культуры не ранѣе, чѣмъ энергія ихъ воинственнаго духа ослабла подъ скипетромъ Аббасидовъ. И въ новой Италіи не прежде появилось искусство, чѣмъ былъ расторгнутъ прекрасный ламбардскій союзъ, Флоренція съ Медичисами подчинена, и духъ независимости во всѣхъ мужественныхъ городахъ уступилъ мѣсто безславной покорности.

Почти излишне упоминать о примѣрѣ новыхъ народовъ, утонченность которыхъ возростала въ той же мѣрѣ, въ какой исчезала самостоятельность. Куда бы мы ни обратили своего взора въ міровое прошлое, мы всюду находимъ, что вкусъ и свобода бѣгутъ другъ отъ друга и что красота основываетъ свое господство лишь на гибели героическихъ доблестей.

И всетаки, именно эта энергія характера, цѣною которой обыкновенно покупается эстетическая культура, представляется наиболѣе дѣйствительной пружиной всего великаго и прекраснаго въ человѣкѣ, и она не можетъ быть замѣнена никакимъ другимъ преимуществомъ, какъ бы велико оно ни было. Итакъ, если руководиться только тѣмъ, чему предшествующій опытъ научилъ относительно вліянія красоты, то, конечно, нельзя найти достаточнаго поощренія къ тому, чтобы развивать чувства, которыя столь опасны истинной культурѣ человѣка, и мы охотнѣе, не взирая на опасность грубости и жестокости, откажемся отъ сладкой силы красоты, чѣмъ, несмотря на всѣ выгоды утонченности, отдадимся ея разслабляющему вліянію. Но можетъ быть опытъ не есть то судилище, предъ которымъ можетъ быть рѣшенъ такой вопросъ, какъ нашъ, и прежде чѣмъ придать значеніе свидѣтельству опыта, нужно поставить внѣ сомнѣнія, что это именно та самая красота, о которой мы говоримъ, и противъ которой говорятъ эти примѣры. Это предполагаетъ понятіе красоты, коренящееся въ иномъ источникѣ, чѣмъ опытъ, ибо это понятіе красоты должно опредѣлить, по праву ли именуется красивымъ то, что въ опытѣ считается таковымъ.

Чистое понятіе красоты—если только вообще можетъ быть найдено такое понятіе—должно искать путемъ отвлеченія, и оно можетъ быть выведено изъ возможности чувственно-разумной природы, ибо почерпнуть его изъ дѣйствительнаго факта нельзя, такъ какъ это понятіе само опредѣляетъ и руководитъ нашимъ сужденіемъ относительно дѣйствительности; однимъ словомъ, красоту нужно понять какъ необходимое условіе бытія человѣка. Итакъ, мы должны теперь подняться къ чистому понятію человѣка и такъ какъ опытъ указываетъ намъ лишь единичныя состоянія единичныхъ людей и никогда не показываетъ человѣчества, то намъ приходится открыть безусловное и пребывающее въ этихъ индивидуальныхъ и преходящихъ проявленіяхъ и овладѣть необходимыми условіями его бытія, отбросивъ всѣ случайныя ограниченія. Правда, этотъ трансцендентальный путь отдалитъ насъ на время отъ близкаго нашему сердцу круга явленій и отъ живого присутствія предметовъ, и заставитъ насъ пребывать на голыхъ поляхъ отвлеченныхъ понятій, однако, мы вѣдь стремимся къ твердому основанію познанія, котораго ничѣмъ нельзя поколебать, и кто недостаточно смѣлъ, чтобы перейти границы дѣйствительности, тотъ никогда не завоюетъ истины.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ.

Какъ бы высоко ни поднималась абстракція, она въ концѣ концовъ приходитъ къ двумъ понятіямъ, на которыхъ она успокаивается и должна признать свои границы. Она отличаетъ въ человѣкѣ нѣчто пребывающее и нѣчто непрерывно измѣняющееся. Отвлеченіе называетъ пребывающее личностью, измѣняющееся — ея состояніемъ.

Личность и состояніе—самость и его опредѣленія, которыя мы мыслимъ въ необходимомъ существѣ, какъ одно и то же,

въ конечномъ представляются вѣчно раздѣльными. Личность пребываетъ, но состоянія измѣняются, однако сколько бы состоянія ни мѣнялись—личность пребываетъ. Мы переходимъ отъ покоя къ дѣятельности, отъ страсти къ равнодушію, отъ согласія къ противорѣчію, однако мы всегда остаемся самими собою, и то пребываетъ, что непосредственно изъ насъ вытекаетъ. Только въ безусловномъ субъектѣ вмѣстѣ съ личностью пребываютъ и всѣ ея опредѣленія, ибо они вытекаютъ изъ личности. Все, чѣмъ Божество является, существуетъ въ немъ потому, что оно существуетъ, слѣдовательно, все въ немъ вѣчно, ибо оно само вѣчно.

Въ человѣкѣ же, какъ существѣ конечномъ, личность и состояніе различны, поэтому ни состояніе не можетъ быть обосновано личностью, ни личность состояніемъ: въ послѣднемъ случаѣ личность должна бы стать измѣнчивою; въ первомъ—состояніе стать пребывающимъ, т. е. и въ томъ и въ другомъ случаѣ должна погибнуть личность или конечность. Мы не потому существуемъ, что мыслимъ, стремимся, ощущаемъ, мы существуемъ, потому что существуемъ; мы ощущаемъ, мыслимъ и стремимся, ибо помимо насъ существуетъ еще нѣчто иное.

Личность должна въ себѣ самой имѣть основаніе, ибо пребывающее не можетъ проистекать изъ измѣненія; итакъ, вотъ мы нашли идею абсолютнаго, на себѣ самомъ основаннаго бытія, т. е. идею свободы. Состояніе должно имѣть основаніе; оно не заключено въ личности, поэтому не абсолютно, и должно *вытекать* изъ чего-либо. И вотъ мы нашли, во вторыхъ, условіе всякаго зависимаго бытія или становленія, т. е. время. Время есть условіе всякаго становленія—это тожесловіе, ибо этимъ положеніемъ не сказано ничего иного, какъ только то, что смѣна есть условіе всякаго чередованія.

Личность, открывающаяся лишь въ вѣчно пребывающемъ *я*, и только въ немъ, не можетъ становиться, ибо, напротивъ, время должно начаться въ ней, такъ какъ въ основѣ измѣняющагося должно находиться нѣчто пребывающее. Нѣчто должно измѣняться, если вообще измѣненію положено быть. Это нѣчто поэтому само не можетъ быть уже измѣненіемъ. Когда мы говоримъ: „цвѣтокъ разцвѣтаетъ и увядаетъ“, мы въ это время дѣлаемъ цвѣтокъ пребывающимъ въ измѣненіи, мы какъ-бы придаемъ цвѣтку личность, въ которой и совершается откровеніе двухъ указанныхъ состояній. Возраженіе, что человѣкъ образуется, не имѣетъ силы, ибо человѣкъ не только личность вообще, но личность, находящаяся въ опредѣленномъ состояніи; а всякое состояніе, всякое опредѣленное бытіе возникаетъ во времени, поэтому человѣкъ, какъ феноменъ, долженъ имѣть возникновеніе, хотя чистый интеллектъ въ немъ и вѣченъ. Безъ времени, т. е. безъ возникновенія онъ никогда не сталъ бы опредѣленнымъ существомъ. Его личность существовала бы въ предрасположеніи, но никогда не стала бы дѣйствительною. Только благодаря смѣнѣ представленій пребывающее *я* становится явленіемъ для самого себя. Матерію дѣйствія или реальность, почерпаемую высшимъ интеллектомъ изъ самого себя, человѣкъ долженъ получить, и получаетъ онъ ее путемъ воспріятія, какъ нѣчто находящееся внѣ его въ пространствѣ и какъ нѣчто измѣняющееся въ немъ во времени. Его вѣчно неизмѣнное *я* сопровождаетъ это измѣняющееся въ немъ содержаніе, и предписаніе, данное ему его разумною природою, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно оставаться самимъ собою, несмотря на все измѣненіе, чтобы всѣ воспріятія превратить въ опытъ, т. е. привести къ единству познанія, чтобы сдѣлать каждый изъ способовъ проявленія во времени закономъ для всѣхъ временъ. Наше *я* существуетъ только благодаря тому, что измѣняется. Итакъ, человѣкъ, представляемый какъ нѣчто законченное, былъ бы пребывающимъ единствомъ, которое остается въ волнахъ измѣненія вѣчно тѣмъ же самымъ.

Хотя безконечное существо, божество не можетъ становиться, но все же слѣдуетъ назвать божественнымъ и то стремленіе, которое, будучи свойственно божеству, имѣетъ своей безконечною задачей безусловное провозглашеніе полноты бытія (дѣйствительности всего возможнаго), и безусловное единство являющагося (необходимость всякой дѣйствительности). Человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, въ своей личности имѣетъ Божественное предрасположеніе. Путь къ божеству, если только можно назвать то путемъ, что никогда не приводитъ къ цѣли, данъ человѣку въ его ощущеніяхъ.

Личность, разсматриваемая сама по себѣ, независимо отъ ея чувственнаго содержанія, представляетъ собой лишь предрасположеніе къ возможному безконечному

обнаруженію, и пока она не созерцаетъ и не ощущаетъ, ее слѣдуетъ назвать лишь формою и пустою способностью. Способность ощущенія, разсматриваемая сама по себѣ, безъ всякаго отношенія къ самодѣятельности духа, можетъ сдѣлать духъ, который безъ ощущеній представляетъ лишь форму, простымъ содержаніемъ, но не въ состояніи соединить содержаніе съ нимъ. Пока человѣкъ только ощущаетъ, только стремится и дѣйствуетъ по страсти, до тѣхъ поръ онъ представляетъ собою только міръ, если подъ этимъ именемъ разумѣть безформенное содержаніе времени. Правда, только ощущенія дѣлаютъ его способнымъ къ дѣятельной силѣ, но только личность придаетъ его дѣйствіямъ характеръ дѣятельности. Итакъ, человѣкъ долженъ придать содержанію форму, чтобы не быть только міромъ; для того, чтобы не быть только формою, онъ долженъ придать предрасположенію, находящемуся въ немъ, дѣйствительность. Онъ осуществляетъ форму, создавая время и противуполагая пребывающему измѣняющееся, вѣчному единству своего *я* — многообразіе міра. Онъ придаетъ содержанію форму, уничтожая время, утверждая пребывающее въ измѣненіи и подчиняя многообразіе міра единству своего *я*.

Отсюда проистекаютъ два противоположныхъ требованія, обращенныхъ къ человѣку, два основныхъ закона разумно-чувственной природы. Первое касается абсолютной реальности: человѣкъ долженъ осуществить все, что есть лишь простая форма, онъ долженъ обнаружить всѣ свои способности. Второе касается безусловной формальности: человѣкъ долженъ уничтожить въ себѣ все, что представляетъ собой только міръ, и долженъ внести согласіе во всѣ свои измѣненія; другими словами, онъ долженъ обнаружить все внутреннее и всему внѣшнему придать форму. Обѣ задачи, представленныя въ полнѣйшемъ ихъ осуществленіи, ведутъ обратно къ понятію божества отъ котораго я исходилъ.

ПИСЬМО ДВѢНАДЦАТОЕ.

Двѣ противоположныхъ силы, побуждающія насъ къ обнаруженію своего объекта, и потому могущія быть весьма умѣстно названы стремленіями, заставляютъ насъ приступить къ осуществленію этой двойной задачи, т. е. сдѣлать необходимое въ насъ дѣйствительнымъ и дѣйствительное внѣ насъ подчинить закону необходимости. Первое стремленіе, которое я назову чувственнымъ, исходитъ изъ физическаго бытія человѣка или изъ его чувственной природы; оно занято тѣмъ, чтобы помѣстить человѣка въ границахъ времени и сдѣлать его содержаніемъ, а не тѣмъ, чтобы дать ему содержаніе, ибо для этого необходима уже свободная дѣятельность лица, воспринимающаго содержаніе и отличающаго его отъ себя, какъ нѣчто пребывающее. Содержаніемъ (матеріей) здѣсь называется не что иное, какъ измѣненіе или реальность, заполняющая время; итакъ, это стремленіе требуетъ, чтобы измѣненіе было, чтобы время имѣло содержаніе. Это состояніе заполненнаго времени называется ощущеніемъ, и только имъ однимъ обнаруживается физическое бытіе.

Такъ какъ во времени все чередуется, то бытіе одного исключаетъ все остальное. Когда извлекаешь звукъ изъ инструмента, то изъ всѣхъ звуковъ, которые могли бы быть получены, только этотъ одинъ дѣйствителенъ; когда человѣкъ ощущаетъ окружающее его, то безконечная возможность опредѣленій ограничена только этимъ однимъ родомъ бытія. Гдѣ дѣйствуетъ исключительно это стремленіе, тамъ по необходимости дано величайшее ограниченіе, человѣкъ въ этомъ состояніи не что иное, какъ количественное единство, заполненный моментъ времени — или лучше—его нѣтъ, ибо его личность до тѣхъ поръ отсутствуетъ, пока надъ нимъ господствуетъ ощущеніе и его увлекаетъ съ собою время *).

Область этого стремленія простирается настолько, насколько человѣкъ конеченъ, и такъ какъ форма проявляется всегда въ матеріи, абсолютное же только чрезъ среду

*) Человѣческая рѣчь обозначаетъ это состояніе, когда личность подавлена господствующимъ ощущеніемъ, весьма мѣткимъ выраженіемъ: быть внѣ себя, т. е. быть внѣ своего *я*. Хотя это выраженіе примѣняется лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда ощущеніе переходитъ въ страсть, и послѣдняя становится, благодаря большей ея продолжительности, болѣе замѣтной, но всетаки всякій находится «внѣ себя», пока онъ ощущаетъ. Точно также правильно выраженіе «придти въ себя», обозначающее состояніе возвращающагося благоразумія; это выраженіе означаетъ возвращеніе въ свое *я*, возстановленіе своей личности. О человѣкѣ, находящемся въ обморокѣ, не говорятъ «онъ внѣ себя», а лишь «онъ безъ памяти (безъ себя)», т. е. онъ лишился своего *я*, такъ какъ это *я* не находится въ немъ. Поэтому очнувшійся отъ обморока «сfановится самимъ собою»—выраженіе имѣющее значеніе на ряду съ «придти въ себя».

ограниченій, то, въ концѣ концовъ, съ чувственнымъ стремленіемъ связано явленіе человѣчества. Однако, хотя только это стремленіе пробуждаетъ и развиваетъ способности человѣчества, все жъ оно одно дѣлаетъ невозможнымъ совершенство человѣчества. Неразрывными узами привязываетъ оно стремящійся въ высь духъ къ чувственному міру и зоветъ абстракцію обратно къ границамъ дѣйствительности изъ самаго свободнаго ея странствованія въ безконечности. Мысль, правда, можетъ на мгновеніе ускользнуть отъ чувственнаго стремленія, твердая воля побѣдоносно противиться его требованіямъ, но подавленная природа скоро вновь вступаетъ въ свои права, дабы настоять на реальности бытія, на содержаніи нашего познанія и на цѣли нашей дѣятельности.

Другое стремленіе, которое можно назвать *формальнымъ*, исходитъ изъ абсолютнаго бытія человѣка или изъ его разумной природы и стремится освободить его, внести гармонію въ разнообразіе его явленій и сохранить его личность, при всей измѣняемости состояній. Такъ какъ личность, какъ абсолютное и недѣлимое единство, не можетъ противорѣчить себѣ, ибо мы вѣчно остаемся самими собою, то стремленіе, заботящееся о сохраненіи личности, не можетъ требовать ничего иного, какъ только того, что оно вѣчно должно требовать: оно рѣшаетъ навсегда, когда рѣшаетъ теперь, и оно повелѣваетъ теперь то, что повелѣло навсегда.

Это стремленіе охватываетъ всю череду временъ, т. е. оно уничтожаетъ время, уничтожаетъ измѣненіе. Оно хочетъ, чтобы дѣйствительное было необходимымъ и вѣчнымъ, и чтобы вѣчное было необходимымъ и дѣйствительнымъ; иными словами: оно требуетъ истины и права.

Если первое стремленіе лишь создаетъ случаи, то второе даетъ законы; законы для всякаго сужденія, имѣющаго въ виду познаніе, законы для всякой воли, имѣющей въ виду дѣйствія. Допустимъ, что мы познаемъ предметъ, что мы придаемъ состоянію нашего субъекта объективную цѣнность, или же, что мы дѣйствуемъ, руководствуясь познаніями, т. е. что мы объектъ дѣлаемъ основаніемъ для опредѣленія нашего состоянія,—въ обоихъ случаяхъ мы вырываемъ это состояніе изъ подсудности времени и приписываемъ ему реальность для всѣхъ людей и всѣхъ временъ, т. е. приписываемъ ему необходимость и всеобщность. Чувство можетъ лишь сказать: это истинно для этого человѣка и въ этотъ моментъ, но можетъ явиться другой моментъ и другой субъектъ, который признаетъ ложнымъ утвержденіе настоящаго ощущенія; но если мысль разъ скажетъ: это такъ, то этимъ она рѣшаетъ на вѣки вѣковъ, и за истинность ея утвержденія ручается сама личность, которая остается вѣчно неизмѣнною. Склонность можетъ только сказать: это хорошо для твоего индивида и для твоей теперешней потребности, но становленіе поглотитъ твой индивидъ и твою потребность, и то, къ чему ты пламенно теперь стремишься, станетъ современемъ предметомъ твоего отвращенія. Но если нравственное чувство скажетъ: это *должно* быть, тогда оно рѣшаетъ на вѣки вѣковъ,—если ты почитаешь истину, потому что это истина, и поступаешь справедливо, потому что это справедливо, тогда ты дѣлаешь единичный случай закономъ для всѣхъ случаевъ и разсматриваешь одинъ моментъ твоей жизни, какъ вѣчность.

Итакъ, когда господствуетъ формальное стремленіе, и чистый объектъ дѣйствуетъ въ насъ, тогда дано наибольшее распространеніе бытія, тогда исчезаютъ всѣ ограниченія, тогда человѣкъ становится изъ количественнаго единства, каковымъ его дѣлаетъ бѣдное чувство, идейнымъ единствомъ, охватывающимъ собой все царство явленій. При этомъ мы болѣе уже не во времени, а время, со всей его нескончаемой чередой, находится въ насъ. Мы уже болѣе не индивиды, а родъ; нашими устами высказывается сужденіе всего духовнаго міра, и наше дѣйствіе служитъ представителемъ выбора всѣхъ сердецъ.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ.

При первомъ взглядѣ кажется, что не существуетъ большей противоположности, какъ та, которая замѣтна въ тенденціяхъ этихъ двухъ стремленій, ибо одно требуетъ измѣненія, въ то время какъ другое настаиваетъ на неизмѣнности. И всетаки оба эти стремленія исчерпываютъ понятіе человѣчества и совершенно немыслимо понятіе третьяго основного стремленія, которое служило бы посредникомъ между двумя другими. Какимъ же образомъ возстановимъ мы единство человѣческой природы, которое кажется совершенно уничтоженнымъ

этой первичной и радикальной противоположностью?

Правда, тенденціи этихъ стремленій противорѣчатъ другъ другу, но слѣдуетъ замѣтить, что противорѣчатъ не въ однихъ и тѣхъ же объектахъ, а то, что не сталкивается другъ съ другомъ, и не можетъ исключать другъ друга. Чувственное стремленіе, правда, требуетъ измѣненія, но оно не требуетъ чтобы это измѣненіе простиралось и на личность и ея сферу, т. е. не требуетъ смѣны основоположеній. Формальное стремленіе требуетъ единства и постоянства, но оно не желаетъ закрѣпленія состоянія вмѣстѣ съ закрѣпленіемъ личности, т. е. не желаетъ тожественности ощущеній. Итакъ, по природѣ эти стремленія не противоположны, и если они все же кажутся таковыми, то лишь тамъ, гдѣ они свободно переступили границы природы, смѣшавъ сферы своей дѣятельности и не понявъ своей сущности *).

*) Когда утверждаешь первичный, а слѣдовательно и необходимый антагонизмъ двухъ стремленій, тогда, конечно, не остается другого средства, какъ безусловное подчиненіе чувственнаго разумному. Но изъ этого можетъ получиться лишь однообразіе, а не гармонія, и человѣкъ во вѣки останется раздѣленнымъ. Подчиненіе, дѣйствительно, должно быть, но обоюдное; ибо, хотя несомнѣнно, что ограниченія никогда не могутъ обосновать абсолюта, но столь же несомнѣнно, что абсолютъ самъ по себѣ не можетъ обосновать ограниченія, что состояніе во времени не можетъ зависѣть отъ свободы. Итакъ, оба принципа соподчинены и координированы, т. е. они стоятъ во взаимодѣйствіи. Безъ формы нѣтъ матеріи, безъ матеріи нѣтъ формы. (Понятіе взаимодѣйствія и все его значеніе превосходно разъяснено у Фихте въ его «Основаніи всеобщаго наукословія». Лейпцигъ 1794). Мы не знаемъ правда, того, какъ обстоитъ дѣло относительно личности въ царствѣ идей, но мы навѣрно знаемъ, что она не можетъ проявиться въ царствѣ времени безъ того, чтобы впитать въ себя матерію. Въ этомъ мірѣ матерія имѣетъ значеніе не только въ подчиненіи формѣ, но и рядомъ съ формою и независимо отъ нея.

Необходимо, чтобы чувство не имѣло рѣшающаго значенія въ области разума, также необходимо, однако, чтобы и разумъ не имѣлъ претензіи рѣшать что либо въ области чувства; тѣмъ самымъ, что одно исключаютъ изъ другого и каждому ставятъ опредѣленныя границы, этимъ каждому приписываютъ извѣстную область, предѣлы которой нельзя перейти безъ того, чтобы не потерпѣть ущерба.

Трансцендентальной философіи, главная задача которой есть освобожденіе формы отъ матеріи (содержанія) и изображеніе необходимаго очищеннымъ отъ всего случайнаго, легко привыкнуть къ тому, чтобы разсматривать все матерьяльное лишь какъ препятствіе, а чувственность, мѣшающую именно такой точкѣ зрѣнія, представлять себѣ стоящей въ необходимомъ противорѣчіи съ разумомъ. Такая точка зрѣнія не заключается въ духѣ Кантовой системы, но она, можетъ быть, соотвѣтствуетъ буквальному ея пониманію.

Задача культуры состоитъ въ томъ, чтобы охранять эти сферы и оберегать границы каждаго изъ двухъ стремленій; культура должна отдать справедливость обоимъ, а не только одному разумному въ ущербъ чувственному; но охранять и этотъ по отношенію къ разумному. Итакъ, задача культуры двоякая: во-первыхъ, охрана чувственности отъ захватовъ свободы, во вторыхъ, охрана личности отъ силы чувствованій. Перваго она достигаетъ развитіемъ чувствующей способности, второго,—развитіемъ разумной.

Такъ какъ міръ есть протяженное во времени, т. е. въ смѣнѣ, то совершенство способности, приводящей человѣка въ связь съ міромъ, состоитъ въ наивозможно большей измѣняемости и экстенсивности. Такъ какъ личность есть пребывающее въ смѣнѣ, то совершенство той способности, которая противудѣйствуетъ измѣненію, должно состоять въ наивозможно большей самостоятельности и интенсивности. Чѣмъ болѣе разовьется впечатлительность, чѣмъ она подвижнѣе, чѣмъ бо́льшую поверхность она будетъ обращать къ явленіямъ, тѣмъ бо́льшую часть міра охватитъ человѣкъ, тѣмъ больше способностей разовьетъ онъ въ себѣ. Человѣкъ пойметъ тѣмъ больше міровыхъ явленій, тѣмъ больше формъ создастъ онъ изъ себя, чѣмъ большей силой и глубиной будетъ обладать его личность, чѣмъ бо́льшую свободу пріобрѣтетъ его разумъ. Итакъ, его культура будетъ состоять въ слѣдующемъ: во первыхъ, доставить воспринимающей способности разнообразнѣйшія соприкосновенія съ міромъ, а въ чувствахъ развить наибольшую пассивность; во вторыхъ, для опредѣляющей способности пріобрѣсть наибольшую независимость отъ воспріимчивости и развить наивозможно болѣе активность разума. Человѣкъ тогда достигнетъ высшей полноты бытія въ соединеніи съ высшей самостоятельностью и свободой, когда оба качества соединятся, и вмѣсто того, чтобы потеряться въ мірѣ, онъ впитаетъ въ себя и подчинитъ себѣ міръ со всей его безконечностью явленій. Это отношеніе человѣкъ можетъ измѣнить и въ обратную сторону и двоякимъ образомъ не исполнить своего назначенія: онъ можетъ интенсивность, необходимую для дѣятельной силы, израсходовать

на страдательную, если матерьяльное стремленіе поглотитъ формальное и такимъ образомъ опредѣляющая способность замѣнитъ собою воспринимающую; онъ можетъ экстенсивность, принадлежащую страдательной силѣ, приписать дѣятельной, если формальное стремленіе поглотитъ матерьяльное и воспринимающая способность замѣститъ собою опредѣляющую. Въ первомъ случаѣ онъ никогда не станетъ *самимъ собою*, во второмъ онъ никогда не станетъ *ничѣмъ инымъ*, итакъ въ обоихъ случаяхъ онъ не станетъ ничѣмъ, т. е. будетъ нулемъ *). Ибо когда способность ощущать становится опредѣляющей, когда чувство становится законодателемъ и міръ подчиняетъ себѣ личность, то послѣдній въ той же мѣрѣ перестаетъ быть объектомъ, въ какой становится силою. Когда человѣкъ есть только содержаніе времени, тогда его не существуетъ, а слѣдовательно у него нѣтъ и содержанія. Вмѣстѣ съ личностью уничтожено и состояніе,—ибо это соотносительныя понятія—такъ какъ смѣна требуетъ пребывающаго, а ограниченная реальность—безграничную. Когда формальное стремленіе становится воспріимчивымъ, т. е. когда мышленіе опережаетъ ощущеніе, когда личность ставитъ себя на мѣсто міра, тогда она въ такой же мѣрѣ перестаетъ быть самостоятельною силою и субъектомъ, въ какой ставитъ себя на мѣсто объекта, ибо пребывающее требуетъ для своего обнаруженія смѣны, а абсолютная реальность—ограниченій. Когда человѣкъ только форма, тогда у него нѣтъ формы, и вмѣстѣ съ состояніемъ уничтожена и личность. Однимъ словомъ, только

*) Дурное вліяніе перевѣса чувственности надъ нашимъ рѣшеніемъ и дѣятельности легко замѣтно каждому, но не такъ легко замѣтить вредное вліяніе перевѣса разума надъ нашимъ познаніемъ и дѣятельностью, хотя онъ столь же часто встрѣчается и имѣетъ столь же важное значеніе. Да будетъ мнѣ дозволено припомнить здѣсь, изъ большого количества сюда относящихся случаевъ, лишь два, которые выяснятъ вредъ мышленія и воли, опережающихъ созерцаніе и ощущеніе. Одна изъ важнѣйшихъ причинъ медленнаго развитія естествознанія заключается, безъ сомнѣнія, во всеобщей и неудержимой склонности къ телеологическимъ сужденіямъ, при конститутивномъ употребленіи коихъ опредѣляющая способность становится на мѣсто воспринимающей. Природа можетъ приходить въ весьма разнообразное и настойчивое соприкосновеніе съ нашими органами, но все ея многообразіе совершенно для насъ потеряно, ибо мы не ищемъ въ ней ничего иного, какъ только того, что сами въ нее вложили; ибо мы не дозволяемъ природѣ входить въ насъ и нетерпѣливо стремимся нашимъ разумомъ, опережающимъ чувства, навстрѣчу природѣ. И вотъ, когда разъ въ теченіе вѣковъ явится человѣкъ съ спокойнымъ, цѣломудреннымъ и открытымъ чувствомъ и поэтому натолкнется на множество явленій, которыя мы, благодаря нашему предубѣжденію, не замѣчали, то всѣ мы очень удивляемся тому, что столько глазъ при такомъ ясномъ свѣтѣ ничего не замѣчали. Это слишкомъ поспѣшное стремленіе къ гармоніи, когда не собраны еще отдѣльные звуки, составляющіе ее, эта насильственная узурпація мышленіемъ въ сферѣ, не безусловно ему подчиненной, является причиной безплодности столькихъ мыслящихъ головъ въ дѣятельности на пользу науки, и трудно сказать, что повредило болѣе расширенію нашихъ познаній—чувственность ли, противящаяся формѣ, или же разумъ, не ожидающій показаній содержанія.

Также трудно опредѣлить, отъ чего болѣе страдаетъ и охлаждается наша практическая филантропія: отъ горячности нашихъ страстей или же отъ строгости нашихъ правилъ, отъ эгоизма нашихъ чувствъ или же отъ эгоизма нашего разума. Для того, чтобы сдѣлаться сострадательнымъ, быстрымъ на помощь человѣкомъ, необходимо соединеніе чувствъ и характера, подобно тому какъ необходимо совпаденіе воспріимчивости ощущеній съ энергіей разсудка для пріобрѣтенія опыта. Если мы лишены способности воспринимать въ себя чужую природу точно и правильно, усваивать чужія положенія, дѣлать своими чужія чувства, то какъ мы можемъ быть добрыми и человѣчными относительно другихъ, хотя бы имѣли прекрасныя правила. Но эта способность въ такой же мѣрѣ подавляется воспитаніемъ, которое мы получаемъ, а равно и тѣмъ, которое сами себѣ даемъ, въ какой стремятся сломить силу страстей и укрѣпить принципами характеръ. Такъ какъ трудно остаться вѣрнымъ своимъ правиламъ при впечатлительности чувствъ, то берутся за болѣе удобное средство, а именно укрѣпляютъ характеръ, притупляя чувства; конечно, гораздо легче жить въ мирѣ съ обезоруженнымъ противникомъ, чѣмъ господствовать надъ храбрымъ и бодрымъ врагомъ. Въ этомъ главнымъ образомъ и состоитъ такъ называемое *формированіе человѣка*, притомъ въ лучшемъ значеніи этого слова, когда имѣется въ виду выработка внутренняго, а не только внѣшняго человѣка. «Формованный» такимъ образомъ человѣкъ, конечно, не будетъ и не покажется грубымъ по природѣ, но онъ въ то же время, благодаря своимъ принципамъ потеряетъ природную впечатлительность и будетъ одинаково равнодушенъ какъ къ внутреннему, такъ и къ внѣшнему человѣку.

Вредное злоупотребленіе идеаломъ совершенства состоитъ въ томъ, что при оцѣнкѣ другихъ людей и въ случаяхъ, когда нужно за нихъ заступиться, примѣняютъ этотъ идеалъ во всей его строгости. Это ведетъ къ жестокости и холодности, противуположное ведетъ къ мечтательности. Безъ сомнѣнія, тотъ весьма легко смотритъ на свои общественныя обязанности, кто на мѣсто живого человѣка, просящаго нашей помощи, въ мысляхъ подставляетъ идеальнаго человѣка, который по всей вѣроятности можетъ обойтись и безъ нашей помощи. Истинно прекрасный характеръ требуетъ строгости по отношенію къ себѣ и мягкости по отношенію къ другимъ. Въ большинствѣ же случаевъ, человѣкъ, снисходительный къ другимъ, бываетъ снисходителенъ и къ себѣ, а строгій къ себѣ, бываетъ строгимъ и по отношенію другихъ; самый презрѣнный характеръ тотъ, который строгъ къ другимъ и снисходителенъ къ себѣ.

поскольку человѣкъ самостоятеленъ и воспріимчивъ, постольку внѣ его существуетъ реальность только поскольку онъ воспріимчивъ, постольку въ немъ есть и реальность и онъ является мыслящей силою. Итакъ, оба стремленія нуждаются въ ограниченіи и разряженіи, поскольку они мыслятся, какъ энергіи. Первое — дабы оно не вмѣшивалось въ область законодательства, второе — дабы оно не проникло въ область ощущеній. Но разряженіе чувственнаго стремленія не должно быть слѣдствіемъ физической немощи и тупости, которыя заслуживаютъ лишь презрѣнія; оно должно быть дѣйствіемъ свободы, дѣятельностью личности, умѣряющей чувственность моральной интенсивностью и дающей впечатлѣніямъ, подчиняя себѣ ихъ, большую поверхность, взамѣнъ глубины. Характеръ долженъ опредѣлять границы темперамента, ибо чувства должны дѣлать уступки только въ пользу духовныхъ силъ. Разряженіе формальнаго стремленія также не должно быть слѣдствіемъ духовной немощи и дряблости мысли и воли, которыя могутъ только унизить человѣчество. Ихъ славнымъ источникомъ должна быть полнота ощущеній. Сама чувственность должна защищать побѣдною силою свою область и противодѣйствовать насилію духа, на которое онъ, благодаря своей опережающей дѣятельности, весьма склоненъ. Однимъ словомъ, личность должна удерживать матерьяльное стремленіе въ свойственныхъ ему границахъ, а воспріимчивость или природа должны удерживать формальное стремленіе.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Итакъ, мы пришли къ понятію такого взаимодѣйствія двухъ стремленій, при которомъ дѣйствіе одного обосновываетъ и ограничиваетъ дѣйствіе другого, и каждое стремленіе само по себѣ обнаруживается наиболѣе полно именно благодаря тому, что другое дѣйствуетъ.

Это взаимоотношеніе двухъ стремленій представляетъ собой задачу разума, которую въ состояніи рѣшить только человѣкъ достигшій совершенства. Это въ истинномъ значеніи слова безконечная идея его человѣчности, къ которой онъ въ смѣнѣ временъ можетъ постепенно приближаться, никогда не достигая ея. „Онъ не долженъ стремиться къ формѣ на счетъ своей реальности и не долженъ стремиться къ реальности на счетъ формы, напротивъ того: безусловное бытіе онъ долженъ искать въ ограниченномъ, а опредѣленное бытіе въ безконечномъ. Онъ долженъ противопоставить себя міру, ибо онъ есть личность, и онъ долженъ быть личностью, ибо ему противустоитъ міръ. Онъ долженъ ощущать, ибо онъ сознаетъ, и долженъ сознавать, ибо онъ ощущаетъ". Пока онъ исключаетъ одно изъ этихъ двухъ стремленій или удовлетворяется однимъ послѣ другого, до тѣхъ поръ онъ не будетъ въ состояніи познать, что онъ человѣкъ въ полномъ значеніи этого слова, соотвѣтственно истинному значенію этой идеи, ибо пока онъ только ощущаетъ, для него остается тайной его личность или безусловное бытіе, а пока онъ только мыслитъ, для него будетъ тайною его бытіе во времени или его состояніе. Но если возможенъ случай, въ которомъ онъ испытываетъ и то, и другое вмѣстѣ, т. е. когда онъ сознаетъ свою свободу и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ свое бытіе, когда онъ одновременно чувствуетъ себя матеріей и познаетъ себя, какъ духъ, тогда онъ въ этотъ моментъ, и только въ этотъ, имѣлъ бы совершенное созерцаніе своей человѣчности, и предметъ, доставившій ему это созерцаніе, служилъ бы ему символомъ его осуществленнаго назначенія, а слѣдовательно (ибо это назначеніе достижимо лишь въ совокупности своего времени) и изображеніемъ безконечнаго.

Если возможенъ подобный случай въ опытѣ, то онъ вызоветъ въ человѣкѣ новое стремленіе, которое будетъ противоположно каждому изъ двухъ, разсматриваемому въ отдѣльности, именно потому, что оба дѣйствуютъ въ немъ; поэтому то оно и должно быть разсматриваемо какъ новое стремленіе. Чувственное стремленіе заботится о томъ, чтобы было измѣненіе, чтобы время имѣло содержаніе, формальное стремленіе заботится о томъ, чтобы время было уничтожено, чтобы измѣненія не было. Итакъ, то стремленіе, въ которомъ дѣйствуютъ оба въ соединеніи, т. е. (да будетъ мнѣ дозволено называть это стремленіе, прежде чѣмъ я оправдаю это названіе, стремленіемъ къ игрѣ) стремленіе къ игрѣ направлено къ тому, чтобы уничтожить время въ самомъ времени, соединить становленіе съ абсолютнымъ бытіемъ, измѣненіе съ тожествомъ.

Чувственное стремленіе ищетъ ограниченія, оно желаетъ получить объектъ; формальное стремленіе само ограничиваетъ, оно само хочетъ создать свой объектъ; стремленіе къ игрѣ направлено къ тому,

чтобы получить объектъ, но такимъ, какимъ бы оно его само создало, и создать его такимъ, какимъ чувство его воспринимаетъ.

Чувственное стремленіе исключаетъ изъ своего субъекта всякую самодѣятельность и свободу, формальное стремленіе исключаетъ изъ своего субъекта всякую зависимость, всякое страданіе; но исключеніе свободы есть физическая необходимость, исключеніе страданія есть нравственная необходимость; итакъ, оба стремленія понуждаютъ духъ: первое путемъ законовъ природы, второе путемъ законовъ разума. Такимъ образомъ, стремленіе къ игрѣ, въ которомъ соединены оба стремленія, будетъ понуждать духъ одновременно и физически и нравственно; одно, слѣдовательно, дастъ человѣку свободу какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи, ибо это стремленіе уничтожаетъ всякую случайность и всякую зависимость. Когда мы страстно любимъ кого-либо, кто заслуживаетъ наше презрѣніе, тогда мы болѣзненно ощущаемъ оковы природы. Когда мы ненавидимъ кого-либо, кто заслужилъ наше уваженіе, тогда мы болѣзненно ощущаемъ оковы разума. Но когда онъ одновременно владѣетъ и нашей склонностью и пріобрѣлъ наше уваженіе, тогда исчезаетъ принужденіе чувства и принужденіе разума и мы начинаемъ его любить, т. е. играть одновременно и нашей склонностью и нашимъ уваженіемъ.

Далѣе, чувственное стремленіе понуждаетъ насъ физически, а формальное нравственно, но первое не опредѣляетъ нашего формальнаго, а второе—нашего матерьяльнаго склада, т. е. остается совершенно случайнымъ, будетъ ли совпадать наше совершенство съ нашимъ счастьемъ или наоборотъ. Стремленіе къ игрѣ, въ которомъ дѣйствуютъ оба въ соединеніи, сдѣлаетъ одновременно случайнымъ какъ нашу формальную, такъ и нашу матерьяльную сторону, какъ наше совершенство, такъ и наше счастье; оно уничтожитъ въ обѣихъ случайность, такъ какъ оно сдѣлаетъ случайными обѣ стороны, ибо вмѣстѣ съ необходимостью исчезаетъ и случайность; такимъ образомъ въ матерію будетъ внесена форма, а въ форму реальность. Въ какой мѣрѣ стремленіе къ игрѣ уничтожитъ въ ощущеніяхъ и аффектахъ ихъ динамическое вліяніе, въ той же степени оно приведетъ ихъ къ согласію съ идеями разума, и въ той же мѣрѣ, въ какой оно отниметъ нравственное понужденіе у законовъ разума, оно примиритъ эти законы съ интересами чувствъ.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ.

Я все болѣе и болѣе приближаюсь къ цѣли, къ которой веду Васъ по мало завлекательной тропинкѣ. Но послѣдуйте за мной еще нѣсколько шаговъ и тогда откроется болѣе широкій кругозоръ и, можетъ быть, веселый видъ вознаградитъ за трудный путь.

Предметъ чувственнаго стремленія, выраженный общимъ понятіемъ, называется *жизнью* въ самомъ обширномъ значеніи этого слова; это понятіе, которое обозначаетъ все матерьяльное бытіе и все непосредственно находящееся въ распоряженіи чувствъ. Предметъ формальнаго стремленія, выраженный общимъ понятіемъ, называется *образомъ* (Gestalt), какъ въ прямомъ, такъ и въ переносномъ значеніи слова; это понятіе, охватывающее всѣ формальныя свойства предметовъ и всѣ отношенія ихъ къ мышленію. Предметъ стремленія къ игрѣ, представленный въ общей схемѣ, можетъ быть названъ *живымъ образомъ*; понятіе, служащее для обозначенія всѣхъ эстетическихъ свойствъ явленій, однимъ словомъ всего того, что въ обширнѣйшемъ смыслѣ слова называется красотой.

Этимъ объясненіемъ, если бы оно было объясненіемъ, красота не распространяется на всю область живого и не заключается въ предѣлы этой области. Глыба мрамора, будучи безжизненной, все-же можетъ стать, благодаря работѣ архитектора и скульптора, живымъ образомъ. Человѣкъ, хотя онъ живетъ и имѣетъ образъ, все-же еще тѣмъ самымъ не есть живой образъ. Для этого необходимо, чтобы его образъ имѣлъ жизнь, а его жизнь образъ. Пока мы только думаемъ о его образѣ, онъ еще безжизненъ, еще только отвлеченіе; пока мы только чувствуемъ его жизнь, она еще лишена образа, она простое впечатлѣніе. Человѣкъ становится живымъ образомъ лишь тогда, когда его форма живетъ въ нашемъ ощущеніи и его жизнь принимаетъ форму въ нашемъ разсудкѣ, и это случается всякій разъ, когда мы начинаемъ судить о немъ, какъ о предметѣ красоты.

Но генезисъ красоты вовсе еще не объясненъ тѣмъ, что мы въ состояніи указать составныя части, соединеніе которыхъ создаетъ красоту; для этого необходимо, чтобы мы поняли это соединеніе, не поддающееся изслѣдованію, подобно всякому взаимодѣйствію между конечнымъ и безконечнымъ. Разумъ ставитъ изъ трансцендентальныхъ основаній требованіе: между

матерьяльнымъ и формальнымъ стремленіями должна быть общность, т. е. должно существовать стремленіе къ игрѣ, ибо понятіе человѣчности завершается только благодаря единству реальности и формы, случайности и необходимости, страданія и свободы. Разумъ долженъ высказать это требованіе, потому что онъ по своему существу настаиваетъ на законченности и на устраненіи всякихъ ограниченій, а всякая исключительная дѣятельность одного или другого стремленія оставляетъ природу человѣка незаконченной и полагаетъ въ ней предѣлъ. Итакъ, какъ только разумъ провозгласилъ: должна существовать человѣчность, онъ этимъ самымъ постановилъ законъ: должна существовать красота.

Опытъ намъ можетъ сказать, существуетъ ли красота, и мы будемъ это знать, какъ только опытъ показалъ намъ, существуетъ ли человѣчность. Но ни опытъ, ни разумъ на могутъ намъ показать, *какимъ образомъ* красота и человѣчность возможны.

Мы знаемъ, что человѣкъ не исключительно матерьяленъ и не исключительно духовенъ. Поэтому красота, какъ завершеніе идеи человѣка, не можетъ быть исключительно только жизнью, какъ это утверждали внимательные наблюдатели, слишкомъ точно слѣдовавшіе указаніямъ опыта, а вкусъ настоящаго времени именно въ этомъ и желалъ-бы видѣть красоту; но красота не можетъ быть и исключительно образомъ, какъ это утверждали умозрительные мудрецы, слишкомъ удалившіеся отъ указаній опыта, и философствующіе художники, которые при объясненіи искусства слишкомъ точно слѣдовали его требованіямъ [1]). Красота—есть общій объектъ обоихъ стремленій, т. е. объектъ стремленія къ игрѣ. Это названіе вполнѣ оправдывается словоупотребленіемъ, которое обозначаетъ названіемъ игры все то, что ни случайно, ни объективно, ни субъективно, но въ то же время не заключаетъ въ себѣ ни внутренняго, ни внѣшняго принужденія. Такъ какъ духъ во время созерцанія красоты находится въ счастливой серединѣ между закономъ и потребностью, то онъ, именно потому, что имѣетъ дѣло съ обоими, не подчиненъ ни принужденію, ни закону. Какъ матерьяльное, такъ и формальное стремленіе настаиваютъ на своихъ требованіяхъ, такъ какъ первое имѣетъ отношеніе къ познанію дѣйствительности, второе же къ познанію необходимости предметовъ, такъ какъ первое направлено на сохраненіе жизни во время дѣятельности, второе же на сохраненіе достоинства, а оба вмѣстѣ на сохраненіе истины и совершенства. Но жизнь теряетъ свою цѣнность, когда вопросъ идетъ о достоинствѣ, и долгъ болѣе не понуждаетъ, когда заговорила склонность; и духъ свободнѣе и спокойнѣе воспринимаетъ дѣйствительность предметовъ, матерьяльную истинность, какъ только онъ встрѣтился съ формальной истиной, съ закономъ необходимости; отвлеченіе его не утомляетъ болѣе, когда непосредственное созерцаніе можетъ сопровождать отвлеченіе. Однимъ словомъ, все дѣйствительное теряетъ свое значеніе, когда приходитъ въ соприкосновеніе съ идеями, ибо оно становится *малымъ*, и все необходимое перестаетъ быть значительнымъ, становится легкимъ, какъ только оно встрѣчается съ ощущеніями.

Но Вы уже давно желали бы мнѣ возразить, не принижается-ли красота тѣмъ, что она приравнивается игрѣ и пустѣйшимъ предметамъ, которые всегда обозначались именемъ игры? Не противорѣчитъ-ли понятію разума и достоинству красоты, которая вѣдь разсматривается какъ орудіе культуры, ограниченіе красоты простою игрою и не противорѣчитъ-ли опытному понятію игры, которое можетъ существовать и послѣ исключенія всего, что касается вкуса,—ограниченіе игры одною лишь красотою?

Однако, что же мы назовемъ простою игрою теперь, когда мы знаемъ, что изъ всѣхъ состояній человѣка именно игра и одна лишь игра дѣлаетъ его совершеннымъ и сразу раскрываетъ его двойственную природу. То, что Вы, по Вашему представленію этого дѣла, называете ограниченіемъ, то я, по своему пониманію, которое я оправдалъ доказательствами, называю расширеніемъ. Поэтому, я сказалъ-бы совершенно обратное: въ пріятномъ, въ благѣ, въ совершенствѣ человѣкъ проявляетъ лишь свою серьезность, съ красотою-же онъ играетъ. Конечно, намъ не слѣдуетъ въ данномъ случаѣ при-

1) Геркъ въ своихъ философскихъ изслѣдованіяхъ о возникновеніи нашихъ понятій о возвышенномъ и прекрасномъ приравниваетъ красоту просто жизни. Простому образу приравниваетъ красоту, насколько мнѣ извѣстно, всякій послѣдователь догматической системы, который когда-либо излагалъ свое убѣжденіе по этому предмету; изъ числа художниковъ къ догматикамъ относится Рафаэль Менгсъ въ своихъ мысляхъ о вкусѣ въ живописи, не говоря уже о другихъ. И въ этой области, какъ во всѣхъ вообще, критическая философія показала новый путь сведенія опыта къ принципамъ и умозрѣнія къ опыту.

поминать тѣ игры, которыя въ ходу въ дѣйствительной жизни и которыя обыкновенно направлены на весьма матерьяльные предметы, но мы тщетно стали-бы искать въ дѣйствительной жизни и ту красоту, о которой здѣсь идетъ рѣчь. Встрѣчающаяся въ дѣйствительности красота вполнѣ соотвѣтствуетъ встрѣчающемуся въ дѣйствительной жизни стремленію къ игрѣ; однако идеалъ красоты, выставленный разумомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ выставляетъ и идеалъ стремленія къ игрѣ, который человѣкъ долженъ имѣть передъ глазами во всѣхъ своихъ играхъ. Не ошибется тотъ, кто станетъ искать идеала красоты извѣстнаго человѣка на томъ же пути, по какому онъ удовлетворяетъ свое стремленіе къ игрѣ. Если греческія племена наслаждаются олимпійскими состязаніями въ силѣ, быстротѣ, ловкости и благородномъ состязаніи талантовъ, и если римскій народъ радуется смертоносной борьбѣ умирающаго гладіатора съ его ливійскимъ противникомъ, то эта одна черта поясняетъ намъ, что идеальнымъ образомъ Венеры, Юноны, Аполлона мы должны искать не въ Римѣ, а въ Греціи *). Но разумъ говоритъ: красота не должна быть просто жизнью или однимъ лишь образомъ, красота должна быть живымъ образомъ, такъ какъ она предписываетъ человѣку двойной законъ безусловной формальности и безусловной реальности. Итакъ, разумъ въ одно и то же время говоритъ: человѣкъ долженъ только играть съ красотою, и только съ красотою одною онъ долженъ играть.

И чтобы это наконецъ высказать разъ навсегда—человѣкъ играетъ только тогда, когда онъ въ полномъ значеніи слова человѣкъ, и онъ бываетъ вполнѣ человѣкомъ лишь тогда, когда играетъ. Это положеніе въ настоящую минуту можетъ быть покажется парадоксомъ, но оно получитъ важное и глубокое значеніе, когда намъ удастся серьезно примѣнить его къ понятіямъ долга и судьбы. На немъ будетъ построено, я Вамъ это обѣщаю, все зданіе эстетическаго искусства и еще болѣе труднаго искусства жить.

*) Не трудно будетъ различить оттѣнки вкуса различныхъ народностей, если сравнить, оставаясь въ предѣлахъ новаго міра, лондонскія скачки съ боемъ быковъ въ Мадридѣ, представленія Парижа во время ансіен regime, гонки гондольеровъ въ Венеціи съ травлею звѣрей въ Вѣнѣ и съ веселымъ оживленіемъ римскаго Корсо. Однако народныя игры въ различныхъ странахъ гораздо болѣе разнообразны, чѣмъ игры образованныхъ людей въ этихъ же самыхъ странахъ,—и это весьма легко поддается объясненію.

Только наукѣ покажется это положеніе неожиданнымъ, но оно давно жило и дѣйствовало въ искусствѣ и въ чувствахъ грековъ, главнѣйшихъ представителей искусства; они лишь помѣщали на Олимпѣ то, что слѣдовало выполнить на землѣ. Руководствуясь истиной этого положенія, греки заставили исчезнуть съ чела блаженныхъ боговъ серьезность и заботу, которыя покрываютъ морщинами ланиты смертныхъ, равно и пустое наслажденіе, которое дѣлаетъ гладкимъ лицо, лишенное выраженія; они освободили вѣчно довольныхъ боговъ отъ оковъ какихъ-либо цѣлей, обязанностей, заботъ, и въ праздности и равнодушіи усматривали долю жизни боговъ, которая представляется человѣку выраженіемъ самой свободной и возвышенной жизни. Въ высокомъ пониманіи грековъ, сразу охватывавшемъ оба міра, исчезло матерьяльное понужденіе законовъ природы и духовное принужденіе нравственнаго закона необходимости, и изъ единства этихъ двухъ необходимостей для нихъ возникла истинная свобода. Воодушевленные такимъ духомъ, греки стерли съ чертъ лица своего идеала вмѣстѣ съ любовью и всякіе слѣды воли, или, лучше сказать, они скрыли ихъ, такъ какъ сумѣли соединить любовь и волю въ тѣснѣйшемъ союзѣ. Прекрасное лицо Юноны Лудовизи не представляетъ намъ ни обаятельности, ни сознанія собственнаго достоинства; нѣтъ ни того, ни другого, потому что оба соединены въ одно. Женщина-богъ требуетъ нашего поклоненія, божественная женщина-же воспламеняетъ нашу любовь и въ то время, какъ мы совершенно покорены небесною миловидностью, насъ отпугиваетъ небесная самоудовлетворенность. Вся фигура покоится и живетъ сама въ себѣ, какъ будто-бы любила внѣ пространства, гордая, но въ то же время неспособная къ сопротивленію; въ ней нѣтъ силы, способной бороться съ силою, нѣтъ оплошности, въ которую моглобы ворваться время. Указанныя свойства захватываютъ и привлекаютъ насъ съ неудержимою силою, но въ то же самое время держатъ насъ въ отдаленіи, и это вызываетъ въ насъ одновременно состояніе величайшаго покоя и величайшаго движенія, и такимъ образомъ создается то удивительное умиленіе, для котораго разсудокъ не можетъ подыскать понятія, а языкъ названія.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Мы видѣли, что красота возникаетъ изъ взаимодѣйствія двухъ противуположныхъ стремленій и изъ соединенія двухъ противуположныхъ началъ; поэтому высшій идеалъ красоты придется искать въ возможно совершенномъ союзѣ и равновѣсіи реальности и формы; но это равновѣсіе остается всегда лишь идеей, которая не осуществима въ дѣйствительности. Въ дѣйствительности всегда одинъ элементъ будетъ перевѣшивать другой, и наибольшее, на что способенъ опытъ, состоитъ въ *колебаніи* между обоими принципами, при чемъ перевѣсъ оказывается то на сторонѣ реальности, то на сторонѣ формы. Итакъ, красота въ идеѣ вѣчна, едина и недѣлима, ибо можетъ существовать только одно равновѣсіе; красота же въ опытѣ вѣчно будетъ двойственною, ибо при колебаніи равновѣсіе можетъ быть нарушено двоякимъ образомъ, въ обѣ стороны вѣсовъ.

Въ одномъ изъ предшествующихъ писемъ я отмѣтилъ, что красота можетъ имѣть растворяющее и напрягающее дѣйствіе,—это можно было вывести съ полной необходимостью изъ связи предшествующаго; растворяющее для того, чтобы удерживать въ границахъ какъ чувственное, такъ и формальное стремленіе; напрягающее—для того, чтобы поддерживать силу обоихъ стремленій. Но оба обнаруженія дѣйствія красоты должны быть однимъ и тѣмъ же въ идеѣ. Красота должна растворять тѣмъ, что она обѣ природы равномѣрно напрягаетъ, и должна напрягать тѣмъ, что она обѣ природы равномѣрно растворяетъ. Это уже вытекаетъ изъ понятія взаимодѣйствія, въ которомъ обѣ части по необходимости обусловливаютъ другъ друга и обусловлены другъ другомъ, а красота является чистымъ ихъ произведеніемъ. Но опытъ не представляетъ намъ примѣра такого совершеннаго взаимодѣйствія; въ опытѣ всегда имѣется большее и меньшее, и перевѣсъ всегда вызываетъ недостатокъ, а недостатокъ—перевѣсъ. То, что въ идеалѣ красоты различается лишь въ представленіи, то въ опытной красотѣ различено въ бытіи. Идеалъ красоты, будучи недѣлимымъ и единымъ, въ различныхъ отношеніяхъ обнаруживаетъ тающія и энергичныя качества; въ опытѣ даны тающая и энергичная красота. Это такъ будетъ и есть во всѣхъ случаяхъ, когда безусловное помѣщено въ предѣлы времени, и когда идеи разума должны осуществиться въ человѣчествѣ. Такъ размышляющій человѣкъ представляетъ себѣ добродѣтель, истину, блаженство; но человѣкъ дѣйствующій станетъ лишь обнаруживать добродѣтели, схватывать истину и наслаждаться блаженными днями. Дѣло физическаго и моральнаго образованія состоитъ въ томъ, чтобы поставить на мѣсто добрыхъ нравовъ—нравственность, на мѣсто свѣдѣній—познаніе, на мѣсто счастья—блаженство, т. е. чтобы свести вторые къ первымъ; дѣло эстетическаго образованія поставить красоту на мѣсто красотъ. Энергичная красота такъ же мало можетъ предохранить человѣка отъ нѣкотораго остатка дикости и черствости, какъ тающая не обережетъ его отъ извѣстной степени изнѣженности и истощенности. Дѣйствіе первой состоитъ въ напряженіи духа въ сферѣ физической и нравственной и увеличеніи его силы, поэтому-то слишкомъ часто противодѣйствіе темперамента и характера уменьшаетъ воспріимчивость къ впечатлѣніямъ, и придавливаетъ еще не окрѣпшую гуманность, въ то время, какъ это униженіе должно было коснуться лишь грубой природы; и грубая природа пользуется увеличеніемъ силы, которая была предназначена лишь свободной личности; поэтому то во времена развитія силы и мощи дѣйствительно великое въ представленіи часто встрѣчается въ связи съ чудовищнымъ и сказочнымъ, а возвышенное настроеніе—въ связи съ отвратительными, прорывающимися страстями; напротивъ того, во времена развитія порядка и формы, природа часто будетъ являться униженной и покоренной и также часто оскорбленной и превзойденной. Такъ какъ дѣйствіе тающей красоты на душу въ сферѣ физической и моральной заключается въ растворенiи, то случается часто, что вмѣстѣ съ силою страстей глохнетъ и энергія чувства, и что характеръ испытываетъ потерю силы, которая должна была коснуться однѣхъ только страстей. Потому то въ такъ называемыя утонченныя эпохи нѣжность часто вырождается въ изнѣженность, остроуміе въ пошлость, корректность въ пустоту, либеральность въ произвольность, легкость въ фривольность, спокойствіе въ апатію и презрѣннѣйшая карикатура часто встрѣчается рядомъ съ прелестнѣйшею человѣчностью. Тающая красота является потребностью для че-

ловѣка, находящагося подъ гнетомъ матеріи или формы, ибо величіе и сила уже давно коснулись его, прежде чѣмъ онъ началъ ощущать грацію и гармонію. Энергичная красота является потребностью для человѣка при снисходительности вкуса, ибо онъ очень часто теряетъ, въ эпоху утонченности искусства, ту силу, которую онъ перенялъ изъ состоянія дикости. Теперь, я полагаю, объяснено и открыто то противорѣчіе, которое обыкновенно встрѣчается въ сужденіяхъ людей о вліяніи красоты и о значеніи эстетической культуры. Это противорѣчіе перестаетъ быть таковымъ какъ только мы вспомнимъ, что въ опытѣ встрѣчается двоякая красота, и что обѣ стороны утверждаютъ относительно всего рода то, что можетъ быть доказано лишь относительно каждаго изъ двухъ видовъ. Это противорѣчіе исчезнетъ, какъ только будетъ различена двоякая потребность человѣчества, которой соотвѣтствуетъ эта двоякая красота. Итакъ, обѣ стороны по всей вѣроятности окажутся правыми, если только онѣ условятся, какой видъ красоты и какую форму человѣчества онѣ имѣютъ ввиду.

Въ дальнѣйшемъ ходѣ моего изслѣдованія я послѣдую по тому пути, которымъ сама природа ведетъ человѣка, и подымусь отъ видовъ красоты къ ея родовому понятію. Я изслѣдую воздѣйствіе тающей красоты на напряженнаго человѣка и воздѣйствіе энергичной красоты на разслабленнаго, для того чтобы подъ конецъ примирить оба противоположныхъ вида въ единствѣ идеала красоты, подобно тому какъ эти двѣ противоположныя формы человѣчества объединены въ идеалѣ человѣка.

ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ.

Пока дѣло шло лишь о томъ, чтобы вывести общую идею красоты изъ понятія человѣческой природы, мы не должны были вспоминать другихъ предѣловъ послѣдней, кромѣ тѣхъ, которые заключены въ непосредственной ея сущности и неотдѣлимы отъ понятія конечности. Не обращая вниманія на случайныя ограниченія, зависящія отъ условій явленія, мы почерпали понятіе красоты непосредственно изъ разума, какъ источника всякой необходимости, и вмѣстѣ съ идеаломъ человѣчества намъ былъ данъ и идеалъ красоты.

Теперь же мы спустимся изъ области идей на сцену дѣйствительности, чтобы встрѣтить человѣка въ нѣкоторомъ опредѣленномъ состояніи, т. е. при ограниченіяхъ, которыя проистекаютъ не только изъ непосредственнаго его понятія, но и изъ внѣшнихъ обстоятельствъ и изъ случайнаго пользованія свободою. Но какъ-бы многообразно ни была ограничена въ немъ идея человѣчности, все жъ одно лишь содержаніе ея показываетъ намъ, что могутъ быть только два противоположныхъ вида отклоненій отъ нея. Если совершенство человѣка заключается въ энергичномъ согласіи его чувственныхъ и духовныхъ силъ, то онъ можетъ утратить это совершенство только путемъ недостатка согласія или же недостатка энергіи. Даже не выслушавши показаній опыта по этому вопросу, мы уже напередъ, изъ одного разума, извлекаемъ увѣренность, что найдемъ дѣйствительнаго человѣка или въ состояніи напряженія, или же въ состояніи ослабленія, смотря по тому, нарушаетъ ли односторонняя дѣятельность отдѣльныхъ силъ гармонію его существа, или же единство его натуры основывается на равномѣрномъ ослабленіи его чувственныхъ и духовныхъ силъ. Теперь мы докажемъ, что оба противоположныхъ предѣла уничтожаются красотою, которая возстановляетъ въ напряженномъ человѣкѣ гармонію, а въ ослабленномъ энергію, и такимъ путемъ, сообразно природѣ красоты, приводитъ ограниченное состояніе къ безусловному и дѣлаетъ человѣка законченнымъ въ самомъ себѣ цѣлымъ.

Итакъ, красота отнюдь не нарушаетъ въ дѣйствительности того понятія, которое мы составили себѣ о ней путемъ умозрѣнія; только она въ первомъ случаѣ гораздо менѣе свободна, чѣмъ во второмъ, въ которомъ мы могли примѣнить понятіе красоты къ чистому понятію человѣчества. Въ человѣкѣ, какимъ онъ является въ опытѣ, красота имѣетъ уже испорченный и неуступчивый матеріялъ, который отнимаетъ у нея ровно столько ея идеальнаго совершенства, сколько онъ примѣшиваетъ своей индивидуальной качественности. Поэтому въ дѣйствительности красота всегда будетъ проявляться какъ отдѣльный и ограниченный видъ и никогда—какъ чистый родъ. Въ напряженныхъ душахъ она потеряетъ часть своей свободы и разнообразія, въ ослабленныхъ—часть своей живительной силы. Насъ же теперь, когда мы ближе познакомились съ ея истиннымъ характеромъ, это противорѣчивое явленіе не будетъ болѣе путать. Мы не станемъ, подобно большинству рутин-

ныхъ критиковъ, опредѣлять ея понятіе путемъ отдѣльныхъ указаній опыта, и не станемъ дѣлать ее отвѣтственной за недостатки, которые встрѣчаются подъ ея вліяніемъ въ человѣкѣ; мы теперь знаемъ, что это самъ человѣкъ переноситъ на красоту несовершенство своей индивидуальности, вѣчно препятствуетъ ей стать совершенной, благодаря субъективной ограниченности, и принижаетъ ея абсолютный идеалъ, обнаруживая его лишь въ двухъ ограниченныхъ формахъ явленія.

Тающая красота, какъ мы утверждали, соотвѣтствуетъ напряженной душѣ, энергичная — ослабленной. Напряженнымъ я называю человѣка, какъ въ томъ случаѣ, когда онъ находится подъ гнетомъ ощущеній, такъ и въ томъ, когда онъ находится подъ гнетомъ понятій. Каждое исключительное господство одного изъ его основныхъ стремленій для человѣка является состояніемъ угнетенія и насилія; свобода встрѣчается лишь въ согласномъ дѣйствіи его обѣихъ натуръ. Такимъ образомъ односторонне угнетенный чувствами или чувственно напряженный человѣкъ, освобождается и растворяется формою; односторонне угнетенный законами или духовно напряженный человѣкъ растворяется и освобождается матеріей.

Итакъ, тающая красота, дабы удовлетворить этой двойной задачѣ, явится въ двухъ различныхъ образахъ: она, во-первыхъ, умиротворитъ спокойствіемъ формы дикую жизнь и приложитъ путь къ переходу отъ ощущеній къ мышленію; во-вторыхъ, какъ живой образъ, она снабдитъ отвлеченную форму жизненной силою, она вновь обратитъ понятіе къ созерцанію и законъ къ чувству. Первую услугу окажетъ она человѣку природы, вторую—человѣку искусства. Но такъ какъ она въ обоихъ случаяхъ не вполнѣ свободно владѣетъ матеріаломъ, но зависитъ отъ него, ибо матеріалъ доставляется ей или безформенной природою или противоестественнымъ искусствомъ, то она въ обоихъ случаяхъ будетъ нести на себѣ слѣды своего происхожденія, и въ первомъ случаѣ болѣе приблизится къ матеріальной жизни, во второмъ къ отвлеченной формѣ.

Чтобы составить себѣ понятіе, въ какомъ смыслѣ красота можетъ стать средствомъ, уничтожающимъ эту двойную напряженность, мы должны попытаться изслѣдовать ея источникъ въ человѣческой душѣ; поэтому, рѣшитесь еще на краткую остановку въ области умозрѣнія, чтобы потомъ покинуть его навсегда и вступить съ тѣмъ большей увѣренностью на поле опыта.

ПИСЬМО ВЕСЕМНАДЦАТОЕ.

Чувственнаго человѣка красота ведетъ къ формѣ и къ мышленію, духовнаго человѣка красота направляетъ обратно и возвращаетъ чувственному міру.

Изъ этого, кажется, слѣдуетъ, что должно быть среднее состояніе между матеріей и формою, между страданіемъ и дѣятельностью, и что красота приводитъ насъ къ этому среднему состоянію. И дѣйствительно, такое понятіе о красотѣ составляетъ себѣ большинство людей, какъ только они начинаютъ разсуждать о ея вліяніи, и всѣ указанія опыта приводятъ къ этому. Но съ другой стороны, нѣтъ ничего болѣе нелѣпаго и болѣе противорѣчиваго, чѣмъ это понятіе, такъ какъ разстояніе между матеріей и формою, страданіемъ и дѣятельностью, между ощущеніемъ и мышленіемъ—безконечно и безусловно ничѣмъ не можетъ быть сглажено. Какимъ-же образомъ уничтожить это противорѣчіе? Красота соединяетъ противуположныя состоянія ощущенія и мышленія, и все же между ними безусловно не можетъ быть средняго. Первое удостовѣрено опытомъ, второе разумомъ.

Вотъ коренная точка, къ которой въ концѣ концовъ сводится весь вопросъ о красотѣ, и если намъ удастся удовлетворительно разрѣшить эту проблему, то вмѣстѣ съ тѣмъ мы найдемъ нить, которая выведетъ насъ изъ лабиринта всей эстетики.

Но нужно въ данномъ случаѣ обратить вниманіе на два весьма различныхъ дѣйствія, которыя при этомъ изслѣдованіи должны по необходимости помогать другъ другу. Мы сказали, что красота соединяетъ два состоянія, которыя другъ другу противоположны и не могутъ никогда объединиться. Изъ этого противоположенія мы и должны исходить; мы должны представить себѣ его во всей его строгости и чистотѣ и признать, что оба состоянія раздѣлены самымъ рѣшительнымъ образомъ, въ противномъ случаѣ мы будемъ смѣшивать, вмѣсто того, чтобы соединять. Во-вторыхъ, мы сказали: красота соединяетъ эти два противоположныхъ состоянія и такимъ образомъ уничтожаетъ противоположность. Но такъ какъ оба состоянія вѣчно остаются противоположными, то ихъ нельзя

иначе соединить, какъ уничтоживъ ихъ. Итакъ, наша вторая задача будетъ состоять въ томъ, чтобы сдѣлать это соединеніе полнымъ, привести это состояніе къ такой чистотѣ и полнотѣ, чтобы оба состоянія совершенно исчезли въ третьемъ, и чтобы въ цѣломъ не осталось никакихъ слѣдовъ дѣленія, въ противномъ случаѣ мы не будемъ соединять, а лишь отдѣлять.

Всѣ споры, которые велись въ философскомъ мірѣ изъ-за понятія красоты и отчасти ведутся и до настоящаго времени, происходили отъ того, что изслѣдованіе начинали безъ достаточно строгаго разграниченія или же не доводили его до вполнѣ чистаго объединенія. Тѣ философы, которые, размышляя объ этомъ предметѣ, довѣрялись руководству чувства, не могли получить понятія о красотѣ, такъ какъ они въ цѣломъ чувственнаго впечатлѣнія не могли различить единичнаго. Другіе, которые руководствуются исключительно разсудкомъ, не могутъ достичь понятія красоты, такъ какъ они не видятъ въ цѣлой красотѣ ничего иного, кромѣ ея частей, и для нихъ матерія и духъ, даже и въ полномъ ихъ объединеніи, остаются вѣчно раздѣленными. Первые боятся *динамически* уничтожить красоту, т. е. уничтожить ея творческую силу, если имъ придется раздѣлять то, что соединено въ чувствѣ; вторые боятся логически уничтожить красоту, т. е. ея понятіе, если имъ придется объединять то, что разсудокъ раздѣляетъ. Первые хотятъ мыслить красоту сообразно ея вліянію; вторые хотятъ заставить красоту дѣйствовать такъ, какъ она ими мыслится. Итакъ, обѣ стороны не могутъ найти истины, первые потому, что они своимъ ограниченнымъ мышленіемъ хотятъ подражать природѣ, вторые потому, что они хотятъ ограничить безконечную природу своими законами мысли. Первые боятся слишкомъ строгимъ расчлененіемъ лишить красоту ея свободы, вторые боятся уничтожить опредѣленность ея понятія слишкомъ смѣлымъ соединеніемъ. Однако, первые забываютъ, что свобода, въ которой они по справедливости видятъ сущность красоты, состоитъ не въ беззаконности, а въ гармоніи законовъ, не въ произвольности, а въ высшей внутренней необходимости. Вторые забываютъ, что опредѣленность, которую они съ полнымъ правомъ требуютъ отъ красоты, состоитъ не въ выдѣленіи извѣстной категоріи реальностей, но въ безусловномъ включеніи всѣхъ ихъ; забываютъ, что красота, слѣдовательно, не есть ограниченіе, а безконечность. Мы избѣжимъ подводныхъ камней, на которыхъ обѣ стороны потерпѣли крушеніе, если будемъ исходить изъ тѣхъ двухъ элементовъ, на которые красота распадается въ разсудкѣ, и въ то же время мы поднимемся къ чистому эстетическому единству, въ которомъ красота дѣйствуетъ на чувство, и оба указанныя состоянія совершенно исчезаютъ *).

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.

Вообще говоря, въ человѣкѣ можно различать два различныхъ состоянія активной и пассивной опредѣлимости и столько же состояній пассивной и активной опредѣленности.

Состояніе человѣческаго духа, предшествующее всякой опредѣленности и зависящее отъ чувственныхъ впечатлѣній, есть безграничная опредѣляемость. Безконечное въ пространствѣ и во времени предоставлено на свободное пользованіе воображенію, и такъ какъ, согласно допущенію, въ этомъ обширномъ царствѣ возможности ничто не установлено, а, слѣдовательно, ничто и не исключено, то это состояніе неопредѣленности можно назвать *пустою безконечностью*, которую отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ безконечной пустотой Но пусть способность ощущенія получитъ пищу и пусть одно изъ безконечнаго количества возможныхъ опредѣленій получитъ дѣйствительность; пусть въ этомъ состояніи возникнетъ представленіе. И вотъ то, что въ пред-

*) Внимательный читатель при чтеніи приведеннаго сравненія замѣтитъ, что эстетики-сенсуалисты, которые болѣе довѣряютъ показаніямъ ощущеній чѣмъ разсудка, въ дѣйствительности гораздо менѣе удаляются отъ истины, чѣмъ ихъ противники, хотя въ пониманіи красоты они со вторыми не могутъ равняться. И это отношеніе можно всегда встрѣтить при сравненіи природы и науки. Природа (чувства) всегда соединяетъ, разсудокъ всегда раздѣляетъ, но разумъ возсоединяетъ; поэтому человѣкъ, не затронутый философіей, ближе къ истинѣ, чѣмъ философъ, не закончившій своего изслѣдованія. Поэтому-то, безъ всякаго разсмотрѣнія, можно признать ложной ту философскую систему, результаты которой противорѣчатъ показаніямъ чувства всѣхъ людей; но съ тѣмъ же правомъ можно считать подозрительною ту систему, которая по формѣ и методу согласна съ общепринятыми показаніями чувствъ. Пусть послѣднее замѣчаніе утѣшитъ тѣхъ писателей, которые не преподносятъ философской дедукціи съ такою же легкостью, какъ разговоръ у камина, чего, какъ кажется, ждутъ многіе читатели. Первое замѣчаніе должно заставить замолчать всякаго, кто сталъ-бы строить новыя системы, противорѣчащія человѣческому разсудку.

шествовавшемъ состояніи простой опредѣлимости было лишь пустою способностью, становится теперь дѣйствующей силою, получаетъ содержаніе; но вмѣстѣ съ тѣмъ эта дѣйствующая сила получаетъ и границу, въ то время какъ простая способность была безграничною. Появилась реальность, но безконечность исчезла. Для того, чтобы описать въ пространствѣ фигуру, мы должны ограничить безконечное пространство; чтобы представить себѣ измѣненіе во времени, мы должны раздѣлить единое время. Итакъ, мы достигаемъ реальности лишь путемъ ограниченія, утвержденія ими истиннаго положенія—лишь путемъ отрицанія или исключенія, путемъ превращенія нашей свободной опредѣлимости въ опредѣленность.

Однако путемъ простого исключенія никогда не возникла бы реальность, и изъ простого ощущенія никогда не возникло бы представленіе, еслибъ не существовало того, изъ чего дѣлается исключеніе, еслибъ безусловное дѣйствіе духа не относило бы отрицаніе къ чему-то положительному, еслибъ отрицаніе не переходило бы въ противоположеніе; это дѣйствіе духа называется сужденіемъ или мышленіемъ, а результатъ его—мыслью.

Для насъ вообще не существуетъ пространства, пока мы не опредѣляемъ въ пространствѣ мѣста; однако мы никогда не опредѣлили бы мѣста безъ абсолютнаго пространства. То же самое справедливо и по отношенію ко времени. Для насъ вообще не существуетъ времени, пока намъ не дано мгновеніе; но мы никогда не имѣли бы представленія о мгновеніи, еслибъ не существовало вѣчности; итакъ, мы, конечно, достигаемъ цѣлаго лишь черезъ части, безграничнаго лишь черезъ границу; однако мы въ то же время получаемъ часть черезъ цѣлое, границу черезъ безграничное.

Если утверждаютъ, что прекрасное ведетъ человѣка отъ ощущенія къ мышленію, то этого не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что прекрасное можетъ заполнить пропасть, отдѣляющую ощущеніе отъ мышленія, страданіе отъ дѣятельности. Эта пропасть безконечна, и безъ посредства какой либо новой и самостоятельной способности изъ единичнаго никогда не возникнетъ общее, изъ случайнаго — необходимое. Мысль есть непосредственное дѣйствіе этой безусловной способности, которая сбнаруживается благодаря побужденію со стороны чувства, но въ своемъ обнаруженіи эта способность столь мало зависитъ отъ ощущеній, что проявляется именно въ противоположеніи имъ. Самостоятельность, съ которою она дѣйствуетъ, исключаетъ всякое чужое вліяніе. Красота можетъ стать средствомъ для человѣка перейти отъ матеріи къ формѣ, отъ ощущеній къ законамъ, отъ ограниченнаго къ безусловному мышленію, не тѣмъ, что она помогаетъ мышленію (это заключаетъ въ себѣ явное противорѣчіе), а лишь тѣмъ, что красота даруетъ силѣ мышленія свободу и возможность обнаруженія, согласнаго съ собственнымъ законодательствомъ.

Но это предполагаетъ возможность задержать свободу мышленія, что, повидимому, противорѣчитъ понятію самостоятельной способности. Способность, которая извнѣ получаетъ только содержаніе своего обнаруженія, можетъ быть задержана лишь отрицательнымъ путемъ, т. е. устраненіемъ содержанія, и тотъ показываетъ непониманіе природы духа, кто приписываетъ чувственности силу, могущую положительнымъ образомъ угнетать свободу духа. Правда, опытъ доставляетъ множество примѣровъ, что усиленіе чувственности влечетъ за собой соразмѣрное угнетеніе силы разума, однако, вмѣсто того, чтобы выводить эту слабость духа изъ усиленія аффекта, слѣдуетъ, наоборотъ, преобладающую силу аффекта объяснить слабостью духа, ибо чувства представляютъ собою въ человѣкѣ могущество лишь въ томъ случаѣ, когда духъ, въ силу своей свободы, отказался отъ обнаруженія собственнаго могущества.

Желая этимъ объясненіемъ предупредить одно возраженіе, я, кажется, запутался въ другомъ и спасъ самостоятельность духа лишь на счетъ единства его; ибо какимъ образомъ духъ можетъ въ себѣ самомъ найти основанія какъ для недѣятельности, такъ и для дѣятельности, если онъ самъ не раздѣленъ, если онъ самъ себѣ не противоположенъ?

Но здѣсь мы должны вспомнить, что имѣемъ дѣло съ конечнымъ духомъ, а не съ безконечнымъ. Конеченъ духъ, который становится дѣятельнымъ не иначе, какъ благодаря страданію, который достигаетъ безусловнаго лишь путемъ ограниченія, который дѣйствуетъ и образуетъ только поскольку онъ получаетъ содержаніе извнѣ. Такой духъ соединяетъ въ себѣ стремленіе къ формѣ или абсолютному съ стремленіемъ къ содержанію или границѣ, являющіяся условіями, внѣ которыхъ онъ не могъ бы ни имѣть, ни обнаруживать перваго

стремленія. Какимъ образомъ въ одномъ и томъ же существѣ могутъ сосуществовать двѣ столь противоположныя тенденціи,—это задача, которая можетъ затруднить метафизика, но не трансцендентальнаго философа. Этотъ вовсе не задается цѣлью объяснить возможность вещей и удовлетворяется опредѣленіемъ тѣхъ условій, изъ которыхъ можетъ быть понята возможность опыта. А такъ какъ опытъ столько же невозможенъ безъ этого противоположенія въ духѣ, сколько и безъ его абсолютнаго единства, то трансцендентальный философъ съ полнымъ правомъ устанавливаетъ необходимость обоихъ понятій, какъ условій опыта, не заботясь о возможности ихъ соединенія. Но это сосуществованіе двухъ основныхъ стремленій вовсе не противорѣчитъ безусловному единству духа, если только мы будемъ различать самый духъ отъ этихъ двухъ стремленій. Оба стремленія, дѣйствительно, существуютъ и дѣйствуютъ въ немъ, но самъ онъ не есть ни матерія, ни форма, ни чувственность, ни разумъ—это, кажется, не достаточно взвѣсили тѣ, кто представляетъ себѣ духъ дѣйствующимъ самостоятельно лишь тогда, когда онъ согласуется съ разумомъ, а когда онъпротиворѣчитъ разуму считаютъ его пассивнымъ.

Каждое изъ этихъ двухъ основныхъ стремленій, развившись, жаждетъ, согласно своей природѣ и по необходимости, удовлетворенія, но именно потому воля получаетъ полную свободу среди нихъ, что оба необходимы и оба стремятся къ противоположнымъ объектамъ и такимъ образомъ уничтожается двойное понужденіе. Итакъ, воля относится къ этимъ двумъ стремленіямъ, какъ сила (какъ основаніе дѣйствительности), но ни одно изъ нихъ не можетъ стать само по себѣ силою противною другому. Положительнѣйшее стремленіе къ правдѣ, котораго не лишенъ и насильникъ, не удерживаетъ этого послѣдняго отъ несправедливости, подобно тому какъ живѣйшее искушеніе къ наслажденію не можетъ увлечь человѣка съ сильной волей къ нарушенію его принциповъ. Въ человѣкѣ нѣтъ иной силы кромѣ его воли, и только то, что уничтожаетъ человѣка,—смерть и всякій перерывъ сознанія,—можетъ уничтожить въ немъ внутреннюю свободу.

Необходимость внѣ насъ опредѣляетъ путемъ ощущеній наше состояніе, наше бытіе во времени. Они совершенно непроизвольны, и мы должны страдать въ той мѣрѣ, въ какой мы подвластны ихъ вліянію. Но необходимость внутри насъ обнаруживаетъ нашу личность по поводу ощущеній, путемъ противоборства имъ, ибо самосознаніе не можетъ зависѣть отъ воли, которая предполагаетъ его. Это непосредственное обнаруженіе личности не есть наша заслуга, какъ и отсутствіе его не есть наша оплошность. Только отъ того слѣдуетъ требовать разума, т. е. безусловной послѣдовательности и универсальности сознанія, кто обладаетъ самосознаніемъ. Безъ него онъ не человѣкъ, и отъ него нельзя ожидать дѣйствія, достойнаго человѣчества. И какъ метафизикъ не можетъ объяснить себѣ границъ, которыя свободный и самостоятельный духъ испытываетъ отъ ощущеній, точно такъ же и физикъ не понимаетъ безконечности, которая обнаруживается въ личности по причинѣ этихъ границъ. Отвлеченіе и опытъ не могутъ привести насъ обратно къ источнику, изъ коего проистекаютъ наши понятія объ общности и необходимости. Раннее появленіе во времени скрываетъ ихъ отъ наблюдателя, а сверхчувственное происхожденіе—отъ метафизика. Но какъ бы то ни было, самосознаніе появилось, а вмѣстѣ съ неизмѣннымъ его единствомъ установленъ и законъ единства для всего, что существуетъ *для* человѣка, для всего, что должно возникнуть *благодаря* человѣку путемъ его познанія и дѣятельности. Уже въ возрастѣ чувственности появляются понятія истины и права, и нѣтъ возможности избѣжать или исказить или понять ихъ; и вѣчное во времени, а необходимое въ случайности становятся замѣтными, безъ того, чтобы мы были въ состояніи сказать, откуда и какимъ путемъ они возникли. Вотъ какъ возникаютъ ощущеніе и самосознаніе, безъ всякаго содѣйствія субъекта, и это возникновеніе лежитъ за предѣлами нашей воли и за предѣлами нашего познанія.

Но если оба дѣйствительны, и если человѣкъ путемъ ощущенія получаетъ опытъ опредѣленнаго существованія, а путемъ самопознанія опытъ своего безусловнаго существованія, то вмѣстѣ съ объектами обоихъ проявляются и два основныхъ стремленія человѣка. Чувственное стремленіе возникаетъ вмѣстѣ съ жизненнымъ опытомъ (съ началомъ индивида), разумное—съ опытомъ закона (съ началомъ личности), и только теперь, когда оба стремленія получили бытіе, дана *человѣчность*. Пока этого нѣтъ, въ человѣкѣ все происходитъ по закону необходимости; но теперь его по-

кидаетъ рука природы, и его уже дѣло удержать человѣчность, которую природа вложила въ него и проявила въ немъ. Какъ только въ немъ начнутъ дѣйствовать два противоположныхъ основныхъ стремленія, тотчасъ оба теряютъ свою принудительность, и противоположность двухъ необходимостей позволяетъ возникнуть свободѣ [1]).

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ.

Уже изъ самого понятія свободы ясно, что на нее не можетъ быть вліянія, но изъ предшествующаго съ тою же необходимостью слѣдуетъ, что свобода есть слѣдствіе природы (понимая это слово въ самомъ обширномъ смыслѣ), а не дѣло человѣка, такъ что свобода можетъ быть естественными средствами усилена и задержана. Свобода возникаетъ лишь тогда, когда человѣкъ законченъ, когда оба стремленія развились въ немъ; итакъ, она должна отсутствовать, пока человѣкъ не полонъ, пока одно изъ стремленій исключено, и напротивъ, свобода вновь возстановляется всѣмъ тѣмъ, что возвращаетъ человѣку его полноту.

Возможно, однако, указать моментъ, какъ въ цѣломъ родѣ, такъ и въ единичномъ человѣкѣ, когда человѣкъ не законченъ и когда въ немъ дѣятельно исключительно одно изъ стремленій. Мы знаемъ, что человѣкъ начинаетъ простою жизнью, чтобы перейти къ формѣ, что онъ ранѣе индивидъ, чѣмъ личность, что онъ переходитъ къ безконечности отъ ограниченія. Итакъ, чувственное стремленіе обнаруживается ранѣе, чѣмъ разумное, ибо ощущеніе предшествуетъ сознанію, и въ этомъ первенствѣ чувственнаго стремленія мы находимъ разгадку всей исторіи человѣческой свободы.

Только въ одномъ моментѣ стремленіе къ жизни, которому еще не противодѣйствуетъ стремленіе формы, дѣйствуетъ, какъ нѣчто природное и необходимое, когда чувственность является силою, ибо существованіе человѣка еще не началось, такъ какъ въ самомъ человѣкѣ не можетъ быть иной силы, кромѣ воли. Однако въ состояніи мышленія, къ которому человѣкъ теперь долженъ перейти, наоборотъ, именно разумъ долженъ быть силою, и мѣсто физической необходимости должна заступить необходимость логическая или нравственная. Итакъ, сила ощущенія должна быть уничтожена, прежде чѣмъ законъ заступитъ мѣсто ощущенія. Недостаточно того, чтобы началось нѣчто, чего ранѣе не было, необходимо, чтобы прекратилось нѣчто, что ранѣе было. Человѣкъ не можетъ непосредственно перейти отъ ощущенія къ мышленію; онъ долженъ сдѣлать шагъ назадъ, ибо только благодаря тому, что уничтожается извѣстная опредѣленность, можетъ наступить иная. Итакъ, онъ долженъ, дабы замѣнить страданіе самостоятельностью и пассивное опредѣленіе активнымъ, мгновенно освободиться отъ всякаго опредѣленія и пройти чрезъ состояніе простой опредѣляемости. Ему необходимо въ извѣстномъ смыслѣ вернуться къ отрицательному состоянію простой неопредѣленности, въ которомъ онъ находился въ то время, когда ничто еще не вліяло на его чувства. Это состояніе было лишено всякаго содержанія, и теперь необходимо соединить неопредѣленность и безграничную опредѣлимость съ наивозможно большимъ содержаніемъ, ибо непосредствено изъ этого состоянія должно возникнуть нѣчто положительное. Опредѣленіе, которое человѣкъ получаетъ благодаря ощущеніямъ, должно быть удержано, ибо онъ не долженъ терять реальность, но вмѣстѣ съ тѣмъ она должна быть уничтожена, поскольку заключаетъ въ себѣ ограниченіе, ибо должна наступить неограниченная опредѣляемость. Итакъ, задача состоитъ въ томъ, чтобы въ одно и то же время и уничтожить и сохранить опредѣленность состоянія, а это возможно лишь однимъ способомъ, а именно противоположеніемъ ей иной опредѣленности. Чашки вѣсовъ находятся въ равновѣсіи, пока онѣ пусты, но онѣ также будутъ находиться въ равновѣсіи, если на нихъ положить одинаковую тяжесть.

Итакъ, духъ переходитъ отъ ощущенія къ мышленію путемъ средняго настроенія, въ которомъ чувственность и разумъ одновременно дѣятельны, но именно поэтому взаимно уничтожаютъ свою опредѣляющую силу и создаютъ, путемъ противоположенія, отрицаніе. Это среднее настроеніе, въ ко-

[1]) Для избѣжанія всякихъ недоразумѣній я замѣчу, что всякій разъ, когда здѣсь рѣчь идетъ о свободѣ, то имѣется въ виду не та свобода, которая присуща человѣку, какъ существу интеллектуальному, и которая не можетъ быть ему дана или отнята, но лишь та, которая основывается на его смѣшанной природѣ. Тѣмъ, что человѣкъ дѣйствуетъ разумно, онъ доказываетъ свободу перваго рода; тѣмъ, что онъ подъ гнетомъ матеріи дѣйствуетъ разумно и подъ гнетомъ законовъ разума дѣйствуетъ матеріально, онъ добываетъ свободу второго рода. Можно было бы послѣднюю свободу объяснить простою возможностью первой.

торомъ духъ не чувствуетъ ни физическаго, ни нравственнаго понужденія, но дѣятеленъ тѣмъ и инымъ способомъ, заслуживаетъ быть названнымъ свободнымъ настроеніемъ по преимуществу, и если состояніе чувственной опредѣленности назвать физическимъ, а состояніе разумнаго опредѣленія назвать логическимъ или нравственнымъ, то это состояніе реальной и активной опредѣляемости слѣдуетъ назвать—эстетическимъ [1]).

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.

Существуетъ, какъ я отмѣтилъ въ началѣ предшествующаго письма, двоякаго рода состояніе опредѣлимости и двоякаго рода состояніе опредѣленности. Теперь я могу пояснить это положеніе.

Духъ опредѣляемъ лишь постольку, поскольку онъ вообще не опредѣленъ; но онъ въ то же время опредѣляетъ постольку, поскольку не исключительно опредѣляетъ, т. е. поскольку не ограниченъ въ своемъ опредѣленіи. Первое—простое отсутствіе опредѣленія (духъ не имѣетъ границъ, ибо не имѣетъ и реальности), второе—эстетическая опредѣлимость (духъ не имѣетъ границъ, ибо содержитъ въ себѣ всю реальность).

Духъ опредѣленъ, поскольку онъ только ограниченъ, но онъ опредѣленъ также и постольку, поскольку онъ ограничиваетъ себя своею собственною безусловною мощью. Въ первомъ положеніи духъ находится, когда онъ ощущаетъ, во второмъ, когда онъ мыслитъ. Итакъ, то, что мышленіе представляетъ собою по отношенію къ опредѣленію, эстетическое настроеніе представляетъ собой по отношенію къ опредѣлимости. Первое—это ограниченіе путемъ внутренней, неисчерпаемой силы, второе—это отрицаніе путемъ внутренней безконечной полноты. Подобно тому, какъ ощущеніе и мышленіе соприкасаются лишь въ одной точкѣ, а именно въ томъ, что въ обоихъ состояніяхъ духъ опредѣленъ, что человѣкъ является исключительно однимъ изъ двухъ—или индивидомъ, или личностью,—во всемъ же остальномъ они до безконечности различны, точно также и эстетическая опредѣлимость лишь въ одномъ пунктѣ совпадаетъ съ простою неопредѣленностью, а именно въ томъ, что обѣ исключаютъ опредѣленное бытіе, будучи во всемъ остальномъ столь же безконечно различны, какъ ничто и все. Если представлять себѣ послѣднюю, т. е. неопредѣленность, происходящей отъ недостатка, *пустою безконечностью*, то слѣдуетъ реальную ея противоположность, т. е. эстетическую свободу опредѣленія представлять, какъ *полную безконечность*. Это представленіе, полнѣйшимъ образомъ совпадаетъ съ тѣмъ, что говорено въ предыдущемъ изслѣдованіи.

Итакъ, въ эстетическомъ отношеніи человѣкъ является нулемъ, если обращать вниманіе лишь на единичный результатъ, а не на всю способность и если принять въ разсчетъ отсутствіе всякой особой опредѣленности. Поэтому слѣдуетъ вполнѣ согласиться съ тѣми, которые считаютъ прекрасное и состояніе духа, проистекающее изъ прекраснаго, совершенно безразличными и безплодными съ точки зрѣнія познанія и убѣжденія. Они совершенно правы: ибо красота не доставляетъ ничего ни разсудку, ни волѣ; она не преслѣдуетъ никакой ин-

---

[1]) Для читателей, которымъ не вполнѣ доступно истинное значеніе этого слова, коимъ невѣжество столь злоупотребляло, будетъ небезполезно слѣдующее объясненіе: всѣ предметы, могущіе стать явленіемъ, могутъ быть представляемы въ четырехъ отношеніяхъ. Предметъ можетъ непосредственно относиться къ нашему физическому состоянію (нашему бытію, благополучію)—въ этомъ физическое его качество; или же онъ можетъ относиться къ разуму и доставлять намъ познаніе—это его логическое качество; или же предметъ можетъ относиться къ нашей волѣ и можетъ быть разсматриваемъ, какъ предметъ выбора для разумнаго существа—это нравственное его качество; или же, наконецъ, предметъ можетъ относиться къ совокупности, ко всѣмъ нашимъ различнымъ силамъ, не будучи объектомъ для каждой въ отдѣльности—это эстетическое его качество. Человѣкъ можетъ быть пріятнымъ своею услужливостью; онъ можетъ своею бесѣдою наводить насъ на размышленіе; онъ можетъ своимъ характеромъ внушать намъ уваженіе; наконецъ, онъ можетъ, независимо отъ всего этого, нравиться намъ только какъ явленіе, безъ того, чтобы мы при его обсужденіи принимали въ разсчетъ какой-либо законъ или имѣли въ виду какую-либо цѣль. Въ послѣднемъ случаѣ мы разсматриваемъ его съ точки зрѣнія эстетики. Точно также можно говорить о воспитаніи здоровья, о воспитаніи ума, о воспитаніи нравственности, о воспитаніи вкуса и воспріимчивости къ красотѣ. Это послѣднее имѣетъ въ виду гармоническое развитіе совокупности нашихъ чувственныхъ и духовныхъ силъ. Я еще отмѣчу здѣсь, ради полноты, что часто подъ вліяніемъ ложнаго вкуса и ошибочнаго разсужденія вносятъ въ понятіе эстетичнаго понятіе произвольнаго (эти письма объ эстетическомъ воспитаніи не имѣютъ почти иной цѣли, какъ устраненіе этой ошибки); духъ въ эстетическомъ настроеніи свободенъ и даже въ высшей мѣрѣ свободенъ отъ всякаго принужденія, однако онъ не свободенъ отъ законовъ, и эстетическая свобода отличается отъ логической необходимости мышленія и отъ нравственной необходимости воли только тѣмъ, что законы, по которымъ дѣйствуетъ духъ, не сознаются и не кажутся принужденіемъ, потому что не вызываютъ противодѣйствія.

теллектуальной или нравственной цѣли. Она не находитъ ни одной истины, не помогаетъ выполненію какой-либо обязанности и въ одинаковой мѣрѣ неспособна создать характеръ или же просвѣтить разсудокъ. Итакъ, эстетическая культура нисколько не опредѣляетъ личнаго значенія или достоинства человѣка, поскольку они могутъ зависѣть отъ него самого, и ею достигается лишь одно, что человѣку дается теперь природная возможность сдѣлать изъ себя то, что онъ хочетъ, что ему вполнѣ возвращается свобода быть тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть.

Но именно этимъ достигнуто нѣчто безконечное; ибо если мы вспомнимъ, что человѣкъ былъ лишенъ именно этой свободы благодаря одностороннему понужденію со стороны природы въ ощущеніяхъ и благодаря исключительному законодательству разума въ мышленіи, то мы должны разсматривать эту способность, которая ему возвращается въ эстетическомъ настроеніи, какъ величайшій даръ, какъ даръ человѣчества. Конечно, человѣкъ уже обладаетъ человѣчностью въ формѣ предрасположенія, ранѣе всякаго опредѣленнаго состоянія, въ которомъ она могла бы проявиться, но фактически онъ теряетъ ее въ каждомъ опредѣленномъ состояніи, въ какое онъ попадаетъ, и она должна быть ему возвращаема вновь черезъ посредство эстетической жизни каждый разъ, когда онъ хочетъ перейти въ противоположное состояніе [1]).

Итакъ, это не только поэтическая вольность, но и справедливо съ точки зрѣнія философа, если называть красоту нашей второй создательницей; ибо, хотя она даетъ намъ человѣчность лишь въ возможности, предоставляя нашей свободной волѣ осуществить эту возможность въ той или другой мѣрѣ, все же красота имѣетъ нѣчто общее съ природою, нашей первоначальной создательницею, которая тоже даруетъ намъ лишь возможность человѣчности, пользованіе же ею предоставляется нашему собственному волевому опредѣленію.

[1]) Правда, быстрота, съ которой нѣкоторые характеры переходятъ отъ ощущеній къ мышленію и къ рѣшеніямъ, дѣлаетъ едва замѣтнымъ или даже вовсе незамѣтнымъ эстетическое настроеніе, черезъ которое они должны были пройти въ это время. Подобные люди не могутъ продолжительное время вынести состоянія неопредѣленности и бурно стремятся къ цѣли, которой не находятъ въ состояніи эстетической неограниченности. Напротивъ того, у другихъ эстетическое состояніе значительно распространяется, а именно у тѣхъ, которые находятъ наслажденіе въ чувствѣ духовной полноты, а не въ единичномъ его дѣйствіи. Первые боятся пустоты, для вторыхъ столь же невыносимо ограниченіе. Мнѣ незачѣмъ напоминать, что первые созданы для детальной обработки и для мелочей жизни, вторые же, поскольку они соединяютъ съ своей способностью и реальность, предназначены для цѣлаго и для важныхъ ролей.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ.

Итакъ, если эстетическое настроеніе духа, въ извѣстномъ отношеніи, должно быть приравнено нулю, а именно, поскольку мы будемъ смотрѣть на единичныя и опредѣленныя слѣдствія, то въ другомъ отношеніи его нужно разсматривать какъ состояніе высшей реальности, поскольку мы обращаемъ вниманіе на отсутствіе всякихъ границъ и на сумму тѣхъ силъ, которыя совокупно въ немъ дѣйствуютъ. Итакъ, нельзя отказать въ правотѣ и тѣмъ, которые эстетическое состояніе считаютъ плодотворнѣйшимъ для познанія и нравственности. Они совершенно правы: ибо настроеніе духа, которое заключаетъ въ себѣ всю человѣчность, по необходимости должно въ возможности заключать и каждое отдѣльное ея выраженіе. Настроеніе духа, которое устраняетъ изъ всей человѣческой природы всякія ограниченія, должно по необходимости устранить ихъ и изъ каждаго отдѣльнаго ея обнаруженія; именно потому это настроеніе благопріятствуетъ всѣмъ функціямъ человѣчества безъ различія, что оно не принимаетъ подъ свое покровительство одной какой-либо функціи въ отдѣльности, и потому оно не покровительствуетъ какой-либо отдѣльной функціи, что въ немъ находится основаніе всѣхъ ихъ. Всѣ остальныя упражненія даютъ духу какое-нибудь спеціальное умѣніе, но зато полагаютъ въ немъ и особое ограниченіе, лишь эстетическое настроеніе ведетъ къ безграничному. Всякое другое состояніе, въ какомъ бы мы могли очутиться, указываетъ на предшествующее и для своего разрѣшенія нуждается въ послѣдующемъ; только эстетическое настроеніе представляетъ цѣлое само въ себѣ, такъ какъ оно соединяетъ въ себѣ всѣ условія своего возникновенія и продолженія. Только въ немъ мы чувствуемъ себя изъятыми изъ потока времени, и наша человѣчность проявляется въ такой чистотѣ и неприкосновенности, какъ будто-бы она еще нисколько не затронута какими-бы то ни было вліяніями внѣшнихъ силъ.

Что льститъ нашимъ чувствамъ путемъ непосредственнаго ощущенія, то дѣлаетъ

нашу нѣжную и подвижную душу доступной всякому впечатлѣнію, но въ той же мѣрѣ дѣлаетъ насъ менѣе способными къ усилію. Что напрягаетъ наши умственныя силы и приглашаетъ къ отвлеченному мышленію, то укрѣпляетъ нашу душу ко всякаго рода сопротивленію, но въ той же степени дѣлаетъ ее болѣе грубою и менѣе впечатлительною, въ какой поощряетъ бо́льшую самодѣятельность. Поэтому то какъ одно, такъ и другое, по необходимости, въ концѣ концовъ ведетъ къ истощенію, ибо матерія не переноситъ продолжительнаго лишенія формующей силы, а сила не можетъ быть долгое время безъ матеріи, стремящейся принять форму. Въ тотъ моментъ, когда мы предаемся наслажденію истинной красотой, мы въ одинаковой мѣрѣ владѣемъ нашими дѣятельными и страдательными силами, и тогда мы способны съ одинаковой легкостью обратиться какъ къ серьезному дѣлу, такъ и къ игрѣ, къ покою или движенію, къ уступчивости или противодѣйствію, къ отвлеченному мышленію или созерцанію.

Вотъ это высокое душевное равновѣсіе и свобода духа, соединенныя съ силою и бодростью, и даютъ то настроеніе, которое должно оставлять въ насъ истинное художественное произведеніе: лучшаго пробнаго камня эстетической доброкачественности не существуетъ. Если послѣ наслажденія подобнаго рода мы находимся въ настроеніи, призывающемъ насъ къ какой-либо особой дѣятельности или особой впечатлительности, къ другой же мы оказываемся непригодными и „не въ духѣ", то это является лучшимъ доказательствомъ того, что мы не испытали чистаго эстетическаго дѣйствія, независимо отъ того, заключалась ли причина нашей неудачи въ предметѣ, или же въ нашей впечатлительности, или же въ томъ и другой вмѣстѣ (какъ это почти всегда бываетъ).

Такъ какъ въ дѣйствительности чисто эстетическаго дѣйствія не бываетъ—ибо человѣкъ никогда не можетъ стать внѣ зависимости отъ силъ, то превосходство извѣстнаго произведенія искусства можетъ состоять лишь въ большемъ его приближеніи къ идеалу эстетической чистоты, и при всей свободѣ, до какой оно можетъ возвыситься, мы все же его понимаемъ въ своеобразномъ настроеніи и въ особомъ направленіи духа. Родъ извѣстнаго искусства и отдѣльное произведеніе его тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ общѣе настроеніе и чѣмъ неограниченнѣе направленіе духа, которое вызвано этимъ родомъ искусства и этимъ отдѣльнымъ его произведеніемъ. Это можно провѣрить на произведеніяхъ различныхъ искусствъ, а также на различныхъ произведеніяхъ одного и того же искусства. Хорошая музыка вызываетъ въ насъ усиленіе чувствительности, прекрасное стихотвореніе—оживленіе воображенія, а прекрасное произведеніе скульптуры или зданіе—пробужденіе разсудка; но тотъ дурно выбралъ бы время, кто пригласилъ бы насъ къ отвлеченному мышленію послѣ высокаго музыкальнаго наслажденія или же направилъ бы насъ на размѣренную обыденную житейскую дѣятельность непосредственно послѣ высокаго поэтическаго наслажденія, или захотѣлъ бы воспалить наше воображеніе и чувство непосредственно послѣ созерцанія прекрасныхъ картинъ и скульптуръ. Причина въ томъ, что даже самая идейная музыка стоитъ въ болѣе близкой связи съ чувствами, благодаря ея матеріи, чѣмъ то можетъ допустить истинная эстетическая свобода, что самое удачное стихотвореніе болѣе участвуетъ въ произвольной и случайной игрѣ воображенія, благодаря своей средѣ, чѣмъ то дозволяетъ внутренняя необходимость истинно прекраснаго, что самая превосходная картина, благодаря опредѣленности ея понятія—и она то можетъ быть еще болѣе всѣхъ другихъ граничитъ съ серьезной наукой. Однако эти особыя связи все болѣе и болѣе теряются въ зависимости отъ степени высоты, каковой достигаетъ извѣстное произведеніе этихъ трехъ родовъ искусства, и то, что различныя отрасли искусства въ ихъ дѣйствіи на души становятся все болѣе и болѣе похожими, не нарушая при этомъ своихъ объективныхъ границъ, есть необходимое и естественное слѣдствіе совершенства. Наиболѣе высокая и благородная музыка должна дѣйствовать на насъ съ спокойной силою произведенія древности. Скульптура въ ея высшемъ совершенствѣ должна стать музыкою и трогать насъ своей непосредственно чувственной стороною; поэзія въ ея высшемъ развитіи должна насъ охватывать подобно музыкѣ, но въ то же время должна насъ окружить, подобно пластикѣ, спокойной ясностью. Именно тѣмъ обнаруживается совершенство стиля въ извѣстномъ искусствѣ, что онъ умѣетъ устранить специфическія ограниченія искусства, не уничтожая специфическихъ преимуществъ, и придавая ему болѣе общій характеръ благоразумнымъ пользованіемъ особенностей искусства.

Но художникъ долженъ преодолѣть не только ограниченія, зависящія отъ характера извѣстнаго искусства, но также и тѣ, которыя вытекаютъ изъ матерьяла, съ которымъ ему приходится работать. Въ истинно прекрасномъ произведеніи искусства все должно зависѣть отъ формы, и ничего—отъ содержанія, ибо только форма дѣйствуетъ на всего человѣка, содержаніе же—лишь на отдѣльныя силы. Содержаніе, какъ бы ни было оно возвышенно и всеобъемлюще, все-жъ дѣйствуетъ на душу ограничивающимъ образомъ, и истинной эстетической свободы можно ожидать лишь отъ формы. Итакъ, настоящій секретъ художника заключается въ томъ, чтобы формою уничтожить содержаніе. И тѣмъ больше торжество искусства, отодвигающаго содержаніе и господствующаго надъ нимъ, чѣмъ величественнѣе, соблазнительнѣе и внушительнѣе содержаніе само по себѣ, чѣмъ болѣе оно со своимъ дѣйствіемъ выдвигается на первый планъ или же чѣмъ болѣе зритель склоненъ поддаться содержанію. Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполнѣ свободною и не пораженною; она должна выйти изъ заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною, какъ и изъ рукъ Творца. Самый простѣйшій предметъ долженъ получить такую обработку, чтобы въ насъ осталось настроеніе, дозволяющее намъ перейти непосредственно отъ него къ самой строгой серьезности. Самый строгій сюжетъ долженъ быть такъ трактованъ, чтобы въ насъ осталась способность замѣны его самою легкою игрою. Искусства, имѣющія дѣло со страстями, какъ напр. трагедія, не представляютъ противорѣчія этому требованію: ибо, во-первыхъ, они не вполнѣ свободныя искусства, такъ какъ они служатъ опредѣленной (патетической) цѣли, а во-вторыхъ, ни одинъ истинный цѣнитель искусства не станетъ отрицать того, что и произведенія подобнаго рода тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе они щадятъ духовную свободу даже въ сильнѣйшей бурѣ аффектовъ. Существуетъ искусство, изображающее аффектъ, но искусство, вызывающее аффектъ—это противорѣчіе, ибо неизбѣжное слѣдствіе прекраснаго —освобожденіе отъ страстей. Столь же противорѣчиво понятіе искусства, имѣющее предметомъ обученіе (дидактическое искусство) или нравственное улучшеніе (моральное искусство), ибо ничтовъ такой мѣрѣ не противорѣчитъ понятію искусства, какъ стремленіе придать душѣ опредѣленную тенденцію.

Однако, если извѣстное произведеніе искусства вызываетъ впечатлѣніе своимъ содержаніемъ, то это еще не всегда доказываетъ отсутствіе въ немъ формы; это можетъ столь же часто свидѣтельствовать лишь объ отсутствіи формы у судящаго. Если онъ слишкомъ вялъ или напряженъ, если онъ привыкъ воспринимать все только путемъ разсудка или только путемъ чувствъ, то онъ обратитъ вниманіе даже въ самомъ цѣльномъ произведеніи только на части, и даже при самой красивой формѣ—только на содержаніе. Будучи воспріимчивымъ только по отношенію къ грубымъ элементамъ, онъ долженъ, чтобы найти наслажденіе въ эстетической организаціи какого-либо произведенія, раздробить его, а потомъ уже бережно собрать то разчлененіе, которое художникъ съ безконечнымъ искусствомъ старался спрятать въ гармоніи цѣлаго. Интересъ зрителя будетъ или моральный, или физическій, но только не эстетическій, какимъ бы ему слѣдовало быть.

Такіе читатели наслаждаются серьезнымъ, патетическимъ стихотвореніемъ точно проповѣдью, а банальнымъ и шутливымъ стихотвореніемъ—точно опьяняющимъ напиткомъ, и если они достаточно безвкусны, чтобы ждать моральнаго укрѣпленія отъ трагедіи или эпопеи,—будь то хотя бы Мессіада, то они несомнѣнно будутъ шокированы пѣснями въ анакреонтовскомъ или катулловскомъ родѣ.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ.

Я вновь берусь за нить своихъ изслѣдованій, которую оборвалъ только для того, чтобы изъ выставленныхъ мною положеній сдѣлать примѣненіе къ исполнительнымъ искусствамъ и къ обсужденію ихъ произведеній.

Итакъ, переходъ отъ страдательнаго состоянія въ ощущеніяхъ къ дѣятельному состоянію мышленія и воли совершается не иначе, какъ при посредствѣ средняго состоянія эстетической свободы, и хотя это состояніе нисколько не вліяетъ ни на наше разумѣніе, ни на наши убѣжденія, и слѣдовательно оставляетъ вполнѣ не затронутыми наше интеллектуальное и нравственное достоинство, но все жъ это состояніе есть необходимое условіе, безъ коего мы никакъ не можемъ достичь ни разумѣнія, ни убѣжденій. Однимъ словомъ, нѣтъ иного пути сдѣлать чувственнаго человѣка разумнымъ,

какъ только сдѣлавъ его сначала эстетичнымъ.

Но можетъ быть Вы усумнитесь въ безусловной необходимости такого посредничества. Неужели истина и долгъ сами по себѣ не могутъ найти доступа къ чувственному человѣку? На это я долженъ отвѣтить: не только могутъ, но они должны найти свою опредѣляющую силу только въ самихъ себѣ, и вполнѣ противорѣчило бы ранѣе мною изложенному, еслибъ меня приняли за защитника противоположнаго мнѣнія. Я вполнѣ доказалъ, что красота ничего не даетъ ни разсудку, ни волѣ, что красота не вмѣшивается въ дѣло мышленія и рѣшенія, что красота лишь дѣлаетъ человѣка способнымъ къ пользованію тѣмъ и другимъ, но нисколько не предрѣшаетъ этого пользованія и при этомъ нѣтъ нужды въ какой либо посторонней помощи, и чистая логическая форма должна непосредственно обращаться къ разсудку, подобно тому какъ чистая нравственная форма, законъ—къ волѣ.

Однако я утверждаю, что возможность къ этому, т. е. что для чувственнаго человѣка существуетъ чистая форма, дается лишь эстетическимъ настроеніемъ души. Истина не есть нѣчто, что могло-бы быть воспринятымъ извнѣ, подобно дѣйствительности или чувственному бытію предметовъ. Истину самодѣятельно и свободно создаетъ мышленіе; именно этой самодѣятельности и свободы и недостаетъ чувственному человѣку. Чувственный человѣкъ опредѣленъ уже (физически) и слѣдовательно не имѣетъ свободной опредѣлимости; эту потерянную опредѣлимость онъ долженъ вновь пріобрѣсть, прежде чѣмъ онъ будетъ въ состояніи замѣнить страдательную опредѣленность дѣятельной. Однако онъ не можетъ пріобрѣсть ее инымъ путемъ, какъ только потерею пассивной опредѣленности, которою онъ владѣлъ, или же черезъ обладаніе активною, къ которой ему слѣдуетъ еще перейти. Еслибъ онъ только лишился пассивной опредѣленности, то онъ вмѣстѣ съ нею потерялъ бы и возможность активной, ибо мысль нуждается въ тѣлѣ, и форма можетъ получить реальность только въ матеріи. Итакъ, онъ долженъ уже обладать формою, онъ долженъ быть одновременно и пассивно и активно настроеннымъ, т. е. онъ долженъ стать эстетичнымъ.

Итакъ, благодаря эстетическому настроенію духа открывается самодѣятельность разума въ сферѣ чувственности, и сила ощущенія является сломленной уже въ своихъ собственныхъ границахъ, природный же человѣкъ является настолько облагороженнымъ, что духовному остается только развиться по законамъ свободы изъ перваго. Поэтому-то шагъ отъ эстетическаго состоянія къ логическому и нравственному (отъ красоты къ истинѣ и долгу) безконечно легче, чѣмъ шагъ отъ физическаго состоянія къ эстетическому (т. е. отъ простой тупой жизни къ формѣ). Первый шагъ можетъ быть сдѣланъ человѣкомъ благодаря свободѣ, такъ какъ при этомъ онъ долженъ лишь войти въ себя, а не выходить изъ своихъ предѣловъ, лишь ограничить, а не распространить свою природу. Эстетически настроенный человѣкъ будетъ произносить общегодныя сужденія, будетъ дѣйствовать общегодно, лишь только онъ того захочетъ. Природа должна ему облегчить шагъ отъ грубой матеріи къ красотѣ, въ которой ему открывается совершенно новая дѣятельность, и воля безсильна по отношенію настроенія, которое создаетъ самую волю. Чтобы эстетическаго человѣка привести къ разумѣнію и къ высокимъ убѣжденіямъ, достаточно представить ему важныя побудительныя причины, въ то время какъ нужно вполнѣ пересоздать природу чувственнаго человѣка, чтобы добиться отъ него чего либо подобнаго. Въ первомъ случаѣ часто достаточно лишь повода къ какой либо возвышенной ситуаціи (которая дѣйствуетъ самымъ непосредственнымъ образомъ на волю), чтобы сдѣлать изъ человѣка героя или мудреца; во второмъ случаѣ человѣка нужно перенести подъ совершенно иное небо.

Итакъ, одна изъ важнѣйшихъ задачъ культуры состоитъ въ томъ, чтобы подчинить человѣка въ его природной жизни формѣ и сдѣлать его, насколько это зависитъ отъ царства красоты, эстетичнымъ; ибо только изъ эстетическаго, а не изъ природнаго, можетъ развиться нравственое состояніе.

Нужно заботиться о томъ, чтобы человѣкъ никогда не былъ только индивидомъ, чтобы онъ никогда не служилъ только законамъ природы, необходимо, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ онъ обладалъ способностью дѣлать свое сужденіе и свою волю сужденіемъ всего рода, чтобы онъ находилъ выходъ изъ ограниченнаго бытія къ безконечному и поднимался изъ зависимаго состоянія къ самостоятельности и свободѣ. Человѣкъ, чтобы быть способнымъ и готовымъ къ переходу отъ узкихъ предѣловъ природныхъ цѣлей къ цѣлямъ разумнымъ

долженъ подготовиться къ послѣднимъ, будучи еще во власти первыхъ, и долженъ выполнить съ нѣкоторою свободою духа, т. е. по законамъ красоты, свое физическое назначеніе.

И это онъ можетъ, притомъ нисколько не впадая въ противорѣчіе съ природною цѣлью. Требованія природы касаются лишь того, что онъ выполняетъ, т. е. лишь содержанія его дѣятельности, но цѣлями природы вовсе не предопредѣленъ способъ, какимъ онъ дѣйствуетъ, не предопредѣлена форма. Напротивъ того, требованія разума строго ограничены формою его дѣятельности. Вполнѣ необходимо ради его нравственнаго значенія, чтобы онъ былъ нравственнымъ, чтобы онъ обнаружилъ абсолютную самостоятельность, но вполнѣ безразлично его природному назначенію, будетъ ли онъ лишь природнымъ, будетъ ли онъ только безусловно страдательнымъ.

Итакъ, послѣднее вполнѣ зависитъ отъ его произвола, т. е. выполнитъ ли онъ свое природное назначеніе лишь какъ чувственное существо, какъ сила природы (т. е. какъ сила, которая дѣйствуетъ лишь постольку, поскольку испытываетъ воздѣйствіе), или же въ то же время и какъ безусловная сила, какъ разумное существо, причемъ не можетъ быть, конечно, вопроса о томъ, что болѣе соотвѣтствуетъ его достоинству: выполнять по чувственному побужденію то, на что онъ долженъ былъ рѣшиться по мотивамъ чистаго долга, настолько же унижаетъ и позоритъ его, насколько облагораживаетъ и возвышаетъ стремленіе къ законности, гармоніи и неограниченности въ тѣхъ случаяхъ, когда простой смертный удовлетворяетъ лишь своимъ дозволеннымъ желаніямъ [1]).

Однимъ словомъ, въ области истины и нравственности ощущеніе не имѣетъ права распоряжаться, однако въ сферѣ блаженства можетъ властвовать форма и стремленіе игры.

Итакъ, уже здѣсь на безразличномъ полѣ физической жизни человѣкъ долженъ начать нравственную жизнь; онъ долженъ обнаружить самодѣятельность уже въ сферѣ страданія, свободу разума уже въ сферѣ чувственныхъ границъ. На свои склонности онъ долженъ наложить законъ своей воли, онъ долженъ, если мнѣ будетъ дозволено это выраженіе, начать борьбу противъ матеріи еще въ ея собственныхъ границахъ, для того, чтобы ему не было надобности сражаться противъ этого страшнаго врага на священной почвѣ свободы. Онъ долженъ научиться благороднымъ вожделѣніямъ для того, чтобы ему не было необходимости хотѣть возвышеннаго. Этого можно достиг-

---

1) Это всестороннее и свободное обращеніе съ обыденной дѣйствительностью, гдѣ бы оно ни встрѣчалось, всюду представляетъ собой признакъ благородной души. Благородной называется вообще та душа, которая обладаетъ даромъ превращать въ безконечное даже самое пустяшное дѣло и самый незначительный предметъ, благодаря способу обращенія съ ними. Благородной называется всякая форма, которая придаетъ печать самостоятельности тому, что имѣетъ лишь служебное значеніе (есть только средство). Благородная душа не довольствуется тѣмъ, что сама свободна; она стремится къ тому, чтобы сдѣлать свободнымъ и все ее окружающее, даже безжизненное. Красота же есть единственно возможное выраженіе свободы въ явленіи. Поэтому-то преобладающее выраженіе разсудка въ какомъ-либо лицѣ, произведеніи художества и т. д. никогда не можетъ стать благороднымъ: оно не можетъ быть и красивымъ, ибо оно выдвигаетъ зависимость (которую нельзя отдѣлить отъ цѣлесообразности) вмѣсто того, чтобы скрыть ее. Философъ, занимающійся нравственностью, учитъ, что никогда нельзя сдѣлать больше того, чего требуетъ долгъ; и онъ, конечно, правъ, если имѣетъ ввиду лишь отношеніе дѣйствій къ нравственному закону. Однако, въ дѣйствіяхъ, имѣющихъ лишь отношеніе къ опредѣленной цѣли, перейти за предѣлы этой цѣли въ область сверхчувственнаго (что въ данномъ случаѣ можетъ лишь означать переходъ физическаго въ эстетическое)—это значитъ перейти и за предѣлы долга, ибо долгъ можетъ лишь предписать святость воли, но не святость самой природы. Итакъ, хотя съ точки зрѣнія нравственной нельзя превзойти долга, но это можно съ точки зрѣнія эстетической, и такое поведеніе называется благороднымъ. Многіе смѣшивали эстетическій излишекъ съ нравственнымъ именно потому, что въ благородствѣ всегда замѣтенъ излишекъ, ибо то, что могло-бы имѣть одну лишь матерьяльную цѣнность, получаетъ свободную и формальную цѣнность и соединяетъ съ внутренней цѣнностью, которую ему необходимо имѣть, еще и внѣшнюю, безъ коей оно могло-бы обойтись. Многіе также, будучи соблазнены видомъ благородства, вносили произволъ и случайность въ самую нравственность, чѣмъ уничтожали ее самое.

Отъ благороднаго поведенія слѣдуетъ отличать высокое. Первое переступаетъ предѣлы нравственной обязательности; второе этого не дѣлаетъ, хотя мы и цѣнимъ его гораздо выше, чѣмъ благородство. Цѣнимъ же мы его не потому, что оно превосходитъ разумное понятіе своего объекта (нравственнаго закона), а потому, что оно превосходитъ опытное понятіе своего субъекта (т. е. наше знаніе доброты и силы человѣческой воли). Наоборотъ, благородное поведеніе мы цѣнимъ не потому, что оно превосходитъ природу субъекта, изъ коей, напротивъ, оно должно истекать вполнѣ свободно, а потому, что оно отъ природы своего объекта (физической цѣли) распространяется въ царство духовъ. Въ случаѣ высокаго поведенія, мнѣ хотѣлось бы сказать, что мы удивляемся той побѣдѣ, которую предметъ, дѣло, одерживаетъ надъ человѣкомъ, во второмъ случаѣ мы удивляемся тому значенію, которое человѣкъ съумѣлъ придать предмету.

нуть путемъ эстетической культуры, которая подчиняетъ законамъ красоты то, въ чемъ человѣческій произволъ не связанъ ни законами природы, ни законами разума, и которая обнаруживаетъ внутреннюю жизнь уже въ формѣ, даваемой ею внѣшнему обнаруженію жизни.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ.

Итакъ, можно различать три момента или три ступени развитія, которыя по необходимости должны пройти какъ единичный человѣкъ, такъ и весь родъ, если они хотятъ выполнить весь кругъ своего назначенія. Отдѣльные періоды, конечно, могутъ быть сокращены или удлинены, въ зависимости отъ случайныхъ причинъ, находящихся въ зависимости отъ внѣшнихъ предметовъ или свободнаго произвола человѣка; однако, ни одна ступень не можетъ быть опущена вовсе, а также не можетъ быть измѣненъ порядокъ ихъ слѣдованія ни природою, ни волею. Человѣкъ въ его физическомъ состояніи подчиняется лишь силѣ природы, въ эстетическомъ состояніи онъ освобождается отъ этой силы и овладѣваетъ ею въ нравственномъ состояніи.

Что представляетъ собою человѣкъ, прежде чѣмъ красота вызоветъ въ немъ свободное наслажденіе, и спокойная форма умиротворитъ бурную жизнь? Онъ вѣчно однообразенъ въ своихъ цѣляхъ, постоянно измѣнчивъ въ своихъ сужденіяхъ, себялюбивъ, не будучи самимъ собою, не сдержанъ, не будучи свободнымъ, рабъ, не служащій опредѣленному правилу. Въ этотъ періодъ времени міръ для него представляется рокомъ, а не предметомъ; все имѣетъ для него бытіе, поскольку служитъ его бытію; для него не существуетъ того, что ему не приноситъ чего-либо или не отнимаетъ у него чего-либо; каждое отдѣльное явленіе представляется ему единичнымъ или отдѣленнымъ, подобно тому, какимъ и онъ является въ ряду существъ. Все существующее существуетъ для него лишь благодаря могуществу минуты; всякое измѣненіе для него есть новое твореніе, ибо необходимость въ немъ самомъ уничтожаетъ внѣшнюю необходимость, которая соединяетъ измѣнчивыя міровыя сочетанія и удерживаетъ на міровой сценѣ законъ въ то время, когда индивидъ спасается бѣгствомъ. Напрасно природа предъявляетъ его чувствамъ свое многообразное богатство; онъ видитъ въ ея превосходномъ изобиліи лишь свою добычу, въ силѣ и величіи природы лишь своего врага. Онъ или бросается на предметы и страстно стремится обладать ими, или же вещи дѣйствуютъ разрушительно на него, и онъ ихъ съ отвращеніемъ отталкиваетъ отъ себя. Въ обоихъ случаяхъ его непосредственное отношеніе къ чувственному міру выражается прикосновеніемъ, и онъ, постоянно мучимый напоромъ вещественнаго міра, вѣчно угнетенный властною страстью, ни въ чемъ иномъ не находитъ успокоенія, какъ только въ изнеможеніи, и видитъ предѣлы лишь въ истощенной страсти.

И хоть ему въ удѣлъ достались
Титановъ мощь и разрушительная сила,
Но Богъ сковалъ его чело желѣзомъ.
Совѣтъ и совѣсть, мудрость и терпѣніе
Сокрыли боги отъ взора мрачнаго его
И дикой страстью вѣетъ отъ его стремленій;
И безграничны его страсти...

*Ифигенія въ Таврид*ѣ.

Незнакомый съ человѣческимъ достоинствомъ, онъ не уважаетъ его и въ другихъ, и, сознавая свою дикую алчность, онъ боится ея въ каждомъ существѣ, которое ему подобно. Въ себѣ онъ никогда не узнаетъ другихъ, а лишь въ другихъ себя, и общество все уже и уже замыкаетъ его въ индивидуальности, вмѣсто того, чтобы возвести его до пониманія рода. Въ этой затхлой ограниченности протекаетъ его мрачная жизнь до тѣхъ поръ, пока благодѣтельная природа не сброситъ съ его омраченныхъ чувствъ бремени матеріи, пока рефлексія не отдѣлитъ его отъ предметовъ и пока предметы не появятся наконецъ отраженными въ сознаніи.

Само собой разумѣется, этого грубаго природнаго состоянія, въ томъ видѣ, въ какомъ оно здѣсь изображено, нельзя указать ни у какого опредѣленнаго народа въ опредѣленное время. Это только идея, но идея, которая въ частностяхъ самымъ точнымъ образомъ совпадаетъ съ опытомъ. Можно сказать, что человѣкъ никогда не находился въ этомъ животномъ состояніи, но онъ никогда вполнѣ и не освобождался отъ него. Даже въ самыхъ грубыхъ людяхъ можно найти несомнѣнные слѣды свободы разума, точно такъ же, какъ у самыхъ образованныхъ людей бываютъ моменты, напоминающіе это мрачное природное состояніе. Человѣку свойственно соединять въ своей природѣ самое высокое и самое низкое; достоинство его покоится на строгомъ различеніи перваго отъ второго, а

счастье на удачномъ уничтоженіи этого различія. Культурѣ, долженствующей привести въ согласіе его достоинство съ его счастьемъ, необходимо позаботиться о полнѣйшей чистотѣ этихъ двухъ принциповъ при тѣснѣйшемъ ихъ союзѣ.

Первое проявленіе разума въ человѣкѣ не представляетъ собой еще начала его человѣчности. Эта послѣдняя зависитъ отъ его свободы, и разумъ начинаетъ съ того, что дѣлаетъ безграничною свою чувственную зависимость,—явленіе важное и всеобщее, которое, какъ мнѣ кажется, недостаточно рязъяснено. Мы знаемъ, что разумъ проявляется въ человѣкѣ тѣмъ, что требуетъ безусловнаго (т. е. обоснованнаго самимъ собою и необходимаго). Это требованіе, не могущее найти удовлетворенія въ природномъ, заставляетъ совершенно покинуть природное и подняться отъ ограниченной дѣйствительности къ идеямъ.

Хотя истинный смыслъ этого требованія заключается въ томъ, чтобы вырвать человѣка изъ оковъ времени и вывести его изъ чувственнаго міра къ міру идеальному, однако, это требованіе, будучи не вѣрно понято,—что почти неизбѣжно въ періодъ временнаго господства чувственности, — можетъ быть направлено на природную жизнь и можетъ повергнуть человѣка въ самое ужасное рабство, вмѣсто того, чтобы сдѣлать его независимымъ.

И это дѣйствительно такъ. На крыльяхъ фантазіи покидаетъ человѣкъ узкіе предѣлы настоящаго времени, въ которые онъ поставленъ животною жизнью, дабы стремиться впередъ къ неограниченной будущности; однако, сердце его еще не перестало жить единичнымъ и служить минутѣ, въ то время какъ его шаткому воображенію стало доступнымъ безконечное. Это стремленіе къ безусловному захватываетъ его врасплохъ, во всей его животности,—и такъ какъ въ этомъ затхломъ состояніи всѣ его стремленія направлены лишь на матерьяльное и временное и ограничены лишь его индивидуальностью, то указанное требованіе побудитъ его только къ тому, чтобы распространить въ безпредѣльное свою индивидуальность, вмѣсто того, чтобы отвлечься отъ нея; вмѣсто того, чтобы стремиться къ формѣ, онъ будетъ искать неизсякаемой матеріи; вмѣсто неизмѣннаго онъ будетъ стремиться къ вѣчному измѣненію и безусловному огражденію своего временнаго бытія. То же самое стремленіе, которое, будучи примѣнено къ его мышленію и дѣятельности, повело бы его къ истинѣ и нравственности, теперь, отнесенное къ его жизни и ощущеніямъ, создастъ лишь безпредѣльное желаніе, безусловную потребность. Итакъ, первые плоды, которые достанутся человѣку въ царствѣ духа — это забота и страхъ: и та, и другой—слѣдствія разума, не чувственности; но разума, который по ошибкѣ, схватился не за тотъ предметъ, разума, относящаго непосредственно свой императивъ къ матеріи.

Всѣ безусловныя системы эвдаймонизма суть плоды этого древа, независимо отъ того, касаются-ли они лишь сегодняшняго дня, или цѣлой жизни и вѣчности, отъ чего эти системы вовсе не становятся болѣе достойными уваженія. Безграничная продолжительность бытія и благосостоянія только ради самого бытія и благосостоянія—представляетъ лишь идеалъ вожделѣнія, т. е. требованіе, которое могло бы быть поставлено лишь животностью, стремящейся въ безусловное. Человѣкъ, благодаря подобному проявленію разума, теряетъ лишь счастливую ограниченность животнаго, не выигрывая ничего по отношенію къ своей человѣчности; онъ теперь получаетъ лишь предъ животнымъ то незавидное преимущество, что, благодаря стремленію въ даль, теряетъ господство надъ настоящимъ моментомъ; но въ этой безпредѣльной дали онъ не ищетъ ничего иного, кромѣ настоящаго момента.

Однако, чувственность еще долгое время будетъ подтасовывать отвѣтъ, хотя бы разумъ не ошибался ни относительно своего объекта, ни въ постановкѣ вопроса. Разумъ стремится, согласно своему понятію, къ безусловному соединенію и безотносительному основанію тотчасъ, какъ человѣкъ началъ пользоваться разсудкомъ и сталъ соединять окружающія явленія по причинамъ и цѣлямъ. Человѣкъ долженъ переступить за предѣлы чувственности для того, чтобы быть въ состояніи поставить себѣ подобное требованіе, но чувственность пользуется именно этимъ требованіемъ для того, чтобы вернуть себѣ бѣглеца. Именно здѣсь находится та точка, въ которой онъ могъ бы окончательно перейти отъ чувственнаго міра къ чистому царству идей, ибо разсудокъ вѣчно остается въ предѣлахъ условнаго и вѣчно предлагаетъ вопросы, не будучи въ состояніи дойти до предѣла. Но такъ какъ человѣкъ, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, еще не способенъ къ подобному отвлеченію, то онъ будетъ искать въ

сферѣ своего чувства то, чего онъ не можетъ найти въ сферѣ своего чувственнаго познанія и чего онъ еще не ищетъ за предѣлами этого познанія, въ чистомъ разумѣ; и, повидимому, онъ это найдетъ. Правда, чувственность не доставляетъ ему ничего такого, что имѣло бы основаніе въ себѣ и являлось бы закономъ для себя, но она показываетъ ему нѣчто, что не знаетъ никакого основанія и не уважаетъ никакого закона. Такъ какъ человѣкъ не можетъ успокоить вопрошающаго разсудка какимъ либо послѣднимъ, внутреннимъ основаніемъ, то онъ заставляетъ его по крайней мѣрѣ смолкнуть благодаря понятію безосновательнаго и останавливается въ предѣлахъ зависимости отъ матеріи, такъ какъ онъ еще не можетъ постичь высокой необходимости разума. Человѣкъ дѣлаетъ выгоду опредѣлителемъ всѣхъ своихъ дѣйствій, а слѣпой случай—властителемъ міра, ибо чувственность не знаетъ другой цѣли, кромѣ выгоды, и другой причины, кромѣ слѣпого случая.

Даже самое святое въ человѣкѣ, нравственный законъ, не можетъ избѣжать этой поддѣлки при первомъ своемъ появленіи въ чувственности. Такъ какъ нравственный законъ лишь запрещаетъ и говоритъ противъ интересовъ себялюбія, то онъ долженъ казаться человѣку до тѣхъ поръ чѣмъ-то внѣшнимъ, пока онъ не научится смотрѣть на себялюбіе, какъ на нѣчто внѣшнее, а на голосъ разума, какъ на истинную самость. Человѣкъ испытываетъ только оковы, которыя налагаются на него разумомъ, но не испытываетъ безконечнаго освобожденія, даруемаго разумомъ. Не чая въ себѣ достоинства законодателя, онъ испытываетъ лишь гнетъ и безсильное противодѣйствіе раба. Такъ какъ чувственное стремленіе предшествуетъ въ опытѣ нравственному, то первое и даетъ закону необходимости начало во времени, положительное происхожденіе, и путемъ несчастнѣйшаго заблужденія человѣкъ дѣлаетъ незыблемое и вѣчное въ себѣ признакомъ измѣняющагося. Человѣкъ старается убѣдить себя въ томъ, что понятіе права и неправды суть лишь законоположенія, имѣющія въ волѣ свое основаніе и не имѣющія сами по себѣ значенія во всѣ времена. Подобно тому какъ онъ въ объясненіи отдѣльныхъ явленій природы переступаетъ за предѣлы природы и ищетъ внѣ ея того, что можетъ быть найдено въ ея внутреннемъ законопорядкѣ, точно такъ же онъ переступаетъ границы разума въ объясненіи нравственности и теряетъ свою человѣчность, ища божество на этомъ пути.

Неудивительно, что религія, купленная цѣной его человѣчности, является достойной такого происхожденія, что человѣкъ не считаетъ безусловно и вѣчно обязательными законы лишь потому, что они не были таковыми во всѣ времена. Человѣкъ имѣетъ дѣло не со святымъ существомъ, а лишь съ всесильнымъ, поэтому духъ его богопочитанія—это страхъ, который его унижаетъ, а не благоговѣніе, которое возвеличиваетъ его въ собственныхъ глазахъ.

Хотя эти многоразличныя отклоненія человѣка отъ идеала своего назначенія и не могли имѣть мѣста въ одной и той же стадіи развитія,—такъ какъ человѣкъ на пути отъ безсмыслія къ ошибкѣ, отъ безволія къ порчѣ воли долженъ пройти нѣсколько ступеней—все жъ всѣ эти ступени суть слѣдствія природнаго состоянія, ибо во всѣхъ жизненное стремленіе господствуетъ надъ стремленіемъ къ формѣ. Единственно властный въ немъ принципъ—это матерія, независимо отъ того, сказалъ-ли разумъ свое слово, и годсподствуетъ ли надъ нимъ природное начало съ слѣпой необходимостью или же разумъ еще недостаточно очистился отъ чувственности и нравственность еще служитъ природѣ;—во всякомъ случаѣ человѣкъ по своей тенденціи еще существо чувственное, съ тою только разницей, что въ первомъ случаѣ оно неразумное, а во второмъ разумное животное. Но онъ не долженъ быть ни тѣмъ, ни другимъ, онъ долженъ быть человѣкомъ. Природа не должна властвовать надъ нимъ исключительно, а разумъ не долженъ господствовать условно надъ нимъ. Оба законодательства должны сосуществовать независимо другъ отъ друга и все жъ быть вполнѣ согласными.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.

Пока человѣкъ въ своемъ первомъ природномъ состояніи лишь пассивно воспринимаетъ чувственный міръ, лишь ощущаетъ, до тѣхъ поръ онъ въ полномъ съ нимъ единеніи и именно потому для него еще не существуетъ міра, что онъ самъ вполнѣ и только міръ. Только когда онъ въ эстетическомъ состояніи выходитъ изъ своихъ предѣловъ или созерцаетъ, тогда его личность выдѣляется изъ міра, и тогда для

него возникаетъ міръ, ибо онъ пересталъ быть съ нимъ въ единеніи [1]).

Размышленіе (рефлексія) представляетъ собою первое свободное отношеніе человѣка къ міру, его ощущающему. Страсть непосредственно схватываетъ предметъ, размышленіе отдаляетъ свой предметъ и именно этимъ путемъ дѣлаетъ его настоящей собственностью, которую нельзя утратить и которая такимъ образомъ спасена отъ страсти. Необходимость природы, нераздѣльно господствовавшая надъ человѣкомъ въ состояніи простого ощущенія, теряетъ въ рефлексіи свою силу, въ чувствахъ наступаетъ тотчасъ примиреніе, и само вѣчно измѣнчивое время прекращаетъ свой бѣгъ, разбросанные лучи сознанія соединяются во-едино, и обликъ безконечнаго, *форма*, отражается на бренной основѣ. Какъ только свѣтъ является въ человѣкѣ, такъ и внѣ его нѣтъ болѣе ночи; какъ только міръ наступаетъ внутри его, тотчасъ прекращается и міровая буря, и борющіяся силы природы находятъ покой въ твердыхъ предѣлахъ. Неудивительно поэтому, что древнія поэмы говорятъ объ этомъ событіи внутри человѣка какъ о революціи, происшедшей внѣ его, и мысль, одерживающую побѣду надъ временемъ, символизируютъ въ образѣ Зевса, прекращающаго царство Сатурна. Рабъ природы, человѣкъ ощущающій, тотчасъ становится ея законодателемъ, когда онъ мыслитъ природу; природа, которая ранѣе того господствовала при посредствѣ силы надъ нимъ, теперь стоитъ, какъ объектъ, передъ его судящимъ окомъ. То, что является для него объектомъ, не имѣетъ надъ нимъ силы, ибо чтобы стать объектомъ оно должно испытать его силу. Поскольку онъ придаетъ матеріи форму, и пока онъ придаетъ ее, до тѣхъ поръ онъ неуязвимъ ея послѣдствіями, ибо уязвить духъ можетъ только то, что отнимаетъ у него свободу, а онъ именно доказываетъ свою свободу тѣмъ, что устрояетъ безформенное. Только тамъ мѣсто страху, гдѣ грубая и безформенная масса господствуетъ и гдѣ въ неясныхъ границахъ колеблются мутныя очертанія; человѣкъ выше всякой природной угрозы, какъ только онъ сумѣетъ придать ей форму и превратить ее въ свой объектъ. Какъ только человѣкъ начнетъ выказывать свою самостоятельность по отношенію къ природѣ, какъ явленію, то тотчасъ онъ выказываетъ и свое достоинство по отношенію къ природѣ, какъ силѣ, и съ благородствомъ и свободою онъ возстаетъ противъ своихъ боговъ. Они сбрасываютъ личину привидѣній, которыми они пугали его дѣтство, и, становясь его представленіемъ, поражаютъ его въ его собственномъ образѣ. Божественное чудовище востока, управлявшее міромъ слѣпою мощью хищнаго животнаго, принимаетъ въ греческой фантазіи милые контуры человѣчества, царство титановъ гибнетъ, и безконечная мощь покорена безконечною формою.

Но потокъ моего воображенія привелъ меня къ самому центру духовнаго міра, въ то время какъ я искалъ лишь выхода изъ матерьяльнаго и перехода къ міру духовному. Красота, которую мы ищемъ, лежитъ за нами; мы перескочили черезъ нее, въ то время какъ мы перешли отъ непосредственной жизни къ чистой формѣ и къ чистому объекту. Такой скачекъ не свойственъ человѣческой природѣ, и, чтобы идти въ шагъ съ нею, мы должны вновь вернуться къ чувственному міру.

Красота, безъ сомнѣнія, есть созданіе свободнаго созерцанія, и съ нею мы вступаемъ въ міръ идей, но—это слѣдуетъ отмѣтить—она въ то же время не покидаетъ и чувственнаго міра, какъ это наблюдается въ области познанія истины. Истина—продуктъ чистаго отвлеченія отъ всего матерьяльнаго и случайнаго; она—чистый объектъ, въ которомъ не должно оставаться граница субъекта, чистая самодѣятельность, безъ примѣси страданія. Правда, и отъ высочайшаго отвлеченія можно найти обратный путь къ чувственности, ибо мысль соприкасается съ внутреннимъ чувствомъ, и представленіе логическаго и нравственнаго единенія переходитъ въ чувство ощущаемаго согласія. Но, когда мы наслаждаемся познаніемъ

---

1) Я еще разъ напоминаю, что эти двѣ ступени должны быть раздѣляемы въ идеѣ, въ опытѣ же онѣ болѣе или менѣе смѣшиваются. Не слѣдуетъ также думать, что было время, когда человѣкъ пребывалъ исключительно въ этомъ природномъ состояніи, и время, когда онъ отдѣлился отъ него вполнѣ. Какъ только человѣкъ *видитъ* предметъ, онъ перестаетъ пребывать исключительно въ природномъ состояніи и въ то же время ему не избѣжать этого природнаго состоянія, пока онъ будетъ видѣть предметы, ибо онъ можетъ видѣть только, поскольку онъ ощущаетъ. Тѣ три момента, которые я указалъ въ началѣ 24-го письма, опредѣляютъ, конечно, разсматриваемыя въ цѣломъ, 3 различныхъ эпохи въ развитіи всего человѣчества и въ цѣльномъ развитіи каждаго отдѣльнаго индивида, но они могутъ быть указаны и въ каждомъ отдѣльномъ воспріятіи объекта и представляютъ собою, однимъ словомъ, необходимыя условія всякаго чувственнаго познанія.

истины, мы въ то же время очень отчетливо различаемъ наше представленіе отъ нашего ощущенія; послѣднее мы разсматриваемъ, какъ нѣчто случайное, чего бы могло и не быть, при чемъ познаніе прекратилось бы и истина не перестала бы быть истиною. Но совершенно тщетною была бы попытка отдѣлить представленіе красоты отъ этого отношенія къ способности ощущенія; поэтому то мы не можемъ разсматривать первую, какъ слѣдствіе второй, но должны и ту, и другую разсматривать какъ находящіяся во взаимодѣйствіи, т. е. одновременно представляющія собой и слѣдствіе и причину. Въ нашемъ наслажденіи познаніемъ мы безъ труда различаемъ переходъ отъ дѣятельности къ страданію и совершенно отчетливо замѣчаемъ, что первая прекратилась, когда наступаетъ второе. Въ нашемъ наслажденіи красотою, напротивъ того, нельзя замѣтить подобной смѣны дѣятельности и страданія, и рефлексія здѣсь настолько претворяется въ чувствѣ, что намъ кажется, будто мы непосредственно ощущаемъ форму. Итакъ, красота дѣйствительно есть предметъ для насъ, ибо рефлексія есть условіе, благодаря которому мы можемъ имѣть ощущеніе красоты; но въ то же время красота есть состояніе нашего субъекта, ибо чувство является условіемъ, благодаря коему мы можемъ имѣть представленіе красоты. Она есть форма, поскольку мы ее созерцаемъ, но въ то же время она есть жизнь, ибо мы ее чувствуемъ. Однимъ словомъ, красота одновременно и наше состояніе, и наше дѣйствіе.

И именно потому, что она одновременно и то, и другое, красота и является превосходнымъ доказательствомъ, что страданіе нисколько не исключаетъ дѣятельности, матерія—формы и ограниченіе—безконечности, что, такимъ образомъ, нравственная свобода человѣка нисколько не уничтожается необходимою физическою зависимостью. Она это доказываетъ, и я долженъ прибавить, что только она можетъ это намъ доказать. Такъ какъ въ наслажденіи истиною или логическимъ единствомъ ощущеніе не необходимо соединено съ мыслью, но слѣдуетъ за нею случайно, то истина можетъ намъ лишь доказать, что чувственная природа можетъ слѣдовать за разумною и наоборотъ, но не можетъ доказать того, что онѣ сосуществуютъ, что онѣ находятся во взаимодѣйствіи, что онѣ должны быть безусловно и необходимо соединены. Напротивъ того, изъ устраненія чувства во время мышленія и мысли во время чувствованія, нужно заключить о несоединимости ихъ природы, и дѣйствительно анализъ не умѣетъ представить лучшаго доказательства существованія чистаго разума въ человѣчествѣ, какъ то, что онъ необходимъ. Но соединимость этихъ двухъ природъ, проявленіе безконечнаго въ конечномъ, а слѣдовательно, и возможность самой возвышенной человѣчности доказывается именно наслажденіемъ красотою или эстетическимъ единствомъ, представляющимъ дѣйствительное соединеніе и превращеніе матеріи въ форму, страданія въ дѣятельность.

Итакъ, насъ не долженъ болѣе смущать переходъ отъ чувственной зависимости къ нравственной свободѣ, такъ какъ красота представляетъ какъ доказательство совершеннаго сосуществованія первой со второю, такъ и доказательство того, что человѣку незачѣмъ отбрасывать матерію для того, чтобы проявить себя духовно. Но если человѣкъ свободенъ уже въ сообществѣ съ чувственностью, какъ это показываетъ фактъ красоты, и если свобода есть нѣчто безусловное и сверхчувственное, какъ это необходимо вытекаетъ изъ ея понятія, то не можетъ быть вопроса, какъ человѣкъ достигаетъ безусловнаго, исходя изъ ограниченія, какъ онъ противодѣйствуетъ чувственности своимъ мышленіемъ и волею, такъ какъ все это имѣется уже въ красотѣ. Однимъ словомъ, не можетъ быть вопроса о томъ, какъ онъ переходитъ отъ красоты къ истинѣ, которая въ возможности уже заключена въ красотѣ, а только лишь о томъ, какъ онъ пролагаетъ себѣ путь отъ пошлой дѣйствительности къ эстетической, или отъ пустого чувства жизни къ чувству красоты.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ.

Въ предшествующихъ письмахъ я показалъ, что эстетическое настроеніе души порождаетъ свободу, отсюда ясно, что оно не можетъ возникнуть изъ свободы и не можетъ имѣть въ нравственности своего источника. Оно должно быть даромъ природы. Только счастливый случай можетъ разорвать оковы физическаго состоянія и привести дикаря къ красотѣ.

Зародышъ красоты одинаково не разовьется тамъ, гдѣ скаредная природа лишила человѣка всякой услады, равно и тамъ, гдѣ расточительная—избавила его отъ необходимости всякаго усилія, гдѣ тупая

чувственность не имѣетъ потребностей и жгучая страсть не находитъ насыщенія. Не тамъ распускается миловидная красота, гдѣ человѣкъ—троглодитъ скрывается въ пещерахъ, будучи вѣчно одинокимъ и не находя внѣ себя человѣчества, и не тамъ, гдѣ онъ, какъ кочевникъ, скитается въ большихъ скопищахъ, будучи вѣчно лишь числомъ и никогда не находя въ себѣ человѣчества—а лишь тамъ только, гдѣ онъ въ собственной хижинѣ мирно живетъ самъ съ собою, и гдѣ онъ, переступивъ порогъ хижины, тотчасъ говоритъ всему роду. Только тамъ чувства и умъ, воспринимающая и творческая сила разовьются въ счастливомъ согласіи, которое есть условіе человѣчности и душа всякой красоты, гдѣ легкій эѳиръ дѣлаетъ чувства воспріимчивыми къ всякому легчайшему сопротивленію и энергичная теплота оживляетъ богатую зародышами массу, гдѣ царство слѣпой матеріи уже побѣждено въ мертвомъ созданіи и побѣдоносная форма облагородила даже самыя ея ничтожныя творенія; гдѣ радостны отношенія и благословенно небо, гдѣ дѣятельность ведетъ къ наслажденію, а наслажденіе къ дѣятельности; гдѣ изъ самой жизни проистекаетъ священный порядокъ и изъ закона порядка возникаетъ только жизнь; гдѣ воображеніе вѣчно бѣжитъ отъ дѣйствительности и все же никогда не покидаетъ природной простоты.

Какимъ же явленіемъ обнаруживается въ дикарѣ вступленіе его въ человѣчество? Какъ бы далеко ни шли мы вглубь временъ, оно одно и то же у всѣхъ племенъ, вышедшихъ изъ рабства звѣрскаго состоянія: наслажденіе внѣшностью, склонность къ украшеніямъ и играмъ.

Глубочайшая тупость и высочайшій умъ проявляютъ нѣкоторое сродство въ томъ, что оба ищутъ лишь реальнаго и совершенно не воспріимчивы къ простой показности. Покой первой можетъ быть нарушенъ лишь непосредственнымъ воспріятіемъ предмета, точно такъ же какъ второго можетъ упокоить лишь примѣненіе его понятій къ фактамъ опыта; однимъ словомъ, глупость не можетъ подняться надъ дѣйствительностью и разсудокъ не можетъ остановиться, не найдя истины. Что въ первомъ случаѣ происходитъ онъ недостатка воображенія, то во второмъ вызывается полнымъ господствомъ надъ нимъ. Поскольку потребность реальности и привязанность къ дѣйствительности являются лишь слѣдствіемъ недостатка, постольку равнодушіе относительно реальности и вниманіе къ показности являются истиннымъ расширеніемъ человѣчности и рѣшительнымъ шагомъ къ культурѣ. Во первыхъ, это есть доказательство внѣшней свободы, ибо воображеніе приковано твердыми узами къ дѣйствительности, пока нужда повелѣваетъ и потребность понуждаетъ, только когда потребность удовлетворена можетъ развиться свободная сила воображенія. Во вторыхъ, это доказываетъ и внутреннюю свободу, ибо обнаруживаетъ въ насъ силу, которая приводится въ движеніе сама собою независимо отъ внѣшней причины, и обладаетъ достаточнымъ напряженіемъ, чтобы отразить натискъ матеріи. Реальность предметовъ—это ихъ (т. е. предметовъ) дѣло, но показность предметовъ это дѣло человѣка, и духъ, наслаждающійся показностью, радуется уже не тому, что онъ воспринимаетъ, а тому, что онъ производитъ.

Само собой разумѣется, что здѣсь рѣчь идетъ лишь объ эстетической показности, отличной отъ дѣйствительности и истины, не о логической, которую часто смѣшиваютъ съ эстетическою, которую, слѣдовательно, любятъ потому, что она есть именно показность, а не за то, что она представляется чѣмъ то лучшимъ. Только первая показность — игра, вторая же — обманъ. Почитать за нѣчто показность перваго рода—не можетъ служить во вредъ истинѣ; ибо нѣтъ опасности отъ подмѣны, которая единственно и можетъ вредить истинѣ; презирать ее—значитъ вообще презирать всякое искусство, сущность котораго состоитъ въ показности. Однако, разсудку иногда случается быть въ своемъ стремленіи къ реальности настолько нетерпимымъ, что онъ презрительно судитъ обо всякомъ искусствѣ, потому что оно есть показность; но это можетъ случиться съ разсудкомъ лишь въ томъ случаѣ, когда онъ вспомнитъ о вышеупомянутомъ сродствѣ. Я буду еще имѣть случай сказать о необходимыхъ границахъ прекрасной показности. Сама природа подымаетъ человѣка отъ реальности къ показности, такъ какъ она снабдила его двумя чувствами, которыя ведутъ къ познанію дѣйствительности лишь путемъ показности. Въ зрѣніи и слухѣ производящее впечатлѣніе матерія ужеотстранена отъ чувства, и предметъ, который мы непосредственно осязаемъ низшими животными чувствами, удаленъ. То, что мы видимъ глазомъ, отлично отъ того, что мы ощущаемъ,

ибо разсудокъ перескакиваетъ черезъ свѣтъ къ самимъ предметамъ. Предметъ осязаніе— это насиліе, которое мы испытываемъ. Объектъ зрѣнія и слуха — это форма, которую мы создаемъ. Пока человѣкъ пребываетъ въ дикости, онъ ощущаетъ лишь низшими чувствами, которымъ въ этомъ періодѣ чувства показности лишь служатъ. Онъ или вовсе не возвышается до зрѣнія, или же оно его не удовлетворяетъ. Какъ только глазъ начинаетъ доставлять ему наслажденіе, и зрѣніе для него получаетъ самостоятельную цѣнность,—онъ тотчасъ становится эстетически свободнымъ, и въ немъ развивается стремленіе къ игрѣ. Тотчасъ по проявленіи стремленія къ игрѣ, находящемъ наслажденіе въ показности, разовьется и стремленіе къ подражанію, которое разсматриваетъ показность, какъ нѣчто самостоятельное. Когда человѣкъ въ состояніи различить показность отъ дѣйствительности, форму отъ тѣла, тогда онъ въ состояніи и отдѣлить ихъ другъ отъ друга: онъ уже сдѣлалъ это, различивъ ихъ. Итакъ, способность къ подражанію уже вообще дана вмѣстѣ съ формальной способностью. Стремленіе же къ ней покоится на иномъ качествѣ, о которомъ мнѣ здѣсь незачѣмъ говорить. Болѣе позднее или раннее развитіе эстетическаго стремленія къ искусству въ человѣкѣ зависитъ только отъ степени показности, съ которой онъ пребываетъ въ любви.

Такъ какъ всякое бытіе происходитъ отъ природы, какъ чуждой силы, всякая показность же первоначально отъ человѣка, какъ представляющаго, то человѣкъ лишь пользуется своимъ безусловнымъ правомъ собственности, когда онъ отнимаетъ отъ сущности показность и распоряжается ею по собственнымъ законамъ. Съ полною свободою онъ можетъ соединять то, что природа разъединила, если только это соединимо въ мысли, и раздѣлять соединенное природою, если только его разсудокъ допускаетъ подобное разъединеніе. Для человѣка въ этомъ случаѣ нѣтъ ничего святого, кромѣ собственнаго закона, лишь бы только онъ соблюдалъ границу, отдѣляющую его область отъ бытія предметовъ или области природы.

Этимъ человѣческимъ правомъ господства онъ пользуется въ искусствѣ показности, и чѣмъ строже онъ здѣсь разграничитъ „свое“ и „твое“, чѣмъ осторожнѣе онъ отдѣлитъ форму отъ сущности, чѣмъ большую самостоятельность онъ придастъ первой,—тѣмъ болѣе расширитъ онъ не только царство красоты, но оправдаетъ также и границы истины, ибо онъ не можетъ очистить показность отъ дѣйствительности, не освободивъ въ то же время и дѣйствительность отъ показности.

Это царское право принадлежитъ ему только въ мірѣ показности, только въ царствѣ воображенія, лишеннаго сущности, но только до тѣхъ поръ, пока онъ строжайше воздерживается отъ области теоріи и не утверждаетъ бытія своего міра фантазіи, и до тѣхъ поръ пока онъ отказывается, въ области практики, творить бытіе. Вы видите, что поэтъ въ одинаковой мѣрѣ переступаетъ за свои предѣлы, какъ въ томъ случаѣ, когда онъ приписываетъ своему идеалу бытіе, такъ и въ томъ, когда онъ стремится къ осуществленію опредѣленнаго предмета. Ибо и то и другое онъ можетъ лишь осуществить, нарушивъ право поэта, вторгшись въ область опыта своимъ идеаломъ и присвоивъ себѣ право опредѣлять простою возможностью дѣйствительное бытіе, или же тѣмъ, что онъ отказывается отъ правъ поэта, дозволяетъ опыту вторгнуться въ область идеала и тѣмъ ограничиваетъ возможность условіями дѣйствительности.

Показность эстетична, только поскольку она откровенна (т. е. рѣшительно отказывается отъ всякихъ притязаній на реальность) и поскольку она самостоятельна (т. е. отрѣшается отъ всякой помощи реальности). Когда показность фальшива и лицемѣрно реальна, когда она нечиста и нуждается для своего дѣйствія въ реальности, тогда показность есть не что иное, какъ низкое орудіе матеріальныхъ цѣлей, и отнюдь не служитъ доказательствомъ свободы духа. Впрочемъ, вовсе не необходимо, чтобы предметъ, въ которомъ мы находимъ красивую показность, былъ бы лишенъ реальности, лишь бы только наше сужденіе о немъ не обращало вниманія на эту реальность, ибо поскольку оно обращаетъ на реальность вниманіе, постольку сужденіе не эстетично. Живая женская красота нравится намъ, конечно, столько же, и даже немного болѣе, чѣмъ нарисованная, но поскольку первая нравится намъ болѣе чѣмъ послѣдняя, постольку она нравится намъ не только какъ самостоятельная показность и не только чистому эстетическому чувству; послѣднему и живое должно нравиться лишь какъ явленіе, и дѣйствительное только какъ идея; правда, чтобы на-

слаждаться въ живомъ предметѣ одною лишь чистою показностью, для этого требуется гораздо болѣе высокая степень эстетической культуры, чѣмъ для того, чтобы не испытывать лишенія, наслаждаясь безжизненной показностью. Тамъ, гдѣ мы у единичнаго человѣка или цѣлаго народа встрѣчаемся съ откровенною и самостоятельною показностью, тамъ мы вправѣ предположить и умъ, и вкусъ, и соединенную съ ними ловкость; тамъ идеалъ управляетъ дѣйствительною жизнью, честь торжествуетъ надъ собственностью, мысль—надъ наслажденіемъ и мечта о безсмертіи—надъ бытіемъ. Тамъ единственно страшнымъ является общественное мнѣніе, и оливковый вѣнокъ тамъ будетъ въ большемъ почетѣ, чѣмъ пурпуровое платье. Къ ложной и бѣдной показности прибѣгаетъ лишь безсиліе и извращенность; отдѣльные люди и цѣлые народы доказываютъ свое нравственное ничтожество и эстетическое безсиліе, когда они поддѣлываютъ дѣйствительность показностью и (эстетическую) показность дѣйствительностью,—то и другое часто сочетается въ одно. Итакъ, краткій и ясный отвѣтъ на вопросъ „въ какой мѣрѣ допустима показность въ нравственномъ мірѣ?“ таковъ: въ той мѣрѣ, въ какой эта показность эстетична, т. е. такая показность, которая не выдаетъ себя за реальность и не нуждается въ томъ, чтобы реальность вступалась за нее. Эстетическая показность отнюдь не можетъ быть опасною чистотѣ нравовъ, и гдѣ дѣло обстоитъ иначе, тамъ съ легкостью можно показать, что показность не была эстетичною. Только человѣкъ, незнакомый напр. съ красивыми формами обращенія, приметъ увѣренія вѣжливости, представляющей общую форму, за признакъ личнаго расположенія, и, разочаровавшись, будетъ жаловаться на неискренность. Но только человѣкъ, ничего не понимающій въ красивыхъ формахъ обращенія, призоветъ фальшь на помощь, чтобы быть вѣжливымъ, и станетъ льстить, чтобы понравиться. Первому еще недостаетъ пониманія самостоятельной показности, поэтому онъ можетъ ей придать значеніе лишь путемъ истины, второму недостаетъ реальности, и онъ хотѣлъ бы замѣнить ее показностью.

Нѣтъ ничего болѣе обычнаго, какъ жалоба тривіальныхъ современныхъ критиковъ, что въ мірѣ исчезла всякая солидность, и что ради показности пренебрегаютъ сущностью. Хотя я вовсе не чувствую призванія оправдывать современность отъ этого упрека, однако уже изъ того обобщенія, которое строгіе цѣнители нравовъ придаютъ своему обвиненію, совершенно ясно, что они жалуются не только на ложную показность современной эпохи, но и на откровенную. Даже исключеніе, которое они дѣлаютъ въ пользу красоты, касается скорѣе нуждающейся, чѣмъ самостоятельной показности. Они нападаютъ не только на румяна обманщика, заслоняющія истину и становящіяся на мѣсто дѣйствительности, они ревнуютъ и противъ благодѣтельной показности, заполняющей пустоту и прикрывающей бѣдноту, а также и противъ идеальной показности, облагораживающей пошлую дѣйствительность. Ихъ строгая любовь къ истинѣ по справедливости оскорблена испорченностью нравовъ, только жаль, что и вѣжливость они относятъ къ испорченности. Имъ не нравится, что внѣшній мишурный блескъ такъ часто затемняетъ истинныя добродѣтели. Имъ не менѣе непріятно и то, что требуютъ показность отъ добродѣтели и отъ красивой оболочки не отказываются тогда, когда за ней имѣется и внутреннее содержаніе. Но имъ недостаетъ сердечности, мужественности и солидности прежнихъ временъ, но въ то же время они желали бы вновь видѣть угловатость и грубость древнихъ временъ, тяжеловѣсность старыхъ формъ, прежнюю готическую расточительность. Подобными сужденіями они оказываютъ такой почетъ матеріи самой по себѣ, который не достоинъ человѣчества.

Человѣчество должно бы цѣнить матерьяльное лишь постольку, поскольку оно способно воспринять форму и служить для распространенія царства идеи. Итакъ, къ подобнымъ критикамъ не зачѣмъ прислушиваться вкусу нынѣшняго столѣтія, если только онъ можетъ оказаться состоятельнымъ, передъ судомъ болѣе высокой инстанціи. Строгій судья красоты могъ бы сдѣлать намъ упрекъ, что мы еще не постигли чистой показности, что мы еще не достаточно отдѣлили бытіе отъ явленія, и, такимъ образомъ, не обезопасили еще границъ обоихъ, но онъ не упрекнетъ насъ въ томъ, что мы придаемъ значеніе эстетической показности (которую мы далеко еще не цѣнимъ такъ, какъ бы слѣдовало). Этотъ упрекъ мы заслуживаемъ до тѣхъ поръ, пока мы не можемъ наслаждаться прекраснымъ въ природѣ, безъ желанія обладать имъ, прекраснымъ въ искусствѣ,—неспраши-

вая о цѣли его, пока мы не признаемъ за воображеніемъ собственнаго безусловнаго законодательства и не укажемъ на его достоинство тѣмъ, что станемъ оказывать уваженіе созданіямъ воображенія.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ.

Хотя бы высокое понятіе объ эстетической показности, которое я старался выяснить въ предшествующихъ письмахъ, и стало общепринятымъ, то Вамъ всежь нечего было бы бояться за реальность и истину. Это понятіе не можетъ стать общепринятымъ, пока человѣкъ продолжаетъ быть на столько необразованъ, чтобы злоупотреблять имъ, а если бъ оно стало общепринятымъ, то это могло-бы случиться лишь благодаря культурѣ, которая сдѣлаетъ злоупотребленіе показностью невозможнымъ. Стремленіе къ самостоятельной показности требуетъ большей способности къ отвлеченію, большей свободы сердца, большей энергіи воли, чѣмъ необходимо человѣку для того, чтобы ограничиться реальностью, и человѣкъ долженъ покончить съ реальностью для того, чтобы достичь показности. Какъ дурно выбралъ бы онъ свой путь, если бъ онъ направился къ идеалу для того, чтобы сократить путь къ дѣйствительности! Итакъ, показность, какъ мы ее здѣсь выяснили, нисколько не опасна для дѣйствительности; но тѣмъ большая опасность грозитъ показности отъ дѣйствительности. Прикованный къ матерьяльному міру, человѣкъ долгое время заставляетъ показность служить своимъ цѣлямъ, прежде чѣмъ онъ признаетъ за искусствомъ идеала самостоятельную личность. Для этого необходимъ совершенный переворотъ всего способа ощущать, безъ чего человѣкъ не нашелъ бы даже доступа къ идеалу. Мы можемъ предположить подобное пересозданіе его природы и настоящее начало человѣчности тамъ, гдѣ мы откроемъ слѣды свободной, незаинтересованной оцѣнки чистой показности. Слѣды подобнаго рода, дѣйствительно, встрѣчаются уже въ самыхъ грубыхъ попыткахъ украшенія человѣческаго бытія, которыя человѣкъ дѣлаетъ, не опасаясь даже того, что онъ этимъ путемъ ухудшаетъ чувственное содержаніе жизни. Какъ только человѣкъ начинаетъ форму предпочитать матеріи и не щадитъ реальности ради показности, (которую онъ однако долженъ признать таковою), тотчасъ сфера его животнаго бытія развивается, и онъ вступаетъ на путь, которому нѣтъ предѣла.

Не довольствуясь тѣмъ, чѣмъ удовлетворяется природа и чего требуетъ нужда, онъ стремится къ роскоши; сначала, конечно, лишь къ матерьяльному избытку, для того, чтобы скрыть отъ страсти ея границы, чтобы обезопасить наслажденіе и за предѣлами настоящей потребности; но вскорѣ онъ стремится и къ избытку, присоединенному къ матеріи, къ эстетической прибавкѣ, дабы удовлетворить и формальное стремленіе, дабы распространить наслажденіе за предѣлы всякой потребности. Собирая лишь запасы для будущаго пользованія и уже заранѣе наслаждаясь ими въ воображеніи, онъ переступаетъ за предѣлы настоящаго времени, не переступая предѣловъ времени вообще: онъ *больше* наслаждается, но наслаждается *не иначе*. Однако, внеся въ сферу своего наслажденія образы и обращая вниманіе на формы предметовъ, удовлетворяющихъ его потребностямъ, человѣкъ не только увеличиваетъ свое наслажденіе въ объемѣ и степени интенсивности, но и облагораживаетъ его качественно.

Правда, природа одарила и неразумныя существа превыше ихъ потребностей и, такимъ образомъ, посѣяла въ темной животной жизни проблескъ свободы. Когда левъ не испытываетъ голода и хищникъ не вызываетъ его на бой, тогда не использованная сила сама дѣлаетъ изъ себя свой объектъ; могучимъ ревомъ наполняетъ левъ звонкую пустыню, и роскошная сила наслаждается безцѣльнымъ расходованіемъ себя. Насѣкомое летаетъ, наслаждаясь жизнью, въ солнечномъ лучѣ, и, конечно, въ мелодичномъ пѣніи птицы намъ не слышатся звуки страсти. Несомнѣнно въ этихъ движеніяхъ мы имѣемъ свободу, но не освобожденіе отъ страсти вообще, а только отъ опредѣленной, внѣшней потребности. Животное работаетъ, когда недостатокъ чего-либо является мотивомъ его дѣятельности, оно играетъ, когда избытокъ силы является мотивомъ, когда излишекъ жизни самъ побуждаетъ къ дѣятельности. Даже въ неодушевленной природѣ мы находимъ такую расточительность силы и такую неопредѣленность назначенія, которыя въ этомъ матерьяльномъ смыслѣ очень хорошо можно назвать игрою. Дерево даетъ безчисленное множество бутоновъ, которые погибаютъ не развившись, и пускаетъ гораздо большее количество корней, вѣтвей, листьевъ для своего питанія, чѣмъ ему необходимо для сохраненія индивида и рода. Живыя существа могутъ во всякомъ движеніи растратить все то, что дерево возвращаетъ царству элементовъ неиспольз-

зованнымъ и неисчерпаннымъ. Такимъ образомъ природа уже въ царствѣ матеріи даетъ намъ прелюдію безграничнаго и уже здѣсь отчасти сбрасываетъ оковы, которыя она окончательно слагаетъ съ себя въ царствѣ формы. Царство формы беретъ свое начало въ принужденіи потребностей или въ физической природѣ и, путемъ понужденія избытка или физической игры, переходитъ къ игрѣ эстетической, и прежде чѣмъ подняться надъ оковами цѣлей въ сферу высокой и свободной красоты, природа издалека приближается къ этой независимости въ свободномъ движеніи, которое само по себѣ есть и цѣль, и средство.

Подобно орудіямъ тѣла и воображеніе имѣетъ въ человѣкѣ свободное движеніе и матерьяльную игру, въ которой оно, безъ всякаго отношенія къ формѣ, наслаждается лишь своимъ своеволіемъ и отсутствіемъ оковъ.

Если къ этимъ играмъ фантазіи отнюдь не примѣшивается форма, и вся прелесть ихъ заключается лишь въ непринужденномъ рядѣ картинъ, тогда эти игры, хотя и свойственны лишь человѣку, все жъ относятся къ его животной жизни и доказываютъ лишь его освобожденіе отъ всякаго внѣшняго чувственнаго понужденія, но не даютъ еще права заключать о самостоятельной творческой въ немъ силѣ 1).

Воображеніе, наконецъ, въ попыткѣ свободной формы дѣлаетъ скачекъ къ эстетической игрѣ отъ этой игры свободнаго теченія представленій, которое еще совершенно матерьяльно и объяснимо всецѣло изъ законовъ природы. Это нужно назвать скачкомъ, ибо здѣсь проявляется совершенно новая сила; здѣсь впервые въ дѣйствіе слѣпого инстинкта вмѣшивается законодательный умъ, покоряетъ произвольный образъ дѣйствія воображенія своему вѣчному и неизмѣнному единству и налагаетъ свою печать самостоятельности на измѣнчивое и печать безконечности на чувственное. Но пока еще слишкомъ сильна грубая природа, не знающая иного закона, кромѣ непрерывнаго измѣненія, она будетъ противодѣйствовать своимъ необузданнымъ произволомъ необходимости, своимъ безпокойствомъ—постоянству, своею зависимостью—самостоятельности и своимъ недовольствомъ—возвышенной простотѣ. Потому эстетическое стремленіе къ игрѣ въ этихъ попыткахъ едва будетъ замѣтно, такъ какъ чувственное стремленіе постоянно будетъ мѣшать своимъ упрямымъ настроеніемъ и дикою страстью. Вотъ почему грубый вкусъ прежде всего хватается за новое и поразительное, пестрое, полное приключеній и своеобразное, грубое и дикое, и болѣе всего избѣгаетъ простоты и покоя. Онъ создаетъ поразительныя образы, любитъ быстрые переходы, роскошныя формы, рѣзкіе контрасты, кричащія краски, патетическое пѣніе. Красивымъ въ эту эпоху называется лищь то, что возбуждаетъ вкусъ, что даетъ ему содержаніе, возбуждая къ самостоятельному противодѣйствію, что даетъ содержаніе къ возможному творчеству, ибо въ противномъ случаѣ даже такому вкусу это не казалось бы красивымъ. Итакъ, въ его сужденіяхъ произошла замѣтная перемѣна; онъ стремится къ этимъ предметамъ не для того, чтобы испытать ихъ воздѣйствіе на себя, а для того, чтобы самому воздѣйствовать на нихъ. Они нравятся ему не потому, что служатъ къ удовлетворенію потребности, а потому что удовлетворяютъ закону, который слышится, хотя еще и невнятно, въ его груди.

Но вскорѣ онъ не довольствуется тѣмъ, что предметы ему нравятся; онъ самъ желаетъ нравиться, сначала при посредствѣ того, что принадлежитъ ему, а впослѣдствіи и при посредствѣ того, что онъ самъ представляетъ собою. То, чѣмъ онъ владѣетъ, что онъ создаетъ, не должно носить на себѣ слѣдовъ служебности и трусливую форму цѣли. Его твореніе кромѣ цѣли, ради которой оно создано, должно отражать въ себѣ и острый умъ, который его задумалъ, и любящую руку, которая его выполнила, великій и свободный духъ, который его избралъ и представилъ. Древній германецъ выискиваетъ себѣ блестящія звѣриныя шкуры, превo-

---

1) Большинство игръ, которыя въ ходу въ обыденной жизни, или совершенно основаны на чувствѣ свободной смѣны идей, или же въ этомъ именно состоитъ главная прелесть ихъ. Именно эта независимость фантазіи отъ внѣшнихъ впечатлѣній и есть отрицательное условіе ея творческой способности, хотя свободное теченіе образовъ вовсе не есть доказательство болѣе богато одаренной природы, и именно наиболѣе слабыя души особенно охотно предаются ему. Творческая сила достигаетъ идеала только тѣмъ, что отрывается отъ дѣйствительности, и воображеніе должно освободиться отъ чужого закона въ своей воспроизводящей дѣятельности, прежде чѣмъ начать творческую дѣятельность по собственному закону. Конечно, необходимо пройти большой путь отъ простого отсутствія закона къ самостоятельному внутреннему законодательству, и должна проявиться совершенно новая сила, способность идей; однако, теперь эта сила можетъ развиться съ большею легкостью, такъ какъ чувства ей не противодѣйствуютъ и неопредѣленное, по крайней мѣрѣ отрицательно, граничитъ съ безконечнымъ.

сходные рога, изящные сосуды, а житель Каледоніи отыскиваетъ самыя красивыя раковины для своихъ празднествъ. Даже оружіе теперь не должно быть лишь орудіемъ страха, но и предметомъ услады, и искусная перевязь должна быть предметомъ вниманія въ такой же мѣрѣ, какъ и смертоносное лезвіе меча. Не довольствуясь тѣмъ, что въ необходимое внесенъ излишекъ эстетичнаго, свободное стремленіе къ игрѣ, наконецъ, совершенно порываетъ съ оковами нужды, и красота сама по себѣ становится объектомъ стремленій человѣка. Онъ украшаетъ себя. Свободное наслажденіе зачисляется въ его потребности, и безполезное вскорѣ становится лучшей долей его радостей.

Подобно тому, какъ форма понемногу проникаетъ въ его жилище, въ его утварь, его платье, такъ она постепенно овладѣваетъ и имъ самимъ, дабы сначала преобразить лишь внѣшняго, а потомъ и внутренняго человѣка. Прыжокъ отъ радости, лишенный всякаго закона, становится пляскою, безформенный жестъ становится красивымъ и гармоничнымъ языкомъ мимики; смутные звуки ощущеній развиваются, начинаютъ слушаться такта и слагаются въ пѣніе. Троянское войско бросается на поле брани съ пронзительнымъ крикомъ, подобно стаѣ журавлей, въ то время какъ греческое приближается къ нему тихо и благородною поступью. Въ первомъ случаѣ мы видимъ лишь задоръ слѣпой силы, во второмъ побѣду формы и простое величіе закона.

Людей, различныхъ по полу, теперь связываетъ болѣе прекрасная необходимость, и участіе сердца оберегаетъ союзъ, который былъ заключенъ благодаря измѣнчивой и причудливой страсти. Высвободившійся изъ мрачныхъ оковъ, глазъ схватываетъ спокойную форму, душа созерцаетъ душу, и мѣсто себялюбиваго взаимнаго наслажденія заступаетъ великодушная взаимная склонность. Страсть расширяется и развивается въ любовь, какъ только человѣчество поглощается своимъ объектомъ, и человѣкъ пренебрегаетъ незначительной выгодой побѣды надъ чувствами ради того, чтобы одержать болѣе благородную побѣду надъ волею. Потребность нравиться подвергаетъ нѣжному суду вкуса и сильныхъ міра сего. Они могутъ похитить наслажденіе, но любовь должна быть подаркомъ: этой высшей награды они могутъ достичь лишь формою, не матеріей. Они должны перестать дѣйствовать на чувство силою и должны предстать предъ разсудкомъ; какъ явленіе, они должны предоставить дѣйствовать свободѣ, такъ какъ они желаютъ понравиться свободѣ. Подобно тому, какъ красота разрѣшаетъ споръ различныхъ натуръ въ его простѣйшемъ и чистѣйшемъ примѣрѣ, въ вѣчной противуположности половъ, такъ точно она разрѣшаетъ его—или, по крайней мѣрѣ, стремится къ его разрѣшенію—и въ запутанномъ видѣ цѣлаго общества, и по образцу свободнаго союза, заключеннаго между силою мужа и нѣжностью женщины, старается примирить въ нравственномъ мірѣ смиреніе съ горячностью. Теперь слабость становится священною, а необузданная сила безчестною. Права природы исправляются великодушіемъ рыцарскихъ нравовъ. Кого не можетъ испугать никакая мощь, того обезоруживаетъ миловидная стыдливость, и слезы обезоруживаетъ месть, которая не удовлетворилась бы кровью. Даже ненависть прислушивается къ нѣжному голосу чести, месть побѣдителя щадитъ обезоруженнаго врага, и гостепріимный очагъ манитъ чужестранца на страшномъ берегу, на которомъ его прежде ожидала смерть.

Эстетическое творческое стремленіе незамѣтно строитъ, посреди страшнаго царства силъ и посреди священнаго царства законовъ, третье веселое царство игры и показности, въ которомъ оно снимаетъ съ человѣка оковы всякихъ отношеній и освобождаетъ его отъ всего, что зовется насиліемъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ.

Если въ динамическомъ правовомъ государствѣ человѣкъ противустоитъ человѣку, какъ нѣкоторая сила, и ограничиваетъ его дѣятельность, если въ этическомъ государствѣ обязанностямъ человѣка противуполагается величіе закона, которое связываетъ его волю, то въ кругу прекраснаго общенія, въ эстетическомъ государствѣ, человѣкъ можетъ явиться лишь какъ форма, можетъ противустоять только какъ объектъ свободной игры. Свободное обнаруженіе въ свободной сферѣ—вотъ законодательство этого царства.

Динамическое государство лишь дѣлаетъ возможнымъ общество, покоряя природу природою же. Этическое государство дѣлаетъ его (нравственно) необходимымъ, подчиняя единичную волю общей волѣ; только эстетическое государство дѣлаетъ общество дѣйствительнымъ, ибо оно приводитъ въ исполненіе волю всѣхъ черезъ природу отдѣльнаго индивида. Потребности человѣка заставляютъ его жить въ обществѣ, разумъ

насаждаетъ въ немъ принципы общественности, но только одна красота можетъ придать ему общественныя качества. Только вкусъ вноситъ гармонію въ общество, такъ какъ онъ создаетъ гармонію въ индивидѣ. Всѣ другія формы представленія раздѣляютъ людей, ибо онѣ основываются или исключительно на чувственномъ стремленіи, или на духовной части существа человѣка, только представленіе красоты дѣлаетъ человѣка цѣльнымъ, ибо оно требуетъ согласія его двухъ натуръ.

Всѣ другія формы сообщества раздѣляютъ общество, такъ какъ онѣ относятся или къ спеціальной воспріимчивости каждаго отдѣльнаго лица, или же къ спеціальнымъ способностямъ отдѣльныхъ членовъ, т. е. къ тому, чѣмъ люди другъ отъ друга отличаются; только общеніе красоты соединяетъ людей, такъ какъ оно относится къ тому, что всѣмъ обще. Чувственныя наслажденія принадлежатъ намъ лишь какъ индивидамъ, и родъ, который живетъ въ насъ, не принимаетъ въ нихъ участія, поэтому мы не можемъ сдѣлать общими наши чувственныя наслажденія, такъ какъ мы не можемъ обобщить нашу индивидуальность.

Наслажденія знаніемъ доступны намъ лишь какъ роду, причемъ мы тщательно устраняемъ изъ нашего сужденія всякій слѣдъ своей индивидуальности: поэтому мы не можемъ сдѣлать общими наши разсудочныя наслажденія, такъ какъ мы не можемъ изгнать слѣдовъ индивидуальности изъ сужденія другихъ въ такой же мѣрѣ, какъ изъ своего собственнаго. Только красотою мы наслаждаемся одновременно и какъ индивидъ, и какъ родъ, т. е. какъ представители рода. Чувственное благо можетъ осчастливить лишь одного, такъ какъ оно покоится на присвоеніи, которое всегда заключаетъ въ себѣ и выдѣленіе; чувственное благо можетъ и этого одного сдѣлать лишь односторонне счастливымъ, ибо личность въ немъ не принимаетъ участія. Безусловное благо можетъ осчастливить человѣка лишь при условіяхъ, которыхъ нельзя, вообще говоря, предположить: ибо истина покупается цѣною отреченія, а въ чистую волю вѣритъ лишь чистое сердце; одна лишь красота дѣлаетъ всѣхъ счастливыми, и тотъ, кто находится подъ обаяніемъ ея чаръ забываетъ о своемъ ограниченіи.

Въ предѣлахъ власти вкуса и тамъ, гдѣ распространяется господство красивой показности, преимущество и единовластія не существуютъ. Это царство подымается до границъ разума, господствующаго съ безусловною необходимостью и уничтожающаго всякую матерію; оно опускается до предѣловъ естественнаго стремленія, правящаго слѣпымъ понужденіемъ, гдѣ формы еще не существуетъ; да, даже на этихъ крайнихъ предѣлахъ вкусъ не дозволяетъ отнять у себя исполнительную власть, когда законодательная у него уже отнята. Необходительная страсть должна отказаться отъ самолюбія, и пріятное, которое обыкновенно лишь привлекаетъ чувства, должно набросить сѣть миловидности и на духовную сферу. Строгій голосъ необходимости, т. е. долгъ, долженъ измѣнить свою формулу упрека, которую одно лишь противодѣйствіе оправдываетъ, и почтить уступчивую природу благороднымъ довѣріемъ. Вкусъ выводитъ знанія изъ мистерій науки подъ открытое небо общаго чувства и превращаетъ собственность школъ въ общее достояніе всего человѣческаго рода. Даже величайшій геній долженъ сложить съ себя въ своей области величайшую власть и довѣрчиво снизойти къ дѣтскому пониманію. Сила должна дозволить богинямъ ласкъ связать себя, и упрямый левъ долженъ покориться уздѣ амура. Зато вкусъ накидываетъ кроткое покрывало и на физическія потребности, которыя въ своемъ обнаженномъ видѣ оскорбляютъ достоинство свободной души, и въ миломъ призракѣ свободы скрываетъ отъ насъ позорное родство съ матеріей. Имъ окрыленное, даже раболѣпное искусство изъ за денегъ подымаетъ голову изъ праха, и оковы рабства, къ которымъ прикоснулся жезлъ вкуса, одинаково спадаютъ какъ съ живого, такъ и съ неодушевленнаго. Въ эстетическомъ государствѣ все, даже служебное орудіе, является свободнымъ гражданиномъ, равноправнымъ съ самымъ благороднымъ, и разсудокъ, подчиняющій терпѣливую толпу насильно своимъ цѣлямъ, долженъ спрашивать здѣсь о согласіи. Итакъ, здѣсь, въ царствѣ эстетической показности, осуществляется идеалъ равенства, которое мечтатель столь охотно желалъ бы видѣть осуществленнымъ и въ дѣйствительности, и если правда, что хорошій тонъ созрѣваетъ ранѣе всего и лучше всего у подножія трона, то и здѣсь пришлось бы признать благодѣтельную судьбу, которая, какъ кажется, только для того ограничиваетъ человѣка въ дѣйствительности, чтобы направить его въ міръ идей.

Но существуетъ-ли такое государство

прекрасной показности и гдѣ его найти? Потребность въ немъ существуетъ въ каждой тонко настроенной душѣ; въ дѣйствительности же его пожалуй можно найти, подобно чистой церкви и чистой республикѣ, развѣ въ нѣкоторыхъ немногочисленныхъ кружкахъ, образъ дѣйствія которыхъ направляется не бездушнымъ подраженіемъ чужимъ нравамъ, а собственной прекрасною природою; въ которыхъ человѣкъ проходитъ съ смѣлою простодушностью и спокойной невинностью черезъ самыя запутанныя отношенія; въ которыхъ ему не нужно оскорблять чужую свободу ради осуществленія собственной, или отказываться отъ собственнаго достоинства, чтобы проявить любезность. Э. Радловъ.

О необходимыхъ предѣлахъ примѣненія художественныхъ формъ.

Злоупотребленіе прекраснымъ и притязанія воображенія присвоить себѣ также законодательную власть, тамъ, гдѣ оно имѣетъ только исполнительную, причинили какъ въ жизни, такъ и въ наукѣ такъ много вреда, что будетъ далеко не лишнимъ точно опредѣлить предѣлы, положенные употребленію художественныхъ формъ. Эти предѣлы лежатъ въ самой природѣ прекраснаго, и для того, чтобы опредѣлить, какъ далеко можетъ вкусъ распространять свое вліяніе, намъ придется только припомнить, въ чемъ это вліяніе проявляется.

Въ общемъ, дѣйствія вкуса заключаются въ томъ, что онъ приводитъ въ гармонію и объединяетъ во внутреннемъ союзѣ физическія и духовныя силы человѣка. Такимъ образомъ тамъ, гдѣ цѣлесообразно и правомѣрно такое внутреннее взаимодѣйствіе между разумомъ и міромъ физическимъ, тамъ допустимо вліяніе вкуса. Но если есть случаи, гдѣ мы для достиженія какой либо цѣли или ради исполненія какого либо долга, должны дѣйствовать въ качествѣ чистыхъ разумныхъ существъ и независимо отъ всякаго чувственнаго вліянія, гдѣ, стало быть, связь между духомъ и матеріей должна быть временно расторгнута,— тамъ вкусу положены границы, которыхъ онъ не смѣетъ преступить, не поправъ нашей цѣли или не отдаливъ насъ отъ нашего долга. Подобные случаи бываютъ въ дѣйствительности, и уже наше назначеніе дѣлаетъ ихъ для насъ неизбѣжными.

Наше назначеніе заключается въ пріобрѣтеніи познаній и поведеніи сообразномъ познаніямъ. И то и другое требуетъ способности отрѣшать чувства отъ того, что совершаетъ духъ, ибо при всякомъ познаніи необходимо отвлечься отъ ощущенія и при всякомъ нравственномъ волненіи отъ желанія.

Познавая, мы находимся въ состояніи дѣятельности, и вниманіе наше направлено на опредѣленный предметъ, на отношеніе между разными представленіями. Ощущая, мы остаемся страдательны, и вниманіе наше (если такъ можно назвать то, что не представляетъ собою сознательнаго дѣйствія духа) направлено исключительно на наше состояніе, поскольку послѣднее измѣняется полученнымъ впечатлѣніемъ. А такъ какъ мы только ощущаемъ, но не познаемъ прекраснаго, то мы не замѣчаемъ, при этомъ никакихъ его отношеній къ другимъ предметамъ и не связываемъ представленія его съ другими представленіями, но лишь съ нашимъ ощущающимъ *я*. О прекрасномъ предметѣ самомъ мы не узнаемъ ничего, но мы испытываемъ вслѣдствіе него перемѣну нашего состоянія, выраженіемъ коей служитъ ощущеніе. Сужденія вкуса такимъ образомъ не расширяютъ нашего знанія и никакое познаніе — даже познаніе прекраснаго — не пріобрѣтается ощущеніемъ прекраснаго. Поэтому тамъ, гдѣ цѣлью является познаніе, вкусъ не можетъ оказать намъ, по крайней мѣрѣ, прямо и непосредственно, никакихъ услугъ; наоборотъ, познаніе даже не имѣетъ мѣста до тѣхъ поръ, пока мы заняты прекраснымъ.

Но къ чему, могутъ возразить, послужитъ изящная оболочка понятій, если это скорѣе мѣшаетъ, чѣмъ способствуетъ цѣли изложенія, которое вѣдь заключается не въ чемъ иномъ, какъ въ созданіи знанія.

Убѣжденію разсудка красота оболочки можетъ во всякомъ случаѣ способствовать

столь же мало, какъ изящная сервировка утоленію голода гостей или изящная внѣшность человѣка—оцѣнкѣ его внутренняго достоинства. Но какъ тамъ красивое убранство стола возбуждаетъ аппетитъ, а здѣсь располагающая внѣшность порождаетъ и изощряетъ вниманіе къ человѣку, такъ привлекательное изображеніе истины сообщаетъ намъ благопріятное настроеніе раскрыть передъ ней нашу душу и въ насъ падаютъ препятствія, которыя въ противномъ случаѣ противостали бы тяжелому усвоенію долгой и строгой вереницы мыслей. Нельзя сказать ни въ какомъ случаѣ, будто содержаніе выигрываетъ отъ красоты формы и будто разсудокъ получаетъ въ познаніи поддержку отъ вкуса. Содержаніе должно непосредственно представляться разсудку пригоднымъ, между тѣмъ какъ художественная форма обращается къ воображенію, прельщая его видимостью свободы.

Но даже эта невинная податливость чувства, которую позволяютъ себѣ лишь въ области формы, нисколько не касаясь тѣмъ содержанія, подвержена большимъ ограниченіямъ и можетъ быть совершенно не цѣлесообразной, смотря по роду познанія и степени убѣжденія, которыя являются цѣлью при сообщеніи мыслей.

Есть научное познаніе, покоющееся на ясныхъ понятіяхъ и изслѣдованныхъ принципахъ, и есть познаніе популярное, основанное на болѣе или менѣе развитыхъ чувствахъ. Что часто способствуетъ послѣднему, можетъ препятствовать первому.

Тамъ, гдѣ стремятся обосновать строгое убѣжденіе на принципахъ, тамъ невозможно удовлетвориться лишь сообщеніемъ истины со стороны ея содержанія, но въ самой формѣ изложенія необходимо долженъ заключаться образецъ истины. А это значитъ вотъ что: не только содержаніе, но и изложеніе его должны быть сообразны съ законами мышленія. Съ той же строгой необходимостью, съ которой смыкаются понятія въ умѣ, должны они соединяться и въ изложеніи, и опредѣленность изложенія должна соотвѣтствовать опредѣленности идеи. Между тѣмъ всякая свобода, разрѣшаемая воображенію при познаніи, находится въ постоянной борьбѣ со строгой необходимостью, съ которой разсудокъ связываетъ сужденіе съ сужденіями и заключеніе съ заключеніями. Сообразно своей природѣ воображеніе стремится всегда къ образамъ, т. е. къ цѣльнымъ и достаточно опредѣленнымъ представленіямъ и неустанно старается представить общее въ видѣ отдѣльнаго случая, ограничить его во времени и пространствѣ, сдѣлать понятіе индивидомъ, воплотить абстракцію. Затѣмъ оно любитъ свободу въ своихъ сочетаніяхъ, не признавая при этомъ никакого закона, кромѣ случайности и мѣста и времени, ибо это единственная связь, остающаяся между нашими представленіями, послѣ того какъ мы отвлекаемъ отъ нихъ все, что есть понятіе, что внутренно связуетъ ихъ. Какъ разъ наоборотъ, разсудокъ занимается лишь частными представленіями или понятіями и стремится въ живомъ цѣломъ выдѣлить признаки образа. Сочетая явленія по ихъ внутреннимъ соотношеніямъ, раскрытіе которыхъ доступно лишь отвлеченіямъ, разсудокъ способенъ соединять лишь постольку, поскольку онъ предварительно раздѣлялъ, то есть исключительно посредствомъ частичныхъ представленій. Разсудокъ соблюдаетъ въ своихъ комбинаціяхъ строгую необходимость и законосообразность; лишь неизмѣнная связь понятій можетъ дать ему удовлетвореніе. Но эта связь нарушается всякій разъ, какъ воображеніе вводитъ въ эту цѣпь абстракцій цѣльныя представленія (частные случаи) и къ строгой послѣдовательности сочетанія явленій примѣшиваетъ случайность совпаденія во времени *). Поэтому тамъ, гдѣ требуется строгая послѣдовательность мышленія, безусловно необходимо, чтобы воображеніе отказалось отъ своей наклонности къ произволу и научилось подчинять и приносить въ жертву потребностямъ разсудка свое стремленіе къ возможно большей конкретности представленій и къ возможно большей свободѣ въ ихъ сочетаніи. Въ виду этого уже самое изложеніе должно посредствомъ исключенія всего индивидуальнаго и чувственнаго уничтожать эту наклонность воображенія и опредѣленностью выраженія обуздывать его безпокойное поэтическое влеченіе, а закономѣрностью въ развитіи—его произволъ въ комбинаціяхъ. Конечно не безъ

*) По этой причинѣ писатель, заботящійся о научной строгости, весьма неохотно и весьма умѣренно станетъ пользоваться примѣрами. То, что есть совершенная истина вообще, терпитъ ограниченія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; и такъ какъ каждому частному случаю свойственны обстоятельства, являющіяся по отношенію къ общему понятію, которое должно въ нихъ найти выраженіе, случайными, то всегда возможно, что эти случайныя отношенія будутъ внесены въ общія понятія и нанесутъ ущербъ его всеобщности и необходимости.

сопротивленія преклонится оно предъ этимъ игомъ; но здѣсь по справедливости можно разсчитывать на нѣкоторое самоотверженіе и настоятельную рѣшимость слушателя или читателя ради сущности дѣла не обращать вниманія на трудности, неразрывно связанныя съ формой.

Но тамъ, гдѣ нѣтъ основанія разсчитывать на такую рѣшимость и гдѣ нельзя надѣяться, что интересъ, возбуждаемый содержаніемъ, будетъ достаточно силенъ, чтобы воодушевить къ такому напряженію,— тамъ, конечно, придется отказаться отъ сообщенія строго научной истины, чтобы тѣмъ выгадать нѣкоторую свободу въ изложеніи. Въ такихъ случаяхъ вмѣсто научной формы, слишкомъ тяготящей воображеніе и пріемлемой лишь въ виду важности цѣли, избираютъ форму художественную, которая, независимо отъ всякаго содержанія, интересна уже сама по себѣ. Если содержаніе отказывается принять форму подъ свою защиту, придется формѣ взять на себя все дѣло.

Популярное изложеніе мирится съ этой свободой. Такъ какъ народный ораторъ или писатель для народа (названіе, подъ которымъ я понимаю всякаго, кто имѣетъ въ виду не исключительно ученыхъ) обращается не къ подготовленной публикѣ и не выбираетъ своихъ читателей, но долженъ брать ихъ тамъ, гдѣ найдетъ, то онъ и можетъ разсчитывать найти въ нихъ лишь общія свойства мысли и общія побужденія къ вниманію, а никакъ не какую-то особенную силу мышленія, не какое либо знакомство съ опредѣленными понятіями, не какой нибудь интересъ къ извѣстнымъ предметамъ. Онъ такимъ образомъ не можетъ ставить все дѣло въ зависимость отъ того, сможетъ ли воображеніе тѣхъ, кого онъ поучаетъ, связать съ его отвлеченіями соотвѣтственный смыслъ и вложить содержаніе въ тѣ общія понятія, которыми ограничивается научное изложеніе. Чтобы идти надежнымъ путемъ, онъ предпочитаетъ указать тутъ-же тѣ конкретные образы и отдѣльные случаи, къ которымъ относятся эти общія понятія, и предоставляетъ уму своего читателя образовать изъ нихъ понятія безъ всякой предварительной подготовки. Такимъ образомъ при популярномъ изложеніи воображеніе играетъ уже гораздо болѣе значительную роль, но все-же всегда лишь репродуктивную (въ возобновленіи воспринятыхъ представленій), а не продуктивную (съ проявленіемъ самостоятельной творческой силы). Эти частные случаи и конкретныя представленія слишкомъ точно разсчитаны на данную извѣстную цѣль и слишкомъ сообразованы съ тѣмъ опредѣленнымъ употребленіемъ, которое должно быть изъ нихъ сдѣлано, чтобы воображеніе могло забыть, что оно дѣйствуетъ лишь въ видѣ слуги разсудка. Изложеніе нѣсколько ближе къ жизни и къ міру чувственному, но оно еще не расплывается въ нихъ. Изображеніе истины сохраняетъ еще характеръ исключительно дидактическій; ибо для того, чтобы стать художественнымъ, оно лишено еще двухъ важнѣйшихъ качествъ: конкретности выраженія и свободы движенія.

Свободнымъ изложеніе будетъ тогда, когда разсудокъ, опредѣляя связь идей, дѣлаетъ это со столь скрытой законосообразностью, что кажется, будто воображеніе дѣйствуетъ при этомъ совершенно свободно и лишь слѣдуетъ случайнымъ совпаденіямъ времени. Чувственно-конкретнымъ будетъ изложеніе въ томъ случаѣ, когда общее скрыто въ частномъ и фантазія представляетъ живой образъ (*цѣльное* представленіе) тамъ, гдѣ дѣло идетъ лишь о понятіи (*частичномъ* представленіи). Такимъ образомъ чувственно-конкретное изложеніе, разсматриваемое съ одной стороны, богато, ибо тамъ, гдѣ требуется лишь одно опредѣленіе, оно даетъ цѣльный образъ, цѣлую совокупность опредѣленій, цѣльную индивидуальность; но съ другой стороны, оно въ то же время ограничено и бѣдно, ибо оно приписываетъ одному индивиду и одному частному случаю то, что, вѣдь, относится къ цѣлой сферѣ явленій. Оно такимъ образомъ ограничиваетъ разсудокъ ровно настолько, насколько обогащаетъ съ излишкомъ фантазію; ибо чѣмъ богаче представленіе содержаніемъ, тѣмъ меньше его объемъ.

Воображеніе стремится къ тому, чтобы произвольно мѣнять свои предметы; разсудокъ старается соединять свои предметы съ строгой послѣдовательностью. Какъ ни противорѣчивы съ виду эти два стремленія, между ними однако есть точка примиренія— и найти таковую и составляетъ собственно заслугу хорошаго стиля.

Чтобы удовлетворить воображеніе, рѣчь должна имѣть матеріальную оболочку или тѣло, и его составляютъ конкретные образы, отъ которыхъ разсудокъ отвлекаетъ отдѣльные признаки или понятія; ибо какъ

бы мы абстрактно ни мыслили, въ основѣ нашего мышленія все таки лежитъ всегда нѣчто конкретное. Воображеніе однако стремится свободно и необузданно перелетать отъ образа къ образу, не зная никакой иной послѣдовательности, кромѣ послѣдовательности во времени. Если поэтому образы, составляющіе матеріальный элементъ рѣчи, не находятся ни въ какой дѣйствительной связи между собой, если подобно независимымъ членамъ и отдѣльнымъ единицамъ они какъ бы довлѣютъ сами себѣ; если они выдаютъ всю безтолочь играющаго и лишь себѣ самому повинующагося воображенія, то оболочка получила эстетическую свободу и потребности фантазіи удовлетворены. Такое изложеніе, можно сказать, есть органическій продуктъ, въ которомъ не только живетъ цѣлое, но и отдѣльныя части имѣютъ свою самобытную жизнь; чисто научное изложеніе есть лишь механическое созданіе, въ которомъ отдѣльныя части, бездушныя сами по себѣ, своимъ взаимодѣйствіемъ сообщаютъ цѣлому искусственную жизнь.

Чтобы съ другой стороны удовлетворить разсудокъ и вызвать познаніе, рѣчь должна имѣть духовную сторону—смыслъ, и она получаетъ его въ тѣхъ понятіяхъ, посредствомъ которыхъ связываются другъ съ другомъ и объединяются въ одно цѣлое эти образы. Если между этими понятіями, какъ духовнымъ элементомъ рѣчи, установлено точнѣйшее взаимоотношеніе, между тѣмъ какъ соотвѣтствующія имъ представленія, какъ чувственный элементъ рѣчи, объединяются съ виду лишь произвольной игрой фантазіи, то задача разрѣшена и разсудокъ удовлетворенъ закономѣрностью, между тѣмъ какъ воображеніе наслаждается ея отсутствіемъ.

Изслѣдуя волшебную силу прекрасной рѣчи, мы найдемъ всегда, что она находится въ такомъ счастливомъ отношеніи между внѣшней свободой и внутренней необходимостью. Болѣе всего способствуетъ этой свободѣ воображенія индивидуализація предметовъ и образная или переносная рѣчь; первая—для того чтобы усилить конкретность, вторая—чтобы создать ее тамъ, гдѣ ея нѣтъ. Представляя родъ черезъ посредство индивида и выражая общее понятіе въ частномъ случаѣ, мы освобождаемъ воображеніе отъ оковъ, которыя налагаетъ на него разсудокъ, и даемъ ему возможность проявить свою творческую силу. Неизмѣнно стремясь къ полнотѣ опредѣленій, оно получаетъ и осуществляетъ право по своей волѣ восполнять, оживлять, преобразовывать данный ему образъ и слѣдовать за нимъ во всѣхъ его сочетаніяхъ и превращеніяхъ. Оно можетъ на время отрѣшиться отъ своей подчиненной роли и вести себя своевластной самодержицей, ибо въ строгой внутренней связи достаточно позаботились о томъ, чтобы оно совсѣмъ не сбросило съ себя узы разсудка. Переносное выраженіе, связывая образы, по своему содержанію совершенно различные, но охватываемые однимъ общимъ понятіемъ, ведетъ эту свободу еще дальше. Но такъ какъ воображеніе останавливается на содержаніи, а разсудокъ, наоборотъ, на этомъ высшемъ понятіи, то первое дѣлаетъ прыжокъ именно тамъ, гдѣ для послѣдняго представляется совершеннѣйшая послѣдовательность. Понятія развиваются по закону необходимости, но по закону свободы они проносятся мимо воображенія; мысль остается все та-же, измѣняется лишь среда, представляющая ее. Такъ владѣющій словомъ писатель создаетъ изъ анархіи прекраснѣйшій порядокъ и на зыбкой почвѣ, на потокѣ вѣчно несущагося воображенія воздвигаетъ устойчивое зданіе.

Если провести сравненіе между научной, популярной и художественной рѣчью, то оказывается, что хотя всѣ онѣ, по отношенію къ содержанію, совершенно вѣрно передаютъ мысль, которая имѣется въ виду, и такимъ образомъ всѣ сообщаютъ намъ знаніе, однако видъ и степень этого знанія различны во всѣхъ трехъ случаяхъ. Писатель-художникъ скорѣе представляетъ намъ предметъ, о которомъ идетъ рѣчь, въ возможномъ или желательномъ видѣ, не имѣя возможности сообщить намъ убѣжденіе въ его дѣйствительности или даже необходимости; ибо его мысль является лишь произвольнымъ созданіемъ воображенія, которое само по себѣ никогда не можетъ ручаться за реальность своихъ представленій. Писатель-популяризаторъ сообщаетъ намъ вѣру, что дѣло, дѣйствительно, обстоитъ такимъ-то образомъ, но дальше онъ не ведетъ насъ; ибо онъ дѣлаетъ для насъ истину выставленнаго имъ положенія ощутительной, но не обсолютно достовѣрной. Писатель-философъ возвышаетъ эту вѣру до степени убѣжденія; ибо, исходя изъ несомнѣнныхъ основаній, онъ доказываетъ, что такъ оно должно быть и иначе быть не можетъ.

Исходя изъ указанныхъ началъ, не

трудно будетъ указать каждой изъ этихъ трехъ различныхъ формъ рѣчи соотвѣтственное мѣсто. Вообще можно принять за правило, что тамъ, гдѣ важенъ не только конечный результатъ, но и доказательства, предпочтительнѣе научное изложеніе, тамъ же, гдѣ важно лишь достиженіе результата, удобнѣе изложеніе популярное и художественное. Когда-же именно популярное изложеніе можетъ перейти въ художественное,—это рѣшается большей или меньшей степенью интереса, который возможно предполагать или должно возбудить.

Чисто научное выраженіе дѣлаетъ насъ—въ большей или меньшей степени, смотря по тому, философское оно или научное—обладателями извѣстнаго познанія; выраженіе художественное сообщаетъ намъ такое познаніе лишь для мимолетнаго наслажденія и употребленія. Первое—если будетъ позволено такое сравненіе—даетъ намъ дерево вмѣстѣ съ корнями; но, конечно, намъ придется при этомъ подождать, пока оно зацвѣтетъ и принесетъ плоды; художественное выраженіе срываетъ для насъ цвѣты и плоды, но самое дерево, принесшее ихъ,—не наше, и когда они увянутъ и будутъ употреблены въ дѣло, наше богатство исчезло вмѣстѣ съ ними. Насколько безсмысленно было бы предложить только цвѣты и плоды тому, кто хочетъ пересадить дерево въ свой садъ, на столько-же нелѣпо было бы давать самое дерево съ его будущими плодами тому, кому какъ разъ въ данный моментъ хочется фруктовъ. Примѣненіе ясно, и я замѣчу лишь, что художественное изложеніе столь-же мало пригодно для каѳедры, сколько научное для салонаго разговора или ораторской трибуны.

Ученикъ собираетъ для грядущихъ цѣлей и позднѣйшаго употребленія; поэтому учитель долженъ позаботиться о томъ, чтобы сдѣлать его полнымъ хозяиномъ тѣхъ познаній, которыя онъ сообщаетъ ему. Но ничто не можетъ считаться вполнѣ нашимъ, пока оно не вручено разсудку. Наоборотъ, ораторъ предполагаетъ лишь насущное употребленіе и имѣетъ въ виду лишь удовлетворить данную потребность своихъ слушателей. Въ его цѣляхъ, стало быть, какъ можно скорѣе перевести въ дѣйствіе тѣ свѣдѣнія, которыя онъ сообщаетъ, и этого онъ достигаетъ вѣрнѣе всего тѣмъ, что передаетъ ихъ чувству и подготовляетъ для ощущенія. Учитель, принимающій учениковъ только при извѣстныхъ условіяхъ и имѣющій право предполагать у нихъ извѣстное душевное настроеніе, потребное для воспріятія истины, обращается лишь къ предмету своего изложенія, между тѣмъ какъ оратору, не заключающему со своими слушателями никакихъ предварительныхъ условій и вынужденному лишь уловить сочувствіе въ свою пользу, приходится одновременно сообразоваться и съ субъектами, къ которымъ онъ обращается. Первый, публика котораго уже была здѣсь и теперь возвращается, можетъ представить лишь отрывки, составляющіе въ соединеніи съ прошлыми уроками одно законченное цѣлое; второй, публика котораго мѣняется непрерывно, приходитъ безъ подготовки и, быть можетъ, не возвратится никогда, вынужденъ въ каждой отдѣльной лекціи заканчивать свое дѣло; каждое его разсужденіе должно представлять собой самодовлѣющее цѣлое и содержать въ себѣ полное разрѣшеніе.

И потому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что самая основательная догматическая рѣчь въ бесѣдѣ и на ораторской трибунѣ не имѣетъ никакого успѣха, а остроумное, блестящее изложеніе въ классѣ остается безплоднымъ; что свѣтъ не читаетъ произведеній, дѣлающихъ эпоху въ мірѣ наукъ, а ученый мужъ презираетъ сочиненія, бывшія школой свѣтскихъ людей и съ жадностью поглощаемыя всѣми любителями прекраснаго. Каждое изъ двухъ произведеній можетъ заслуживать восторги въ томъ кругѣ, для котораго оно предназначено, оба могутъ быть вполнѣ сходны по внутреннему содержанію, но требовать, чтобы сочиненіе, представляющее трудность для мыслителя, въ то же время служило легкой забавой для игры ума, значитъ требовать невозможнаго.

По этой причинѣ я считаю вреднымъ, что для обученія юношества выбираютъ произведенія, гдѣ научное содержаніе облечено въ художественную форму. Я имѣю въ виду совсѣмъ не тѣ сочиненія, въ которыхъ содержаніе принесено въ жертву формѣ, но произведенія, по истинѣ превосходныя, выдерживающія строжайшее испытаніе въ томъ, что касается содержанія, но не высказывающія этого своей формой. Дѣйствительно, такими произведеніями достигается та цѣль, что они читаются, но это всегда дѣлается насчетъ другой, болѣе важной цѣли, ради которой они должны были бы читаться. При такомъ чтеніи разсудокъ имѣетъ примѣненіе лишь въ полномъ взаимодѣйствіи съ воображеніемъ и

никогда не имѣетъ случая отдѣлять форму отъ содержанія и дѣйствовать въ качествѣ чистой способности. А между тѣмъ простое упражненіе разсудка есть основной элементъ обученія юношества, и въ большинствѣ случаевъ самый процессъ мышленія имѣетъ большее значеніе, чѣмъ его результатъ—мысли. Если желательно, чтобы работа была выполнена хорошо, то ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ представлять ее забавой. Наоборотъ, самая форма изложенія должна уже вызывать напряженіе ума и съ извѣстной энергіей переводить его изъ состоянія пассивности къ дѣятельности. Учитель ни въ какомъ случаѣ не долженъ скрывать отъ своего ученика строгой законосообразности методовъ, но, наоборотъ, обращать его вниманіе на нее и, сколько возможно, пріохочивать къ ней. Ученикъ долженъ пріучаться преслѣдовать извѣстную цѣль и ради достиженія этой цѣли мириться и съ тяжелыми средствами. Съ самаго начала онъ долженъ стремиться къ благородному наслажденію, составляющему награду за напряженіе. При изложеніи научномъ чувства совершенно устраняются, при художественномъ—они привлекаются къ работѣ. Что изъ этого произойдетъ? Такое произведеніе, такое наслажденіе поглощаютъ съ увлеченіемъ; но на вопросъ о результатахъ не могутъ дать отвѣта. И вполнѣ естественно! Ибо понятія цѣлыми массами врываются въ душу, а разсудокъ познаетъ лишь тогда, когда различаетъ; душа остается во время чтенія не столько активной, сколько пассивной, а между тѣмъ духъ обладаетъ лишь тѣмъ, что творитъ. Все это, впрочемъ, относится лишь къ пошлой художественности и къ пошлому виду воспріятія прекраснаго. Истинно прекрасное покоится на строжайшей опредѣленности, на точнѣйшей индивидуализаціи, на высочайшей внутренней необходимости. Необходимо только, чтобы эта опредѣленность была результатомъ поисковъ, а не навязывалась насильно. Должна быть на лицо высшая законосообразность, но она должна быть естественна. Такое произведеніе вполнѣ удовлетворитъ разсудокъ при изученіи; но именно потому, что оно по истинѣ прекрасно, оно не навязываетъ своей законосообразности, оно не обращается исключительно къ разсудку, но говоритъ какъ чистое единство къ гармоническому цѣлому человѣка, какъ природа къ природѣ. Пошлый судья, быть можетъ, найдетъ его бѣднымъ, безсодержательнымъ, слишкомъ мало опредѣленнымъ; какъ разъ то, въ чемъ состоитъ торжество изложенія, полное раствореніе частей въ цѣломъ, отталкиваетъ его, ибо онъ умѣетъ лишь различать и чутокъ лишь къ индивидуальному. Конечно, при философскомъ изложеніи разсудокъ, какъ способность различенія, долженъ быть удовлетворенъ, изъ этого должны проистечь для него отдѣльные результаты; это—основная цѣль, которая ни въ коемъ случаѣ не должна быть отодвигаема на второй планъ. Если однако писатель при помощи строжайшей внутренней опредѣленности достигъ того, что разсудокъ необходимо долженъ добиться этихъ результатовъ, но, не удовлетворенный этимъ и вынужденный своей природой (которая дѣйствуетъ всегда какъ гармоническое цѣлое и которая, потерявъ вслѣдствіе дѣятельности абстракціи это единство, немедленно возстановляетъ его), если такой читатель, говорю я, возсоединяетъ расторгнутое и совокупнымъ обращеніемъ къ физическимъ и духовнымъ силамъ захватываетъ въ поле дѣйствія всегда цѣльнаго человѣка,—то по истинѣ онъ не только не писалъ дурно, но, наоборотъ, приблизился къ идеалу изложенія. Пошлый судья, который по отсутствію чутья этой гармоніи всегда набрасывается на частности, который даже въ соборѣ св. Петра обратитъ вниманіе только на колонны, поддерживающія эту искусственную твердь небесную, этотъ, конечно, не будетъ чувствовать никакой благодарности къ тому, кто заставилъ его вдвойнѣ потрудиться; ибо, чтобы понять такого писателя, этотъ судья долженъ, конечно, сперва *перевести* его, подобно тому какъ одинъ голый разсудокъ, лишенный всякой изобразительной способности, долженъ сперва изложить и истолковать своимъ языкомъ все прекрасное и гармоническое въ природѣ и искусствѣ,—словомъ, подобно школьнику, который для того, чтобы прочитать, долженъ сначала складывать. Но не ограниченность и безсиліе читателей диктуютъ законъ писателю-художнику. Онъ несется навстрѣчу идеалу, хранимому въ груди, не заботясь о томъ, кто за нимъ слѣдуетъ и кто отсталъ. Отстанутъ многіе: ибо какъ ни трудно найти просто думающихъ читателей, еще безконечно труднѣе найти такихъ, которые могутъ мыслить художественно. И потому, по самому существу дѣла, такой писатель потерпитъ неудачу одинаково, какъ съ тѣми, умственная жизнь которыхъ огра-

ничивается лишь образами и впечатлѣніями (ибо онъ обременяетъ ихъ непосильной работой мышленія), такъ и съ тѣми, которые умѣютъ только мыслить—ибо онъ требуетъ отъ нихъ того, что для нихъ просто невозможно: мышленія въ образахъ. Но такъ какъ и тѣ и другіе суть весьма несовершенные представители истинной и всеобщей человѣческой природы, требующей непремѣнно сочетанія обоихъ родовъ дѣятельности, то ихъ противорѣчіе не имѣетъ никакого значенія; наоборотъ, ихъ сужденія служатъ ему порукой, что онъ добился того, чего искалъ. Абстрактный мыслитель находитъ его содержаніе продуманнымъ, а читатель, мыслящій художественно, призналъ его стиль изобразительнымъ: оба, стало быть, одобряютъ то, что могутъ понять, и порицаютъ лишь то, что выходитъ за предѣлы ихъ пониманія.

И именно по этой причинѣ такой писатель созданъ для того, чтобы знакомить несвѣдущаго съ предметомъ, который онъ излагаетъ, или для того—въ настоящемъ смыслѣ слова,—чтобы учить. Къ счастію, для этого онъ и не нуженъ, ибо въ учителяхъ для школьниковъ никогда нѣтъ недостатка. Учитель, въ строгомъ смыслѣ слова, долженъ сообразоваться съ потребностью; онъ исходитъ изъ предположенія неспособности, между тѣмъ какъ этотъ требуетъ отъ своего читателя или слушателя уже извѣстной цѣлостности и подготовки. Но вслѣдствіе этого онъ не ограничиваетъ свою дѣятельность передачей мертвыхъ понятій; съ живой энергіей онъ хватаетъ живое и овладѣваетъ всѣмъ человѣкомъ,—его разсудкомъ, его чувствомъ, его волей.

Если нами было найдено, что для основательности знанія вредно при обыкновенномъ обученіи давать мѣсто требованіямъ вкуса, то это совершенно не значило, будто образованіе такой способности у учащагося преждевременно. Наоборотъ, его слѣдуетъ поощрять въ этомъ направленіи и давать ему случай передавать посредствомъ живого воплощенія познанія, которыя онъ пріобрѣлъ въ школѣ. Пока соблюдается второе, первое можетъ имѣть лишь благотворныя слѣдствія. Конечно, необходимо во всей полнотѣ обладать извѣстной истиной, для того, чтобы безопасно отрѣшаться отъ формы, въ которой она была найдена; надо имѣть большой умъ, чтобы даже въ свободной игрѣ воображенія не потерять его объектъ. Тотъ, кто передаетъ мнѣ свои знанія въ школьной формѣ, тотъ, правда, убѣждаетъ меня, что онъ правильно усвоилъ ихъ и умѣетъ отстоять; но тотъ, кто въ то же время можетъ сообщить мнѣ ихъ въ художественной формѣ, тотъ не только доказываетъ, что способенъ распространять ихъ; онъ доказываетъ также, что онъ усвоилъ ихъ своей природѣ и способенъ воплотить ихъ въ свои поступки. Для результатовъ мышленія нѣтъ иного пути къ волѣ и жизни, кромѣ самостоятельнаго творчества. Лишь то можетъ стать живымъ дѣяніемъ *внѣ насъ*, что сдѣлалось таковымъ *въ насъ*; созданія духа въ этомъ отношеніи подобны органическимъ образованіямъ: только изъ цвѣтка рождается плодъ.

Поразмысливъ о томъ, сколько истинъ давно уже оказывало свое дѣйствіе въ качествѣ живыхъ воззрѣній, прежде чѣмъ ихъ доказала философія, и какъ безсильны бываютъ часто доказанныя истины для воли и чувства, всякій увидитъ, какъ важно для практической жизни повиноваться этому указанію природы и обращать въ живыя воззрѣнія свѣдѣнія, добытыя путемъ науки. Лишь такимъ образомъ возможно предоставить долю въ сокровищахъ мудрости и тѣмъ, кому самая натура не даетъ идти противоестественнымъ для нихъ путемъ науки. Здѣсь красота дѣлаетъ по отношенію къ познанію то же самое, что въ области нравственной она дѣлаетъ по отношенію къ поступкамъ: она соединяетъ въ выводахъ и содержаніи людей, которые никогда не могли бы сойтись въ формѣ и основаніяхъ.

Сообразно своей природѣ и своему прекрасному назначенію, женщина не можетъ и не должна дѣлить съ мужчиной область науки; но—чрезъ посредство дѣятельности изобразительной—она можетъ раздѣлять съ нимъ область мудрости. Мужчина допускаетъ еще оскорбленіе вкуса, лишь бы внутреннее содержаніе удовлетворяло умъ. Обыкновенно оно даже тѣмъ пріятнѣе ему, чѣмъ рѣзче выступаетъ опредѣленность и чѣмъ чище можетъ быть отвлечена внутренняя сущность отъ отдѣльнаго явленія. Но женщина не прощаетъ пренебреженія къ формѣ даже при богатѣйшемъ содержаніи, и все внутреннее строеніе ея существа даетъ ей право на такое строгое требованіе. Этотъ полъ,—который даже въ томъ случаѣ, если бы онъ не властвовалъ силой своей красоты, долженъ бы все-таки носить названіе прекраснаго уже потому, что красота властвуетъ надъ нимъ,—привлекаетъ всякое свое впечатлѣніе къ суду чувства, и то, что ничего

не говоритъ чувству или даже оскорбляетъ его, погибло для женщины. Конечно, по этому протоку можетъ до нея дойти лишь содержаніе истины, но не сама истина, неразрывно связанная съ своими доказательствами. Но, къ счастію, чтобы дойти до высшаго совершенства, ей нужно лишь содержаніе истины, и исключенія, имѣвшія мѣсто до сихъ поръ, не вызываютъ желанія, чтобы они стали правиломъ.

Такимъ образомъ, желая стать на одномъ уровнѣ съ женщиной въ этомъ значительномъ элементѣ существованія, мужчина долженъ вдвойнѣ взять на себя обязанность, выполненіе которой природа не только не предоставила, но прямо воспретила женщинѣ. Онъ такимъ образомъ будетъ стремиться перенести такъ много, какъ только возможно, изъ царства абстракціи, гдѣ онъ властвуетъ, въ царство воображенія и чувства, гдѣ женщина является одновременно образцомъ и судьей. Не имѣя возможности насадить въ женскомъ умѣ многолѣтнія растенія, онъ будетъ стараться взростить на своемъ собственномъ полѣ какъ можно больше плодовъ и цвѣтовъ, чтобы какъ можно чаще обновлять быстро увядающій запасъ и имѣть возможность поддерживать искусственную жатву тамъ, гдѣ не всходитъ естественная. Вкусъ сглаживаетъ — или скрываетъ—естественную духовную разницу между обоими полами; онъ питаетъ и украшаетъ женскій умъ произведеніями мужского ума и даетъ прелестному полу возможность прочувствовать то, что не было продумано, и наслаждаться тѣмъ, что не стоило труда.

Такимъ образомъ вкусу при сообщеніи знанія вручена—съ ограниченіями, о которыхъ я упоминалъ—форма, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы онъ не вторгался въ область содержанія. Онъ не смѣетъ забывать, что исполняетъ чужое порученіе, а не свое дѣло. Все его участіе ограничивается здѣсь тѣмъ, что онъ переноситъ душу въ настроеніе, благопріятное познанію; но онъ не имѣетъ никакихъ притязаній на авторитетъ ни въ чемъ, что касается существа дѣла.

Если же онъ дѣлаетъ это, если превыше всего онъ ставитъ *свой* законъ, который повелѣваетъ только угождать воображенію и доставлять удовольствіе при созерцаніи, если онъ примѣняетъ этотъ законъ не только къ формѣ изложенія, но и къ существу дѣла, и не только располагаетъ, но и выбираетъ матеріалы сообразно велѣніямъ этого закона, то онъ не только превышаетъ свои полномочія, но прямо противорѣчитъ имъ и извращаетъ предметъ, который долженъ былъ представить намъ въ вѣрномъ видѣ. Тутъ ужъ нѣтъ вопроса о томъ, что собой представляютъ вещи на самомъ дѣлѣ, но лишь о томъ, въ какомъ видѣ должны онѣ быть представлены чувствамъ. Строжайшая послѣдовательность мыслей, которая должна была быть лишь скрыта, отвергается, какъ тягостныя оковы; законченность принесена въ жертву пріятности, истина частей—красотѣ цѣлаго, внутренняя сущность—внѣшнему впечатлѣнію. Но гдѣ содержаніе должно сообразоваться съ формой, тамъ уже нѣтъ никакого содержанія: изображеніе пусто, и вмѣсто умноженія познаній здѣсь ведется лишь занимательная игра.

Писатели, болѣе одаренные остроуміемъ, чѣмъ умомъ, и обладающіе болѣе вкусомъ, чѣмъ знаніемъ, слишкомъ часто бываютъ повинны въ этомъ обманѣ, и читатели, болѣе привыкшіе чувствовать, чѣмъ думать, проявляютъ лишь слишкомъ большую готовность простить этотъ обманъ. Вообще опасно давать полную волю вкусу, пока разсудокъ не проявилъ себя, какъ чистая способность мышленія, и голова не обогатилась понятіями. Ибо, въ виду того, что вкусъ всегда обращаетъ вниманіе на форму, а не на сущность предмета, ужъ тамъ, гдѣ онъ является единымъ судьей, различіе предметовъ по существу теряется совершенно. Развивается полное равнодушіе къ дѣйствительности и, въ концѣ концовъ, все значеніе переносится на форму и внѣшность.

Отсюда — духъ поверхности и вольности, господствующій теперь часто въ такихъ кругахъ и въ такомъ обществѣ, которыя въ другихъ отношеніяхъ не безъ основанія славятся своей утонченностью. Ввести молодого человѣка въ этотъ кругъ грацій прежде чѣмъ музы отпустятъ его отъ себя, признавъ его совершеннолѣтнимъ, значитъ неминуемо погубить его, и нерѣдко случается даже, что то, что сообщаетъ внѣшнюю законченность зрѣлому юношѣ, дѣлаетъ незрѣлаго фатомъ *). Форма безъ содержа-

1) Г. Гарвэ въ своемъ проницательномъ сравненіи нравовъ средняго сословія и дворянства въ первомъ томѣ своихъ «Опытовъ о различныхъ предметахъ изъ области морали, литературы и общественной жизни» (1792), произведеніи, которое я, надѣюсь, будетъ во всѣхъ рукахъ—среди преимуществъ юноши-дворянина указываетъ на раннее умѣніе его держаться въ большомъ свѣтѣ, изъ котораго юноша средняго сословія исключенъ своимъ

нія есть, конечно, лишь половина достоянія, ибо лучшія знанія, въ умѣ, не умѣющемъ придать имъ форму, погребены какъ мертвыя сокровища. Съ другой стороны, форма безъ содержанія есть лишь тѣнь достоянія, и никакое искусство выраженія ничѣмъ не поможетъ тому, кому нечего выразить.

Итакъ, если изящная культура не должна вести насъ на этотъ ложный путь, то опредѣленію вкуса подлежитъ лишь внѣшній обликъ, разумъ-же и опытъ опредѣляютъ внутреннее существо. Если высшимъ судьей становится впечатлѣніе, производимое на чувства, и явленія оцѣниваются съ точки зрѣнія изъ отношенія къ чувству, то человѣкъ никогда не вырвется изъ подчиненія матеріи, никогда духъ его не прояснится,—словомъ, онъ настолько же теряетъ въ свободѣ разума, насколько распускаетъ свое воображеніе.

Красота оказываетъ свое дѣйствіе уже при простомъ созерцаніи; истина требуетъ изученія. Поэтому тотъ, кто ограничивался упраздненіемъ чувства красоты, удовлетворяется поверхностнымъ взглядомъ тамъ, гдѣ безусловно необходимо изученіе, и пытается играть умомъ тамъ, гдѣ требуются напряженіе и углубленіе. Но простымъ созерцаніемъ невозможно пріобрѣсти что нибудь. Кто стремится создать нѣчто большое, долженъ глубоко проникать, тонко различать, многообразно соединять и держаться стойко. Даже поэтъ и художникъ, несмотря на то, что оба стремятся лишь вызвать наслажденіе при созерцаніи, могутъ лишь путемъ утомительнаго и менѣе всего веселаго напряженія достигнуть того, чтобы произведенія ихъ развлекали играя.

Послѣднее кажется мнѣ также достовѣрнымъ пробнымъ камнемъ, на которомъ можно отличить простого диллетанта отъ истиннаго художественнаго генія. Чарующая прелесть всего великаго и прекраснаго, огонь, которымъ оно воспламеняетъ юношеское воображеніе, кажущаяся легкость, съ которой оно обманываетъ чувства, соблазнили уже не одного неопытнаго взяться за кисть или лиру и излить въ краскахъ или звукахъ то, что живетъ въ немъ. Въ его головѣ, подобно возникающему міру, роятся смутныя идеи, которыя внушаютъ ему вѣру, что онъ вдохновленъ. Онъ принимаетъ темноту за глубину, необузданность за силу, неопредѣленность за безконечность, безсмысленное за сверхчувственное—и какъ восхищенъ онъ своимъ созданіемъ! Но приговоръ знатока не подтверждаетъ этого сужденія горячаго самолюбія. Неподкупной критикой онъ разрушаетъ балаганщину необузданнаго воображенія и освѣщаетъ ему путь въ глубокіе рудники знанія и опыта, гдѣ скрытый отъ всякаго непосвященнаго бьетъ родникъ истинной красоты. Дремлетъ въ пытливомъ юношѣ истинная сила дарованія,—ужъ мужество истиннаго таланта заставитъ его рѣшиться на первый шагъ, хотя бы по началу его скромность и отшатнулась отъ этого. Если природа создала его художникомъ-пластикомъ, онъ станетъ изучать строеніе человѣческаго тѣла подъ ножомъ анатома, онъ спускается въ глубины, чтобы правдиво изобразить поверхность, онъ изслѣдуетъ весь родъ, чтобы воздать должное отдѣльному индивиду. Если онъ рожденъ поэтомъ, онъ прислушивается къ звучащему въ его собственной груди, голосу человѣчества, чтобы понять безконечное разнообразіе его игры на необъятной сценѣ міра, подчиняетъ пышную фантазію дисциплинѣ вкуса и трезвымъ разсудкомъ измѣряетъ берега, среди которыхъ долженъ кипѣть потокъ вдохновенія. Ему превосходно извѣстно, что лишь изъ незамѣтнаго и малаго выростаетъ великое и по песчинкамъ созидаетъ онъ волшебное зданіе, единымъ впечатлѣніемъ захватывающее и поражающее насъ. Если же наоборотъ природа создала его диллетантомъ, то всякая трудность охлаждаетъ его безсильный пылъ и онъ или—если онъ скроменъ—покидаетъ путь, указанный ему самообманомъ, или—если онъ не таковъ—съуживаетъ великій идеалъ по малой мѣркѣ своихъ способностей, ибо онъ не способенъ расширить ихъ по великой мѣрѣ идеала. И потому истинный художественный геній всегда узнается потому, что онъ при самомъ пламенномъ стремле-

---

происхожденіемъ. Можетъ-ли это преимущество, которое по отношенію къ внѣшнему и эстетическому развитію должно безспорно считаться нѣкоторымъ пріобрѣтеніемъ, быть названо пріобрѣтеніемъ также и въ отношеніи внутренняго развитія и, стало быть, всего воспитанія юнаго дворянина,—объ этомъ г. Гарвэ не высказалъ своего мнѣнія, и я сомнѣваюсь, чтобы ему удалось поддержать такое возврѣніе. Какъ бы ни былъ при этомъ великъ выигрышъ въ области формы, столько же неизбѣжно будетъ потеряно въ содержаніи, и если поразмыслить, насколько легче подыскать форму къ содержанію, чѣмъ содержаніе къ формѣ, то это дворянское преимущество окажется не столь уже завиднымъ. Конечно, если тотъ строй, при которомъ на среднее сословіе возложенъ трудъ, а на дворянъ—представительство, останется всегда неизмѣннымъ, то для его поддержанія нѣтъ лучшаго средства, чѣмъ такое различіе въ воспитаніи; но я сомнѣваюсь, чтобы дворянство, всегда оставалось довольно такимъ распредѣленіемъ.

ніи къ цѣлому, сохраняетъ хладнокровіе и упорную настойчивость во всемъ, что касается частностей, и скорѣе откажется отъ наслажденія оконченнымъ созданіемъ, чѣмъ нанесетъ ущербъ законченности. Трудность средствъ заставляетъ простого любителя отвернуться отъ цѣли; онъ желалъ бы, чтобы созданіе давалось такъ же легко, какъ созерцаніе.

До сихъ поръ рѣчь шла только о вредѣ, наносимомъ мышленію и глубинѣ чрезмѣрнымъ вниманіемъ къ красотѣ формы и непомѣрно разросшимися эстетическими требованіями. Но гораздо больше значенія пріобрѣтаютъ эти притязанія вкуса въ томъ случаѣ, когда они имѣютъ своимъ предметомъ волю. Ибо вѣдь большая разница, препятствуетъ ли чрезмѣрная наклонность къ прекрасному лишь расширенію нашихъ познаній, или-же портитъ нашъ характеръ и доводитъ насъ до нарушенія долга. Беллетристическій произволъ въ мышленіи есть, разумѣется, нѣчто дурное и влечетъ за собой затемненіе разсудка; но тотъ же произволъ, направленный на требованія воли, есть уже нѣчто пагубное, неизбѣжно влекущее за собой гибель сердца. И къ этой опасной крайности влечетъ человѣка эстетическая утонченность, коль скоро онъ ввѣряетъ себя исключительно чувству красоты и дѣлаетъ вкусъ неограниченнымъ законодателемъ своей воли.

Нравственное назначеніе человѣка требуетъ полной независимости воли отъ всякаго вліянія чувственныхъ побужденій, и вкусъ, какъ мы знаемъ, неустанно стремится къ сильнѣйшему закрѣпленію узъ между разумомъ и чувствами. Онъ достигаетъ этого, конечно, тѣмъ, что страсти облагораживаются и становятся все согласнѣе съ требованіями разума; но въ концѣ концовъ изъ этого самаго источника можетъ проистечь для нравственности большая опасность.

Именно потому, что у человѣка эстетически развитого воображеніе даже въ своей свободной игрѣ сообразуется съ законами и что ему доставляетъ особое наслажденіе наслаждаться лишь въ согласіи съ разумомъ, онъ слишкомъ легко требуетъ отъ разума взаимной услуги: сообразоваться въ своемъ законодательствѣ съ интересами воображенія и безъ согласія чувственныхъ побужденій ничего не повелѣвать волѣ. Нравственная подчиненность воли, по существу обязательная безъ всякихъ условій, незамѣтно становится договоромъ, который связываетъ одну сторону лишь до тѣхъ поръ, пока его соблюдаетъ другая. Случайное совпаденіе долга и добровольной склонности провозглашается, наконецъ, необходимымъ условіемъ, такимъ образомъ отравляя нравственность въ самомъ ея корнѣ.

Какимъ образомъ характеръ постепенно впадаетъ въ эту пагубу, можетъ быть выяснено слѣдующимъ образомъ.

Пока человѣкъ остается дикаремъ, пока его побужденія направлены лишь на матеріальные предметы и дѣйствіями его руководитъ грубый эгоизмъ, чувственность страшна нравственности лишь своей слѣпой мощью и лишь въ качествѣ силы можетъ противиться велѣніямъ разума. Голосъ справедливости, умѣренности, человѣчности заглушенъ громче вопіющей похотью. Страшенъ этотъ дикарь въ этой мести, ибо онъ страшно чутокъ къ обидѣ. Онъ грабитъ и убиваетъ, ибо его страсти слишкомъ сильны для слабыхъ узъ разума. По отношенію къ другимъ онъ—разъяренный звѣрь, ибо самъ онъ, какъ звѣрь, во власти стихійныхъ страстей.

Но разъ онъ смѣнилъ эту природную дикость на болѣе утонченную ступень развитія, разъ вкусъ облагородилъ его побужденія, которыя направляются на болѣе достойные предметы міра нравственнаго, а ихъ грубые порывы умѣрены требованіями красоты, то можетъ произойти, что эти самыя побужденія, которыя до сихъ поръ были страшны лишь своей грубой силой, станутъ, благодаря своему кажущемуся достоинству и захваченному авторитету, еще гораздо болѣе опасными для нравственности характера и, подъ маской невинности, благородства и чистоты, пригнетутъ волю еще гораздо худшей тиранніей.

Человѣкъ, одаренный вкусомъ, самовольно уклоняется отъ грубаго ига инстинкта. Онъ подчиняетъ разуму свое стремленіе къ наслажденію и соглашается, чтобы предметы его желаній опредѣлились мыслящимъ духомъ. И чѣмъ чаще повторяется то, что нравственное и эстетическое сужденія, чувство нравственное и чувство красоты соединяются въ одномъ предметѣ и въ одномъ рѣшеніи, тѣмъ болѣе склоненъ разумъ считать своимъ собственнымъ столь одухотворенное побужденіе и въ концѣ концовъ даже вручить ему съ неограниченной властью кормило воли.

Пока еще есть возможность совпаденія склонности и долга въ одномъ предметѣ

желанія, это появленіе чувства красоты въ роли представителя чувства нравственнаго, не можетъ причинить никакого положительнаго вреда, хотя, строго говоря, нравственный характеръ отдѣльныхъ дѣяній ничего оттого не выигрываетъ. Но дѣло совершенно мѣняется, когда интересы чувства и разума различны, когда долгъ требуетъ поведенія, возмущающаго вкусъ, или когда послѣдній чувствуетъ влеченіе къ предмету, который долженъ быть отвергнутъ разумомъ, какъ нравственнымъ судьей.

Тутъ то именно и наступаетъ сразу необходимость разъединить требованія нравственнаго и эстетическаго чувства, которыя вслѣдствіе столь продолжительнаго взаимодѣйствія сплелись почти въ нераздѣльное цѣлое, опредѣлить ихъ взаимныя права и признавать истиннаго властелина въ душѣ. Но надолго отодвинутый своимъ представителемъ на второй планъ, онъ пришелъ въ забвеніе, а столь продолжительное обыкновеніе подчиняться внушеніямъ вкуса и при этомъ чувствовать себя превосходно, должно было незамѣтно присвоить вкусу видимость нѣкотораго права. При извѣстной безупречности, съ которой вкусъ руководитъ волей, его рѣшенія не могли не снискать нѣкотораго уваженія, и это уваженіе есть именно то, что выставляетъ теперь съ предательской діалектикой влеченіе, въ борьбѣ съ долгомъ и совѣстью.

Уваженіе есть чувство, которое можно питать только къ закону и къ тому, что закону соотвѣтствуетъ. То, что можетъ требовать уваженія, имѣетъ право на безусловное подчиненіе. Облагороженная склонность, съумѣвшая вынудить себѣ уваженіе, уже не хочетъ пребывать подъ началомъ у разума, она хочетъ быть равноправной съ нимъ. Она не хочетъ слыть вѣроломнымъ подданнымъ, возставшимъ на своего властелина, она хочетъ сама считаться самодержцемъ и быть нравственной законодательницей на равныхъ правахъ съ разумомъ. Итакъ, по справедливости, чашки вѣсовъ, какъ показываетъ она, стоятъ наравнѣ — и можно очень и очень опасаться, что перевѣсъ будетъ опредѣленъ интересомъ!

Среди всѣхъ склонностей, происходящихъ отъ чувства красоты и составляющихъ достояніе душъ утонченныхъ, ни одна не можетъ быть такъ привлекательна для нравственнаго чувства, какъ облагороженный аффектъ любви, и ни одна не можетъ быть богаче помышленіями, соотвѣтствующими истинному достоинству человѣка. На какія высоты возноситъ она человѣческую природу и что за божественныя искры высѣкаетъ онъ такъ часто изъ пошлѣйшихъ душъ. Ея священный огонь пожираетъ всякія себялюбивыя побужденія, и едва ли даже принципы могутъ сохранить въ большей чистотѣ душу, чѣмъ сохраняется любовью сердце. Часто тамъ, гдѣ первые еще ведутъ борьбу, любовь уже побѣдила за нихъ и своею всемогущею энергіей ускорила рѣшимость, которой тщетно требовали бы однѣ обязанности отъ слабой человѣчности. Кто не довѣрится страсти, которая съ такой мощью беретъ подъ свою охрану лучшее въ человѣческой природѣ и такъ побѣдоносно борется съ природнымъ врагомъ всякой нравственности—эгоизмомъ.

Но не слѣдуетъ ввѣряться этому руководителю, если мы не обезпечены еще другимъ—лучшимъ. Возможенъ случай, что предметъ нашей любви несчастенъ, что онъ несчастенъ изъ-за насъ, что отъ насъ зависитъ—цѣной нѣкоторыхъ нравственныхъ уступокъ—сдѣлать его счастливымъ. „Заставить-ли его страдать, лишь-бы мы сохранили чистую совѣсть? Позволитъ-ли поступить такъ этотъ безкорыстный, великодушный, до конца преданный своему предмету, ради своего предмета совершенно о себѣ забывающій аффектъ? Правда, противно нашей совѣсти воспользоваться безнравственнымъ средствомъ, которое можетъ принести пользу — но развѣ это значитъ любить, когда при страданіяхъ любимаго существа думаешь еще о себѣ? Стало быть мы заботимся больше о себѣ, чѣмъ о предметѣ нашей любви: мы предпочитаемъ его страданія упрекамъ нашей совѣсти". Такъ софистически умѣетъ этотъ аффектъ доводить до презрѣнія къ звучащему въ насъ голосу совѣсти, изображая его эгоистическимъ побужденіемъ, если онъ мѣшаетъ его интересамъ, и представляя наше нравственное достоинство элементомъ благополучія, отъ котораго мы всегда вольны отказаться. Если нашъ характеръ не огражденъ крѣпкими принципами, то мы, несмотря ни на какіе порывы экзальтированнаго воображенія, будемъ поступать позорно и думать, что одерживаемъ блистательную побѣду надъ нашимъ эгоизмомъ въ то самое время, когда какъ разъ, наоборотъ, являемся его жалкой жертвой. Въ извѣстномъ французскомъ романѣ „Liaisons dangereuses" мы находимъ превосходный примѣръ обмана, въ который ввергаетъ любовь душу чистую и прекрасную. Госпожа де Турвень пала, захваченная

врасплохъ, и вотъ она старается утѣшить свое истерзанное сердце мыслью, будто она пожертвовала своей добродѣтелью великодушію.

Такъ называемыя несовершенныя обязанности—вотъ кого по преимуществу беретъ подъ свою защиту чувство красоты, нерѣдко ставящее ихъ выше обязанностей совершенныхъ. Такъ какъ онѣ представляютъ гораздо больше свободы произволу человѣка и въ то же время бросаютъ вокругъ себя блескъ заслуги, то онѣ пріятны вкусу неизмѣримо болѣе, чѣмъ обязанности совершенныя, повелѣвающія безусловно, строго и настойчиво. Какъ много людей, позволяющихъ себѣ быть несправедливыми, чтобы имѣть возможность быть великодушными! Какъ много такихъ, которые ради того, чтобы сдѣлать добро одному, нарушаютъ свой долгъ по отношенію къ цѣлой группѣ, и, наоборотъ, такихъ, которые скорѣе простятъ ложь, чѣмъ неделикатность, скорѣе преступленіе противъ человѣчности, чѣмъ противъ чести, которые ради того, чтобы поскорѣе добиться совершенства своего духа, губятъ свое тѣло, и для того чтобы изукрасить свой умъ, унижаютъ свой характеръ. Какъ много такихъ, которые не боятся даже преступленія, когда этимъ можетъ быть достигнута благая цѣль, которые осуществляютъ идеалъ политическаго блаженства при посредствѣ всѣхъ ужасовъ анархіи, попираютъ ногами законы, чтобы очистить мѣсто для лучшихъ, и не колеблются повергнуть въ бѣдствія современное поколѣніе, чтобы тѣмъ упрочить счастіе будущихъ. Мнимое безкорыстіе нѣкоторыхъ добродѣтелей сообщаетъ имъ поверхностную чистоту, которая даетъ имъ смѣлость смѣяться въ лицо долгу, и нерѣдко воображеніе играетъ странную игру съ человѣкомъ, которому кажется, что онъ и выше нравственности и разумнѣе разума. Въ этомъ случаѣ человѣкъ утонченнаго вкуса подверженъ нравственному разложенію, отъ котораго хранитъ грубого сына природы именно его грубость. У послѣдняго разстояніе между тѣмъ, чего требуютъ чувства, и тѣмъ, что повелѣваетъ долгъ, такъ опредѣленно и ярко, а его влеченіямъ такъ чуждо все духовное, что даже деспотически владѣя имъ, они никогда не могутъ достигнуть его уваженія. И потому,—если власть чувственности толкаетъ его на путь безнравственный, то онъ, конечно, можетъ пасть въ борьбѣ съ соблазномъ, но никакъ не можетъ скрыть отъ себя, что грѣшитъ, и будетъ преклоняться предъ разумомъ въ тотъ самый моментъ, когда станетъ нарушать его завѣты. Наоборотъ, утонченный питомецъ искусства не желаетъ согласиться, что палъ, и для успокоенія совѣсти готовъ оболгать ее. Онъ съ удовольствіемъ подчинился-бы голосу страсти, но не хочетъ потерять уваженія къ себѣ. Какъ же онъ это оборудуетъ? Сперва онъ ниспровергаетъ высокій авторитетъ, стоящій помѣхой его влеченію, и, прежде, чѣмъ нарушить законъ, подвергаетъ сомнѣнію самыя права законодателя. Возможно ли, чтобы извращенная воля могла до такой степени извратить разумъ? Всѣмъ достоинствомъ, на какое можетъ изъявить притязанія извѣстная склонность, она обязана исключительно своему согласію съ разумомъ, и вотъ съ ослѣпленіемъ, которое равняется ея дерзости, она, и въ разладѣ съ разумомъ, не только узурпируетъ это достоинство, но даже пользуется имъ, чтобы поколебать уваженіе къ разуму.

Столь опасной можетъ оказаться для нравственности характера слишкомъ тѣсная связь между чувственными и нравственными побужденіями, единство которыхъ можетъ быть совершенно лишь въ идеалѣ, но никоимъ образомъ не въ дѣйствительности. Конечно чувственность при этой связи ничего не теряетъ, потому что у нея и нѣтъ ничего, чѣмъ она не должна бы пожертвовать, когда заговоритъ долгъ и разумъ потребуетъ этой жертвы. Но тѣмъ болѣе рискуетъ разумъ, какъ нравственный законодатель, получая отъ влеченія въ подарокъ то, что имѣетъ право требовать отъ него; ибо подъ покровомъ дабровольнаго согласія легко можетъ забыться чувство зависимости, и если когда нибудь повинность окажется нѣсколько тяжелой для чувственности, то въ исполненіи можетъ быть и отказано. Поэтому гораздо безопаснѣе для нравственности характера, когда чувство красоты временами теряетъ право выступать представителемъ нравственнаго чувства, когда разумъ почаще повелѣваетъ непосредственно и показываетъ волѣ, кто ея настоящій властелинъ.

И потому совершенно вѣрно говорятъ, что истинная нравственность высказывается лишь въ школѣ несчастій и что постоянное счастье легко можетъ быть роковой пучиной для добродѣтели. Счастливымъ я называю того, кто не имѣетъ нужды поступать нехорошо для того, чтобы быть счастливымъ, а, поступая хорошо, не терпитъ

никакого лишенія. Такимъ образомъ неизмѣнно счастливый человѣкъ никогда не встрѣчается лицомъ къ лицу съ долгомъ, ибо его закономѣрныя и умѣстныя влеченія всегда предвосхищаютъ завѣтъ разума, и никакое искушеніе нарушить законъ не напоминаетъ ему объ этомъ законѣ. Подъ самодержавной властью чувства красоты, этой намѣстницы разума въ области чувствъ, онъ сойдетъ въ могилу и не подозрѣвая о величіи своего назначенія. Наоборотъ, человѣкъ несчастный, если онъ въ то же время добродѣтеленъ, пользуется высокимъ преимуществомъ соприкасаться непосредственно съ божественнымъ величіемъ закона и — такъ какъ его добродѣтель не имѣетъ никакой поддержки въ его влеченіи— проявляетъ въ качествѣ человѣка свободу духа.

А. Горнфельдъ.

О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ.

Авторъ статьи „Объ опасности эстетическихъ нравовъ" въ одиннадцатомъ выпускѣ журнала „Horen" за прошлый годъ съ полнымъ правомъ подвергъ сомнѣнію мораль, основанную исключительно на чувствѣ красоты и находящую единственнаго своего поручителя во вкусѣ. Но живое и чистое чувство красоты очевидно оказываетъ на нравственную жизнь благотворнѣйшее вліяніе; о немъ я и предполагаю здѣсь поговорить.

Если я приписываю вкусу ту заслугу, что онъ способствуетъ успѣхамъ нравственности, то я совсѣмъ не держусь того мнѣнія, будто одна причастность вкуса къ извѣстному дѣянію уже дѣлаетъ это дѣяніе нравственнымъ. Нравственное никогда не можетъ имѣть никакихъ иныхъ основъ, кромѣ себя самого. Вкусъ можетъ, какъ я надѣюсь показать въ этомъ опытѣ, способствовать нравственности, но самъ онъ силою своего вліянія ничего нравственнаго создать не можетъ.

Въ этомъ случаѣ въ области внутренней и нравственной свободы происходитъ то-же, что и во внѣшней, физической; свободно въ послѣднемъ смыслѣ я дѣйствую тогда, когда, независимо отъ всякаго внѣшняго вліянія, повинуюсь исключительно моей волѣ. Но возможностью безпрепятственно повиноваться моей волѣ я могу въ концѣ концовъ быть обязанъ какой-нибудь отличной отъ меня причинѣ, разъ установлено, что послѣдняя могла ограничить мою волю. Равнымъ образомъ могу я возможностью поступать хорошо быть обязанъ причинѣ, находящейся внѣ моего разума, если она можетъ быть представлена какъ сила, которая могла ограничить свободу моего духа. Итакъ, какъ можно, съ одной стороны, сказать, что одинъ человѣкъ получаетъ свободу отъ другого, — хотя свобода сама состоитъ въ томъ, что нѣтъ нужды сообразоваться съ другимъ,—такъ точно можно сказать, что вкусъ помогаетъ добродѣтели, хотя сама добродѣтель имѣетъ своимъ слѣдствіемъ то, что при ней не нужна ничья чужая помощь.

Дѣяніе не перестаетъ называться свободнымъ оттого, что, къ счастію, остается безучастнымъ тотъ, кто могъ бы воздѣйствовать на него, — разъ намъ извѣстно, что дѣйствующій слѣдовалъ при этомъ исключительно велѣніямъ своей воли, безъ всякаго отношенія къ посторонней волѣ. Равнымъ образомъ внутреннее дѣйствіе лишь потому, что, къ счастію, нѣтъ соблазновъ, которые могли бы измѣнить его, не теряетъ еще права на названіе нравственнаго, — разъ мы приняли, что дѣйствующій слѣдовалъ при этомъ исключительно голосу своего разума, не подчиняясь никакимъ стороннимъ побужденіямъ. Свобода внѣшняго дѣйствія покоится только на его непосредственномъ происхожденіи изъ воли личности, нравственный характеръ внутренняго дѣянія обусловленъ исключительно непосредственной зависимостью воли отъ закона разума.

Дѣйствовать въ качествѣ свободныхъ людей намъ можетъ быть труднѣе или легче, смотря по силамъ, которыя противостоятъ нашей свободѣ и должны быть преодолѣны. Постольку существуютъ степени свободы.

Наша свобода — шире, по крайней мѣрѣ, очевиднѣе, когда мы сохраняемъ ее, несмотря на самое яростное сопротивленіе враждебныхъ силъ; но нельзя сказать, что ея нѣтъ, когда наша воля не встрѣчаетъ никакого противодѣйствія или когда сторонняя сила уничтожаетъ это противодѣйствіе безъ нашего участія.

То-же можно сказать и о нравственности: Непосредственное повиновеніе разума мы покупаемъ большей или меньшей борьбой, смотря по присущимъ намъ побужденіямъ, которыя противодѣйствуютъ его велѣніямъ и которыя намъ приходится преодолѣть. Постольку существуютъ степени нравственности. Наша нравственность значительнѣе, по крайней мѣрѣ явственнѣе, когда мы, при самыхъ сильныхъ побужденіяхъ къ противоположному, непосредственно подчиняемся разуму; но она не исчезаетъ отъ того, что не находитъ никакого соблазна къ противоположному или что этотъ соблазнъ обезсиленъ чѣмъ-либо помимо силы нашей воли. Итакъ, мы поступаемъ нравственно, разъ мы поступаемъ такъ лишь потому, что оно нравственно, не справляясь предварительно, пріятно оно или нѣтъ; это такъ, если бы даже возможно было предположить, что мы бы поступили иначе, если бы нашъ образъ дѣйствій могъ причинить намъ страданіе или лишить насъ наслажденія.

Къ чести человѣческой природы можно утверждать, что человѣкъ не можетъ пасть такъ низко, чтобы предпочитать зло лишь потому, что это — зло; наоборотъ, каждый безъ различія предпочелъ бы добро, потому что оно — добро, если бы по случайнымъ обстоятельствамъ это иногда не лишало его пріятнаго или не влекло за собой непріятнаго. Такимъ образомъ въ дѣйствительности всякая безнравственность, повидимому, проистекаетъ изъ коллизіи благого съ пріятнымъ или—что одно и то же—страстей съ разумомъ и имѣетъ источникомъ, съ одной стороны, силу чувственныхъ побужденій, съ другой—слабость воли.

Такимъ образомъ, подобно тому какъ двумя способами нравственность можетъ быть подавлена, способствовать ея усиленію можно также двумя способами. Для этого должно или подкрѣплять силу разума и доброй воли, такъ чтобы никакое искушеніе не могло совладать съ нею, или-же сломить силу искушенія, такъ чтобы и болѣе слабый разумъ и болѣе слабая добрая воля были все таки сильнѣе его.

Можетъ, правда, показаться, будто отъ послѣдняго пріема сама нравственность ничего не выигрываетъ, такъ какъ при этомъ сама воля, только сущность которой и можетъ сдѣлать дѣяніе хорошимъ, не терпитъ никакого измѣненія. Но это и не требуется въ данномъ случаѣ, гдѣ предполагается не злая воля, которая должна быть измѣнена, но лишь добрая воля, которая недостаточно сильна. И тѣмъ не менѣе эта добрая, но слабая воля все же оказываетъ этимъ путемъ свое дѣйствіе, чего, быть можетъ, и не было бы, если бы ей противостояли болѣе сильныя побужденія. Но гдѣ источникомъ дѣянія является добрая воля, тамъ есть нравственность. Поэтому я безъ колебанія выставляю положеніе: дѣйствительно споспѣшествуетъ нравственности то, что уничтожаетъ противодѣйствіе естественной склонности къ добру.

Естественный внутренній врагъ нравственности есть чувственное побужденіе, которое, имѣя соотвѣтственный предметъ, стремится къ удовлетворенію и, когда разумъ предписываетъ ему что-либо непріятное, противодѣйствуетъ его велѣніямъ. Это чувственное побужденіе неустанно стремится вовлечь въ свои интересы волю, которая, однако, подчинена нравственнымъ законамъ и связана обязательствомъ никогда не расходиться съ велѣніями разума.

Между тѣмъ чувственное побужденіе не признаетъ никакого нравственнаго закона и стремится, чтобы предметъ его былъ осуществленъ волей, что бы ни возражалъ противъ этого разумъ. Эта тенденція нашихъ желаній повелѣвать непосредственно волѣ безъ всякаго вниманія къ высшимъ законамъ противорѣчитъ нашему нравственному назначенію и является сильнѣйшимъ противникомъ, съ которымъ приходится бороться человѣку въ его нравственной дѣятельности. Душамъ грубымъ, равно чуждымъ стихій нравственной, какъ и эстетической, непосредственно изрекаетъ велѣнія страсть, и онѣ поступаютъ такъ, какъ этого требуютъ ихъ похоти. Душамъ нравственнымъ, чуждымъ лишь эстетической стихіи, непосредственно предписываетъ велѣнія разумъ, и онѣ преодолѣваютъ соблазнъ исключительно повиновеніемъ долгу. Въ душахъ эстетически утонченныхъ есть еще одна инстанція, нерѣдко замѣщающая добродѣтель тамъ, гдѣ ея нѣтъ, и облегчающая ея трудъ тамъ, гдѣ она есть. Эта инстанція есть вкусъ.

Вкусъ требуетъ умѣренности и пристой-

ности, онъ отвергаетъ все, что нескладно, грубо, рѣзко и склоняется ко всему, что легко и гармонично. Чтобы мы и въ бурѣ страстей прислушивались къ голосу разума и обуздывали грубые взрывы естества,—этого, какъ извѣстно, требуетъ отъ каждаго цивилизованнаго человѣка хорошій тонъ, который есть не что иное какъ эстетическій законъ. Эта узда, которую налагаетъ на себя цивилизованный человѣкъ во внѣшнемъ выраженіи своихъ чувствъ, сообщаетъ ему извѣстную степень власти надъ этими чувствами, даетъ ему, по крайней мѣрѣ, нѣкоторое умѣніе прерывать посредствомъ акта самодѣятельности исключительно пассивное состояніе души и при помощи рефлексіи задерживать стремительный переходъ чувствъ въ дѣйствія. Все, сокрушающее грубую силу аффектовъ, конечно, еще не создаетъ тѣмъ никакой добродѣтели (ибо сія послѣдняя должна быть своимъ собственнымъ порожденіемъ), но она даетъ волѣ просторъ обратиться къ добродѣтели. Но это торжество вкуса надъ грубымъ аффектомъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ считаться нравственнымъ дѣйствіемъ, и свобода, добытая волей при посредствѣ вкуса, совсѣмъ не есть нравственная свобода. Вкусъ лишь постольку освобождаетъ душу отъ ига инстинкта, поскольку налагаетъ на нее свои узы; обезоруживая перваго и явнаго врага нравственной свободы, онъ самъ нерѣдко становится ея вторымъ врагомъ, лишь болѣе опаснымъ подъ личиной дружбы. Дѣло въ томъ, что вѣдь вкусъ правитъ душою лишь при посредствѣ наслажденія—конечно благороднаго наслажденія, ибо источникомъ его является разумъ—но гдѣ воля опредѣляется наслажденіемъ, тамъ нѣтъ еще никакой нравственности.

Однако при этомъ вмѣшательствѣ вкуса въ дѣятельность воли выигрывается нѣчто важное. Всѣ матеріальныя склонности и грубыя страсти, столь упорно, бурно и часто противодѣйствующія добру, изгоняются вкусомъ изъ души, и на мѣстѣ ихъ здѣсь разцвѣтаютъ благородныя и нѣжныя склонности, которыя связаны съ порядкомъ, гармоніей и совершенствомъ и которыя, правда, не будучи добродѣтелью, раздѣляютъ съ добродѣтелью одинъ предметъ. Если теперь заговоритъ страсть, то ей придется выдержать предварительно строгое испытаніе предъ чувствомъ красоты; и если теперь заговоритъ разумъ и потребуетъ дѣяній порядка, гармоніи и совершенства, то велѣнія его не встрѣтятъ со стороны страсти никакого сопротивленія, но, наоборотъ, живѣйшее содѣйствіе. Представивъ себѣ всѣ разнообразныя формы, въ которыхъ можетъ находить выраженіе нравственность, мы сможемъ свести ихъ къ двумъ нижеслѣдующимъ. Или чувственность возбуждаетъ въ душѣ починъ, чтобы что-нибудь произошло, или не произошло, и воля отвѣчаетъ на это сообразно законамъ разума,—или разумъ возбуждаетъ починъ—и воля повинуется ему, не справляясь ни о чемъ у чувствъ.

Греческая принцесса Анна Комнина разсказываетъ объ одномъ схваченномъ измѣнникѣ, котораго поручено было сопровождать въ Константинополь отцу ея Алексѣю, когда онъ былъ еще полководцемъ своего предшественника. По пути, когда оба они ѣхали вмѣстѣ верхомъ, Алексѣю вздумалось сдѣлать привалъ подъ тѣнью одного дерева, чтобы отдохнуть отъ зноя. Вскорѣ сонъ не замедлилъ одолѣть его. Но другой, которому страхъ предстоящей казни не давалъ покоя, не уснулъ. И вотъ, пока тотъ покоится во снѣ, преступникъ вдругъ замѣчаетъ мечъ Алексѣя, висящій на деревѣ, и имъ овладѣваетъ искушеніе убійствомъ своего стража добыть себѣ свободу. Анна Комнина даетъ понять, что она не знаетъ, что произошло бы, если бы Алексѣй, къ счастію, не проснулся. Здѣсь мы имѣемъ нравственное дѣяніе перваго рода, гдѣ чувственное побужденіе играло первенствующую роль, а разумъ лишь изрекалъ свой приговоръ. Если бы преступникъ побѣдилъ искушеніе лишь по одному уваженію къ справедливости, то не было бы сомнѣнія, что онъ поступилъ нравственно.

Когда покойный герцогъ Леопольдъ Брауншвейгскій стоялъ на берегу стремительнаго Одера въ раздумьѣ, довѣриться-ли съ опасностью для жизни бурной рѣкѣ, чтобы спасти нѣсколькихъ несчастныхъ, которымъ грозила вѣрная гибель, и когда онъ—предполагаю, что было такъ—единственно изъ сознанія долга прыгнулъ въ челнокъ, куда никто не рѣшался сойти,—онъ—едва ли кто-либо откажетъ ему въ этомъ—дѣйствовалъ нравственно. Случай съ герцогомъ прямо противоположенъ предъидущему. Чувство долга заговорило здѣсь прежде всего, и лишь затѣмъ уже стремленіе къ самосохраненію вступило въ борьбу съ велѣніемъ разума. Но въ обоихъ случаяхъ роль воли была одна и та же: она

слѣдовала непосредственно разуму; поэтому оба дѣянія нравственны.

Но остались ли бы они таковыми, если бы на нихъ оказалъ вліяніе вкусъ?

Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, что первый, испытавшій искушеніе совершитъ дурной поступокъ и не совершившій его изъуваженія къ справедливости, имѣлъ столь утонченный вкусъ, что все постыдное и насильственное возбуждаетъ въ немъ непреодолимое отвращеніе: очевидно, въ тотъ моментъ, когда стремленіе къ самосохраненію побудитъ его къ постыдному намѣренію, уже его эстетическое развитіе отвергнетъ такое намѣреніе, которое такимъ образомъ даже не предстанетъ предъ нравственнымъ судомъ совѣсти, но падетъ уже въ низшей инстанціи. Между тѣмъ эстетическое чувство управляетъ волей лишь при посредствѣ чувствъ, безъ посредства законовъ. Такой человѣкъ отказываетъ себѣ такимъ образомъ въ пріятномъ чувствѣ спасенной жизни, потому что онъ не можетъ перенести сознанія, что совершилъ гнусность. Все дѣло проходитъ такимъ образомъ предъ судомъ чувства, и все поведеніе этого человѣка, какъ оно ни лояльно, остается въ нравственномъ смыслѣ безразличнымъ—оно просто прекрасное проявленіе дѣятельности природы.

Предположимъ теперь, что и другой, получившій отъ разума велѣніе совершить нѣчто, возмущавшее его естественную склонность, также обладаетъ столь чуткимъ чувствомъ красоты, что его приводитъ въ восхищеніе все возвышенное и совершенное; очевидно, въ тотъ самый моментъ, когда разумъ произнесетъ свое рѣшеніе, чувственность также перейдетъ на его сторону, и онъ сдѣлаетъ *по своей склонности* то, что безъ этой нѣжной воспріимчивости къ прекрасному вынужденъ бы сдѣлать *противъ* своей склонности. Сочтемъ ли мы его поэтому менѣе совершеннымъ? Разумѣется, нѣтъ; ибо онъ дѣйствуетъ непосредственно изъ чистаго уваженія къ велѣніямъ разума, и то обстоятельство, что онъ съ радостью слѣдуетъ этимъ велѣніямъ, разумѣется, не можетъ ослабить нравственную чистоту дѣянія. Такимъ образомъ, въ нравственномъ отношеніи онъ также совершененъ, въ физическомъ, наоборотъ, онъ гораздо совершеннѣе, ибо онъ является гораздо болѣе цѣлесообразнымъ субъектомъ добродѣтели.

Итакъ, вкусъ сообщаетъ душѣ болѣе цѣлесообразное для добродѣтели настроеніе, такъ какъ онъ отдаляетъ склонности, препятствующія ей и возбуждаетъ склонности, ей благопріятствующія. Вкусъ не можетъ причинить никакого ущерба истинной добродѣтели, если во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ первое побужденіе получено отъ естественной склонности, онъ повергаетъ на ея рѣшеніе то, что, въ сущности, должно было бы быть рѣшено судомъ совѣсти, и такимъ образомъ является причиной того обстоятельства, что среди дѣйствій тѣхъ, кто руководится имъ, гораздо больше безразличныхъ, чѣмъ дѣйствительно нравственныхъ. Ибо достоинство человѣка обусловливается совсѣмъ не большей *суммой* отдѣльныхъ ригористически-нравственныхъ поступковъ, но большимъ согласіемъ всей его природы съ нравственнымъ закономъ; и это не слишкомъ большая слава для народа или вѣка, если въ нихъ слишкомъ много говорятъ о нравственности или объ отдѣльныхъ нравственныхъ поступкахъ; наоборотъ, скорѣе ужъ можно надѣяться, что въ концѣ культурнаго развитія—если вообще можно себѣ представить такой конецъ—о нихъ совсѣмъ не будетъ рѣчи. Наоборотъ, вкусъ можетъ принести истинной добродѣтели положительную пользу во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ первое побужденіе исходитъ отъ разума, подвергающагося опасности остаться безъ вліянія въ борьбѣ съ болѣе могучей силой естественныхъ влеченій. Въ этихъ именно случаяхъ онъ настраиваетъ нашу чувственность въ пользу долга, давая такимъ образомъ возможность и съ малымъ количествомъ нравственной силы воли исполнять велѣнія добродѣтелей.

Итакъ, если вкусъ, какъ таковой, ни въ коемъ случаѣ не можетъ повредить истинной нравственности, а во многихъ случаяхъ приноситъ ей очевидную пользу, то тѣмъ большее значеніе получаетъ то обстоятельство, что онъ въ высшей степени способствуетъ законности нашего образа дѣйствій. Если предположить, что изящная культура оказалась совершенно безсильной улучшить наши помышленія, то она по крайней мѣрѣ сообщаетъ намъ спссобность и безъ истинно нравственныхъ помышленій поступать такъ, какъ мы поступали бы подъ вліяніемъ нравственныхъ побужденій. Правда, предъ судомъ нравственности рѣчь идетъ о нашихъ поступкахъ исключительно лишь постольку, поскольку они являются выраженіемъ нашихъ помышленій; но предъ судомъ физическимъ и по предначертаніямъ природы, какъ разъ наоборотъ—всѣ наши

помышленія имѣютъ значеніе исключительно лишь постольку, поскольку они являются источникомъ поступковъ, выполняющихъ цѣли природы. Но оба міропорядка,—физическій, гдѣ правятъ силы, и нравственный, гдѣ властвуютъ законы,—такъ точно разсчитаны другъ на друга и такъ глубоко связаны другъ съ другомъ, что дѣйствія нравственно-цѣлесообразныя по формѣ будутъ физически цѣлесообразны по своему содержанію; и такъ какъ все мірозданіе повидимому существуетъ лишь для того, чтобы сдѣлать возможной высшую изъ цѣлей—добро, то и само добро можетъ быть употреблено въ качествѣ средства для поддержанія мірозданія. Такимъ образомъ порядокъ въ природѣ поставленъ въ зависимость отъ нашихъ помышленій, и мы не можемъ погрѣшить противъ міра нравственнаго, не нарушая тѣмъ самымъ порядка въ мірѣ физическомъ.

Если такимъ образомъ отъ человѣческой природы—пока она остается человѣческой природой—немыслимо ожидать, чтобы она дѣйствовала, какъ чистый разумъ, непрерывно и безошибочно, равномѣрно и постоянно, не погрѣшая никогда противъ нравственнаго порядка; если мы при всемъ убѣжденіи какъ въ необходимости, такъ и въ возможности чистой добродѣтели, все же вынуждены признать, какъ случайно дѣйствительное ея осуществленіе и какъ мало мы можемъ полагаться на непоколебимость нашихъ лучшихъ основаначалъ; если мы при этомъ сознаніи нашей ненадежности вспомнимъ, что все зданіе природы страдаетъ отъ каждаго нашего нравственнаго проступка; если мы представимъ себѣ все это,—то было бы преступнѣйшимъ дерзновеніемъ предоставить высшее благо міра этой случайности нашей добродѣтели. Наоборотъ, это создаетъ для насъ обязанность,—если формою нашихъ дѣяній мы не можемъ удовлетворить нравственный міропорядокъ, то содержаніемъ нашихъ поступковъ по крайней мѣрѣ воздать должное міропорядку физическому; по крайней мѣрѣ, въ качествѣ совершенныхъ орудій, уплатить цѣли природы то, что мы, какъ несовершенныя личности, не въ силахъ уплатить разуму, чтобы не предстать съ позоромъ предъ обоими судилищами одновременно. Если бы мы отказались опредѣлить особыми установленіями законность нашего поведенія потому что она лишена всякой нравственной цѣнности, то это могло бы разрушить весь міропорядокъ, и, прежде чѣмъ мы управились бы съ нашими основными началами, всѣ общественныя узы были бы расторгнуты. Но чѣмъ случайнѣе наша нравственность, тѣмъ необходимѣе позаботиться о законности, и легкомысленное или горделивое невниманіе къ послѣдней можетъ быть для насъ опасно съ нравственной стороны. Какъ безумный, предчувствуя приближеніе припадка, удаляетъ отъ себя всѣ ножи и добровольно даетъ связать себя, чтобы въ здоровомъ состояніи не оказаться отвѣтственнымъ за преступленіе своего разстроеннаго мозга,—такъ и мы обязаны сковывать себя религіей и эстетическими законами, чтобы наша страсть, когда она нами завладѣваетъ, не нарушила физическаго порядка.

Не безъ умысла помѣстилъ я здѣсь въ одинъ разрядъ религію и вкусъ: обоимъ свойственна та заслуга, что, если ни по внутренней цѣнности, то по результату, они являются суррогатомъ истинной добродѣтели и обезпечиваютъ законность тамъ, гдѣ этого невозможно ожидать отъ нравственности. Хотя наивысшее мѣсто въ разрядѣ людей духа занялъ бы безспорно тотъ, кому для поведенія, неизмѣнно сообразнаго съ разумомъ, не нужны ни приманки красоты, ни разсчеты на безсмертіе, однако извѣстныя границы человѣческой природы вынуждаютъ и строжайшаго этика нѣсколько отступить на практикѣ отъ суровости своей системы, ничего не уступая въ теоріи, и для большей безопасности укрѣпить благо человѣчества, слишкомъ слабо обезпеченное нашей неустойчивой добродѣтелью, еще на двухъ вѣрныхъ якоряхъ,—религіи и вкуса.

А. Горнфельдъ.

О возвышенномъ.

„Ни одинъ человѣкъ не долженъ долженствовать“ сказалъ еврей Натанъ дервишу, и это справедливо въ болѣе обширномъ смыслѣ, чѣмъ, можетъ быть, многіе думаютъ. Въ волѣ состоитъ родовое отличіе человѣка, и разумъ представляетъ собой лишь ея вѣчное правило. Разумно поступаетъ вся природа; однако, прерогативой человѣка является то, что онъ поступаетъ сознательно и произвольно. Всѣ предметы „должны“, человѣкъ же есть то существо, которое хочетъ.

Именно поэтому вполнѣ недостойно человѣка терпѣть насиліе, ибо насиліе, уничтожаетъ человѣка. Кто насъ насилуетъ, тотъ не признаетъ въ насъ человѣчности, кто трусливо переноситъ насиліе, тотъ отвергаетъ свою человѣчность. Но, кажется, это требованіе безусловнаго освобожденія отъ всего, что именуется насиліемъ, предполагаетъ существо, одаренное въ достаточной мѣрѣ силою, чтобы оградить себя отъ всякой другой силы. Если это требованіе находится въ существѣ, которое въ царствѣ силъ не занимаетъ высшаго мѣста, тогда возникаетъ несчастное противорѣчіе между стремленіемъ и способностью.

Въ такомъ положеніи находится человѣкъ. Человѣческая природа, окруженная безчисленными силами, которыя могущественнѣе ея и господствуютъ надъ нею, предъявляетъ права на то, чтобы не терпѣть никакого насилія. Правда, разумъ человѣка искусственнымъ путемъувеличиваетъ его силы и до извѣстнаго предѣла ему дѣйствительно удается физически стать властелиномъ надъ всѣмъ физическимъ. Всего можно избѣгнуть, говоритъ пословица, кромѣ смерти. Но это единственное исключеніе, если оно является дѣйствительно таковымъ, въ строгомъ значеніи слова, уничтожаетъ всецѣло понятіе человѣка. Ни коимъ образомъ человѣкъ не можетъ быть существомъ хотящимъ, если есть хоть одинъ случай, въ которомъ онъ бузусловно долженъ претерпѣть то, чего не хочетъ. Это единственно ужасное, что онъ долженъ и чего онъ не хочетъ, станетъ преслѣдовать его какъ привидѣніе и отдастъ его—какъ это дѣйствительно и случается съ большинствомъ людей—во власть слѣпому страху, созданному его фантазіей. Хваленая свобода есть чистое ничто, если человѣкъ связанъ хотя бы только въ одномъ пунктѣ. Культура должна освободить человѣка и помочь ему осуществить всецѣло свое понятіе. Она должна сдѣлать человѣка способнымъ настоять на своемъ, ибо человѣкъ есть существо хотящее.

Это возможно двоякимъ путемъ, или *реалистическимъ*, когда человѣкъ силѣ противуполагаетъ силу же, когда онъ какъ природа овладѣваетъ природою; или *идеалистическимъ*, когда онъ преодолѣваетъ природу и, такимъ путемъ, по отношенію къ себѣ уничтожаетъ понятіе насилія.

Физическая культура дѣлаетъ его способнымъ къ первому. Человѣкъ вырабатываетъ свой разсудокъ и чувственныя силы, дабы сдѣлать силы природы, пользуясь законами ея, орудіями своей воли, или же дабы обезопасить себя отъ тѣхъ явленій природы, которыя онъ имѣетъ возможность направить. Но овладѣть силами природы или обезопасить себя отъ нихъ можно только до извѣстнаго предѣла; за этимъ предѣломъ онѣ ускользаютъ изъ сферы могущества человѣка и подчиняютъ его своей власти. И человѣкъ лишился бы своей свободы, еслибъ онъ не былъ способенъ ни къ какой иной культурѣ, кромѣ физической. Онъ долженъ быть безъ ограниченія человѣкомъ, т. е. ни въ какомъ случаѣ не терпѣть чего либо противнаго его

волѣ. Если онъ не въ состояніи противопоставить физической силѣ соотвѣтственную физическую силу, то ему, дабы не терпѣть насилія, не остается ничего иного, какъ совершенно порвать столь невыгодное для него отношеніе и уничтожить въ понятіи насиліе, которое онъ фактически претерпѣваетъ. Унитожить насиліе въ понятіи означаетъ не что иное, какъ добровольное ему подчиненіе. Культура, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ къ этому, называется нравственною.

Нравственно образованный человѣкъ, и только онъ одинъ, совершенно свободенъ. Онъ или преодолѣлъ силу природы или же чувствуетъ себя въ единеніи съ нею. Что бы природа съ нимъ ни дѣлала, это не будетъ насиліемъ, ибо прежде чѣмъ послѣднее коснется его, оно станетъ уже его собственнымъ дѣйствіемъ, и динамическая природа никогда не достигнетъ человѣка, ибо онъ свободно устранилъ себя отъ всего, чего оно можетъ достигнуть. Этотъ образъ мыслей, который нравственность обозначаетъ словомъ подчиненія необходимости, а религія подводитъ подъ понятіе смиренія предъ божественнымъ промысломъ, требуетъ, для того чтобы быть дѣломъ свободнаго выбора и размышленія, большей ясности мысли и болѣе высокой энергіи воли, чѣмъ обыкновенно свойственно человѣку въ дѣятельной жизни. Но по счастью, въ его раціональной природѣ имѣется не только предрасположеніе къ нравственности, которое можетъ быть развито при помощи разсудка, но даже въ его чувственной и разумной, т. е. человѣческой природѣ существуетъ эстетическое къ ней стремленіе, которое можетъ быть пробуждено нѣкоторыми чувственными предметами и, путемъ очищенія чувствъ, можетъ образовать идеалистическій подъемъ духа. Объ этомъ-то по своему понятію идеалистическомъ предрасположеніи, которое однако и реалистъ достаточно ясно обнаруживаетъ въ жизни, хотя и не признаетъ въ своей системѣ *), я теперь и буду говорить.

Правда, для того, чтобы въ извѣстной мѣрѣ освободить насъ отъ природы, понимаемой какъ сила, достаточно развитого чувства красоты. Духъ настолько облагороженный, чтобы болѣе быть тронутымъ формою предметовъ, чѣмъ ихъ матеріей, чтобы почерпать свободное наслажденіе изъ простого разсужденія о способѣ проявленія предметовъ, такой духъ въ себѣ самомъ имѣетъ внутренній источникъ жизни, не могущій быть утраченнымъ, и такъ какъ такой духъ не нуждается въ присвоеніи вещей, среди которыхъ онъ живетъ, то онъ и не подвергается опасности лишиться ихъ. Однако, и самая показность нуждается въ тѣлѣ, въ которомъ она могла бы проявиться, и до тѣхъ поръ, пока имѣется потребность хотя бы только въ красивой показности, остается и потребность въ существованіи предметовъ и слѣдовательно наша удовлетворенность зависитъ еще отъ природы въ смыслѣ силы, повелѣвающей надъ всѣмъ существующимъ. Громадная разница, имѣемъ-ли мы потребность въ красивыхъ и хорошихъ предметахъ, или же только требуемъ, чтобы предметы были красивыми и хорошими. Послѣднее можетъ сосуществовать съ высшей свободой духа, первое—нѣтъ. Мы можемъ требовать, чтобы существующее было красивымъ и хорошимъ, но существованія красоты и блага можетъ лишь желать. Великимъ и возвышеннымъ называется по преимуществу то душевное настроеніе, которому безразлично, существуютъ ли красота, благо и совершенство, но которое съ ригористической строгостью требуетъ, чтобы существующее было хорошимъ, красивымъ и совершеннымъ, ибо это настроеніе содержитъ въ себѣ всю реальность прекраснаго характера, не заключая въ себѣ его ограниченій.

Добрымъ и прекраснымъ, но слабымъ душамъ свойственно нетерпѣливо стремиться къ осуществленію своихъ идеаловъ и огорчаться встрѣчаемыми препятствіями. Такіе люди ставятъ себя въ грустную зависимость отъ случая, и можно всегда съ увѣренностью сказать, что они удѣляютъ слишкомъ большое значеніе матеріи въ предметахъ нравственности и эстетики и что они не вынесутъ высшаго испытанія характера и вкуса. Нравственно ошибочное не должно вызывать въ насъ страданія и боли, которыя всегда свидѣтельствуютъ о неудовлетворенной потребности болѣе, чѣмъ о неисполненномъ требованіи. Послѣднее должно сопровождаться бодрымъ аффектомъ и должно скорѣе укрѣплять духъ и увеличивать его силы, чѣмъ дѣлать трусливымъ и несчастнымъ.

Природа даровала намъ двухъ геніевъ въ качествѣ спутниковъ жизни. Одинъ,

*) Вообще говоря, ничто не можетъ быть названо истинно идеалистичнымъ, чего въ дѣйствительности не осуществляетъ безсознательно совершенный реалистъ, хотя по непослѣдовательности и отрицаетъ.

общительный и милый, сокращаетъ намъ своею веселою игрою трудный путь, дѣлаетъ легкими оковы необходимости и ведетъ насъ радостно и шутливо до опасныхъ мѣстъ, въ коихъ мы дѣйствуемъ, какъ чистый духъ, и должны сложить съ себя все тѣлесное, т. е. до области познанія истины и осуществленія долга. Здѣсь онъ насъ покидаетъ, ибо его область одинъ лишь чувственный міръ, за предѣлы котораго земныя крылья не могутъ перенесть его. Но вотъ приближается другой геній, серьезный и молчаливый; сильною рукою переноситъ онъ насъ чрезъ головокружительную бездну.

Въ первомъ геніи мы узнаемъ чувство красоты, во второмъ—чувство возвышеннаго. Правда, красота уже есть выраженіе свободы, однако не той, которая возвышаетъ насъ надъ могуществомъ природы и освобождаетъ отъ всякаго тѣлеснаго вліянія, а лишь той, которою мы, какъ люди, наслаждаемся въ самой природѣ. Мы чувствуемъ себя свободными въ красотѣ, ибо чувственныя стремленія соотвѣтствуютъ законамъ разума; мы чувствуетъ себя свободными въ возвышенномъ, ибо чувственныя стремленія не имѣютъ вліянія на законодательство разума, ибо духъ здѣсь дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы онъ не подчиненъ инымъ законамъ, кромѣ своихъ собственныхъ.

Чувство возвышеннаго—смѣшанное чувство. Это сочетаніе страданія, выражающееся на высшей своей степени ужасомъ, съ радостнымъ настроеніемъ, которое можетъ достигнуть восторга и, не будучи въ настоящемъ смыслѣ наслажденіемъ, далеко предпочитается чуткими душами всякому наслажденію. Это сочетаніе двухъ противорѣчивыхъ ощущеній въ одномъ чувствѣ безспорно доказываетъ нашу нравственную самостоятельность. Такъ какъ безусловно невозможно, чтобы одинъ и тотъ же предметъ стоялъ къ намъ въ противоположныхъ отношеніяхъ, то изъ этого слѣдуетъ, что мы сами стоимъ къ предмету въ двухъ различныхъ отношеніяхъ; что слѣдовательно въ насъ соединены двѣ противоположныхъ природы, которыя заинтересованы противоположнымъ способомъ въ одномъ и томъ же представленіи. Итакъ, мы, благодаря чувству возвышеннаго, узнаемъ, что состояніе нашего духа не слѣдуетъ по необходимости состоянію нашихъ чувствъ, что законы природы не суть необходимо и наши законы, и что въ насъ есть самостоятельное начало, которое совершенно независимо отъ всякихъ чувственныхъ вліяній.

Возвышенный предметъ бываетъ двоякаго рода. Или мы его относимъ къ нашимъ средствамъ познанія и оказываемся не въ состояніи создать себѣ картину или понятіе о немъ, или же мы относимъ его къ нашей жизненной силѣ и разсматриваемъ его, какъ силу по сравненію съ которой наша сила обращается въ ничто. И хотя мы и въ томъ и въ другомъ случаѣ испытываемъ, благодаря этому предмету, непріятное чувство нашего ограниченія, все же мы не избѣгаемъ его, а, напротивъ, онъ насъ влечетъ настолько, что мы не въ состояніи ему противостоять. Развѣ это было бы возможнымъ, еслибъ границы нашей фантазіи въ то же самое время были бы границами нашего познаванія? Было ли бы намъ пріятно напоминаніе о всемогуществѣ силъ природы, еслибъ у насъ не было въ запасѣ чего-либо такого, что не становится добычей этого всемогущества? Мы наслаждаемся чувственно безконечнымъ, ибо мы можемъ мыслить то, чего чувства не могутъ воспринять и чего разсудокъ не можетъ понять. Ужасное насъ приводитъ въ восторгъ, ибо мы можемъ хотѣть то, что нашимъ стремленіямъ кажется отвратительнымъ, и отвергать то, къ чему они влекутъ насъ. Намъ нравится, когда воображеніе побѣждаетъ царство явленій, ибо въ концѣ концовъ все же только чувственная сила торжествуетъ надъ другою чувственною же, но безусловно великаго въ насъ самихъ природа, при всей ея безграничности, не можетъ достичь. Мы охотно отдаемъ во власть физической необходимости какъ наше благополучіе, такъ даже и самое наше существованіе, ибо именно это напоминаетъ намъ, что она не имѣетъ власти надъ нашими принципами. Человѣкъ въ рукахъ необходимости, но воля человѣка только въ его собственныхъ рукахъ.

И вотъ природа воспользовалась даже чувственнымъ средствомъ для того, чтобы научить насъ, что въ насъ есть нѣчто бо́льшее, чѣмъ одна чувственность. Природа сумѣла воспользоваться даже ощущеніями для того, чтобы навести насъ на слѣдъ открытія, что мы не рабски подчинены силѣ ощущеній. И это слѣдствіе совершенно иного характера, чѣмъ то, которое могло бы быть получено путемъ красоты, т. е. красоты реальной, ибо въ идеальной красотѣ должно исчезнуть даже и возвышенное. Въ красотѣ разумъ и чувственность согла-

сованы между собой, и только это согласіе въ красотѣ насъ и прельщаетъ. Поэтому красота одна никогда бы намъ не пояснила, что мы предназначены и способны къ проявленію своей чистотой интеллектуальности. Въ возвышенномъ, напротивъ, разумъ и чувственность не согласованы, и именно въ этомъ противорѣчіи двухъ началъ и заключается его прелесть, охватывающая нашъ духъ. Физическая и нравственная природа человѣка здѣсь раздѣлены самымъ рѣшительнымъ образомъ, ибо именно въ такихъ случаяхъ, когда одинъ испытываетъ лишь свое ограниченіе, другой обрѣтаетъ сознаніе своей силы и безконечно возвеличивается именно тѣмъ самымъ, что другого придавливаетъ къ землѣ.

Предположимъ, что человѣкъ обладаетъ всѣми качествами, соединеніе которыхъ образуетъ *прекрасный характеръ*; пусть онъ находитъ сильнѣйшее наслажденіе въ осуществленіи справедливости, благотворительности, умѣренности, твердости и вѣрности; пусть всѣ обязанности, которыя возложены на него обстоятельствами, будутъ для него лишь легкою игрою, и онъ не встрѣтитъ препятствій своей дѣятельности, къ которой онъ найдетъ побужденіе въ своемъ любвеобильномъ сердцѣ. Кого не восхититъ это прекрасное созвучіе естественныхъ стремленій съ предписаніями разума, и кто въ состояніи не полюбить такого человѣка? Однако можемъ-ли мы, при всемъ расположеніи къ нему, быть увѣренными, что онъ дѣйствительно добродѣтеленъ и что, вообще, добродѣтель существуетъ. Такой человѣкъ, не будучи глупцомъ, не могъ бы поступать иначе, даже еслибъ онъ стремился къ однимъ пріятнымъ ощущеніямъ, ибо онъ пренебрегъ бы своей выгодой, еслибы захотѣлъ быть порочнымъ. Можетъ быть, источникъ его дѣйствій и чистъ, но это ужъ дѣло его сердца; мы ничего подобнаго не видимъ. На нашъ взглядъ, онъ поступаетъ такъ, какъ поступалъ бы умный человѣкъ, боготворящій собственное наслажденіе. Итакъ, чувственный міръ объясняетъ всецѣло видимость его добродѣтели, и намъ незачѣмъ искать основаній ея внѣ этого міра.

Но пусть на этого человѣка обрушится великое несчастье; пусть онъ лишится своего имущества, пусть его доброе имя будетъ запятнано, болѣзни прикуютъ его къ ложу страданій; всѣхъ, кого онъ любитъ, пусть похититъ смерть; пусть всѣ, кому онъ довѣрялъ, покинутъ его въ нуждѣ. Посѣтите несчастнаго, находящагося въ такомъ положеніи и побудите его къ осуществленію тѣхъ добродѣтелей, которыя въ счастіи онъ столь охотно выказывалъ. Если онъ во всемъ остался совершенно прежнимъ, если бѣдность не уменьшила его благотворительности, неблагодарность—готовности услужить, страданіе — ровнаго настроенія его духа, собственное несчастье—сочувствія чужому счастью, если измѣненныя обстоятельства отразились на его наружности, но не на его поведеніи, на матеріи, но не на формѣ его дѣятельности,—тогда, конечно, всякое объясненіе изъ понятія природы окажется недостаточнымъ (такое объясненіе безусловно требуетъ, чтобы настоящее, какъ слѣдствіе, покоилось бы на прошедшемъ, какъ своей причинѣ); ибо нельзя себѣ представитъ большаго противорѣчія, чѣмъ то, что слѣдствіе не измѣнится, когда причина замѣнена противоположнымъ. Итакъ, слѣдуетъ отказаться отъ естественнаго объясненія, слѣдуетъ совершенно отвергнуть объясненіе поведенія изъ даннаго положенія и перенести основаніе объясненія изъ физическаго порядка явленій въ совершенно иному, до котораго разумъ можетъ подняться въ своихъ идеяхъ, который, однако, совершенно недосягаемъ для разсудка съ его понятіями. Открытіе безусловной нравственной силы, не связанной условіями природы, придаетъ горестному чувству возвышеннаго, охватывающему насъ при видѣ такого человѣка, ту особую, невыразимую прелесть, съ которой не можетъ тягаться никакое чувственное наслажденіе, какъ бы ни было оно облагорожено.

Возвышенное, такимъ образомъ, доставляетъ намъ выходъ изъ чувственнаго міра, къ которому красота охотно приковала бы насъ навсегда. Не постепенно (ибо нѣтъ перехода отъ зависимости къ свободѣ), но внезапно и путемъ потрясенія исторгаетъ возвышенное самостоятельный духъ изъ сѣтей, которыми утонченная чувственность его опутала и въ которыхъ она его держитъ тѣмъ крѣпче, чѣмъ онѣ прозрачнѣе. Какую бы власть мало-по-малу ни получилъ изнѣженный вкусъ надъ человѣкомъ, даже если утонченной чувственности удалось проникнуть, пользуясь соблазнительнымъ покровомъ духовно-прекраснаго, въ тайники нравственнаго законодательства и тамъ отравить святость нравственныхъ правилъ въ самомъ ихъ источникѣ,—все же часто достаточно испытать чувство возвышеннаго

для того, чтобы разорвать сѣти обмана, сразу вернуть всю энергію опутанному духу, открыть ему его истинное назначеніе и навязать ему, хотя бы не надолго, чувство собственнаго достоинства. Красота въ образѣ богини Калипсо околдовала храбраго сына Улисса, и силою своихъ чаръ она долго держала его въ плѣну на своемъ островѣ. Долгое время онъ мнилъ, что поклоняется безсмертной богинѣ, между тѣмъ какъ онъ только предавался сладострастію; но внезапно его охватываетъ возвышенное умиленіе, при видѣ Ментора онъ вспоминаетъ о своемъ лучшемъ назначеніи, бросается въ пучину и становится свободнымъ.

Возвышенное и красота разлиты съ расточительностью по всей природѣ, и всѣ люди способны воспринимать какъ то, такъ и другое. Однако, способность къ этому развивается не равно, и искусство должно способствовать развитію его. Это въ цѣляхъ природы, чтобы мы стремились къ красотѣ, въ то время какъ мы еще бѣжимъ отъ возвышеннаго, ибо красота является охранительницей нашего дѣтства, и она ведетъ насъ отъ грубости естественнаго состоянія къ утонченности. Но, хотя красота и есть наша первая любовь, и наша воспріимчивость по отношенію къ ней развивается ранѣе всего, однако природа все же позаботилась о медленномъ ея созрѣваніи, и полному развитію ея предшествуетъ образованіе разсудка и сердца.

Чувственный міръ на-вѣки остался бы предѣломъ нашихъ стремленій, если-бъ вкусъ достигалъ своей полной зрѣлости ранѣе, чѣмъ насаждены въ нашемъ сердцѣ истина и нравственность, притомъ насаждены лучшимъ путемъ, чѣмъ тотъ, который можетъ быть указанъ вкусомъ. Мы не преступили бы границъ чувственнаго міра ни въ нашихъ понятіяхъ, ни въ нашихъ убѣжденіяхъ, и то, чего не въ состояніи представить себѣ воображеніе, не имѣло бы для насъ реальности. Но къ счастью, самой природой устроено такъ, что вкусъ, хотя онъ и разцвѣтаетъ ранѣе, созрѣваетъ, однако, позднѣе всѣхъ остальныхъ душевныхъ способностей. Между тѣмъ выигрывается достаточно времени для насажденія цѣлаго сокровища понятій въ головѣ и клада убѣжденій въ груди, а потомъ уже развивается изъ разума воспріимчивость красоты и возвышеннаго.

Пока человѣкъ былъ лишь рабомъ физической необходимости и не нашелъ еще выхода изъ узкаго круга потребностей, пока онъ не подозрѣвалъ еще демонической свободы въ своей груди, необъятная природа могла ему напоминать лишь о границахъ его силы представленія, а природа - разрушительница — лишь о его физическомъ безсиліи; ему приходилось малодушно сторониться первой и съ ужасомъ отворачиваться отъ второй; но какъ только свободное созерцаніе нѣсколько отстранитъ отъ него слѣпой натискъ природныхъ силъ, какъ только онъ въ потокѣ явленій откроетъ нѣчто непреходящее въ собственномъ своемъ существѣ, окружающія его дикія природныя громады станутъ говорить его сердцу на совершенно иномъ языкѣ, и относительно великое внѣ его явится зеркаломъ, въ которомъ онъ будетъ созерцать безусловно великое въ самомъ себѣ. Безъ страха и съ трепетнымъ наслажденіемъ приблизится онъ теперь къ этимъ пугаламъ своей фантазіи и нарочно приложитъ всѣ силы этой способности къ изображенію чувственно-безконечнаго, для того чтобы, въ случаѣ неуспѣха этой попытки, съ тѣмъ бо́льшей жизненностью ощутить превосходство своихъ идей надъ тѣмъ, что можетъ быть достигнуто чувственностью. Созерцаніе безграничной дали и необозримой высоты, обширный океанъ у его ногъ и еще болѣе обширный океанъ надъ нимъ— отторгнутъ духъ человѣка отъ узкой сферы дѣйствительности и удручающаго плѣненія физической жизни. Въ простомъ величіи природы онъ найдетъ болѣе высокую мѣру оцѣнки и, окруженный великими образами природы, онъ будетъ не въ состояніи выносить мелкаго въ мышленіи. Кто знаетъ, сколько свѣтлыхъ мыслей и геройскихъ рѣшеній породила смѣлая борьба духа съ великимъ геніемъ природы, возникшая во время прогулки,—этого не въ состояніи создать ни одинъ кабинетъ ученаго и ни одинъ салонъ. Можетъ быть, болѣе рѣдкимъ общеніемъ съ этимъ великимъ геніемъ и слѣдуетъ отчасти объяснять склонность характера горожанина къ мелочному, его захирѣлость и вялость, между тѣмъ какъ умъ кочевника открытъ и свободенъ, подобно небесному своду, подъ которымъ онъ разбиваетъ свой шатеръ.

Однако, служить изображеніемъ сверхчувственнаго и поводомъ къ подъему духа можетъ не только недосягаемое для воображенія, возвышенное въ количественномъ отношеніи, необъятное для разума, но

также и хаосъ, если онъ великъ и представляетъ собой явленіе природы (въ противномъ случаѣ онъ презрѣненъ). Развѣ намъ не болѣе пріятенъ остроумный безпорядокъ ландшафта, чѣмъ тупой порядокъ французскаго сада? Не наслаждается ли нашъ глазъ охотнѣе дикими потоками и туманными вершинами Шотландіи, великой природой Оссіана, не изумляемся ли мы ужасамъ борьбы и разрушенія на Сицилійскихъ нивахъ болѣе, чѣмъ тяжелой побѣдѣ терпѣливой съ правильнымъ очертаніемъ Голландіи надъ самой упрямой стихіей? Никто не станетъ отрицать, что человѣку, какъ существу физическому, легче устроиться на лугахъ Батавіи, чѣмъ у подножія коварнаго кратера Везувія, и что разсудокъ, задача котораго все понять и привести въ порядокъ, признаетъ въ правильномъ садоводствѣ большую пользу, чѣмъ въ дикой природѣ. Но человѣкъ обладаетъ не только потребностью жить и благоденствовать; его назначеніе состоитъ не только въ томъ, чтобы понимать окружающія явленія.

Что для воспріимчиваго путешественника дѣлаетъ дикую странность физическаго міра столь привлекательной, именно это же духу, способному восторгаться, открываетъ въ опасной анархіи нравственнаго міра источникъ совершенно своеобразнаго наслажденія. Конечно, тотъ, кто освѣщаетъ великое домоводство природы бѣднымъ факеломъ разсудка и постоянно стремится къ тому, чтобы смѣлый безпорядокъ превратить въ гармонію,—тотъ не можетъ чувствовать себя хорошо въ мірѣ, въ которомъ правитъ безумная случайность, а не разумный планъ и въ которомъ въ большинствѣ случаевъ заслуга и счастье стоятъ другъ съ другомъ въ противорѣчіи. Ему хотѣлось бы, чтобы въ великой смѣнѣ событій все такъ же было устроено, какъ въ хорошемъ хозяйствѣ, и если онъ не замѣчаетъ—а иначе это и быть не можетъ—закономѣрности, то ему не остается ничего иного, какъ ожиданіе, что будущая жизнь и иная природа доставятъ ему удовлетвореніе, котораго не дало ему настоящее и прошедшее. Если же онъ добровольно откажется отъ попытки подвести подъ единство познанія этотъ не закономѣрный хаосъ, то онъ въ иномъ отношеніи достататочно выиграетъ по сравненіи съ тѣмъ, что онъ въ этомъ отношеніи теряетъ. Именно полное отсутствіе какой либо цѣлесообразности въ сочетаніи этого нагроможденія явленій, благодаря которому они превышаютъ силы разсудка, долженствующаго придерживаться цѣлесообразности, какъ формы связи, и становятся для него безполезными, именно это дѣлаетъ ихъ точнымъ символомъ чистаго разума, который усматриваетъ въ дикой необузданности природы собственную независимость отъ природныхъ условій.

Если въ цѣломъ рядѣ предметовъ уничтожить ихъ взаимную связь, то получится понятіе независимости, которое удивительно соотвѣтствуетъ чистому понятію разума—свободѣ. Подъ эту идею свободы, которую разумъ беретъ изъ самого себя, онъ подводитъ въ единствѣ мысли то, что разсудокъ не можетъ соединить въ одно познаніе; разумъ этой идеею подчиняетъ себѣ безконечную игру явленій и тѣмъ самымъ обнаруживаетъ свое превосходство надъ разсудкомъ, какъ чувственно обусловленной способностью. Если вспомнить, какое значеніе должно имѣть для разумнаго существа сознаніе независимости отъ законовъ природы, то станетъ понятнымъ, какимъ образомъ люди, одаренные возвышеннымъ душевнымъ настроеніемъ, могутъ считать себя вознагражденными дарованной имъ идеей свободы за неудачи познанія. Свобода представляетъ для благородныхъ душъ, при всѣхъ нравственныхъ противорѣчіяхъ и физическомъ злѣ, гораздо болѣе интересное зрѣлище, чѣмъ богатство и порядокъ безъ свободы, когда овцы терпѣливо слѣдуютъ за пастухомъ, а самодержавная воля унижается до роли служебной части въ часовомъ механизмѣ. Послѣднее дѣлаетъ человѣка лишь остроумнымъ произведеніемъ и счастливымъ гражданиномъ природы, свобода дѣлаетъ его гражданиномъ и сотрудникомъ болѣе высокой системы; занимать въ ней послѣднее мѣсто безконечно почетнѣе, чѣмъ въ физическомъ порядкѣ предводительствовать рядами.

Съ этой точки зрѣнія, и только съ этой, міровая исторія мнѣ представляется возвышеннымъ объектомъ. Міръ, какъ предметъ исторіи, есть въ сущности не что иное, какъ борьба силъ природы между собой и съ свободой человѣка; исторія и разсказываетъ намъ о побѣдоносномъ исходѣ этой борьбы. Въ настоящій моментъ историческаго развитія о природѣ (къ которой должны быть отнесены и всѣ аффекты человѣка) можно разсказать гораздо большіе подвиги, чѣмъ о независимомъ разумѣ, который проявилъ свое могущество лишь въ немногихъ исключеніяхъ изъ законовъ природы, напр., въ Катонѣ, Аристидѣ, Фокіонѣ и подобныхъ

мужахъ. Кто приступитъ къ исторіи съ большими ожиданіями свѣта и познанія, тотъ сильно разочаруется! Всѣ попытки философіи, предпринятыя съ добрымъ намѣреніемъ привести требованія нравственнаго міра въ согласіе съ тѣмъ, что даетъ дѣйствительный міръ, опровергаются показаніями опыта, и насколько въ царствѣ организмовъ природа услужливо руководствуется или же лишь повидимому руководствуется регулятивными принципами обсужденія, настолько же въ царствѣ свободы она необузданно обрываетъ возжи, при помощи которыхъ спекулятивный духъ желалъ направлять его и держать какъ бы въ плѣну.

Дѣло иное, если отказаться отъ объясненія ея и самую непонятность ея сдѣлать основаніемъ обсужденія. Именно то обстоятельство, что природа, взятая въ главнѣйшихъ моментахъ, насмѣхается надъ всякимъ правиломъ, которое нашъ разсудокъ ей предписываетъ, что она въ своемъ самовольномъ и свободномъ шествіи съ одинаковымъ невниманіемъ попираетъ въ прахъ созданія мудрости и случая, что она охватываетъ въ одномъ гибельномъ потокѣ важное и мелочное, благородное и пошлое, что она здѣсь оберегаетъ муравейникъ, а тамъ охватываетъ руками великана свое прекраснѣйшее созданіе, человѣка, и разбиваетъ его, что она въ одинъ легкомысленный часъ расточаетъ самыя трудныя сбереженія и часто цѣлыя столѣтія трудится надъ нелѣпой работой,—однимъ словомъ это отчужденіе природы, разсматриваемой съ общей точки зрѣнія, отъ правилъ познанія, которымъ она подчиняется въ единичныхъ явленіяхъ, выясняетъ безусловную невозможность объясненія самой природы законами природы, и подчиненіе ея царства тому, что въ немъ имѣетъ значеніе; такимъ образомъ духъ неудержимо долженъ стремиться изъ міра явленій въ міръ идей, изъ условнаго въ безусловное.

Коль скоро мы лишь свободно созерцаемъ ужасную и разрушительную природу, тогда она ведетъ насъ далеко за предѣлы природы чувственно безконечной. Безъ сомнѣнія, чувственный человѣкъ, а равно и сама чувственность въ разумномъ человѣкѣ, ничего такъ не боятся какъ разрыва съ этой силой, отъ которой зависитъ какъ благопопучіе, такъ и самое бытіе.

Высшій идеалъ, изъ-за котораго мы боремся, состоитъ въ томъ, чтобы остаться въ добромъ согласіи съ физическимъ міромъ, охранителемъ нашего благополучія, не будучи въ то же время вынужденными порвать съ нравственнымъ міромъ, опредѣляющимъ наше достоинство. Извѣстно, однако, что не всегда можно служить двумъ господамъ, и еслибъ даже (случай почти невозможный) долгъ никогда не боролся съ потребностями, то все же природная необходимость никогда не вступитъ въ соглашеніе съ человѣкомъ, и онъ не можетъ обезопасить себя отъ рока ни силою, ни ловкостью своей. Благо ему, если онъ научился переносить, чего не можетъ измѣнить, и отказываться съ достоинствомъ отъ того, чего спасти не можетъ! Можетъ случиться, что рокъ завоюетъ всѣ бастіоны, на которыхъ человѣкъ думалъ основать свою безопасность, такъ что ему останется только бѣгство въ сферу священной свободы духа; бываютъ случаи, когда нѣтъ другого средства къ удовлетворенію чувства самосохраненія, кромѣ желанія спастись въ эту сферу, когда нѣтъ другого средства противостоять мощи природной, какъ опередить ее, уничтоживъ себя морально путемъ свободнаго отказа отъ всѣхъ чувственныхъ интересовъ, предупредивъ такимъ образомъ дѣло физической силы.

Въ этомъ укрѣпляютъ человѣка чувство возвышеннаго и болѣе частое общеніе съ разрушительной природой, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда сила ея проявляется лишь въ отдаленіи, такъ и въ тѣхъ, гдѣ она дѣйствительно отражается на его ближнихъ. Патетическое—есть искусственное несчастье и, подобно истинному несчастью, оно насъ вводитъ въ непосредственное общеніе съ закономъ духа, который повелѣваетъ въ нашей груди. Но истинное несчастье не всегда хорошо выбираетъ человѣка и время; оно насъ часто застаетъ врасплохъ безоружными, и, что еще хуже, оно насъ часто дѣлаетъ безоружными. Искусственоое несчастье патетичаскаго рода напротивъ застаетъ насъ въ полномъ вооруженіи, и такъ какъ оно только воображаемое несчастье, то самостоятельный принципъ нашего духа получаетъ просторъ для заявленія своей безусловной независимости. Чѣмъ чаще духъ возобновляетъ этотъ актъ самодѣятельности, тѣмъ болѣе онъ превращается въ умѣніе и тѣмъ больше преимуществъ пріобрѣтаетъ онъ предъ чувственнымъ стремленіемъ, такъ что онъ, подъ конецъ, даже тогда, когда воображаемое и искусственное несчастье превра-

щается въ настоящее, въ состояніи разсматривать его, какъ искусственное, и такимъ образомъ, при наивысшемъ подъемѣ человѣческой природы, можетъ претворить дѣйствительное страданіе въ возвышенное умиленіе. Можно сказать, что патетическое есть прививка неизбѣжнаго рока, благодаря которой онъ теряетъ свой злостный характеръ и нападеніе его направляется на сильнѣйшую сторону человѣка.

Итакъ, отбросимъ ложно понятую снисходительность и слабый изнѣженный вкусъ, который набрасываетъ покровъ на серьезный ликъ необходимости и, желая подольститься къ чувствамъ, сочиняетъ какую то гармонію благополучія и благого образа дѣйствій, между тѣмъ какъ въ дѣйствительномъ мірѣ нѣтъ и слѣда чего-либо подобнаго. Лицомъ къ лицу стоимъ мы предъ злымъ рокомъ. Наше спасеніе не въ невѣдѣніи окружающихъ насъ опасностей,—ибо оно должно же когда-либо прекратиться,—а только въ знакомствѣ съ ними. Это знакомство мы пріобрѣтаемъ благодаря страшному и въ то же время чудесному зрѣлищу все сокрушающей и вновь созидающей и вновь сокрушающей смѣны явленій, то медленно подкапывающей, то быстро нападающей гибели; это знакомство мы пріобрѣтаемъ благодаря патетическимъ картинамъ борьбы, которую ведетъ человѣчество съ судьбою, картинамъ неудержимо исчезающаго счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости и побѣжденной невинности, которыхъ такъ много въ исторіи; подраженіе имъ и даетъ нашимъ взорамъ трагическое искусство. Развѣ можно себѣ представить человѣка съ несовсѣмъ искаженнымъ нравственнымъ чувствомъ, который при созерцаніи сценъ упорной и все же тщетной борьбы Митридата, гибели городовъ Сиракузъ и Карѳагена, не преклонился бы въ ужасѣ предъ тяжкимъ закономъ необходимости, не обуздалъ бы тотчасъ своихъ страстей и, пораженный этой постоянной обманчивостью всего чувственнаго, не обратился бы къ вѣчно пребывающему въ немъ самомъ. Итакъ, способность ощущать возвышенное составляетъ одну изъ превосходнѣйшихъ чертъ человѣческой природы, которая достойна нашего уваженія, потому что проистекаетъ изъ самостоятельности нашей способности мышленія и хотѣнія, и заслуживаетъ наибольшаго развитія, ибо вліяетъ на нравственную сторону человѣка. Красота служитъ только человѣку, возвышенное—чистому демону въ человѣкѣ, и такъ какъ наше назначеніе состоитъ въ томъ, чтобы, несмотря на чувственную ограниченность, руководствоваться законами чистаго духа, то возвышенное должно присоединиться къ красотѣ, чтобы завершить цѣльное эстетическое воспитаніе и распространить за предѣлы чувственнаго міра воспріимчивость человѣческаго сердца, сообразуясь съ цѣлымъ объемомъ нашего назначенія.

Не будь красоты, существовала бы постоянная борьба между нашимъ природнымъ и разумнымъ назначеніемъ. Стремясь удовлетворить духовному назначенію, мы пренебрегли бы своей человѣчностью и, всегда готовые покинуть этотъ чувственный міръ, остались бы чужестранцами въ той сферѣ дѣятельности, которая намъ опредѣлена. Не будь возвышеннаго, и красота заставила бы забыть насъ о своемъ достоинствѣ. Мы потеряли бы бодрость характера, будучи разслаблены непрерывнымъ наслажденіемъ, и будучи неразрывно прикованными къ этой случайной формѣ бытія, мы потеряли бы изъ виду свое неизмѣнное назначеніе и свое истинное отечество. Только въ сочетаніи возвышеннаго и красоты и въ равномѣрномъ развитіи воспріимчивости той и другой, мы становимся совершенными гражданами природы, не становясь съ тѣмъ вмѣстѣ ея рабами и не теряя своихъ правъ гражданства въ умопостигаемомъ мірѣ.

Природа сама по себѣ доставляетъ уже достаточно объектовъ, на которыхъ мы можемъ упражнять свою воспріимчивость къ красотѣ и возвышенному; но человѣку удобнѣе и въ этомъ случаѣ, какъ и въ другихъ, пользоваться посредственными услугами, а не непосредственными, и онъ охотнѣе принимаетъ приготовленный и избранный матерьялъ изъ рукъ искусства, вмѣсто того, чтобы съ трудомъ и въ ограниченномъ количествѣ черпать изъ нечистаго источника природы. Подражательное творческое стремленіе не можетъ испытать впечатлѣнія безъ того, чтобы не постараться подыскать живого образа, и въ каждой красивой или великой формѣ природы оно усматриваетъ приглашеніе къ борьбѣ; однако это стремленіе имѣетъ передъ природой то преимущество, что оно можетъ разсматривать какъ главную цѣль и самостоятельное цѣлое то, что природа творитъ только мимоходомъ, имѣя въ виду осуществленіе болѣе важной цѣли,—если вообще природа не творитъ совершенно непреднамѣренно. Если природа въ ея прекрасныхъ органическихъ образо-

ваніяхъ испытываетъ насиліе, благодаря недостаточной индивидуальности матеріи или благодаря вмѣшательству отличныхъ отъ нея силъ, или если она сама насилуетъ въ своихъ великихъ и патетическихъ сценахъ и дѣйствуетъ на человѣка, какъ мощь, въ то время какъ она можетъ стать эстетичною лишь какъ объектъ свободнаго созерцанія, то подражающее ей созидающее искусство, совершенно свободно, ибо оно устраняетъ изъ своего предмета всѣ случайныя ограниченія; оно не затрагиваетъ и свободы духа въ созерцающемъ, ибо искусство подражаетъ лишь показности, а не дѣйствительности. Но вся прелесть возвышеннаго и красоты заключается лишь въ показности, а не въ содержаніи, поэтому искусство обладаетъ всѣми преимуществами природы, не раздѣляя ея оковъ.

Э. Радловъ.

Наивная и сентиментальная поэзія [1]).

Въ жизни бываютъ минуты, когда мы особенно любимъ и уважаемъ природу, наблюдая ее въ растеніяхъ, минералахъ, животныхъ, живописныхъ мѣстоположеніяхъ, а человѣческую природу въ дѣтяхъ, въ сельскихъ нравахъ и нравахъ первобытнаго міра, и любимъ ее совсѣмъ не потому, что она услаждаетъ наши чувства или удовлетворяетъ нашъ вкусъ или разумъ—часто происходитъ противоположное тому и другому,—но единственно потому, что это природа. Всякій, сколько-нибудь утонченный и не совсѣмъ безчувственный человѣкъ, испытываетъ это или на прогулкѣ за городомъ, или живя въ деревнѣ, или, наконецъ, созерцая памятники былыхъ временъ—однимъ словомъ, когда среди искусственныхъ отношеній и ситуацій внезапно поражаетъ его видъ простой природы. Этотъ-то интересъ, возвышающійся нерѣдко до потребности, и бываетъ такъ часто причиною страстной любви къ цвѣтамъ, животнымъ, безыскусственнымъ садамъ, прогулкамъ, къ деревнямъ и ея жителямъ, ко многимъ произведеніямъ отдаленной древности и прочее, и прочее, предполагая, впрочемъ, что къ ней не примѣшиваются ни притворство, ни другіе случайные интересы. Такой родъ участія къ природѣ возможенъ только при двухъ условіяхъ. Во-первыхъ, необходимо, чтобы предметъ, внушающій намъ его, былъ или самъ природой, или чтобы мы принимали его за природу; во-вторыхъ, чтобы онъ—въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова—былъ наивенъ, то есть, чтобы природа была въ контрастѣ съ искусствомъ и затмевала его, потому что тогда только природа становится наивною.

Природа, съ этой точки зрѣнія, есть не что иное, какъ самостоятельное состояніе вещей, существованіе ихъ по собственнымъ непреложнымъ законамъ.

И такое пониманіе природы необходимо, иначе мы не ощутимъ никакого интереса къ ея явленіямъ. Еслибъ поддѣльномо цвѣтку ухитрились придать до совершеннагу обмана видъ природнаго, еслибъ подражаніе наивному въ нравахъ довели до высшей иллюзіи, то и тогда одно открытіе, что это только подражаніе, совершенно уничтожило бы то чувство, о которомъ мы говоримъ теперь *).

---

[1]) Эта статья помѣщается нами въ переводѣ М. М. Достоевскаго († 1865), но съ дополненіемъ многихъ, опущенныхъ переводчикомъ мѣстъ.

*) Кантъ, насколько мнѣ извѣстно, впервые размышлялъ объ этомъ предметѣ. Онъ говоритъ, что когда мы слышимъ, что человѣкъ поетъ соловьемъ, подражая ему до неузнаваемости, и если мы всецѣло отдаемся впечатлѣнію этого пѣнія, то все наше удовольствіе исчезаетъ, когда исчезаетъ иллюзія. Рѣчь объ этомъ идетъ въ главѣ объ интеллектуальномъ интересѣ къ прекрасному въ критикѣ эстетическаго разсудка. Тотъ, кто привыкъ преклоняться только передъ мыслителемъ Кантомъ, порадуется, наткнувшись тутъ на проявленіе сердечныхъ свойствъ его и убѣдясь, благодаря этому открытію, въ его

Отсюда ясно слѣдуетъ, что этотъ родъ участія къ природѣ отнюдь не эстетическій, не моральный, потому что онъ выходитъ изъ идеи, а не рождается непосредственно изъ созерцанія; ему мало и даже совсѣмъ нѣтъ дѣла до красоты формъ. И, въ самомъ дѣлѣ, что за прелесть такая въ какомъ-нибудь пустомъ цвѣткѣ, ручьѣ, въ камнѣ, обросшемъ мхомъ, въ щебетаньи птицъ, въ жужжаніи пчелъ и тому подобномъ? Кто далъ имъ такое притязаніе на любовь нашу? Стало быть не предметы любимъ мы въ нихъ, но идею, которую они представляютъ. Мы любимъ въ нихъ мирную жизнь, спокойное дѣйствіе изъ самихъ себя, бытіе по непреложнымъ законамъ, внутреннюю необходимость, вѣчное согласіе. Они суть то, чѣмъ мы были; они суть то, чѣмъ мы должны сдѣлаться. Мы были природой, какъ они, и наша культура, путемъ разума и свободы, должна привести насъ обратно къ природѣ. Слѣдовательно, они одновременно и олицетворенія нашего утерянаго дѣтства, которое намъ всегда дороже всего на свѣтѣ; поэтому они наполняютъ насъ нѣкоторымъ унынiемъ. Въ то же время они олицетворенія нашего высочайшаго совершенства въ идеалѣ, поэтому они приводятъ насъ въ состояніе возвышеннаго умиленія.

Но ихъ совершенство не есть ихъ заслуга, потому что оно не дѣло ихъ выбора, и тайна наслажденія ими состоитъ именно въ томъ, что, не пристыжая насъ, они служатъ намъ образцами. Какъ постоянное проявленіе высшей силы, окружаютъ они насъ, но болѣе услаждая, чѣмъ ослѣпляя. Въ ихъ характерѣ есть именно то, чего недостаетъ нашему для своего полнаго развитія; мы отличаемся отъ нихъ именно тѣмъ, чего недостаетъ имъ самимъ, чтобъ стать божественными. Мы свободны, они необходимы; мы измѣняемся, они непремѣнны. И тогда только, когда то и другое совокупится въ одно, когда воля свободно станетъ повиноваться закону необходимости, а разумъ, при всякой перемѣнѣ фантазіи, удержитъ права свои, тогда только проявится идеалъ. Итакъ, мы вѣчно видимъ въ нихъ только то, что для насъ неуловимо, но къ чему намъ заповѣдано стремиться, и къ чему мы, хотя и никогда того не достигнемъ, все-таки, при безконечныхъ успѣхахъ, надѣемся приблизиться. Мы замѣчаемъ въ себѣ преимущество, котораго у нихъ нѣтъ, и которому они вообще никогда не будутъ причастны, какъ нѣчто неразумное, если только не пойдутъ нашимъ путемъ, какъ, напримѣръ, дѣтство. Вотъ потому-то они и доставляютъ намъ сладчайшее изъ наслажденій — наслажденіе нашею человѣчностью, какъ идеею, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и смиряютъ насъ, напоминая о несовершенствѣ человѣка.

Такъ какъ интересъ къ природѣ основывается весь на идеѣ, то онъ можетъ проявиться только въ такихъ характерахъ, которые воспріимчивы для идей, то-есть въ моральныхъ. Большинство людей только притворяются, что интересуются природою, и владычество въ наше время этого сентиментальнаго вкуса, который особенно выразился въ появленіи извѣстныхъ сочиненій, чувствительныхъ путешествій, въ устройствѣ садовъ, въ прогулкахъ и другихъ тому подобныхъ забавахъ, вовсе еще не служитъ доказательствомъ подобнаго рода ощущеній. Отсюда слѣдуетъ только, что природа и на самаго нечувствительнаго имѣетъ вліяніе, потому что для этого достаточно свойственной всѣмъ людямъ склонности къ нравственному, и потому что всѣ мы безъ различія, при всемъ огромномъ удаленіи нашемъ отъ простоты и истины природы, невольно приближаемся къ ней въ идеѣ. Особенно сильно и всего чаще выражается это сочувствіе природѣ по поводу такихъ предметовъ, которые стоятъ въ тѣсной связи съ нами и заставляютъ насъ невольно оглянуться на насъ самихъ и на неестественное въ насъ, какъ, напримѣръ, дѣти или младенчествующіе народы. Жестоко ошибаются тѣ, которые предполагаютъ, что только дѣтская безпомощность такъ сильно трогаетъ насъ иногда при обхожденіи съ дѣтьми. Это можетъ случиться развѣ только съ тѣми, которые предъ слабостью имѣютъ обыкновеніе чувствовать свое собственное превосходство. Но чувство, о которомъ говорю я (оно проявляется только въ особенномъ моральномъ состояніи духа, и его не должно смѣшивать съ тѣмъ, которое возбуждается въ насъ рѣзвыми играми дѣтей), то чувство скорѣе унижаетъ самолюбіе, чѣмъ льститъ ему; а если и есть здѣсь преимущество, то ужъ конечно не на нашей сторонѣ. Не потому мы бываемъ растроганы, что съ высоты своей силы и совершенства смотримъ на ребенка, но оттого, что мы изъ опредѣленности нашего состоянія, которое нераздѣльно съ достигнутымъ уже нами назначеніемъ, смотримъ на безпредѣльную возможность въ

ребенкѣ и на его чистую невинность; оттого, что въ эти минуты наше чувство такъ замѣтно смѣшано съ какою-то тоскою, что нельзя ошибиться въ ея причинѣ. Въ ребенкѣ видимъ мы зачатки и назначеніе, въ самихъ же себѣ—исполненіе, и послѣднему всегда безконечно далеко до первыхъ. Оттого-то для насъ ребенокъ есть воплощеніе идеала, хотя еще и неисполненнаго, но заданнаго и потому насъ трогаетъ въ немъ совсѣмъ не представленіе его немощи или ограниченности, но, напротивъ того, представленіе его чистой и свободной силы, его возможностей, его безконечности. Потому для человѣка нравственнаго, для человѣка съ сердцемъ ребенокъ всегда будетъ священнымъ предметомъ, то есть такимъ предметомъ, который величіемъ идеи уничтожаетъ всякое величіе факта, и который, если и теряетъ что нибудь въ сужденіяхъ разсудка, за-то съ лихвой выигрываетъ въ сужденіяхъ разума.

Прямо изъ этого противорѣчія между разумомъ и разсудкомъ истекаетъ совершенно особенное, смѣшанное чувство, дѣлающее наивнымъ нашъ образъ мыслей. Оно соединяетъ дѣтскую простоту съ ребяческой, посредствомъ которой открываетъ разсудку нечаянные промахи и возбуждаетъ ту улыбку, которою мы высказываемъ свое (теоретическое) превосходство. Но лишь только мы имѣемъ поводъ думать, что ребяческая простота есть вмѣстѣ и дѣтская, что, слѣдственно, причина промаха заключается не въ умственной несостоятельности, не въ немощности, но въ высшей (практической) силѣ, въ сердцѣ, полномъ невинности и правды, въ сердцѣ, презрѣвшемъ, изъ внутренняго величія, помощь искусства—тогда прежнее торжество разсудка проходитъ, и насмѣшка надъ простоватостью перерождается въ удивленіе простотѣ. Мы невольно начинаемъ уважать то, надъ чѣмъ прежде смѣялись, и, бросивъ взглядъ на самихъ себя, сожалѣемъ, что мы не такіе. Такимъ образомъ рождается совершенно особенное чувство, въ которомъ сплавляются и веселая насмѣшка, и высокое уваженіе и, наконецъ, тихая грусть *). Для всего наивнаго небходимо, чтобъ природа побѣждала искусство**)—случается ли это

*) Въ примѣчаніи къ анализу возвышеннаго («Критика эстетической силы сужденія», стр. 225 перваго изданія) Кантъ также различаетъ эти три составныя части въ чувствѣ наивнаго, но даетъ этому иное объясненіе. «Въ наивности встрѣчаемъ мы нѣчто, слагающееся изъ двухъ составныхъ частей (животнаго чувства удовольствія и духовнаго чувства уваженія); она является вспышкой, свойственной человѣку первоначально откровенности противъ искусства притворяться, сдѣлавшагося второй природой. Мы смѣемся надъ простодушіемъ, которое еще не умѣетъ притворяться, но также и радуемся простодушію природы, которая одерживаетъ здѣсь верхъ надъ искусствомъ. Мы ожидали встрѣтить ежедневный обычай искусственныхъ проявленій, осторожно направленныхъ на красивую внѣшность, а между тѣмъ это неиспорченная, невинная природа, которой мы совсѣмъ не ожидали встрѣтить и обнажить которую также не предполагали. Что прекрасная, но ложная внѣшность, которая обыкновенно играетъ важную роль въ нашемъ сужденіи, здѣсь внезапно превращается въ ничто, что какъ будто въ насъ самихъ же обнаруживается хитрость—это вызываетъ душевныя движенія послѣдовательно въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ, которыя въ то же время благотворно потрясаютъ тѣло. Но благодаря тому, что нѣчто, что несравненно лучше принятаго обычая, именно чистота образа мыслей (или по крайней мѣрѣ склонность къ ней) все же не совсѣмъ угасла въ природѣ человѣка, серьезность и уваженіе примѣшиваются къ этой игрѣ разсудка.

Но такъ какъ это проявляется только короткое время и очень быстро одѣвается покровомъ притворства, то одновременно къ этому примѣшивается сожалѣніе, трогательность нѣжности, которую, какъ игру, очень легко можно соединить съ добродушнымъ смѣхомъ и которую дѣйствительно иногда съ нимъ соединяютъ и въ то же время вознаграждаютъ замѣшательство того, кто даетъ поводъ къ нему, за то, что онъ еще не вышколенъ по людскому образцу».

Признаюсь, это объясненіе не совсѣмъ удовлетворяетъ меня, и главнымъ образомъ потому, что оно утверждаетъ о наивномъ вообще то, что можно сказать развѣ только объ одномъ видѣ наивнаго, именно о наивномъ, застигнутомъ въ расплохъ, о которомъ я буду говорить ниже. Конечно, если кто по наивности обнаруживаетъ свои слабости, то это вызываетъ смѣхъ, и въ иныхъ случаяхъ этотъ смѣхъ проистекаетъ изъ предшествовавшаго ему ожиданія, которое не оправдывается. Но также наивное благороднѣйшаго рода, наивное образа мыслей вызываетъ всегда улыбку, причиной которой едва ли является ожиданіе чего то несбывшагося, а которую вообще можно объяснить контрастомъ извѣстнаго поведенія съ разъ навсегда принятыми и ожидаемыми формами. Я сомнѣваюсь также, относится ли сожалѣніе, которое примѣшивается къ нашему чувству, когда мы сталкиваемся съ наивнымъ послѣдняго рода, къ наивному человѣку или скорѣе къ намъ самимъ или вообще къ человѣчеству, низкій нравственный уровень котораго бросается намъ въ глаза въ этихъ случаяхъ. Очевидно, нравственная печаль, предметъ которой болѣе возвышенъ, чѣмъ физическія страданія, угрожаетъ откровенности въ обыкновенномъ ходѣ вещей, и этотъ предметъ не можетъ быть инымъ, какъ потеря правды и простоты въ человѣкѣ.

**) Можетъ быть, лучше было бы просто сказать: чтобы правда побѣждала притворство; но мнѣ кажется, понятіе о наивномъ заключаетъ въ себѣ нѣчто большее, потому что простота вообще,

противъ чаянія и воли субъекта, или съ полнымъ его сознаніемъ. Въ первомъ случаѣ это наивность внезапности и забавляетъ насъ, во второмъ—наивность мышленія и трогаетъ.

При наивномъ внезапности субъектъ долженъ быть морально способенъ къ отреченію отъ природы; при наивномъ мышленія, напротивъ, только мы должны воображать его (субъектъ) физически способнымъ къ тому, иначе онъ не подѣйствуетъ на насъ наивно. Поступки и рѣчи дѣтей только тогда кажутся намъ чисто наивными, когда мы вспомнимъ объ ихъ немощи по отношенію къ искусству и, вообще, когда видимъ въ нихъ только одинъ контрастъ природы съ искусственностью. Наивное—есть младенчество тамъ, гдѣ мы его болѣе не ожидаемъ, и потому-то, въ строжайшемъ смыслѣ, и не можетъ быть приписано дѣйствительному дѣтству.

Но въ обоихъ случаяхъ, при наивномъ внезапности, какъ и при наивномъ мышленія, природа навсегда должна побѣждать искусство.

Только посредствомъ этого послѣдняго опредѣленія понятіе о наивномъ становится полнымъ. Аффектъ есть также природа, между тѣмъ какъ правила приличія уже нѣчто искусственное. Не взирая на то, побѣда аффекта надъ приличіемъ совсѣмъ не составляетъ наивнаго. Напротивъ того, если тотъ же самый аффектъ побѣждаетъ манерность, ложное приличіе, притворство, то мы прямо говоримъ, что это—наивно*). Стало быть необходимо, чтобы природа торжествовала надъ искусствомъ не вслѣдствіе своей слѣпой силы, какъ динамическая величина, но какъ маральная, посредствомъ своихъ формъ; однимъ словомъ, не по нуждѣ, но по внутренней необходимости. Не недостаточность, но заблужденіе искусства должно давать преимущество природѣ, потому что заблужденіе есть недостатокъ, а все что вытекаетъ изъ недостатка, не можетъ внушать уваженія. Правда, при наивномъ внезапности природа бросается въ глаза всегда отъ перевѣса аффекта и отъ недостатка обдуманности; однако этотъ недостатокъ и тотъ перевѣсъ вовсе еще не составляютъ наивность, но даютъ только случай природѣ невозбранно слѣдовать ея моральной основѣ, то есть — закону согласія.

Наивность внезапности можетъ встрѣтиться только въ человѣкѣ и только въ такомъ человѣкѣ, который не есть уже чистая, невинная природа. Такая наивность предполагаетъ волю, не согласную съ образомъ дѣйствія природы. Такой человѣкъ, опомнившись, испугается самого себя; напротивъ того, человѣкъ, наивный по своему мышленію, станетъ самъ дивиться, отчего всѣ разахались. И такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ мы видимъ не личный и моральный характеръ, но только освобожденный аффектомъ естественный характеръ, то мы и не цѣнимъ высоко его наивности: нашъ смѣхъ становится тогда заслуженною насмѣшкой, тѣмъ болѣе, что она не удерживается никакимъ личнымъ уваженіемъ. А такъ какъ въ этомъ также видна и откровенность природы, пробившаяся сквозь слой хитрости, лукавства, то въ насъ, вмѣстѣ съ злобной радостью, соединяется и высокое довольство—поймать человѣка на словѣ: потому что природа въ контрастѣ съ искусственностью, и истина въ котрастѣ съ обманомъ всегда возбуждаютъ уваженіе. Стало быть при наивномъ внезапности мы въ самомъ дѣлѣ морально наслаждаемся, хотя и не моральнымъ характеромъ *).

которая побѣждаетъ искусственность, и естественная свобода, которая побѣждаетъ чопорность и насиліе, возбуждаютъ въ насъ то же чувство.

*) Дитя шаловливо, когда, по желанію, легкомыслію, рѣзвости, противится предписаніямъ хорошаго воспитанія; но оно наивно, когда вслѣдствіе природы погрѣшаетъ противъ манерности, противъ принужденныхъ позицій танцмейстера и т. п. Ту же самую наивность, только въ совершенно другомъ, несвойственномъ значеніи, находимъ мы при переходѣ отъ человѣка къ неразумной природѣ. Никто не найдетъ наивнымъ того явленія, если въ запустѣломъ саду все зарастаетъ дикою травою; но каждый, безъ сомнѣнія, согласится, что есть что-то наивное въ томъ, если ростъ выбѣгающихъ вѣтвей уничтожаетъ всѣ усилія ножницъ въ какомъ-нибудь французскомъ саду. Точно также совсѣмъ не наивно, если ученая лошадь по природной неповоротливости худо исполняетъ заученное; но также нельзя и отказать ей въ наивномъ, если она позабываетъ науку вслѣдствіе врожденныхъ привычекъ.

*) Такъ какъ наивное проявляется только въ томъ способѣ, какимъ что нибудь дѣлается или говорится, то это свойство исчезаетъ для насъ, какъ только вещь сама по себѣ, а не форма, по своей сущности или своимъ послѣдствіямъ производитъ на насъ главное или даже противорѣчивое впечатлѣніе. Благодаря наивности подобнаго рода, иной разъ открывается преступленіе; но въ этомъ случаѣ у насъ нѣтъ ни достаточнаго спокойствія, ни времени, чтобы обратить наше вниманіе на способъ открытія, и отвращеніе, производимое личнымъ характеромъ, беретъ верхъ надъ удовольствіемъ, производимымъ характеромъ естественнымъ. Какъ возмущенное чувство уничтожаетъ нашу

При наивномъ внезапности мы всегда уважаемъ только природу, потому что должны уважать истину; напротивъ того, при наивномъ мышленія мы уважаемъ человѣка и, слѣдовательно, наслаждаемся не только моральнымъ удовольствіемъ, но и самымъ моральнымъ предметомъ. Въ томъ и другомъ случаѣ природа всегда права, потому что говоритъ истину; но въ послѣднемъ случаѣ не одна природа права, но и сама особа заслуживаетъ нѣкоторой чести.

Въ первомъ случаѣ откровенность природы ведетъ къ стыду личности,—потому что она не произвольна; во второмъ—она является заслугой ея, если даже то, что она высказала, покрываетъ личность стыдомъ.

Мы приписываемъ человѣку наивный образъ мыслей, если онъ въ своихъ сужденіяхъ о вещахъ не замѣчаетъ ихъ искусственныхъ и изысканныхъ отношеній и придерживается одной простой природы. Отъ него мы требуемъ всего, о чемъ только можно разсуждать въ границахъ здравой природы, и прощаемъ ему развѣ то только, что предполагаетъ удаленіе отъ природы, въ образѣ ли мыслей или въ ощущеніи.

Если отецъ разскажетъ дитяти, что вотъ тотъ-то, напримѣръ, умираетъ отъ бѣдности и дитя отнесетъ бѣдняку отцовскій кошелекъ, то поступокъ его наивенъ, потому что въ ребенкѣ дѣйствовала здоровая природа, а въ мірѣ, въ которомъ бы владычествовала здоровая природа, этотъ актъ былъ бы весьма натураленъ. Ребенокъ видѣлъ только нужду и ближайшее средство отвратить ее.

Въ природѣ, какъ таковой, не можетъ имѣть мѣста такое растяженіе понятія о собственности, при которомъ часть людей погибаетъ. Поступокъ ребенка долженъ пристыдить дѣйствительный міръ, и мы сознаемъ это, ощущая въ своемъ сердцѣ благоволеніе при видѣ этого поступка.

Если человѣкъ, не знающій свѣта, но умный, повѣряетъ свои тайны другому, который обманывая его, умѣетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, искусно притворяться, и своею откровенностью самъ даетъ ему средства вредить себѣ, то мы находимъ это наивнымъ. Онъ смѣшонъ въ глазахъ нашихъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы не можемъ не уважать его, потому что его довѣріе проистекаетъ изъ прямоты его собственнаго мышленія. По скольку послѣднее вѣрно, мы его считаемъ наивнымъ.

Вотъ почему наивность мышленія никогда не можетъ быть достояніемъ испорченныхъ людей, но только дѣтей и людей, дѣтски мыслящихъ. Такіе люди дѣйствуютъ и мыслятъ наивно часто посреди искусственныхъ отношеній большого свѣта; они забываютъ, по своей собственной прекрасной человѣчности, что имѣютъ дѣло съ испорченнымъ свѣтомъ и даже во дворцахъ поступаютъ съ тою непринужденностью и невинностью, какая встрѣчается развѣ только въ пастушескомъ мірѣ.

Впрочемъ, не совсѣмъ легко вѣрно отличить ребяческую невинность отъ дѣтской; есть поступки, стоящіе на самой границѣ между обѣими, такъ что мы иногда сомнѣваемся: смѣяться ли намъ надъ простоватостью, или удивляться благородной простотѣ. Очень замѣчательный примѣръ такого рода находимъ мы въ исторіи папы Адріана VI, разсказанной Шрекомъ со свойственною ему основательностью и прагматическою истиною. Этотъ папа, родомъ изъ Нидерландовъ, правилъ престоломъ Петра въ критическую минуту для іерархіи, когда ожесточенная партія безъ всякой пощады разоблачала разныя дѣйствія папъ, а противная партія изо всѣхъ силъ старалась прикрывать ихъ. Что было дѣлать въ подобныхъ обстоятельствахъ истинно-наивному характеру, который только по странной случайности попалъ на папскій престолъ. Объ этомъ нечего и спрашивать; но другое дѣло, какъ такая наивность мышленія могла согласоваться съ ролью папы? Впрочемъ, предшественники и послѣдователи Адріана мало объ этомъ заботились. Однообразно слѣдовали они разъ принятой римской системѣ. Но у Адріана дѣйствительно былъ прямой характеръ его народа и вся невинность его прежняго состоянія. Изъ тѣсной сферы ученаго достигъ онъ до самаго высокаго поста, и даже на высотѣ своего новаго достоинства не измѣнилъ простотѣ своего характера. Злоупотребленія церкви задѣвали его за живое, и онъ былъ слишкомъ честенъ, чтобы публично скрывать то, въ чемъ онъ внутренно сознавался. Сообразно своему образу мыслей, онъ въ инструкціяхъ, данныхъ своимъ легатамъ въ Германіи, сдѣлалъ нѣсколько признаній, еще неслыханныхъ ни отъ одного папы и

естественную радость при видѣ откровенности природы, какъ только наивность обнаруживаетъ передъ нами преступленіе, точно такъ же возбужденное въ насъ сожалѣніе подавляетъ наше злорадство, какъ только мы видимъ, что наивность привела кого-нибудь къ опасности.

совершенно противныхъ правиламъ римскаго двора. „Мы хорошо знаемъ, что на этомъ святомъ престолѣ уже нѣсколько лѣтъ происходитъ много отвратительнаго—стояло въ нихъ между прочимъ—что болѣзненное состояніе главы переходитъ къ членамъ, папы—къ прелатамъ. Мы всѣ сошли съ прямого пути, и давно уже не находилось ни одного между нами, кто бы сдѣлалъ что-нибудь путное". Гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ повелѣваетъ онъ легату передать отъ своего имени, что онъ, Адріанъ, не долженъ быть порицаемъ за то, что до него творили другіе папы, и что многія ихъ дѣйствія ему всегда—даже тогда, когда онъ еще занималъ низкое положеніе—не нравились, и такъ далѣе. Легко представить себѣ, какъ подобная наивность папы была принята римскимъ духовенствомъ; еще слава Богу, что его обвинили только въ томъ, будто онъ продалъ себя еретикамъ. Однако жъ этотъ въ полной мѣрѣ неблагоразумный поступокъ папы могъ бы быть достойнымъ всего нашего уваженія и удивленія, если бъ только намъ можно было увѣриться, что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ наивнымъ, то есть, что онъ вышелъ прямо изъ врожденной справедливости его характера, безъ всякаго соображенія о могущихъ произойти оттого слѣдствіяхъ, и что онъ и въ другой разъ повторился бы, если бъ Адріанъ и увидѣлъ, наконецъ, сдѣланный промахъ во всей его обширности. Но мы имѣемъ нѣкоторыя причины полагать, что папа считалъ подобныя признанія политическими и даже надѣялся своею уступчивостью противникамъ достичь чего-то важнаго для выгоды своей церкви. Онъ воображалъ, что, какъ честный человѣкъ, онъ не только обязанъ сдѣлать это, но и отвѣчать за поступокъ свой, какъ папа; между тѣмъ, забывъ, что искусственнѣйшее изъ зданій можетъ быть поддерживаемо лишь вѣчнымъ отрицаніемъ правды, онъ учинилъ ошибку, и въ совершенно противоположныхъ обстоятельствахъ послѣдовалъ правиламъ, которыя можетъ быть и годились бы для обыкновеннаго порядка дѣлъ. Это, конечно, измѣняетъ наше сужденіе, и хотя мы не можемъ не уважать честности его сердца, изъ котораго вышелъ его поступокъ, однако наше уваженіе значительно уменьшается при мысли, что въ этомъ случаѣ природа въ искусствѣ, а сердце въ головѣ имѣли слишкомъ слабыхъ противниковъ.

Наивнымъ долженъ быть всякій истинный геній, или онъ не геній. Одна наивность уже способна сдѣлать его геніемъ, и если онъ геній въ интеллектуальномъ и эстетическомъ значеніи, то не можетъ не быть имъ и въ моральномъ. Незнакомый съ правилами, костылями немощи и тюремщиками превратныхъ сужденій, руководимый одною природою, его ангеломъ-хранителемъ, онъ спокойно и твердо шествуетъ черезъ всѣ западни ложнаго вкуса, въ которыхъ не геній непремѣнно путается, если только при помощи ума не избѣжитъ ихъ заранѣе. Только генію дано внѣ извѣстнаго быть все еще какъ будто дома и расширять природу, не выходя изъ нея. Правда, послѣднее (то есть удаленіе отъ природы) часто бываетъ и съ величайшими геніями, но только потому, что и у нихъ есть свои фантастическія минуты, когда оставляетъ ихъ хранительница-природа, и они или увлекаются силою примѣра, или сбиваетъ ихъ съ толку испорченный вкусъ времени.

Геній долженъ рѣшать самыя запутанныя задачи съ незатѣйливою простотою и легкостью: колумбово яйцо подходитъ подъ всѣ геніальныя рѣшенія. Только тѣмъ и познается геній, что онъ съ чрезвычайною простотою торжествуетъ надъ запутаннымъ искусствомъ. Онъ дѣйствуетъ не по установленнымъ правиламъ, но какъ вспадаетъ ему на умъ и какъ подсказываетъ чувство; но его выдумки внушены Богомъ (ибо все, что дѣлаетъ здоровая природа—божественно), его чувства—законы для всѣхъ временъ и всѣхъ поколѣній.

Тотъ же дѣтскій характеръ, напечатлѣваемый геніемъ на всѣхъ его произведеніяхъ, выказываетъ онъ и въ своей частной жизни, въ своихъ привычкахъ. Онъ цѣломудренъ, потому что природа неиспорченная всегда цѣломудренна, но онъ не благопристоенъ, потому что только испорченность благопристойна. Онъ уменъ, потому что природа умна; но не хитеръ, потому что только искусство хитро. Онъ вѣренъ своему характеру и склонностямъ, но не столько потому, что имѣетъ правила, сколько потому, что природа, при всемъ своемъ колебаніи, всегда устанавливается на старомъ мѣстѣ, всегда возвращается къ прежнимъ нуждамъ. Онъ скроменъ, даже застѣнчивъ, потому что геній для самаго себя всегда остается тайной; но онъ робѣетъ не оттого, что не знаетъ опасностей пути, по которому шествуетъ. Мы мало знаемъ о частной жизни великихъ геніевъ, но и малое, дошедшее до насъ, напримѣръ—о Софоклѣ,

Архимедѣ, Иппократѣ и изъ новѣйшихъ временъ—объ Аріостѣ, Данте и Тассо, о Рафаэлѣ, Альбрехтѣ Дюрерѣ, Сервантесѣ, Шекспирѣ, Фильдингѣ, Стернѣ и другихъ, подтверждаетъ нашу мысль.

Всего страннѣе, можетъ быть, покажется то, что даже великіе государственные люди и полководцы, сдѣлавшись великими по своему генію, выказываютъ тотъ же самый наивный характеръ. Упомяну изъ древнихъ только объ Эпаминондѣ и Юліѣ Цезарѣ, изъ новѣйшихъ о Генрихѣ IV, королѣ французскомъ, Густавѣ-Адольфѣ шведскомъ и о царѣ Петрѣ Великомъ. Герцогъ Мольборо, Тюреннь, Вандомъ всѣ выказываютъ тотъ же характеръ. Женщинамъ природа указала въ наивномъ характерѣ все ихъ совершенство. Женское кокетство ни за чѣмъ такъ ни гонится, какъ за искусствомъ казаться наивнымъ; одно уже это служитъ тому доказательствомъ, если бъ даже и не было другихъ, что вся сила женщинъ основана на этомъ качествѣ. Но такъ какъ господствующія правила женскаго воспитанія въ вѣчномъ разладѣ съ этимъ характеромъ, то женщинѣ въ моральномъ отношеніи такъ же трудно, какъ мужчинѣ въ интеллектуальномъ, при всѣхъ выгодахъ хорошаго воспитанія, не утратить чего-нибудь отъ этого прекраснаго подарка природы; и женщина, соединяющая съ изящными манерами большого свѣта наивный характеръ, точно такъ же достойна высокаго уваженія, какъ и ученый, соединяющій всю строгость школы съ геніальною независимостью мышленія.

Изъ наивнаго мышленія необходимо вытекаетъ и наивное выраженіе какъ словъ, такъ и движеній—и это есть одинъ изъ важнѣйшихъ атрибутовъ граціи. Съ наивною прелестью геній выражаетъ свои возвышеннѣйшія и глубочайшія мысли: это глаголы изъ устъ дитяти. Если школьный разумъ, вѣчно боящійся заблужденія, распредѣляетъ свои слова и понятія по грамматикѣ и логикѣ, вѣчно сухъ, жестокъ, чтобъ только не быть неточнымъ, многословенъ, чтобъ только не сказать лишняго, скорѣе отнимаетъ силу и остроту у мысли, чтобъ только не показаться непредусмотрительнымъ, то геній однимъ счастливымъ ударомъ кисти придаетъ своей мысли навѣки опредѣленный, твердый и, при всемъ томъ, совершенно вольный очеркъ. Если у перваго признаки бываютъ всегда не мѣтки и чужды означенному, то у второго, будто изъ внутренней необходимости, прорывается какъ будто звукъ изъ мысли, и составляетъ такое цѣлое съ нею, что духъ, даже и подъ тѣлесною оболочкою, кажется намъ обнаженнымъ. Такой родъ выраженія, гдѣ признакъ совершенно исчезаетъ въ означенномъ, гдѣ языкъ, выражая мысль, оставляетъ ее обнаженною, тогда какъ во всякомъ случаѣ она непремѣнно была бы скрыта—такой родъ выраженія въ письменности преимущественно называется геніальнымъ и глубокомысленнымъ.

Свободно и естественно, словно геній въ своихъ созданіяхъ, выражается невинность сердца въ живомъ обхожденіи. Извѣстно, что въ общественной жизни люди точно такъ же отклонились отъ простоты и строгой истины выраженія, какъ и отъ простоты нравовъ. Не будучи лукавымъ, часто говоришь то, чего вовсе не думаешь; часто говоришь обиняками вещи, которыя могли бы огорчить одно только больное самолюбіе, оскорбить одну только испорченную фантазію. Незнаніе условныхъ правилъ, соединенное съ естественной откровенностью, призирающею всякую кривизну и все похожее на коварство (не грубость, которая убѣгаетъ этихъ правилъ оттого, что они ей въ тягость), производитъ наивность въ обращеніи. Эта наивность состоитъ въ томъ, что не долго думая, называетъ настоящими именами вещи, которыхъ или совсѣмъ нельзя назвать, или только какъ-нибудь весьма искусственно, обиняками. Такъ, напримѣръ, выражаются дѣти. Правда, они возбуждаютъ смѣхъ контрастомъ съ нравами, однако всѣ и всегда соглашаются, что они правы.

Хотя наивность мышленія по настоящему можетъ быть приписана только человѣку, какъ существу подчиненному природѣ не совсѣмъ слѣпо, а до такой только степени, чтобы чистая природа изъ него еще дѣйствовала; однако, по своенравію поэтизирующаго воображенія, мы часто переносимъ эту наивность отъ разумнаго къ неразумному. Такъ зачастую мы приписываемъ наивный характеръ животному, мѣстоположенію, зданію, даже всей природѣ, какъ контрасту произвола и фантастическихъ понятій человѣка. Но для этого всегда необходимо безвольному мысленно придавать волю и стараться, чтобы она была строго направлена къ закону необходимости. Недовольство, проистекающее отъ дурного употребленія нашей собственной моральной свободы и отъ потери въ нашемъ бытѣ нравственной гармоніи, часто бываетъ причиною подобнаго настроенія души, и мы

обращаемся тогда къ неразумному, поставляемъ ему въ заслугу спокойное положеніе и даже завидуемъ ему въ этомъ, какъ будто въ его власти не быть тѣмъ, чѣмъ оно есть. Въ такія минуты намъ какъ будто къ лицу считать преимущество нашего разума за зло и, живо сознавая несовершенство дѣйствительной жизни, не воздавать справедливости нашему предначертанію и назначенію.

Въ природѣ мы видимъ тогда только счастливую сестру, оставшуюся въ отеческомъ домѣ, изъ котораго, гордые своею свободой, мы бурно выбѣжали на чужбину. Едва взлянули мы на всѣ передряги цивилизаціи, какъ уже съ тоскливымъ желаніемъ хотимъ назадъ, и изъ далекой области искусства уже слышимъ трогательный зовъ матери. Когда мы были простыми дѣтьми природы, мы были совершенно счастливы; стали свободными—и потеряли то и другое. Отсюда проистекаетъ двоякая и совсѣмъ различная тоска по природѣ: тоска по ея блаженству, тоска по ея совершенству. Объ утратѣ перваго сожалѣетъ только чувственный человѣкъ; объ утратѣ второго тоскуетъ только моральный.

Итакъ, допроси себя, другъ чувствительный природы, лѣность ли твоя тоскуетъ по ея покоѣ, или оскорбленная нравственность по ея гармоніи? Допроси себя, когда тебѣ опротивитъ искусство и злоупотребленія общества станутъ гнать тебя на лоно безжизненной природы—допроси себя: его грабежи, его пороки, его труды; или его нравственную анархію, его произволъ, его безпорядки ненавидишь ты въ немъ? Ты съ радостью бросишься тогда въ объятія природы, и наградою будетъ для тебя свобода. Да, тебѣ позволится тогда поставить спокойное наслажденіе дальною цѣлью, но только наслажденіе, долженствующее быть наградой своего достоинства. Итакъ, прочь жалобы на трудности жизни твоей, неравенство условій, тяжесть обстоятельствъ, невѣрность обладанія, неблагодарность, притѣсненіе, преслѣдованіе! покорись имъ съ самоотверженіемъ (resignation)! уважай ихъ какъ естественныя условія жизни! оплакивай зло, но не однѣми только слезами! Заботься лучше о томъ, какъ бы среди этихъ золъ самому дѣйствовать чисто, среди капризныхъ перемѣнъ—постоянно, среди анархіи—законно. Не бойся замѣшательства внѣ, но внутри себя; стремись къ единству, но не ищи его въ однообразіи; стремись къ покою, но посредствомъ уравновѣшиванія, непрекращенія твоей дѣятельности. Та природа, въ которой ты завидуешь неразумному, не стоитъ уваженія, не стоитъ тоски твоей. Она позади тебя, она должна вѣчно оставаться за тобою. Покинутый лѣстницей, на которой ты держался, тебѣ остается только съ сознаніемъ и волею ухватиться за законъ, или безвозвратно пасть въ бездонную пропасть.

Но если ты ужъ утѣшился относительно потеряннаго счастія въ природѣ, пусть ея совершенство послужитъ образомъ для твоего сердца. Когда ты выйдешь изъ своего искусственнаго круга и природа возстанетъ предъ тобою въ своемъ великомъ покоѣ, въ своей наивной красотѣ, въ своей дѣтской невинности и простотѣ, тогда остановись передъ этимъ образомъ и предайся вполнѣ этому чувству; оно достойно твоей прекрасной человѣчности. Не думай болѣе мѣняться съ нею, но прими ее въ себя и стремись соединить ея безконечное преимущество съ своимъ безконечнымъ достоинствомъ и произвести изъ нихъ божественное. Да окружитъ она тебя, подобно прекрасной идилліи, въ которой ты, среди заблужденій искусства, всегда снова найдешь самого себя, на лонѣ которой ты запасешься мужествомъ и новою увѣренностью для дальнѣйшаго скитанія, и въ своемъ сердцѣ снова возжешь пламя идеала, такъ легко погасающаго въ буряхъ жизни.

Если вспомнить о прекрасной природѣ, окружавшей древнихъ грековъ, если подумать, какъ согласно уживался этотъ народъ, подъ своимъ счастливымъ небомъ, съ прекрасною природой, какъ несравненно ближе къ простой природѣ были его представленія, его чувства, его нравы, и какъ отпечатлѣлась вся природа на его поэзіи, то покажется страннымъ, что въ этой поэзіи мы находимъ такъ мало слѣдовъ того сентиментальнаго интереса, съ какимъ мы, новѣйшіе, такъ жадно бросаемся на сцены и характеры натуральные. Грекъ въ высшей степени точенъ, вѣренъ, обстоятеленъ въ описаніи природы, но въ этомъ описаніи незамѣтно ни большаго жара, ни большаго сердечнаго участія, чѣмъ, напримѣръ, въ описаніи одежды, щита, доспѣховъ, домашней утвари или другого какого либо механическаго продукта. Въ своей любви къ объекту, онъ, кажется, не дѣлаетъ никакого различія между тѣмъ, что само собою существуетъ, и тѣмъ, что производится искусствомъ и человѣческою волею. Природа болѣе интересуетъ его разумъ и его любознательность,

чѣмъ моральное чувство: онъ не привязывается къ ней съ тою искренностью, чувствительностью, сладкою грустью, какъ мы, новѣйшіе. Олицетворяя, обожая ее въ частныхъ явленіяхъ и представляя ея дѣйствія, какъ дѣянія свободныхъ существъ, онъ уничтожаетъ въ ней спокойную необходимость, посредствомъ которой она для насъ такъ привлекательна. Его нетерпѣливая фантазія заставляетъ его перескакивать черезъ нее къ драмѣ человѣческой жизни. Только живое и свободное, только характеры, дѣянія, судьбы и нравы удовлетворяютъ его, и если мы, при извѣстномъ моральномъ настроеніи души, желали бы иногда отдать преимущество свободѣ нашей воли, предающей насъ такимъ раздорамъ съ самимъ собою, такимъ безпокойствамъ и заблужденіямъ, за неразборчивую, но спокойную необходимость неразумнаго, то фантазія грека, напротивъ, заботится, какъ бы зачать человѣческую природу въ бездушномъ мірѣ и тамъ, гдѣ царствуетъ слѣпая необходимость, упрочить вліяніе воли.

Откуда исходитъ эта разница въ воспріятіи? Какъ объяснить то, что мы именно въ отношеніи къ природѣ, какъ таковой, болѣе склоняемся на ея сторону, съ нѣжностью привязываемся къ ней и съ теплотою относимся даже къ безжизненнымъ предметамъ, между тѣмъ какъ во всемъ, что непосредственно связано съ природой, древніе стоятъ настолько выше насъ? Это происходитъ оттого, что природа исчезла изъ нашей человѣчности, и мы находимъ ее во всей ея истинѣ только внѣ насъ, въ безжизненномъ мірѣ. Не наша большая естественность, напротивъ, неестественность нашихъ отношеній, состояній и нравовъ побуждаетъ насъ искать въ физическомъ мірѣ удовлетворенія пробуждающемуся влеченію къ правдѣ и простотѣ, которое, какъ и нравственное основаніе, изъ котораго оно проистекаетъ, неподкупно и неискоренимо живетъ въ каждомъ человѣческомъ сердцѣ: въ нравственномъ мірѣ нельзя надѣяться найти его. Поэтому чувство, которое привязываетъ насъ къ природѣ, находится въ такомъ близкомъ родствѣ съ чувствомъ, съ какимъ мы сожалѣемъ объ исчезнувшей порѣ дѣтства и дѣтской невинности. Наше дѣтство есть единственная неисковерканная природа, которую мы еще встрѣчаемъ въ культурномъ человѣкѣ, поэтому неудивительно, если каждый слѣдъ природы внѣ насъ приводитъ насъ обратно къ нашему дѣтству.

Совершенно иначе было у древнихъ грековъ *). У нихъ культура не принесла съ собою такого упадка, чтобы изъ-за него они покинули природу. Весь строй ихъ общественной жизни былъ основанъ на чувствѣ, а не на искусственно поддерживаемыхъ отношеніяхъ; даже ихъ религія была вдохновеніемъ наивнаго чувства, порожденіемъ радостнаго воображенія, не мудрствующаго разума, какъ церковное ученіе новыхъ націй. Такъ какъ грекъ не утратилъ природы въ человѣчности, то она не могла поразить его неожиданностью внѣ ея, и онъ не могъ чувствовать такой потребности въ предметахъ, въ которыхъ снова находилъ ее. Въ согласіи съ самимъ собою и счастливый въ сознаніи своей человѣчности, онъ долженъ былъ остановиться въ послѣдней, какъ своемъ максимумѣ, и стараться приблизить къ ней все остальное, между тѣмъ какъ у насъ нѣтъ болѣе сильнаго интереса, какъ выйти изъ нея и отбросить подальше отъ нашихъ глазъ столь неудавшуюся форму: мы въ несогласіи съ самими собою и несчастны въ своемъ опытѣ относительно человѣчности.

Итакъ, чувство, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, не есть чувство, которое было у древнихъ; это скорѣе то чувство, которое мы замѣчаемъ у себя по отношенію къ древнимъ. Они чувствовали естественно; мы чувствуемъ естественное. Безъ сомнѣнія, совершенно иное чувство наполняло сердце Гомера, когда онъ заставилъ своего божественнаго свинопаса угощать Одиссея, чѣмъ то чувство, которое овладѣло молодымъ Вертеромъ, когда, возвратясь домой послѣ скучно проведеннаго въ гостяхъ вечера, онъ читалъ эту пѣснь. Наше чувство по

*) Но только у грековъ; потому что нужно было именно такое живое движеніе и такая полнота человѣческой жизни, какія окружали грековъ, чтобы вдохнуть жизнь также въ безжизненное и съ такимъ усердіемъ преслѣдовать образъ человѣчности. Человѣческій міръ Оссіана, напр., былъ скуденъ и односбразенъ; безжизненное же вокругъ него было велико, колоссально, могуче неотвратимо и заявляло свои права даже надъ человѣкомъ. Поэтому въ пѣсняхъ этого поэта безжизненная природа (въ противоположность человѣку) выдвигается впередъ, какъ предметъ чувства. Между тѣмъ уже Оссіанъ жалуется на паденіе человѣчества и, какъ ни низокъ былъ уровень культуры въ его народѣ и какъ ни незначительно развращающее вліяніе ея, его было достаточно, и оно было достаточно сильно, чтобы испугать чувствительнаго, нравственнаго пѣвца, призвать его обратно къ безжизненному и чтобы разлить въ его пѣсняхъ тотъ элегическій тонъ, благодаря которому онѣ такъ трогаютъ и привлекаютъ насъ.

отношенію къ природѣ походитъ на чувство больного по отношенію къ здоровью.

Между тѣмъ, какъ природа начала, мало-по-малу, исчезать изъ человѣческой жизни, какъ опытность и какъ—дѣйствующій и ощущающій—субъектъ, мы видимъ, какъ она восходитъ въ мірѣ поэзіи, какъ идея, какъ предметъ. Нація, наиболѣе отклонившаяся отъ природы, наиболѣе разсуждавшая объ этомъ, первая и въ самой сильной степени была поражена феноменомъ наивнаго и дала ему имя. Сколько я знаю, этой націей были французы, хотя пониманія наивнаго и участіе къ нему, безъ сомнѣнія, были гораздо старѣе и вели свое лѣтосчисленіе отъ самаго начала моральной и эстетической испорченности. Такая перемѣна въ образѣ ощущенія уже чрезвычайно бросается въ глаза въ Эврипидѣ, если сравнить его съ его предшественниками и особенно съ Эсхиломъ, хотя Эврипидъ и былъ любимцемъ своего времени. Такой же переворотъ замѣчаемъ мы и въ древнихъ историкахъ. Горацій, поэтъ цивилизованнаго и испорченнаго вѣка, воспѣваетъ сладкое блаженство своего Тибура—и его можно считать за настоящаго основателя этой сентиментальной поэзіи, въ которой онъ до сихъ поръ не нашелъ побѣдителя. Въ Проперціѣ, Виргиліи и другихъ находимъ слѣды тѣхъ же ощущеній; у Овидія—уже менѣе, но зато ему недостаетъ полноты сердца. Во время своей ссылки, въ Томахъ, онъ горько тосковалъ по блаженствѣ, безъ котораго такъ легко обходится Горацій въ Тибурѣ.

Поэты всегда — уже по своей идеѣ — хранители природы. Гдѣ они не могутъ болѣе быть ими, гдѣ они испытываютъ на себѣ разрушительное вліяніе искусственности, и даже принуждены бываютъ съ нею бороться, тамъ они или сами становятся природой, или ищутъ утраченную природу. Отсюда проистекаютъ два совершенно различные образа стихотворства, которыми наполняется и измѣряется вся область поэзіи. Всѣ поэты, если они только поэты, бываютъ, смотря по тому, къ какому времени принадлежатъ они, или какія случайныя обстоятельства имѣютъ вліяніе на общее ихъ развитіе и на ихъ преходящее расположеніе духа—бываютъ или наивные, или сентиментальные.

Поэтъ наивнаго и сильнаго духомъ юношескаго міра, такъ же, какъ и поэтъ, который въ вѣкѣ искусственной цивилизаціи ближе всего подходитъ къ этому міру, строгъ и цѣломудренъ, какъ дѣвственная Діана среди лѣсовъ ея; недовѣрчиво бѣжитъ онъ отъ сердца, что его ищетъ, отъ желанія, что хочетъ охватить его. Сухая истина, съ какою онъ обрабатываетъ предметъ свой, кажется нерѣдко безчувственностью. Объектъ владѣетъ имъ совершенно; его сердце не лежитъ, какъ неблагородный металлъ подъ первымъ слоемъ, но, какъ золото, требуетъ, чтобъ глубже до него дорывались. Какъ Божество стоитъ за мірозданіемъ, такъ онъ стоитъ за своимъ произведеніемъ; онъ есть произведеніе, произведеніе есть онъ; надо быть недостойнымъ перваго, или потерять обладаніе надъ нимъ, или пресытиться имъ, чтобы искать его.

Такъ, напримѣръ, Гомеръ у древнихъ и Шекспиръ у новѣйшихъ народовъ—двѣ природы совершенно разныя, раздѣленныя неизмѣримымъ различіемъ вѣковъ своихъ; но именно въ этой характеристической чертѣ совершенно тождественныя. Когда я, будучи въ самомъ раннемъ возрастѣ, узналъ Шекспира, меня возмутила его холодность, нечувствительность, позволявшая ему шутить среди самаго высокаго паѳоса, мѣшать эффекту самыхъ поразительныхъ сценъ въ „Гамлетѣ", „Королѣ Лирѣ", въ „Макбетѣ" и такъ далѣе появленіемъ какого-нибудь шута. Эта холодность задерживала его тамъ, гдѣ быстро летѣли впередъ мои ощущенія, и хладнокровно уносила впередъ, гдѣ моему сердцу хотѣлось помедлить. Новѣйшіе поэты пріучили меня отыскивать прежде всего писателя въ произведеніи, встрѣчаться съ его сердцемъ, вмѣстѣ съ нимъ отражаться въ его предметѣ, однимъ словомъ, созерцать объектъ въ субъектѣ. Мнѣ было невыносимо, что поэтъ нигдѣ не давался мнѣ въ руки, нигдѣ не хотѣлъ отвѣчать мнѣ. Много лѣтъ пользовался онъ всѣмъ моимъ уваженіемъ и былъ предметомъ моего изученія, прежде нежели я могъ полюбить его личность. Я не дошелъ еще тогда до пониманія природы изъ первыхъ рукъ. Я могъ сносить ея образъ, только отраженный разсудкомъ и которому правило придало форму; а сентиментальные стихотворцы французовъ и нѣмцевъ, съ 1750 года почти до самаго 1780, были мастерами въ этомъ. Впрочемъ, я не стыжусь этого ребяческаго сужденія, тѣмъ болѣе, что сама престарѣлая критика произнесла такой же приговоръ, и до того была наивна, что хотѣла навязать его цѣлому свѣту.

То же самое случилось со мною и при изученіи Гомера, котораго я узналъ уже

нѣсколько позднѣе. Мнѣ пришло теперь на память замѣчательное мѣсто изъ шестой книги „Иліады", гдѣ Главкъ съ Діомедомъ встрѣчаются въ битвѣ и, узнавъ другъ въ другѣ гостепріимныхъ хозяевъ, мѣняются подарками. Съ той трогательною картиною соблюденія законовъ гостепріимства даже и на войнѣ можетъ идти въ параллель описаніе рыцарскаго благородства у Аріоста, гдѣ два рыцаря и соперники, Феррау и Ринальдъ, одинъ христіанинъ, другой сарацинъ, мирятся послѣ страшной битвы другъ съ другомъ, и покрытые ранами, оба садятся на одного коня, чтобы настичь похищенную Анджелику! Какъ ни различны между собою эти два примѣра, они производятъ почти одинаковое дѣйствіе на наше сердце, потому что оба живописуютъ прекрасную побѣду обычаевъ надъ страстями и трогаютъ насъ наивностью чувствъ. Но какъ различно берутся поэты за описаніе подобнаго поступка! Аріостъ, гражданинъ позднѣйшаго и отъ простоты нравовъ уже отклонившагося вѣка, при разсказѣ этого происшествія, не можетъ скрыть ни своего удивленія, ни растроганности. Разность современныхъ ему нравовъ отъ прежнихъ поборaетъ его. Онъ вдругъ бросаетъ предметъ и является въ собственномъ лицѣ. Извѣстенъ прекрасный стансъ его, всегда вызывавшій удивленіе:

О доблесть древнихъ рыцарскихъ вѣковъ!
Соперники различныхъ вѣръ и мнѣній,
Еще въ крови отъ шрамовъ и рубцовъ,
Страдавшіе отъ боли и мученій,
Скакали вмѣстѣ, ночью, вдоль лѣсовъ,
Безъ злобныхъ думъ, безъ черныхъ подозрѣній!
Подъ ними конь и рвался, и дрожалъ,
Доколѣ ихъ къ распутью не примчалъ.

Послушаемъ теперь древняго Гомера. Лишь только Діомедъ узнаетъ изъ разсказа Главка, своего противника, что онъ съ давнихъ временъ гость въ его родѣ, какъ тутъ же вонзаетъ копье въ землю, заводитъ съ нимъ дружескую бесѣду и уговаривается съ нимъ избѣгать другъ друга въ битвѣ. Но послушаемъ самого Гомера:

„Храбрый! отнынѣ тебѣ я средь Аргоса гость и пріятель,
Ты же мнѣ въ Ликіи, если приду я къ народамъ ликійскимъ.
Съ копьями жъ нашими будемъ съ тобой и въ толпахъ расходиться.
Множество здѣсь для меня и троянъ и союзниковъ славныхъ;
Буду разить, кого Богъ приведетъ и кого я постигну.
Множество здѣсь для тебя аргивянъ — поражай, кого можешь.
Главкъ! обмѣняемся нашимъ оружіемъ; пусть и другіе
Знаютъ, что дружбою мы со временъ праотцовскихъ гордимся".
Такъ говорили они, и, съ своихъ колесницъ соскочивши,
За руки оба взялись и на дружбу взаимно клялися.

Едва ли новѣйшій поэтъ (по крайней мѣрѣ поэтъ въ моральномъ значеніи слова) удержался бы до сихъ поръ и не высказалъ своего восторга насчетъ этого поступка. И мы тѣмъ скорѣе простили бы ему это, что и наше сердце тоже останавливается въ чтеніи и охотно удаляется отъ объекта, чтобъ заглянуть въ самого себя. Но ничего подобнаго нѣтъ и слѣда у Гомера. Онъ разсказываетъ объ этомъ, какъ о самой обыкновенной вещи, и продолжаетъ со своей сухою правдивостью, какъ будто у него самого нѣтъ сердца въ груди:

Въ оное время у Главка разсудокъ восхитилъ Кроніонъ:
Онъ Діомеду-герою доспѣхъ золотой свой на мѣдный,
Во сто цѣнимый тельцевъ, обмѣнялъ на стоющій девять.

Поэты таково наивнаго рода ужъ болѣе не на своемъ мѣстѣ въ искусственномъ вѣкѣ. Они даже едва возможны въ немъ, развѣ если они совсѣмъ убѣгутъ отъ своего вѣка, и какъ-нибудь, при помощи благосклонной судьбы, укроются отъ его искажающаго вліянія. Изъ самого общества они уже не могутъ развиться; но внѣ его они являются иногда, болѣе какъ пришельцы, которымъ дивятся. Какими бы ни были они благодѣтельными явленіями для художника, который изучаетъ, и для истиннаго знатока, который умѣетъ цѣнить ихъ, имъ мало счастливится вообще, а въ ихъ вѣкѣ— въ особенности; печать властелина покоится на ихъ челѣ. Мы только хотимъ, чтобы музы насъ баюкали и качали. Критика, хранители вкуса, ненавидятъ ихъ — и готовы, пожалуй, совсѣмъ искоренить ихъ. Даже самъ Гомеръ одолженъ только своему вѣковому авторитету, что эти хранители вкуса оставляютъ его въ покоѣ.

Правда, имъ часто круто приходится утверждать свои правила, вопреки его примѣра, и его значеніе, вопреки своихъ правилъ.

Поэтъ, сказалъ я, или самъ есть природа, или будетъ искать ее. Черезъ одно онъ становится наивнымъ, черезъ другое—сентиментальнымъ поэтомъ. Поэтическій духъ безсмертенъ и не можетъ погибнуть въ человѣчествѣ; онъ не можетъ погибнуть иначе, какъ вмѣстѣ съ нимъ и съ любовью человѣчества къ нему. Потому что если человѣкъ и удалится черезъ свободу своей фантазіи и разума отъ простоты, истины и необходимости природы, то ему не только всегда открытъ путь къ ней, но его еще безпрерывно влечетъ назадъ къ ней мощное и неискоренимое моральное побужденіе—и съ этимъ то самымъ побужденіемъ связана наитѣснѣйшимъ родствомъ поэтическая способность. Слѣдовательно, она не утрачивается вмѣстѣ съ естественною простотою, но только дѣйствуетъ по другому направленію.

Даже и тутъ природа есть единственное пламя, которымъ питается духъ поэзіи; изъ этого пламени почерпаетъ онъ всю свою силу, съ нимъ однимъ говоритъ онъ въ искусственномъ, углубившемся въ цивилизацію человѣкѣ. Всякій другой образъ дѣйствія чуждъ поэтическому духу: оттого, скажу мимоходомъ, всѣ такъ называемыя остроумныя произведенія совсѣмъ несправедливо называются поэтическими, хотя мы, сбитые съ толка авторитетомъ французской литературы, и смѣшали ихъ съ поэтическими. Природа, повторяю, и теперь еще, среди искусственнаго состоянія цивилизаціи, одна только даетъ силу поэтическому духу; только теперь онъ совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ съ нею.

Пока человѣкъ еще чистая,—разумѣется, не грубая—природа, онъ дѣйствуетъ, какъ нераздѣльное, чувственное единство, какъ гармоническое цѣлое. Чувства и разумъ, воспріимчивая и самостоятельная способность, еще не успѣли раздѣлиться въ своихъ отправленіяхъ, но скорѣе противорѣчатъ другъ другу. Его ощущенія—не безобразная игра случая, его мысли—не пустая игра воображенія: изъ закона необходимости вытекаютъ одни, изъ дѣйствительности—другія. Но когда человѣкъ входитъ въ состояніе цивилизаціи и искусство налагаетъ на него свою руку, тогда уничтожается въ немъ та гармонія чувствъ, о которой сказано выше, и онъ можетъ только выражаться, какъ моральное единство, то есть какъ стремящійся къ единству. Гармонія ощущенія съ мыслительностью, существовавшая прежде дѣйствительно, существуетъ теперь только идеально: она уже болѣе не въ немъ, но внѣ его, какъ мысль, которая должна еще осуществиться, а не какъ фактъ его жизни. Если идею поэзіи, которая въ сущности заключается въ томъ только, чтобы дать человѣчеству въ высшей степени его возможное выраженіе, приспособить къ обоимъ тѣмъ состояніямъ, то выйдетъ, что въ состояніи естественной простоты, — когда человѣкъ еще дѣйствуетъ всѣми своими силами, какъ гармоническое единство, когда цѣлое его природы совершенно выражается въ дѣйствительности, — возможно полное подражаніе дѣйствительности должно составлять всю силу поэта. Напротивъ того, въ состояніи цивилизаціи, гдѣ гармонія человѣческой натуры заключается только въ идеѣ, силу поэта составляетъ возведеніе дѣйствительности до идеала, или что одно и то же, представленіе идеала. Вотъ два единственно возможные образа, въ которыхъ можетъ выражаться поэтическій геній. Они какъ видимъ, совершенно различны другъ отъ друга; но есть еще высшее понятіе, совокупляющее въ себѣ ихъ обоихъ; и совсѣмъ не должно казаться страннымъ, если это понятіе есть не что иное, какъ самая идея человѣчества.

Здѣсь не мѣсто развивать эту мысль, освѣтить которую можетъ только подробное изложеніе. Но тотъ, кто не по однимъ случайнымъ формамъ, а по духу способенъ сравнивать древнихъ поэтовъ *) съ новыми, легко убѣдится въ ея справедливости. Древніе поэты трогаютъ насъ природою, чувственною справедливостью, живымъ настоящимъ, новые—только идеями.

Путь, по которому идутъ новѣйшіе поэты, есть впрочемъ тотъ же самый, на какой вообще слѣдовало бы выйти человѣку, какъ въ частностяхъ, такъ и въ цѣломъ. Природа соединяетъ его съ самимъ

---

*) Можетъ быть, не лишнее будетъ напомнить, что если здѣсь новые писатели противопоставляются старымъ, то рѣчь идетъ не столько о разницѣ во времени, сколько о разницѣ въ манерѣ. И въ новой, даже въ новѣйшей литературѣ существуютъ наивныя произведенія всѣхъ родовъ, хотя уже не совсѣмъ чистаго свойства, а между старыми латинскими и даже греческими поэтами нѣтъ недостатка въ сентиментальныхъ. Не только у одного и того же поэта, но и въ одномъ и томъ же произведеніи можно найти соединеніе обоихъ родовъ, напр., въ «Страданіяхъ Вертера», и подобныя произведенія производятъ всегда наибольшее впечатлѣніе.

собою; искусство раздѣляетъ и разобщаетъ; посредствомъ идеала онъ возвращается къ единству. Но такъ какъ идеалъ есть нѣчто безконечное, чего ему никогда не достигнуть, то цивилизованный человѣкъ въ своемъ родѣ никогда не можетъ сдѣлаться совершеннымъ, чего всегда достигаетъ въ своемъ родѣ естественный человѣкъ. Поэтому онъ долженъ былъ бы безконечно уступать послѣднему въ совершенствѣ, если только смотрѣть на отношеніе, въ какомъ оба они находятся къ своему роду и максимуму совершенства. Но если, напротивъ, сравнимъ самые роды, то увидимъ, что цѣль, къ которой человѣкъ стремится черезъ цивилизацію, безконечно предпочтительнѣе той, которой онъ достигаетъ черезъ природу. Одинъ становится достойнымъ черезъ абсолютное достиженіе конечной величины, другой—черезъ приближеніе къ безконечной. Но такъ какъ только послѣдняя имѣетъ степени и возможность движенія впередъ, то относительное достоинство человѣка среди цивилизаціи, взятое вообще, никогда не можетъ быть опредѣлительно, хотя, разсматриваемое частно, необходимо должно уступить достоинству человѣка, въ которомъ дѣйствуетъ природа во всемъ своемъ совершенствѣ. Но такъ какъ послѣднюю цѣль не иначе можно достигнуть, какъ преуспѣяніемъ, и такъ какъ человѣкъ не иначе можетъ преуспѣвать, какъ цивилизуясь, слѣдовательно переходя въ первый разрядъ, то нечего и спрашивать—кому изъ двухъ принадлежитъ предпочтеніе относительно послѣдней цѣли.

Все сказанное мною о двухъ различныхъ формахъ человѣчества можно приложить и къ соотвѣтствующимъ имъ поэтическимъ формамъ.

Вслѣдствіе этого, древніе и новые, наивные и сентиментальные поэты или совсѣмъ не должны быть сравниваемы между собою, или только исходя изъ одного общаго высшаго понятія; а такое дѣйствительно существуетъ. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только извлечь родовое понятіе поэзіи изъ древнихъ поэтовъ—и ничего нѣтъ легче, но также и тривіальнѣе, какъ унижать передъ ними новѣйшихъ. Если поэзія состоитъ въ томъ только, что во всѣ времена однообразно дѣйствовало на простую природу, то новѣйшихъ поэтовъ слѣдовало бы не признавать за поэтовъ въ ихъ самыхъ оригинальныхъ, самыхъ возвышенныхъ красотахъ за то только, что они въ нихъ говорятъ питомцу искусства и не имѣютъ никакого дѣла съ простою природой *). Кто не развитъ еще до такой степени, чтобъ черезъ дѣйствительность перешагнуть въ царство идей, для того богатѣйшее содержаніе будетъ казаться пустымъ и высочайшій поэтическій полетъ—натяжкой. Ни одному умному человѣку не придетъ на мысль сравнивать какое-нибудь мѣсто въ Гомерѣ, гдѣ онъ великъ, съ подобнымъ мѣстомъ у какого-нибудь изъ новѣйшихъ поэтовъ—и, право, смѣшно слышать, какъ Мильтона или Клопштока честятъ именемъ новыхъ Гомеровъ. Точно также не выдержать сравненія какому-нибудь изъ древнихъ поэтовъ, и всего менѣе Гомеру, съ новѣйшими поэтами въ томъ, что составляетъ ихъ характеристическую черту. Древніе поэты, если позволено такъ выразиться, мощны искусствомъ ограниченія, новѣйшіе—искусствомъ безконечнаго.

Вотъ потому-то самому, что сила древняго художника (все, что здѣсь говорится о поэтѣ, можетъ, съ нѣкоторыми ограниченіями, быть сказано и о всякомъ вообще художникѣ) состоитъ въ ограниченіи, ясно то высокое преимущество древности въ образовательныхъ искусствахъ передъ новѣйшимъ временемъ и вообще то неравенство достоинствъ поэзіи и образовательнаго искусства новаго времени съ древними. Произведеніе для глазъ бываетъ совершенно только въ ограниченіи; произведеніе для воображенія, напротивъ, только въ безграничности. Оттого въ пластическихъ искусствахъ новѣйшимъ художникамъ мало помогаетъ ихъ превосходство относительно идей; они принуждены опредѣлять въ пространствѣ образъ своего воображенія самымъ наиточнѣйшимъ образомъ, и, слѣдственно, войти въ соперничество съ древними художниками въ качествѣ, въ кото-

*) Мольеръ, какъ наивный поэтъ, могъ полагаться на сужденіе своей служанки въ томъ, что ему выпустить и что оставить въ своихъ комедіяхъ; было бы также желательно, чтобы мастера французскаго котурна продѣлывали ту же пробу со своими трагедіями. Но я бы не посовѣтовалъ, чтобы съ клопштоковскими одами, съ лучшими мѣстами изъ «Мессіады», «Потеряннаго рая», «Натана Мудраго» и многихъ другихъ пьесъ былъ сдѣланъ подобный опытъ. Но что я говорю? Этотъ опытъ былъ дѣйствительно произведенъ, и служанка Мольера резонерствуетъ въ нашихъ критическихъ библіотекахъ, философскихъ и литературныхъ анналахъ и описаніяхъ путешествій о поэзіи, искусствѣ и проч., но, какъ оно и подобаетъ на нѣмецкой почвѣ, не столь утонченно, какъ на французской, что вполнѣ согласуется съ уровнемъ нѣмецкой литературной челяди.

ромъ послѣдніе имѣютъ неоспоримое преимущество. Другое дѣло въ поэтическихъ произведеніяхъ. Правда, древній поэтъ и тутъ, пожалуй, побѣждаетъ, простотою формъ и тѣмъ, что можно представить чувственно и, такъ сказать, осязаемо; но новѣйшій далеко оставитъ его за собою въ богатствѣ содержанія, въ томъ, чего нельзя представить и выразить словами, однимъ словомъ, въ томъ, что въ произведеніяхъ искусства называется духомъ.

Такъ какъ наивный поэтъ слѣдуетъ только простой природѣ и ощущенію и ограничивается только подражаніемъ дѣйствительности, то и имѣетъ къ своему предмету только одно отношеніе и, слѣдовательно, для него не существуетъ никакого выбора въ исполненіи. Различное впечатлѣніе наивныхъ произведеній основывается (если исключимъ все касающееся до содержанія и будемъ разсматривать это впечатлѣніе со стороны одного только поэтическаго выполненія), основывается, говорю я, только на различной степени одного и того же образа ощущенія. Даже различіе во внѣшнихъ формахъ не въ состояніи произвести никакой перемѣны въ качествѣ эстетическаго впечатлѣнія. Лирическая ли форма или эпическая, драматическая или описательная передъ нами, мы растроганы только слабѣе или сильнѣе, но—если только не беремъ въ соображеніе содержанія—никогда различнымъ образомъ. Чувство наше остается постоянно однимъ и тѣмъ же, изъ одного и того же элемента, такъ что мы не можемъ дѣлать въ немъ никакихъ различій. Даже разность языковъ и вѣка ничего здѣсь не измѣняетъ, потому что въ этомъ-то чистомъ единствѣ происхожденія и эффекта наивной поэзіи и состоитъ весь ея характеръ.

У сентиментальнаго поэта дѣло обстоитъ совершенно иначе. Онъ отражаетъ впечатлѣніе, производимое на него предметами, и на этомъ отраженіи основывается то, что онъ самъ растроганъ и заставляетъ насъ быть растроганными. Предметъ у него весь подчиненъ идеѣ, и на этомъ подчиненіи покоится вся его поэтическая сила. Вотъ потому сентиментальный поэтъ имѣетъ всегда дѣло съ двумя несогласными представленіями и ощущеніями—съ дѣйствительностью, какъ границей, и съ своею идеею, какъ съ безконечнымъ; и смѣшанное чувство, которое онъ возбуждаетъ, всегда носитъ на себѣ отпечатокъ этого двойственнаго источника*). Стало быть, сюда входитъ множественность принциповъ и все дѣло состоитъ въ томъ, который изъ двухъ получитъ перевѣсъ въ ощущеніи и представленіи поэта; такимъ образомъ, различіе въ исполненіи уже становится возможнымъ. Отсюда рождается вопросъ: остановится ли онъ болѣе на дѣйствительности, или на идеалѣ? представитъ ли онъ дѣйствительность, какъ предметъ отвращенія, или идеалъ, какъ предметъ своей симпатіи? Такимъ образомъ его представленіе будетъ или сатирическое, или—въ обширнѣйшемъ значеніи слова, которое объяснимъ впослѣдствіи—элегическое: одного изъ этихъ двухъ родовъ ощущенія непремѣнно держится каждый сентиментальный поэтъ.

Поэтъ бываетъ сатирическимъ, когда своимъ предметомъ онъ избираетъ удаленіе отъ природы и разладъ дѣйствительности съ идеаломъ: то и другое дѣйствуетъ одинаково на душу. Онъ выполняетъ зто или серьезно и съ горячностью, или шутливо и съ веселостью, смотря по тому, пребываетъ ли онъ въ области воли, или въ области разсудка. Въ первомъ случаѣ получается карающая, или патетическая, во второмъ—шутливая сатира.

Въ строгомъ смыслѣ и тонъ кары, и тонъ забавы чуждъ цѣли поэта. Первый слишкомъ важенъ для игры, чѣмъ всегда должна быть поэзія; второй слишкомъ пустъ для серьезности, которая должна быть основаніемъ всякой поэтической игры. Моральныя противорѣчія по необходимости интересуютъ наше сердце и потому отнимаютъ свободу духа; изъ поэтической трогательности долженъ быть изгнанъ всякій собственный интересъ, то есть всякое отношеніе къ нуждѣ. Противорѣчія разсудка, напротивъ, оставляютъ сердце равнодушнымъ, хотя поэтъ и имѣетъ здѣсь дѣло съ высочайшей потребностью сердца, съ при-

*) Кто слѣдитъ за тѣмъ впечатлѣніемъ, которое производитъ на него наивная поэзія, и кто въ состояніи отдѣлить ту долю впечатлѣнія, которая относится къ содержанію, тотъ найдетъ это впечатлѣніе, даже въ патетическихъ предметахъ, всегда веселымъ, всегда чистымъ, всегда спокойнымъ; въ сентиментальныхъ оно всегда нѣсколько серьезно и напряженно. Это происходитъ отъ того, что при наивномъ изложеніи, о чемъ бы въ нихъ ни шла рѣчь, мы всегда радуемся правдѣ, живому присутствію объекта въ нашемъ воображеніи и помимо этого ничего не ищемъ; въ сентиментальной же поэзіи мы должны соединить наше представленіе съ идеей, живущей въ нашемъ разумѣ, слѣдовательно, мы всегда колеблемся между двумя различными состояніями.

родою и идеаломъ. И потому для поэта представляется здѣсь не маловажная задача: во-первыхъ, не оскорбить въ патетической сатирѣ поэтической формы, состоящей въ свободѣ игры; во вторыхъ, въ шутливой—не выпустить изъ вида поэтическаго содержанія, которое всегда должно заключаться въ безконечномъ. Эта задача можетъ быть рѣшена только однимъ способомъ. Карающая сатира достигаетъ поэтической свободы, переходя въ возвышенное; шутливая сатира получаетъ поэтическое содержаніе, обрабатывая предметъ свой съ изящностью.

Въ сатирѣ дѣйствительность, полная недостатковъ, противополагается идеалу, какъ высшей реальности. Впрочемъ, поэту совсѣмъ не нужно высказывать этого, довольно, если онъ съумѣетъ пробудить мысль о томъ въ душѣ нашей: и этого онъ долженъ достигнуть, иначе онъ не будетъ поэтически дѣйствовать. Дѣйствительность въ такомъ случаѣ будетъ необходимымъ предметомъ отвращенія; но, что здѣсь всеговажнѣе, это отвращеніе непремѣнно должно истекать изъ противопоставленнаго идеала. Отвращеніе имѣетъ часто чувственный источникъ, а, пожалуй, основывается и на извѣстной потребности. Намъ часто кажется, что мы ощущаемъ моральное негодованіе на свѣтъ потому только, что насъ порою ожесточаетъ разладъ нашихъ склонностей со свѣтомъ. Вотъ на этомъ то матеріальномъ интересѣ и вертится обыкновенный сатирикъ, и такъ какъ ему удается этимъ путемъ привести насъ въ аффектъ, то онъ ужъ и воображаетъ, что наше сердце въ его власти и что онъ великъ въ пафосѣ. Но пафосъ, вытекающій изъ подобнаго источника, недостоинъ поэзіи, потому что она должна трогать насъ однѣми идеями и только посредствомъ разума отыскивать путь къ нашему сердцу. Этотъ нечистый, матеріальный пафосъ всегда обнаруживается въ перевѣсѣ страданія, въ мучительномъ напряженіи духа, тогда какъ истинный поэтическій пафосъ узнается по перевѣсу самодѣятельности и по свободѣ духа, которая также состоитъ въ аффектѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если трогательность вытекаетъ изъ противопоставленнаго дѣйствительности идеала, то въ величіи этого идеала исчезаетъ всякое тяжелое чувство, и возвышенность идеи, которою мы исполнены, возвышаетъ насъ надъ границами извѣданнаго міра. При представленіи испорченной дѣйствительности, все зависитъ отъ того, чтобы необходимое было грунтомъ, на которомъ поэтъ или разсказчикъ наноситъ дѣйствительность, и чтобы онъ умѣлъ настроивать насъ къ идеямъ. Когда мы возвышенно настроены, то совсѣмъ не бѣда, если предметъ далеко ниже насъ. Историкъ Тацитъ, описывая глубокій упадокъ римлянъ въ первомъ вѣкѣ, является намъ высокимъ умомъ, взирающимъ съ высоты своей на низкое и пошлое, и мы тогда въ самомъ дѣлѣ поэтически настроены, потому что только высота, на которой онъ самъ стоитъ и на которую онъ умѣлъ возвести насъ, дѣлаетъ предметъ его низкимъ.

Итакъ, патетическая сатира истекаетъ только изъ души, живо проникнутой идеаломъ. Только яркое стремленіе къ гармоніи можетъ и должно производить то глубокое чувство моральныхъ противорѣчій, то пламенное негодованіе противъ моральной испорченности, которое становится вдохновеніемъ въ Ювеналѣ, Свифтѣ, Руссо, Галлерѣ и другихъ. Эти самые поэты создавали бы и должны были бы такъ же удачно творить и въ трогательномъ, нѣжномъ родѣ, еслибъ случайныя причины съ раннихъ лѣтъ не дали ихъ духу опредѣленнаго направленія; такъ и было отчасти. Всѣ они или жили въ растлѣнномъ вѣкѣ, передъ глазами ихъ совершались отвратительныя сцены моральной испорченности, или же собственныя испытанія отравили горечью сердца ихъ. Вотъ почему и философскій духъ, отдѣляющій съ неумолимою строгостью видимость отъ сущности, и проникающій въ глубины вещей, благосклонно относится къ той жестокости и чернотѣ красокъ, съ какими Руссо, Галлеръ и другіе живописуютъ дѣйствительность. Впрочемъ, всѣ эти внѣшнія и случайныя вліянія, дѣйствующія всегда стѣснительнымъ образомъ, развѣ только опредѣлятъ ходъ вдохновенія, но никогда не дадутъ ему содержанія: оно должно быть всегда однимъ и тѣмъ же—должно, очищенное отъ всякаго внѣшняго принужденія, вытекать изъ пламеннаго стремленія къ идеалу, который есть единственный истинный источникъ сатирической и вообще сентиментальной поэзіи.

Если патетическая сатира зарождается въ возвышенной душѣ, то насмѣшливая удается только прекрасному сердцу. Между тѣмъ, какъ первая уже вслѣдствіе своего серьезнаго содержанія застрахована отъ всякой игривости, другая. обрабатывающая предметъ внѣ всякой морали, непремѣнно впадаетъ въ нее и потеряетъ всю поэтическую силу, если исполненіе въ ней не

облагородитъ содержанія и субъектъ поэта не замѣнитъ его объекта. Только прекрасному сердцу дано, независимо отъ представляемаго предмета, отпечатлѣвать на каждомъ выраженіи полный образъ самого себя. Возвышенный характеръ проявляется только въ одиночныхъ побѣдахъ надъ упрямою чувственностью и то только въ моментъ вдохновенія и во время минутнаго напряженія; въ прекрасныхъ душахъ, напротивъ, идеалъ дѣйствуетъ, какъ природа, однообразно, и потому можетъ проявляться и въ состояніи покоя. Глубокое море величественнѣе въ бурю, свѣтлый потокъ прекраснѣе въ своемъ мирномъ теченіи.

Сколько разъ принимались спорить о томъ, трагедія ли или комедія имѣетъ болѣе важное значеніе. Если этимъ только спрашиваютъ, которая изъ нихъ занимается важнѣйшимъ предметомъ, то, безъ всякаго сомнѣнія, первенство останется за трагедіею; но если хотятъ знать, которая изъ нихъ требуетъ болѣе значительнаго субъекта, то приговоръ скорѣе будетъ въ пользу комедіи. Въ трагедіи многое связано уже съ самымъ содержаніемъ; въ комедіи же ничего не зависитъ отъ содержанія, но все отъ поэта. А такъ какъ, въ сужденіяхъ о вкусѣ, матеріалъ никогда не принимается въ разсмотрѣніе, то эстетическое достоинство этихъ обоихъ родовъ искусства будетъ естественно въ обратномъ содержаніи ихъ матеріальной важности. Трагическаго поэта выноситъ его объектъ; напротивътого, комическій долженъ посредствомъ своего субъекта удерживать объектъ свой на эстетической высотѣ. Одинъ долженъ увлекаться, что совсѣмъ не трудно; другой—оставаться вѣрнымъ самому себѣ, слѣдовательно долженъ быть, и быть какъ дома, тамъ, куда другой достигаетъ только напряженіемъ. Вотъ этимъ-то именно прекрасный характеръ и отличается отъ возвышеннаго. Первый полонъ величія: онъ непринужденно и безъ труда вытекаетъ изъ его природы; онъ самъ, по своему значенію, есть нѣчто безконечное на каждой точкѣ своего пути; второй можетъ напряженіемъ возвыситься до любого величія. Одинъ свободенъ только по временамъ и съ усиліемъ, другой—легко и постоянно.

Производить и питать въ насъ эту свободу души есть прекрасная задача комедіи, между тѣмъ какъ трагедіи дано эстетическимъ путемъ возстановлять свободу духа, насильно уничтоженную аффектомъ. И потому свобода духа должна быть искусственнымъ образомъ уничтожена, чтобы въ возстановленіи ея трагедія могла проявить свою поэтическую силу. Въ комедіи, напротивъ, должно стараться, чтобъ свобода духа оставалась неприкосновенною. Вотъ почему трагическій поэтъ обрабатываетъ содержаніе свое всегда практически; комическій, напротивъ, всегда теоретически, даже если бъ изъ каприза первый (какъ Лессингъ въ своемъ „Натанѣ") принялся за теоретическую матерію, а второй—за практическую. Не міръ, изъ котораго почерпается предметъ, но форумъ, предъ который предстаетъ съ нимъ поэтъ, дѣлаетъ его трагическимъ или комическимъ. Трагикъ долженъ остерегаться спокойныхъ размышленій и всегда интересовать сердце; комикъ долженъ остерегаться пафоса и занимать разсудокъ. Потому первый являетъ свое искусство постояннымъ возбужденіемъ; второй постояннымъ усмиреніемъ страсти; и это искусство, естественнымъ образомъ, тѣмъ выше у обоихъ, чѣмъ предметъ отвлеченнѣе у одного и патетичнѣе у другого *). Итакъ, если трагедія выходитъ изъ болѣе важнаго источника, то, съ другой стороны, должно признаться, что комедія стремится къ болѣе важной цѣли, и если только достигнетъ ея, всѣ трагедіи сдѣлаются лишними и невозможными. Ея цѣль тождественна съ высочайшей цѣлью, къ какой только стремится человѣкъ—быть свободнымъ отъ страстей, вѣчно ясно, вѣчно спокойно смотрѣть вокругъ себя и въ себя, и болѣе смѣяться надъ странностями, нежели негодовать на зло и плакать отъ злости.

Какъ въ дѣйствительной жизни, такъ и въ поэтическихъ представленіяхъ, часто случается смѣшивать легкое чувство, пріятный талантъ, веселое добросердечіе съ красотою души, и такъ какъ пошлый вкусъ

*) Въ «Натанѣ Мудромъ» это не было сдѣлано, холодность содержанія заморозила все произведеніе. Но Лессингъ зналъ самъ, что онъ не пишетъ трагедіи, и только, когда дѣло коснулось его собственнаго произведенія, по свойственной людямъ способности ошибаться, упустилъ изъ виду выставленное имъ въ «Драматургіи» правило, что писатель не имѣетъ права примѣнять трагическую форму къ иному содержанію, кромѣ трагическаго-же. Безъ очень существенныхъ измѣненій едва ли было-бы возможно передѣлать эту драматическую поэму въ хорошую трагедію; но нѣсколько только случайныхъ измѣненій сдѣлали бы изъ нея хорошую комедію. Послѣдней цѣли надо было бы принести въ жертву патетическое, первой—разсужденія, и, я думаю, не составляетъ вопроса, на какомъ изъ этихъ качествъ основана красота этой поэмы.

никогда не восходитъ выше пріятнаго, то такимъ маленькимъ умомъ очень легко завладѣть тою славою, которую такъ трудно заслужить. Есть однако жъ, вѣрное, не обманчивое средство, съ помощью котораго можно отличить легкость натуры въ человѣкѣ отъ легкости идеала, такъ же, какъ доброту темперамента отъ истинной нравственности характера, и это средство бросается въ глаза, когда миленькій умъ и прекрасная душа примутся за какой-нибудь трудный и великій объектъ. Въ этомъ случаѣ миленькій умъ непремѣнно вдается въ плоскость, и доброта темперамента—въ матеріальность; истинно прекрасная душа, напротивъ, навѣрное перейдетъ въ возвышенное.

Пока Лукіанъ смѣется только надъ странностями, какъ, напримѣръ, въ „Желаніяхъ", въ „Лапиѳахъ", въ „Юпитерѣ-Трагедѣ" и другихъ, онъ остается насмѣшникомъ и забавляетъ насъ своимъ веселымъ юморомъ; но изъ него выходитъ совсѣмъ другой человѣкъ во многихъ мѣстахъ „Нигрина", „Тимона", „Александра", гдѣ его сатира поражаетъ также и моральную испорченность. „Несчастный", такъ начинаетъ онъ въ „Нигринѣ" отвратительную картину тогдашняго Рима, „зачѣмъ покинулъ ты свѣтъ солнца, Грецію и ту счастливую жизнь свободы и пришелъ сюда въ эту суету прекрасной услужливости, угощеній и пиршествъ, доносчиковъ, льстецовъ, вымогателей наслѣдства, ложныхъ друзей" и такъ далѣе. При такихъ картинахъ должна уже проявляться высокая серьезность чувства и служить основою всякой поэтической игры. Даже въ злобныхъ шуткахъ, въ какихъ, какъ Лукіанъ, такъ и Аристофанъ глумятся надъ Сократомъ, проглядываетъ серьезный разумъ, мстящій софисту за истину и защищающій идеалъ, который только онъ не всегда высказываетъ. Лукіанъ въ своемъ „Діогенѣ" и „Демонаксѣ" ясно показалъ, чѣмъ долженъ быть подобный характеръ. Между новѣйшими поэтами самую великую и прекрасную душу выражаетъ Сервантесъ въ своемъ „Донъ-Кихотѣ". Что за прекрасный идеалъ былъ въ душѣ поэта, создавшаго Тома Джонса и Софью! Какъ можетъ насмѣшникъ Іорикъ такъ сильно, такъ возвышенно потрясать нашу душу? Въ Виландѣ я тоже узнаю эту серьезность чувства: грація его сердца облагораживаетъ самую своенравную оригинальность, даже на ритмѣ его пѣсни она напечатлѣваетъ свой образъ, и у него никогда нѣтъ недостатка въ силѣ полета, чтобы когда понадобится, и насъ возвести съ собою на недосягаемую высоту.

Того уже нельзя сказать о вольтеровской сатирѣ. Правда, и у него истина и простота природы иногда трогаютъ насъ поэтически; нѣтъ нужды, достигаетъ ли онъ этой простоты въ наивномъ родѣ, какъ напримѣръ часто въ своемъ „Ingénu", или только ищетъ ихъ и мститъ за нихъ, какъ напримѣръ въ своемъ „Кандидѣ". Но въ другихъ случаяхъ онъ хотя и забавляетъ насъ, какъ остроумный человѣкъ, однако жъ никогда нетрогаетъ, какъ поэтъ. Его насмѣшка вездѣ нуждается въ серьезной основѣ, а это-то и возбуждаетъ недовѣріе къ его поэтическому призванію. Мы всегда встрѣчаемся только съ его разсудкомъ, рѣдко съ чувствомъ. Подъ веселой оболочкой мы не видимъ у него никакого идеала; въ вѣчной рѣзвости—почти ничего совершенно сильнаго и крѣпкаго. Его удивительное разнообразіе во внѣшнихъ формахъ вовсе не ручается за полноту души его, напротивъ скорѣе доказываетъ противное, потому что изъ всѣхъ этихъ формъ онъ не нашелъ ни одной, гдѣ бы могъ выливать свое сердце. Право, можно думать, что только бѣдность сердца указала ему его призваніе къ сатирѣ. Иначе на своемъ обширномъ пути онъ непремѣнно гдѣ-нибудь да вышелъ бы изъ этой узкой колеи. Но мы видимъ, что при всемъ разнообразіи матеріи внѣшнихъ формъ, его внутренняя форма всегда вертится на скудномъ и вѣчно одномъ и томъ же, и, несмотря на груду написанныхъ имъ томовъ, онъ все-таки не исчерпалъ собою всего круга человѣчества, по которому съ наслажденіемъ пробѣгаешь въ сатирахъ, о которыхъ мы выше упомянули.

Если поэтъ противополагаетъ природу искусству, а идеалъ дѣйствительности такимъ образомъ, что представленіе природы и идеала становится владычествующимъ, а интересъ къ нимъ главнымъ ощущеніемъ, то такого поэта я называю элегическимъ. Этотъ родъ такъ же, какъ и сатира, имѣетъ два подраздѣленія. Природа и идеалъ могутъ быть разсматриваемы или какъ предметы тоски, если она представлена утраченною, а другой—недостижимымъ; или какъ предметы радости, въ томъ смыслѣ, что они дѣйствительны. Изъ перваго происходитъ элегія въ тѣснѣйшемъ, изъ дру-

гого—идиллія въ обширнѣйшемъ значеніи *).

Какъ негодованіе въ патетической и насмѣшка въ забавной сатирѣ, такъ и печаль въ элегіи должны вытекать изъ вдохновенія, пробужденнаго идеаломъ. Только черезъ это достигаетъ элегія поэтическаго достоинства; всякій другой источникъ ниже поэзіи. Элегическій поэтъ ищетъ природу, но въ красотѣ, а не въ одной ея пріятности, въ ея гармоніи съ идеями, а не въ одной снисходительности ея къ нуждамъ. Тоска по потеряннымъ радостямъ, по золотому вѣку, исчезнувшему изъ міра, по улетѣвшему счастью, юности, любви и такъ далѣе, тогда только становится предметомъ для элегіи, когда эти состоянія чувственнаго міра можно, вмѣстѣ съ тѣмъ, представить и предметами моральной гармоніи. И потому, какъ ни трогательны жалобныя пѣсни Овидія, которыя онъ поетъ у Эвксина, мѣста своего изгнанія, сколько поэзіи ни заключается въ ихъ частностяхъ—въ цѣломъ онѣ, по моему, не могутъ быть признаны за поэтическое произведеніе. Въ его горѣ слишкомъ мало энергіи, слишкомъ мало души и благородства. Не вдохновеніе—нужда испускала эти жалобные крики; въ нихъ слышна, если и не простая, обыкновенная душа, то все-таки обыкновенное настроеніе благородной души, павшей подъ игомъ рока. Правда, если вспомнимъ, что онъ оплакиваетъ Римъ, и Римъ временъ Августа, то сыну нѣги мы прощаемъ скорбь его; но даже и великолѣпный Римъ, со всѣми его блаженствами, необлагороженный воображеніемъ, есть только конечная величина, и потому недостойный объектъ для поэтическаго искусства, которое, будучи выше всякой вещественности, имѣетъ право тосковать только по безконечномъ.

Итакъ, содержаніемъ поэтической жалобы долженъ быть не внѣшній, но всегда внутренній идеальный предметъ; даже оплакивая какую-нибудь дѣйствительную потерю, она должна сперва пересоздать ее въ идеальную. Собственно въ этомъ-то претвореніи ограниченнаго въ безконечное и состоитъ поэтическая обработка. Вотъ почему внѣшняя матерія сама по себѣ всегда вещь посторонняя; поэзія никогда не можетъ употребить ее такъ, какъ она есть. Только черезъ то, что поэзія изъ нея дѣлаетъ, получаетъ она поэтическое достоинство. Элегическій поэтъ ищетъ природу, но только, какъ идею, въ томъ совершенствѣ, въ какомъ она никогда не существовала, хоть и оплакиваетъ ее, какъ будто нѣчто существовавшее и теперь потерянное. Когда Оссіанъ разсказываетъ намъ о дняхъ уже не существующихъ, о геройхъ уже исчезнувшихъ, то его поэтическая мощь уже давно преобразила тѣ образы воспоминанія въ идеалѣ, тѣхъ героевъ—въ боговъ. Дѣйствительно претерпѣнныя потери возвышаются до идеи всеобщаго разрушенія,

*) Мнѣ едва ли придется оправдываться передъ читателями, которые глубже проникаютъ въ суть дѣла, въ томъ, что я употребляю слова сатира, элегія и идилія въ болѣе обширномъ смыслѣ, нежели это принято. Мое намѣреніе отнюдь не состоитъ въ томъ, чтобы перемѣстить границы, которыя съ полнымъ основаніемъ поставлены, какъ сатирѣ и элегіи, такъ и идилліи. Но я обращаю вниманіе на господствующее въ этихъ видахъ поэтическихъ произведеній чувство, а извѣстно, что его никакъ невозможно заключить въ узкія границы. Не только элегія, въ спеціальномъ смыслѣ слова, трогаетъ насъ; драматическій и эпическій писатель тоже могутъ элегически настраивать насъ. Въ «Мессіадѣ», во «Временахъ Года» Томсона, въ «Потерянномъ Раѣ», въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» есть много образовъ, которые собственно свойственны только идилліи, элегіи и сатирѣ. То же самое болѣе или менѣе наблюдается почти во всякомъ патетическомъ стихотвореніи. Но то, что я даже идиллію причисляю къ элегическому роду, нуждается въ нѣкоторомъ оправданіи. Не нужно забывать, что здѣсь идетъ рѣчь только о той идилліи, которая составляетъ видъ сентиментальной поэзіи, существенное свойство которой заключается въ томъ, что природа противополагается искусству и идеалъ дѣйствительности. Если авторъ и не подчеркиваетъ послѣдняго, если онъ выставляетъ образъ неиспорченной природы и достигнутаго идеала, какъ таковой, во всей его чистотѣ и самостоятельности, то это противоположеніе все же живетъ въ его сердцѣ и противъ его воли будетъ проявляться во всякомъ взмахѣ его кисти. Если бы этого даже не было, то уже языкъ, которымъ онъ говоритъ, напомнилъ бы намъ дѣйствительность съ ея ограниченіями и культуру съ ея искусственностями, такъ какъ этотъ языкъ носитъ въ себѣ духъ времени и испыталъ на себѣ вліяніе природы; наше собственное сердце противопоставило бы тому образу чистой природы опытъ испорченности и вызвало бы въ насъ элегическое ощущеніе, если бы писатель даже и не старался объ этомъ. Послѣднее такъ неизбѣжно, что даже высочайшее наслажденіе, которое доставляютъ лучшія произведенія наивнаго рода старыхъ и новыхъ временъ, не долго остается чистымъ, но раньше или позже сопровождается элегическимъ настроеніемъ. Наконецъ, я еще замѣчаю, что подраздѣленіе, которое я здѣсь пытался ввести, рѣшительно ничего не можетъ опредѣлить въ подраздѣленіи самыхъ стихотвореній и установленіи поэтическихъ видовъ, именно потому, что оно основывается на различіи въ способѣ ощущенія. Такъ какъ писатель, даже въ одномъ и томъ же произведеніи, никоимъ образомъ не можетъ придерживаться одного и того же способа ощущенія, то это подраздѣленіе не можетъ обусловливаться послѣднимъ и опредѣляется только формой изложенія.

и растроганный бардъ, преслѣдуемый образомъ этой общей гибели, взлетаетъ къ самому небу, чтобъ тамъ въ пути солнца отыскать символъ нетлѣнности *).

Перехожу къ новѣйшимъ поэтамъ въ элегическомъ родѣ. Руссо, какъ поэтъ и какъ философъ, вдохновленъ однимъ стремленіемъ или искать природу, или мстить за нее искусству. Смотря по тому, останавливается ли его чувство на природѣ или на искусствѣ, мы видимъ его то элегически-растроганнымъ, то вдохновеннымъ ювеналовой сатирой, то, какъ, напримѣръ, въ Юліи, увлеченнымъ въ область идилліи. Его поэзія имѣетъ неоспоримое поэтическое содержаніе, потому что проникнута идеаломъ; онъ только не умѣетъ пользоваться поэтическимъ образомъ. Правда, его серьезный характеръ никогда не понижается до игривости, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не даетъ ему вознестись до поэтической игры. Подъ вліяніемъ то страсти, то абстракціи, онъ рѣдко, или почти никогда не доводитъ этой игры до эстетическаго развитія, которое поэтъ всегда долженъ противопоставлять своей матеріи, всегда сообщать своему читателю. То болѣзненная чувствительность властвуетъ надъ нимъ и доводитъ до натяжки его чувство, то уже сила мышленія налагаетъ путы на его воображеніе и строгостью понятія уничтожаетъ грацію картины. Этотъ писатель обладаетъ въ высшей степени обоими качествами, стройное, перемѣнное дѣйствіе и соединеніе которыхъ собственно и составляетъ поэта; недостаетъ только, чтобы они выражались въ соединеніи другъ съ другомъ, чтобы его самодѣятельность болѣе вмѣшивалась въ его ощущеніе, а воспріимчивость въ его мышленіе. Оттого въ идеалѣ, который онъ ставитъ предъ человѣчествомъ, слишкомъ много взяты въ соображеніе поставленныя человѣчеству границы и слишкомъ мало его способность. Вообще въ нихъ видно болѣе нужды въ физическомъ покоѣ, нежели въ нормальной гармоніи. Его страстная чувствительность виною, что онъ, чтобы только избавиться отъ раздоровъ въ человѣчествѣ, скорѣе отодвигаетъ его назадъ къ однообразію первобытнаго состоянія, нежели беретъ на себя трудъ привести эти раздоры къ мирному концу въ духовной гармоніи исчерпывающаго образованія; что онъ скорѣе вовсе не даетъ возникнуть искусству, нежели соглашается подождать его полнаго развитія. Однимъ словомъ, онъ унижаетъ цѣль и низводитъ съ высоты идеалъ, чтобы только скорѣе его достигнуть.

Изъ нѣмецкихъ писателей этого рода я упомяну только о Галлерѣ, Клейстѣ и Клопштокѣ. Характеръ ихъ произведеній сентименталенъ; они трогаютъ насъ идеями, не чувственной правдой, не тѣмъ, что они сами природа, а тѣмъ, что они умѣютъ воодушевлять насъ природой. Но что въ общемъ справедливо относительно характера какъ этихъ, такъ и всѣхъ сентиментальныхъ писателей, не исключаетъ, конечно, отнюдь способности въ отдѣльномъ случаѣ трогать насъ наивной красотой, безъ чего они вообще не были бы поэтами. Но воспринимать спокойно, просто и легко и такимъ же образомъ передавать воспринятое—не есть свойственный имъ, господствующій характеръ. Невольно фантазія беретъ верхъ надъ наглядымъ воспріятіемъ, мыслительная сила надъ чувствомъ, и мы закрываемъ глаза и уши, чтобы, созерцая, погрузиться въ самихъ себя. Душа не можетъ получить впечатлѣнія, чтобы тотчасъ же не обратиться къ разматриванію происходящей въ ней работы и рефлексіей не извлечь и не противопоставить самой себѣ того, что въ ней заключается. Такимъ образомъ, мы никогда не получаемъ изображенія предмета, а только то, что отражающій умъ писателя сдѣлалъ изъ предмета, и даже, если писатель самъ есть этотъ предметъ, если онъ хочетъ изобразить намъ свои собственныя чувства, мы не узнаемъ его состоянія непосредственно и изъ первоисточника, а только постольку, поскольку оно отразилось въ его душѣ, что онъ думалъ о немъ, какъ зритель самаго себя. Если Галлеръ оплакиваетъ смерть своей супруги (всѣмъ извѣстно это прекрасное стихотвореніе) и начинаетъ такимъ образомъ:

На смерть твою надгробный гимнъ слагая,
О Маріана, что скажу тебѣ
Когда слова—со вздохами въ борьбѣ,
И мысль одну спѣшитъ прогнать другая и т.д.
(Переводъ О. Н. Чюминой).

то мы находимъ это описаніе вѣрнымъ до точности; но мы чувствуетъ также, что писатель сообщаетъ намъ не собственно свои чувства, а свои мысли относительно нихъ. Поэтому онъ трогаетъ насъ гораздо слабѣе, такъ какъ самъ долженъ былъ въ значительной степени остыть, чтобы сдѣлаться зрителемъ своего умиленія.

Уже одно большей частью сверхчув-

*) Смотри напр. прекрасное стихотвореніе подъ названіемъ «Картонъ».

ственное содержаніе стихотвореній Галлера и Клопштока исключаетъ ихъ изъ наивнаго рода; поэтому, если это содержаніе вообще должно быть поэтически обработано, то, такъ какъ оно не могло принять осязательнаго образа и слѣдовательно не могло быть воспринято внѣшними чувствами, оно должно было быть переведено въ безконечное и сдѣлаться предметомъ духовнаго воззрѣнія. Вообще лишь въ этомъ смыслѣ можно себѣ представить дидактическую поэзію безъ внутренняго противорѣчія. Повторяю еще разъ,—поэзія обладаетъ только этими двумя областями: она должна держаться или въ области конкретнаго или въ области идей, такъ какъ она никакъ не можетъ существовать въ области понятій или въ мірѣ разума. Я, признаюсь, еще не знаю ни одного стихотворенія этого рода, ни изъ старой, ни изъ новой литературы, которое чисто и вполнѣ опустило бы обрабатываемое имъ понятіе до индивидуальности или повысило бы его до идеи. Обыкновенно, при нѣкоторой удачѣ, то и другое перемежается, между тѣмъ какъ абстрактное понятіе преобладаетъ, и воображенію, которое должно бы повелѣвать въ поэтической области, только дозволяется прислуживать разуму. Дидактическаго стихотворенія, въ которомъ мысль сама была бы и осталась бы поэтичной, надо еще ожидать въ будущемъ.

Что здѣсь сказано вообще о всѣхъ поучительныхъ стихотвореніяхъ, относится въ частности къ стихотвореніямъ Галлера. Мысль ихъ сама по себѣ не поэтична, но исполненіе иногда становится поэтичнымъ, благодаря то употребленію образовъ, то полету къ идеямъ. Только послѣднее качество обусловливаетъ ихъ принадлежность къ разсматриваемому роду. Сила, глубина и патетическая серьезность характеризуютъ этого писателя. Его душа воодушевлена идеаломъ, и его горячее чувство правды ищетъ въ мирныхъ долинахъ Альпъ исчезнувшую изъ міра невинность. Его жалоба глубоко трогательна; въ энергичной, почти горькой сатирѣ изображаетъ онъ заблужденія разума и сердца и съ любовью рисуетъ прекрасную простоту природы. Но во всѣхъ его образахъ слишкомъ много мѣста отведено понятію, какъ и въ немъ самомъ разумъ беретъ верхъ надъ чувствомъ. Поэтому онъ въ общемъ скорѣе поучаетъ, чѣмъ изображаетъ, и изображаетъ болѣе сильными, чѣмъ мягкими чертами. Онъ великъ, смѣлъ, горячъ, возвышенъ; но онъ рѣдко или никогда не возвышается до прекраснаго.

Клейстъ стоитъ далеко позади этого писателя во всемъ, что касается богатства идей и глубины духа; въ граціи онъ, пожалуй, превосходитъ его, если мы непремѣнно хотимъ найти достоинство съ одной стороны, которое уравновѣсило бы въ нашихъ глазахъ недостатокъ его съ другой. Чувствительной душѣ Клейста болѣе всего по-сердцу видъ деревенскихъ сценъ и нравовъ. Онъ охотно бѣжитъ людской суеты и находитъ гармонію и миръ, которыхъ напрасно ищетъ въ мірѣ нравственномъ, на лонѣ безжизненной природы. Какъ трогательно его „Стремленіе къ покою“ *). Какъ искренне прочувствовано это мѣсто:

О міръ, ты жизни истинной могила,
Порывъ къ добру влечетъ меня; ручей
Горючихъ слезъ струится изъ очей,
Но молодости пылъ, примѣра сила—
Вмигъ осушаютъ чистыхъ слезъ потокъ.
Кто человѣкъ, будь отъ людей далекъ.

(Переводъ О. Н. Чюминой).

Но если его поэтическій даръ и вызвалъ его изъ узкаго круга человѣческихъ отношеній въ глубокомысленное одиночество природы, то подавляющій образъ его вѣка и, къ сожалѣнію, оковы этого вѣка преслѣдуютъ его и здѣсь. Чего онъ убѣгаетъ, то въ немъ; чего онъ ищетъ, то вѣчно внѣ его; онъ никогда не можетъ преодолѣть дурного вліянія своего вѣка. Если его сердце одинаково горячо, его фантазія одинаково энергична, чтобы одухотворить изображеніемъ мертвыя произведенія разума, то холодная мысль такъ же часто лишаетъ души живую прелесть поэтической силы и рефлексія мѣшаетъ таинственному дѣлу чувства. Правда, его поэзія пестра и блистательна, какъ весна, которую онъ воспѣлъ, его фантазія жива и подвижна; но ее можно скорѣе назвать перемѣнчивой, чѣмъ богатой, скорѣе играющей, чѣмъ творческой, скорѣе безпокойно подвигающейся впередъ, чѣмъ собирательной и созидающей. Быстро и полно черты смѣняютъ черты, но не сосредоточиваясь до индивидуума, не дополняя другъ друга до жизни, не округляя другъ друга до образа. Пока его произведенія лиричны, пока онъ остается исключительно въ области сельскихъ картинъ, мы не за-

*) См. стихотвореніе подъ этимъ названіемъ въ его произведеніяхъ.

мѣчаемъ этого недостатка, отчасти благодаря большей свободѣ лирической формы, отчасти же благодаря произвольному выбору матеріала; мы требуемъ отъ писателя въ этомъ случаѣ скорѣе изображенія чувствъ, чѣмъ предмета. Но недостатокъ становится слишкомъ замѣтенъ, когда онъ, какъ въ своемъ Циссидѣ или Пахесѣ и своемъ Сенекѣ берется изображать людей и людскіе поступки, потому что здѣсь воображеніе чувствуетъ себя заключеннымъ среди твердыхъ и необходимыхъ границъ, и поэтическій эффектъ можетъ изойти только изъ предмета. Здѣсь онъ становится скуденъ, скученъ, тощъ и невыносимо холоденъ; его примѣръ можетъ служить предостереженіемъ для всѣхъ, кто безъ внутренняго призванія переходитъ изъ области музыкальной поэзіи въ область образной. Ту же ошибку, свойственную людямъ вообще, совершилъ другой, родственный ему геній—Томсонъ.

Немногіе новые и еще менѣе старые писатели могутъ сравняться въ сентиментальномъ родѣ и особенно въ элегической части ея съ нашимъ Клопштокомъ. Этотъ музыкальный *) поэтъ создалъ все, чего можно было достигнуть въ сферѣ идеальности, внѣ границъ живой формы и внѣ области индивидуальности.

Правда, было бы очень несправедливо, если бы ему хотѣли отказать въ той индивидуальной правдѣ и жизненности, съ какими наивный писатель изображаетъ свой предметъ. Многія изъ его одъ, нѣкоторыя отдѣльныя черты его драмъ и его Мессіады изображаютъ предметъ съ поразительной правдой, съ полнымъ сохраненіемъ чувства мѣры; особенно тамъ, гдѣ предметомъ является его собственное сердце, онъ не рѣдко проявилъ высокую природу, прелестную наивность. Но не въ этомъ его сила, этого свойства нельзя провести черезъ всю его поэтическую дѣятельность. Насколько „Мессіада“ по данному выше опредѣленію является прекраснымъ произведеніемъ въ музыкальномъ поэтическомъ отношеніи, настолько же она недостаточна въ отношеніи пластически поэтическомъ, гдѣ ожидаютъ формъ опредѣленныхъ и притомъ опредѣленныхъ для созерцанія. Можетъ быть фигуры въ этомъ стихотвореніи и достаточно опредѣленны, но не для созерцанія; только отвлеченіе создало ихъ, только отвлеченіе можетъ ихъ разграничить. Они хорошіе примѣры для понятій, но не индивидуумы, не живые образы. Воображенію, къ которому писатель долженъ обращаться, надъ которымъ онъ долженъ господствовать неуклоннымъ опредѣленіемъ своихъ формъ, предоставлено слишкомъ много свободы для воплощенія въ образы этихъ людей и ангеловъ, этихъ боговъ и діаволовъ, этого неба и этого ада. Даны лишь очертанія, внутри которыхъ умъ долженъ представить ихъ себѣ, но не дано опредѣленныхъ границъ, внутри которыхъ фантазія необходимо должна была бы изобразить ихъ. То, что я здѣсь говорю о характерахъ, относится ко всему, что въ этомъ произведеніи есть или должно быть жизнь и дѣйствіе, и не только въ этой поэмѣ, но и въ драматическихъ стихотвореніяхъ нашего поэта. Для разума все прекрасно опредѣлено и ограничено (я напоминаю здѣсь только о его Іудѣ, его Пилатѣ, его Филонѣ, его Соломонѣ въ трагедіи того же названія); но для воображенія все это слишкомъ безформенно, и здѣсь, прямо заявляю, я нахожу, что этотъ писатель совсѣмъ не въ своей сферѣ.

Его сфера—всегда міръ идей, и онъ умѣетъ переводить въ безконечное все, что онъ обрабатываетъ. Можно сказать, что онъ изо всего, о чемъ онъ пишетъ, извлекаетъ тѣло, чтобы сдѣлать изъ него духъ, какъ другіе писатели покрываютъ тѣлесной оболочкой все духовное. Почти всякое наслажденіе, которое доставляютъ его стихотворенія, должно быть добыто силой мыслительной способности; всѣ чувства, которыя онъ умѣетъ возбуждать столь сильно и искренно, рождаются изъ сверхчувственныхъ источниковъ. Отсюда эта серьезность, эта сила, этотъ полетъ, эта глубина, которыя характеризуютъ все, что отъ него исходитъ; отсюда также то постоянное умственное напряженіе, въ которомъ мы находимся при чтеніи его. Именно Клопштокъ (за исключеніемъ, можетъ быть, Юнга, который требуетъ больше его, но не вознаграждаетъ, какъ онъ) меньше, чѣмъ какой бы то ни было другой писатель, можетъ быть любимцемъ и спутникомъ жизни, онъ всегда только

*) Я говорю музыкальный, чтобы напомнить здѣсь о двойномъ родствѣ поэзіи съ музыкой и съ пластикой. Поэзія можетъ быть названа пластической и музыкальной, смотря по тому, воспроизводитъ ли она, какъ пластика, извѣстный предметъ, или, какъ музыка, извѣстное душевное состояніе. Выраженіе «музыкальная» относится поэтому не къ тому, что въ поэзіи дѣйствительно и по содержанію есть музыка, но вообще ко всѣмъ тѣмъ аффектамъ ея, которые она въ состояніи вызвать, не ограничивая воображенія опредѣленнымъ объектомъ, и въ этомъ смыслѣ я называю Клопштока по преимуществу музыкальнымъ поэтомъ.

вѣрнѣе и чище, нежели во всякомъ другомъ, и который изо всѣхъ новѣйшихъ поэтовъ, можетъ быть, наименѣе удаленъ отъ чувственной истины вещей.

Интересно видѣть, съ какимъ счастливымъ инстинктомъ соединилось въ Вертерѣ Гёте все, что даетъ пищу сентиментальному характеру: мечтательная, несчастная любовь, чувство къ природѣ, созерцательный духъ, наконецъ, чтобъ ничего не позабыть, мрачный, безобразный, туманный оссіановскій міръ. Сообразивъ же, какъ мало дѣйствительность гармонируетъ съ нимъ, даже какъ вражески она противопоставлена ему, и какъ извнѣ все соединяется, чтобъ его вытѣснить назадъ въ его идеальный міръ,— сообразивъ все это, не видимъ рѣшительно никакой возможности спастись такому характеру изъ подобнаго круга. Въ трагедіи „Тассо“ того же поэта видимъ снова ту же противоположность, хотя и въ разныхъ характерахъ; такъ же въ его новомъ романѣ, какъ и въ прежнемъ, поэтическій духъ противопоставленъ здравому, простому смыслу, идеалъ дѣйствительности, субъективный образъ представленія—объективному, но какъ различно! Даже въ „Фаустѣ“ опять находимъ ту же противоположность, правда, уже очень огрубѣлую и матеріализированную, какъ того требовала сущность сюжета; стоило бы труда попытаться психологически развить этотъ характеръ, проведенный въ четырехъ такихъ различныхъ родахъ.

Выше было замѣчено, что одинъ легкій и веселый нравъ, не основанный на внутренней полнотѣ идей, еще не показываетъ никакого призванія къ шутливой сатирѣ, хотя обыкновенно ему съ большою готовностью предоставляютъ всѣ права на нее; такъ же мало призванія къ элегической поэзіи находится и въ простой, нѣжной мягкости нрава и меланхоліи. Чтобы быть дѣйствительно поэтическими талантами, такимъ людямъ недостаетъ энергическаго начала для оживленія сюжета и воспроизведенія чего-нибудь истинно-прекраснаго. Произведенія такого нѣжнаго рода насъ могутъ только, такъ сказать, разнѣжить; не услаждая сердца, не занимая души, они только льстятъ нашей чувствительности. Продолжительная склонность къ такого рода ощущеніямъ должна, наконецъ, необходимо разслабить характеръ и погрузить его въ то пассивное состояніе, изъ котораго не выходитъ никакой реальности ни для внѣшней, ни для внутренней жизни. И потому было очень хорошо, что притворную чувствительность и плаксивую манерность *), которыя начали было, лѣтъ восемнадцать тому назадъ, господствовать въ Германіи черезъ лжетолкованіе и обезьянство нѣкоторыхъ превосходныхъ созданій— стали преслѣдовать неумолимыми насмѣшками, хотя снисхожденіе, оказываемое ничуть не лучшимъ, почти такимъ же элегическимъ, каррикатурамъ, такой же бездушной сатирѣ и безобразному юмору **), ясно доказываетъ, что причины гоненія на нихъ не были совершенно справедливыми. На вѣсахъ истиннаго вкуса все это ничего не значитъ, потому что тутъ не достаетъ эстетическаго содержанія, которое заключается только въ тѣсномъ соединеніи духа съ сюжетомъ и въ соединенномъ отношеніи продукта къ способности чувствъ и идей.

Насмѣхались надъ „Зигвартомъ“ и его „Монастырской исторіей“ и удивляются „Путешествію въ полуденную Францію“; конечно, оба произведенія имѣютъ большое притязаніе на извѣстную степень уваженія и очень малое—на безусловную похвалу. Истинное, хотя и натянутое, чувство, замѣчательно въ первомъ романѣ; легкій юморъ и веселый, тонкій умъ—во второмъ; но сколько одному недостаетъ въ здравомъ смыслѣ, столько другому—въ эстетическомъ достоинствѣ. Первый, сличенный съ дѣйствительностью, становится немного смѣшнымъ, второй, лицомъ къ лицу съ идеаломъ, почти презрѣннымъ. А такъ какъ истинно прекрасное съ одной стороны должно согласоваться съ природою, съ другой—съ идеаломъ, то ни тотъ, ни другой не могутъ имѣть никакого притязанія на имя прекрасныхъ произведеній. Не взирая на это, очень естественно и понятно—и я даже узналъ это по собственному опыту—что

---

*) «Склонность», какъ господинъ Аделунгъ опредѣляетъ ее «къ трогательнымъ, мягкимъ чувствамъ безъ разумнаго намѣренія и безъ должной мѣры». Господинъ Аделунгъ очень счастливъ, что онъ чувствуетъ только съ намѣреніемъ и даже разумнымъ намѣреніемъ.

**) Правда, не слѣдуетъ портить извѣстнымъ читателямъ ихъ скуднаго удовольствія, и кромѣ того, какое дѣло критикѣ до того, что есть люди, для которыхъ веселы и поучительны грязные анекдоты господина Блумауера. Но судьи въ вопросахъ искусства должны были бы воздержаться отъ того, чтобы говорить съ нѣкотораго рода уваженіемъ о произведеніяхъ, существованіе которыхъ остается загадкой для хорошаго вкуса. Хотя въ нихъ нельзя отрицать ни таланта, ни юмора, но тѣмъ болѣе надо сожалѣть, что то и другое не подверглось лучшей чисткѣ. Я ничего не говорю о нашихъ нѣмецкихъ комедіяхъ, писатели рисуютъ время, въ которое они живутъ.

презрѣнія. Изъ цѣльной и полной человѣческой природы должны исходить также эти чувственныя энергіи. Онѣ должны быть человѣчностью. Но для того, чтобы судить о томъ, что цѣльная человѣческая природа, а не односторонняя и обыденная потребность чувственности вызываетъ ихъ, мы должны видѣть изображеніе цѣлаго, одну единственную черту котораго онѣ составляютъ. Самъ по себѣ чувственный способъ воспріятія есть нѣчто невинное и безразличное. Онъ потому не нравится намъ въ человѣкѣ, что онъ свойственъ животному и свидѣтельствуетъ объ отсутствіи въ первомъ истинной совершенной человѣчности; онъ только потому оскорбляетъ насъ въ поэтическомъ произведеніи, что оно имѣетъ притязанія нравиться намъ; поэтому считаетъ и насъ способными къ этому недостатку. Но если мы видимъ, что въ человѣкѣ, застигнутомъ при этомъ врасплохъ, человѣчность дѣйствуетъ во всемъ ея остальномъ объемѣ, если въ произведеніи, въ которомъ позволили себѣ вольности этого рода, выражены всѣ реальности человѣчности,' то исчезаетъ та причина нашего недовольства, и мы можемъ наслаждаться съ ничѣмъ неомраченной радостью наивнымъ выраженіемъ истинной и прекрасной природы. Слѣдовательно, тотъ же писатель, который можетъ позволить себѣ сдѣлать насъ участниками такихъ низкихъ человѣческихъ чувствъ, долженъ съ другой стороны умѣть возвысить насъ до всего, что велико, и прекрасно, и возвышенно человѣчно.

Итакъ, существуетъ масштабъ, какой съ увѣренностью можемъ приложить къ каждому поэту, въ чемъ-либо погрѣшающему противъ приличія въ изображеніи природы. Его произведеніе пошло, низко, совершенно никуда не годно, какъ скоро оно холодно, какъ скоро оно пусто, потому что это показываетъ, что оно произошло изъ пошлой цѣли и изъ пошлой потребности, и что оно безсовѣстно разсчитываетъ на наши похоти. Напротивъ того, оно прекрасно, благородно и, не принимая во вниманіе всѣхъ возраженій замороженной благопристойности, достойно одобренія, какъ скоро оно наивно возвышенно и соединяетъ духъ съ сердцемъ *).

*) Съ сердцемъ: потому что исключительно чувственный пылъ изображенія и богатая полнота воображенія еще далеко не составляютъ всего. Поэтому «Андингело» остается при всей чувственной энергіи и всемъ огнѣ колорита только чувственной карикатурой безъ правды и безъ эстетическаго достоинства. Но все-же это странное произведеніе всегда останется замѣчательнымъ, какъ примѣръ почти поэтическаго полета, котораго можетъ достигнуть одно простое вожделѣніе.

Если мнѣ возразятъ, что многія изъ французскихъ повѣстей въ этомъ родѣ и удачнѣйшихъ ихъ подражаній въ Германіи покажутся не съ очень выгодной стороны лицомъ къ лицу съ такимъ масштабомъ, что это отчасти можетъ даже случиться со многими произведеніями одного изъ нашихъ увлекательнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ поэтовъ, то мнѣ нечего отвѣчать. Приговоръ этотъ совсѣмъ не новъ; притомъ же я излагаю здѣсь только причины приговора, который уже давно изрекло насчетъ этого предмета каждое сколько-нибудь утонченное чувство. Но тотъ же самый принципъ, который въ отношеніи къ нѣкоторымъ сочиненіямъ, можетъ быть, кажется слишкомъ строгимъ, въ отношеніи къ другимъ можетъ показаться за то ужъ слишкомъ слабымъ. Признаюсь откровенно, тѣ же самыя причины, по которымъ я нахожу отнюдь неизвинительными соблазнительныя картины римскаго и нѣмецкаго Овидія, Кребильйона, Вольтера, Мармонтеля (который еще называетъ себя моральнымъ писателемъ), Лакло и многихъ другихъ, тѣ же самыя причины мирятъ меня съ элегіями римскаго и нѣмецкаго Проперція, потому что первыя только остроумны, вялы и соблазнительны, вторыя, напротивъ—наивны, исполнены поэзіи и человѣчны *).

*) Если я называю въ томъ же обществѣ безсмертнаго автора «Агатона», «Оберона» и проч., то я долженъ непремѣнно замѣтить, что я бы не хотѣлъ, чтобы его смѣшали съ послѣднимъ. Въ описаніяхъ съ этой стороны даже наиболѣе сомнительныхъ, нѣтъ матеріальной тенденціи (какъ позволилъ себѣ недавно сказать одинъ новый, нѣсколько неосмотрительный критикъ); авторъ «Любви за любовь» и многихъ другихъ наивныхъ и геніальныхъ произведеній, въ которыхъ отражается прекрасная и благородная душа со всѣми несомнѣнными чертами ея, вовсе не можетъ имѣть подобной тенденціи. Но мнѣ кажется, что его преслѣдуетъ то особенное несчастіе, что подобныя описанія становятся необходимыми, благодаря плану его поэтическихъ произведеній. Холодный разсудокъ, который набросалъ планъ, было такъ далеко отъ того, чтобы съ любовью благопріятствовать имъ, что, мнѣ кажется, я даже въ исполненіи все еще узнаю холодный разсудокъ. И именно эта холодность въ исполненіи вредитъ сужденію о нихъ, потому что только наивное воспріятіе можетъ оправдать какъ эстетически, такъ и нравственно подобныя изображенія. Но дозволено ли писателю подвергаться такой опасности въ исполненіи при набрасываніи плана, и вообще

дожественное представленіе, должно бы было тоже дѣйствовать творчески, но все таки рѣшеніе задачи тутъ несравненно было бы и проще, и легче, чѣмъ въ состояніи цивилизаціи. Не взирая на то, однако жъ, и въ ней встрѣтилось нѣсколько частныхъ чертъ, которыя воображенію стоило только выбрать и соединить въ одно цѣлое. Подъ счастливымъ небомъ, среди простыхъ отношеній первобытнаго міра, при ограниченномъ знаніи, природа легко удовлетворяется, а человѣкъ тогда только дичаетъ, когда терзаетъ его нужда. У всѣхъ народовъ, имѣющихъ исторію, есть свой рай и свое состояніе невинности, свой золотой вѣкъ, даже всякій отдѣльный человѣкъ не лишенъ своего рая, своего золотого вѣка, о которомъ онъ вспоминаетъ съ бо́льшимъ или меньшимъ вдохновеніемъ, смотря по тому, болѣе или менѣе поэзіи въ его природѣ. Стало быть самый опытъ даетъ уже довольно чертъ для изображенія картины пастушеской идилліи. Оттого-то она и остается прекраснымъ, возвышеннымъ вымысломъ, и поэтическая сила, представляя ее, точно работала для идеала. Въ самомъ дѣлѣ, для человѣка, отклонившагося разъ отъ естественной простоты и отдавшагося опасному руководительству своего разума, чрезвычайно важно снова взглянуть на законодательство природы во всей чистотѣ его и посредствомъ этого вѣрнаго зеркала снова очиститься отъ порчи искусства. Но здѣсь встрѣчается одно обстоятельство, очень уменьшающее эстетическое достоинство подобныхъ поэтическихъ произведеній. Изображая состояніе до цивилизаціи, они исключаютъ, вмѣстѣ съ вредомъ, также и всѣ ея выгоды и по сущности своей находятся въ необходимомъ раздорѣ съ нею. Итакъ, они теоретически заставляютъ насъ отступать, между тѣмъ, какъ практически ведутъ впередъ и облагораживаютъ насъ. Они, по несчастію, ставятъ цѣль, къ которой бы должны были вести насъ навстрѣчу, позади насъ, и потому внушаютъ намъ только грустное чувство потери, а не радостное чувство надежды. Выполняя свою цѣль только черезъ уничтоженіе всякаго искусства и черезъ упрощеніе человѣческой природы, они наиболѣе говорятъ сердцу и слишкомъ мало духу, и потому ихъ однообразный кругъ слишкомъ скоро исчерпывается—и потому мы тогда только можемъ любить и стремиться къ нимъ, когда нуждаемся въ покоѣ, а не тогда, когда наши силы ищутъ движенія, дѣятельности. Они доставляютъ только излеченіе больной душѣ—не пищу здоровой; они не въ состояніи оживить, но только утолить насъ. Этого недостатка, заключающагося въ самомъ существѣ пастушеской идилліи, не могло поправить все искусство поэтовъ. Правда, у этой отрасли поэзіи нѣтъ недостатка въ восторженныхъ любителяхъ, и есть довольно читателей, которые, пожалуй, готовы предпочесть какого-нибудь Аминта или Даѳниса величайшимъ мастерскимъ произведеніямъ драматической или эпической музы; но подобные читатели судятъ о произведеніяхъ искусства не столько по вкусу, сколько по индивидуальной потребности, и, слѣдовательно, приговоръ ихъ нельзя принимать въ соображеніе. Конечно, читатель съ умомъ и чувствомъ не будетъ вовсе отрицать достоинства у подобныхъ стихотвореній, но будетъ рѣже увлекаться ими и раньше ими пресытится. Зато въ моментъ подходящаго настроенія оно тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ; но дѣло въ томъ, что истинно-прекрасное никогда не станетъ дожидаться такого момента и скорѣе само породитъ его.

То, что я здѣсь порицаю въ пастушеской идилліи, относится, впрочемъ, только къ идилліи сентиментальной: потому что въ наивной идилліи никогда не встрѣтится недостатка въ содержаніи, тѣмъ болѣе, что оно заключается въ самой уже формѣ ея. Дѣйствительно, всякая поэзія должна имѣть безконечное содержаніе, потому что черезъ это она только и поэзія. Такому требованію она удовлетворяетъ двоякимъ образомъ. Она можетъ быть безконечною по формѣ, если представляетъ предметъ со всѣми его границами и индивидуализируетъ его; она можетъ быть безконечною по содержанію, если отстраняетъ отъ предмета всѣ его границы, или идеализируетъ его; стало быть она можетъ быть безконечною или чрезъ абсолютное представленіе, или черезъ представленіе абсолюта. Первымъ путемъ идетъ наивный, вторымъ—сентиментальный поэтъ. Итакъ, первый достигнетъ своего назначенія, если будетъ неизмѣнно держаться природы, которая всегда сплошь ограничена, то есть по формѣ безконечна. Второму, напротивъ, природа только мѣшаетъ своимъ сплошнымъ ограниченіемъ, потому что онъ долженъ вложить въ предметъ абсолютное содержаніе. Слѣдовательно, сентиментальный поэтъ жестоко ошибется въ разсчетѣ, если станетъ заимствовать матеріалъ свой у наивнаго поэта, потому что самъ по себѣ онъ совершенно ничего не значитъ и только черезъ выпол-

онъ насъ впередъ къ нашему совершенно-лѣтію, чтобы дать почувствовать намъ высшую гармонію. Да поставитъ онъ себѣ цѣлью идилліи—выдержать ту пастушескую невинность и въ субъектахъ циливизаціи со всѣми условіями мыслительности, самаго утонченнаго искусства, самой высшей общественной утонченности; да ведетъ онъ, однимъ словомъ, въ Элизіумъ человѣка, не могущаго болѣе возвратиться въ Аркадію.

Понятіе такой идилліи есть понятіе совершенно-оконченной борьбы, какъ въ отдѣльномъ человѣкѣ, такъ и въ обществѣ—понятіе нравственнаго соединенія благородныхъ склонностей съ закономъ, понятіе природы, доведенной до высшаго нравственнаго достоинства,—короче, оно есть не что иное, какъ идеалъ красоты, приложенный къ дѣйствительной жизни. Стало быть характеръ такой идилліи состоитъ въ совершенномъ уничтоженіи всякаго контраста между дѣйствительностью и идеаломъ, подавшаго поводъ къ сатирической и элегической поэзіи, и вмѣстѣ съ этимъ въ прекращеніи всякой борьбы въ ощущеніи. Слѣдовательно, владычествующимъ впечатлѣніемъ этого рода поэзіи долженъ быть покой, но покой свершенія, не лѣни; покой, проистекающій отъ равновѣсія, не отъ застоя силъ, отъ полноты, не отъ запустѣнія—покой, сопровождаемый чувствомъ безконечной способности. Но за то, вслѣдствіе устраненія всякой борьбы, въ идилліи несравненно труднѣе, нежели въ двухъ предыдущихъ родахъ поэзіи, произвести то движеніе, безъ котораго невозможно поэтическое дѣйствіе. Въ идилліи должно существовать и величайшее единство, но ничего не заимствуя отъ разнообразія; и духъ долженъ быть удовлетворенъ, но не переставая оттого стремиться. Вотъ въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ и состоитъ собственно теорія идилліи.

Что же касается до отношенія сентиментальной поэзіи къ наивной, а ихъ обѣихъ къ поэтическому идеалу, то можно установить слѣдующее. Наивному поэту природа милостиво дала возможность всегда дѣйствовать, какъ нераздѣльному единству, во всякій моментъ быть самостоятельнымъ, полнымъ цѣлымъ и представлять человѣчество въ дѣйствительности сообразно его полному содержанію. Сентиментальному поэту природа даровала силу, или, скорѣе, запечатлѣла въ немъ живое побужденіе изъ себя самого возстановить единство, уничтоженное въ немъ абстракціей, въ самомъ себѣ усовершенствовать человѣчество и переходить изъ ограниченнаго состоянія въ безконечное *). Общая же задача обоихъ состоитъ въ томъ, чтобъ дать человѣческой природѣ ея полнѣйшее выраженіе; безъ этого они не могутъ и называться поэтами. Но наивный поэтъ имѣетъ всегда преимущество передъ сентиментальнымъ въ чувственной реальности: то что для него есть дѣйствительный фактъ, для другого есть только предметъ стремленія. Читая наивныхъ поэтовъ, невольно испытываешь на себѣ справедливость этого положенія, если только мало-мальски наблюдаешь за собою при чтеніи. Чувствуешь тогда, что всѣ силы твоего человѣчества дѣятельны, что ни въ чемъ не нуждаешься, становишься въ самомъ себѣ какимъ-то цѣлымъ; не различая ничего въ своемъ чувствѣ, радуешься вмѣстѣ съ этимъ своей духовной дѣятельности, своей чувственной жизни. Въ совсѣмъ другое настроеніе погружаетъ насъ сентиментальный поэтъ. Тутъ ощущаешь одно живое влеченіе возбудить въ себѣ гармонію, которую наивный поэтъ дѣйствительно заставляетъ чувствовать, стремишься сдѣлать изъ себя цѣлое, довести въ себѣ человѣчество до совершеннаго выраженія. Оттого при чтеніи сентиментальныхъ поэтовъ духъ въ движеніи, напряженъ, колеблется между борющимися чувствами, тогда какъ подъ вліяніемъ наивныхъ онъ покоенъ, развязенъ, согласенъ самъ съ собою и совершенно удовлетворенъ.

Но если, съ одной стороны, наивный поэтъ имѣетъ преимущество предъ сентиментальнымъ въ реальности и въ томъ, что доводитъ до дѣйствительнаго существованія то, къ чему послѣдній возбуждаетъ только живое влеченіе, то сенти-

*) Для читателя, судящаго научно, я замѣчаю, что оба способа ощущенія въ ихъ высшемъ выраженіи, относятся другъ къ другу, какъ первая и третья категоріи, благодаря тому, что послѣдняя всегда возникаетъ вслѣдствіе того, что первая связывается съ прямой противоположностью ея. Противоположность наивнаго чувства есть именно размышляющій разсудокъ, и сентиментальное настроеніе есть результатъ стремленія возстановить наивное чувство (по содержанію) также при условіяхъ рефлексіи. Это произошло бы благодаря достигнутому идеалу, въ которомъ искусство снова столкнулось бы съ природой. Если прослѣдить тѣ три понятія по категоріямъ, то мы найдемъ природу и соотвѣтствующее ей наивное настроеніе всегда въ первой, искусство, какъ уничтоженіе природы свободно дѣйствующимъ разумомъ, всегда во второй, наконецъ, идеалъ, въ которомъ законченное искусство возвращается къ природѣ, въ третьей категоріи.

ментальный зато имѣетъ большое преимущество передъ первымъ въ томъ, что въ состояніи дать этому влеченію болѣе значительный предметъ изображенія, превышающій силу и способность поэта наивнаго. Всякая дѣйствительность, какъ извѣстно, уступаетъ далеко идеалу, потому что все существующее имѣетъ свои границы, а мысль безгранична, и это ограниченіе, которому подвержено все чувственное, вредитъ даже и наивному поэту, между тѣмъ, какъ безусловность мыслительности приходится на-руку сентиментальному. Правда, наивный поэтъ въ совершенствѣ исполняетъ свою задачу, но самая его задача есть уже нѣчто ограниченное; сентиментальный, хотя не выполняетъ своей совершенно, но зато и задача его есть нѣчто безконечное. И это тоже можно прочувствовать и прослѣдить на дѣлѣ. Отъ наивнаго поэта съ легкостью и охотой обращаешься къ живому настоящему; сентиментальный поэтъ всегда, хоть на нѣсколько минутъ, да разстроитъ насъ для дѣйствительной жизни, потому что духъ нашъ отъ безконечности идеи улетаетъ за предѣлы своей естественной сферы, такъ что дѣйствительность его уже болѣе не удовлетворяетъ. Мы охотнѣе погружаемся черезъ созерцаніе въ самихъ себя, гдѣ въ мірѣ идей находимъ пищу для возбужденнаго влеченія, чѣмъ изъ самихъ себя устремляемся за чувственными предметами. Сентиментальная поэзія есть порожденіе затворничества и тишины, къ которымъ и манитъ насъ; напротивъ того, наивная—есть дитя жизни, и потому возвращаетъ насъ къ жизни.

Я назвалъ наивную поэзію благосклонностью природы, чтобъ напомнить, что рефлексія не имѣетъ въ ней никакого участія. Она—счастливый жребій, не нуждающійся ни въ какомъ улучшеніи при удачѣ, но и неспособный къ ней при неудачѣ. Для наивнаго генія все заключается въ ощущеніи: тутъ вся его сила, всѣ его предѣлы. Слѣдовательно, если онъ съ самаго начала не чувствовалъ поэтически, то есть совершенно-человѣчески, то ему уже не прикрыть этого никакимъ искусствомъ. Критика можетъ показать ему только этотъ недостатокъ, но не въ состояніи замѣнить его никакою красотою. Наивный геній долженъ все производить изъ своей природы. Онъ тогда только выполнитъ свою идею, когда въ немъ будетъ дѣйствовать природа по одной внутренней необходимости. Правда, даже и неудавшееся произведеніе наивнаго генія, произведеніе полнаго произвола, есть все-таки природа; но дѣло въ томъ, что потребность минуты и внутренняя необходимость цѣлаго суть вещи совершенно различныя. Разсматриваемая, какъ цѣлое, природа самостоятельна и безконечна; напротивъ того, во всякомъ отдѣльномъ своемъ отправленіи немощна и ограниченна. То же самое можно сказать и о природѣ поэта. Самый счастливѣйшій моментъ, въ какомъ онъ только можетъ находиться, зависитъ отъ предыдущаго, и потому ему можно только приписать условную необходимость. Отсюда проистекаетъ задача для всякаго поэта — уравнять отдѣльное состояніе съ человѣческимъ цѣлымъ, то есть абсолютно и необходимо основать его на самомъ себѣ. Стало быть изъ момента вдохновенія долженъ быть устраненъ всякій слѣдъ временной потребности и самый предметъ, какъ бы ни былъ онъ ограниченъ, не долженъ ограничивать поэта. Понятно, что это тогда только возможно, когда поэтъ займется предметомъ съ совершенною полнотою способности, и когда онъ ужъ навыкнетъ все обнимать всѣмъ своимъ человѣчествомъ. Этого навыка онъ можетъ достигнуть только посредствомъ міра, въ которомъ живетъ и къ которому непосредственно прикасается. Итакъ, наивный геній всегда въ зависимости отъ опыта, котораго не знаетъ сентиментальный. Послѣдній, какъ извѣстно, приступаетъ къ своей задачѣ только тамъ, гдѣ первый исчерпываетъ ее: сила его состоитъ въ пополненіе недостаточнаго матеріала изъ собственнаго внутренняго содержанія; собственными силами переходитъ онъ изъ состоянія ограниченія въ состояніе полной свободы. Наивный поэтическій геній нуждается въ помощи извнѣ, тогда какъ сентиментальный питается и очищается изъ самаго себя; наивный поэтъ долженъ видѣть вокругъ себя богато-образную природу, поэтическій міръ, наивное человѣчество, потому что уже въ ощущеніи чувствъ онъ совершаетъ свое дѣло. Но если ему не будетъ этой помощи извнѣ, если онъ окруженъ одною бездушною матеріей, то можетъ получиться двоякое положеніе: или онъ выйдетъ изъ своего вида, когда въ немъ перевѣситъ родъ, и станетъ сентиментальнымъ, чтобъ только остаться поэтомъ, или, если побѣда останется за видомъ, онъ выйдетъ изъ своего рода и станетъ пошлою природою, чтобъ только быть природой. Первое случилось съ знаменитыми сентиментальными поэтами древ

няго римскаго міра и новѣйшаго времени. Родившись въ другомъ вѣкѣ, перенесенные подъ другое небо, они, поражающіе теперь идеями, очаровали бы насъ индивидуальною истиною и наивною красотою. Отъ второго едва ли защититъ себя поэтъ, который среди пошлаго свѣта не можетъ отстать отъ природы.

То есть отъ *дѣйствительной* природы, потому что съ нею не должно смѣшивать *истинной* природы, составляющей предметъ наивной поэзіи. Дѣйствительная природа находится вездѣ, но истинная природа чрезвычайно рѣдко, потому что для нея нужна внутренняя необходимость существованія. Дѣйствительная природа есть всякій пошлый взрывъ страсти: онъ можетъ быть, пожалуй, и истинной природой, но истинной человѣческой—никогда, потому что истинная человѣческая природа требуетъ участія самостоятельной способности во всякомъ движеніи, выраженіе котораго должно быть всякій разъ достоинство. Дѣйствительная человѣческая природа можетъ низойти до моральнаго распутства, но истинная человѣческая природа ужъ вѣроятно никогда имъ не будетъ, потому что она можетъ быть только благородна. Нельзя вообразить себѣ, до какого безвкусія въ критикѣ и выполненіи довело это смѣшеніе дѣйствительной природы съ истинною человѣческою природою; какія тривіальности позволяются въ поэзіи, даже восхваляются, потому что онѣ, къ сожалѣнію, дѣйствительная природа; какъ радуются, смотря на каррикатуры, отъ которыхъ въ дѣйствительномъ мірѣ бѣжишь, но которыя въ поэтическомъ заботливо сохраняются и копируются съ жизни. Конечно, поэтъ имѣетъ право подражать дурной природѣ, и въ сатирѣ этого даже требуетъ самое понятіе сатиры; но въ такомъ случаѣ его собственная прекрасная природа должна рисовать предметъ, и пошлая матерія не вправѣ низводить подражателя до своей грязи. Если онъ самъ (по крайней мѣрѣ въ ту минуту, когда описываетъ), если онъ самъ—истинная человѣческая природа, то нѣтъ нужды до того, что онъ намъ описываетъ; только отъ него мы и можемъ снести вѣрную картину дѣйствительности. Горе намъ, читателямъ, если только рожа будетъ выглядывать изъ-за рожи; если бичъ сатиры попадетъ въ руку того, кому природа отказала въ истинномъ талантѣ; если люди, лишенные всего, что только называется поэтическимъ духомъ, обладающіе только обезьяньимъ талантомъ пошлаго подражанія, отвратительно употребляютъ его во вредъ нашего вкуса.

Но даже и для истинно-наивнаго поэта, сказалъ я, можетъ быть опасна пошлая природа, потому что прекрасная гармонія ощущенія съ мыслью, составляющая его характеръ, есть только идея, которой въ дѣйствительности нельзя совершенно достигнуть; мы видимъ, что даже и въ счастливѣйшихъ геніяхъ этого рода воспріимчивость и самодѣятельность всегда хоть насколько-нибудь перевѣшиваютъ ощущеніе. Но воспріимчивость всегда болѣе или менѣе зависитъ отъ внѣшняго впечатлѣнія и развѣ только постоянная дѣятельность производящей способности, которой нельзя требовать отъ человѣческой природы, могла бы помѣшать матеріи употреблять слѣпое насиліе надъ воспріимчивостью. Но всякій разъ, какъ это случается, поэтическое чувство становится чѣмъ-то пошлымъ *).

*) Насколько наивный поэтъ зависитъ отъ своего объекта, и какъ много значенія имѣетъ его ощущеніе, это лучше всего доказываетъ намъ старая поэзія. Насколько прекрасна природа въ нихъ и внѣ ихъ, настолько же прекрасны и поэтическія произведенія древнихъ; если же, напротивъ, природа становится пошлой, то и ихъ поэтическія произведенія лишаются духовнаго содержанія. Каждый читатель съ развитымъ чувствомъ непремѣнно ощутитъ напр. при ихъ описаніяхъ женской природы, отношенія между обоими полами и особенно любви, нѣкоторую пустоту и досаду, которыхъ никакая правда и наивность содержанія не могутъ изгнать. Не превознося мечтательности, которая, конечно, не облагораживаетъ природы, но покидаетъ ее, надѣюсь, можно согласиться съ тѣмъ, что въ области отношеній половъ и аффекта любви, природа способна на болѣе благородный характеръ, чѣмъ тотъ, который древніе дали ей. Извѣстны также случайныя обстоятельства, которыя препятствовали у нихъ облагороженію этихъ чувствъ. Что ограниченность, а не внутренняя необходимость, поддерживала въ этомъ древнихъ на столь низкой ступени, учитъ насъ примѣръ новыхъ писателей, которые ушли настолько дальше своихъ предшественниковъ, не перешагнувши требованій природы. Рѣчь идетъ не о томъ, что сентиментальные поэты съумѣли сдѣлать изъ этого предмета, потому что они переходятъ черезъ природу въ идеальное, и ихъ примѣръ ничего не можетъ доказать противъ древнихъ; рѣчь идетъ только о томъ, какъ дѣйствительно наивны писатели, какъ напр. въ «Саконталѣ», въ пѣсняхъ миннезенгеровъ, въ нѣкоторыхъ рыцарскихъ романахъ и рыцарскихъ эпопеяхъ, какъ Шекспиръ, Фильдингъ и многіе другіе, даже нѣмецкіе поэты обрабатывали тотъ же вопросъ. Это былъ для древнихъ случай одухотворить извнутри снаружи грубое содержаніе, возмѣстить рефлексіей поэтическое содержаніе, недостающее внѣшнему чувству, дополнить природу идеей, словомъ, сентиментальной обработкой сдѣлать изъ ограниченнаго объекта безконечный. Но это были наивные, но не сентиментальные поэтическіе геніи; ихъ произведеніе было слѣдовательно закончено какъ только кончилось внѣшнее ощущеніе.

жокъ дорогихъ пріятелей. Конечно, тонко настроенное чувство никогда не подвергнется опасности смѣшать выродки пошлой природы съ остроумными плодами наивнаго генія; но въ томъ-то и дѣло, что часто недостаетъ этого тонко-настроеннаго чувства, и большею частью мы стремимся только удовлетворить потребности, нисколько не заботясь о духѣ. Вотъ такъ-то ложно перетолкованная, хотя сама по себѣ и справедливая мысль, что за чтеніемъ остроумныхъ произведеній отдыхаешь, сама оправдываетъ это снисхожденіе, если только, впрочемъ, можетъ быть снисхожденіе тамъ, гдѣ нѣтъ и предчувствія чего-нибудь высшаго, и читатель съ авторомъ остаются совершенно довольны другъ другомъ. Пошлая природа, утомившись, отдыхаетъ только въ пустотѣ, и даже высокій умъ, если онъ только поддержанъ равномѣрнымъ образованіемъ ощущенія, отдыхаетъ отъ дѣлъ своихъ въ бездушномъ чувственномъ наслажденіи.

Если поэтическій геній долженъ съ свободною самостоятельностью возноситься за всѣ случайные предѣлы, неразлучные со всякимъ опредѣленнымъ состояніемъ, для уловленія человѣческой природы въ ея абсолютной способности, то, съ другой стороны, онъ не долженъ выходить изъ необходимыхъ границъ, заключающихся въ самомъ понятіи человѣческой природы: потому что его сфера и цѣль есть абсолютное, но только внутри человѣчества. Мы уже видѣли, что наивный геній, не подвергаясь опасности переступить за эту сферу, можетъ только не совершенно выполнить ее, когда у него внѣшняя необходимость или случайная нужда минуты заступитъ мѣсто внутренней необходимости. Сентиментальный геній, напротивъ, подверженъ опасности устранить всѣ предѣлы человѣческой природы, даже совсѣмъ ее уничтожить, и не только стать выше всякой опредѣленной и ограниченной дѣятельности, или идеализировать, но выйти даже изъ границъ всякой возможности, или фантазировать. Этотъ недостатокъ—чрезмѣрная напряженность, экзальтированность точно также заключается въ частномъ свойствѣ его манеры, какъ и противоположный ему—вялость, въ особенномъ образѣ наивнаго генія. Наивный геній даетъ природѣ безграничную свободу дѣйствовать, а такъ какъ природа въ ея частныхъ, временныхъ выраженіяхъ всегда бѣдна и зависима, то наивное чувство не всегда бываетъ довольно воодушевлено, чтобъ противостоять случайнымъ опредѣленіямъ минуты. Сентиментальный геній, напротивъ, оставляетъ дѣйствительность, чтобъ вознестись до идей, и съ свободною самостоятельностью управлять своимъ предметомъ; но такъ какъ разумъ, по своему закону, всегда стремится къ безконечному, то сентиментальный геній не всегда остается довольно трезвымъ, чтобъ непрерывно и однообразно держаться условій, заключающихся въ понятіи человѣческой природы, и которыхъ разумъ, даже и среди самыхъ сильныхъ проявленій своихъ, всегда долженъ держаться. Этого онъ можетъ достичь посредствомъ равномѣрной степени воспріимчивости, которая въ сентиментальномъ геніи столько же пересиливается сентиментальностью, сколько въ наивномъ она сама пересиливаетъ самодѣятельность. И потому, если иногда недостаетъ души произведеніямъ наивнаго генія, то въ порожденіяхъ сентиментальнаго часто тщетно доискиваешься предмета. Итакъ, и тотъ и другой впадаютъ, хотя совсѣмъ противоположнымъ образомъ, въ пустоту: потому что предметъ безъ духа и игра духа безъ предмета съ эстетической точки зрѣнія ничего не стоятъ.

Всѣ поэты, которые слишкомъ односторонне почерпаютъ свой матеріалъ изъ міра мысли, и болѣе по внутреннему обилію идей, чѣмъ отъ прилива ощущеній, увлекаются поэтическими образами, подвержены болѣе или менѣе этой опасности. Разумъ, среди своихъ созданій, слишкомъ мало соображается съ границами чувственнаго міра, и мысль летитъ такъ быстро, что опыту трудно поспѣвать за нею. Но если эта мысль зашла ужъ такъ далеко, что ей не можетъ болѣе соотвѣтствовать извѣстная опытность (ибо до этой границы можетъ и должно доходить идеально-прекрасное), и что она вообще опровергаетъ условія всей возможной опытности, и, слѣдовательно, чтобъ понять такую мысль, должно совсѣмъ оставить человѣческую природу, то это уже не поэтическая, но экзальтированная мысль—предположивъ, впрочемъ, что она выдается за поэтическую; иначе довольно уже того, когда она не противорѣчитъ себѣ. Но если, сверхъ того, она еще противорѣчитъ себѣ, то это уже болѣе не экзальтированность, но безсмыслiе; ибо то, что вообще не существуетъ, не можетъ и переступить своего предѣла. Если же она, то есть мысль, совсѣмъ не выдается за объектъ для воображенія, то она перестаетъ быть экзальтированною, потому что простая мыслительность безгранична, а у чего нѣтъ

границъ, тому и переступать нечего. Стало быть экзальтированно-натянутымъ можетъ быть только то названо, что оскорбляетъ если не логическую, то чувственную истину, и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ на нее притязаніе. Потому, если поэтъ нападетъ на несчастную мысль взять предметомъ своихъ описаній какія-то сверхъ-человѣческія натуры, то онъ развѣ тѣмъ только спасется отъ натянутости, что отступится отъ поэтическаго и на-чисто откажется отъ исполненія своего предмета помощью воображенія потому что, въ противномъ случаѣ, онъ или перенесетъ границы воображенія на предметъ и изъ абсолютнаго объекта сдѣлаетъ нѣчто ограниченное, человѣческое (какъ напримѣръ были и должны быть всѣ греческіе боги), или самъ предметъ отниметъ границы у воображенія, то есть уничтожитъ ихъ, а въ этомъ-то и состоитъ экзальтированная натянутость.

Не должно также смѣшивать экзальтированно-натянутаго ощущенія съ экзальтированностью въ представленіи; мы говоримъ здѣсь только о первомъ. Объектъ ощущенія можетъ быть неестественъ, но само ощущеніе есть природа и оттого должно говорить ея языкомъ. Итакъ, если экзальтированность ощущенія можетъ вытекать изъ теплоты сердца и истинно поэтической склонности, то натянутость въ представленіи всегда свидѣтельствуетъ о холодномъ сердцѣ и очень часто о поэтическомъ безсиліи. Стало быть этотъ недостатокъ не столько страшенъ для сентиментальнаго поэтическаго генія, сколько для его бездарнаго подражателя, который поэтому и не брезгаетъ плоскимъ, бездушнымъ и даже иногда и низкимъ. Экзальтированное ощущеніе не совсѣмъ лишено истины и, какъ дѣйствительное ощущеніе, имѣетъ даже неизбѣжно реальную основу. Оно даже допускаетъ (такъ какъ такое ощущеніе есть все-таки природа) простое выраженіе и, выходя изъ сердца, доходитъ прямо до сердца. Только его предметъ не почерпнутъ изъ природы, но односторонне и искусственно порожденъ умомъ—и потому имѣетъ одну только логическую реальность и не всецѣло кроется въ человѣческой природѣ. Не ложь были чувство Элоизы къ Абеляру, Петрарки къ Лаурѣ, Сен-Пре къ Юліи, Вертера къ Лотѣ, Агатона, Фанія, Перегрина Протея (я говорю о виландовомъ) къ своимъ идеаламъ; ощущеніе въ нихъ истинно, только предметъ поддѣльный и лежитъ внѣ человѣческой природы. Если бъ ихъ чувство держалось только чувственной истины предметовъ, то оно не могло бы взять такого мощнаго полета; а одна произвольная игра фантазіи безъ внутренняго содержанія никогда не была бы въ состояніи трогать сердце, потому что сердце трогается только разумомъ. Слѣдовательно, подобная напряженность заслуживаетъ порицанія, но отнюдь не презрѣнія, и кто будетъ насмѣхаться надъ нею, пусть сперва изслѣдуетъ, не отъ холодности ли сердца онъ такъ уменъ, не отъ недостатка ли въ умѣ такъ разсудителенъ. Поэтому крайняя экзальтированность въ вопросахъ галантности и чести, характеризующая рыцарскіе и въ особенности испанскіе романы, точно такъ же, какъ утонченная и до вычурности доведенная изысканность во французскихъ и англійскихъ чувствительныхъ романахъ (даже лучшаго сорта), не только субъективно справедливы, но даже и не пусты въ объективномъ отношеніи: это настоящія ощущенія, имѣющія моральный источникъ и только потому заслуживающія порицанія, что переступаютъ границы человѣческой истины. И точно, какъ могли бы они безъ моральной реальности возбуждать къ себѣ то сочувствіе, которое приходится наблюдать. Поэтъ не можетъ иначе отдѣлаться отъ своей природы, какъ укрываясь подъ законодательство разума; только для одного идеала можетъ онъ оставлять дѣйствительность. Путь отъ опыта къ идеалу великъ, и между ними лежитъ еще фантазія со своимъ разнузданнымъ произволомъ. И потому всегда бываетъ, что человѣкъ вообще и поэтъ въ особенности, выходя изъ-подъ ига чувствъ, по свободѣ своего разсудка, а не вслѣдствіе требованій разума, то есть оставляя природу изъ одного только побужденія свободы, блуждаютъ безъ всякаго закона и вмѣстѣ съ тѣмъ сами предаютъ себя въ добычу безумной мечтательности.

Опытъ показываетъ намъ, что не въ одной только поэзіи довольно примѣровъ подобнаго заблужденія, но что даже цѣлые народы такъ же, какъ и отдѣльные люди, освободившись отъ вѣрнаго напутствованія природы, могутъ находиться точно въ такихъ же обстоятельствахъ. Между тѣмъ какъ истинное сентиментальное, поэтическое влеченіе, чтобъ возвыситься до идеала, выходитъ за границы дѣйствительной природы, ложное переступаетъ вообще всѣ границы и считаетъ дѣтскую игру воображенія за поэтическое вдохновеніе. Хотя съ истиннымъ и поэтическимъ геніемъ, кото-

рый ради одной идеи оставляетъ дѣйствительность, этого никогда не бываетъ, развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ, когда онъ совсѣмъ ужъ заблудился; однако онъ за то по своей природѣ можетъ быть увлеченъ въ экзальтированность ощущенія; онъ можетъ своимъ примѣромъ соблазнить другихъ къ безумной мечтательности, потому что читатели съ дѣятельною фантазіей и слабымъ умомъ высматриваютъ у него только вольности, которыя онъ позволяетъ себѣ вопреки дѣйствительной природѣ, не имѣя способовъ слѣдовать за нимъ до его высшей, внутренней необходимости. Однимъ словомъ, съ сентиментальнымъ геніемъ можетъ случиться то же самое, что и съ наивнымъ, какъ мы уже выше видѣли, потому что наивный геній, производя все изъ своей собственной природы, вводитъ въ соблазнъ своего пошлаго подражателя, всегда надѣющагося найти въ своей природѣ ничѣмъ не худшую путеводительницу. И потому за мастерскими произведеніями наивнаго рода тянется обыкновенно цѣлая свита самыхъ плоскихъ, самыхъ грязныхъ оттисковъ пошлой природы, а за лучшими сентиментальными созданіями—цѣлая бездна самыхъ фантастическихъ продуктовъ, что мы можемъ видѣть въ любой литературѣ.

Въ поэзіи есть два основныхъ правила, которыя сами по себѣ совершенно вѣрны, но въ томъ значеніи, какъ обыкновенно принимаются, непремѣнно другъ друга уничтожаютъ. О первомъ, которое можетъ быть выражено въ слѣдующихъ словахъ: „поэзія должна служить отдохновеніемъ и забавой", мы уже упоминали и тогда же замѣтили, что оно не мало благопріятствуетъ пустотѣ и плоскости въ поэтическихъ представленіяхъ. Что же касается второго — что поэзія служитъ къ моральному облагораживанію человѣка, то подъ его покровомъ представляется богатое поприще всякой натянутости. И потому я считаю не лишнимъ нѣсколько ближе вглядѣться въ эти два принципа, которые такъ часто у всѣхъ на языкѣ и которые иногда такъ ложно перетолковываются, такъ неловко примѣняются.

Отдохновеніемъ называется переходъ изъ насильственнаго состоянія къ такому, которое намъ естественно. Итакъ, все зависитъ оттого, въ чемъ мы полагаемъ наше естественное состояніе и что подразумѣваемъ подъ насильственнымъ. Если первое мы будемъ искать въ одной несвязной игрѣ физическихъ силъ и въ освобожденіи отъ всякой принужденности, то, стало быть, всякая дѣятельность разума, сопротивляющагося чувственности, есть насиліе, а покой духа, соединенный съ чувственнымъ движеніемъ, будетъ идеаломъ отдохновенія. Но если, напротивъ того, мы полагаемъ естественное состояніе въ безграничной способности ко всякому человѣческому выраженію и въ возможности съ одинаковою свободою располагать всѣми нашими силами, то всякое раздробленіе, всякое раздѣленіе этихъ силъ будетъ насильственнымъ состояніемъ, и идеалъ отдохновенія есть возстановленіе цѣлаго нашей природы послѣ односторонихъ усилій. Итакъ, первый идеалъ вытекаетъ изъ потребности чувственной природы, второй—изъ самостоятельности человѣческой. Не трудно разрѣшить теоретически, который изъ этихъ двухъ родовъ отдохновенія можетъ и должна допускать поэзія, потому что вѣрно никто не захочетъ показать вида, что ставитъ идеалъ человѣчества ниже идеала животности. Не взирая на то, требованія отъ поэтическихъ произведеній въ дѣйствительной жизни истекаютъ большею частью изъ чувственнаго идеала, который, если не опредѣляетъ степени уваженія къ этимъ произведеніямъ, то по крайней мѣрѣ очень и очень часто имѣетъ вліяніе на нашу склонность къ нимъ и даже на особенное предпочтеніе къ нѣкоторымъ ихъ нихъ, которыя такимъ образомъ и становятся нашими любимыми произведеніями. Состояніе духа большей части людей есть съ одной стороны напряженная утомительная работа, съ другой стороны разслабляющее наслажденіе. Въ первомъ случаѣ, какъ мы уже знаемъ, чувственность гораздо сильнѣе и неотвязчивѣе стремится къ успокоенію духа, къ прекращенію дѣятельности, чѣмъ нравственная сила къ гармоніи и къ абсолютной свободѣ дѣятельности, потому что прежде всего должна быть удовлетворена природа, а потомъ уже требованія духа. Во второмъ случаѣ парализируются самыя моральныя побужденія, изъ которыхъ должны бы были выходить эти требованія. И потому, для пониманія истинно-прекраснаго, ничего не можетъ быть вреднѣе этихъ двухъ настроеній души, такъ обыкновенныхъ въ людяхъ, и становится ясно, почему только немногіе имѣютъ правильное сужденіе объ эстетическихъ вещахъ. Красота есть порожденіе гармоніи духа съ чувственностью; она имѣетъ дѣло одновременно со всѣми способностями человѣка, а потому можетъ быть понимаема и достойно оцѣнена только подъ условіемъ полнѣйшаго

и свободнѣйшаго употребленія всѣхъ силъ его. Для этого нужно и тонкое чувство, и открытое сердце; и свѣжій, сильный духъ— для этого нужно сосредоточить всю свою природу, что никогда не можетъ быть у тѣхъ людей, которые раздѣлены въ себѣ абстрактными мыслями, которые увязли въ мелочахъ и уже ослаблены напряженнымъ вниманіемъ. Такіе люди ощущаютъ влеченіе къ чувственнымъ сюжетамъ, только не для того, чтобы продолжать игру мыслительныхъ силъ, но чтобъ прекратить ее. Они хотятъ быть свободными, но только отъ бремени, которое утомляетъ ихъ лѣность— не отъ границъ, которыя сдерживали ихъ дѣятельность.

Можно ли послѣ этого удивляться счастію всего посредственнаго, всего пустого въ эстетическихъ произведеніяхъ и мести слабыхъ умовъ ко всему энергическому и прекрасному? Они надѣялись отдохнуть за ними, но отдохнуть сообразно своей потребности и своему ограниченному понятію, и съ досадою видятъ, что тутъ-то отъ нихъ ожидаютъ проявленія силы, которой у нихъ не бывало и въ лучшія ихъ минуты. Посредственность, напротивъ того, ничего не требуетъ и принимаетъ ихъ какъ они есть, потому что какъ бы мало силы они ни принесли съ собою, имъ все-таки понадобится гораздо менѣе, чтобъ исчерпать всю премудрость этой доступной посредственности. За нимъ они вдругъ избавляются отъ бремени мышленія, и разнузданная природа въ сладкомъ наслажденіи ничтожествомъ можетъ свободно нѣжиться на мягкомъ коврѣ плоскости. Такъ у насъ, напримѣръ, въ Германіи, царствующая въ храмѣ Таліи и Мельпомены возлюбленная богиня принимаетъ въ свое лоно и тупоумнаго ученаго и утомленнаго дѣльца—и погружаетъ духъ въ магнетическій сонъ, разогрѣвая закоченѣлыя чувства и закачивая воображеніе сладостнымъ волненіемъ.

Но почему бы намъ не сдѣлать снисхожденія къ обыкновеннымъ умамъ, когда то же самое довольно часто бываетъ и съ лучшими умами? Успокоеніе, котораго природа требуетъ послѣ каждаго продолжительнаго напряженія и которымъ она пользуется, даже не требуя его (и для подобныхъ минутъ обыкновенно приберегаютъ наслажденіе прекрасными произведеніями), такъ мало благопріятствуетъ эстетической силѣ сужденія, что между людьми занятыми только очень немногіе въ состояніи судить о вещахъ вкуса съ увѣренностью и, что здѣсь очень важно, съ однообразіемъ. Ничего нѣтъ обыкновеннѣе того, что ученые въ разговорахъ съ образованными свѣтскими людьми о красотѣ дѣлаютъ пресмѣшные промахи, и что въ особенности судьи искусства по ремеслу становятся посмѣшищемъ въ глазахъ всѣхъ истинныхъ знатоковъ. Ихъ не культивированное чувство, то напряженное, то грубое, большею частью ведетъ ихъ ложнымъ путемъ, и если они и нахватали верхушекъ для защиты ремесла своего въ теоріи, то изъ этого они могутъ составить только техническое (то-есть касающееся цѣлесообразности сочиненія) сужденіе, но отнюдь не эстетическое, которое должно всегда обнимать цѣлое и гдѣ, слѣдовательно, рѣшаетъ одно ощущеніе. Ужъ пусть бы они лучше добровольно отреклись отъ послѣдняго и остановились только на первомъ, и тогда они могли бы принести довольно пользы, такъ какъ поэтъ въ моментъ вдохновенія и чувствительный читатель во время чтенія очень легко пренебрегаютъ частностями. Но что всего смѣшнѣе и досаднѣе, такъ это то, что эти грубыя натуры, которыя при всѣхъ мучительныхъ стараніяхъ едва доводятъ себя до развитія какой-нибудь отдѣльной способности, выдаютъ свою немощную личность за отголосокъ общаго мнѣнія и въ потѣ лица своего судятъ о прекрасномъ.

Итакъ, понятію объ отдохновеніи, которое доставляетъ поэзія, представляютъ обыкновенно, какъ мы уже видѣли, слишкомъ тѣсныя границы, потому что слишкомъ односторонне приписываютъ его только одному требованію чувственности. Напротивъ того, понятію объ облагороживаніи, на которое долженъ мѣтить поэтъ, дается ужъ слишкомъ обширное значеніе, потому что слишкомъ односторонне опредѣляютъ его по одной только идеѣ.

Облагороживаніе по своей идеѣ всегда переходитъ въ безконечное, потому что разумъ въ своихъ требованіяхъ не держится необходимыхъ границъ чувственнаго міра и останавливается только при абсолютно-совершенномъ. Ничто, что только имѣетъ еще сколько-нибудь высшую степень, не удовлетворяетъ его; передъ его строгимъ судомъ ничто не извиняется недостатками конечной природы; никакихъ другихъ границъ не признаетъ оно, кромѣ границъ мысли, а мы знаемъ, что она взлетаетъ за всѣ предѣлы времени и пространства. Слѣдовательно, поэтъ не имѣетъ права поставить себѣ цѣлью подобный идеалъ облагороживанія,

предписываемый чистымъ законодательствомъ разума, точно такъ же, какъ и тотъ низкій идеалъ отдохновенія, льстящій одной чувственности, потому что хотя онъ и долженъ освобождать человѣчество отъ всѣхъ случайныхъ границъ, однако не уничтожая его понятій и не касаясь необходимыхъ его границъ. Все, что ни позволитъ онъ себѣ за этими границами, есть напряженность, а къ ней-то слишкомъ легко и сманиваетъ его ложно-перетолкованное понятіе объ облагороживаніи. Хуже всего то, что онъ самъ не можетъ возвыситься до истиннаго идеала человѣческаго облагороживанія, чтобы, хотя на нѣсколько шаговъ, да не выйти изъ черты этого же самаго идеала. Въ самомъ дѣлѣ, чтобъ достичь его, онъ долженъ оставить дѣйствительность, потому что, какъ и всякій идеалъ, онъ можетъ почерпнуть его только изъ внутренняго и моральнаго источника. Не въ свѣтѣ его окружающемъ, не въ шумѣ активной жизни, но только въ собственномъ своемъ сердцѣ находитъ онъ его, и только въ тиши уединеннаго созерцанія обрѣтаетъ онъ свое сердце. Но это удаленіе отъ жизни скроетъ отъ глазъ его не одни только случайные, но очень часто необходимые и непреодолимые предѣлы человѣчества, и за поисками одной только чистой формы онъ приходитъ въ опасность потерять все содержаніе. Разумъ будетъ работать слишкомъ отдѣльно отъ опыта, и то, что созерцательный духъ найдетъ въ спокойномъ пути мысли, человѣкъ, дѣйствующій на трудномъ пути жизни, не будетъ въ состояніи привести въ исполненіе. Такимъ образомъ, то, что могло бы образовать мудреца, образуетъ только мечтателей-фантазеровъ, и преимущество перваго состоитъ, можетъ быть, всего менѣе въ томъ, что онъ не сдѣлался мечтателемъ, а въ томъ, что онъ не остался имъ.

Такъ какъ нельзя положиться на дѣловыхъ людей въ дѣлѣ опредѣленія понятія объ отдохновеніи, а на созерцательныхъ—въ дѣлѣ опредѣленія понятія объ облагороживаніи (если только нужно, чтобъ первое понятіе не было слишкомъ физическое и недостойное поэзіи, второе же слишкомъ сверхъестественное и отягчительное для поэзіи)—и такъ какъ эти оба понятія, какъ показываетъ намъ опытъ, управляютъ всеобщимъ сужденіемъ о поэзіи и о поэтическихъ произведеніяхъ, то, чтобъ изложить ихъ, мы должны поискать такой классъ людей, который, не работая, былъ бы дѣятеленъ, могъ бы идеализировать, не впадая въ мечтанія, который, однимъ словомъ, въ жизни соединялъ бы въ себѣ всѣ реальности съ наивозможно-малыми ограниченіями ея и носился потокомъ обстоятельствъ, не дѣлаясь оттого ихъ добычей. Только такой классъ въ состояніи сохранить прекрасное цѣлое человѣческой природы, которое минутно разрушается отъ всякой работы и на долгое время отъ труженической жизни, только такой классъ можетъ выдавать свое пониманіе за законъ вполнѣ человѣческій. Существуетъ ли такой классъ, или, лучше, если онъ и точно существуетъ въ подобныхъ внѣшнихъ отношеніяхъ, то соотвѣтствуетъ ли онъ этому понятію такъ же и внутренно—это ужъ другой вопросъ, до котораго здѣсь мнѣ нѣтъ никакого дѣла. Если онъ ему не соотвѣтствуетъ, то пусть жалуется только на самого себя, такъ какъ противоположный дѣловой классъ имѣетъ по крайней мѣрѣ то удовлетвореніе, что смотритъ на себя, какъ на жертву своего призванія. Въ этомъ классѣ народа (который я, впрочемъ, выставляю здѣсь, какъ идею, и отнюдь не имѣю намѣренія признать его фактомъ) наивный характеръ такъ соединился бы съ сентиментальнымъ, что оба они предостерегали бы другъ друга отъ крайностей, и между тѣмъ какъ первый предохранялъ бы духъ отъ натянутости, второй спасалъ бы его отъ вялости. Потому что, наконецъ, мы должны же признаться, что ни наивный, ни сентиментальный характеръ, разсматриваемые порознь, не исчерпываютъ совершенно идеала прекраснаго человѣчества, который можетъ только выйти изъ ихъ взаимнаго тѣснаго соединенія.

Правда, какъ скоро эти два характера возвышаются до поэзіи, какъ мы до сихъ поръ ихъ и разсматривали, то различіе ихъ ослабѣваетъ, и самая противоположность ихъ становится тѣмъ менѣе чувствительною, чѣмъ они становятся поэтичнѣе, потому что поэтическое настроеніе есть самостоятельное цѣлое, въ которомъ исчезаютъ всѣ различія и недостатки. Но потому-то именно, что эти оба рода ощущенія могутъ слиться другъ съ другомъ только въ понятіи поэзіи, ихъ обоюдное различіе и нужды становятся значительнѣе по мѣрѣ того, какъ они разоблачаются отъ поэтическаго характера, что мы и видимъ во вседневной жизни. Чѣмъ ниже къ ней они сходятъ, тѣмъ болѣе теряютъ они отъ своего родового характера, сближающаго ихъ другъ съ другомъ, пока не останется, наконецъ, въ ихъ каррикатурахъ одинъ

только видовой характеръ, противополагающій ихъ другъ другу.

Эта мысль приводитъ меня къ констатированію весьма значительнаго психологическаго антагонизма между людьми, который, оттого, что онъ радикаленъ и основанъ на внутреннемъ свойствѣ характера, производитъ гораздо вреднѣйшее раздѣленіе между людьми, чѣмъ когда-либо производило случайное столкновеніе интересовъ. Этотъ антагонизмъ у художника и поэта отнимаетъ всякую надежду нравиться всѣмъ и всѣхъ трогать, въ чемъ вся ихъ задача; онъ ставитъ въ невозможность философа, даже когда онъ все сдѣлалъ, всѣхъ убѣждать, что, однако, нераздѣльно съ понятіемъ философіи; онъ, наконецъ, никогда не позволитъ, чтобы былъ одобряемъ образъ дѣйствій въ практической жизни человѣка всѣми вообще. Однимъ словомъ, этотъ антагонизмъ является причиной того, что ни одно произведеніе ума, ни одно дѣйствіе сердца не могутъ добиться рѣшительнаго одобренія у одного класса, чтобы этимъ самымъ не навлечь на себя осужденій отъ другого. Этотъ антагонизмъ, безъ сомнѣнія, ведетъ свое начало вмѣстѣ съ цивилизаціей, и едва ли когда-нибудь рушится, и то развѣ въ отдѣльныхъ рѣдкихъ субъектахъ, которые, къ счастію, всегда бывали и всегда будутъ; но хотя его свойство состоитъ въ томъ, что онъ силится разрушить всякую попытку къ своему устраненію (такъ какъ ни одинъ классъ не захочетъ признать за собою недостатокъ извѣстныхъ нравственныхъ качествъ и усмотрѣть ихъ въ другомъ классѣ), однако уже и то будетъ выигрышемъ, если мы прослѣдимъ это важное раздѣленіе до его послѣдняго источника и приведемъ черезъ то самую сущность этого антагонизма въ простѣйшую формулу.

Истиннаго понятія о разсматриваемомъ антагонизмѣ скорѣе всего можно достичь, если отстранимъ, какъ я уже сейчасъ замѣтилъ, какъ отъ наивнаго, такъ и отъ сентиментальнаго характера все поэтическое. Тогда отъ перваго останется только въ отношеніи къ теоріи—здравый наблюдательный духъ и сильная привязанность къ однообразному свидѣтельству чувствъ; въ отношеніи къ практикѣ—самоотрицательная покорность неоходимости, но не слѣпому принужденію природы: стало-быть, покорность тому, что есть и должно быть. Отъ сентиментальнаго же характера останется только въ теоретическомъ отношеніи безпокойный спекулятивный духъ, стремящійся ко всему безусловному во всѣхъ познаніяхъ, въ практическомъ—моральный ригоризмъ, опирающійся на все безусловное въ дѣйствіяхъ воли. Кто причисляетъ себя къ первому классу, можетъ назваться реалистомъ, кто ко второму—идеалистомъ; только при этихъ названіяхъ не должно вспоминать ни добраго, ни дурного мнѣнія, соединеннаго съ ними въ метафизикѣ *).

Такъ какъ реалистъ руководствуется обходимостью природы, а идеалистъ—не обходимостью разума, то между обоими находится то же отношеніе, какъ между дѣйствіями природы и дѣяніями разума. Мы знаемъ, что природа хотя и безконечная величина въ цѣломъ, во всякомъ отдѣльномъ дѣйствіи является зависимою и немощною и только въ полномъ кругѣ своихъ явленій выражаетъ самостоятельный, великій характеръ. Все индивидуальное только оттого въ ней находится, что есть нѣчто другое; ничто въ ней не вытекаетъ изъ самого себя, все—только изъ предшествовавшаго момента, чтобъ соединиться съ послѣдующимъ. Но это взаимообразное отношеніе явленій и упрочиваетъ бытіе каждаго посредствомъ бытія другого и отъ зависимости ихъ дѣйствій нераздѣльны ихъ прочность и необходимость. Ничего нѣтъ свободнаго въ природѣ, но за то ничего нѣтъ и произвольнаго въ ней.

И вотъ такъ-то проявляетъ себя реалистъ какъ въ своемъ знаніи, такъ и въ дѣлахъ своихъ. На все, что условно существуетъ, простирается кругъ его знаній и дѣйствій, но никогда не доводитъ онъ ихъ выше принятыхъ познаній, и потому правила, которыя онъ составляетъ изъ отдѣльныхъ опытовъ, взятыя во всей ихъ строгости,

*) Чтобы избѣжать недоразумѣнія, я замѣчаю, что при этомъ раздѣленіи совсѣмъ не обращено вниманія на то, чтобы сдѣлать выборъ между обоими, слѣдовательно, отдать предпочтеніе одному и исключить другого. Я возстаю именно противъ этого исключенія, которое встрѣчается на практикѣ, и результатомъ настоящаго разсужденія будетъ доказательство того, что только совершенно одинаковымъ включеніемъ обоихъ можетъ быть удовлетворено разумное понятіе человѣчества. Впрочемъ, я беру обоихъ въ достойнѣйшемъ смыслѣ и во всей полнотѣ понятія, которое всегда можетъ существовать только въ полной чистотѣ и съ сохраненіемъ ихъ специфическихъ различій. Мы увидимъ также, что съ ними совмѣстима высокая степень человѣческой правды, и что отступленія ихъ другъ отъ друга производятъ, правда, перемѣну, но въ частностяхъ, не въ цѣломъ, по формѣ, но не по содержанію.

годятся только на одинъ разъ; ему стоитъ только расширить правило извѣстной минуты до всеобщаго закона, и онъ непремѣнно впадетъ въ заблужденіе. Потому, если реалистъ захочетъ въ своемъ знаніи достичь чего-нибудь безусловнаго, то онъ долженъ попытаться въ этомъ на томъ же самомъ пути, на которомъ природа становится безконечною, то есть на пути цѣлаго и въ полномъ кругѣ опытовъ. Но такъ какъ сумма опытовъ никогда не можетъ быть совершенно закончена, то сравнительная всеобщность есть наибольшее, чего достигаетъ реалистъ въ своемъ знаніи. На повтореніи отдѣльныхъ случаевъ созидаетъ онъ свою прозорливость, и потому справедливо разсуждаетъ обо всемъ, что въ порядкѣ вещей; но во всѣхъ случаяхъ, представляющихся только въ первый разъ, его мудрость обращается вспять.

Все, что сказано было о знаніи реалиста, можно сказать и о его (моральномъ) образѣ дѣйствій. Въ его характерѣ есть моральность, только она не находится, сообразно своему чистому понятію, въ одномъ какомъ-либо изъ его отдѣльныхъ поступковъ, но въ цѣлой суммѣ его жизни. Во всякомъ особенномъ случаѣ онъ руководствуется внѣшними причинами, внѣшними цѣлями; но только эти причины не случайныя, эти цѣли не минутныя; онѣ субъективно вытекаютъ изъ цѣлаго природы и объективно относятся къ послѣднему-же. Стало быть, побужденія его воли, въ строгомъ смыслѣ, ни довольно свободны, ни довольно моральны, потому что вытекаютъ изъ чего-то другого, чѣмъ изъ простой воли, и имѣютъ предметомъ нѣчто другое, чѣмъ простой законъ; со всѣмъ тѣмъ они отнюдь не слѣпыя, матеріальныя побужденія, потому что это нѣчто другое есть абсолютное цѣлое природы, слѣдовательно, нѣчто самостоятельное и необходимое. Такъ, простой человѣческій разсудокъ, главнѣйшая часть реалиста, постоянно является и въ мысляхъ его, и въ обхожденіи. Изъ отдѣльнаго случая почерпаетъ онъ правило для своего сужденія и изъ внутренняго ощущенія для своихъ дѣяній; но счастливымъ инстинктомъ умѣетъ онъ отстранять отъ обоихъ все минутное и случайное. Руководимый этой методой, въ цѣломъ онъ поступаетъ прекрасно и едва ли упрекнетъ себя въ какомъ-нибудь значительномъ проступкѣ; но за то ни въ какомъ особенномъ случаѣ не можетъ онъ имѣть притязаній на величіе и достоинство. Эти добродѣтели бываютъ только заслугою самостоятельности и свободы, что едва ли найдется въ его отдѣльныхъ поступкахъ.

Совсѣмъ иное мы находимъ у идеалиста, который изъ себя самого и изъ одного разума черпаетъ свои познанія и мотивы. Если природа въ своихъ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ является зависимою и ограниченною, то разумъ напечатлѣваетъ характеръ самостоятельности и полноты на каждомъ изъ своихъ отдѣльныхъ поступковъ. Изъ себя почерпаетъ онъ все, и все примѣняетъ къ самому себѣ. Что чрезъ него происходитъ—ради него происходитъ; абсолютною величиной бываетъ всякое имъ созданное понятіе, всякое имъ принятое рѣшеніе. Такъ же точно проявляетъ себя и идеалистъ, если только справедливо носитъ это имя какъ въ знаніи, такъ и въ дѣлахъ своихъ. Недовольный познаніями, годящимися только для опредѣленныхъ предположеній, онъ стремится проникнуть до истинъ, которыя ничего болѣе не предполагаютъ и служатъ предположеніями всего другого. Его удовлетворяетъ одна философическая прозорливость, превращающая все условное знаніе въ безусловное и укрѣпляющая всю опытность на необходимомъ въ человѣческомъ духѣ; вещи, которымъ реалистъ подчиняетъ свое мышленіе, подчиняетъ онъ самому себѣ, своей способности мышленія. И на это онъ имѣетъ полное право, потому что не будь законы человѣческаго духа вмѣстѣ и всемірными законами, сдѣлайся самъ разумъ, наконецъ, подвластнымъ опытности, никакая опытность не была бы возможною.

Но онъ можетъ достичь до абсолютной истины и все-таки немного подвинуться впередъ въ своихъ познаніяхъ. Потому что хотя все подлежитъ необходимымъ и всеобщимъ законамъ, однако все отдѣльно управляется случайными и особенными правилами, а въ природѣ все отдѣльно. Стало-быть, своимъ философскимъ знаніемъ онъ можетъ господствовать только надъ цѣлымъ; но для особенныхъ случаевъ, для практики онъ немного выигрываетъ; даже приводя все къ высшимъ причинамъ, по которымъ все становится возможнымъ, онъ легко упускаетъ изъ вида ближайшія причины, по которымъ все становится дѣйствительнымъ. Устремляя взоры свои только на всеобщее, которое уравниваетъ самые различные случаи, онъ очень легко пренебрегаетъ особенными признаками, чѣмъ они другъ отъ друга отличаются. Правда, онъ очень многое обнимаетъ своимъ знаніемъ, но потому-

шая цѣль для перваго, независимость отъ положенія—для второго, и это характеристическое различіе видно въ ихъ обоюдномъ мышленіи и дѣйствіи. Оттого реалистъ выражаетъ всегда свою благосклонность тѣмъ, что даетъ, идеалистъ же тѣмъ, что принимаетъ; въ жертвахъ своего великодушія выказываетъ каждый изъ нихъ, что онъ выше всего цѣнитъ. Идеалистъ готовъ выкупить недостатки своей системы своею личностью и своимъ временнымъ состояніемъ и ни во что не ставитъ этой жертвы; реалистъ выкупаетъ недостатки своей системы своимъ личнымъ достоинствомъ и никогда не узнаетъ объ этой жертвѣ. Его система оправдывается на всемъ, что ему извѣстно и въ чемъ онъ ощущаетъ нужду—что ему за дѣло до благъ, о которыхъ онъ не имѣетъ даже понятія и въ которыя не вѣритъ? Съ него довольно, если онъ чѣмъ-нибудь обладаетъ, если есть на землѣ для него теплый уголокъ и довольство живетъ въ его сердцѣ. Судьба идеалиста гораздо печальнѣе. Мало того, что онъ часто бываетъ въ разладѣ съ счастіемъ, ибо пропускаетъ случай воспользоваться моментомъ, онъ въ разладѣ также и съ самимъ собою; ни его знанія, ни дѣла не удовлетворяютъ его. Онъ требуетъ отъ себя безконечнаго, а все, что ни дѣлаетъ—выходитъ ограниченно. Отъ этой строгости, съ которою онъ разсматриваетъ самого себя, онъ не отрекается и въ обхожденіи съ другими. Правда, онъ великодушенъ, потому что по отношенію къ другимъ онъ менѣе вспоминаетъ о своей личности, но чаще онъ нетерпимъ, потому что такъ же легко не замѣчаетъ личности въ другихъ. Реалистъ, напротивъ, менѣе великодушенъ, но онъ зато терпимѣе, потому что судитъ о вещахъ въ границахъ возможности. Онъ проститъ, пожалуй, пошлому, даже низкому образу мыслей и дѣйствію, но только не произвольному, не эксцентрическому; идеалистъ, напротивъ, заклятый врагъ всего мелочнаго и плоскаго и легко мирится съ экстравагантнымъ, если только въ нихъ проявляется большая способность.

Реалистъ оказывается человѣколюбивымъ, не имѣя особенно высокаго понятія о людяхъ и человѣчествѣ; идеалистъ же такого высокаго мнѣнія о людяхъ, что онъ изъ-за него подвергается опасности презирать людей.

Реалистъ самъ по себѣ никогда не расширилъ бы кругозора человѣчества за предѣлы видимаго міра, никогда не познакомилъ бы человѣческаго духа съ его самостоятельнымъ значеніемъ и свободой; все абсолютное въ человѣчествѣ для него лишь прекрасная химера, и вѣра въ него не больше, чѣмъ мечты, потому что онъ никогда не видитъ человѣка въ его чистомъ состояніи, а всегда только въ опредѣленномъ и поэтому ограниченномъ кругу дѣйствій. Но идеалистъ самъ по себѣ тоже никогда не культивировалъ бы чувственныхъ силъ и не развилъ бы человѣка, какъ естественное существо, что составляетъ одинаково существенную часть его назначенія и условіе всякаго нравственнаго облагороженія. Стремленіе идеалиста слишкомъ преступаетъ границу чувственной жизни и настоящаго; онъ хочетъ сѣять и сажать только для цѣлаго, только для вѣчности, и забываетъ при этомъ, что цѣлое есть только законченный кругъ индивидуальности, что вѣчность есть лишь сумма мгновеній. Міръ, который реалистъ хочетъ образовать и дѣйствительно образуетъ вокругъ себя, есть хорошо распланированный садъ, въ которомъ все полезно, все заслуживаетъ своего мѣста, и изгнано все, что не приноситъ плодовъ. Міръ подъ руками идеалиста есть природа, характеръ которой значительнѣе, но приносимая польза меньше. Первому не приходитъ въ голову, что у человѣка есть еще иное назначеніе, чѣмъ жить хорошо и быть довольнымъ, и что онъ только для того долженъ пускать корни, чтобы стволъ поднялся въ вышину. Второй не думаетъ о томъ, что онъ прежде всего долженъ хорошо жить, чтобы мыслить равномѣрно хорошо и благородно, и что если корни гнилы, то и стволъ отъ этого страдаетъ.

Если въ какой-нибудь системѣ опущено нѣчто требуемое природою вещей, то восполнить это можно только непослѣдовательностью. Такою непослѣдовательностью погрѣшаютъ здѣсь обѣ системы, и она доказываетъ, если до сихъ поръ могли сознаться въ этомъ — вмѣстѣ и односторонность обѣихъ системъ, и богатое содержаніе человѣческой природы. Идеалистъ, само собою разумѣется, долженъ необходимо выйти изъ своей системы, какъ скоро задумаетъ произвести опредѣленное дѣйствіе, потому что все опредѣленное бытіе подчинено временнымъ условіямъ и слѣдуетъ эмпирическимъ законамъ. Что же касается реалиста, то еще сомнительно, въ состояніи ли онъ удовлетворить внутри своей системы всѣмъ необходимымъ требованіямъ человѣчества. Спросите у реалиста, зачѣмъ онъ посту-

Что вѣрно относительно обоихъ характеровъ въ лучшемъ значеніи ихъ, то еще замѣтнѣе въ каррикатурахъ того и другого. Истинный реализмъ благотворенъ въ своихъ дѣйствіяхъ и лишь менѣе благороденъ въ своемъ источникѣ; ложный презрѣненъ въ своемъ источникѣ и въ своихъ дѣйствіяхъ лишь немного менѣе вреденъ. Истинный реалистъ. правда, подчиняется природѣ и ея необходимости, но природѣ, какъ цѣлому, ея вѣчной и абсолютной необходимости, не ея слѣпымъ и мгновеннымъ принужденіямъ. Онъ свободно обнимаетъ ея законъ и слѣдуетъ ему и всегда подчиняетъ индивидуальное всеобщему; поэтому случается, что онъ въ конечномъ результатѣ согласуется съ истиннымъ идеалистомъ, какъ ни различны пути, по которымъ оба шли. Пошлый эмпирикъ напротивъ подчиняется природѣ, какъ силѣ, безъ выбора, со слѣпой покорностью. Его сужденія, его стремленія направлены на одиночное; онъ вѣритъ лишь тому и понимаетъ лишь то, что онъ ощущаетъ; онъ цѣнитъ лишь то, что чувственно улучшаетъ его. Поэтому онъ лишь то, что внѣшнія условія случайно хотятъ изъ него сдѣлать; его личность подавлена, и у него, какъ человѣка, нѣтъ рѣшительно никакой цѣны и никакого достоинства; но онъ все еще что нибудь, какъ вещь, онъ все еще можетъ быть для чего либо годенъ. Именно природа, которой онъ слѣпо отдается, не даетъ ему совершенно опуститься; ея вѣчные законы охраняютъ его, ея неистощимыя вспомогательныя средства спасаютъ его, какъ только онъ цѣликомъ отдаетъ свою свободу. Хотя онъ въ этомъ состояніи не знаетъ никакихъ законовъ, послѣдніе непризнанно властвуютъ надъ нимъ, и какъ бы ни противорѣчили цѣлому его отдѣльныя стремленія, оно все же съумѣетъ заявить свои права противъ послѣднихъ. Существуетъ достаточно людей, существуютъ вѣроятно цѣлые народы, которые живутъ въ этомъ презрѣнномъ безличномъ состояніи, которые обязаны своимъ существованіемъ только милости закона природы и потому годны къ чему либо; но одно то, что они жили прежде и теперь живутъ, доказываетъ, что это состояніе не совсѣмъ лишено содержанія.

Если, напротивъ, истинный реализмъ невѣренъ и часто опасенъ въ своихъ дѣйствіяхъ, то ложный въ своихъ ужасенъ. Истинный идеалистъ лишь потому покидаетъ природу и опытъ, что онъ не находитъ здѣсь того постояннаго и абсолютно необходимаго, къ которымъ разумъ заставляетъ его стремиться; фантазеръ покидаетъ природу по простому произволу, чтобы тѣмъ свободнѣе слѣдовать упрямству вожделѣній и прихотямъ воображенія. Свою свободу онъ видитъ не въ зависимости отъ физическихъ принужденій, а въ освобожденіи отъ нравственныхъ. Слѣдовательно фантазеръ отрицаетъ не только человѣческій—онъ отрицаетъ всякій характеръ, онъ совершенно безъ закона, слѣдовательно, онъ ничто и не служитъ ничему.

Но именно потому, что фантастичность не есть злоупотребленіе природы, а свободы, слѣдовательно исходитъ изъ основанія, самого по себѣ достойнаго уваженія, но которое способно къ усовершенствованію до безконечности, она приводитъ къ безконечному паденію, въ бездонную глубину и можетъ закончиться лишь полнѣйшимъ разрушеніемъ.

М. Достоевскій.

О граціи и достоинствѣ.

Согласно греческому миѳу, богиня красоты владѣетъ поясомъ, имѣющимъ силу надѣлять всякаго, кто его носитъ, граціей и вызывать въ другихъ любовь. Эту же богиню сопровождали богини прелести, т. е. граціи.

Греки, такимъ образомъ, дѣлали различіе между миловидностью и граціею съ одной стороны и красотой съ другой, опредѣляя грацію атрибутами, отдѣлимыми отъ богини красоты. Грація прекрасна, потому что поясъ обаянія собственность Гнидской богини, но не все прекрасное граціозно, потому что и безъ этого пояса Венера остается сама собой.

Но, по смыслу того же миѳа, только богиня красоты носитъ поясъ обаянія и можетъ отдавать его другимъ. Юнона, пышная богиня неба, должна одолжить поясъ у Венеры, когда хочетъ очаровать Юпитера на горѣ Идѣ. Величіе, такимъ образомъ, хотя и украшено извѣстной долей красоты (ее вовсе не оспариваютъ у супруги Юпитера), но безъ граціи не можетъ быть увѣрено въ томъ, что будетъ нравиться. Величественная царица боговъ надѣется побѣдить сердце Юпитера не своими собственными чарами, а только при помощи пояса Венеры.

Но все же богиня красоты можетъ отдать свой поясъ и перенести его силу на менѣе прекрасное. Такимъ образомъ, грація не исключительное преимущество прекраснаго, а можетъ перейти—только непремѣнно изъ рукъ прекраснаго— на менѣе прекрасное и даже на непрекрасное.

Греки же совѣтовали тѣмъ, кому при всѣхъ остальныхъ духовныхъ качествахъ недостаетъ привлекательности и миловидности, приносить жертвы граціямъ. Такимъ образомъ, эти богини, хотя онѣ и представлялись сопутницами прекраснаго пола, все же могли, въ представленіи грековъ, отдавать свое расположеніе и мужчинѣ; ему же онѣ необходимы, если онъ хочетъ нравиться.

Но что такое грація, если она хотя и соединяется охотнѣе всего съ прекраснымъ, но все же не связана исключительно съ нимъ? если она хотя исходитъ изъ прекраснаго, но проявляетъ дѣйствіе прекраснаго и въ прекрасномъ? если красота хотя и можетъ существовать безъ нея, но только благодаря ей становится объектомъ любви?

Тонкое чутье грековъ уже очень рано дѣлало то различіе, которое разумъ еще не былъ въ состояніи истолковать, и, стараясь это выразить, оно черпало образы въ своемъ воображеніи, такъ какъ разумъ еще не могъ предложить понятій. Вотъ почему этотъ миѳъ заслуживаетъ вниманія философа. И безъ того задача философіи ограничивается отыскиваніемъ понятій для представленій, въ которыхъ отпечатлѣвается чистое пониманіе природы чувствами; другими словами, философъ долженъ объяснить образный языкъ ощущеній.

Если высвободить представленія грековъ изъ аллегорической оболочки, то не получится никакого иного смысла, кромѣ слѣдующаго:

Грація движимая красота, т. е. красота, которая можетъ случайно возникнуть въ субъектѣ и такъ же случайно исчезнуть. Этимъ она отличается отъ незыблемой красоты, вложенной въ самое представленіе о субъектѣ. Свой поясъ Венера можетъ снять и тотчасъ же предоставить для пользованія Юнонѣ; свою красоту она можетъ отдать только вмѣстѣ съ самой собой. Безъ своего пояса она перестаетъ быть обаятель-

ной Венерой, безъ красоты она уже вовсе не Венера.

Этотъ поясъ, какъ символъ движимой красоты, имѣетъ еще то особое свойство, что онъ снабжаетъ украшенное имъ лицо объективнымъ качествомъ граціи; этимъ онъ отличается отъ всякаго другого украшенія, которое мѣняетъ не лицо, носящее его, а только впечатлѣніе, производимое имъ субъективно на другого. Греческій же миѳъ совершенно опредѣленно указываетъ на то, что грація становится свойствомъ даннаго лица, и что носительница пояса въ дѣйствительности привлекательна, а не только кажется таковой.

Поясъ который не болѣе, чѣмъ случайное внѣшнее украшеніе, казалось бы, не совсѣмъ подходящій образъ для выраженія субъективнаго свойства граціи; но субъективное свойство, которое въ то же время мыслится отдѣлимымъ отъ субъекта, нельзя представить иначе, чѣмъ въ видѣ случайнаго украшенія, которое можно отдѣлить безъ всякаго вреда отъ субъекта.

Отсюда слѣдуетъ, что поясъ обаянія оказываетъ свое дѣйствіе не естественнымъ путемъ—потому что въ такомъ случаѣ онъ не могъ бы ничего измѣнить въ носительницѣ его; дѣйствіе его магическое, т. е. сила его становится выше всѣхъ условій дѣйствительности. Только такимъ толкованіемъ (оно, конечно, является нѣкоторой натяжкой) можетъ быть разрѣшено противорѣчіе, въ которое изобразительная способность людей всегда неминуемо запутывается, когда ищетъ въ мірѣ явленій выраженіе того, что лежитъ внѣ явленій, въ области свободы.

Если же поясъ обаянія обозначаетъ объективное качество, отдѣлимое отъ субъекта безъ измѣненія его сущности, то онъ не можетъ представлять собою ничего иного, чѣмъ красоту движеній; движеніе единственное измѣненіе, которое можетъ происходить съ предметомъ, не уничтожая его тождества.

Красота движеній—понятіе, которое отвѣчаетъ обоимъ требованіямъ, заключеннымъ въ указанномъ миѳѣ. Она, во-первыхъ, объективна и относится къ самому предмету, а не только къ тому, какъ мы его воспринимаемъ. Во-вторыхъ, она въ предметѣ случайна, и предметъ продолжаетъ существовать, если мы и отвлечемъ отъ него это свойство.

Поясъ обаянія не теряетъ своей магической силы и въ менѣе прекрасномъ и даже въ непрекрасномъ; другими словами, менѣе прекрасное и непрекрасное можетъ дѣлать красивыя движенія.

Грація, по смыслу миѳа, нѣчто случайное въ субъектѣ, и поэтому только случайныя движенія могутъ обладать этимъ качествомъ. Въ идеалѣ красоты всѣ необходимыя движенія должны быть прекрасны, потому что они, будучи необходимыми, относятся къ самой сущности идеально прекраснаго; красота этихъ движеній включена, такимъ образомъ, въ самое понятіе о Венерѣ; красота же случайныхъ движеній, напротивъ того, является расширеніемъ этого понятія. Голосъ можетъ обладать граціей, но не можетъ быть граціи въ дыханіи.

Но развѣ всякая красота случайныхъ движеній и есть грація?

Едва ли слѣдуетъ напоминать о томъ, что греческій миѳъ считаетъ миловидность и грацію исключительнымъ свойствомъ людей. Болѣе того, онъ признаетъ красоту внѣшняго облика только въ границахъ рода человѣческаго, къ которому греки, какъ извѣстно, причисляли и своихъ боговъ. Но если грація исключительное свойство однихъ только людей, то ни одно изъ движеній, общихъ у человѣка съ остальной природой, не можетъ имѣть притязаній на грацію. Поэтому, если бы движеніе локоновъ вокругъ прекраснаго лица могло быть граціознымъ, то не было бы никакого основанія не признавать граціи въ движеніи вѣтвей на деревѣ, струй потоковъ, колосьевъ на полѣ и тѣлодвиженій животныхъ. Но Гнидская богиня воплощаетъ только красоту рода человѣческаго, а поскольку человѣкъ является лишь частью природы, существомъ, одареннымъ чувствами, Венера утрачиваетъ для него свое значеніе.

Такимъ образомъ, грація можетъ быть свойственна только произвольнымъ движеніямъ, а среди нихъ только тѣмъ, которыя отражаютъ нравственныя ощущенія. Движенія, не имѣющія другого источника, кромѣ чувственности, принадлежатъ, при всей своей произвольности, только природѣ, которая сама по себѣ никогда не возвышается до граціи. Если бы страсть могла быть миловидной, а инстинктъ граціознымъ, то миловидность и грація не были бы уже ни способны, ни достойны быть проявленіями свойствъ человѣка.

А между тѣмъ греки приписываютъ красоту и совершенство только человѣчеству. Въ чувственности они всегда видятъ про-

явленіе души, и гуманность не позволяетъ имъ отдѣлять грубое животное чувство отъ разумности. Подобно тому, какъ они тотчасъ же облекаютъ плотью каждую идею и стремятся воплотить и самое духовное и отвлеченное, они требуютъ также, чтобы каждое инстинктивное дѣйствіе человѣка было въ то же время выраженіемъ его нравственнаго назначенія. Природа никогда не кажется греку только природой, и поэтому онъ не стыдится почитать ее; для него разумъ никогда не бываетъ только разумомъ; поэтому онъ и не страшится подчиняться мѣрилу разума. Природа и нравственность, матерія и духъ, земля и небо съ дивной красотой сливаются въ его поэзіи. Онъ вводитъ свободу, жилищемъ которой можетъ быть только Олимпъ, и въ проявленіе чувственности и поэтому имѣетъ право возносить чувственность и на Олимпъ.

Грекъ, который терпитъ все матеріальное лишь въ соединеніи съ духовнымъ, не допускаетъ въ человѣкѣ никакого произвольнаго движенія, связаннаго только съ чувственностью и не являющагося въ то же время выраженіемъ нравственнаго чувства. Грація поэтому кажется ему только прекраснымъ выраженіемъ души въ произвольныхъ движеніяхъ. Такимъ образомъ, вездѣ, гдѣ есть грація—двигателемъ является душа, и въ ней источникъ красоты движеній. Миѳическое представленіе соотвѣтствуетъ поэтому слѣдующей мысли: „грація есть красота, которая не дана природой, а созидается самимъ субъектомъ".

Я до сихъ поръ ограничивался тѣмъ, что выводилъ понятіе о граціи экзегетическимъ путемъ изъ греческаго миѳа—надѣюсь, безъ всякой натяжки. Теперь же да позволятъ мнѣ попытаться объяснить грацію путемъ философскихъ изысканій и посмотрѣть, не подтвердится ли здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, та истина, что философствующій разумъ можетъ гордиться лишь очень немногими открытіями, которыя до него смутно не предугадывало бы чувство и не раскрывала поэзія.

Венера, безъ своего пояса и безъ граціи, воплощаетъ идеалъ красоты въ томъ видѣ, какъ она можетъ выйти изъ рукъ только самой природы и какой ее создаютъ образующія силы безъ воздѣйствія воспринимательной способности. Миѳологія справедливо создала для этой красоты особое божество, потому что уже естественное чувство строго отличаетъ ее отъ той красоты, которая обязана своимъ происхожденіемъ вліянію воспринимательной способности.

Да будетъ мнѣ позволено назвать эту красоту, создаваемую одной только природой по закону необходимости, въ противоположность той, которая сообразуется съ требованіями свободы —красотой построенія (архитектоническая красота). Этимъ именемъ я обозначаю ту часть человѣческой красоты, которая не только выявляется черезъ посредство силъ природы (что примѣнимо ко всякому явленію), но и опредѣляется исключительно только силами природы.

Счастливое соотношеніе членовъ тѣла, плавность линій, миловидный цвѣтъ лица, нѣжная кожа, стройный и свободный ростъ, звучный голосъ и т. д.—качества, которыми человѣкъ обязанъ только природѣ и счастью; природѣ, которая дала предрасположеніе къ нимъ и сама ихъ развила; счастью, которое охраняло созидательное дѣло природы отъ всякаго вмѣшательства враждебныхъ силъ.

Венера выходитъ совершенной изъ пѣны морской: совершенной потому, что она вполнѣ законченное, строго размѣренное произведеніе необходимости и, какъ таковое, не допускаетъ никакой разновидности, никакого дальнѣйшаго развитія. Такъ какъ она собственно не что иное, какъ прекрасное изложеніе цѣлей, для которыхъ природа предназначаетъ человѣка, и такъ какъ поэтому каждое изъ качествъ Венеры вполнѣ опредѣлено понятіемъ, лежащимъ въ основѣ его, то—сообразно ея предрасположенію—ее можно считать завершенной, хотя все заложенное въ ней развивается только въ условіяхъ времени.

Архитектоническую красоту человѣческаго строенія слѣдуетъ строго отличать отъ его техническаго совершенства, подъ которымъ должно разумѣть систему самыхъ цѣлей, поскольку онѣ соединяются между собой для высшей конечной цѣли; архитектоническая же красота обозначаетъ собой только свойство изображенія этихъ цѣлей такими, какими эти цѣли раскрываются созерцательной способности въ явленіяхъ. Поэтому, когда говорятъ о красотѣ, то не принимаютъ въ соображеніе ни матеріальной цѣнности этихъ цѣлей, ни художественности формъ ихъ сочетанія. Созерцательная способность обращена только на самое явленіе, на то, какимъ родомъ оно совершается, а не каково оно по существу, т. е. совершенно не принимаетъ

во вниманіе логическихъ свойствъ своего объекта. Поэтому, хотя архитектоническая красота человѣческаго строенія и обусловлена понятіемъ, лежащимъ въ его основѣ, а также его цѣлями, эстетическое сужденіе все же вполнѣ отдѣляетъ красоту отъ этихъ цѣлей, и въ представленіе о красотѣ входитъ лишь то, что составляетъ въ явленіи его непосредственную ему одному принадлежащую собственность.

Нельзя поэтому также сказать, что достоинство, отличающее человѣка, возвышаетъ красоту человѣческаго строенія. Въ наше сужденіе о красотѣ можетъ входить представленіе о достоинствѣ, но тогда сужденіе перестаетъ быть чисто эстетическимъ. Техническая сторона въ человѣческомъ строеніи является, конечно, выраженіемъ его назначенія, и, какъ такое выраженіе, можетъ и должна внушать намъ уваженіе. Но эта техника открывается не чувству, а разуму; она входитъ только въ мысль, а не въ явленіе. Напротивъ того, архитектоническая красота не можетъ никогда проявлять назначеніе человѣческаго настроенія, потому что она познается совершенно иной способностью, чѣмъ та, которая можетъ судить о его назначеніи.

Поэтому, если человѣку преимущественно передъ всѣми другими техническими созданіями природы приписывается красота, то это лишь постольку вѣрно, поскольку онъ сохраняетъ это преимущество уже въ простомъ явленіи, безъ того, чтобы нужно было вспоминать объ его особенностяхъ, какъ человѣка. Такъ какъ послѣднее возможно только черезъ посредство понятій, то судьей красоты стало бы уже не чувство, а разумъ, что заключаетъ въ себѣ противорѣчіе. Поэтому, человѣкъ не можетъ опираться на важность своего нравственнаго назначенія, не можетъ основываться на своемъ интеллектуальномъ превосходствѣ, если онъ хочетъ признанія своей красоты; въ этомъ случаѣ онъ только вещь въ пространствѣ, только явленіе среди другихъ явленій. Мѣсто, занимаемое человѣкомъ въ области идей, не принимается во вниманіе чувствами, и если онъ хочетъ укрѣпить за собой первое мѣсто въ мірѣ чувственныхъ представленій, то онъ этимъ обязанъ тому, что составляетъ его природу.

Но именно эта его природа, какъ мы знаемъ, опредѣляется идеей его человѣческаго назначенія, и поэтому она и составляетъ косвеннымъ образомъ его архитектоническую красоту. Поэтому, если онъ отличается отъ всѣхъ другихъ окружающихъ его и одаренныхъ чувствами существъ болѣе высокой красотой, то этимъ онъ безспорно обязанъ своему человѣческому назначенію; оно только и есть причина его различія отъ другихъ существъ, одаренныхъ чувствами. Но не потому человѣческое строеніе прекрасно, что служитъ выраженіемъ этого высшаго назначенія: будь это такъ, то человѣческое строеніе перестало бы быть прекраснымъ, какъ только оно выражало бы болѣе низменное назначеніе, а также и противоположное этому строенію было бы пракрасно, если бы можно было предположить, что оно служитъ выраженіемъ болѣе высокаго назначенія. Но если бы даже при видѣ прекрасной человѣческой фигуры можно было совершенно забыть то, что она собой выражаетъ, если бы можно было, ничего не мѣняя въ его внѣшнемъ видѣ, предположить въ человѣкѣ дикій инстинктъ тигра, все-же сужденіе глазъ осталось бы тѣмъ же самымъ, и чувство признало бы тигра прекраснѣйшимъ созданіемъ Творца.

Назначеніе человѣка, какъ разумнаго существа, входитъ поэтому лишь постольку въ красоту его строенія, поскольку самое изображеніе, т. е. выраженіе цѣли въ явленіи, совпадаетъ съ условіями, въ которыхъ прекрасное возникаетъ въ области чувствъ. Красота сама по себѣ должна всегда оставаться свободнымъ созданіемъ природы, и разсудочная идея, опредѣлившая технику человѣческаго построенія, не можетъ надѣлить его красотой, а можетъ только допустить ее въ немъ.

Мнѣ могли бы возразить, что вообще все, что представляется въ явленіи, выполнено силами природы, и что это, слѣдовательно, не исключительный признакъ прекраснаго. Дѣйствительно, всѣ техническія построенія производятся природой, но не природа дѣлаетъ ихъ техническими; или, по крайней мѣрѣ, о произведеніяхъ природы не судятъ съ точки зрѣнія техники. Техническими они становятся только черезъ разумъ, и техническое ихъ совершенство уже существуетъ поэтому въ разумѣ, прежде чѣмъ оно переходитъ въ область чувствъ и становится явленіемъ. Красота, напротивъ того, имѣетъ ту особенность, что она не только выявляется въ области чувствъ, но и зарождается въ ней; природа не только выражаетъ ее, но и создаетъ. Она всецѣло представляетъ собой свойство чувственныхъ

воспріятій, а поэтому и художникъ, который ставитъ себѣ цѣлью красоту, можетъ тоже лишь постольку достигнуть своей цѣли, поскольку онъ дѣйствуетъ такъ, точно въ его произведеніи творитъ природа, а не онъ.

Для того, чтобы судить о техникѣ строенія человѣка, нужно прибѣгнуть къ помощи представленій о цѣляхъ, которымъ она соотвѣтствуетъ; этого же совершенно не нужно для того, чтобы судить о красотѣ строенія. Въ этой области чувство само по себѣ вполнѣ компетентный судья, что было бы невозможнымъ, если бы чувство (единственный объектъ сужденія) не заключало въ себѣ всѣхъ условій красоты и не было бы поэтому вполнѣ достаточнымъ для созиданія красоты. Косвеннымъ образомъ красота человѣка исходитъ, конечно, изъ понятія о человѣкѣ, какъ таковомъ, потому что вся его чувственная природа коренится въ этомъ понятіи; но чувство, какъ извѣстно, связано только съ непосредственнымъ, и для него красота не имѣетъ другого смысла, какъ вполнѣ независимаго явленія природы. Согласно со всѣмъ вышеизложеннымъ могло бы казаться, что красота не представляетъ никакого интереса для разума, потому что она зарождается только въ области чувства и выявляется только въ чувственныхъ воспріятіяхъ. Вѣдь если отдѣлить отъ понятія красоты, какъ нѣчто ей чуждое, то, что представленіе о совершенствѣ не можетъ не примѣшать къ нашему сужденію о красотѣ, то въ ней какъ будто ничего болѣе не остается, чѣмъ бы она могла составить предметъ удовольствія для разума. Тѣмъ не менѣе, столь же достовѣрно, что прекрасное нравится разуму, какъ и несомнѣнно, что красота не основывается ни на одномъ изъ свойствъ объекта, которое могло бы открыться только разуму.

Чтобы разрѣшить это кажущееся противорѣчіе, нужно вспомнить, что вліянія могутъ двоякимъ образомъ становиться объектами разума и выражать идеи. Не всегда нужно, чтобы разумъ извлекалъ идеи изъ явленій; онъ можетъ и вкладывать ихъ въ явленія. Въ обоихъ случаяхъ явленіе будетъ соотвѣтствовать понятію, создаваемому разумомъ, но только вотъ съ какой разницей: въ первомъ случаѣ разумъ объективнымъ путемъ находитъ понятіе въ явленіи и только какъ бы получаетъ его отъ предмета, потому что понятіе нужно для того, чтобы объяснить свойство и часто даже самую возможность объекта. Напротивъ того, во второмъ случаѣ разумъ самовластно превращаетъ въ выраженіе понятія то, что въ явленіи дано независимымъ отъ понятія, и, такимъ образомъ, разсматриваетъ чисто чувственное, какъ сверхчувственное. Въ первомъ случаѣ идея связана объективной необходимостью съ предметомъ, во второмъ это необходимая связь, въ лучшемъ случаѣ только субъективная. Мнѣ нѣтъ надобности прибавлять, что подъ первымъ случаемъ я разумѣю совершенство, подъ вторымъ красоту.

Такъ какъ во второмъ случаѣ по отношенію къ чувственному объекту совершенно безразлично, существуетъ-ли разумъ, связывающій съ представленіемъ объ объектѣ одну изъ своихъ идей, и такъ какъ поэтому объективныя свойства предмета слѣдуетъ считать совершенно независимыми отъ этой идеи, то вполнѣ справедливо ограничивать прекрасное въ объективномъ смыслѣ только природными условіями и считать красоту созданіемъ только чувственнаго міра. Но такъ какъ—съ другой стороны—разумъ пользуется созданіемъ исключительно чувственнаго міра для трансцедентальныхъ цѣлей и этимъ придаетъ ему болѣе высокое значеніе, какъ бы налагаетъ на него свой отпечатокъ, то столь же справедливо переносить красоту въ субъективномъ смыслѣ въ интеллектуальный міръ. Красоту слѣдуетъ, такимъ образомъ, признать гражданкой двухъ міровъ: она принадлежитъ одному по праву рожденія, а другому по праву усыновленія; своимъ существованіемъ она обязана чувственной природѣ, а въ мірѣ разума она обрѣтаетъ право гражданства. Этимъ объясняется также, почему вкусъ, служащій мѣриломъ красоты, занимаетъ средину между духомъ и чувствомъ и примиряетъ эти два отвергающія другъ друга начала: онъ внушаетъ разуму уваженіе къ матеріи, а чувствамъ любовь къ разумному, облагораживаетъ представленія, возводя ихъ въ идеи, и превращаетъ до нѣкоторой степени чувственный міръ въ царство свободы.

Но хотя по отношенію къ самому предмету безразлично, связываетъ ли разумъ съ представленіемъ о немъ одну изъ своихъ идей, все-же—для представляющаго субъекта—необходимо соединять съ этимъ представленіемъ эту идею. Она и соотвѣтствующій ей чувственный знакъ въ объектѣ должны находиться въ такомъ соотношеніи, чтобы разумъ былъ принужденъ къ такому дѣйствію своими собственными ненаруши-

мыми законами. Такимъ образомъ, уже въ самомъ разумѣ должна заключаться причина, вслѣдствіе которой онъ связываетъ опредѣленную идею непремѣнно съ извѣстнаго рода явленіемъ, и въ объектѣ тоже должна заключаться причина, по которой онъ вызываетъ только эту идею и никакую другую. Какова эта идея, которую разумъ вноситъ въ прекрасное, и благодаря какому своему объективному качеству прекрасное можетъ стать символомъ этой идеи—это слишкомъ важный вопросъ, чтобы я могъ отвѣтить на него здѣсь попутно, и разрѣшеніемъ его я займусь въ анализѣ прекраснаго.

Итакъ, архитектоническая красота человѣка, какъ я только что сказалъ, есть чувственное выраженіе разсудочнаго понятія; но она такова только въ томъ же смыслѣ и съ такимъ, а не большимъ правомъ, чѣмъ вообще всякое прекрасное созданіе въ природѣ. Количественно она хотя и превосходитъ всѣ другіе роды красоты, но качественно она стоитъ въ одномъ ряду съ ними, потому что и она проявляетъ въ своемъ субъектѣ только то, что въ немъ есть чувственнаго, и только въ представленіи получаетъ сверхчувственный смыслъ *).

Что проявленіе цѣлей въ человѣкѣ вышло болѣе прекраснымъ въ немъ, чѣмъ въ другихъ организмахъ, слѣдуетъ признать милостью, которую разумъ, какъ законодатель человѣческаго построенія, оказалъ природѣ, какъ исполнительницѣ своихъ законовъ. Разумъ хотя и преслѣдуетъ со строгой обязательностью свои цѣли въ техникѣ строенія человѣка, но, къ счастію, его требованія совпадаютъ съ обязательностью природы, такъ что природа исполняетъ требованія разума, слѣдуя при этомъ только своимъ собственнымъ влеченіямъ.

Но это относится только къ архитектонической красотѣ человѣка, въ которой обязательность природнаго начала находитъ поддержку въ обязательности порождающей ее телеологической причины. Въ этомъ одномъ смыслѣ можно было бы противопоставить красоту техникѣ человѣческаго построенія, но въ этомъ уже нѣтъ надобности, если необходимость становится односторонней, и сверхчувственная причина, порождающая явленія, случайно измѣняется. Объ архитектонической красотѣ человѣка заботится, такимъ образомъ, природа сама, потому что уже въ самомъ созиданіи предрасположеній ей передаетъ разъ навсегда созидающій разумъ исполненіе всего, что нужно человѣку для исполненія его назначенія, и въ этой своей органической дѣятельности ей нечего опасаться никакого нововведенія.

Но человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ личность, т. е. существо, которое само можетъ быть причиной, и даже абсолютно послѣдней причиной своихъ состояній; оно можетъ измѣняться сообразно съ мотивами, которые находитъ въ себѣ самомъ. Человѣкъ имѣетъ тотъ или другой видъ, въ зависимости отъ рода его ощущеній и желаній, т. е. въ зависимости отъ состояній, опредѣляемыхъ имъ самимъ, его свободными импульсами, а не природой по ея обязательнымъ законамъ.

Если бы человѣкъ былъ только существомъ, надѣленнымъ чувствами, то природа одновременно и давала бы законы, и опредѣляла бы случаи ихъ примѣненія; теперь же она дѣлитъ власть со свободой, и хотя ея законы имѣютъ силу, но случаи примѣненія ихъ опредѣляетъ духъ.

Область духа простирается на все, что въ природѣ есть техническаго, и кончается только тамъ, гдѣ органическая жизнь теряется въ безформенной массѣ, и гдѣ прекращается дѣйствіе животныхъ силъ. Извѣстно, что всѣ движущія силы въ человѣкѣ связаны между собой, и отсюда ясно, что духъ—тоже понимаемый только какъ принципъ произвольнаго движенія—можетъ распространить свое дѣйствіе на всю совокупность силъ. Не только орудія воли, но и тѣ силы, надъ которыми воля не имѣетъ непосредственной власти, подпадаютъ, по крайней мѣрѣ относительно,

*) Ибо—повторяемъ еще разъ—въ одномъ только созерцаніи дано все, что въ красотѣ объективно. Но такъ какъ то, что составляетъ превосходство человѣка надъ всѣми другими одаренными чувствами существами, не входитъ въ самое созерцаніе, то качества, которыя обнаруживаются въ самомъ созерцаніи, не могутъ проявить этого превосходства. Высшее назначеніе человѣка, которое одно только и обусловываетъ это превосходство, не выражается поэтому въ его красотѣ, и представленіе объ этомъ высшемъ назначеніи никогда не можетъ быть составной частью красоты, никогда не можетъ быть включено въ эстетическое сужденіе. Чувству не открывается самая мысль, выраженіемъ которой является человѣческое строеніе, а только вліянія этой мысли на явленіе. До сверхчувственной основы этихъ вліяній одно только чувство такъ же мало можетъ возвыситься, какъ (если мнѣ позволятъ привести такой примѣръ) просто чувственный человѣкъ не поднимается до идеи верховной причины міра, когда онъ удовлетворяетъ своимъ влеченіямъ.

его вліянію. Духъ опредѣляетъ ихъ не только намѣренно, когда онъ находится въ дѣйствіи, но и безсознательно, когда онъ ощущаетъ.

Природа сама по себѣ можетъ, какъ явствуетъ изъ вышесказаннаго, заботиться о красотѣ только тѣхъ явленій, которыя она производитъ сама, ничѣмъ неограниченная, по законамъ обязательности. Но, вмѣстѣ съ произволомъ, въ ея созиданіе проникаетъ случайность, и хотя тѣ измѣненія, которымъ она подвергается подъ владычествомъ свободы, происходятъ въ силу никакихъ иныхъ, какъ только ея собственныхъ законовъ, все-же они не проистекаютъ изъ этихъ законовъ. Такъ какъ отъ духа зависитъ, какое употребленіе сдѣлать по своему желанію изъ своихъ орудій, то природа уже не властна надъ тою частью красоты, которая зависитъ отъ пользованія духомъ своими орудіями, и поэтому не носитъ отвѣтственности за нее.

Такимъ образомъ для человѣка какъ бы возникаетъ опасность, что, поскольку онъ, пользуясь своей свободой, возвышается до чистой интеллектуальности, постольку онъ падаетъ, какъ явленіе, и столько же теряетъ въ приговорахъ вкуса, сколько выигрываетъ передъ судилищемъ разума. Исполненіе своего назначенія черезъ посредство дѣйствія могло бы лишить его преимущества, которому благопріятствуетъ предначертаніе въ его строеніи, и хотя это преимущество касается только чувствъ, но мы все же нашли, что разумъ придаетъ ему высшее значеніе. Такого грубаго противорѣчія не допускаетъ природа съ ея тяготѣніемъ къ согласованію всего и то, что гармонично въ области разума, она никогда не выразитъ диссонансомъ въ мірѣ чувственномъ.

Такимъ образомъ, тѣмъ что личность, т. е. принципъ свободы въ человѣкѣ, беретъ на себя управленіе игрой явленій и отнимаетъ своимъ вмѣшательствомъ у природы возможность охранять красоту своего произведенія, она сама становится на мѣсто природы и перенимаетъ (если мнѣ позволятъ такъ выразиться) вмѣстѣ съ ея правами и часть ея обязательствъ. Тѣмъ, что духъ вплетаетъ въ свою судьбу, стоящую ниже его, чувственность и приводитъ ее въ зависимость отъ своихъ состояній, онъ самъ до нѣкоторой степени превращаетъ себя въ явленіе и признаетъ себя подвластнымъ закону, распространяющемуся на всѣ явленія. Ради самого себя, онъ обязывается къ тому, чтобы зависящая отъ него природа оставалась природой и служила ему, и чтобы она никогда не дѣйствовала противъ своей прежней обязанности. Я называю красоту обязанностью явленій, потому что соотвѣтствующая ей потребность въ субъектѣ коренится въ самомъ разумѣ и поэтому носитъ отпечатокъ всеобщности и обязательности. Я называю ее болѣе ранней обязанностью, потому что сужденіе чувства уже составлено прежде, чѣмъ разумъ начинаетъ свое дѣло.

Итакъ, теперь свобода управляетъ красотой. Природа создала красоту строенія, душа создаетъ красоту игры. И теперь мы также знаемъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ граціей и миловидностью. Грація—красота внѣшняго вида, поскольку на нее вліяетъ свобода, красота тѣхъ явленій, которыя созидаются личностью. Архитектоническая красота дѣлаетъ честь Творцу природы, грація и миловидность—своему обладателю. Архитектоническая красота талантъ, грація—заслуга индивидуальной личности.

Грація можетъ быть только въ движеніи, потому что измѣненіе въ душѣ можетъ проявиться для чувствъ только движеніемъ. Но это вовсе не значитъ, что твердыя, находящіяся въ покоѣ черты не могли бы быть тоже преисполнены граціи. Эти твердыя черты были первоначально тоже ничѣмъ инымъ, какъ движеніями, которыя наконецъ отъ частаго возобновленія стали привычными и запечатлѣлись навсегда *).

---

*) Вотъ почему понятіе Гоме (Home) о граціи слишкомъ узкое, когда онъ (Grundsätze d. Kritik, II, 39) говоритъ: «если самая граціозная особа находится въ покоѣ, не движется и не говоритъ, то грація ея исчезаетъ для глазъ, подобно тому, какъ исчезаютъ цвѣта въ темнотѣ». Нѣтъ, грація не исчезаетъ, пока на лицѣ спящаго человѣка видны черты, созданные нѣжной и доброй душой; и какъ разъ при этомъ сохраняется самый цѣнный элементъ граціи, т. е. тотъ, который закрѣпилъ движеніе въ чертахъ, и проявляетъ такимъ образомъ совершенство души въ прекрасныхъ чувствахъ. Но г-нъ исправитель Гома напрасно думаетъ, что онъ вноситъ поправку въ сужденіе своего автора, прибавивъ (т. II, стр. 459) въ примѣчаніи, что «грація не заключена въ предѣлы однихъ только произвольныхъ движеній, и что спящій человѣкъ не перестаетъ быть привлекательнымъ», и почему? «потому что во время сна непроизвольныя, мягкія и благодаря этому тѣмъ болѣе граціозныя движенія проявляются съ тѣмъ большей очевидностью»; этимъ онъ уже совершенно уничтожаетъ понятіе о граціи, которое Гоме только слишкомъ съузилъ. Непроизвольныя движенія во снѣ, если это только не ме-

Но не всѣмъ движеніямъ человѣка свойственна грація. Грація всегда только красота свободно движущейся фигуры и движенія, которыя имѣютъ чисто природное происхожденіе, никогда не могутъ быть названы граціозными. Правда, что дѣятельный духъ въ концѣ концовъ овладѣваетъ почти всѣми движеніями своего тѣла, но если цѣпь, соединяющая прекрасную черту съ нравственными ощущеніями, слишкомъ удлиняется, то эта черта становится качествомъ органическаго строенія, и едва-ли уже можетъ быть отнесена къ граціи. Наконецъ духъ даже создаетъ свое тѣло, и самое строеніе должно слѣдовать игрѣ, такъ что грація въ концѣ концовъ нерѣдко превращается въ архитектоническую красоту.

Такъ же, какъ враждующій, находящійся въ разладѣ съ самимъ собой духъ разрушаетъ даже самую возвышенную красоту строенія, такъ что въ недостойныхъ рукахъ свободы самое дивное мастерское произведеніе природы становится въ концѣ-концовъ неузнаваемымъ, такъ иногда ясная и гармоническая душа приходитъ на помощь техникѣ, скованной препятствіями, освобождаетъ природу, и расправляетъ съ божественной лучезарностью завернутое, придавленное тѣло. Пластическая природа человѣка обладаетъ въ себѣ самой безконечно многими вспомогательными средствами для того, чтобы восполнить свое упущеніе и исправить свои ошибки, если только духъ хочетъ поддержать созидательное дѣло природы или иногда только не препятствовать ему.

Такъ какъ и закрѣпленныя движенія (жесты, перешедшіе въ черты) не выключаются изъ области граціознаго, то могло бы казаться, что къ граціи должна быть причислена и красота мнимыхъ подражательныхъ движеній (волнистыя или сплетающіяся линіи), какъ это въ самомъ дѣлѣ и утверждаетъ Мендельсонъ. Но этимъ понятіе о граціи было бы расширено до общаго понятія о красотѣ, ибо всякая красота въ концѣ концовъ только свойство дѣйствительнаго или мнимаго (объективнаго или субъективнаго) движенія, какъ я надѣюсь это доказать, расчленяя понятіе о красотѣ. Грацію же могутъ обнаруживать только тѣ движенія, которыя въ то же время соотвѣтствуютъ ощущенію.

Личность—уже извѣстно, что я этимъ обозначаю—предписываетъ тѣлу движенія или черезъ посредство своей воли, когда она хочетъ проявить въ чувственномъ мірѣ представляющееся мысли дѣйствіе, и въ такомъ случаѣ мы называемъ движенія произвольными или преднамѣренными; или же движенія происходятъ безъ воздѣйствія воли въ силу закона необходимости, но вызваны какимъ нибудь ощущеніемъ. Эти движенія я называю симпатическими. Хотя этого рода движенія не произвольны и исходятъ изъ ощущенія, все-же ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ движеніями, вызываемыми способностью къ чувственнымъ воспріятіямъ и естественными побужденіями, ибо естественное побужденіе не свободно въ своей основѣ, и то, что оно производитъ, нельзя считать выраженіемъ лиянности въ дѣйствіи. Подъ симпатическими движеніями, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, я понимаю только такія, которыя сопровождаютъ нравственныя ощущенія или нравственныя убѣжденія.

Теперь является вопросъ, какой изъ этихъ двухъ родовъ движеній, коренящихся въ личности, можетъ обладать граціей.

То, что въ философскомъ разсужденіи необходимо отдѣлять одно отъ другого, въ дѣйствительности вовсе не всегда раздѣлено. Такъ, преднамѣренныя движенія рѣдко проявляются безъ симпатическихъ, потому что воля, какъ причина первыхъ, исходитъ изъ нравственныхъ ощущеній, порождающихъ вторыя. Когда человѣкъ говоритъ, мы видимъ, что его взгляды, черты лица, руки и часто все тѣло говоритъ вмѣстѣ съ нимъ, и мимическая часть бесѣды нерѣдко наиболѣе краснорѣчива. Но даже преднамѣренное движеніе можетъ въ то же время быть симпатическимъ, и это происходитъ тогда, когда что либо непроизвольное примѣшивается къ произвольному.

Самый родъ выполненія произвольныхъ движеній не настолько опредѣленъ своей цѣлью, чтобы не было нѣсколькихъ способовъ выполненія ихъ. То-же, что при этомъ остается не опредѣленнымъ волей или цѣлью, можетъ быть опредѣлено симпатическими ощущеніями даннаго лица, и такимъ образомъ стать ихъ выраженіемъ. Когда я вытягиваю руку, чтобы взять предметъ, то я выполняю цѣль и движеніе,

---

ханическія повторенія произвольныхъ, никогда не могутъ быть граціозными, и тѣмъ болѣе далеки отъ того, чтобы быть граціозными, преимущественно передъ другими; и если спящій человѣкъ сохраняетъ привлекательный видъ, то вовсе не движеніями, а чертами, свидѣтельствующими о предшествовавшихъ движеніяхъ.

которое я дѣлаю, предписывается результатомъ, котораго я хочу этимъ достигнуть. Но какимъ путемъ я направлю мою руку къ предмету и насколько я даю моему остальному тѣлу слѣдовать за рукой, быстро ли или медленно, и хочу-ли я произвести движеніе съ большей или меньшей затратой силъ,—въ эти точные разсчеты я въ данную минуту не вхожу, и такимъ образомъ здѣсь кое-что во мнѣ предоставляется природѣ. Но какимъ нибудь образомъ то, что не опредѣленно одной только цѣлью, должно быть рѣшено, и рѣшить это можетъ родъ моихъ чувствъ; тономъ, который онъ даетъ, опредѣляется и родъ движенія. То участіе, которое состояніе чувствъ даннаго лица принимаетъ въ произвольномъ движеніи, и составляетъ въ немъ элементъ непроизвольности, и въ немъ то и можетъ заключаться грація.

Произвольное движеніе, если оно вмѣстѣ съ тѣмъ не связывается съ симпатическимъ, или, что то же самое, съ непосредственнымъ, коренящимся въ нравственныхъ чувствахъ даннаго лица, никогда не можетъ проявлять грацію, источникомъ которой должно быть всегда какое нибудь душевное состояніе. Произвольное движеніе слѣдуетъ за дѣйствіемъ, происходящимъ въ душѣ, которое такимъ образомъ должно уже закончиться, когда происходитъ движеніе.

Симпатическое движеніе, напротивъ того, сопровождаетъ дѣйствіе души и состояніе ея чувствъ, которое вызываетъ это дѣйствіе, и поэтому должно считаться параллельнымъ тому и другому.

Отсюда уже ясно, что движеніе, которое не вытекаетъ непосредственно изъ образа мыслей даннаго лица, не можетъ и быть выраженіемъ его. Посредствующимъ звеномъ между образомъ мыслей и движеніемъ является рѣшеніе, которое само по себѣ нѣчто совершенно безразличное; въ движеніи проявляется дѣйствіе рѣшенія и цѣли, но не личности и ея образа мысли.

Произвольное движеніе имѣетъ лишь случайную связь съ предшествующимъ ему образомъ мыслей, сопутствующее же движеніе тѣсно съ нимъ связано. Первое относится къ душѣ, какъ условный словесный знакъ относится къ мысли, которую онъ выражаетъ; симпатическое или сопутствующее, напротивъ того, какъ страстный возгласъ къ страсти. Поэтому произвольное движеніе выражаетъ духъ не своею сущностью, а только тѣмъ примѣненіемъ, которое изъ него дѣлаютъ, такъ что нельзя сказать, что духъ проявляетъ себя въ произвольномъ движеніи, ибо это движеніе выражаетъ только матерію воли (цѣль), а не форму воли. О послѣдней свидѣтельствуетъ только сопутствующее движеніе *).

Человѣкъ можетъ, конечно, при помощи искусства и старанія научиться подчинять своей волѣ и сопровождающія движенія, и какъ ловкій фокусникъ отражать какой угодно образъ на мимическомъ зеркалѣ своей души. Но въ такомъ человѣкѣ все ложь, все природное въ немъ всецѣло поглощено искусственнымъ. Грація же, напротивъ того, должна быть всегда естественной, т. е. не произвольной (или покрайней мѣрѣ казаться таковой), такъ чтобы нельзя было предположить по виду человѣка, что онъ сознаетъ свою граціозность.

Отсюда приблизительно видно, какую цѣну можетъ имѣть подражательная или заученная грація (которую я хотѣлъ бы назвать театральной или танцмейстерской). Она достойный pendant къ той красотѣ, которая создается передъ зеркаломъ изъ румянъ и бѣлилъ, искусственныхъ локоновъ, fausses gorges и китоваго уса, и приблизительно такъ же относится къ истинной граціи, какъ красота, созданная нарядами, относится къ архитектонической красотѣ **).

---

*) Когда какое нибудь происшествіе происходитъ передъ многочисленнымъ обществомъ, то легко можетъ случиться, что всякій присутствующій имѣетъ свое собственное особое мнѣніе объ образѣ мыслей дѣйствующихъ лицъ; до того случайна связь произвольныхъ движеній съ ихъ нравственной причиной. Если же, напротивъ того, кто нибудь изъ этого общества неожиданно увидитъ передъ собой очень близкаго друга или очень ненавистнаго врага, то недвусмысленное выраженіе его лица быстро и опредѣленно обнаружитъ движенія его сердца, и сужденіе всего общества о томъ, что испытываетъ этотъ человѣкъ въ данную минуту, было бы вѣроятно вполнѣ единогласно: ибо въ данномъ случаѣ выраженіе связано съ его причиной въ душѣ обязательностью закона природы. Такимъ образомъ изъ рѣчей человѣка можно конечно заключить, чѣмъ онъ хочетъ, чтобы его считали, но то, что онъ есть на самомъ дѣлѣ, нужно постараться угадать изъ мимики, сопровождающей его слова, изъ его жестовъ, изъ движеній, въ которыхъ его воля не участвуетъ. Если же мы узнаемъ, что извѣстный человѣкъ можетъ подчинять своей волѣ и черты своего лица, то съ той минуты, какъ мы это узнали, мы уже не вѣримъ его чертамъ и не считаемъ ихъ выраженіемъ его мыслей.

**) Я очень далекъ отъ того, чтобы этимъ сопоставленіемъ отрицать заслуги танцмейстера въ выработкѣ истинной граціи, такъ же какъ не думаю от-

Пренебреженіе, съ которымъ я говорю о театральной граціи, относится только къ подражательной, и ее я безъ всякаго колебанія порицаю какъ на сценѣ, такъ и въ жизни. Я говорю, что мнѣ не нравится актеръ, который изучилъ свою грацію—предположивъ даже, что подражаніе ему чрезвычайно удалось—передъ зеркаломъ. Требованія, которыя мы предъявляемъ актеру, заключаются, во 1-хъ, въ правдивости изображенія и, во 2-хъ, въ красотѣ изображенія. Я же утверждаю, что все, что касается правдивости изображенія, актеръ черпаетъ въ искусствѣ, а не въ своей натурѣ—иначе онъ не артистъ. Я преклонюсь предъ нимъ, когда услышу или увижу, что этотъ человѣкъ, мастерски изображавшій разъяреннаго гвельфа, въ дѣйствительности отличается кротостью нрава. Но съ другой стороны, я утверждаю, что въ красотѣ изображенія онъ ничѣмъ не долженъ быть обязанъ искусству, и что въ немъ все должно быть въ этомъ отношеніи произвольнымъ созданіемъ природы. Если любуясь правдивостью его игры, я подумаю, что изображаемый имъ характеръ не соотвѣтствуетъ его собственному, то я его только еще болѣе буду за это цѣнить; если же, наблюдая за красотой его игры, я подумаю, что эти граціозныя движенія не свойственны ему въ дѣйствительности, то я не смогу не сердиться на человѣка, который для того, чтобы быть красивымъ, долженъ былъ обращаться за помощью къ искусству. Причина въ томъ, что сущность граціи исчезаетъ съ исчезновеніемъ естественности, и въ томъ, что грація—то требованіе, какое мы считаемъ себя вправѣ ставить самому человѣку, а не его искусству. Но что же я отвѣчу мимическому артисту, который хотѣлъ бы знать, какъ ему пріобрѣсти грацію, если не дозволяется обучаться ей? Онъ долженъ—таково мое мнѣніе—прежде всего постараться развить до полной зрѣлости свою человѣческую сущность и потомъ уже пусть онъ (если таково его призваніе) представляетъ ее на сценѣ.

На неразвитое чувство оба рода красоты могутъ произвести совершенно такое же впечатлѣніе, какъ оригиналъ, которому они подражаютъ, и если искусство велико, то оно можетъ иногда обмануть и знатока. Но изъ какой нибудь одной черты въ концѣ-концовъ все-же выглянетъ насильственность и преднамѣренность, и непремѣнно вызоветъ равнодушіе, и еще вѣроятнѣе презрѣніе и отвращеніе. Какъ только мы замѣчаемъ, что архитектоническая красота искусственна, для насъ исчезаетъ какъ разъ столько человѣческой сущности (какъ явленія), сколько въ нее введено изъ иной области природы—и какъ бы мы могли, когда мы даже не прощаемъ отбрасыванія случайнаго качества, созерцать съ удовольствіемъ, или хотя бы даже только равнодушно замѣну части человѣческой сущности элементами низшей природы? Какъ бы мы могли, даже допустивъ самый результатъ, не презирать обмана? Какъ только мы замѣчаемъ, что грація создана искусственно, наше сердце сразу замыкается, и душа, шедшая навстрѣчу граціи, мчится назадъ. Духъ вдругъ сдѣлался матеріей, и небесная Юнона стала облакомъ.

Но хотя грація должна быть или казаться чѣмъ-то непроизвольнымъ, мы все-же ищемъ ее только въ тѣхъ движеніяхъ, которыя болѣе или менѣе зависятъ отъ воли. Правда, что грація приписывается также извѣстнаго рода языку жестовъ, и можно говорить о граціозной улыбкѣ, объ очарованіи вдругъ выступающей на лицѣ краски, хотя то и другое только симпатическія движенія, зависящія не отъ воли, а отъ ощущеній. Но, не говоря о томъ, что улыбкой мы все-таки можемъ управлять по своему желанію, и что еще сомнительно, можно ли считать граціознымъ вспыхивающую краску щекъ, большинство случаевъ, въ которыхъ проявляется грація, все-таки относится къ области произвольныхъ движеній. Грація должна быть въ рѣчи и въ пѣніи, въ произвольной игрѣ глазъ и рта, въ свободномъ движеніи рукъ, въ походкѣ, въ манерѣ держаться, во всемъ внѣшнемъ проявленіи человѣческой личности, поскольку оно находится въ его власти. Отъ тѣхъ движеній въ человѣкѣ, которыя вы-

---

нимать у актера его права на грацію. Танцмейстеръ безспорно содѣйствуетъ развитію граціи тѣмъ, что научаетъ волю управлять ея орудіями и устраняетъ препятствія, которыя матерія и сила тяготѣнія противополагаютъ игрѣ живыхъ силъ. Онъ этого не можетъ достигнуть иначе, чѣмъ дѣйствуя по извѣстнымъ правиламъ, подвергая тѣло благотворной дисциплинѣ: до тѣхъ поръ пока противъ этой дисциплины еще борется лѣнь, правила могутъ и быть, и казаться твердыми, т. е. насильственными. Но когда учитель выпускаетъ ученика изъ школы, считая ученіе законченнымъ, то дѣйствіе правилъ должно уже быть завершеннымъ, то дѣйствіе правилъ должно уже быть завершеннымъ, такъ чтобы не было надобности продолжать слѣдовать имъ и въ жизни. Короче говоря, мѣсто правилъ должна заступить природа

званы только природнымъ побужденіемъ или взявшимъ верхъ аффектомъ и которыя по своему происхожденію чувственны, мы требуемъ, какъ потомъ выяснится, нѣчто совершенно иное, чѣмъ грацію. Такія движенія—дѣло природы, а не личности; грація же должна исходить только изъ свойствъ личности.

Если, такимъ образомъ, грація качество, присущее произвольнымъ движеніямъ, и если, съ другой стороны, въ граціи не должно быть ничего произвольнаго, то ее слѣдуетъ искать въ томъ, что въ намѣренныхъ движеніяхъ не произвольно, но что вмѣстѣ съ тѣмъ соотвѣтствуетъ какой нибудь нравственной основѣ въ душѣ.

Этимъ впрочемъ опредѣляется только родъ движеній, въ которыхъ слѣдуетъ искать грацію; но движеніе можетъ имѣть всѣ эти качества и все-таки не быть граціознымъ. Это только дѣлаетъ движеніе говорящимъ (мимическимъ).

Говорящимъ (въ самомъ широкомъ смыслѣ) я называю всякое явленіе въ тѣлѣ, которое сопровождаетъ и выражаетъ какое нибудь душевное состояніе. Въ этомъ смыслѣ всѣ симпатическія движенія таковы,—даже тѣ, которыя сопровождаютъ только проявленія чувственности.

И организмы животныхъ говорятъ нѣчто своимъ внѣшнимъ видомъ, поскольку во внѣшнемъ проявляется внутреннее. Но въ нихъ говоритъ только природа, а никогда не свобода. Въ неизмѣнномъ строеніи и въ твердыхъ архитектоническихъ чертахъ животнаго природа возвѣщаетъ о своей цѣли, а въ мимическихъ чертахъ—о пробужденной или объ удовлетворенной потребности. Кольцо необходимости проходитъ черезъ животное, какъ и черезъ растеніе, не прерываясь человѣкомъ. Индивидуальность его существованія только частное представленіе общаго понятія о всей природѣ; обособленность его теперешняго состоянія только примѣръ осуществленія цѣли природы въ опредѣленныхъ созданныхъ природой условіяхъ.

Говорящимъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ можно назвать только человѣческое строеніе, и тоже только въ тѣхъ своихъ проявленіяхъ, которыя сопровождаютъ его нравственныя ощущенія и служатъ ихъ выраженіемъ.

Только въ этихъ проявленіяхъ: во всѣхъ же другихъ человѣкъ стоитъ на-ряду съ остальными одаренными чувствами существами. Въ его неизмѣнномъ видѣ и въ его архитектоническихъ чертахъ возвѣщена только цѣль природы, какъ и въ животныхъ, и въ другихъ органическихъ существахъ. Намѣренія природы по отношенію къ нему хотя и могутъ быть гораздо болѣе широки, чѣмъ относительно другихъ существъ, и сочетаніе средствъ для выполненія этихъ намѣреній болѣе искусно и сложно, но все это должно быть отнесено на счетъ природы и не можетъ составлять преимущество самого человѣка.

Въ животномъ и въ растеніи природа не только опредѣляетъ ихъ назначеніе, но и выполняетъ сама свои цѣли. Человѣку же она только даетъ назначеніе и предоставляетъ ему самому исполненіе его. Только это и дѣлаетъ его человѣкомъ.

Одинъ только человѣкъ, какъ личность, имѣетъ то преимущество передъ всѣми извѣстными намъ существами, что онъ можетъ вторгнуться черезъ посредство своей воли въ кольцо необходимости, неразрывное для созданій одной только природы, и положить начало цѣлому новому ряду явленій въ себѣ самомъ. Актъ, которымъ онъ этого достигаетъ, называется, преимущественно передъ всѣми другими, дѣйствіемъ, и лишь создаваемое подобнымъ дѣйствіемъ исключительно и называется его поступками. Такимъ образомъ, только своими поступками человѣкъ можетъ доказать, что онъ личность.

Строеніе животнаго выражаетъ не только понятіе о его назначеніи, но и отношеніе состоянія, въ которомъ онъ находится въ данное время, къ этому назначенію. А такъ какъ въ животномъ природа одновременно и опредѣляетъ его назначеніе и выполняетъ его, то строеніе животнаго не можетъ никогда представлять собой что либо иное, чѣмъ произведеніе природы.

Человѣку же природа, хотя и даетъ назначеніе, но предоставляетъ его волѣ выполненіе его; поэтому отношеніе его состоянія въ данную минуту къ его назначенію не дѣло природы, а должно быть его собственнымъ дѣломъ. Отношеніе это, сказывающееся въ его внѣшнемъ видѣ, опредѣляется уже слѣдовательно не природой, а имъ самимъ. Это его индивидуальное выраженіе. Если мы, такимъ образомъ, узнаемъ по архитектоникѣ его строенія, каковы намѣренія природы относительно него, то мимика его выражаетъ то, что онъ самъ сдѣлалъ для выполненія этого намѣренія.

Мы не довольствуемся поэтому тѣмъ,

чтобы человѣческое строеніе открывало нашему взору общее понятіе о человѣческой сущности и показывало, что природа сдѣлала для осуществленія этого понятія въ данной личности, потому что это то, что въ человѣкѣ есть общаго со всякимъ техническимъ построеніемъ. Мы требуемъ кромѣ того, чтобы во внѣшнемъ видѣ человѣка было показано, насколько онъ, пользуясь своей свободой, шелъ навстрѣчу цѣлямъ природы, т. е. требуемъ, чтобы видъ человѣка выражалъ его характеръ. Въ первомъ случаѣ видно, что природа предназначала его къ тому, чтобы стать человѣкомъ, но только во второмъ выясняется, дѣйствительно ли онъ сталъ человѣкомъ.

Внѣшній видъ человѣка лишь постольку его созданіе, поскольку онъ выражается въ мимикѣ; но это также значитъ, что только въ границахъ мимики внѣшній видъ—его собственное созданіе. Потому что, если бы даже большая часть мимическихъ чертъ, или если бы даже всѣ онѣ были выраженіемъ только одной чувственности и составляли бы свойство его чисто животной натуры, то все-же онъ способенъ и предназначенъ природой къ тому, чтобы ограничивать чувственность своей свободной волей. Наличность такихъ чертъ свидѣтельствуетъ поэтому, что онъ не дѣлалъ употребленія изъ данной ему природой способности и не исполнилъ своего назначенія, что несомнѣнно такое же свидѣтельство его нравственныхъ свойствъ, какъ несовершеніе поступка, котораго требуетъ долгъ, есть тоже поступокъ.

Отъ говорящихъ чертъ, которыя всегда являются выраженіемъ души, нужно отличать нѣмыя черты; ихъ отпечатлѣваетъ на человѣческомъ строеніи пластическая природа сама по себѣ, поскольку она дѣйствуетъ независимо отъ всякаго вліянія души. Я называю эти черты нѣмыми, потому что онѣ составляютъ непонятный шифръ природы и ничего не говорятъ о характерѣ. Онѣ только указываютъ на своеобразность природы въ выполненіи создаваемаго ею рода существъ; этихъ чертъ часто вполнѣ достаточно, чтобы отличить индивидуальность, но въ нихъ не можетъ проявиться никакая особенность личности. Для физіономиста нѣмыя черты вовсе не лишены значенія, потому что онъ стремится узнать не только то, что человѣкъ дѣлаетъ самъ изъ себя, но и то, что природа сдѣлала для него и противъ него.

Не такъ легко указать на границы, гдѣ черты перестаютъ быть нѣмыми и становятся говорящими. Одинаково дѣйствующая образующая сила и неподлежащій законамъ аффектъ безпрерывно оспариваютъ другъ у друга свои владѣнія; и то, что природа создала въ своей неутомимой спокойной дѣятельности, то часто разрушается свободой, которая, какъ вздымающійся потокъ, выступаетъ изъ береговъ. Дѣятельный духъ распространяетъ свое вліяніе на всѣ движенія тѣла и, наконецъ косвеннымъ образомъ, силой игры симпатическихъ движеній, мѣняетъ твердо установленныя формы природы, недоступныя для воли. Въ такомъ человѣкѣ всѣ черты становятся въ концѣ концовъ характерными, какъ мы это часто замѣчаемъ на лицахъ, всѣ черты которыхъ выработаны долгой жизнью, необычайной судьбой и дѣятельнымъ духомъ. Пластической природѣ принадлежитъ въ такихъ формахъ только то, что въ нихъ есть видового, а вся индивидуальность выполненія принадлежитъ самой личности; поэтому совершенно справедливо говорятъ, что въ такомъ человѣкѣ все—душа. Напротивъ того, въ плоскомъ, лишенномъ всякой выразительности строеніи вышколенныхъ послѣдователей правилъ (правила хотя и сдерживаютъ чувственность, но не могутъ пробудить человѣческую сущность) виденъ только перстъ природы. Не занятая душа скромный гость въ своемъ тѣлѣ, спокойный мирный сосѣдъ образовательной силы, предоставленной самой себѣ. Ни напряженная мысль, ни страсть не нарушаютъ спокойнаго теченія физической жизни; строеніе никогда не подвергается опасности со стороны игры, растительную жизнь не тревожитъ свобода. Такъ какъ глубокое спокойствіе духа не требуетъ значительнаго потребленія силъ, то издержки никогда не превышаютъ прихода, а скорѣе, напротивъ того, излишекъ всегда останется на сторонѣ общей наличности животныхъ силъ. За скромное вознагражденіе счастьемъ, которое она ему выдѣляетъ, духъ становится аккуратнымъ управляющимъ природы и вся его слава въ томъ, чтобы вести въ порядкѣ счетную книгу природы. Такимъ образомъ будетъ производиться то, что организмъ всегда можетъ произвести, и будетъ процвѣтать все, что касается пропитанія и продолженія рода. Такое счастливое согласіе между закономъ необходимости въ природѣ и свободой можетъ быть только благопріятнымъ для архитектонической красоты, и въ этомъ случаѣ именно

она проявляется во всей свой чистотѣ. Но общія силы природы ведутъ, какъ извѣстно вѣчную войну съ частными или органическими, и самая искусная техника осиливается въ концѣ концовъ силой сцѣпленія и силой тяготѣнія. Поэтому красота строенія, поскольку она только произведеніе природы, имѣетъ опредѣленные періоды разсцвѣта, зрѣлости и упадка; игра можетъ только ускорить ихъ наступленіе, но никогда не задержать, и она кончается обыкновенно тѣмъ, что масса постепенно завладѣваетъ формой, и живая образовательная сила уготовляетъ сама себѣ могилу въ запасенной матеріи *).

*) Поэтому большей частью и наблюдается, что подобныя красоты строенія уже въ среднемъ возрастѣ замѣтно грубѣютъ отъ тучности, такъ что вмѣсто прежнихъ едва намѣченныхъ нѣжныхъ линій кожи появляются впадины и вздутыя складки, что вѣсъ тѣла постепенно мѣняетъ формы, и очаровательная, разнообразная игра прекрасныхъ линій на поверхности теряется въ однообразно вздувающемся покровѣ жира. Природа отнимаетъ то, что она дала.

Я замѣчу попутно, что нѣчто подобное происходитъ иногда и съ геніемъ, который вообще по своему происхожденію, какъ и своимъ дѣйствіямъ имѣетъ много общаго съ архитектонической красотой. Подобно ей, геній тоже только созданіе природы и такова превратность человѣческихъ сужденій, что люди выше всего цѣнятъ то, что не можетъ быть достигнуто никакимъ подражаніемъ образцамъ и никакими заслугами, такъ что красота болѣе цѣнится, чѣмъ миловидность, геній больше, чѣмъ выработанная сила ума. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ любимцы природы при всѣхъ ихъ капризахъ (которые нерѣдко вызываютъ къ нимъ заслуженное презрѣніе) считаются въ извѣстномъ смыслѣ аристократами по рожденію, высшей кастой, потому что ихъ качества обусловлены самой природой и стоятъ внѣ всякаго выбора.

Но такая же судьба, какая ожидаетъ архитектоническую красоту, если она своевременно не постарается выбрать себѣ въ граціи опору и замѣстительницу, предстоитъ и генію, если онъ не укрѣпилъ свою силу принципами, вкусомъ и знаніями. Если полученный имъ даръ заключается въ живой и цвѣтущей фантазіи (а природа не можетъ дать ничего дурного, кромѣ чувственныхъ качествъ), то онъ долженъ во-время позаботиться о томъ, чтобы укрѣпить за собой это двусмысленное наслѣдіе тѣмъ единственнымъ способомъ, посредствомъ котораго природный даръ становится достояніемъ духа; т. е. онъ долженъ, говорю я, создать форму для матеріи, ибо духъ не можетъ назвать своимъ ничего кромѣ формъ. Если выросшая въ дикомъ состояніи пышная сила природы не подчинена соотвѣтственной силѣ разума, то она перерастаетъ свободу духа и также задушитъ ее, какъ въ архитектонической красотѣ масса въ концѣ концовъ можетъ задавить форму.

Опытъ, кажется мнѣ, въ достаточной мѣрѣ подтверждаетъ это, въ особенности на примѣрѣ тѣхъ поэтическихъ геніевъ, которые прославились раньше, чѣмъ достигли зрѣлаго возраста, и въ которыхъ какъ это часто бываетъ съ красотой, весь талантъ заключается въ молодости. А какъ только миновала краткая весна и мы освѣдомляемся о плодахъ, на которые была надежда, то они оказываются расплывчатыми и часто искалѣченными порожденіями слѣпой, ложно направленной образовательной потребности. Какъ разъ въ томъ случаѣ, когда, казалось бы, матерія должна облагородиться и стать формой и когда образующій духъ вложилъ идеи въ воззрѣнія, получилось такое же подчиненіе матеріи, какъ и въ другихъ произведеніяхъ природы, и многообѣщанные метеоры становятся самыми обыкновенными свѣтильниками—если даже не гораздо меньшими. Поэтизирующее воображеніе часто даже совершенно опускается, возвращаясь къ матеріи, изъ которой оно освободилось, и не отказывается придти на помощь природѣ въ другомъ болѣе прочномъ твореніи, если созиданіе въ области поэзіи уже не оказывается удачнымъ.

Но все-таки, хотя ни одна отдѣльная нѣмая черта не служитъ выраженіемъ духа, но въ цѣломъ то, что есть нѣмого въ строеніи, можетъ быть характернымъ, такъ же и на томъ же самомъ основаніи, какъ характерны въ строеніи говорящія въ чувственномъ смыслѣ черты. Духъ долженъ быть дѣятельнымъ и обладать нравственнымъ чувствомъ, и, слѣдовательно, если слѣдовъ этого въ строеніи нѣтъ, то виноватъ въ этомъ духъ. Поэтому, если чистое и прекрасное отраженіе назначенія человѣка въ архитектурѣ его строенія сразу внушаетъ намъ расположеніе и благоговѣніе къ высшему разуму, какъ первопричинѣ явленія, то оба ощущенія лишь до тѣхъ поръ останутся въ чистомъ, несмѣшанномъ видѣ, пока мы разсматриваемъ человѣка только какъ произведеніе природы. Когда же мы видимъ въ немъ нравственную личность, мы вправѣ ожидать отраженія этого въ его внѣшности, и если наше ожиданіе обмануто, то неизбѣжно воспослѣдуетъ презрѣніе. Мы почитаемъ исключительно органическія существа, какъ созданія, человѣкъ же можетъ внушать намъ уваженіе только какъ творецъ (т. е. тѣмъ, что онъ самъ причина своего состоянія). Онъ не долженъ подобно остальнымъ существамъ, одареннымъ чувствами, только отражать лучи чужого разума, хотя бы это былъ даже божественный разумъ, а долженъ, какъ солнечное тѣло, блестѣть своимъ собственнымъ свѣтомъ.

Человѣческое строеніе, слѣдовательно, должно быть говорящимъ; это требованіе предъявляется къ нему съ той минуты, какъ сознанію выясняется нравственное назначеніе человѣка; но вмѣстѣ съ тѣмъ, это должно быть строеніе, говорящее въ

его пользу, т. е. оно должно выражать ощущенія, соотвѣтствующія его назначенію, т. е. его нравственную изощренность. Это требованіе, которое разумъ предъявляетъ къ человѣческому строенію.

Но человѣкъ, какъ явленіе, въ то же время и объектъ чувственныхъ воспріятій. Въ томъ, что удовлетворяетъ нравственное чувство и эстетическое не согласно отступить отъ своихъ требованій, и согласно съ идеей не должно быть принесено никакой жертвы въ явленіи. Такъ что съ той же строгостью, съ которой разумъ требуетъ выраженія нравственной идеи, съ такой же непоколебимостью глаза требуютъ красоты. Такъ какъ оба эти требованія предъявляются къ одному и тому же объекту, хотя и различными инстанціями сужденія, то одна и та же причина должна обусловливать удовлетвореніе ихъ. То же самое душевное состояніе человѣка, въ которомъ онъ наиболѣе способенъ исполнять свое назначеніе, какъ нравственная личность, должна допускать и такое выраженіе, которое наиболѣе благопріятно ему, только какъ явленію. Другими словами, его нравственная изощренность должна выражаться въ граціи.

Но тутъ именно возникаетъ большое затрудненіе. Уже изъ самаго понятія о движеніяхъ, выражающихъ нравственныя свойства, явствуетъ, что у нихъ должна быть нравственная основа, лежащая внѣ чувственнаго міра. Точно также изъ понятія о красотѣ явствуетъ, что происхожденіе ея можетъ быть только чувственнымъ и что она должна быть вполнѣ свободнымъ созданіемъ природы или во всякомъ случаѣ казаться таковымъ. Но, если первооснова движеній, говорящихъ о нравственности, должна необходимо находиться внѣ, а первопричина красоты столь же неизбѣжно находиться внутри чувственнаго міра, то грація, которая должна соединять ихъ, какъ бы содержитъ въ себѣ явное противорѣчіе.

Чтобы уничтожить это противорѣчіе, нужно, слѣдовательно, предположить, „что нравственная причина въ душѣ, составляющая основу граціи, необходимо вызываетъ въ зависящей отъ нея чувственности именно то состояніе, которое заключаетъ въ себѣ природныя условія прекраснаго". Прекрасное предполагаетъ, какъ и все чувственное, извѣстныя условія и, поскольку оно прекрасное, тоже только чувственныя условія. Но такъ какъ духъ (по непроницаемому для насъ закону) тѣмъ состояніемъ, въ которомъ онъ самъ находится, опредѣляетъ и состояніе сопутствующей ему природѣ, и такъ какъ состояніе нравственной изощренности и есть въ немъ какъ разъ то, которымъ выполняются чувственныя условія прекраснаго, то онъ этимъ создаетъ возможность прекраснаго, и только въ этомъ заключается его дѣйствіе. Но дѣйствительное осуществленіе красоты является уже слѣдствіемъ чувственныхъ условій, т. е. свободнымъ созданіемъ природы. Но такъ какъ нельзя считать природу совершенно свободной въ произвольныхъ движеніяхъ, въ которыхъ она служитъ только средствомъ для достиженія цѣли, такъ какъ въ непроизвольныхъ движеніяхъ, выражающихъ нравственное состояніе, она опять-таки не можетъ быть названа свободной, то свобода, съ которой она все-таки проявляетъ себя, несмотря на свою зависимость отъ воли, является допущеніемъ со стороны духа. Можно такимъ образомъ сказать, что грація—милость, оказываемая нравственнымъ началомъ чувственному, подобно тому, какъ архитектоническая красота можетъ считаться дозволеніемъ природы, даннымъ ею ея технической формѣ.

Да будетъ мнѣ позволено пояснить это образнымъ представленіемъ. Когда монархическое государство управляется такъ, что, хотя все совершается по волѣ единовластнаго правителя, все же каждый гражданинъ можетъ убѣдить себя, что онъ живетъ, какъ хочетъ, и повинуется только своимъ склонностямъ, то это называютъ либеральнымъ правленіемъ. Но ему бы съ трудомъ рѣшились дать это названіе, если бы или правитель настаивалъ на своей волѣ противъ желаній гражданина, или гражданинъ настаивалъ на своихъ желаніяхъ, дѣйствуя противъ воли правителя; ибо въ первомъ случаѣ правительство не было бы либеральнымъ, во второмъ оно бы совершенно не было правительствомъ.

Не трудно примѣнить это къ человѣческому строенію, находящемуся подъ управленіемъ духа. Если духъ такъ проявляется въ подчиненной ему чувственной природѣ, что она строго исполняетъ его волю и вполнѣ выражаетъ его ощущенія, не отступая при этомъ отъ исполненія требованій, которыя чувство предъявляетъ къ ней какъ къ явленіямъ, то этимъ порождается то, что мы называемъ граціей. Но мы одинаково бы назвали граціей какъ насильствен-

человѣческая сущность—низшей природой. Сіяющіе свѣтомъ души глаза тускнѣютъ, или выглядываютъ тупымъ стекляннымъ взоромъ изъ орбитъ, нѣжный румянецъ щекъ сгущается въ грубый и однообразный штукатурный цвѣтъ, ротъ становится простымъ отверстіемъ, потому что форма его опредѣляется уже не дѣйствующими, а угасающими силами, голосъ и превратившееся въ стонъ дыханіе служатъ уже только средствомъ облегчить отяжелѣвшую грудь, въ нихъ не участвуетъ душа, а сказывается только механическая потребность. Короче говоря, при той свободѣ, которую чувственность захватываетъ сама, не можетъ быть и рѣчи о красотѣ. Свобода формъ, которую нравственная воля только ограничила, покорена грубой матеріей; ея область расширяется всѣмъ тѣмъ, что отнимается у воли.

Человѣкъ, находящійся въ такомъ состояніи, возмущаетъ не только нравственное чувство, которое неотступно требуетъ отраженія человѣческой сущности во внѣшнемъ видѣ человѣка, но онъ возмущаетъ и эстетическое чувство: оно не удовлетворяется одной только матеріей, а непремѣнно ищетъ свободнаго наслажденія въ формѣ; оно тоже съ отвращеніемъ отвернется отъ такого зрѣлища, которое доставляетъ удовлетвореніе только грубому влеченію.

Первое изъ этихъ соотношеній между двумя началами въ человѣкѣ напоминаетъ монархію, гдѣ строгость властителя держитъ въ уздѣ всякое свободное побужденіе; второе напоминаетъ дикую охлократію, гдѣ гражданинъ, отказывая въ повиновеніи законному властителю, не становится однако свободнымъ, подобно тому, какъ человѣческое строеніе не становится прекраснымъ, подавляя нравственную самодѣятельность; напротивъ того, онъ подпадаетъ еще болѣе грубому деспотизму черни такъ же, какъ въ тѣлѣ форма подпадаетъ подъ власть массы. Подобно тому, какъ свобода занимаетъ средину между гнетомъ закона и анархіей, такъ и красота занимаетъ срединное положеніе между достоинствомъ, какъ выраженіемъ власти духа, и похотью, какъ выраженіемъ власти инстинктовъ.

Но если ни власть разума надъ чувственностью, ни власть чувственности надъ разумомъ не совмѣстимы съ красотой выраженія, то (четвертаго случая не можетъ быть) такое состояніе души, въ которомъ разумъ и чувственность—долгъ и влеченіе—согласуются между собой и будетъ условіемъ, создающимъ красоту игры.

Для того, чтобы стать объектомъ влеченія, повиновеніе разуму должно создать причину удовольствія, потому что влеченіе порождается только удовольствіемъ или болью. Обыкновенно, впрочемъ, происходитъ какъ разъ обратное, и удовольствіе становится причиной разумныхъ дѣйствій. Тѣмъ, что и мораль перестала говорить такимъ языкомъ, мы обязаны безсмертному автору „Критики Разума“; его слава въ томъ, что онъ вывелъ основы здраваго разума изъ разума философствующаго.

Но въ томъ видѣ, въ какомъ эти принципы представлены этимъ мудрецомъ, а также и другими, влеченія являются очень двусмысленной спутницей нравственнаго чувства, а удовольствіе опаснымъ придаткомъ къ нравственнымъ цѣлямъ. Хотя стремленіе къ счастью и не владѣетъ слѣпо человѣкомъ, все же оно можетъ желать участвовать въ дѣлѣ нравственнаго выбора и можетъ этимъ повредить чистотѣ воли, которая должна всегда слѣдовать закону, а никогда не природному влеченію. Поэтому для полной увѣренности въ томъ, что влеченіе не участвовало въ нравственномъ рѣшеніи, предпочтительнѣе, чтобы оно находилось во враждѣ, а не въ согласіи съ законами разума; иначе легко могло бы случиться, что только ходатайство влеченія доставило-бы разуму власть надъ волей. Ибо такъ какъ при нравственномъ образѣ дѣйствій наибольшее значеніе имѣетъ не законность поступковъ, а исключительно сознаніе долга въ намѣреніяхъ, то совершенно справедливо не придаютъ никакой цѣны тому, что для законности поступковъ гораздо лучше, чтобы влеченіе совпадало съ долгомъ. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что одобреніе чувственности хотя и не внушаетъ сомнѣній относительно согласованія воли съ долгомъ, все же не въ состояніи быть ручательствомъ за исполненіе долга. Чувственное выраженіе этого одобренія, т. е. грація, никогда не можетъ такимъ образомъ быть достаточнымъ и твердымъ свидѣтельствомъ нравственности поступка, въ которомъ она проявляется; изъ прекраснаго проявленія намѣреній или дѣйствія нельзя дѣлать выводовъ о его нравственномъ значеніи.

До сихъ поръ я, кажется, нахожусь въ полномъ единогласіи съ ригористами морали, но я надѣюсь, что все же не дѣ-

лаюсь вольнодумцемъ, если пытаюсь настаивать на требованіяхъ чувственности, которыя въ области чистаго разума и въ области нравственнаго закона совершенно отрицаются, въ области явленій и въ примѣненіи къ жизни долга нравственности.

Настолько же, насколько я увѣренъ — и именно вслѣдствіе моей увѣренности, — что участіе склонности въ свободномъ дѣйствіи совершенно не доказываетъ, что это дѣйствіе соотвѣтствуетъ долгу, все же я считаю возможнымъ именно отсюда вывести заключеніе, что нравственное совершенство человѣка можетъ выясниться именно только этимъ участіемъ его склонности въ его нравственномъ образѣ дѣйствій. Назначеніе человѣка не въ совершеніи отдѣльныхъ нравственныхъ дѣйствій, а въ томъ, чтобы быть нравственнымъ существомъ. Ему предписана добродѣтель, а не добродѣтели, а добродѣтель не что иное, какъ „влеченіе къ долгу". Поэтому, насколько бы въ объективномъ смыслѣ слова дѣйствія по влеченію и дѣйствія изъ чувства долга ни были бы противоположны одно другому, все же, въ субъективномъ отношеніи это не такъ, и человѣку не только дозволяется, но и вмѣняется въ долгъ согласованіе удовольствія съ долгомъ: онъ долженъ съ радостью слѣдовать своему разуму. Не для того, чтобы отбрасывать ее, какъ бремя, или снимать ее съ себя, какъ грубую оболочку, а, напротивъ, для того, чтобъ сочетать ее какъ можно тѣснѣе со своимъ высшимъ *я*, къ его чистой духовной природѣ присоединена чувственная. Уже тѣмъ, что она сдѣлала его разумно чувственнымъ существомъ, т. е. человѣкомъ, природа обязала его не разъединять того, что она соединила, и не забывать въ самыхъ чистыхъ выраженіяхъ своей божественной стороны и чувственной, не основывать торжества одного начала на подавленіи другого. Но лишь тогда нравственный образъ мыслей становится надежнымъ, когда онъ исходитъ изъ всей суммы человѣческихъ свойствъ, какъ соединенное дѣйствіе обоихъ принциповъ, когда онъ становится природой человѣка, такъ какъ пока нравственное начало еще употребляетъ насиліе, до тѣхъ поръ естественное влеченіе будетъ противопоставлять ему свою силу. Когда врагъ только повергнутъ, онъ можетъ снова подняться, и только примиренный врагъ въ самомъ дѣлѣ побѣжденъ.

Въ Кантовской нравственной философіи идея долга изложена съ суровостью, которая отпугиваетъ отъ него всѣхъ граціей, и легко можетъ совратить слабый разумъ на исканіе нравственнаго совершенства въ мрачномъ монашескомъ аскетизмѣ. Какъ ни старался великій міровой мудрецъ оградить себя отъ такого лжетолкованія, наиболѣе возмутительнаго изъ всѣхъ для его яснаго и свободнаго духа, все же онъ, какъ мнѣ кажется, самъ далъ поводъ къ нему (что, быть можетъ, было неизбѣжно въ виду преслѣдуемыхъ имъ цѣлей) своимъ строгимъ и рѣзкимъ противопоставленіемъ обоихъ дѣйствующихъ на волю человѣка принциповъ. По существу для мыслящихъ людей, которые доступны убѣжденіямъ, это уже должно быть безспорнымъ послѣ приведенныхъ Кантомъ доказательствъ, и я не понимаю, какъ лучше не отказаться отъ того, чтобы быть человѣкомъ, чѣмъ добиваться другого результата отъ разума въ этомъ отношеніи. Но при всей чистотѣ его изслѣдованія истины, при всемъ его стараніи пользоваться только объективными доказательствами, въ изложеніи найденной имъ истины онъ все же, кажется, руководствовался болѣе субъективнымъ соображеніемъ, что, какъ мнѣ кажется, можно легко объяснить условіями времени, въ которомъ онъ жилъ.

Въ господствовавшей въ его время морали, въ томъ видѣ, какъ она проявлялась въ теоріи и на практикѣ, Канта съ одной стороны долженъ былъ возмущать грубый матеріализмъ нравственныхъ принциповъ, которыми недостойная снисходительность философовъ потворствовала слабохарактерности, отличавшей то время. Кромѣ того, вниманіе его долженъ былъ возбудить не менѣе опасный принципъ совершенствованія, который во имя идеи отвлеченнаго мірового совершенства не стѣснялся выборомъ средствъ. Поэтому онъ направилъ наибольшую силу своихъ доказательствъ туда, гдѣ видѣлъ наибольшую опасность и гдѣ реформа казалась наиболѣе необходимой; онъ поставилъ себѣ непремѣнной задачей безпощадно преслѣдовать чувственность какъ въ томъ случаѣ, когда она дерзко насмѣхается надъ нравственнымъ чувствомъ, такъ и тогда, когда она скрывается подъ внушительнымъ покровомъ похвальныхъ нравственныхъ цѣлей, какими въ особенности ее умѣетъ облекать извѣстнаго рода восторженный монашескій духъ. Не просвѣщеніе невѣжества, а исправленіе извращенности было его цѣлью. А

для того, чтобы исцѣлить, нужно было потрясать, а не заискивать и уговаривать, и чѣмъ рѣзче онъ противопоставлялъ принципъ истины господствующимъ жизненнымъ правиламъ, тѣмъ болѣе онъ могъ надѣяться вызвать размышленія объ этомъ уклоненіи отъ истины. Онъ былъ Дракономъ своего времени, потому что оно не было достойно Солона и не вняло бы ему. Изъ святилища чистаго разума онъ вынесъ невѣдомый еще и все же столь извѣстный законъ нравственности, выставилъ его во всей его святости передъ недостойнымъ вѣкомъ и мало заботился о томъ, что не всѣ взоры вынесутъ его сіяніе.

Но чѣмъ заслужили родныя дѣти, чтобы онъ заботился только о слугахъ? Развѣ изъ-за того, что часто нечистыя влеченія присваиваютъ себѣ незаслуженное названіе добродѣтели, слѣдуетъ относиться съ подозрѣніемъ къ безкорыстному аффекту въ самомъ благородномъ сердцѣ? Если разслабленное нравственное чувство хотѣло бы внести снисходительность въ законъ разума и сдѣлать его такимъ образомъ игрушкой своихъ удобствъ, то слѣдуетъ ли изъ-за этого вносить въ этотъ законъ непоколебимость, которая превращаетъ самое мощное выраженіе нравственной свободы только въ нѣсколько болѣе почетное рабство? Развѣ истинно нравственный человѣкъ имѣетъ болѣе свободный выборъ между самоуваженіемъ и самопрезрѣніемъ, чѣмъ рабъ чувственности между удовольствіемъ и болью? Развѣ тамъ меньше обязательности для чистой воли, чѣмъ здѣсь для испорченной? Развѣ нужно было уже тѣмъ, что нравственному закону придана императивная форма, обвинить и унизить человѣчество, превративъ самое высокое доказательство его величія въ свидѣтельство его хрупкости? Какъ можно было избѣгнуть, установивъ форму императива, чтобы велѣніе, которое человѣкъ даетъ самъ себѣ, какъ разумному существу, и которое слѣдовательно обязываетъ только его одного и поэтому совмѣстимо съ чувствомъ свободы, не казалось бы вынесеннымъ извнѣ положительнымъ закономъ — а оно не менѣе кажется таковымъ вслѣдствіе радикальнаго стремленія человѣка (какъ его въ этомъ обвиняютъ) противодѣйствовать закону. Для нравственныхъ истинъ, конечно, неудобно имѣть противъ себя ощущенія, въ которыхъ человѣкъ можетъ признаться не краснѣя. Но какъ могутъ мириться ощущенія красоты и свободы съ суровымъ закономъ, который управляетъ человѣкомъ черезъ посредство страха, а не довѣрія, который разъединяетъ то, что отъ природы предназначено быть объединеннымъ, и только тѣмъ укрѣпляетъ свою власть надъ одной частью человѣческаго существа, что возбуждаетъ недовѣріе въ другой. Человѣческая природа въ дѣйствительности гораздо болѣе объединенное цѣлое, чѣмъ философу, который можетъ добиться чего либо только расчлененіемъ, дозволяется представить ее. Разумъ никогда не можетъ считать недостойными себя аффекты, которые наполняютъ сердце радостью, и человѣкъ не можетъ подняться въ своемъ собственномъ уваженіи въ то время, какъ онъ нравственно падаетъ. Если бы въ области нравственности чувственная природа была всегда подавленнымъ, а не соучаствующимъ началомъ, то какъ бы она могла отдать весь пламень своихъ чувствъ на торжество, празднуемое надъ нею самой? Какъ бы она могла съ такой живостью участвовать въ самосознаніи чистаго духа, если бы она въ концѣ концовъ не была въ состояніи такъ тѣсно примкнуть къ нему, что даже аналитическій разумъ не можетъ безъ насилія отдѣлить ее отъ него?

Воля и помимо того имѣетъ болѣе непосредственную связь съ способностью чувствовать, чѣмъ съ познавательной способностью, и во многихъ случаяхъ было бы нехорошо, если бы воля должна была бы сначала справляться съ рѣшеніями чистаго разума. Я не могу не отнестись съ предубѣжденіемъ къ человѣку, который такъ мало можетъ довѣриться голосу своихъ влеченій, что долженъ каждый разъ провѣрять ихъ принципами морали. Мы, напротивъ того, болѣе уважемъ человѣка, если онъ можетъ съ нѣкоторой увѣренностью слѣдовать своимъ влеченіямъ, не опасаясь, что они увлекутъ его на ложный путь, ибо это доказываетъ, что оба начала достигли въ немъ того объединенія, которое и составляетъ печать завершенности въ человѣческой сущности, т. е. то, что мы разумѣемъ подъ прекрасной душой.

Мы называемъ душу прекрасной, когда нравственное чувство настолько проникло во всѣ ощущенія человѣка, что оно можетъ безъ опасенія предоставить аффекту управленіе волей и никогда не подвергается опасности очутиться въ противорѣчіи съ рѣшеніями воли. Поэтому въ прекрасной душѣ не отдѣльныя дѣйствія нравственны,

туръ, представлять собой гармоничное цѣлое и проявлять въ дѣйствіи полноту своей человѣческой сущности. Но эта красота характера, самый зрѣлый плодъ его гуманности, только идеалъ, къ достиженію котораго онъ долженъ стремиться съ неустаннымъ стараніемъ, но котораго онъ никогда не можетъ вполнѣ достигнуть, какія бы усилія онъ ни дѣлалъ.

Причина, препятствующая осуществленію этого идеала, заключается въ неизмѣнной организаціи его натуры; въ физическихъ условіяхъ, необходимыхъ для его существованія.

Для того чтобы обезпечить свое существованіе въ чувственномъ мірѣ, зависимомъ отъ естественныхъ условій, человѣкъ (какъ существу, способному произвольно измѣняться, ему нужно самому заботиться о своей сохранности) долженъ былъ быть приспособленнымъ къ дѣйствіямъ, которыми обезпечиваются физическія условія его существованія, и которыя могутъ снова возстановить эти условія, если они были нарушены. Природа, которая въ своихъ растительныхъ произведеніяхъ принимаетъ эту заботу на себя, должна была передать ее въ человѣческихъ организмахъ человѣку; но все-же исполненіе такой настоятельной потребности, отъ которой зависитъ все существованіе человѣка и его рода, не могло быть вполнѣ предоставлено его сомнительному усмотрѣнію. Поэтому природа взяла на себя въ этой области, относящейся къ ней по содержанію, заботу и о формѣ и проявляетъ это въ томъ, что внесла законъ необходимости въ рѣшенія воли. Такъ образовалось природное влеченіе, которое есть не что иное, какъ законъ необходимости, проявляющійся черезъ посредство ощущеній.

Природное влеченіе осаждаетъ способность чувствованія удвоенной силой боли и удовольствія; боли, когда оно требуетъ удовлетворенія, удовольствія, когда оно находитъ удовлетвореніе.

Такъ какъ у закона необходимости ничего нельзя отвоевать, то человѣкъ, несмотря на свою свободу, долженъ ощущать лишь то, что ему дозволяетъ ощущать природа, и сообразно съ тѣмъ, состоитъ ли это ощущеніе въ боли или въ удовольствіи, у него должны тоже неминуемо воспослѣдовать отвращеніе или желаніе. Въ этомъ отношеніи онъ вполнѣ равенъ животному, и самый твердый стоикъ такъ же чувствителенъ къ голоду и такъ же живо ненавидитъ его, какъ червякъ у его ногъ.

Вслѣдъ за этимъ однако наступаетъ огромное различіе. За влеченіемъ и отвращеніемъ у животнаго столь-же неизбѣжно слѣдуетъ дѣйствіе, какъ желаніе слѣдуетъ за ощущеніемъ и ощущеніе за внѣшнимъ впечатлѣніемъ. Въ мірѣ животномъ это составляетъ непрерывную цѣпь, въ которой каждое звено неизбѣжно примыкаетъ къ другому. У человѣка есть еще одна инстанція, воля, которая, какъ сверхчувственная способность, не подчинена настолько ни закону природы, ни закону разума, чтобы не имѣть вполнѣ свободнаго выбора между слѣдованіемъ тому или другому. Животное должно стараться освободиться отъ страданій, человѣкъ же можетъ рѣшиться продолжать страдать.

Воля человѣка—возвышенное понятіе даже помимо ея примѣненія къ цѣлямъ нравственности. Уже только воля сама по себѣ возвышаетъ человѣка надъ животными, а нравственная воля возвышаетъ его до божественности. Но онъ долженъ сначала отказаться отъ той, чтобы приблизиться къ этой; поэтому важнымъ шагомъ къ нравственной свободѣ воли является уже упражненіе только воли посредствомъ нарушенія закона необходимости и въ безразличныхъ вещахъ.

Велѣнія природы дѣйствительны только до границъ воли, гдѣ они кончаются и гдѣ начинаются велѣнія разума. Воля стоитъ здѣсь между двумя законодательными властями, и только отъ нея самой зависитъ, отъ которой изъ нихъ получать законы; но отношеніе ея къ нимъ обѣимъ не одинаково. Какъ сила природы воля одинаково свободна относительно и той и другой, т. е. она не должна непремѣнно слѣдовать ни той, ни другой. Но, какъ нравственная сила, воля не свободна, ей слѣдуетъ быть на сторонѣ законовъ разума. Она не прикована ни къ одному изъ двухъ законовъ, но она связана съ закономъ разума. Она поэтому дѣйствительно пользуется своей свободой, когда дѣйствуетъ наперекоръ разуму, но пользуется ею недостойно, потому что, несмотря на свою свободу, воля все-таки включена въ предѣлы природы и, удовлетворяя только влеченію, не прибавляетъ ничего своего къ тому, что даетъ природа; желать только того, къ чему есть влеченіе, значитъ только осложнять влеченіе *).

*) Объ этомъ слѣдуетъ прочесть заслуживающую полнаго вниманія теорію воли во второй части «Писемъ» Рейнгольда.

Велѣнія природы, проявляющіяся во влеченіяхъ, могутъ разойтись съ велѣніями разума, сказывающимися въ принципахъ, когда влеченіе требуетъ для своего удовлетворенія дѣйствія, идущаго въ разрѣзъ съ нравственнымъ принципомъ. Въ этомъ случаѣ, неуклоннымъ долгомъ воли является подчиненіе требованій природы рѣшеніямъ разума, потому что законы природы связываютъ только относительно, а законы разума связываютъ во всякомъ случаѣ и совершенно безусловно.

Но природа настаиваетъ на своихъ правахъ, и такъ какъ ея требованія никогда не бываютъ произвольными, то она и не получивъ удовлетворенія, никогда не беретъ своихъ требованій назадъ. Такъ какъ начиная отъ первой причины, которая приводитъ ее въ движеніе, и до воли, въ которой кончается ея законодательная власть, все въ ней строго необходимо, то она не можетъ идти назадъ и уступить, а должна идти впередъ и дѣйствовать наступательно на волю, отъ которой зависитъ удовлетвореніе ея потребностей. Иногда, впрочемъ, кажется, что она какъ будто сокращаетъ свой путь и, не предъявляя сначала своего требованія волѣ, переходитъ черезъ непосредственную причинность къ дѣйствію, которымъ можетъ удовлетворить своей потребности. Въ подобномъ случаѣ, когда влеченію не было бы предоставлено волей свободное теченіе, а когда оно самовластно захватило бы свободу дѣйствія, человѣкъ былъ бы тоже только животнымъ: но очень сомнительно, чтобы такой случай былъ возможенъ и, даже если онъ возможенъ, чтобы слѣпая сила влеченія не была бы преступленіемъ со стороны воли.

Итакъ, сила влеченій настаиваетъ на удовлетвореніи и требуетъ отъ воли, чтобы она его ей доставила. Но воля должна заимствовать свои рѣшенія отъ разума и дѣйствовать только согласно съ тѣмъ, что разумъ позволяетъ или предписываетъ. Если воля дѣйствительно обращается къ разуму, прежде чѣмъ принять требованіе влеченія, то она дѣйствуетъ нравственно; если же она рѣшаетъ непосредственно, то она дѣйствуетъ чувственно *).

Итакъ, каждый разъ, когда природа ставитъ требованіемъ и хочетъ захватить врасплохъ волю слѣпой силой аффекта, волѣ слѣдуетъ заставить молчать голосъ природы до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ рѣшеніе разума. Будетъ ли разумъ за или противъ интересовъ чувственности, это то, что воля не можетъ знать; но именно потому она должна такъ поступать относительно всякаго аффекта безъ исключенія и отказывать природѣ въ непосредственномъ соблюденіи причинности каждый разъ, когда дѣйствіе исходитъ изъ нея. Только тѣмъ, что онъ сокрушаетъ силу влеченій, которыя торопятся достигнуть удовлетворенія и хотѣли бы миновать инстанцію воли, человѣкъ и доказываетъ свою самостоятельность, а также то, что онъ нравственное существо, которое должно не только желать и чувствовать отвращеніе, но проявлять волю въ своихъ влеченіяхъ и отвращеніяхъ.

Но уже самый запросъ у разума является ограниченіемъ природы, которая въ своемъ собственномъ дѣлѣ можетъ быть компетентнымъ судьей, и не желаетъ, чтобы ея рѣшенія проходили черезъ какую либо иную внѣ ея лежащую инстанцію. Тотъ актъ воли, которымъ влеченія доводятся до суда нравственности, собственно говоря, противенъ природѣ, потому что онъ снова превращаетъ неизбѣжное въ случайное и предоставляетъ законамъ разума рѣшеніе относительно того, въ чемъ должны сказываться законы природы и въ чемъ они уже дѣйствительно сказались. Ибо такъ же, какъ чистый разумъ не считается въ своихъ нравственныхъ велѣніяхъ съ отношеніемъ чувствъ къ его рѣшеніямъ, такъ и природа въ своихъ велѣніяхъ не заботится объ одобреніи чистаго разума. Каждая изъ двухъ инстанцій имѣетъ другой законъ необходимости, который пересталъ бы уже быть закономъ, если бы одной изъ нихъ было дозволено вносить произвольныя измѣненія въ велѣнія другой. Поэтому и самый отважный духъ, какъ бы онъ ни противодѣйствовалъ чувственности, не можетъ подавить самое ощущеніе, самое влеченіе, а можетъ только отказать ему во вліяніи на рѣшенія своей воли; онъ можетъ обезоружить влеченіе нравственными средствами, но укротить его онъ можетъ лишь естественными средствами. Онъ можетъ своей самостоятельной силой отнять у закона природы вліяніе на свою волю, но въ этихъ законахъ онъ ни въ коемъ случаѣ не можетъ чего либо измѣнить.

*) Не слѣдуетъ смѣшивать этого вопроса воли у разума съ тѣмъ, когда она должна разобраться въ средствахъ удовлетворить влеченію. Здѣсь рѣчь идетъ не о томъ, какъ достигнуть удовлетворенія, а о томъ, слѣдуетъ ли допустить такое удовлетвореніе. Только это и относится къ области нравственности: первое же относится къ уму.

Итакъ, въ аффектахъ, въ которыхъ инициатива исходитъ отъ природы (влеченія) и въ которыхъ она стремится или совершенно обойти волю, или насильственно привлечь ее на свою сторону, нравственность характера можетъ обнаружиться только въ противодѣйствіи и можетъ только ограниченіемъ влеченія помѣшать влеченію нарушать свободу воли. Согласованіе съ закономъ разума возможно въ аффектѣ только черезъ противодѣйствіе требованіямъ природы. И такъ какъ природа никогда не беретъ обратно своихъ требованій изъ нравственныхъ соображеній, и слѣдовательно въ ней все остается попрежнему, какъ бы воля ни относилась къ ней, то не можетъ быть согласованія между влеченіемъ и долгомъ, между разумомъ и чувственностью, и человѣкъ не можетъ выступить въ этомъ случаѣ во всей цѣльной гармоніи своей природы, а долженъ исключительно сообразоваться съ разумомъ. Въ такихъ случаяхъ нельзя сказать, чтобъ его дѣйствіе было нравственно прекрасно, потому что въ красотѣ поступковъ необходимо должно участвовать влеченіе, которое здѣсь напротивъ того противодѣйствуетъ. Но въ его дѣйствіи есть нравственное величіе, потому что то, и только то велико, что свидѣтельствуетъ о побѣдѣ высшаго разумнаго начала надъ чувственнымъ.

Прекрасная душа должна такимъ образомъ превратиться въ аффектѣ въ возвышенную, и это вѣрный пробный камень, посредствомъ котораго можно отличить ее отъ добраго сердца или отъ добродѣтели, обусловленной темпераментомъ. Если въ человѣкѣ влеченіе только потому на сторонѣ справедливости, что справедливость, къ счастью, на сторонѣ влеченія, то природное влеченіе вполнѣ овладѣваетъ волей въ аффектѣ, и если нужна жертва, то объектомъ ея будетъ нравственность, а не чувственность. Если, напротивъ того, разумъ, какъ это свойственно прекрасному характеру, подчиняетъ влеченія долгу и только поручаетъ чувственности управлять рулемъ, то онъ въ ту же минуту отниметъ у чувственности власть, когда влеченіе злоупотребитъ оказаннымъ ему довѣріемъ. Добродѣтель темперамента опускается въ аффектѣ на степень простого созданія природы, а прекрасная душа поднимается до героизма и становится чисто интеллектуальной силой.

Власть нравственной силы надъ влеченіями составляетъ свободу духа, и въ явленіи она сказывается въ томъ, что мы называемъ чувствомъ достоинства.

Строго говоря, нравственная сила въ человѣкѣ не можетъ проявляться, такъ какъ сверхчувственное не можетъ стать чувственнымъ. Но косвеннымъ образомъ она можетъ открываться разуму въ чувственныхъ знакахъ, какъ это дѣйствительно и сказывается въ достоинствѣ человѣческаго строенія.

Возбужденное природное влеченіе сопровождается, какъ и нравственныя движенія сердца, движеніями въ тѣлѣ, которыя отчасти предшествуютъ волѣ, а отчасти, какъ исключительно симпатическія, совершенно не подчинены ея власти. Ибо такъ какъ ни чувства, ни желанія и отвращенія не зависятъ отъ произвола человѣка, то онъ не можетъ управлять движеніями, непосредственно съ ними связанными. Но влеченіе не останавливается на одномъ только желаніи: оно забѣгаетъ впередъ и, дѣйствуя съ настойчивостью, стремится найти удовлетвореніе, и если самостоятельный духъ не даетъ ему твердаго отпора, то оно предвосхититъ дѣйствія, которыя должны были бы зависѣть только отъ воли. Ибо инстинктъ самосохраненія неустанно борется, стараясь овладѣть законодательной властью въ области воли, и цѣль его заключается въ томъ, чтобы такъ же полновластно управлять человѣкомъ, какъ и животнымъ.

Итакъ, въ каждомъ аффектѣ, зажигающемся въ человѣкѣ подъ вліяніемъ инстинкта самосохраненія, мы находимъ движенія двоякаго рода и происхожденія: во-первыхъ, движенія, непосредственно исходящія изъ чувства и потому вполнѣ непроизвольныя, а во-вторыхъ, такія, которыя по своимъ свойствамъ должны были бы и могли бы быть произвольными, но которыя слѣпое природное влеченіе отвоевываетъ у свободы. Первыя относятся къ самому аффекту и потому необходимымъ образомъ съ нимъ связаны; вторыя болѣе соотвѣтствуютъ причинѣ и предмету аффекта и потому случайны, подлежатъ измѣненіямъ и не могутъ считаться несомнѣнными признаками его. Но такъ какъ оба рода движенія, какъ только опредѣляется объектъ, одинаково необходимы для природнаго влеченія, то оба они нужны для того, чтобы

цію скорѣе въ поведеніи (ἦθος), ибо только въ страданіи можетъ обнаружиться свобода души, и только въ дѣйствіи—свобода тѣла.

Такъ какъ достоинство есть выраженіе сопротивленія самостоятельнаго духа природному влеченію, и влеченіе понимается какъ сила, которой нужно сопротивляться, то въ томъ случаѣ, когда нѣтъ надобности бороться противъ подобной силы, достоинство становится смѣшнымъ, а если и не слѣдуетъ бороться ни противъ какой силы, то оно даже презрѣнно. Мы смѣемся надъ комедіантомъ (каковъ бы онъ ни былъ по сословію и положенію), который и въ безразличныхъ дѣйствіяхъ аффектируетъ извѣстнаго рода достоинство. Мы презираемъ мелкую душу, которая за исполненіе самаго обыденнаго долга, не исполнить котораго иногда было бы просто подлостью, вознаграждаетъ себя подчеркиваніемъ своего достоинства.

Вообще отъ добродѣтели требуется не столько достоинства, сколько граціи. Достоинство само собой входитъ въ понятіе о добродѣтели, которая уже по своему содержанію предполагаетъ власть человѣка надъ его влеченіями. При исполненіи нравственнаго долга подавленной и подчиненной будетъ скорѣе чувственность, въ особенности когда она приноситъ тяжелую жертву. А такъ какъ идеалъ человѣческаго совершенства требуетъ, чтобы нравственное и чувственное начала не находились въ разногласіи, а въ гармоніи, то идеалъ этотъ не согласуется съ достоинствомъ, такъ какъ оно, отражая въ себѣ разногласіе двухъ началъ, указываетъ или на индивидуальные предѣлы субъекта или на общіе предѣлы человѣчества.

Въ первомъ случаѣ, когда только по винѣ субъекта въ его дѣйствіяхъ склонность не совпадаетъ съ долгомъ, дѣйствіе всегда настолько же утратитъ нравственной цѣнности, насколько въ его выполненіе войдетъ борьба его, т. е. насколько въ проявленіи обнаружится достоинство. Ибо наше нравственное сужденіе примѣняетъ къ каждой отдѣльной особи мѣрило всего рода, и человѣку прощаются только предѣлы, поставленные всему человѣчеству.

Во второмъ случаѣ, когда дѣйствіе, вызванное долгомъ не можетъ быть согласовано съ требованіями природы, не нарушая понятія о человѣческой природѣ, противодѣйствіе влеченію становится необходимымъ и только видъ борьбы можетъ убѣдить насъ въ возможности побѣды. Въ этомъ случаѣ мы ожидаемъ, чтобы въ явленіи была выражена борьба, и не повѣримъ въ добродѣтель тамъ, гдѣ мы даже не видимъ человѣческой сущности. Поэтому, гдѣ дѣйствіе вызвано нравственнымъ долгомъ, требующимъ, чтобы чувственное начало страдало при этомъ, тамъ происходитъ нѣчто серьезное, а не игра, и легкомысленность въ выполненіи насъ бы скорѣе возмутила, чѣмъ удовлетворила; въ этомъ случаѣ должна проявляться не грація, а достоинство. Общій законъ состоитъ въ томъ, что человѣкъ долженъ совершать съ граціей все, что совершается въ предѣлахъ его человѣчности, и съ достоинствомъ все, исполненіе чего превышаетъ его человѣческую сущность.

Такъ же, какъ добродѣтели подобаетъ грація, такъ и во влеченіи должно быть достоинство. Влеченію такъ же присуща грація, какъ добродѣтели достоинство, потому что влеченіе уже по своему содержанію чувственно, враждебно всякому напряженію и благопріятствуетъ чувству свободы. И грубому человѣку присуща нѣкоторая доля граціи, когда его воодушевляетъ любовь или другой подобный аффектъ, и гдѣ же больше граціи чѣмъ у дѣтей, хотя они находятся вполнѣ во власти чувствъ. Гораздо болѣе слѣдуетъ опасаться, чтобы влеченіе не сопровождалось преобладаніемъ пассивности, не задушило самобытности духа и не вызвало бы общей подавленности. Поэтому, для того, чтобы стать достойнымъ уваженія—а уваженія заслуживаетъ лишь то, что исходитъ изъ нравственнаго источника,—влеченіе должно быть всегда соединено съ достоинствомъ. Поэтому любящій всегда требуетъ достоинства отъ предмета своей страсти. Только достоинство служитъ ему ручательствомъ въ томъ, что не потребность привлекла къ нему, а что его избрала свободная воля—что его не желали какъ предметъ, а цѣнятъ какъ личность.

Грація должна бытъ въ томъ, кто обязываетъ другого, а достоинство въ томъ, кого обязываютъ. Первый долженъ, чтобы не унизить другого преимуществомъ своего положенія, смягчить дѣйствіе своего незаинтересованнаго рѣшенія и дать емувидъ дѣйствія, вызваннаго влеченіемъ, чтобы такимъ образомъ представиться выигрывающей стороной. Второй же долженъ, для того чтобы не унизить въ своемъ лицѣ человѣчества (священный палладіумъ котораго

То, въ чемъ грація и достоинство соединены, насъ попеременно влечетъ и отталкиваетъ, влечетъ, поскольку мы духовныя существа, отталкиваетъ, по скольку мы чувственныя натуры.

Въ достоинствѣ намъ дается примѣръ подчиненія чувственнаго начала нравственному; слѣдовать этому примѣру для насъ законъ, но въ то же время это превышаетъ наши физическія силы. Борьба между природной потребностью и требованіями закона, истинность котораго мы признаемъ, напрягаетъ чувственность и будитъ чувство, которое называютъ уваженіемъ, и которое неразрывно связано съ достоинствомъ.

Въ граціи, напротивъ того, какъ въ красотѣ вообще, разумъ видитъ осуществленіе своихъ требованій въ чувственномъ мірѣ и пораженъ воплощеніемъ одной изъ своихъ идей въ явленіи. Это неожиданное совпаденіе случайнаго въ природѣ съ необходимымъ въ разумѣ будитъ чувство радостнаго одобренія (расположенія), освободительнаго для чувства, но для духа живительнаго и захватывающаго; оно влечетъ за собой привлекательность чувственнаго объекта. Эту привлекательность мы называемъ благоволеніемъ—любовью; это чувство неразрывно связано съ граціей и красотой.

Въ привлекательности (не миловидности, а возбужденіи чувственнаго влеченія, stimulus) чувству представляется чувственный объектъ, обѣщающій ему удовлетвореніе потребности, т. е. наслажденіе. Чувство поэтому стремится соединиться съ чувственнымъ и рождается желаніе, чувство, которое напрягаетъ чувственную способность, но на духъ дѣйствуетъ напротивъ того ослабляющимъ образомъ.

Про уваженіе можно сказать, что оно преклоняется передъ объектомъ, про любовь, что она склоняется къ нему, а про желаніе, что оно набрасывается на него. Въ уваженіи объектомъ является разумъ, а субъектомъ чувственная природа*). Въ любви объектъ принадлежитъ къ чувственному міру, субъектомъ же является нравственная природа. Въ желаніи и объектъ и субъектъ чувственнаго происхожденія.

Только одна любовь, такимъ образомъ, свободное чувство, потому что ея чистый родникъ проистекаетъ изъ источника свободы, изъ нашей божественной природы. Въ ней съ великимъ и высокимъ соразмѣряется уже не то, что въ насъ есть мелкаго и низменнаго, не чувственность, которая съ головокруженіемъ поднимаетъ взоры вверхъ, къ закону разума; напротивъ того, въ ней абсолютно великое видитъ свое подобіе въ граціи и красотѣ и находитъ себѣ удовлетвореніе въ нравственности; въ ней самъ законодатель, Богъ, живущій въ насъ, играетъ со своимъ собственнымъ подобіемъ въ чувственномъ мірѣ. Поэтому, въ любви душа освобождается, между тѣмъ какъ въ уваженіи она напряжена; въ любви нѣтъ ничего, что бы ставило

не возбуждающихъ никакихъ желаній въ чувствахъ, потому что они кажутся не созданными для страсти, а только включившими въ себя страсть». Въ другомъ мѣстѣ говорится: «душа проявила себя только подъ тихой поверхностью воды и никогда не выступала съ бурной порывистостью. Величайшая мука замкнута въ изображеніи страданія, и радость мелькаетъ на лицѣ Лейкотеи, какъ нѣжный вѣтерокъ, едва колеблющій листы».

Всѣ эти черты относятся къ достоинству, а не къ граціи, ибо грація не прячется, а идетъ намъ навстрѣчу; грація обнаруживается для чувствъ, и она не возвышенна, а прекрасна. Достоинство же есть то, что сдерживаетъ природу въ ея проявленіяхъ и придаетъ спокойствіе чертамъ даже въ страхѣ смерти и въ самыхъ тяжолыхъ страданіяхъ Лаокоона.

Гомъ впадаетъ въ то же заблужденіе, что насъ менѣе удивляетъ въ этомъ писателѣ. Онъ тоже включаетъ черты, свойственныя достоинству, въ понятіе о граціи, хотя и вполнѣ различаетъ грацію отъ достоинства. Его наблюденія обыкновенно правильны, и первыя правила, которыя онъ изъ нихъ выводитъ, вѣрны, но далѣе за нимъ слѣдовать нельзя. (Основы критики. II часть. Грація и достоинство).

*) Не слѣдуетъ смѣшивать уваженія съ благоговѣніемъ. Уваженіе (какъ чистое понятіе) касается отношенія чувственной природы къ требованіямъ чистаго практическаго разума вообще, помимо осуществленія въ дѣйствительности. «Сознаніе несоотвѣтствія высотѣ той идеи, которая для насъ является закономъ, называется уваженіемъ». (Кантъ, «Критика разсудочной способности»). Поэтому уваженіе вовсе не пріятное, а скорѣе тягостное ощущеніе. Это чувство, указывающее на отдаленность эмпирической воли отъ чистой. Неудивительно поэтому, что я вижу въ чувственной природѣ субъектъ уваженія, хотя уваженіе относится только къ области чистаго разума: ибо недостаточность для осуществленія закона можетъ относиться только къ чувственному міру.

Благоговѣніе, напротивъ того, предполагаетъ уже дѣйствительное исполненіе закона, и его испытываютъ не къ самому закону, а къ личности, которая дѣйствуетъ согласно ему. Поэтому, въ немъ есть нѣчто отрадное, такъ какъ выполненіе закона должно радовать разумное существо. Уваженіе заключаетъ въ себѣ элементъ насильственности, а благоговѣніе—болѣе свободное чувство. Но это происходитъ отъ любви, составляющей часть благоговѣнія. Уважать добро долженъ и негоднѣйшій изъ людей, но для того, чтобы благоговѣть передъ человѣкомъ, свершающимъ добро, нужно перестать быть негоднымъ.

лиманъ томится въ концѣ концовъ въ цѣпяхъ Роксоланы, а бурный духъ Отелло успокаивается, убаюканный кротостью Дездемоны.

Достоинство то же имѣетъ нѣсколько различныхъ степеней: тамъ, гдѣ оно приближается къ граціи и красотѣ, оно становится благородствомъ, а тамъ, гдѣ оно граничитъ съ ужаснымъ, оно становится величіемъ.

Высшая ступень граціи очарованіе, высшая ступень достоинства величіе. Въ очарованіи мы какъ бы теряемъ самихъ себя и входимъ въ предметъ, вызвавшій очарованіе. Высшее наслажденіе свободой граничитъ съ полной потерей ея, и упоеніе духомъ приближается къ опьяненію чувственной радостью. Величіе, напротивъ того, ставитъ передъ нами законъ, который заставляетъ насъ глядѣть вглубь самихъ себя. Мы опускаемъ глаза передъ открывшейся намъ божественностью, забываемъ все внѣ насъ и не чувствуемъ ничего, кромѣ тяжелаго бремени нашего собственнаго существованія.

Величіе есть только въ святости. Если въ человѣкѣ проявляется святое, то въ немъ есть величіе, и хотя бы мы даже не склоняли передъ нимъ колѣнъ, то все же нашъ духъ падетъ ницъ передъ нимъ. Но онъ сейчасъ же снова воспрянетъ, какъ только въ томъ, чему онъ поклоняется, виденъ будетъ полнѣйшій слѣдъ человѣческой вины, ибо только сравнительно великое не должно поражать нашъ духъ.

Власть сама по себѣ, какъ бы она ни была страшна и безгранична, не даетъ величія. Власть производитъ сильное впечатлѣніе только на чувственную сторону нашего существа, а величіе должно отнять свободу у духа. Человѣкъ, который можетъ подписать мой смертный приговоръ, все же не обрѣтаетъ тѣмъ самымъ величія въ моихъ глазахъ, если только я таковъ, какимъ долженъ быть. Его превосходство надо мной прекратится тогда, когда я захочу. Но, кто представляетъ своею личностью чистую волю, передъ тѣмъ я преклонюсь, если это возможно, еще и въ будущихъ мірахъ.

Грація и достоинство слишкомъ высоко цѣнятся, чтобы не вызвать въ тщеславіи и глупости стремленіе подражать имъ. Но та и другое достигаются лишь однимъ путемъ, а именно подражаніемъ намѣреніямъ, которыя въ нихъ сказываются. Все другое будетъ обезьянничаніемъ, и это тотчасъ же скажется въ преувеличенности подражанія.

Такъ же, какъ аффектація возвышенности превращается въ ходульность, такъ аффектація благородства становится претенціозностью, аффектація граціи жеманностью, аффектація достоинства важностью.

Истинная грація только уступаетъ и идетъ навстрѣчу, фальшивая, напротивъ того, расплывается. Истинная грація только щадитъ орудія произвольнаго движенія и не хочетъ ненужнымъ образомъ нарушать свободу природы; фальшивая грація не осмѣливается пользоваться надлежащимъ образомъ сердцемъ и орудіями воли, а для того, чтобы никоимъ образомъ не стать жесткой и тяжеловѣсной, она лучше жертвуетъ частью цѣли движенія или старается достигнуть ея окольными путями. Неуклюжій танцоръ употребляетъ въ менуэтѣ столько силы, какъ будто ему нужно вертѣть мельничное колесо, и дѣлаетъ такіе острые углы руками и ногами, какъ будто дѣло идетъ о геометрической точности; аффектированный же танцоръ будетъ такъ слабо выступать, точно онъ боится коснуться пола, и будетъ описывать руками и ногами только извилистыя линіи, хотя бы онъ вслѣдствіе этого не могъ двинуться съ мѣста. Фальшивая грація большей частью свойственна женщинамъ, хотя онѣ же преимущественно и обладаютъ настоящей, но нигдѣ фальшивая грація такъ не оскорбляетъ, какъ въ томъ случаѣ, когда она становится удочкой для возбужденія желаній. Улыбка истинной граціи превращается тогда въ самую противную гримасу, прекрасная игра взглядовъ, столь очаровательная, когда въ ней выражается истинное чувство, становится закатываніемъ глазъ, нѣжная модуляція голоса, столь неотразимая въ искреннихъ устахъ, становится заученной вибраціей, и вся музыка женскихъ чаръ превращается въ обманный нарядъ.

Аффектированную грацію чаще всего можно наблюдать въ театрахъ и на балахъ, а фальшивое достоинство въ кабинетахъ министровъ, а также и ученыхъ (въ особенности университетскихъ). Истинное достоинство довольствуется тѣмъ, что старается умѣрить господство аффекта, и ставитъ лишь тамъ предѣлы естественному влеченію въ произвольныхъ движеніяхъ, гдѣ оно хочетъ изображать хозяина; фальшивое же достоинство налагаетъ свою желѣзную волю и на произвольныя движенія, угнетаетъ нравственныя движенія, священ-

ныя для истиннаго достоинства, такъ же какъ и чувственныя, и уничтожаетъ всю мимическую игру души въ чертахъ лица. Оно не только строго относится къ противодѣйствующей, но и очень сурово обращается съ покорной природой: оно ищетъ своего смѣшного величія въ томъ, чтобы поработить, а тамъ, гдѣ это невозможно, въ томъ, чтобы скрыть природу. Оно, какъ бы давъ зарокъ непримиримой вражды ко всему природному, прячетъ тѣло въ длинныя складки одеждъ, скрывающихъ все строеніе человѣка, ограничиваетъ движенія членовъ тягостной обузой ненужныхъ прикрасъ и даже снимаетъ волосы, чтобы замѣнить даръ природы издѣліемъ искусства. Истинное достоинство, которое никогда не стыдится природы, а стыдится только грубости, остается и при сдержанности свободнымъ и открытымъ, такъ что сохраняется блескъ чувства въ глазахъ и ясность на выразительномъ лбѣ; важность же морщитъ лобъ, принимаетъ замкнутый и таинственный видъ, и тщательно, какъ актеръ, оберегаетъ выраженіе чертъ лица. Всѣ мускулы лица напряжены, всякая естественность выраженія исчезаетъ, и человѣкъ становится запечатаннымъ письмомъ. Но фальшивое достоинство имѣетъ нѣкоторое основаніе строго слѣдить за мимической игрой своихъ чертъ, потому что онѣ могли бы выдать то, чего не слѣдуетъ— предосторожность, въ которой, конечно, не нуждается истинное достоинство. Оно всегда только управляетъ природой, а не утаиваетъ въ ней ничего; въ фальшивомъ же достоинствѣ природа господствуетъ тѣмъ сильнѣе изнутри, чѣмъ болѣе она подчинена извнѣ *).

*) Существуетъ однако торжественность въ хорошемъ смыслѣ слова, и ею искусство можетъ пользоваться для своихъ цѣлей. Этого рода торжественность происходитъ не изъ претензіи на важность; ея намѣреніе въ томъ, чтобы подготовить душу къ чему-то важному. Когда должно произойти нѣчто производящее большое и глубокое впечатлѣніе и для поэта важно, чтобы ничто изъ этого не пропало, то онъ сначала настраиваетъ душу къ воспринятію его, удаляетъ все, отвлекающее вниманіе и возбуждаетъ въ воображеніи напряженное ожиданіе. Это отлично удается при помощи торжественности, которая состоитъ въ скопленіи множества подготовленій, цѣль которыхъ не видна, и въ намѣренномъ замедленіи развитія тамъ, гдѣ нетерпѣніе требуетъ быстроты. Въ музыкѣ торжественность создается медленнымъ однообразнымъ теченіемъ сильныхъ звуковъ: сила будитъ и напрягаетъ чувство, медленность задерживаетъ удовлетвореніе, и равномѣрность темпа не даетъ нетерпѣнію предвидѣть близость окончанія.

Торжественность очень способствуетъ впечатлѣнію величественности и возвышенности, и ею поэтому съ большимъ успѣхомъ пользуются для религіозныхъ обрядовъ и мистерій. Дѣйствіе колоколовъ, хораловъ и органа извѣстны; но есть торжественность и для глазъ; она заключается въ великолѣпіи, соединенномъ съ ужасомъ, какъ, напримѣръ, при похоронныхъ процессіяхъ и при всякихъ церемоніяхъ, въ которыхъ наблюдается большая тишина и медленность движеній.

Зин. Венгерова.

Мысли объ употребленіи пошлаго и низкаго въ искусствѣ.

ошлымъ называется все, что обращается не къ духу и можетъ возбудить лишь чувственный интересъ. Есть, конечно, тысячи явленій, пошлыхъ по своему содержанію или по предмету; но такъ какъ пошлое содержаніе можетъ быть облагорожено обработкой, то въ искусствѣ возможна рѣчь лишь о пошлости формы. Пошлая мысль пошлой обработкой оподлитъ и благороднѣйшій предметъ; наоборотъ, великая мысль и духъ благородный съумѣютъ облагородить самую пошлость, связавъ ее съ элементомъ духовнымъ и найдя въ немъ положительную сторону. Такъ, напримѣръ, историкъ пошлаго пошиба, повѣствуя о какомъ-либо героѣ, распространится о его ничтожнѣйшихъ поступкахъ столь же тщательно, сколько о его возвышеннѣйшихъ подвигахъ, и остановится на его родословной, одеждѣ и домашнемъ обиходѣ съ такимъ же вниманіемъ, какъ и на его замыслахъ и дѣяніяхъ. О величайшихъ его дѣяніяхъ онъ будетъ говорить такъ, что никто не сможетъ замѣтить ихъ величія. И, наоборотъ, историкъ, одухотворенный мыслью и благородствомъ своей души, даже въ частную жизнь и незначительнѣйшія поступки своего героя вложитъ интересъ и содержаніе, которые сообщатъ имъ значительность. Пошлый вкусъ въ изобразительныхъ искусствахъ проявили нидерландскіе художники, благородный и высокій—выказали итальянцы, а еще больше греки. Послѣдніе неизмѣнно стремились къ идеалу, отбрасывая всякую пошлую черту и ограничиваясь избраннымъ содержаніемъ.

Портретистъ можетъ изобразить свой оригиналъ пошлымъ или значительнымъ. Пошло будетъ его изображеніе тогда, когда случайное будетъ въ немъ изображено такъ же тщательно, какъ и необходимое, когда великое будетъ оставлено въ пренебреженіи, а ничтожное передано со всей тщательностью; значительнымъ оно будетъ въ томъ случаѣ, если въ предметѣ изображенія онъ съумѣетъ найти самое интересное, отдѣлить случайное отъ необходимаго, лишь еле намѣтитъ незначительное и передастъ все значительное. А значительное это—выраженіе духовнаго міра въ дѣйствіяхъ, жестахъ, позахъ.

Поэтъ изображаетъ свой предметъ пошло, когда внимательно воспроизводя ничтожныя дѣйствія, лишь мелькомъ останавливается на значительныхъ. Великимъ мы называемъ его изображеніе, когда оно связано съ великимъ. Гомеръ съумѣлъ вложить мысль въ изображеніе щита Ахиллеса, хотя само по себѣ изготовленіе щита есть, какъ сюжетъ, нѣчто весьма пошлое.

Ступенью ниже пошлаго лежитъ низкое, которое отличается отъ перваго тѣмъ, что оно есть понятіе не только отрицательное, не только отсутствіе элемента мысли и благородства, но выражаетъ и нѣчто положительное, а именно грубость чувства, дурные нравы и гнусныя помышленія Пошлое означаетъ лишь недостатокъ достоинства, которое желательно; низкое означаетъ отсутствіе необходимаго качества, котораго мы вправѣ требовать отъ всякаго. Такъ, напримѣръ, месть сама по себѣ, гдѣ бы мы ее ни находили и въ чемъ бы она ни проявлялась, есть нѣчто пошлое, ибо свидѣтельствуетъ объ отсутствіи великодушія. Но отличаютъ еще особую, низкую месть,—когда человѣкъ пользуется гнусными средствами, чтобы удовлетворить свою мстительность. Низкое означаетъ всегда нѣчто грубое и достойное черни; пошлость въ мысляхъ и поступкахъ можетъ

выказать и человѣкъ хорошаго происхожденія и благовоспитанный, но не даровитый. Пошло поступаетъ человѣкъ, имѣющій въ виду только свою выгоду—и въ этомъ смыслѣ онъ противополагается человѣку благородному, который способенъ забыть о себѣ, чтобы доставить радость другому. Но тотъ же человѣкъ поступилъ бы низко, если бы преслѣдовалъ выгоду на счетъ своей чести и даже не считаясь съ законами благопристойности. Итакъ, пошлое противоположно благородному, низкое—благородному и пристойному. Преклоняться предъ всякой страстью безъ сопротивленія, удовлетворять всякую похоть, сбрасывая съ себя узы не только законовъ благопристойности, но и велѣній нравственности, есть низость и обличаетъ низкую душу.

Равнымъ образомъ и въ художественныхъ произведеніяхъ можно проявить низость, не только выбирая низкіе предметы, оскорбляющія чувство пристойности и приличія, но и давая имъ низкое изображеніе. Низкое изображеніе предмета мы имѣемъ тамъ, гдѣ выставлена на видъ та его сторона, которую повелѣваетъ скрывать благопристойность, или когда изображеніе вызываетъ низкія побочныя представленія. Въ жизни величайшаго человѣка есть низкія отправленія, но лишь низкій вкусъ станетъ ихъ разыскивать и расписывать.

Есть картины изъ Священной исторіи, гдѣ апостолы, св. Дѣва и даже Христосъ изображены такъ, будто они вышли изъ самой простой черни. Всѣ такія изображенія обличаютъ низкій вкусъ, дающій намъ право думать, что самыя помышленія художника грубы и достойны черни.

Есть, однако, случаи, въ которыхъ низкое допускается и въ искусствѣ; это тамъ именно, гдѣ оно должно возбудить смѣхъ. И благовоспитанный человѣкъ можетъ иногда, не проявляя тѣмъ испорченнаго вкуса, позабавиться грубымъ, но правдивымъ изображеніемъ природы и противоположностью между нравами хорошаго общества и черни. Человѣкъ изъ общества въ пьяномъ видѣ, если бы намъ и случилось видѣть что либо подобное, могъ бы вызвать въ насъ только непріятное чувство; пьяный ямщикъ, матросъ, носильщикъ возбуждаютъ въ насъ смѣхъ. Шутки, которыя возмутили бы насъ, если бы ихъ позволилъ себѣ человѣкъ благовоспитанный, забавляютъ насъ въ устахъ черни. Къ этой области относятся многія сцены у Аристофана, которыя, однако, подчасъ переступаютъ и эту границу и должны быть прямо отвергнуты. Вотъ почему насъ такъ смѣшатъ пародіи, гдѣ помышленія, выраженія и дѣйствія, свойственныя черни, приписаны тѣмъ самымъ почтеннымъ людямъ, которыхъ поэтъ изобразилъ со всѣмъ свойственнымъ имъ достоинствомъ и благопристойностью. Когда цѣлью поэта былъ только фарсъ, и онъ имѣлъ въ виду только позабавить насъ, мы можемъ разрѣшить ему и низкое,—лишь бы онъ не возбуждалъ въ насъ неудовольствія или отвращенія.

Неудовольствіе возбуждаетъ онъ въ томъ случаѣ, если изображаетъ низкое тамъ, гдѣ мы ему этого никакъ не можемъ простить, а именно въ такихъ людяхъ, отъ которыхъ мы вправѣ требовать лучшихъ нравовъ. Въ противномъ случаѣ, онъ оскорбляетъ истину, ибо мы скорѣе сочтемъ его лгуномъ, чѣмъ повѣримъ, что благовоспитанные люди въ самомъ дѣлѣ могутъ поступать такъ низко; или же его герои оскорбляютъ наше нравственное чувство и—что еще хуже—возбуждаютъ въ насъ негодованіе. Совершенно иначе обстоитъ дѣло въ фарсѣ, гдѣ между поэтомъ и зрителемъ заключено молчаливое соглашеніе, что истины здѣсь и ждать нечего. Въ фарсѣ мы освобождаемъ поэта отъ вѣрности художественной правдѣ и даемъ ему позволеніе полгать. Ибо здѣсь комизмъ заключается именно въ его противорѣчіи истинѣ; но невозможно одновременно и быть истиннымъ и противорѣчить истинѣ.

Но и въ серьезномъ и трагическомъ бываютъ рѣдкіе случаи, когда можно пользоваться низкимъ. Но тогда оно должно переходить въ ужасное, и мимолетное оскорбленіе вкуса должно быть заглажено энергичнымъ дѣйствіемъ аффекта и такимъ образомъ поглощено высшимъ трагическимъ дѣйствіемъ. Кража, напримѣръ, есть нѣчто безусловно-низкое, и какіе бы доводы ни приводило наше сердце въ извиненіе вору, какъ бы ни былъ тяжекъ гнетъ обстоятельствъ, доведшихъ его до этого, онъ отмѣченъ неизгладимымъ клеймомъ, и въ эстетическомъ отношеніи остается на-вѣки предметомъ низкимъ. Вкусъ прощаетъ здѣсь еще меньше, чѣмъ мораль, и его приговоръ тѣмъ строже, что предметъ эстетическій отвѣтственъ за всѣ сопутствующія идеи, вызываемыя въ насъ его дѣятельностью, между тѣмъ какъ сужденіе нравственное отвлекается отъ всего случайнаго. Человѣкъ, совершающій кражу, является поэтому въ высшей степени не-

подходящимъ предметомъ для поэтическаго произведенія съ серьезнымъ содержаніемъ. Но если этотъ человѣкъ—въ то же время и убійца, то несмотря на то, что въ нравственномъ отношеніи онъ неизмѣримо хуже, въ эстетическомъ онъ дѣлается отъ этого нѣсколько пригоднѣе. Тотъ, кто запятналъ себя (я говорю здѣсь исключительно о сужденіи эстетическомъ) какой-нибудь гнусностью, можетъ посредствомъ преступленія въ извѣстной степени повыситься и выиграть въ нашемъ эстетическомъ вниманіи. Это отклоненіе нравственнаго приговора отъ эстетическаго замѣчательно и заслуживаетъ вниманія. Причины его многочисленны. Во-первыхъ, я сказалъ уже, что вслѣдствіе зависимости эстетическаго сужденія отъ дѣятельности воображенія, на сужденіе это оказываютъ вліяніе также всѣ побочныя представленія, вызываемыя этимъ предметомъ и находящіяся съ нимъ въ естественной связи. Разъ эти побочныя представленія низки, они неизбѣжно вносятъ элементъ низости и въ главный предметъ.

Во-вторыхъ, при сужденіи эстетическомъ мы обращаемъ вниманіе на силу, при приговорѣ моральномъ—на законосообразность. Безсиліе есть нѣчто внушающее презрѣніе, и таковымъ же будетъ всякое дѣяніе, указывающее на безсиліе. Всякое проявленіе трусости и ничтожества противно намъ, потому что обличаетъ безсиліе; наоборотъ, адское злодѣяніе можетъ произвести на насъ благопріятное эстетическое впечатлѣніе, потому что свидѣтельствуетъ о силѣ. А воровство и доказываетъ трусость и ничтожество; въ убійствѣ же есть хоть призракъ силы; здѣсь степень нашего эстетическаго интереса повышается вмѣстѣ съ количествомъ силы, обнаруживаемой при этомъ.

Въ-третьихъ, тяжкое и страшное преступленіе всегда отвлекаетъ наше вниманіе отъ его сущности и направляетъ его цѣликомъ на ужасныя слѣдствія злодѣянія. Болѣе слабое душевное движеніе подавлено болѣе сильнымъ. Мы уже смотримъ не назадъ, въ душу злодѣя, но впередъ, въ его судьбу, на послѣдствія его поступка. Но какъ только мы начинаемъ трепетать, всякая нѣжность вкуса умолкаетъ. Главное впечатлѣніе цѣликомъ заполняетъ нашу душу и случайныя побочныя идеи, съ которыми, собственно, связано низкое, стушевываются. Поэтому воровство, совершаемое юнымъ Рубергомъ въ „Преступленіи изъ честолюбія", производитъ на сценѣ не отвратительное, но поистинѣ трагическое впечатлѣніе. Съ большимъ умѣніемъ поэтъ такъ сгруппировалъ обстоятельства, что мы захвачены дѣйствіемъ и не можемъ перевести духъ. Страшное бѣдствіе, постигшее семью преступника, и особенно горе его отца отвлекаютъ отъ него самого все наше вниманіе, направленное на послѣдствія его поступка. Аффектъ настолько захватываетъ насъ, что мы не можемъ сосредоточиться на представленіи позора, клеймящаго воровство. Словомъ, низкое отодвинуто въ тѣнь страшнымъ. И странно, это воровство, дѣйствительно совершенное молодымъ Рубергомъ, производитъ не такое гнусное впечатлѣніе, какъ одно ни на чемъ не основанное подозрѣніе въ кражѣ въ другой пьесѣ. Здѣсь понапрасну обвиняютъ молодого офицера въ кражѣ серебряной ложки, которая потомъ находится. Такимъ образомъ низкое есть здѣсь лишь продуктъ воображенія—одно подозрѣніе, и между тѣмъ въ нашемъ эстетическомъ представленіи оно кладетъ на совершенно невиннаго героя пьесы неизгладимое пятно. Причина заключается въ томъ, что одно подозрѣніе въ кражѣ уже указываетъ на нѣкоторую неустойчивость убѣжденія въ его нравственности, ибо по законамъ приличія всякій считается порядочнымъ человѣкомъ до тѣхъ поръ, пока не окажется противное. Стало быть, если его подозрѣваютъ въ низости, то это производитъ такое впечатлѣніе, что онъ ужъ какъ нибудь подалъ поводъ къ возможности такого подозрѣнія, хотя, въ сущности, низость въ случаѣ незаслуженнаго подозрѣнія совершаетъ только обвинитель. Для героя же указанной пьесы это пятно тѣмъ позорнѣе, что онъ—офицеръ и возлюбленный благовоспитанной и высокопоставленной дамы. Съ этими обоими понятіями понятіе воровства находится въ такомъ страшномъ противорѣчіи, что мы не можемъ, видя его предъ его дамой, не вспомнить тотчасъ же, что у него въ карманѣ могла быть серебряная ложка. Самое ужасное здѣсь то, что онъ самъ и не подозрѣваетъ о страшномъ обвиненіи, тяготѣющемъ на немъ; ибо въ противномъ случаѣ, онъ, какъ офицеръ, потребовалъ бы тотчасъ кроваваго удовлетворенія; послѣдствія этого перенесли бы насъ въ область ужаснаго, и отъ низкаго не осталось бы и слѣда.

Надо еще отличать низкое въ помышленіяхъ отъ низкаго въ дѣйствіи и въ положеніи. Первое находится ниже всякой эсте-

тической критики, второе часто мирится съ нею очень хорошо. Рабство низко, но рабскія убѣжденія въ свободѣ—отвратительны; наоборотъ, рабское занятіе, не связанное съ такими же помышленіями, не имѣетъ въ себѣ ничего позорнаго; мало того, низкое положеніе, сопровождаемое высотой помышленій, можетъ произвести возвышенное впечатлѣніе. Господинъ Эпиктета, бившій его, поступалъ низко, а побитый рабъ проявлялъ высокую душу. Истинное величіе лишь ярче сверкаетъ изъ низкой доли, и если художникъ убѣжденъ, что съумѣетъ дать выраженіе внутренней красотѣ своего героя, онъ можетъ безстрашно изобразить его въ отвратительной внѣшности.

Но то, что разрѣшается поэту, не всегда позволено живописцу. Онъ представляетъ свои изображенія не нашей фантазіи, но непосредственно нашимъ чувствамъ. Такимъ образомъ впечатлѣніе отъ картины прежде всего живѣе впечатлѣнія, производимаго стихотвореніемъ; мало того,—живописецъ, даже точно воспроизводя природныя черты внѣшности, не можетъ изобразить съ такой ясностью міръ внутренній, какъ это дѣлаетъ поэтъ своимъ вымысломъ; а между тѣмъ лишь внутреннее можетъ примирить насъ съ внѣшнимъ. Когда Гомеръ представляетъ своего Улисса въ нищенскихъ отрепьяхъ, то отъ насъ зависитъ, до какой степени ясности мы доводимъ его изображеніе и сколько останавливаемся на немъ. Во всякомъ случаѣ оно никакъ не можетъ быть настолько живо, чтобы произвести на насъ непріятное или противное впечатлѣніе. Но если бы художникъ или—что еще хуже—актеръ вздумалъ точно изобразить предъ нами Гомерова Улисса, мы съ неудовольствіемъ отвернулись бы отъ этого изображенія. Здѣсь сила впечатлѣнія—внѣ нашей власти: мы *должны* видѣть то, что показываетъ намъ художникъ, и не такъ легко можемъ отдѣлаться отъ непріятныхъ сопутствующихъ идей, всплывающихъ при этомъ въ нашемъ воспоминаніи.

А. Горнфельдъ.

Объ „Эгмонтѣ", трагедіи Гёте.

Трагическому поэту служатъ матеріаломъ или чрезвычайныя происшествія и ситуаціи, или страсти, или характеры; и если всѣ эти три разряда причинъ и дѣйствій встрѣчаются въ любой пьесѣ, то всетаки конечною цѣлью изображенія является одинъ изъ нихъ. Если главное вниманіе поэта обращено на происшествіе или ситуацію, то онъ лишь постольку вдается въ изображеніе страсти и характера, поскольку первыя обусловлены послѣдними. Если же, наоборотъ, главная его цѣль—страсть, то для него зачастую бываетъ достаточно самое неприхотливое дѣйствіе, лишь бы оно приводило въ движеніе эту страсть. Въ „Венеціанскомъ маврѣ" найденный на неподобающемъ мѣстѣ носовой платокъ вызываетъ мастерскую сцену. Если же, наконецъ, поэтъ задался цѣлью изобразить характеръ, то онъ еще менѣе связанъ въ выборѣ и завязкѣ происшествій; подробное изображеніе характера ему даже не позволяетъ предоставлять слишкомъ много мѣста страсти. Древніе трагики почти исключительно спеціализировались на ситуаціяхъ и страстяхъ. Потому-то въ ихъ характеристикахъ такъ мало индивидуализаціи, детальности и опредѣленности. Лишь въ новѣйшія времена, и то только при Шекспирѣ, трагедія обогатилась характеристиками. Шекспиръ впервые вывелъ на сцену, въ своемъ „Макбетѣ", „Ричардѣ III" и т. д. всего человѣка и всю жизнь человѣческую; въ Германіи первый образецъ въ этомъ родѣ далъ намъ авторъ „Геца фонъ Берлихингена". Здѣсь не мѣсто изслѣдовать, поскольку совмѣстенъ этотъ новый родъ трагедіи съ конечною ея цѣлью—возбуждать ужасъ и состраданіе; какъ бы то ни было, такая трагедія уже существуетъ и создала уже извѣстную традицію.

Къ этому послѣднему роду трагедіи принадлежитъ также и разбираемая пьеса.

Легко убѣдиться въ примѣнимости къ ней всего только что сказаннаго. Здѣсь нѣтъ какихъ либо бросающихся въ глаза происшествій, какой нибудь преобладающей страсти, какого-нибудь драматическаго плана,—ничего подобнаго; это просто—сцѣпленіе многихъ отдѣльныхъ дѣйствій и картинъ, связанныхъ почти исключительно характеристикою; она-то развита на всемъ протяженіи трагедіи и къ ней сводится вся сущность пьесы. Итакъ, единства этой пьесы надо искать не въ ситуаціяхъ и не въ какой-либо страсти, но въ ея типахъ. Подлинная исторія Эгмонта и не могла бы дать автору чего-либо бо́льшаго. Въ его арестѣ и осужденіи нѣтъ ничего чрезвычайнаго; гибель его не есть слѣдствіе какого-либо интереснаго отдѣльнаго поступка, но результатъ цѣлаго ряда мелкихъ дѣйствій, которыми поэтъ не могъ воспользоваться въ ихъ настоящемъ видѣ, а поэтому и не могъ связать ихъ съ катастрофою такъ тѣсно, чтобы они образовали съ нею единую драматическую фабулу. Разъ онъ пожелалъ обработать этотъ сюжетъ въ видѣ трагедіи, то ему оставалось на выборъ—или изобрѣсти для этой катастрофы совершенно новую фабулу и приписать историческому герою какую-либо господствующую страсть, или же совершенно отказаться отъ первыхъ двухъ родовъ трагедіи и положить въ основу замысла тотъ самый характеръ, который такъ заинтересовалъ его. Поэтъ предпочелъ послѣднее, и несомнѣнно, болѣе трудное; поступалъ онъ такимъ образомъ, вѣроятно, не столько изъ уваженія къ исторической истинѣ, сколько изъ чувства увѣренности, что ему удастся скрасить бѣдность сюжета богатствомъ своего генія.

Слѣдовательно, въ этой трагедіи (если только мы не заблуждаемся въ выборѣ нашей точки зрѣнія) выведенъ характеръ, который, живя въ смутную эпоху и будучи окруженъ кознями коварной политики, полагается лишь на собственную заслугу, безгранично вѣря въ правое, и только для него одного правое, дѣло, и ходитъ опасными путями, точно лунатикъ по карнизу отвѣсной крыши. Эта чрезмѣрная довѣрчивость, неосновательность которой ясно показана намъ, и злосчастный исходъ этой довѣрчивости должны внушать намъ ужасъ и состраданіе, т. е. возбуждать въ насъ трагическое чувство; и поэтъ достигаетъ такого именно воздѣйствія.

Эгмонтъ историческій—не изъ крупныхъ характеровъ; таковъ же онъ и въ трагедіи. Въ трагедіи—это благодушный, веселый и открытый человѣкъ, дружелюбно настроенный въ отношеніи всего міра, полный легкомысленнаго довѣрія къ самому себѣ и къ другимъ, свободный и смѣлый, точно весь міръ принадлежитъ ему одному, храбрый и безстрашный, когда это нужно, но притомъ великодушный, любезный и кроткій, характеръ лучшихъ временъ рыцарства, представительный и немножко хвастливый, чувственный и влюбчивый—жизнерадостный свѣтскій человѣкъ. Всѣ эти качества слились въ живомъ, человѣчномъ, вполнѣ правдивомъ и индивидуальномъ образѣ, въ которомъ нѣтъ никакой утрировки или идеализаціи. Эгмонтъ—герой, но герой вполнѣ фламандскій, герой шестнадцатаго вѣка; патріотъ, котораго, однако, не настолько смущаетъ общее бѣдствіе, чтобы онъ жертвовалъ ради него своими удовольствіями; любовникъ, который не теряетъ изъ-за любви хорошаго аппетита. Эгмонтъ честолюбивъ, онъ преслѣдуетъ высокую цѣль; но это не мѣшаетъ ему подбирать всякій цвѣтокъ, какой встрѣтится по дорогѣ, не препятствуетъ ему навѣщать тайкомъ по ночамъ свою любушку, не вгоняетъ его въ безсонницу. Подъ Сенъ-Кентеномъ и Гравелингеномъ онъ рисковалъ своею жизнью съ безумною отвагою; но онъ почти плачетъ, разставаясь съ милою, уютною привычкою повседневной жизни и дѣятельности. „Развѣ я живу для того, чтобы разсуждать о жизни?—характеризуетъ онъ самъ себя.—Развѣ я не долженъ наслаждаться сегодняшнимъ днемъ только потому, что завтрашній невѣдомъ мнѣ? А завтрашній, въ свою очередь, портить заботою и хандрою?.. Не одно дурачество зачато и рождено нами въ веселую минуту; мы виновны въ томъ, что цѣлая толпа аристократовъ, съ нищенскою сумою и съ шаловливымъ прозвищемъ, которое она сама себѣ избрала, стала напоминать королю о его обязанностяхъ тономъ насмѣшливаго смиренія. Но что изъ того слѣдуетъ? Развѣ карнавалъ — это государственная измѣна? Можно ли ставить намъ въ вину пестрыя тряпочки, которыми юношеская рѣзвость скрашиваетъ убогую наготу нашей жизни? Если предъявлять къ жизни слишкомъ серьезныя требованія, то что-же останется отъ нея? Развѣ солнце свѣтитъ мнѣ сегодня для того, чтобы я размышлялъ о вчерашнемъ днѣ?“—Характеръ Эгмонта долженъ насъ трогать своею прекрасною гуманностью, но необычайностью; мы

который уговаривалъ его бѣжать; именно эти основанія побуждали Эгмонта хвататься за самый слабый сукъ надежды и разсматривать отношенія свои къ королю съ лучшей ихъ стороны. Какъ послѣдовательно и какъ человѣчно отнынѣ все его поведеніе! Онъ уже—не жертва слѣпой, безумной довѣрчивости, но жертва преувеличенной, боязливой нѣжности къ семьѣ. Такъ какъ онъ мыслитъ слишкомъ высоко и благородно для того, чтобы требовать тяжкихъ жертвъ отъ семьи, которую онъ любилъ паче всего на свѣтѣ, то онъ и идетъ на погибель!

А Эгмонтъ въ трагедіи Гете? — Поэтъ отымаетъ отъ него жену и дѣтей и тѣмъ самымъ уничтожаетъ всю связь въ его поступкахъ. Поэтъ вынужденъ выводить несчастное промедленіе Эгмонта изъ легкомысленной самоувѣренности и тѣмъ самымъ слишкомъ умаляетъ наше уваженіе къ здравому смыслу своего героя, не возмѣщая этого умственнаго недостатка избыткомъ сердечности. Поэтъ лишаетъ насъ трогательной картины отца и любящаго супруга и даетъ намъ взамѣнъ самаго заурядnаго любовника, губящаго покой прелестной дѣвушки, которой не суждено ни владѣть имъ, ни пережить его гибель; да и сердцемъ этой дѣвушки онъ можетъ овладѣть, лишь разрушивъ другую любовь, которая могла бы быть счастливою; и слѣдовательно, при самыхъ благихъ намѣреніяхъ. Эгмонтъ Гете дѣлаетъ несчастными два существа, чтобы смыть съ чела морщины раздумья! И все это Эгмонтъ продѣлываетъ въ ущербъ исторической правдѣ, которою драматическій поэтъ можетъ жертвовать, лишь для усиленія интереса къ пьесѣ, а не для ослабленія его. Итакъ, какъ дорого расплачиваемся мы, по волѣ поэта, за эпизодъ, который, самъ по себѣ, конечно, представляетъ прелестнѣйшую картинку, но высшее дѣйствіе могъ бы произвести лишь въ болѣе широкой композиціи, гдѣ онъ былъ бы уравновѣшенъ относительно-великими дѣяніями героя.

Трагическая катастрофа Эгмонта проистекаетъ изъ его политической жизни, изъ его отношенія къ народу и правительству. Изображеніе тогдашняго общественно-политическаго положенія Нидерландовъ, поэтому, должно было бы лечь въ основу характеристики Эгмонта, или, по крайней мѣрѣ, занять свое мѣсто въ драматическомъ дѣйствіи. Если принять во вниманіе, какъ, вообще, туго поддаются государственныя событія драматической обработкѣ и какое искусство требуется для того, чтобы собрать разсѣянныя черты эпохи въ одинъ живой, опредѣленный образъ и выразить всеобщее въ индивидуальномъ, — какъ это сдѣлалъ, напримѣръ, Шекспиръ въ своемъ „Юліѣ Цезарѣ"; если, далѣе, принять во вниманіе своеобразіе Нидерландовъ, состоящихъ не изъ одной націи, но изъ аггрегата маленькихъ народностей, рѣзкимъ образомъ контрастирующихъ между собою, такъ что намъ несравненно легче вообразить себя, напримѣръ, въ Римѣ, чѣмъ въ Брюсселѣ; если, наконецъ, принять во вниманіе, какое безконечное множество мелкихъ вліяній должны были, въ результатѣ, образовать духъ того времени и то политическое положеніе Нидерландовъ; то нельзя будетъ не изумиться творческому генію, который побѣдилъ эти трудности и зачаровалъ насъ новымъ волшебнымъ міромъ, силою искусства, равною только той силѣ, которою этотъ геній переносилъ насъ въ Германію рыцарскихъ временъ и въ Элладу, въ его другихъ двухъ пьесахъ. Мало того, что мы видимъ, какъ живутъ и дѣйствуютъ эти люди передъ нами; мы живемъ среди нихъ, мы становимся старыми знакомыми. Съ одной стороны, мы видимъ веселую общительность, гостепріимство, словоохотливость, кичливость этого народа, республиканскій духъ, вскипающій при малѣйшемъ новшествѣ и часто столь же скоро остывающій отъ самыхъ пошлыхъ доводовъ; съ другой стороны, тяготы, подъ которыми задыхается этотъ народъ,—начиная отъ новыхъ епископскихъ митръ до французскихъ псалмовъ, которыхъ онъ не хочетъ распѣвать,—ничто не забыто, все изображено съ величайшею натуральностью и правдивостью. Мы видимъ здѣсь не простую толпу, которая вездѣ одинакова; мы узнаемъ въ ней нидерландцевъ, и притомъ нидерландцевъ именно даннаго, а не другого какого-либо вѣка; среди нихъ мы различаемъ еще брюссельцевъ, голландцевъ, фрисландцевъ; богача и нищаго; плотника и портного. Всего этого нельзя изобразить силою воли, достичь силою одного искусства; все это возможно только такому поэту, который совершенно проникся своимъ сюжетомъ. Поэтъ роняетъ мѣткія слова, какъ роняютъ ихъ изображаемые имъ персонажи,—незамѣтно и непроизвольно; однимъ эпитетомъ, однимъ междометіемъ живописуется цѣлый характеръ.

Буйкъ, голландецъ и солдатъ подъ коман-

дою Эгмонта, взялъ призъ на стрѣльбѣ изъ лука, и желаетъ, въ качествѣ „короля", угостить честную компанію. Но это не полагается по обычаю.

Буйкъ. Я чужестранецъ и „король", и знать не желаю вашихъ законовъ и обычаевъ.

Іеттэръ (Брюссельскій портной). Ты непріятнѣе испанцевъ; тѣ пока еще оставляютъ намъ и наши законы, и наши обычаи.

Руйсомъ (фрисландецъ). Оставьте его! Пусть только это не будетъ прецедентомъ! Это манера также и его господина — гдѣ можно поблистать, да пофорсить".

Кто не узнаетъ въ этомъ возгласѣ; „пусть только это не будетъ прецедентомъ!" — строптиваго, ревниво оберегающаго свои права фрисландца, который, предоставляя ничтожнѣйшую льготу, ограждаетъ себя на будущее время точной оговоркой.

Или какъ правдоподобны разговоры гражданъ объ ихъ регентѣ!

„Вотъ это былъ король! (Рѣчь идетъ о Карлѣ V). Онъ распростеръ руку надъ всею земною поверхностью, и держалъ всѣхъ и все. А когда онъ встрѣчался съ нами, онъ кланялся, будто встрѣтились два сосѣда... и т. д. Зато всѣ мы и плакали, когда онъ передалъ правленіе своему сыну. Ну, а сынъ — я вамъ говорю, а вы меня понимаете, — тотъ уже другой; тотъ будетъ поважнѣе!

Іеттэръ. Гворятъ, онъ не разговорчивъ.

Зостъ. Это не король для насъ, ни дерландцевъ. Наши государи должны быть веселы и непринужденны, какъ мы, должны сами жить и другимъ давать жить!" и т. д.

Какъ мѣтко изображаетъ намъ поэтъ одною черточкою дикость того времени! — Эгмонтъ проходитъ по улицѣ, а граждане смотрятъ ему вслѣдъ съ восхищеніемъ.

„Плотникъ. Славный господинъ!

Іеттэръ. Его шея была бы лакомымъ кусочкомъ палача!"

Немногія сцены разговоровъ между брюссельскими гражданами представляются намъ результатомъ глубокаго изученія того времени и народа; въ немногихъ словахъ воздвигается прекрасный историческій памятникъ изображаемой эпохѣ — памятникъ, едва-ли имѣющій себѣ равнаго.

Не съ меньшею правдивостью обработана и та часть общей картины, гдѣ повѣствуется о духѣ правленія и о мѣрахъ, принятыхъ королемъ къ порабощенію нидерландскаго народа. Впрочемъ, все здѣсь нѣсколько легче и гуманнѣе, чѣмъ въ исторіи. Въ особенности облагороженъ характеръ герцогини Пармской. „Я знаю, что человѣкъ можетъ быть и честнымъ и разсудительнымъ, даже если онъ пренебрегаетъ ближайшимъ и лучшимъ путемъ къ спасенію своей души"; едва ли эти слова могла произнести на самомъ дѣлѣ воспитанница Игнатія Лойолы. Въ особенности удалось поэту изобразить женственность, которая весьма счастливо проглядываетъ изъ мужественнаго по существу характера герцогини и одушевляетъ свѣтомъ и тепломъ холодный государственный интересъ, воплощенный, по необходимости, въ этомъ типѣ; это придало герцогинѣ извѣстную индивидуальность и жизненность. Мы трепещемъ передъ герцогомъ Альбою, какъ онъ изображенъ въ пьесѣ, не отвращаясь отъ него съ гадливостью: это твердый, неподвижный, недоступный характеръ, „желѣзная башня безъ воротъ; осаждающій ее долженъ имѣть крылья". Умныя мѣры, какія онъ предпринимаетъ для арестованія Эгмонта, вызываютъ въ насъ изумленіе, которое возмѣщаетъ недостатокъ нашего расположенія къ герцогу. Искусство, съ какимъ поэтъ вводитъ насъ въ интимную глубину замысловъ Альбы и заставляетъ насъ напряженно слѣдить за исходомъ ихъ, какъ бы дѣлаетъ насъ на время соучастниками всѣхъ этихъ козней; мы такъ интересуемся ими, какъ будто симпатизируемъ имъ.

Мастерски изображена и проведена сцена Эгмонта съ юнымъ Альбою въ тюрьмѣ. Она всецѣло принадлежитъ автору. Что можетъ быть трогательнѣе момента, когда сынъ убійцы Эгмонта выражаетъ послѣднему уваженіе, которое онъ всегда втайнѣ питалъ къ нему! „Твое имя, какъ небесная звѣзда, сіяло мнѣ въ дни ранней моей юности. Какъ часто я прислушивался къ разсказамъ о тебѣ и самъ разспрашивалъ! Мечта дитяти есть юноша; мечта юноши—мужчина. Всегда ты шествовалъ передо мною—всегда впереди. Безъ зависти слѣдилъ я за тобою и слѣдовалъ за тобою, все дальше и дальше. Наконецъ то явилась возможность увидѣть тебя; я увидалъ— и сердце мое бросилось тебѣ навстрѣчу. Наконецъ то стало возможнымъ быть съ тобою, жить съ тобою, обнять тебя... И вдругъ, всѣ надежды разбиты,—и я вижусь съ тобою въ этой тюрьмѣ!"—на что Эгмонтъ отвѣчаетъ: „Если жизнь моя была зеркаломъ, въ которомъ ты съ удовольствіемъ глядѣлся, пусть же будетъ этимъ зерка-

ломъ и моя смерть! Люди не только тогда близки другъ другу, когда они вблизи; также и далекій, разлученный съ нами можетъ быть живъ для насъ. Я буду жить въ тебѣ; довольно жить въ самомъ себѣ. Одно лишь радовало меня ежедневно" и т. д. Остальные характеры въ пьесѣ мѣтко обрисованы немногими словами. Хитрый, скупой на слова, все приводящій въ связь и всего боящійся Оранскій изображенъ въ рамкахъ единственной сцены. Альба, какъ и Эгмонтъ, какъ бы отражаются на людяхъ, окружающихъ ихъ; этотъ пріемъ характеристики превосходенъ. Чтобы направить всю силу освѣщенія на Эгмонта, поэтъ изолировалъ его; поэтому изъ пьесы исключенъ графъ фонъ Горнъ, раздѣлившій одну судьбу съ Эгмонтомъ. Совершенно новый характеръ—Бракенбургъ, влюбленный въ Клерхенъ и оттѣсненный Эгмонтомъ. На этомъ изображеніи меланхолическаго темперамента, смѣшаннаго со страстною любовью, стоитъ остановиться. Клерхенъ, покинувшая Бракенбурга для Эгмонта, отравилась и уходитъ, отдавъ остатокъ яда Бракенбургу. Бракенбургъ остается одинъ. Какая страшная красота въ его монологѣ!

„Оставленъ я, себѣ я представленъ.
Она со мною дѣлитъ каплю смерти
И гонитъ прочь—прочь отъ себя! Толкаетъ
Меня обратно въ жизнь, что мнѣ постыла!
О, Эгмонтъ! Какъ судьба твоя завидна!
Она идетъ впередъ; тебѣ навстрѣчу
Она все небо дастъ тебѣ!.. А я?
Пойду-ль за ней, иль снова отстраненный,
Перенесу съ собой и въ рай небесный
Все ту же зависть, гложущую вѣчно?
Нѣтъ на землѣ блаженства для меня,
И рай и адъ сулятъ все тѣ же муки!"

Сама Клерхенъ изображена съ неподражаемою прелестью. Въ величайшемъ благородствѣ своей невинности она остается обыкновенною мѣщанкою, и притомъ нидерландскою, она облагорожена единственно своей любовью. Она восхитительна въ состояніи покоя, увлекательна и великолѣпна въ состояніи аффекта... Но можетъ ли кто-нибудь вообще сомнѣваться въ томъ, что авторъ неподражаемъ тамъ, гдѣ самъ для себя является образцомъ.

Чѣмъ полнѣе достигнутая авторомъ гармонія между образною и идейною стороною пьесы, тѣмъ непонятнѣе кажется, зачѣмъ авторъ своевольно уничтожаетъ эту гармонію.—Эгмонтъ сдѣлалъ всѣ свои послѣднія распоряженія и, осиленный усталостью, наконецъ, засыпаетъ. Раздается музыка; за ложемъ Эгмонта раскрывается стѣна; на облакѣ показывается сіяющее видѣніе—свобода, въ образѣ Клерхенъ... Короче говоря, изъ искреннѣйшей и трогательнѣшей ситуаціи, посредствомъ salto mortale, насъ выбрасываютъ на оперную сцену, чтобы мы могли... видѣть сонъ! Смѣшно было бы доказывать автору, что онъ насилуетъ наше чувство; это ему извѣстно лучше, чѣмъ намъ самимъ. Идея аллегорически соединить въ представленіи Эгмонта оба главныхъ кумира его—Клерхенъ и свободу—казалась автору достаточно содержательною для того, чтобы оправдать такую вольность. Идея эта можетъ нравиться кому угодно; пишущій же эти строки сознается, что онъ съ охотою пожертвовалъ бы замысловатою затѣею, лишь бы могъ безпрепятственно наслаждаться единствомъ настроенія.

Всев. Чешихинъ.

будетъ лишь уменьшать число ея поклонниковъ. Невозможно требовать отъ образованнаго человѣка, чтобы онъ находилъ отраду для ума и сердца въ произведеніяхъ незрѣлаго юноши; невозможно заставлять насъ любоваться въ стихотвореніяхъ предразсудками, грубыми нравами, умственною пустотою, которые претятъ образованному человѣку въ обыденной дѣйствительности. По праву требуетъ послѣдній отъ поэта, чтобы тотъ былъ ему такимъ же вѣрнымъ спутникомъ въ жизни, какимъ былъ для римлянъ Горацій, чтобы поэтъ стоялъ на одинаковой ступени духовнаго развитія съ нимъ, читателемъ, не желающимъ и въ часы наслажденія быть ниже самого себя.

Итакъ, недостаточно для поэта излагать чувствованія возвышеннымъ тономъ; слѣдуетъ также ощущать ихъ возвышенною душою. Недостаточно одного непосредственнаго вдохновенія; требуется вдохновеніе образованнаго духа. Все, что намъ можетъ дать поэтъ—это его индивидуальность. Она должна быть достойна того, чтобы она могла быть выставлена передъ свѣтомъ и потомствомъ. Первое и важнѣйшее дѣло поэта—это, прежде чѣмъ онъ начнетъ трогать лучшихъ людей своего времени, облагородить, сколь возможно, свою индивидуальность, просвѣтить ее до чистѣйшей и свѣтлѣйшей человѣчности. Высшее достоинство того или иного стихотворенія сводится къ тому, что это стихотвореніе является чистымъ, законченнымъ отраженіемъ интереснаго душевнаго склада, интереснаго, законченнаго духа. Только такой духъ и можетъ отпечатлѣться въ художественныхъ произведеніяхъ; онъ будетъ замѣтенъ въ каждой детали. Наоборотъ, духъ болѣе ординарный тщетно будетъ стараться скрыть свой коренной недостатокъ въ техникѣ искусства. Законы эстетики аналогичны законамъ этики; какъ въ области этики только нравственно-выдающійся характеръ человѣка можетъ запечатлѣть на каждомъ изъ отдѣльныхъ его дѣйствій признакъ моральной доброты, такъ въ области эстетики все зрѣлое и совершенное можетъ быть проявленіемъ только зрѣлаго и совершеннаго духа. Какъ бы ни былъ, самъ по себѣ, великъ художественный талантъ, онъ не можетъ придать художественному произведенію того, чего недостаетъ самому художнику; недочеты, проистекающіе отъ подобнаго недостатка содержательности, не могутъ быть исправлены никакою отдѣлкою формы.

Мы не мало бы затруднились, если бы насъ обязали, съ такимъ критическимъ масштабомъ въ рукѣ, пройти весь современный Парнасъ. Впрочемъ, опытъ учитъ насъ, что многіе изъ признанныхъ нашихъ лириковъ все-таки дѣйствуютъ на лучшую часть читающей публики; случается иногда, что также и неизвѣстный, непризнанный талантъ поражаетъ насъ своими лирическими признаніями и образчиками своего нравственного „я“. А теперь ограничимся примѣненіемъ сказаннаго нами къ г. Бюргеру.

Можно ли, однако, подъ этотъ масштабъ подгонять поэта, который самъ себя положительно называетъ „народнымъ пѣвцомъ“ и высшею своею цѣлью провозглашаетъ популярность (см. предисловіе къ 1 части, стр. 15 и слѣд.)?—Мы далеки отъ мысли ловить г. Бюргера на неопредѣленномъ словѣ „народъ“; быть можетъ, мы можемъ придти съ нимъ къ соглашенію послѣ нѣсколькихъ же словъ. Напрасно было бы требовать отъ современности народнаго поэта въ томъ смыслѣ, въ какомъ Гомеръ или трубадуры были для своихъ эпохъ. Нашъ міръ уже не гомеровскій, гдѣ всѣ члены общества думали и чувствовали приблизительно по одному шаблону, такъ что легко могли узнавать другъ друга въ томъ или иномъ описаніи, легко могли отождествляться въ тѣхъ или иныхъ чувствахъ. Въ наши дни между избранною частью націи и народною массою замѣчается чрезвычайно большое различіе, причина котораго отчасти въ томъ, что просвѣтлѣніе понятій и облагороженіе чувствъ составляютъ законченное цѣлое, съ одними обрывками котораго ничего не сдѣлаешь. Независимо отъ этой разницы въ культурѣ, отдѣльныя части націи отличаются другъ отъ друга въ чувствованіяхъ и способѣ ихъ выраженія, благодаря свѣтской условности. Поэтому, напрасный трудъ—произвольно соединять въ одно понятіе то, что уже давно не составляетъ единства. Слѣдовательно, для современнаго народнаго поэта остается выборъ лишь между легчайшимъ и труднѣйшимъ: онъ или долженъ исключительно приноровиться къ уровню пониманія большой массы и отказаться отъ одобренія образованныхъ классовъ, или, величіемъ своего искусства, долженъ уничтожить разстояніе, раздѣляющее оба класса, и преслѣдовать обѣ цѣли вмѣстѣ. У насъ немало поэтовъ, которымъ посчастливилось добиться успѣха въ первомъ родѣ

(а достоинство это состоитъ лишь въ счастливомъ соединеніи многихъ противоположныхъ качествъ), существеннымъ и необходимымъ является, прежде всего, вопросъ: „Не пожертвовано ли для популярности элементами высшей красоты? Эти стихотворенія, выигрывая въ интересѣ для народной массы, не потеряли ли въ интересѣ для знатока?“

И теперь то должны мы сознаться, что Бюргеровскія стихотворенія оставляютъ желать многаго! Въ большинствѣ ихъ мы ощущаемъ недостатокъ мягкаго, всегда ровнаго, всегда свѣтлаго, мужественнаго духа, который, будучи посвященъ въ таинства красоты, благородства и истины, спускается до народа въ образномъ языкѣ своихъ твореній, но и при интимнѣйшемъ общеніи съ народомъ не забываетъ о высшемъ,небесномъ своемъ происхожденіи. Г. Бюргеръ нерѣдко смѣшивается съ народомъ, къ которому онъ долженъ бы только снисходить; вмѣсто того, чтобы, шутя и играя, подымать народъ до себя, онъ находитъ возможнымъ уравнивать себя съ нимъ. Народъ, для котораго онъ сочиняетъ, къ сожалѣнію, не всегда тотъ, который онъ подразумѣваетъ. Не могутъ быть тождественны читатели, для которыхъ г. Бюргеръ писалъ „Ночной праздникъ Венеры“, „Леонору“, „Пѣсню надеждѣ“, „Элементы“, „Геттингенскій юбилей“, „Мужское цѣломудріе“, „Предчувствіе здоровья“ и многія другія стихотворенія— съ читателями, для которыхъ писались „Госпожа Шнипсъ“, „Позорный столбъ Фортуны“, „Звѣринецъ боговъ“ и тому подобное. Если мы вѣрно опредѣлили задачу народнаго поэта, то заслуга его состоитъ не въ томъ, чтобы снабжать каждый общественный классъ пѣсенкою, которая пришлась бы ему по нутру, но каждою отдѣльною пѣснью удовлетворять всѣ общественные классы.

Мы, однако, не станемъ останавливаться на ошибкахъ, которыя можно извинить неудачною минутою творчества; этому горю можно было бы помочь болѣе тщательнымъ выборомъ стихотвореній г. Бюргера. Но отмѣченная нами неровность вкуса проявляется зачастую въ предѣлахъ одного и того же стихотворенія—что уже трудно исправить и трудно извинить. Пишущій эти строки долженъ сознаться, что изъ всѣхъ Бюргеровскихъ стихотвореній (рѣчь идетъ о наиболѣе обработанныхъ) онъ не можетъ назвать ни одного, которое доставило бы ему чистое, не купленное цѣною какого-либо неудовольствія, наслажденіе. То образъ несогласованъ съ мыслью и достоинство содержанія оскорблено тономъ изложенія или безвкусною туманностью; то вдругъ появляется неблагородная, обезображивающая красоту мысли картина или выраженіе, впадающее въ плоскость; то проскальзываетъ безполезный наборъ словъ или (это, впрочемъ, всего рѣже) невѣрная риема и неудачный стихъ... Какъ бы то ни было, нарушается гармоническое дѣйствіе цѣлаго, и нарушеніе это, среди полнаго наслажденія, для насъ тѣмъ непріятнѣе, что вынуждаетъ насъ къ слѣдующему приговору: „духъ, отразившійся въ этихъ стихотвореніяхъ, не есть духъ зрѣлый и законченный; произведеніямъ поэта лишь потому недостаетъ законченности, что ея нѣтъ въ немъ самомъ!“

Необходимый пріемъ при поэтическомъ творчествѣ — это идеализація сюжета; безъ нея поэзія перестаетъ заслуживать свое имя. Поэтъ обязанъ лучшую сторону своего сюжета (будь то образъ, чувство, дѣйствіе, нѣчто присущее его душѣ или находящееся внѣ его) освободить отъ болѣе грубыхъ или, по крайней мѣрѣ, отъ постороннихъ примѣсей, обязанъ собрать въ одинъ фокусъ лучи совершенства, разсѣянные по разнымъ направленіямъ, подчинить гармоніи цѣлаго черты,препятствующія соразмѣрности, возвысить индивидуальное и мѣстное до всеобщности.Всѣ идеалы, которые онъ творитъ такимъ способомъ, по одиночкѣ суть лишь эманаціи того внутренняго идеала совершенства, который живетъ въ душѣ поэта. Чѣмъ чище и полнѣе разработанъ этотъ внутренній, всеобщій идеалъ, тѣмъ ближе будутъ къ совершенству также и названные отдѣльные идеалы. Вотъ этого-то идеализованнаго искусства мы и не можемъ доискаться у г. Бюргера. Мы уже не говоримъ о томъ, что его муза вообще носитъ отпечатокъ чувственности, иногда даже низменной чувственности, что любовь почти всегда представляется ему въ видѣ наслажденія или соблазнительной утѣхи для глазъ, что подъ красотою онъ подразумѣваетъ преимущественно юность, здоровье, благодушіе и комфортъ... Картины, которыя онъ ставитъ передъ нами, представляютъ собою груду отдѣльныхъ фигуръ, скопленіе штриховъ, своею рода мозаику, но никакъ не идеалы. Если г. Бюргеръ, напримѣръ, желаетъ изобразить женскую красоту, то онъ подыскиваетъ къ каждой прелести своей возлюб-

Уже это одно, указанное нами, обстоятельство могло бы вредить законченности многихъ стихотвореній г. Бюргера; къ нему присоединяется еще другое обстоятельство, которое уже положительно портитъ стихотворенія г. Бюргера. А именно, эти стихотворенія суть не только изображенія какого-то своеобразнаго (и совсѣмъ не поэтическаго) душевнаго склада: они суть продукты этого склада. Обидчивость, недовольство, меланхолія суть не только чувства, воспѣваемыя поэтомъ; къ несчастію, они играютъ роль Аполлона—вдохновителя поэта. Между тѣмъ, богини прелести и красоты—очень капризныя божества; онѣ не терпятъ на своемъ алтарѣ никакого другого огня, кромѣ пламени чистаго, безкорыстнаго вдохновенія. Разгнѣванный актеръ едва ли изобразитъ съ успѣхомъ благородное негодованіе; поэтъ не долженъ воспѣвать страданій въ минуту собственныхъ жизненныхъ неудачъ. Когда поэтъ не въ духѣ—онъ не болѣе, какъ заурядный страдалецъ, и, сочиняя въ эту минуту, онъ неминуемо роняетъ свое ощущеніе съ высоты идеалистической всеобщности въ низину несовершенной индивидуализаціи. Поэтъ долженъ сочинять на основаніи болѣе или менѣе мягкихъ и отдаленныхъ воспоминаній. Тѣмъ лучше для него, если онъ по опыту ознакомленъ съ возможно большею частью всего того, что онъ воспѣваетъ; но онъ никогда не долженъ творить подъ непосредственнымъ господствомъ того аффекта, который онъ задумалъ воплотить въ прекрасныхъ образахъ. Даже при созданіи стихотвореній, по поводу которыхъ обыкновенно говорятъ, что перомъ поэта руководятъ любовь, дружба и т. п., поэтъ прежде всего долженъ отрѣшиться отъ любви, дружбы и т. п., долженъ высвободить свою индивидуальность отъ предмета своего вдохновенія, стараться взглянуть на свою страсть изъ умиротворяющаго отдаленія. Идеально-прекрасное, по существу, требуетъ свободы духа, достигаемой путемъ самодѣятельности, а цѣль послѣдней—ослабленіе обаянія страстей.

Новѣйшія стихотворенія г. Бюргера отличаются извѣстною горечью, почти болѣзненною меланхоліею. Лучшее произведеніе сборника „Пѣснь пѣсней объ единственной" сильно теряетъ, благодаря именно указанному свойству, въ своемъ почти недосягаемомъ достоинствѣ. Другіе критики высказались подробнѣе объ этомъ прекрасномъ произведеніи бюргеровской музы, и мы съ удовольствіемъ присоединяемся къ большей части похвалъ, выпавшихъ на долю этого стихотворенія. Насъ только удивляетъ, какъ могъ поэтъ столь много погрѣшить противъ хорошаго вкуса при своемъ размахѣ, пламенности чувства, богатствѣ картинъ, силѣ языка, гармоніи стиха; какъ могъ онъ допустить, чтобы вдохновеніе терялось въ границахъ безумія, чтобы Аполлонъ обращался въ фурію; какъ могъ онъ не замѣтить, что эмоція, въ которой читатель остается послѣ чтенія этого стихотворенія, отнюдь не есть то благодѣтельное, гармоническое настроеніе, въ которое желалъ бы перенести насъ поэтъ. Мы понимаемъ, какимъ образомъ г. Бюргеръ, увлеченный аффектомъ, продиктовавшимъ ему эту пѣсню, подкупленный близкимъ отношеніемъ этой пѣсни къ обстоятельствамъ собственной жизни, которую онъ какъ бы заключилъ въ священный ковчегъ своихъ стиховъ, могъ воскликнуть, въ концѣ своего стихотворенія, что онъ носитъ на себѣ печать совершенства; но, не взирая на блестящія преимущества поэта, мы должны, въ виду именно этого конца, назвать все это произведеніе прекраснымъ стихотвореніемъ „на случай", подразумѣвая подъ этимъ терминомъ такое стихотвореніе, возникновеніе и назначеніе котораго достаточно оправдывается опредѣленнымъ моментомъ, хотя бы въ стихахъ не было той идеальной чистоты и законченности, которыя только и могутъ удовлетворить требованіямъ хорошаго вкуса.

Именно это слишкомъ сильное и близкое участіе личности поэта въ названномъ и другихъ стихотвореніяхъ сборника достаточно объясняетъ манеру автора—столь часто и преувеличенно напоминать читателямъ о своей особѣ въ своихъ пѣсняхъ. Пишущій эти строки не знаетъ никого изъ новыхъ поэтовъ, который былъ бы готовъ такъ злоупотреблять правиломъ Горація: „Sublimi feriam sidera vertice", какъ г. Бюргеръ. Мы не станемъ по этому случаю обвинять г. Бюргера въ томъ, что онъ, въ подобныхъ случаяхъ, роняетъ со своей груди „чудесный цвѣтокъ"; очевидно, все это самохвальство расточается лишь въ шутку. Но если признать, что лишь десятая часть подобныхъ шутливыхъ изліяній все таки серьезна, то эта десятая часть, послѣ десятаго ея повторенія, все таки должна быть принята въ серьезъ и оставить впечатлѣніе горечи. Самопрославленіе

отъ поддержки, которую окажутъ ему друзья его музы, будетъ зависѣть, чтобы изданіе это стало не только исправленнымъ, но и законченнымъ.

Postscriptum Шиллера *).

Такъ судилъ авторъ одиннадцать лѣтъ тому назадъ о поэтическихъ заслугахъ Бюргера. Онъ и въ настоящее время не можетъ измѣнить своего мнѣнія; онъ развѣ могъ бы подкрѣпить это мнѣніе болѣе вѣскими доводами, такъ какъ его чувство было правильнѣе его логики. Къ этой полемической статьѣ примѣшалась партійная страсть; однако, когда статья теряетъ злободневный интересъ, намѣренія рецензента должны будутъ найти справедливую оцѣнку.

Всев. Чешихинъ.

*) Это заключеніе статьи появилось въ 1802 г., при перепечаткѣ ея Шиллеромъ въ собраніи небольшихъ прозаическихъ статей.

Предисловіе къ „Исторіи Мальтійскаго ордена, обработанной по Верто г. М. Н."

рденъ Храмовниковъ блеснулъ и исчезъ, какъ метеоръ, во всеобщей исторіи; орденъ Іоаннитовъ, однако, живетъ долго, уже 7 вѣковъ и, хотя и почти исчезъ съ политической сцены, донынѣ стоитъ и будетъ стоять передъ философомъ, размышляющимъ о судьбахъ человѣчества, въ качествѣ замѣчательнаго явленія. Почва, на которой создался этотъ орденъ, колеблется, и съ сострадательною улыбкою смотримъ мы на его происхожденіе, столь святое столь торжественное для того времени. Но самый орденъ все-таки стоитъ, какъ почтенная руина, на своемъ по-прежнему недоступномъ утесѣ, и, теряясь въ изумленіи передъ исчезнувшею героическою величиною, мы глядимъ на него, точно на опрокинутый обелискъ или тріумфальную арку Траяна.

Хотя мы не безъ основанія поздравляемъ себя съ тѣмъ, что живемъ въ эпоху, когда уже больше незачѣмъ стремиться къ заслугамъ, къ которымъ стремился этотъ орденъ, когда затрата силъ и героизмъ, обнаруживавшіеся въ этомъ орденѣ, столь же излишни, сколь невозможны, но мы должны признать, что не всегда мы противопоставляемъ преимущества современности прошедшему съ надлежащею скромностью и справедливостью въ отношеніи этого прошедшаго. Презрительный взглядъ, который мы кидаемъ на тотъ періодъ суевѣрія, фанатизма, духовнаго рабства обнаруживаетъ не столько похвальную гордость сознающей себя силы, сколько мелкое торжество слабости, которая мститъ безсильною насмѣшкою за то посрамленіе, какое наноситъ ей высшая заслуга. Какъ бы ни опередили мы тѣ темныя времена, все же наши пріобрѣтенія не что иное, какъ выгодная мѣна, которою мы гордимся (хотя бы и по праву). Преимущества болѣе ясныхъ понятій, побѣжденныхъ предразсудковъ, усмиренныхъ страстей, свободолюбивыхъ чувствованій—если только, дѣйствительно, мы имѣемъ эти преимущества—пріобрѣтены нами тяжкою жертвою практической доблести, безъ которой всѣ наши болѣе точныя познанія не могутъ принести намъ пользу. Та самая культура, которая погасила въ нашемъ мозгу пламя фанатической ревности, одновременно потушила въ нашемъ сердцѣ огонь вдохновенія, ослабила размахъ стремленій, уничтожила созрѣвшую для дѣятельности энергію характера. Средневѣковые герои рисковали во имя мечты, которую они считали мудростью, кровью, жизнью и собственностью; какъ ни былъ плохо образованъ ихъ умъ, но они героически слѣдовали его высшимъ законамъ. Ну, а мы, изнѣженные ихъ потомки, можемъ ли похвалиться тѣмъ, что во имя нашей мудрости мы рискуемъ наполовину столькимъ, сколькимъ эти предки рисковали во имя своего безумія?

Я вполнѣ готовъ подписаться подъ тѣмъ

превзойденъ прославленнымъ самопожертвованіемъ спартанцевъ у Ѳермопилъ лишь большею важностью цѣли!.. Знаменитые писатели ставили въ укоръ христіанской религіи то, что она подавляетъ воинственный духъ своихъ послѣдователей и гаситъ огонь воодушевленія. Какъ блистательно опровергается этотъ упрекъ примѣромъ крестовыхъ походовъ и славными подвигами орденовъ Храмовниковъ и Іоаннитовъ! Грекъ и римлянинъ боролись за свое существованіе, за временныя блага, за вдохновительный призракъ мірового господства и чести, боролись на глазахъ у благодарнаго отечества, издали показывавшаго имъ приготовленные для нихъ лавры. Но мужество этихъ христіанскихъ герсевъ было лишено этой поддержки и питалось только своимъ собственнымъ неугасимымъ огнемъ.

Изображеніе внѣшнихъ и внутреннихъ судебъ этого духовно-рыцарскаго ордена заслуживаетъ нашего вниманія еще и съ другой точки зрѣнія. Этотъ орденъ есть политическій организмъ, поддерживаемый особыми законами, скрѣпленный особыми связями. На нашихъ глазахъ онъ возникаетъ, растетъ, цвѣтетъ и отцвѣтаетъ, короче—раскрываетъ и заключаетъ всю свою политическую жизнь. Точка зрѣнія, съ которой философъ-наблюдатель смотритъ на всякое политическое общество, вполнѣ примѣнима и къ этому монашеско-рыцарскому государству. Для такого философа различныя формы, въ которыя соединяются политическія общества, представляются такимъ же количествомъ попытокъ (не всегда сознательныхъ) со стороны человѣчества—провѣрить извѣстныя условія осуществимости спеціальной цѣли одного какого-нибудь общества или общей цѣли всѣхъ такихъ обществъ. Что можетъ быть достойнѣе нашего вниманія, чѣмъ соотвѣтствіе или несоотвѣтствіе этихъ условій ихъ цѣлямъ, изображенное на наглядномъ примѣрѣ? Родъ человѣческій, во все время своего историческаго существованія, перепробовалъ всевозможныя условія общественнаго благополучія, хотя и исходилъ при этомъ изъ совершенно другихъ побужденій; всѣ формы политической общности извѣдалъ онъ въ поискахъ цѣлесообразнѣйшей изъ нихъ. Всеобщая исторія является какъ бы прагматическою естественною исторіею для такихъ государственныхъ организацій, въ точности исчисляя, сколь много или сколь мало выиграла, благодаря различію принциповъ соединенія, конечная цѣль общественнаго стремленія. Съ подобной точки зрѣнія должны мы смотрѣть и на суверенные духовно-рыцарскіе ордена, порожденные религіознымъ фанатизмомъ въ эпоху крестовыхъ походовъ. Побужденія, никогда ранѣе не организовавшіяся въ данной связи и съ данною цѣлью, становятся впервые основаніемъ политическаго тѣла, а въ результатѣ и получается предлагаемая нынѣ читателямъ „Исторія“. Огненный рыцарскій духъ соединяется съ тягостнымъ орденскимъ уставомъ, дисциплина военная съ дисциплиною монастырскою, строгое самоотреченіе, требуемое христіанствомъ, съ отважною солдатскою храбростью—и все это для того, чтобы образовать непроницаемую фалангу противъ внѣшнихъ враговъ христіанства, а также чтобы съ тѣмъ же героизмомъ вести вѣчную войну съ могучими внутренними его врагами—гордостью и роскошью.

Трогательною, возвышенною искренностью отличается дѣтство ордена, блескъ и почетъ вѣнчаютъ его юность; но вскорѣ затѣмъ онъ подвергается общей участи человѣчества. Благосостояніе и сила, естественные спутники храбрости и воздержанія, ведутъ орденъ ускоренными шагами навстрѣчу гибели. Не безъ горечи гражданинъ вселенной глядитъ на обманъ великолѣпныхъ надеждъ, прекрасное начало которыхъ сулило такъ много; но этотъ примѣръ подкрѣпляетъ его въ неопровержимой истинѣ—что непрочно все, создаваемое мечтаніемъ и страстью, что строитъ для вѣчности одинъ разумъ.

Послѣ сказаннаго мною относительно преимущества этого ордена, излишне дальнѣйшее развитіе соображеній, по которымъ я счелъ нужнымъ содѣйствовать появленію новой обработки сочиненія Верто. Соотвѣтствуетъ ли эта обработка вполнѣ тому идеалу ея, какой я имѣлъ въ виду, рекомендуя ее—я этого не стану утверждать; во всякомъ случаѣ, это единственное сочиненіе подобнаго содержанія, которое можетъ дать достойное представленіе объ орденѣ и заинтересовать читателя. Переводчикъ, по мѣрѣ силъ, старался придать живѣйшій ходъ и интересъ повѣствованію, которое, въ оригиналѣ, слишкомъ растянуто; читатель замѣтитъ также исправленія нѣмецкаго писателя, обработавшаго сочиненіе Верто, въ мѣстахъ, въ которыхъ авторъ грѣшитъ пристрастіемъ. Само собою разумѣется, что книга эта предназначается не для уче-

въ виду выработку основаній, по которымъ могла бы опредѣляться цѣнность стихотвореній г. Маттисона.

Какъ извѣстно, отнюдь не сюжетъ, но лишь способъ обработки его дѣлаетъ изъ насъ художниковъ и поэтовъ; кухонная утварь и нравоучительный трактатъ, благодаря разработкѣ, полной вкуса, могутъ быть возвышены до степени художественныхъ произведеній, а въ неопытныхъ рукахъ и портретъ живого человѣка можетъ опуститься до простой макулатуры. Если мы согласимся признать произведеніями прекраснаго искусства (т. е. искусства, проявляющаго идеалъ) картины или стихотворенія, сюжеты для которыхъ даетъ бездушная природа, то все же возможно съ нашей стороны сомнѣніе; можно ли обрабатывать подобные сюжеты такъ, какъ того требуетъ самый характеръ прекраснаго искусства? Однако, каковъ же, по существу, долженъ быть этотъ характеръ, этотъ идеалъ, которому могла бы противорѣчить исключительно-пейзажная природа?—Очевидно тотъ самый, который отличаетъ прекрасное искусство отъ искусства простопріятнаго. Обѣ отрасли искусства, однако, носятъ одинъ характеръ—свободы; слѣдовательно, если пріятное искусство пожелало бы стать прекраснымъ, оно должно было бы усвоить себѣ характеръ необходимости.

Если подъ поэзіею подразумѣвать искусство „свободнымъ проявленіемъ продуктивной силы воображенія переносить насъ въ область извѣстныхъ ощущеній“ (таково едва ли не самое устойчивое изъ ходячихъ опредѣленій поэзіи), то для поэта, заслуживающаго этой клички, явствуютъ отсюда требованія двоякаго рода. Во-первыхъ, онъ долженъ предоставить силу нашего воображенія свободной игрѣ и свободному дѣйствію; во-вторыхъ, онъ всетаки долженъ сознавать свою цѣль и возбуждать въ насъ нѣкоторое опредѣленное ощущеніе. Сперваначалу оба требованія могутъ показаться взаимно-противорѣчивыми, ибо, согласно первому, сила нашего воображенія должна повелѣвать и признавать только тотъ законъ, который она же сама для себя создаетъ, а согласно второму требованію, эта сила должна повиноваться и слѣдовать закону, созданному для нея поэтомъ. Чѣмъ можетъ устранить поэтъ такое противорѣчіе?—Тѣмъ, что онъ предписываетъ силѣ нашего воображенія только то направленіе, по которому она пошла бы и при полной своей свободѣ, руководясь ея собственнымъ закономъ; тѣмъ, что поэтъ достигаетъ своей цѣли естественными средствами и превращаетъ внѣшнюю необходимость во внутреннюю. Оказывается при этомъ, что оба требованія не только не исключаютъ другъ друга, но скорѣе содержатся другъ въ другѣ; величайшая свобода возможна только тамъ, гдѣ она обусловливается величайшею опредѣленностью.

Тутъ-то, однако, поэту представляются двѣ большія трудности. Какъ извѣстно, воображеніе, въ его свободѣ, слѣдуетъ лишь закону ассоціаціи мыслей, которая первоначально основывается лишь на случайной связи воспріятій во времени, т. е. на чемъ-то чисто-эмпирическомъ. Тѣмъ не менѣе, поэтъ долженъ разсчитать этотъ эмпирическій эффектъ ассоціаціи, ибо онъ лишь постольку поэтъ, поскольку достигаетъ своей цѣли, возбуждая свободную самодѣятельность нашей фантазіи. Но для достиженія такого эффекта, поэтъ долженъ открыть закономѣрность въ сферѣ фантазіи и эмпирическую связь представленій подчинить нѣкоторой необходимости. Наши представленія постольку, однако, находятся въ необходимой связи, поскольку они основываются на объективномъ сцѣпленіи явленій, а не только на субъективной и произвольной игрѣ мыслей. Вотъ этого-то объективнаго сцѣпленія явленій и придерживается поэтъ. Лишь отдѣливъ тщательно отъ своего сюжета все, что привзошло къ нему изъ субъективныхъ и случайныхъ источниковъ, и убѣдившись въ томъ, что имъ достигнутъ чистый объектъ, лишь подчинивъ себя закону, которымъ руководится воображеніе во всѣхъ субъектахъ,—поэтъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что, даже при всей свободѣ воображенія его читателей, это воображеніе будетъ согласоваться съ избраннымъ имъ, поэтомъ, направленіемъ.

Поэтъ даетъ играющей силѣ фантазіи опредѣленное направленіе для того, чтобы опредѣленнымъ образомъ дѣйствовать на сердце читателя. Насколько трудна первая задача—опредѣлить игру воображенія, не стѣсняя его свободы, настолько же трудна и вторая,—опредѣлить, посредствомъ этой игры воображенія эмоціональное состояніе субъекта. Извѣстно, что чувство умиленія мѣняется радикальнымъ образомъ у разныхъ людей по различнымъ поводамъ, и даже у одного и того же человѣка, по одному и тому же поводу, въ различные

опредѣленность красокъ и формъ; самые образы здѣсь болѣе произвольны и еще болѣе кажутся таковыми; въ сочетаніи же ихъ случай играетъ роль, весьма тягостную для художника. Если случай представляетъ намъ извѣстные образы въ извѣстномъ порядкѣ, то опредѣляетъ онъ, а не мы, за неимѣніемъ объективныхъ правилъ, по которымъ свободная фантазія зрителя могла бы быть согласована съ идеею художника. Мы принимаемъ отъ случая законъ, который мы должны бы создать сами для себя; въ лучшемъ случаѣ, получается не чисто-поэтическое дѣйствіе, ибо оно не тождественно съ безусловно свободною самодѣятельностью силы воображенія. Если же художникъ хочетъ спасти свободу, то для этого ему предстоитъ одинъ путь—отказаться отъ опредѣленности, а вмѣстѣ съ нею и отъ истинной красоты.

Тѣмъ не менѣе, область пейзажной природы не вполнѣ потеряна для прекраснаго искусства; согласно только что высказаннымъ соображеніямъ, художники и поэты, избирающіе именно изъ этой области сюжеты для своихъ произведеній, должны занимать почетное мѣсто въ ряду своихъ собратьевъ. Прежде всего нельзя отрицать, что, при всей кажущейся произвольности формъ, также и въ этой сферѣ явленій все-таки царитъ большое единство и большая закономѣрность, которыя могутъ руководить художникомъ въ его подражаніи. А затѣмъ должно замѣтить, что, если этотъ родъ искусства и допускаетъ несовершенство въ отношеніи опредѣленности формъ (ибо части исчезаютъ въ цѣломъ, а эффектъ достигается лишь массовый), то въ самой композиціи пейзажа можетъ господствовать строгая необходимость—какъ это, между прочимъ, можно видѣть на свѣтотѣни и колоритѣ пейзажныхъ полотенъ.

Въ концѣ концовъ, пейзажная природа проявляетъ такую строгую необходимость не во всѣхъ своихъ частяхъ; при самомъ глубокомъ изученіи этой природы, останется достаточно простора для произвола, который мѣшаетъ живописцу и поэту достигнуть высшихъ степеней совершенства. Необходимость, которую не находитъ и истинный художникъ, именно ею только и удовлетворяющійся, лежитъ въ существѣ человѣческой натуры; художникъ не можетъ успокоиться, пока онъ не возведетъ своего сюжета до высотъ царства истинной красоты. Прежде всего, онъ станетъ идеализировать пейзажную природу, сколь возможно, и будетъ, по мѣрѣ силъ, находить въ ней и изображать характеръ необходимости. Тогда онъ замѣтитъ, что несмотря на всѣ свои усилія въ этомъ направленіи, ему не удается поставить неодушевленную природу на ряду съ человѣческою. И вотъ, наконецъ, онъ постарается превратить неодушевленную природу въ человѣческую путемъ символизаціи и такимъ пріемомъ пріобщитъ первую ко всѣмъ преимуществамъ, свойственнымъ второй.

Какимъ же образомъ достигнетъ этого пейзажистъ, не погрѣшая противъ правдивости и своеобразія пейзажа? Всякій истинный живописецъ и поэтъ, работающіе въ этомъ направленіи, прибѣгаютъ къ символизаціи, въ большинствѣ случаевъ не давая себѣ яснаго отчета о ней. Неодушевленная природа можетъ быть обращена въ символъ природы человѣческой двумя путями: или изображеніемъ чувствованій, или изображеніемъ идей.

Хотя чувствованія, по ихъ содержанію, не поддаются изображенію, но форма ихъ можетъ быть воспроизведена. Существуетъ одно весьма дѣйственное и излюбленное искусство, имѣющее объектомъ именно такую форму чувствованій. Это искусство—музыка. Поскольку пейзажная живопись или поэзія дѣйствуютъ музыкально, эти отрасли искусства занимаются изображеніемъ способности чувствованій и, слѣдовательно, подражаніемъ человѣческой природѣ. Въ сущности, на каждую живописную и поэтическую композицію мы смотримъ, какъ на своего рода музыкальное произведеніе и обсуждаемъ ихъ отчасти по тѣмъ же законамъ. Мы требуемъ отъ красокъ гармоніи, тона и, въ извѣстной мѣрѣ, модуляціи. Въ каждомъ стихотвореніи мы различаемъ единство мысли отъ единства чувства, музыкальное построеніе отъ построенія логическаго—короче, требуемъ, чтобы каждая поэтическая композиція дѣйствовала на насъ не только своимъ содержаніемъ, но также и формою, была бы подражаніемъ и выраженіемъ чувствованій и производила на насъ музыкальное впечатлѣніе. Еще въ большей мѣрѣ требуемъ мы того-же отъ пейзажнаго поэта и пейзажнаго живописца—и настаиваемъ на этихъ нашихъ требованіяхъ съ тѣмъ бо́льшимъ сознаніемъ, что мы уже принуждены были понизить, въ отношеніи названныхъ отраслей искусства, требованія, предъявляемыя нами ко всѣмъ вообще произведеніямъ прекраснаго искусства.

описаніяхъ пригнаны другъ къ другу по закону одной и той же необходимости; ничего не включено по произволу, и взоръ съ наслажденіемъ схватываетъ генетическій характеръ этихъ образовъ природы. Потому-то нашему воображенію такъ необычайно легко слѣдовать за поэтомъ; кажется, будто мы созерцаемъ саму природу, будто мы предаемся лишь воспоминаніямъ объ уже видѣнномъ. Къ тому же, Маттисонъ прекрасно знаетъ, какими средствами придать своимъ описаніямъ жизнь и чувственность; онъ изучилъ въ совершенствѣ преимущества, а также и естественныя границы своего искусства. Въ художественныхъ созданіяхъ такого рода поэтъ всегда находится въ нѣкоторомъ умаленіи сравнительно съ живописцемъ; дѣло въ томъ, что большая доля пейзажнаго эффекта основывается на мгновенномъ впечатлѣніи отъ цѣлаго, которое поэтъ можетъ слагать лишь изъ послѣдовательнаго ряда воздѣйствій на воображеніе читателя. Задача поэта не столько въ томъ, чтобы представить то, что есть, — сколько представить то, что происходитъ; понимая свои преимущества, онъ придерживается лишь той части своего сюжета, которая годится для изображенія генетическаго. Пейзажная природа есть сразу представляющійся намъ комплексъ явленій и, съ этой стороны, болѣе благопріятна для изображенія ея живописцемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ та же природа находится въ непрестанномъ измѣненіи и, съ этой стороны, благопріятнѣе для воспроизведенія ея поэтомъ.

Г. Маттисонъ съ большою разсудительностью сообразуется съ указанною разницею. Объектомъ его является, природа не столько измѣняющаяся во времени, сколько измѣняющаяся въ пространствѣ природа, болѣе подвижная, чѣмъ застывшая и покоющаяся. Передъ нашими глазами развивается постоянно мѣняющаяся драма, и явленія перебѣгаютъ одно въ другое съ восхитительнѣйшею непрерывностью. Напримѣръ, какъ много жизни и движенія въ слѣдующей картинкѣ лунной ночи (стр. 85):

Луна на небѣ чистомъ.
  Въ руинахъ—огоньки.
На старомъ камнѣ мшистомъ
  Сверкаютъ свѣтлячки.
Духъ липы, сильфъ, робѣя,
  Блуждаетъ съ вѣтеркомъ.
Огонь блудящій, фея,
  Танцуетъ съ тростникомъ.

***

На окнахъ церкви—отблескъ.
  Игра лучей вездѣ.
Волны лѣнивой отплескъ
  Искрится на прудѣ.
Въ ущельи тихомъ, косномъ
  Шевелится бурьянъ,
И къ горнымъ дикимъ соснамъ
  Ласкается туманъ.

***

Всего же краше мѣсяцъ
  Играетъ въ ручейкѣ,
Что черезъ травъ навѣсецъ
  Проносится въ лѣскѣ,
А послѣ, рѣчкой грозной,
  На мельницѣ шумитъ
И пылью яркой, звѣздной,
  По воздуху блеститъ! и т. д.

Также и тамъ, гдѣ сразу нужно поставить цѣлую декорацію передъ нашими глазами, г. Маттисонъ умѣетъ сдѣлать воспріятіе легкимъ и естественнымъ, благодаря постепенности въ послѣдованіи картинъ. Таково слѣдующее его описаніе (стр. 54):

Закатъ горитъ; пурпуровая мгла
Холмы Савойи тихо облегла.
Альпійскій снѣгъ зардѣлся и горитъ;
Женева въ лоно водъ, какъ въ зеркало
  глядитъ.

Хотя мы можемъ воспринимать въ воображеніи эти образы лишь въ ихъ послѣдовательности, но они безъ труда укладываются въ цѣльное представленіе, ибо одинъ поддерживаетъ другой и дѣлаетъ его какъ бы необходимымъ. Намъ уже труднѣе уловить связь въ нижеслѣдующей строфѣ, гдѣ постепенность не столь уже соблюдена:

Позолотились горные хребты;
Какъ снѣгъ, бѣлѣютъ на лугахъ цвѣты,
Благоухая; тихъ Зефиръ прохладный,
И съ Юры слышенъ колокольчикъ
  стадный.

Отъ позолоченныхъ горныхъ хребтовъ намъ нельзя перенестись безъ скачка на цвѣтущіе и благоухающіе луга; скачекъ этотъ тѣмъ ощутимѣе, что мы тутъ должны пустить въ ходъ какое-то особое чувство. Зато какъ счастливо удалась слѣдующая строфа:

Поетъ рыбакъ; челнокъ его плыветъ,
Въ сіяньи розовомъ, на берегъ тотъ,
Гдѣ хижина, покрытая сѣтями,
Подъ дубомъ спитъ, осѣнена вѣтвями.

Если природа не представляетъ для поэта достаточно движенія, то поэтъ заимствуетъ это движеніе изъ сферы фантазіи и населяетъ тихій пейзажъ призрачными существами, скользящими въ туманахъ и пляшущими при лунномъ свѣтѣ; или въ воспоминаніи его встаютъ тѣни прошлаго и вносятъ въ пустынный ландшафтъ искусственную жизнь. Подобныя ассоціаціи возбуждаются г. Маттисономъ не путемъ произвола; онѣ возникаютъ какъ бы по необходимости или изъ мѣстности ландшафта или изъ настроеній, навѣваемыхъ ландшафтомъ. Эти ассоціаціи составляютъ какъ бы субъективный аксессуаръ къ пейзажу, но столь общаго характера, что поэтъ безъ особыхъ опасеній можетъ считать ихъ чѣмъ-то объективнымъ.

Не меньшее мастерство проявляетъ г. Маттиссонъ въ тѣхъ музыкальныхъ эффектахъ, которые достигаются счастливымъ подборомъ гармоническихъ образовъ и искусною архитектоникою въ расположеніи ихъ. Кто бы не призналъ, что нижеслѣдующее стихотвореньице производитъ впечатлѣніе красивой сонаты! (См. стр. 91).

ВЕЧЕРНЯЯ КАРТИНКА.

Въ алый свѣтъ
Лѣсъ одѣтъ...
Въ мягкомъ блескѣ безпечаленъ
Обомшалыхъ видъ развалинъ.

***

Море спитъ—
Но блеститъ.
Словно тихія лебедки,
Вдалекѣ блуждаютъ лодки.

***

Берегъ чистъ,
Серебристъ.
Вмѣстѣ съ тучкой въ небосклонѣ
Тѣнь скользитъ на водномъ лонѣ.

***

Гладь и тишь...
Лишь камышъ
Шелеститъ и стебель клонитъ,
Да порою чайка стонетъ.

***

Какъ красивъ
Между ивъ
Монастырь—лишь въ мракъ ущелья
Огонькомъ проглянетъ келья!..

***

На волнахъ
Лучъ зачахъ...
Вновь таинственно-печаленъ
Обомшалыхъ видъ развалинъ.

***

Въ лунный свѣтъ
Лѣсъ одѣтъ,
И встаютъ изъ-за кургановъ
Тѣни призрачныхъ тумановъ.

Не слѣдуетъ понимать насъ въ томъ смыслѣ, что музыкальное впечатлѣніе отъ этой пѣсни мы приписываемъ счастливому строенію стиха. Метрическое благозвучіе поддерживаетъ и возвышаетъ это впечатлѣніе, но не обусловливаетъ его. Оно обусловлено счастливымъ сопоставленіемъ картинъ, милымъ постоянствомъ въ ихъ послѣдованіи; модуляція и прекрасный складъ цѣлаго даютъ выраженіе опредѣленному настроенію, душевной картинѣ.

Подобное же впечатлѣніе возбуждаетъ стихотвореніе уже совершенно иного содержанія: „Альпійскій путникъ“ (стр. 61) и „Альпійское путешествіе“ (стр. 66): двѣ композиціи, въ которыхъ удачнѣйшія описанія природы соединены съ разнообразнымъ выраженіемъ настроеній. Кажется, слушаешь музыканта, который испытываетъ свою силу надъ нашими чувствами; чрезвычайно удаченъ выборъ сюжета—путешествія черезъ Альпы, гдѣ замѣчается такая поразительная смѣна великаго—прекраснымъ и ужаснаго—смѣшнымъ.

Наконецъ, есть между пейзажными картинами г. Маттисона многія, трогающія насъ извѣстною тенденціей или идеею. Таково, напримѣръ, первое стихотвореніе сборника: „Женевское озеро“; въ превосходныхъ строфахъ очень счастливо символизована побѣда жизни надъ безжизненностью, формы надъ безформенною массою. Это прелестное стихотвореніе поэтъ начинаетъ съ оглядки на прошедшее, когда простирающаяся передъ нимъ райская страна была еще пустынею:

Гдѣ нынѣ кровли башенъ и дворцовъ
Купаетъ въ алыхъ сумеркахъ Женева,—
Во мракѣ жуткомъ дѣвственныхъ лѣсовъ
Ревѣлъ Роданъ, въ порывѣ звѣрскомъ гнѣва.

***

Гдѣ долъ цвѣтущій стелется ковромъ,
Гдѣ рай земной благоухаетъ нынѣ—
Тамъ слышались звѣриный вой и громъ—
Великія гармоніи пустыни.

***

Когда же мѣсяцъ лилъ неясный свѣтъ
На долъ пустынный, засыпавшій рано—
Казалось, міра мертваго скелетъ
Лежалъ подъ небомъ, въ саванѣ тумана.

Но вотъ, передъ поэтомъ раскрывается великолѣпный ландшафтъ, и онъ распознаетъ мѣстности, напоминающія ему творца „Элоизы" и ея поэтическихъ сценъ.

О, мирно надъ водой, Кларанъ, цари!
Прославленъ ты пѣвцомъ свободы, права!
О, величаво-дикій Мильери!
До самыхъ звѣздъ твоя доходитъ слава!

***

Къ твоимъ вершинамъ, гдѣ паритъ орелъ
И изъ-за тучъ летятъ огни-перуны,
Влюбленные идутъ, покинувъ долъ,
И тихо въ нихъ трепещутъ сердца
струны...

До этого мѣста все умно, прочувствовано и живописно. Но поэтъ задумалъ сдѣлать еще лучше; а тутъ-то и напортилъ. Слѣдующія, сами по себѣ прекрасныя, строфы дышутъ холодомъ, а не изливающимся, вполнѣ отдающимся чувству современности, лиризмомъ. Разъ поэтъ отдался своему сюжету всѣмъ сердцемъ, то онъ не можетъ оторваться отъ него для того, чтобы переноситься то на Этну, то въ Тибуръ, то на Неаполитанскій заливъ и т. п.; а если бы онъ и перенесся, то не для того, чтобы едва коснуться этихъ пейзажей, а для того, чтобы остановиться на нихъ подольше. Мы удивляемся въ этихъ послѣднихъ описаніяхъ роскоши живописной кисти поэта, мы ослѣплены имъ—но не согрѣты: болѣе простое описаніе произвело бы болѣе сильное впечатлѣніе. Слишкомъ частая перемѣна декорацій разсѣиваетъ наше вниманіе, такъ что, когда поэтъ возвращается къ главному своему сюжету, нашъ интересъ къ послѣднему уже успѣлъ ослабѣть. Вмѣсто того, чтобы оживить въ насъ этотъ интересъ къ главному сюжету, поэтъ окончательно его заглушаетъ: то паденіе тона, какое замѣчается къ концу стихотворенія, слишкомъ ужъ контрастируетъ съ тѣмъ подъемомъ, съ какимъ г. Маттисонъ началъ и на высотѣ котораго онъ держался такъ долго. Въ названномъ стихотвореніи г. Маттисонъ трижды измѣняетъ свой первоначальный тонъ и вызываетъ поэтому желаніе четвертаго измѣненія. Слишкомъ разнообразныя настроенія, повліявшія на поэта, исказили его первоначальный замыселъ, который, благодаря слишкомъ богатымъ украшеніямъ, потерялъ главнѣйшее условіе содержательности—простоту.

Если мы и характеризуемъ г. Маттисона, какъ превосходнаго поэта-пейзажиста, то мы все же далеки отъ мысли указывать его творчеству границы лишь въ предѣлахъ именно этой сферы. Уже въ этомъ небольшомъ сборникѣ его поэтическое дарованіе съ одинаковымъ счастьемъ подвизается на весьма различныхъ поприщахъ. Въ томъ родѣ поэзіи, гдѣ требуется свободное творчество фантазіи, г. Маттисонъ пробуетъ свои силы съ большимъ успѣхомъ и вполнѣ вѣрно схватываетъ духъ подобныхъ произведеній. Фантазія царитъ здѣсь во всей ея разнузданности, а вмѣстѣ и въ прекрасномъ соотвѣтствіи съ идеею, которая выражается поэтомъ. Въ пѣснѣ, гдѣ описывается „Страна фей", поэтъ осмѣиваетъ съ живымъ юморомъ причуды фантазіи; все здѣсь пестро, блестяще, преувеличено, въ стилѣ гротескъ, вполнѣ соотвѣтствующемъ характеру свободнаго по складу стихотворенія; въ „Пѣснѣ Эльфовъ" все легко, благоуханно, эѳирно, какъ и должно быть въ этомъ маленькомъ міркѣ изъ луннаго свѣта. Беззаботною, блаженною чувственностью дышетъ хорошенькая „Пѣсенка фавновъ" и съ сердечною откровенностью гномы и ихъ коллеги выбалтываютъ свою профессіональную тайну. (См. стр. 141).

Что солнце?—Суета:
Блаженна темнота!
Себѣ мы на умѣ—
И роемся во тьмѣ.
Внизу—покой и миръ.
Вверху горитъ эѳиръ
И страждетъ грѣшный міръ!

Г. Маттисонъ не только художникъ сознательный—а именно въ обработкѣ пейзажныхъ сценъ; онъ также художникъ непосредственный—а именно въ изображеніи чувствованій. Заранѣе можно было ожидать, что поэтъ, столь живо интересующійся міромъ неодушевленнымъ, проявитъ не меньшее искусство въ изображеніи міра одушевленнаго, представляющаго для поэзіи

несравненно болѣе благодарный матеріалъ. Заранѣе можно было бы даже очертить кругъ чувствованій, въ которомъ должна бы вращаться муза, столь чуткая къ красотамъ природы. Не въ сутолокѣ большого свѣта, не въ искусственныхъ отношеніяхъ, но въ уединеніи, въ собственной груди, въ простыхъ ситуаціяхъ простонароднаго быта ищетъ поэтъ человѣка. Дружба, любовь, религіозныя настроенія, воспоминанія изъ поры дѣтства, блаженство сельской жизни и т. п.—таково нормальное содержаніе его пѣсенъ; вѣдь, всѣ эти сюжеты непосредственно близки къ пейзажной природѣ и находятся съ нею въ ближайшемъ сродствѣ... Неудивительно, что музѣ г. Маттисона свойственны мягкая меланхолія и извѣстная созерцательная мечтательность, къ которымъ склоняютъ человѣка уединеніе и прекрасная природа. Въ шумѣ дѣлового свѣта, въ нашей душѣ одинъ образъ неудержимо смѣняется другимъ и разносторонность этой жизни становится намъ въ тягость; тѣмъ вѣрнѣе хранитъ для насъ простая, всегда сама себѣ равная, природа чувствованія, которыя мы ей повѣряемъ, и въ ея великомъ единствѣ мы всегда находимъ собственное наше „я“. Этимъ объясняется тотъ тѣсный кругъ настроеній, въ которомъ вращается г. Маттисонъ, а также долгій отголосокъ однажды воспринятыхъ имъ впечатлѣній, и частое возвращеніе поэта къ послѣднимъ. Настроенія, навѣваемыя природою, какъ ихъ первоисточникомъ, однообразны и количественно-бѣдны; это—элементы, изъ которыхъ лишь въ запутанной игрѣ культурнаго свѣта образуются тѣ тонкіе оттѣнки и искусственныя смѣси, которые служатъ неистощимымъ матеріаломъ для поэта-психолога. Такъ какъ впечатлѣнія отъ природы слишкомъ мало занимаютъ нашъ умъ, то мы скоро забываемъ о нихъ; но мы всегда съ охотою возвращаемся къ нимъ и радуемся возможности обрѣсти вновь свою первоначальную человѣчность, освободивъ ее изъ-подъ тѣхъ искуственныхъ наслоеній, которыя часто бываютъ болѣзненными наростами. Если это возвращеніе къ золотому вѣку и къ простотѣ естественности столь благотворно для культурнаго человѣка, то эта простота есть, по существу, дѣло свободы, а не необходимости; простота эта должна быть отнесена къ сферѣ психическихъ, а не физическихъ вліяній. Итакъ, въ мигъ, когда поэтъ бѣжитъ изъ сумятицы большого свѣта въ пустыню, природа ему мила, а искуственность противна, вслѣдствіе потребности не въ разслабленіи, но въ напряженіи, вслѣдствіе жажды не покоя, но гармоніи; поэтъ ищетъ своего Тибура и неодушевленной природы, вслѣдствіе противорѣчія между культурнымъ міромъ и непосредственнымъ чувствомъ.

Отъ такого-то поэта мы требуемъ кое-что побольше той убогой ловкости противопоставлять искусственность природѣ, къ какой зачастую сводится весь талантъ идиллическаго стихотворца. Для того, чтобы сохранить непосредственность чувствованій среди всѣхъ тѣхъ явленій утонченной культуры, внѣ которыхъ нѣтъ истиннаго духовнаго благородства, поэтъ долженъ обладать сердцемъ, доступнымъ для впечатлѣній высшей красоты. Сердце это проявляется въ изобиліи содержанія, совмѣстимомъ съ неприхотливою формою, въ благородствѣ, обнаруживаемомъ даже въ игрѣ фантазіи и каприза, въ дисциплинѣ, которая сдерживаетъ самозабвеніе побѣды, въ цѣломудренности никогда не оскверняемаго чувства; сердце это даетъ о себѣ знать непреодолимою и истинно-магическою силою, съ какою оно влечетъ къ себѣ насъ, удерживаетъ насъ и какъ бы принуждаетъ насъ, путемъ чествованія его, заботиться о подъемѣ собственнаго нашего нравственнаго достоинства.

Г. Маттисонъ доказалъ наличность въ немъ такого сердца съ убѣдительностью, которая можетъ удовлетворить самыхъ придирчивыхъ судей. Кто можетъ сочинить фантазію вродѣ его „Элизія“ (стр. 34), тотъ посвященъ во внутреннія таинства поэтическаго искусства и является достойнымъ апостоломъ вѣчной красоты... Ближайшее общеніе съ природою и знакомство съ классическими образцами воспитало духъ г. Маттисона, очистило его вкусъ, придало ему духовную грацію; просвѣтленная веселая человѣчность одушевляетъ его произведенія и прекрасныя картины природы въ чистой ясности его духа отражаются столь чистыми, какъ будто на зеркальной поверхности воды. Во всѣхъ произведеніяхъ г. Маттисона вообще замѣчаются выборъ, сдержанность, строгость поэта къ самому себѣ, никогда не утихающее стремленіе къ максимуму красоты. Многое г. Маттисонъ уже сдѣлалъ, но мы надѣемся, что онъ еще не достигъ своего предѣла. Отъ г. Маттисона одного зависитъ—именно теперь, когда онъ испробовалъ свои крылья въ болѣе скромныхъ

сферахъ, предпринять болѣе высокій полетъ, облечь болѣя глубокія идеи въ привлекательныя формы своего воображенія и въ музыку своего языка, подыскать къ своимъ пейзажамъ фигуры и рисовать на томъ восхитительномъ фонѣ человѣчество въ его дѣятельности. Хотя скромное недовѣріе къ собственнымъ силамъ всегда свойственно истинному таланту, но ему же подобаетъ и надлежащее мужество. Прекрасенъ побѣдитель Пиѳона въ мигъ, когда онъ мѣняетъ страшный лукъ на лиру, но величаво зрѣлище Ахилла, который, въ кругу Ѳессалійскихъ дѣвъ, внезапно подымается героемъ!

Всев. Чешихинъ.

О „Садовомъ календарѣ“ на 1795 г.

(Тюбингенъ, изданіе Котты).

Послѣ сочиненій Гиршфельда объ искусствѣ садоводства, страсть къ садоводству все болѣе и болѣе распространялось въ Германіи, но не къ вящшей пользѣ хорошаго вкуса, такъ какъ не установилось опредѣленныхъ принциповъ и все было предоставлено произволу. Относительно того, какъ направить вкусъ къ этому искусству на надлежащую дорогу, разбираемый календарь даетъ прекрасныя указанія, заслуживающія того, чтобы друзья искусства ближайшимъ образомъ изслѣдовали ихъ, а любители-садоводы примѣнили бы ихъ на практикѣ.

Нѣтъ ничего необычнаго въ изслѣдованіи, которое начинается изложеніемъ предмета, а кончается вопросомъ: да возможно ли все осуществить это въ дѣйствительности? Въ особенности возможно это въ изслѣдованіи, посвященномъ столь излюбленнымъ „эстетическимъ“ садамъ. Эти порожденія сѣвернаго вкуса столь двусмысленнаго происхожденія и донынѣ носили столь неопредѣленный характеръ, что со стороны истиннаго друга искусства вполнѣ было простительно не удостаивать ихъ своего вниманія и всецѣло предоставлять ихъ на забаву дилеттантизму. Садовое искусство, не зная, къ какому разряду прекрасныхъ искусствъ должно оно причислить себя, на долгое время примкнуло къ архитектурѣ и стало подчинять живую растительность жесткому игу математическихъ формъ, посредствомъ которыхъ архитекторъ властвуетъ надъ безжизненными, тяжелыми массами. Дерево должно было затаить свою высшую органическую природу, чтобы искусство могло доказать свое могущество на низшей, чисто-внѣшней его природѣ. Оно должно было промѣнять свою прекрасную самостоятельную жизнь на бездушную равномѣрность, а свой легкій, воспаряющій ростъ—на ту видимую компактность, какую требуетъ зрѣніе отъ каменныхъ стѣнъ. Хотя въ наше время садовое искусство и сошло съ этого ложнаго пути, но лишь для того, чтобы впасть въ другую крайность. Изъ-подъ строгой дисциплины архитектора оно ринулось на свободу къ поэту, бросило тягчайшее рабство для неправильнѣйшаго произвола и стало признавать одно законодательство—собственной фантазіи. Сколь, однако, произвольна, причудлива и пестра всякая, сама себѣ предоставленная фантазія, съ ея мѣняющимися образами, столь же произвольно, причудливо и пестро стало садовое искусство, съ его неожиданными декораціями; въ садахъ большаго или меньшаго объема природа отнынѣ должна проявлять все разнообразіе своихъ явленій, точно на школьной картѣ. Во французскихъ садахъ природу лишали всякой свободы, зато недостатокъ этой свободы возмѣщали извѣстною архитектоническою соразмѣрностью и величиною; теперь въ нашихъ такъ называемыхъ англійскихъ садахъ природу низводятъ до ребяческой мелочности, хотятъ отнять у нея всякую прекрасную простоту и всякую правильность, преувеличенно стремясь къ непринужденности и разнообразію. Этому способствуетъ изнѣженный духъ времени, избѣгающій всякой опредѣленности въ формахъ и находящій

несравненно болѣе удобнымъ измѣнять предметы по своимъ замысламъ, не принимая въ соображеніе ихъ сущности; въ такомъ-то положеніи находится по большей части и донынѣ садовая природа.

Такъ какъ не такъ-то легко указать эстетическому садовому искусству его мѣсто въ ряду прекрасныхъ искусствъ, то можно предположить, что классификація въ данномъ случаѣ совершенно невозможна. Но было бы несправедливымъ изъ-за неудачныхъ попытокъ такой классификаціи отрицать самую ея возможность. Тѣ двѣ противоположныхъ формы, въ которыя затѣмъ выливалось садовое искусство, заключаютъ въ себѣ нѣкоторую истину, и обѣ проистекаютъ изъ обоснованной потребности.

Что касается, прежде всего, архитектоническаго вкуса, то нельзя отрицать, что садовое искусство должно быть причислено къ одной категоріи съ архитектурою, хотя изъ этого еще не слѣдуетъ, что пропорціи архитектуры должны примѣняться также къ садоводству. Оба искусства, въ первоначальной своей основѣ, относятся къ физической потребности, опредѣлившей главнѣйшія формы ихъ; затѣмъ на свободу этихъ формъ повліяло развившееся эстетическое чувство, а засимъ уже сознавшій себѣ вкусъ заявилъ свои требованія. Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, оба искусства не вполнѣ свободны; красота ихъ формъ всегда будетъ обусловлена и ограничена неумолимою физическою цѣлью. Оба искусства имѣютъ то общее между собою, что они подражаютъ природѣ посредствомъ природы же, не прибѣгая къ искусственной сферѣ, а иногда, безъ всякаго подражанія, создаютъ новые объекты. Вотъ почему въ садовомъ искусствѣ возможны случаи довольно свободнаго уклоненія отъ формъ, представленныхъ дѣйствительностью, и даже случаи пользованія природою, какъ средствомъ насилованія ея самостоятельности—а именно, когда разумъ удовлетворяется порядкомъ и соразмѣрностью цѣлаго, а глазъ—величіемъ или пріятностью частностей. Такой пріемъ могъ казаться тѣмъ болѣе допустимымъ, что въ садовомъ искусствѣ, какъ и въ архитектурѣ, физическая цѣль достигалась именно цѣною пожертвованія природной свободы. Итакъ, законодатели архитектоническаго вкуса въ садовомъ искусствѣ заслуживаютъ, до извѣстной степени, извиненія въ томъ, что, соблазненные родствомъ, существующимъ между этими двумя искусствами во многихъ ихъ частяхъ, они перепутали ихъ характеръ и, дѣлая выборъ между порядкомъ и свободою, благопріятствовали первому въ ущербъ второй.

Съ другой стороны, также и *поэтическій садовый вкусъ* основывается на совершенно вѣрномъ фактѣ чувства. Человѣкъ, занимавшійся самонаблюденіемъ, знаетъ, что удовольствіе, которымъ наполняетъ насъ созерцаніе сельской природы, неотдѣлимо отъ мысли: „это все—произведенія свободной природы, а не человѣка". Если садовый вкусъ имѣлъ въ виду этотъ родъ наслажденія, то онъ долженъ былъ заботливо удалить изъ своихъ насажденій всѣ слѣды искусственнаго ихъ происхожденія. Потому-то высшимъ своимъ закономъ этотъ вкусъ избралъ свободу, какъ архитектоническій его предшественникъ избралъ такимъ закономъ правильность; одинъ отдавалъ пальму первенства природѣ, другой—рукамъ человѣческимъ. Но цѣль, къ которой стремился поэтическій садовый вкусъ, оказалась слишкомъ велика для средствъ его искусства; онъ потерпѣлъ крушеніе, такъ какъ вышелъ изъ своихъ границъ и превратилъ садовое искусство въ живопись. Онъ забылъ, что сравнительно мелкій масштабъ, умѣстный въ живописи, не можетъ быть примѣненъ къ искусству, которое изображаетъ природу посредствомъ природы же и лишь постольку можетъ трогать, поскольку отождествляется съ природою. Неудивительно, что такой вкусъ, стремясь къ разнообразію, впалъ въ манерность, а затѣмъ опустился до произвольности—такъ какъ у него не было мѣста и силъ для тѣхъ постепенныхъ переходовъ, которыми природа подготовляетъ и оправдываетъ свои декоративныя перемѣны. Идеалъ, къ которому онъ стремился, не заключаетъ въ себѣ внутренняго противорѣчія, но самый выборъ этого идеала былъ нецѣлесообразенъ и причудливъ, такъ какъ счастливѣйшій успѣхъ не вознаградилъ бы за несчетныя жертвы.

Итакъ, если садовое искусство хочетъ, наконецъ, отречься отъ своихъ заблужденій и, подобно другимъ своимъ собратьямъ, войти въ опредѣленныя и постоянныя границы, то оно должно, прежде всего, выяснить себѣ—чего оно, собственно, добивается? Кажется, оно еще недостаточно раздумывало надъ этимъ вопросомъ—по крайней мѣрѣ, въ Германіи. Въ концѣ концовъ, это искусство должно найти золотую средину между чопорностью французъ-

скаго садоваго вкуса и беззаконною свободою такъ называемаго англійскаго. Окажется тогда, что это искусство не въ состояніи достигать столь высокихъ сферъ, о какихъ мечтаютъ люди, имѣющіе въ виду цѣль и забывающіе о средствахъ, и что утопія о сплошномъ кольцѣ изъ садовъ, окружающемъ всю землю, нелѣпа и безсмысленна, но что, однако, вполнѣ осуществимъ и разуменъ замыселъ сада, удовлетворяющаго всѣмъ требованіямъ сельскаго хозяйства и достаточно характернаго для глаза, сердца и разсудка.

На все это указываетъ остроумный авторъ статьи „Къ вопросу объ образованіи нѣмецкаго садоваго вкуса", въ вышеназванномъ календарѣ. Изъ всего, что когда либо было написано по данному предмету, мы считаемъ именно эту статью, наиболѣе удовлетворяющею здравый вкусъ. Правда, изложенныя идеи набросаны отрывисто, но небрежность формы не вліяетъ на содержаніе статьи, проникнутое такою разсудительностью и нѣжнымъ эстетическимъ чувствомъ. Указавъ на два главныхъ направленія, по которымъ шло донынѣ садовое искусство, опредѣливъ и оцѣнивъ различныя цѣли, которыя могутъ быть преслѣдуемы любителями садовыхъ насажденій, авторъ названной статьи старается установить для этого искусства истинныя границы и разумную цѣль; послѣднюю онъ по справедливости видитъ „въ возвышеніи жизненнаго наслажденія, которое намъ можетъ доставить общеніе съ прекрасною пейзажною природою". Совершенно вѣрно различаетъ онъ *садовый ландшафтъ* (англійскій паркъ въ собственномъ смыслѣ), гдѣ природа проявляется во всемъ своемъ величіи и свободѣ и какъ бы поглощаетъ потраченное на нее искусство, отъ *сада*, гдѣ искусство, какъ таковое, можетъ и должно быть ощутимо. Не отвергая за первымъ эстетическаго преимущества, онъ ограничивается указаніемъ трудностей, связанныхъ съ его созданіемъ и могущихъ быть побѣжденными лишь при затратѣ чрезмѣрныхъ силъ. Садъ же въ спеціальномъ смыслѣ слова авторъ статьи раздѣляетъ на большой, малый и средній и намѣчаетъ вкратцѣ границы, за предѣлы которыхъ фантазія не должна переходить въ каждомъ изъ этихъ трехъ случаевъ. Авторъ статьи энергично вооружается противъ англоманіи столь многихъ нѣмецкихъ садоводовъ, противъ мостовъ безъ воды, храмовъ уединенія близъ большой дороги и т. п. и показываетъ, къ какимъ злополучіямъ ведутъ подражательность и плохо-переваренные принципы разнообразія и свободы. Но, съуживая границы садоваго искусства, онъ учитъ насъ быть тѣмъ дѣятельнѣе въ ихъ предѣлахъ и стремиться къ опредѣленному и интересному характеру насажденій путемъ пожертвованія всѣмъ безполезнымъ и нецѣлесообразнымъ. Поэтому онъ не считаетъ невозможнымъ разбивку „символическихъ" и даже „патетическихъ" садовъ, которые могли бы, подобно музыкальнымъ и поэтическимъ композиціямъ, выражать и возбуждать опредѣленное состояніе чувствованія.

Независимо отъ этихъ эстетическихъ замѣчаній, тотъ же авторъ даетъ въ томъ же „Календарѣ" описаніе большого садоваго заведенія въ Гогенгеймѣ, обѣщая намъ продолженіе въ слѣдующемъ году. Каждому, кто знаетъ по наслышкѣ или по личному посѣщенію это по праву знаменитое насажденіе, должно быть пріятно снова пройти сквозь него въ сообществѣ столь тонкаго знатока искусства. Вѣроятно, всякій читатель изумится, какъ изумился и пишущій эти строки, встрѣтивъ въ сочиненіи, повидимому, чисто-случайнаго характера, идею, которая дѣлаетъ честь устроителю сада или описателю его. Многіе туристы, на долю которыхъ выпадало счастье обозрѣть насажденія въ Гогенгеймѣ, не безъ изумленія обратили вниманіе на размѣщеніе въ паркѣ римскихъ надгробныхъ памятниковъ, храмовъ, руинъ и т. п. вперемежку съ швейцарскими хижинами, а смѣющихся цвѣточныхъ грядокъ—съ черными мытыми стѣнами. Трудно было постичь фантазію, которой угодно было соединить въ одно цѣлое столь разрозненные предметы. Объясненіе, что передъ нами просто сельская колонія, основавшаяся на развалинахъ римскаго города, сразу уничтожаетъ это противорѣчіе и вноситъ единство идеи въ странность этой компановки. Деревенская простота и павшее городское величіе, два крайнихъ состоянія общества, трогательнымъ образомъ граничатъ другъ съ другомъ, и серьезное чувство бренности всего земного чудесно теряется въ чувствѣ побѣждающей жизни. Это счастливое смѣшеніе придаетъ всему ландшафту глубокій элегическій тонъ, который удерживаетъ чувствительнаго слушателя въ колебаніи между покоемъ и движеніемъ, раздуміемъ и наслажденіемъ и долго еще звучитъ отголоскомъ въ душѣ, когда уже все исчезло изъ поля зрѣнія.

Авторъ статьи полагаетъ, что оцѣнить по достоинству насажденіе въ Гогенгеймѣ можетъ только тотъ, кто видѣлъ его въ лѣтній день; мы можемъ прибавить, что только тотъ можетъ вполнѣ прочувствовать красоту этого парка, кто приблизится къ нему съ одной, опредѣленной стороны. Чтобы вполнѣ наслаждаться садомъ въ Гогенгеймѣ, необходимо пройти въ него черезъ вновь отстроенный дворецъ. Путь отъ Штутгарта до Гогенгейма есть, въ извѣстной мѣрѣ, воплощенная исторія садоваго искусства, которая даетъ вдумчивому зрителю матеріалъ для интересныхъ размышленій. Поля, виноградники и огороды, которые тянутся вдоль большой дороги, — представляютъ собою первое, физическое начало садоваго искусства. Затѣмъ начинается французское садовое искусство, съ его надменною солидностью, въ видѣ длинныхъ и отвѣсныхъ шпалеръ изъ тополей, установляющихъ связь между свободнымъ пейзажемъ и Гогенгеймомъ и возбуждающихъ своими искусственными формами нѣкоторое ожиданіе. Это торжественное впечатлѣніе доходитъ почти до напряженія, когда туристъ пройдетъ сквозь покои герцогскаго замка, не имѣющіе себѣ равныхъ по роскоши и элегантности, совмѣщающіе изысканнымъ образомъ вкусъ съ расточительностью. Благодаря блеску, со всѣхъ сторонъ утомляющему глаза, и художественной архитектурѣ комнатъ и меблировки, потребность въ *простотѣ* достигаетъ своего апогея, и готовится торжественнѣйшій тріумфъ сельской природы, которая предстаетъ туристу въ видѣ т. н. англійской деревни. Между тѣмъ, памятники павшаго величія, къ угрюмымъ стѣнамъ которыхъ селянинъ прислоняетъ свою мирную хижину, своеобразно дѣйствуютъ на сердце; съ тайнымъ злорадствомъ мы видимъ въ этихъ развалившихся руинахъ месть за искусство, которое злоупотребило въ отношеніи насъ своею силою въ роскошномъ, только что отстроенномъ, дворцѣ. Но природа, которую мы видимъ въ англійскомъ паркѣ, уже не та, изъ которой мы пришли. Это — одушевленная умомъ и экзальтированная искусствомъ природа, которая удовлетворяетъ не только простого, но даже и избалованнаго культурою человѣка, побуждая перваго мыслить, второго— чувствовать.

Можно, конечно, многое возражать противъ той или иной интерпретаціи Гогенгеймскихъ насажденій; во всякомъ случаѣ, устроитель этихъ насажденій заслуживаетъ благодарности за то, что не обманываетъ нашихъ ожиданій; и только всѣмъ недовольный человѣкъ не желаетъ судить объ эстетическомъ произведеніи по доброй волѣ художника — подобно тому какъ въ сферѣ нравственныхъ явленій онъ не желаетъ судить о доброй волѣ человѣка по его дѣянію. Когда все описаніе Гогенгеймскихъ насажденій будетъ закончено, то проницательный читатель, конечно, съ интересомъ усмотритъ изъ названной статьи одновременно и характеристику сада, и символическую характеристику самого садовода — замѣчательнаго хотя бы уже тѣмъ однимъ, что, вопреки рутинѣ, онъ не старался добывать фонтановъ изъ почвы, лишенной ручьевъ.

Подъ приговоромъ автора статьи относительно садовъ въ Швецингенѣ и Зейферсдорфской долинѣ близъ Дрездена съ охотою подпишется всякій человѣкъ со вкусомъ, видѣвшій лично эти насажденія. Нельзя не согласиться также съ авторомъ статьи въ томъ, что обычай вѣшать на деревья нравоучительныя изреченія на табличкахъ—сентиментальная аффектація, и что садовыя мечети вперемежку съ греческими храмами — признакъ варварскаго вкуса.

Всев. Чешихинъ.

Психо-физіологическіе опыты Шиллера.

Предлагаемый дальше переводъ психо-физіологическаго этюда Шиллера о связи между животной и духовной жизнью человѣка представляетъ во многихъ отношеніяхъ высокій интересъ.

Прежде всего напомнимъ, что этюдъ этотъ появился во время господства въ Германіи довольно фантастическихъ гипотезъ на счетъ явленій жизни: динамическая физіологія Boerhave'a все сводила къ движенію, управляемому особымъ активнымъ началомъ, а именно „нервнымъ принципомъ"; анимистическая же система Georg Ernst Stahl'я видѣла въ особыхъ нематеріальныхъ началахъ — въ духахъ (anima), къ сожалѣнію неясно опредѣлявшихся, непосредственную причину жизненныхъ явленій.

Въ то же почти время и механически-динамическая система Friedrich Hoffmann'a пыталась объяснять механизмъ жизненныхъ явленій существованіемъ воодушевленныхъ монадъ и особаго нервнаго эѳира. Въ области воззрѣній на явленія жизни господствовало тогда, въ особенности въ Германіи, чисто спекулятивное направленіе, гнушавшееся опытнаго метода, какъ орудія научнаго изслѣдованія и это несмотря на то, что великимъ современникомъ той же приблизительно эпохи былъ знаменитый Albrecht van Haller особенно выдѣлившійся своими опытными изслѣдованіями надъ раздражительностью живыхъ образованій. Несмотря на труды этого блестящаго представителя экспериментальнаго метода, доказывавшаго каждой работой своей, каждымъ открытіемъ своимъ всю важность, всю незамѣнимость эксперимента въ провѣркѣ разныхъ біологическихъ гипотезъ и въ объясненіи жизненныхъ явленій, спекулятивное направленіе въ разработкѣ жизненныхъ явленій все же брало тогда перевѣсъ и давало поводъ къ созиданію различныхъ туманныхъ гипотезъ и теорій, носившихъ или рѣзко матеріалистическій или анимистическій характеръ и признававшихъ, слѣдовательно, или единство духа и тѣла, т. е. тождество ихъ (монизмъ) или полную раздѣльность ихъ и независимость другъ отъ друга (дуализмъ). Выше нами были указаны самые выдающіеся образцы господствовавшихъ въ то время гипотезъ или теорій о жизни.

Вотъ въ это-то время, въ этотъ періодъ спекулятивнаго направленія въ изученіи явленій жизни, учился, работалъ и писалъ свои какъ біологическіе, такъ и психо-физіологическіе этюды и знаменитый поэтъ Шиллеръ. Не подлежитъ сомнѣнію, что пробы пера его въ этомъ направленіи обусловливались тѣмъ, что онъ занимался медициной и слѣдовательно ему приходилось изучать и механизмъ человѣческаго тѣла и отправленія его какъ въ общемъ, такъ и въ частяхъ; а это все должно было наводить высокій умъ поэта на вопросы, касающіеся общей характеристики жизненныхъ явленій и самаго животрепещущаго для каждаго мыслящаго человѣка вопроса— о связи между душевной и физической жизнью человѣка. Въ первомъ направленіи имъ написана была „Философія физіологіи", а во второмъ—предлагаемый здѣсь „Опытъ изслѣдованія вопроса о связи между животной и духовной природой человѣка". Что касается первой статьи, то въ ней прежде всего останавливаетъ на себѣ вни-

маніе глубокая религіозность автора и высоко-идеальный взглядъ на назначеніе человѣка; курсъ врачебныхъ наукъ ничуть не сдѣлалъ Шиллера матеріалистомъ. Духъ человѣка, говоритъ авторъ, облагороженъ силами Божества и долженъ изъ сцѣпленія причинъ и намѣреній въ частныхъ явленіяхъ переходить къ причинамъ и намѣреніямъ въ общемъ планѣ всего мірозданія, а изъ этого человѣкъ долженъ познавать Творца, любить Его и прославлять. Идеалъ человѣка безконеченъ, но духъ вѣченъ; вѣчность же есть мѣрило безконечности, т. е. духъ будетъ вѣчно расти, но никогда не достигнетъ своего идеала, который, по мнѣнію Шиллера, сводится къ стремленію человѣка достигнуть подобія съ Богомъ. Этому прогрессивному шествію человѣка къ идеалу способствуетъ, повидимому, тотъ важный и вѣчный законъ, по которому все, что приближаетъ его къ совершенству, доставляетъ ему удовольствіе,—все же, что удаляетъ отъ него, заставляетъ его страдать. Рядомъ съ этими мыслями, авторъ проводитъ въ своей „Философіи физіологіи“ и такія, которыя поражаютъ своей странностью и, можно сказать, нелѣпостью. Такъ, говоря о стремленіи человѣка къ совершенству, онъ указываетъ, что совершенство всего возможно только при совершенствѣ частностей, а это лежитъ въ основѣ любви, соединяющей не только людей съ людьми, но и съ животными, и будто бы поэтому, смѣшивая себя съ ближнимъ, человѣкъ испытываетъ сладострастіе и т. д. Далѣе, чтобы объяснить себѣ дѣйствіе матеріи на духъ человѣка, авторъ, послѣ критики разныхъ фантастическихъ гипотезъ, приходитъ къ признанію какой-то срединной силы (Mittelkraft), отличающейся и отъ матеріи и отъ духа; но познать эту срединную силу человѣкъ не можетъ потому, что ея измѣненія служатъ ему лишь знаками измѣненій внѣшняго міра, безъ измѣненій же сила эта не вызываетъ представленія; она къ тому же отдѣлена отъ внѣшняго міра второстепенными силами (Unterkräfte), а къ нимъ въ цѣляхъ защиты присоединены еще другія механическія силы. Эти двоякаго рода механическія силы называются строеніемъ, и различія органовъ зависятъ отъ характера строенія. Безъ срединной силы не можетъ появиться ни одного представленія въ душѣ, безъ строенія не можетъ быть опредѣленнаго представленія. Весь процессъ образованія представленія мы называемъ Sensation; измѣненія же въ строеніи мы называемъ направленіемъ. Закончимъ передачу этой серіи странныхъ и ошибочныхъ соображеній Шиллера еще и даннымъ имъ, въ той же „Философіи физіологіи“, подраздѣленіемъ органовъ ощущеній на два главныхъ класса; въ 1-омъ объектъ измѣняется строеніемъ, во 2-омъ онъ въ неизмѣнномъ видѣ поступаетъ въ вѣдѣніе срединной силы (Mittelkraft); къ первой группѣ относятся будто бы зрѣніе, слухъ и вкусъ; ко второй—обоняніе и осязаніе—и т. д. Что разумѣлъ собственно Шиллеръ подъ названіемъ срединной силы (Mittelkraft), какъ посредницы между матеріей и духомъ—нервный ли эѳиръ Friedrich Hoffmann'a, или что другое—и, наконецъ, въ чемъ неотразимыя причины, заставляющія признать необходимость такого таинственнаго посредника—остается теперь, какъ и тогда, совершенно неизвѣстнымъ. Уже тогда ученые судьи—учителя Шиллера забраковали разбираемое нами сочиненіе его и оно стоило ему лишній годъ пребыванія въ академіи.

Въ наше время, конечно, недостатки этого труда, какъ по фантастичности гипотезъ, такъ и по полной бездоказанности ихъ, бросаются еще рѣзче въ глаза каждому натуралисту и медику, и онъ является лишь краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ смѣлаго, пытливаго и богатаго фантазіей ума тогда еще юнаго воспитанника Шиллера, отразившаго частью въ своемъ трудѣ и спекулятивныя воззрѣнія-того времени на явленія жизни.

Совсѣмъ иное представляетъ собою другая предлагаемая здѣсь въ переводѣ работа Шиллера—о взаимодѣйствіи между животной и духовной жизнью человѣка.

Здѣсь очень много точныхъ, мѣткихъ и замѣчательныхъ для того времени мыслей и наблюденій, вѣрность которыхъ или уже признана, или доказывается и продолжаетъ доказываться въ наши дни.

Конечно, Шиллеръ былъ сыномъ своего времени, и юныя мысли его о жизни и механизмѣ ея были ясно проникнуты дуалистическимъ воззрѣніемъ, рѣзко обособлявшимъ духъ отъ тѣла и признававшимъ послѣднее за тлѣнную лишь оболочку перваго и находящуюся подъ полнымъ подчиненіемъ его. Зависимость же духа или душевныхъ проявленій отъ животныхъ тѣлесныхъ отправленій, отъ физическихъ сторонъ жизни не признавалась мыслителями-дуалистами того времени и считалась даже

оскорбительной для величія свободнаго человѣческаго духа: о детерминизмѣ душевныхъ отправленій человѣческаго организма во всемъ ихъ разнообразіи не было тогда и рѣчи.

Тѣмъ болѣе дѣлаетъ чести Шиллеру, съумѣвшему въ разбираемой нами статьѣ выставить съ полной рельефностью и тонкой наблюдательностью всѣ сложныя взаимодѣйствія, въ которыя вступаетъ тѣлесный и духовный міръ человѣка и безъ коихъ немыслима бы была никакая человѣческая жизнь.

Душа, говоритъ Шиллеръ, для защиты тѣла должна быть освѣдомлена о состояніи, въ которомъ находится тѣло, и дурное болѣзненное состояніе послѣдняго служитъ источникомъ неудовольствія, а хорошее, нормальное состояніе—источникомъ удовольствія.

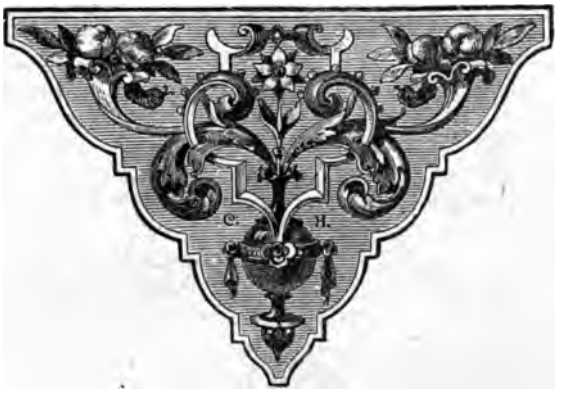
Душа человѣческая вовлечена такимъ образомъ въ интересы тѣла, и духъ и тѣло являются поэтому тѣсно сплетенными. Физическія измѣненія состоянія тѣла даютъ о себѣ знать духу возникновеніемъ въ немъ тѣхъ или другихъ ощущеній, и эти-то послѣднія помогаютъ приводить въ движеніе внутренній часовой механизмъ духа; результатомъ его дѣятельности является воля, пускающая въ дѣло, сообразно съ случаемъ, тѣ или другія силы организма. Въ дополненіе къ сказанному, Шиллеръ, своимъ разборомъ хода развитія отдѣльнаго индивидуума и цѣлаго человѣчества, стремится выставить все важное значеніе, какое имѣли животныя потребности и влеченія въ развитіи духа, и категорически заявляетъ, что тѣло является первымъ толчкомъ къ дѣятельности. Трудно выразить яснѣе Шиллера зависимость духа отъ состояній тѣла; онъ говоритъ, что все, что укрѣпляетъ физическій, тѣлесный механизмъ, бываетъ связано съ пріятнымъ движеніемъ души, и, наоборотъ, все, что подкапываетъ его благосостояніе и ускоряетъ его гибель, связано съ мучительнымъ состояніемъ души. Подъ этими мудрыми словами поэта не задумается подписаться полностью ни одинъ современный врачъ или психо-физіологъ, владѣющій нынѣ точными и разнообразными способами изслѣдованія человѣка и массой накопившихся наблюденій и опытовъ, чего, конечно, не было во времена Шиллера. Логически развивая свои мысли, онъ приходитъ, наконецъ, къ тому выводу, что животная, тѣлесная природа человѣка есть основаніе, на которомъ покоится органъ души, и этимъ дано первое звено тѣсной связи между ними.

Шиллеръ не ограничился, однако, указаніемъ зависимости духа отъ тѣла, но подробно развилъ свой взглядъ и на зависимость тѣлесныхъ, физическихъ отправленій человѣка отъ состоянія его духа, отъ міра чувствъ, душевныхъ движеній, настроеній и т. д. Анализируя состояніе и дѣятельность сердца, мышцъ, дыханія, крови и т. д. при различныхъ душевныхъ состояніяхъ, авторъ приходитъ къ тому важному выводу, что все пріятное, радостное, хорошее самочувствіе, настроеніе ведетъ къ тѣлесному благополучію, къ физическому здоровью, и, наоборотъ, угнетенное состояніе духа, печаль, грусть, томленіе, неизвѣстность ожиданія и т. д. разстраиваетъ тѣлесныя отправленія и ведетъ къ болѣзни и гибели организма. Поэтому, говоритъ Шиллеръ, душевное страданіе подкапываетъ механизмъ, душевная радость укрѣпляетъ его. Очень тонкія и вѣрныя замѣчанія дѣлаетъ Шиллеръ по поводу вліянія негодованія, страха, безпокойства, угрызенія совѣсти, отчаянія, гнѣва, сильной внезапной радости или горя на физическія животныя отправленія тѣла, и, наконецъ, отъ его проницательнаго ума не ускользнула и мысль о реальномъ лечебномъ значеніи психическихъ вліяній, какъ-то: радости, надежды и др. на исходъ различныхъ тяжелыхъ болѣзней. Авторъ проводитъ строгій параллелизмъ между міромъ душевныхъ и тѣлесныхъ явленій въ организмѣ человѣка и сравниваетъ душу и тѣло съ двумя отдѣльными и рядомъ натянутыми струнами, резонирующими въ унисонъ, а именно: радостный звукъ въ физическомъ тѣлесномъ мірѣ человѣка вызываетъ такой же отзвукъ и на духовной струнѣ организма и наоборотъ; симпатія тѣла и духа обращаетъ ихъ въ единую сущность, и самымъ вѣрнымъ представителемъ этой сущности и является человѣкъ. Вотъ въ общихъ чертахъ главныя основныя идеи разбираемаго труда. Онѣ поражаютъ вѣрностью и тонкостью анализа, тѣмъ болѣе, что во времена Шиллера совершенно отсутствовали всѣ тѣ тонкіе и точные физіологическіе и психофизіологическіе методы изслѣдованія человѣка, которые примѣняются нынѣ для разслѣдованія связи между міромъ психическихъ и тѣлесныхъ функцій организма.

Нынѣ, существованіе графическихъ способовъ изслѣдованія сосудистой системы при помощи плетизмографа, кардіографа,

сфигмографа, сфигмоманометра; дыхательной системы—при помощи различныхъ пнеймографовъ, спирометровъ, дыхательныхъ камеръ и т. д.; мышечной системы—при помощи міографовъ, эргографовъ и т. д. даетъ возможность произвести тонкій, экспериментальный анализъ взаимодѣйствіямежду міромъ психическихъ и тѣлесныхъ явленій въ организмѣ; изслѣдованія этого рода окончательно подтвердили существованіе самой близкой зависимости между обоими этими мірами и того замѣчательнаго факта, что благосостояніе духа всегда идетъ рука объ руку съ нормальнымъ отправленіемъ тѣлесныхъ функцій организма и наоборотъ. Тѣлесный міръ во всѣхъ его деталяхъ вибрируетъ въ унисонъ съ міромъ душевныхъ явленій и, обратно, послѣдній—съ первымъ, образуя нѣчто цѣльное, гармонично связанное. Вотъ главный, существенный выводъ различныхъ точныхъ психо-физіологическихъ и клиническихъ изслѣдованій нашего времени, который, какъ видитъ читатель, служитъ блестящимъ фактическимъ подтвержденіемъ идей, выраженныхъ въ свое время Шиллеромъ. Конечно, въ трудахъ нашего времени, касающихся вопроса о связи между духовной и тѣлесной жизнью организма (назовемъ изъ русскихъ сочиненій В. А. Манасеина „О психическихъ вліяніяхъ“, И. Тарханова „О вліяніи психическихъ явленій на тѣлесные процессы въ организмѣ“), мы найдемъ болѣе богатый и болѣе научно обработанный матеріалъ, относящійся къ этому вопросу; но сущность дѣла остается той же, и всѣ они не прибавляютъ въ принципіальномъ смыслѣ ничего особенно новаго къ основнымъ положеніямъ, высказаннымъ уже Шиллеромъ по вопросу о взаимодѣйствіи между духовной и физической стороной человѣка. Въ этомъ и кроется высокій интересъ предлагаемой брошюры, свидѣтельствующей о глубинѣ ума и тонкой наблюдательности Шиллера, какъ юнаго тогда ученаго. Онъ тогда уже говорилъ о цѣлебномъ значеніи различныхъ психическихъ состояній, какъ-то: радости, надежды, увѣренности, довѣрія и т. д., и, слѣдовательно, указывалъ на важность психическихъ вліяній въ борьбѣ съ болѣзнями. Извѣстно, что положеніе это вполнѣ утвердилось въ наукѣ нашихъ дней и въ блестящей формѣ обрисовано въ статьѣ знаменитаго Шарко „La joie qui guérit“.

И. Тархановъ.



Опытъ изслѣдованія вопроса о связи между животной и духовной природою человѣка.

Nas homo est—sive hunc divino semine fecit
Ille opifex rerum, mundi melioris origo;
Sive recens tellus, retinebat semina coeli;
Pronaque cum spectent animalia caetera terram,
Os hominі sublime dedit, coelumque videre
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.
Ovid. H. Metamorph.

Свѣтлѣйшій Герцогъ,

Милостивѣйшій Государь!

Сегодня съ особеннымъ удовольствіемъ я вижу исполнившимся мое желаніе имѣть случай публично, самымъ чистосердечнымъ образомъ, поблагодарить Вашу Свѣтлость за высокую милость и болѣе чѣмъ отеческое руководительство, которымъ, въ теченіе восьми лѣтъ, я имѣлъ счастіе пользоваться въ этомъ достославномъ учрежденіи. Мудрѣйшія, самыя превосходныя мѣры, направленныя къ просвѣщенію нашего разума и къ облагороженію нашихъ чувствъ; достойные, благоразумные учителя, которыхъ Ваша Свѣтлость съ такою проницательностью съумѣли отыскать среди класса обыкновенныхъ ученыхъ и сдѣлать орудіемъ осуществленія великаго, безсмертнаго плана образованія; незабвенныя словесныя наставленія Государя, полагающаго свое величіе въ томъ, чтобы быть учителемъ среди своихъ учениковъ, отцомъ среди своихъ сыновей—стеченіе всѣхъ этихъ счастливыхъ обстоятельствъ, въ которыхъ я съ удивленіемъ созерцаю пути Высшаго Провидѣнія, положило основаніе счастію всей моей жизни, и только тогда я буду считать себя неудовлетвореннымъ, когда мои стремленія столкнутся съ намѣреніями лучшаго изъ государей.

Ваша Свѣтлость оцѣнили меня тѣмъ же глубокимъ взглядомъ, какимъ Вы всматриваетесь въ душу всѣхъ Вашихъ воспитанниковъ, и, быть можетъ, замѣтили во мнѣ нѣчто, что дѣлало меня способнымъ начать когда-нибудь службу моему отечеству въ качествѣ врача. Я радуюсь этому предназначенію и, чтобы достичь его, буду тѣмъ сильнѣе напрягать всѣ нервы моего духа, что Ваша Свѣтлость открыли мнѣ къ тому самыя благопріятныя перспективы.

Врачъ, умственный горизонтъ котораго вращается исключительно вокругъ историческаго познанія человѣческаго механизма и которому извѣстны лишь сравнительно грубыя колеса этихъ одушевленныхъ часовъ и то только въ терминахъ и частично, дѣлаетъ, быть можетъ, чудеса у постели больного и боготворимъ толпою; но Ваша Свѣтлость подняли искусство Гиппократа изъ узкой сферы механической науки изъза куска хлѣба въ болѣе высокій рангъ философскаго ученія. Философія и врачебная наука находятся между собою въ совершеннѣйшей гармоніи: послѣдняя ссужаетъ первую своимъ богатствомъ и свѣтомъ и за то получаетъ отъ нея свой интересъ, свое достоинство и свою привлекательность. Я старался въ теченіе этого года ближе познакомиться съ каждой изъ нихъ; да послужатъ эти немногія страницы оправданіемъ моей задачи; пусть будутъ онѣ посвящены в и н о в н и к у моего счастія. Но снисходительность о т ц а пусть защититъ этотъ слабый мой опытъ отъ справедливыхъ требованій Г о с у д а р я.

Глубоко проникнутый чувствомъ самой искренней благодарности за милостивую заботливость, съ какою Ваша Свѣтлость всегда стремились сдѣлать меня болѣе совершеннымъ, высоко приподнятый рвеніемъ заслужить эту милость, пребываю съ глубокимъ благоговѣніемъ

Вашей Свѣтлости

вѣрноподданнически послушный

Іог. Христофъ Фр. Шиллеръ, воспитанникъ.

Штуттгартъ, 30-го ноября 1780 г

вить въ болѣе ясномъ освѣщеніи замѣчательное содѣйствіе тѣла всѣмъ актамъ души, великое и реальное вліяніе системы животнаго чувствованія на духовный міръ. Однако, считать поэтому добродѣтель за наивысшее благо не значитъ еще держаться философіи Эпикура и тѣмъ менѣе стоицизма.

***

Но прежде чѣмъ изслѣдовать высшія моральныя цѣли, достигаемыя при помощи животной природы, мы должны сперва установить ея физическую необходимость и объединить ее въ нѣсколько основныхъ понятій. Такова точка зрѣнія, съ которой мы разсматриваемъ связь той и другой природы.

ФИЗИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ.

Животная природа укрѣпляетъ духовную дѣятельность.

§ 2. Организмъ душевной дѣятельности, питанія, размноженія.

Всѣ приспособленія, замѣчаемыя нами въ нравственномъ и тѣлесномъ мірѣ для усовершенствованія человѣка, сводятся, повидимому, къ слѣдующему элементарному положенію: совершенствованіе человѣка состоитъ въ упражненіи его силъ чрезъ созерцаніе мірового плана; и такъ какъ между количествомъ силы и цѣлью, на которую она направлена, должна быть тѣснѣйшая гармонія, то и совершенствованіе будетъ заключаться въ наивысшей дѣятельности его силъ. Но дѣятельность человѣческой души — по необходимости, которой я еще не признаю, и способомъ, котораго я еще не понимаю — связана съ дѣятельностью матеріи. Измѣненія въ тѣлесномъ мірѣ должны пройти чрезъ особый классъ посредствующихъ органическихъ силъ, чрезъ чувства, и, такъ сказать, сдѣлаться болѣе тонкими, прежде чѣмъ они будутъ въ состояніи вызвать во мнѣ представленіе; также и, съ другой стороны, между душою и міромъ должны выступить другія органическія силы, механизмы произвольнаго движенія, чтобы передать измѣненіе первыхъ вторымъ; наконецъ, самыя операціи мышленія и чувствованія должны соотвѣтствовать извѣстнымъ движеніямъ внутренняго чувствилища. Все это образуетъ организмъ душевной дѣятельности.

Но матерія является жертвою вѣчнаго обмѣна и уничтожаетъ самое себя, пока она дѣйствуетъ; при движеніи стихія выходитъ изъ своихъ условій, изгоняется и теряется. Но такъ какъ, въ противность этому, простое существо, душа въ самой себѣ, заключаетъ и продолжительность и постоянство и ничего не пріобрѣтаетъ и не теряетъ въ своей сущности, то матерія и не можетъ идти одинаково съ дѣятельностью духа, и потому скоро исчезъ бы организмъ духовной жизни и вмѣстѣ съ нимъ и вся дѣятельность души. Для отвращенія этого, новая система органическихъ силъ должна была присоединиться къ первой системѣ; она возмѣщаетъ ея расходованіе и поддерживаетъ ея уменьшающійся расцвѣтъ путемъ постоянно возобновляемой цѣпи новыхъ созиданій.

И далѣе. Послѣ короткаго періода дѣятельности, съ сохраненіемъ равновѣсія между тратою и возстановленіемъ, человѣкъ уходитъ со сцены жизни, и законъ смертности опустошаетъ землю. На ней нѣтъ достаточно мѣста для множества чувствующихъ существъ, которыя желали бы внести вѣчную любовь и мудрость въ счастливое существованіе; они лишены возможности одновременно существовать въ узкихъ границахъ этого міра, и жизнь одного поколѣнія исключаетъ жизнь послѣдующаго. Поэтому стало необходимымъ, чтобы новые люди выступали на мѣсто старыхъ, умирающихъ и жизнь поддерживалась чрезъ непрерывное наслѣдованіе. Но ничего новаго уже не *созидается*, и если что и является теперь новымъ, оно имъ становится чрезъ развитіе. Развитіе человѣка должно было происходить чрезъ человѣка, если оно должно было находиться въ соотношеніи съ тратою силъ и если человѣкъ былъ созданъ для человѣка. Изъ этого основанія новая система органическихъ чувствъ присоединена была къ двумъ предыдущимъ; она имѣетъ своею цѣлью воскресеніе и развитіе человѣчества. Это — организмъ размноженія. Эти три организма, взятые въ самой тѣсной реальной связи, составляютъ человѣческое тѣло.

§ 3. Тѣло.

Органическія силы человѣческаго тѣла дѣлятся сами собою на два главныхъ класса: первый обнимаетъ тѣ силы, которыя мы не можемъ объяснить по извѣстнымъ

нимъ законамъ и явленіямъ физическаго міра, и сюда принадлежатъ чувствительность нервовъ и возбудимость мускуловъ. Такъ какъ до сего времени представлялось невозможнымъ проникнуть въ экономію этихъ невидимыхъ явленій, то пробовали объяснить неизвѣстный механизмъ извѣстнымъ и смотрѣли на нервы, какъ на каналъ, по которому течетъ крайне тонкая, подвижная и дѣйственная жидкость (fluidum), превосходящая по своей быстротѣ и тонкости эѳиръ и электрическую матерію; въ ней видѣли начало чувствительности и подвижности и потому дали ей названіе духовъ жизни. Позднѣе возбудимость мускуловъ была сведена къ извѣстному стремленію (nisus), съ цѣлью сократить этимъ путемъ поводы къ придумыванію новыхъ началъ и сблизить оба конечныхъ пункта. Эти двоякія начала образуютъ специфическій характеръ животнаго организма.

Второй классъ обнимаетъ тѣ силы, которыя мы можемъ подчинить общеизвѣстнымъ законамъ физики. Сюда я отношу механику движенія и химію человѣческаго тѣла, изъ которой вырастаетъ растительная жизнь. Такимъ образомъ прозябаніе и животная механика, въ тѣсной между собой связи, образуютъ собственно физическую жизнь человѣческаго тѣла.

§ 4. Животная жизнь.

Но это еще не все. Такъ какъ трата силъ находится болѣе или менѣе во власти духа, то по необходимости ему же должно быть предоставлено и возмѣщеніе этой траты. Такъ какъ тѣло подчинено всѣмъ послѣдствіямъ всевозможныхъ сочетаній и въ сферѣ дѣйствующихъ вокругъ него силъ оно доступно безчисленнымъ враждебнымъ вліяніямъ, то во власти души находится и защитить его отъ этихъ вредныхъ вліяній и поставить въ соотношенія съ внѣшнимъ міромъ, наиболѣе благопріятныя для его существованія; поэтому она должна быть освѣдомлена о дурномъ или хорошемъ состояніи своихъ органовъ, она должна черпать неудовольствіе изъ дурного его состоянія и удовольствіе изъ его благосостоянія, чтобы или продлить его, или устранить, чтобы искать или избѣгать его. Такимъ образомъ здѣсь организмъ какъ бы привязанъ къ способности ощущенія, и душа вовлечена въ интересы своего тѣла. Теперь тѣло есть нѣчто большее, чѣмъ простое прозябаніе, нѣчто большее, чѣмъ мертвый нервный и мускульный механизмъ, теперь оно обладаетъ животной жизнью *).

Процвѣтаніе животной жизни, какъ мы знаемъ, очень важно для процвѣтанія душевной дѣятельности, и оно не можетъ быть уничтожено безъ полнаго уничтоженія этой послѣдней. Поэтому оно должно покоиться на твердомъ основаніи, не дозволяющемъ ему такъ легко колебаться, т. е. душа путемъ непреодолимой силы должна быть предоставлена къ услугамъ физической жизни. Не должны ли были-бы поэтому ощущенія животнаго благосостоянія или его отсутствія сдѣлаться также ощущеніями духовными и создаваться чрезъ мышленіе? Какъ часто душа затмевала-бы яркій свѣтъ страстей, хоронила-бы вялость и глупость, побѣждала-бы суетливость и разсѣянность? И далѣе, развѣ не требовалось-бы тогда отъ человѣка-животнаго самаго совершеннаго знанія своей жизни, и не долженъ ли-бы-лъ ребенокъ обладать такимъ знаніемъ, въ области котораго Гарвей **), Боергавъ и Галлеръ послѣ пятидесятилѣтнихъ занятій остались всетаки лишь учениками? Но душа не можетъ имѣть никакого представленія о состояніи тѣла, которое должна она измѣнить. Какъ узнаетъ она о немъ, какъ придетъ она въ дѣйствіе?

§ 5. Животныя ощущенія.

Мы не знаемъ еще другихъ ощущеній, кромѣ тѣхъ, которыя исходятъ изъ предшествующей дѣятельности разума; но теперь должны возникнуть ощущенія, при которыхъ разумъ долженъ быть совершенно изгнанъ. Эти ощущенія должны, если не выражать,

---

*) Но оно есть нѣчто большее, чѣмъ животная жизнь животнаго. Животное живетъ животной жизнью, чтобы ощущать пріятное. Оно чувствуетъ себя хорошо, чтобы поддерживать животную жизнь. Такимъ образомъ оно живетъ сегодня, чтобы завтра опять жить. Оно сегодня счастливо, чтобы и завтра быть счастливымъ. Но это простое, ненадежное счастье, подражающее періодамъ организма, отданное во власть случаю и слѣпымъ неожиданностямъ, ибо животная жизнь покоится только на ощущеніи. Человѣкъ также живетъ животною жизнью, онъ чувствуетъ свое удовольствіе и страдаетъ своими страданіями. Но почему? Онъ чувствуетъ и страдаетъ, потому что поддерживаетъ свою животную жизнь. Онъ поддерживаетъ свою животную жизнь, чтобы дольше жить духовной жизнью. Здѣсь такимъ образомъ средство отлично отъ цѣли, тамъ цѣль и средство совпадаютъ. Въ этомъ и состоитъ разграничительная линія между человѣкомъ и животнымъ.

**) Вильямъ Гарвей (1578—1657) знаменитый англійскій врачъ.

то всетаки какъ бы специфически обозначать состояніе въ данный моментъ моихъ органовъ, или лучше, слѣдовать за этимъ состояніемъ. Такія ощущенія должны быстро и съ должной энергіей направлять волю на отвращеніе или желаніе, но ощущенія эти должны однако лишь плавать на поверхности души и никогда не доходить до области разума. Такимъ образомъ, что дѣлаетъ мышленіе при духовныхъ ощущеніяхъ, то дѣлаетъ здѣсь модификація въ животныхъ частяхъ, либо угрожающая имъ разрушеніемъ, либо обезпечивающая ихъ неизмѣнчивость; изъ этого слѣдуетъ, что при помощи вѣчнаго премудраго закона, съ тѣмъ состояніемъ механизма, которое укрѣпляетъ его процвѣтаніе, связывается пріятное движеніе души, и напротивъ того, съ состояніемъ, подкапывающимъ его благополучіе и ускоряющимъ его гибель, бываетъ связано мучительное душевное состояніе; ощущеніе-же само по себѣ не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ природою органовъ, которое имъ обозначается. Такъ возникаютъ животныя ощущенія, имѣющія согласно изложенному двоякое основаніе: 1) въ состояніи механизма въ данный моментъ, 2) въ способности ощущенія.

Теперь дѣлается понятнымъ, почему животныя ощущенія съ непреодолимой и какъ бы тираннической силой влекутъ душу къ страстямъ и поступкамъ и нерѣдко даже одерживаютъ верхъ надъ духовными стремленіями. Ибо эти послѣднія вызываются путемъ мышленія, слѣдовательно этимъ же мышленіемъ они опять могутъ быть разрушены и уничтожены. Въ этомъ и состоитъ сила абстракціи и вообще философіи надъ страстями, мнѣніями, короче надъ всѣми условіями жизни, тогда какъ чувственныя ощущенія вызываются къ жизни слѣпой необходимостью, законами человѣческаго механизма; разумъ, не создавшій ихъ, не можетъ ихъ и уничтожить, хотя онъ и можетъ ихъ въ очень значительной степени ослабить и затемнить, направивъ вниманіе въ противоположную сторону. Самый упрямый стоикъ, страдающій отъ каменной болѣзни, не сталъ бы никогда хвалиться, что онъ не ощущаетъ страданія, но онъ можетъ, погрузившись въ созерцаніе причинъ этой болѣзни, ослабить силу ощущенія, а преобладающее наслажденіе великимъ совершенствомъ, подчиняющимъ даже страданіе общему благополучію, побѣдитъ чувство неудовольствія. Не недостатокъ ощущенія и не уничтоженіе его были причиной, почему Муцій, сжигая свою руку въ яркомъ пламени, былъ въ состояніи смотрѣть на врага римскимъ взглядомъ—гордаго спокойствія, но мысль о великомъ, удивляющемся ему Римѣ, царившая въ его душѣ, держала его какъ бы внутри ея самой настолько сильно, что оказалось недостаточно сильнѣйшаго животнаго страданія, чтобъ вывести ее изъ равновѣсія. Но оттого страданіе римлянина было не меньше чѣмъ страданіе самаго изнѣженнаго сластолюбца. Конечно, тотъ, кто привыкъ жить въ состояніи темныхъ идей, бываетъ менѣе способенъ ободрять себя въ критическій моментъ чувственнаго страданія, нежели тотъ, кто постоянно живетъ въ мірѣ свѣтлыхъ, ясныхъ идей; но тѣмъ не менѣе ни высшая добродѣтель, ни глубочайшая философія, ни даже божественная религія не защищаетъ отъ закона необходимости, хотя она и можетъ дѣлать счастливыми своихъ послѣдователей даже на пылающемъ кострѣ.

Итакъ, эта власть животныхъ чувствованій на силу душевныхъ ощущеній имѣетъ въ своемъ основаніи самую мудрую цѣль. Духъ, еслибъ онъ былъ хотя однажды посвященъ въ тайны болѣе высокаго наслажденія, сталъ бы съ презрѣніемъ смотрѣть на стремленія своего спутника и не пожелалъ бы больше жертвовать собою низшимъ потребностямъ физической жизни, еслибъ его не принуждало къ этому животное чувство. Математика, погруженнаго въ область безконечнаго и промѣнявшаго въ своей дремотѣ міръ дѣйствительный на міръ абстракцій, гонитъ голодъ изъ его интеллектуальной дремоты; физика, вскрывающаго механику солнечной системы и слѣдящаго за планетами, блуждающими въ неизмѣримомъ пространствѣ, возвращаетъ уколъ булавки къ его матери-землѣ; философа, открывающаго природу божества и мечтающаго перешагнуть предѣлы смертности, возвращаетъ къ самому себѣ холодный сѣверный вѣтеръ, пронизывающій его ветхую хижину, и учитъ его, что онъ, несчастный, является чѣмъ-то среднимъ между животнымъ и ангеломъ.

Въ концѣ концовъ даже наивысшія напряженія духа ничего не могутъ подѣлать съ преобладающими животными чувствованіями; разумъ, по мѣрѣ того какъ они растутъ, все болѣе и болѣе оглушается ими и душа насильственно приковывается къ организму. Чтобы утолить голодъ и жажду, человѣкъ въ состояніи совершить такіе поступки, передъ которыми содрогнется че-

ловѣчество, онъ противъ воли станетъ измѣнникомъ и убійцей, онъ сдѣлается каннибаломъ.

„Въ грудь матери своей ты, тигръ, вонзишь ли зубы?“

Такъ сильно дѣйствуетъ животное чувствованіе на духъ. Такъ бдительно позаботился Творецъ о сохраненіи механизма; столбы, на которыхъ онъ покоится, особенно крѣпки, и опытъ насъ учитъ, что больше причинялъ вреда излишекъ, а не недостатокъ животнаго ощущенія.

Итакъ, животныя ощущенія укрѣпляютъ благосостояніе животной природы, подобно тому какъ нравственныя и интелектуальныя ощущенія содѣйствуютъ благосостоянію духовной природы или, иначе говоря, ея совершенствованію. Система животныхъ ощущеній и движеній исчерпываетъ понятіе животной природы. Эта природа есть то основаніе, на которомъ покоятся органы души, и свойство этихъ послѣднихъ опредѣляетъ легкость и продолжительность самой душевной дѣятельности. Такимъ образомъ здѣсь содержится уже первое звено связи между той и другой природой.

§ 6. Возраженія противъ связи между той и другой природою съ точки зрѣнія морали.

Но допустимъ, что эта связь будетъ признана, а затѣмъ скажутъ: здѣсь оканчивается назначеніе тѣла. Въ дальнѣйшемъ оно является коснымъ спутникомъ души, съ которымъ она принуждена вѣчно бороться, чьи потребности отнимаютъ у нея необходимый досугъ для размышленія, чьи соблазны прерываютъ нить самыхъ глубокомысленныхъ умозрѣній и низвергаютъ духъ съ высотъ его самыхъ ясныхъ и свѣтлыхъ понятій въ бездну чувственныхъ противорѣчій, чье наслажденіе удаляетъ нашихъ собратій отъ ихъ высокаго прообраза и низводитъ на степень животныхъ; словомъ, оно запутываетъ душу въ рабство, отъ котораго лишь смерть должна наконецъ ее избавить. Развѣ это не есть безсмыслица и несправедливость, что простая, абсолютная, сама себѣ довлѣющая сущность связана съ другою сущностью, что она заключена въ вѣчный круговоротъ и отдана въ жертву всѣмъ случайностямъ и всякой необходимости?—Но, быть можетъ, при болѣе спокойномъ размышленіи, мы увидимъ, что изъ этого кажущагося противорѣчія и отсутствія плана исходитъ великая красота.

ФИЛОСОФСКАЯ СВЯЗЬ.

Животныя стремленія будятъ и развиваютъ духовныя.

§ 7. Методъ.

Наиболѣе надежный методъ, чтобы бросить нѣкоторый свѣтъ на этотъ предметъ, былъ бы, быть можетъ, слѣдующій: мысленно отбросить отъ человѣка все, что называется организаціей, т. е. отдѣлить тѣло отъ духа, не отнимая однако у него возможности создавать представленія и вызывать дѣйствія въ тѣлесномъ мірѣ, и затѣмъ изслѣдовать, какъ придетъ онъ въ дѣйствіе, какъ сталъ бы онъ развивать свои силы, какіе дѣлать шаги для своего совершенствованія; результатъ такого изслѣдованія долженъ быть подтвержденъ фактами. Этимъ путемъ можно обозрѣть дѣйствительное развитіе отдѣльнаго человѣка и бросить взглядъ на развитіе всего рода. Итакъ, сначала надо взять абстрактный случай: существуетъ способность представленія и воля, даны сфера дѣйствія и свободный переходъ отъ души къ міру и отъ міра къ душѣ. Теперь спрашивается: какъ будетъ дѣйствовать духъ?

§ 8. Душа внѣ связи съ тѣломъ.

Мы не можемъ допустить понятія безъ предшествующей воли сознать его; не можемъ допустить воли безъ опыта нашего состоянія, улучшеннаго этимъ дѣйствіемъ, т. е. безъ ощущенія; ощущенія безъ предшествующей идеи (ибо мы исключили одновременно съ тѣломъ также и тѣлесныя ощущенія), слѣдовательно идеи безъ идеи.

Теперь посмотримъ на ребенка,—это значитъ, по нашему предположенію, на духъ, обладающій способностью формировать идеи, причемъ эта способность теперь впервые должна быть приведена въ движеніе. Что направитъ его на мышленіе, если не возникающее изъ него пріятное ощущеніе, что можетъ доставить ему опытъ этого пріятнаго ощущенія? Мы уже раньше видѣли, что такимъ факторомъ не можетъ быть ничто иное, какъ само мышленіе, и онъ долженъ теперь впервые мыслить. Далѣе, что можетъ его вызвать на созерцаніе міра? Не что иное, какъ опытъ его совершенства,

насколько онъ удовлетворяетъ его стремленію къ активности, и это удовлетвореніе доставляетъ ему удовольствіе. Что можетъ заставить его упражнять свои силы? Не что иное, какъ опытъ ихъ существованія, но всѣ эти опыты онъ долженъ когда-нибудь впервые продѣлать. Слѣдовательно, онъ долженъ былъ бы или быть дѣятельнымъ отъ вѣчности, а это противорѣчило бы нашему предположенію, или онъ долженъ былъ бы никогда не приходить въ движеніе, подобно машинѣ, остающейся безъ внѣшняго толчка косной и лишенной движенія.

§ 9. Въ связи.

Теперь присоединимъ къ духу элементъ животный. Переплетемъ ту и другую природу настолько тѣсно, какъ переплетены онѣ въ дѣйствительности, и пусть нѣчто непознаваемое, проистекающее изъ экономіи животнаго организма, подпадетъ подъ дѣйствіе силы ощущенія—пусть душа присоединится къ состоянію физическаго страданія. Таковъ именно былъ первый толчокъ, первый лучъ свѣта среди ночи безсознательныхъ силъ, первый раздавшійся звукъ на лютнѣ природы. Теперь явилось ощущеніе, и ощущеніе было тѣмъ единственнымъ элементомъ, котораго мы раньше не находили. Этотъ родъ ощущенія какъ бы созданъ исключительно съ тою цѣлью, чтобы устранить всѣ указанныя выше трудности. Раньше мы не могли вызвать ни одной идеи, ибо не могли предположить ихъ; теперь измѣненіе въ физическихъ органахъ заступаетъ мѣсто идей; такимъ образомъ животное ощущеніе помогаетъ, такъ сказать, привести въ движеніе внутренній часовой механизмъ духа. Переходъ отъ страданія къ отвращенію является основнымъ закономъ души. Воля становится дѣятельной, и дѣятельность этой единственной силы вполнѣ достаточна, чтобъ привести въ движеніе всѣ прочія силы. Послѣдующія явленія развиваются сами собой и не относятся уже къ этой главѣ.

§ 10. Изъ исторіи индивидуума.

Теперь прослѣдимъ ростъ души отдѣльнаго человѣка въ примѣненіи къ тому положенію, которое намъ предстоитъ доказать, и посмотримъ, какъ развиваются всѣ роды его духовной дѣятельности изъ чувственныхъ стремленій.

а) Дитя. Еще совершенное животное, или вѣрнѣе, больше или даже меньше, чѣмъ животное; человѣкъ-звѣрь. (Ибо животное, которое въ будущемъ должно было называться человѣкомъ, не могло бы быть только животнымъ). Болѣе несчастное, чѣмъ любое животное, такъ какъ у него нѣтъ даже инстинкта. Мать животнаго можетъ скорѣе оставить своего дѣтеныша, нежели мать свое дитя. Страданіе можетъ, конечно, исторгнуть у ребенка крикъ, но онъ никогда не сможетъ обратить вниманіе на источникъ своихъ страданій. Молоко можетъ, конечно, доставить ему удовольствіе, но онъ никогда не сможетъ самъ отыскать его. Онъ существо совершенно несчастное—

«Sein Denken steigt nur noch bis zum Empfinden,
Sein ganzes Kenntnis ist Schmerz, Hunger und die Binden» *).

б) Мальчикъ. Здѣсь уже встрѣчается рефлексія, но все еще только въ отношеніи къ утоленію животныхъ стремленій. „Онъ учится, говоритъ Гарвей**), впервые цѣнить поступки другихъ людей и свои собственные въ отношеніи ихъ только потому, что они доставляютъ ему (чувственное) удовольствіе". Любовь къ труду, любовь къ родителямъ, къ друзьямъ, даже любовь къ божеству проникаетъ къ нему въ душу чрезъ чувственность. „Она одна только является солнцемъ, какъ замѣчаетъ Гарвей въ другомъ мѣстѣ ***), она одна только сама по себѣ свѣтитъ и грѣетъ, всѣ прочіе предметы темны и холодны; но они также могутъ быть освѣщены и согрѣты, если вступятъ съ нею въ такую связь, которая допускаетъ ея лучамъ достигать до нихъ". Духовныя блага сохраняютъ у мальчика нѣкоторую цѣнность только въ переносномъ смыслѣ, т. е. они являются духовнымъ средствомъ для животной цѣли.

в) Юноша и мужъ. Частое обращеніе этого средства въ цѣль постепенно дѣлается искусствомъ, и такое обращеніе начинаетъ находить въ самомъ средствѣ красоту. Онъ охотнѣе начинаетъ останавливаться на немъ, самъ не зная, почему. Его незамѣтнымъ образомъ влечетъ къ тому, чтобы

*) Изъ стихотворенія Галлера «Ueber die Ewigkeit»: Его мышленіе поднимается еще только до ощущенія, все его познаніе состоитъ лишь изъ страданія, голода и пеленанья *Ю. А.*

**) Примѣчанія къ «Нравственной философіи» Фергюсона, стр. 319.

***) Тамъ же, стр. 393.

ково хороши. Теперь нѣтъ такого событія, которое дѣлало бы невозможнымъ проявленіе добродѣтели или примѣненіе той или другой способности. Сперва онъ любилъ людей, ибо вѣрилъ, что они могутъ быть ему полезны: теперь онъ любитъ ихъ еще больше, ибо считаетъ доброжелательство за состояніе болѣе совершеннаго духа".

§ 11. Изъ исторіи человѣческаго рода.

Теперь стоитъ еще бросить взглядъ на всемірную исторію человѣческаго рода, начиная съ его колыбели и кончая его зрѣлымъ возрастомъ, и истина всего вышесказаннаго предстанетъ во всемъ свѣтѣ.

Голодъ и нагота обратили въ началѣ человѣка въ охотника, рыбалова, пастуха, земледѣльца и строителя. Половое влеченіе создало семью и беззащитность отдѣльнаго человѣка соединила людей въ орды. Въ этомъ покоились первые корни общественныхъ обязанностей. Вскорѣ земледѣліе должно было сдѣлаться недостаточнымъ для увеличившагося числа людей, голодъ разсѣялъ ихъ въ далекіе климаты и страны, открывшіе свои продукты для ищущихъ удовлетворенія новыхъ потребностей, и они научили людей обрабатывать эти продукты и преодолѣвать вредное вліяніе новаго климата. Отдѣльные опыты переходили по традиціи отъ прадѣдовъ къ правнукамъ и получали дальнѣйшее расширеніе. Научались пользоваться силами природы противъ ея самой, ее ставили въ новыя условія и здѣсь уже обрѣли первые опыты простыхъ, полезныхъ приспособленій. Хотя искусства и изобрѣтенія имѣли всегда своей цѣлью благо животнаго, но они были вмѣстѣ съ тѣмъ упражненіемъ силы, расширеніемъ знаній, и—при помощи того же огня, на которомъ грубый первобытный человѣкъ жарилъ свою рыбу, Боергавъ позднѣе внимательно слѣдилъ за химическимъ соединеніемъ тѣлъ: изъ того же ножа, которымъ дикій рѣзалъ свою дичь, Ліонэ сдѣлалъ тотъ ножъ, при помощи котораго онъ открылъ нервы у насѣкомыхъ; тѣмъ же циркулемъ, которымъ въ началѣ измѣряли лишь владѣнія, Ньютонъ измѣрилъ небо и землю. Такимъ путемъ тѣло принуждало духъ останавливаться на явленіяхъ вокругъ него, такъ сдѣлало оно міръ интереснымъ и значительнымъ, ибо оно сдѣлало его необходимымъ для духа. Стремленіе внутренней дѣйственной природы въ связи со скудостью родной страны научило нашихъ предковъ мыслить отважнѣе и создало для нихъ новый домъ, въ которомъ они подъ руководствомъ звѣздъ безопасно плыли по рѣкамъ и океанамъ, отправляясь на поиски новыхъ земель—

Fluctibus ignotis insultavere carinae.

А тамъ опять новые продукты, новыя опасности, новыя потребности и новыя усилія духа. Коллизія животныхъ стремленій столкнула орды между собой, выковала мечи изъ грубой руды, создала приключенія, героевъ и деспотовъ. Укрѣпились города, возникли государства, а вмѣстѣ съ государствами возникли гражданскія обязанности и права, искусства, цифры, законы, лукавые жрецы—и боги.

И вотъ потребности выродились въ роскошь—какое безграничное поле открылось передъ нашимъ взоромъ! Теперь были прорыты жилы земли, теперь достигли до дна морей, разцвѣли торговля и мореплаваніе—

Latet sub classibus aequor.

Востокъ дивится западу, западъ востоку, чужеземныя растенія привыкаютъ къ искусственнымъ небесамъ, и садовое искусство собираетъ продукты трехъ частей свѣта въ одинъ садъ. Художники учатся у природы своимъ произведеніямъ, звуки смягчаютъ дикарей, красота и гармонія облагораживаютъ нравственность и вкусы, и искусство приводитъ къ наукамъ и добродѣтели. „Человѣкъ, говоритъ Шлёцеръ *), этотъ могущественный второй богъ, устраняетъ скалы съ своего пути, отдѣляетъ моря отъ суши и пашетъ тамъ, гдѣ прежде плавали. Каналами отдѣляетъ онъ части свѣта и провинціи одну отъ другой, соединяетъ вмѣстѣ большія рѣки и направляетъ ихъ въ песчаныя пустыни, которыя онъ обращаетъ этимъ путемъ въ веселыя нивы; онъ отнимаетъ у трехъ частей свѣта ихъ продукты и переноситъ ихъ въ четвертую. Даже климатъ, воздухъ и погода подчиняются его власти. Уничтожая лѣса и высушивая болота, онъ создаетъ надъ собой болѣе ясное небо, сырость и туманы исчезаютъ, вѣтры становятся болѣе мягкими и не столь частыми, рѣки болѣе не замерзаютъ". И духъ утончается вмѣстѣ съ болѣе тонкимъ климатомъ.

---

*) См. «Schlözers Vorstellung seiner Universalhistorie» § 6

Государство даетъ гражданину потребности и удобства жизни. Трудъ создаетъ государству безопасность и спокойствіе извнѣ и изнутри, предоставляющія мыслителю и художнику тотъ плодотворный досугъ, благодаря которому вѣкъ Августа сдѣлался золотымъ вѣкомъ. Теперь искусства принимаютъ болѣе смѣлый и безпрепятственный полетъ, теперь науки получаютъ чистый, полный свѣтъ, естествознаніе и физика ниспровергаютъ суевѣріе, исторія даетъ отраженіе прежняго міра, и философія смѣется надъ безумiемъ человѣка. Но когда роскошь, выродившаяся въ изнѣженность и распутство, начинаетъ неистовствовать въ костяхъ человѣка, создавая заразительныя болѣзни и зачумляя атмосферу, тогда угнетенный человѣкъ спѣшитъ изъ одного царства природы въ другое, чтобы выслѣдить смягчающія средства; тогда онъ находитъ божественную кору хины, выкапываетъ изъ внутренностей горъ сильно дѣйствующій меркурій и выжимаетъ драгоцѣнный сокъ изъ восточнаго мака. Самые скрытые уголки природы обысканы, техника раздробляетъ продукты на ихъ первичные элементы и создаетъ новые міры, алхимики обогащаютъ естествознаніе, микроскопическій взглядъ какого-нибудь Швамердама накрываетъ природу въ ея наиболѣе таинственныхъ процессахъ. Человѣкъ идетъ еще далѣе. Нужда и любознательность перепрыгиваютъ границы суевѣрія, человѣкъ смѣло хватаетъ ножъ и вскрываетъ величайшее твореніе природы—человѣка. Такъ должно было самое худшее помочь достичь всего наиболѣе великаго, такъ должны были болѣзни и смерть принудить къ γνῶθι σεαυτόν. Чума создала нашихъ Гиппократа и Сиденгама, какъ война дѣлаетъ генераловъ, и опустошительной любострастной болѣзни мы обязаны полной реформой врачебной науки.

Мы хотѣли законное наслажденіе чувственности свести къ совершенствованію души, и какъ удивительно повернулся матеріалъ въ нашихъ рукахъ въ другую сторону! Мы нашли, что даже ея избытокъ, злоупотребленіе ею въ цѣломъ содѣйствовало реальнымъ интересамъ человѣчества. Несомнѣнно, что отклоненія отъ первоначальной цѣли природы, купцы, разбойники и роскошь безконечно ускорили шаги человѣка въ этомъ направленіи, тогда какъ болѣе простая форма жизни дѣлала бы это болѣе правильно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень долго. Стоитъ сравнить древній міръ съ новымъ! Тамъ желанія были просты и ихъ удовлетвореніе не трудно. Но какъ скверно судили тогда о природѣ и ея законахъ! Теперь она отягчена тысячью искривленій, но какой полный свѣтъ распространяется надъ всѣми понятіями о ней.

Итакъ, повторимъ: человѣкъ долженъ былъ быть животнымъ, прежде чѣмъ онъ узналъ, что онъ есть духъ; онъ долженъ былъ ползать въ пыли, прежде чѣмъ онъ отважился на ньютоновскій полетъ по вселенной. Такимъ образомъ тѣло является первымъ толчкомъ къ дѣятельности; чувственность—первой ступенью къ совершенствованію.

***

Животныя ощущенія сопровождаютъ духовныя.

§ 12. Законъ.

Разумъ человѣка въ высшей степени ограниченъ, и согласно этому по необходимости ограничены и всѣ ощущенія, вытекающія изъ его дѣятельности. Чтобы придать имъ наивысшій подъемъ и направить волю съ удвоенной силой къ совершенствованію и отвратить ее отъ зла, для этой цѣли та и другая природа, духовная и животная, связываются между собой настолько тѣсно, что измѣненія ихъ взаимно передаются и укрѣпляютъ одна другую. Отсюда исходитъ основной законъ этой смѣшанной природы, который, будучи разложенъ на свои первичные элементы, приблизительно гласитъ такъ: дѣятельность тѣла соотвѣтствуетъ дѣятельности духа, т. е. всякое напряженіе духовной дѣятельности всегда имѣетъ своимъ послѣдствіемъ напряженіе извѣстныхъ физическихъ актовъ; такъ, напримѣръ, равновѣсіе первыхъ или гармоническая дѣятельность духовныхъ силъ всегда находится въ самомъ полномъ согласіи съ послѣдними, т. е. съ физическими силами. Далѣе: вялость души дѣлаетъ вялыми и движенія тѣла, бездѣятельность души даже вовсе уничтожаетъ ихъ. Такъ какъ совершенствованіе всегда связано съ радостью, а несовершенство съ неудовольствіемъ, то этотъ законъ можетъ также быть выраженъ слѣдующимъ образомъ: духовная радость всегда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и животная радость, а духовное неудовольствіе всегда сопровождается такимъ же животнымъ неудовольствіемъ.

§ 13. Духовное удовольствіе споспѣшествуетъ благосостоянію механизма.

Ощущеніе, охватывающее всю душу, разшатываетъ въ такой же степени и все органическое строеніе тѣла. Сердце, жилы и кровь, мускулы и нервы, начиная съ ихъ функцій болѣе могущественныхъ и важныхъ, дающихъ сердцу живой толчокъ къ движенію, и кончая менѣе значительными, питающими волоски на кожѣ, всѣ они принимаютъ во всемъ участіе. Все приходитъ въ сильное движеніе. Если ощущеніе было пріятное, то и всѣ части проявятъ болѣе гармоническую дѣятельность, сердце будетъ биться свободно, бодро и равномѣрно, кровь будетъ безпрепятственно течь по мягкимъ каналамъ, тихо или очень стремительно, смотря по тому, принадлежалъ ли аффектъ къ категоріи нѣжныхъ или сильныхъ; пищевареніе и выдѣленія будутъ совершаться безпрепятственно и свободно, раздражительныя волокна будутъ ловко дѣйствовать въ мягкой паровой средѣ; такимъ образомъ и возбудимость и чувствительность будутъ повышены во всѣхъ отношеніяхъ. Поэтому состояніе величайшей душевной радости есть вмѣстѣ съ тѣмъ и состояніе высшаго тѣлеснаго благополучія.

Сколько существуетъ отдѣльныхъ видовъ дѣятельности (и не есть ли каждый пульсъ результатъ такой дѣятельности?), столько же неясныхъ чувствъ тѣснится одновременно въ душу, призывая ее къ совершенствованію. Изъ смѣси всѣхъ этихъ ощущеній образуется общее ощущеніе животной гармоніи, т. е. въ высшей степени сложное ощущеніе животной радости, какъ бы примыкающее къ первоначальному интеллектуальному или моральному ощущенію и чрезъ такое присоединеніе безконечно увеличивающее это послѣднее. Такимъ образомъ всякій пріятный аффектъ является источникомъ безчисленныхъ тѣлесныхъ радостей.

Это лучше всего подтверждается примѣрами больныхъ, которые вылечиваются посредствомъ радости. Стоитъ одного изъ нихъ, обратившагося въ скелетъ отъ страшной тоски по родинѣ, возвратить въ его отечество, какъ онъ помолодѣетъ, и къ нему вернется его цвѣтущее здоровье. Стоитъ заглянуть въ тюрьмы, гдѣ несчастные въ теченіе десяти и двадцати лѣтъ лежатъ погребенные въ гниломъ воздухѣ собственныхъ нечистотъ и едва находятъ въ себѣ силы, чтобъ двигаться, и возвѣстить имъ внезапно освобожденіе. Одно это слово заставитъ течь кровь по ихъ жиламъ, съ юношескою скоростью, померкшіе глаза засверкаютъ жизнью и огнемъ. Мореплаватели, сдѣлавшіеся больными и несчастными отъ недостатка пищи и воды на невѣдомомъ морѣ, наполовину выздоравливаютъ отъ одного только слова „земля!“, которую кормчій видитъ съ палубы, и несомнѣнно ошибется тотъ, кто приписалъ бы это благотворное дѣйствіе исключительно свѣжей пищѣ. Взглядъ на любимаго человѣка, по которомъ долго томилось сердце, еще придержитъ отлетающую душу находящагося въ агоніи, на минуту онъ станетъ сильнѣе и лучше. Сущая правда, что радость можетъ болѣе вызвать нервную систему къ живой дѣятельности, чѣмъ всѣ укрѣпляющія сердечныя средства, какія только можно достать изъ аптеки, и даже старые застои въ лабиринтѣ нашихъ внутренностей, непроницаемые для рубіи и не разрываемые даже посредствомъ меркурія, разгоняются радостью. Кто не пойметъ, что устройство души, умѣющее черпать наслажденіе изъ всякаго происшествія и превращать всякое страданіе въ блаженство, должно быть самымъ полезнымъ и для функцій механизма? А это устройство есть добродѣтель.

§ 14. Духовное страданіе подкапываетъ благосостояніе механизма.

Этимъ же самымъ путемъ получается противоположный результатъ при непріятномъ аффектѣ; идеи, выражающіяся такъ рѣзко у человѣка разгнѣваннаго или испуганнаго, могли бы съ такимъ же правомъ, съ какимъ Платонъ назвалъ страсти лихорадкою души, разсматриваться, какъ конвульсіи мыслительнаго органа. Эти судороги быстро распространяются по всему пространству нервной системы и приводятъ жизненныя силы въ разстройство, уничтожающее ихъ расцвѣтъ и выводящіе изъ равновѣсія всѣ функціи механизма. Сердце бьется неравномѣрно и бурно; кровь бываетъ сжата въ легкихъ, въ то время какъ въ оконечностяхъ ея едва хватаетъ, чтобы поддерживать слабѣющій пульсъ. Всѣ процессы животной химіи перемѣшиваются. Границы низвергаются, доброкачественные соки перемѣшиваются и вредно дѣйствуютъ въ несвойственныхъ имъ сферахъ, тогда какъ злокачественные, которымъ надлежало бы быть отброшенными вовсе, попадаютъ обратно въ центръ механизма. Однимъ сло-

вомъ, состояніе величайшаго душевнаго страданія есть вмѣстѣ съ тѣмъ состояніе величайшей физической болѣзни.

Душа бываетъ освѣдомлена путемъ тысячи темныхъ чувствъ объ угрожающей гибели ея органовъ и переполнена болѣзненными ощущеніями, присоединяющимися къ первоначальному настроенію духа и придающими ему еще болѣе острый характеръ.

§ 15. Примѣры.

Глубокія хроническія душевныя страданія, въ особенности если они сопровождаются сильнымъ напряженіемъ мышленія, къ которому я преимущественно отношу тотъ изнурительный гнѣвъ, который обыкновенно называется негодованіемъ,—какъ бы гложетъ основу нашего тѣла и высасываетъ жизненные соки. Эти люди выглядятъ истощенными и блѣдными, а внутреннее страданіе сквозитъ изъ ихъ впалыхъ, глубокихъ глазъ. „Я бъ желалъ, говоритъ Цезарь, имѣть вокругъ себя людей безпечныхъ, тучныхъ, которые бы спали ночью. Кассій такъ худощавъ и голоденъ на видъ: онъ слишкомъ много думаетъ; опасны такіе люди". Страхъ, безпокойство, угрызенія совѣсти и отчаяніе дѣйствуютъ не менѣе сильно, чѣмъ злѣйшая лихорадка. Гонимому страхомъ Ричарду недостаетъ веселости, которой прежде онъ обладалъ, и онъ думаетъ, что можетъ возвратить ее стаканомъ вина. Не одно только душевное страданіе гонитъ отъ него его веселость, ее гонитъ еще больше возникшее изъ глубины механизма ощущеніе скуки, то именно ощущеніе, которымъ начинается злокачественная лихорадка. Отягченный преступленіями Муръ, прежде бывшій настолько остроумнымъ, чтобы путемъ оголенія понятій превращать ощущеніе человѣчности въ ничто, теперь вскакиваетъ блѣдный, безъ дыханія, съ холоднымъ потомъ на лбу, пробужденный отъ ужаснаго сна. Всѣ образы будущаго страшнаго суда, которые, быть можетъ, всосалъ онъ въ себя въ годы дѣтства и усыпилъ затѣмъ въ зрѣломъ возрастѣ, теперь настигли врасплохъ во снѣ его отуманенный разумъ. Его чувства слишкомъ перепутались, чтобы болѣе медленный ходъ мысли могъ ихъ нагнать и еще разъ ослабить. Еще борется мысль съ воображеніемъ, духъ съ ужасами механизма *).

Муръ. Нѣтъ, я не брежу. Это былъ только сонъ.—Мертвые не возстаютъ.—Кто говоритъ, что я блѣденъ и дрожу? Но вѣдь мнѣ такъ легко, такъ хорошо.

Бед. Вы смертельно блѣдны, вашъ голосъ тихъ и боязливъ.

Муръ. У меня лихорадка. Завтра я хочу пустить кровь. Скажи, когда придетъ священникъ, что у меня лихорадка.

Бед. О, вы серьезно больны.

Муръ. Да, конечно, конечно, въ этомъ все дѣло; болѣзнь тревожитъ мозгъ и вызываетъ безумные, странные сны—сны ничего не значатъ—тьфу, тьфу, женская трусость!—Сны происходятъ отъ желудка, и сны ничего не значатъ.—У меня были также и веселые сны — (*онъ въ безсиліи опускается*).

Здѣсь внезапно набѣжавшій образъ сна привелъ въ движеніе всю систему темныхъ идей и какъ бы встряхнулъ все основаніе мыслительнаго органа. Въ результатѣ возникло одно, въ высшей степени сложное, ощущеніе страданія, потрясшее душу во всей ея глубинѣ и ослабившее, въ связи съ этимъ, всю нервную систему.

Дрожь, охватывающая того, кто идетъ на преступленіе или только что совершилъ его, есть не что иное, какъ та же самая дрожь, отъ которой трясется страдающій лихорадкою и которая реагируетъ на принятое горькое лекарство. Ночной ознобъ у тѣхъ, кто страдаетъ угрызеніями совѣсти и у кого онъ всегда сопровождается лихорадочнымъ пульсомъ, представляетъ дѣйствительную лихорадку, которая свидѣтельствуетъ о полной согласованности механизма съ душою, и если лэди Макбетъ ходитъ во снѣ, она является страдающей бредомъ. Даже подражаніе аффекту дѣлаетъ актера внезапно больнымъ, и когда Гаррикъ игралъ Лира или Отелло, то послѣ онъ проводилъ нѣсколько часовъ въ постели въ артритическихъ судорогахъ. Даже иллюзія зрителя, его сочувствіе къ страданіямъ на сценѣ вызывало иногда дрожь, судороги и обморокъ.

Такимъ образомъ тотъ, кто страдаетъ отъ дурного характера и извлекаетъ изъ всѣхъ положеній жизни только ядъ и озлобленіе, не является ли тѣмъ преступникомъ, который въ своемъ постоянномъ гнѣвѣ живетъ лишь для ненависти, тѣмъ завистникомъ, котораго мучитъ всякое совершенство ближняго, не являются ли они вообще величайшими врагами своего собственнаго здоровья? Не долженъ ли, послѣ этого, порокъ имѣть еще болѣе отталкивающій видъ, если онъ вмѣстѣ съ счастіемъ разрушаетъ также и здоровье?

*) «Life of Moor». Tragedy by Krake, Act. V. Sc. 1.

§ 16. Исключенія.

Но вѣдь и пріятный аффектъ убивалъ, а непріятный совершалъ чудесное исцѣленіе? Этому учитъ опытъ; но должно ли это измѣнить границы выставленнаго закона?

Радость убиваетъ, если она доходитъ до экстаза, природа не терпитъ подъема, которому мгновенно подвергается вся нервная система; движеніе въ мозгу не есть уже гармонія, а конвульсія; величайшій внезапный подъемъ приноситъ съ собой разрушеніе механизма, ибо онъ переходитъ границу здоровья (такъ какъ въ идею здоровья въ главныхъ чертахъ включена уже идея извѣстной температуры естественныхъ движеній); радость конечныхъ существъ имѣетъ свои предѣлы, также, какъ и страданіе; она не должна ихъ переступать, или должна погибнуть.

Что касается второго случая, то встрѣчается не мало примѣровъ, когда умѣренная степень гнѣва, имѣющая возможность свободно вылиться, прекращала самые застарѣлые запоры, что страхъ, вызванный, напр., пожаромъ, внезапно исцѣлялъ старый ревматизмъ и неизлечимые параличи. Но и дизентерія устраняла закупорки воротной вены, и чесотка излечивала меланхолію и бѣшенство—но развѣ отъ этого чесотка является въ меньшей степени болѣзнью, или поносъ представляется отъ того здоровьемъ?

§ 17. Вялость души дѣлаетъ и движенія механизма болѣе вялыми.

Если дѣятельность духа во время дневныхъ занятій можетъ, уже по свидѣтельству Галлера, ускорить къ вечеру пульсъ, то не ослабитъ ли его вялость, а отсутствіе дѣятельности, быть можетъ, совсѣмъ оставитъ его? Ибо хотя кровеобращеніе повидимому не зависитъ въ значительной степени отъ души, всетаки можно не безъ основанія допустить, что сердце, заимствующее большую часть своей силы отъ мозга, неизбѣжно должно бы было подвергнуться большой потерѣ своей силы, если душа не поддерживаетъ больше движенія въ мозгу.— У флегматика пульсъ бываетъ вялый и медленный, кровь водянистая и слизистая, пищевареніе неправильное. Слабоумные, которыхъ описалъ Муцель *), дышатъ медленно и тяжело, у нихъ нѣтъ позыва къ пищѣ и питью, также какъ и къ естественной надобности, пульсъ рѣдкій, всѣ отправленія тѣла сонны и слабы. Оцѣпенѣніе души подъ дѣйствіемъ страха, удивленія и т. п. сопровождается иногда общей остановкою всей физической дѣятельности. Является ли здѣсь душа причиною этого состоянія, или тѣло въ данномъ случаѣ ввергаетъ душу въ оцѣпенѣніе? Эти вопросы приводятъ насъ къ трудностямъ, останавливаться на которыхъ здѣсь не мѣсто.

*) Медицинскія и хирургическія наблюденія Муцеля.

§ 18. Второй законъ.

Все сказанное о переходѣ духовныхъ ощущеній въ животныя сохраняетъ значеніе и для обратнаго случая, для перехода животныхъ ощущеній въ духовныя. Болѣзни тѣла, являющіяся по большей части естественнымъ слѣдствіемъ неумѣренности, наказываются уже чувственнымъ страданіемъ; но и здѣсь душа неизбѣжно бываетъ поражена въ самой основѣ своей, такъ что двойное страданіе тѣмъ настойчивѣе требуетъ отъ нея ограниченія желаній. Точно также къ чувственному ощущенію физическаго здоровья всегда присоединяется болѣе тонкое ощущеніе духовнаго улучшенія, такъ что человѣкъ этимъ еще болѣе понуждается къ поддержанію своего тѣла въ здоровомъ состояніи. Отсюда вытекаетъ второй законъ той и другой природы: что съ свободной дѣятельностью органовъ всегда бываетъ связано свободное теченіе ощущеній и идей, что за потрясеніемъ организма всегда слѣдуетъ потрясеніе мышленія и ощущенія. Короче, что общее ощущеніе животной гармоніи есть источникъ духовной радости, и животное неудовольствіе есть источникъ духовнаго неудовольствія.

Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ можно, не безъ основанія, сравнить душу и тѣло съ двумя одинаково настроенными струнными инструментами, поставленными рядомъ. Если коснуться струны на одномъ изъ нихъ и вызвать опредѣленный звукъ, то и на другомъ инструментѣ по собственной волѣ откликнется та же самая струна и отзовется тотъ же звукъ, но только немного слабѣе. Такъ вызываетъ, говоря тѣмъ же сравненіемъ, радостная струна въ тѣлѣ радостную струну въ душѣ, а печальный звукъ въ первомъ печальный откликъ во второй. Такова эта удивительная и замѣчательная симпатія, обращающая разнородныя начала въ человѣкѣ какъ бы въ единую сущность; человѣкъ не душа и не тѣло, человѣкъ есть самое тѣсное сочетаніе этихъ обѣихъ субстанцій.

§ 19. Настроенія духа слѣдуютъ за настроеніями тѣла.

Отсюда тяжесть, отсутствіе мыслей и ворчливое настроеніе вслѣдствіе переполненія желудка и всякихъ крайностей во всѣхъ чувственныхъ наслажденіяхъ; отсюда удивительное дѣйствіе вина на тѣхъ, кто умѣренно его пьетъ. „Когда вы пьете вино, говоритъ монахъ Мартинъ, все у васъ удваивается, легче думается, легче предпринимается и гораздо скорѣе приводится въ исполненіе". Отсюда хорошее настроеніе и веселость въ болѣе ясную, хорошую погоду; хотя эту веселость и можно отчасти отнести къ ассоціаціи идей, но всетаки она главнымъ образомъ находитъ свое основаніе въ облегченномъ ходѣ естественныхъ функцій организма. Такіе люди любятъ обыкновенно выражаться: „я чувствую себя хорошо", и въ это время они бываютъ болѣе расположены ко всякой духовной дѣятельности и сердце ихъ больше открыто для ощущеній человѣчности и для исполненія своихъ нравственныхъ обязанностей. То же самое можно сказать и о національномъ характерѣ народовъ. Обитатели болѣе мрачныхъ странъ скучаютъ вмѣстѣ съ окружающей ихъ природою, человѣкъ дичаетъ въ дикихъ странахъ, гдѣ свирѣпствуютъ бури, онъ смѣется въ хорошемъ воздухѣ и проникается симпатіями въ чистой атмосферѣ. Только подъ яснымъ греческимъ небомъ могъ существовать Гомеръ, Платонъ и Фидій; только тамъ явились музы и граціи, тогда какъ Лапландія съ ея туманами едва родитъ человѣка и никогда не родитъ генія. Пока Германія была покрыта еще лѣсами и болотами, нѣмецъ оставался охотникомъ, такимъ же дикимъ, какъ и его дичь, чей мѣхъ носилъ онъ на своихъ плечахъ. Какъ только трудъ измѣнилъ видъ его родины, началась эпоха его нравственности. Я не утверждаю, что климатъ составляетъ единственный источникъ характера, но несомнѣнно, что для того, чтобъ просвѣтить народъ, необходимо сдѣлать его небо болѣе яснымъ.

Потрясенія тѣла могутъ привести въ разстройство и всю систему моральныхъ ощущеній и открыть дорогу самымъ худшимъ страстямъ. Разрушенный сладострастіемъ человѣкъ можетъ легче дойти до крайностей, чѣмъ тотъ, кто сохраняетъ тѣло свое здоровымъ. Въ этомъ и состоитъ отвратительный пріемъ тѣхъ, кто портитъ юношество; и бандитъ, сказавшій: „Надо развратить тѣло и душу", долженъ былъ близко знать человѣка. Катилина былъ сластолюбцемъ, прежде чѣмъ сдѣлался поджигателемъ; и Дорія сильно заблуждался, думая, что ему не надо остерегаться сластолюбиваго Фіеско. Вообще наблюдается, что злая душа чаще всего живетъ въ больномъ тѣлѣ.

При болѣзняхъ это особенно замѣтно. Всѣ значительныя заболѣванія, и въ особенности тѣ, которыя называются злокачественными и обусловливаются состояніемъ желудка, болѣе или менѣе сопровождаются удивительнымъ измѣненіемъ въ характерѣ. Въ то время какъ они живутъ еще въ тиши въ скрытыхъ закоулкахъ и медленно подкапываютъ жизненную силу нервовъ, душа уже начинаетъ въ темныхъ предчувствіяхъ ощущать упадокъ своего спутника. Таково то важное предшествующее условіе къ состоянію, описанному мастерскими штрихами великимъ врачомъ подъ именемъ horrores. Отсюда угрюмость нѣкоторыхъ людей, причину которой никто не умѣетъ объяснить, измѣненіе ихъ наклонностей, ихъ отвращеніе ко всему, что прежде имъ особенно нравилось. Кроткій становится сварливымъ, смѣявшійся дѣлается ворчливымъ, и тотъ, кто раньше жилъ въ шумѣ дѣлового міра, теперь бѣжитъ человѣческаго взгляда и скрывается въ мрачной меланхолической тиши. Въ этомъ коварномъ покоѣ болѣзнь приготовляется къ своему смертельному исходу. Общее разстройство механизма въ томъ случаѣ, когда болѣзнь прорывается съ открытою яростью, даетъ намъ самое краснорѣчивое доказательство удивительной зависимости души отъ тѣла. Изъ тысячи страданій составившееся ощущеніе общаго разрушенія органовъ производитъ страшное потрясеніе въ духовной системѣ. Самыя ужасныя идеи вновь оживаютъ. Злодѣй, котораго ничто не трогало, подпадаетъ подъ дѣйствіе животнаго страха. Умирающій епископъ Винчестерскій рыдаетъ въ яростномъ отчаяніи. Повидимому, душа гонится за тѣмъ, что ввергаетъ ее еще въ болѣе глубокій мракъ, и она съ бѣшеной яростью отворачивается отъ всякаго утѣшенія. Здѣсь преобладаетъ исключительно непріятное ощущеніе, и глубокое душевное страданіе, возникнувъ изъ потрясенія механизма, усиливаетъ въ свою очередь это потрясеніе и дѣлаетъ его всеобщимъ.

§ 20. Ограниченіе предыдущаго.

Но ежедневно встрѣчаются примѣры

больныхъ, которые мужественно возвышаются надъ страданіями тѣла, умирающихъ, которые спрашиваютъ среди мученій борящагося за жизнь механизма: „Смерть, гдѣ жало твое?“ Развѣ мудрость, можно возразить, не въ состояніи вооружиться противъ слѣпыхъ страховъ организма? Развѣ религія, которая еще больше значитъ, чѣмъ мудрость, не въ состояніи защитить своихъ приверженцевъ отъ соблазновъ праха? Или, что то же, развѣ не существенно для состоянія души, какъ относится она къ разстройству жизненныхъ процессовъ?

Но теперь это непреложная истина. Философія и еще больше бодрое, приподнятое религіей чувство способны совершенно ослабить животныя ощущенія, обуревающія настроеніе больного, и освободить душу отъ всякой связи съ матеріей. Мысль о Богѣ, дѣйствующемъ не только во вселенной, но и въ самой смерти, гармонія прежней жизни и предчувствіе вѣчнаго счастливаго будущаго бросаютъ полный свѣтъ на всѣ понятія вѣрующаго, тогда какъ душа безумца или невѣрующаго бываетъ окружена, какъ тьмою, всѣми темными ощущеніями механизма. Если бы даже невольныя страданія и угнетали христіанина или мудреца (развѣ они не люди?), то онъ самъ превратилъ бы чувство своего разрующающагося механизма въ отраду.

The Soul, secourd in her existence, smiles
At the drawn dagger, and defies its point.
The stars shall fade away, the sun himself
Grow dim with age, and nature sink in years,
But thou shalt flourish in immortal youth,
Unhurt amidst the war of Elements,
The wreck of Matter, and the Crush of worlds“.

Необычная веселость смертельно больного часто имѣетъ въ своей основѣ психическую причину и является въ высшей степени важной для практическаго врача. Она нерѣдко встрѣчается въ числѣ другихъ смертельныхъ предзнаменованій Гиппократа, и безъ нея былъ бы непонятенъ предшествующій кризисъ; это веселость злокачественная. Нервы, до крайности напряженные во время приступа лихорадки, теряютъ теперь свою чувствительность, воспламененныя части, какъ извѣстно, перестаютъ страдать, коль скоро онѣ омертвѣли, но было бы несчастной мыслью думать, что періодъ воспаленія теперь уже окончился. Способность возбужденія утрачивается омертвѣлыми нервами, и мертвенная нечувствительность лжетъ насчетъ скораго выздоровленія. Душа находится въ иллюзіи пріятнаго ощущенія, ибо она освободилась отъ чувства продолжительныхъ страданій. Она свободна отъ страданія, но не потому, что возстановлено состояніе ея органовъ, а потому, что она больше не ощущаетъ ихъ разстройства. Взаимная симпатія прекращается, коль скоро связь отпадаетъ.

§ 21. Дальнѣйшій овзоръ этой связи.

Если-бъ теперь я глубже занялся этимъ вопросомъ, если-бъ я долженъ былъ говорить о безуміи, о снѣ, объ оцѣпенѣніи, о падучей болѣзни, каталепсіи и т. д., гдѣ свободный и разумный духъ подпадаетъ подъ деспотизмъ желудка, если-бъ я вообще долженъ былъ заняться широкимъ полемъ истеріи и ипохондріи, если-бъ мнѣ дозволено было говорить о темпераментахъ и идіосинкразіи, представляющихъ для врачей и философовъ совершенно темную область, однимъ словомъ, если-бъ я захотѣлъ доказывать истинность всего предыдущаго, исходя изъ опыта, почерпнутаго у постели больного, представляющей главную школу для психолога, то мнѣ пришлось бы расширить свой предметъ до безконечности. Но мнѣ думается, что достаточно, если теперь уже доказано, что животная природа совершенно смѣшана съ духовной и что смѣшеніе это является совершенствомъ.

* * *

Физическія явленія обнаруживаютъ движенія духа.

§ 22. Физіономика ощущеній.

На это внутреннее соотвѣтствіе той и другой природы опирается все ученіе физіономики. Благодаря нервной связи, лежащей, какъ мы знаемъ, въ основѣ перехода ощущеній, отражаются всѣ самыя тайныя движенія души на внѣшности тѣла, и страсть проникаетъ даже сквозь покровъ лицемѣра. Всякій аффектъ имѣетъ свои специфическія выраженія, такъ сказать, свой собственный языкъ, по которому узнаютъ его. Существуетъ удивительный законъ премудрости, по которому всякій благородный и доброжелательный аффектъ украшаетъ тѣло, тогда какъ низменное, враждебное чувство придаетъ ему скотскія формы. Чѣмъ болѣе духъ удаляется отъ прообраза божества, тѣмъ болѣе приближается и внѣшнее выраженіе лица къ животному выраженію и притомъ ближе

всего къ тому животному, съ которымъ данная склонность имѣетъ наиболѣе общаго. Такъ кроткій внѣшній видъ филантропа влечетъ къ себѣ нуждающагося въ его помощи, тогда какъ упрямый взглядъ человѣка гнѣвающагося отгоняетъ всякаго отъ себя. Это надо имѣть въ виду, какъ необходимое руководство въ общественной жизни. Замѣчательно, какъ много сходства у физическихъ явленій съ аффектами; героическое настроеніе и безстрашіе вливаютъ силу и жизнь въ мускулы и жилы, искры сверкаютъ изъ глазъ, грудь высоко поднимается, всѣ члены какъ бы приготовляются къ борьбѣ, и человѣкъ имѣетъ видъ боевого коня. Испугъ и ужасъ тушатъ огонь въ глазахъ, члены тяжело опускаются въ безсиліи, мозгъ какъ бы застываетъ въ жилахъ, кровь бременемъ падаетъ на сердце, и общее безсиліе подтачиваетъ орудія жизни. Великая, смѣлая, возвышенная мысль заставляетъ насъ стоять на пальцахъ ногъ, поднимать голову кверху и расширять ноздри. Чувство безконечности, взглядъ въ далекій, открытый горизонтъ, море и т. п. заставляетъ насъ раскрывать объятія, мы хотимъ слиться съ безконечнымъ. Съ горами мы хотимъ подняться до самаго неба, хотимъ бушевать вмѣстѣ съ бурей и волнами; зіяющія пропасти съ головокруженіемъ увлекаютъ насъ; вражда обнаруживается въ тѣлѣ, какъ задерживающая сила, тогда какъ наше тѣло при каждомъ рукопожатіи, при каждомъ объятіи готово перейти въ тѣло друга, подобно душамъ, гармонично соединяющимся; гордость выпрямляетъ тѣло, также какъ и душу; при малодушіи голова никнетъ, члены висятъ; рабскій страхъ виденъ по пресмыкающейся походкѣ; мысль о страданіи искажаетъ лицо, тогда какъ радостныя представленія распространяютъ грацію по всему тѣлу; гнѣвъ порываетъ самыя крѣпкія связи, и необходимость преодолѣваетъ почти невозможное. Благодаря какому механизму, хотѣлъ бы я теперь спросить, происходитъ то, что именно извѣстныя движенія слѣдуютъ за извѣстными ощущеніями, что именно опредѣленные органы участвуютъ въ опредѣленныхъ аффектахъ? Не то ли это самое, какъ еслибъ я хотѣлъ знать, почему именно опредѣленное поврежденіе надсвязочной плевы заставляетъ цѣпенѣть нижнюю челюсть?

Если аффектъ, симпатически возбуждающій эти движенія механизма, будетъ часто повторяться и этотъ видъ ощущенія станетъ обычнымъ для души, то и движенія эти сдѣлаются обычными также и для тѣла. Если такой ставшій привычкою аффектъ обратится въ постоянный характеръ, то и согласованныя съ нимъ черты механизма врѣжутся глубже, останутся въ немъ и сдѣлаются наконецъ органическими. Такъ формируется въ концѣ концовъ опредѣленная, многолѣтняя физіономія человѣка, такъ что позднѣе бываетъ иногда легче измѣнить душу, чѣмъ выраженіе лица. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, не будучи приверженцемъ Сталя, что душа образуетъ тѣло, и первые юношескіе годы опредѣляютъ, быть можетъ, черты лица человѣка на всю его жизнь, подобно тому какъ они вообще составляютъ основаніе его нравственнаго характера. Недѣятельная, вялая душа, никогда не предающаяся страстямъ, не имѣетъ вовсе физіономіи, точно также отсутствіе ея составляетъ, такъ сказать, физіономію слабоумныхъ. Черты лица, которыми надѣляетъ ихъ природа, и которыя завершаютъ ростъ и питаніе, остаются неприкосновенными. Лицо гладкое, ибо душа не играла на немъ, у бровей правильныя дуги, потому что ни одинъ дикій аффектъ не измѣнилъ ихъ. Все лицо производитъ впечатлѣніе круга, ибо жиръ тихо покоится въ своихъ клѣточкахъ; лицо бываетъ правильное, быть можетъ, даже красивое, но въ немъ нѣтъ души.

Физіономика органическихъ частей, такъ, напр., фигуры и величины носа, глазъ, рта, ушей и т. д., цвѣта волосъ, длины шеи и т. п., быть можетъ, и не невозможна, но едва ли появится очень скоро, хотя Лафатеръ и мечталъ изложить ее въ десяти небольшихъ томахъ. Кто захотѣлъ бы раздѣлить на классы капризную игру природы, т. е. выраженія лицъ, которыми она то наказываетъ, какъ мачиха, то одаряетъ, какъ мать, тотъ рисковалъ бы больше, чѣмъ Линней: онъ долженъ былъ бы остерегаться, какъ бы среди безчисленнаго, но часто ограничивающагося лишь нѣсколькими особями разнообразія оригиналовъ не оказаться самому однимъ изъ нихъ

Нужно еще остановиться на одномъ родѣ симпатіи, такъ какъ онъ имѣетъ большое значеніе въ физіологіи; я подразумѣваю симпатію извѣстныхъ ощущеній съ органами, изъ которыхъ они исходятъ. Спазмы въ животѣ вызываютъ въ насъ ощущеніе отвращенія; воспроизведеніе этого ощущенія вызываетъ въ свою очередь спазмы. Какъ происходитъ это?

Упадокъ животной природы есть источникъ совершенствованія.

§ 23. Повидимому онъ препятствуетъ.

Хотя животная часть человѣка обезпечиваетъ ему всѣ тѣ выгоды, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, тѣмъ не менѣе можно сказать, что она остается недостойной его въ другихъ отношеніяхъ. А именно душа является до такой степени рабски прикованной къ дѣятельности своихъ органовъ, что періодическій упадокъ этихъ послѣднихъ предписываетъ и ей бездѣятельную паузу и періодически какъ бы уничтожаетъ ее. Я подразумѣваю здѣсь сонъ, который, чего нельзя отрицать, отнимаетъ у насъ, по крайней мѣрѣ, одну треть нашего существованія. Далѣе, наша мыслительная способность въ высшей степени зависитъ отъ законовъ механизма, такъ что его упадокъ внезапно останавливаетъ ходъ нашихъ мыслей въ то время, когда мы находимся на самомъ вѣрномъ пути къ истинѣ. Разумъ могъ бы еще остановиться на извѣстной идеѣ, но косная матерія отказываетъ ему въ этомъ; струны мыслительнаго органа засыпаютъ, едва успѣвъ достигнуть незначительнаго напряженія; тѣло насъ оставляетъ, когда мы больше всего въ немъ нуждаемся. Какихъ поразительныхъ успѣховъ достигъ бы человѣкъ въ развитіи своихъ способностей, если бы могъ пребывать въ состояніи непрерывнаго умственнаго напряженія? Насколько онъ могъ бы разложить всякую идею на ея конечные элементы, насколько онъ могъ бы изслѣдовать всякое явленіе до его послѣднихъ скрытыхъ источниковъ, если бы онъ былъ въ состояніи непрестанно имѣть ихъ передъ своими глазами?—Но это не такъ; почему же это не такъ?

§ 24. Необходимость упадка.

Нижеслѣдующее приведетъ насъ на путь истины.

1) Пріятное ощущеніе было необходимо, чтобы вести человѣка къ совершенствованію, а онъ потому только и совершененъ, что это было ему пріятно.

2) Природа конечнаго существа дѣлаетъ неизбѣжнымъ непріятное ощущеніе. Зло не изгнано даже изъ лучшаго изъ міровъ, и мудрецы видятъ въ этомъ совершенство.

3) Природа смѣшаннаго существа по необходимости, приноситъ съ собой страданіе, ибо сама она преимущественно на немъ покоится.

Такимъ образомъ страданіе и радость необходимы.

Труднѣе объяснить слѣдующее, хотя и оно представляется не менѣе истиннымъ.

4) Всякое страданіе по природѣ своей, такъ же какъ и всякая радость, растетъ въ безконечность.

5) Всякое страданіе и всякая радость смѣшаннаго существа стремится къ своему уничтоженію.

§ 25. Объясненіе.

Это значитъ слѣдующее: существуетъ извѣстный законъ ассоціаціи идей, согласно которому каждое ощущеніе, каково бы оно ни было, тотчасъ влечетъ за собой другое ощущеніе того же порядка и увеличивается благодаря этому приросту. Чѣмъ больше и разностороннѣе оно само, тѣмъ больше однородныхъ ощущеній возбуждаетъ оно во всѣхъ направленіяхъ мыслительнаго аппарата, пока оно постепенно не сдѣлается преобладающимъ и не овладѣетъ всей душой. Такъ растетъ всякое ощущеніе изъ самаго себя; всякое состояніе ощущенія, существующее въ данный моментъ, содержитъ въ себѣ основаніе для послѣдующаго ряда подобныхъ же, но болѣе сильныхъ ощущеній. Это ясно само собою. Но, какъ мы знаемъ, каждое духовное ощущеніе бываетъ связано съ такимъ же животнымъ ощущеніемъ, другими словами—каждое ощущеніе находится въ большей или меньшей связи съ нервными возбужденіями, дѣйствующими смотря по степени своей силы и распространенія. Такимъ образомъ, по мѣрѣ того какъ ростутъ духовныя ощущенія, увеличивается и возбужденіе нервной системы. И это не менѣе понятно. Но патологія насъ учитъ, что никогда не страдаетъ одинъ только какой-нибудь нервъ, и сказать: здѣсь избытокъ силы, все равно, что сказать; тамъ ея недостатокъ. Слѣдовательно, каждое нервное возбужденіе растетъ изъ самого себя. Далѣе, какъ сказано выше, возбужденіе нервной системы дѣйствуетъ на душу и усиливаетъ духовныя ощущенія; усиленныя духовныя ощущенія умножаютъ и усиливаютъ, въ свою очередь, нервныя возбужденія. Здѣсь слѣдовательно получается кругъ, ощущеніе должно постоянно расти, и нервныя возбужденія должны въ каждый моментъ уси-

ливаться и дѣлаться болѣе общими. Теперь мы знаемъ, что возбужденіе механизма, сопровождающееся ощущеніемъ страданія, противорѣчитъ гармоническому настроенію, которымъ поддерживается самый механизмъ, т, е. возбужденіе это есть болѣзнь. Но болѣзнь не можетъ рости въ безконечность, т. е. она оканчивается вмѣстѣ съ полнымъ разрушеніемъ механизма. Такимъ образомъ, въ отношеніи страданія представляется доказаннымъ, что оно стремится къ смерти субъекта.

Но вѣдь нервное возбужденіе подъ вліяніемъ пріятнаго аффекта такъ гармонично, такъ благопріятно процвѣтанію механизма; вѣдь состояніе великой душевной радости есть вмѣстѣ съ тѣмъ состояніе наибольшаго физическаго благополучія—не долженъ ли поэтому пріятный аффектъ въ свою очередь удлинять физическое благополучіе до безконечности?—Но это заключеніе представляется слишкомъ поспѣшнымъ. Въ предѣлахъ умѣренности эти нервныя возбужденія дѣйствительно являются полезными и здоровыми. Но если они идутъ черезъ край, то хотя они и могутъ быть проявленіемъ высшей активности и высшаго временнаго совершенства, все таки они являются крайностью и потому не могутъ уже быть здоровыми. Только такіе физическіе процессы называемъ мы здоровыми, въ которыхъ содержится основаніе для будущихъ такихъ же процессовъ, т. е. которые укрѣпляютъ совершенство слѣдующихъ за ними такихъ же процессовъ, слѣдовательно опредѣленіе продолжительности существенно входитъ въ понятіе здоровья. Напр., тѣло ослабленнаго сластолюбца достигаетъ въ моментъ вожделѣнія своей наибольшей гармоніи; но она бываетъ только временной, и слѣдующій затѣмъ еще большій упадокъ достаточно учитъ, что чрезмѣрное напряженіе не есть здоровье. Поэтому можно утверждать съ полнымъ правомъ, что чрезмѣрная сила физическихъ процессовъ такъ же часто ускоряетъ наступленіе смерти, какъ и высшая дисгармонія или сильнѣйшая болѣзнь. Такимъ образомъ и страданія и радость влекутъ насъ къ неизбѣжной смерти, если нѣтъ ничего другого, что ограничивало бы ихъ ростъ.

§ 26. Благотворное значеніе смѣны и упадка.

Прогрессъ въ духовной жизни человѣка создается именно смѣной и упадкомъ животной природы. То самое ограниченіе нашего хрупкаго механизма, которое даетъ нашимъ противникамъ такое сильное возраженіе противъ его совершенства, улучшаетъ, какъ и должно быть, всѣ дурныя послѣдствія, неизбѣжныя для механизма въ другомъ отношеніи. Именно этотъ упадокъ, это ослабленіе органовъ, на которое такъ много жалуются мыслители, препятствуютъ намъ уничтожить въ короткое время нашу собственную силу и не допускаетъ, чтобы наши аффекты росли все въ повышающихся степеняхъ вплоть до нашей гибели. Наша сила опредѣляетъ для каждаго аффекта періоды его роста, его напряженности и его упадка, если только послѣдній не переходитъ въ полное разрушеніе тѣла, оно даетъ возбужденнымъ умственнымъ силамъ время опять вернуться къ своему гармоническому настроенію, а органамъ придти въ себя. Поэтому самыя высокія степени восхищенія, страха и гнѣва всегда сопровождаются утомленіемъ, слабостью и безсиліемъ.

„Теперь онъ долженъ былъ въ безсильи опуститься".

Еще больше подтверждаетъ это сонъ, по поводу котораго Макбетъ, послѣ совершеннаго имъ убійства, говоритъ о себѣ, что онъ „зарѣзалъ сонъ, невинный сонъ, зарѣзалъ искупителя заботъ, бальзамъ цѣлебный для больной души, великаго союзника природы, хозяина на жизненномъ пиру". Во время сна умственныя силы опять приходятъ въ свое прежнее спасительное равновѣсіе, въ которомъ такъ нуждается продолженіе нашего существованія; всѣ судорожныя идеи и ощущенія, всякая напряженная дѣятельность, терзающая насъ въ теченіе дня—теперь успокаиваются въ общемъ ослабленіи всей чувствующей жизни, гармонія душевныхъ возбужденій опять возстановляется, и вновь пробудившійся человѣкъ спокойнѣе встрѣчаетъ наступающее утро.

Даже съ точки зрѣнія организаціи цѣлаго мы не можемъ не удивляться важному значенію смѣны въ дѣятельности физическихъ силъ. Именно такая организація неизбѣжно привела къ тому, что многіе, которымъ казалось, предстояли однѣ радости, приносились въ жертву общему порядку и на ихъ долю выпалъ жребій угнетенія. А съ другой стороны, многіе, которымъ мы, быть можетъ, несправедливо завидуемъ, должны въ свою очередь подвергать пыткѣ въ неустанномъ напряженіи свою духовную и физическую силу, чтобы этимъ путемъ

поддерживать равновѣсіе цѣлаго. Сонъ какъ бы закрываетъ глаза печали, снимаетъ съ плечъ государей и государственныхъ дѣятелей тяжелое бремя правленія, вливаетъ жизненныя силы въ жилы больного и даруетъ покой его измученной душѣ; поденщикъ не слышитъ болѣе голоса своего притѣснителя, и скотъ, съ которымъ днемъ жестоко обращались, уже не подвергается тиранніи человѣка. Сонъ хоронитъ всѣ заботы и все бремя живущихъ, приводитъ все въ равновѣсіе, вооружаетъ каждаго новыми силами, чтобы нести радости и страданія наступающаго дня.

§ 27. Разрушеніе связи.

Наконецъ мы дошли до того момента, когда духъ исполнилъ въ этой области задачу своего существованія, и вмѣстѣ съ тѣмъ внутренній непостижимый механизмъ сдѣлалъ тѣло неспособнымъ быть далѣе орудіемъ духа. Всѣ приспособленія, чтобъ поддержать физическое благосостояніе, повидимому могутъ имѣть значеніе только до этого момента; мудрость, какъ мнѣ думается, при устройствѣ нашей физической природы преслѣдовала такой разсчетъ, чтобы несмотря на постоянное возстановленіе силъ перевѣсъ всегда находился на сторонѣ траты, чтобы свобода механизма всегда употреблялась во зло и чтобы смерть развивалась изъ жизни, какъ изъ своего сѣмени. Матерія вновь разлагается на свои конечные элементы, которые будутъ отнынѣ блуждать въ другихъ формахъ и сочетаніяхъ по разнымъ царствамъ природы и служить другимъ цѣлямъ. Душа отлетаетъ, чтобъ примѣнить къ другимъ сферамъ свою мыслительную способность и съ другихъ сторонъ созерцать вселенную. Можно конечно сказать, что она не исчерпала даже и эту сферу въ сколько-нибудь значительной степени и что она могла бы покинуть ее болѣе совершенной; но развѣ извѣстно, что эта сфера для нея утрачена? Мы откладываемъ въ сторону книгу, которой не понимаемъ, но, быть можетъ, позднѣе мы поймемъ ее лучше.

Ю. Антоновскій.

Примѣчанія къ IV тому.

ИСТОРІЯ ТРИДЦАТИЛѢТНЕЙ ВОЙНЫ.

См. о ней т. III, предисловіе проф. *Н. И. Карѣева* къ историч. работамъ Шиллера.

Русскіе переводы.

1. Исторія тридцатилѣтней войны. Соч. Фридриха Шиллера. Пер. съ нѣм. 4 ч. Спб. 1815.

2. Покореніе Магдебурга. Отрывокъ изъ «Тридцатилѣтней войны въ Германіи». Сочиненіе Шиллера. Переводъ баронессы *Юліи фонъ-Икскуль*. Спб. 1859.

3. Характеристическіе очерки Валленштейна. Шиллера. Переводъ съ нѣм. баронессы *Юліи фонъ-Икскуль*. Спб. 1860.

4. Исторія тридцатилѣтней войны. Переводъ *Н. Гербеля*, въ его изданіи Шиллера. 1861 и позднѣе.

5. Исторія 30-лѣтней войны. Пер. *Я. Я.* Кіевъ. 1901. Изданіе Ф. А. Іогансона.

6. Исторія тридцатилѣтней войны. Переводъ *А. Г. Горнфельда*. Исполненъ для настоящаго изданія.

О СОВРЕМЕННОМЪ НѢМЕЦКОМЪ ТЕАТРѢ.

Статья эта появилась въ журналѣ «Das Wirtembergische Repertorium» за 1782 г. Въ основу ея положена мысль о необходимости нравственно-воспитательнаго воздѣйствія сцены, что зависитъ отъ гармоническаго сочетанія трехъ взаимодѣйствующихъ элементовъ: поэта, публики, исполнителей.

Стр. 218. *Додона*—городокъ въ древней Греціи, гдѣ было знаменитое прорицалище Зевса (не Аполлона, какъ у Шиллера). — *Тартюфъ* геніальный образъ ханжи и лицемѣра, созданный Мольеромъ въ комедіи того-же названія (1667). *Фальстафъ*—типъ стараго циника, фанфарона и распутника, не теряющаго самоувѣренности, несмотря на свои неудачи, созданный Шекспиромъ въ «Генрихѣ IV» (1598) и «Виндзорскихъ проказницахъ» (1602).

Стр. 219. *Макбетъ* въ одноименной трагедіи Шекспира (1608). — *Король Дунканъ* тамъ же.— *Сара Самсонъ* — героиня трагедіи Лессинга «Miss Sara Sampson» (1755). — *Венеціанскій мавръ*— Отелло, герой одноименной трагедіи Шекспира (1622). *На сценѣ фигурируетъ противоестественная мать* намекъ на драму Генриха Леопольда Вагнера «Раскаяніе послѣ проступка» (1755), въ заключеніи которой «противоестественная мать», погубивъ свою дочь, между прочимъ говоритъ: «Никто не хочетъ смѣяться, а я ужъ такъ настроилась... Тралала, тралала, тралала»,—а затѣмъ пытается покончить съ собою. *Одоардо*—отецъ Эмиліи Галотти въ трагедіи Лессинга (1771). *Гаррикъ*—великій англійскій актеръ (1716—1779). *Итальянская Ифигенія*—намекъ на актрису, исполнявшую заглавную роль въ знаменитой трагедіи Эврипида (485—407 г. до Р. Х.) «Ифигенія въ Авлидѣ».— *Великая Елизавета* королева англійская, которую поэтъ вывелъ впослѣдствіи въ «Маріи Стюартъ». *Пьеръ Корнель* великій французскій драматургъ (1606—1684).

Стр. 220. *Родриго*—герой извѣстнѣйшей трагедіи Корнеля «Сидъ» (1636). *Гете прогналъ комми-вояжеровъ драматической моды за Рейнъ* – намекъ на національно-нѣмецкую трагедію Гете «Гецъ-фонъ Берлихингенъ» (1773), которая окончательно уничтожила французское вліяніе на нѣмецкой сценѣ.

Стр. 221. *Ромео*—въ трагедіи Шекспира «Ромео и Юлія» (1597) —*Суровый завоеватель Багдада... смирила музыка.* Неизвѣстно, кого изъ многочисленныхъ завоевателей малоазіатской столицы имѣлъ въ виду Шиллеръ. Калифъ Гади (братъ Гарунъ-аль Рашида), несмотря на свою свирѣпость, плакавшій при звукахъ музыки, былъ не завоевателемъ, а властелиномъ Багдада. *Менгсъ*—знаменитый нѣмецкій живописецъ Антонъ-Рафаель Mengs (1728—1779). – *Корреджіо*—знаменитый итальянскій живописецъ Антоніо Аллегри (1491—1534) изъ городка Coareggio – *Роль Заиры*—въ одноименной трагедіи Вольтера (1732).

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*. Въ изд. Гербеля.

2. *Всеволодъ Чешихинъ*. Переведено для настоящаго изданія.

ТЕАТРЪ КАКЪ УЧРЕЖДЕНІЕ НРАВСТВЕННОЕ.

Эта лекція была прочитана въ іюнѣ, черезъ полгода послѣ того, какъ Шиллеръ сдѣлался дѣйствительнымъ членомъ указаннаго въ подзаголовкѣ ученаго общества, а затѣмъ напечатана въ первомъ выпускѣ, «Рейнской Таліи» и перепечатана еще при

жизни поэта (1792) среди его «Мелкихъ прозаическихъ статей». Основная мысль ея совпадаетъ съ воззрѣніями, изложенными въ первой, но развита здѣсь сильнѣе и полнѣе. Комментаторы отмѣчаютъ здѣсь зародыши идей, развитыхъ впослѣдствіи въ «Письмахъ объ эстетическомъ воспитаніи».

Стр. 222. *Зульцеръ*—нѣмецкій эстетикъ Іоганнъ Георгъ Sulzer (1720—1779), въ свое время весьма авторитетный и высказавшій приведенную Шиллеромъ мысль въ своихъ произведеніяхъ «Allgemeine Theorie der schönen Künste» и «Ueber die Nützlichkeit der dramatischen Dichtkunst».

Стр. 223. *Радамантовы приговоры;* Радамантъ—въ греческой миѳологіи—одинъ изъ трехъ судей загробнаго міра. *Августъ протягиваетъ руку Цинны;* знаменитая фраза «Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie» въ трагедіи Корнеля «Цинна» (1640). *Францъ фонъ Зикингенъ* въ пьесѣ незначительнаго нѣмецкаго драматурга Антона фонъ Клейна (1748—1810), съ которымъ Шиллеръ встрѣчался въ Мангеймѣ. *Регана* въ «Лирѣ» Шекспира.

Стр. 224. *Гарпагонъ* извѣстный образъ скупца, созданный Мольеромъ въ «Скупомъ» (1668). *Бэверлей*—герой драмы нѣмецкаго поэта Фридр. Людв. Шредера «Бэверлей или Игрокъ» (1791).—*Умирающая Сара*—см. прим. къ стр. 219.

Стр. 225. *Аріанда на Наксосѣ*—въ трагической кантатѣ Генр. Вильг. фонъ Герстенберга «Ariadne auf Naxos» (1767); громадный успѣхъ имѣла долго упоминаемая ниже трагедія его «Уголино» (1768)—драматизированный эпизодъ изъ «Божественной Комедіи» Данта; пизанскій графъ Уголино былъ запертъ своими политическими врагами въ «башню голода» съ двумя сыновьями и тремя внуками, которые постепенно умирали одинъ за другимъ на его глазахъ. *Благосклонность королевы покидаетъ . . . обманутаго фаворита* — драматическій эпизодъ изъ жизни Елизаветы англійской и ея возлюбленнаго графа Эссекса, обработанный въ драмѣ Корнеля. — *Эдуардъ Куберъ*—герой драмы нѣмецкаго писателя Иффланда (1759—1814). «Verbrechen aus Ehrsucht».—*Маріанна* героиня одноименной трагедіи нѣмецкаго драматурга Фрид. Вильг. Готтера (1746—1797).

Стр. 226. *Еврей Натанъ и сарацинъ Саладинъ* въ «Натанѣ Мудромъ», драмѣ Лессинга (1779)—*Іосифъ Второй* императоръ австрійскій (1765—1790), носитель идеи «просвѣщеннаго абсолютизма» и борьбы съ клерикальными и феодальными элементами. *Филантропинъ*—такъ называлось воспитательное заведеніе, учрежденное извѣстнымъ нѣмецкимъ педагогомъ Базедовымъ (1723—1790) въ Дессау.

Русскіе переводы.

1. *П. В. К—ій.* Дѣйствіе и всеобщее вліяніе хорошаго театра. (Изъ «Талія» г. Шиллера. «Новости рус. литературы» 1802. II, № 27, 28, 29).

2. «Театръ, разсматриваемый, какъ нравственное учрежденіе». («Репертуаръ и Пантеонъ» 1847 г. т. II.

3. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.

4. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

ФИЛОСОФСКІЯ ПИСЬМА.

Первоначально появились въ «Талія» за 1786 г., но задуманы гораздо раньше. Еще стихотвореніе «Дружба» (ср. т. I, стр. 17 и 340) при своемъ первомъ появленіи носило подзаглавіе: «Изъ не напечатаннаго романа «*Письма Юлія къ Рафаэлю*». Этими письмами, гдѣ Юлій развиваетъ свою «теософію», и должно было по первоначальному замыслу ограничиваться все произведеніе. Но затѣмъ былъ введенъ и самъ Рафаэль, спокойный другъ-наставникъ мятущагося Юлія; роль его взялъ на себя старшій другъ поэта Кернеръ. Но онъ писалъ свои отвѣтныя письма очень вяло (забавное изображеніе этого мы находимъ въ «Утрѣ Кернера», ср. т. III, стр. 616) и его письма—лишь незначительное добавленіе къ «Теософіи Юлія»—т. е. самого Шиллера. Со всѣмъ мечтательнымъ пыломъ юности и склонностью къ теософической мистикѣ, подчасъ даже пользующейся выраженіями средневѣковой мистики и алхиміи (ср. ниже прим. къ стр. 235), авторъ не столько хочетъ научно изслѣдовать загадку міросданія, сколько непосредственно постигнуть ее. Вселенная есть мысль Бога; Богъ и природа суть двѣ величины вполнѣ равныя; природа есть безконечно раздѣленный Богъ. Ихъ соединяетъ любовь, уравнивающая безконечное съ конечнымъ.

Послѣднее письмо Рафаэля-Кернера (стр. 285) появилось лишь черезъ три года (въ «Талія» 1789 г.) и въ текстѣ научныхъ нѣмецкихъ изданій Шиллера выпускается.

Стр. 229. *Толпились нѣкогда подъ колоннами.*—собственно «вокругъ идоловъ»—um die Irmensäule (идолъ древнихъ саксовъ). — *Въ честь Брамы*—высшаго божества индусовъ.

Стр. 230. *Несчастному любопытству Эдипа*—въ драмѣ Софокла «Царь Эдипъ» (430 г. до Р. Хр.), герой которой съ ужасомъ узнаетъ, что онъ повиненъ въ страшныхъ преступленіяхъ отцеубійства и гнуснаго кровосмѣшенія. Слѣдующія затѣмъ слова *Ахъ если бы ты никогда не узналъ, кто ты*, принадлежитъ не оракулу, а его матери и женѣ Іокастѣ.

Стр. 231. *Недавно открытая система кровеобращенія* въ 1756 г. Альбрехтомъ фонъ-Галлеромъ.—*Парабола*—въ смыслѣ притчи.

Стр. 232. *Нашъ знаменитый Галлеръ* вышеупомянутый естествоиспытатель и извѣстный поэтъ—*«разоблачившій ничтожество суетныхъ почестей»* въ стихотвореніи «Über die Ehre».

Стр. 234. *Свифтъ* знаменитый англійскій сатирикъ (1667—1745). При чрезвычайной силѣ презрѣнія къ человѣческимъ недостаткамъ, самъ далеко не былъ свободенъ отъ пороковъ.

Стр. 235. *Царь злата, разростающееся шаинственное средство*—алхимическія выраженія: какъ нѣкоторыя неизвѣстныя вещества (открыть ихъ и было задачей алхиміи) выдѣляютъ золото (оно называлось въ алхиміи царемъ) изъ извести, такъ любовь выдѣляетъ изъ нашей души ея лучшіе элементы.

Стр. 236. *Когда онъ возсядетъ на престолъ*—слова Натана Мудраго въ концѣ знаменитаго разсказа о трехъ кольцахъ.—*Эндемическія формы*—мѣстныя, здѣшнія, всенародныя. — *Идіомы*, собственно, парѣчія: нашъ языкъ, посредствомъ котораго мы мыслимъ.

Стр. 237. *Атлантика*—опечатка вмѣсто *Атлантида;* по мнѣнію разсказанному еще Платономъ, такъ назывался громадный островъ, лежавшій сре-

ди Атлантическаго океана, но затѣмъ исчезнувшій въ его водахъ. Основой мнѣа могли послужить разсказы финикійскихъ купцовъ, заброшенныхъ бурею въ Америку и затѣмъ возвращавшихся на родину. *Тарквиній Секстъ*, вѣрнѣе Секстъ Тарквиній, сынъ царя римскаго Тарквинія Гордаго, обезчестившій Лукрецію, жену Коллатина и тѣмъ подавшій поводъ изгнать царей и основать республику.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Горбеля.
2. *Э. Л. Радловъ*. Переведено для настоящаго изданія.

ПИСЬМА О «ДОНЪ-КАРЛОСѢ».

Напечатанная въ двухъ выпускахъ «Нѣмецкаго Меркурія» за 1788 годъ статья эта – наряду съ другими самокритиками Шиллера—показываетъ, съ какимъ умѣніемъ былъ онъ способенъ относиться объективно къ своимъ произведеніямъ. Кернеръ хорошо оцѣнилъ «Письма», просто указавъ (въ письмѣ къ Шиллеру: «Тонъ очень хорошъ: ни дѣланной скромности, ни самовосхваленій». Центръ статьи—въ высшей степени удачное доказательство того, что ни любовь, ни дружба не представляютъ собою основного мотива драмы, который исчерпывается идеей политической свободы, одушевляющей обоихъ друзей. Наоборотъ—попытки поэта мотивировать и оправдать поведеніе маркиза Позы въ послѣднихъ двухъ актахъ едва-ли можно, по указанію Беллермана, считать удачными.

Стр. 241. *Новелла Сенъ-Реаля*,—положенная въ основаніе «Донъ-Карлоса»Шиллера (ср. т. II, стр. 78).

Стр. 243. *Я отложилъ до будущаго времени изображеніе такой дружбы*: Шиллеръ имѣетъ въ виду «Мальтійцевъ» (ср. т. III, стр. 246 и 616), сюжетомъ которыхъ занимался въ это время и основнымъ элементомъ которыхъ предполагалъ сдѣлать дружбу между двумя юными рыцарями—Сенъ-При и Креки.

Стр. 245. *Вильгельмъ, Оранскій* и *Колиньи* — дѣятели реформаціоннаго движенія. Первый — (1533—1584)—основатель нидерландской независимости, второй французскій гугенотъ (1517—1572).

Стр. 256. *Иллюминатъ* членъ мистико-гуманитарнаго тайнаго общества, основаннаго въ 1776 г. *Монтескье* знаменитый французскій государствовѣдъ и публицистъ (1689 1755), изъ сочиненій котораго Шиллеръ имѣетъ здѣсь въ виду не столько извѣстный «Духъ законовъ», сколько «Размышленія о причинахъ возвышенія и паденія римлянъ».

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Ѳ. Д. Батюшковъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О ПРИЧИНѢ НАСЛАЖДЕНІЯ, ДОСТАВЛЯЕМАГО ТРАГИЧЕСКИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

Статья эта написана въ концѣ 1792 года и представляетъ собой переработку «Теоріи трагедіи», набросанной поэтомъ для университетскаго курса.

Стр. 265. *Гюонъ и Аманда* — герои «Оберона» (1780), эпопеи Хр. Март. Виланда.

Стр. 266. *Коріоланъ*—герой одноименной трагедіи Шекспира.—*Говорилъ великій Помпей*, согласно «Жизни Помпея» Плутарха, гл. 50.

Стр. 267. *Подъ стѣнами Акціума или Коріолъ*—городовъ въ странѣ вольсковъ, враждебнаго Риму народа, во главѣ котораго сталъ Коріоланъ, чтобы напасть на родной городъ. *Коринѳянинъ Тимолеонъ*—дѣйствующее лицо въ сценахъ учителя Шиллера Абеля, напечатанныхъ въ «Вюртембергскомъ Репертуарѣ» и имѣвшихъ вліяніе на заключительную сцену «Фіеско».

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *А. Г. Горнфельдъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О ТРАГИЧЕСКОМЪ ИСКУССТВѢ.

Написано въ началѣ 1792 г. и напечатано въ «Новой Таліи».

Стр. 269. *Лукрецій*—извѣстный римскій поэтъ и философъ (ум. въ 55 г. до Р. Хр.), авторъ дидактической поэмы. «О природѣ вещей», гдѣ II, 1—4 высказана мысль, съ которой споритъ Шиллеръ.

Стр. 273. *Кронекъ*—Іоганнъ Фридрихъ, нѣмецкій драматургъ» (1731—1758), подражатель французскихъ трагиковъ.—*Клеопатра* въ «Родогунѣ» (вътекстѣ ошибочно «Родегунѣ», трагедіи Корнеля «Родогуна, принцесса Парѳянская» (1643—1644). У Шиллера по ошибкѣ сказано: «въ «Роксоланѣ».—*Нѣмецкая «Ифигенія»*, драма Гете «Ифигенія въ Тавридѣ» (1787). — *Орестъ*—братъ героини, дѣйствующее лицо драмы.

Стр. 276. *Приговоръ перваго Брута*—римскаго консула, который въ 509 г. до Р. Хр. присудилъ къ смертной казни своихъ сыновей за участіе въ заговорѣ противъ государства. *О второмъ* Брутѣ—см. въ словарѣ.—*Самоубійство Катона* римлянина, который въ 46 г. до Р. Хр. лишилъ себя жизни, такъ какъ не чувствовалъ себя въ силахъ пережить конецъ римской республики. — *Героизмъ Леонида* см. въ словарѣ. *Покорность Аритида* — великаго аѳинянина, для блага государства отказавшагося отъ власти и умершаго въ бѣдности и забвеніи. *Страшная судьба Дарія*—царя персидскаго Дарія Кодомана, злополучнаго противника Александра Македонскаго.

Стр. 279. *«Tod Hermans»*, *«Minona»*, *«Tust von Stromberg»*—современныя Шиллеру трагедіи, первая (1787) Клопштока, вторая (1785)—Герстенберга, третья (1782)—Як. Майера.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *А. Г. Горнфельдъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О ПАТЕТИЧЕСКОМЪ.

Первоначально (въ «Новой Талiи» 1793 года); разсужденiе это составляло часть статьи «О возвышенномъ» (см.); затѣмъ (въ «Мелкихъ прозаическихъ статьяхъ») Шиллеръ выдѣлилъ его съ особымъ заглавiемъ.

Стр. 281. *Ніобея*—въ греч. миѳол. жена ѳивскаго царя Амфiона, мать, чрезмѣрно возгордившаяся своими 12 дѣтьми и зато жестоко наказанная богами: по просьбѣ своей матери Латоны, Фебъ и Артемида, съ которыми Ніобея осмѣлилась сравнивать своихъ дѣтей, перебили ихъ стрѣлами; несчастная съ горя окаменѣла. Судьба Ніобеи и ея дѣтей была одной изъ излюбленныхъ темъ античнаго искусства; особенно извѣстна флорентинская группа.—*Филоктетъ*—въ одноименной трагедiи Софокла. Вообще о Филоктетѣ см. въ словарѣ. *Геркулесъ* въ трагедiи Софокла «Трихинянки». *Ифигенiя*—въ эврипидовой «Ифигенiи въ Авлидѣ» (переведенной на нѣмецкiй языкъ Шиллеромъ).—*Раненый Марсъ* и т. д. согласно «Иліадѣ», пѣснь V, 859. *Оцарапанная Венера уходит на Олимпъ*: также согласно «Иліадѣ» (V, 343). *Группа Лаокоона*—знаменитая античная мраморная группа, изображающая гибель Лаокоона (см. въ словарѣ) и его сыновей и найденная въ 1516 г. въ Римѣ. *Винкельманъ* Iоганнъ Iоахимъ — знаменитый нѣмецкiй археологъ-эстетикъ (1717—1768), создавшiй въ обществѣ пониманiе культурнаго значенiя и прелести античной пластики.

Стр. 286. *Лессингу* (1729—1781) принадлежитъ обширный классическiй трудъ о группѣ Лаокоона.—Латинскiе стихи *Ecce autem gemini* и т. д. въ переводѣ Фета (Энеида II. ст. 203 и сл.).

Вотъ съ Тенедоса межъ тѣмъ по влагѣ спокойной—мнѣ страшно
Сказывать—двѣ змѣи, свиваясь большими кругами,
На пучину легли и къ берегу обѣ стремятся,
Груди ихъ средь воды поднялись, и кровавые гребни
Надъ волнами встаютъ, позади же часть остальная
Море чертитъ и хребты огромной дугой извиваетъ.
Шумъ средь пѣны морской раздается, ужъ къ полю приплыли
И, глазами блестя, огнемъ залитыми и кровью,
Стали шипящiе рты лизать, языками мелькая.

Стр. 287: *Diffugimus* и т. д. Переводъ Фета:
Мы разбѣжались, блѣдны при видѣ. Тѣ вѣрной дорогой
На Лаоконта идутъ.

Laocoont petunt и т. д. Переводъ Фета:
На Лаоконта идутъ; и сразу тѣла небольшiя
Двухъ дѣтей охватя, ихъ обѣ змѣи обвиваютъ
И поѣдаютъ у нихъ, кусая, несчастные члены.
Post ipsum и т. д. Переводъ Фета:
А затѣмъ самого, какъ оружьемъ идетъ онъ на помощь,
Ухвативши онѣ, въ громаднѣйшихъ вяжутъ извивахъ

Стр. 288. *Сенек*— знаменитый римскiй философъ (7—65 г. по Р. Хр.) говоритъ приводимыя Шиллеромъ слова въ сочиненiи «De divina providentia», II, 9. *Послѣ несчастнаго сраженiя при Каннахъ* (см. въ словарѣ) въ 216 г. до Р. Хр.—римскiй сенатъ—въ противоположность жалкой растерянности и отчаянiю гражданъ—простилъ разбитаго полководца Теренцiя Варрона и рѣшилъ заботиться о спасенiи отечества. *Люциферъ Мильтона* демонъ, герой эпопеи «Потерянный рай» знаменитаго англiйскаго поэта (1608—1674). Приводимыя Шиллеромъ слова взяты изъ пѣсни I, 250—259. - *Отвѣтъ Медеи* въ одноименной трагедiи Корнеля. Медея въ греч. миѳол. волшебница и отравительница—дочь царя Колхиды, во время бѣгства отъ отца съ агронавтомъ Язономъ, въ котораго влюбилась, изрѣзала на куски родного брата; проживъ десять лѣтъ съ Язономъ, прирѣвновала его къ Креузѣ, убила ее и ея отца, а затѣмъ и своихъ двухъ дѣтей отъ Язона. Судьба ея драматически обработана въ трагедiяхъ Эврипида, Сенеки, Корнеля. При всѣхъ своихъ преступленiяхъ, она подкупаетъ насъ величiемъ энергичной души. «Ты ненавистна народу, мужъ бѣжитъ тебя; что остается тебѣ въ этихъ невзгодахъ?» восклицаетъ собесѣдникъ. «Я!» отвѣчаетъ Медея. — *Регулъ*—римскiй полководецъ Марсiй Atilius Regulus, взятый въ плѣнъ карѳагенянами въ 250 г. до Р. Хр., былъ, по преданiю, посланъ съ карѳагенскимъ посломъ въ Римъ испросить мира или обмѣна плѣнныхъ. Но, несмотря на свое обѣщанiе въ случаѣ неудачи возвратиться въ плѣнъ, Регулъ выступилъ въ римскомъ сенатѣ противникомъ карѳагенскихъ предложенiй, заставилъ отклонить ихъ и, возвратившись въ Карѳагенъ, спокойно снесъ мучительныя пытки и казнь.

Стр. 289. *Леонидъ при Ѳермопилахъ*—см. въ словарѣ.

Стр. 290. *Перигрин Протей*—герой греческаго сатирическаго романа знаменитаго софиста Лукiана Самосатскаго (166 г. по Р. Хр.), циникъ, сперва перешедшiй въ христiанство, но затѣмъ отвергнутый за свой чрезмѣрный фанатизмъ, и наконецъ покончившiй самосожженiемъ—на Олимпiйскихъ играхъ—для того, чтобы хоть умереть необыкновенной смертью. Виландъ (1788 г.) издалъ переводъ романа съ примѣчанiями, вызвавшими «ксенiю» Гете-Шиллера.

Стр. 292. *Зульцеръ и его послѣдовтели.*—Нѣмецкiй эстетикъ Iог. Георгъ Sulzer (1720—1779) пытался въ обширной «Всеобщей теорiи изящныхъ искусствъ» согласовать вольфовскую философiю со взглядами французскихъ и англiйскихъ литературныхъ критиковъ. Изъ послѣдователей его извѣстны Бланкенбургъ, Дикъ, Шульце.

Стр. 293. *Медея* и *Язон*—см. выше примѣч. къ стр. 288.

Русскiе переводы.

П. И. Вейнбергъ, въ изд. Гербеля. Воспроизведено въ настоящемъ изданiи съ небольшими дополненiями.

ПИСЬМА ОБЪ ЭСТЕТИЧЕСКОМЪ ВОСПИТАНIИ.

Въ iюлѣ 1793 года Шиллеръ началъ излагать свои мысли о красотѣ въ рядѣ писемъ къ герцогу Фридриху Христiану Августенбургскому; такихъ писемъ было девять, и они составили первую часть разсужденiя; вторая (письма 10—16) и третья (письма 17—27 подъ общимъ заглавiемъ «Тающая красота») лишь изложены въ формѣ писемъ. Въ «Ноген» 1795 г. первой части предпосланъ былъ

эпиграфъ изъ Руссо: «Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit» (если создаетъ человѣка разумъ, то руководитъ имъ чувство) и слѣдующее примѣчаніе: «Это — дѣйствительно письма; къ кому? — безразлично и, быть можетъ, когда либо будетъ открыто читателю. Такъ какъ все имѣющее мѣстное значеніе устранено изъ нихъ и не могло быть замѣнено чѣмъ-либо соотвѣтственнымъ, то отъ эпистолярной формы въ нихъ не осталось ничего, кромѣ внѣшняго подраздѣленія - неудобство, котораго легко было избѣгнуть, если-бы не было желательно настоять на ихъ подлинности».

Стр. 298. *Я не помню, какой древній или новый философъ* и т. д.: изъ древнихъ — Платонъ («Государство», VI, 49), изъ новыхъ - Моисей Мендельсонъ.

Стр. 301. *Венера-Киперея* и *Венера-Уранія*: см. въ словарѣ, гдѣ вм. Киперея - Цитерея. Смыслъ тотъ, что государство скорѣе можетъ примириться съ своимъ служителемъ, увлекающимся чувственностью (Венерой-Кипереей), чѣмъ съ такимъ, который поглощенъ духовными интересами (Венерой-Уранiей).

Стр. 303. *Сынъ Сатурна въ «Иліадѣ»*: гдѣ (VIII, 41) Зевсъ воспрещаетъ богамъ принимать участіе въ бояхъ грековъ и троянцевъ и смотритъ на сраженіе съ вершины Иды. — *Своего внука* — Ахилла.

Стр. 304. *Древній мивъ, заставляющій богиню мудрости* — Аѳину Палладу (см. въ словарѣ).

Стр. 305. *Подобно сыну Агамемнона* — Оресту, который очистилъ родной домъ отъ скверны прелюбодѣянія и мужеубійства, убивъ виновныхъ - свою мать и ея любовника. *Коммодъ* - римскій императоръ (161—192 г. по Р. Хр.), жестокій и распутный сынъ Марка Аврелія.

Стр. 308. *Периклъ*—знаменитый государственный дѣятель Аѳинъ (V в. до Р. Хр.), съ именемъ котораго обыкновенно связываютъ эпоху духовнаго, художественнаго и политическаго расцвѣта Аѳинской республики. *Александръ* Македонскій. *Фокіонъ* аѳинскій полководецъ и государственный дѣятель (400 - 317 г. до Р. Хр.), честный и самоотверженный, но склонный къ покорности и уступкамъ, за что народное собраніе присудило его къ смертной казни. *Аббасиды* — магометанская династія, правленіе которой въ Багдадѣ (съ 750 по 1258 г.) извѣстно расцвѣтомъ духовной культуры. *Ломбардскій союзъ* — союзъ сѣверно-итальянскихъ вольныхъ городовъ, потерявшихъ свою республиканскую свободу въ XIV—XV столѣтіи.

Медичисы—см. въ словарѣ.

Стр. 316. *Беркъ*, Эдмундъ (Burke) — извѣстный англійскій политикъ и писатель, снискавшій въ Германіи извѣстность философа названными въ текстѣ «Философскими изслѣдованіями о возникновеніи нашихъ понятій о возвышенномъ и прекрасномъ» (1753), гдѣ называетъ красоту «свойствомъ тѣлъ, которое внушаетъ къ нимъ любовь или иную подобную страсть».

Стр. 328. *Мессіада* — знаменитая религіозно-героическая поэма (1751—1773) нѣмецкаго поэта Фридр. Готл. Клопштока. — *Въ анакреонтовскомъ или катулловскомъ родѣ* греческій лирикъ Анакреонъ (VI в. до Р. Хр.) и его римскій подражатель Катуллъ (85—40 г. до Р. Хр.) удѣляли въ своихъ пѣсняхъ значительное вниманіе чувственнымъ наслажденіямъ.

Стр. 334. *Древнія поэмы* особ. «Теогонія» (ст. 617 и сл.) греческаго поэта Гезіода (IX в. до Р. Хр.) — *Чудовище востока* — сфинксы, грифы и др. чудища до-греческаго (особ. финикійскаго) искусства.

Русскіе переводы.

1. *Н. Холодковскій*, въ изд. Гербеля.
2. *Э. Л. Радловъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О НЕОБХОДИМЫХЪ ПРЕДѢЛАХЪ ПРИМѢНЕНІЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ФОРМЪ.

Въ разсужденіи этомъ соединены двѣ статьи, напечатанныя въ 1795 г. въ «Горахъ»: «О необходимыхъ границахъ прекраснаго, особенно въ изложеніи философскихъ истинъ» и «Объ опасности эстетическихъ нравовъ» (начало ея въ русскомъ переводѣ на стр. 352). Въ основу ихъ положено обращенное къ герцогу Августенбургскому, но не отправленное письмо.

Стр. 307. *«Liaisons dangereuses»* — французскій романъ (1782) Лакло, имѣвшій большой успѣхъ у европейскихъ читателей конца XVIII вѣка. — *Турвень* опечатка, надо Турвель.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *А. Г. Горнфельдъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О НРАВСТВЕННОЙ НОЛЬЗѢ ЭСТЕТИЧЕСКИХЪ НРАВОВЪ.

Статья, напечатанная въ «Горахъ» 1796 г., представляетъ собою какъ бы противоположеніе послѣдней части разсужденія «О границахъ, необходимыхъ при употребленіи прекрасныхъ формъ», первоначально носившей заглавіе «Объ опасности эстетическихъ нравовъ».

Стр. 357. *Анна Комнина* — дочь императора византійскаго Алексѣя I, извѣстная писательница (1083—1148) — разсказываетъ приведенный эпизодъ въ исторіи своего отца: «Annae Comnenae Alexiadis libri XV». — *Герцогъ Леопольдъ Брауншвейгскій* братъ герцогини Амаліи Веймарской, погибъ въ 1785 году, спасая утопающихъ, во Франкфуртѣ-на-Одерѣ.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *А. Г. Горнфельдъ*. Переведено для настоящаго изданія.

О ВОЗВЫШЕННОМЪ.

Написано, вѣроятно, послѣ 1795 г. и представляетъ собою разсужденіе объ «энергичной» красотѣ, обѣщанное въ концѣ шестнадцатаго «Письма объ эстетическомъ воспитаніи» (стр. 319).

Стр. 360. *Еврей Натанъ* — въ «Натанѣ Мудромъ» Лессинга (актъ I, явленіе 3).

Стр. 364. *Храбраго сына Улисса*—Телемака см. въ словарѣ).

Стр. 365. *Великой природой Оссіана*—см. примѣч. къ стр. 376. – *Батавія* — латинское названіе Голландіи. *Фокіонъ* см. примѣч. къ стр. 508.

Стр. 367. *Тщетная борьба Митридата* царя понтійскаго (132—63 г. до Р. Хр.) съ Римомъ.— *Гибель Сиракузъ и Карѳагена*—городовъ, также взятыхъ и разграбленныхъ войсками побѣдоносной римской республики.

Русскіе переводы.

1. *А. Востоковъ.* (Шиллерово разсужденіе о высокомъ; въ «Санктпетерб. Вѣстникѣ» 1812. ч. III).
2. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
3. *Э. Л. Радловъ* Переведено для настоящаго изданія.

НАИВНАЯ И СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗІЯ.

Уже въ февралѣ 1793 г. въ большомъ письмѣ къ Кернеру Шиллеръ задавалъ вопросъ: «Почему наивное прекрасно?» Около этого времени и начата была первая часть разсужденія, которая появилась въ «Горахъ» 1795 г. подъ заглавіемъ «О наивномъ». Продолженіе было озаглавлено: «Сентиментальные поэты», а конецъ («Die Horen», 1796 г.) «Заключеніе разсужденія о наивной и сентиментальной поэзіи съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ замѣчаній относительно одного характеристическаго различія между людьми». Неоднократно было указано, что главная мысль статьи навѣяна на автора его близостью съ Гете.

Стр. 369. *Чувствительныхъ путешествій*: намекъ на извѣстное въ свое время «Чувствительное путешествіе Іорика по Франціи и Италіи» (1765) англійскаго юмориста Стерна (1713—1768).

Стр. 372. *Исторія папы Андріана*, учителя Карла V, бывшаго папой въ 1521—1523 г., *разсказанная Шрекомъ* — въ его обширной «Cristliche Kirchengeschichte» (1768—1803).

Стр. 374. Изъ многочисленныхъ именъ выдающихся людей, названныхъ здѣсь, менѣе извѣстны и потому требуютъ объясненія: *Фильдингъ* Генри — англійскій романистъ (1707—1754), *Герцогъ Мальборо* Джонъ Черчилль—выдающійся англійскій полководецъ и государственный дѣятель (1650—1722), *Тюреннъ* — геніальный французскій полководецъ XVII вѣка, *Вандомъ* Луи Жозефъ (1654—1712) – ученикъ Тюренна, выдающійся французскій полководецъ.

Стр. 376. *Оссіанъ* - древній кельтскій витязь и пѣвецъ (около 500 г. по Р. Хр.), баллады котораго, изданныя (или поддѣланныя) шотландцемъ Макферсономъ (1772 г.) пользовались большимъ успѣхомъ у современниковъ Шиллера.—*Божественный свинопасъ* въ XIV книгѣ «Одиссеи».—*Молодой Вертеръ*—во 2 книгѣ знаменитаго романа Гете «Werthers Leiden».

Стр. 377. *Тибуръ*—любимое дачное мѣстопребываніе древне-римской знати, теперь Тиволи. *Томы* въ древности скиѳскій городъ на сѣверо-западномъ берегу Чернаго моря; сюда былъ сосланъ знаменитый римскій поэтъ Овидій (43 г. до Р. Хр.— 17 г. по Р. Хр.).

Стр. 378. *Аріостъ* — Лодовико Ariosto, знаменитый итальянскій поэтъ (1474—1533), героя котораго, Феррау, Винальдо, Андреника, упоминаются ниже.

Стр. 379. *Поэтъ, сказалъ я* и т. д. Здѣсь начинается отдѣлъ «О сентиментальномъ поэтѣ».

Стр. 380. *Служанка Мольера резонерствуетъ* и т. д. Мольеръ обыкновенно спрашивалъ у своей экономки мнѣнія о своихъ пьесахъ. *Въ нашихъ критическихъ библіотекахъ* и т. д. Это все намеки на изданія, гдѣ подвизались противники Шиллера: «Новую библіотеку» Манзо и Дика, «Анналы философіи» Вольфа, «Путешествіе по Германіи» Николаи.

Стр. 384. *Лукіанъ* - греко-сирійскій писатель (ок. 165 г. по Р. Хр.) осмѣиваетъ въ своихъ «*Желаніяхъ*» склонность къ желаніямъ, въ «*Лапиѳахъ*» — отдѣльныя философскія школы, въ «*Юпитерѣ Трагедіи*» вѣру въ боговъ; «Нигринъ» — изображеніе нравственнаго паденія тогдашняго Рима, въ «*Тимонѣ*» изображена низость прихлебателя, въ «*Александрѣ*» — жизнь религіознаго обманщика. — *Аристофанъ глумится надъ Сократомъ*: извѣстно, что знаменитый комическій писатель древней Греціи (V—IV в. до Р. Хр.) смѣялся въ своихъ «Облакахъ» надъ великимъ философомъ. — *Лукіанъ въ своемъ «Діогенѣ»*. Это не произведеніе, а любимый герой Лукіана, выражающій въ его «Разговорахъ мертвыхъ» благородныя воззрѣнія на жизнь. Равнымъ образомъ и *Демонаксъ*—стоикъ, возвеличенный въ жизнеописаніи, приписываемомъ Лукіану.— *Томъ Джонсъ и Софія* — герои романовъ Фильдинга (см. прим. къ стр. 374). — *Насмѣшникъ Іорикъ* — такъ называлъ себя англійскій юмористъ Стернъ. *Часто въ своемъ «Ingénu»* и т. д. Вольтеръ (1694—1778) въ своемъ романѣ «L'ingénu» (1767) нападаетъ на церковное христіанство, въ разсказѣ «Candide» (1758) онъ представляетъ высшимъ счастіемъ - скромное трудовое существованіе. — *Если поэтъ противополагаетъ природу искусству* и т. д.; начало отдѣла объ элегической поэзіи.

Стр. 385. *Томсонъ* — англійскій поэтъ, ум. въ 1748 г., авторъ описательной поэмы «The Seasons» (Времена года). – *У Эвксина* - на берегу Чернаго моря (см. прим. къ стр. 377).

Стр. 386. *Въ Юліи*: въ романѣ Руссо «Julie ou la nouvelle Héloise (1760).—*Галлеръ* Альбрехтъ — швейцарскій поэтъ-естествоиспытатель (1708—1777). Стихотвореніе, цитируемое здѣсь Шиллеромъ, называется «Trauero debeim Absterben seiner geliebten Marianne» (1777). — *Клейстъ* Генрихъ Вильгельмъ (1777—1811) извѣстный нѣмецкій поэтъ.

Стр. 388. *Циссидъ или Пахесъ*: эпическая поэма Галлера «Cissides und Paches (1758) *Сенека*: его же «проектъ трагедіи» (1758). — *Томсонъ* — см. прим. къ стр. 385. — *Его Іуда, его Пилатъ, его Филонъ, его Соломонъ* - герои произведеній Клопштока.—*Юнгъ* извѣстный нѣмецкій писатель-піетистъ Генрихъ Jung-*Stilling* (1740—1817), имѣвшій значеніе и въ русской духовной жизни Александровской эпохи.

Стр. 389. *Не лишнее упомянуть о заслугахъ Уца* и т. д Здѣсь Шиллеръ имѣетъ въ виду слѣдующихъ нѣмецкихъ поэтовъ: Іоганнъ Петръ *Uz* (1720—1796) представитель анакреонтической школы; подъ вліяніемъ его «Теодицеи» Шиллеръ замышлялъ подобное же стихотвореніе. – Михаилъ *Denis* (1729—1800) подъ вліяніемъ Клопштока написалъ «Пѣсни барда Синеда».—Швейцарецъ Соломонъ *Gessner* (1730—1787) извѣстенъ своими идиллиями. Георгъ *Jacobi* (1740—1781) – подобно Уцу—«анакреонтикъ». Генрихъ Вильгельмъ *Gerstenberg* (1737—1823) имѣлъ вліяніе на поэтовъ «бури и натиска» своей трагедіей «Уголино». – Христоферъ *Hölty* (1748—1776) — даровитый представитель элегической лирики.—Фридрихъ *Göcking* (1748 — 1807) написалъ «Poetische Episteln» и «Sinngedichte».

Стр. 390. *«Зигвартъ» и его «Монастырская исторія»:* романъ Іоганна Мартина Миллера »Siegwart. Eine Klostergeschichte» (1777). - *«Путешествіе въ полуденную Францію»*: «Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich in Jahre 1758—1786»), Морица Августа Тюммеля (ум. въ 1817 г.). *Аделунгъ*—составитель извѣстнаго нѣмецкаго толковаго словаря (1793), послѣдній выдающійся представитель «законодательной» грамматики, уступившей мѣсто исторической грамматикѣ Гримма - *Блумауэръ* Алоизъ (1755—1798) — извѣстный авторъ нѣмецкой «Травестированной Энеиды», нашедшей у насъ подражателей въ лицѣ Осипова и Котляревскаго.

Стр. 392. *«Ардингелло»*—опечатка, надо Ардингелло: «Ardinghello und die glücklichen Inseln» романъ Вильгельма Гейнзе (1749—1803), гдѣ изображеніе вакхически чувственныхъ похожденій героя смѣшивается съ бесѣдами объ искусствѣ. *Нѣмецкаго Овидія* — Фридриха Манзо (1759—1826), автора дидактической поэмы «Die Kunst zu lieben» 1791) — подражанія «Ars amandi» Овидія. — *Кребильонъ* - не Клодъ Prosper Crébillon, извѣстный французскій писатель (1674—1762), но сынъ его Клодъ (1707 - 1770) авторъ нескромныхъ романовъ.— *Мармонтель* Жанъ Франсуа Marmontel (1723 - 1790) авторъ «Моральныхъ разсказовъ». *Лакло* французскій писатель Choderlos de Laclos (ум. въ 1803 г.), авторъ знаменитыхъ Liaisons dangereuses».— *Нѣмецкій Проперцій* — Гете, названный такъ за его «Римскія элегіи». *Безсмертный авторъ «Агатона», «Оберона» и др.* — Виландъ (1733 - 1813).

Стр. 394. *Аминтъ или Давнисъ»*, «Amyntas»— небольшое стихотвореніе Клейста. «Daphnis» — идиллія Гесснера.

Стр. 395. *Фоссъ* Іоганнъ Генрихъ—извѣстный нѣмецкій поэтъ въ идиллическомъ родѣ («Idyllen» 1800) и переводчикъ (1751—1826).

Стр. 398. *Саконтала* извѣстная индійская драма Калидасы (III в. по Р. Хр.)

Стр. 399. *Бодмеръ* Іоганнъ Георгъ — заслуженный нѣмецкій критикъ (1698—1783), авторъ совершенно незначительныхъ эпическихъ поэмъ на ветхозавѣтныя темы. - *Плавтъ*—Maccius Plautus, римскій. поэтъ, ум. въ 184 г. до Р. Хр. *Реньяръ* - Жанъ Франсуа Regnard (1655—1709) французскій драматургъ, ученикъ Мольера. *Гольдони* Карло — итальянскій драматургъ (1707 1793), авторъ легкихъ комедій. *Гольбергъ* Людвигъ — «отецъ датской литературы», авторъ «замѣчательныхъ комедій» (1681—1754), доставившихъ ему славу «датскаго Мольера».—*Шлегель* Іоганнъ Эліасъ—нѣмецкій драматургъ (1718—1749). *Геллертъ* Христіанъ Фюрхтеготтъ—нѣмецкій сатирикъ (1715 1769). *Рабенеръ* Готлибъ Вильгельмъ — нѣмецкій сатирикъ (1714 - 1771).—*Музы на Илейссѣ* лейпцигскіе поэты (ср. «Рѣки» въ т. I, стр. 420).—*Камены на Рейнѣ*—опечатка вмѣсто на Лейнѣ и *Эльбѣ*—поэты геттингенскіе и гамбургскіе (въ Гамбургѣ выходилъ Фоссовъ «Альманахъ музъ»). *Зальцманнъ* Христіанъ Готтильфъ извѣстный нѣмецкій педагогъ и авторъ романа «Karl von Karlsberg oder über das menschliche Elend» («Горе людское»), 1786 г., 6 т — *Какое нибудь толстое чучело* намекъ на романъ Николаи «Geschichte eines dicken Mann» (1794).

Стр. 401. *Не ложь было чувство Элоизы къ Абеляру* и т. д. Элоиза была возлюбленная французскаго философа и богослова Абеляра (ум. въ 1142 г.). *Лаура*, воспѣтая въ сонетахъ Петрарки, возлюбленная великаго итальянскаго поэта-гуманиста. *Сенъ Пре* возлюбленный *Юліи* («Новой Элоизы» романа Руссо). *Лота*—героиня «Страданій молодого Вертера» Гете. *Агатонъ, Фаній* (въ Музаріонѣ»), *Периринъ Протей* - герои произведеній Виланда.

Русскіе переводы.

М. М. Достоевскій, въ «Отеч. зап.» 1850 г., т. LXVIII, LXIX и въ изд. Гербеля. Въ настоящемъ изданіи помѣщено съ исправленіемъ неточностей и съ дополненіемъ многихъ опущенныхъ переводчикомъ мѣстъ. Дополненія принадлежатъ г-жѣ *М. А. Энштейнъ* († 1901).

О ГРАЦІИ И ДОСТОИНСТВѢ.

Появилось въ «Новой Таліи» 1793 г. съ посвященіемъ епископу К. фонъ Дальбергу въ Эрфуртѣ и съ эпиграфомъ изъ Мильтона: «То, что ты видишь здѣсь, благородный духъ, это—ты самъ .

Стр. 411. *Гнидская богиня* Венера.

Стр. 417. *Гоме*—англійскій писатель Home—моралистъ и эстетикъ (1696 - 1782). Его «Elements of criticism» (въ текстѣ названъ нѣмецк. переводъ) оказали вліяніе на эстетическія воззрѣнія Шиллера.

Стр. 418. *Мендельсонъ Моисей*—извѣстный нѣмецкій философъ (1729—1786). Мысль, приводимая здѣсь, высказана имъ, какъ указано Шиллеромъ, въ пропущенномъ примѣчаніи, въ «Philosoph. Schriften», (1761 г., т. I, стр. 93).

Стр. 419. *Fausses gorges*—искусственная грудь.

Стр. 420. Слова *пренебреженіе съ которымъ я говорю* и т. д. до конца абзаца должны быть перенесены въ конецъ примѣчанія, напечатаннаго на той же страницѣ. *Разъяреннаго гвельфа:* въ подлинникѣ «Гвельфо» изъ трагедіи Клингера »Die Zwillinge (1774).

Стр. 428. *То, что мы разумѣемъ подъ прекрасной душой;* это послѣднее выраженіе (перешедшее впослѣдствіи и въ нашу этико-философскую терминологію) заимствовано у Платона (ψυχὴ καλὴ. у Руссо belle âme) было распространено въ XVIII вѣкѣ благодаря піетистской литературѣ и служило для обозначенія нѣжной, женственной воспріимчивости.

Стр. 430. *Рейнгольдъ* Карлъ Леонардъ философъ кантіанецъ (1758—1823); его «Briefe über die kantische Philosophie» вышли въ 1790 г.

Стр. 435. *Божественная фигура Ніобеи* въ античномъ изваніи въ флорентинскомъ хранилищѣ Уффици. *Аполлонъ бельведерскій* въ римскомъ Ватиканѣ.

Стр. 436. *Муза паллаццо Барберини* статуя, хранящаяся въ римскомъ дворцѣ княжескаго рода Барберини. *Боргезскій крылатый геній* на виллѣ Боргезе въ Римѣ. *Лейкотея* въ греч. миѳол. морская богиня (иначе Ино).

Стр. 438. *Солиманъ* и *Рокселана*: въ драмѣ Фанора «Солиманъ II», упоминаемый въ «Гамбургской драматургіи» Лессинга.

Русскіе переводы.

Этотъ знаменитый трактатъ Шиллера до сихъ поръ не былъ переведенъ на русскій языкъ. Для настоящаго изданія переведенъ *Зин. Ав. Венгеровой.*

МЫСЛИ ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ПОШЛАГО И НИЗКАГО ВЪ ИСКУССТВѢ.

Написано, вѣроятно, въ 1793 г., появилось лишь въ «Мелкихъ прозаическихъ статьяхъ» (1802).

Стр. 422. *Преступленіе изъ честолюбія* — драма Иффланда (1759 -1814). *Здѣсь понапрасну обвиняютъ* и т. д. Рѣчь идетъ о комедіи Людвига Шредера (1744 18!6) «Der Fähndrich».

Стр. 443. *Эпиктетъ*—стоическій философъ, рабъ римлянина Эпафродита (100 г. по Р. Хр.), согласно своему ученію «Терпи и воздерживайся», покорно сносившій жестокое обращеніе своего господина.

Русскіе переводы.

1. *А. Бенитцкій.* Мысли объ употребленіи въ искусствѣ обыкновеннаго и низкаго. «Цвѣтникъ» 1810. № 1.
2. Шиллеровы мысли о томъ, что низко и обыкновенно въ изящныхъ искусствахъ. Переводъ *В. Измайлова.* «Вѣстн. Европы» 1813, ч. LXVIII и переводы въ прозѣ Владиміра Измайлова (Спб. 1819).
3. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
4. *А. Г. Горнфельдъ.* Переведено для настоящаго изданія.

ОБЪ «ЭГМОНТѢ» ТРАГЕДІИ ГЕТЕ.

Рецензія появилась въ «Allgemeine Litteratur-Zeitung» 20 сентября 1788 года. Черезъ мѣсяцъ Шиллеръ писалъ Кернеру: «Моя рецензія объ Эгмонтѣ» надѣлала много шуму въ Іенѣ и Веймарѣ... Гете говорилъ о ней съ большимъ уваженіемъ и удовлетвореніемъ».

Стр. 441. *Нашъ авторъ «Геца»*—Гете.

Стр. 443. *Къ своей Габріэли* извѣстная возлюбленная Генриха IV. Gabrielle d'Estrées.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ БЮРГЕРА.

Рецензія появилась въ «Allgemeine Litteratur-Zeitung» 15 января 1794 года. Бюргеръ отвѣчалъ на нее обширной «Антикритикой», за которой послѣдовала «Защита» Шиллера.

Стр. 453. *«Heautoutimorumenos» Теренція* – «Самобичующійся», комедія римскаго поэта Terentius Varro» (200—149 г. до Р. Хр.).

Стр. 454. *Sublimi feriam sidera vertice.* – «Вознесенной головою коснусь звѣздъ» заключительный стихъ первой оды Горація; это не «правило», какъ передано въ переводѣ, а самовосхваленіе.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ «ИСТОРІИ МАЛЬТІЙСКАГО ОРДЕНА ВЕРТО.

«Histoire des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem» аббата Верто (1655—1735) вышла въ 1726 г. (4 т.). Подъ иниціалами М. Н., съ которыми вышла въ 1792 г. нѣмецкая обработка книги Верто съ предисловіемъ Шиллера, скрывался М. Нитгаммеръ. Нѣсколько позднѣе работа Верто была издана по русски Лабзинымъ (вмѣстѣ съ Вахрушевымъ, Спб. 1799—1801, безъ упоминанія о дѣйствительномъ авторѣ). Лабзинъ, еще ранѣе возведенный новымъ гроссмейстеромъ ордена императоромъ Павломъ въ званіе, нѣкогда принадлежавшее Верто, «исторіографа Мальтійскаго ордена», былъ щедро награжденъ за эту работу. Разнообразные литературные отголоски знакомства Шиллера съ исторіей ордена отмѣчены нами своевременно. Собственныя имена, упоминаемыя въ предисловіи, объяснены въ словарѣ.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

О СТИХОТВОРЕНІЯХЪ МАТТИССОНА.

Статья о «Стихотвореніяхъ» (1787) Фридриха Матиссона, второстепеннаго нѣмецкаго поэта (1761—1831) появилась въ «Allgemeine Litteratur-Zeitung» въ 1794 году.

Стр. 459. *Клодъ Лоррэнъ* извѣстный французскій пейзажистъ (1600—1682) Claude Gelle, родомъ изъ Лотарингіи (Lorrain).

Стр. 465. *Роданъ* Рона.

Стр. 466. *Кларанъ* и *Мильери* – два мѣстечка на берегу Женевскаго озера.

Стр. 468. *Побѣдитель Пивона* — Аполлонъ, убившій этого змѣя, охранявшаго Дельфійское святилище.—*Въ кругу Ѳессалійскихъ дѣвъ*—гдѣ скрывали юношу Ахилла и гдѣ нашелъ его хитрый Одиссей, скрывшійся подъ видомъ бродячаго купца: когда онъ раскрылъ свои товары, всѣ дѣвушки бросились къ нарядамъ, а юный богатырь, скрытый въ дѣвичьемъ платьѣ, схватилъ оружіе.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

О „САДОВОМЪ КАЛЕНДАРѢ 1795 Г.".

Рецензія напечатана въ «Allgemeine Litteratur-Zeitung» за 1794 г.

Стр. 468. *Гиршфельдъ* Христіанъ Лоренцъ, нѣмецкій ученый садоводъ (1742—1792), авторъ извѣстной «Theorie der Gartenkunst».

Стр. 470. *Гогенгеймъ* — замокъ герцоговъ вюртембергскихъ съ знаменитыми садами и паркомъ, воздвигнутый въ 1782 г. Карломъ Евгеніемъ.

Русскіе переводы.

1. *Анонимъ*, въ изд. Гербеля.
2. *Всеволодъ Чешихинъ.* Переведено для настоящаго изданія.

ОПЫТЪ ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВОПРОСА О ЖИВОТНОЙ И ДУХОВНОЙ ПРИРОДѢ ЧЕЛОВѢКА.

Стр. 476. Цитата изъ Овидія: «Метаморфозы» I 78 и слѣд: «Родился человѣкъ, все равно, создалъ ли его Творецъ изъ небеснаго сѣмени, какъ начало болѣе благороднаго міра, или, быть можетъ, сама земля таила въ себѣ это небесное сѣмя. Склоненными къ землѣ, блуждаютъ другія породы. Только человѣкъ смотритъ ввысь, прямо на небо, гордо приподнятымъ взоромъ, обращеннымъ на вѣчныя звѣзды».

Стр. 480. Цитата изъ стихотворенія Галлера «Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben»:

«Unselig Mittelding von Engel und von Vieh,
Du prahlst mit der Vernunft, und du gebrauchst sie nie».

т. е. несчастное среднее существо между ангеломъ и скотомъ, ты хвастаешь своимъ умомъ и никогда имъ не пользуешься.

Стр. 481. Въ трагедіи Герценберга, слова Уголино къ своему сыну Ансельму, который, мучимый ужаснымъ голодомъ, съ жадностью бросается на трупъ матери.

Стр. 484. *Піеръ-Ліонэ*, знаменитый естествоиспытатель, умеръ въ 1789 г. въ Гаагѣ.

Стр. 484. Fluctibus ignotis insultovere carinae — «Метаморфозы» Овидія I, 134: «По невѣдомымъ волнамъ понеслись корабли».

Стр. 484. Latet sub classibus aequor»—море скрыто подъ флотами. «Энеида» Виргилія IV, 582.

Стр. 485. *Янъ Шваммердамъ* (1637—80), знаменитый голландскій естествоиспытатель.

Стр. 485. *Томасъ Сиденамъ* (1637—80), знаменитый англійскій врачъ.

Стр. 486. *Рубіи*. Похожее на кустъ растеніе, прежде употреблявшееся часто, какъ промывательное средство.

Стр. 487. *Я бы желалъ*, говоритъ Цезарь — цитата изъ Шекспира, «Юлій Цезарь», 1, 2; переводъ Д. Л. Михаловскаго.

Стр. 487. *Гонимому страхомъ Ричарду*. Шекспиръ.—«Ричардъ III», дѣйствіе V, сцена 3.

Стр. 484. Ссылка на трагедію никогда не существовавшаго *Krake'a* есть шалость, Шиллеръ цитируетъ самого себя—(5 дѣйствіе «Разбойниковъ», сцена между Францемъ Мооромъ и Даніелемъ). «Разбойники» были уже тогда написаны Шиллеромъ и читаны нѣкоторымъ товарищамъ, но учебное начальство ничего еще не знало о «возмутительной» пьесѣ.

Стр. 487. *Монахъ Мартинъ*—Въ первомъ дѣйствіи Гетевскаго «Геца».

Стр. 489. *И бандитъ сказавшій*. Шиллеръ опять цитируетъ самого себя «Разбойники», II, 3.

Стр. 490. *Умирающій епископъ Винчестерскій* Кардиналъ Бофоръ, епископъ Винчестерскій въ Шекспировской драмѣ «Генрихъ VI. Вторая часть», III, 8.

Стр. 490. *The Soul* и т. д. Іосифъ Адисонъ, въ своей трагедіи «Катонъ», V, I.

«Душа, увѣренная въ своемъ существованіи, смѣется надъ угрожающимъ ей кинжаломъ и противится его клинку; звѣзды погаснутъ, даже солнце померкнетъ отъ старости и природа умретъ; но ты будешь процвѣтать, безсмертная, юная и невредимая, среди борьбы стихій, среди крушенія природы и низверженія міровъ».

Стр. 491. *Не будучи приверженцемъ Сталя*. Сталь выводилъ всѣ движенія тѣла изъ души.

Стр. 493. *Теперь онъ до женъ былъ* и т. д.—стихъ изъ Клопштока, «Мессіада IV, 271.

Стр. 494. Шекспиръ, «Макбетъ» II, 2, переводъ А. Кронеберга.

Русскіе переводы.

Этотъ трактатъ не появлялся до сихъ поръ на русскомъ языкѣ. Для настоящаго изданія переведенъ *Ю. М. Антоновскимъ*.

Историчеекій объяснительный словарь къ художественнымъ произведеніямъ Шиллера.

Примѣч. Свѣдѣнія о главныхъ дѣйствующихъ лицахъ историческихъ трагедій Шиллера — Маріи Стюартъ, Елизаветѣ англійской, Донъ-Карлосѣ, Филиппѣ II и др. См. въ предисловіяхъ къ отдѣльнымъ драмахъ и примѣчаніяхъ къ нимъ. При справкахъ о дѣятеляхъ 30 лѣтней войны и возстанія Нидерландовъ слѣдуетъ всегда обращать и къ историческимъ сочиненіямъ самого Шиллера — «Исторіи отпаденія Нидерландовъ» «Исторіи тридцатилѣтней войны».

Аббадона («Разбойники», т. I, стр. 228) – раскаявшійся демонъ въ «Мессіадѣ» Клопштока.

Абдера (Предисловіе автора къ «Разбойникамъ», т. I, стр. 188)—греческій городъ во Оракіи, жители котораго были извѣстны своей глупостью – вродѣ русскихъ «пошехонцевъ».

Абидосъ («Геро и Леандръ», т. I, стр. 134)—городъ въ Малой Азіи, на самомъ узкомъ мѣстѣ Геллеспонта (Дарданельскаго пролива).

Авернъ—озеро въ южной Италіи, окруженное высокими лѣсистыми горами и выдѣляющее сѣрныя испаренія, благодаря чему оно было въ древности посвящено подземнымъ богамъ. Здѣсь былъ оракулъ, и отсюда, по преданію, Гомеръ спускался въ адъ. Поэтому въ «Художникахъ» (т. I, стр. 39) – «океанъ Аверна роковой» (въ подлинникѣ черный).

Авессаломъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223) —сынъ царя Давида, возставшій противъ отца и разбитый; во время бѣгства послѣ пораженія Авессаломъ, мчась на мулѣ по лѣсу, зацѣпился своими длинными волосами за вѣтку дуба, повисъ на ней и былъ убитъ.

Аврора—въ римск. миѳологіи—заря, см. Эосъ.

Агамемнонъ - въ греч. миѳологіи царь Микенскій, предводитель грековъ въ Троянской войнѣ, супругъ вѣроломной Клитемнестры, которая убила его вмѣстѣ съ своимъ возлюбленнымъ Эгистомъ (см. Орестъ).

Агеноръ—въ греч. миѳолог. - отецъ Кадма и Европы, дѣдъ Семелы.

Агнесса («Вильгельмъ Телль» т. III,стр. 146)—дочь убитаго Альбрехта I (см.), королева венгерская, извѣстная необычайной свирѣпостью, съ которой она мстила за убійство своего отца.

Адметъ («Боги Греціи», т. I, стр. 34) - въ греч. миѳологіи – царь Феры въ Ѳессаліи; любимецъ Аполлона, служившаго у него въ пастухахъ (Иліада, II, 715, 763), онъ получилъ отъ своего божественнаго покровителя безсмертіе при условіи, что, когда приблизится его естественный конецъ, за него добровольно умретъ другой. Эту жертву принесла за него его жена Альцеста, но Геркулесъ отнялъ ее у бога смерти и освободилъ изъ подземнаго міра. Чтобы добыть себѣ въ жены Альцесту, Адметъ долженъ былъ впречь въ колесницу льва и вепря, на что намекъ въ стих. «Геро и Леандръ», т. I, стр. 135, строфа 4: «Любовь... звѣрей смиряетъ».

Адрамелехъ (Предисловіе автора къ «Разбойникамъ», т. I, стр. 188)—въ эпопеѣ Клопштока «Мессіада» одинъ изъ дьяволовъ, соратниковъ Сатаны.

Адонисъ - въ греч. миѳологіи—сынъ царя кипрскаго Кинира, возлюбленный Венеры, убитый вепремъ по козняхъ ревниваго Марса. Венера поспѣшила на помощь, но опоздала и могла лишь оплакивать возлюбленнаго. На это намекъ въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 32):

«А съ того холма вотще Цитера
«Друга нѣжнаго звала».

И въ «Неніи» (т. I, стр. 125): «Не уладить Афродитѣ прекраснаго юноши рану» и т. д.

Азинкуръ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 490) — городокъ на сѣверѣ Франціи, гдѣ Генрихъ V англійскій одержалъ въ 1415 г. блестящую побѣду надъ французами.

Аидъ («Одиссей», т. I, стр. 45, «Жалоба Цереры», т. I, стр. 73)—см. Плутонъ; вслѣдъ за богомъ это имя носитъ и его обиталище.

Акконъ (въ стих. «Іоанниты», т. I, стр. 49) - иначе Акка или Акко—городъ у мыса Кармель въ Палестинѣ, называвшійся во время крестовыхъ походовъ Птолемаида, затѣмъ у французовъ – Сенъ-Жанъ д'Аркъ. Это было послѣднее владѣніе христіанъ въ Палестинѣ, котораго они лишились въ 1291 году, когда Іоанниты (см.) были изгнаны отсюда мусульманами.

Акрокоринеъ («Ивиковы журавли», т. I, стр. 106) – см. Коринеъ.

Аксенбергъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 129) – гора на восточномъ берегу Урнскаго озера, составляющаго часть Фирвальдштетскаго.

Аксенъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 130) Большой и Малый - два скалистыхъ отрога Аксенберга, выступающихъ въ Фирвальдштетское озеро.

Алжирцы («Мальтійцы», т. III, стр. 246) – жители Алжира на сѣверномъ побережьи Африки, извѣстные своими морскими разбоями, прекращенными лишь въ 1832 году. Султанъ Солиманъ, устроивъ по Африканскому берегу рядъ разбойничьихъ государствъ, далъ алжирскому бею званіе начальника турецкаго флота, при помощи котораго былъ завоеванъ Тунисъ и осаждена Мальта

Алтоумъ («Турандотъ», т. III). Въ 1210 г. на престолъ сѣвернаго Китая вступилъ Алтунъ-ханъ, седьмой властелинъ изъ такъ называемой золотой династіи. Его именемъ, очевидно, и воспользовался поэтъ.

Алба («Донъ Карлосъ»), герцогъ Фердинандъ Альварецъ де Толедо (1508—1582), знаменитый испанскій полководецъ и государственный человѣкъ, оставившій по себѣ въ исторіи неизгладимое и страшное воспоминаніе безчеловѣчнымъ намѣстничествомъ въ Нидерландахъ (1567) – 1573). Не только не умиротворивъ покоренную страну, но добившись своей кровавой расправой отпаденія Нидерландовъ, онъ возвратился на родину, гдѣ подъ конецъ жизни оказалъ своему королю великую услугу завоеваніемъ Португаліи.

Альбіонъ («Непобѣдимый флотъ»), т. I, стр. 31) — старинное—теперь сохранившееся лишь въ поэзіи – названіе Великобританіи, быть можетъ отъ бѣлыхъ мѣловыхъ скалъ южнаго побережья Англіи (albus - бѣлый).

Альбрехтъ I («Вильгельмъ Телль», т. III) - герцогъ австрійскій и императоръ германскій (1298—1308), сынъ Рудольфа Габсбургскаго, изъ за своей жадности убитый своимъ племянникомъ Іоанномъ Парриципой (см.).

Алькана («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 91), городъ въ Новой Кастиліи (Испаніи); въ концѣ XV в. здѣсь основанъ университетъ.

Альтдорфъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 222) городъ недалеко отъ Нюрнберга; здѣсь въ университетѣ учился Валленштейнъ, занимаясь не столько наукой, сколько

разгуломъ; въ документахъ университета сохранились подлинныя свѣдѣнія о его неистовствахъ вплоть до убійства. Но исторія о наименованіи карцера—поэтическая выдумка; Hundsloch—зовется въ Германіи всякій университетскій карцеръ.

Альтенбергъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 332)—гора подъ Нюрнбергомъ, на которой утвердились шведы, осаждая городъ въ 1631—1632 г.

Альторфъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 89)—или Ури—главный городъ кантона Ури у впаденія Рейсса въ Фирвальдштетское озеро у подножья «заповѣдной» горы, лѣса которой хранятъ его отъ лавинъ; много мѣстъ здѣсь связано преданіемъ съ Вильгельмомъ Теллемъ. Ср. виды Альторфа въ т. III, стр. 72, 76, 77 и 78. Не смѣшивать съ Альтдорфомъ (см. это слово).

Альтрингеръ («Валленштейнъ»), графъ Іоганнъ von Aldringen, происходилъ изъ низшаго сословія, служилъ рядовымъ, быстро шелъ впередъ, возведенъ въ графское достоинство и самимъ Валленштейномъ назначенъ главнокомандующимъ надъ всѣми войсками, расположенными въ имперіи; одинъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей паденія герцога.

Альцельнъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 82)—деревенька въ Унтервальденѣ, между Станцомъ и Энгельбергомъ, приблизительно въ двухъ миляхъ на югъ отъ озера.

Альцеста—см. Адметъ.

Амальѳея, чаще Амальтея—коза, кормившая своимъ молокомъ младенца Зевса, который за это помѣстилъ ее среди звѣздъ и кромѣ того сообщилъ отломанному у нея рогу чудное свойство давать все, что ни пожелаетъ его владѣлецъ. На этотъ «рогъ изобилія» намекъ въ стих. «Прогулка» (т. I, стр. 63).

Аматузія («Боги Греціи», стр. 32)—Афродита (см.), которую особенно чтили въ городѣ Аматунтѣ, на островѣ Кипрѣ.

Аматунта («Боги Греціи», т. I, стр. 32)—то же, что Аматузія (см.).

Амуръ или Аморъ—см. Эросъ.

Амфитрита—въ греч. миѳол.—жена Посейдона, океанида, мать Тритона. У поэтовъ царица и олицетвореніе моря.

Амьенъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 405)—городъ во Франціи, недалеко отъ побережья пролива Ламанша, отдѣляющаго Францію отъ Англіи.

Анакреонъ («Прогулка подъ липами», т. III, стр. 306)—знаменитый лирическій поэтъ древней Греціи, жизнерадостныя пѣсни котораго создали особый литературный жанръ «анакреонтической» поэзіи.

Андромаха—жена Гектора (см.), еще во время ранней ея молодости ея отецъ и семь братьевъ были убиты Ахилломъ.

Анжу, герцогъ Анжуйскій («Марія Стюартъ», т. II, стр. 395)—братъ французскаго короля Генриха III; ему было всего девятнадцать лѣтъ (ум. въ 1584 г.), когда онъ просилъ руки Елизаветы Англійской; былъ уже подписанъ предварительный договоръ, но бракъ не состоялся вслѣдствіе требованія королевы, чтобы герцогъ перешелъ въ англиканство.

Аннибалъ («Разбойники», т. I, стр. 196) вождь карѳагенянъ, непримиримый врагъ римлянъ (247—189 до Р. Х.), особенно тѣснившій ихъ во вторую пуническую войну.

Антиной («Заговоръ Фіеско», т. I, стр. 270)—прекрасный юноша, котораго императоръ римскій Адріанъ (117—138 г. по Р. Хр.) привезъ изъ Виѳиніи (въ Малой Азіи) и котораго такъ любилъ, что не могъ разстаться съ нимъ. Но тоска или безумная идея, будто онъ долженъ отдать свою жизнь богамъ для блага императора, побудили Антиноя броситься въ Нилъ. Неутѣшный Адріанъ создалъ особый культъ своего любимца, воздвигъ ему храмы, назвалъ его именемъ созвѣздіе и т. д. Красота Антиноя, воплощенная во многихъ древнихъ статуяхъ, представляетъ новый типъ мужской красоты античной пластики, не не «мужественной», какъ говорится въ «Фіеско», а скорѣе женственной.

Апеннины («Знаменитая женщина», т. I, стр. 35)—горная цѣпь, проходящая черезъ Италію съ сѣвера на югъ.

Аполлонъ—см. Фебъ.

Аполлоній Тіанскій («Духовидецъ»)—греческій философъ-мистикъ, живший около 50 года по Р. Хр.; въ позднѣйшемъ преданіи онъ сдѣлался волшебникомъ-чудотворцемъ, занявшимъ видное мѣсто въ магическихъ умствованіяхъ среднихъ вѣковъ.

Аппій Клавдій («Фіеско», т. I, стр. 282)—римскій децемвиръ, достигшій почти неограниченнаго господства надъ республикой (543 г. до Р. Хр.), пока его не погубило сластолюбіе. Увлекшись дочерью плебея Виргинія, онъ послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ соблазнить дѣвушку, заставилъ своего клеврета Клавдія захватить ее подъ тѣмъ предлогомъ, будто она—дочь одной рабыни Клавдія, выданная бездѣтной женой Виргинія за свою дочь. Вопреки показаніямъ свидѣтелей, Аппій Клавдій присудилъ дѣвушку Клавдію; тогда несчастный отецъ закололъ свою дочь. Гибель Виргиніи была послѣднимъ поводомъ къ свержению Аппія Клавдія, который покончилъ съ собою въ темницѣ самоубійствомъ.

Аравія (т. I, «Прогулка», стр. 63)—юго-западный полуостровъ Азіи, извѣстный своими пряностями и благовонными растеніями.

Аранжуэцъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 87)—правильнѣе Аранхуэцъ, городокъ на Тахо, прелестно расположенный и украшенный королевской виллой и садами.

Арахнея (по греч. *паукъ*), по Овидію, греческая дѣвушка, обращенная Аѳиной въ паука за то, что осмѣлилась состязаться съ богиней въ тканьѣ. Ткань Арахнеи—искусная тонкая ткань.

Арбеллы («Разбойники», т. I, стр. 232)—мѣстность въ Малой Азіи, гдѣ Александръ Македонскій одержалъ побѣду, рѣшившую его господство надъ Персидской монархіей.

Аргосъ («Семела», т. I, стр. 167)—главный городъ Арголиды. *Аргійцы*—обитатели этой страны.

Арденнъ («Орлеанская дѣва») или Арденнскій лѣсъ—гористая и лѣсистая область сѣверовосточной Франціи между Мозелемъ и Маасомъ.

Аресъ (у римл. Марсъ—въ греч. миѳол. богъ войны, сынъ Зевса и Геры.

Аристархъ («Знаменитая женщина», т. I, стр. 35)—извѣстный Александрійскій грамматикъ и комментаторъ Гомера, жившій около 150 г. до Р. Хр. и считающійся образцомъ строгаго и справедливаго критика.

Аристотель («Философы», т. I, стр. 91)—великій греческій философъ и естествоиспытатель (384—328 г. до Р. Хр.), своимъ положительнымъ методомъ оказавшій громадное вліяніе на дальнѣйшее развитіе науки.

Аріонъ («Боги Греціи», т. I, стр. 360)—знаменитый поэтъ древней Греціи, создатель формы дивирамба, уроженецъ Метимны на остр. Лесбосѣ, жившій около 600 года до Р. Хр.

Аркадія («Примиреніе», т. I, стр. 27, «Играющій мальчикъ», т. I, стр. 48) горная страна въ срединѣ Пелопоннеса въ Греціи, въ древности населенная пастухами. Обитателямъ ея древнія представленія приписывали блаженное, мирное, независимое существованіе; отсюда латинская пословица Et ego in Arcadia—и я въ Аркадіи родился, т. е. и я былъ предназначенъ для тихой счастливой жизни. Эти слова извѣстны были Шиллеру по надписи на картинѣ Шидона.

д'Аркъ («Орлеанская дѣва») Тибо въ дѣйствительности Жакъ Даркъ, отецъ Іоанны, былъ зажиточный и свободный крестьянинъ, имѣлъ отъ Елизаветы Ромэ трехъ сыновей и двухъ дочерей, изъ коихъ Іоанна—старшая.

Армида («Марія Стюартъ», т. II, стр. 424)—волшебница въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» Тассо; непреодолимо соблазнительная—подобно Цирцеѣ или Калипсо у

Гомера - она увлекаетъ молодого героя Ринальдо въ свой волшебный садъ, чтобы отвлечь его отъ исполненія долга.

Арнгеймъ («Валленштейнъ») Гансъ Георгъ—von Arnheim или Arnim—предводитель саксонскихъ войскъ въ тридцатилѣтнюю войну, раньше служилъ подъ начальствомъ Валленштейна. Его войска свирѣпствовали въ Богеміи послѣ побѣды Густава Адольфа при Лейпцигѣ.

Аррасъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 503) - главный городъ графства Артуа, принадлежавшаго Бургундіи, теперь во французскомъ департаментѣ Па-де-Кале.

Артемида см. Діана.

Артъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 131) – городокъ у подножья Риги, на южной оконечности Цугскаго озера.

Архимедъ—величайшій математикъ древности, род. въ Сиракузахъ въ 287 г. до Р. Хр. Обогативъ физику и математику множествомъ въ высшей степени важныхъ открытій, онъ умѣлъ также дать своимъ знаніямъ чисто практическое примѣненіе: когда во время второй пунической войны его родной городъ былъ въ 212 г. до Р. Хр. осажденъ римлянами, онъ усилилъ оборону города остроумно придуманными приборами; но городъ, несмотря на усилія мудраго старца, былъ взятъ, а Архимедъ убитъ римскимъ солдатомъ; извѣстно его предсмертное восклицаніе, указывающее на то, до какого самозабвенія онъ былъ увлеченъ своей работой: «Не трогай моихъ чертежей!» Другое извѣстное изреченіе Архимеда, которымъ онъ хотѣлъ охарактеризовать могучую силу рычага – «Дайте мнѣ точку опоры, и я переверну землю»—приведено Шиллеромъ въ стихотв. «Прозелитамъ» (т. I, стр. 50). Умѣя примѣнять свои знанія, Архимедъ, однако, – въ представленіи Шиллера – безконечно выше всякихъ полезныхъ примѣненій ставилъ самодовлѣющее, чисто теоретическое значеніе науки («Архимедъ и его ученикъ», т. I, стр. 69).

Астрахань («Турандотъ», т. III, стр. 174) - была столицей Астраханскаго царства, нѣкогда входившаго въ составъ Кипчакскаго ханства и, стало быть, обширной Монгольской монархіи.

Астрологія («Валленштейнъ»)—мнимая наука, учившая по положенію звѣздъ предсказывать будущее. Зачатки ея мы находимъ въ древнемъ Египтѣ, наибольшій расцвѣтъ въ средневѣковой Европѣ, особенно на переходѣ къ новому времени, когда на ряду съ такими ея противниками, какъ Савонарола, мы встрѣчаемъ и знаменитаго Нострадамуса; даже великій астрономъ Кеплеръ вѣрилъ въ постоянныя соотношенія между движеніемъ планетъ и судьбой человѣка. О способѣ предсказаній см. ст. Гороскопъ.

Атласъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 431, «Мессинская невѣста» т. III, стр. 31) – въ греч. миѳол.—сынъ титана Янета, возмутившійся вмѣстѣ съ прочими титанами противъ Зевса и зато присужденный на своихъ могучихъ плечахъ нести небосводъ. По другому преданію Атласъ, царь Мавританіи въ Африкѣ, обращенъ Персеемъ при помощи головы Медузы въ камень за то, что отказалъ ему въ гостепріимствѣ.

Атрей—въ греч. миѳол. — внукъ Тантала (см.) и сынъ Пелопса, отецъ Агамемнона (см.) и мужа Елены прекрасной, Менелая, которые поэтому зовутся Атридами.

Атриды («Художники», т. I, стр. 37) - см. Атрей.

Аттика («Семела», т. I, стр. 164)—восточная область средней Греціи, главнымъ городомъ которой была Аѳины.

Аттила (Валленштейнъ», т. II, стр. 298)—король гунновъ, «бичъ божій», опустошившій и приведшій въ содраганіе всю Европу (444 г.).

Аттингаузенъ (Вильгельмъ Телль») Вернеръ – швейцарскій дворянинъ, занимавшій значительное общественное положеніе въ кантонѣ Ури и отправленный лѣсными кантонами въ 1301 году посломъ къ императору Альбрехту I. Все, что сообщается о немъ въ пьесѣ — созданіе фантазіи Шиллера. Развалины его замка сохранились до сихъ поръ.

Ауто да фе («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 92) буквально по испански — актъ (приговоръ) вѣры – торжественное и публичное сожженіе еретика.

Афродита (у римлянъ — Венера) – въ греко-рим. миѳологіи — богиня любви. Дочь Зевса и морской богини Діоны, имя которой она сама носитъ иногда («Цѣты», т. I, стр. 16). Афродита (собственно, изъ пѣны рожденная») называется еще по мѣстамъ, гдѣ ее особенно чтили – Киприда («Художники», т. I, стр. 41), Анатулія («Боги Греціи», т. I, стр. 32). Цитера («Художники», т. I, стр. 40), Идалія и Уранія. Жена Вулкана, она родила Эрота отъ Марса и Энея отъ Анхиза. Богиня любви, она всегда покровительствуетъ влюбленнымъ («Элевзинскій праздникъ»; «Киприда обвиваетъ ихъ гирляндою цвѣтовъ», «Геро и Леандръ», стр. 134). Вмѣстѣ съ тѣмъ она — олицетвореніе красоты и прелести, въ высшемъ своемъ развитіи переходящей – по воззрѣнію Шиллера—въ истину. Это и имѣютъ въ виду стихи «Художниковъ» (стр. 41):

«Тогда для зрѣлаго ума
Предстанетъ ликъ Киприды снова,
Какъ ты, Уранія, сама».

«Золотая книга» (на подобіе livro d'oro итальянскихъ республикъ для записи знатныхъ родовъ), куда Афродита вноситъ имена прекрасныхъ женщинъ, приписана богинѣ Шиллеромъ («въ знаменитой женщинѣ», т. I, стр. 35).

Ахавъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223) седьмой король израильскій, правилъ отъ 918 по 897 г. до Р. Хр. въ Самаріи, пребывалъ въ грѣхахъ Іеровоама и служилъ Ваалу.

Ахенъ («Графъ Габсбургскій» т. I, стр. 147)—городъ въ Германіи, въ нынѣшней Рейнской провинціи. Любимое мѣстопребываніе Карла Великаго, который и погребенъ здѣсь въ основанномъ имъ монастырѣ; Ахенъ — исконное мѣсто коронованія нѣмецкихъ императоровъ.

Ахеронъ - въ греч. миѳологіи рѣка въ преисподней, на берегахъ которой души умершихъ ожидали Харона (см.) съ его челномъ.

Ахеяне или Ахейцы — обычное, особенно у Гомера, названіе древнихъ грековъ, отъ *Ахаіи*, сѣверной приморской области Пелопоннеса, гдѣ жило одно изъ четырехъ древне-греческихъ племенъ.

Ахиллъ (и Ахиллесъ)—сынъ Пелея, царя Ѳессаліи и богини Ѳетиды, часто называемый по отцу *Пелидъ* и по дѣду Эаку, отцу Пелея, также *Эакидъ* главный герой «Иліады» Гомера, предводитель мирмидонянъ, самый храбрый и красивый изъ всѣхъ греческихъ героевъ. Еще въ Авлидѣ онъ былъ обрученъ съ Ифигеніей, а подъ стѣнами Трои женился на Поликсенѣ. Еще ребенкомъ его погрузила мать въ волны Стикса, чтобы сдѣлать неуязвимымъ, но въ пятку, за которую держала его мать, попала, въ концѣ осады Трои, роковая стрѣла Париса, на что намекъ въ «Неніи» стр. 125): «Палъ у скейскихъ воротъ» и т. д.

Аяксы—въ греч. миѳол. два героя, участника Троянской войны: первый, сынъ Оилея (А. малый) и второй, сынъ Теламона, – спасъ греческіе корабли отъ поджога троянцевъ; побѣжденный въ спорѣ съ хитрымъ Одиссеемъ изъ за знаменитаго вооруженія павшаго Ахилла, лишилъ себя жизни («Торжество побѣдителей», стр. 149).

Аѳина (у римлянъ Минерва), также Паллада Аѳина – древне-греческая богиня, дочь Зевса, изъ головы котораго родилась въ полномъ вооруженіи и съ такимъ воинскимъ кличемъ, что Олимпъ содрогнулся, земля застонала, а колесница Солнца остановилась. Несмотря на свои воинскія наклонности, которыя она особенно проявила въ Троянской войнѣ, она, «грады губящая» въ «Торжествѣ побѣдит.», считается основательницей городовъ: въ стихотв. «Элевзинскій праздникъ» она

«Боговъ къ строенью града
Крѣпкостѣннаго зоветъ».

Въ связи съ этимъ она-же насадительница всякой культурной жизни, создательница маслины (стихотв. «Про-

гулка»), покровительница наукъ и искусствъ, вдохновительница хитроумнаго Одиссея («Торжество побѣдителей»), вообще хранительница мудрости, на что намекъ въ стихотвореніи «Молодому другу, приступающему къ философіи» (т. I, стр. 68):

«Ты же готовъ-ли войти въ тотъ храмъ заповѣдный,
Гдѣ подозрительный кладъ строго Аѳина хранитъ».

Аоосъ («Семела», т. I, стр. 168)—употребительнѣе *Аѳонъ*—узкій гористый полуостровъ, восточная часть широкаго Халкидскаго полуострова въ Македоніи), вдающійся въ Архипелагъ.

Баденъ («Вильгельмъ Телль», т. II, стр. 138) городокъ въ швейцарскомъ кантонѣ Ааргау, неподалеку отъ котораго расположена была резиденція императора Альбрехта I—замокъ Штейнъ.

Байрейтъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 218)—франконское герцогство, принадлежавшее бургграфамъ нюрнбергскимъ, теперь - часть Баваріи.

Баннеръ («Валленштейнъ», т. II)—Іоганнъ Banner или Bannier, знаменитый шведскій генералъ, начальникъ конницы Густава Адольфа.

Барбарусса («Разбойники», т. I, стр. 233) Фридрихъ—по прозванью Barbarossa (рыжая борода) - второй германскій императоръ (1152—1190) изъ династіи Гогенштауфеновъ.

Барнабитъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 429) — членъ духовнаго ордена св. Варнавы, основаннаго въ 1535 году въ Миланѣ и носившаго названіе отъ церкви, отведенной ему; во Франціи, особенно на югѣ («*Тулонскій* барнабитъ»), ими пользовались для борьбы съ протестантами.

Батте («Разбойники», предисловіе автора)—извѣстный французскій эстетикъ (1713 — 1780), послѣдователь Аристотеля.

Бахусъ см. Вакхъ.

Бебингтонъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 388) - участникъ заговора 1585 г. въ пользу Маріи Стюартъ, богатый молодой человѣкъ изъ Дербишайра, казненный 26 сентября 1586 года. Переписка Маріи съ Бебингтономъ, гдѣ, однако, рѣчь шла только объ ея освобожденіи, а не объ убійствѣ Елизаветы, была перехвачена и послужила одной изъ главныхъ уликъ противъ Маріи.

Бедфордъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 480)—герцогъ Джонъ Bedford, сынъ англійскаго короля Генриха IV. Послѣ смерти своего брата Генриха V онъ провозгласилъ королемъ Англіи и Франціи малолѣтняго Генриха VI и сперва, въ качествѣ регента Франціи, побѣдоносно боролся съ ея законнымъ государемъ Карломъ VII, чему особенно способствовалъ союзъ съ Бургундіей. Появленіе Орлеанской дѣвы измѣнило его положеніе, союзъ съ Бургундіей былъ расторгнутъ, и, несмотря на судъ и казнь взятой въ плѣнъ Жанны, гдѣ Б. игралъ первенствующую роль, онъ вынужденъ былъ въ 1435 г. начать переговоры о мирѣ, но умеръ въ томъ же году, не успѣвъ подписать мирный договоръ.

Бельевръ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 405) - чрезвычайный французскій посолъ графъ de Bellièvre прибылъ въ 1585 г. въ Лондонъ, чтобы протестовать противъ осужденія Маріи. Въ брачномъ посольствѣ 1581 г. онъ не участвовалъ.

Бельтъ («Валленштейнъ» два пролива, которые вмѣстѣ съ Зундомъ соединяютъ Балтійское море съ Каттегатомъ. Въ «Валленштейнѣ» это—поэтическое названіе всего Балтійскаго моря.

Бенедиктинецъ («Духовидецъ»)—монахъ изъ знаменитаго ордена, основаннаго св. Бенедиктомъ въ 529 году. Бенедиктинцы отличались—особенно въ Италіи и Франціи—поражающей книжной ученостью и трудолюбіемъ.

Берклей («Философы», т. I, стр. 91) - George Berkeley (1684 1753), англійскій философъ, епископъ клойнскій, выразитель крайняго философскаго идеализма: реаленъ въ мірѣ только Богъ; все остальное существуетъ лишь постольку, поскольку воспринимается мыслью (esse est percipi—быть значитъ быть мыслимымъ).

Беroя («Семела», т. I, стр. 162)—кормилица Семелы.

Берла («Турандотъ», т. III, стр. 195) — названіе вымышленнаго поэтомъ города.

Бернъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 134)—главный городъ швейцарскаго кантона того-же имени, а теперь и мѣстопребываніе центральныхъ органовъ швейцарскаго правительства. Онъ присоединился къ швейцарскому союзу лишь въ 1353 году, и потому упоминаніе о немъ есть пророчество умирающаго Аттингаузена.

Бисетръ («Коварство и Любовь», т. II, стр. 55) — больница подлѣ Парижа, основанная Людовикомъ XIII и въ свое время извѣстная своимъ психіатрическимъ отдѣленіемъ.

Болейнъ Анна («Марія Стюартъ»)—мать Елизаветы, жена англійскаго короля Генриха VIII, изъ-за которой онъ развелся со своей предыдущей женой; когда она ему надоѣла, онъ предалъ ее суду по обвиненію въ прелюбодѣяніи и даже кровосмѣшеніи и добился ея осужденія. 19 мая 1563 г. казнены Анна, ея братъ лордъ Рошфоръ и еще четыре человѣка, которые будто бы пользовались ея расположеніемъ. Король на другой день послѣ ея казни женился на Джейни Сеймуръ.

Борджіа («Преступникъ изъ-за потерянной чести») Чезаре (Цезарь Borgia, сынъ папы Александра VI, знаменитый въ исторіи своимъ чудовищнымъ коварствомъ, распутствомъ и жестокостью.

Бордо («Дѣти дома», т. III, стр. 256) — большой торговый городъ въ югозападной Франціи на Жиронде.

Борисъ Годуновъ («Димитрій Самозванецъ») — царь и великій князь (1598—1605). Вина его въ убійствѣ царевича Димитрія до сихъ поръ не доказана.

Босвортъ («Варбекъ», т. III, стр. 243)—мѣстечко въ Англіи, въ графствѣ Лейчестерскомъ, при которомъ въ 1485 г. произошла битва, закончившая войну Алой и Бѣлой Розы и доставившая тронъ Генриху Тюдору.

Ботвель («Марія Стюартъ», т. II, стр. 392)—Джемсъ Гепбюрнъ Bothwell (1536 — 1575)—третій мужъ Маріи Стюартъ и убійца ея второго мужа. «Надменный и честолюбивый, отважный до дерзости, красивый, одаренный отъ природы и не безъ знаній, по происхожденію принадлежавшій къ одному изъ самыхъ богатыхъ и могущественныхъ родовъ своей страны, ненасытный въ погонѣ за властью и наслажденіями, протестантъ по исповѣданію» — Б. послѣ паденія Маріи бѣжалъ въ Норвегію, но схваченъ и умеръ въ Даніи въ заключеніи.

Брабантъ («Донъ-Карлосъ», стр. 105»; «Орлеанская дѣва», прологъ, стр. 473) — герцогство, населенное фламандцами и возмутившееся противъ религіозныхъ эдиктовъ Филиппа II.

Брамарбасъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223) ставшее нарицательнымъ имя одного хвастуна въ комедіи датскаго поэта Гольберга.

Браунау («Валленштейнъ», т. II, стр. 329)—городъ въ Богеміи, на границѣ Силезіи.

Бреннъ (въ стих. «Начало новаго вѣка», т. I, стр. 132) — предводитель галловъ; побѣдивъ Римъ, требовалъ выкупа въ тысячу фунтовъ золота. Когда взвѣшивали золото, галлы пользовались слишкомъ тяжелыми гирями, а въ отвѣтъ на жалобу римлянъ, Бреннъ бросилъ еще на вѣсы свой мечъ съ знаменитымъ возгласомъ: «Горе побѣжденнымъ» (Vae victis!).

Брента («Духовидецъ», т. III, стр. 314) — небольшая рѣка, вытекающая изъ Альпъ и впадающая въ Венеціанскій заливъ.

Бригъ (Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 226) — городъ въ Германіи, на Одерѣ, неподалеку отъ Бреславля.

Брукъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144) или Бругъ—городокъ въ швейцарскомъ кантонѣ Ааргау, непода-

леку отъ котораго расположенъ замокъ Габсбургъ; около Брука Парриципа убилъ Альбрехта I.

Брунекъ («Вильгельмъ Телль») — родовой замокъ Гесслера неподалеку отъ Брука. Берта фонъ Брунекъ — созданіе Шиллера.

Бруннемъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 95) — мѣстечко на берегу Фирвальдштетскаго озера у конца долины Муотты.

Брутъ («Разбойники», т. I, стр. 242)—знаменитый римскій борецъ за свободу (род. въ 85 г. до Р. Хр.), сперва сторонникъ Цезаря, потомъ глава заговора противъ него и извѣстнѣйшій изъ его убійцъ. Считается образцомъ республиканской доблести и въ этомъ смыслѣ противоположенъ Шиллеромъ Катилинѣ зачинщику преступнаго переворота съ своекорыстными цѣлями.

Брюгге («Валленштейнъ», т. II, стр. 331, гдѣ по ошибкѣ *Брюгенъ*) — большой городъ въ Бельгіи, нѣкогда средоточіе европейской торговли, былъ не разъ резиденціей герцоговъ бургундскихъ.

Брюнигъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 143) — проходъ на высотѣ около версты между Фирвальдштетскимъ и Бріенцскимъ озерами.

Брюнкъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 329) — городъ въ Моравіи.

Брюссель («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 89), «Варбекъ», т. III, стр. 228) въ южномъ Брабантѣ, столица нынѣшней Бельгіи; здѣсь въ 1568 году по повелѣнію герцога Альбы казнены предводители Нидерландскаго возстанія графы Эгмонтъ и Горнъ.

Буггисгратъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 129) — скала, выдающаяся въ Фирвальдштетское озеро недалеко отъ Аксена. У самаго Буггисграта находится «площадка Телля», отъ которой онъ отдѣленъ *Гакмессеромъ* — кривой и острой скалой, вдавшейся въ озеро, и *Тейфельсмюнстеромъ*—отдѣльно стоящей скалой.

Будвейсъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 329) — городъ въ южной Богеміи, на Молдавѣ.

Бузирисъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 141) — знаменитый своей жестокостью царь древняго Египта.

Бурбонскій коннетабль («Смерть Валленштейна», т. II, стр. 301) см. Коннетабль.

Бургау («Валленштейнъ», т. II, стр. 344) городъ въ Баваріи, гдѣ Валленштейнъ въ юности былъ пажомъ при дворѣ маркграфа Бургаусскаго.

Буттлеръ («Валленштейнъ») — графъ Вальтеръ Buttler, одинъ изъ видныхъ участниковъ тридцатилѣтней войны, родомъ ирландецъ, сперва былъ рядовымъ императорской арміи, затѣмъ любимцемъ Валленштейна и командиромъ драгунскаго полка. Найдя болѣе удобнымъ перейти на сторону двора, составилъ заговоръ противъ Валленштейна, послѣ убійства котораго осыпанъ императорскими милостями, возведенъ въ графское достоинство и т. д., послѣ чего отличился еще въ битвѣ при Нердлингенѣ.

Бучау («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 227) — городокъ въ нынѣшнемъ королевствѣ Вюртембергскомъ.

Буцентавро («Духовидецъ») или Буцентаверъ (отъ имени чудовища греческой миѳологіи полу-быка, полу-человѣка), названіе разолоченной галеры, на которой венеціанскій дожъ ежегодно (съ 1311 г.) обручался съ Адріатическимъ моремъ, бросая въ него кольцо. Отсюда — названіе тайнаго общества.

Бѣлое озеро («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 291) — въ Бѣлозерск. уѣздѣ Новгородской губерніи, на берегу его былъ Свято-Троицкій монастырь (въ настоящее время приходская церковь), основанный княземъ Глѣбомъ Васильковичемъ.

Бюрглэнъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 84, 131) — деревня въ Шехенской долинѣ, въ кантонѣ Ури, мѣсто рожденія и жительства Вильгельма Телля. Здѣсь, въ потокѣ Шехена, погибъ, по преданію, Телль въ 1354 году, спасая утопающаго ребенка. На предполагаемомъ мѣстѣ его дома теперь воздвигнута капелла.

Вавилонъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 224)—древній городъ въ Месопотаміи, на берегахъ Ефрата, столица Вавилоніи. «Владыка Вавилона», о которомъ говоритъ капуцинъ въ «Лагерѣ Валленштейна» — Навуходоносоръ, уведшій въ плѣненіе избранный народъ. Въ «Турандотѣ» (стр. 181) названіе Вавилонъ («шахъ Вавилонскій») имѣетъ сказочный характеръ, безъ всякаго отношенія къ историческому Вавилону, по скорѣе съ намекомъ на богатый Багдадъ, построенный на мѣстѣ В. въ 750 г. по Р. Хр.

Вакхъ (Бахусъ, Діонисъ, Бромій, Либеръ) въ грекоримск. миѳологіи — богъ вина, а потому веселья и разгула. Изображался на колесницѣ, везомой тиграми, среди буйной свиты вакхантовъ и вакханокъ (менадъ — неистовыхъ), полуодѣтыхъ въ тигровыя или козьи шкуры, съ тирсами (см.) въ рукахъ, съ зеленью на головахъ. Первоначально празднества въ честь Вакха были обыкновенными праздниками виноградарей, но затѣмъ они выродились въ *оргіи* съ дикими и таинственными обрядностями. Сатиры и Фавны (см.) тоже сопровождали Вакха въ его буйныхъ странствіяхъ.

Валгалла—чертогъ павшихъ, рай древне-германской миѳологіи, обитаемый воинами, убитыми въ сраженіи.

Валленштейнъ, вѣрнѣе Вальдштейнъ — Альбрехтъ-Венцеславъ-Евсевій Waldstein, герцогъ Фридландскій, знаменитый нѣмецкій полководецъ (1583—1634). Въ 1621—1630 годахъ тридцатилѣтней войны оказалъ при помощи набранной на свой счетъ арміи рѣшающую поддержку императору австрійскому, который однако — подъ давленіемъ германскихъ государей—отрѣшилъ его отъ власти. Въ 1332 г. вновь стѣсненный императоръ опять прибѣгъ къ помощи В., который согласился на очень тяжелыхъ условіяхъ. Занявъ Прагу и освободивъ Нюрнбергъ, В., разбитый при Люценѣ, направился въ Силезію, но его личные враги вновь одержали верхъ. Переговоры о мирѣ навлекли на него подозрѣніе императора, который боялся его видовъ на корону Богеміи. Узнавъ о движеніи на него императорскихъ войскъ, В. бѣжалъ въ Эгеръ, гдѣ заговорщики, подкупленные Галласомъ и Пикколомини, покончили съ нимъ. Въ трилогіи Шиллеръ идеализировалъ В., который на самомъ дѣлѣ былъ типичный кондотьеръ XVII вѣка, отважный и энергичный, но безнравственный и безпринципный; непомѣрное властолюбіе было единственнымъ мотивомъ его дѣйствія. Въ «Исторіи 30 лѣтней войны» Шиллеръ относится къ В. трезво.

Валлійская сторона («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 496) см Уэльсъ.

Валлоны («Валленштейнъ») — обитатели восточной Бельгіи, говорящіе по-французски.

Валуа («Донъ Карлосъ», «Орлеанская дѣва») — вторая линія мужского поколѣнія Капетинговъ, королевскаго рода, правившаго Франціей отъ 1328 (Филиппъ VI) по 1498 († Карлъ VIII) г.

Вальсингемъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 410)—государственный секретарь, открывшій заговоръ Бебингтона. Во Франціи онъ былъ въ 1581 г., а не во время дѣйствія драмы.

Ванда («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 289) — созданіе польскаго миѳа, и теперь подчасъ принимаемое за подлинную «королеву». По преданію, красавица Ванда «была дочерью основателя Кракова короля Крака, послѣ смерти котораго остались два сына. Одинъ изъ нихъ убилъ другого и самъ долженъ былъ оставить отечество; тогда народъ пригласилъ прекрасную и добрую Ванду. За нее сватался нѣмецкій князь Ридигеръ; Ванда, не желая выйти замужъ за иноземца, даетъ посламъ рѣшительный отказъ; Ридигеръ снаряжаетъ походъ противъ Ванды, которая со всѣмъ своимъ войскомъ идетъ ему навстрѣчу. Нѣмцы, при видѣ сіяющей Ванды, обращаются въ бѣгство Ридигеръ, въ отчаяніи, бросается на свой мечъ и умираетъ. Тогда Ванда, исполняя данный богамъ обѣтъ принести имъ въ жертву свою жизнь за побѣду, бросается въ Вислу. Тѣло ея найдено и погребено на берегу, а на могилѣ насыпана гора, которая до сихъ поръ называется могилой Ванды».

Вандалы («Античныя статуи въ Парижѣ», т. I, стр. 131)—германское племя, разграбившее въ 455 г. по Р. Хр. Римъ, при чемъ погибло множество безцѣнныхъ художественныхъ сокровищъ древности; это сдѣлало названіе вандала нарицательнымъ для всякаго варварскаго отношенія къ искусству.

Варбекъ («Варбекъ») — претендентъ на англійскій престолъ, утверждавшій, что онъ — сынъ Эдуарда IV; по словамъ приверженцевъ дома Тюдоровъ – сынъ лондонскаго еврея, Перкинъ. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ высадиться въ Англіи, отправился въ Шотландію, гдѣ Яковъ IV радушно принялъ его, выдалъ за него Екатерину Гордонъ, свою родственницу, и поддерживалъ его, но, послѣ примиренія съ Генрихомъ VII англійскимъ, удалилъ Варбека изъ Шотландіи. Въ 1498 г., воспользовавшись возстаніемъ въ Корнвалисѣ, Варбекъ высадился въ Англіи во главѣ нѣсколькихъ тысячъ крестьянъ, но, побѣжденный, былъ заключенъ въ Тоуэръ, откуда черезъ годъ бѣжалъ, вновь заключенъ—и за преступныя сношенія съ графомъ Варвикомъ, сыномъ герцога Кларенса, заключеннымъ тамъ же, повѣшенъ въ 1499 году. Въ книгѣ Reu «Essais historiques et critiques sur Richard III» (1818) доказывается законность притязаній Перкина Варбека.

Варварійскій берегъ (·Духовидецъ·) — сѣверное побережье Африки, которое нѣкогда было заселено берберами, оттѣсненными теперь въ Сахару и Атласскія горы арабскими племенами.

Вартъ («Вильгельмъ Телль», т. II, стр. 107) Рудольфъ von Wart, швейцарскій дворянинъ изъ кантона Аарау, единомышленникъ Парриципы.

Ватиканъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 410) — папскій дворецъ въ Римѣ, гдѣ никто не живетъ, но происходятъ различныя торжества и собранія кардиналовъ. Значительная часть дворца представляетъ собой замѣчательный музей, гдѣ собрано множество величайшихъ художественныхъ сокровищъ древняго и новаго міра. Ср. «Фіеско», т. I, стр. 296.

Вейденъ («Валленштейнъ»), ч. II, стр. 346)—городокъ въ Баваріи, къ юго-западу отъ Этера.

Вейлеръ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 103)—теперь Эдвейль, долина у Альпнаха, неподалеку отъ Росберга; до сихъ поръ здѣсь показываетъ пещеру, гдѣ будто бы жилъ драконъ, геройски умерщвленный Вернеромъ фонъ Винкельридомъ.

Вейсландъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 105)—долина Гасли, орошаемая Ааромъ и проходящая между Мейрингеномъ и Гримзелемъ, за которымъ идутъ Готардскія горы, отдѣляющія нѣмцевъ отъ французовъ (въ Вале) и итальянцевъ (въ Тессинѣ).

Венера см. Аѳродита.

Венеція («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 230) – нѣкогда могущественная республика, образованная римскими выходцами на лагунахъ Адріатическаго моря. Мѣстопребываніемъ правительства было Ріальто, вскорѣ обратившееся въ многолюдный городъ Венецію.

Верденбергъ («Пикколомини», т. II, стр. 237)—австрійскій сановникъ, прежній другъ Валленштейна.

Вермеландъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 279)— шведская провинція къ сѣверу отъ озера Венеръ, на границѣ съ Норвегіей. Сигизмундъ I, при которомъ происходитъ Краковскій сеймъ, былъ также королемъ шведскимъ, и потому на сеймѣ присутствуетъ также епископъ вермеландскій.

Веронезъ Павелъ («Духовидецъ», т. III, стр. 382)—собств. Паоло Кальяри по прозв. Veronese – знаменитый итальянскій художникъ (1532 1588) венеціанской школы; извѣстнѣйшая его картина - «Бракъ въ Канѣ Галилейской».

Вертумнъ («Жалоба Цереры I», т. I, стр. 73)—римскій богъ смѣны временъ года; имѣлъ одинъ общій жертвенникъ съ Церерой и считался супругомъ Помоны, богини плодовъ.

Вестминстеръ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 404)—старинное зданіе англійскаго парламента на берегу Темзы въ Лондонѣ. Здѣсь кромѣ обѣихъ палатъ засѣдали также разные суды, а иногда совершались придворныя торжества.

Вестфалія («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 218)—первоначально западная часть Саксоніи, теперь — прусская провинція; во времена Валленштейна – герцогство, принадлежавшее архіепископу Кельнскому.

Викторія въ греко-римской миѳологіи - богиня побѣды; изображалась въ видѣ дѣвушки съ пальмовой вѣтвью въ одной рукѣ и лавровымъ вѣнкомъ въ другой; часто ея маленькое изваяніе стояло на рукѣ божества, особенно Зевса.

Винкельридъ («Вильгельмъ Телль», т. II, стр. 103)—старый швейцарскій родъ, давшій не мало героевъ родной странѣ; одинъ изъ нихъ, Верноръ, по преданію, убилъ дракона, свирѣпствовавшаго у Вейлера (см.); потомкомъ его является дѣйствующій въ драмѣ Струтъ фонъ Винкельридъ. О геройскомъ подвигѣ позднѣйшаго представителя этого рода Арнольда, въ битвѣ при Земпахѣ (1386 г.) вонзившаго въ себя пучокъ вражескихъ копій, чтобы разорвать ихъ сомкнутый строй, пророчески говоритъ въ драмѣ (стр. 134) умирающій старикъ Аттингаузенъ.

Виргиній («Фіеско», т. I, стр. 280) — см. Аппій Клавдій.

Висмаръ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 227)—приморскій городъ на сѣверѣ Германіи, въ Мекленбургъ-Шверинѣ.

Вокулеръ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 472) лотарингскій городокъ на Маасѣ; неподалеку деревня Домъ-Реми.

Вольфеншисенъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 82) – деревня въ Энгельбергской долинѣ; слѣды замка, стоявшаго здѣсь, исчезли.

Врангель («Валленштейнъ», т. III, стр. 297) –Карлъ Густавъ Wrangel (1613—1675), шведскій генералъ, выдвинулся послѣ смерти Баннера (1641), начальствуя надъ шведскими войсками до прибытія Торстенсона. Впослѣдствіи онъ взялъ Этеръ—и, быть можетъ, это послужило Шиллеру предлогомъ сдѣлать его еще въ качествѣ полковника – шведскимъ уполномоченнымъ.

Вудстокъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 408) - городокъ въ Англіи на сѣверѣ отъ Оксфорда; здѣсь жила Елизавета, не признанная отцомъ.

Вулканъ (у грековъ Гефестъ) въ римск. миѳолог. - богъ огня, металлургіи и другихъ ремеслъ, которымъ научилъ и людей («Элевзинскій праздн.», т. I, стр. 122).— Хромой и уродливый, мужъ Аѳродиты, онъ былъ сыномъ Геры и Зевса. Извѣстно великолѣпное оружіе, выкованное имъ для Ахилла («Счастіе» и «Четыре вѣка»), особенно щитъ, на которомъ онъ художественно изобразилъ весь круговоротъ жизни.

Вэльскій принцъ («Варбекъ», т. III, стр. 243) - см. Уэльскъ.

Габсбургъ («Вильгельмъ Телль»)—австрійская и германская императорская династія, первымъ представителемъ которой на тронѣ былъ графъ габсбургскій Рудольфъ и къ которой принадлежалъ также императоръ Альбрехтъ I. Родъ Габсбурговъ носитъ названіе отъ своего родового замка, построеннаго неподалеку отъ Брутга въ Ааргау въ 1020 г. графомъ Радбодомъ фонъ Альтенбургъ; развалины его сохранились до сихъ поръ.

Гакенъ («Вильгельмъ Телль». т. III, стр. 81) горы на сѣверо-востокѣ Швица, къ которымъ относятся большой и Малый Митенъ.

Гакмессеръ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 129) - см. Буггисгратъ.

Галласъ («Валленштейнъ») — графъ Матвѣй von Gallas (1588 1647), одинъ изъ выдающихся участниковъ тридцатилѣтней войны, весьма близкій къ Валленштейну.

дѣятельный участникъ заговора противъ него; при опалѣ герцога главное начальство надъ войсками было въ тайномъ указѣ императора передано Галласу, а не Пикколомини, какъ въ драмѣ.

Гальберштадтъ («Пикколомини», т. II, стр. 275)—епископство и княжество въ Саксоніи; здѣсь имѣется въ виду его «администраторъ», Христіанъ Брауншвейгскій; выдающійся полководецъ, онъ вмѣстѣ съ Мансфельдомъ удачно поддерживалъ протестантовъ въ Пфальцѣ и укрѣпился бы здѣсь, если бы не умеръ; на это и намекаетъ Буттлеръ.

Гальона или галіона («Непобѣдимый флотъ», т. I, стр. 31) отъ испанск. слова galeon первоначально обозначало испанскія и португальскія трехмачтовыя вооруженныя суда, предназначенныя для перевозки драгоцѣнныхъ металловъ изъ Америки въ Европу, затѣмъ военный корабль.

Ганганелли («Духовидецъ», т. III, стр. 348)—римскій папа Климентій XIV, издавшій буллу объ уничтоженіи ордена іезуитовъ и умершій въ 1774 г., по его собственному подозрѣнію, отъ яда; его врачи опровергали это, но причины его смерти остались невыясненными.

Ганзейцы («Варбекъ», т. III, стр. 241) — члены Ганзы, средневѣковаго торговаго союза нѣмецкихъ приморскихъ городовъ; число городскихъ общинъ, входившихъ въ Ганзейскій союзъ доходило въ XIV вѣкѣ до 90. Во главѣ ихъ стоялъ Любекъ.

Гармонія—въ греч. миѳол. - дочь Марса и Венеры, жена Кадма, мать Полидора и *Семелы*.

Гаррикъ («Духовидецъ»)—великій англійск. актеръ (1716 –1779), особенно извѣстный замѣчательнымъ исполненіемъ Шекспира.

Гассемъ («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 137)—см. Сенть-Эльмо.

Гастинбекъ («Духовидецъ», т. III, стр. 348)—деревня въ Германіи, неподалеку отъ Ганновера. Здѣсь въ іюлѣ 1757 г. французскія войска разбили герцога Кумберлэндскаго, сына короля англійскаго Георга II.

Гаттонъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 390)—сэръ Христоферъ Hatton, королевскій камергеръ, одинъ изъ судей Маріи, коварно склонившій ее давать показанія предъ судомъ, который она признавала противозаконнымъ.

Геба («Геро и Леандръ», т. I, стр. 134, «Мессинская невѣста», т. III, стр. 33) - въ греческ. миѳол. дочь Зевса и Геры, богиня юношеской свѣжести и красоты, на которую была возложена на Олимпѣ обязанность подносить богамъ нектаръ. На ато намекъ въ стихотв. «Дифирамбъ».

Геката («Геро и Леандръ», т. I, стр. 135) одинъ изъ наиболѣе темныхъ мистическихъ образовъ античной миѳологіи—богиня, повелѣвающая таинственными силами природы на небѣ, землѣ и въ водѣ; олицетвореніе ночи и смерти; поэтому въ «Семелѣ» (т. I, стр. 164): «Назадъ въ объятія Гекаты».

Гекторъ—сынъ троянскаго царя Пріама и Гекубы, предводитель троянскихъ войскъ, убитый Ахилломъ.

Гекуба - жена троянскаго царя Пріама, потерявшая по взятіи Трои всѣхъ своихъ дѣтей и мужа и взятая въ плѣнъ.

Геліосъ - въ греческ. миѳологіи - богъ солнца, сынъ титана Гиперіона, братъ Селены и Эосъ (луны и зари). Сначала Геліосъ считался чуждымъ, азіатскимъ божествомъ, но затѣмъ его, какъ всевидящаго бога солнца, стали смѣшивать съ Аполлономъ, называя его также Фебъ и изображая въ той же обстановкѣ («Богъ Греціи», т. I, стр. 32):

«Правилъ тамъ златою колесницей
«Геліосъ въ торжественной тиши».

Все озаряющій своимъ свѣтомъ, онъ можетъ также «освѣтить» всякое темное, загадочное дѣло; отсюда въ «Ивиковыхъ журавляхъ» (т. I, стр. 107), «Лишь Геліосъ то врѣлъ священный». По отцу онъ часто носитъ также названіе *титана* («Жалоба Цереры», т. I, стр. 73).

Гелла—въ греч. миѳол. дочь царя Беотіи Аѳаманта, который, по наговору ихъ мачехи Ино (см. Левкотея), рѣшилъ принести въ жертву своихъ дѣтей Геллу и брата его Фрикса. Но мать ихъ богиня Нефела посадила дѣтей на золотого барана, который понесъ ихъ черезъ море. По пути Гелла упала въ море, названное по ея имени Геллеспонтъ; позднѣйшее сказанье объяснило это любовью Посейдона, который унесъ дѣвушку къ себѣ (см. «Геро и Леандръ», строфа 13).

Геллеспонтъ («Геро и Леандръ», т. I, стр. 134) см. ст. Гелла и Дарданеллы.

Гемусъ («Семела , т. I, стр. 163) —древнее названіе Балканскихъ горъ.

Геннего («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473)—правильнѣе Геннегау (Hennegau, франц. Hainot) - графство, принадлежавшее Бургундіи, теперь Бельгіи.

Генрихи («Прогулка подъ Липами», т III, стр. 305) - германскіе императоры, изъ коихъ семеро въ промежуткѣ между 918 и 1313 годами носили это имя.

Генрихъ IV («Валленштейнъ», т. II, стр. 363)—король французскій, убитый во время приготовленій къ коронованію его супруги 14 мая 1610 г. - стало быть при жизни Валленштейна Равальякомъ; говорятъ, онъ не разъ высказывалъ свои мрачныя предчувствія женѣ и министру Сюлли.

Генрихъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 491)—англійскій король Генрихъ V (1413 — 1422), по договору въ Труа ставшій также королемъ французскимъ.

Генрихъ VII («Варбекъ», т. III, стр. 228, 229)—король англійскій (1456 –1509), основатель династіи Тюдоровъ, вступленіе которой на престолъ окончило войну Алой и Бѣлой Розы. Едва получивъ корону, Генрихъ вынужденъ былъ вступить въ борьбу изъ-за нея съ различными претендентами—Варбекомъ. Варвикомъ и др.

Генрихъ VIII (Марія Стюартъ», т. I, стр. 399) - король Англіи, правившій отъ 1509 до 1547 г.; его сестра Маргарита была матерью короля Якова V и бабкой Маріи Стюартъ, которая поэтому и называетъ его своимъ двоюроднымъ дѣдомъ. Отецъ Елизаветы, обезглавившій ея мать, одну изъ своихъ шести женъ, онъ правилъ деспотично и жестоко, всегда находя поддержку въ покорномъ парламентѣ, о чемъ и говоритъ Марія.

Гентъ («Валленштейнъ», «Донъ-Карлосъ», «Орлеанская Дѣва», «Варбекъ») - городъ во Фландріи, въ средніе вѣка богатая резиденція герцоговъ бургундскихъ. Послѣ смерти Карла V перешелъ во владѣніе Испаніи и былъ средоточіемъ нидерландскаго мятежа. Исходъ въ Гентъ, въ которомъ принимала участіе маркитантка изъ «Лагеря Валленштейна», былъ совершенъ испанскими войсками въ 1621 г., послѣ двѣнадцатилѣтняго перемирія между Нидерландами и Испаніей.

Генуя («Фіеско») — богатый торговый портъ на сѣверномъ берегу Лигурійскаго залива въ Италіи; до 1815 г. былъ самостоятельной республикой.

Гера въ греч. миѳол. (въ римск. Юнона)—сестра и жена Зевса, дочь Кроноса и Реи; въ противоположность своему супругу – величавый образецъ семейныхъ добродѣтелей, покровительница брака. Поэтому она въ «Элевзин. праздн.» (т. I, стр. 122) «сводитъ съ юношей прекраснымъ въ храмѣ дѣву красоты» Она изображалась на колесницѣ, везомой павлинами, на хвостахъ которыхъ красовалось все звѣздное небо. («Торжество любви», т. I, стр. 12, строфа 18).

Герзау («Вильгельмъ Телль», т, III, стр. 86) значительное поселеніе въ кантонѣ Швицъ въ сѣверной сторонѣ Фирвальдштетскаго озера у подножья Ритн.

Геркуланумъ городокъ рядомъ съ Помпеей (см.), который одновременно постигла такая-же участь.

Геркулесъ (у грековъ Геракл) въ греко-римской миѳологіи — извѣстный богатырь, полубогъ, сынъ Зевса и Алкмены, супруги Амфитріона, образъ котораго Зевсъ при-

нялъ на себя, чтобы овладѣть молодой женщиной. Когда Алкменѣ пришло время родить, Зевсъ поклялся предъ богами, что дитя, которое родится теперь въ родѣ Персея (который былъ предкомъ Амфитріона), будетъ властелиномъ этого рода. Но Гера, негодуя на Зевса за измѣну, замедлила роды Алкмены и ускорила рожденіе другого потомка Персея, слабаго Эврисѳея, которому и долженъ былъ служить могучій Геркулесъ. Отсюда — въ стихотв. «Идеалы и жизнь» стихъ «униженный рабствомъ у труса» (въ рус. переводѣ неправильно — «у царя земного»). Освободилъ добровольно изъ ада Альцесту (см. Адметъ), почему въ «Богахъ грецiи» (т. I, стр. 33) онъ названъ «зовущимъ къ жизни мертвецовъ», а въ «Идеалахъ и жизни» намекъ - «живой еще не побоялся броситься въ Харонову (стр. 55) ладью». Здѣсь-же поэтически разсказана вся его судьба два его подвига — убійство немейскаго льва и лернейской гидры (см.) — и его трагическая смерть: обманутая коварнымъ кентавромъ, укравшимъ ее и, убитымъ Геркулесомъ, жена его Деянира подарила ему праздничное платье, пропитанное, какъ она думала, любовнымъ снадобьемъ, а на самомъ дѣлѣ ядомъ; терзаемый страшной болью, герой сооружаетъ для себя костеръ, который по просьбѣ его поджечь Филоктетъ (см.), получающій за эту услугу его оружіе. Сгорая, герой возносится на Олимпъ, гдѣ, ставъ безсмертнымъ супругомъ Гебы («богиня юности благая»), живетъ среди боговъ («Зевсъ Геркулесу», т. I, стр. 45). У Шиллера Геркулесъ иногда — по дѣду, Алкею, называется Алкидъ.

Германъ («Разбойники», т. I, стр. 196) — глава древне-германскаго племени херусковъ, разбилъ въ 9 году по Р. Хр. войска римскаго полководца Вара и тѣмъ положилъ конецъ римскому господству въ Германіи; отсюда восклицаніе К. Моора: «О, если-бы духъ Германа жилъ (собственно, *тлѣлъ*) еще въ золѣ».

Гермесъ (у римлянъ - Меркурій) — въ греч. миѳологіи — богъ, сынъ Зевса и Майи; тотчасъ послѣ рожденія покинувъ пещеру матери, онъ укралъ у Аполлона стадо коровъ. Зевсъ, восхищенный его изворотливостью, сдѣлалъ его вѣстникомъ и посланцемъ небожителей. Въ этой роли его изображаютъ въ сандаліяхъ съ крылышками и съ золотымъ жезломъ-кадуцеемъ - также, съ крыльями и лентами. Его хитрость и ловкость сдѣлали его богомъ воровъ и торговли (его латинское имя — Mercurius — отъ mercari, торговать), на что намеки въ стихотв. «Прогулка» (т. I, стр. 61) и «Купецъ» (т. I, стр. 50). Въ Греціи ему воздвигали своеобразные памятники, такъ наз. *Гермы* — колонны съ его головой на верху; эти изображенія ставили на межахъ что отмѣчено въ стихотв. «Художники» (т. I, стр. 38): «всталъ Гермесъ на межѣ». Онъ же считался божествомъ краснорѣчія («Счастіе», т. I, стр. 117).

Герміона («Семела», т. I, стр 161) дочь Менелая и Елены, ошибочно упомянута въ «Семелѣ» вмѣсто Гармоніи (см.).

Гермонъ («Разбойники», т. I, стр. 254) — вершина Антиливана, съ снѣжныхъ высотъ которой спускается прохлада на Палестину.

Гесперія - сѣверная страна, у грековъ - Италія («Художники», т. I, стр. 41).

Гесперъ въ греч. миѳол. - сынъ Астрея и Эосъ, божество вечерней звѣзды и вообще олицетвореніе вечера.

Гесслеръ («Вильгельмъ Телль») позднѣе Германъ Гесслеръ фонъ Брунекъ - никогда не былъ ландфогтомъ въ Швицѣ и Ури.

Гасцемъ («Мальтійцы», т. III, стр. 246) или *Гассемъ* («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 137) см. Сентъ Эльмо.

Гефестъ см. Вулканъ.

Гецъ («Пикколомини» т. II, стр. 234) — Іоганнъ графъ von Götz (1599 1645), сперва былъ протестантъ, затѣмъ участвовалъ въ тридцатилѣтней войнѣ въ рядахъ императорской арміи; грубый и жестокій солдатъ, склонный къ пьянству. Обвиненіе въ стяжаніяхъ, возводимое на него Терцкимъ (стр. 280), никакихъ историческихъ подтвержденій не имѣетъ.

Гибеллины и *Гвельфы* («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 95) названіе двухъ враждебныхъ партій, раздоры которыхъ изъ Германіи перешли въ Италію и здѣсь нашли наиболѣе сильное выраженіе. Гибеллины были сторонниками нѣмецкихъ императоровъ, Гвельфы — папъ.

Гиганты — въ греч. миѳол. - дѣти Геи, оплодотворенной кровью Урана, раненнаго Кроносомъ. Опасаясь могучихъ дѣтей Земли, отецъ заперъ ихъ въ Тартаръ, но мать возбудила ихъ къ мятежу, они нагромоздили горы на горы (Оссу на Пеліонъ), чтобы достигнуть неба, но Зевесъ при помощи Геркулеса отразилъ великановъ.

Гидра — «Идеалы и жизнь», (т. I, стр. 55) — въ греч. миѳол. — баснословное чудовище, обитавшее въ лернейскихъ болотахъ, убитое Геркулесомъ по приказанію Эвристея. Такъ какъ на мѣсто каждой отрубленной изъ девяти (или ста) головъ, сидѣвшихъ на ея змѣиномъ тѣлѣ, выростало тотчасъ двѣ, то Геркулесъ справился съ нею, прижигая перерубленныя шеи. У Шиллера встрѣчается какъ поэтическій образъ живучести зла («Юному другу», «Достоинство женщины», т. I, стр. 52).

Гизы («Марія Стюартъ», т. II, стр. 408) — знаменитый французскій герцогскій родъ. Сыновьями основателя этого рода Клода де-Гиза, сына герцога лотарингскаго Рената, были Францискъ и Карлъ — такъ называемые лотарингскіе братья (см.).

Гименей — (или Гименъ) — въ греч. миѳологіи — богъ брака, сынъ Аполлона и музы Каллiопы или — по другимъ преданіямъ - Вакха и Венеры. Изображался въ видѣ прекраснаго, серьезнаго — въ противоположность Эроту - юноши съ покрываломъ въ одной рукѣ и факеломъ въ другой. На это намекъ въ «Кассандрѣ»:

«Вижу факелъ — онъ свѣтлѣетъ
«Не въ гименовыхъ рукахъ».

Гипперзамъ («Пикколомини», т. II, стр. 235) - правильнѣе Гиндерсонъ — одинъ изъ генераловъ Валленштейна.

Гиперіонъ («Семела», т. I, стр. 163) — въ греч. миѳол. — одинъ изъ Титановъ, сынъ Урана и Геи, по Гезіоду, отецъ Геліоса (солнца), Селены (луны) и Эосъ (зари). Иногда (напр. у Гомера) онъ считается самъ солнцемъ; поэтому говорятъ о его связи съ своей сестрой Теѳидой («Семела», стр. 164, гдѣ ошибочно Гесперіонъ вм. Гиперіонъ и Ѳетида вм. Теѳида).

Гиппократъ (предисловіе къ «Разбойникамъ», т. I, стр. 188) — знаменитѣйшій врачъ древней Греціи, ум. въ 370 г. до Р. Хр.

Гитчинъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 369) — городъ въ Богеміи у подножія Исполиновыхъ горъ, принадлежалъ Валленштейну и былъ его любимымъ мѣстопребываніемъ; здѣсь была похоронена его первая жена, здѣсь-же желалъ быть погребеннымъ и онъ самъ.

Гларисъ («Вильгельмъ Телль», т. II, стр. 138) или чаще Гларусъ - швейцарскій кантонъ, расположенный въ круглой долинѣ рѣки Линта, окруженной отвѣсными горами, съ которыхъ часто спадаютъ лавины. Въ подлинникѣ говорится объ одной изъ самыхъ высокихъ вершинъ этой группы — Глернишъ.

Глацъ («Пикколомини» т. II, стр. 285) — графство въ верхней Силезіи, наравнѣ съ княжествомъ Саганъ, принадлежало Богеміи и было пожаловано Валленштейну Фердинандомъ II; въ 1742 г. перешло къ Пруссіи.

Глернишъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 81) — вершина Гларусскихъ горъ вышиной въ девять тысячъ футовъ.

Глогау («Валленштейнъ», т. II, стр. 346) — сильная крѣпость на Одерѣ въ Лигницкомъ округѣ, который въ 17 в. подобно всей Силезіи былъ подвластенъ королю Богеміи.

Глостеръ («Варбекъ», т. III, стр. 243) — см. Ричардъ III.

Глостеръ - («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 480) - Гемфри герцогъ Gloucester (1391 1447) правилъ, послѣ смерти брата своего Генриха V, Англіей. Послѣ женитьбы короля на Маргаритѣ Анжуйской обвиненъ въ государственной измѣнѣ, арестованъ и найденъ мертвымъ въ постели.

Глюкштадтъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 216)— городокъ на Эльбѣ въ герцогствѣ Гольштинскомъ.

Гнѣзно—(«Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 279)— польскій городъ въ Познани, въ церковномъ отношеніи былъ столицей древней Польши; государственное значеніе Гнѣзненскаго архіепископа было также велико: онъ правилъ королевствомъ во время всякаго безкоролевья.

Говардъ (Марія Стюартъ»)—Томасъ Howard, герцогъ Норфолькъ, одинъ изъ знатнѣйшихъ и богатѣйшихъ протестантскихъ дворянъ Англіи, просилъ руки Маріи Стюартъ, но, не получивъ согласія Елизаветы, былъ заключенъ въ тюрьму. Принявъ послѣ этого участіе въ заговорѣ съ цѣлью насильственнаго освобожденія Маріи, былъ схваченъ и казненъ 2 іюня 1572 г.

Гавардъ - Екатерина («Марія Стюартъ», т. II, стр. 396) - пятая жена Генриха VIII, безъ основанія обвинена въ измѣнѣ мужу и казнена въ 1542 г.

Говардъ—(«Разбойники», т. I, стр. 193) англійскій разбойникъ.

Голіавъ - («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223) - великанъ-филистимлянинъ, убитый Давидомъ.

Голькъ Генрихъ (Валленштейнъ», т. II, стр. 213)— дѣятель тридцатилѣтней войны, сперва на датской, затѣмъ на императорской службѣ, одинъ изъ необузданнѣйшихъ, но и преданнѣйшихъ сподвижниковъ Валленштейна.

Гомеръ— величайшій и знаменитѣйшій поэтъ древней Греціи, авторъ «Иліады» и «Одиссеи» — двухъ недосягаемыхъ образцовъ эпической поэмы. По преданію, Гомеръ былъ сынъ Меона, «Меонидъ», что совсѣмъ невѣрно передано (въ русск. переводѣ «Художники» Д. Мина, т. I, стр. 38) - «пѣвецъ Меонія»; судя по намекамъ въ его произведеніяхъ, онъ жилъ въ Малой Азіи или на Хіосѣ («пѣвецъ Хіоса» въ «Художникахъ») одномъ изъ близкихъ къ ней островахъ около 1000 года до Р. Хр. Не раздѣляя въ своей поэзіи мнѣній современной ему критики (Ф. А. Вольфа и Фр. Шлегеля) о томъ, что Гомеръ былъ лишь собирательнымъ именемъ для цѣлой школы іоническихъ пѣвцовъ (ср. стихотв. «Гомериды», т. I, стр. 88), Шиллеръ относился съ благоговѣніемъ къ имени великаго поэта (стихотв. «Прогулка», т. I, стр. 61, «Голова Гомера», т. I, стр. 34, «Мудрецы», т. I, стр. 67).

Гомецъ («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 93) — точнѣе Рюи Гомецъ, графъ Сильва, князь Эболи, членъ государственнаго совѣта Филиппа II; о супругѣ его извѣстно изъ исторіи, что она была возлюбленной Филиппа II и другихъ.

Горгона—въ греч. миѳологіи чудовища женскаго пола—крылатыя существа съ оскаленными зубами и змѣями на головѣ; особенно извѣстна одна изъ нихъ, убитая Персеемъ Медуза, отъ одного вида которой окаменѣвалъ всякій. Его голова была прикрѣплена къ щиту (эгидѣ) Зевса, на что намекъ въ «Торжествѣ побѣдителей (т. I, стр. 148):

«И посящему Горгону,
«Богу смертныхъ и боговъ.

Гороскопъ («Пикколомини», т. II, стр. 252)—астрологическій чертежъ, опредѣляющій положеніе звѣздъ при рожденіи человѣка. Для этого прежде всего опредѣлялась точка эклиптики (пути солнца), восходящая въ моментъ рожденія даннаго лица; исходя изъ этой точки, все небо дѣлилось большими кругами на двѣнадцать частей, называемыхъ *домами* (домъ жизни, домъ дѣтей, домъ дружбы etc.). Затѣмъ составлялась такъ называемая *небесная фигура*, въ которой обозначалось положеніе разныхъ звѣздъ, ихъ отношеніе къ домамъ, знаку зодіака и т. п. Наконецъ, при помощи опредѣленныхъ правилъ, изъ этихъ данныхъ дѣлались предсказанія. Планетѣ, оказавшейся въ «домѣ жизни», приписывалось рѣшающее вліяніе на судьбу человѣка; онъ «родился подъ нею», это «его звѣзда» и т. д. *Углы* («Пикколомини», т. II, стр. 251) - это скрещеніе круговъ на гороскопѣ.

Горы или Оры — божества часовъ и времени, дочери Зевса и Ѳемиды. Число и имена ихъ разнообразны. Онѣ изображались въ видѣ прелестныхъ дѣвушекъ въ вѣнкахъ и съ аттрибутами различныхъ временъ года, чаще всего въ веселомъ хороводѣ. Это названіе носилъ также литературный журналъ, основанный Шиллеромъ въ 1794 году.

Готардъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 99), Сенъ-Готардъ—горная группа, образующая центръ Швейцарскихъ Альповъ. Отсюда вытекаютъ Рона, Тессинъ, Рейнъ и Рейссъ, впадающій въ Фирвальдштетское озеро. Чрезъ среднюю цѣпь группы проходитъ дорога на югъ съ переваломъ въ Италію. Здѣсь императоръ Альбрехтъ устроилъ засаду и взималъ сборъ, о которомъ говоритъ Руденцъ.

Гранди («Великодушный поступокъ», т. III, стр. 311)—герой извѣстнаго англійскаго романа Ричардсона «The history of Sir Charles Crandison» (1753).

Граникъ—ручей въ Малой Азіи, при которомъ Александръ Македонскій, переправившись черезъ Геллеспонтъ, одержалъ первую побѣду надъ персами въ 334 г. до Р. Хр.

Граціи — см. Хариты.

Грей Анна («Марія Стюартъ», т. II, стр. 396) - королева Англіи, была назначена Эдуардомъ VI наслѣдницей престола, помимо законной наслѣдницы, Маріи. Войска послѣдней разбили тестя Анны герцога Нортумберландскаго, сама Анна заключена въ Тоуэрѣ, а затѣмъ — когда ея отецъ принялъ участіе въ заговорѣ Томаса Віатта—казнена 12 февр. 1654 г. вмѣстѣ съ нимъ.

Гренада («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 141) - цвѣтущая область въ южной Испаніи.

Гроссмейстеръ («Мальтійцы», т, III, стр. 246) - великій магистръ («Донъ-Карлосъ», т. II, стр. 137, «Бой съ дракономъ», т. II, стр. 114, 438)—глава Мальтійскаго ордена; онъ избирался рыцарями пожизненно и утверждался папой римскимъ; права его были чрезвычайно обширны. Послѣднимъ гроссмейстеромъ ордена былъ русскій императоръ Павелъ I.

Гусситы («Пикколомини», т. II, стр. 277)—послѣдователи религіознаго ученія чеха Яна Гуса, смѣлаго реформатора и борца противъ католицизма, осужденнаго на Констанскомъ соборѣ и сожженнаго въ 1415 г. Война чеховъ за право исповѣдывать его ученіе (1419—1434) увѣнчалась успѣхомъ, однако недолговѣчнымъ по винѣ самихъ чеховъ, разъединенныхъ несогласіями.

Густавъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 219)— Густавъ II Адольфъ (1594—1632)—король шведскій, герой тридцатилѣтней войны, остановившій успѣхи католическихъ войскъ, побѣдитель Тилли, убитый въ битвѣ при Люценѣ.

Густель изъ Блазевица (Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 216)—Юстина (уменьш. Густель) Сегединъ (1736 - 1854), дочь трактирщицы въ мѣстечкѣ Блазевицъ подлѣ Дрездена, прислуживала гостямъ въ трактирѣ матери, куда Шиллеръ, жившій неподалеку въ 1785—87 годахъ, часто заходилъ пить молоко и все уговаривалъ дѣвушку учиться пѣть. Лишь въ глубокой старости она простила поэту то, что онъ въ такой вольной формѣ увѣковѣчилъ ея имя.

Гэймаркетъ («Пегасъ въ ярмѣ», т. I, стр 47) - городокъ въ Англіи; по стародавнему обычаю сюда приводили на веревкѣ и продавали невѣрныхъ женъ; на это намекъ въ стихѣ «гдѣ сверхъ того различный есть товаръ».

Давидъ («Орлеанская дѣва», прологъ, «Лагерь Валленштейна») — царь іудейскій.

Дагобертъ I («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 470)— одинъ изъ послѣднихъ французскихъ королей изъ династіи Хлодвига, основалъ въ 613 г. аббатство Сенъ-Дени, гдѣ короновались французскіе короли и сохранялись регаліи.

Данаиды—въ греч. миѳологіи пятьдесятъ дочерей египтянина Даная, основателя Аргоса которыя, по приказу

отца убили (кромѣ одной) своихъ мужей въ первую брачную ночь. Въ наказаніе за это онѣ въ аду вѣчно носятъ воду, наливая бочку съ дырявымъ дномъ. О нагрѣваніи камня (въ эпигр. «Данаиды», т. I, стр. 87) въ миѳѣ не говорится ничего.

Даная («Семела»)—въ греч. миѳол. — дочь Акризія и Эвридики. Вслѣдствіе предсказанія оракула, что ея потомство принесетъ гибель всему роду, отецъ держалъ въ заключеніи въ желѣзной башнѣ; но Зевсъ нашелъ ее здѣсь и, принявъ видъ золотого дождя, соединился съ ней, плодомъ чего былъ родившійся здѣсь Персей. Отсюда въ «Мессинской невѣстѣ», (т. III, стр. 31): «Богъ и сквозь замкнутыя двери вступитъ, къ Персея башнѣ путь онъ отыскалъ».

Дарданеллы («Геро и Леандръ», т. I, стр. 134), въ древности Геллеспонтъ (см. Гелла) — проливъ, отдѣляющій Малую Азію отъ Европейской Турціи (поэтому «оторвалъ онъ отъ Азіи Европу») и соединяющій Эгейское море съ Мраморнымъ.

Девисонъ («Марія Стюартъ») — государственный секретарь при королевѣ Елизаветѣ и членъ тайнаго совѣта, одинъ изъ судей Маріи Стюартъ. Ранѣе онъ былъ посланникомъ Англіи при иностранныхъ дворахъ и въ должность секретаря вступилъ незадолго до осужденія Маріи.

Декартъ («Философы», т. I, стр. 91) — René Descartes (1596—1650) — основатель новой философіи, высказавшій въ формулѣ cogito ergo sum (я мыслю, стало быть я существую) мысль о томъ, что въ основу философскаго мышленія должно быть положено одно несомнѣнно достовѣрное данное: фактъ несомнѣннаго *существованія* субъекта, вытекающій изъ факта его мышленія (*самосознанія*).

Дельфы—небольшой, но знаменитый въ древней греціи городокъ, бывшій мѣстопребываніемъ священнаго прорицалища. Здѣсь, въ дельфійскомъ святилищѣ (Мессинская Невѣста», т. III, стр. 47), узналъ Орестъ о томъ, что въ Аѳинахъ его не тронутъ эринніи. «Дельфійское вдохновеніе», о которомъ говоритъ Бероя-Юнона Семелѣ (т. I, стр. 163)—поэтическое сравненіе, намекающее на то изступленное и восторженное состояніе, въ которое впадала прорицавшая жрица Аполлона.

Деметра—то же, что *Церера* (см.).

Демокритъ (предисловіе автора къ «Разбойникамъ», т. I)—«смѣющійся философъ» (род. въ 470 г. въ Абдерѣ), былъ не понятъ своими ограниченными согражданами.

Десна («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 296)—лѣвый притокъ Днѣпра; въ эпоху Самозванца нижнимъ своимъ теченіемъ составляла Польско-Русскую границу. *Черниговъ*, расположенный на ея правомъ берегу, лишь въ 1667 г. перешелъ къ Россіи.

Дессау («Пикколомини», т. II, стр. 236) — главный городъ бывшаго германскаго герцогства Ангальтъ-Дессау, у впаденія Мульды въ Эльбу.

Деодатъ («Пикколомини», т. II, стр. 252) — императорскій генералъ въ тридцатилѣтнюю войну, начальникъ стрѣлковъ.

Деффингенъ («Графъ Эбергардъ Грейнеръ», т. I, стр. 25)—деревня въ Вюртембергѣ въ Германіи, теперь не существующая. Битва при Деффингенѣ, упомянутая въ стихотвореніи, происходила 23 августа 1388 года между дворянствомъ и городами.

Джудекка («Духовидецъ», т. III, стр. 352) — одинъ изъ многочисленныхъ островковъ, на которыхъ расположена Венеція; это же названіе носитъ и широкій каналъ, отдѣляющій его отъ ядра города.

Дидона («Разбойники», т. I, стр. 256) или Элисса, миѳическая основательница Карѳагена, дочь тирскаго царя, бѣжавшая въ Африку отъ преслѣдованій своего брата. По «Энеидѣ» Виргилія причиной самоубійства Дидоны (она сожгла себя на кострѣ) была невѣрность Энея; на это намекъ въ «Разбойникахъ» (V, 2). Въ «Коварствѣ и любви» (III, 2, стр. 43) говорится объ оперѣ на сюжетъ изъ жизни Дидоны.

Дидро («Рѣки», т. I, стр. 89)—знаменитый французскій писатель (1713 — 1784), философъ и дѣятель просвѣщенія, авторъ романа «Les bijoux indiscrets» (см. объясненіе къ стихотворенію «Рѣки» въ т. I, стр. 420).

Діана (у грек. Артемида) въ рим. миѳол.—дочь Зевса и Латоны, сестра Аполлона, богиня охоты, у грековъ—богиня луны. Оставшись вѣчной дѣвственницей, она вмѣстѣ съ многочисленной свитой нимфъ проносится по полямъ и лѣсамъ за добычей.

Дій—Зевесъ. *Сынъ Дія* (въ стих. «Четыре вѣка» т. I, стр. 143), см. *Вулканъ*.

Діогенъ («Разбойники», т. I, стр. 215) — греческій философъ (414—324 г. до Р. Хр.), ходилъ днемъ съ фонаремъ по аѳинскому рынку и на вопросъ, чего онъ ищетъ, отвѣчалъ: «Человѣка!».

Діомедъ—одинъ изъ участниковъ Троянской войны, царь Аргоса, знаменитый своей храбростью и благородствомъ, отчего въ его уста вложена въ «Торжествѣ побѣдителей» похвала врагамъ.

Діона—см. Афродита.

Діонисъ—см. Вакхъ.

Діоскуры—сыновья Леды (см.)—Касторъ—сынъ Тиндарея (и потому смертный) и Поллуксъ—сынъ Зевса (и потому безсмертный). По смерти Кастора Зевсъ, снизойдя къ мольбѣ Поллукса, позволилъ имъ раздѣлить безсмертіе: пока одинъ пребывалъ на Олимпѣ, другой смѣнялъ его въ могилѣ. Ихъ изображали съ путеводною звѣздочкой или огонькомъ надъ головой и считали покровителями моряковъ. («Боги Греціи», строфа 11). Ихъ двойственная судьба была олицетвореніемъ разсвѣта и сумерекъ: отсюда въ «Художникахъ» (т. I, стр. 39):

«Тогда явился намъ на Поллукса склоненный
Съ поникшимъ факеломъ Кастора ликъ младой».

Доминиканецъ («Донъ Карлосъ», «Фіеско», «Валленштейнъ»)—монахъ изъ ордена, основаннаго въ 1212 году Доминикомъ де Гусманъ (1170—1221), впослѣдствіи возведеннымъ въ святые католической церковью. Получивъ отъ папы Иннокентія III порученіе очистить Францію отъ еретиковъ, особенно отъ альбигойцевъ, онъ учредилъ тамъ инквизиціонные суды. О немъ говоритъ король Филиппъ въ «Донъ Карлосѣ», стр. 134.

Домъ-Реми («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 486)—см. Вокулеръ.

Донаувертъ («Пикколомини», т. II, стр. 235)—баварскій городокъ у верховьевъ Дуная, до 1607 г.- вольный имперскій городъ.

Дріады—см. Нимфы.

Друиды («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 470)—жрецы древнихъ кельтовъ, почитали старые дубы, въ сѣни которыхъ отправлялось богослуженіе. Съ водвореніемъ христіанства дубы эти продолжали считаться священными.

Дюнуа («Орлеанская дѣва»), оффиціально назывался до 1439 г. — когда онъ получилъ титулъ графа Дюнуа—«Бастардъ Орлеанскій». Побочный сынъ герцога орлеанскаго Людовика, убитаго въ 1407 г. по наущенію Іоанна бургундскаго: онъ род. въ 1402 г., былъ сверстникомъ и товарищемъ Карла VII, знаменитъ своими воинскими подвигами и умеръ въ 1468 г.

Дю Шатель («Орлеанская дѣва»)—Таннегюи du Chatel, выдающійся полководецъ Карла VII, убійца Іоанна бургундскаго, отца Филиппа Добраго.

Египетъ («Поликратовъ перстень», т. I, стр. 102)—одна изъ культурнѣйшихъ странъ древности. Правленіе Амазаса (570 г. за Р. Хр.)—высшая точка расцвѣта культуры—передъ паденіемъ самостоятельности государства.

Екатерина («Марія Стюартъ», т. II, стр. 405)—Катарина Медичи, вдова короля Франціи Генриха II, современница Елизаветы англійской, правила Франціей, вмѣсто своего малолѣтняго сына Карла IX (1560—1574). Варѳоло-

меевская ночь была въ значительной степени дѣломъ Эея рукъ.

Елевзинскій домъ – см. Элевзинъ.

Елена (прекрасная)—дочь Леды, сестра Діоскуровъ, знаменитая въ древности своей красотой, сперва жена Тезея, затѣмъ Менелая, украденная у него Парисомъ и потому ставшая причиной Троянской войны.

Елизавета Валуа («Донъ Карлосъ»), королева испанская (1545—1568), дочь короля французскаго Генриха II и Екатерины Медичи. Была помолвлена съ наслѣднымъ принцемъ испанскимъ Донъ-Карлосомъ, но въ 1559 г. вышла за его отца, отъ котораго имѣла двухъ дочерей.

Елисавета («Вильгельмъ Тель», т. III, стр. 146)—вдова убитаго Альбрехта I, вполнѣ раздѣлявшая его отношеніе къ Швейцаріи; она родила двадцать человѣкъ дѣтей и умерла въ 1313 году.

Елисей («Разбойники», т. I, стр. 247) — собственно Элеазаръ, старый слуга Авраама (Бытіе, XV, 2).

Елисейскія поля, Елисей (Боги Греціи), см. Элизіумъ.

Жижка Янъ («Пикколомини», т. II, стр. 277)—первый предводитель гусситскаго возстанія (1419—1434), котораго послѣ его смерти смѣнили—Прокопы Большой и Малый.

Заала («Валленштейнъ», т. II, стр. 218)—три рѣки въ Германіи; здѣсь говорится о притокѣ Эльбы, въ Саксоніи.

Заганъ («Пикколомини», т. II, стр. 285)—правильнѣе Сагань, княжество въ нижней Силезіи, см. сл. Глацъ.

Зевсъ (у римлянъ Юпитеръ) — главный изъ боговъ греко-римской религіи, сынъ Кроноса (см.) и Реи (поэтому *Кронидъ*). Вступивъ въ союзъ съ братьями въ борьбу съ отцомъ, онъ свергъ Кроноса, побѣдивъ при этомъ Титановъ (см.). Онъ—воплощеніе мужественнаго, оплодотворяющаго начала въ природѣ; поэтому ему приписывается, кромѣ законныхъ женъ (Өемида, Гера)—еще множество мимолетныхъ связей и дѣтей, къ которымъ принадлежатъ богъ Аресъ, Гефестъ, Геба, Персефона. Аполлонъ. Діана, Меркурій, Венера, Вакхъ, Музы, Граціи, Діоскуры и много другихъ. Будучи высшимъ двигателемъ природы, Зевсъ особенно проявляется въ такихъ ея величественныхъ феноменахъ, какъ громъ («Элевзинскій праздникъ») и молнія; отсюда его названіе «Громовержецъ» и аттрибутъ—символъ бури щитъ (эгида) съ изображеніемъ страшной Горгоны («Торжество побѣдителей»: «И носящему Горгону богу смертныхъ и боговъ»); другой его аттрибутъ – орелъ («Счастье», т. I, стр. 117): «Съ неба орлу-громоносцу Кроніонъ велитъ ниспускаться» («Элевзинскій праздникъ», т. I, стр. 121: «Зевсовъ пламенный орелъ»). Создатель людей, Зевсъ можетъ олицетворять всякое явленіе природы, напр., небо («Жалоба Цереры», стр. 73: «безоблачный Зевесь»). Объ изваяніи Зевса, упоминаемомъ въ «Художникахъ» (стр. 40) — см. объясненіе къ этому стихотворенію. Стигійскій Зевсъ (стих. «Пенія», т. I, стр. 125)—Плутонъ.

Зеландія («Орлеанская дѣва», т. II, 473) голландская провинція, расположенная на островѣ у устья Шельды. Къ Бургундіи она перешла, равно какъ другія здѣсь названныя области, значительно позже.

Знаимъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 329) – городъ въ Моравіи.

Зюдерманландъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 297) – область въ Швеціи, на югъ отъ озера Меларъ.

Иберъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 87)—собственно названіе деревни въ кантонѣ Швицъ, а затѣмъ уже фамиліи поселянина, бывшаго амманомъ этой деревни въ 1312 г. Тестемъ Телля онъ не былъ.

Ивикъ («Ивиковы журавли», т. I, стр. 106)—греческій поэтъ изъ Регіума въ Южной Италіи, современникъ Анакреона (6 в. до Р. Хр.). Изъ многочисленныхъ лирическихъ произведеній его сохранилось лишь нѣсколько отрывковъ. Ср. т. I, стр. 431.

Ида («Семела»)—священная для древнихъ грековъ гора на островѣ Критѣ, вершина которой покрыта вѣчнымъ снѣгомъ, мѣсто рожденія Зевса; поэтому «отъ Генуса (Балканъ) до Иды» («Семела») – по всей Греціи. Другая гора того же наименованія лежитъ въ Троядѣ въ Малой Азіи надъ Троей и о ней упоминается въ стих. «Гомериды».

Изабелла («Орлеанская дѣва») или Изабо, баварская принцесса, четырнадцати лѣтъ отдана за Карла VI французскаго, распутство котораго вскорѣ перешло и къ его женѣ. Когда въ 1393 г. Карлъ сошелъ съ ума, вліяніе Изабо на государственныя дѣла сдѣлалось весьма значительно. Ставъ наслѣдникомъ престола, сынъ ея Карлъ, которому она не позволила предсѣдательствовать въ государственномъ совѣтѣ и противъ котораго интриговала, выслалъ ее въ Туръ подъ строгій надзоръ. Ей удалось освободиться, и она, войдя въ соглашеніе съ герцогомъ Іоанномъ Бургундскимъ, въ 1419 г. вступила въ Парижъ. Она ненавидѣла своего сына Карла и дѣятельно поддерживала притязанія на французскую корону короля англійскаго Генриха V. Побѣжденная Изабелла жила въ Парижѣ среди всеобщаго презрѣнія и умерла въ 1439 г.

Изида (въ стих. «Покрытый истуканъ въ Саисѣ», т. I, стр. 58)—древне-египетская богиня, обыкновенно упоминается въ связи съ ея супругомъ и братомъ Озирисомъ. Она была главнымъ образомъ олицетвореніемъ плодородной египетской земли, оплодотворяемой Ниломъ-Озирисомъ. Понемногу кругъ религіозныхъ представленій, связанныхъ съ Изидой, расширялся. Она сдѣлалась царицей преисподней и судьей усопшихъ, хранительницей всѣхъ нравственныхъ основъ человѣческой жизни, основательницей мистерій, мудрѣйшей изъ людей, боговъ и духовъ. Ей приписывалось изобрѣтеніе различныхъ медицинскихъ средствъ, магическихъ формулъ (отсюда ея эпитетъ «великая волшебница»), знаніе сокровенныхъ вещей и т. п. Позднѣйшіе философы объявляли ее *единой* божественной силой, къ которой сводится всѣ проявленія жизни.

Изолани («Валленштейнъ») графъ Іоганнъ Людвигъ Гекторъ Isolani (1580—1640)—императорскій полководецъ въ тридцатилѣтнюю войну, родомъ изъ Кипра, начальникъ кроатовъ. Въ 1631—32 г. потерпѣлъ пораженіе при Зильбакѣ и Люценѣ; за отпаденіе отъ Валленштейна получилъ графское достоинство и часть имѣній герцога Фридландскаго.

Иксіонъ («Семела», т. I, стр. 165), въ греч. миѳол. – царь лапиѳовъ въ Ѳессаліи. Зевсъ ему покровительствовалъ и даже приглашалъ къ столу безсмертныхъ. Но Иксіонъ сталъ добиваться любви цѣломудренной Юноны, а когда былъ отвергнутъ, хвасталъ ея благосклонностью. За это Зевсъ низвергъ его въ Тартаръ, гдѣ онъ привязанъ къ вѣчно вращающемуся огненному колесу. Эти мученія и имѣетъ въ виду Семела.

Иліонъ—см. Троя.

Илло («Валленштейнъ»)—баронъ Христіанъ фонъ Illow или Illow (1580—1634), одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ сподвижниковъ Валленштейна. Роль его въ заговорѣ и его гибель въ Эгерѣ изображены въ драмѣ согласно исторіи, изъ которой извѣстно также, что первоначально Валленштейнъ его терпѣть не могъ за чванство и сварливость.

Иммизее («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 138) или Иммензее—городокъ на берегу Цугскаго озера, на сѣверъ отъ Кюснахта, неподалеку отъ дороги, гдѣ убилъ Гесслера.

Ингольштадтъ («Смерть Валленштейна», т. II, стр. 360)—баварская крѣпость на Дунаѣ.

Инквизиція («Донъ Карлосъ») – отъ лат. inquisitio – разслѣдованіе, духовный судъ католической церкви для розыска и преслѣдованія еретиковъ. Въ Испаніи введена въ 1480 г. и при Филиппѣ II достигла наивысшаго могущества; за четыре вѣка своего существованія въ Испаніи (1480—1808) сожгла здѣсь тридцать двѣ тысячи человѣкъ; наказаны тюрьмой, галерами, конфискаціей имущества около трехсотъ тысячъ человѣкъ.

Инфантъ, инфанта («Донъ Карлосъ») — дѣти испанскаго короля.

Иперн («Варбекъ») - значительный городъ въ нидерландской провинціи Западной Фландріи.

Ириній—то же, что *Эриній* (см. Эвмениды).

Ириса, чащ: Ирида—въ греч. миѳол. - богиня радуги и дождя, дочь морского бога Тавманта и океаниды Электры. Внезапное появленіе радуги сдѣлало юную богиню подобно Меркурію—вѣстницей боговъ. Поэты видѣли въ ней олицетвореніе не только радуги («Прогулка», т. I, стр. 63—«Ирисы полетъ»), но и вообще свѣта, краски («Жалоба Цереры», («Идеалы и жизнь»). Изображается всегда летящей, съ жезломъ и крыльями.

Иродъ—правитель Іудеи, когда она была римской провинціей, жилъ отъ 38 г. до Р. Хр. до 2 г. по Р. Хр. Умѣлый политикъ, онъ ловко лавировалъ между язычествомъ, къ которому склонялись его убѣжденія, и еврейскимъ духовенствомъ. Поэтому въ «Лагерѣ Валленштейна» (стр. 224) — «лукавый Иродъ—лисица (Ев. Луки, 13,32).

Истмъ (Ивиковы журавли»), т. I, стр. 106); «Боги Греціи», (т. I, стр. 32) -- древнее названіе Коринѳскаго перешейка (между Элладой и Пелопоннесомъ), гдѣ происходили славныя въ древней Греціи Истмійскія игры.

Итака («Одиссей», т. I, стр. 45) — одинъ изъ Іонійскихъ острововъ, родина и царство Одиссея.

Ифестъ («Счастье», стр. 118)—см. Гефестъ.

Ицѣйо («Валленштейнъ», т. II, стр. 216), правильнѣе Ицеге («Yitzehö») - городокъ въ герцогствѣ Гольштинскомъ.

Іезавель («Орлеанская дѣва»), т. II, стр. 473)—преступная жена царя израильскаго Ахава, водворившая въ народѣ идолопоклонство (1 кн. Цар. гл. XVIII—XXI). Несправедливость Іезавели особенно проявилась въ дѣлѣ о виноградникѣ Навуѳея. Выброшенная изъ окна, она была растоптана всадниками и растерзана собаками, а имя ея стало названіемъ всякаго нечестія.

Іезуиты («Смерть Валленштейна», т. II, стр. 346, въ «Маріи Стюартъ», т. II, стр. 395—«общество Іисуса»)—католическій духовный орденъ, основанный въ 1540 г. Игнатіемъ Лойолой и имѣющій цѣлью распространеніе и поддержаніе католичества. Строгая дисциплина, совершенно уничтожающая личность подчиненнаго, и особая тактика, опирающаяся на своеобразную мораль — «цѣль освящаетъ средства», сообщила ордену чрезвычайное могущество, но сдѣлала его ненавистнымъ. Изгнанные почти изъ всѣхъ европейскихъ странъ, іезуиты продолжаютъ тайно свою дѣятельность.

Іеровоамъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223)—первый царь израильскій обратился къ язычеству и поклонялся золотому тельцу.

Іисусъ Навинъ («Лагерь Валленштейна») — преемникъ Моисея, ставшій по его смерти во главѣ народа іудейскаго, выведшій его въ Ханаанъ, покоривъ при этомъ языческія племена.

Іоанниты—Іерусалимскій духовный и рыцарскій орденъ св. Іоанна, возникшій въ половинѣ XI вѣка. Члены этой общины приносили обѣтъ бѣдности, цѣломудрія, послушанія и борьбы съ невѣрными. Орденъ возникъ изъ кружка бенедиктинскихъ монаховъ, присланныхъ въ Іерусалимъ для ухаживанія за больными и ранеными. На этомъ соединеніи двухъ съ виду противоположныхъ обязанностей основана тема стихотворенія «Іоанниты» (т. I, стр. 49). См. Мальтійцы и Родосъ.

Іоаннъ (Духовидецъ», т. III, стр. 357), а не «ученикъ Іоанна» какъ неправильно передано въ переводѣ выраженіе der junger Johannes - младшій евангелистъ, горячо любимый Христомъ, какъ извѣстно, достигшій глубокой старости. Въ связи съ этимъ сложилась легенда о его безсмертіи, основанная на словахъ Спасителя: «Онъ останется пока Я приду» (Матѳ. 16, 28). Но повѣрье это отвергается Ев. Іоанна, 21, 1, 24.

Іоаннъ Парриципда («Вильгельмъ Телль»)—племянникъ императора германскаго Альбрехта I убившій своего дядю за то, что тотъ не отдалъ ему его наслѣдія, герцогства швабскаго—и за это прозванный Парриципда, т. е. отцеубійца. Совершивъ убійство, онъ бѣжалъ въ монашескомъ одѣяніи въ Италію и умеръ въ Пизѣ—или, по другимъ свѣдѣніямъ—въ своемъ помѣстьѣ въ 1368 году.

Іонія—средняя часть малоазіатскаго побережья, гдѣ были расположены греческія колоніи, а также прежнее названіе части древней Ахаіи, у Шиллера вообще Греція. «Цвѣтокъ Іоніи» (Художники», т. I, стр. 41) намекъ на тѣ художественныя произведенія античной Греціи, которыя были привезены въ Италію и здѣсь пробудили вдохновеніе въ ея великихъ поэтахъ.

Іовъ («Димитрій Самозванецъ»)—первый патріархъ всероссійскій (избр. въ 1589), въ государственной жизни не игралъ замѣтной роли и былъ послушнымъ сторонникомъ Бориса Годунова. При появленіи Самозванца, дѣйствовалъ въ интересахъ Бориса, затѣмъ Ѳеодора, за что несмотря на свою присягу Самозванцу (ср. т. III, стр. 299), лишенъ въ 1605 г. патріаршества и сосланъ въ Старицкій монастырь, гдѣ и умеръ въ 1607 г. Тѣло его въ 1652 г. перенесено въ Москов. успенскій соборъ. По Гефену, которымъ пользовался Шиллеръ, Гришка Отрепьевъ, посвященный нѣкогда Іовомъ въ санъ діакона, былъ его писцомъ.

Іорданъ («Разбойники», т. I, стр. 213) — главная рѣка Палестины.

Іорикъ («Прогулка подъ Липами» т. III, стр. 306)—шутъ, о которомъ бесѣдуетъ на кладбищѣ Гамлетъ, держа его черепъ въ рукахъ.

Іоркъ («Варбекъ»)—герцогскій титулъ, который англійскіе короли давали членамъ своего дома. Получивъ его отъ короля Эдуарда III, четвертый сынъ его, Эдмундъ, сдѣлался основателемъ дома Іорковъ или Іоркской линіи Плантагенетовъ («Бѣлой Розы»)—по цвѣтку въ гербѣ), между тѣмъ какъ старшій братъ его Іоаннъ, сталъ родоначальникомъ линіи Ланкастеровъ («Алой Розы»). Долгая кровопролитная война (1451—1485) между обоими домами изъ-за англійской короны носитъ названіе «войны Алой и Бѣлой Розы».

Іосифъ («Разбойники», т. I, стр. 196) — не Іосифъ Прекрасный, какъ ошибочно передано въ переводѣ, но Іосифъ Флавій, еврейскій историкъ (37—93 г. по Р. Хр.), написавшій извѣстную «Исторію еврейской войны».

Іохимсталь («Валленштейнъ», т. II, стр. 346)—правильнѣе Іоахимсталь, городокъ въ Богеміи, на сѣверо-востокѣ отъ Эгера, у саксонской границы.

Іэгу («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 224)—десятый царь израильскій, извѣстный своими преступленіями, а также поклоненіемъ Ваалу.

Каббала («Духовидецъ» — тайное теософическое ученіе іудеевъ, мистическая философія религіи; возникло приблизительно за 3 вѣка до Р. Хр., сохранялось въ устномъ преданіи и около XII в. по Р. Хр. образовало обширную школу и литературу. Средневѣковыя магическія и мистическія ученія много пользовались каббалой.

Кадиксъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 179) — военный портъ на атлантическомъ побережьи Испаніи.

Кадмъ («Семела», т. I, стр. 162)—въ греч. миѳол.—сынъ финикійскаго царя Агенора; отыскивая свою сестру Европу, уведенную Зевсомъ, онъ прибылъ въ 1550 г. до Р. Хр. въ Беотію, основалъ здѣсь Ѳивы («городъ Кадма»). Онъ былъ женатъ на Гармоніи и имѣлъ отъ нея дочь Семелу. Мѣсто, гдѣ онъ построилъ Ѳивы, было охраняемо дракономъ; при помощи Аѳины, Кадмъ убилъ дракона и посѣялъ его зубы, изъ которыхъ выросли воины, сперва бросившіеся на Кадма, но потомъ перебившіе другъ друга. Осталось только пять воиновъ, которые помогли Кадму построить городъ и стали родоначальниками пяти знатнѣйшихъ ѳиванскихъ родовъ. На это преданіе о потомствѣ драконовыхъ зубовъ и намекаетъ Валленштейнъ (т. II, стр. 306).

Кадуцей («Геркуланумъ и Помпея», т. I, стр. 71)—жезлъ Гермеса (см.).

Кале («Марія Стюартъ», т. II, стр. 405) — городъ на сѣверномъ побережьи Франціи, исходный пунктъ кратчайшаго переѣзда въ Англію (въ Дувръ).

Калліопа (сладкогласная)—муза эпической поэзіи.

Калхасъ (въ «Торжествѣ побѣдителей», т. I, стр. 148) знаменитый жрецъ и прорицатель грековъ во время осады Трои.

Каменецъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 289)—Каменецъ-Подольскій, теперь губерн. городъ на Днѣстрѣ, при полякахъ центръ каменецкой епархіи, глава которой носилъ титулъ епископа каменецкаго.

Камены—см. Музы.

Канны («Разбойники», т. I, стр. 196)—городъ въ южной Италіи, гдѣ въ 216 г. до Р. Хр. Аннибалъ нанесъ римлянамъ страшное пораженіе.

Кантъ («Философы», т. I, стр. 92) — Immanuel Kant (1724–1804), великій нѣмецкій философъ, впервые выяснившій непознаваемость вещей самихъ по себѣ («вещь въ себѣ»); мы имѣемъ дѣло только съ нашими представленіями, лишь *являющимися* намъ. При этомъ, однако, Кантъ не считалъ возможнымъ отрицать самое существованіе вещей въ себѣ; даже на такое сужденіе о нихъ мы не имѣемъ права. Это и говоритъ стихъ Шиллера:

«Обѣ являются мнѣ, все-же не признаю онѣ».

Капуцинъ («Лагерь Валленштейна», «Пикколомини»)—отъ монашескаго одѣянія съ капюшономъ—капуцей—членъ монашескаго братства, принадлежащаго къ ордену францисканцевъ и основаннаго въ 1528 г. «Капуцинъ», о которомъ говоритъ Тиффенбахъ въ «Пикколомини», стр. 238,—извѣстный патеръ Квирога.

Кардиналъ Инфантъ («Валленштейнъ»)—испанскій принцъ, имѣющій санъ кардинала. Такъ назывался принцъ Фердинандъ, сынъ Филиппа III испанскаго; будучи испанскимъ намѣстникомъ Милана, онъ былъ посланъ отсюда съ войсками на помощь германскимъ католикамъ, и въ 1634 помогъ имъ одержать важную побѣду при Нердлингенѣ.

Каринтія («Пикколомини», т. II, стр. 236)—австрійская область, лежащая по теченію Дравы, на югѣ отъ Штиріи и эрцгерцогства Австріи.

Карлсбадъ («Знаменитая женщина», т. I, стр. 35)—знаменитый своими цѣлебными водами курортъ въ Богеміи. Шиллеръ былъ здѣсь въ 1791 г.

Карлъ пятый («Донъ Карлосъ», стр. 89, «Фіеско», стр. 293)—знаменитый отецъ Филиппа II, бывшій испанскимъ королемъ и императоромъ германскимъ (1500—1556).

Карлъ VII («Орлеанская дѣва»)—сынъ Карла VI французскаго, род. въ 1403 г., со смерти своего старшаго брата сдѣлался наслѣдникомъ престола (дофиномъ), а по смерти отца короновался въ Пуатье, такъ какъ Реймсъ былъ въ рукахъ непріятеля. Карлъ VII былъ слабъ и взялъ и всецѣло подчинялся вліянію своихъ любимцевъ, изъ коихъ важнѣйшаго—Ла-Требуйля – Шиллеръ совсѣмъ обошелъ молчаніемъ.

Кармелиты («Коварство и Любовь», т. II, стр. 64 «Духовидецъ»)—монашескій орденъ, основанный въ XII вѣкѣ пилигримами на горѣ Кармель въ Палестинѣ подъ руководствомъ Бертольда изъ Калабріи.

Картезіанцы (ихъ монастыри упомянуты въ «Смерти Валленштейна», т. II, стр. 369, «Донъ Карлосъ», т. II, стр. 124)—монашескій орденъ, основанный св. Бруно въ 1084 г. въ пустынѣ Шартрезъ (подлѣ Гренобля въ южной Франціи).

Картушъ («Разбойники», т. I, стр. 193) — знаменитый французскій разбойникъ начала XVIII вѣка, колесованный въ 1721 г. Его біографъ разсказываетъ: «На пыткѣ онъ не назвалъ своихъ сообщниковъ; но, привезенный на мѣсто казни, онъ окинулъ взоромъ площадь, въ надеждѣ, что его товарищи освободятъ его. Тогда увидавъ, что надежды его обманули, онъ выдалъ всѣхъ сообщниковъ». Быть можетъ, это сообщеніе было основой разсказа объ освобожденіи Реллера.

Карѳагенъ («Карѳагенъ», т. I, стр. 70) — великое западно-финикійское государство на сѣверѣ Африки, долго враждовавшее съ Римомъ и окончательно уничтоженное имъ въ 146 г. до Р. Хр.

Кассандра («Кассандра», т. I, стр. 145)—въ греч. миѳол.—дочь царя Пріама и Гекубы; ея красота соблазнила Феба, который обѣщалъ ей за ея благосклонность даръ пророчества; Кассандра приняла подарокъ бога, но отказалась исполнить свое обѣщаніе. Тогда разгнѣванный Фебъ, не имѣя возможности взять свой подарокъ обратно, присоединилъ къ нему особое свойство: пророчества Кассандры были вѣрны, но отнынѣ никто имъ не вѣрилъ; понятно, что пророчица казалась всѣмъ безумной.

Кассій («Разбойники», т. I, стр. 342)—Гай Лонгинъ Кассій — знаменитый римскій республиканецъ, создатель заговора противъ Цезаря, послѣ его убійства воевавшій съ главарями Рима въ Македоніи. Разбитый въ битвѣ при Филиппахъ, лишилъ себя жизни.

Кассіопея («Валленштейнъ», т. II, стр. 362)–созвѣздіе на сѣверной сторонѣ неба, въ млечномъ пути; имѣетъ форму W.

Кастилія («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 95)—старинное названіе двухъ самостоятельныхъ частей, на которыя раздѣлилась Испанія (Старая и Новая Кастилія); поэтому *кастилецъ* («Мальтійцы», т. III, стр. 249)—правильнѣе кастильянецъ—то же, что испанецъ.

Кастоpъ («Художники», т. I, стр. 89) — см. Діоскуры.

Католонія («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137) — испанская провинція у Средиземнаго моря отъ Пиринеевъ до устья Эбро. Заговоръ, о которомъ говоритъ Шиллеръ, конечно, не былъ открытъ Позой, но, дѣйствительно, имѣлъ мѣсто; зачинщикомъ его былъ опальный государственный секретарь Филиппа II Антоніо Перецъ.

Квестенбергъ («Валленштейнъ»)—камергеръ и военный совѣтникъ; считался при дворѣ сторонникомъ Валленштейна и потому былъ посланъ для переговоровъ въ Пильзенскій лагерь.

Квирога («Пикколомини», стр. 238)—Фра Діего de Quiroga, патеръ, духовникъ королевы Анны венгерской, одинъ изъ главныхъ дѣятелей Вѣнской придворной партіи.

Кенигрецъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 329)—крѣпость въ восточной Богеміи.

Кентавръ («Помпея и Геркуланумъ», т. I, стр. 71)—или употребительнѣе центавръ, какъ въ переводѣ Кретева (стр. 399)—въ греч. миѳ.—баснословное существо, получеловѣкъ, полулошадь: излюбленное изображеніе древнегреческой пластики, особенно въ свитѣ Вакха, колесницу котораго иногда везли центавры; вакханка на центаврѣ – изображеніе, найденное въ Помпеѣ.

Кейкобадъ («Турандотъ», т. III, стр. 174)—это имя носили многіе изъ представителей исламитскихъ династій въ Малой Азіи, основавшихъ здѣсь обширное Корасанское царство.

Кентенъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 135) — см. Сенъ Кентенъ.

Керьвальдъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 105)—см. Унтервальденъ.

Кернъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 93)–правильнѣе Кернсъ—главный городъ кантона Унтервальденъ, между Стансомъ и Сарненомъ, на Аа, впадающей въ озеро Четырехъ кантоновъ.

Кильдарэ («Варбекъ»), правильнѣе Кильдеръ — Джеральдъ Фицджеральдъ, восьмой графъ Kildare (ум. въ 1513 г.), былъ любимцемъ королей Эдуарда IV и Ричарда III; позже помогалъ Іоркскимъ претендентамъ противъ Генриха VII, но, примирившись съ королемъ, былъ назначенъ его уполномоченнымъ въ Ирландіи. Современныя хроники называютъ его «великимъ графомъ».

Кинскій («Валленштейнъ») — графъ Вильгельмъ Kinsky, чешскій вельможа, вѣрный приверженецъ Вал-

ленштейна, убитый одновременно съ Терцкимъ и др. Его семья ненавидѣла царствующій домъ, виновный въ преждевременной смерти его отца. Исполнитель тайныхъ плановъ Валленштейна, онъ велъ независимо отъ него переговоры съ Франціей.

Киприда—см. Афродита.

Кипръ («Фіеско», т. I, стр. 273)—островъ у береговъ Малой Азіи. «Нектаръ Кипра» — густое и крѣпкое кипрское вино.

Клермонъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 479) - городъ во Франціи, главный городъ Оверни).

Кліо (слава) муза исторіи.

Клопштокъ (Предисловіе къ «Разбойникамъ») - Фридрихъ Готтлибъ Klopstock, нѣмецкій поэтъ (1724 1803)— авторъ эпопеи «Мессіада», очень почитаемой, но давно уже мало читаемой.

Кольято («Пикколомини», т. II, стр. 234) Реймбольтъ графъ von und zu Colalto (1579—1630) — ближайшій другъ и сподвижникъ Валленштейна, не былъ въ живыхъ во время его убійства.

Колизей («Марія Стюартъ», т. II, стр. 394) - громадный и величественный амфитеатръ въ Римѣ, сооруженный въ 69—70 г. по Р. Хр. императоромъ Веспасіаномъ.

Комъ - см. Вулканъ.

Конетабль —(«Валленштейнъ», «Орлеанская Дѣва»)— отъ латинск. comes stabuli, начальникъ конюшни — придворное, а затѣмъ военное званіе у французовъ, уничтоженное Людовикомъ XIII (1627 г.). Коннетабль, о которомъ говоритъ Дюпуа въ I д. I явл. «Орлеанской Дѣвы»— главнокомандующій Ричмондъ. Конетабль бурбонскій Карлъ, тяжело оскорбленный Францискомъ I, перешелъ на службу къ Карлу V (1523), подъ знаменами котораго палъ подъ Римомъ въ 1527 г.

Конфуцій — китайскій мудрецъ, жившій въ 551—478 г. до Р. Хр. и чтимый въ Китаѣ, какъ божество; онъ излагалъ свое нравственное ученіе въ видѣ небольшихъ изреченій и притчъ.

Корела («Димитрій Самозванецъ») Андрей — атаманъ донскихъ казаковъ; убѣдившись въ томъ, что имѣетъ дѣло съ подлиннымъ царевичемъ, сдѣлался сторонникомъ Лжедимитрія и доставилъ ему помощь казацкихъ отрядовъ. Вмѣстѣ съ другимъ приверженцемъ самозванца, Акинфіевымъ занялъ Кромы и выдержалъ здѣсь осаду московскихъ войскъ (1605).

Коринеъ («Шиковы журавли», т. I, стр. 106) — одинъ изъ могущественнѣйшихъ и богатѣйшихъ городовъ древней Греціи у перешейка, соединяющаго Элладу съ Пелопоннесомъ. *Акрокоринеъ*—крѣпость (кремль) Коринеа.

Корнари («Духовидецъ», т. III, стр. 384) – правильнѣе Корнаро - аристократическій родъ въ Венеціи. Дворцовъ Корнаро здѣсь четыре; Шиллеръ имѣетъ въ виду, вѣрно, знаменитый pallazzo Corner della Regina возвышенный на мѣстѣ дома, гдѣ родилась королева кипрская Катарина Корнаро.

Коромандель («Фіеско», т. I, стр. 281)—восточный берегъ передней Индіи, откуда привозили на корабляхъ восточные товары.

Корсары—(«Мальтійцы», т. III, стр. 246) — первоначально провансальское (отъ corsa—погоня), а затѣмъ общеевропейское названіе морскихъ разбойниковъ. Здѣсь говорится о средневѣковыхъ корсарахъ, имѣвшихъ убѣжище и крѣпкую организацію въ сѣверной Африкѣ. Алжирцы занимались морскимъ разбоемъ даже въ первой половинѣ XIX в., пока французское правительство не захватило Алжиръ.

Кортесы («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 166) — верховный судъ Испаніи, состоявшій изъ представителей сословій и короля и ограничивавшій власть послѣдняго. Карлосъ—грандъ и потому не могъ быть посаженъ подъ арестъ безъ разрѣшенія кортесовъ. Филиппъ II въ 1591 г. значительно съузилъ ихъ права.

Котурнъ («Іереміада», т. I, стр. 90); «Тѣнь Шекспира», т. I, стр. 93)—высокіе башмаки, употреблявшіеся трагическими актерами въ древней Греціи для того, чтобы казаться выше. Въ переносномъ смыслѣ употребляется, какъ у насъ—*ходули*.

Коцитъ (собств. - рыданія) — въ греч. миѳол.—рѣка въ преисподней, впадающая въ Ахеронъ (см.).

Краковъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 279)— большой городъ въ польской Галиціи на Вислѣ.

Креси («Орлеанская Дѣва», т. II, стр. 490) - правильнѣе Кресси—мѣстечко въ Пикардіи, при которомъ Эдуардъ III король Англіи въ 1346 г. разбилъ войска Филиппа VI французскаго, что стоило французамъ тридцати тысячъ убитыхъ, а англичанамъ доставило городъ Кале.

Критъ («Поликратовъ перстень», т. I, стр. 102) – самый южный, большой островъ греческаго Архипелага; въ древности былъ извѣстенъ сильнымъ на морѣ и благоустроеннымъ государствомъ Мудраго Миноса.

Кронидъ или Кроніонъ («Счастье» пер. Жуковскаго) — сынъ Кроноса, т. е. Зевсъ.

Кронос — у рим. Сатурнъ; по Гезіоду сынъ Урана (неба) и Геи (земли), отецъ древнихъ боговъ, властелинъ вселенной во время *золотого вѣка*, а также воплощеніе безконечнаго *времени*.

Ксенія («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 298)— дочь Бориса Годунова; убивая и брата и мать, ее пощадили для потѣхи Лжедимитрія, который сдѣлалъ ее своей возлюбленной, но по требованію Маріи Мнишекъ отослалъ ее въ Бѣлозерскій монастырь, гдѣ она постриглась; при Шуйскомъ она жила въ Троицк. Московскомъ монастырѣ; умерла въ 1622 г. Любовь между нею и молодымъ Мих. Ѳеод. Романовымъ - вымыселъ Шиллера.

Кульмъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 289) – городокъ въ восточной Пруссіи, до 1618 г. принадлежалъ Польшѣ.

Купидонъ (лат. – желаніе, страсть) — не столько миѳологическое, сколько поэтическое названіе бога любви (см. Эросъ).

Кэрлъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 400) — секретарь Маріи Стюартъ шотландецъ Curl, бывшій на судѣ свидѣтелемъ противъ нея, подобно другому секретарю, французу Но (Nau). Жена Кэрла, служившая камеристкой у Маріи, получила у Шиллера имя Маргарита, потому что ему было неизвѣстно ея дѣйствительное имя — Елизавета.

Кюснахтъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 131) — городокъ у подножья Риги въ кантонѣ Швицъ на берегу озера Четырехъ кантоновъ. Недалеко отъ него, по дорогѣ въ Иммензее сохранились до сихъ поръ остатки разрушеннаго замка Гесслера.

Ла-Валетта («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137) — главный городъ на островѣ Мальтѣ, названный такъ въ честь гроссмейстера Жана де Лавалетта, одна изъ сильнѣйшихъ приморскихъ крѣпостей въ мірѣ; гавани города защищены четырьмя фортами С.-Эльмо, С.-Анжъ (св. Ангела), С.-Михаэль и Иль-Борго.

Ла-Валлеттъ («Мальтійцы», т. III, стр. 216)—великій магистръ Мальтійскаго ордена (1557—1568), давшій имя главному городу острова Мальты.

Ла-Гиръ («Орлеанская Дѣва») Этьенъ де Виньоль (1390—1448) — выдающійся приверженецъ и полководецъ Карла VII, способствовалъ освобожденію Орлеана; въ 1430 г. пытался спасти Іоанну д'Аркъ отъ англійскаго плѣна, былъ схваченъ англичанами, но спасся бѣгствомъ. Позже отличился смѣлыми походами противъ англичанъ, оставшихся во Франціи.

Лакедемонъ, см. Спарта.

Лама («Турандотъ») — буддійскій жрецъ въ Тибетѣ; *Далай-лама*—властелинъ всего Тибета, глава духовной и свѣтской власти, окруженный божественнымъ поклоненіемъ.

Ламормэнъ («Пикколомини», т. II, стр. 249) — іезу-

итскій патеръ и духовникъ императора Фердинанда. Валленштейнъ, видѣвшій въ немъ своего ожесточеннаго врага, просилъ императора не слушать его извѣтовъ, но напрасно.

Ланкастеръ («Орлеанская Дѣва», т. II, стр. 480; «Варбекъ») — англійскій родъ, къ которому принадлежалъ девятимѣсячный Гарри, подъ именемъ Генриха VI короля французскаго, коронованный въ 1422 г. и затѣмъ погибшій въ Тоуэрѣ. См. также *Горкъ*.

Ланденбергеръ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 88) — собственно Беренгаръ фонъ Ланденбергъ, назначенный императоромъ Альбрехтомъ имперскимъ фогтомъ кантона Унтервальденъ и убитый въ битвѣ при Моргартенѣ въ 1315 г.

Лаокоонъ — въ греч. миѳологіи жрецъ Аполлона въ Троѣ. Противникъ грековъ, онъ горячо возставалъ противъ того, чтобы считать оставленнаго ими деревяннаго коня священной жертвой Палладѣ, но справедливо подозрѣвалъ въ этомъ какой-то обманъ и въ гнѣвѣ даже ударилъ коня копьемъ; когда онъ съ двумя своими сыновьями готовилъ на берегу моря жертву Нептуну, на нихъ внезапно бросились двѣ громадныя змѣи, приплывшія съ острова Тенедоса, и послѣ долгой и страшной борьбы, задушили всѣхъ трехъ, а затѣмъ—въ видѣ указанія, кто ихъ прислалъ—вползли въ храмъ Аѳины и укрылись у ея ногъ. Это событіе воспроизведено въ знаменитой скульптурной группѣ древности «Лаокоонъ». Но, кажется, сравненіе въ «Идеалахъ и жизни» (т. I, стр. 55) имѣетъ въ виду дѣйствительнаго Лаокоона.

Ласкарисъ («Мальтійцы», т. III, стр. 254) — греческій полководецъ, во время неурядицъ въ Византіи (1201—1222) захватившій ея азіатскія провинціи и возложившій на себя титулъ никейскаго императора, между тѣмъ какъ Балдуинъ фландрскій съ крестоносцами занялъ въ 1204 г. Константинополь и основалъ здѣсь такъ называемую латинскую имперію. О его потомкѣ говорится въ «Мальтійцахъ».

Лауэнбургъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 325) — герцогъ Францъ von Lauenburg (1598—1642), сперва служилъ въ войскахъ Валленштейна, принималъ участіе во всѣхъ его сраженіяхъ, съ 1632 г. служилъ Густаву Адольфу, потомъ былъ саксонскимъ фельдмаршаломъ; велъ переговоры саксонцевъ и шведовъ съ Валленштейномъ и умеръ въ 1762 г. въ качествѣ шведскаго плѣнника.

Левантъ («Фіеско», т. I, стр. 288) по-итальянски востокъ, затѣмъ восточныя страны, особенно примыкающія къ Средиземному морю; *левантинскіе* товары—восточные, составлявшіе главный предметъ привозной торговли Генуи.

Левкотея — въ греч. миѳол.—мачиха Геллы (см.), которую ей удалось погубить. Взбѣшенный Атаминтъ преслѣдовалъ ее, пока она не бросилась въ море, гдѣ Посейдонъ сдѣлалъ ее морскимъ божествомъ. Она не разъ спасала мореплавателей, и потому Геро («Геро и Леандръ», т. I, стр. 137) обращается съ мольбой и къ ней.

Леда — въ греч. миѳол.—дочь Ѳестія и супруга спартанскаго царя Тиндарея, отъ котораго родила Кастора (см. Діоскуры) и Клитемнестру, и возлюбленная Зевса, который обратился въ лебедя, чтобы сблизиться съ нею; отъ этой связи родились другой Діоскуръ - Поллуксъ и Елена Прекрасная.

Лейбницъ («Философы», т. I, стр. 91) — Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646—1716)—знаменитый нѣмецкій философъ, учившій, что есть необходимыя истины, несомнѣнность которыхъ обоснована въ сущности души, безъ помощи свидѣтельства внѣшнихъ чувствъ.

Лейпцигъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 219) — городъ въ Саксоніи, подъ которымъ непобѣдимый вождь католиковъ Тилли впервые разбитъ Густавомъ Адольфомъ (7 сентября 1631 г.).

Лейстеръ («Марія Стюартъ»), Робертъ Дрэдлей, графъ Leicester (1532—1588), сынъ герцога Нортумберландскаго, фаворитъ королевы англійской Елизаветы; надѣясь на ея руку, по преданію, даже отправилъ свою жену. Несмотря на свою неспособность, былъ осыпанъ королевой почестями и богатствами. Когда Марія Стюартъ въ 1568 г. искала защиты въ Англіи, Лейстеръ сначала притворно поддерживалъ заговоръ герцога Норфолька, замышлявшаго освобожденіе Маріи, но затѣмъ выдалъ ее Елизаветѣ и открыто примкнулъ къ партіи, погубившей шотландскую королеву.

Леонидъ («Мальтійцы», т. III, стр. 255) - царь спартанскій, занявшій при нашествіи татаръ (480 г. до Р. Хр.) на Грецію горный Ѳермопильскій проходъ и павшій здѣсь геройской смертью со всѣми своими воинами. Это вдохнуло въ отчаявшихся грековъ бодрость, слѣдствіемъ которой было пораженіе персидскихъ полчищъ. Объ этомъ и говоритъ здѣсь Ла-Валетъ. Поэтическое изображеніе этого эпизода см. стих. «Прогулка» (т. I, стр. 61).

Леопольдъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144) - герцогъ австрійскій, сынъ императора Альбрехта I, двоюродный братъ Парриціды, разбитый въ 1315 г. швейцарцами при Моргартенѣ, едва спасся.

Лесли («Пикколомини») — шотландецъ (1606—1667); былъ очень близокъ къ Валленштейну, который сообщалъ ему свои планы, но предалъ герцога. Въ драмѣ значительная доля его исторической роли отдана старшему Пикколомини.

Лесли («Марія Стюартъ», стр. 395) — епископъ росскій, соучастникъ Норфолька, вынужденъ былъ въ 1573 г. бѣжать изъ Англіи.

Лета (собств. *забвеніе*)—въ греч. миѳол. рѣка въ преисподней; воду ея пили души усопшихъ, чтобы забыть свою земную жизнь. Поэтому выпить изъ Леты («Семела», т. I, стр. 162)—все равно, что умереть.

Лехъ («Пикколомини», т. I, стр. 237) — притокъ Дуная, вытекающій изъ Альпъ; здѣсь 5 апрѣля 1632 г. былъ разбитъ Тилли и получилъ рану, отъ которой вскорѣ умеръ.

Ливанъ («Разбойники», т. I, стр. 197) — высшая часть сирійскаго плоскогорья, на сѣверѣ Палестины; кедры, характерные для его растительности, часто упоминаются въ Библіи.

Лига («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 219). Когда протестантскіе государи въ 1608 году соединились въ оборонительную *унію*, католическіе владѣтели Германіи образовали подъ предводительствомъ Максиміліана Баварскаго *лигу*; поэтому *лигисты* это католики.

Ликургъ («Прогулка подъ Липами», т. III, стр. 306) - знаменитый законодатель древней Спарты. «Пепелъ Ликурга», о которомъ говорится въ разсказѣ,—намекъ на слѣдующее преданіе: когда спартанцы приняли законы Ликурга (880 г. до Р. Хр.), онъ отправился въ Дельфы узнать о мнѣніи оракула, а съ согражданъ своихъ взялъ клятву ничего не мѣнять въ его законахъ до его возвращенія. Но вмѣсто Дельфъ онъ уѣхалъ на Критъ, гдѣ лишилъ себя жизни, приказавъ передъ смертью сжечь его тѣло, а пепелъ бросить въ море, чтобы и прахъ его не возвратился на родину, и спартанцы не сочли себя освобожденными отъ клятвы.

Линней («Преступникъ изъ-за потерянной чести», т. III, стр. 315) - знаменитый шведскій естествоиспытатель (1707—1778), созданіемъ научной классификаціи проложившій новые пути разнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія, особенно ботаникѣ.

Линосъ въ греч. миѳол.—сынъ Аполлона и Ураніи, училъ Геркулеса пѣнію и музыкѣ; поэтому въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 32): «Для Линоса лира вновь отрада». По преданію, Аполлонъ убилъ Линоса за то, что тотъ вступилъ съ нимъ въ состязаніе.

Линцъ («Пикколомини», т. II, стр. 289) городъ на Дунаѣ, выше Вѣны.

Ліонель («Орлеанская Дѣва») - незаконный сынъ одного французскаго феодала (Вандома), въ 1430 г. взятый въ плѣнъ при осадѣ Компьеня Іоанну д'Аркъ и пере-

давшій ее графу де Линьи. Съ вымышленнымъ Іонелемъ драмы имѣетъ мало общаго.

Ліонъ («Дѣти дома», т. III, стр. 256)—одинъ изъ самыхъ большихъ городовъ Франціи у впаденія Соны въ Рону.

Ловерцъ («Вильгельмъ Телль»)—городокъ на юго-западномъ берегу Ловерцскаго озера.

Лоретто («Коварство и любовь», стр. 62, «Мессинская невѣста», стр. 61, «Фіеско»)—городокъ въ Италіи недалеко отъ Анконы, извѣстный своей реликвіей—св. Домомъ, гдѣ, по преданію, жила Божья Матерь; въ XIII в. ангелы перенесли св. Домъ изъ Назарета въ Лоретто, куда на поклоненіе собираются ежегодно массы богомольцевъ.

Лотарингія («Марія Стюартъ», «Донъ-Карлосъ», «Орлеанская дѣва», «Валленштейнъ») — французская (теперь германская) провинція, образовавшая самостоятельное герцогство съ главнымъ городомъ Нанси. *Лотарингскіе братья* («Марія Стюартъ», стр. 406) — полководецъ Францискъ де Гизъ (1519—1563) и архіепископъ реймскій кардиналъ Карлъ де Гизъ (1525—1574) знаменитый политикъ. Дяди Маріи Стюартъ и ревностные католики, не желавшіе признать права Елизаветы, они имѣли значительное вліяніе на политику Франціи, и сила ихъ, конечно, пугала Елизавету. *«Лотарингская дѣва»* («Рѣки», т. I, стр. 89)—см. Мозель.

Лувръ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 94) — извѣстный королевскій дворецъ въ Парижѣ, теперь художественный музей. Въ «Духовидцѣ» (т. III, стр. 342), очевидно, имѣется въ виду какое то увеселительное мѣсто въ Венеціи, названное Лувромъ.

Львовъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 281)—главный городъ полской области Галиціи.

Люблинъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 283)—польскій городъ, теперь губ. городъ Люблинской губерніи.

Людовикъ Святой («Орлеанская дѣва», стр. 474)—король французскій Людовикъ IX (1226—1270), скончавшійся въ крестовомъ походѣ во взятомъ имъ Іерусалимѣ («Іерусалимъ отсюда завоевалъ»); послѣ смерти онъ былъ признанъ святымъ, а прахъ его перекеесенъ во Францію.

Людовикъ XIII («Игра судьбы», т. III, стр. 334)—король французскій (1610 — 1643), бывшій подъ всемогущимъ вліяніемъ кардинала Ришелье.

Людовикъ («Къ Гете», т. I, стр. 131)—король французскій Людовикъ XIV (1643 — 1715), правленіе котораго запечатлѣно покровительствомъ литературѣ.

Люксембургъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 146)—великое герцогство, теперь лежащее между Рейнской провинціей Пруссіи и французскимъ департаментомъ Мозель. Во время Альбрехта I представлялъ собой графство, глава котораго, послѣ убійства императора избранный (1308) на его мѣсто, вступилъ на германскій престолъ подъ именемъ Генриха VII. Во второй половинѣ XIV столѣтія графство Люксембургъ было сдѣлано герцогствомъ, которое купилъ герцогъ бургундскій Іоаннъ Добрый, одинъ изъ героевъ «Орлеанской дѣвы», гдѣ поэтому (Прологъ, III) среди его войскъ упоминаются и люксембургцы.

Лютихъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473)—бельгійская провинція, въ XV в. принадлежавшая Бургундіи.

Люценъ («Валленштейнъ») — городокъ въ Германіи между Мерзебургомъ и Лейпцигомъ. Здѣсь 6 ноября 1632 г. произошло знаменитое сраженіе между шведами подъ начальствомъ Густава Адольфа и императорскими войсками подъ начальствомъ Валленштейна. Кровавая битва, гдѣ палъ король шведскій, не дала рѣшающаго результата: обѣ стороны должны были отступить.

Люцернъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 86)—главный городъ кантона того-же названія, одного изъ четырехъ «лѣсныхъ кантоновъ», расположенныхъ на берегу Фирвальдштетскаго озера; много вѣковъ принадлежалъ одному эльзасскому монастырю, въ 1291 году купленъ Австріей.

Магдебургъ («Лагерь Валленштейна») — крѣпость на Эльбѣ, въ 1631 г. взята и разрушена Тилли, войска котораго творили въ побѣжденномъ городѣ чудовищныя неистовства.

Мальта («Духовидецъ», «Мальтійцы») — островъ въ Средиземномъ морѣ. Главный городъ Ла-Валетта (см.).

Мальтійцы («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 187, «Мальтійцы», т. III, стр. 246)—рыцарскій орденъ, прежде носившій названіе іоаннитовъ (см.) и получившій новое названіе съ тѣхъ поръ, какъ императоръ Карлъ V въ 1530 г. далъ рыцарямъ въ ленъ островъ Мальту, который они сохраняли за собой до 1798 года. Высшаго расцвѣта слава ордена достигла при гроссмейстерѣ Ла-Валеттѣ (1557—1568), при которомъ Мальтѣ, бывшей какъ бы передовымъ постомъ Европы противъ турокъ, пришлось выдержать страшную осаду Солимана; несмотря на то, что сорокатысячному турецкому войску орденъ, тщетно молившій европейскихъ государей о помощи, могъ противопоставить лишь семьсотъ рыцарей и семь тысячъ солдатъ, турки послѣ четырехмѣсячной осады должны были отступить, потерявъ болѣе 20 тыс. человѣкъ. Орденъ имѣлъ въ концѣ XVIII в. отдѣленіе въ Россіи; въ Западной Европѣ существуетъ и теперь, обратившись въ обширную духовно-благотворительную корпорацію, распространенную и въ католическихъ и въ протестантскихъ странахъ.

Маммона («Разбойники»)—халдейское слово, обозначающее въ Новомъ Завѣтѣ (Мѳ. VI, 24, Луки XVI, 9, 11, 13), богатство, а затѣмъ и какъ бы нѣкоего злого духа, покровительствующаго богатству, божество богатства.

Мансанаресъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 124)—рѣчка, на которой стоитъ Мадридъ.

Мансфельдъ («Валленштейнъ») — Эрнстъ графъ von Mannsfeld (1580—1625), смѣлый авантюристъ, предводитель наемнаго отряда въ тридцатилѣтнюю войну, переходившій съ одной стороны на другую. Побѣдоносный противникъ Тилли былъ разбитъ Валленштейномъ въ битвѣ у Дессаускаго моста. Умеръ по пути въ Венецію, стоя въ боевомъ вооруженіи, поддерживаемый двумя слугами.

Мантуя («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 216)—городъ въ Ломбардіи, одна изъ сильнѣйшихъ итальянскихъ крѣпостей. Когда по смерти ея герцога ею владѣлъ его ближайшій родственникъ Карлъ герцогъ Немурскій, тогда Фердинандъ австрійскій послалъ армію, которая, перейдя Альпы, взяла крѣпость. Въ этомъ походѣ и участвовала маркитантка.

Маргарита («Варбекъ») — вдова Карла Смѣлаго, герцога Бургундскаго и сестра короля Англіи Эдуарда IV, проживавшая въ Брюсселѣ и здѣсь старавшаяся доставить престолъ Англіи Іоркской вѣтви, къ которой принадлежала сама. Роль ея выяснена въ объясненіи къ «Варбеку» (т. III, стр. 618).

Марій—извѣстный римскій полководецъ и государственный дѣятель (155—86 г. до Р. Хр.). Въ стихотвореніи «Достоинство мужчины» (т. I, стр. 23)—разсказъ о томъ, какъ Марій, присужденный къ казни и бѣжавшій изъ Рима, не побоялся сказать посланному за нимъ римскимъ намѣстникомъ въ Африкѣ ликтору: «скажи, что ты видѣлъ Марія на развалинахъ Карѳагена».

Марія Испанская («Марія Стюартъ», т. II, стр. 389)—старшая дочь Генриха VIII, предшественница Елизаветы, называется такъ потому, что была женой Филиппа II испанскаго; называется еще Марія Католическая за свою склонность къ католицизму, а также Кровавая за массы казней, которыми она преслѣдовала протестантовъ.

Марія Павловна (Привѣтствіе искусствъ», т. III, стр. 153) — дочь императора Павла I, вышедшая за наслѣднаго принца Веймарскаго Карла Фридриха.

Марія Шотландская («Коварство и Любовь», т. II, стр. 34)—Марія Стюартъ. См. *Говардъ Томасъ*.

Марія Ѳеодоровна («Димитрій Самозванецъ»), въ иночествѣ Марѳа, седьмая жена Іоанна IV, дочь окольни-

чаго Ѳ. Ѳ. Нагого. Замужъ вышла въ 1580 г., но вскорѣ сдѣлалась царю «неугодной»; по смерти его съ сыномъ Димитріемъ удалена на житье въ Угличъ (1584); въ 1591 г. послѣ убійства мальчика «за недосмотрѣніе за сыномъ и за убійство невинныхъ Битяговскихъ съ товарищи» пострижена въ Николовыксинской пустыни, подъ именемъ Марѳы, откуда была вызвана въ 1604 г. Борисомъ въ Москву въ связи съ появленіемъ Лжедимитрія, но ничего не открыла и была возвращена въ монастырь. Признавъ затѣмъ Димитрія своимъ сыномъ, она 18 іюля 1605 года торжественно въѣхала въ Москву, но послѣ его смерти отреклась отъ своего признанія и 3 іюня 1606 торжественно встрѣтила въ Москвѣ мощи своего сына, св. царевича Димитрія, принесенныя изъ Углича. Умерла въ Москвѣ въ 1610 г.

Марсъ — см. Аресъ. Въ «Смерти Валленштейна» — четвертая планета нашей солнечной системы.

Марна («Орлеанская дѣва») — притокъ Сены, впадающій въ нее неподалеку отъ Парижа.

Маррадасъ («Валленштейнъ») — донъ Бальтазаръ Marradas (1577—1655), испанецъ родомъ изъ Валенсіи, съ 1625 г. военачальникъ въ арміи Валленштейна, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ заговора противъ герцога, наравнѣ съ Галласомъ, Пикколомини и Альтрингеромъ.

Мартиницъ («Валленштейнъ») — см. Славата.

Марѳа («Димитрій Самозванецъ») — иноческое имя Маріи (см.), жены Іоанна VI.

Мегера — одна изъ трехъ Эвменидъ (см.).

Медина-Сидонія герцогъ («Донъ Карлосъ») — предводитель Армады или непобѣдимаго флота (т. I, стр. 354), отплывъ съ нимъ въ походъ противъ Англіи 29 мая 1588 г. изъ лиссабонскаго порта, а въ ночь на 8 августа былъ разбитъ; буря, настигшая его на обратномъ пути, уничтожила наполовину остатки флота.

Медичи («Нѣмецкая муза», т. I, стр. 139, «Марія Стюартъ») — богатый аристократическій родъ во Флоренціи, извѣстный съ XIII вѣка покровительствомъ искусствамъ и наукамъ.

Медуза («Фіеско», «Мессинская невѣста», «Турандотъ») — въ греч. миѳол. одно изъ трехъ чудовищъ западнаго океана, Горгонъ (Медуза, Стено и Эвріале). За дерзость соперничать красотой съ Аѳиной богиня обратила ея волосы въ змѣй и сообщила ея взору страшную силу обращать въ камень всякаго, кто на нее взглянетъ. Побѣдивъ ее, Персей (см.) отдалъ голову Палладѣ, которая прикрѣпила ее къ своему щиту.

Мейнрадъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 92) — отшельникъ, убитый въ 861 г. разбойниками въ своей кельѣ, на мѣстѣ которой императоръ Оттонъ I основалъ Эйнзидельнскій монастырь. Въ подлинникѣ и говорится не о «долинѣ Мейнрада», но о «кельѣ». Отсюда путь на югъ (Готардъ или Италію) идетъ черезъ Штейненъ и Швицъ.

Мейссенъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 218) — городъ въ Саксоніи, недалеко отъ Дрездена.

Мекленбургъ («Лагерь Валленштейна», «Разбойники») — германское герцогство, было отдано императоромъ Валленштейну; въ 1531 г. возвращено владѣльцамъ Густавомъ Адольфомъ.

Мельвиль («Марія Стюартъ») — два брата Эндрью и Джемсъ, долго служившіе Маріи Стюартъ и преданные ей. Эндрью 21 января 1587 г. удаленъ отъ заключенной королевы.

Мельпомена (поющая) — муза трагедіи.

Мелунъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 561), правильнѣе Мелэнъ — городокъ на Сенѣ, на востокъ отъ Парижа.

Мельхталь («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 93) — красивая долина въ кантонѣ Унтервальденъ, на востокъ отъ Сарнскаго озера; здѣсь жилъ Арнольдъ анъ-деръ-Гальденъ, носящій у Шиллера фамилію Мельхталя. Родъ анъ-деръ-Гальденовъ существовалъ еще въ концѣ XVIII ст.

Менада (по гречески — неистовая) — то-же, что вакханка (см. Вакхъ).

Мендоза («Марія Стюартъ», т. II, стр. 401) — Бернардино де Мендоза, кастелланъ ордена Св. Якова да Компостелла, былъ испанскимъ посланникомъ въ Парижѣ и Лондонѣ и умеръ въ 1605 г.

Менелай — сынъ Атрея, братъ Агамемнона, мужъ Елены, царь Спартанскій.

Ментора («Духовидецъ») — въ греч. миѳол. — другъ Одиссея и руководитель его юнаго сына Телемака.

Меонія («пѣвецъ Меоніи» въ стихотв. «Художники», т. I, стр. 38) — см. Гомеръ.

Меркурій — см. Гермесъ.

Мерлишаценъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 138) — мѣстечко между Люцерномъ и Кюснахтомъ, на берегу Фирвальдштетскаго озера.

Мессина («Мессинская невѣста») — значительнѣйшій городъ въ сѣверовосточной части Сициліи, съ обширной гаванью, неподалеку отъ Харибды (см.) древнихъ.

Микала («Семела», т. I, стр. 168) — гора въ Малой Азіи на югъ отъ Эфеса, противъ острова Самоса.

Миланъ («Донъ-Карлосъ», «Пикколомини») — главный городъ миланскаго герцогства, въ 1395 году основаннаго Галеаццо Висконти, но въ 1540 г. при Карлѣ V пожалованнаго Филиппу II и такимъ образомъ вошедшаго въ составъ испанской монархіи.

Милетъ (Поликратовъ перстень», т. I, стр. 102) — могущественнѣйшій изъ іонійскихъ городовъ Малой Азіи.

Мильтонъ («Предисловіе къ Разбойникамъ», т. I, стр. 188) знаменитый англійскій поэтъ (1608—1674), авторъ эпопеи «Потерянный рай», гдѣ значительную роль играетъ сатана.

Минерва — см. Аѳина.

Министрантъ («Путеш. въ плавильн. домъ», т. I, стр. 111) — причетникъ въ католическомъ богослуженіи (въ подлинникѣ также *сакристанъ*).

Миносъ — въ греч. миѳол. одинъ изъ трехъ судей преисподней (еще были Эакъ и Радамантъ). По Гомеру, сынъ Зевса и Европы, отецъ Федры, Ариадны, Девкаліона, былъ на землѣ царемъ Крита. Чтобы захватить власть, Миносъ увѣрилъ народъ, что близокъ къ богамъ, и, дѣйствительно, въ отвѣтъ на просьбу, получилъ отъ Посейдона жертвеннаго быка. Но, пожалѣвъ красивое животное, онъ подмѣнилъ его другимъ, за что Посейдонъ внушилъ его женѣ Пазифаѣ страсть къ этому быку; плодомъ этой противоестественной связи было чудовище Минотавръ — получеловѣкъ, полубыкъ, впослѣдствіи убитый Тезеемъ («Бой съ дракономъ», т. I, стр. 115). «Смертной внукъ» въ «Богахъ Греціи» — Миносъ, что, однако, не вполнѣ вѣрно, такъ какъ Миносъ былъ не внукъ, а сынъ смертной.

Минотавръ см. — Миносъ.

Мирандола («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 95) — городокъ въ Италіи подлѣ Модены.

Митенштейнъ («Вильгельмъ Телль») — высокая скала, выдающаяся изъ озера Четырехъ кантоновъ недалеко отъ берега, въ получасѣ ѣзды на сѣверъ отъ Рютли, съ 1860 г. — памятникъ Шиллера; изображеніе ея см. въ біографіи (т. I). Не смѣшивать съ Мюами — «вѣковымъ сосѣдомъ» стр. 81.

Миоы («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 81) — «нашъ вѣковой сосѣдъ», о которомъ говоритъ Руоди — двѣ высокія скалистыя вершины (бо́льшая 5900 фут.) недалеко отъ Швица.

Мнемозина — въ греч. миѳол. — богиня памяти — мать музъ, дочь Урана и Геи.

Мнишекъ («Димитрій Самозванецъ», т. III) Юрій, польскій магнатъ чешскаго происхожденія, воевода сендомірскій, староста львовскій и управляющій королевской экономіей въ Самборѣ, сперва близкій къ протестантамъ, сдѣ-

лался горячимъ католикомъ. Всегда стѣсненный въ средствахъ вслѣдствіе расточительной жизни, поправилъ свои дѣла бракомъ Марины. Жилъ съ дочерью въ Россіи, умеръ въ 1613 году.

Мозель («Рѣки», т. I, стр. 89) — значительнѣйшій западный притокъ Рейна, протекаетъ по Лотарингіи — и потому названъ «лотарингской дѣвой».

Молохъ («Разбойники», стр. 256)—по древне-еврейски царь—божество финикійскихъ племенъ, аммонитянъ и моавитянъ, которому они приносили человѣческія жертвы. Поэтому образъ Молоха употребляется какъ символъ дикой, губительной высшей силы. Идолъ его былъ металлическій, на протянутыя его руки клали обреченныхъ въ жертву дѣтей, а внизу разводили огонь.

Момъ (стихотвореніе «Орлеанская дѣва», т. I, стр. 134)—въ миѳол.—сынъ Ночи, богъ насмѣшки и порицанія, осмѣивавшій всѣ поступки олимпійцевъ.

Монтальто («Мальтійцы»)—рыцарь изъ итальянскаго рода, принимавшаго въ XIV вѣкѣ дѣятельное участіе въ партійныхъ распряхъ.

Монтекукули («Валленштейнъ», т. II, стр. 274)—графъ Эрнстъ Montecuculi, изъ стариннаго итальянскаго рода, генералъ-фельдцейхмейстеръ въ австрійской арміи въ тридцатилѣтнюю войну. Не смѣшивать съ его сыномъ, знаменитымъ полководцемъ Раймундомъ Монтекукуля.

Монтеро («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 480)—городокъ у впаденія Іонны въ Сену.

Моравскъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 297)—мѣстечко на Деснѣ, между Кіевомъ и Черниговомъ.

Морганъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 395)—соучастникъ Парри, бѣжавшій, по открытіи его замысловъ освободить Марію, во Францію (1573).

Морицъ Саксонскій «Разбойники», т. I, стр. 230)—незаконный сынъ Августа II, короля польскаго и курфюрста саксонскаго, замѣчательный полководецъ (1696 — 1750), проявившій свое дарованіе въ значительнѣйшихъ войнахъ своего времени и превосходный теоретикъ военнаго дѣла. Былъ на службѣ у Франціи и извѣстенъ подъ полученнымъ здѣсь титуломъ «Maréchal de Saxe».

Мстиславскій («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 282 и 294) - князь Иванъ Ѳедоровичъ, бояринъ, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ Ивана Грознаго, что не мѣшало и временнымъ опаламъ. За участіе въ заговорѣ Шуйскихъ Годуновъ сослалъ его въ Кирилловъ монастырь, гдѣ онъ немедленно умеръ (1586 г.).

Музы (у римлянъ Камены)—въ греч. миѳол. — божественныя покровительницы наукъ и искусствъ, дочери Зевса и Мнемозины (см.); мѣстопребываніемъ ихъ считались горы Парнассъ, Пиндъ, Геликонъ, повелителемъ – Аполлонъ. Среди греко-римскихъ божествъ музы производятъ впечатлѣніе особенно возвышенной одухотворенности, благородства и внутренней красоты. Онѣ направляютъ сердца къ добру, поучаютъ и воодушевляютъ смертнаго, вдохновляютъ поэта, который и призываетъ ихъ въ началѣ пѣснопѣнія. У Шиллера онѣ упоминаются очень часто («Элевзинскій праздникъ», «Художники», «Четыре вѣка» и др.). Отдѣльно изъ девяти музъ—Кліо, Калліопы, Мельпомены, Таліи, Эрато, Эвтерпы, Терпсихоры, Полигимніи и Ураніи—у него четыре—Талія («Тѣнь Шекспира»), Мельпомена («Къ Гете»), Полигимнія («Музыка»), Уранія («Художники»). Значеніе названій музъ и отрасли духовной дѣятельности, присущія каждой изъ нихъ, см. подъ ихъ именами.

Муотта («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 105)—горный ручей, протекающій по живописной долинѣ, ведущей къ Фирвальдштетскому озеру и въ Швицъ.

Мурано («Духовидецъ»)—городокъ на лагунахъ на сѣверъ отъ Венеціи, считался ея предмѣстіемъ.

Мустафа («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137) — см. Сентъ-Эльмо.

Мюллеръ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144)—лицо вымышленное, но имя дано ему въ честь извѣстнаго швейцарскаго историка Іоанна фонъ-Мюллера (1752 — 1809), совѣтами и указаніями котораго пользовался Шиллеръ при обработкѣ «Телля».

Нагіе («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 281)—дворянскій родъ, восходящій къ XIII вѣку и возвысившійся въ концѣ XVII в., когда Іоаннъ IV взялъ въ жены Марію Нагую. Еще ранѣе Евдокія Нагая была женою двоюроднаго брата Грознаго, князя Старицкаго. Братъ царицы Маріи Ѳеодоровны Михаилъ былъ сосланъ вмѣстѣ съ нею въ Угличъ. Родъ Нагихъ пресѣкся въ 1650 г., со смертью стольника Василія Ивановича Нагого.

Намуръ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473)—бельгійское графство, нѣкогда присоединенное Филиппомъ Добрымъ къ Бургундіи.

Нантъ («Дѣти дома», т. III, стр. 256)—богатый торговый городъ во Франціи у устья Луары.

Наяды—см. Нимфы.

Неаполь («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 230, «Донъ Карлосъ», т. II, стр. 95)—южная часть итальянскаго королевства, въ эпоху Филиппа II принадлежалъ Испаніи.

Нейманъ («Пикколомини», т. II, стр. 235) — Генрихъ Neumann или Niemann—очень способный офицеръ, близкій къ Валленштейну и преданный ему; у него хранилась вся тайная корреспонденція и шифръ Валленштейна. Убитъ онъ вмѣстѣ съ Илло и Терцкимъ въ Эгерѣ, но не раньше ихъ, какъ въ «Смерти Валленштейна» (III, 20). Тѣло его погребено подъ висѣлицей.

Нейштадтъ («Валленштейнъ»), т. II, стр. 346)—городокъ въ Баваріи, къ юго-западу отъ Эгера.

Нектаръ—въ греч. миѳол.—напитокъ, употребляемый богами и дающій безсмертіе и вѣчную юность. У Шиллера это слово часто употребляется какъ синонимъ наслажденія («Тайна воспоминанія», т. I, стр. 22), благоуханія и т. п.

Немезида (собств. негодованіе)—въ греч. миѳологіи—карающая богиня судьбы, дочь Эрева и Ночи, воздающая по заслугамъ за добро и зло («Ивиковы журавли» стр. 19). Какъ сила обуздывающая и упорядочивающая она приведена въ «Пляскѣ» (т. I, стр. 46).

Неоптолемъ—храбрый сынъ Ахилла (см.).

Непомукъ («Валленштейнъ») или Помукъ—городокъ въ Богеміи, мѣсто рожденія величайшаго святого и покровителя Богеміи Яна изъ Непомука.

Нептунъ—см. Посейдонъ.

Нереиды—см. Нимфы.

Неронъ («Разбойники», т. I, стр. 250) — римскій императоръ (54—68 г. до Р. Хр.), знаменитый своей безчеловѣчной жестокостью и кровавымъ самодурствомъ. Убивъ свою мать и престарѣлаго учителя Сенеку, онъ поджегъ Римъ, пожаромъ котораго любовался съ террассы дворца, и обвинилъ въ поджогѣ столицы христіанъ, которые были подвергнуты невѣроятнымъ преслѣдованіямъ.

Несторъ—одинъ изъ участниковъ Троянской войны, царь Пилоса, принявшій въ войнѣ участіе въ возрастѣ 90 лѣтъ.

Нимфы—въ греко-римск. миѳологіи—полубожества, олицетворяющія въ видѣ вѣчно-юныхъ дѣвушекъ живыя проявленія силъ природы. У Шиллера упоминаются слѣдующіе виды нимфъ: 1) *дріады*—нимфы деревьевъ и лѣсовъ; 2) *ореады*—горныя нимфы («Элевзинскій праздникъ», «Жалоба Цереры»); 3) *наяды*—нимфы ручьевъ и источниковъ («Торжество любви») и 4) *нереиды* — морскія нимфы — пятьдесятъ дочерей Нерея, морского божества.

Ницца («Духовидецъ»)—главный городъ графства Ницца на берегу Средиземнаго моря, съ 1860 г. принадлежитъ Франціи.

Ніоба (Ніобея)—въ греч. миѳол.—дочь Тантала и Діоны, жена греческаго царя Амфіона. Возгордившись своими четырнадцатью (по Гомеру—двѣнадцатью) дѣтьми, она

сравнивала себя съ Латоной, матерью Феба и Артемиды; оскорбленная такимъ высокомѣріемъ, Латона приказала своимъ дѣтямъ перебить стрѣлами дѣтей Ніобы; девять дней лежали убитые безъ погребенія, такъ какъ Зевсъ обратилъ всѣхъ людей въ камень; наконецъ, на десятый день боги похоронили ихъ. Мать, окаменѣвшая отъ горя, такъ и обратилась въ каменную скалу. Отсюда въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 32): «Дочь Тантала въ камнѣ томъ молчитъ»; въ «Торжествѣ побѣдителей» (строфа 12) указаніе на то, что Ніобея будто бы нашла успокоеніе въ винѣ, взято изъ *Иліады*, XXIV, 601, гдѣ, однако, Ахиллъ говоритъ о ѣдѣ, а не о винѣ.

Но («Марія Стюартъ», т. II, стр. 400) – см. Кэрлъ.

Новгородъ-Сѣверскъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 296)—городъ на Деснѣ, Черниговской губ., переходилъ отъ Польши къ Москвѣ и обратно. Въ 1604 г., защищаемый Басмановымъ, выдержалъ осаду Самозванца, но въ томъ же году сданъ ему княземъ Мстиславскимъ.

Номады («Элевзинскій праздникъ», т. I, стр. 121)— отъ греч. слова nome, стадо – кочевыя, пастушескія племена.

Нормандія («Орлеанская Дѣва»)—сѣверная провинція Франціи, расположенная на берегу Ла-Манша, между Бретанью и Пикардіей.

Норфолькъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 388; «Коварство и любовь», т. II, стр. 34) – см. Говардъ Томасъ.

Нумидія («Прогулка», т. I, стр. 65 — «нумидійскіе лѣса») — древняя страна на сѣверѣ Африки, рядомъ съ Карѳагеномъ.

Ньютонъ, Исаакъ—знаменитый англійскій астрономъ, физикъ и математикъ (1642–1727), установилъ законъ всемірнаго тяготѣнія, по которому всѣ тѣла притягиваютъ другъ друга въ прямомъ отношеніи къ ихъ массамъ и обратномъ отношеніи къ квадратамъ разстояній.

Нюрнбергъ («Валленштейнъ») — городъ въ Баваріи, во время тридцатилѣтей войны вольный имперскій городъ. Въ 1632 г. Густавъ Адольфъ двинулся на его защиту отъ Валленштейна; дѣятельно подкрѣпляемый гражданами города, шведскій король расположился подлѣ него укрѣпленнымъ лагеремъ, а императорскія войска заняли окрестныя высоты. Послѣ одиннадцатинедѣльнаго бездѣйствія, прерываемаго лишь стычками, шведскій король сдѣлалъ попытку выбить Валленштейна изъ его позиціи, но неудачно, на что и намекаетъ Квестенбергъ въ «Пикколомини» (II, 7).

Одиссей (у римлянъ Улиссъ) - въ греч. миѳологіи— царь Итаки, одинъ изъ самыхъ видныхъ участниковъ Троянской войны, главный герой «Одиссеи» Гомера, сынъ Лаэрта. Послѣ взятія Трои, въ которомъ онъ благодаря своему уму («хитроумный» Одиссей) игралъ важную роль, онъ скитался десять лѣтъ среди невѣроятныхъ и страшныхъ приключеній, пока не прибылъ обратно на родину («Одиссей», т. I, стр. 45) къ вѣрной супругѣ Пенелопѣ и сыну Телемаку (см.).

Оилей («Торжество побѣдителей», т. I, стр. 149) – см. Аяксы.

Оксенштирна (въ буквальномъ переводѣ *бычачій лобъ*, что и имѣетъ въ виду капуцинъ въ «Лагерѣ Валленштейна», т. II, стр. 222) Аксель, шведскій государственный дѣятель (1583 – 1651) и одинъ изъ видныхъ участниковъ тридцатилѣтней войны. Сперва главнокомандующій войскъ, сосредоточенныхъ на Рейнѣ, затѣмъ, послѣ смерти Густава Адольфа, провозглашенъ на гейльброннскомъ конгрессѣ, созванномъ по его иниціативѣ (1633), главой протестантскаго союза.

Октавій («Фіеско», т. I, стр. 288) — собственно Октавіанъ Августъ, первый императоръ Рима (съ 31 г. до Р. Хр.), легко овладѣвшій послѣ смерти Цезаря республикой, строй и нравы которой были уже въ процессѣ разложенія. На эту политическую неустойчивость нѣкогда крѣпкой республики и намекаетъ Фіеско.

Олимпія – мѣстность въ Элидѣ на западномъ побережьи Пелопоннеса въ древней Греціи. Каждые четыре года здѣсь происходили всенародныя состязанія («олимпійскія игры», гимнастическія и художественныя, и конскія состязанія; на послѣднія намекъ въ «Богахъ Греціи» (стр. 32):

. . . герой искалъ мѣты
«На Олимпійскихъ играхъ вѣнценосныхъ
«И гремѣли колесницъ четы».

Вблизи города Олимпіи была роща съ храмомъ Зевса, по преданію воздвигнутымъ Геркулесомъ, великолѣпное зданіе, украшенное знаменитымъ изваяніемъ бога работы Фидія; на это намекъ въ «Художникахъ» (стр. 39):

«И Зевсъ сіятельнъ гордыню на лицѣ
«Средь Олимпійскаго чертога».

Олимпійскіе близнецы («Боги Греціи», т. I, стр. 33) см. Діоскуры.

Олимпъ—знаменитая гора Ѳессаліи (теперь Лаха), считавшаяся въ миѳологіи мѣстопребываніемъ эллинскихъ боговъ, которые поэтому называются иногда *олимпійцы* («Идеалы и жизнь», т. I, стр. 55).

Олофернъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 224) – полководецъ Навуходоносора, убитый еврейкою Юдиѳь.

Ольмюцъ (смерть Валленштейна», т. II, стр. 332) – крѣпость въ Моравіи.

Оранскій («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 145) – т. е. принцъ Нассау-Оранскій Вильгельмъ, другъ Эгмонта (см.) и также предводитель нидерландскаго возстанія. Застрѣленъ въ 1584 г. Бальтазаромъ Гергардомъ, соблазнившимся 25 тысячами кронъ, обѣщанными Филиппомъ II за голову Вильгельма.

Ореады – см. Нимфы.

Орестъ сынъ Агамемнона (см.), извѣстный своей дружбой съ своимъ двоюроднымъ братомъ Пиладесомъ. Мстя за убійство своего отца, онъ убилъ свою мать, за что Эринніи преслѣдовали его до умопомѣшательства, пока дельфійскій оракулъ не объявилъ ему, что онъ долженъ привести обратно на родину изваяніе Діаны изъ Тавриды. Въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 33), онъ, какъ бы пережившій друга, вновь встрѣчается съ нимъ въ загробной жизни.

Оріонъ—одно изъ прекраснѣйшихъ созвѣздій неба, названное по герою и исполину греческой миѳологіи; намекъ на чудное сіяніе Оріона въ «Художникахъ», т. I, стр. 37: «Въ коронѣ звѣздной Оріона» и т. д., въ «Человѣконенавистникѣ», т. II, стр. 200.

Оркъ (Оркусъ), см. Тартаръ.

Орлеанъ («Орлеанская Дѣва», значительный городъ во Франціи, въ 100 верстахъ отъ Парижа; главный оплотъ французовъ противъ англичанъ, осажденъ въ 1428 г. и былъ наканунѣ паденія, когда Іоанна освободила его отъ осады.

Орфей – въ греческой миѳол. – сынъ Аполлона и музы Калліопы, знаменитый пѣвецъ, житель Ѳракіи («Ѳракіецъ»). По преданію, чары его пѣснопѣній были такъ велики, что скалы и лѣса приходили въ движеніе, а свирѣпѣйшіе звѣри становились ручными. Когда жена Орфея прекрасная нимфа Эвридика умерла, укушенная змѣей, и была взята въ преисподнюю, Орфей спустился за ней и такъ тронулъ своимъ пѣніемъ Персефону, что она снова позволила ему взять жену обратно на землю съ тѣмъ однако, чтобы онъ не оглядывался, пока не выйдетъ. Орфей не выдержалъ, и Эвридика осталась въ аду. На это намеки въ стихотвореніяхъ «Боги Греціи» (стр. 32):

«Внесъ Ѳракіецъ пѣсней строптивой
«До Иринній грустный звукъ»,

и «Пенія» (т. I, стр. 125).

Осса («Семела», т. I, стр. 165)—гора въ Ѳессаліи въ древней Греціи (см. Тифонъ).

Остгеймъ графиня («Коварство и Любовь», т. II, стр. 26) - лицо вымышленное; но до насъ дошелъ разсказъ, что въ концѣ 1782 г. въ Тюрингіи нѣкая Э. фонъ Эстгеймъ была насильно выдана замужъ за веймарскаго президента фонъ Кальба, человѣка посредственныхъ способностей и низкаго характера; эту исторію зналъ Шиллеръ.

Остъ-Индія («Фіеско», т. I, стр. 288) — извѣстная страна въ южной Азіи, богатые товары которой были предметомъ восточной торговли морскихъ республикъ Италіи.

Падуя («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 95)—одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ сѣверной Италіи, знаменитъ своимъ университетомъ, существующимъ съ 1221 года.

Палермо («Духовидецъ», т. III, стр. 346) - главный городъ острова Сициліи, расположенный на его сѣверномъ берегу.

Паллада—см. Аѳина.

Пальмъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144)—или Бальмъ, Рудольфъ—швейцарск. дворянинъ изъ кантона Ааргау, сообщникъ Парриціды при убійствѣ Альбрехта I.

Пальфи («Пикколомини», т. III, стр. 276) графъ Павелъ Palffy, австрійскій сановникъ и полководецъ.

Памела («Великодушный поступокъ», т. III, стр. 311) - знаменитый англійскій романъ Ричардсона (1740).

Пантеонъ («Прогулка», т. I, стр. 63) — круглый храмъ въ древн. Римѣ, посвященный всѣмъ богамъ, теперь наз. Santa Maria della rotonda.

Панъ («Мессинская невѣста» и «Привѣтствіе искусствъ»)—сынъ Гермеса и нимфы Дріопы, древнее божество аркадскихъ пастуховъ. Рогатый, бородатый, косматый, съ хвостомъ и козлиными ногами, онъ гонялся по лѣсамъ за нимфами, пугая ихъ своимъ видомъ, но вообще считался божествомъ мирнымъ, хранителемъ межи и изобрѣтателемъ свирѣли.

Паппенгеймъ (Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 226)—графъ Готфридъ Генрихъ Pappenheim. видный участникъ тридцатилѣтней войны, павшій въ битвѣ подъ Люценомъ подъ знаменами Валленштейна. — *Паппенгеймцы* («Смерть Валленштейна», т. II, стр. 318)—его кирассирскій полкъ, извѣстный своей необузданной храбростью.

Пардо («Донъ Карлосъ»)—лѣтній королевскій дворецъ въ Мадридѣ.

Парисъ—въ греческ. миѳол.—сынъ троянскаго царя Пріама, увезшій у царя Спарты Менелая его жену Елену.

Парки—въ греч. миѳол.—три богини судьбы, дочери Зевса и Ѳемиды, которымъ вручена нить человѣческой судьбы. *Клото* прядетъ ее, *Лахезисъ*—тянетъ далѣе, *Атропосъ*—перерѣзываетъ.

Пармскій принцъ («Донъ Карлосъ»)—см. Фарнезе Александръ.

Парри («Марія Стюартъ», т. II, стр 388)—д-ръ Вильямъ Раггу, юристъ изъ Уэльса, участникъ заговора въ пользу Маріи, казненный въ февралѣ 1585 г.

Патроклъ—одинъ изъ участниковъ троянск. войны, другъ Ахилла, убитый Гекторомъ; тѣло его, отбитое соратниками, было пышно погребено греками.

Пахгельбель (Валленштейнъ»)—Вольфгангъ Адамъ Pachhälbel, съ 1620 г. былъ много разъ бургомистромъ Эгера; въ 1632 г., какъ протестантъ, вынужденъ былъ покинуть Эгеръ и переселился въ Вунзидель.

Пеанъ—хвалебная хоровая пѣснь въ древн. Греціи. Сперва пеаны исполнялись въ честь Аполлона, въ благодарность за избавленіе отъ моровой язвы. Затѣмъ ихъ стали пѣть и въ честь другихъ боговъ и по разнымъ поводамъ, особенно послѣ побѣды; о такомъ пеанѣ говорится въ «Художникахъ», т. I, стр. 41.

Пегасъ—въ греч. миѳологіи—крылатый конь, сынъ Посейдона, оплодотворившаго кровь обезглавленной Медузы (см. Горгона), которая поэтому считается матерью Пегаса. Близкій къ музамъ (а потому «Фебовъ конь»)—за то, что онъ ударомъ копыта остановилъ гору Геликонъ, задрожавшую отъ пѣнія музъ—онъ является олицетвореніемъ поэтическаго вдохновенія и полета творческой фантазіи.

Пелидъ—см. Ахиллъ.

Пенаты («Мессинская невѣста», т. III, стр. 24)—домашнія божества римлянъ—два хранителя домашняго очага, изображенія которыхъ привезены Энеемъ изъ Трои въ Италію. Они почти тождественны съ *Ларами*.

Пергамъ—то же, что Троя или Иліонъ.

Периллъ («Разбойники», т. I, стр. 243)—литейщикъ, изготовившій для агригентскаго тирана Фалариса страшное орудіе казни: мѣднаго быка, въ которомъ жарили преступника; дикій крикъ несчастнаго, исходившій изъ пасти быка, казался ревомъ животнаго. По преданію, Периллъ первый подвергся (560 до Р. Хр.) этой жестокой казни.

Персей («Мессинская невѣста», т, III, стр. 31)—въ греч. миѳол.—сынъ Зевса и Данаи (см.). Давъ слово царю Полидекту убить Медузу (см.), онъ исполнилъ, благодаря помощи Гермеса и Аѳины, этотъ подвигъ, отрубилъ голову чудовищу, изъ крови котораго явился конь Пегасъ, и при помощи шлема Аида, спасся отъ Горгонъ. Несясь обратно на крылатомъ конѣ, онъ просилъ гостепріимства отъ царя Атласа и, получивъ отъ него суровый отказъ, превратилъ его въ камень головой Медузы. Здѣсь онъ спасъ несчастную Андромеду, «прикованную къ твердынямъ скалъ» завистливыми Нереидами и терзаемую морскимъ чудовищемъ, и взялъ ее въ жены. «О богинѣ Персеѣ» см. слово *Даная*.

Персефона (у римлянъ Прозерпина)—дочь Цереры и Юпитера, похищенная Плутономъ, - вслѣдствіе чего любовь водворилась и въ аду; поэтому въ «Торжествѣ любви»: «Предъ улыбкой Прозерпины возсіялъ Плутона взглядъ». По просьбѣ матери, Юпитеръ позволилъ Прозерпинѣ возвратиться на землю, съ тѣмъ однако, чтобы она не ѣла въ Оркѣ ничего. Дѣвушка не выдержала голода, сорвала въ саду гранату («Идеалы и жизнь»: «Въ Орковомъ саду сорвала лишь плодъ единый и навѣкъ осталася въ аду»)—и возвратъ сталъ невозможенъ, пока Юпитеръ, сжалившись, не разрѣшилъ ей проводить полгода у матери на землѣ. Какъ дочь Цереры, Прозерпина являлась символомъ растительной жизни («Жалоба Цереры», стр. 8), какъ богиня ада—образомъ уничтоженія и смерти («Кассандра»).

Перси («Марія Стюартъ», т. II, стр. 416)—англійскій родъ, члены котораго принимали участіе въ заговорѣ Говарда Норфолька. Томасъ Перси казненъ въ 1572 г.

Перу («Разбойники», стр. 222, «Донъ Карлосъ»)—страна на западномъ берегу Южной Америки, привлекавшая испанцевъ своимъ золотомъ и покоренная въ 1531 году жестокимъ Пизарро.

Перъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 470 и 516)—важнѣйшіе вассалы во Франціи и Англіи, равные между собой, откуда ихъ названіе (paiг—равный).

Песталуцъ («Смерть Валленштейна», т. II, стр. 359) — одинъ изъ офицеровъ полка Терцкаго, вмѣстѣ съ Деверу, Макдональдомъ и многими другими вовлеченный Буттлеромъ въ заговоръ противъ Валленштейна.

Петрарка («Духовидецъ») Франческо—великій итал. поэтъ (1304—1374), знаменитый своими лирическими стихотвореніями.

Петръ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 224) апостолъ; намекъ на извѣстный евангельскій разсказъ о немъ дѣлаетъ капуцинъ въ словахъ: «Вздумалъ отречься, несчастье грѣхъ,—вотъ ему (герцогу) страшенъ и крикъ пѣтуха». «Престолъ Петра» («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 89) —папскій престолъ.

Пигмаліонъ—царь кипрскій и знаменитый скульпторъ, извѣстный тѣмъ, что, изваявъ изображеніе прекрасной женщины, влюбился въ нее («Идеалы», стр. 49); склонившись къ его мольбамъ, Венера оживила статую. («Торжество любви»).

Пиза («Фіеско», т. I, стр. 325)—большой итальянскій городъ у устья Арно.

Пикколомини («Валленштейнъ»)—князь Октавіо Piccolomini (1599—1656) изъ стариннаго римскаго рода, вступилъ въ испанскую армію, въ 1618 г. перешелъ Альпы съ полкомъ, посланнымъ на помощь Фердинанду противъ чеховъ. Въ 1629 г. начальникъ гвардіи Валленштейна, въ 1634 г. занялъ, по приказу Валленштейна, Зальцбургскіе проходы. Главное орудіе паденія герцога, онъ получилъ

послѣ его гибели въ награду часть его имѣній, но не титулъ князя, который онъ получилъ лишь въ 1650 г. послѣ того, какъ Испанія дала ему въ ленъ герцогство Амальфи. Сына у него не было. Его *племянникъ* Максъ убитъ шведами при Янковицѣ (1645 г.).

Писарро («Разбойники», т. I, стр. 250) – см. Перу.

Пильзенъ («Валленштейнъ») — городъ въ западной Богеміи, гдѣ 12 янв. 1634 г. заключенъ тайный договоръ между Валленштейномъ и его генералами.

Пиндаръ («Прогулка подъ Липами», т. III, стр. 306) — знаменитый лирическій поэтъ древней Греціи, въ своихъ одахъ воспѣвавшій побѣдителей на національныхъ играхъ.

Пиндъ – горный хребетъ въ Греціи, гдѣ жили Аполлонъ и музы; поэтому «вершины Пинда» (въ «Богахъ Греціи») область поэзіи.

Пиренеи («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 153)—горы, отдѣляющія Испанію отъ Франціи.

Пирмонтъ («Знаменитая женщина», т. I, стр. 35) — извѣстный своими цѣлебными желѣзными водами городокъ въ Германіи, въ княжествѣ Вальдекъ.

Пирръ («Валленштейнъ», т. II, стр. 298) — король Эпира (въ Греціи), призванный на помощь тарентинцами, дважды разбилъ римлянъ: въ 280 г. до Р. Хр. (при Гераклеѣ) и въ 279 г. (при Аскулумѣ), благодаря пріемамъ греческой тактики и употребленію слоновъ въ боевомъ строю; считается однимъ изъ величайшихъ полководцевъ въ исторіи.

Пиѳія («Семела», т. I, стр. 166) — жрица Аполлона, предсказывавшая грядущее въ Дельфійскомъ храмѣ (см.). На ея изступленное состояніе намекаетъ Юнона-Бероя, говоря (въ «Семелѣ», т. I, стр. 163) о «дельфійскомъ вдохновеніи».

Піали («Донъ Карлосъ», т. I, стр. 137) – см. Сентъ-Эльмо.

Піастъ (Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 283), правильнѣе Пястъ – основатель польской королевской династіи, отъ котораго ведутъ происхожденіе многіе знатные роды Польши.

Плантагенетъ («Варбекъ») – см. Эдуардъ Кларенсъ.

Платонъ («Прогулка подъ Липами», т. III, стр. 306) – великій философъ древней Греціи (429 – 348 г. до Р. Хр.), ученикъ Сократа.

Плутархъ («Разбойники», т. I, стр. 196) — греческій писатель (50 – 130 г. по Р. Хр.), особенно извѣстный біографіями греческихъ и римскихъ героевъ и государственныхъ людей.

Плутонъ – греко-римск. миѳол. – богъ преисподней, сынъ Кроноса (см.) и Реи, братъ Зевса и Посейдона. Его шлемъ дѣлалъ его невидимкой - отсюда другое его греческое названіе Аидъ, адъ (незримый).

Поликсена — дочь Пріама, на ней долженъ былъ жениться Ахиллъ, но былъ убитъ во время свадьбы.

Полигимнія (богатая пѣснопѣніями) — муза пѣнія, изобрѣтательница лиры.

Поллуксъ («Художники», т. I, стр. 39) – см. Діоскуры.

Поль Веронезъ («Духовидецъ»), собств. Паоло Кальяри изъ Вероны — знаменитый итальянскій художникъ венеціанской школы (1532 – 1588). Значительнѣйшее его произведеніе – «Бракъ въ Канѣ Галилейской».

Померанія (Пикколомини», т. II, стр. 278) – прусская провинція; во время похода Валленштейна и осады Штральзунда принадлежала прусскому ленному герцогу Богуславу XIV.

Помпея («Помпея и Геркуланумъ», т. I, стр. 71) – городокъ въ южной Италіи, подлѣ Неаполя, засыпанъ съ людьми страшнымъ изверженіемъ Везувія въ 79 г. по Р. Хр. Въ XVIII в. случайно наткнулись на его остатки и раскопки – незаконченныя и до сихъ поръ – дали изумленному міру поразительную картину внѣшней культуры древняго Рима.

Порція («Фіеско», т. I, стр. 323)—знаменитая римлянка дочь Катона и жена Брута, образецъ супружеской преданности и геройскаго патріотизма; узнавъ отъ мужа тайну заговора противъ Цезаря, вѣрно хранила ее и, когда дѣло республиканцевъ было проиграно, покончила съ собой самоубійствомъ.

Посейдонъ (у римл. Нептунъ)—въ греч. миѳол.—богъ моря, сынъ Сатурна и Реи, братъ Зевса и Плутона. Символъ его могущества надъ водами—трезубецъ, которымъ онъ волнуетъ море. Наказанный за сопротивленіе отцу боговъ, онъ долженъ былъ выстроить стѣны Трои («Элевзинскій праздникъ»), но, не получивъ установленной уплаты отъ царя Лаомедона, сдѣлался врагомъ Трои. Онъ—покровитель моряковъ и многихъ мѣстностей, расположенныхъ у моря гдѣ ему посвящены храмы и священныя рощи. Ему-же были посвящены Истмійскія игры («Посейдоновъ пиръ» въ «Ивиковыхъ журавляхъ»). Соперничая съ Аѳиной изъ-за покровительства Аѳинамъ. Посейдонъ ударомъ трезубца о землю создалъ коня («Прогулка»). Иногда имя его просто обозначаетъ море—такъ, въ стихотвореніи «Непобѣдимая армада»—«Нептунъ неукротимый».

Прага («Валленштейнъ») столица Богеміи, расположенная по обоимъ берегамъ Молдавы: справа старый городъ слѣва—кремль (Градчинъ), изъ оконъ котораго выброшены были въ маѣ 1618 г. императорскіе намѣстники. «Пражская добыча» («Пикколомини», стр. 276)—память о коронаціи Фридриха V. «Пражскіе» («Лагерь Валленштейна»)—богемскіе музыканты. «Жаркое пражское дѣло» («Разбойники», стр. 210) – битва подъ Прагой (1757 г.), гдѣ побѣдилъ Фридрихъ Великій и палъ Шверинъ.

Пританы («Ивиковы журавли», т. I, стр. 106)—выборные представители высшей власти въ Аѳинахъ и другихъ древне-греческихъ городахъ. Они предсѣдательствовали въ верховномъ совѣтѣ и народномъ собраніи.

Пріамъ – царь Трои, сынъ Лаомедона. Съ паденіемъ Трои обреченъ былъ на гибель весь его родъ; отсюда въ «Прощаніи Гектора» (т. I, стр. 1) стихъ:

«И Пріама оскудѣетъ кровь».

Въ оригиналѣ выразительнѣе:

«Погибнетъ великій, геройскій родъ Пріама».

Провансъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 479) | область въ южной Франціи, населеніе которой отличается особымъ нарѣчіемъ и имѣетъ свою національную литературу. Провансальцы («Мальтійцы», т. III, стр. 249)—уроженцы Прованса.

Прозерпина – см. Персефона.

Прокопъ («Пикколомини», стр. 277) см. Жижка.

Прометей—въ греч. миѳол. —титанъ, покровитель) и создатель людей, отчего въ «Семелѣ» (т. I, стр. 163 говорится, что онъ могъ «снабжать красою» Когда Зевсъ лишилъ людей огня, Прометей похитилъ его съ неба и принесъ на землю («Священная искра Прометеи» въ «Разбойникахъ», т. I, стр. 196). За это былъ прикованъ къ столбу, (въ другихъ сказаніяхъ къ скалѣ) и орелъ ежедневно прилеталъ клевать его печень. Геркулесъ освободилъ страдальца.

Профосъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 224) – отъ французскаго prévôt, лагерный полицейскій, иногда и палачъ.

Пуатье («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 490)—городъ въ южной Франціи, подъ которымъ въ 1356 г. французы разбиты англичанами, и король Іоаннъ взятъ въ плѣнъ Чернымъ принцемъ (Эдуардомъ, сыномъ короля Эдуарда VI).

Пуритане («Марія Стюартъ», т. II, стр. 394 и 399-протестантская секта XVI вѣка въ Англіи, не примыкавшая къ господствующей и оффиціальной формѣ реформированнаго исповѣданія—англичанству. Строгіе, прямолинейные и нетерпимые, пуритане изгнали изъ своего обряда все символическое, внѣшнее, роскошное, напоминавшее ненавистный имъ Римъ; отсюда «душныя молельни пуританъ» Мортимера.

Пуфендорфъ («Философы», т. I, стр. 92)—Samuel Pufendorf (1632—1694)—выдающійся нѣмецкій ученый

юристъ, главная заслуга котораго — отдѣленіе естественнаго права отъ теологической схоластики и выведеніе его изъ законовъ разума.

Пьемонтъ — («Игра судьбы». т. Ш, стр. 334)—область сѣверозападной Италіи, прежде самостоятельное княжество.

Пьяченца («Фіеско», т. I, стр. 294) — итальянскій городъ на По.

Равальякъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 363) - см. Генрихъ IV.

Рамлеръ («Рѣки», т. I, стр. 89)—нѣмецкій поэтъ и критикъ (1725--1798); лирическія произведенія его отличаются болѣе напыщеннымъ пафосомъ, чѣмъ силой вдохновенія.

Рапперсвиль («Вильгельмъ Телль») т. Ш, стр. 108), чаще Раппершвиль городокъ въ кантонѣ Санъ-Галленъ, на берегу Цюрихскаго озера.

Регенсбургъ («Валленштейнъ», «Разбойники») - городъ въ Баваріи, по верхнему теченію Дуная. Въ 1633 г. взятъ послѣ продолжительной осады протестантскими войсками подъ начальствомъ Бернгарда Веймарскаго, но затѣмъ вновь перешелъ въ руки имперской партіи. Здѣсь происходилъ съѣздъ государей (курфюрстовъ), избиравшихъ императора Германіи.

Редингъ Итель («Вильгельмъ Телль») изъ стариннаго заслуженнаго рода Рединговъ, вѣроятно тотъ самый, по совѣту котораго лѣсные кантоны оказали въ 1315 г. при Моргартенѣ столь рѣшительное сопротивленіе герцогу Леопольду.

Реймсъ («Марія Стюартъ», «Орлеанская Дѣва»)— городъ въ Шампаньи (Франція) съ великолѣпнымъ соборомъ, гдѣ архіепископъ реймсскій вѣнчалъ на царство королей Франціи. «Реймсскія игры» въ Донъ Карлосѣ» (стр. 94) турниръ. Реймсскимъ архіепископомъ въ эпоху появленія Жанны д'Аркъ былъ Реньо де Шартръ. Онъ руководилъ испытаніями Іоанны въ Пуатье; послѣ трехнедѣльнаго испытанія признавъ ея слова правдивыми, но всегда дѣйствовалъ противъ нея.

Рейнольдъ («Философы», т. I, стр. 92) — Carl-Leonhard Reinhold (1758 1823)- нѣмецкій философъ, по ученію котораго составныхъ частей сознанія три: представленіе, предметъ его (представляемое) и представляющій субъектъ. На различіи и связи между тремя составными частями сознанія Рейнгольдъ основываетъ понятіе о представленіи и изъ него выводитъ всю критическую философію.

Рейнграфъ («Валленштейнъ») - Отто Людвигъ фонъ Сальмъ (1597—1634)—выдающійся участникъ тридцатилѣтней войны и сподвижникъ Густава Адольфа. Замѣчаніе Врангеля (стр. 299), будто Рейнграфъ стоитъ недалеко отъ Эгера, исторически невѣрно: Отто Людвигъ былъ въ это время на Рейнѣ, а съ шведскими войсками въ четырехъ дняхъ пути отъ Эгера стоялъ Бернгардъ Веймарскій. Послѣ битвы при Нордлингенѣ Рейнграфъ передалъ Франціи города и крѣпости Эльзаса.

Рейнфельдъ («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 107) или правильнѣе Реонфельденъ—императорская резиденція на берегу Рейна между Базелемъ и Цюрихомъ.

Рейсъ («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 105) - сильный горный потокъ, вытекающій изъ Готарда, проходящій на сѣверъ чрезъ Фирвальштетское озеро и неподалеку отъ Бругга впадающій въ Ааръ. По долинѣ, орошаемой Рейссомъ, проходитъ путь, который описываетъ Теллъ Парриципдѣ.

Рене («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 477) по прозванію Добрый, король неаполитанскій и сицилійскій, графъ прованскій (1408—1480), извѣстенъ какъ поэтъ и покровитель провансальской литературы. (Ср. т. II, стр. 559).

Ригги («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 140)- знаменитая вершина (5600 фут., отдѣльно отъ другихъ горъ возвышающаяся надъ Фирвальдштетскимъ и Цугскимъ озерами.

Риналъдо («Мальтійцы», т. Ш, стр. 250) не Ринальдо Ринальдини, герой разбойничьяго романа Вульпіуса (1799), деверя Шиллера, какъ указано нѣкоторыми комментаторами, но, несомнѣнно—одноименный герой рыцарской поэмы Торквато Тассо «Rinaldo» (1562).

Риччіо («Марія Стюартъ», т. II, стр. 393) Давидъ Ricci (Rizzio) итальянскій пѣвецъ, служилъ у посланника савойскаго герцога въ Шотландіи, графа Морета. Онъ понравился королевѣ Маріи, которая дала ему мѣсто при своей капеллѣ и осыпала дарами, но тѣмъ возбудила основательную ревность своего мужа, графа Дарнлея, который приказалъ убить Риччіо. Кеннеди (стр. 393) напрасно называетъ его красавцемъ: онъ вовсе не былъ красивъ.

Ричардъ («Разбойники», т. I, стр. 250, «Варвикъ»- т. Ш, стр. 243) Ш, король англійскій (1483 – 1485), до вступленія на престолъ носилъ титулъ герцога глостерскаго; поэтому въ «Варвикѣ» (стр. 243)— Ричардъ Глостеръ: человѣкъ отталкивающей наружности, проложившій себѣ путь къ престолу убійствами родныхъ и всякими преступленіями. Его злодѣянія окружили его народной ненавистью, вѣковѣчнымъ памятникомъ которой осталось его изображеніе въ драмѣ Шекспира «Ричардъ Ш» (ср. предисл. къ Разбой, никамъ», т. I, стр. 188).

Ричмондъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 400)—Генрихъ VII, по женской линіи изъ Ланкастерскаго дома, въ 1485 г. женился на дочери Эдуарда IV Іоркскаго и такимъ образомъ связалъ оба враждовавшіе рода.

Ришелье («Игра судьбы», т. Ш, стр. 334)—кардиналъ, первый министръ Людовика XIII съ 1624 по 1642 г., замѣчательный государственный дѣятель, всецѣло овладѣвшій слабымъ и распутнымъ королемъ.

Ріальто («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 117) крытый мостъ черезъ Большой Каналъ въ Венеціи съ богатыми лавками.

Робинъ Гудъ («Разбойники», т. I, стр. 230) - знаменитый англійскій разбойникъ.

Родней («Коварство и любовь», т. II, стр. 20) — знаменитый англійскій морякъ (1718—1790), побѣдившій французовъ.

Родосъ («Іоанниты», т. I, стр. 39 и «Бой съ дракономъ», т. I, стр. 114) — островъ въ Эгейскомъ морѣ у береговъ Малой Азіи и городъ того-же имени. Въ 1309 году іоанниты, изгнанные изъ Палестины, переселились сюда послѣ 18-лѣтняго пребыванія въ Каирѣ и болѣе двухъ вѣковъ держались противъ турокъ. Лишь въ 1552 г. гроссмейстеръ Вилье сдалъ островъ могущественному султану Солиману II, и орденъ, съ разрѣшенія императора Карла V, переселился на островъ Мальту (см.).

Романовъ («Димитрій Самозванецъ», т. Ш, стр. 208) — Михаилъ Ѳедоровичъ, впослѣдствіи первый царь изъ дома Романовыхъ. Родился въ 1596 г., на престолъ избранъ въ 1613 г., умеръ въ 1645 г. «Тяжело оскорбленный Борисомъ», который постригъ и сослалъ его отца и мать, Михаилъ Ѳедоровичъ жилъ въ Бѣлоозерѣ съ своей теткой. Лжедимитрій возвелъ его отца (впослѣдствіи патріарха Филарета) въ санъ ростовскаго митрополита, въ 1610 г. Филаретъ посланъ къ полякамъ, которые его задержали, а будущаго царя съ матерью держали въ заключеніи въ Московскомъ кремлѣ (ср. стр. 300). Любовь Ѳедора къ Ксеніи—вымыселъ Шиллера.

Росберъ («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 84) - у Фирвальдштетскаго озера, на западъ отъ Станца.

Рудольфъ («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 150 и 151)— сперва графъ Габсбургскій (герой баллады подъ этимъ названіемъ), затѣмъ императоръ Германскій (1273—1291), основатель династіи Габсбурговъ, дѣдъ Парриципды.

Рудольфъ II («Никколомини», т. II, стр. 277) - австрійскій императоръ (1576-- 1612), давшій Богеміи такъ называемую «грамоту величества», которой обезпечивалась религіозная свобода.

Рютли («Вильгельмъ Телль», т. Ш, стр. 95, 101) — площадка на берегу Фирвальштетскаго озера, окруженная крутыми скалами. Изображеніе см. въ т. Ш, стр. 75.

Саверна («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 495),

правильнѣе Севернъ, самая значительная послѣ Темзы рѣка въ Англіи; истоки ея находятся въ Валлисѣ (Уэльсѣ, откуда «валліецъ» Монтомери).

Саверна («Путешествіе въ плавильный домъ», т. I, стр. 108) -по-нѣмецки Цаберна, городокъ въ Эльзасѣ, недалеко отъ Страсбурга.

Савойя («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 107 и 146)—французская провинція, до 1416 г. самостоятельное герцогство. Герцогъ савойскій, о которомъ говоритъ Карлосъ - Эммануэль-Филибертъ (1553 1580) вмѣстѣ съ графомъ Эгмонтомъ одержавшій въ 1557 году побѣду надъ французами при Сенъ-Кентенѣ. *Савояры* («Фіеско», т. II, стр. 204)—уроженцы Савойи.

Сагань - см. Глацъ.

Садуккеи («Разбойники», т. I, стр. 196) — древнееврейская секта, не признававшая традиціонныхъ толкованій Завѣта и строго отстаивавшая его буквальное пріятіе; отрицая загробную жизнь и существованіе ангеловъ и духовъ, садуккеи, однако, вели строго нравственную жизнь.

Саисъ («Покрытый истуканъ», т. I, стр. 58)—городъ въ древнемъ Египтѣ у устья Нила, средоточіе жреческой учености.

Салерно («Духовидецъ» - итальянскій приморскій городъ на югѣ отъ Неаполя.

Салисбури («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 472) — Томасъ графъ Salisbury, англійскій полководецъ, палъ при осадѣ Орлеана въ 1428 г.

Сямоней («Семела») —въ греч. миѳол. — сынъ Эола и братъ Сизифа, простеръ свою смѣлость до того, что выдавалъ себя за Зевса, требуя божескаго поклоненія. Зевсъ уничтожилъ его молніей.

Салтыковъ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 298) -боярина Михаилъ Глѣбовичъ, по прозванью Кривой, при появленіи Лжедимитрія перешелъ на его сторону, при осадѣ города Кромъ; затѣмъ былъ сторонникомъ Лжедимитрія II. Принималъ участіе въ переговорахъ объ избраніи на царство королевича Владислава, но затѣмъ поддерживалъ кандидатуру самого Сигизмунда. Въ 1611 году отправленъ во главѣ посольства въ Польшу, гдѣ и умеръ въ 1618 году.

Самаркандъ («Турандотъ») -нѣкогда одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ городовъ Средней Азіи.

Самосъ («Поликратовъ перстень», т. I, стр. 102) - богатый островъ у береговъ Малой Азіи.

Самсонъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 535) — знаменитый въ Библіи еврейскій судья и герой, прославленный своей силой и самоотверженной борьбой съ врагами его народа—филистимлянами. Взятый —благодаря коварной возлюбленной его Далилѣ—въ плѣнъ, связанный и ослѣпленный, онъ покончилъ свою жизнь подъ развалинами сокрушеннаго имъ филистимскаго храма, рухнувшаго и раздавившаго вмѣстѣ съ нимъ великое множество враговъ; при этомъ Господь помогъ Самсону разорвать связывавшіе его канаты, на что и намекаетъ Іоанна.

Самуилъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 183) -послѣдній и знаменитѣйшій судья израильскій, поставилъ, умирая, царемъ Саула, который затѣмъ вызывалъ его тѣнь при помощи Эндорской волшебницы. На это преданіе и намекаетъ кардиналъ, какъ бы изъ могилы вызванный Филиппомъ.

Санта Каза («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 182)— по итал. — святой домъ: сперва инквизиціонныя тюрьмы, а затѣмъ сама инквизиція. *Регистры Санта Казы* —списокъ подозрѣваемыхъ въ ереси лицъ, который вели инквизиціонныя учрежденія.

Сантраль («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473)— Poton de Xaintrailles, французскій полководецъ, сподвижникъ Іоанны д'Аркъ.

Санъ-Марко («Духовидецъ», т. III, стр. 342)—великолѣпная площадь подлѣ собора Св. Марка въ Венеціи, излюбленное мѣсто вечерняго гулянія.

Сапѣга Левъ («Димитрій самозванецъ») видный представитель этого польскаго княжескаго рода (1557 - 1633), воевода виленскій, великій гетманъ и великій канцлеръ, принималъ выдающееся участіе въ войнахъ и переговорахъ Польши съ московскимъ государствомъ. Его считаютъ создателемъ замысла подчинить Русь Польшѣ при помощи самозванцевъ, но онъ былъ противъ перваго Лжедимитрія, и въ этомъ Шиллеръ вѣренъ исторіи. О мирѣ, который онъ заключилъ съ Борисомъ Годуновымъ, см. т. III, стр. 622.

Сарагосса («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 166)—городъ въ Испаніи въ 30 миляхъ отъ Мадрида.

Сарацинъ («Рыцарь Тоггенбургъ», т. I, стр. 101, «Бой съ дракономъ», т. I, стр. 114) —житель Востока. Первоначально въ Европѣ (особ. въ Испаніи) такъ назывались арабы, потомъ магометане, турки и всѣ нехристіанскіе народы, противъ которыхъ были предпринимаемы крестовые походы.

Сарданапалъ («Прогулка подъ Линами», т. III, стр. 305) —послѣдній царь Ассирійскій, знаменитый своей распутной и праздной жизнью. Когда его страна возстала противъ него, онъ сжегъ себя вмѣстѣ со своими женщинами и сокровищами.

Сарнемъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 93, 103) — деревня на берегу Сарнскаго озера въ кантонѣ Унтервальденъ; на одной изъ ближайшихъ скалъ стоялъ замокъ Landenberga —«твердыня Сарнемъ».

Сатиръ въ греко-римской миѳологіи -лѣсное полубожество съ рожками и козьими ногами, обычный спутникъ Вакха («Бога Грецін»), символъ сладострастія и распущенности.

Сатурній («Семела», т. I, стр. 166) —то же, что Кронидъ (см.). Сатурнія —дочь Сатурна.

Сатурнъ -одна изъ замѣчательнѣйшихъ планетъ нашего неба, окруженная кольцомъ и сопровождаемая семью спутниками. Въ астрологіи Сатурнъ—«подземный» («Пикколомини, т. II, стр. 253), свѣтящій «свинцово-блѣдными свѣтомъ» не былъ изъ хорошихъ предвѣстниковъ. О божествѣ С. см. *Кроносъ*.

Саулъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 223) - первый царь израильскій, сынъ Киса; отыскивая потерянныхъ ословицъ отца, былъ встрѣченъ Самуиломъ (см.) и помазанъ имъ на царство (1050 г. до Р. Хр.).

Св. Георгія островъ («Духовидецъ», т. III, стр.382) - S. Giorgio maggiore -одинъ изъ многочисленныхъ острововъ, на которыхъ расположена Венеція.

Сендомірскій воевода у Шиллера князь («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 230)—Мнишекъ. *Сендомиръ* или вѣрнѣе Сандомиръ —городъ на Вислѣ, теперь въ Радомской губ., считался самымъ красивымъ послѣ Кракова изъ польскихъ городовъ.

Сентъ-Эльмо («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137, «Мальтійцы», т. III, стр. 246)—фортъ на островѣ Мальтѣ, господствующій надъ портомъ Ла Валеты, былъ въ 1556 г. осажденъ турецкимъ флотомъ султана Солимана подъ предводительствомъ Мустафы и Піали, которымъ помогалъ корсаръ Улучіали; Гассемъ, о которомъ упоминается здѣсь же—сынъ Корсара Барбаросы, подчинилъ уже послѣ взятія укрѣпленія.

Сенъ-Дени («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 480) — городокъ неподалеку отъ Парижа, извѣстенъ бенедиктинскимъ аббатствомъ имени св. Діонисія, покровителя Франціи (см. т. II, стр. 562).

Сезина («Пикколомини») —Ярославъ Sesyna, чехъ, рашинъ (должностное лицо) въ Ризенбургѣ, во владѣніяхъ Терцкаго, участвовалъ въ чешскомъ возстаніи 1618 г. и бѣжалъ въ Саксонію. Послѣ пражскаго мира помилованъ и, находясь на службѣ у Терцкаго и Валленштейна, сообщалъ объ ихъ дѣйствіяхъ въ Вѣну. Его обширный докладъ двору сохранился и напечатанъ. Драма представляетъ его дѣятельность въ видѣ, несоотвѣтствующемъ исторіи. Схваченъ императорскими войсками онъ конечно не былъ.

Селадонъ («Моралисту», т. I, стр. 15, «Разбойники») — влюбленный пастушокъ во французскомъ романѣ XVII вѣка «Астрея» Онорэ д'Юрфе, весьма популярномъ въ свое время.

Селисбергъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 102) — или правильнѣе Зелисбергъ, вершина у Фирвальдштетскаго озера надъ Рютли вышиной въ 6 тысячъ футовъ.

Семела — въ греч. миѳол. — дочь Кадма и Гармоніи, мать Вакха. Въ миѳѣ — не совсѣмъ согласно съ изложеніемъ въ драмѣ Шиллера она умираетъ не отъ сверхчеловѣческихъ объятій Зевса, но оттого, что онъ, по ея требованію, внушеннаго ревнивой Герой, явился ей въ своемъ божественномъ образѣ. Ребенка, бывшаго въ ея чревѣ, Зевсъ донашивалъ еще три мѣсяца.

Сенека («Разбойники», т. I, стр. 230) - римскій философъ, учитель императора Нерона, послѣдователь и одинъ изъ видныхъ представителей *стоическаго* ученія, проповѣдывавшаго презрѣніе къ страданію и смерти.

Сени («Валленштейнъ») — собственно Джованъ-Батиста Zenno, профессоръ астрономіи изъ Генуи, смѣнившій въ должности астролога при Валленштейнѣ великаго астронома Кеплера. Сохранилось извѣстіе о его окладѣ — двѣ тысячи талеровъ на всемъ готовомъ. Послѣ убійства герцога былъ подъ слѣдствіемъ, но освобожденъ въ началѣ 1635 г. Въ 1643 г. убитъ польскимъ посланникомъ въ Вѣнѣ.

Сенъ-Жерменъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 151, «Марія Стюартъ», т. II, стр. 403) — Saint-Germain en Laye — городокъ недалеко отъ Парижа бывалъ лѣтней резиденціей королей французскихъ; поэтому королева Елизавета говоритъ о блескѣ «сенжерменскаго двора».

Сенъ-Кентенъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 107 и 135) — городъ въ сѣверной Франціи, гдѣ соединенные испанцы и голландцы одержали подъ предводительствомъ графа Эгмонта блестящую побѣду надъ французами (1557 г.)

Сесиль («Марія Стюартъ») — Вильямъ Cecil, лордъ Burleigh — видный политическій дѣятель и ближайшій совѣтникъ Елизаветы, которая называла его своимъ «умомъ». Горячій противникъ католичества, онъ былъ, однако, сторонникомъ государственной церкви и провелъ законъ, подчинявшій церковь коронѣ; однако онъ протестовалъ противъ верховной комиссіи, преслѣдовавшей протестантское духовенство. Какъ и иные министры, якобы «побудившіе» Елизавету подписать смертный приговоръ Маріи Стюартъ, впалъ въ немилость послѣ ея казни (1587) и умеръ въ 1598 г.

Сигей — мысъ у Трои, омываемый Сигейскимъ проливомъ.

Сигизмундъ («Димитрій Самозванецъ») — III, король польскій (1587 — 1632) и шведскій (1592 - 1604), сынъ Іоанна III шведскаго и по матери внукъ Сигизмунда I польскаго. О рожденіи его въ темницѣ см. т. III, стр. 622. Царствуя въ двухъ странахъ, строго протестантской и строго католической, Сигизмундъ колебался и самъ, пока не былъ свергнутъ съ шведскаго престола. Димитрія онъ поддерживалъ первоначально лишь деньгами и только послѣ избіенія поляковъ въ Москвѣ объявилъ ей войну (1609—1618), въ теченіе которой выставилъ свою кандидатуру на московскій престолъ, но безуспѣшно.

Сидонъ («Семела», т. I, стр. 166, «Купецъ», т. I, стр. 50) — древній финикійскій городъ, знаменитый обширной морской торговлей.

Сикофантъ («Прогулка», т. I, стр. 65) — собственно доносящій о фигахъ; такъ назывался въ древнихъ Аѳинахъ тотъ, кто доносилъ о безпошлинномъ вывозѣ фигъ; теперь - всякій доносчикъ, предатель.

Сикстъ V («Марія Стюартъ», т. II, стр. 410) — папа римскій (1585—1590), одинъ изъ наиболѣе могущественныхъ представителей папской власти, преслѣдовалъ отступниковъ съ особеннымъ рвеніемъ и кромѣ Елизаветы преслѣдовалъ своимъ отлученіемъ также Генриха Наваррскаго и Генриха III.

Силезія («Пикколомини», т. I, стр. 239) — область, нѣкогда принадлежавшая чешскому королевству, теперь раздѣленная между Австріей и Пруссіей. Во время тридцатилѣтней войны эта страна, гдѣ протестантизмъ пустилъ глубокіе корни, подверглась безпощадному опустошенію.

Силлиненъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 95) — правильнѣе Силлененъ, старый дворянскій родъ, замокъ котораго (того же имени) находился недалеко отъ Альторфа, напротивъ «Ига Ури»; развалины его сохранились до сихъ поръ.

Сильфиды или Сильфы — миѳическіе духи воздуха — легкія, прозрачныя существа.

Симнель («Варбекъ») Ламбертъ Simnel, англійскій самозванецъ, сынъ ремесленника, выдававшій себя за графа Эдуарда Варвика (у Шиллера — Плантагенета или Кларенса). Отецъ Варвика, герцогъ Кларенсъ, былъ долго вице-королемъ Ирландіи и потому ирландцы — и среди нихъ графъ Кильдеръ, глава ирландской оппозиціи — особенно горячо стали за цѣло претендента, который былъ провозглашенъ королемъ подъ именемъ Эдуарда VI. Узнавъ объ этомъ, король Генрихъ VII предъявилъ жителямъ Лондона дѣйствительнаго Эдуарда Варвика (см.) или Кларенса, котораго держалъ въ Тоузрѣ. Симнель, высадившійся въ Англіи съ войскомъ, былъ разбитъ (1487) и взятъ въ плѣнъ. Священникъ Ричардъ Саймонсъ, нашедшій его, былъ заключенъ въ темницу, а самъ онъ прощенъ и служилъ при дворѣ, сперва поваренкомъ, потомъ сокольничьимъ.

Симонъ и Іуда («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 85) — католическіе святые, память которыхъ празднуется 28 октября — день, когда, по старинному германскому суевѣрію, водяные духи требуютъ человѣческой жертвы.

Синай («Разбойники», т. I, стр. 248) - горная группа на Синайскомъ полуостровѣ, образуемомъ заливами Суэзскимъ и Акаба Чермнаго моря. На одной изъ горъ этой группы, согласно разсказу Библіи, Моисей получилъ отъ Господа заповѣди.

Сиракузы («Архимедъ», т. I, стр. 69, «Порука», т. I, стр. 119) — въ древности — цвѣтущій городъ на восточномъ берегу Сициліи.

Сирія («Іоанниты». т. I, стр. 49) — область Азіатской Турціи на восточномъ берегу Средиземнаго моря. *Сирійская пустыня* — простирается отъ Персидскаго залива и Евфрата до Средиземнаго моря.

Солиманъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137, «Мальтійцы», т. III, стр. 246) — по прозванію Великолѣпный, султанъ турецкій (1495 —1566), величайшій изъ государей Турціи, знаменитый своимъ мудрымъ правленіемъ столько же, сколько побѣдами надъ Венгріей, Персіей, Тунисомъ.

Соломонъ («Варбекъ», т. III, стр. 244, «Духовидецъ») — царь іудеевъ, сынъ Давида (1015—975 г. до Р. Хр.), знаменитый своими справедливыми приговорами и государственной мудростью.

Сиринкса (правильнѣе Сирикесъ или Сиринга) — въ греч. миѳологіи — нимфа (см.), которая, спасаясь отъ Пана (см.), обратилась за помощью къ своему отцу, рѣчному богу Ладону и, обращенная имъ въ тростникъ, издавала нѣжные, жалобные стоны; отсюда въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 32): «Вотъ тростникъ, вотъ здѣсь Сиринкса плачетъ». Тронутый этимъ Панъ вырѣзалъ себѣ изъ тростника свирѣль, которую назвалъ *сиринксъ*.

Сицилія («Мальтійцы», т. III, стр. 246) - островъ въ Средиземномъ морѣ на юго-востокъ отъ Италіи, во время осады Мальты принадлежалъ Филиппу II испанскому.

Скамандръ («Четыре вѣка», т. I, стр. 143, «Торжество побѣдителей», т. I, стр. 148, «Семела», стр. 167) — рѣка въ Троѣ, окаймлявшая поле битвы подъ стѣнами осажденнаго города.

Славата и Мартиницъ («Валленштайнъ») — два императорскихъ совѣтника въ богемскомъ намѣстничествѣ, которые особенно противились дарованію чехамъ религіозной свободы. 23 мая 1616 года возмущенные сочлены-утрак-

висты, подстрекаемые графомъ Турномъ, выбросили ихъ обоихъ изъ окна зала засѣданій въ Прагѣ, что было началомъ чешскаго возстанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и тридцатилѣтней войны.

Сократъ («Руссо», т. I, стр. 8)—греческій философъ, казненный въ 399 г. до Р. Хр. по интригамъ своихъ враговъ, софистовъ.

Солонъ («Художники», т. I, стр. 37)—великій законодатель аѳинскій, жившій около 600 года до Р. Хр., одинъ изъ такъ называемыхъ семи мудрецовъ древней Греціи.

Сорель («Орлеанская Дѣва»)—Агнесса Sorel, возлюбленная Карла VII (1409—1450), французская дворянка, была фрейлиной герцогини Анжуйской и внушила своей красотой страсть дофину, который сдѣлалъ ее статсъ-дамой королевы и подарилъ ей замокъ Beauté на Марнѣ. Она долго сопротивлялась, но, сдѣлавшись возлюбленной короля, имѣла на него благотворное вліяніе, возбуждала его энергію, боролась съ его недостойными любимцами и заботилась о замѣщеніи высшихъ должностей достойными лицами. Извѣстно четверостишіе короля Франциска I, гдѣ ей приписывается чуть не главная заслуга освобожденія Франціи отъ англичанъ. Ея три дочери отъ короля получили титулъ filles de France.

Софія («Фортуна и мудрость», т. I, стр. 14)—по-гречески—мудрость.

Софоклъ («Мессинская невѣста», введеніе, т. III, стр. 17)—великій драматургъ древней Греціи (495—407 г. до Р. Хр.). Изъ ста драмъ, имъ написанныхъ, до насъ дошло семь.

Спарта (или Лакедемонъ)—южный полуостровъ Пелопоннесъ (въ Греціи) и его главный городъ того же имени. Граждане Спарты извѣстны въ древне-греческой исторіи желѣзной воздержанностью, твердостью и повиновеніемъ. Въ «Прогулкѣ (т. I, стр. 63)—указаніе на геройскую гибель трехсотъ спартанцевъ, павшихъ вмѣстѣ съ своимъ царемъ Леонидомъ (см.) при защитѣ Ѳермопильскаго прохода отъ персидскаго вторженія. Надпись, цитируемая здѣсь, сочинена Симонидомъ.

Спиноза («Философы», т. I, стр. 91)—Baruch Spinoza (1632—1677), голландскій еврей, знаменитѣйшій представитель нравственной философіи. Въ стихотвореніи имѣется въ виду та часть ученія философа, гдѣ онъ опредѣляетъ высшее понятіе субстанціи (сущности) чрезъ его противоположеніе понятію модуса (состоянія), т. е. «того, что есть въ другомъ, черезъ что оно и познается». Единственная субстанція есть Богъ; все, что не есть Богъ, есть состояніе, и это состояніе познается только въ Богѣ.

Спинола («Фіеско», т. I, стр. 294)—полководецъ императора Карла V.

Стаццъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 105)—мѣстечко въ Унтервальденѣ, недалеко отъ Фирвальдштетскаго озера у подножья Станцергорна.

Стерлингъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 388)—правильнѣе Стирлингъ, главный городъ графства Стирлингъ въ Южной Шотландіи съ замкомъ, бывшимъ любимой резиденціей Стюартовъ.

Стиксъ—въ греч. миѳол.—рѣка въ преисподней, имѣетъ десять изгибовъ; отсюда въ «Геро и Леандрѣ» т. I, стр. 135)—«Стиксъ девятиструйный». Въ «Идеалахъ и (жизни», (т. I, стр. 54) упоминается два раза, но въ русскомъ переводѣ это указаніе на девять извивовъ опущено.

Стола («Путеш. въ плавильн. домъ», т. I, стр. 111)—узкая полоса шелка или парчи, одѣваемая на плечи католическимъ священникомъ во время богослуженія.

Суренны («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 102) правильнѣе Суренны или Суренніскіе Альпы—горный хребетъ между Энгельбергомъ и Альторфомъ.

Сцилла («Одиссей», т. I, стр. 45)—см. Харибда.

Сципіонъ («Разбойники», т. I, стр. 196)—Публій Корнелій Сципіонъ, знаменитый римскій полководецъ, прославленный побѣдою надъ Аннибаломъ. Умеръ въ 183 г. до Р. Хр.

Сюи («Пикколомини»), т. II, стр. 285)—баронъ de Suys (надо читать Сеусъ), одинъ изъ многихъ голландцевъ, вступившихъ во время богемскаго мятежа въ императорскую армію, храбрый полководецъ.

Сюлли («Разбойники», т. I, стр. 199)—знаменитый французскій министръ, одинъ изъ величайшихъ государственныхъ людей во Франціи.

Таборъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 329)—городокъ Богеміи, раньше назывался Аусти и получилъ свое названіе лишь въ 1420 г. отъ гуситовъ (отъ библейской горы Ѳаворъ).

Таксисъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 129)—испанскій аристократъ, извѣстный созданіемъ почты сперва въ испанскихъ Нидерландахъ, а затѣмъ во всей Германіи.

Талія (радостная)—муза комедіи.

Тальботъ («Орлеанская дѣва»)—Джонъ Talbot (правильнѣе читать, какъ въ «Маріи Стюартъ»—Тольботъ), графъ Шрусбери, Уотерфордъ и Вексфордъ, англійскій главнокомандующій въ войнѣ съ французами. Взятый въ плѣнъ въ битвѣ при Патэ (1429 г.) получалъ свободу при размѣнѣ плѣнныхъ и палъ при Шатильонѣ въ 1453 г. разбитый войсками Дюнуа. Предокъ Джорджа Толба въ «Маріи Стюартъ». Для полнаго противоположенія религіозной Іоаннѣ Шиллеръ дѣлаетъ его атеистомъ и матеріалистомъ.

*Тантал*ъ—въ греч. миѳол.—богатый царь Лидійскій, любимецъ, быть можетъ даже отпрыскъ боговъ, отецъ Атрея, стало быть предокъ Агамемнона и Менелая. За различныя преступленія низвергнутъ въ адъ, гдѣ, стоя по горло въ водѣ, страдаетъ отъ неутолимой жажды, такъ какъ вода уходитъ, когда онъ хочетъ напиться. *Дочь Тантала* («Боги Греціи», т. I, стр. 32)—см. Ніобея.

Тартаръ («Группа изъ Тартара», т. I, стр. 15, «Тѣнь Шекспира», т. I, стр. 93) у грековъ также *Гадесъ* или *Эребъ*, по имени одного изъ сыновей Хаоса и Тьмы, который за помощь, оказанную Титанамъ, низвергнутъ въ Тартаръ, у рим. *Оркъ* преисподняя, царство Плутона и Прозерпины, окруженное мѣдной стѣной и обтекаемое рѣками Стиксомъ, Ахеронтомъ и Коцитомъ.

Тассо (Духовидецъ») Торквато—великій итальянскій поэтъ (1544—1595), знаменитый особенно своей эпопеей «Освобожденный Іерусалимъ».

Тахау («Валленштейнъ», т. II, стр. 346)—городъ въ Богеміи, на югъ отъ Эгера, по дорогѣ въ Пильзенъ.

Тацитъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 154)—одинъ изъ знаменитѣйшихъ историковъ древняго Рима (1 вѣк. до Р. Хр.), въ яркихъ краскахъ изображавшій темныя стороны римской имперіи. Выписки именно изъ его сочиненій весьма характерны для Карлоса.

Твидъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 399)—рѣка, образующая границу между Англіей и Шотландіей.

Тегерфельдъ («Вильгельмъ Телль», стр. 107)—Конрадъ von Tegerfeld—швейцарскій дворянинъ изъ кантона Аргау, единомышленникъ Парриціды.

Тезей—одинъ изъ величайшихъ героевъ миѳической Греціи, сынъ Эгея, создатель демократическаго строя Аѳинъ («городъ Тезея»). Его возлюбленная Аріадна спасла его посредствомъ путеводной нити изъ лабиринта, гдѣ онъ убилъ Минотавра; на это намекъ въ «Геро и Леандрѣ», строфа 4: «Лабиринтъ дорогой ложной не страшитъ ея».

Тейфельсмюнстеръ («Вильгельмъ Телль», т. II, стр. 129)—см. Буттистратъ.

Телемакъ—въ греч. миѳол.—сынъ Улисса (см. Одиссей), которымъ, въ отсутствіе отца, руководила въ образѣ старца Ментора сама Аѳина-Паллада; въ концѣ путешествія Телемака, она открыла ему, кто скрывался подъ личиной его наставника. На это намекъ въ «Художникахъ» (стр. 41)—«Улиссовъ юный сынъ... въ вождѣ своемъ небесномъ дщерь Юпитера узналъ».

Темесваръ («Валленштейнъ», т. II, стр. 216) городокъ въ Венгріи.

Терпсихора (любящая пляску)—муза пляски и игры на кіоарѣ.

Терцкій (·Валленштейнъ») Адамъ Эрдманъ Trcka, чешскій аристократъ, протестантъ, другъ и родственникъ Валленштейна (ихъ жены—сестры), вполнѣ посвященный въ его планы; онъ (въ дрямѣ «Илло») оказалъ бѣшеное сопротивленіе убійцамъ на Эгерскомъ банкетѣ.

Терситъ—одинъ изъ грековъ, осаждавшихъ Трою, отвратительный по внѣшности, злой ненавистникъ всего выдающагося, онъ сдѣлался символомъ гнуснаго во всѣхъ отношеніяхъ человѣка.

Тибуллъ (Прогулка подъ Липами», т. III, стр. 306) — Албій Tibullus - одинъ изъ лучшихъ лирическихъ поэтовъ древняго Рима, ум. въ 20 г. до Р. Хр.

Тибэрнъ (·Марія Стюартъ», т. II, стр. 427) мѣсто казни подлѣ Лондона; здѣсь государственные преступники подвергались страшнымъ мученіямъ; Кэмденъ въ разсказѣ о казни Бебингтона говоритъ о вытягиваніи внутренностей и т. п.

Тилли («Валленштейнъ) – выдающійся участникъ тридцатилѣтней войны (1559 – 1631), сперва истреблялъ еретиковъ подъ начальствомъ герцога Альбы, потомъ баварскій фельдмаршалъ и предводитель войскъ *лиги* (см.), считался непобѣдимымъ до пораженій подъ Лейпцигомъ и Брейтенфельдомъ. Онъ гордился тѣмъ, что никогда не былъ пьянъ и не касался женщины, на что намекъ въ словахъ перваго егеря въ «Лагерѣ Валленштейна» (стр. 219):

Самъ то къ себѣ ужъ куда онъ былъ строгъ».

Тиресій («Тѣнь Шекспира», т. I, стр. 93)—въ греч. миѳологіи—сынъ нимфы, ослѣпленный богами, но зато вознагражденный даромъ пророчанія; его искалъ Одиссей въ аду.

Тиррель (Варбекъ», т. III, стр. 243) Джемсъ Tyrrel, убійца сыновей Эдуарда IV, задушившій ихъ, по порученію Эдуарда III, въ Тоуэрѣ.

Тирсъ жезлъ, обвитый плющомъ или виноградной зеленью, составлявшій непремѣнный аттрибутъ спутниковъ и спутницъ Вакха (см.), которыхъ поэтому называютъ *тирсоносцами* (Бога Греціи» т. I, стр. 32).

Тирнепрейтъ (Валленштейнъ», т. II, стр 346)— городъ въ Богеміи между Эгеромъ и Нейштадтомъ.

Тиръ («Карѳагенъ», т. I, стр. 70) - древняя столица Финикіи, богатый торговый городъ X—VI вѣковъ до Р Хр., колоніей котораго былъ Карѳагенъ.

Титаны или Уранидъ сыновья Урана и Геи, враждовавшіе съ Зевсомъ, который, побѣдивъ, низвергъ ихъ въ Тартаръ (см. «Торжество любви», т. I, стр. 12).

Титъ (Помпея и Геркуланумъ», т. I, стр. 71, «Прогулка подъ Липами», т. III, стр. 306) - римскій императоръ, сынъ Веспасіана, правилъ (79- 81) г. по Р. Хр.), такъ мягко, что получилъ прозвище «любовь и утѣшеніе рода человѣческаго (amor deliciaeque generis humani). Въ его царствованіе города Помпея и Геркуланумъ засыпаны пепломъ Везувія.

Тифонъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 346) – египетское божество зла и разрушенія.

Тифей (Семела», т. I, стр. 165) - одинъ изъ Гигантовъ (см); названъ Шиллеромъ «сторукій» не буквально, но для изображенія его громадной силы. По преданію, онъ не «кидалъ въ престолъ Олимпа и Оссу , но нагромождалъ съ братьями Оссу на Пеліонъ, чтобы добраться до Олимпа.

Тифенбахъ (·Валленштейнъ»), Рудольфъ, баронъ von Teuffenpach, вступилъ въ императорскую армію въ 1625 г. и дрался подъ знаменами Валленштейна подъ Штральзундомъ и Волгастомъ; долго занималъ Силезію.

Тичбэрнъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 402)— Chidioc Tichbourne, одинъ изъ участниковъ заговора Сэвэара и Бебингтона.

Товій («Разбойники», т. I, стр. 192)—герой одной изъ апокрифическихъ книгъ Библіи, гдѣ разсказана поэтическая исторія одного еврея, бывшаго въ плѣну у арабовъ.

Толботъ Георгъ графъ Шрусбэри (·Марія Стюартъ») важнѣйшій членъ государственнаго совѣта при Елизаветѣ англійской. До полета Марія Стюартъ была заключена въ его замкѣ, и его мягкость навлекла на него непріятности. Ему совмѣстно съ другими—было поручено исполненіе приговора надъ Маріей.

Толедо («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 87) – древняя столица Испаніи.

Тоуэръ (Марія Стюартъ», т. II, стр. 408, «Варбекъ», т. III, стр. 239) – древняя крѣпость въ Лондонѣ, сперва мѣстопребываніе англійскихъ королей, потомъ знаменитая тюрьма для государственныхъ преступниковъ.

Трапписты («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 92) монахи нормандскаго монастыря, основаннаго въ 1140 году и извѣстнаго необычайной строгостью устава, куда между прочимъ входило требованіе вѣчнаго молчанія.

Трейбъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 95) - мѣстность напротивъ Бруннена у подножья Зелисберга.

Триполи («Мальтійцы) или Триполисъ страна на сѣверномъ побережьи Африки, у Средиземнаго моря, сперва разбойничье государство, потомъ вассалъ Турціи.

Трієнтъ («Духовидецъ»)—городокъ въ итальянскомъ Тиролѣ, на Эчѣ.

Троглодитъ («Элевзинскій праздникъ», т. I, стр. 121) собств. пещерный житель: въ древности - названіе баснословнаго дикаго племени, обитавшаго въ пещерахъ.

Троя (Пергамъ, Иліонъ) городъ на берегу Геллеспонта, который въ теченіе десяти лѣтъ (1194 - 1184 г. до Р. Хр.) осаждали греки, стараясь отнять Елену, жену царя Менелая, увезенную Парисомъ, сыномъ царя троянскаго Пріама.

Трубадуры (·Орлеанская Дѣва», т. II, стр. 476) – провансальскіе поэты-пѣвцы XII – XIII вѣк., обыкновенно рыцари. Ср. т. II стр. 558.

Тулонъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 429) значительнѣйшій военный портъ Франціи на Средиземномъ морѣ.

Туль (Орлеанская Дѣва», т. II, стр. 486) - лотарингскій городокъ въ Мозелѣ.

Тунисъ (Фіеско», т. I, стр. 275) – разбойничье государство на сѣверномъ берегу Африки.

Тургау (Вильгельмъ Телль , т. III, стр. 134) область на югѣ Баденскаго озера, лишь въ 1803 году сдѣлавшаяся кантономъ швейцарскаго союза.

Турнъ (Пикколомини», т. II, стр. 256) -графъ Матвѣй von Thurn, первый зачинщикъ богемскаго мятежа, повлекшаго за собой тридцатилѣтнюю войну; по его подстрекательству выбросили въ окно императорскихъ намѣстниковъ. Командуя въ 1633 году небольшимъ шведскимъ отрядомъ въ Силезіи, онъ былъ послѣ отступленія Арнгейма разбитъ и взятъ въ плѣнъ, но, къ величайшему неудовольствію вѣнскаго двора и іезуитовъ, отпущенъ на свободу Валленштейномъ, которому служилъ посредникомъ въ переговорахъ со шведами.

Тюдоръ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 423) англійская династія, изъ которой происходилъ Генрихъ VIII и его дочь Елизавета. Родство Маріи Стюартъ съ этимъ родомъ основано на томъ, что ея отецъ, Яковъ V, былъ сыномъ Маргариты, сестры Генриха VIII.

Уликсъ см. Одиссей. «Улиссовъ сынъ» («Художники», т. I, стр. 41) Телемахъ (см.).

Улуччіали («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 137)—правильнѣе Улуччіали, см. Сентъ-Эльмо.

Унтервальденъ (·Вильгельмъ Телль») – иногда просто Вальдъ, одинъ изъ четырехъ лѣсныхъ кантоновъ на югѣ Фирвальдштетскаго озера; съ 1150 г. *Кернвальдъ* дѣлитъ его на двѣ части: *Обвальденъ* (выше лѣса) и *Нидвальденъ* (ниже лѣса).

Уранидъ - въ греч. миѳол. — сынъ Урана, небо.

Обыкновенно такъ назывался Кронесъ, но у Шиллера это названіе («Идеалы и жизнь», т. I, стр. 54) носятъ всѣ греческіе боги вообще.

Уранія (небесная) — муза астрономіи; иногда это имя носила Афродита («Художники», т. I, стр. 41).

Уранъ — въ греч. миѳол. высшее божество, олицетвореніе неба, праотецъ другихъ боговъ. На это намекаетъ Зевсъ въ «Семелѣ», т. I, стр. 167), говоря о себѣ — «кровь Урана».

Ури («Вильгельмъ Телль», т. III стр 81) одинъ изъ четырехъ «лѣсныхъ кантоновъ» на юго-востокѣ озера Четырехъ Кантоновъ.

Утраквисты («Пикколомини», т. II, стр. 276) умѣренные гусситы, требовавшіе и для мірянъ причащенія подъ обоими видами. Ср. т. II, стр. 547.

Утрехтъ («Орлеанская Дѣва», т. II, стр. 473) — нидерландская провинція, на югѣ отъ Зюдерзее.

Ухтландъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 134) — собственно страна тумановъ или болотъ — мѣстность между горами Юры и Бернскихъ Альповъ, гдѣ расположены озера Невшательское, Бильское и Муртенское.

Уэльсъ («Орлеанская дѣва», «Варбекъ») — названіе провинціи въ западной Англіи. Наслѣдникъ англійскаго престола носитъ титулъ принца Уэльскаго (въ «Варбекѣ» — Валлійскаго). Монгомери («Орлеанская дѣва») — уроженецъ Уэльса.

Фавенца («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 100) городокъ подлѣ Равенны въ сѣверной Италіи, осажденный и взятый въ 1241 году императоромъ Фридрихомъ II при помощи швейцарцевъ, выставившихъ при этомъ 600 вооруженныхъ воиновъ и за то получившихъ грамоту съ вольностями. Аттингаузенъ, которому теперь 85 лѣтъ, былъ подъ стѣнами Фавенцы восемнадцати лѣтъ.

Фавнъ — въ греко-рим. миѳол. — лѣсныя или полевыя полубожества, съ рожками, козлиными ногами и хвостомъ. Непремѣнные участники пиршествъ Вакха («Боги Греціи»), они отличаются особенной похотливостью; на это намекъ въ («Помпеѣ и Геркулакумѣ», т. I, стр. 71): «Фавнъ любопытный тайкомъ страстно глядитъ на нее» (т. е. на вакханку). Въ «Прогулкѣ», т. I, стр. 62) стихъ:

«Изгнаны изъ лѣсу бѣдные фавны».

Указываетъ на ихъ мѣстопребываніе.

Фамагуста («Духовидецъ») или Fama Augusta — нѣкогда извѣстная гавань на южномъ берегу острова Кипра, отъ которой теперь остались лишь развалины.

Фараонъ владыка древняго Египта, названіе котораго стало нарицательнымъ именемъ жестокаго человѣка, иногда браннымъ словомъ («Разбойники», т. I, стр. 222). Отъ изображенія Фараона на французскихъ игральныхъ картахъ получила названіе азартная игра, упоминаемая въ «Фіеско» (т. I, стр. 275). «Пикколомини», стих. «Знаменитая женщина», «Коварство и любовь», «Духовидецъ».

Фарисеи («Элегія на смерть юноши», т. I, стр. 4, «Разбойники», т. I, стр. 222) іудейская секта, особенное вниманіе обращавшая на внѣшность культа; отсюда — лицемѣръ, ханжа, святоша.

Фарнезе Александръ, принцъ Пармскій («Донъ Карлосъ»), былъ посланъ своими родителями ко двору его дяди Филиппа II, якобы для воспитанія, но на самомъ дѣлѣ въ видѣ залога, что его мать — намѣстница Нидерландовъ — будетъ безпрекословно повиноваться королю. Впослѣдствіи онъ былъ преемникомъ Альбы въ управленіи Нидерландами; умеръ въ 1592 г.

Фебъ (Аполлонъ) — въ греко-римск. миѳол. богъ солнца, сынъ Зевса и Латоны, братъ-близнецъ Діаны-Артемиды. Покровитель дельфійскаго оракула, онъ убилъ здѣсь дракона Пиѳона («Счастіе», стр. 118) и часто называется *пиѳійскимъ* богомъ; отъ храма, воздвигнутаго ему троянцами въ Тимбріи, онъ называется («Кассандра») *тимбрійцемъ*. Поэты особенно часто упоминаютъ о немъ, какъ о главѣ музъ, богѣ музыки, пѣнія, поэзіи. Убивъ въ гнѣвѣ Циклопа, онъ долженъ былъ за это служить въ пастухахъ у Адмета; онъ также пасъ овецъ на Идѣ, на что намекъ въ («Богахъ Греціи», т. I, стр. 32): «посохъ взявъ, пришелъ твой сынъ, Ладона, къ Пирринымъ прекраснымъ дочерямъ»; послѣднее — указаніе на многочисленныя связи Феба съ смертными женщинами Коронидой, Дафне, Арсиноей, Кириной.

Фениксъ («Мессинская невѣста», т. III, стр. 25) — баснословная птица, каждыя два столѣтія сожигающая себя на кострѣ и вновь возрождающаяся изъ своего пепла.

Фердинандъ II («Валленштейнъ»), императоръ австрійскій (1619—1637) — ревностный католикъ, искоренившій протестантизмъ въ своихъ владѣніяхъ. Къ Валленштейну относился двойственно, то обѣщая ему за помощь чрезвычайныя милости, то отказываясь отъ его услугъ.

Феріа («Донъ Карлосъ», «Лагерь Валленштейна») испанскій сановникъ, герцогъ Феріа въ 1633 г. отправленъ былъ кардиналомъ-инфантомъ, испанскимъ намѣстникомъ Милана, въ Германію. Объ этомъ походѣ и говоритъ маркитантка. Возведенный въ 1567 году въ санъ герцога и назначенный начальникомъ королевской гвардіи, Феріа явился исполнителемъ королевскаго приказа о заключеніи Донъ Карлоса въ тюрьму. Въ драмѣ это событіе изображено иначе.

Фермантонъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 484) — горное селеніе въ департаментѣ Іонны, недалеко отъ Оксерра.

Фидій («Боги Греціи», т. I, стр. 360) — знаменитый скульпторъ древней Греціи, род. въ 488 г. до Р. Хр. особенно знаменитъ изваяніями Паллады и олимпійскаго Зевса.

Филесба («Разбойники», т. I, стр. 242) — ошибочно вмѣсто Филиппы (Philippi) — городъ въ Македоніи, при которомъ тріумвиры Октавіанъ, Антоній и Леппидъ въ 42 г. до Р. Хр. разбили римскихъ республиканцевъ Брута и Кассія.

Филиппъ Добрый («Орлеанская дѣва»), герцогъ бургундскій (1396—1467), наслѣдовалъ своему отцу, Іоанну Неустрашимому, предательски убитому приближенными Карла VII, не смотря на ихъ родственную связь. Чтобы отомстить за отца, Филиппъ заключилъ союзъ съ англичанами, но въ 1435 г. помирился съ Карломъ, безъ участія Іоанны, какъ — вслѣдъ за «Генрихомъ VI» Шекспира — изобразилъ Шиллеръ.

Филистеръ (нѣмецкое названіе филистимлянъ, библейскаго племени, враждовавшаго съ іудеями) — сперва въ нѣмецкомъ студенческомъ языкѣ было пренебрежительнымъ названіемъ всякаго не студента; затѣмъ, перейдя въ общую разговорную рѣчь, означаетъ человѣка ограниченнаго, мало образованнаго, чуждаго возвышенной точки зрѣнія.

Филоктетъ — въ греч. миѳологіи — знаменитый стрѣлокъ древности, участникъ троянской войны, которому Геркулесъ, умирая, завѣщалъ свой лукъ и стрѣлы, въ благодарность за то, что Филоктетъ поджегъ его погребальный костеръ. Оракулъ объявилъ грекамъ, что безъ этихъ стрѣлъ не можетъ быть завоевана Троя; такъ какъ Филоктетъ, получивъ отъ укушенія змѣи невыносимо зловонную рану, былъ оставленъ на островѣ Лемносѣ, то за нимъ отправленъ былъ Одиссей (см.). Убивъ Париса (см.), Филоктетъ посвятилъ свое оружіе Аполлону — и («Боги Греціи», т. I, стр. 33) радуется, вновь обрѣтя его въ загробномъ мірѣ.

Филомела въ греч. миѳол. дочь царя аѳинскаго Пандіона; обезчещенная Тереемъ, мужемъ своей сестры Прокны, изъ мести убила вмѣстѣ съ сестрой сына Терея, за что обращена въ *соловья*, пѣснь котораго отнынѣ возвѣщаетъ по ночамъ о страданіяхъ несчастной; отсюда въ («Богахъ Греціи», т. I, стр. 32):

«Филомела въ рощѣ той груститъ».

Буквально *филомела* значитъ по гречески *любящая пѣніе* и часто просто употребляется, какъ названіе соловья.

Фихте («Философы», т. I, стр. 92) — знаменитый нѣмецкій философъ (1762—1814), основной принципъ уче-

нія котораго —А=А или *я* есть *я*. Я—это абсолютъ, мыслимый, какъ чистое дѣяніе, и самъ себя полагающій. Заключенный въ извѣстныя рамки, онъ связанъ въ своей дѣятельности и получаетъ возможность разсматривать *не я*, какъ объективный міръ; это и выражено въ двустишіи.

Фландрія («Донъ Карлосъ», т. I, стр. 89)—графство, прежде составлявшее часть Бургундіи, теперь раздѣленное между Франціей, Бельгіей и Нидерландами.

Флиссингенъ («Донъ Карлосъ», т. I, стр. 179) — портъ въ Голландіи.

Флора (отъ латин. flos) - въ рим. миѳологіи —богиня цвѣтовъ, была, по Овидію, женой Зефира, сына Авроры. Сынъ Флоры, о которомъ упоминается въ стихотвореніи «Надъ свѣжею могилой», есть созданіе фантазіи поэта; въ миѳологіи его нѣтъ.

Флюэленъ («Вильгельмъ Телль», т. III) — городокъ на Фирвальдштетскомъ озерѣ у устья Рейсса; гавань Альторфа.

Фойхтландъ («Лагерь Валленштейна», т. II, стр. 218)—южная часть Саксоніи, бывшая тогда подъ управленіемъ императорскихъ намѣстниковъ (фойхтовъ, фогтовъ).

Фортуна («Фортуна и Мудрость», т. I, стр. 14) въ рим. миѳол.—богиня удачи и счастья, сестра Паркъ. Въ противоположность року, все предопредѣляющему заранѣе, Фортуна – прихотливое существо, воздающее не по заслугамъ, а по своему капризу.

Фотрингей («Марія Стюартъ», т. II, стр. 387) — замокъ въ Норгамптонскомъ графствѣ вблизи города Питерборо. Развалины замка, гдѣ Марія Стюартъ была заключена съ 25 сентября 1586 г., сохранились до сихъ поръ, а въ церкви Питерборо погребены ея останки.

Францисканецъ («Духовидецъ»)—монахъ изъ ордена, основаннаго въ XIII столѣтіи св. Франциской Ассизскихъ.

Фрауэнбергъ («Пикколомини», т. II, стр. 289) - городокъ въ южной Богеміи.

Фрейбургъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 134)—главный городъ швейцарскаго кантона того же имени. Расположенъ на возвышенности и окруженъ стѣнами съ башнями; поэтому въ подлинникѣ называется не «защитникомъ свободы», но «надежной крѣпостью свободныхъ».

Фридландъ («Валленштейнъ»)—городокъ въ Богеміи, неподалеку отъ саксонской и силезской границы; по этому городу данъ Валленштейну герцогскій титулъ. Въ переводѣ «Лагеря Валленштейна» онъ поэтому часто называется Фридландцемъ.

Фридрихъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 106); это Фридрихъ II (1215–1250)- самый выдающійся среди Гогенштауфеновъ императоръ Германіи, подтвердившій послѣ взятія Фавенцы вольности швейцарцевъ особой грамотой, гдѣ было указано, что они добровольно перешли подъ верховенство имперіи.

Фридрихъ V («Пикколомини», т. II, стр. 276)—курфюрстъ Пфальцскій, избранный богемскимъ королемъ и коронованный въ 1619 г. съ большой пышностью, но уже въ 1620 году разбитый подъ Прагой у Бѣлой Горы предводителемъ католическихъ войскъ Максимиліаномъ Баварскимъ. Не добившись отъ Густава Адольфа возвращенія своей земли, онъ умеръ въ 1632 г. черезъ нѣсколько дней послѣ шведскаго короля.

Фрина («Разбойники», т. I, стр. 193) знаменитая аѳинская куртизанка, извѣстная своимъ богатствомъ и красотой.

Фрисландія («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473); правильнѣе Фрисландія—нидерландская провинція, имѣвшая нѣкоторую самостоятельность.

Фріульская война («Валленштейнъ», т. II, стр. 364)—между эрцгерцогомъ штирійскимъ Фердинандомъ (впослѣдствіи императоромъ Фердинандомъ II) и венеціанской республикой (которой принадлежала область Фріульская) произошла въ 1617 г. Валленштейнъ оказалъ здѣсь эрцгерцогу существенную помощь, за что императоръ Матвѣй далъ ему графскій титулъ и тѣмъ положилъ начало его будущей блестящей карьерѣ.

Фуріи—см. Эвмениды.

Фу-си («Турандотъ», т. III, стр. 202) — китайское божество.

Фьербуа («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 488) – городъ во французской провинціи Турени, недалеко отъ Шинона.

Харибда въ греч. миѳологіи—морское чудовище, дочь Нептуна и Земли, за ея ненасытность низвергнута Юпитеромъ въ море, гдѣ поглощала всякое приблизившееся къ ней судно. Основой этого сказанія былъ водоворотъ въ Мессинскомъ проливѣ; теперь Харибдой древнихъ считается одно опасное и вѣчно бурное мѣсто у входа въ Мессинскую гавань. Вмѣстѣ съ Харибдой называютъ другое морское чудище — Сциллу (собств. сука); отсюда въ стихотв. «Одиссей», (т. I, стр. 45) «Слышалъ и Сциллы онъ лай, зрѣлъ и Харибды грозу». Сопоставленіе этихъ двухъ чудовищъ введено въ поговорку стихомъ средневѣковой латинской поэмы Филиппа Вальтера «Александреида»: «Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim» – т. е. «Сцилла хватаетъ того, кто хочетъ бѣжать отъ Харибды».

Хариты (отъ греч. слова charis — изящество, прелесть, грація) въ греч. миѳологіи (въ римской Граціи)—прислужницы Венеры, дочери Зевса и прекрасной океаниды Эвриномы; ихъ было три—Аглая, Эвфросина и Талія; онѣ олицетворяли собой женственность, радость любви. Отсюда въ «Пѣсни радости» (т. I, стр. 29): «вѣнки Харитъ» (чего нѣтъ у Шиллера»).

Харонъ въ греч. миѳол. - лодочникъ въ преисподней, старый служитель Плутона, перевозящій въ челнѣ души умершихъ черезъ Ахеронъ (см.). Ему уплачивался *оболъ*, мелкая монета, которую клали для этого покойникамъ подъ языкъ.

Хорассанъ («Турандотъ», т. III, стр. 219) — ср. Кейкобадъ.

Хунъ («Вильгельмъ Телль») Конрадъ Hunn, швицскій крестьянинъ, за заслуги предъ роднымъ кантономъ получившій отъ него въ 1282 г. благодарность.

Цезарь («Прогулка подъ Липами», «Счастье», «Разбойники» – Кай Юлій Caesar, великій государственный дѣятель и полководецъ древняго Рима. Посланный въ 58 г. въ Галлію, онъ завоевалъ ее и правилъ, какъ римской провинціей; но Помпей, его соперникъ, добился приказанія сената, чтобы Цезарь—подъ страхомъ быть объявленнымъ врагомъ отечества - распустилъ свои войска и возвратился въ Римъ. Тогда Цезарь повелъ на Римъ тѣ легіоны, что Римъ ему довѣрялъ для защиты» («Смерть Валленштейна», стр. 309). Овладѣвъ Италіей (49 г. до Р Хр.), онъ сдѣлался ея неограниченнымъ властелиномъ. Въ «Разбойникахъ» (стр. 192)—намекъ на его многоразличныя приключенія, въ «Счастіи» (стр. 117) на его неизмѣнное счастіе (т. I, стр. 440) – О гибели Цезаря см. сл. *Брутъ*.

Церера – въ рим. миѳол. (въ греч. Деметра) - дочь Сатурна и Реи, сестра Юпитера и Плутона, богиня земледѣлія, благословляющая и оплодотворяющая землю. Въ этомъ видѣ она и изображена въ стихотвореніяхъ— «Элевзинскій праздникъ» (т. I, стр. 121), гдѣ она въ связи съ этимъ является создательницей всякой культурной жизни, въ «Прогулкѣ» (т. I, стр. 63), гдѣ тирсъ изображенъ ея подаркомъ, въ «Мигѣ» (т. I, стр. 142). *Законодательницей* (thesmophoros, legifera) она называлась у грековъ и римлянъ. Въ «Богахъ Греціи» (т. I, стр. 32) намекъ на судьбу ея дочери Персефоны (см.). По преданію, отыскивая похищенную дочь, она спустилась съ неба въ греческомъ городкѣ Элевзинѣ, гдѣ въ честь ея были установлены особыя празднества.

Цибела - въ греч. миѳологіи — богиня плодородія и гражданственности. По преданію, она дочь фригійскаго короля Меона и Диндимы. Недовольный рожденіемъ дѣвочки

вмѣсто желаннаго наслѣдника, отецъ приказалъ отнести ее на гору Цибелъ въ Малой Азіи и бросить тамъ. Но львы и пантеры вскормили ребенка, а пастушки воспитали его. Получивъ имя отъ горы, гдѣ она была найдена, Цибела скоро прославилась красотой и умомъ; она изобрѣла разныя цѣлебныя средства, научила людей земледѣлію и ремесламъ и, получивъ прозваніе «доброй матери горъ», стала почитаться сперва во Фригіи, гдѣ въ торговомъ городѣ Пессинѣ ей былъ воздвигнутъ великолѣпный храмъ, а затѣмъ во всей передней Азіи и Греціи. Ее изображали въ колесницѣ, запряженной двумя львами («Прогулка», т. I, стр. 63). Но «матерью *безсмертныхъ*» она названа только въ русскомъ переводѣ этого стихотворенія. На то, что Цибела наслѣдительница гражданственности и основательница городовъ намекъ въ «Элевзинскомъ праздникѣ», гдѣ рука ея «создаетъ городскія врата, ихъ запоры и замки».

Циклопы («Прогулка», т. I, стр. 63)—въ греч. миѳол.—одноглазые великаны, сыновья Урана и Геи, кующіе Зевсу молніи и потому—поэтическій образъ кузнецовъ.

Цингулумъ («Путеш. въ плавильн. домъ», т. I, стр. 111) - бѣлый шнурокъ, которымъ опоясанъ католическій священникъ во время богослуженія.

Цинтъ («Семела», т. I, стр. 168) – гора на островѣ Делосѣ.

Цитера («Боги Греціи», т. I, стр. 32, «Художники», т. I, стр. 40, «Счастіе», т. I, стр. 118)—Афродита. Въ «Семелѣ» (стр. 161, 166) *Цитера* ошибочно вмѣсто Киѳеронъ—гора въ Греціи, мѣстопребываніе Юноны.

Ціаны («Элевзо. праздникъ», т. I, стр. 121) - васильки.

Цнаймъ («Пикколомини», т. II, стр. 237) - городъ въ Моравіи; сюда въ 1632 г., когда Густавъ Адольфъ разбилъ войска императора, явился къ опальному Валленштейну министръ фонъ-Квестенбергъ съ просьбой, чтобы онъ сталъ во главѣ императорской арміи, которую ему, въ сущности, предстояло создать.

Цюрихъ («Вильгельмъ Телль»)—богатый городъ у впаденія Лиммата въ Цюрихское озеро; до присоединенія своего къ Швейцарскому союзу (1351 г.) былъ вольнымъ имперскимъ городомъ; о значительномъ монастырѣ его, имѣвшемъ своихъ ленниковъ, говорится на стр. 108, т. III.

Черныя горы («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 105) такъ назывался иногда Брюнигъ (см.).

Четырехъ кантоновъ озеро («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 81) или Фирвальдштетское—одно изъ живописнѣйшихъ озеръ Швейцаріи, расположенное среди четырехъ «лѣсныхъ кантоновъ» (Швицъ, Ури, Унтервальденъ, Люцернъ). На югѣ въ него впадаетъ (у Флюэлена) Рейссъ, на востокѣ (у Бруннена) Муотіа.

Чудовъ монастырь («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 291) въ Московскомъ Кремлѣ, основанъ въ 1365 г

Шалонъ на Марнѣ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 501) городъ во Франціи, на сѣверѣ Шампани.

Шафгаузенъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144) – главный городъ швейцарскаго кантона того-же названія, недалеко отъ Рейнскаго водопада.

Шафіочъ («Пикколомини», т. II, стр. 280) - полководецъ Валленштейна, оставленный послѣ побѣды при Штейнау въ Силезіи; одинъ изъ тѣхъ, на чью преданность герцогъ разсчитывалъ до конца. Онъ былъ протестантъ и, заподозрѣнный затѣмъ въ участіи въ какомъ-то заговорѣ, приговоренъ къ смертной казни.

Швабія (Графъ Эбергардъ Грейнеръ», стр. 25, «Пикколомини», т. II, стр. 239), первоначально Свевія, германская область, расположенная по верхнему теченію Дуная отъ Леха и до Вогезовъ и обнимавшая также восточную часть нынѣшней Швейцаріи. Сперва въ качествѣ отдѣльнаго герцогства, она составляла часть франкскаго, затѣмъ германскаго государства, и наконецъ, послѣ паденія Гогенштауфеновъ, распалась на множество самостоятельныхъ владѣній.

Шверинъ (Разбойники», т. I, стр. 210)—знаменитый прусскій полководецъ, павшій въ сраженіи подъ Прагой (1757 г.) семидесяти трехъ лѣтъ отъ роду, со знаменемъ въ рукахъ.

Швицъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 81, 86)—одинъ изъ четырехъ «лѣсныхъ кантоновъ» Швейцаріи, расположенныхъ между Фирвальдштетскимъ и Цюрихскимъ озерами; послѣ возстанія, изображеннаго въ драмѣ, названіе это получила вся Швейцарія (Schwyz – на швейцарскомъ нарѣчіи нѣмецкаго языка—Швейцарія).

Шерифъ («Марія Стюартъ», т. II, стр. 403)—отъ англійск. Shire—графство, начальникъ и главный судья графства; въ его присутствіи должна была совершаться казнь.

Шерфенбергъ («Валленштейнъ», т. II, стр. 335)—Готардъ von Scherfenberg (1558 - 1662), вѣрный приверженецъ Валленштейна, былъ послѣ его убійства присужденъ къ смертной казни, но помилованъ.

Шехенъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 112) - горный потокъ, впадающій въ Рейссъ у Бюрглена.

Шинонъ («Орлеанская дѣва», т. II, стр. 473)—городокъ и замокъ во Франціи на впадающей въ Сену Іоннѣ.

Шмидтъ («Философы», т. I, стр. 92) - Christian Eberhard Schmidt (1761—1812) - нѣмецкій философъ, трудъ котораго «Versuch einer Moralphilosophie» имѣлъ въ свое время извѣстность и значеніе.

Шотландія («Марія Стюартъ», т. II, стр. 399) лишь по смерти Елизаветы соединена съ Англіей, когда на англійскій престолъ подъ именемъ Якова I вступилъ сынъ Маріи Стюартъ король шотландскій Яковъ VI. «Шотландцы» въ «Орлеанской дѣвѣ» (т. II, стр. 478) не наемники, а вспомогательныя войска, такъ какъ въ теченіе среднихъ вѣковъ Франція и Шотландія были всегда въ тѣсной политической связи.

Шрекгорнъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 94) – одна изъ высочайшихъ (12.600 фут.) вершинъ Бернскихъ Альпсвъ, на которую еще никому не удалось взойти.

Штауффахеръ («Вильгельмъ Телль») Вернеръ—былъ дѣйствительно ландъ-аманомъ и жилъ еще въ 1341 году. На мѣстѣ его дома въ Штейненѣ (см.) воздвигнута въ 1400 г. часовня.

Штейненъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 86, 131)—деревня въ Швицѣ недалеко отъ Ловерцскаго озера, родина Вернера Штауффахера. Съ 1450 г. здѣсь существуетъ воздвигнутая въ память его капелла.

Штральзундъ («Валленштейнъ») крѣпость въ Помераніи у пролива, отдѣляющаго островъ Рюгенъ отъ материка. Извѣстно пророченіе Валленштейна, который, тщетно осаждая городъ въ 1628 г., заявилъ, что «возьметъ его, хотя бы онъ былъ прикованъ къ небу цѣпями».

Шуйскій («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 300)—Василій Ивановичъ, вожакъ борьбы противъ Самозванца, послѣ его убійства избранный царемъ въ 1606 г. и свергнутый въ 1610 г.

Эболи («Донъ Карлосъ»)—см. Гомецъ.

Эвмениды или *эринніи* (у римлянъ *фуріи*) въ греч. миѳол.—божества мести, угрызеній совѣсти и судьбы. По Эврипиду, ихъ три: Тизифона (мстительница за убійство), Алекто (неустанная) и Мегера (враждебная); дочери Ночи, онѣ живутъ въ желѣзномъ дворцѣ въ Тартарѣ, откуда проклятіе вызываетъ ихъ на дѣло мести. Аѳиняне такъ трепетали при мысли о нихъ, что называли ихъ благосклонными» (эвмениды), ибо онѣ голосомъ совѣсти предостерегаютъ отъ злодѣяній.

Эвоэ («Боги Греціи», т. I, стр. 32) разгульный кличъ спутниковъ Вакха (см.).

Эвтерпа (веселящая) муза игры на флейтѣ.

Эгеръ (Валленштейнъ») – городъ въ Богеміи, недалеко отъ границы Баваріи.

Эгмонтъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 135)—графъ Ламораль ф. Эгмонтъ (1522 1563), вождь нидерландскаго возстанія, казненный герцогомъ Альбой.

Эдемъ («Художники», т. I, стр. 38) собственно, по древне-еврейски, садъ въ Библіи (I кн. Моис., 2, 8) такъ называется земной рай. Въ оригиналѣ въ этомъ мѣстѣ сказано *элизіумъ*.

Эдуардъ Кларенсъ («Варбекъ», т. III, стр. 231) или *Плантагенетъ* сынъ герцога Кларенса, племянникъ короля Эдуарда VI. Послѣ умерщвленія своего отца (1478) былъ содержимъ въ заточеніи сперва Ричардомъ III, а потомъ Генрихомъ VI, который въ лицѣ его боялся послѣдняго законнаго потомка мужской линіи Плантагенетовъ. Послѣ пятнадцатилѣтняго пребыванія въ Тоуэрѣ бѣжалъ отсюда вмѣстѣ съ Варбекомъ (1499), но схваченъ и казненъ.

Эйнзидельнъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 106)—мѣстечко между Цюрихскимъ и Фирвальдштетскимъ озерами съ чудотворной иконой Божьей Матери и знаменитымъ монастыремъ на мѣстѣ кельи св. Мейнрада (см.), куда уже болѣе тысячи лѣтъ стекаются толпами католическіе паломники.

Элевзинъ—городъ въ древней Греціи, знаменитый великолѣпнымъ храмомъ Цереры и Прозерпины. Ежегодно здѣсь происходили въ теченіе девяти дней торжества *мистерій* (таинствъ), совершавшихся посвященными жрецами. О происхожденіи этихъ торжествъ, равно какъ о содержаніи тайнаго ученія жрецовъ ничего достовѣрно не извѣстно. Полагаютъ, что оно было въ связи съ идеей единобожія и безсмертія души и потому именно такъ тщательно было скрываемо.

Элизіумъ- въ греко-рим. миѳол. (Одиссея, VI, 563)—загробное мѣстопребываніе блаженныхъ любимцевъ боговъ, которые наслаждались здѣсь вѣчной юностью и радостью—поля на западѣ извѣстной тогда земли или острова въ океанѣ, гдѣ царила вѣчная весна. Наслажденія, ожидавшія здѣсь счастливцевъ, были—въ противоположность христіанскому представленію о раѣ—чисто земныя; въ описаніи Виргилія («Энеида I», — 640 - 655) одни здѣсь занимаются пѣніемъ и плясками, другіе борьбой, третьи конскими состязаніями. Поэтому въ «Богахъ Греціи»—«Въ Елисей къ ликующему кругу тѣнь слетала землю помянуть» (т. I, стр 32).

Элоиза («Духовидецъ», т. III, стр. 384) - возлюбленная французскаго философа Абелара.

Эльфы—въ сѣверной миѳологіи - божественныя существа, связанныя съ міромъ природы, населяющія горы, лѣса и воды; иногда они видимы, иногда невидимы и появляются обыкновенно ночью. По преданію, они соединены подъ властью короля, живущаго въ Норвегіи и имѣющаго намѣстника въ Исландіи; различаютъ *свѣтлыхъ* эльфовъ, которые имѣютъ небесное происхожденіе, по ночамъ пляшутъ въ хороводахъ на лугахъ и дружны съ людьми, и *темныхъ*—хранителей подземныхъ сокровищъ, терзающихъ людей.

Энгельбергъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 102)—деревня между Станцомъ и Альторфомъ, гдѣ съ 1121 г. существуетъ знаменитый Бенедиктинскій монастырь.

Эндиміонъ («Фіеско», т. I, стр. 295) въ греч. миѳол.—прекрасный юноша, возлюбленный Селены (луны), по просьбѣ которой Зевсъ даровалъ ему безсмертіе, но погрузилъ въ вѣчный сонъ.

Эолъ - въ греч. миѳол.—боги вѣтровъ; Эолова арфа - особый музыкальный инструментъ, струны котораго, приводимыя въ колебаніе вѣтромъ, издаютъ печальные и грустные звуки; для этого его вывѣшиваютъ на возвышенномъ и открытомъ мѣстѣ. Къ Эоловой арфѣ и относится сравненіе въ «Достоинствѣ женщины» (т. I, стр. 52).

Эонъ—по-гречески время, вѣкъ, во множествѣ *эоны*—вѣчность.

Эосъ—въ греч. миѳол. (тождественна съ *Авророй* въ римской миѳол.), дочь титана Гиперіона и Тіи, сестры Геліоса (солнца) и Селены (луны), мать Геспера (см.), вѣтровъ Зефира, Борея и Нота и созвѣздій. Олицетвореніе утренней зари; она изображалась на колесницѣ, выѣзжающей изъ-за океана.

Эпидавръ («Семела», т. I, стр. 163) одинъ изъ наиболѣе значительныхъ городовъ древней Греціи, большой торговый портъ на восточномъ берегу Пелопоннеса, особенно знаменитый великолѣпнымъ храмомъ Эскулапа съ надписью: «Доступъ открытъ лишь чистымъ душамъ».

Эпикурейцы («Фіеско», т. I, стр. 274, 300)—послѣдователи извѣстнаго греческаго философа Эпикура, жившаго въ Аѳинахъ въ IV вѣкѣ до Р. Хр. Высшимъ благомъ онъ считалъ спокойное душевное состояніе, обусловленное свободой отъ всякаго безпокойства или страданія. Но уже въ древности это ученіе было извращено и потому названіе эпикурейцевъ получили люди, стремящіеся къ всякимъ наслажденіямъ безъ отношенія къ ихъ нравственной цѣнности.

Эрато (милая)—муза пляски и музыки.

Эребъ (и Эревъ)—см. Тартаръ.

Эрида—въ греч. миѳол. дочь Ночи и богиня раздора. Ее изображали въ видѣ отвратительной женщины съ змѣями вмѣсто волосъ и «яблокомъ раздора» въ рукѣ.

Эринніи—см. Эвмениды.

Эросъ (или Эротъ, у рим. Аморъ, въ новой формѣ Амуръ) - въ греч. миѳологіи—богъ любви; изображался въ видѣ шаловливаго прелестнаго мальчика съ лукомъ, изъ котораго онъ стрѣляетъ въ сердца людей и боговъ, связывая ихъ любовью.

Эскуріалъ («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 98)—мрачное зданіе, полу-замокъ, полу-монастырь, посвященное мученику св. Лаврентію и планомъ своимъ напоминающее рѣшетку, на которой сожгли святого. Главный входъ храма открывается лишь предъ испанскими королями и то всего дважды: для ихъ крестинъ и для погребенія.

Эта («Семела», т. I, стр. 165)—высокая гора въ Греціи у Ѳермопильскаго ущелья.

Этна («Мессинская невѣста», т. III, стр. 29)—высокій (11 тысячъ футовъ) вулканъ на островѣ Сициліи.

Эчъ («Валленштейнъ»), по итальян. Адидже, рѣка въ сѣверной Италіи, вытекающая изъ Альпъ и впадающая въ Адріатическое море у устья По.

Эшенбахъ («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 144) Вальтеръ—швейцарскій дворянинъ изъ кантона Ааргау, сообщникъ Парриціды при убійствѣ Альбрехта I.

Юмъ («Философы», т. I. стр. 92) David Hume (1711—1776), англійскій философъ, рѣшительный скептикъ, отрицавшій возможность познанія истины.

Юнгфрау («Вильгельмъ Телль», т. III, стр. 94)—одна изъ высочайшихъ (12.870 фут.) вершинъ Бернскихъ Альповъ на западъ отъ С.-Готарда.

Юнона—см. Гера.

Юпитеръ—см. Зевсъ. «Дщерь Юпитера» въ «Художникахъ» (стр. 41) Аѳина-Паллада (см.).

Юста св. монастырь («Донъ Карлосъ», т. II, стр. 181)—куда удалился императоръ Карлъ V по отреченіи отъ престола.

Язонъ—въ греч. миѳологіи—герой, добывшій вмѣстѣ съ своими Аргонавтами Золотое руно. Его возлюбленная, волшебница Медея помогла ему впречь въ алмазный плугъ огнедышащихъ быковъ съ стальными ногами, сдѣланныхъ Гефестомъ. Объ этомъ въ «Геро и Леандрѣ» (т. I, стр. 134).

Яикъ («Турандотъ», т. III, стр. 174)—нынѣшній Уральскъ, по теченію рѣки Урала, прежняго Яика, такъ переименованнаго послѣ Пугачевщины.

Янусъ (Привѣтствіе искусствъ», т. III, стр. 158)—въ римской миѳол. божество, которое изображалось съ двумя лицами, изъ коихъ одно смотрѣло назадъ, другое впередъ, что было символомъ времени, глядящаго впередъ и назадъ. «Двѣ маски» (трагическая и комическая), обыкновенно символизирующія храму, дали поэту поводъ назвать драматическое искусство «Янусомъ двуликимъ».

Яффа («Рыцарь Тоггенбургъ», т. I, стр. 104)—

древнѣйшій портъ Палестины, обычное мѣсто высадки крестоносцевъ.

Ѳемида—въ греч. миѳол.—богиня справедливости и правосудія, дочь Урана и Геи, возлюбленная Зевса, мать Горъ (Часовъ) и Эринній (въ «Мессинской невѣстѣ», стр. 47 «дщери Ѳемиды»). Ея изображеніе съ мечомъ въ одной рукѣ, вѣсами въ другой и повязкой на глазахъ—стояло въ судилищахъ. На ея примиряющую роль указаніе въ «Элевзинскомъ праздникѣ», строфа 14.

Ѳеодоръ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 298) Борисовичъ сынъ царя Бориса Годунова; получилъ превосходное по тому времени образованіе. Послѣ скоропостижной смерти Бориса (13 апрѣля 1605 года) Москва присягнула Ѳеодору, которому, однако,послѣ весьма непродолжительнаго царствованія пришлось погибнуть вмѣстѣ съ матерью насильственной смертью.

Ѳеодоръ («Димитрій Самозванецъ», т. III, стр. 281) Іоанновичъ слабый и «скорбный главой» сынъ Іоанна Грознаго (1584—1598), женатый на Иринѣ, сестрѣ Бориса Годунова, который и былъ дѣйствительнымъ правителемъ Россіи во время его царствованія.

Ѳесписъ жившій въ Аѳинахъ при Солонѣ (600 г. до Р. Хр.), считался въ древней Греціи изобрѣтателемъ трагедіи. Сценой служила ему колесница, на что намекъ въ «Художникахъ» (т. I, стр. 39): «И Ѳесписъ въ тишинѣ съ походной (?) колесницы» и «Къ Гете» (т. I, стр. 130).

Ѳетида—въ греч. миѳол. самая извѣстная изъ Нереидъ (см Нимфы), жена Пелея и мать Ахилла. По ошибкѣ въ правописаніи въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ изданіяхъ (Thetis вмѣсто Tethys) русскій переводчикъ «Вечера» (т. I, 51) замѣнилъ ею Тетиду или Тефиду, дочь Урана и Геи, жену Гипперіона, старѣйшую морскую богиню (ср. «Геро и Леандръ»). Не она была возлюбленной Феба («Вечеръ»), а ея дочь Клименa.

Ѳивы («Семела», т. III, стр. 164)—главный городъ Беотіи въ древней Греціи, основанный Кадмомъ (см.). «Ѳиванская пара» и «Ѳивскіе борцы» («Мессинская невѣста», стр. 24) Этеоклъ и Полиникъ, сыновья Эдипа, павшіе въ поединкѣ.

Ѳракіецъ (въ стихотв. «Боги Греціи», т. I, стр. 32) см. Орфей.

Ѳракія («Семела», т. III, стр. 171)—часть современной Турціи, граничащая съ сѣвера и запада съ горами Геиусомъ и Деспото-Дагомъ.

Ѳуле («Прогулка», стр. 63) — несуществующій сказочно-богатый островъ, который греческая миѳологія помѣщала на крайнемъ сѣверѣ Европы. Кажется, здѣсь имѣлась въ виду не то Шотландія, не то Исландія, не то побережье Норвегіи.

А. Горнфельдъ.

Библіографическій очеркъ русской литературы о Шиллерѣ.

I.

Книги и журнальныя статьи

о жизни и сочиненіяхъ Шиллера.

1805.

Фридрихъ Шиллеръ.- «Аврора», т. I, №№ 1 и 2, стр. 64—78 и 79—103. Эстетическая и «философическая» характеристика твореній Шиллера, принадлежащая перу одного изъ издателей этого московс аго журнала, *Я. И. Де-Санлета*. Переиздана въ дополнительномъ видѣ въ 1843 г., въ видѣ отдѣльной книжки. Первая на русскомъ языкѣ статья о Шиллерѣ.

О Шиллеровыхъ сочиненіяхъ. (Изъ франц. журн.)—«Вѣстникъ Европы», ч. 23, окт. № 19, стр. 207 - 216.

1814.

Гете, Виландъ и Шиллеръ, изображенные госпожею *Сталь* «Вѣстникъ Европы ; ч. 77, сент. № 18. стр. 120 126 и окт. № 19, стр. 181 - 190.

Другой переводъ см. ниже подъ 1820 г.

1820.

Г-жа Сталь. Шиллеръ. Переводъ *П. П.* изъ книги «De l'Allemagne»—«Сынъ Отечества», ч. 63, № 31, стр. 219 224.

В. Кн—чъ (*В. Княжевичъ*). Разборъ двухъ стихотвореній, переложенныхъ изъ Шиллера В. А Жуковымъ и М. В. Милоновымъ—«Благонамѣренный», ч. 16, дек. № 23—24, стр. 217—245.

О переводахъ стихотворенія «Die Ideale».

1827.

«F. v. Schiller. Sämmtliche Werke».- Московскій Телеграфъ», ч. I, стр. 58—74 и ч. VIII, стр. 283—303.

Гете и Шиллеръ. Съ нѣмецкаго, *P**** «Московскій Телеграфъ», ч. XV, № 9, отд. I, стр. 3—16.

1833.

Гейне. О Гете и Шиллерѣ («L'Europe Littéraire «Телескопъ, ч. XIX, стр. 129—143.

См. ниже подъ 1861 г.

1835.

Альфонсъ Карръ. Одинъ часъ изъ жизни Шиллера. Разсказъ «Телескопъ , ч. XXVIII, стр. 176 — 182.

Шиллеръ. Переводъ съ нѣмецкаго *Аксѣнева*.— «Сынъ Отечества», ч. CLXXIII, стр. 239 255 и 287—311.

1836.

Бѣгство Шиллера изъ Штутгарта (Morgenblatt» «Московскій Наблюдатель», ч. IX, стр. 182 207. (По книгѣ *Штрейхера*: Schillers Flucht von Stuttgart und Autenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785»).

Степанъ Шевыревъ. Шиллеръ.—Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ. М. 1836, стр. 276—285.

То-же, 2-е изданіе. Спб. 1887, стр. 194 - 200.

См. еще подъ 1837 г.

1837.

С. П. Шевыревъ. Гердеръ, Шиллеръ и Гете. Отрывокъ изъ новаго сочиненія: «Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ».—«Московскій Наблюдатель», ч. X, дек. кн. II. О Шиллерѣ стр. 141—151.

1838.

Профессоръ *Иванъ Давыдовъ*. Чтенія о словесности. Курсъ четвертый. М. «Чтеніе» LVII. Драма въ Германіи. О Шиллерѣ, стр. 257—262.

Бѣгство Шиллера изъ Штутгарта и пребываніе его въ Мангеймѣ. «Библіотека для Чтенія», т. XXXI отд. VII. Смѣсь. Стр. 85—98.

1839.

Нѣкоторыя мнѣнія и слова *Гете*. О Шиллерѣ.— Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду», т. I, № 12, стр. 253—254.

И. Ефимовичъ. Гете и Шиллеръ. или Превращеніе растеній и философія Канта.—Тамъ же, № 16, стр. 337—339.

1841.

Шиллеръ (Человѣкъ и поэтъ).—«Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ», ч. I, № 1, стр. 1 15.

О драматическихъ произведеніяхъ Шиллера— тамъ же, ч. II, № 4, стр. 1—12.

Докторъ *Рульдъ*. Черепъ Шиллера.—«Отечественныя Записки», т. XVIII, отд. VII. Смѣсь, стр. 81.

В. Бѣлинскій. Братья-враги, или Мессинская невѣста. Трагедія въ трехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. Шиллера.—«Отечественныя Записки», и въ «Сочиненіяхъ» Бѣлинскаго.

1842.

Жизнь Шиллера.— «Библіотека для Чтенія», т. L. Отд. III. Науки и художества. Стр. 1 34. По книгѣ *Гофмейстера* (K. Hoffmeister) «Schiller's Leben», Stuttgart. 1839.

1843.

Наружность и привычки Шиллера.—«Репертуаръ русскаго и Пантеонъ иностранныхъ театровъ», т. 4, кн. 10 Смѣсь, стр. 47—48.

Я. С. (*Я. И. де-Санлетъ*). Шиллеръ, Вольтеръ и Руссо Полный обзоръ твореній Фридриха Шиллера. М. 8°. Стр IV+109. Содержаніе. Жизнь Фридриха Шиллера. Шиллеръ-лирикъ. Шиллеръ-прозаикъ. Шиллеръ-трагикъ. Стр. 1 - 85. Вольтеръ и Руссо. Стр. 85—109. Ср. рецензію *М.* Полный обзоръ твореній Шиллера. — «Литературная Газета», № 9, стр. 179—180.

1844.

Э. И. Губеръ. «Вильгельмъ Телль. Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ. Сочиненіе Шиллера. Переводъ Θ Миллера».—«Библіотека для Чтенія», т. 62 и 63, №№ 2 и 3 (V. Критика, стр. 28 54 и 1 26). Вмѣсто разбора книги, дана біографія и характеристика Шиллера; статья не кончена. Перепечатана въ «Сочиненіяхъ Э. И. Губера, изданныхъ подъ редакціей А. Г. Тихменева», т. III, Спб. 1860. Стр. 88—162.

1846.

Послѣднія минуты Шиллера.—«Репертуаръ и Пантеонъ», т. 13, кн. 2. Смѣсь, стр. 468—471.

А. В. Фридрихъ Шиллеръ.—«Звѣздочка», журналъ для дѣтей старшаго возраста, ч. XIX, стр. 177—190.

1848.

В. Толбинъ. Жизнь Шиллера въ Іенѣ.—«Сѣверное Обозрѣніе», № 3. Смѣсь, стр. 1—13.

Кернеръ, извѣстный нѣмецкій воинъ-поэтъ. «Пантеонъ и Репертуаръ русской сцены», т. I, кн. 2. Смѣсь. Калейдоскопъ, стр. 31—32. Замѣтка о Т. Кернерѣ по даннымъ переписки Шиллера съ Кернеромъ, изданной въ 1847 г.

Переписка Шиллера.—«Звѣздочка», журналъ для дѣтей старшаго возраста, ч. XXVI, № 5, стр. 91—103 и ч. XXVIII, № 10, стр. 24—48.

1851.

Эдуардъ Боасъ. Шиллеръ и Гете въ борьбѣ ксеній (Изъ Allg. Zeit.)—«Москвитянинъ», ч. V, № 17, сентябрь, кн. I, стр. 148—155.

1853.

Кабинетъ Шиллера (All. Z-tg). —«Библіотека для Чтенія», т. 122, отд. VII. Смѣсь, стр. 178—179.

Шиллеръ и его переписка съ друзьями.—«Современникъ», т. XL, № VIII, августъ, отд. II. Науки и художества, стр. 111—154), т. XLI, № IX, сент., отд. II, стр. 37—94 и № X, окт., отд. II, стр. 133—176 и т. XLII, № XII, дек., отд. II, стр. 63—158. По книгѣ «Schiller's Leben. Verfasst aus Erinnerungen der Familie, seinen eigenen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner». Hrsg. von Caroline v. Wolzogen. Переведены письма Шиллера и его же «Свадебное стихотвореніе по случаю бракосочетанія Генріетты Н. съ Н. Н., написанное другомъ невѣсты», 1784 (перев. въ прозѣ, въ № VIII, стр. 151—154).

1854.

День рожденія Шиллера.—«Отечественныя Записки», т. XCII, кн. 1. отд. VII. Смѣсь, стр. 1—2.

1856.

Дома, въ которыхъ жилъ Шиллеръ.—«Сынъ Отечества», № 9, стр. 178.

Первообразъ Шиллеровыхъ «Разбойниковъ». —«Русскій Инвалидъ», № 109. Фельетонъ. Смѣсь.

Наружность Шиллера. — «Русскій Инвалидъ», № 130. Фельетонъ. Смѣсь.

Переписка Шиллера и Гете.—«Русскій Инвалидъ», № 265. Фельетонъ. Иностранная литература.

1857.

Н. В. Гербель. О русскихъ переводахъ изъ Шиллера.—(*Шиллеръ.* Лирическія стихотворенія въ переводахъ русскихъ поэтовъ, изданныя подъ редакціею Н. В. Гербеля. Спб. 1857, стр. 257—273.

Н. В. Гербель. Жизнь Шиллера.—(*Шиллеръ.* Лирическія стихотворенія въ переводахъ русскихъ поэтовъ, ч. II. Спб. 1857, стр. 249—289. Перепечатано во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ сочиненій Шиллера, подъ редакціею Н. В. Гербеля, 1860, 1862, 1863, 1875, 1884, 1893 гг.).

1858.

Жена Шиллера (Шарлотта фонъ-Шиллеръ † 1821 г.). Одинъ изъ женскихъ типовъ гете-шиллеровской эпохи. «Сынъ Отечества», № № 1 и 2 Фельетонъ, стр. 1—5 и 25—28.

Каролина фонъ-Вольцогенъ и Шарлотта фонъ-Кальбъ. Еще два портрета изъ гете-шиллеровской эпохи—«Сынъ Отечества», №№ 10 и 11, стр. 284—286 и 316—320.

Шарлотта фонъ-Штейнъ. Еще портретъ изъ гете-шиллеровской эпохи. —«Сынъ Отечества», № 26, стр. 752—754.

Августа Воронова. Нѣсколько словъ о Шиллерѣ и его твореніяхъ «Лучи», т. XVIII, № № 9, и 12, стр. 177—205 и 406—420. Замѣтка о русскихъ переводахъ изъ Шиллера и критическая его біографія.

Н. Н въ. Обзоръ книги E. Palleske «Schiller's Leben und Werke». «Отечественныя Записки», т. CXXI, дек., отд. III. Новости наукъ, искусствъ и литературы, стр. 43—56.

Переписка Шиллера со своею невѣстой, «Театральный и Музыкальный Вѣстникъ», №№ 11, 13, 14, 20 и 21, стр. 127—128, 153—154, 163—265, 234—236, 244—245.

1859.

М. Н. Лонгиновъ. О «Разбойникахъ» Шиллера на русскомъ языкѣ. «Библіографическія замѣтки», т. I, № 1, стр. 22—25. Дополненіе къ библіографическимъ указаніямъ *Н. В Гербеля* (указанъ переводъ *Θ. Иванова*).

А. фонъ-Видертъ. Шиллеръ. Біографическій очеркъ. М., 8°, стр. 97. Ц. 50 к. Изъ «Московскихъ Вѣдомостей», №№ 2 8, 265, 281 и 302, стр. 1850—51, 1892—94, 1896—98 2131-33.

Л. Н. Я. По поводу столѣтней годовщины рожденія Шиллера. «Московскія Вѣд.», №№ 85 и 173.

Праздникъ въ память Шиллера. Тамъ же, № 256. Москва, стр. 1835.

29 октября.—Тамъ же, № 257. Литературный отдѣлъ, стр. 1844—45.

Статуя Шиллера. Повсемѣстное праздничное Шиллеровой годовщины.—Тамъ же, № 260. Иностранныя извѣстія, стр. 1862.

29 и 30 октября въ Москвѣ.—Тамъ же, №№ 260 и 261. Литературный отдѣлъ, стр. 1862 и 1869.

Колоколъ, посылаемый въ Марбахъ комитетомъ Шиллеровскаго празднества въ Москвѣ. Съ рис. —Тамъ же, № 271. Литературный отдѣлъ, стр. 1930.

Столѣтняя годовщина дня рожденія Шиллера въ Москвѣ. «Русскій Вѣстникъ», № 19, октябрь, книга I. Современная лѣтопись, стр. 296—298.

К. К. Гофманъ, профессоръ Московскаго университета. Празднества въ честь Шиллера.—«Русскій Вѣстникъ», №№ 22 и 23, ноябрь, книга II, и декабрь, книга I. Современная лѣтопись, стр. 138—156 и 213—235.

Будущія празднества по случаю столѣтней годовщины Шиллера.—«С.-Петербургскія Вѣдомости», № 217. Фельетонъ. Вѣсти съ Запада, стр. 948.

Приготовленія къ столѣтнему юбилею Шиллера. Предчувствіе поэта и пѣснь «Къ радости». Дипломъ стокгольмской академіи наукъ. Французское гражданство и нѣмецкій публицистъ Monsieur Gill.—Тамъ же, № 223. Фельетонъ. Вѣсти съ запада, стр. 978.

Программа столѣтняго юбилея Шиллера въ

Парижѣ. — Тамъ же, № 234. Фельетонъ. Вѣсти съ запада, стр. 1034.

Л. de Р. О праздникѣ Шиллера. Письмо въ редакцію изъ Гейдельберга. — Тамъ же. № 252. Фельетонъ, стр. 1118–1119.

Смерть Шиллера. «Театральный и Музыкальный Лѣтописецъ», № 40. Стр. 385–386.

Памятникъ Шиллера въ Берлинѣ. — Тамъ же, № 40. Вѣсти отвсюду, стр. 391.

Приготовленія къ юбилею Шиллера въ Вѣнѣ.— Тамъ же. № 12. Вѣсти отвсюду, стр. 415.

Празднества въ честь Шиллера въ Мюнхенѣ и въ Лейпцигѣ. Тамъ же, № 42, Вѣсти отвсюду, стр. 426.

М. Рапопортъ Празднества въ честь Шиллера. Тамъ же, № 45. Театральная лѣтопись, стр. 442.

Дочь Шиллера. Тамъ же, № 45. Вѣсти отвсюду, стр. 445

Вампиръ. Празднество въ честь Шиллера. — Тамъ же, № 45. Корреспонденція изъ Варшавы, стр. 447.

Еще нѣсколько словъ о празднествахъ Шиллера.—Тамъ же, № 46. Вѣсти отвсюду, стр. 460.

Колоколъ, посланный Москвою въ Марбахъ, по случаю столѣтняго юбилея Шиллера. — «Иллюстрація», т. IV, № 96.

Фридрихъ Шиллеръ. Тамъ же, № 99, стр 379.

Веймаръ и его знаменитости.—«Русскій Инвалидъ», №№ 175 — 176. Фельетонъ. Изъ «Revue Britannique».

Празднество въ честь Шиллера, — «Русскій Инвалидъ», № 245. Фельетонъ. Заграничная лѣтопись

Отзывы «Revue des Deux Mondes» о празднествахъ въ честь Шиллера. Чествованіе Шиллера въ Швейцаріи. Тамъ же, № 256.

С. П. Шевыревъ. Рѣчь въ память о Шиллерѣ, сказанная въ засѣданіи московскаго общества любителей русской словесности, 10 ноября.—«Русская Газета», № 1, вып. 53.

Празднованіе столѣтней годовщины рожденія Ф. Шиллера, въ Одессѣ. «Одесскій Вѣстникъ», № 121.

1860.

Шиллеръ. Краткій очеркъ его жизни и произведеній. Составлено по *Вейлю*, Спб. 8°. Стр. 94+1. Изъ Русскаго Міра», №№ 30 - 39.

Праздникъ въ честь юбилея Шиллера въ Москвѣ. «Иллюстрація», т V, № 106, стр. 94.

Освященіе памятника Шиллеру. «Иллюстрированный Семейный Листокъ», т III, №№ 145–146, стр. 358 359.

А. Линниченко. Курсъ исторіи поэзіи для воспитанницъ женскихъ институтовъ и воспитанниковъ гимназій. Кіевъ. О Шиллерѣ стр. 218–219 и 318 - 329.

Второе изданіе книги вышло въ *1861* г.

1861.

Орестъ Миллеръ. Шиллеръ и его время. Пять публичныхъ лекцій Спб. 8°. Стр. 118. (Изъ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія», т. CIX, CX и CXI, 2, 4 и 7, стр. 21 - 47, 1—67 и 1 - 28).

Нѣчто о Шиллерѣ. Время, т. I, кн. 2. Критическое обозрѣніе, стр. 113—114.

Г. Гейне. Германія. Переводъ *А. Пальховскаго.* Выпускъ первый. Литература до смерти Гете — Поэты-романтики. М. 1861. О Шиллерѣ, стр. 54 - 63.

Эта же статья Гейне и въ томъ же переводѣ, но подъ заглавіемъ: «Романтическая школа», вошла въ «Сочиненія Г. Гейне въ переводѣ русскихъ писателей подъ редакціею П. Вейнберга», т. V. Спб. 1865, о Шиллерѣ, стр. 225- 234 и 2-е изданіе того же тома V. Спб. 1881, о Шиллерѣ, стр. 232 - 241.

Другой переводъ той же статьи см. 1898 г.

Памятникъ Шиллеру у Фирвальдштедскаго озера. «Иллюстрація», т. VII, № 151, стр. 14.

Б. Гуровичъ. Аналогія. - Разсвѣтъ, № 33.

Замѣтка о сходствѣ мысли стихотворенія «Resignation» съ однимъ мѣстомъ Талмуда.

1862.

Евгенія Туръ. Переписка г-жи Сталь, ея отношенія къ Шиллеру, Гете и Бонапарту. «Библіотека для Чтенія», ноябрь. Современная лѣтопись. Выдержки изъ текущей литературы и жизни, стр. 71—90.

Гарусовъ. Очерки литературы древнихъ и новыхъ народовъ. Выпускъ I. Поэзія драматическая М. 8°. О Шиллерѣ стр. 259–318. Во второмъ изданіи того же сочиненія. Спб. 1890. 8°, о Шиллерѣ см. книгу II, стр. 129–190.

Куно-Фишеръ. Шиллеръ какъ комикъ. — «Свѣточъ», № 1. Другой переводъ — см. 1890 г.

1864.

Докторъ Куно-Фишеръ. Самопризнанія Шиллера. Публичная лекція, читанная въ Іенѣ 4-го марта 1857 г. «Эпоха», № 11. Отд. II, стр. 1 38. Другой переводъ см. 1890 г.

Я. С—ъ (по Любену и Наке). Разборъ стихотворенія Шиллера «Кубокъ», въ переводѣ В. Жуковскаго. – «Журналъ для родителей и наставниковъ», № 21. Отд. II. стр. 87—98.

Юность Шиллера. – «Семейные Вечера». Отдѣлъ для старшаго возраста, № 8, стр. 560 –581.

1865.

П. Л. Якубъ. Нѣсколько мыслей о «Посланничествѣ Моисея», Шиллера. Приложеніе къ Гакармелю», №№ 36 - 38.

1866.

Воспоминанія о Шиллерѣ. – «Воскресный Досугъ», т. VIII, №№ 180 182, стр. 74—76, 87—90, 108 –111.

1867.

Р - ъ. (В. Зотовъ ?). Трагодія Шиллера. —Иллюстрированная Газета», №№ 32—35, стр. 102—103, 118—119, 134—135, 150—151. Разсказъ о событіяхъ, послужившихъ основою трагедіи «Коварство и любовь».

1869.

Воспитательное значеніе Шиллера— Педагогическое Обозрѣніе», №№ 11—12, стр 1 - 10 и 1—17.

Н. Боевъ (*G. Н. Берь*). Замѣтка изъ путевой жизни. «Заря». № 12, стр. 16 –41.

1871.

А. Скабичевскій. Очерки умственнаго развитія нашего общества (1825 - 60). Глава 7. Мнѣніе Бѣлинскаго о Шиллерѣ. – «Отечественныя Записки», № 2, стр. 347–348. Та же статья, подъ заглавіемъ: «Сорокъ лѣтъ русской критики», напечатана и въ «Сочиненіяхъ А. Скабичевскаго» т. I, глава VIII. Спб. 1890. Стр. 421 - 428. Изданіе 2-е. 1895. Стр. 352 - 355.

Мать и жена Шиллера. — «Иллюстрированная Газета», т. 28, № 41, стр. 651.

Открытіе памятника Шиллеру въ Берлинѣ. «Всемірная Иллюстрація», т. 6, № 156, стр. 407.

Счастливыя минуты въ жизни поэта. — «Семья и Школа», № 2.

1874.

Н. Запольскій. Разборъ стихотворенія «Графъ Габсбургскій» (по Любену и Наке. – «Педагогическій Сборникъ», № 2, стр. 155 - 159.

1875.

Г. Геттнеръ. Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка. Томъ III. Нѣмецкая литература. Книга III. Классическій вѣкъ нѣмецкой литературы. Отдѣлъ первый. Перев. съ нѣмецкаго Павла Барсова. М. 8°. О Шиллерѣ—стр. 315—345, глава IX. Шиллеръ, до его перваго переселенія въ Веймаръ въ 1787 году.

Морицъ Карріеръ. Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человѣчества. Переводъ Е. Корша. Томъ V и послѣдній. Пора духовнаго разсвѣта. М. 1875. Гете и Шиллеръ—стр. 258—319.

Іоганнъ Шерръ. Шиллеръ и его время. Въ трехъ книгахъ. Переводъ съ нѣмецкаго (А. Глазунова). М. 1875. Изд. Н. И. Мамонтова, 8°. II+428+V стр.

Рецензіи:

1) «Новости», № 332; 2) «Вѣстникъ Европы», т. VI, № 12. (На обложкѣ).

1876.

3) *П—ій.*—«Русскія Вѣдомости». № 15; 4) «Живописное Обозрѣніе», № 11; 5) *Н. Михайловскій.* записки профана. XIX. О Шиллерѣ и о многомъ другомъ.—«Отечественныя Записки», № 4, отдѣлъ II, стр. 281—306, и въ собр. соч.

И. Павскій. Воспитательное значеніе произведеній Шиллера.—«Педагогическій Музей», № 11, стр. 625—631.

1877.

Шиллеръ.—«Нѣмецкіе поэты» въ біографіяхъ и образцахъ. Подъ редакціей *Н. В. Гербеля.* Спб., стр. 213—225.

Д. Аверкіевъ. Мысли Шиллера.—Въ статьѣ: «О драмѣ»,—«Русскій Вѣстникъ», № 8, стр. 505—507. Изложеніе мыслей Шиллера о патетическомъ. Отдѣльное изданіе въ 1893 г.: «О драмѣ. Критическое разсужденіе Д. В. Аверкіева. Спб.», стр. 139—142.

1879.

Alter ego. Шиллеръ.—«Свѣтъ и тѣни», № 17, стр. 111—112. Замѣтки объ иллюстрированномъ изданіи сочиненій Шиллера на нѣмецкомъ языкѣ («Schiller's Werke, mit etwa 600 Illustrationen erster deutscher Künstler, hrsg. v. Prof. Dr. I. G. Fischer», т. 1—3, т. 4).—«Русскій Вѣстникъ», №№ 10 и 12, стр. 833—835, 888—889.

1880.

Замѣтка о томъ же изданіи: «Кругозоръ», № 3.

Д. Аверкіевъ. Три письма о Пушкинѣ (Н. Н. Страхову).—«Русскій Вѣстникъ», № 5. На стр. 474—477 сопоставленіе Пушкина съ Шекспиромъ и Шиллеромъ. Эти же письма перепечатаны въ приложеніи къ книгѣ Д. В. Аверкіева «О драмѣ» (Спб. 1893. О Шиллерѣ—стр. 24—26).

1881.

Фридрихъ Шиллеръ.—«Живописное Обозрѣніе», №№ 39, 40, 43, 47, 48, и 51, стр. 255—258, 273—274, 334—336, 374—375, 419—421, 439—440 и 495—498.

1882.

Владиміръ Зотовъ. Исторія всемірной литературы, томъ IV. Спб. (О Шиллерѣ—стр. 188—212).

Д. В. Цвѣтаевъ. Баллады Шиллера. Опытъ объясненія. Первая группа балладъ. Отдѣльный оттискъ изъ «Филологич. Записокъ». Воронежъ, 8°, стр. VIII+138. Ц. 1 р. Предисловіе (критическое выясненіе балладъ Шиллера).—Филолог. Записки», 1881 г., вып. 4—5, стр. 1—VIII. «Кубокъ»—тамъ же, вып. 6, стр. 1—48. «Перчатка»—тамъ же, 1882 г., вып. 1, стр. 49—70. «Поликратовъ перстень»—тамъ же, вып. 2—3, стр. 71—96. «Ивиковы журавли»—тамъ же, вып. 4, стр. 97—138. Разборъ «Ивиковыхъ журавлей» перепечатанъ въ «Балладахъ Жуковскаго» (Спб. 1892, стр. 270—287). Рецензіи: 1) «Московскія Вѣдомости», № 260. 2) Шиллеръ въ нашей школѣ—«Новое Время», № 2378. 3) «Воронежскій Телеграфъ», № 118. 4) *Е. Г(аршинъ).*—«Историческій Вѣстникъ», № 12. 5) *В. Стоюнинъ.*—«Наблюдатель», № 12. 6) *В. Гольцевъ.*—«Русская Мысль», № 11. 7) *А. Соболевскій.* «Русскій Филологическій Вѣстникъ», № 4. 8) *Н. Некрасовъ.* «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», № 11

1883.

9) «Отечественныя Записки», № 3. 10) *А. А. Хованскій.* Отзывы критики о книгѣ Д. В. Цвѣтаева «Баллады Шиллера».—«Филологическія Записки», № 3, стр. 31—40. Выдержки изъ всѣхъ девяти вышепоименованныхъ рецензій. 11) *Н. Запольскій.*—«Педагогическій Сборникъ». 1884, № 2, стр. 171—183. 12) *В. Воскресенскій.*—Новоявленная эстетика.—«Семья и Школа», 1884, № 4.

Ф. Шиллеръ—«Живописное Обозрѣніе», № 36, стр. 160.

1884.

І. Мандельштаммъ. Анализъ выдающихся драматическихъ произведеній. II. Характеры.—«Педагогическій Сборникъ», № 5, стр. 456—485. Разборъ «Валленштейна».

1885.

А. Штернъ. Всеобщая исторія литературы. Переводъ съ нѣмецкаго, дополненный библіографическими указаніями. Спб. (О Шиллерѣ—стр. 399—405).

1887.

Шиллеръ, его жизнь и избранныя стихотворенія. Изд. А. С. Суворина. Спб. (Жизнь Шиллера—стр. 3—89).

1888.

С. Я. Разборъ стихотворенія «Сраженіе со змѣемъ».—«Педагогическій Сборникъ», № 9.

1889.

Ив. Ивановъ. Театръ г-жи Горевой. «Мизантропъ» и «Донъ Карлосъ».—Театральный, музыкальный и художественный журналъ «Артистъ», кн. II. (Современное обозрѣніе, стр. 90—99).

Ив. Ивановъ. «Коварство и любовь».—Тамъ же кн. III.

Ив. Ивановъ. «Марія Стюартъ».—Тамъ же, кн. IV, стр. 113—119.

1890.

Куно Фишеръ. Публичныя лекціи о Шиллерѣ. Перевелъ *Сергѣй Крыловъ.* М. 264, стр. Ц. 1 р.

Лекція I. Самопризнанія Шиллера, стр. 9—65. Ср. выше 1864 г. *Лекція II.* Шиллеръ, какъ философъ, стр. 66—193. *Лекція III.* Шиллеръ, какъ комикъ, стр. 194—264. Ср. выше 1862 г. Въ книжку вошли переводы нѣкоторыхъ изъ юношескихъ стихотвореній Шиллера, напр. «Сатира и ея муза», стр. 208—210, «Эпитафія извѣстнаго физіогнома», стр. 213 и др.

Рецензіи: 1) «Недѣля», № 42. 2) «Сѣверный Вѣстникъ», № 11. 3) «Русская Мысль», № 11.

Мемуары *Ристори*, переводъ А. Н. Мельниковой и А. И. Смирновой, глава II. Разборъ роли Маріи Стюартъ.—«Артистъ», кн. 5 (январь). Роль «Маріи Стюартъ» играна была Ристори по итальянскому переводу А. Маффеи.

Ив. Ивановъ. Москва. Малый театръ. «Орлеанская дѣва», драма Шиллера—«Артистъ», № 10, годъ II, книга 3. Современное обозрѣніе, стр. 110—115.

1891.

П. Каленовъ. Ученіе Шиллера о красотѣ и эстетическомъ наслажденіи.— «Вопросы философіи и психологіи», годъ II, книга 7, № 3, маіъ. Стр. 1—20.

А. Шаховъ. Гете и его время. Лекціи по исторіи нѣмецкой литературы XVIII вѣка, читанныя на высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвѣ. Спб.

Лекція XVIII. Шиллеръ и «свобода» въ Германіи, стр. 202—214.

Лекція XIX. Шиллеръ и идеализмъ, стр. 214—227.

Лекція XX. Эллинизирующее направленіе Гете и Шиллера, стр. 227—241.

Тоже во 2-мъ изданіи, Спб. 1897, стр. 202—241.

Р. Гаймъ. Романтическая школа. Вкладъ въ исторію нѣмецкаго ума. Перевелъ съ нѣмецкаго В. Невѣдомскій. Изданіе К. Т. Солдатенкова. М. 8°. Отношенія Шиллера къ дѣятелямъ романтической школы (братьямъ Шлегелямъ, Тику, Гельдерлину, Новалису, Шеллингу); см. алфавитный указатель къ книгѣ Гайма.

1892.

М. В. Ватсонъ. Шиллеръ, его жизнь и литературная дѣятельность. Біографическій очеркъ. (съ портретомъ Шиллера, гравиров. въ Лейпц. Геданомъ. Спб. 1889, стр. 78. Ц. 25 к. (Жизнь замѣчательныхъ людей. Біографическая библіотека Ф. Павленкова).

Рецензія: «Русская Мысль», № 6.

В. Поссе. У Шиллера и Гете.—«Книжки Недѣли», № 7, стр. 79—86.

Проф. А. Кирпичниковъ. Время Шиллера и Гете.— Въ книгѣ: «Всеобщая исторія литературы» (подъ редакціей В. Ѳ. Корша и А. Кирпичникова). Томъ IV. Спб., стр. 178—184. О Шиллерѣ—стр. 206—213, 218—220, 231—241.

1893.

Ив. Ивановъ. «Марія Стюартъ»—«Міръ Божій», № 1.

Викторъ Острогорскій.—О «Вильгельмѣ Теллѣ» (Шиллера).—«Путь дорога». Научно-литературный сборникъ. Изданіе К. М. Сибирякова. Спб., стр. 72—75.

А. Черскій. Дѣтскіе годы Шиллера.—«Дѣтское Чтеніе», №№ 8 и 9, стр. 896—909, 973—984.

Вильгельмъ Шереръ. Исторія нѣмецкой литературы. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціею А. Н. Пыпина. Изданіе Л. Ф. Пантелѣева. Спб., томъ II, стр. 102—104, 146—202.

1894.

Ан. (*М. Н. Ремезовъ*). Малый театръ. «Донъ Карлосъ, инфантъ испанскій», трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, соч. Шиллера, переводъ И. Грекова. — «Русская Мысль», № 2. Отд. II. Современное искусство, стр. 252—254.

Отчетъ о бенефисѣ Южина въ Москвѣ.

В. Спасовичъ. Дружба Шиллера и Гете (1794—1805 г.).—«Вѣстникъ Европы», №№ 2—4, стр. 672—705, 166—202, 611—654.

Перепечатано въ «Сочиненіяхъ В. Д. Спасовича», томъ VIII. Спб. 1896, стр. 325—474.

Ив. Ивановъ. Москва. Малый театръ. «Донъ Карлосъ», трагедія Шиллера.—«Артистъ», № 35, годъ 6-й. Книга 3-я. Современное обозрѣніе. Стр. 186—191.

Замѣтка о книгѣ *K. Gniesse.* «Schiller's Lehre von der ästhetischen Wahrnehmung. Berlin. 1893».— «Міръ Божій», № 3. Новости иностранной литературы, стр. 174.

Замѣтка о книгѣ *L. Hettenheim'a* Schiller's Fragment: «Dis Polizey» mit Berücksichtigung anderer Entwürfe des Nachlasses. 1893.—«Русскій Вѣстникъ», № 8, стр. 304—310.

В. Е. Миляевъ. Фр. Шиллеръ. Біографическій очеркъ. Біографіи замѣчательныхъ людей. Изданіе книгопродавца Ф. Іогансона. Кіевъ, 64°. 148 стр. Цѣна 10 коп.

Рецензія на эту книжку.

1895.

«Образованіе», № 5—6.

Разборъ книги: Schiller. Sein Leben, seine Werke und seine litterärische Bedeutung. Шиллеръ. Его жизнь, сочиненія и литературное значеніе. Для высшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній съ примѣчаніями и построчнымъ словаремъ составилъ *Артуръ Экъ*, преподаватель Ростовской-на-Дону гимназіи. Москва. 1894, стр. 34. Цѣна 20 коп.»—«Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», часть CCXCIX, іюнь. Наша учебная литература, стр. 58—59.

Всев. Чешихинъ. Жуковскій, какъ переводчикъ Шиллера. Критическій этюдъ. Рига. 8°, 172 стр.

Рецензіи:

1) «Прибалтійскій Листокъ», № 42—43.
2) «Вѣстникъ Европы» № 11, на обложкѣ.
3) «Наблюдатель», № 1.
4) «Новое Слово», № 4.
5) *А. Б—инъ.* — «Историческій Вѣстникъ», № 2.

М. Нордау о «Донъ Карлосѣ» Шиллера.— «Русскія Вѣдомости», № 300.

1897.

Е. Дюрингъ. Шиллеръ, какъ философскій лирикъ и его стремленіе въ драмѣ.—«Великіе люди въ литературѣ». Критика современной литературы съ новой точки зрѣнія. Переводъ съ нѣмецкаго *Ю. М. Антоновскаго.* Изданіе О. Поповой. Спб., стр. 352—409.

1898.

Столѣтній юбилей «Валленштейна».—«Вѣстникъ Иностранной Литературы», № 11, стр. 325—328.

Г. Гейне. Романтическая школа. Переводъ П. И. Вейнберга—«Собраніе сочиненій Г. Гейне». Редакція Петра Вейнберга. Спб., томъ III, стр. 281—290.

Іоганнъ Шерръ. Иллюстрированная всеобщая исторія литературы въ двухъ томахъ. Переводъ сдѣланъ съ 9-го просмотрѣннаго и дополненнаго профессоромъ Цюрихскаго университета О. Haggenmacher нѣмецкаго изданія подъ редакціей П. И. Вейнберга. Изданіе Д. В. Байкова. Москва. Томъ II, стр. 269—278.

1899.

П. Звѣздичъ. «Вильгельмъ Телль» въ изображеніи его односельчанъ.— «Русскія Вѣдомости», № 225.

1900.

А. Алтаевъ. Шиллеръ.—«Свѣточи правды». Очерки и картины изъ жизни великихъ людей. Спб., стр. 119—204.

Юрій Веселовскій. Шиллеръ и его герои.— «Литературные очерки». Москва, стр. 181—213.

Раньше напечатана, подъ заглавіемъ: «Поэзія Шиллера», въ сборникѣ: «Помощь пострадавшимъ отъ неурожая Самарской губерніи». М. 1900.

М. И. Дубинскій. Шиллеръ.—Женщина въ

жизни великихъ и знаменитыхъ людей, стр. 84—98. Приложеніе къ «Вѣстнику Иностранной Литературы», №№ 3—4.

Изъ жизни Шиллера. «Дѣтскій Отдыхъ», № 8, стр. 123—125.

Кабинетъ Шиллера. — «Сѣверной Курьеръ», № 285. Иллюстрированное приложеніе.

Ѳ. Х. Народное представленіе «Вильгельма Телля» въ Альтдорфѣ «Курьеръ», № 315. Фельетонъ.

1901.

Проф. Максъ Кохъ. Шиллеръ.—Въ книгѣ *проф. Фридриха Фогта и М. Коха*: «Исторія нѣмецкой литературы отъ древнѣйшихъ временъ до настоящаго времени. Переводъ А. Л Погодина», Спб., стр. 635 - 646, 650—662.

К. Ельницкій. Объясненіе стихотвореній, III. «Ивиковы Журавли», стих. Жуковскаго. «Филологическія Записки», вып. I—II, стр. 11—24.

А. Г. Горнфельдъ. О Шиллерѣ.—«Журналъ для всѣхъ», № 6, стр. 613 652.

Фридрихъ Шиллеръ. *Плутархъ XIX вѣка, вып. 7-й.* Приложеніе, съ отдѣльной нумераціей страницъ, къ «Новому журналу иностранной литературы, искусства и науки», № 7, стр. 106—107.

Фридрихъ Шиллеръ(1759—1805). Біографическій очеркъ поэта, съ приложеніемъ отрывковъ изъ его произведеній. Москва, 32°, 8 стр. Ц. 10 к Иностранные поэты. Изданіе «Общества распрост. анія полезныхъ книгъ». Біографія: Шиллеръ и его произведенія» занимаетъ стр. 3—30.

А. Басаринъ. Идея «Разбойниковъ» Шилле; а.— «Моск. Вѣд.», № 34.

Э. Э. Мернъ. По поводу столѣтія «Орлеанской Дѣвы». Ф. Шиллера. «Русскія Вѣдомости», № 251.

В. С. Баскинъ. Нѣсколько словъ о Шиллерѣ. — «Сѣверъ», № 22, стр. 695 700.

Н. Николаевъ. Письма изъ Кіева, VI.—«Театръ и Искусство», № 7, стр. 156—157. О постановкѣ «Донъ-Карлоса».

М. Гранстремъ. Всемірные свѣточи. Разсказы изъ жизни великихъ людей. Шиллеръ и Гете. Сост. по Охорну и Эрлиху. Съ 75 рис. Спб., стр. 289. Рецензія. «Вѣстникъ Европы» № 12. (На обложкѣ).

Примѣч. Въ предлагаемый очеркъ не включены статьи о жизни и произведеніяхъ Шиллера, вошедшія въ настоящее изданіе.

Шиллеру посвящены слѣдующія стихотворенія русскихъ поэтовъ: 1) *Я. П. Полонскій.* Юбилей Шиллера, 1860; 2) *А. А. Фетъ.* Шиллеру. «Орелъ могучихъ свѣтлыхъ пѣсенъ»: 3) *Н. Некрасовъ.* Поэту. Памяти Шиллера, 1874.

II.

Рецензіи

на русскія изданія сочиненій Шиллера.

1. Изданія на нѣмецкомъ языкѣ.

А. Мессъ. Выборъ стихотвореній Гете и Шиллера. Рига, 1883. Ц. 90 к. «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1885 г., № 9.

Тридцатилѣтняя война. Изд I. Гроспичъ. М. 1892. Ц. 1 р. «Русск. Мысль». 1893, № 10.

Вторая книга тридцати—лѣтней войны. Со словаремъ и объясненіями О Кейзера. Изданіе 2-е. М., 1892. Ц. 90 к. «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1893, № 10.

М. Фишеръ. Поэзія, часть 2-я. Избранныя баллады и стихотворенія Ф. Шиллера. Съ примѣчан., словаремъ и правилами нѣмецкаго стихосложенія. Изд. 2-е. М. 1892. Ц. 1 р. 25 к. «Журн. Мин. Нар Просв.». 1891, № 10.

Избранные нѣмецкіе писатели для школъ. съ введеніемъ, примѣчаніями, словаремъ. *Ѳ. Андерсона.* a) Wilhelm Tell. Schauspiel von F. Schiller. Спб 1892. Ц. 40 к. «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1893, № 3.

— b) Maria Stuart. Ein Trauerspiel von F Schiller. Спб. 1893. Ц. 40 к. Журн. Мин. Нар. Просв.». 1893. № 10.

Смерть Валленштейна. Изд. I. Гроспичъ. М. 1893. Ц. 60 к. 1) «Русск. Вѣдомости», 1893, № 299; 2) «Рус. Мысль». 1893, № 10.

Избранныя произведенія нѣмецкихъ и французскихъ писателей для класснаго и домашняго чтенія. Изд С. Манштейна. a) Maria Stuart. Подъ редакціею *Розенберга*. Царское Село. 1892. Ц. 40 к. 1) «Педагогич Сборникъ». 1893, № 5; 2) «Журн. Мин. Нар. Просв.». 1893. № 9.

— b) Wilhelm Tell. Объяснилъ *Г. Ю. Ирмеръ*, Спб. 1891. Ц. 40 к. «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1891, № 10

2. Изданія на русскомъ языкѣ.

a) *Полныя собранія сочиненій.*

Шиллеръ въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціею *П. В. Гербеля*, 9 т. 1857 1861.—2-е изд. 1860—1870.—3-е изд. 1862—1865. —4-е изд. 1863—65.—5-е изд. 2 т. 1875—76. 6-е изд. 3 т. 1884.—7-е изд. 3 т. 1893.

1) *Н. Чернышевскій.* —«Современникъ», 1857. № 1. стр. 1—7; 2) *А. Дружининъ.*—«Библіот. для Чтенія», 1857, № 3, стр. 30 38; 3) «С.-Пет. Вѣд.», 1857, № 238; 4) «Современникъ», 1857, № 12 стр. 53 55; 5) *А. Дружининъ*—Библіот. для Чтенія», 1858. № 1, стр. 1—11; 6) *М. Н. Лонгиновъ.*— Библіографич. Записки», 1858, № 1, стр. 22 25; 7) «Современникъ» 1858, № 7, стр. 63 64); 8) «Библіотека для Чтенія», 1858, № 7; 9) *Библіофилъ.*— «Сынъ Отеч., 1858, № 21; 10 *Петръ В-б-ъ.* — «Отеч. Записки», 1858, № 10; 11) «Современникъ», 1859, № 1, стр. 212—247); 12) *М. Л.* «Русск. Слово», 1859, № 11, стр 23—38; 13) *М. Л.*—«Рус. Слово», 1860 № 2, стр. 17—21; 14) С.-Петерб. Вѣдом.», 1860, № 279; 15) «Вѣкъ». 1861, № 1. По поводу этой рецензіи—замѣтка: «Нѣчто о Шиллерѣ» въ журналѣ «Время», 1861, т. I, № 1. Критическое обозрѣніе стр. 113 114; 16) «Книжн. Вѣстн.», 1864. № 20; 17) «Современникъ», 1865, № 3; 18) «С.-Петерб. Вѣдомости», 1870, № 129; 19) *Н. Страховъ.*—«Заря», 1870, № 7; 20) «Вѣстн. Европы», 1870. №6. На обложкѣ; 21) «Вѣстн. Европы», 1875, № 6. На обложкѣ; 22) «Всемірн Иллюстрація, 1875, т. XIII № 353; 23) «Иллюстриров. Недѣля», 1875. № 20. Петербургскія письма; 24) *М. У.* —«С.-Пет. Вѣдом.», 1875. № 155; 25) «Вѣстн. Европы», 1876. № 3. На обложкѣ; 26) *Н. Михайловскій.*—«Отеч. Зап.», 1876, № 4. Записки профана, стр. 281—306, См. въ отдѣлѣ I нашего указателя подъ 1876 г. 27) *С. С.*—«Одесск. Вѣстникъ», 1876. № 105; 28) *И. Павскій.*—«Педагогич. Музей», 1876, № 11. См. въ отдѣлѣ I нашего указателя; 29) *М. У.* «С.-Пет. Вѣдом.», № 35. Хроника; 30) «Иллюстриров. Газ.»,

1876, № 7. Петербургскія письма; 31) *В. Буренинъ.*— Новое время, 1893, № 6122.

Иллюстрированное собраніе сочиненій Шиллера. Изданіе *Н. Голованова* (Поэты мыслители). Иллюстрированныя лирическія стихотворенія. М. 1899. Ц. 1 р. 50 к. «Русск. Богатство», 1900 г., № 10.

Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей. Подъ редакціей *С. А. Венгерова.* Спб. 1901. 1) «Новый Журналъ иностранной литературы», № 1. 2) «Ежемѣсячныя сочиненія», № 1. 3) *А. Горнфельдъ.*— «Журналъ для всѣхъ», № 2. 4) «Вѣстникъ Европы», № 2 (на обложкѣ) 5) «Рус. Вѣдомости», № 15 6) *Б. Г-ій.*—«Историч. Вѣстн.», № 3. 7) *А. Б.* «Міръ Божій», № 3, 8) Русское Богатство», № 3. 9) *А. Б.*—«Московскія Вѣдом.», № 35. 10) *П. М.*—«Новости», № 62. 11) Ежемѣсячныя литературныя приложенія къ журн. «Нива», № 5. 12) *С. Э-въ.* «Русскія Вѣдомости», № 313. 13) «Правит. Вѣст. 1901. № 29 и 274. 14) «Одес. Листокъ» 1900. № 330. 15) «Одес. Новости 1900, № 5143. 16) St. Pet. Herold» 1901, 24 января. 17) «Leipziger Tageblatt» 1901, № 178. 18) Kölnische Zeitung» 1901, № 261. 19) «Міръ Божій» 1902, № 1. 20) «Вѣст. Евр.» 1902, № 1.

b) *Собранія избранныхъ сочиненій.*

Европейскіе классики подъ ред. П. И. Вейнберга, вып. 5. *Шиллеръ.* Пѣснь о колоколѣ. Баллады. Лагерь Валленштейна. Спб. 1875.

А. Кирпичниковъ. «Учебно-воспитательная библіотека», 1875 г., т. I, ч. 1.

Шиллеръ, его жизнь и избранныя стихотворенія. Съ 43 рис. Изд. А. С. Суворина. Спб, 188.. Цѣна 1 р. 50 к. «Вѣсти Вѣстника», 1887 г., № 11.

c) *Драматическія сочиненія.*

Семела, перевод. *Б. Алмазова.* М. 1867. *П. (Щебальскій).*—«Русскій Вѣстн.», 1868 г., № 9.

Донъ Карлосъ, перев. *М. Лихонина* М. 1833. «Молва», 1833 г., № 99.

Валленштейновъ лагерь, перев. *С. П. Шевырева.* М. 1859. 1) «Московск. Обозрѣніе», 1859 г., № 2, стр. 6—7. 2) *А. М.*—«Отеч. Записки», 1859 г., № 3, стр. 51—66.

Марія Стюартъ, перев. *А. Шишкова.* Изданіе А. Суворина. «Дешевая Библіотека». Спб. 1888. «Рус. Мысль», 1888 г., № 6.

Орлеанская дѣва, перев. *В. Жуковскаго.* (Изданіе И. Глазунова, съ примѣч. *Н. Я. Максимова* по *Дюнцеру* и *Экарту*) Спб. 1868 1) *І. Мандельштаммъ.* «Педагогич. Сборникъ», 1878 г., № 11. 2) *П. П.* «Театралъ», 1895 г., № 48.

Мессинская невѣста. Перев. *А. Ротчева.* М. 1829. 1) *М. Р-чъ.*—«Атеней», 1829 г., ч. 3, стр. 168—190. 2) *М. Л-нъ.*—«Моск. Телеграфъ», 1829 г., стр. 236—245. 3) «Сѣверная Пчела», 1829 г., № 70. 4) *В. Бѣлинскій*—«Отеч. Записки», 1841 г.—Сочиненія В. Бѣлинскаго. М. 1860. ч. 5.

Мессинская невѣста. Перев. *К. Р.* Спб. 1885. 1) «Русская Старина», 1885 г., № 10. 2) «Еженед. Обозрѣніе». 1885 г., № 96.

Вильгельмъ Телль. Пересказъ *А. Энгельгардтъ.* Спб. 1887. 1) «Рус. Мысль» 1888 г., № 11. 2 «Педагогич. Сборн.» 1888 г., № 9. 3) «Воспитаніе и обученіе», 1888 г., № 1.

Вильгельмъ Телль. Перев. *А. Ротчева.* М. 1829. 1) *И. Ср. К.*—«Атеней», 1829 г., ч. 4, стр. 493—512. 2) «Сѣверная Пчела», 1829 г., № 120. 3) *В. Ушаковъ.*—«Московск. Телеграфъ», 1829 г., № 20.

Вильгельмъ Телль. Перев. *О. Миллера.* М. 1843. 2) «Отечеств. Записки», 1843 г., № 1., стр. 25—29. 1) «Библіотека для чтенія», 1844 г.—см. въ отд. I нашего указателя подъ 1841 г. (статья *Э. Губера*). 3) «Современникъ», 1864 г., т. 33, стр. 98—100.

азбойники. Изданіе Ф. Іогансона. Кіевъ 1896. (Изданіе 2-е, исправленное). 1) «Русское Обозрѣніе» 1896 г., № 8 2) «Семья», 1896 г., № 23.

Заговоръ Фіеско въ Генуѣ. Изд. Ф. Іогансона. Кіевъ. 1892. *А. Г.*—«Рус. Обозрѣніе», 1893 г., № 4.

d) *Стихотворенія*

Пѣснь о колоколѣ. Перев *А. Глинки.* М. 1832. 1) «Молва», 1832 г., № 36. 2) «Сѣверная Пчела», 1832 г., № 278. 3) *Фонъ-деръ-Бокъ.*—«Литературн. прибавленія къ Русск. Инвалиду», 1832 г., № 16. 4) «Журн. Телеграфъ», 1832 г., ч. 45, стр. 222—229.

Пѣснь о колоколѣ. Перев. *О. Кармина.* М. 1896. «Русское Обозрѣніе», 1896 г., № 4.

III.

Дополненія

къ спискамъ переводовъ изъ Шиллера (т. I—III).

1. Стихотворенія.

Анонимъ. (*Иванъ-да-Марья?*) «Предъ начинающимъ жизнь...»—«Фаланга», 1861 г., № 5.

Н. Гербель. Орлеанской дѣвѣ.—«Современникъ», 1856 г., № 11, т. 60, стр. 168, въ изданіяхъ стихотвореній Н. В. Гербеля («Отголоски», 1858 г., т. I и «Полное собраніе стихотвореній», 1882 г., т. II) и Шиллера (начиная съ 1857 г.).

А. Глинка. Военная пѣснь (изъ «Лагеря Валленштейна»). «Библ. для Чтенія», 1834 г., т. II, отд. I. стр 107 и въ изд. Гербеля.

М. А. Дмитріевъ. «Трудный союзъ»—въ «Стихотвореніяхъ М. Дмитріева». М. 1865, т. II, переводъ 42-й. «Надписи».

Иванъ-да-Марья (*Ив. Тхоржевскій*). Афоризмы —«Будильникъ», 1879 г., № 9, стр. 122. Шиллеру принадлежатъ здѣсь: 1) «Шлоссеръ, ты правъ». 2) «Только двѣ добродѣтели есть». 3) «Когда рождаетъ вѣкъ...»

С. Крыловъ. Нѣсколько стихотвореній и эпиграммъ въ книгѣ *Куно-Фишера*: «Публичныя лекціи о Шиллерѣ» М. 1890.

М. Лихонинъ, по указанію *М. де-Санлета* (см. его книгу: «Шиллеръ, Вольтеръ и Руссо». М. 1843, стр. 13), перевелъ изъ Шиллера стихотворенія: «Колоколъ». «Художникъ», «Дифирамбъ» и «Элизіумъ»; едва-ли эти переводы были напечатаны.

А. Мейснеръ. Гебенку «Сѣверъ», 1894 г., № 2.

О. Миллеръ. Метафизикъ.—Напечатанъ впервые въ изданіи 1875 г. сочиненій Шиллера.

Е. Н. Идеалы «Звѣздочка», 1848 г. ч. 26.

Ю. Петроковъ. За темною ночью вновь день настаетъ» и «Наставленіе» («Будь человѣкъ и чти»), въ книгѣ: «Мое утѣшеніе». Стихи и драматическія сцены Ю. Петрокова». Спб 1901.

А. Совинскій (а не *А Савинскій*). Такъ напечатана эта фамилія въ альманахѣ «Подарокъ бѣднымъ». Одесса 1834, стр. 119.

А. Струговщиковъ. Совершенствованіе. Въ изд. Гербеля и «Стихотвореніяхъ» А. Струговщикова. Спб. 1845.

В. Т—ло. Гимнъ Богу по случаю грозы (подражаніе). «Благонамѣренный». 1820 г. ч. 12, стр. 172.

М. Чечуевъ. «Сердцемъ женщина судитъ».— «Муза моряка». М. Чечуева. Спб. 1898.

Переводы и пересказы въ прозѣ:

Свадебное стих. по случаю бракосочетанія Генріетты Н. съ Н. Н., -«Современникъ» 1853 г. №№ 8, 151.

Фридолинъ «Задушевное Слово» для младшаго возраста. 1879 г. № 12.

С. Качіони. Ивиковы журавли.—«Задушевное Слово» для старшаго возраста, 1884 г. №№ 29 и 30.

2. Драматическія произведенія.

«Семела». *А. Жандръ.* Семела (подражаніе). Спб. 1820 и «Сынъ Отечества» 1817 г. № 51.

А. Фетъ. Семела.—«Отечественныя Записки» 1844 г. т. XXXV, стр. 1—16, въ изданіяхъ сочиненій Шиллера и въ «Стихотвореніяхъ» Фета.

Б. Алмазовъ. Семела (вольный переводъ). М. 1867. Бесѣды въ общ. любителей росс. словесности 1868 г. вып. 2 и въ соч. Алмазова.

«Разбойники».

Разбойники. Изд. Ф. А. Іогансона. Кіевъ. 1900.

С. Порѣцкій. Разбойники. Съ рисунками. Изданіе «Посредника». М. 1901.

Отрывокъ «Монологъ Франца Моора» (подражаніе). «Вѣстникъ Европы» 1809 г. ч. 44, стр. 54.

«Заговоръ Фіеско въ Генуѣ».

Н. Голованов. Заговоръ Фіеско въ Генуѣ. М. 1900. Собраніе сочиненій Шиллера, в. 5-й.

Изложенія: 1. Фіеско. М. 1884. Изданіе *В. Крылова.* Репертуаръ мейнингенскаго труппа № 8. 1890. Спб.

Гдѣ то было указаніе, что въ переводѣ, изданномъ въ 1803 г. и подписанномъ буквами *Г.* и *А.*, буква *Г.* означаетъ *Н. И. Гнѣдича.*

«Коварство и любовь».

Н. Голованов. Коварство и любовь. М. 1900. Собраніе сочиненій Шиллера, выпускъ 6-й.

Е. А. Шабельская. Въ этомъ переводѣ поставленъ осенью 1901 г. въ театрѣ г-жи Шабельской въ Спб.

Донъ Карлосъ. Указанные во II т. подъ №№ 6 и 9 отрывки принадлежатъ *П. Ободовскому.*

И. Н. Грековъ и *А. С.* Донъ Карлосъ, инфантъ испанскій. М. 1897. Литографиров. изданіе.

С. Порѣцкій. Донъ Карлосъ, инфантъ испанскій. Драма. Изд. «Посредника». М. 1901.

«Валленштейновская трилогія».

Пересказъ *Л. Веселитской* (*В. Микулича*). Валленштейнъ. «Дѣтское Чтеніе» 1884 г., №№ 1 и 2 и въ книжкѣ «Яшина книжка», Спб. 1899.

I. «Лагерь Валленштейна».

Отрывки. 1) *А. Глинка.* Военная пѣснь—см. выше, въ «Стихотвореніяхъ».

2) *К. Павлова.* Монологъ Тэклы.—«Бесѣды въ общ. любителей рос. слов.» М. 1867. Вып. 1.

Переводъ *Л. Мея*, изданъ въ серіи «Европ. классики», П. Вейнберга, (Вып. V. Спб. 1875).

Пересказъ *В. Александрова* (*В. Крылова*). Изд. Е. Н. Разсохиной. М. 1885.

II. «Пикколомини».

Пересказъ *В. Крылова*—см. выше.

III. «Смерть Валленштейна».

Отрывокъ (д. III, явл. 18—23) *М. Семперверо* (*Четвериковъ*). Переводы въ стихахъ. Спб. 1860.

Отрывки изъ перевода *В. Величко* и мѣщены были въ «Живописномъ Обозрѣніи» 1893 г., № 46 и во «Всемірной Иллюстраціи» 1893 г. № 25.

«Марія Стюартъ». *Н. Павловъ.* Марія Стюартъ. Спб. 1825, по французской передѣлкѣ *Лебрёна.*

Отрывки изъ перевода *А. Шишкова 2-го* въ «Моск. Вѣстникѣ» 1830 г., №№ 13 и 21—24.

Отрывокъ изъ перевода *П. И. Вейнберга* въ «Русской Мысли», 1889 г. № 9.

Отрывокъ изъ перевода *В. И. Лихачова*—въ альманахѣ «Денница» Спб. 1900.

Н. Голованов. Марія Стюартъ. М. 1901.

«Орлеанская дѣва».

«Прологъ».—«Аврора» 1805 г., т. III, № 1.

А. Аврамовъ. Орлеанская дѣва. М. 1900.

Пересказы: 1) *В. Крыловъ.* Орлеанская дѣва. Репертуаръ Мейнингенской труппы, № 7. Спб. 1890. 2) *С. Брашинская.* Орлеанская дѣва. Изд. Холмушина. Изд. 2-е. 1892. 3) *В. Острогорскій.* Орлеанская дѣва. Изд. В. И., № 44. 1892.—Также въ книгѣ: «Изъ міра великихъ преданій». (1883. 8-ое изд. 1899).

«Мессинская невѣста».

Отрывокъ изъ перевода *А. Ротчева*—въ альманахѣ Букетъ на 1829 г. Изд. Е. Аладьина».

«Вильгельмъ Телль».

Отрывокъ изъ перевода *А. Ротчева*—въ «Московскомъ Телеграфѣ», 1829 г. № 25.

Ѳ. И. Тютчевъ. Пѣснь рыбака. А. I. сц. 1.—«Современникъ», 1854 г., т. 44. Отд. I, стр. 50 и въ изданіяхъ стихотвореній Тютчева.

Аврамовъ. Вильгельмъ Телль. Изд. Панафидина. М. 1901.

Пересказы: 1) *В. Александровъ* (*Крыловъ*). Вильгельмъ Телль. (Репертуаръ Мейнинген. труппы). Изд. Е. Н. Разсохиной. М. 1885. 2) *В. Острогорскій.* Вильгельмъ Телль.—«Дѣт. Чтеніе», 1890 г. № 4. 3) *А. Энгельгартъ.* Вильгельмъ Телль. Спб. 1887. 4) *В. Андреевская.* Вильгельмъ Телль. Спб. 1896.

«Турандотъ». *Н. П. Голубевъ.* Звѣзда восточная. трагикомическая сказка въ 5 дѣйствіяхъ Спб. 1865.

П. П. Голубевъ и *И. В. Карпьевъ.* Три сказки китайской богдыханши, М. 1901.

«Димитрій».

Отрывокъ изъ перевода *Л. Мея.*—«Развлеченіе» 1859 г., № 19.

Передѣлка—*Ю. Петроковъ* въ книгѣ «Мое утѣшеніе. Стихи и драматическія сцены». Спб. 1901.

Переводы Шиллера.

Гомберъ. Племянникъ-дядя. Изданіе Ф. А. Іогансона. Кіевъ. 1893. 88 стр.

Дядя-племянникъ. Изд. Ф. А. Іогансона. Кіевъ. 1897.

А. Ротчевъ. Макбетъ. Трагедія Шекспира. Изъ сочиненій Шиллера. Спб. 1830.

М. Лермонтовъ. Отрывокъ изъ «Макбета». См. (начиная съ 1891 г.) сочин. Лермонтова.

3. Повѣсти.

Д. Преступникъ отъ безславія (изъ Талія).—«Піерріда», 1802 г., кн. II, стр. 70.

А. Бенитцкій. Преступникъ отъ безславія.—«Цвѣтникъ» 1809 гг., № № 4—5.

Стихотворное подражаніе—*Ю. Петроковъ.* Мизантропъ, въ книгѣ «Мое утѣшеніе». Спб. 1901.

Н. Карамзинъ. Игра судьбы.—«Вѣстникъ Европы», 1802 г., ч. IV, № 15, стр. 177.

«Духовидецъ».

1. Переводъ 1807 г. принадлежитъ *Иванову.*

3. *М. Коршъ* Духовидецъ. (Дешевая библіотека. Изданіе А. С. Суворина). Спб. 1887.

4. Историческія сочиненія.

Александръ Раменскій. Что такое всеобщая исторія и для чего ее изучаютъ. Воронежъ. 1869.

Н. Бахтинъ.

Объясненія къ рисункамъ.

I. Рисунки въ текстѣ.

Въ перечнѣ рисунковъ III тома пропущенъ Стран.

389. Его Императорское Высочество Вел. Князь Константинъ Константиновичъ (*К. Р.*) . 605

IV ТОМЪ.

390. Императоръ Рудольфъ II. Гравюра на мѣди Эгидія Заделера (1603) съ картины Іоганна Аахенскаго 9
391. Жители Праги выбрасываютъ изъ окошка королевскаго замка Мартиница, Славату и Фабриціуса (Изъ соврем. соч. «Theatrum Europeum») 17
392. Фридрихъ V Пфальцскій, король Богемскій («Зимній король»). Гравюра Гунста 25
393. Елизавета Стюартъ, жена Фридриха V. Современ. гравюра Гунста 33
394. Вербовка солдатъ (Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre») 37
395. Папа Павелъ V. Гравюра Криспенъ-де-Пасси (1560—1629) 41
396. Высадка войскъ. (Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre») 44
397. Папа Григорій XV. Гравюра на мѣди Петра Иссельбурга (р. 1580, ум. послѣ 1630) . 49
398. Разстрѣливаніе. Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre») 53
399. Императоръ Фердинандъ II. Гравюра Эгидія Заделера. (Берлинская національная галлерея) 57
400. Замокъ Фридландъ въ настоящее время. 65
401. Солдатскіе типы. Изъ совр. соч. Callot «Les exercices militaires») . . . 67
402. Грабящіе солдаты (Изъ соврем. книги Кало: «Les misères et les malheurs de la guerre») 69
403. Астрологическій амулетъ, который Валленштейнъ носилъ на груди. (Художественно-историческій музей въ Вѣнѣ) . 73
404. Валленштейновскій дукатъ 1631 года . 77
405. Дворецъ Валленштейна въ Прагѣ . . . 81
406. Солдатскіе типы (Изъ соврем. соч. Callot «Les exercices militaires») . . . 85
407. Графъ Готфридъ Генрихъ фонъ-Паппенгеймъ. Портретъ Ванъ-Дейка, гравированный Корнеліемъ Галле 89
408. Графъ Галласъ. Гравюра Монкорне . . 97
409. Іоганнъ Людвигъ, графъ Изолани. Гравюра Петра де-Іеде въ библіотекѣ Императорскаго фидейкомиса въ Вѣнѣ . 105

Стран.

410. Графъ Октавіо Пикколомини. Гравюра Луки Форстермана (1578—1656), съ портрета Герарда Зегерса (1591—1651) 113
411. Массовыя повѣшенія мародеровъ. Изъ современ. соч. Callot «Les misères et les malheurs de la guerre») 117
412. Аксель Оксенштирна, шведскій канцлеръ. Современная гравюра І. В. Дельфа. . 121
413. Графъ Мансфельдъ. Портретъ Ванъ-Дейка, гравированный Робертомъ Ванъ-Форстомъ 129
414. Графъ Тилли. Гравюра Б. Монкорне. Берлинская Національная Галлерея 145
415. Бернгардтъ Веймарскій. Гравюра Іоганна Дюра 161
416. Курфюрстъ Іоганнъ Георгъ Саксонскій. Гравюра Самуила Вейсхуна (1635). . . 167
417. Курфюрстъ Максимиліанъ I Баварскій. Современная гравюра Іоганна Заделера. 177
418. Солдатскіе типы. (Изъ соврем. соч. Callot «Les exercices militaires») 185
419. Шведскій фельдмаршалъ Банеръ. Современная гравюра Луи Шнитцера . 193
420. Шведскій фельдмаршалъ Карлъ Густавъ Врангель. Гравюра Матвѣя Моріана младшаго (1621—1687) 201
421. Смерть на полѣ сраженія. Гравюра Стефана дела-Белла (1610—1664) 203

II. Приложенія на отдѣльныхъ листахъ.

27. Карлъ V ѣдетъ по полю сраженія подъ Мюльбергомъ. Картина Тиціана (Мадридъ, музей дель-Прадо) 4
28. Императоръ Матѳій и его супруга Анна. Гравюра на мѣди Петра Иссельбурга. (1613) 12
29. Извѣстный Фердинандъ II въ коронаціонномъ одѣяніи. Современная гравюра Вольфганга Киліана 60
30. Густавъ Адольфъ. Портретъ Ванъ-Дейка въ старой Пинакотекѣ въ Мюнхенѣ . . 84
31. Битва подъ Лейпцигомъ въ 1631г. На переднемъ планѣ Густавъ Адольфъ и его военачальники. Современная гравюра на мѣди 101
32. Валленштейнъ. На заднемъ планѣ убіеніе его. Современная гравюра Б. Монкорне. 198
33. Убіеніе Валленштейна и его офицеровъ. Изъ соврем. соч. «Theatrum Europeum». 137
34. Кардиналъ Ришелье. Гравюра Роберта Нантейля (1630—1678) съ портрета Филиппа-де Шампеня (1602 - 1674) . . 152

Оглавленіе IV тома.

		стран.
I.	Исторія Тридцатилѣтней войны. Переводъ **А. Г. Горнфельда.** . .	3
II.	Воззрѣнія Шиллера на нравственность и эстетику. **Э. Л. Радлова.** .	206
III.	О современномъ нѣмецкомъ театрѣ. Переводъ **Всеволода Чешихина** .	218
IV.	Театръ, какъ учрежденіе нравственное. Переводъ **Всеволода Чешихина.**	222
V.	Философскія письма. Переводъ **Э. Л. Радлова.**	227
VI.	Письма о „Донъ-Карлосѣ". Переводъ **Ѳ. Д. Батюшкова**	240
VII.	О причинѣ наслажденія, доставляемаго трагическими предметами. Переводъ **А. Г. Горнфельда.**	262
VIII.	О трагическомъ искусствѣ. Переводъ **А. Г. Горнфельда.**	269
IX.	О патетическомъ. Переводъ **Петра Вейнберга.**	280
X.	Письма объ эстетическомъ воспитаніи человѣка. Переводъ **Э. Л. Радлова.**	293
XI.	О необходимыхъ предѣлахъ примѣненія художественныхъ формъ. Переводъ **А. Г. Горнфельда.**	343
XII.	О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ. Переводъ **А. Г. Горнфельда**	355
XIII.	О возвышенномъ. Переводъ **Э. Л. Радлова.**	360
XIV.	Наивная и сентиментальная поэзія. Переводъ **М. М. Достоевскаго.** .	368
XV.	О граціи и достоинствѣ. Переводъ **Зинаиды Венгеровой.**	411
XVI	Мысли объ употребленіи пошлаго и низкаго въ искусствѣ. Переводъ **А. Г. Горнфельда.**	440
XVII.	Объ „Эгмонтѣ", трагедіи Гете.	443
XVIII.	О стихотвореніяхъ Бюргера.	449
XIX.	Предисловіе къ Исторіи Мальтійскаго ордена, обработанной по Верто г. М. Н.	456
XX.	О стихотвореніяхъ Маттисона.	459
XXI.	О Садовомъ Календарѣ на 1795 г.	468

Переводъ **Всеволода Чешихина.**

XXII.	Психо-физіологическіе опыты Шиллера **Проф. И. Р. Тарханово.** . .	472
XXIII.	Опытъ изслѣдованія вопроса о связи между животной и духовной природой человѣка. Переводъ **Ю. М. Антоновскаго.**	476
XXIV.	Примѣчанія къ IV тому.	495
XXV.	Пояснительный историческій словарь къ художественнымъ произведеніямъ Шиллера **А. Г. Горнфельда.**	504
XXVI.	Библіографическій очеркъ русской литературы о Шиллерѣ **Н. Н. Бахтина.**	535

Stanford University Libraries
3 6105 004 419 433

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRAR
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6

Stanford University Libraries
3 6105 004 419 433

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LI
STANFORD, CALIFORNIA 9